

К. Леонтьев

ПОЛНОЕ  
СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
И ПИСЕМ

4

К. Леонтьев



# К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

## ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2002

# К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

---

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

---

## ОДИССЕЙ ПОЛИХРОНИАДЕС



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2002

УДК 8(47)82

ББК 84(05)

Л 47

Редакционная коллегия

С. Г. Бочаров, В. М. Камнев,  
В. А. Котельников (главный редактор), Г. Б. Кремнев,  
А. П. Мельников, О. В. Николаева, Н. Н. Скотов, А. Феррари,  
О. Л. Фетисенко (заместитель главного редактора)

Тексты подготовили  
и комментарии составили

В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко

При подготовке данного тома использованы материалы,  
хранящиеся в Российском государственном архиве  
литературы и искусства  
и в Государственном литературном музее

© Издательство «Владимир Даль», 2002

© В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко,  
подготовка текстов, составление  
комментариев, 2002

© А. П. Мельников, оформление, 2002

© П. Палей, дизайн, 2002

ISBN 5-93615-005-4 (Т. 4)

ISBN 5-93615-011-9



# ОДИССЕЙ ПОЛИХРОНИАДЕС

(ВОСПОМИНАНИЯ ЗАГОРСКОГО ГРЕКА)

# I

## МОЕ ДЕТСТВО И НАША СЕМЬЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ЗАГОРСКОГО ГРЕКА\*

# I

Хотя род наш весь из эпирских Загор, однако первое детство мое протекло на Дунае, в доме отца моего, который по нашему загорскому обычаю торговал тогда *на чужбине*. 10

С берегов Дуная я возвратился на родину в Эпир тринадцати лет, в 1856 году; до семнадцати лет прожил я с родителями в Загорах и ходил в нашу сельскую школу; а потом отец отвез меня в Янину, чтоб учиться там в гимназии.

Я обещался тебе, мой добрый и молодой афинский друг, рассказать подробно историю моей прежней жизни; мое детство на дальней родине, мои встречи и приключения первой юности. Вот первая тетрадь.

Если ты будешь доволен ею, если эти воспоминания мои займут тебя, я расскажу тебе позднее и о том, как я кончил ученье мое в Янине, что со мной случилось дальше, 20

---

\* Загоры — гористый округ южного Эпира; он начинается около самой Янины и долгое время был подобен небольшой христианской республике под властью султана, на определенных особенных правах. Загоры в старину управлялись своими старшинами и имели своего особого представителя при янинском паше. Теперь этот край приравнен к другим уездам Турецкой Империи. Мусульманских сел там нет и прежде не было.

как вступал я понемногу на путь независимости и деятельной жизни, кого встречал тогда, кого любил и ненавидел, кого боялся и кого жалел, что́ думал тогда и что́ чувствовал, как я женился и на ком, и почему так скоро разошелся с моею первою женой. Вторая часть моего рассказа будет занимательнее и оживленнее, но она не будет тебе ясна, если ты не прочтешь внимательно эту первую. Прежде всего я расскажу тебе об отце моем и о том, как он женился на моей матери.

10 Он женился на ней совсем не так, как женятся другие загорцы наши.

Ты слышал, конечно, страна наша красива, но бесплодна.

Виноградники наши не дают нам дохода. По холмам, около селений, ты издали видишь небольшие круглые пятна, обложенные рядом белых камней.

Вот наши хлебные поля! Вот бедная пшеница наша!

Редкие колосья, сухая земля, усеянная мелкими камнями; земля, которую без помощи волов и плуга жена загорца сама вскопала трудолюбивыми руками, чтоб иметь для  
20 детей своих непокупную пищу в отсутствие мужа.

Да, мой друг! Мы не пашем, подобно счастливым фессалийцам, тучных равнин на живописных и веселых берегах древнего Пинея. Мы не умеем, как жители Бруссы и Шар-Кёя, искусно ткать разноцветные ковры. Не разводим миллионы роз душистых для драгоценного масла, как Казанлык болгарский. Мы не плаваем по морю, как смелые греки Эгейских островов.

Мы не пастыри могучие, как румяные влахи Пинда в  
30 белой одежде. Мы не сходим, подобно этим влахам, каждую зиму с лесистых вершин в теплые долины Эпира и Фессалии, чтобы пасти наши стада; не живем со всею семьей в походных шалашах тростниковых, оставляя дома наши и целые селения до лета под стражей одной природы, под охраной снегов, стремнин недоступных и дикого леса, где царит и бушует тогда один лишь гневный старец Борей!

Мы, признаюсь, и не воины, подобно соседям нашим, молодцам-сулиотам.

Греясь беспечно у дымного очага во время зимних непогод, бледный паликар славной Лакки Сулийской поет про дела великих отцов своих и презирает мирные ремесла и торговлю. В полуразрушенном доме, без потолка и окошек, он гордо украшает праздничную одежду свою золотым шитьем. Серебряные пистолеты за сверкающим поясом, тяжелые доспехи вокруг гибкого стана, который он учится перетягивать еще с детства, ружье дорогое и верное для сулиота милее покойного, теплого жилья. <sup>10</sup>

Мы, загорцы, не можем жить так сурово и беспечно, как живет сулиот.

Да, мы не герои, не пловцы, не земледельцы, не пастыри. Но зато мы загорцы эпирские, друг мой! Вот мы что такое! Мы те загорцы эпирские, которых именем полон, однако, Восток.

Мы везде. Ты это знаешь сам. Везде наше имя, везде наш изворотливый ум; если хочешь, даже хитрость наша, везде наш греческий патриотизм, и уклончивый, и твердый, везде наше загорское благо, и везде наше загорское зло! <sup>20</sup>

Всюду мы учим и всюду мы учимся; всюду мы лечим; всюду торгуем, пишем, строим, богатеем; мы жертвуем деньги на церкви и школы эллинские, на возобновление олимпийских игр в свободной Греции, на восстание (когда-то), а теперь, вероятно, на примирение с теми, против кого восставали, быть может, на борьбу против страшного призрака славизма; не так ли, мой друг? Тебе, афинскому политику, это лучше знать, чем мне, скромному торговцу. <sup>30</sup> Мы открываем опрятные кофейни и снимаем грязные ханы в балканских долинах и в глухих городках унылой Фракии; мы издаем газеты за океанами, в свободной Филадельфии, мы правим богатыми землями бояр молдо-валашских. Мы торгуем на Босфоре, в Одессе, в Марсели, в Калькутте и в азовских городах; мы в народных школах таких деревень, куда с трудом достигает лишь добрый верховой конь или

мул осторожный, уже давно внушаем македонским детям, что они эллины, а не варвары болгарские, которых Бог послал нам в соседи за наши грехи (кажется, от тебя самого я слышал подобную речь).

Мы служим султану и королю Георгию, России и Британии. Мы готовы служить Гамбетте и Бисмарку, миру и войне, Церкви и науке, прогрессу и охранению; но служа всему этому, искренно служим мы только милой отчизне нашей, загорским горам, Эпиру и Греции.

<sup>10</sup> Радуйся, эллин! Радуйся, молодой патриот мой!

Видишь ты этого юношу, который так стыдливо и благородно молчит в кругу чужих людей? Еще пух первой возмужалости едва появился на его отроческих щеках... Ты скажешь: «он дитя еще»; не правда ли? Нет, мой друг. Он не дитя. Этот робкий юноша уже семьянин почтенный; он женат; он, быть может, отец!

<sup>20</sup> Года два еще тому назад какие-нибудь старушки в его родном селе заметили его первую возмужалость. Они долго совещались между собою; они считали деньги его родителей, судили о родстве его, связях и сношениях, и пришли, наконец, предложить его отцу, его матери или ему самому в жены соседнюю девушку, которая, как поет древний стихотворец, «едва лишь созрела теперь для мужчины».

<sup>30</sup> За ней дают деньги; воспитана она в строжайшем благочестии; привычна к хозяйству; неумоима на всякую ручную работу; она не безобразна и здорова. Он соглашается. Ему нужна бодрая, деятельная хозяйка в отцовском доме, нужна помощница стареющим родителям; нужен якорь в отчизне; его душе необходим магнит, который бы влек его домой, хотя б от времени до времени, из тех далеких стран, где он осужден искать счастья и денег.

И вот он муж, отец...

Теперь, когда загорец привык к своей новобрачной, когда содрогнулось его сердце в первый раз, внимая плачу новорожденного ребенка, — пусть сбирается он смело в тяжкий путь на борьбу с людьми и судьбой, на лишения, опасности, быть может, на раннюю смерть. Теперь пусть

он обнимет старую мать и жену молодую; пускай благословит своего ребенка... Ему в родном жилище нет уж больше дела, ему нет места здесь; его долг уехать и искать судьбы хорошей в больших городах торговых, в дальних землях плодородных. И так жить ему теперь до старости и трудиться, лишь изредка навещая семью и родных на короткий срок.

Откройся, сердце грустное, откройтесь, горькие уста,  
Скажите что-нибудь, утешьте нас...

У смерти утешенье есть; есть у гибели забвенье...

А у разлуки заживо отрады вовсе нет.

Мать с сыном разлучается, и сын бросает мать.

Супруги нежные, согласные, и те в разлуке,

И в день разлуки той деревья высыхают,

А свидятся — опять деревья лист дают.

10

Так говорит эпирская старая песня разлуки.

Сорок с лишком сел цветет в Загорах наших.

И не думай ты, что это села бедные, как во Фракии или в иных полудиких албанских округах.

20

Я помню, с каким ты презрением говорил о жолтых хижинах болгарских, о том, как тебя клали в них спать на сырую землю, около худого очага, когда зимою ты ездил к родным в Филиппополь. Не понравились тебе простые фракийские болгары, ты звал их зверями в образе человека; ты порицал их овчинные шубы, не покрытые сукном, их черные чалмы, их смуглые, худые лица; в чертах этих лиц ты тщательно отыскивал какие-то следы туранской крови.

Я помню, как негодовал ты на духовенство всех предков твоих за то, что не позаботились они «вовремя» или не сумели, как ты говорил тогда, «эллинизировать (во славу рода нашего священного!) этих безграмотных и грубых чалмоносцев!»

30

Радуйся, эллин! Загоры наши не таковы.

И здесь (скрывать я этого не буду) течет много славянской крови. Но что значит кровь?

Здесь Эллада по духу, Эллада по языку и стремлениям.

Любезные горы моей дорогой отчизны! Есть в Турции места живописнее загорских, но для меня нет места милее. Горы моего Эпира не украшены таинственной и влажною сетью диких лесов, подобно горам южной Македонии; широкий каштан и дуб многолетний не простирают на их склонах задумчивых ветвей. Холмы эпирские не обращены трудом человека в бесконечные рощи седых и плодоносных<sup>10</sup> олив, подобно холмам Керкиры или критским берегам.

Только далее, к Пинду, где живет рослый куцо-влах, там шумят душистые сосны, толпясь на страшной высоте.

У нас, внизу, высоты наги; колючий дуб наш не растет высоко; мелкими и частыми кустами зеленеет он густо вокруг наших белых сел.

Но и без садов масличных и без леса дикого наши эпирские горы мне милы.

Радуйся, эллин афинский!..

<sup>20</sup> Села наши загорские, хотя и носят старославянские имена, но они села эллинские, — богатые, красивые, просвещенные.

«Довра, Чепелово, Судена, Лесковец...» Пусть эти звуки не смущают тебя.

Не бойся. Уже и лесные куцо-влахи Загор стали узнавать и любить имена Фемистокла, Эсхила и Платона.

<sup>30</sup> Села наши богаты и чисты; дома в них — дома архонтские; училища просторные, как в больших городах; колокольни у церквей высокие и крепкие, как башни. Колокола нам издавна привычны; они и встарь еще сзывали старшин загорских на совет, не только на молитву.

Турки не жили никогда в нашем краю, огражденном древними правами фирманов.

У нас они могли сказать по своему обычаю: «Здесь, о, Боже мой! не Турция! Здесь я слышу несносный звук колоколов на храме неверных!»

Видишь, как бело наше загорское село? Как груда чистейшего мела сияет оно на солнечных лучах посреди вино-

градников. А вокруг за садами дальняя пустыня безлесных высот. Тополы и дубы растут на дворах и шумях над домами.

На площади, у церкви, стоит большой платан, и под его широкою тенью беседуют загорские старцы, которым Бог сподобил возвратиться домой и скончать на покое трудовые дни.

Эллинской славной фустанеллы ты здесь, однако, не увидишь, друг мой, хотя ею и полон весь остальной Эпир. Сюда заносят люди все одежды, с которыми свыклись они на чужбине. 10

Ты увидишь здесь и полосатый халат турецкий, подпоясанный шалью, и короткие шалвары, голубые и красные, расшитые черным снурком, и пестрый ситец под откидными рукавами, и модный сюртук европейский, и широкую шляпу, и русскую круглую фуражку из Кишинева и Одессы, и маленькую красную феску, и кривую саблю турецкого мундира.

Но кому бы ни служил загорец, чьим бы подданным он ни сделался для выгод своих, он прежде всего загорец, он эллин и патриот! 20

Дела загорские и дела Эллады дороже ему всего на свете; и все эти старики, все богатые люди, которые в различных одеждах собрались совещаться и беседовать под платан у церкви, еще живя без жен и детей своих на дальней чужбине, думали о родном селе и посылали туда трудовые деньги на народные школы, на украшение храмов загорских, на устройство удобных и безопасных спусков по уступам наших гор; на украшение веселых и мирных улиц архонтскими высокими жилищами.

Иностранец дивится, проезжая по незнакомым и диким горам, в которых ничего не слышно, кроме пения диких птиц и звона бубенчиков на шеях наших коз; где ничего не видно, кроме неба, скал, ручьев, струящихся в ущельях, и привычных тропинок, протоптанных по мягкому камню верными копытами мула или стадами овец... 30

Но он дивится еще более, когда, робко спускаясь верхом с горы по ступенькам скользкой мостовой, он видит внезап-



но у ног своих обширное село в зеленом уборе садов; видит крыши крестьян, крытые не красною черепицей, а белым сияющим камнем; обширное здание школы; церковь большую, широкие столбы ее прохладной галереи; слышит звон колоколов с высоких колоколен; видит движение жизни людской, и мирный труд, и отдых, и ум, и свободу.

Пред усталыми конями его отворяются широко ворота гостеприимного и чистого жилища. Очаг пылает ему как бы радостно в угоду; широкие диваны ждут его на покой.

<sup>10</sup> Он находит в доме книги, просвещенную беседу и некоторые обычаи Европы, без которых, конечно, ему было бы тяжело.

Таковы эфирские Загоры, мой добрый друг. Такова моя незабвенная родина!

Рад ли ты этому, эллин? Рад ли, скажи мне?

## II

Отец мой, сказал я тебе, женился не совсем так, как женятся почти все загорцы наши. К нему не приходили старушки сватать соседнюю девушку, не торговались о приданом с его отцом или матерью. Отец мой был сиротою с ранних лет и женился поздно.

<sup>20</sup> Когда дед мой и бабушка еще были живы, им случилось прогостить несколько дней проездом у знакомых в Чепелове, самом большом из наших сел. Отцу моему тогда было семь лет, и он был с родителями своими. У хозяина дома в Чепелове только что родилась дочка. Зашла в это время в дом цыганка, гадала и предсказала, что паликар этот, то есть отец мой, женится на новорожденной девушке. Родные и хозяева стали шутить и смеяться над отцом, стали кликать его «жених».

<sup>30</sup> Мальчик стыдился, плакал сначала, а потом рассердился так, что схватил девочку из колыбели и выкинул ее из окна. К счастью, она зацепилась пеленками за куст, который рос под окном на земле, вниз не упала.

Ее достали из куста; но она висела головой вниз и успела так отечь кровью, что ее долго растирали и очень долго боялись за ее здоровье.

Эта-то новорожденная и была моя мать.

Отца моего тогда наказали больно за это, и он рассказывал, что долго ненавидел девочку и думал часто про себя убить даже ее, когда вырастет большой.

Вырос он далеко, в своем селе, уехал на чужбину; воротился двадцати шести лет; вспомнил об Эленице этой. Спросил: «что ж, поправилась эта Эленица после моего комплимента?» «Так поправилась Эленица, — сказали ему люди, — что вышла как древняя Елена, за которую считали старцы троянские приличным кровь проливать. Стала она истинно, по словам песен наших, *белокурая и черноокая; очи оливки, а брови снурочки; ресницы как стрелы франкские, а волосы — сорок пять аршин!* Она вышла замуж за хорошего молодого человека, семьи не важной, и сам он ребенком овец пас; но его мать хорошая хозяйка, и он обучился в школе и теперь учителем школьным во Фракию уехал».

— Вот и солгала цыганка! — сказал отец и смеялся.

Однако цыганка не солгала. Еще прошло три года; опять отцу захотелось побывать на родине, и родные ему все писали, чтоб он непременно возвратился жениться.

Приехал он по новой дороге, через горы, которые он мало знал. Ехал он только с двумя товарищами; запоздали и сбились с дороги. Стало темнеть, погода была зимняя, дурная, стал падать снег. Стали и лошади падать.

И решились они заехать ночевать в село, которое в стороне совсем и не на пути их стояло. Спутники отца моего были люди попроще его и попривычнее ко всему; один был кузнец из наших загорских крещеных цыган, а другой был ханджи.\* Кузнец имел в этом селе другого кузнеца знакомого и взял с собой к нему в хижину ханджи, а отца моего пожалел, потому что ему дорогой сильно

---

\* Содержатель хана, постоялого двора.

нездоровилось, и отыскал ему ночлег в доме одной старушки, которая жила в своем хорошеньком домике втроем, с невесткою молодой и слугою.

Отец обрадовался и обещал хорошо заплатить за ночлег.

Встретили его с огнем на лестнице и с почетом и старушка, и слуга, и невестка вышла сама с лампадой. Хотя и поздний был час, а на ней сверху была новая *аба*\* без рукавов, вся сплошь расшитая красным шелковым <sup>10</sup>снурком, и платочек, голубой ли, красный ли, желтый ли, не помню я, только он был ей к лицу. И отец мой был рослый мужчина и молодец. Посмотрел он на невестку, и она хотела к руке его подойти; а он ей сказал: «Кирия моя добрая, не присуждайте меня с тридцати лет моих прямо в седые и почтенные архонты. Не дам я вам моей руки целовать и не стою я этого!»

Хозяйку дома звали кира-Евгёнка Стёлова; она была старушка превеселая, предобрая... и сейчас же в простоте своей все рассказала отцу.

<sup>20</sup> — Вдова она у меня, вдова! — закричала она. — Сына имела я, да на чужбине умер, а мы с ней его молитвами хорошо живем, и я все мое имение ей отдам и найду ей мужа хорошего, чтобы со мной вместе жила, чтобы кормила меня и чтобы смотрела за мной...

<sup>30</sup> Постлала красивая вдова отцу моему мягкую постель на широком диване у большого очага; положила ему красную шелковую подушечку с тюлевою наволочкой; два одеяла шелковые, восточные, одно на другое, и углы им в головах у подушки загнула, чтобы только был ему один труд — лечь и заснуть. На очаг повесила на гвоздике лампадку; воды сама на ночь принесла. Кофе сама <sup>30</sup>сидя пред ним у очага сварила и сапоги с него почти насильно сняла, чтоб ему покойнее было сесть с ногами на диван.

---

\* *Аба* — так зовут и толстое сукно местной работы, и самую одежду, из него сшитую.

«Говорю я со старухой, — рассказывал после отец, — а сам все одним глазом на вдову взор косвенный бросаю. И что эта женщина ни сделает, все мне нравится! Кофе подаст и станет ждать, головку набок, с подносом; кофе вкусен. Сапоги стала снимать, сердце мое от радости и стыда загорелось; и в очаге же дрова такие сухие большие поставила, и сухими сучьями так хорошо и скоро их распалила, что и я вовсе распалился! Слово скажет... и какое ж слово? Великое какое-нибудь? — ничтожное слово: „на здоровье кушайте“, например, аман! аман! Пропал человек! и это слово человеку медом кажется!» 10

Ночью отец совсем заболел; у него такая сильная лихорадка сделалась, что он в этом доме две недели прожил и пролежал.

Старушка и невестка ее доктора ему привели и смотрели за ним как мать и сестра. Он и стыдиться пред ними вовсе перестал. И все ему в этом доме еще больше прежнего начало нравиться, особенно когда после болезни ему весело стало.

Попросил отец каких-нибудь книг почитать. Старушка сходила к священнику и к учителю, к богатым соседям и принесла ему много книг. 20

Читал мой отец, лежал, гулял по дому, и все ему было приятно. Вдова сама по-прежнему служила ему. Она даже сама ему вымыла два раза ноги и вытерла их расшитым полотенцем.

«Судьба была!» — говорил отец. Он уже не мог оторваться от услужливой и красивой вдовы.

Раз поутру помолился он Богу и, увидав на столе Библию, с глубоким вздохом раскрыл ее, желая подкрепить свое решение каким-либо священным стихом. 30

Он до конца своей жизни считал это гадание свое истинным откровением. Три раза открывал он, крестясь, Св. Писание, и вот что ему выходило из Евангелия, Апостолов и Притчей Соломона.

Первый раз: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа... ибо и она была помощницей многим и мне самому».

Потом: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас».

А в третий раз, раскрыв наудачу Ветхий Завет, отец встретил в Притчах Соломона нечто еще более ясное: «Человек, который нашел достойную жену, нашел благо, и он имеет милость Всевышнего».

Чего же лучше! После этого отец уже не колебался и женился на молодой вдове.

10 Однажды, чрез месяц после свадьбы, сидели они вместе у очага. Мать пряла шерсть, а отец курил наргилé и рассказывал ей о том, как и где настрадался он на чужбине, и привел между прочим ей одно мусульманское слово насчет благоразумия и терпения человеческого.

«Не будь никогда разгневан переверотом счастья, ибо терпение горько, но плоды его сочны и сладки. Не тревожься о трудном деле и не сокрушай о нем сердца, ибо источник жизни струится из мрака».

А мать моя на это и сказала ему:

20 — Да! ты на чужбине страдал много, а теперь вот со мной веселишься, а я еще бессмысленным ребенком была, когда меня убить хотели, и однако спас меня Бог.

И, сказав это, передала отцу моему, как выкинул ее из окна один мальчик и как она пеленками зацепилась за куст.

Упал у отца тогда наргиле из рук от изумления, и сказал он только: «Предназначение Божие!»

И в самом деле благословил Господь Бог и старушку добрую, которая невестке все имение свое отдала, и отца с матерью, которые старушку покои́ли. Забот у них и горя было много в жизни, но раздора между ними не было 30 никогда. А это, ты знаешь, самое главное. При домашнем согласии и несчастья все легче сносить.

Два года не мог отец мой расстаться с любимой женой, которая так умела ему угождать. Хотел было остаться торговать в Янине, но на Дунае тогда было слишком выгодно, и так как и я уже родился к тому времени, отец мой решился уехать, чтобы приобрести побольше для детей.

Разлука была очень тяжела; но и старушку было бы грешно оставить одну после стольких ее благодеяний.

Отец уехал в Тульчу; но приезжал каждые два года на три или четыре месяца в Загоры.

Незадолго до Восточной войны, однако, пользуясь тем, что родной брат кыры Стиловой возвратился с большими деньгами из Македонии и остался жить уже до конца жизни в родном селе, отец мой решил взять с собой на Дунай и мать мою и меня.

Брат кыры Стиловой был доктор-практик, имел хорошие деньги и двух больших сыновей, которых он вскоре и женил на загорских девицах, так что старая сестра его не оставалась никогда без общества и без помощи по хозяйству. <sup>10</sup>

Когда между Россией и Турцией возгорелась война и русские вступили в Дунайские княжества, отец мой испугался и хотел нас с матерью отправить на родину в Эпир; но скоро раздумал. По всем слухам и по секретным письмам друзей он ожидал, что в Эпире вспыхнет восстание. И там и здесь грозили опасности и беспорядки. Но отец <sup>20</sup> рассудил, что на Дунае будет безопасно.

На Дунае следовало ожидать настоящей правильной войны между войсками двух Государей; в Эпире чего можно было ожидать?.. Грабежей, пожаров, измен, предательств, безурядицы. Волонтеров эллинских отец мой боялся столько же, сколько и албанских баши-бузуков, и ты согласишься, что он был прав.

Шайка Тодораки Гриваса оправдала его опасения; увы! ты это знаешь, паликары наши уважали собственность и жизнь людей никак не больше, чем мусульманские беи. <sup>30</sup>

Еще надеялся отец и на то, что русские одним ударом сломят все преграды на Нижнем Дунае; он думал, что борьба с турками для них будет почти игрою, и первые слухи, первые рассказы, казалось, оправдывали его. Известия из Азии были победоносные; имена князей Андроникова и Бебутова переходили у нас из уст в уста. Турки

казались очень испуганными; старые христиане вспоминали о Дибиче и о внезапном вторжении его войска далеко за Балканы.

Эти надежды, воспоминания и слухи приводили в восторг моего отца, который до конца жизни боготворил Россию, и мы остались, ежедневно ожидая и прислушиваясь, не гремит ли уже барабан российский по нашим тихим улицам. Но в этом отец ошибся.

<sup>10</sup> Тульчу взяли русские, но гораздо позднее и с большими потерями. Множество воинов русского десанта погибло в водах Дуная, переправляясь на лодках против самых выстрелов турецкой батареи...

Потом мой бедный отец должен был сознаться, что турки на Дунае защищались как следует, и до конца жизни дивился и не мог понять, отчего русские распоряжались так медленно и так неудачно под Ольшаницей, Чите и Силистрией... Он приписывал все неудачи их валашскому шпионству и предательству польских офицеров, которых было, по его мнению, слишком много в русских войсках.

<sup>20</sup> Он никогда не мог допустить и согласиться, что и нынешние турки отличные воины, и всегда дивился, когда сами русские консула или офицеры старались ему это доказать. «Что за капризный народ эти русские! — говорил он нередко. — У многих из них я замечал охоту, например, турок защищать и хвалить. От гордости большой, что ли, или так просты на это?» — спрашивал себя мой отец и всегда дивился этому.

### III

<sup>30</sup> Семейство наше много перенесло, и больше от худых христиан, чем от турок, потому что худые христиане всегда, я скажу, гораздо злее и лукавее турок.

Первое дело, почему отец мой пострадал. Когда в 53-м году переправились русские через Дунай, все у нас думали,

что они уже и не уйдут, и все радовались, кроме некоторых липован и хохлов беглых из России, но и те разное думали, и между ними были люди, которые говорили: «наша кровь!» Отец мой тогда обрадован был крепко и русских всячески угощал и ласкал...

У нас в тульчинском доме русский капитан стоял, и при нем человек пять или шесть простых солдат.

Скажу я тебе про этих людей вот что: кур, водку, вино, виноград и всякий другой домашний запас, и вещи, и деньги береги от них. Непременно украдут. 10

Но если ты подумаешь, что за это их у нас в Добрудже ненавидят, то ты ошибешься.

В 67-м году, когда одно время ожидали русских, весь край как будто оживился. Что говорили тогда все, и греки, и болгары, и простяки-молдаване сельские в бараньих шапках?.. И даже, поверь мне, жида и татары крымские, которые у нас целый город Меджидие построили... Что говорили все?

— Аман! аман! придут скоро русские! Вот торговля будет! Вот барыш! Офицеру биллиард нужен, ром, шампанское, икра свежая. Платит и не торгуется! А если казак курицу украдет, так он тут же продаст ее офицеру и сам деньги не спрячет, а в наших же кофейнях истратит на вино или на музыку. Такой народ веселый и щедрый! Прибить человека он может легко, это правда, но никто зато же так утешить и так приласкать человека не может, как русский. Все у него — «брат» да «брат», и злобы в сердце не держит долго. 20

Так говорили мне в 67-м году, вспоминая то, что видели в 53-м. 30

Расскажу я тебе, как русский солдат однажды украл у одного соседа нашего поросенка во время занятия Тульчи. Он спрятал поросенка под шинель и идет по базару так важно, задумчиво, можно сказать, даже грозно и не спеша. А поросенок визжит под шинелью его на весь базар. Все люди глядят на солдата; солдат же ни на кого не смотрит.



Сосед наш был молдаван, но человек довольно смелый. Он догнал солдата и при всех говорит ему:

— Остановись, брат, ты украл у меня поросенка.

— Я? ты с ума сошел, что ли? Какой это такой поросенок, скажи мне, любезный друг ты мой?..

Ужасно удивился солдат, и не улыбается, и не боится, и не сердится вовсе.

А поросенок еще громче прежнего визжит под его полый.

10 Сосед рассердился и говорит ему:

— Так нельзя делать!.. раскрой шинель, или я к полковнику твоему пойду.

Сейчас же раскрывает солдат шинель и видит поросенка.

Посмотрел с изумлением, перекрестился, плюнул и воскликнул:

— Посмотрите, проклятая тварь, куда забрался. Это от дьявола все! А ты возьми его, брат, если он твой.

И пошел молодец дальше, опять не улыбается и ни на  
20 кого не глядит. Усы вот какие в обе стороны стоят и бакенбарды огромные!

Весь базар до вечера смеялся этому, и сосед жаловаться не пошел... Жалко ему было пожаловаться на такого человека, особенно зная, что полковник был строгий немец и беспощадно наказывал этих бедных людей за подобные беспорядки.

Капитана, который жил в нашем доме, звали Иван Петрович Соболев. Он меня очень любил. Звал он меня  
30 «Цыганок», за то, что я смуглый, и делал мне много подарков. Он каждый день, несмотря на холод, обливался холодной водой и приказывал солдатам и меня схватывать, раздевать и обливать насильно, для укрепления. Потом я и сам это любил.

Выйдет капитан на балкон, на улицу, сам разденется совсем и меня раздетого выведет. Женщины бегут; а он им кричит: «Чего вы не видали? Куда бежите? Скажите! какой стыд великий!»

И восклицает потом солдату:

— Катай Цыганочка с головы прямо!

Я и рад, и кричу; а капитан, бедный, глядя на меня, от души веселится. Ужасно любил я его.

Когда австрийцы зашли русским в тыл и уходили русские от нас, капитан Соболев золотым крестиком благословил меня на память, и я всегда ношу его на шее с тех пор.

— Прощай, Цыганочек мой, прощай, голубчик, — сказал он мне и сел на лошадь.

10

Я стал плакать.

— Господь Бог с тобой, — сказал капитан; — не плачь, брат мой, увидимся еще. С Божьей помощью назад опять придем и освободим всех вас.

Он поцеловал меня и перекрестил, нагнувшись с коня, а я держался за стремя его и плакал.

И не увидались мы с ним больше! Да спасет Божия Матерь Своими молитвами его простую воинскую душу! Мы узнали потом, что его под Инкерманом убили эти отвратительные французы, которых и отец мой, и я всегда ненавидели.

20

После ухода русских из Добруджи, когда у нас опять стали везде султанские войска, отец мой едва было не лишился жизни.

Нашлись добрые люди, которые даже не из мести и не по злобе личной на отца, а лишь из желания угодить турецкому начальству и выиграть от него деньги, донесли на отца моего, что он русский шпион.

Сказать тебе, что он русским начальникам не передавал никогда, где турки и что они делают, этого я не скажу.

30

Конечно, было и это; но станешь ли ты его хулить за это? Или лучше было делать так, как валахи делали около Букурешта, когда они туркам русских продавали?

Призывали отца к паше. Отец знал, что доказательств никаких против него нет; помолился, поплакал с нами, матушка на остров Тинос серебряную большую лампаду обещала, и стали ждать его и молиться. Я был еще мал; стал

бегать и кричать; а мать говорит: «Кричи! кричи, веселись — теперь отцу, может быть, голову ножом турки отрезали». И я утих...

Так две недели прошло; сидим мы однажды вечером; застучали в дверь. Испугались все, а это батюшка возвратился веселый. Освободили его турки, и спас его самый тот турок, который должен был убить его.

Донос был тот, будто отец мой дал чрез Дунай весть казакам (уже после отступления русских в Молдавию),  
<sup>10</sup> что в Тульче войска турецкого мало. Тогда казаки ночью чрез реку переправились и кинулись в город вскачь... это и я помню... крик какой поднялся... Турок точно было немного, и они все рассыпались в испуге. Я их не виню в трусости за это. Очень это было неожиданно, и казаки слишком страшно кричали *ура!* Убить никого не убили; а только повеселились турецким испугом и в плен никого не успели взять, потому что сами замешкать боялись. Украли мимоходом кой-что, без разбора, христианский ли дом или турецкий; это они успели и ушли. Вот по этому самому  
<sup>20</sup> делу в особенности и был на моего отца донос.

Отец стоял на одном слове, что он ничего не знает об этом деле, и спрашивал: «где ж доказательства?» Показывал, что он во всю неделю пред этим в Бабадаге далеко от берега был и ни с кем из своих не видался. «Кого ж бы он послал русских известить?» Паша не хотел слушать и велел его отвести к палачу. Повели отца к небольшому домику в стороне того села, где паша тогда жил; подвели к двери, отворили эту дверь и втокнули его туда... Отец сколько раз об этом ни рассказывал, всегда у него губы  
<sup>30</sup> тряслись и голос менялся. Закачает головой и скажет: «увы! увy! детки мои, как страшно! это совсем не то, что война, где у человека кровь кипит... а это дело холодное и ужасное... Посмотри на курицу, и та каким голосом страшным кричит, когда ее резать несут... С тех пор я и куриного крика не могу даже так спокойно слышать, поверьте мне, детки мои. И вот, однако, спас меня Бог!»

Остался отец в этой комнатке и видит — сидит в стороне у очага худой турок с длинными усами. Оружия по стенам много. Понял отец, что это и есть *джелáт*,\* который должен его убить.

Отец ему поклонился, и турок говорит ему: «здравствуй» и приглашает вежливо сесть около себя.

Отец сел. Начал турок спрашивать, откуда он и как его имя. И что отец скажет, он все ему: «Так, хорошо, очень хорошо!» И потом еще раз спросил у него, как его имя, чтоб он повторил. Отец сказал ему, и показалось отцу, что <sup>10</sup> джелат как будто иначе взглянул на него.

— А есть у тебя братья? — спросил потом турок.

Отец сказал, что есть два брата.

— А где они?

— Один в Греции, а другой умер.

— А который умер, чем занимался, где жил?

Отец сказал ему и об этом.

— А в Софье не жил твой брат?

Вспомнил отец, что он долго жил и в Софье и хан там держал.

— А никогда он ничего тебе не рассказывал про этот <sup>20</sup> хан или про каких-нибудь людей?

Не помнил отец; однако нарочно стал будто припоминать, чтобы хоть минутку еще на этом свете прожить. Измучился наконец, и слезы у него из глаз потекли, и сказал он турку:

— Не спрашивай у меня больше ничего, ага мой, эф-фенди мой. Я в твоей воле и припомнить я больше ничего не могу; у меня одна память — о бедной жене моей и моих сиротах несчастных!

— А ты Расскажи мне, — говорит турок, — кто на <sup>30</sup> тебя эту клевету выдумал?

---

\* *Джелáт* — значит *палач*; но у турок настоящих казенных палачей никогда не бывало — ремесло это грех и позор; но в крайности нанимаются временно какие-нибудь бедные люди для исполнения приговоров. Вероятно, этот турок нанялся, потому что ему были очень нужны тогда деньги.

Отец повторил ему то, что сказал паше.

— А ты мне скажи, чорбаджи, — говорит тогда турок, — рад ведь ты был, когда ваши московские сюда пришли и Тульчу забрали, и Силистрию осадили. Ты мне, чорбаджи, правду говори только и меня ты не бойся.

— Что ж, я тебе скажу, — ответил ему отец, — вера у них с нами одна...

— Это ты хорошо говоришь, чорбаджи. И вижу я, что ты человек не лживый, а прямой и добрый. Все, что ты <sup>10</sup> сказал, все правда. Сиди здесь, я скоро вернусь, а ты сиди и не бойся.

Вышел турок и запер отца снаружи. Долго ждал отец и молился. Наконец турок вернулся и смеется:

— Иди с Богом куда хочешь. И лошадь твоя здесь. Да скачи скорей, чтобы тебя не вернули. И уезжай потом куда-нибудь подальше и от нас, и от русских.

Не верит отец и подумать не знает, что такое случилось. И сказал он аге этому:

— Ага мой, не могу я с этого места тронуться, пока не <sup>20</sup> узнаю, за что ты меня так милуешь.

— А вот за что, — говорит ему турок. — За то, что весь ваш род люди хорошие, других милуете и вас надо миловать.

— Слушай, — говорит, — садись на коня. Я сам тебя до другого села провожу, никто тебя не тронет.

И рассказал отцу, что тот отцовский брат, дядя мой, который хан держал, его брата спас и кормил.

Ехали долго вместе, около часа, и ага ему историю брата рассказывал.

<sup>30</sup> Дядя мой держал хан около Софьи; а брат этого турка был учеником *налбанта* \* в самой Софье. Он был молод и красив. У паши, который тогда начальствовал в Софье, была возлюбленная христианка; жила она в своем домике на предместье, недалеко от того хана, где молодой Джесма-

---

\* *Налбант* — коновал или вообще человек, который лошадьми занимается, кует их и т. п.

ли лошадей ковал. Любил Джемали наряжаться и щеголять на диких и злых жеребцах. Случалось часто, что он мимо соседки в пестрой одежде скакал: и не знал, что она всегда на него из-за решетки в окно глядела.

Потом нашла она случай познакомиться с ним, нанимала тележку в их хану; кисет ему вышила и велела одной старушке ему передать. Эта же старушка сказала ему:

— Джемали-ага, госпожа моя велела тебе сказать, что она тебе табаку хорошего хочет дать из окна вечером; она тебя очень жалеет и говорит: какой юнак, на *бейопуло*\* <sup>10</sup> больше похож, чем на простого человека!

— Так узнали они близко друг друга и впали в грех, — говорил отцу тот турок. — Узнал и паша. Тогда было все проще в Турции, и погибнуть было легче, но легче и спастись. Схватили Джемали в саду у христианки молодой и привели в конак.

— Ты кто такой? — закричал грозно паша, — что по ночам в чужие дома заходишь и через стены лазаешь? Кто ты такой, собака, скажи?

— Мы *иснафы*, паша господин мой, — *иснафы* мы, <sup>20</sup> самим вам это известно.

Паша покраснел и закричал:

— Пошел вон, осел!

В чем же тут секрет был, что паша смутился? *Иснафами* зовутся люди одного ремесла, одного цеха, и самое это слово употребляется иногда иначе, аллегорически.

Мы с тобой *иснафы*, то есть товарищи, одного ремесла люди; кумовья, если хочешь...

А паша и сам по ночам у этой христианки бывал, и бедный Джемали и не ожидал, что он так остроумно и <sup>30</sup> колко ответит. Двое, трое из старших чиновников-турок даже улыбнулись, не могли воздержаться.

Однако, хотя паша и выгнал Джемали, но все-таки велел потом, чтобы заптие его взяли и отвели в тюрьму. Джемали притворился вовсе покорным и слабым; двое зап-

---

\* *Бейопуло* — дитя бея, молодой барин.

тие вели его и сначала держали, а потом один и вовсе оставил. Как увидал он это и расчел куда можно бежать, вырвал вдруг у одного пистолет, ранил другого и бросился через разоренную стенку старого кладбища, бежал, бежал; просидел потом до вечера в разрушенной бане одной, вспомнил о моем дяде и ушел ночью к нему в хан за город. Дядя мой прятал и кормил его две недели, а потом переправил через Дунай в Валахию, и оттуда Джемали вернулся опять в Турцию иным путем. Так как за ним никакого

10 преступлений важного не было, то он боялся лишь ревности и мести того паши, которого он оскорбил, а не других начальников. Когда Джемали увидался с братом своим, он рассказал ему все это и прибавил еще:

— Ты положи мне клятву, что где бы ты ни встретил родных загорского Дмитро Полихроноса или его самого, ты послужишь и поможешь и ему, и всему роду его. Он мне теперь и до конца жизни моей все равно как *влам, побратим.\**

Вот как чудесно спасся отец мой. Он и говорил, что в

20 его жизни два чуда было: встреча с матерью моей и с этим турком, Мыстик-агою.

— А какое лицо у него было грозное, у Мыстик-аги, — говорил иногда, вздыхая глубоко, отец. — Худое лицо, печальное, без улыбки! Усы длинные и острые в обе стороны, туда и сюда стоят. Кто бы мог ожидать такой доброты?

Мать моя думала, напротив того, что отцу это так показалось от страха и что у Мыстик-аги было обыкновенное турецкое лицо.

30 Отец мой любил об этом событии рассказывать и, обращаясь ко мне, грозился мне рукой и говорил:

— Заклинаю я тебя, Одиссей, всем священным, если и меня на свете не будет и если когда-нибудь Мыстик-ага

---

\* В западной Турции, в Албании, Эпире, других соседних странах существует, как известно, и у мусульман и у христиан старый обычай *побратимства*.

напишет тебе, о чем-нибудь прося, или в дом твой придет, то вспомни об отце твоём и всякую просьбу его исполни. В доме же твоём почет ему окажи бóльший, чем бы ты самому великому визирю оказал. Служи ты ему сам, и если жена у тебя будет, то хотя бы дочь эллинского министра или первого фанариотского богача за себя взял, но я хочу, чтоб эта жена твоя туфли ему подавала и чубук, и огонь, и постель ему сама бы руками своими, слышишь ты, в доме твоём постлала! Слышишь ты меня, мошенник ты Одиссей? Это я, отец твой, тебе, Одиссей, говорю! <sup>10</sup> Прощаясь с Мыстик-агою, я так и сказал ему:

— Эффенди и благодетель мой, паша мой, дом мой — твой дом отныне! И жена и дети мои, и дети детей моих — твои покорные слуги!

А он, бедный, ответил мне:

— Все мы рабы Божии, чорбаджи!

Сев на жеребца своего, приложил руку к феске и ускакал! И долго глядел я, как развевались красные кисти на злом жеребце его и за спиной его голубые рукава, и не мог я вовсе с места отойти, пока не потерял его из вида. Как <sup>20</sup> бы незримая сила приковала меня там, где я издали на него любовался.

Когда отец мой это рассказывал, хотя бы и в двадцатый раз, трудно было не плакать.

Мать моя всегда плакала и, обращая глаза к небу, прикладывала руки к груди своей и прерывала рассказ восклицанием: «Боже! пусть он живет долго и счастливо, человек этот, пусть спасет он свою душу, и хотя турок он, но пусть угодит Тебе, Боже наш, хотя так, как угодил самарянин добрый!» <sup>30</sup>

## IV

Тотчас по заключении мира отец мой отправил нас с матерью на родину, в Эпир, а сам поехал в Афины и достал себе там без труда эллинский паспорт и таким об-



разом право на защиту греческого посольства и греческих консулов во всей Турции.

К этому его побуждал не только тот страх, который пришлось испытать ему от тогдашнего турецкого беззакония и самоуправной грубости, но и другое тяжелое дело, которое причинило и ему, и мне позднее много неприятностей и хлопот.

Не только по поводу доноса на отца, но еще и по поводу этой тяжбы мне пришлось сказать тебе, мой друг,  
10 что худые христиане нередко по природе своей злее и лукавее турок.

От отца же моего покойного я слышал одну небольшую и очень хорошую молдаванскую сказку или басню, не знаю, как ее лучше назвать.

«Пошел один человек, поселянин небогатый, дрова в лес рубить и увидал, что большое дерево упало на землю и придавило большую змею. Змея была жива и стала просить человека, чтоб он освободил ее. Человек подставил под дерево подпорки и освободил змею. Она тотчас же  
20 обвилась вокруг него и сказала ему: „Я тебя съем!“ „За что“ — спросил человек. „Все вы люди очень злы, и злее вас зверя нет на свете; за это я тебя съем“. Тогда человек ей сказал: „Ты так говоришь, а другие что скажут, пойдем судиться; до трех раз кого встретим, того и спросим“. Змея согласилась, и они пошли. Сначала увидали они, что люди пашут. И люди эти когда увидали человека и около  
30 шеи и тела его такую большую змею, вместо того чтобы помочь ему, испугались и убежали. Спросила змея у одной коровы, которая была в плуг впряжена: „Съесть мне этого человека?“ „Ешь! — сказала корова. — Люди все злы, и злее их зверей нету. Я моему хозяину много телят, молока и масла дала; а он меня, корову, теперь в плуг с волами  
запрег“. Пошли они дальше, увидали на сухом поле худую старую лошадь. Спросила у нее змея: „Скажи мне, лошадь, съесть мне этого человека?“ И лошадь сказала: „Ешь! люди все злы, и злее их нет зверей на свете. Я служила хозяину двадцать лет, а теперь стара стала; он меня

и бросил на этом сухом поле, где меня, может быть, и волки съедят". Пошли они дальше. Встретили лисицу. Ей дал знать человек знаками, что он ей трех кур даст, если она в его пользу рассудит. Лисица тогда сказала змее: „Чтобы рассудить, права ли ты, надо видеть, как он тебя спас и трудно ли ему это было. Отведи меня туда, где тебя придавило большое дерево". Когда они все пришли в лес и увидели, что дерево лежит еще на подпорках, лисица сказала змее: „полезай опять для примера под дерево, чтоб я могла видеть, как ты лежала, и рассудить вас". Змея <sup>10</sup> подлезла, а лисица сказала человеку: „Вынь подпорку!" И змею опять придавило деревом, и она издохла. Тогда человек повел лисицу к своему селу и сказал ей: „Подожди здесь в поле, я вынесу тебе живых кур в мешке". А сам подумал: „У нее мех очень красив, годится жене на шубку. Пойду вместо кур положу в мешок злую и быструю собаку, и она поймает мне лису". Пошел в село и вынес собаку в мешке. Лисица сидит далеко на камне, хвостом играет и не подходит. „Что́ это у тебя, друг мой, мешок очень велик?" „Из благодарности шесть кур несу <sup>20</sup> вместо трех", — сказал человек и выпустил на нее собаку; но лисица была далеко и спаслась, громко воскликнув: „Хорошо сказали и змея, и корова, и лошадь, что вы, люди, злы и злее вас нет зверя на свете!"»

Отец мой говорил об этой басне так:

— Я давно ее знал и хотел забыть ее после того, как турок Мыстик-ага спас мне жизнь; но в то же почти время один грек наш и один болгарин научили меня ее вечно помнить.

Отец мой торговал на Дунае разными товарами и делал <sup>30</sup> всякие обороты, но в то время он особенно занимался рыбною торговлей, скупал икру у русских липован и других рыбаков и продавал ее очень выгодно.

Он имел дела и большие счета с одним эфирским же греком, которого звали Хахамопуло. Человек он был и жадный, и легкомысленный, и боязливый, и обманщик. Он был гораздо моложе моего отца, и отец мой был ему почти

благодетелем. Отец этого Хахамопуло умер внезапно в Валахии, и мальчик остался без всяких средств к жизни, без познаний и без ремесла. Однако он был хитер; пришел в Галац, увидел, что там продают козырьки для фуражек, и вздумал делать козырьки. Купил кожи, вырезал, сел верхом на скамью и стал какою-то гладкою костью лощить козырьки эти. Козырьки не годились.

Потом он уверил одного богатого валаха, что он отличный красильщик, учился в Одессе и может выкрасить ему карету заново гораздо дешевле, чем другие мастера. А вся <sup>10</sup> цель его была, чтобы хоть неделю еще хлеб иметь и место для ночлега. Купил сажи, сам лак попробовал сварить, совсем не так, как было нужно; покрасил пальца на три густоты, не держится, все кусками падает. Пришел хозяин кареты, взял палку и прогнал его. Он сидел у ворот гостиницы и плакал, когда отец мой увидел его и спросил у него, кто он такой и отчего он плачет.

— Мне и тогда, — рассказывал мой отец, — не очень понравился этот мальчик. Слишком уж ломался и гримасничал. И туда кинется, и сюда перегнется... Эффендикó мой! Эффендикó! — кричит он мне и воет. — Ба! — <sup>20</sup> говорю я ему, — следует ли паликару как женщине плакать и выть. Пошлет Бог тебе хлеба. Не кричи, дурак, у меня уж и голова от воя твоего как целый казан раздулась. А все-таки жалко его было. Христианин молодой и наш эфирский грек.

Рекомендовал его отец мой одному из наших загорцев, который именем большим у молдаванского боярина управлял. Прожил Хахамопуло у загорца пять лет; во время <sup>30</sup> войны и русским, и туркам, и австрийцам служил, деньги нажил, женился и переехал в Тульчу. Отец, видевши, что у него хорошие деньги есть, и полагая, что он его благоденствия помнит, взял его в долю к себе по рыбному промыслу, и они несколько времени торговали вместе. Еще до войны случилось отцу занять тысячу золотых турецких лир у одного знаменитого болгарина добруджанского Петраки Стояновича. Этот Стоянович теперь уже не просто Петра-

ки, а Петраки-бей и капуджи-баши султана; богат, как лидийский Крез, а низок так, что Хахамопуло сравнительно с ним честным человеком кажется. — Расскажу я тебе и про этого болгарского архонта, что он такое за сокровище драгоценное и откуда.

Отец его, Стоян, болгарский мужик из-под Костенджи, кажется. Я его видел. Простой землепашец болгарский, в бараньей шапке и толстых шароварах из коричневой абы.

Старик безвредный, лет ему 80, усы седые, сам худой<sup>10</sup> и смуглый, пашет сам до сих пор, деньги в землю зарывает, турок боится, а больше никого знать не хочет; всю неделю чорный хлеб с луком или перцем красным ест, а баранину жарит только по праздникам. У сыновей в Тульче редко бывает, а они к нему, кажется, никогда не ездят.

Сыновей у него двое, Петр и Марко. Оба теперь богачи и беи. Петраки, как я сказал тебе, капуджи-баши, а Марко — председатель нашего тульчинского торгового суда, тиджарета, и бич человечества в нашем городе.

Пришли они оба на Дунай в сельских путях\* и колпаках, еще молодые, но где-то в греческой школе обученные недурно, и открыли небольшую лавочку в Тульче. Было это еще до Восточной войны.<sup>20</sup>

Как они торговали? Так, как торгует всякий христиан-бакал. Не без лжи и небольшого обмана.

Это бы ничего; все мы так делаем. Но Петраки и Марко не удовольствовались такими обыкновенными доходами, но сперва приобрели они от турок много денег доносами, так что их трепетал весь город, а потом разбогатели чрезвычайно во время сосредоточения турецких войск<sup>30</sup> около Дуная различными подрядами и оборотами, поставкою сена, ячменя, рису для войска, а доносы шли своим чередом.

По окончании войны у болгарских селян в Добрудже и под Силистрией скопилось множество расписок от началь-

---

\* Деревенские шальвары.

ников различных турецких отрядов. Часто нуждаясь в деньгах, начальство турецкое забирало в долг у селян фураж для кавалерии своей и всякую провизию для солдат. Как только узнал Петраки Стоянович, что у соотечественников его собралось такое множество долговых расписок, он стал хлопотать, чтоб общины сельских болгар выбрали его для поездки в Константинополь; достиг этого; поехал; но, явившись к великому визирю, не денег потребовал, а поверг к стопам султана все расписки его верных райа...

<sup>10</sup> «ибо все эти верные подданные поручили мне изъяснить блистательной Порте живейшую радость, что общий враг московский изгнан с позором из пределов наших!» Так сказал Петраки.

Винить ли мы будем турок за то, что они с радостью приняли этот дар и дали мужичку нашему болгарскому меджилие и мундир капуджи-баши с расшитой золотом грудью?

Тогда еще больше стал расти и богатеть Петраки, сын земледельца Стояна. Взглянул бы теперь на него! Широкий, румяный, здоровый эффенди; одет щегольски; красивый эффенди, борода черная с проседью небольшою, походка важная, речь серьезная, в Париж ездил, по-французски немного стал говорить; паши его боятся, все консула визит первые ему делают, коляска у него венская, лошади — львы свирепые. «Желудок, — говорит он, — у меня теперь расстроен и печенью, к несчастью, страдаю; поэтому я не в силах посты содержать, как бы того требовали приличия для примера простому народу, ибо необразованным людям религия есть единственная узда для страстей.

<sup>30</sup> Сожалею крайне о таковом моем преждевременном расстройстве, но что делать! сам доктор Вельпо в Париже не советовал мне поститься. Прекрасный город Париж, и доктор Вельпо благороднейший человек. Европейец-человек, вполне европейец!»

Поститься уже теперь не в силах Петраки-бей. Зато нет еврейки молодой и бедной, нет служанки, болгарки сельской, хохлушки или молдаванки, которую бы он не

обольстил за деньги и не бросил бы после. Что могут слезы сироты против Петраки-бея, когда сами паши бояться иногда его интриг и тех взяток, которые он всегда в силах в Константинополе дать?

В 67-м году прошел слух, что Петраки-бея хотят князем независимой Болгарии сделать. Но и тут он успел оправдаться пред турками. У такого-то человека отец мой имел несчастье занять тысячу лир золотых!

Хахамопуло между тем захотел отделиться от отца моего, и стали они сводить счета. Отцу тогда было не под силу заплатить Петраки-бею, которого срок подошел, и он, полагаясь на Хахамопуло, перевел долг на него и удовольствовался тем, что Хахамопуло, который отцу был гораздо более этого должен, записал при нем тысячу лир для Петраки-бея в свою счетную книгу. «Заплати только ему эту тысячу лир, и остальные я прощаю тебе», — сказал ему отец. Расписки отец мой с Хахамопуло не взял. Как только объяснились между собой, тайком от отца, два злодея, болгарин и грек, так и обнаружилась их злоба, но что было делать?

— Дай мне сейчас пятьсот лир, — сказал парижанин-эффенди болгарский нашему эпирскому молодцу. — Я же тебе дам бумагу или счет особый, чтобы ты был покоен, как будто я эти пятьсот лир получил от тебя по иному торговому делу. Ты отрекайся от своего долга Полихрониадесу, ибо он от тебя не имеет расписки, а я с него свои тысячу лир судебным порядком требовать стану, ибо я от него расписку правильную имею и буду утверждать, что от тебя я не получал ничего и даже знать тебя, Хахамопуло, вовсе и не хочу. Должен же мне с большими процентами за просрочки Георгий Полихрониадес из Эпирских Загор.

Вот поэтому-то и поспешил достать себе эллинский паспорт отец мой вскоре после окончания Восточной войны. Он предпочел бы, конечно, взять русский паспорт, — тогда и это делалось легко, — но русского консульства в то время не было в Тульче, и как ни слаба Эллада, все-таки

независимое государство, думал отец мой, и может его защитить.

Много перенес он тогда мучений, и паспорт греческий, если и был полезен, то разве для предохранения жизни, на случай большой опасности, а для тяжбы, я полагаю, он сделал нам больше вреда, чем пользы. Турецкое начальство признавать его никогда не хотело; несколько раз хватали отца и сажали в тюрьму; не пускали его из тюрьмы в Загорье съездить и с нами видаться. Греческие консула  
10 постоянно менялись; падет министр в Афинах, сейчас едет новый консул, и старому нередко он враг. Надо угождать новому. Сколько раз английский консул освобождал отца из тюрьмы.

Со стороны Петраки-бея, кроме мошенничества и алчности, была еще и личная злоба на отца моего — за одно слово, которое он действительно неосторожно, быть может, и необдуманно сказал в обществе.

Тогда только что начались разговоры о том, что болгарам следует отделиться от Вселенской патриархии, иметь  
20 свои славянские школы и получить разрешение не только в северной Болгарии, но и во Фракии и в Македонии на своем церковнославянском языке петь и читать в церквях.

Отец мой был человек умеренный и справедливый и всегда говорил, что болгары в подобных требованиях правы. «Отчего им не читать и не петь везде на своем родном языке? И Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков именно для того, чтоб они проповедывали Евангелие всем народам на наречиях им понятных. Хорошо просят болгары!» — говорил мой отец.

30 Но отделения от вселенской церкви он не допускал ни под каким видом. И когда этот самый Петраки-бей однажды в доме австрийского консула выразился так:

— Этого мало, мы надеемся, что султан даст нам патриарха особого; ибо мы, болгары, ему всегда были верны и бунтовщиками подобно вам, грекам неразумным, не были и не будем!

Отец мой ответил ему, хотя и шутя, но очень обидно:

— Да! — сказал он. — И до меня дошли подобные слухи с берегов Босфора. Говорят люди сведущие и высокопоставленные, будто бы садразам предложил Вселенскому патриарху согласиться на учреждение особой болгарской патриархии, на что его святейшество изволил ответить так: «Ваша светлость согласится, конечно, что цыгане в Турции исповедуют одну веру мусульманскую с чистыми оттоманами, однако же не видал еще никакой человек, чтобы шейх-уль-ислам из цыганского шалаша был взят!...» 10

Смеялись тогда много в австрийском консульстве по поводу этой остроты моего отца; но к алчности Петракибея с того дня примешались еще и национальная ненависть, и личная досада на весь наш род.

## V

Пока мой бедный отец хлопотал и мучился на Дунае, мы в Загорах жили хорошо и спокойно.

Эпирские песни родное село наше зовут «пустынное Франгадес»... Пусть так! Но я люблю его.

Церковь у нас обширна и красива; высокая колокольная 20 подобна крепкой башне; а наш *платан совета* так велик, так широк и так прекрасен, что я в жизнь мою другого подобного ему дерева не видал.

Дом старушки нашей Евгеньки Стиловой был и не велик, и не мал, а средний. Была в нем зала большая, с колонками деревянными, а за колонками софа широкая вокруг; было довольно маленьких комнат и направо, и налево, и наверху, и внизу; и погреб был просторный, и виноградники у нас, и мулы, и овцы были свои.

Старушка наша, мать моя, я, служанка молодая и стар- 30 рый работник, только нас и было в доме, и мы жили все мирно и согласно. Коконя Евгенко была трудолюбива и весела; мать моя кротка и заботлива; служанка бедная послушна, и старик Константин, работник наш, вот был



какой человек: он сражался волонтером под Севастополем и возвратился в Турцию с крестом Св. Георгия за храбрость.

Говорили люди и смеялись над ним, будто бы он с каким-то русским писарем по окончании войны вдвоем составили аттестаты и будто бы он крест Св. Георгия просто на базаре купил...

Может быть, оно и правда; только для нашего дома Константин был очень хорош, и мы его все любили.

10     Мать моя шила, пряла сама, мыла белье; вместе с молодую служанкой кушанье нам готовили. Бабушка Евгенко с Константином в виноградниках сама работала, рыла и копала неумоимо, пшеницу для дома сеяла... Целый день в трудах и всегда веселая. Не знала она ни жалоб унылых, ни лени. Мать моя имела склонность впадать иногда в глубокую грусть и ожидала тогда печальных известий и всего худого; начинала плакать и одежду на груди собиралась себе разрывать, и на землю садилась, и восклицала: «Увы, мой бедный муж! Он умер... Съели его злые собаки, враги его на Дунае... Нет вестей от него! Нет вестей  
20     от несчастного! Ах я *чорная*, злополучная такая!.. О, проклятый, верно, был час, в который я родилась на свет...»

А Евгенко не унывала и тотчас же спешила утешить и развлечь ее... «Не проклинай, *морé* Эленица моя, дня твоего рождения! Это грех. Все пройдет и все будет хорошо, дочь ты моя... Не бойся, я тебе, старуха, так говорю!» И сядет около нее на полу же, и начнет ей рассказывать: «Яковакина жена вот то-то сделала, а Йоргакина другое сделала. Кира-Мариго утром девочку родила здоровую, толстую, дай Бог ей жить! А кира-Кириакица тетку свою  
30     обижает, кричит на нее... *бре*, ты такая, *бре*! ты ская!» И развлечется мать моя немного, и слушает, и скажет потом: «Много у тебя бодрости, вижу я и дивлюсь тебе...» А старуха ей: «У тебя, дочь, сердце узкое, а у меня широкое сердце... Оно и лучше так... А что́ бы было, если б у обеих у нас с тобой узкие сердца были?»

Крепкая была женщина бабушка добрая наша, и ты бы, глядя на простоту речей ее и на грубую старинную одежду,

на ее жесткие руки, не различил бы ее от простой работницы деревенской и не догадался бы, что она имеет хороший дом в селе и сама госпожа. Древняя и почтенная была женщина!

Все ее уважали: но и смеху с ней было довольно...

Славилась она у нас междометиями различными. На все у нее был особый возглас, особое междометие. «Есть, кокона Евгенко, вода у вас в колодезе?» — спрашивает человек. «А... а!» — и глаза закроет. Значит: «ни капли!» — «Все работаете, кокона Евгенко?» — «Гр-гр! гр-гр!» Это значит: «Все возимся, все работаем!» — «Музыка играла на свадьбе...» — «Аман, аман, что за хорошая музыка!.. *Дзиннь!*» — Значит громкая, хорошая музыка. — «Лег отец отдыхать, бабушка?» — «А, а, а!» — то есть «да, да, да!» и головой потрясет. Смешила она нас.

Когда стали появляться у нас в Эпире изредка фотографии, она ни за что не соглашалась снять с себя портрет, утверждая, что такой старой бабушке картинки с себя снимать и еще машинами и деньги за такой пустяк платить, как бы грех кажется, а уж стыд, без сомнения, великий!

Цветы она очень любила до самой смерти своей и разводить их любила около дома, и любоваться на них, и нюхать любила. Когда она стала все больше и больше стареть под конец своей жизни и уже работать перестала, а почти все сидела или лежала на диване, летом у окошка открытого, зимою у очага, ей домашние люди не забывали приносить иногда душистые цветы, и если цветок был не велик, она клала его себе в нос. — «Бабушка Евгенко, зачем вы цветок в нос себе положили?» — «А затем, море, человеке ты неразумный, затем, что руки у меня старые и работать устали всю жизнь мою! Держать рукой я цветок не хочу, а запах его хочу обонять... Понял ты теперь, человеке...»

И все уже знали, что она ответит так, но все хотели слышать ее занимательные ответы.

Скажу тебе еще вот что. Кокона Евгенко наша не только была трудолюбива, забавна и весела; она была и смелого нрава. Ты слышал, какой беспорядок царствовал в крае нашем во время Восточной войны?.. Я писал тебе уже о том, как боялся отец мой отправить нас с матерью тогда с Дуная в Эпир. Он очень тревожился и за старушку и не раз писал ей, чтоб она уехала из деревни в Янину и жила бы там, пока не кончится война и восстание. Но она всем говорила: «Кто старую такую, как я, обидит? А если и убьют... Так ведь Харон \* везде человека найдет! Сказано, что съезжает Харон с гор отуманенных и влачит с собою старых людей впереди, а сзади молодцов молодых, а деточек, нежных ребяточек, рядышком, рядышком на седле везет! Вот что!» С большим трудом уговорил ее брат ее, доктор Стилов, чтоб она с ним вместе уехала на это время в город. В городе казалось безопаснее. По возвращении нашем с Дуная мы узнали, отчего ей так не хотелось покидать дом свой. И этому причиною главной была ее любовь к отцу моему и матери, и ко мне. У нее в темном углу конюшни было зарыто в землю золото — лир двести с лишком. Собрала она их за многие года и зарыла сама. Место знал один только отец мой. Одною темною ночью приснилось ей, что на этом месте огонь горит, горит, горит и гаснет. Она испугалась, сошла туда и до рассвета со страхом великим трудилась и перенесла с молитвами деньги на иное место. И все ей казалось с тех пор, что все люди догадались и стóит ей только уехать, так сейчас и откоют деньги эти и после смерти ее не найдет ничего отец мой и скажет: «вот злая старуха обманула меня». Боялась она и брата своего Силова, хотя он и добрый был человек. «Семьянин-человек, — думала она, — свои дети есть; я же ему сестра, а Эленица (мать моя) чужая мне по роду, вдова сына моего сердечного!»

---

\* Память о языческом Хароне сохранилась у христиан Эпира. Они часто употребляют слово *ὁ Χάρος* (о Харос) вместо слова *Смерть*. Есть много и песен деревенских о Хароне, или о Смерти.

Писать Евгенько сама не умела, кому доверить тайну, чтоб отца моего известить и указать ему заочно новое место, где теперь деньги? Этим она мучилась долго. И решилась она в Янину к брату ехать тогда только, когда во всей соседней Загорам Куренде села христианские загорелись. В Куренде порядок иной, чем в наших Загорах... Куренда место земледельческое, земля там менее гористая; а народ там беден, потому что собственности у него нет. Земля беям принадлежала, и ее крестьяне пахали. Во всем округе одно только и есть село богатое, свободное. Это село — 10 прекрасная белая Зица, у подножья высокого холма, воспетого самим лордом Байроном.

Когда крестьяне бедных сел в Куренде восстали и убежали на высокие горы с женами и детьми своими, рассказывают у нас, будто бы богатые зициоты предали их и подали туркам мысль зажечь в долинах все дома, все жилища восставших людей.

Ужаснулись люди и, спустившись с неприступных высот, поклонились туркам и получили помилование от них. 20

Вот только тогда, когда загорелись все эти бедные села несчастной нашей Куренды, Евгенько решилась уехать в Янину к брату.

Бог спас старушку! У Гриваса в охотниках была, конечно, вместе с добрыми патриотами и всякая сволочь, жадная, бесстрашная, свирепая. Эта сволочь не гнушалась грабить и христиан, когда в чем-нибудь нуждалась.

В той самой песне эпирской, в которой родное село наше названо *пустынное Франгадес*, поется о подобном грабеже и нападении на христианские дома. 30

«Ты пой, кукушечка, ты пой, как распевала прежде».

— Я что спою? и что скажу? Какую речь держать я буду?

Вот Какаранца \* на горах, на самых на верхушках,

Собрал все войско он свое и всех своих албанцев.

Ножи у них дамасские и ружья все готовы.

---

\* Какаранца — капитан, начальник повстанцев или грабителей.

«Ребята, вы не бойтесь, ни капли не страшитесь!  
Железо вложим в грудь, как сталь пусть будут ноги;  
И айда грабить мы пустынное Франгадес!»  
И Костарас \* сказал тогда, так Костарас им молвил:  
«Идите вы себе, а мне нельзя в Франгадес,  
Там у меня двенадцать братьев есть...  
Клялись мы на Евангелье...  
И крестник есть, еще дитя; его зовут Дмитраки».  
И собрались они, идут, поднялись все разом;  
10   Середь села привал, и в колокол звонили;  
Сзывали архонтов, всех архонтов собирали.  
«Поклон вам, архонты!» «Здоровье вам, ребята.  
Откуда, молодцы? И путь куда ваш будет?»  
«Начальник нас прислал на подвиг за свободу!»  
Тут кир-Георгия они, Бинбука \*\* тут схватили...  
«На ваши на дома напасть прислал нас Федор Гривас!»

Да, истинно Промысл спас нашу старушку!

Другую хозяйку и соседку нашу беременную убили гра-  
бители, раздраженные подозрением, что она не хочет вы-  
20   дать им мужнины деньги! А она, несчастная жертва, и не  
знала, где деньги: муж не открывал ей своей тайны!

И в наш дом входили; взяли некоторые покинутые ве-  
щи и деньги искали в амбаре и в конюшне; но деньги  
Евгенко решила с собой увезти, и что бы случилось с нею,  
если б она не уехала!..

Итак, родные мои жили заботливо и трудились, а я хо-  
дил в школу. Мальчик я был тогда, скажу тебе по совести,  
тихий и благочинный; принимал участие в играх охотно; но  
к буйству и отважным шалостям я не был расположен. На  
30   ученье я не был ленив, и память у меня была хорошая.

По желанию отца меня рано взяли петь в церкви с пев-  
чими, и скоро я сделался любимым *анагностом* \*\*\* свя-

---

\* Костарас — то же, что и Какаранца.

\*\* Кир-Георгий Бинбука — какой-нибудь сельский богач, ограбленный охотниками Гриваса.

\*\*\* Анагност — чтец. На Востоке та часть церковной службы, которая у нас предоставлена дячку, обыкновенно исправляется юношами или детьми, нередко из богатых семейств.

щенника нашего отца Евлампия. Читал Апостола я искусно и громко; сразу, как только первый раз вышел, не сбивался ни в каком порядке, не забывал земные поклоны класть, когда нужно при чтении; знал годам к пятнадцати уже многое на память и особенно любил Великим Постом читать громко с выражением и чувством последнюю молитву вечера, молитву ко Христу, Антиоха Пандékта... «И дай нам, о Бог наш, ум добрый, целомудренные мысли, трезвое сердце и легкий сон, свободный от всякой лживой фантазии!...»

Отец мой знал из писем о том, какой я *анагност* хоро-<sup>10</sup>ший вышел и как скоро. Он сердечно утешался этим и писал нам с Дуная: «А сына моего Одиссея благословляю и радуюсь тому, что он преуспевает в церковной диаконии и псалмопении. Похвальное и честное дело; ибо и в древней Византии дети и юноши, сыновья сенаторов Императорских и иных великих архонтов, считали за честь и удовольствие быть чтецами в Божиих храмах!»

Так одобрял меня отец, и я этому радовался и еще громче, еще старательнее читал и пел.

Мирно, говорю я, текла наша семейная жизнь в горах,<sup>20</sup> день тихо убегал за днем... праздники церковные и трудовые будни; веселые свадьбы изредка, училище, молитва; упорный труд у стариков, у нас игры; слезы новых разлук у соседей; возврат мужчин на родину, радость старых отцов и матерей; иногда печальный слух о чьей-нибудь кончине; ясные дни и ненастные; зной и дожди проливные; снега зимой грозные на неприступных высотах и цветочки милые, алые, желтые, белые, разные, загорские родные цветочки мои, весной по зеленой травочке нашей и в бабушкином скромном саду.<sup>30</sup>

Я рос, мой друг, и ум мой и сердце мое незримо и неслышно зрели.

Яснее видел я все; пробуждались во мне иные чувства, более живые.

Я начинал уже думать о будущем своем. Я спрашивал уже себя, от времени до времени, какая ждет меня судьба на этом свете?

И что́ на том?... Что́ там, за страшною, за безвозвратною ладьей неумолимого Харона?

Я начинал все внимательнее и внимательнее слушать беседы и споры опытных и пожилых людей.

И здесь, в горах Эпира, как и на Дунае, великая тень державной России незримо осеняла меня. Прости мне! Ты хочешь правды, и вот я пишу тебе правду.

Эллада! Увы! Теперь Эллада и Россия стали для души нашей огонь и вода, мрак и свет, Ариман и Ормузд.

<sup>10</sup> — Смотрите, — восклицает пламенный грек, — смотрите, православные люди, русские возбуждают болгар к непокорности и схизме. Вы слышали, эллины, об ужасном преступлении, совершившемся недавно в одном из соседних домов? Молодой сын, в порыве нечеловеческого гнева, поднял святотатственную руку на собственную мать свою. Не мать ли русскому Православию наша Вселенская Церковь? Не она ли просветила древнюю Россию святым крещением? Не она ли исторгла русских из мрака идолослужения?... И эта Россия, лучшая, любимая дочь нашей великой, гонимой матери, нашей святой Восточной и Вселенской Церкви, она... страшусь вымолвить...

<sup>20</sup> Да, мой добрый и молодой афинский друг! Слышу и я нередко теперь такие пламенные речи. Но не радостью наполняется мое сердце от подобных речей. Оно полно печали.

Кто прав и кто не прав, я не знаю: но, добрый друг, дорогая память детства имеет глубокие корни... И ум наш может ли быть вполне свободен от влияния сердца?

<sup>30</sup> И тогда, когда я еще невинным мальчиком ходил с сумкой в нашу загорскую школу, уже замечалось то движение умов, которое теперь обратилось в ожесточение и бурю.

Учитель наш, г. Несториди, суровый и сердитый, воспитался в Греции и не любил России. Священник наш отец Евлампий, веселый и снисходительный, иначе не называл Россию, как «святая и великая Россия». Брат нашей доброй бабушки, врач Стилов, одетый по-старин-

ному в дула́мá и джюбé,\* поддерживал отца Евлампия в долгих спорах, зимой по вечерам у нашего очага, летом у церкви, в тени платана, где к ним тогда присоединялись и другие люди.

— Благодаря кому мы дышим, движемся и есьмы? — говорил отец Евлампий, обращаясь к Несториди. — Кем, — продолжал он, — украшены храмы Господни на дальнем Востоке? Не Адрианопольским ли миром утвердилась сама ваша Эллада, ныне столь свободная?.. Молчи, несчастный, молчи, Несториди!.. Я уже чтецом в церкви здешней был, когда тебя твоя мать только что родила... Ты помни это.

— Так что́ ж, — говорил ему на это Несториди. — Если ты тогда чтецом был, когда меня мать родила, так значит и панславизма опасаться не следует... Доброе дело, отец мой!

— Нет, Несториди, я этого тебе не говорю. Но у тебя много злобы в речах, — отвечал отец Евлампий и смущался надолго, и не находил более слов.

Он был умный и начитанный человек, но у него не было вовсе той ядовитости, которую легко источал Несториди в своих ответах. «Чулок дьявола самого этот человек!», так звал учителя нашего добрый священник, хотя они были дружны и взаимно уважали друг друга.

На помощь отцу Евлампию выходил, как я сказал, нередко наш старый загорский доктор, брат нашей бабушки Стиловой. Он был силен тем, что приводил тотчас же примеры и целые рассказы о былых временах.

— Позвольте мне, господин Несториди мой милый, — начал он убедительно и ласкательно (и, слушая его тихую речь, смягчался и становился иногда задумчив наш грозный спартанец), — позвольте и мне, простому и неученому старичку, вымолвить свое немудрое слово. Был я не дитя тогда, когда сподобил меня Божий Промысл узреть

---

\* Старинная восточная одежда; разноцветная, широкая и длинная, наподобие рясы и подрясника.



этими своими глазами, которые вы видите, великое событие, а именно вступление войск российских в Адрианополь. Было мне уже двадцать с лишком лет тогда, и я жил на чужбине во Фракии, и видел, и слышал там плач и скрежет зубов. Видел я своими вот этими глазами, как трепетал тогда грек, как не смели женщины выйти на улицу без *фередже* и покрывала, и если *фередже* на христианке было зеленого цвета, то разрывали на ней это зеленое *фередже* турецкие женщины в клочки и били ее, чтобы не смела она носить священного мусульманского цвета. Не осмеливались тогда женщины наши выходить и за город на прогулку. Видел я, как в двадцать первом году влекли на убой адрианопольских архонтов, милый мой господин Несториди! Слышал я вопли жен и детей их невинных; видел, как янычары повергали стариков за волосы ниц пред дверьми собственных их жилищ и отсекали головы христианские ятаганами.

И не было, скажу я вам, у христиан тогда ни друзей, ни заступников. Жили и торговали тогда в Адрианополе некоторые богатые франки (их много и теперь); но и они не любили и не жалели нас, и когда привлекаемые воплями христиан жены и дети этих франков бежали к окнам со страхом, отцы-франки успокаивали их, говоря с равнодушием: «Это ничего. Греков режут!» И жены их возвращались спокойно к своим домашним трудам, и дети франков предавались обычным играм, господин Несториди! Тогда-то блаженной памяти Император Николай Всероссийский решился *двинуть* войска свои на султана (продолжал старик, одушевляясь и вставая). — Да успокоит Господь Бог в жилище присноблаженных его высокую и могучую душу!.. Тогда!.. Слушайте!.. Смотрите, Адрианополь стоит северною частью своей на высотах... За высотами этими широкая равнина, и течет извиваясь Тунджа, небольшая река... Смотрите, и теперь все так же. Вот здесь, направо, большие деревья Эски-Сарая. Две древние башни у реки, стена высокая, а за ней старый дворец султанов. А тут налево, подальше, большая казарма для солдат, давнишняя

казарма, и за казармой этой поле и холмы. Никто не ждал русских в нашей стороне. Турки не спешили укреплять город, и войска в казармах было мало. Под Шумлой, все знали, стоял корпус турецкий в 60 000 человек; надо было одолеть его, чтоб идти дальше. Иначе судил Божий Промысл. Не спешили турки; однако велел паша весь народ сгонять за город, чтобы копать окопы. Себе приказал поставить шатер поблизости и приезжал глядеть на работу. По его приказанию приезжал и митрополит благословлять христиан и возбуждать их усердие. Работали христиане усердно от страха... Вот однажды, — друзья мои, слушайте... однажды утром рано, день был светлый, вышли мы к Эски-Сараю; вышел и я. Стоял около меня с лопатой один старик христианин и смотрел долго вдаль. «Гляди!» — сказал он им. — Я взглянул налево... О, Боже мой! Чорная пыль поднималась вдали за Тунджей. Больше все, больше. Смотрю, уже и сверкнуло там и сям что-то на солнце... Старик побледнел; задрожал и я... Хочу сказать слово ему, и руки дрожат, и ноги слабеют, и голоса нет у меня, несчастного! Старик положил лопату и сказал мне: «Пойдем к деспóту». «Деспот мой! — говорит он митрополиту, — клянусь тебе хлебом моим и душой моей матери, что пришли к нам русские...» Как огонь стал митрополит наш, спешит к шатру паши и говорит ему: «Паша господин мой! Позволь мне потревожить тебя... Все мы в опасности нынче, райя султанские, от злых московов; чò за войско, паша господин, идет сюда с северной стороны?» Вышел паша из шатра своего... Глядит... Чò глядеть... Уже казаки с пиками едут, красуясь, по холмам и дороге... А пыль чорная все гуще и ближе... И вот раздались крики, и безоружные солдаты турецкие в испуге стали выбегать из ворот и кидаться из окон казармы, и спасаться в город. Один миг — и вся толпа наша огромная побежала туда же. Паша сам скакал верхом, и слуги его, и офицеры в ужасе, не разбирая, попирали народ. Турки, христиане, евреи, старцы и дети, — все бежали в город вместе. И я бежал. Да, Несториди, страшно было тогда и

туркам и нам... Нам отчего? — ты спросишь. А оттого нам было страшно, что страх и трепет был нам привычен, как хлеб насущный, и не умели мы верить тогда, что есть на свете сила сильнее грозной и безжалостной силы наших тиранов. Вот отчего я и говорю: «Да помянет Господь Бог в жилище присноблаженных державную душу Императора Николая!» Не видали вы, как видели мы, крови отцовской, не слышали вы воплей родительских, не знаете вы теперь, вы, которые смолоду жили в Афинах, настоящего <sup>10</sup> страха турецкого, господин Несториди, и не пустила в гордые сердца ваши благодарность глубокие корни.

И садился старик, отдыхал немного. И Несториди молчал, слушал доброго старика. И не мешал ему отдыхать.

Потом старик Стилов начинал опять свой рассказ, и по мере того, как изображал он торжество русских, светлело лицо его, и речь его становилась все веселее и теплее.

— И вот, эффенди мой, вступили русские войска. Внутри города и до сей поры целы бесполезные ныне и <sup>20</sup> старые стены крепости; и теперь этот центр зовется «Кас-тро», и живут в нем христиане и евреи. Улицы там узки и дома высоки. По этим улицам, по двое в ряд, стояла кавалерия до самой митрополии. Уланы на рыжих конях. Архистратиг Императорский, граф Дибич-Забалканский, хотя и был протестант (как с сокрушением сердца и с удивлением немалым узнали мы все позднее), однако присутствовал сам, во множестве царских крестов и всяких отличий, на торжественном богослужении в митрополии нашей и соизволил исполнить все приличия и обряды, свойствен- <sup>30</sup> ные Православию: целовал он руку деспота нашего и прикладывался ко святым иконам. И это ему сделало у нас в народе великую честь. Дивились люди наши только его безобразию и неважному виду. Митрополит наш был вне себя от восторга, и когда мы к нему накануне пришли и сказал ему один из архонтов: «Добрый день, святой отче!» — «Чтò ты! — воскликнул епископ. — Чтò ты? Так ли ты знаменуешь великую зарю нашей свободы!.. Хрис-

тос воскресе! скажи... Христос воскрес!» — и со слезами поднял он руки к небу, повторяя: «Христос воскрес!» И мы все ему вторили: «Воистину, воистину воскресе, отче святой, хорошо ты сказал! Воистину Господь наш воскрес! И Православию ныне праздник из праздников и торжество из торжеств!»

Долго стояли у нас русские. Христиане все ободрились. Женщины стали выходить смелее на улицу; люди наши начали ходить туда, куда и в помыслах прежде хаживать не осмеливались. Около предместья *Ені-Марёт* не смели, 10 бывало, проходить христиане; турки их крепко бивали за это. Почему? И сам я не знаю. Стали при Дибиче и туда дерзать. Иные грозили мезтью туркам. Глядеть глазами иначе начали, руками стали больше махать. Я и сам стал, по молодости моей тогдашней, ощущать иные чувства в сердце моем и проходил мимо турецких домов, по моему неразумию детскому, с такою дерзновенною гордостью, как будто бы я сам перешел Балканские горы и завоевал всю Фракию у султана. А после, когда ушли благодетели 20 наши, перестал и я тотчас же руками махать и сложил их почтительно под сердцем, и полы опять стал смиренно запахивать, и очи опустил поприличнее долу... Да, недолго продолжался наш первый пир. Начал Дибич с того, что успокоил всячески испуганных турок, приставил стражу к мечетям, дабы никто из нас или из русских не смел тревожить турок в богослужении и в святыне их; повелел всем нам объявить, что всякое посягательство на мусульман, и месть наша всякая, и обида им будет наказана строго. И, посетив митрополита, он в присутствии старшин так объявил ему: «Государь Император мой не имеет намерения 30 ни удержать за собой эти страны, ни освобождать их изпод власти султана. Цель наша была лишь дать понятие туркам о могуществе нашем, принудить их исполнять строже обещанное и облегчить вашу участь. Не враждайте теперь с турками, не озлобляйте их против себя, вам с ними опять жить придется; старайтесь, чтоб у них добрая память осталась за время моего присутствия о вашей уме-

ренности. Мы уйдем — это неизбежно, но будьте покойны! Отныне участь ваша будет облегчена». Так говорил архистратиг российский, и митрополит и старшины слушали его в ужасе и грусти за будущее. Однако Дибич правду сказал: «отныне участь ваша будет облегчена». Да, Несториди, с тех пор каждый турок фракийский понял, что есть на свете великая православная сила, и наше иго с тех пор стало все легче и легче.

Такие рассказы старика Стилова я слушал с восторгом.  
<sup>10</sup> И зимой по длинным вечерам еще охотнее, чем летом в тени родимого платана.

В доме у нас есть зимняя комната с большим очагом. Это моя любимая комната, и я недавно велел обновить ее по-старому, так, как она была прежде. Она не очень велика; по обеим сторонам очага стоят низкие, широкие, очень широкие две софы во всю длину стены и покрыты они тою яркою пурпуровою шерстяною и прочною тканью, которую ткут в Болгарии и Эпире для диванов нарочно. Стены этой комнаты простые белые и чистые, пречистые, как всегда в нашем доме они бывают; а против очага дулапы \* в стене, и решеточки, и полки по стене узенькие во всю комнату кругом, и окна, и двери, все окрашено зелеными полосами и трехугольниками, и еще такого цвета, какого бывают весенние маленькие цветки, в тени благоухающие, по-турецки «зюмбюль».

Вот в этой комнате была у нас как будто бы сама Россия! Лампада в углу теплилась пред золотыми и прекрасными русскими иконами; была одна из этих икон Божия Матерь Иверская, дивный, божественный лик! Но-  
<sup>30</sup> вой живописи московской, но по древним образцам; лик, исполненный особой кротости и необычайно красивый; за золотым венцом ее был укреплен другой венец из ярких роз самой восхитительной работы, какая-то особая пушистая зелень, как бархат нежная, и на цветах сияли капли

---

\* Шкапы в стенах; когда они хорошо расписаны или покрыты искусною резьбой, то они очень украшают комнату.

искусственной росы. Теперь венки этот снят от ветхости, но мне было неприятно знать, что Божия Матерь наша без него, и я послал недавно отсюда новый венок такой же на Ее святое чело.

На белых стенах этой комнаты висели картины. Портрет Государя Николая I и его ныне столь славно царствующего сына. Оба, ты знаешь, что за молодцы на вид и что за красавцы!

На картинках других ты видишь коронацию Александра II в Москве, его шествие с Царицей в митрополию Кремля с державой и скипетром, видишь победу при Башкадык-Ларе и взятие турецкого лагеря еще при князе Паскевиче-Эриванском. Турки одеты тогда были иначе: в высоких и узких шапках убегает их кавалерия стремглав, напирая друг на друга сквозь теснину, а русские с обнаженными саблями мчатся на них. Посреди картины молодой казак хватает за грудь рукой самого пашу, у которого на красивом мужественном лице изображена прекрасно смесь испуга и решимости. Он думает еще защищаться, старый янычар не хочет отдаться легко; он спешит выхватить пистолет из-за пояса. Но... ты уже понимаешь, что это тщетно! Он пленник, и его отвезут на смиренное поклонение Царю в Петербург.

Не была забыта у нас и Эллада! О, не думай ты этого. В нашем доме увенчаны были цветами любви нашей обе дочери эти великой православной матери нашей, Церкви Восточной, и старая дочь, полная северной мощи, и юная наша Греция, которая любит себя в голубые волны южных морей и цветет, разнообразно красуясь на тысяче зеленых островов, над мирными и веселыми заливами, на крутизнах суровых и бесплодных вершин.

В нашем доме, в сердцах наших, не разделяясь враждебно, цвели тогда любовью нашей эти прекрасные обе ветви.

Победы блестящего князя Паскевича не затмевали подвигов нашего великого и простого моряка Канариса, и Царь Николай взирал, казалось мне, с сожалением и благоск-

лонностью, как на другой стене умирал у нас Марко Бóцарис в арнаутской одежде, склонясь на руки своей верной дружины.

Вот в этой родительской и старой комнате, в ней самой и отец мой лежал больной когда-то и полюбил впервые мою мать. Зимой, темным вечером, когда ветер шумел в долине, или падал снег в горах, или лился скучный дождь, мы зажигали приветный и широкий очаг наш, и отцовские друзья приходили одни или с женами и вели у очага дол-  
10 гую беседу. Мать моя и старая Евгенко пряли и вязали чулки и молча слушали мужчин.

Слушал и я старика Стилова с восторгом, и раннюю жизнь сердца, мой добрый афинский друг, поверь мне, не заменит ничто, и никакой силе лживого разума не вырвать с корнем того, что посеяно было рано на нежную душу отрока.

## VI

Я уверяю тебя, что и Эллада не могла быть забыта у нас.

Забуть Элладу! Возможно ли было забыть ее, когда на  
20 нас так грозно и умно глядел из-под густых бровей наш патриот Несториди?

Как я боялся сначала и как после любил и почитал этого человека!

И он с каждым годом, с каждым шагом моим на пути первых познаний становился все благосклоннее и благосклоннее ко мне, отдавая справедливость моим способностям и прилежанию.

Позднее еще, когда в Янине у меня открылся небольшой поэтический дар, Несториди первый ободрил меня и  
30 не раз тогда проводил он со мною целые часы в дружеской беседе, прочитывал мне отрывки из древних поэтов и объяснял мне все неисчерпаемое богатство нашего царственного языка, который пережил такое дивное разнообразие событий, подчинялся стольким чуждым влияниям и возно-

сил ся всякий раз над всеми этими влияниями, овладевая вполне духом века и присвоивая его себе.

Несториди был наш загорец из небогатой семьи; отец его, почти столетний старец, и теперь еще живет, бродя кой-как с палочкой и греясь на солнце в дальнем селении Врадетто, которое стоит на неприступных каменных высотах, у берегов горного, холодного и безрыбного озера.

Несториди в детстве пас овец и часто спал, завернувшись в бурку, под открытым небом. Потом отец взял его домой и обучил немного грамоте. Проезжал тогда через Врадетто один богач загорец из Молдо-Валахии. Остановился отдохнуть и вышел под вечер прогуляться с друзьями. На небольшой полянке он увидел толпу играющих детей. Играли они в игру, которая зовется у нас *клуцб-скуфица*.\*

Дети становятся в круг; один снимает с себя бумажный или валеный колпачок или феску, и все на лету должны успеть ударить ее ногой так, чтоб она дальше и дальше летела.

Богатый загорец сел на траву и любовался. Он лет двадцать уже не был на родине и не мог вдоволь насытиться радостью, глядя на веселье и крики загорских детей.

Сын старика Нестора превосходил всех других мальчиков красотой, энергией и ловкостью. Смуглый, курчавый, румяный и стройный, в бедной куцо-влашской одежде, в синих шальварчиках, в белом валеном колпачке, этот мальчик прыгал как олень молодой, глаза его сияли; он ни разу не промахнулся, и быстрые движения его были так сильны, что иные товарищи его падали на землю, когда он и нечаянно отталкивал их.

— Какой паликар и что за бравый мошенник! — говорил про него купец.

Священник сказал, что он к науке способен.

Потом, когда проезжий спросил у детей, кому из них дать в подарок деньги для всех и кто из них разделит эти

---

\* Бросаю шапочку.



деньги честнее, дети все в один голос избрали маленького Несториди.

Тогда купец сказал: «Он и паликар, он и мошенник, он же и честный! Человеком будет!» И предложил отцу отвезти его в янинское училище и устроить его там на общественный счет.

Отец с радостью согласился, и Несториди уехал с своим благодетелем сперва в Янину, а потом в Афины.

10 Тотчас по приезде нашем с Дуная я подружился с маленькими дочерьми учителя и очень любил бывать в их скромном и чистом жилище. Оно и недалеко было от нашего дома.

Жена его, кира-Мария, была еще молодая, кроткая, смиренная, белокурая, «голубая», как говорят иногда у нас, но не слишком красивая. Он очень ее любил, но принимал с ней почти всегда суровый вид. Она знала, что он ее любит, и была покорна и почтительна. В семейном быту он был древний человек и не любил свободы. «Я деспот дома! В семье я хочу быть гордым аристократом!» — восклицал  
20 он нередко и сам.

Жена стояла перед ним до тех пор, пока он не говорил ей: «Сядь, Мария!» Она ему служила, подавала сама гостям варенье и кофе; сама готовила кушанье, сама успевала дом и дворик подмести.

И дочерей своих, и нас, учеников, Несториди за шалости и лень бил крепко иногда и замечал при этом, что «палка из рая вышла. Но надо бить без гнева и обдуманно, ибо в гневе побои могут быть и несправедливы и ужасны».

30 Жена, впрочем, своими просьбами нередко умела смягчать его. У нее было много сладких и ласкательных слов.

— Учитель ты мой любезный! — говорила она ему, складывая пред ним руки. — Очи ты мои, золотой мой учитель, кузум-даскала! барашек ты мой! Отпусти ты это дитя домой не бивши. Я, твоя жена, прошу тебя об этом. Жалко мне, прежалко видеть эти детские слезы.

И он уступал ей.

Сам Несториди одевался хотя и бедно, но по-европейски и носил шляпу, а не феску, потому что был греческий подданный, а не турецкий. Но жене не позволял менять старинного платья, и она покрывалась всегда платочком и носила сверх платья толстую нашу загорскую *абу* без рукавов.

Кира-Мария, бедная, не родила ему ни одного сына. Несториди жаловался на это и был прав, потому что в Эпире без хорошего приданого очень трудно выдавать дочерей.

Мать моя однажды спросила у него:

10

— Здорова ли супруга ваша кира-Мария?

Несториди с досадой ответил:

— Чтò ей делается! Собирается новую девчонку родить!

— А может быть, и сына? — сказала мать.

— Куда ей сына родить!

Был тут и доктор Стилов, старик, он ласково сказал Несториди:

— Это все оттого, что вы, господин Несториди, очень страстный *эрос* к молодой супруге питаете. Сила чувства на вашей стороне, оттого женский пол и рождается. Это и наукой замечено нашей. <sup>20</sup>

Несториди покраснел и сказал сердито:

— Если это истинною наукой открыто, — иной разговор, а если *вашею* наукой загорских врачей, которых университет тут недалеко в пещере воздвигнут, так уж позволь мне не верить этому открытию.\*

Добрый старичок Стилов заметил ему на это недурно, что и пещера не вредит.

— В пещере любит пребывать сова, птица Афины, богини премудрой. Вот чтò, друже ты мой! <sup>30</sup>

---

\* Загоры, между прочим, славились прежде своими врачами-эмпириками. Они продолжают и теперь лечить в Турции. Есть между ними, конечно, и способные люди, полезные своим опытом. Над загорскими докторами смеются, утверждая, что они обучались в большой пещере, в *Загорском университете*.

А мать моя тогда сказала учителю:

— За что вы, учитель, сердитесь? Разве стыдно эрос иметь к законной супруге? Она же у вас хоть и ростом маленькая, но весьма приятная кирия и всякому человеку понравиться может.

— Великая приятность! — возразил Несториди. — Нашли что хвалить! «Что стоит рачок морской и много ли в нем навару?» Забыли вы эту пословицу греческую? Вот что такое жена моя.

<sup>10</sup> Стыдился Несториди таких разговоров искренно, но досадовал он больше притворно, ибо жену свою он точно что от всего сердца любил. *Нежностей* только не *вмещала душа* его никаких, так он и сам выражался.

Да! В семье он был патриархальный властелин и «муж как надо быть мужу: будь нравственен, супруг; будь сам целомудрен и к жене справедлив, но строг; жена сосуд слабый». Но для государства он был демагог вне всякой меры и часто объяснял свои чувства так: «Не постигает мой ум и никогда не постигнет, почему кто-либо другой будет выше <sup>20</sup> меня по правам. Ум и сила воли — вот моя аристократия, вот мой царь, вот власть и права! Других я не знаю!»

Несториди был очень учен для простого сельского учителя; знал превосходно древний эллинский язык, недурно итальянский, понимал немного и французский, но говорить на нем не мог.

Он издал не так давно в Афинах довольно большой труд, «Хронографию Эпира», где старался быть сжатым и ясным, как некоторые историки древности; собирал пословицы наши народные и записывал сельские песни. Прочитывая громко эти песни, он иногда бранил греков за то, <sup>30</sup> что европейцы будто бы лучше их умеют ценить подобные произведения простонародного творчества, или, указывая тайком на отца Евлампия, прибавлял при нем с намерением: «Да! Немцы, например, потрудились много, а вот русские-то ничего этого, я думаю, и не знают! Замерзли там в лесах и болотах и ничего о греках не смыслят. Торгуют греки, хитрый народ... А поэзия наша?.. Не спрашивай!»

Отец Евлампий знал, что он для него это говорит нарочно, и отвечает, бывало, с упреком: «Неразумное я дитя тебе, что ты дразнить меня будешь?» Или с досадой: «Яд ты опять источаешь свой?» Либо еще: «Немцам дела лучшего нет, как твои разбойничьи песни собирать, а русским не до них. У них дело есть, как свое царство хранить, как Богу молиться, как мудрым правителям своим подчиняться!»

— Так, так, святы́й отче! — возражал учитель. — Я давно ожидаю, когда это вы, попы и монахи, совсем нас, греков, погубите. <sup>10</sup>

Несториди умел очень искусно пробуждать в учениках своих патриотические чувства и пользовался всяким случаем, чтобы напомнить нам, что мы эллины!

Когда ученик его смотрел на карту и отыскивал скромные пределы нынешней Эллады, он любил спрашивать: «Да! А не помнишь ли ты, до каких пределов простиралась македонская власть, просвещенная эллинами, а потом Византия, просвещенная чистою верой Христа?»

Рука ребенка уходила далеко до гор Кавказа, к истокам Нила, к диким дакийским берегам. <sup>20</sup>

Глаза других детей следили за рукой товарища, и причулась постепенно вослед за взорами летать и мечта.

Когда мы пред ним перечисляли народы, которые населяют Турецкую Империю, он не забывал и тогда напомнить нам, *что́ такое греки*.

Он спрашивал у нас: «какой из всех народов Турции способнее и к воинским подвигам, и к науке?» Мы спешили отвечать: «Христиане». И Несториди соглашался... «Да! Христиане... то есть ты хочешь сказать этим — греки. <sup>30</sup> Греки, скажи, способнее всех».

Иначе стал говорить он нам, когда мы выросли большие.

Я помню, позднее, когда мы оба с ним, — я учеником, а Несториди наставником, — жили вместе в Янине, он обращался с такою речью:

— Несмотря на тяжкие условия, о коих распространяться здесь нет нужды, византийское просвещение про-

должало, подобно живородящему источнику, струиться в тени и питать корни новых всходов. Болгары, молдаване, валахи, сербы, русские обязаны всем духовным существованием своим одним лишь остаткам греческого просвещения, которое не могло стереть с лица земли никакое жесточайшее иго. Два раза цвел эллинский народ; он дал сперва миру бессмертные образцы философской мудрости, искусств и поэзии, и потом, оживленный духом учения Христа, он благоустроил Православную Церковь, утвердил

<sup>10</sup> незыблемый догмат христианский и оставил в наследство человечеству новые образцы красноречия и возвышенных чувств в проповедях святых отцов и в гимнах богослужения, в этих греческих гимнах, воспеваемых с одним и тем же восторгом, с одною и тою же верой в снегах сибирских и в знойных пустынях Сирии и древнего Египта, в роскошных столицах, подобных Афинам, Москве, Вене, Александрии, и в самом бедном селе воинственной Черногоории, в диких Балканских горах и в торговом Триесте!

<sup>20</sup> Помните, что весь мир, все человечество обязано грекам до скончания века почти всем, что у человечества есть лучшего: вечными образцами воинской доблести Леонидов и Фемистоклов, философской мудростью Сократов и Платонов, образцами прекрасного в созданиях Софокла и Фидия и, наконец, как я вам сказал уже, воздвижением твердых, незыблемых основ святой Церкви Православной нашей, одинаково приспособленной к понятиям и чувствам мудреца и простейшего землепашца, царя и нищего, младенца и старца. Вы меня слушаете теперь внимательно, — прибавляя он нередко, — но я знаю, что вы еще не в силах понять

<sup>30</sup> вполне то, что я вам говорю... Придет время, когда все это будет вам гораздо яснее... Вы поймете, когда будете старше, почему мы, эллины новейшего времени, вызванные в третий раз к новой жизни трудами Кораиса, мученической смертью патриарха Григория, кровавыми подвигами стольких героев Акарнании, островов и нашего прекрасного Эпира, почему мы вправе надеяться на будущее наше и на то, что мы третий раз дадим вселенной эпоху цвета и

развития. Малочисленность племени нашего пусть не смущает вас. Рим, объявший постепенно весь мир, начался с небольшого разбойничьего гнезда на берегах Тибра, с городка, который, вероятно, был беднее и хуже нашего Франгадес; Россия имела, лет двести-триста тому назад, не более шести или семи миллионов жителей, по мнению некоторых германских статистиков, и вы видите, чем стала теперь эта Россия, — Россия, которой народ не мог сравниться с нашим по природным способностям своим, по гордой потребности свободы, по энергии и предприимчивости. 10

Так говорил нам Несториди, когда мы стали велики. Скажи мне, могли ли мы при нем забыть свободную Грецию? Теперь Несториди давно уже уехал из Эпира. Он ездил с тех пор два раза в Германию. Он стал приверженцем Турции; живет у берегов Босфора, и прежняя подозрительность его против славян обратилась постепенно в яростное ожесточение. «Схизму, схизму нам! — восклицает он, — чем дальше от славян, тем лучше. Не только потому, что этим отдалением мы приобретем доверие Германии и Англии и самих турок, которых необходимо отныне нам хранить на Босфоре как зеницу ока, но еще и вот почему (тут он обыкновенно понижает голос и добавление это сообщает, конечно, не всякому)... вот почему... Православие, сознайся, устарело немного в формах своих, понимаешь? Дух эллина, друг мой, есть творческий дух... Отдаляясь от славян, мы, быть может, постепенно создадим иную, новую, неслыханную религию... И новая религия эта будет новою основой новому просвещению, новой эпохе эллинского процветания. Понял теперь ты меня или нет? Постепенно и неслышно, незримо и постепенно создаются великие вещи!» Он угощает теперь турецких чиновников и беев, изучает арабскую литературу и Коран и уверяет не только встречаемых ему и знакомых эпирских мусульман, которые, как ты знаешь, действительно одного племени с нами, но и всех анатолийских и румелийских турок, что они эллины. 20 30

— Выпьем вместе, мой бей, еще рюмку *ракí*, — говорит он им теперь. — Подайте нам с беem еще раки. Слушай, мой бей, ты не говори вперед, что ты «турок», турок слово грубое и обидное даже. Не говори просто: «я мусульманин», ты говори: «я *юнан*,\* я эллин, но не христианин эллин, а читатель правоверного Ислама». Вот ты что. Где в вас осталась старая турецкая кровь? Со времени того, как вы к нам пришли, вы переродились; гаремы ваши были сначала полны гречанками, грузинками,<sup>10</sup> черкешенками прекрасными. Таковы ли были ваши грубые предки, каковы вы теперь? У вас теперь благородные европейские лица, у вас теперь тонкий ум и политическая мудрость. Это в вас течет кровь ваших матерей. Грузинки, черкешенки, ты скажешь, не гречанки. Но разве ты не знаешь, мой бей-эффенди, что Кавказ был наполнен колониями греков и римлян? Разве ты не знаешь, что западные черкесы европейской породы, не знаешь, что в древности наш грек Язон с паликарами ездил в Колхиду, то есть именно в эту Грузию, за золотым руном. Выпьем еще за султана и за твое здоровье,<sup>20</sup> бей-эффенди, мой милый. Да, ты сын Ислама, я поклонник Христа, это все равно... Государству нет дела до веры; пусть мы оба будем *юнаны* по роду и племени. Вам без наших торговых способностей и нам без вашей, ныне столь умеренной, но твердой власти, не устоять нам отдельно против общих врагов.

Турки хвалят его и смеются радостно, слушая его новые для них речи.

Верят ли они ему или нет?

<sup>30</sup> По мере того как я подрастал, я начал меньше бояться Несториди и больше стал любить и уважать его.

Я видел, что и он любит меня больше всех других учеников своих. Нельзя сказать, чтоб он хвалил меня в глаза или как бы то ни было ласкал меня. Нет, не для ласковости был рожден этот человек; он смотрел и на меня

---

\* *Юнан* по-турецки — эллин.

почти всегда как зверь, но я уже привык к его приемам и знал, что он любит меня за мою понятливость.

Иногда, глядя на мою стыдливость и удивляясь моему тихому нраву, он говорил моей матери при мне, с презрением оглядывая меня с головы до ног:

— А ты что? Все еще спишь, несчастный?.. Прогнись, любезный друг! Мужчина должен быть ужасен! Или ты в монахи собрался? Или ты девушка ни в чем не повинная?

А когда мать моя спрашивала его:

10

— Довольны ли вы, господин Несториди, нашим бедным Одиссеем? Хорошо ли идет дитя?

Несториди опять с презрением:

— Учится, несчастный, бьется, старается... Ум имеет, фантазии даже не лишен, но... что ж толку из всего этого... Учитель какой-то, больше ничего! В учителя годится...

— Все вы шутите, — скажет мать, — ведь вы же сами учитель... Разве худо быть учителем?

— Честен уж очень и от этого глуп, — с сожалением говорил Несториди. — Ты понимаешь ли, несчастный Одиссей, что мужчина должен быть деспотом, извергом ужасным... надо быть больше мошенником, Одиссей, больше паликаром быть! А ты что? девица, девочка... И выйдет из тебя учитель честный, вроде меня... больше ничего. Разве не жалко?

20

— Когда бы мне Бог помог, даскал мой, — отвечал я ему тогда, — вполтину быть тем, что вы есть, я бы счел себя счастливым!

— Браво, дитя мое! — восклицала мать. — Дай Бог тебе жить. Умно отвечаешь!

30

— Лесть! — возражал с презрением Несториди. — Ты хочешь мне этим доказать, что умеешь и ты быть мошенником?.. И то хорошо.

Но я видел, что он был утешен и рад. Под видом презрения и шуток Несториди долго скрывал свою мысль — действительно приготовить меня на свое место учителем в



наше село Франгадес. Он надеялся скоро получить место при Янинской гимназии. Его «Хронография Эпира», «Сборник эпирских пословиц» и статьи «О валашском племени в Эпире и Македонии», где он доказывал, что это многочисленное, энергическое и даровитое племя полукочующих пастырей должно войти неизбежно в течение эллинских вод, — все эти труды его обратили на себя внимание ученых людей в Афинах и Константинополе, и оставаться ему вечно сельским учителем в Загорах было  
10 невозможно.

Ожидая своего отъезда из родного села, которое он всею душой любил, Несториди мечтал передать школу в добрые руки. Видел мой тихий и серьезный характер и думал, что и в 17—18 лет уже буду годен в наставники, что в помощь мне можно будет взять другого учителя и, наконец, что священник наш Евлампий будет иметь сверх того присмотр за школой.

Он часто говорил, что меня надо отправить в янинскую гимназию года на три. А потом, с Божьею помощью, воз-  
20 вратить меня в Загоры и дать мне дело, сообразное с моими наклонностями.

— Во всяком случае, — утверждал Несториди, — не следовало бы Одиссея слишком рано в торговые дела вмешивать. Торговля, конечно, душа и кровь народной жизни в наше время; но с одною торговлей не могут преуспевать и двигаться вперед национальные силы. Торговля и одна торговля неблагоприятна для развития высших умственных способностей.

Он продолжал по-прежнему шутить надо мной:  
30 — Совсем не мошенник этот юноша, — говорил он моей матери. — Что он за купец? Купец должен быть умный, хитрый, интриган, чтобы головы не терять, чтоб и совести не было... Вот это купец! А он дурак у вас, очень добр и честен. Ему в учителя бы хорошо. Вот как я. Что ты открыл огромные глаза на меня и смотришь?.. Э, здравствуй, брат! Чего не видал? Видите, какой он у вас тяжелый и толстоголовый. Болгарская, а не эллинская

голова, я вам скажу. Глядя на тебя, человеке мой, даже против воли панславистом станешь; скажешь: и правда, что в Загорах течет не эллинская наша кровь! Вот и горе нам чрез тебя...

Шутками и шутками, понемногу приучал он мать к той мысли, чтобы меня учителем оставить в Загорах, хотя бы не навсегда, а на несколько лет.

Матери эта мысль стала нравиться; она со слезами вспоминала о том, что ей придется со мной расстаться, и пример стольких других эпирских матерей, которые рас-<sup>10</sup>стаются точно так же с сыновьями, мало утешал ее.

— Он у меня едиnorodный, — говорила мать. — У других много детей.

Старушка Евгенко спорила с ней; она была крепче ли сердцем, на горе ли позабывчивее — не знаю.

— Так написано загорцам, Эленко́, — говорила она матери. — Так им написано, черным и несчастным. У Бога так написано. У меня сын мой, первый твой муж, не был тоже едиnorodен, глупая ты! Э, умер! Господи, спаси его душу. А Бог тебя мне послал, чтобы за мной смотрела.<sup>20</sup>

— Велико утешенье! — отвечала моя мать. — Велико мое смотренье за тобой... Ты за мной смотришь, а не я за тобой. Мое смотренье — на диване сидеть да чулки вязать, а ты сама виноградники роешь. Такого для себя утешенья, какое я для тебя — под старость не желаю. Мы до сих пор все еще твой хлеб едим, а не ты наш...

И старуха бедная рада, смеется, так и умирает от смеха, руками по коленам себя ударяет. Какая-де эта Эленко наша — шутница, забавница, дьявольского ума женщина! Все найдет, все как следует, всякую речь и<sup>30</sup> всякое слово!

Впрочем, бабушка наша веселая на все была согласна.

— Э! Одиссей, и так хорошо. Оставайся, дитяtko, с нами... Будешь учителем. Малым всем деточкам нашим станешь Божии вещи объяснять... Так сделал Бог, так сделал Бог... И женим потом мы тебя в этом ли селе или из Чепелова какую-нибудь «гвоздичку душистую», «лам-

падку раскрашенную и расписанную» посадим на мула с музыкою громкой... *дзининь! бум, бум! барабан!*.. привезем сюда, чтобы благоухала в доме и светила нам... Дулама шолковую на свадьбу наденешь, шубу на лисьем меху, платочек с расшитыми концами за пояс персидский заткнешь. Феску назад... Ах! ты буря и гибель моя!

— Браво, браво! — говорил Несториди. — Так, так, это все хорошо! Гименей, дня на три торжество и веселье; <sup>10</sup> а после иго, ярем вместе надо покорно и свято нести... О *сизигос* — значит супруг, несущий вместе *ярмо*. И *сизигос* — значит супруга, *та*, которая несет вместе с ним *ярмо*. Пашите вместе, друзья мои, тяжкую пашню жизни земной... Увы!.. так оно, Одиссей, однако все же гораздо легче оставаться здесь, чем ехать далеко и претерпевать недостатки и неудачи по ханам холодным, странам далеким и нередко варварским... Ты же тих и кроток, как агнец, и хотя я и шучу, что ты глуп, ты, напротив <sup>20</sup> того, очень способен, но не знаешь ты, мальчик ты мой, что такое чужбина!..

И когда начинал вдруг говорить этот суровый и жесткий человек так снисходительно, дружески и мягко, не могу я тебе выразить, до чего улаждалось мое сердце и чего бы я не готов был для него сделать тогда.

Но мать моя справедливо отвечала ему: «Прежде всего посмотрим, что скажет мой муж. Он глава дома, и мы ожидаем теперь его возвращения. Не нашему уму, деревенских и неученых женщин, судить о таких делах!»

— Пусть будет так, — соглашался учитель.

<sup>30</sup> Отца моего точно мы ждали каждый день... Два с лишком года прошло уже с тех пор, как он привез меня с матерью в Загоры и возвратился на Дунай. Он писал нам, что на счастье его в Тульчу приехал недавно из Афин двоюродный брат моей матери, человек очень богатый и с влиянием. Он купил себе дом и открыл на Нижнем Дунае обширную торговлю маслом, и думает завести большую паровую мельницу на берегу реки. Быть

может, отец упросит его стать поручителем по делу Петраки-бея и Хахамопуло и тогда сейчас же придет сам в Загоры. Он писал еще нам печальную весть о том, что глаза его очень слабеют.

## VII

Наконец дождались мы отца. Приехал он под вечер. Как мы были рады, что говорить! Он поцеловал руку у коконы Евгенько, а мы все, и мать, и я, и Константин-старик у него целовали руку.

Матери от радости дурно сделалось. Она села на диван и держалась за грудь, повторяя со вздохами: «ах, сердце мое! ах, сердце мое!» Отец тоже вздыхал и улыбался и ей, и мне, и всем... и слов не находил. Такая была радость! Такой праздник! Боже! Кинулись мы потом все служить ему. Кто очаг затапливал, кто кофе варить у очага садился, кто рукомойник нес руки ему мыть, двое разом на одну ногу его бросались, чтобы сапоги ему снять. Сосед за соседом в комнату собрались, отец Евлампий, Стилов-старик, жена его, дочери, сыновья, Несториди с женой, все село, кажется, сбежалось... Двое цыган пришли, и те сели на полу у дверей... И тем отец жал руки, и тех благодарил.

Все его любили, потому что он не искал никого обидеть и был очень справедливый человек.

Когда отец покушал и отдохнул, он рассказал нам подробно, что случилось. Незадолго до отъезда его из Тульчи греческий консул уехал на два месяца в отпуск в Элладу и передал управление своего консульства английскому консулу г. Вальтеру Гею. Вальтер Гей этот родом из Сирии (его мать была, кажется, православная из арабской семьи); человек он отчаянный и капризный, хоть и беден и семьей обременен большою, но всегда грубит всем и даже вовсе не в духе своего правительства пишет и действует. Ему велят турок хвалить, а он их порицает и критикует во всем.

Ему велят быть осторожнее, а он, что ни шаг, то опрометчивость, ссора, дерзость... Маленький, жолтый, сердитый. «Я сам варвар!» — кричит он всегда. «Все мы, европейцы, хуже азиатцев варвары! Оттого у нас и законы хороши и строги на Западе, что изверга и разбойника хуже западного человека нет. Дай нам волю, дай нам волю только, и мы сейчас китайца за косу, негра повесим, пытки неслыханные выдумаем, турку дышать не дадим, к Пирею эскадру приведем из-за жида Пачифико. Варвары, изверги мы все, европейцы, и хуже всех англо-саксонское свирепое племя... Дома мы смирны от страха закона... А здесь посмотри на нас, кого мы только не бьем... За что? За то, что нас здесь не бьют». Однажды случилось, что австрийский драгоман, сидя у него, заметил ему на это: «Невозможно, однако, согласиться безусловно с этим». «Нет, — говорит г. Вальтер Гей, — соглашайся безусловно!» «Не могу», — говорит драгоман австрийский. «Ну так пошел вон из моего дома! Разве за тем я тебя приглашаю в дом мой, чтобы ты противоречил мне и беспокоил меня этим!»  
20 Вон! Кавассы! выбросьте этого дурака за ворота!»

Австрийский консул писал, писал по этому делу множество нот и донесений самому Вальтеру Гею и в Вену; а лорду Бульверу, который сам капризен был, нравились, видно, капризы г. Гея, и ничего ему не сделали.

Вот как раз около того времени, как г. Вальтер Гей принял в свои руки греческое консульство, Петраки-бей поссорился с отцом за церковный вопрос и стал хлопотать в Порте, чтоб отца моего в тюрьму посадили. Пока сам паша был тут, дело не подвигалось, потому что паша был человек опытный и осторожный. Г. Вальтер Гей между  
30 тем дал моему отцу комнату у себя в консульстве и говорил ему:

— Здесь тебя никто не возьмет, берегись только на улицу днем выходить. Сам знаешь, что твой греческий паспорт неправильный и турки его знать не хотят. Да и правы турки, потому что министры ваши эллинские за двадцать франков взятки сатану самого гражданином при-

знают. Хорошо королевство! Это все Каннинг наш беспутный и сумасшедший лорд Байрон, которого надобно было бы на цепь посадить, наделали! А я уж устал от ссор и больше ни с кем никогда вздорить не буду! И ты на меня и на помощь мою не надейся, издыхай здесь в комнате как знаешь сам, пока твой консул вернется. Там уж они с пашой хоть в клочки изорви друг друга, так мне уж все равно. Я стар и болен и умирать скоро надо мне; какое мне до вас всех дело!

Так говорил отцу г. Вальтер Гей, и отец около месяца <sup>10</sup> не выходил из английского вице-консульства.

Наконец стал тосковать и начал выходить по вечерам.

— Берегись! — говорил ему Вальтер Гей; — не буду я заступаться.

Заметил Петраки-бей, что отец ходит к родным и друзьям иногда темным вечером. Поставили турки в угодую Петраки человек пять-шесть заптие из самых лихих арнаутов поблизости английского вице-консульства. Только что село солнце, вышел отец тихонько и идет около стенки. «Айда!» — и схватили его арнауты и повлекли в конак. <sup>20</sup> Однако отец успел закричать кавассу английскому: «Осман! море! Осман! схватили меня!» Осман услышал, мигом к консулу. А Вальтер Гей в халате и туфлях... Ни шляпы не надо, ни сапог... в туфлях, в халате, с толстою палкой в руке; кавасс за ним едва поспевает. Уж они на площади, на базаре, при всем народе, одного заптие — раз! другого — два! у третьего ружье со штыком из рук вон. Те не знают, что делать! Как на консула руку поднять. «Консул!» — одно слово. Опустили бедные турки голову, а Вальтер Гей взял отца под руку и кричит: <sup>30</sup>

— А, варвары! годдем! варвары!.. Нет, врете, я хуже вас варвар! Я, варвар, я!.. — И увел отца домой. А на другой день пошел в конак, застал там только того чиновника, который вместо пашы векилем \* был, потому что паша уехал в Галац по делу, и говорит ему:

---

\* Векиль — исправляющий должность временно.

— А, это ты, ты... посягаешь на чужих подданных... Вас просвещать хотят, а вы анархию варварскую сами заводите. Так вот я вам еще хуже анархии заведу...

— Pardon, мусье консулос, pardon! — говорит ему несчастный векиль, — кофе, эффенди мой, чубук один, садитесь, садитесь, господин консул.

— Не сяду! не сяду! Сяду я дома и лорду Бульверу самому напишу сейчас, как ты, именно ты меня оскорбил и что я даже здесь больше служить не могу.

10 — Сядьте, успокойтесь, господин консул. Англия — великая держава.

— Нет, не великая, когда даже ты можешь ее оскорбить.

— Сядьте, умоляю вас. *Бре,\** кофе! *бре*, чубук... Нет! Чего же вы желаете? все будет по-вашему.

— Сяду я, — говорит г. Вальтер Гей, — с тем, чтобы писарь сейчас написал *тескере* на проезд Полихрониадесу на родину.

— Как турецкому подданному, эффенди мой, извольте...

20 — Нет, — говорит Вальтер Гей.

— Аман! аман! Чтò же с моею головой будет, господин консул! Чтò с нею будет, если я пропишу на паспорте его эллинским подданным, когда мое государство его таким не признает, и вы сами знаете, что он райя.

— Да, райя; а ты не пиши и не юнан тебааси, и не османли тебааси, а просто эпирский уроженец и торговец города Тульчи.

— Извольте, извольте, но чтò скажут его противники? Чтò закричит Петраки-бей после этого? Эффенди мой, эти

30 люди очень сильны у нас! очень сильны!

— Так это у вас девлет? Так это у вас держава, чтобы носильщика, хамала, Стояновича этого, чтобы болгарского мужика Петраки-бея, предателя и вора, трепетать!.. Прочь чубуки! Прочь кофе!

---

\* *Бре* — обыкновенное в Турции междометие; то же, что и *морé*, но грубее.

— Пишем, пишем, как вы говорите, эффенди мой! Дружба — великое дело!

— Великое! великое! — говорит Вальтер Гей.

И кончил он так дело и отправил отца на родину, а Петраки-бею от себя велел сказать, чтоб он ему на улице не встречался бы долго, долго, потому что он человек больной и легко раздражается.

Перед отъездом своим отец, однако, чтобы сердце его было в Загорах покойнее, упросил г. Диамантидиса (того двоюродного брата моей матери, который из Афин приехал и в Тульче мельницу собирался строить) остаться за него поручителем перед турецким начальством по делу Стояновича. Не хотелось ему также при этом и турок оскорблять таким видом, что он их знать не хочет и не боится и всю надежду возлагает лишь на г. Вальтера Гея.

Векиль сам ему много жаловался на английского консула и спрашивал:

— Безумный он человек, должно быть, и очень грубый? Политики никакой не знает, кажется?

Отец, смеясь, сознавался нам, что он векилю польстил и о своем спасителе отозвался без особых похвал:

— Больной человек, — сказал он и благодарил векиля.

Затруднение процесса нашего состояло в том, что признать отец этого долга небывалого не мог. А тиджарет два раза уже возобновлял дело это и оба раза находил средства решать его в пользу Петраки-бея Стояновича. В Константинополе Стоянович тоже был силен, а греческое посольство слабо. Проценты между тем все росли и росли в счетах Петраки, и мы могли, наконец, если дело протянется еще долго и все-таки решится не в нашу пользу, потерять почти все наше состояние. Были минуты, в которые отец готов был уже и на соглашение; но двоюродный брат моей матери Диамантидис отговорил его. Прошли слухи, что в Тульче откроют скоро русское консульство. «Тогда, — советовал ему дядя Диамантидис, — постарайся перевести каким-либо изворотом весь этот процесс на имя кого-нибудь из русских подданных на Дунае или сам съез-



ди в Кишинев и возьми себе там русский паспорт. Русские защитить сумеют. А Вальтер Гей хорош, когда бить надо, на тяжбы же, сам ты знаешь, как он бестолков и неспособен».

Послушался отец совета дяди и отложил мысль об уступке и соглашении.

История г. Вальтера Гея, разумеется, всех нас поразвеселила, мы ей весь вечер смеялись; но болезнь глаз отцовских и тяжба эта не только старших огорчали, они и меня <sup>10</sup> пугали; особенно когда отец говорил: «Я прежде не хвалил наш загорский обычай рано жениться; а теперь завидую тем, которые женились почти детьми. Если б я женился не поздно, Одиссею было бы теперь не шестнадцать, а двадцать и более лет. И он мог бы уже помогать мне, мог бы на чужбину поехать, а я бы здесь отдохнул наконец во святой тишине и ел бы кривой-слепой старик свой домашний хлеб».

Очень страшно мне становилось думать о чужбине и о борьбе со злыми и хитрыми чужими людьми.

<sup>20</sup> «Если отцу тяжело, думал я, что же я, бессмысленный и стыдливый, и неопытный, что ж я с ними, с этими хитрыми людьми сделать могу?.. Нет! лучше бы так, как Несториди-учитель советует — дальше Янины мне не ездить и взять бы здесь за себя какую-нибудь красивую, добрую и богатую архонтскую дочку, *красную архонтопулу, лампадку расписанную* из вилайета нашего, *яниотису* благородную, чтобы ходила она нежно, как куропатка ходит!»

<sup>30</sup> Такие вещи, хоть и тих я был, а думал молча!.. И никто бы, я полагаю, и не догадался, как часто я начинал уже мечтать в то время о «гвоздичках» этих, о «лампадах» и о том, как ходит куропатка, красивая птица, и по каким местам.

## VIII

Отцу моему понравился совет Несториди отдать меня в Янинскую гимназию. Но о том, по какому пути меня после вести, по торговому или ученому, он сказал, что времени

еще много впереди и что самые недуги, посетившие его, заставляют его колебаться.

— Хорошо бы единственного сына около себя в Загорах или по крайней мере в Янине удержать; хорошо и на чужбину вместо себя отправить для торговли, если болезнь глаз не пройдет.

Так как отец ни в каком деле спешить не любил и очень хвалил турок за их поговорку: «Тихонько, тихонько, — все будет!» (*Явâш, яваш, — эписî оладжâк!*), то, может быть, и год еще целый мы с ним не собрались бы, если бы не приехал к нам неожиданно в Загоры из Янины новый русский консул, г. Благов.

Затруднение отец находил в том, где меня поместить в городе. Собственный наш дом в Янине был отдан за хорошую цену внаймы английскому консулу, так что чрез это одно вся семья наша с избытком содержалась в Загорах, и отец целых два года на расходы не высылал ним ничего с Дуная и мог употреблять свободно деньги, которые приобретал торговлей, на новые выгодные дела. Он нашел даже возможность, не обременяя ни нас, ни себя, поправить и отделать прекрасно за это время маленький *параклис* \* во имя Божией Матери «Широчайшей Небес», \*\* за селом нашим, в небольшой дубовой рощице, на холме. Параклис этот был давно уже разрушен, во времена старинных смут и набегов; и я еще с детства слыхал, как часто отец, вздыхая, восклицал: «Когда бы сподобил меня Господь Бог возобновить этот маленький храм на мое иждивение!» Наконец он этого достиг.

Итак, что́ делать со мной родителям? Нанять мне одну комнату — не трудно. Но у кого? Где? Кто будет смотреть за мной? Мать моя, замечая, что я ростом становлюсь

---

\* *Параклис* — придел или особый небольшой храм, в котором не бывает постоянного богослужения, а лишь от времени до времени. Таких церквей малых на Востоке вне сел довольно много.

\*\* *Платитера Урану* (Ширшая или широчайшая небес), Знамение Пресвятой Богородицы.

уже высок, начинала ужасно бояться, чтоб я не развратился. Кому в городе поручить меня?

Был у нас в Янине один дальний родственник моей матери, полуяниот, полукорфиот, полуитальянец, полугрек — доктор Коэвино. Он был холост и занимал один, как слышно было, большой и хороший дом.

Когда я еще был очень мал (до отъезда матери моей с отцом на Дунай), Коэвино жил несколько времени в Загорах, был дружен с отцом, был отцу моему многим обязан и даже должен был ему деньги. Живя во Франгадесе, он почти все вечера просиживал у моих родителей, беседуя иногда далеко за полночь, считал наш дом почти своим домом.

Отец думал у него попросить для меня одну комнату. Но мать боялась доктора. Я его вовсе почти не помнил, но слышал о нем отзывы как о безумном человеке.

Старик Константин говорил о нем, качая головой: «На цепь! на цепь его!» Бабушка Евгенко осуждала его за безверие и за злой язык. — «Вот рот, так уж рот! — говорила она, — вот язык, так уж язык!» А мать моя с отчаянием поднимала глаза к небу, восклицая: «Пресвятая Владычица, Заступница ты наша! Избави нас от такой нужды, чтобы ребенка невинного к безумному и испуганному человеку в дом отдавать!» И потом, обращаясь к отцу, упрашивала его так: «Кир-Георгий! Муж мой хороший! Я тебе, я, жена твоя, говорю вот какую речь... что ты ждешь от человека, который хвалится, что мать его какого-то итальянца (прости мне это слово) любила? „Я, кричит, не янинской, не эпирской крови!“ Коэвино к тому же, когда рассердится, может и убить мальчика... Избави нас Боже, избави нас!»

Отец улыбался и отвечал ей успокоительно: «Хорошо. Подумаем, подождем, посоветуемся. Коэвино точно человек своеобычный и немножко безумный, хотя и очень добр. Подумаем, посоветуемся и подождем».

Так мы с месяц все думали, все советовались, все ждали. Пришел и конец октября.

Однажды, в день воскресный утром, отслушав обедню, пошли мы со стариком Константином нашим прогуляться за село. Взяли мы немножко сыра, вина и орехов, погуляли и сели за стенкой одной, на горке. Поели, запили вином, сперва песенки кой-какие пели, а потом Константин мне свои старые рассказы рассказывать стал.

Опять про Севастополь, про великую войну, про то, как целый год, день и ночь, день и ночь гремели пушки; какие русские терпеливые; какие казаки у них молодцы. О том еще, как он сам с моряками и казаками русскими вместе ночью воевать куда-то пошел и как оступался и падал с горы и за кусты держался; как боялся, что прямо к французам в руки попадет... И как он услышал около себя людей и притаился. Сердце бьется. А когда эти люди заговорили тихо: «Это не грек ли, Пендос наш соленый?», как он обрадовался и сказал: «Пендос! Пендос!» 10

Я слушал.

И вот увидали мы оба с Константином, вдруг — по Янинской дороге, внизу в долине, со стороны села Джудильы, толпу всадников. Они тихо спускались с горы. 20

Скоро различили мы, что впереди ехали турецкие савари, конные жандармы, четыре человека. Их можно было узнать по красным фескам и черным шальварам... За ними два человека в красной верхней одежде и белых фустанеллах. Потом ехал на рыжей лошади кто-то в белой чалме и в длинной одежде, как кади или молла, так мне издали казалось. А за ним еще люди, еще фустанеллы и выючные мулы; пешие провожатые с боков прыгали по камням.

Константин думал, что это какой-нибудь консул. Я полагал, что турецкий судья или другое мусульманское духовное лицо, судя по одежде. Но старик наш настаивал, что это не турок, а непременно консул какой-нибудь, и советовал мне побежать домой и сказать отцу. — «Может быть, и русский, и отец в дом его примет». 30

Пока мы так совещались, всадники приостановились в долине на минуту, сошли с лошадей, и потом один турок-

сувари и с ним один молодец в фустанелле помчались во весь опор вперед по нашей дороге.

Тогда уже не было сомнения.

Константин узнал одного из кавассов русского консульства, Анастасия, сулиота. У него и грудь и пояс блитали на солнце серебром и золотом, как огонь.

Видно было, что и консул сел опять. Немного погодя, поскакал и он, а за ним и вся толпа. Только вьючные мулы и пешие люди остались сзади.

<sup>10</sup> Я побежал домой сказать отцу, но на пути уже меня обогнали кавасс и сувари. Я показал им дом отца, и они повернули к нам.

Как пожар у нас сделался в доме! Консула русского у нас в Загорах никогда не видали.

<sup>20</sup> Растворились наши ворота широко со скрипом и со стуком; отец новый сюртук надел; мать пред зеркалом поправлялась; служанка по диванам в большой зале бегала без башмаков и утаптывала их, чтобы ровнее были; старушка Евгенко новый фартук красный повязывала и кричала служанке, чтоб она в маленькую комнату дрова на очаг несла и чтобы шар-кёйский ковер у очага постлала.

А уж по мостовой топот конский все ближе и ближе. У меня от радости сердце билось.

Вышли мы все за ворота и ждем. Отец тихо сказал тогда матери: «Ты руку у него не целуй. Это теперь уже не делают, а только пожми ему, если он тебе свою подаст».

<sup>30</sup> А я думал: «Какой же он, человек этот, нам покажется? Гордый и грозный? Старый, должно быть; и какими орденами царскими он будет украшен?»

И вот бегут толпой вперед наши сельские дети; бегут тихо и молча; только лица у них изменились от изумления или страха. Въехали шагом на улицу нашу прежде всего два суvari-турка, ружья по форме держали; а за ними еще суvari и другой кавасс; потом и сам консул на прекрасном рыжем жеребце; а за ним драгоман и еще один наш заго-

рец его провожал. И слуги-греки. Старик Константин уже успел феску на свою старую русскую фуражку обменять; руку у козырька держал и стоял как каменный у ворот. Отец мой сам стремя и узду консулу держал, когда он сходил с коня; а Евгенко уже громко кричала ему и со смехом, по своему обычаю: «Добро пожаловать! Добро пожаловать к нам!» Служанка наша успела и руку у него поцеловать, когда он на лестницу входил.

Не старый был г. Благов, а очень молодой, веселый и... мне тогда показалось, — не гордый. 10

Вовсе не таким я его ожидал видеть!

Орденами царскими он изукрашен не был, а только виден был у него красный бантик в петельке бархатного черного сюртука. То, что я принял издали за чалму, была точно та белая сирийская ткань, расшитая золотистым шолком, которую употребляют некоторые важные мусульмане для головного убора. У консула эту чалмой обвита была соломенная шляпа, и сзади ниспадал длинный конец с прекрасными узорами для защиты шеи от солнца.

Сверх бархатного сюртука на консуле была надета 20 длинная одежда из небеленого простого полотна с башлыком на спине; сапоги на нем были большие, даже выше колен; чрез плечо висела на красных шнурах с кистями кривая турецкая сабля, и стан у него был перетянут поверх дорогого бархата обыкновенным сельским болгарским кушаком.

Лицом г. Благов был красив, очень нежен и бледен; бороды не носил, а только маленькие усы; глаза у него были большие, и он ими на всех смело глядел. Ростом он был очень высок и ходил очень прямо. 30

Рассматривал я его внимательно, как чудо; все хотел я видеть, и все удивляло меня в нем.

Сюртучок показался мне очень короткий для важного сановника, сапоги слишком длинные, панталоны слишком узки, сапоги в пыли, а перчатки хорошие. И я заметил еще, что от него чем-то душистым пахло, лучше розы самой!.. Бархат и болгарский кушак! Сирийская чалма и

шляпа à la franca, перчатки и духи прекрасные, а длинная одежда из простого полотна.

И что за почет этому молодому человеку! Капитан Анастасий-сулиот, которому я почтительно подавал варенье и наргиле, бросился с радостью снимать с него грязные сапоги, когда он захотел сесть на диван с ногами... Другой слуга уже бежал за туфлями; турки-жандармы, которых мы боялись и которым сама Евгенко бабушка внизу прислуживала, угощая их всячески, эти турки трепетали его и просили нас  
10 сказать консулу об них доброе слово. Драгоман привставал, когда он начинал говорить с ним...

«Вот жизнь! Вот власть! — думал я. — Только одежда странная!.. Удивительно! Удивительно мне все это!»

В дальних комнатах мы шопотом совещались и делились друг с другом нашими впечатлениями. Старик Константин жалел, что консул очень молод. «Дитя! вчера из училища вышел».

Бабушка жаловалась так же, как и я, что панталоны слишком узки и что сюртучок короток, и что на шляпе  
20 (как бы и грех это христианину?) сарык \* арабский, как на турецком попе намотан.

И она так же, как и я, говорила, ударяя рукой об руку: «Разве не удивительно это?» Но мать успокоила нас всех тем, что сказала: «Ничего нет удивительного, если между людьми высокого общества такая мода вышла теперь».

Впрочем, бабушка Евгенко, не стесняясь, и самому г. Благову сделала замечание:

— Огорчил ты нас, что так просто приехал к нам. Мы тебя во всех царских украшениях и в форме твоей желали  
30 бы встретить и поклониться тебе, а ты приехал смиренно и знать нам в Загоры заранее не дал, чтобы мы по заслугам твоим встретить тебя могли!

А консул молодой засмеялся на это и отвечал ей по-гречески: недурно, но с какой-то странной особенностью в произношении.

---

\* Сарык — чалма.

— Форма наша, кира моя хорошая, уверяю тебя, не-красива... Я чту ее потому, что она царская; а сознаюсь тебе все-таки, что кавассы мои куда как больше на вельмож похожи, чем я. Орденов много я у Государя заслужить еще не успел; только этот маленький... Не жалею же, кира моя, что я, как ты говоришь, так смиренно приехал. Право, так лучше.

А Евгений ему:

— Где же это ты языку нашему обучился так хорошо?

На это консул отвечал ей так:

10

— Кира моя! Я хоть и молод, а на Востоке давно уже. Говорить я люблю со всякими людьми. А с кем же нам и говорить здесь, как не с греками? И мы им нужны, и они нам. Молимся мы в одной церкви; одним и тем же молитвам и нас, и греков с детства матери наши учат. У меня же и отец военный был; был в походах, у турок в плену был долго.

И рассказал нам г. Благов еще, что в доме отца его много было картин, которые он в детстве очень любил и никогда их не забудет. На одной было изображено, как паша египетский хотел Миссолонги взять; на земле под ногами лошадей турецких лежала убитая молодая гречанка с растрепанными волосами. На другой — турок в чалме закалывал тоже прекрасную гречанку; на третьей — сын, почти дитя, защищал раненого отца-грека...

20

Когда г. Благов был еще мал, то, наглядевшись на эти картинки, часто просил мать свою вырезать ему из игорных карт гречанок, которые идут на войну за родину, и так как бубновый король на русских картах в чалме, то ему всегда больно доставалось от Бобелины и Елены Боцарис... Иногда матери г. Благова наскучала даже эта игра, и она говорила ему: «оставь этих глупых гречанок; сидели бы и шили дома лучше, чем сражаться, дуры такие!» Отнимала шутя у него карты эти и заставляла бубнового короля в чалме греческих дам прогонять и наказывать... «А я кричал и заступался...» — сказал Благов.

30



Все мы и посмеялись этому рассказу, и тронуты им были сильно. Мать моя вздохнула глубоко и сказала: «Бог да хранит православную нашу Россию!»

Благов помолчал немного и потом прибавил, улыбаясь:

— Оно, сказать правду, не совсем оно так... Пожив здесь, на Востоке, видишь часто, что турки славные люди, простодушные и добрые; а христиане наши иногда такие, что Боже упаси! Но что́ делать.

— Вот вы нас как, ваше сиятельство! — сказал отец мой, смеясь.

Двое суток прогостил у нас г. Благов, и он был очень весел, и все мы были ему рады. Всем он старался понравиться. Служанке нашей денег много за услуги дал. Старику Константину подарил новую русскую фуражку и говорил с ним о Севастополе. «Ты и лицом на русского старого солдата похож. Я рад тебя видеть», — сказал он ему и велел еще купить ему тотчас же новые шальвары. Константин ему в ноги упал.

Старшины наши все ему представлялись; всем он нашел приветливое слово. У отца Евлампия руку почтительно поцеловал; внимательно слушал рассказы старика Стилова о временах султана Махмуда; по селу ходил; в церкви к образам прикладывался и на церковь лиру золотую дал; в школу ходил; у Несториди сам с визитом был и кофе у него пил; беседовал с ним о древних авторах и очень ему этим понравился.

— Древнеэллинская литература, — сказал г. Благов, — это, как магический жезл, сколько раз ни прикасалась она к новым нациям, сейчас же и мысль и поэзия били живым ключом.

Несториди после превозносил его ум. Зубами скрипел и говорил: «О! Кирилл и Мефодий! наделали вы хорошего дела нам, грекам!.. Вот ведь хоть бы этот негодный мальчишка, Благов, знает он, изверг, что́ говорит! Знает, мошенник!»

А поп Евлампий ему:

— Видишь, как эллинизм твой в России чтут люди?

— Великий выигрыш! — сказал Несториди. — У тебя же добро возьмут, твоим же добром задушат тебя! Великое счастье!

Но самого г. Благова учитель все-таки очень хвалил и называл его «паликаром, молодцом-юношей и благороднейшего, высокого воспитания человеком».

— Нет, умна Россия! — долго говорил он после этого свиданья с русским консулом.

Отцу моему г. Благов искал всячески доставить удовольствие и заплатить добром за его гостеприимство и 10  
расположение к русским.

Отец рассказал ему о своей тяжбе с Петраки-беем и Хахамопуло и жаловался, что придется, кажется, вовсе напрасно пойти на соглашение и уплатить часть небывалого долга; но г. Благов ободрил его и советовал взять в Одессе или Кишиневе русский паспорт. Он сказал, что, вероятно, в Тульче откроют скоро русское консульство, и тогда он возьмется рекомендовать особенно его дело своему будущему товарищу.

— Это дело будет в таком случае иметь и политический 20  
смысл, — сказал г. Благов, — полезно было бы наказать такого предателя, как этот Петраки-бей. Можно будет, я думаю, начать уголовное дело и принести жалобу на ваших противников в мехкеме.\* Хотя мы официально не признаем ни уголовного, ни гражданского суда \*\* в Турции, чтобы не потворствовать суду христиан по Корану, однако ловкий консул всегда может войти в соглашение с моллой или кади и через них выиграть дело.

Отца слова эти очень обрадовали. Потом отец мой упомянул, почти случайно, о том, что скоро хочет везти 30  
меня в Янину и затрудняется только тем, где меня ос-

---

\* Мехкеме — турецкое судилище по Корану; в нем до последних судебных реформ в Турции судил один молла или кади, без помощи каких бы то ни было гражданских членов.

\*\* Недавно и Россия признала новые суды в Турции для русских подданных.

тавить и кому поручить. Г. Благов тотчас же воскликнул:

— Пустое! У меня дом большой, и я один в нем живу. Я ему дам хорошую комнату, и пусть живет у меня, пусть и он привыкает к русским, чтобы любить их, как вы их любите. Через неделю путешествие мое кончится; я буду ждать вас с сыном и отсюда людям своим дам знать, чтобы приготовили для вас комнату.

10 Отец мой почти со слезами благодарил консула; а мать моя обрадовалась этой чести так, как будто бы меня самого в какой-либо русский высокий чин произвели. Отец, который сначала не совсем был тоже доволен молодостью консула и как бы легкомысленною свободой и веселостью его разговора, так после этого разговора с ним расположился к нему, что стал говорить: «Нет, ничего, что молод».

На другой день г. Благов и сам пригласил меня к себе в Янину, и вообще обошелся со мной очень братски и ласково, хотя и огорчил меня некоторыми вовсе неожиданными замечаниями.

20 На первый день, когда отец представил меня ему, я ужасно смутился, ничего почти не мог отвечать на вопросы, которые он мне предлагал, и даже сел ошибкой от стыда вместо дивана на очаг. Г. Благов это заметил и сказал: «зачем же ты, г. Одиссей, сел так не хорошо?» Я еще более смутился; однако пересел на диван. Отец мой тоже за меня покраснел и говорит: «это от стыда мальчик сделал; вы ему простите».

30 Потом наедине со мною отец сказал мне: «не надо, Одиссей, таким диким быть. Добрый консул с тобою говорит благосклонно, а ты как камень. Уважай, но не бойся. Не хорошо. Он скажет, что ты необразован и глуп, сын мой. Держи ему ответ скромный и почтительный, но свободный».

Я вздохнул и подумал про себя: «правда! я глуп был. Другой раз иной путь изберу. Я ведь знаю столько хороших и возвышенных эллинских слов. Зачем же мне молчать и чего мне стыдиться?»

После разговора с моим отцом г. Благов, как только встретил меня, так сейчас же взял меня дружески за плечо и говорит: «буду ждать тебя, Одиссей, к себе в Янину. Повеселим мы тебя. Только ты меня не бойся и на очаг больше не садись».

А я между тем собрал все мои силы и отвечал ему так:

— Сиятельнейший г. консул! Я не боюсь вас, но люблю и почитаю, как человека, старшего по летам, высокого по званию и прекраснейшей, добродетельной души.

— Ба! — говорит г. Благов, — вот ты какой Демос-<sup>10</sup>фен! А душу мою почему ты знаешь?

Я же, все свой новый путь не теряя, восклицаю ему:

— Душа человека, г. консул, начертана неизгладимыми чертами на его челе!

— Слышите? — говорит он. — Вот ты какие, брат, плохие комплименты знаешь! Другой раз, если будешь так мошенничать, я тебе и верить не буду. Ты будь со мною проще. Я не люблю вашего греческого риторства. К чему эта возвышенность? Бабка твоя кирия Евгенко гораздо<sup>20</sup> лучше говорит. Учись у нее.

Я замолчал, а г. Благов спросил:

— Рад ли ты, что у меня в доме будешь жить?

Я отвечаю ему на это от всего сердца, что «готов последовать за ним на отдаленнейший край света!»

А он опять:

— Ты все свое, терпеть не могу красноречия!

И ушел он от меня с этими словами.

Я остался один в смущении и размышлял долго о том, как трудно вести дела с людьми высокого воспитания.

Уезжая, консул секретно просил отца собрать ему<sup>30</sup> как можно более сведений о стране, о населении, церквях, монастырях, училищах, произведениях края; о правах христиан, о том, чем они довольны и на что жалуются; просил изложить все это кратко, но как можно яснее и точнее, с цифрами, на бумаге, и прибавил: «как можно правдивее, прошу вас, — без гипербол и клеветы...»

Он еще раз повторил, сядясь на лошадь, что его янинский дом — наш дом отныне и что он сам через неделю вернется в город.

Мы все, отец мой, я, поп Евлампий и другие священники, некоторые старшины и жители, и все слуги наши, проводили его пешком далеко за село и долго еще смотрели, как он со всем караваном своим подымался на гору.

— Пусть живет, молодец, пусть благословит его Господь Бог, — сказал с чувством отец Евлампий. — Ожил он нас. Теперь иначе дела эпиротов пойдут.

— Дай Бог ему жизни долгой и всего хорошего, — повторили и мы все.

Отец же мой сказал, провожая глазами толпу его всадников:

— Вот это царский сановник; и взглянуть приятно: и собой красив, и щедр, и на коне молодец, и весел, и вещи у него все благородные такие, и ковры на вьюках хорошие, и людей при нем многое множество. Душа веселится. Таковы должны быть царские люди. А не то что вот мой бедный мистер Вальтер Гей. Желтый, больной, детей много, жилище небогатое, тесное! А такой адамант блестящий и юный; и православный к тому же — душу он мою, друзья, веселит!..

— Правда! — сказали все согласно, и попы наши, и старшины, и слуги. По возвращении домой было решено, что мы скоро поедем в Янину.

## II

### НАШ ПРИЕЗД В ЯНИНУ

#### I

Тотчас по отъезде консула мы с отцом начали готовить для него те заметки, о которых он просил. Отец пригласил к себе на помощь одного только отца Евлампия и никому больше довериться не хотел — он боялся не только возбудить турецкую подозрительность, но и зависть греческого консульства в Эпире.

И он, и отец Евлампий от меня не скрывались. Они<sup>10</sup> совещались при мне, припоминали, считали, а я записывал. Оба они повторили мне несколько раз: «смотри, Одиссей, чтобы Несториди не догадался, берегись! В досаде за нашу чрезвычайную близость с русскими он может довести все это до эллинского консульства».

Отец старательно изложил все, что касалось до древних прав Загорского края; объяснил, в каком подчинении Загоры находились к янинским пашам; почему в нашей стороне все села свободные, а не зависимые от беев турецких и от других собственников, как в иных округах Эпира;<sup>20</sup> почему турки тут никогда не жили, и как даже стражу загорцы нанимали сами христианскую из сулийских молодцов. Обо всем этом вспомнили отец и поп Евлампий. Даже цыган наших загорских крещеных не забыли и об них сказали, что они занимаются у нас кузнечеством и другими простыми ремеслами, что мы их держим несколь-

ко далеко от себя и в почтении, и даже место, где их хоронят за церковью, отделено от нашего греческого кладбища рядом камней. «Однако, — прибавил отец, — они имеют одно дарование, которым нас превосходят, — божественный дар музыки».

— На что́ это ему? — сказал священник.

— Он все хочет знать, — отвечал отец. И я записал и эти слова о музыке.

10 Счесть села, церкви и маленькие скиты, в которых живут по одному, по два монаха, упомянуть о большой пещере, о посещениях грозного Али-паши, — все это было нетрудно.

Но было очень трудно перечислить хотя приблизительно имена загорцев-благотелей и указать именно, кто что сделал и около какого села или в каком селе. Кто сделал каменный, мощный спуск с крутизны для спасения от зимней грязи и топи; кто мост, кто и где стену церковную починил, кто школу воздвиг, кто храм украсил. Не хоте-  
20 лось отцу забывать и людей менее богатых, менее именитых, ему хотелось правды; а у всякого встречного открыто справки наводить сейчас по отъезде консула он не хотел.

В Янину пора было спешить: и вот мы все трое тайно трудились с утра раннего; бросали тетради и опять брались за них. Отец повторял: «Трудись, трудись, сынок мой, трудись, мой мальчик хороший, для Православия и для доброго консула нашего. Может быть, скоро будешь хлеб его есть».

И я с охотой писал, поправлял и опять переписывал.

30 О турецких злоупотреблениях написали довольно много, но не слишком преувеличивая. Отец Евлампий в одном месте продиктовал было: «Так изнывают несчастные греки под варварским игом агарян нечестивых!» Но отец велел это вычеркнуть и сказал: «Не хочет г. Благов таких украшений, он хочет вот чего: в таком-то году, в декабре месяце, турок Мехмед убил того-то в таком-то селе, а турок Ахмет отнял барана у такого-то и тогда-то!» О таких случаях и вообще о том, чем христиане недовольны, написали

мы довольно много; но отец находил, что эту часть он в Янине дополнить может лучше, потому что в самых Загорах турок нет, ни народа, ни начальства, и случаев подобных, конечно, меньше. Янинские же турки славятся своим фанатизмом, и город со всех сторон окружен не свободными селами, а *чифтликами*, в которых и беи, и полиция, и сборщики царской десятины легче могут угнетать народ и обнаруживать, так сказать, удобнее недостатки, которыми страдает управление обширной Империи. Даже насчет судов относительно Загор говорить было труднее, ибо в то время, когда мы с отцом занимались этими записками, у нас не было еще ни мудира, ни кади; мы судились между собою в совете старшин по всем селам и только в случае обиды обращались в Янину к митрополиту или к самому паше, чрез посредство особого выборного загорского *ходжа-баши*, который для этого и жил всегда в городе.

Наконец отец сказал: «Довольно!» Переправили мы еще раз, спрятали тетрадки старательно и стали собираться в путь. Консул сказал, что через неделю возвратится в Янину другою дорогой, а мы прожили дома, трудясь над его статистикой, уже более двух недель.

Итак, пора! Уложились, простились с матерью, с бабушкой, с соседями и поехали.

Я был немножко взволнован и думал: «Какая, посмотрим, будет там судьба моя? хорошая или худая?»

Выехали мы рано и около полудня уже были у города.

Путешествие наше было нескучное.

Неприятно было только в это время года переезжать через ту высокую и безлесную гору, которая отделяет наш Загорский край от Янинской длинной долины; ветер на высотах дул такой сильный и холодный, что мы завернулись в бурки и фески наши обвязали платками, чтоб их не унесло. Пред тем как спускаться вниз, отец сошел с мула, чтобы было безопаснее и легче; я сделал то же и захотел последний раз взглянуть назад... Франгадеса нашего уже не было видно, и только направо, в селе Джудиле, на



полгоре, в каком-то доме одно окно как звезда играло и горело от солнца.

Жалко мне стало родины; я завернулся покрепче в бурку и погнал своего мула вниз.

Внизу, в долине, погода была ясная; воздух и не жаркий, и не холодный.

Отец мне дорогой многое показывал и объяснял.

Тотчас же за переездом через большую нашу гору идет длинный, очень длинный каменный и узкий мост через <sup>10</sup> большое болото. Мост этот построен давно уже одним нашим же загорским жителем для сокращения пути из Янины в эту сторону.

Это большое благодеяние, иначе приходилось бы людям и товарам на мулах далеко объезжать.

За болотом, по ровной и зеленой долине Янинской, огражденной с обеих сторон гребнями нагих и безлесных гор, мы ехали скоро и весело.

Разогнали иноходью небольшою наших мулов; отдохнули в хану под платаном, свежей воды и кофе напились и <sup>20</sup> около полудня увидали с небольшой высоты Янину; увидали озеро ее голубое и на берегу его живописную крепость с турецкими минаретами.

Мне город понравился. Тихие предместья в зеленых садах; все небольшие, смиренные домики глиняные, крытые красною черепицей, а не белым или серым камнем, как у нас в селах.

А дальше уже начались хорошие архонтские и высокие дома...

Въезжая в предместье янинское, я сказал себе: «По- <sup>30</sup>смотрим, какой человек нам первый встретится, — веселый он будет или печальный. Такая будет и жизнь, и судьба моя в Янине!»

Сначала в целом длинном переулке нам никто не встретился; время было полднее, и все люди или завтракали, или отдыхали. Кой-где у ворот играли дети; но их я не считал встречными, потому что они стояли на месте или сидели на земле, когда мы проезжали. На одном повороте

я испугался, увидав издали согбенную старушку с палочкой и в черном платье; но она повернула в другую сторону, и я успокоился.

Наконец предстал пред нами человек, которого я готов был в первую минуту назвать вестником истинной радости. Казалось бы, что веселее, ободрительнее, праздничнее этой встречи и придумать нельзя было в угоду моему гаданью... Как древний оплит, грядущий на брань за отчизну, был наряден и весел Маноли, главный кавасс русского консульства, которого отец мой знал давно. Ростом, длинными усами, походкой, гибким станом и блеском оружия — всем он был воин и герой... Фустанелла его была чиста как снег на зимних вершинах загорских, и верхняя одежда его была из синего бархата, обшитого золотым галуном с черными двуглавыми российскими орлами. <sup>10</sup>

Но увы! сам Маноли был и весел, и красив, вести же его были печальные!

Он сказал нам, что г. Благов еще не возвращался из путешествия, что записки от него никакой не было, что дом его весь, кроме канцелярии, заперт и даже ходят <sup>20</sup> слухи, будто бы он уехал внезапно куда-то из Эпира, в Корфу или в Македонию, еще неизвестно пока...

Отец мой был заметно смущен этою неожиданностью и особенно тем, что г. Благов не потрудился даже запиской, сообразно обещанию своему, известить секретаря или слуг своих, чтобы нам приготовили в консульстве комнату.

Что касается до меня, то я больше отца, я думаю, обижен этим и огорчен. Все мечты мои жить в первом и лучшем из иностранных консульств, в обществе такого <sup>30</sup> молодого и любезного высокопоставленного человека, как г. Благов, — все эти мечты исчезли как утренний туман, как дым или прах!..

Печально сидел я на муле моем и ждал, что скажет отец. Я думал, он расскажет Маноли о приглашении г. Благова и нам, быть может, отворят комнаты; но отец молчал...

Отец молчал, зато Маноли, кавасс-баши, говорил все время, хвалил г. Благова, хвалил загорцев, хвалил ум отца, хвалил меня, говорил, что я красавец, что все «красные» дочери янинских архонтов будут бегать к окнам, чтобы смотреть на меня, и когда отец мой с неудовольствием заметил ему на это, что я не девицам, а учителям угождать еду в Янину, тогда Маноли согласился с ним, что это гораздо лучше и полезнее...

— Да! — сказал он с поспешностью, — да! г. Полихрониадес, вы правы! Даже очень правы по-моему. Что-нибудь одно: или меч, или перо! Просвещение в наше время необходимо. Скажите мне, я спрашиваю вас, г. Полихрониадес, куда годен человек, который ни к мечу, ни к науке неспособен? Куда? На что? На какое дело? скажите мне, во имя Божие, я вас прошу сказать мне, куда он, такой человек, годится? Улицы мести? Уголь на ослах из города возить? Тяжести носить? Землю пахать? Грести на лодке в Янинском озере? Вот на что, вот на какие презренные занятия годится нынче простой человек, ни меча, ни пера не удостоившийся... Да. Учись, учись, милый мой Одиссей... Утешай родителей, утешай... А г. Благов будет очень жалеть, если не увидит вас; он говорит, что загорцы — умнейшие люди, и возносит их гораздо выше глупых янинских архонтов. И я согласен с консулом.

Так рассуждал сияющий кавасс-баши, а мы все молчали и смотрели с отцом друг на друга.

Наконец отец сказал: «Поедем к доктору Коэвино». Мы простились с Маноли и поехали дальше. Отец был не в духе и продолжал все время молчать. Дом, который занимал Коэвино, принадлежал одному турецкому имаму и стоял на прекрасном месте; пред окнами его была широкая зеленая площадка, старинное еврейское кладбище, на котором уже давно не хоронят и где множество древних каменных плит глубоко вросли в землю. Часто здесь бывает гулянье и пляски на карнавале, и народ отдыхает тогда толпами на этих плитах. Напротив караульня турецкая, много хороших домов вокруг площади и большая церковь *Архимандрио* неда-

леко. Я немножко утешился и обрадовался, что буду жить на таком веселом месте и в таком большом доме, если Коэ-вино согласится оставить меня у себя.

Однако двери у доктора были заперты, и мы, сошедши с мулов, напрасно стучались. Никто нам не отворял. Стучаться принимались мы не раз и все громче и громче, так что даже некоторые соседки стали смотреть на нас из окон и дети повыбежали из дверей.

Нам стало так стыдно, что мы уже хотели садиться опять на мулов и ехать в хан; но одна соседка уверяла отца, что доктор скоро, вероятно, возвратится, потому что время ему обедать, а другая, напротив того, говорила: «Где ж у него обед? Гайдуша, служанка его, вчера поссорилась с ним и сегодня на рассвете ушла и вещи свои унесла».

Третья женщина предполагала, что доктор где-нибудь в чужом доме, у одного из больных своих позавтракает.

Что́ нам было делать? Стыд просто! Решились мы ехать в хан. Но еще одна старушка сказала, что лучше послать к Абдурраим-эффенди; не у него ли доктор? Абдурраим-эффенди, сосед, близко отсюда; доктора он очень любит, и у него жена давно больна. Она позвала свою маленькую внучку и велела ей бежать скорее к Абдурраим-эффенди за доктором.

Отец решился ждать. Мы сняли ковры с наших мулов, постлали их на камнях и сели у докторского порога. Пока девочка бегала к Абдурраим-эффенди, старушка рассказала отцу, что́ вчера случилось у доктора в доме. Был у доктора слуга Яни, из деревенских. Сама же Гайдуша жаловалась, что у нее очень много работы, что доктор любит жить чисто и просторно; а у нее больше сил нет уже одной все делать, — шить, мести, готовить, убирать, мыть, платье чистить, диваны ровнять, самому ему раза три в неделю еще тело все бритвой брить.

Отец спросил: «Как так все тело брить? Что́ это ты говоришь?»

— Да! — сказала старушка (со вздохом даже, я помню), — да! хочет, чтобы всегда весь выбрит он был. Безумный человек!

— Безумный, безумный! — закричали в один голос две-три соседки. — На цепь человека этого следует! На цепь давно.

А одна женщина с сожалением добавила:

— Это он, черная судьба его такая, с турками очень подружился, все с турками, от того и в грех такой впадает. Даже и в баню турецкую часто любит ходить, а это тоже не хорошо, потому что миро святое из тела исходит от испарины.

<sup>10</sup> Отец говорит:

— Так, так, да что же вчера-то за ссора была?

Женщины рассказали, что когда Гайдуша долго жаловалась на обременительную работу, доктор нанял этого Яни-слугу. Две недели всего прожил он и не мог более. С утра Гайдуша все его учила и осуждала: «Ты зверь, ты животное, ты необразованный человек. Графины на самые углы стола ставь, а не на серединку: так в благородных домах делают. Иди сюда, нейти туда! Вон из кухни, деревенщина! ты только мешаешь». Яни и сказал доктору:

<sup>20</sup> «Прости мне, эффенди, я не могу у тебя больше жить. Эта чума (на Гайдушу) с утра мне голову ест!» А Гайдуша: «Я чума? я?» — раз! и за горло молодца; он почернел даже. Доктор стал отнимать у нее паликара бедного. Она в доктора вцепилась. Тогда уже Яни доктора стал защищать, и вместе они хорошо ее наказали. Потом Яни с вечера уже ушел, а Гайдуша на рассвете прежде тарелки, блюда и чашки все перебила в кухне, а потом взяла свои вещи в узелок и ушла. Доктор ей за шесть лет службы по тридцати пиастров в месяц должен, это значит более двадцати

<sup>30</sup> турецких лир! Мало разве? Как следует приданое целое. Теперь Гайдуша пойдет паше жаловаться. А доктору и кушанья готовить сегодня некому, и дом стоит пустой, и не вернется Гайдуша никогда! Мало-помалу, пока старушка рассказывала, собралось около нас много народу. Женщины, дети, одна соседка уже и младенца грудного с собою принесла и стала его кормить, другие с пряжей сели по плитам и на землю. Двое нищих сели тоже слушать.

Потом и заптие-турок подошел посмотреть, нет ли какого беспорядку, увидел, что все мирно, и он присел поодаль на камушек, сделал себе папироску, и одна из соседок ему из дома уголь вынесла, а он поклонился ей и поблагодарил ее. И нищие слушали внимательно и удивлялись, а заптие-турок сказал: «Увы! увy! хуже злой женщины есть ли что на свете!»

Наконец прибежала соседская девочка от Абдурраима-эффенди, принесла ключ и сказала, что доктор просит отца взойти в дом и подождать его не больше получаса, пока он кончит все дела у бея.

Отпер отец дверь; мы взошли, и за нами несколько соседок тоже взошли в сени. Они стали нам помогать вещи наши с мулов снимать. Мы их благодарили. Та добрая старушка, которая нам все рассказывала, беспокоилась, кто нас сегодня накормит у доктора, а что сам он верно уже у турка-бея позавтракал. «Разве уж мне прийти приготовить бедному Коэвино? Он у меня не раз лечил детей, чтоб ему долго жить!» — сказала она.

— И птицы небесные питаются, а не то мы! — сказал ей отец.

Как только он это сказал, как вдруг стрелой вбежала в дом сама эта Гайдуша, о которой вся речь была: маленькая, смуглая, хромая; и глаза большие, черные у нее и как огонь!

И как закричит отцу: «Добро пожаловать, г. Полихрониадес, добро пожаловать! Извольте, извольте наверх... доктор очень рад будет!» А потом на соседок: «Вы что же тут все собрались? Все у вас худое что-нибудь на уме у всех! Аман! аман! Что за злобу имеют люди. Идите по добру по здорову по жилищам своим... Дети! вон сейчас все... вон!»

Господи! что за женщина! Я испугался. Детей повыкидала за двери... На женщин еще закричала. Одна было стала тоже на нее кричать: «Ты что? Да ты что?» А Гайдуша ей: «а ты что... А ты что? Разбойница!»

— Нет, ты разбойница! Ты чума!

Шум, крик. Отец говорит: «Стойте, стойте, довольно!» А Гайдуша одного нищего в спину, у другого наш мешок вырвала, который он с мула снимал. «Еще украдешь, разбойник»... Заптие-турок в двери заглянул на этот крик. Она и его: «Ты что желаешь, ага? Иди, иди. Не здесь твое место. Не здесь; я, слышишь ты, я это тебе говорю!» Турок ей:

— Ты в уме ли, женщина?

10 Как она закричит на него: «Я? я? Не в уме? Такая-то царская полиция должна быть?.. Вы что смотрите? Вот смотри лучше, что у вас под городом два дня тому назад человека зарезали... Да я к паше пойду! Да мой доктор — первый доктор в городе. Его все паши любят и уважают...»

Наговорила, наговорила, накричала; как поток весенний с гор бежит, и не удержать ничем. Бедный турок только одежду на груди потряс и сказал: «Аман! аман! Женщина!» И ушел за другими.

20 Гайдуша как молния и двери захлопнула и заперла их изнутри, и после опять кричала: «Извольте, извольте». И ставни в больших комнатах отпирала, и табак, и спички, и бумажку, и пепельницу отцу несла, и в одну минуту и скрылась, и опять с водой и вареньем на большом подносе пред нами явилась и приветствовала нас еще; и кофе сварила, и подала, и два раза зачем-то уже к соседке одной сбегала, и помирилась с ней, и вещи какие-то принесла, и мы уже видели ее, пока она в кухне птицей с места на место летала, завтрак нам готовила.

30 И отец сказал, как и заптие, глядя на нее: «Ну женщина! Это дьявол! Хорошо сказала твоя мать, что у Козвино оставлять тебя страшно. Такая в худой час и задушит и отравит ядом тебя».

Однако уже Гайдуша и соус прекрасный с фасолью нам изготвила, и вареную говядину с картофелем, и фруктами и халвой нас угостила, и множество разных разностей, прислуживая нам, очень умно и смешно нам рассказывала, а хозяин наш все еще не шел.

— Опоздал доктор, — сказал Гайдуше отец.

А Гайдуша ему на это:

— Коэвино человек очень образованный и в Европе воспитанный. У него слишком много ума и развития для нашей варварской Янины. Он любит расговаривать и спорить о любопытных и высоких предметах. Верно он заспорил или о вере с евреем каким-нибудь, или у Абдурраима-эффенди с каким-нибудь имамом ученым: почему Фатьме, дочь Магомета, будет в раю, а жена его, Аише, например, не будет... Или в русском консульстве в канцелярии сидит и чиновникам про свою жизнь в Италии рассказывает. Бедный доктор рад, когда встретит людей, имеющих премудрость или, так сказать, каприз какой-нибудь приятный... И здесь у нас христиане, даже и купцы, народ все более грубый... Впрочем, прошу у вас извинения, что я, простая меццовская селянка, берусь при вас, господин мой, судить о таких вещах!..

— Я с удовольствием тебя слушаю, — сказал ей отец.

А Гайдуша:

— Благодарю вас за вашу чрезмерную снисходительность к моей простоте и безграмотности!

Я подумал: «Баба эта хромая красноречивее многих из нас. Она не хуже самого Несторида говорит. Вот как ее Бог одарил!»

После завтрака я нестерпимо захотел спать: сказать об этом Гайдуше боялся и стыдился, долго ходил по всем комнатам, отыскивая себе пристанище, и, наконец, нашел одну маленькую горницу внизу, с широким диваном и одним окном на тихий переулок.

Притворил поскорее дверь и упал на диван без подушки. Не успел я еще задремать, как Гайдуша вбежала в комнату. Я испугался, вскочил и сел на диване, чтобы показать, что я не сплю.

Но Гайдуша довольно милостиво сказала мне: «Спи, спи, дитя, отдыхай». Принесла мне подушку, вспрыгнула мигом на диван, чтобы задернуть занавеску на окне, и поставила мне даже свежей воды на случай жажды.



Сильно смущенный ее вниманием, я сказал ей, краснея:

— Благодарю вас, кира-Гайдуша, за ваше гостеприимство и прошу вас извинить меня за то, что я так обременил вас разными трудами.

Кажется бы, и хорошо сказал?... Чтò же могло быть вежливее с моей стороны, приличнее и скромнее?

Но лукавая хромушка усмехнулась, припрыгнула ко мне и, ущипнув меня за щеку, как какого-нибудь неразумного ребенка, воскликнула: «Глупенький, глупенький паликарчик горный... Спи уж, не разговаривай много, несчастный! Куда уж тебе!»

И ускакала из комнаты.

А я, вздохнув, крепко уснул. И не успел даже от утомления вникнуть в смысл ее слов и разобрать, с какою именно целью она их сказала, — с худою или хорошею? Вернее, что с худою, однако; так казалось мне. Спал я долго и проснулся только под вечер от ужасного крика и шума в соседней комнате. Казалось, один человек неистово бранил и поносил другого, топая ногами и проклиная его. Другой же отвечал ему голосом нежным, трогательным и, быть может, даже со слезами.

Чтò за несчастье?! Чтò случилось?

## II

Крик и шум, которые разбудили меня, не имели ничего опасного: это доктор Коэвино рассказывал отцу моему о своих делах и чувствах. Он пришел в то время, когда я спал, и обрадовавшись искренно приезду моего отца, то гневался, то объяснял ему, как ему иногда горько и тяжело. И грозный голос, и умоляющий, оба принадлежали доктору.

Я присел на диван поближе к дверям и слушал.

— О! друг мой, друг мой! — говорил Коэвино грустным голосом (и мне казалось даже, что он, может быть, и

плачет). — Друг мой! Во имя Божие прошу тебя, послушай меня!

— Я слушаю тебя, Коэвино, успокойся... — отвечал ему отец.

— Слушай, друг мой! Я тебя прошу во имя Божие, слушай меня внимательно и рассуди потом. Мы сидели все на диване вокруг. Он, этот глупец, этот архонт, этот богач... сидел против меня. Разговор продолжался. Он говорит: «Всякий патриот должен согласиться, что эпироты сделали много для эллинской цивилизации...» Я возразил<sup>10</sup> на это, с гордостью, могу сказать, что я не патриот!.. «Да, я не патриот... Клянусь честью моей, я презираю эллинский патриотизм... Он для моего ума не понятен», — сказал я. А Куско-бей, вообрази себе, друг мой, сардонически усмехнулся и говорит: «Для вашего ума, доктор?.. быть может!»

Я заинтересовался рассказом, я знал имя Куско-бея. Из христиан, он был первый богач в Янине, и у него было в горах и по долине Янинской до пяти имений с обязанными крестьянами.<sup>20</sup>

Но передав отцу колкий ответ Куско-бея, Коэвино надолго замолчал. Потом вдруг как вскрикнет, как застучит ногами...

— Мне! Мне это сказать? и кто же?.. Янинский архонт! который торговлей и мошенничеством составил себе огромное состояние... Развратный человек... Разврат исполненный, могу сказать, ума, грации, изящества, — это другое дело! Но его разврат, его! «Мой ум, мой ум, животное? — сказал я ему. — Ты, дурак и неуч, разве в силах судить о малейшей из идей моих. Ты, подлец и хамал,<sup>30</sup>\* знает ли твой янинский мозг, наконец, что такое идея? Я был в Европе, осел! Мне во Флоренции рукоплескали профессора, когда я выдержал экзамен. Я ежедневным трудом, познаниями хотел приобрести средства к жизни... Выйдем вместе отсюда сейчас, чтобы не оскорб-

---

\* Хамал — носильщик.

лять хозяина дома, и я, сойдя с лестницы, разможду тебе голову этой тростью! Ха, ха, ха! есть ли у тебя человеческий мозг или свиной, или лошадиный, могу сказать!» Да! или лошадиный, могу сказать! Да!.. А? Полихрониадес; а? друг мой, хорошо я его отделал?.. Скажи, умоляю тебя, будь ты жив и здоров всегда, скажи, что хорошо?..

— Чтò ж хорошего, — отвечал ему отец, — столько врагов себе создавать. Куско-бей человек сильный, богатый.

10 Я слышал, что Коэвино передразнил отца голосом:

— Сильный, богатый... архонт янинский, подлец! Архонты! аристократия... Нет, я понимаю аристократию, я люблю ее, я сам, могу сказать, аристократ... Да! аристократия имени, рода, меча! Рыцарство. Заслуги государства, великие открытия науки и ума, наконец... так, как в Европе. Но здесь эта наша низкая плутократия, господство капитала, интересов... А! насколько турки благороднее, возвышеннее их, этих разнощиков наших. Согласен ты?

Отец ему на это сказал:

20 — Не согласен, друг мой, не согласен, извини. Я и сам разнощик, вдобавок, скажу тебе, и небогатый. Хорошо тебе турок хвалить, когда ты доктор и с них берешь деньги, а я из тех, с которых они берут, чтò хотят. Знаешь ты это? Да, я сам был разнощиком и хамалом, как есть. Мальчишкой я, согнувшись, ситцы и коленкор разносил на этих плечах. Хозяин посылал меня и в жар и в дождь по архонтским жилищам, и я носил. Согласиться я с тобой не могу!..

30 — О! прости мне, друг мой, если я тебя оскорбил! — воскликнул Коэвино нежным голосом. — Обними меня... и прости... Ты, я знаю, честный и благородной души человек... Нет, я честный труд люблю и уважаю. Я сам трудом насущный хлеб приобретаю. Но, видишь, я люблю сердце, священный огонь люблю в человеке, ум, могу сказать, чувства возвышенные...

И, помолчав немного, доктор продолжал так тихо, что я принужден был напрячь все мое внимание.

— Вот тебе пример возвышенных чувств в бедности. Эта несчастная женщина Гайдуша. Она вспыльчива, как демон, но предана мне по-рабски. Вчера вечером она рассердилась и убежала из дома. Я был этим крайне расстроен. Но, заметь, какая любовь, какая преданность... Какая глубина и тонкость чувств... Она ушла к одной знакомой ей монахине в «Архимандрию» и увидела оттуда ваш приезд... «Гости! у доктора!..» В один миг забыты гнев, месть и злоба... Она бежит, летит на крыльях. Она служит вам. И все это для чего? чтоб я не осрамился пред гостями...<sup>10</sup> А? Это не ум? Скажи. А? Это не чувство?

— Девка умная, — сказал отец.

А доктор опять к нему:

— А? скажи? умная? А? скажи, разве не возвышенно это. А? скажи...

— Возвышенно, но зачем же она тарелки у тебя вчера все перебила. Она, проклятая, должна бы помнить, что ты ежедневным трудом приобретаешь деньги.

Козвино в ответ на это отцовское замечание захохотал изо всех сил и, должно быть, запрыгал даже, потому что пол затрясся во всем доме. А потом закричал:<sup>20</sup>

— А! Тарелки! браво! Мне это нравится. Я люблю этот грозный гнев! Этот пламень чувств... Тарелки бьет! Браво! Паликар-женщина! Я люблю эту фуриозность, фурию, гнев, эту страсть! И потом заметь, что она разбила двенадцать дешевых тарелок, а фарфоровые не тронула... О! нет... Я тебе сейчас покажу их... Один сервиз мне подарил Абдурраим-эффенди, благородный турок!

Доктор кликнул Гайдуше, сказал ей повелительно и грозным голосом:<sup>30</sup>

— Беги скорее и принеси оба сервиза фарфоровых сюда, показать господину Полихрониадесу. И голубой, и тот, который с разноцветными узорами. Оба! живо! О! голубой. Это прелесть! Его мне подарил Абдурраим-эффенди, благородный турок.

— Хорошо, но дитя там спит, где спрятан фарфор.

Тут Козвино закричал:

— А! да, дитя. Сын! Это правда. Я его забыл. Тем лучше, пусть он встанет, мы и его посмотрим... Сын... Он, вероятно, теперь большой... Одиссей, вставай!

Я поспешно поправился перед зеркалом и пошел в гостиную с некоторым страхом и смущением.

Увидав меня, доктор отступил несколько шагов назад и, улыбаясь, рассматривал меня долго в лорнет.

— А! сын... Дитя! Одиссей! А! В халатике, по-древнему! браво! обернись спиной... В саване турецком. Живи и будь здоров!

10 Меня ужасно оскорбило замечание доктора насчет моего халатика или «турецкого савана», и я после этого целый вечер был расстроен и печален. «Лучше провалиться под землю, — думал я, — чем жить так, как я живу! Чтò за несчастье! Лучше бы меня уже в цвете юности моей Харон взял. Это мучение! Консул смеется надо мной, что я не так говорю; этот сумасшедший говорит, что на мне саван турецкий! И правда! я уже давно думал, что надо бы мне франкское платье сшить, как все благородные  
20 люди нынче носят. Увы! Все горе нам бедным! На чужбину теперь меня увезли из родного гнездышка, бедного меня и несчастного! А пристанища нет, нет убежища! Консульство без консула стоит, а здесь оставаться я не могу. Голубушка мать моя, канарейка моя золотая, хорошо сказала, что в этом доме мне жить нельзя... Женщина эта дьявол сам во образе женщины. Шутка это, вчера на жандарма на турецкого закричала! Чтò же я такое для нее после этого? Червь, которого она растоптать может. А сам доктор? И он тоже не заслуживает никакой похвалы; ибо  
30 не прилично образованному и благородному человеку оскорблять и срамить так своих гостей. Саван турецкий! увы! это не жизнь, а мученье, это чужбина. В Франгадесе, в отчизне моей, никто меня так не оскорблял и никто надо мной не смеялся!»

Хорошо делают люди, что осуждают этого Коэвино. Пристойно ли человеку в летах так кричать и прыгать? И выдумал еще что! Простую свою и безграмотную Гай-

душу возвышает над янинскими архонтами, над землевладельцами и великими торговцами, которые в училищах обучались. Нет, он глуп и дурной души человек, и я скажу отцу, что я в доме этом жить боюсь и не буду!

Весь вечер после этого я провел в подобных мыслях. Пойти мне было некуда без отца, потому что я никого в Янине не знал. Итак, я сидел в углу и смотрел до полуночи почти с отвращением, как Козвино без умолку рассказывал и представлял отцу разные вещи. И чего он не рассказывал, чего он не представлял! И чего он только не осуждал и кого не бранил! <sup>10</sup>

И на веру христианскую нападал, и на духовенство наше греческое.

И про Италию очень долго рассказывал, какие улицы и дворцы, и какие графы и графини в Италии его уважали, и как Папу выставят на площадь. И опять, как ему рукоплескали. Говорил и о консулах янинских; рассказывал, как они все его уважают и как принимают прекрасно. Хвалил г. Благова. «Милый, благородный, жить умеет». Хвалил старика англичанина: «Прекрасной фамилии... Корбет де-Леси! Почтенный старец Корбет де-Леси! Прекрасной фамилии... Голубой крови человек... Почтенный старец Корбет де-Леси!..» Француза monsieur Бреше хвалил меньше; «не воспитан, — сказал он, — и довольно груб». Про австрийского консула отзывался, что он толстый, добрый повар, из пароходной компании «Ллойда». А про эллинского закричал три раза: «дурак, дурак, дурак! Кукла, кукла в мундире, кукла!» <sup>20</sup>

И патриотизм опять порицал.

— Я патриот? Я? О, это оскорбление для меня. Это обида! Эллада! Какие-то босые крикуны... Ха-ха-ха! Великая держава в один миллион. Ни ума, ни остроумия, ни аристократии, ни приятного каприза и фантазии! Мой патриотизм для всего мира, патриотизм вселенский. Англичанин-лорд, джентльмен, который при жене без фрака за стол не сядет. Француз любезный. Русский боярин. О! русские, это прелесть. Дельнее французов и любезнее ан- <sup>30</sup>

гличан. Вселенная, вселенная! Я ее обнимаю в душе моей. Турок, наконец, турок! Абдурраим-эффенди, тот самый, который мне голубой сервиз подарил.

И потом начал приставать к отцу:

— А? скажи? цвет небесный с золотом. Это хорошо? Скажи, благородный вкус? благородный? Абдурраим-эффенди! Вкус! Абдурраим-эффенди! Вкус!

Бедный отец чуть жив от усталости и сна сидел. Я отдохнуть успел после завтрака, а несчастный отец сидел на диване чуть живой от утомления и сна. Иногда он и пы-  
тался возражать что-нибудь безумному доктору, вероятно, для того лишь, чтобы речью самого себя немного развлечь и разбудить, но Коэвино не давал ему слова сказать. Отец ему: «А я тебе скажу...» А Коэвино громче: «Абдурраим-эффенди! Аристократия! граф... Гайдуша... архонты все подлецы!»

Отец еще: «Э! постой же, я тебе говорю...» А Коэвино еще погромче: «Разнощики все... А? скажи мне? А, скажи? Благов, Корбет де-Леси, Абдурраим, Корбет де-Леси, Благов, Италия, Папа, фарфор голубой; у меня три жакетки из Вены последней моды... Фарфор... Благов, Корбет де-Леси!..»

Сам смуглый, глаза большие, черные, выразительные, волосы и борода густые, и черные и седые. В один миг он менялся весь; взгляд то ужасный, грозный, дикий, то сладкий, любовный; то выражал он всеми движениями и голосом, и глазами страшный гнев; то нежность самую трогательную; то удивление, то восторг; то ходил тихо и величаво, как царь всемогущий, по комнате, только бровями сверкая слегка, а то вдруг начинал хохотать и кричать, и прыгать.

Господи, помилуй нас! Сил никаких не было терпеть, наконец! У отца голова на грудь падала, но доктор все говорил ему: «А, скажи? А, скажи?..» А сказать не давал.

Било десять на больших часах; отец встал с дивана и сказал:

— Время позднее, доктор, не снять ли уже нам с тебя бремя беседы нашей?

— Нет, — говорит, — я не устал и рад тебя видеть.

Било одиннадцать. То же. Било двенадцать, полночь...

— Ты уже спишь, я вижу, — сказал наконец Коэвино отцу.

— Сплю, друг мой, прости мне, сплю, — отвечал отец не поднимая уже и головы, бедный!

Коэвино огорчился, и я с досадой заметил, что у него как бы презрение выразилось на лице: посмотрел на отца с пренебрежением в лорнет, замолчал и позвал Гайдушу, чтоб она нам стелила.

— Я давно постелила, — отвечала Гайдуша. — Я сама деревенская и знаю, что деревенские люди привыкли рано спать. Это мы только с вами, господин доктор, привыкли так поздно беседовать.

И усмехнулась хромушка и прыгнула как заяц в сторону.

Опять оскорбление! Этот иступленный и на отца, которого сам же до полусмерти измучил, смотрит с презрением в стекло свое франкское, папистан такой, еретик ничтожный! И на меня стекло это оскорбительно наводит. И, наконец, эта хромая ламия, эта колдунья, смеет про нас, загорцев, говорить, что мы деревенские люди.

Нет, я скажу отцу: «Отец! ты меня родил, ты и похорони меня, отец, золотой ты мой, а я жить здесь не буду».

Когда мы остались одни, я снял с отца сапоги и помог ему раздеться, и он все время принимал услуги мои молча и с закрытыми глазами. Разделся он и упал на постель, не помолвившись даже по обычаю, а только успел сказать:

— Помилуй нас, Боже, помилуй нас!

Я тоже лег, помолчал и говорю:

— Отец!

А он спрашивает:

— Чтò?

Я говорю:

— Отец, ты меня родил, ты и похорони меня, а я здесь жить не могу.



Отец ни слова даже и не ответил; он уже глубоким сном спал.

А я, как отдохнул после завтрака, то не мог так скоро заснуть и довольно долго тосковал и вздыхал на постеле, размышляя о том, как тяжела в самом деле чужбина. Теперь еще и отец мой золотой со мною, есть кому защитить и от турецкой власти, от паши, и от Коэвино, и от Гайдуши. А когда один останусь... Бедная голубка мать моя что-то думает теперь? И бабушка моя дорогая? И Кон-  
10 стантин? И Несториди? И служанка наша добрая?

И вся молитва моя была, чтобы г. Благов, русский консул, возвратился поскорее и чтобы мне жить у него под сению двуглавого орла всероссийского. Он хоть и пошутил надо мною, но совсем иначе. А этот во весь вечер даже и внимания не обратил на меня.

Кроме комплимента о турецком саване ничего не нашел сказать!

Нет, он даже очень глуп после этого, я вижу.

С этими мыслями я заснул наконец и на другое утро  
20 проснулся довольно поздно, опять от шума и хохота! Коэвино хохотал и кричал уже в самой нашей комнате.

Я открыл глаза и с изумлением увидел, что он сам точно в таком же турецком саване, как и я, т. е. в ситцевом халате, в длинной шубе (джюбе) с широкими рукавами, в феске, шалью подпоясан по нижнему халату, курит чубук, отца кофеем угощает, хохочет и говорит ему:

— Теперь к тебе с визитами многие приедут! Архонты! Попы!.. Принимай их пока у себя в гостиной, а мне  
30 для туалета моего нужно еще по крайней мере два часа... Я раньше и к больным никогда не выхожу. Что я, носильщик что ли? Архонт я янинский, чтоб я стал рано выходить из дома! А? скажи мне? А! Прав я? А!

На меня он опять взглянул небрежно в лорнет, даже и с добрым утром не приветствовал меня и ушел на другую половину дома. А мы с отцом остались наконец одни. Дождался я этой минуты!

— Чтò, Одиссей, — спросил отец ласково, — здоров ли ты?

Я сказал, что здоров, но нарочно придал себе опять печальный вид.

— Однако ты не весел, вижу? — спросил опять отец, — мордочку свою вниз повесил?.. Что так?

— Отец! — сказал я тогда с чувством, складывая пред ним руки, — прошу тебя, не оставляй меня в этом доме!..

Отец молчал задумчиво.

10

А я воодушевился и передал ему, что Гайдуша назвала нас с ним деревенскими людьми, на что он от усталости не обратил, вероятно, внимания. Сказал и о саване турецком, и о страхе, который наводят на меня Коэвино вспыльчивостью своей, а Гайдуша своею змеиною злобой...

— Это ведьма хромая, ведьма, а не женщина! — говорил я. — Отдай меня в русское консульство. Прошу я тебя и умоляю!

Отец долго молчал еще и слушал меня и наконец сказал:

20

— Оно и правда, что мытарства наши еще не кончились, видно. Однако с надеждой на Бога подождем еще немного. Гайдуша — ведьма; это ты хорошо сказал. Ей, я думаю, и убить в гневе человека нетрудно. Ничего, однако, подождем еще.

Мне этот ответ отца показался жестоким, и я подумал про себя:

«Подождем, подождем!..» Вот и отец иногда ко мне не сострадателен. О саване турецком вот ни слова не упомянул. Отчего бы ему не сказать прежде всего: «Сын мой Одиссей! Я сошью тебе скоро, как можно скорее, модный сюртучок à la franca, чтобы не смеялись люди над твоим турецким халатиком». Подождем! Да, а каково жить так, об этом отец не спросит? Каково жить мне так. И в турецком платье ходить, и оскорбления терпеть от чужих людей ежечасно. Сельские люди: спите рано! Говорить не

30

умеете! Ну, чужбина! Истину говорит песенка наша народная про злую чужбину:

Ах! Не могу ходить я, бедный, не могу я...

Ах! ножки ноют у меня, ах! и колена гнутся.

Нет матушки поплакать обо мне и нет жены со мною.

И братцев милых нет, чтоб с ними пошептать.

Анафема тебе, чужбина, да! анафема, со всем твоим добром.

### III

Мы прожили у доктора Коэвино в доме около трех недель. Я за это время думал иногда, что ум потеряю. У доктора всякий день что-нибудь новое; то ссоры опять с Гайдушей, то мир; то крик и рассказы за полночь. Мы ходили с отцом по городу, смотрели, принимали визиты, отдавали их. Сколько я новых людей за это время увидал! Сколько памятников старины! Сколько новых речей услышал! Как же на всех этих людей и на все эти новые для меня предметы смотрел, открыв широко глаза, и как я многому дивился! Всех чувств моих я и передать тебе не могу!

Мы ходили с отцом в старую крепость, которая так романтически высится на неприступных скалах над озером.

Мы видели высокую деревянную башню над крепостными воротами; с нее в последний раз с горестью смотрел Али-паша Эпирский на поражение своих дружин султанскими войсками. Видели его гробницу, подобную беседке из узорного железа... Под этим узорным, уже ржавым, навесом лежит его безглавое тело. Голова его, многодумная, голова рождающая, женская,\* как у нас говорят, была отправлена в Стамбул. Везде до сих пор по всему Эпиру видны следы его мысли и слышно его имя.

Здесь идет заброшенная мостовая по дикой горе. Кто вел дорогу эту, теперь забытую нерадением? Али-паша

---

\* Голова женская в просторечии у греков, голова женского пола, не значит такая, как у женщин, а рождающая, плодovitая голова.

эпирский вел ее. Там остаток канала, старый мост; тут место, где у него содержались для забавы дикие звери. Вот здесь жила несчастная Евфросиния, которую любил его сын Мухтар и которую старик Али утопил ночью в Янинском озере из ревности, ибо и сам влюбился в нее страстно.

Здесь он однажды в гнев повесил на окне сына одной вдовы... Вот окопы его, окружавшие город. Вот старый и богатый бей турецкий, который помнит страшного владыку. Он здоров, но ходит согбенный. Еще он был отрок 10 невинный, когда Али-паша приковал его, по злобе на отца его, в тесном углублении стены в темнице и так держал его долгие годы.

Вот другой старик, христианин, дряхлый и молчаливый капитан. Молодым паликаром он служил сыновьям паши, сражался в рядах его стражи, был им любим и едва не погиб вместе со всею семьей его от султанского гнева.

Там, за горами, христианский древний скит, которого седой игумен также помнит его. Он посещал этот бедный скит, заезжая отдыхать в него с охоты, чтил, любил его, 20 иногда одарял.

Вот зеленеет издали на озере небольшой островок; среди деревьев видны здания. Это тоже скит. Туда скрылся побежденный Али с любимой женою своею и лишь одним верным слугою; там умертвили его люди султана. Старый пол смиренной обители хранит еще те отверстия, которые пробили в нем пули, и под навесом простого досчатого крыльца еще цел деревянный столб, рассеченный глубоко ятаганом столь долго непокорного сатрапа.

Мы входили с отцом и в деревянный желтый конак 30 городской, который он построил и в котором жил. Теперь в нем заседает правитель края и производит суд и праву. Мы посетили по делам отцовским нескольких турецких чиновников, и один из них, молодой Сабри-бей, очень образованный и вежливый, водил нас даже в большую залу с колоннами и расписным золоченым потолком, в которой Али-паша принимал иногда парадные посе-

щения. «Здесь он сидел вооруженный, — рассказывают люди, — и посетители спешили проходить, низко кланяясь, мимо его в противоположную дверь. Он внимательно присматривался к их движениям, ибо остерегался врагов и в толпе гостей столь почтенных и преданных с виду»...

Мне показал отец издали и ту часть здания, где у Али был гарем. До сих пор на наружной стене видны какие-то грубые, неясные изображения оружия, знамен и как будто огонь пылающий и дым.

10 В просторном жилище старик был окружен свирепую и отважною дружиной, которая верно охраняла его. Сулиот православный, янинский турок, приверженный Исламу, и арнаут, равнодушный ко всякой вере, ему были одинаково дороги, лишь бы все они молодецки творили грозную волю его.

Пятьсот девиц, одна моложе и красивее другой, и пятьсот отроков и юношей прекрасных служили ему, веселили и развлекали его.

20 И девушки эти, и юноши были нарядны, разукрашены у него, в шелку, в червонцах, в фустанеллах белых, зимой в шубках, богато расшитых золотыми узорами. Когда ему, под старость его, становилось иногда скучно, он выбирал самых красивых из юношей этих, заставлял их веселиться и обниматься при себе с девицами, а сам сидел на софе, курил и любовался на них.

Когда он ехал в дорогу верхом, пешие паликары бежали вокруг него, и музыка играла, когда он приказывал.

Мне показал отец еще на башне у входа в крепость изваянное из темного камня лицо человека с усами.

30 Я спросил, что́ это значит? И отец сказал мне так: «Говорят, что внутри хранится голова одного смелого разбойника, который опустошал страну; Али-паша изловил его, снял ему с лица еще живому кожу, вставил отрубленную голову его в стену и велел в этом месте изобразить из камня его лицо, на вечный страх другим».

Грозное было то время. Не всякому такое время было под силу.

Мы ходили также на поклонение мощам мученика нынешнего века, чтимого святым, Георгия Нового, Янинского, и в дом его сына, который только что женился на молодой девушке, одной из первых красавиц в городе. Тихая, кроткая и прелестная девушка.

Но еще ты знаешь ли, когда и как принял свой недавний и свежий мученический венец наш Георгий Янинский? Боюсь, что ты забыл о нем или даже вовсе и не знаешь этой новой славы твоего племени, славы, смиренно погребенной в тихих долинах нашего полудикого Эпира... Боюсь, что классические мраморы древних эллинских Пропилей, от соседства которых ваша современная афинская жизнь все-таки не становится ни пышнее, ни изящнее, боюсь, что эти вечные мраморы угасили в тебе всякую искру любви к иным проявлениям греческого духа, к тем суровым и вместе восторженным примерам, которых сияло столько и в цирках языческих царей, и в тюрьмах византийских еретиков-гонителей, и под грозой сарацинской, и под страхом еще недавней турецкой кровожадности, под страхом необузданного своеволия надменных наместников султана!..

Икона нашего эпирского святого ходатая за нас, бедных и грешных, у престола Господня пишется по обычаю так: молодой паликар, в обыкновенной арнаутской одежде, в белой фустанелле и феске, покрытый багряным плащом, означающим его мученичество, его царственную заслугу пред Церковью христианской, стоит держа в правой руке крест, а в левой пальму страдания. Рядом с ним, на каменной стене, повешен полуобнаженный его же труп с глубокою раной в груди, источающей кровь. На небе дальнее сияние...

Я желал бы, чтобы когда-нибудь мою загорскую родную комнату украсила бы подобная икона того изящного русского искусства, которое нам, грекам, так нравится и которое умеет сочетать так трогательно для верующего прелестную идеальность византийских орнаментов, золотое поле, усеянное матовыми цветами и узорами, с естествен-

ностью лика; сочетать выражение живое, теплое, близкое нам, одежду и складки, полные правды, с вековой неподвижностью позы, с нерушимыми правилами предания и церковного нашего вкуса, которому так чужд и хладен кажется разнузданный идеал итальянских церковных картин... Я первый... не скажу, *сознаюсь*, о, нет!.. я с радостью и гордостью скажу тебе, что я могу любоваться на картину Делароша или Рафаэля, я могу восхищаться ими. Но молиться я могу лишь на *икону*, какова бы она ни <sup>10</sup> была, — бедной ли и мрачной нашей греческой работы, или русской кисти, в одно время и щегольской, и благочестивой, и веселой, и строгой.

Такой бы кисти дорожную икону нашего святого эпирота я желал бы повесить в моем загорском жилище, чтобы молиться пред нею по вечерам, когда стариком сподобит меня Господь Бог провести на родине хоть десять или двадцать последних лет пред страшным и неизбежным концом...

<sup>20</sup> Св. Георгий жил в тридцатых годах нашего века и был еще молод, когда смерть постигла его неожиданно. Он долго служил *сеисом* \* у богатых турок. Турки его любили за его тихий и серьезный нрав.

В Янине один ходжа, увидав раз, что он исполняет христианские обряды, по злобе (а может быть, и по ошибке) обвинил его в том, что он не христианин от рождения, но мусульманин, изменивший Исламу. Георгий еще накануне был смущен предчувствием и, ужиная вечером с семьей, встал вдруг из-за стола и, воскликнув печально, что судьба его скоро свершится, вышел вон.

<sup>30</sup> В стране тогда царствовал ужасный беспорядок. Паша был бессмыслен и жесток. Георгия судили; убеждали и лаской, и угрозами отречься от Христа, заключали в тюрьму, били, давили ему грудь большим камнем, наконец повесили и приставили к телу стражу. Один из низамов осмелился из кошуна выстрелить в висящий труп муче-

---

\* *Сеис* — конюх, кучер.

ника; но внезапный свет, который разлился вокруг священного тела, привел и его самого и всех товарищей его в такой ужас, что они покинули свой пост, бежали оттуда и клялись начальству своему, что этот убитый человек свят и угоден Богу...

В маленькой церкви на дворе митрополии стоит его высокая мраморная гробница. Над нею, на стене изображены суд и страдания святого.

И, когда видишь на этих простых и неискусных картинах столько правды, когда видишь молодого сеиса, одетого не в хитон или древнюю тогу, а в ту самую одежду, в которой тут же стоят и молятся и янинские и сельские наши люди, когда видишь, что солдаты турецкие, которые кладут тяжелый камень на грудь герою веры и стреляют в его удушенный труп, тоже одеты в нынешнюю европейскую, низамскую одежду, когда смотришь на все это внимательно, тогда действие на душу христианина становится еще живее и глубже... Видишь тогда и чувствуешь ясно, что для великих примеров нет нам, грекам, нужды обращаться к векам Диоклетиана или первых сарацинских нашествий; и что вчерашний день нашей Восточной Церкви так же велик, как и глубокая древность.

Мы приложились к мраморной раке и отслужили *пαραклис* \* за здравие наше и всей семьи.

Белый домик, в котором живет почти у выезда из города сын святого, так и зовется домик Св. Георгия. Он не очень мал и не стар с виду. Покои его чисты и просторны; диваны турецкие в приемной покрыты простым и толстым льняным полотном домашней работы, белым с голубыми полосками. Одна большая комната увешана иконами и лампадами, как церковь; в нее, так же как и в придел митрополии, заходят люди вспомнить о мученике и помолиться и жертвуют что-нибудь на свечи и масло для лампад; частью, вероятно, и на нужды семьи. Хозяин и моло-

---

\* *Параклис* — придел; но употребляется обыкновенно и в смысле молебна.



дая стыдливая красавица, жена его, приняли нас с великим почтением и лаской. Мы молились и пили у них кофе. Мне очень понравилось у них все; но отец мой думал иначе.

Вышедши из дома на улицу, он с сожалением сказал мне:

— Если бы меня сподобил Бог родиться сыном святого или мученика, я бы никогда не женился, а постригся бы смолоду в иноки и жил бы один или с почтенным старцем каким-либо в этом доме. Так было бы гораздо пристойнее!

10 Подумав, и я согласился, что отец был прав.

Все эти воспоминания кровавых событий, вид всех этих мест, еще хранящих столько живых и неостывших следов прежнего порядка, были бы, конечно, страшны, если бы думать о них глубоко; и точно, позднее я не раз, вспоминая о первых прогулках моих с отцом по Янине, содрогался и снова благословлял Россию, которая победами своими смирила гордость турок и достигла того, что с ними теперь не только можно жить, но и любить их можно иногда сердечно; ибо до тех пор, пока не возбуждено в них религиозное чувство до исступления, до пожирающего пламени, они добры, уступчивы, великодушны, ласковы...

20 Я готов сознаться, что многие из них по прекрасным свойствам души, по доброте и милосердию, стоят гораздо выше нас... Если бы ты был иностранец, я бы не сказал тебе этого; но зачем я буду скрывать правду от грека?

30 Все это, и хорошее и худое про турок, я обдумал гораздо позднее... А тогда я, гуляя с отцом по городу, смотрел на все то рассеянно, то внимательно; слушал рассказы про Али-пашу, про столькие убийства, грабежи, про все эти войны, набеги и казни; но слушал так, как будто бы я читал занимательную книгу. Особенного страха я не чувствовал даже и на улице. Мы встречали довольно много ходжей в чалмах и янинских беев с суровыми выразительными глазами: я взглядывал на них и робко, и внимательно, мгновенный страх овладевал мною; но отец шептал мне, что все янинские турки потому и фанатики, что их мало, что греков много, что граница свободной Элады

близка, и гордость сменила в моем сердце тотчас минутное это движение страха. Встречались нам солдаты целыми партиями: они шли, тяжело ступая по мостовой и бряцая доспехами; отец провожал их полунасмешливо глазами и говорил: «Как мало у них здесь войска, у бедных!» И мы шли спокойно дальше; встречались чиновные турки; мы им почтительно уступали дорогу, и некоторые из них нам вежливо кланялись.

Чего ж мне больше? Чтò мне нужно? Живи, Одиссей, веселись, мой бедный, и будь покоен! 10

И чтò я буду делать против турок, чтобы мне так бояться их? Уступить дорогу я с радостью всегда уступаю; поклониться им не трудно... На войну против них я никогда не решусь идти, думал я, избави Боже... И где война? Где казни? Где ужасы? Где кровь? Город по-прежнему, как в первый день приезда нашего, все так же тих и мирен; предместья его все в садах веселых; за предместьями, в обе стороны, так кротко зеленеет узкая и длинная долина... Осенние дни ясны и теплы. Люди все спокойно заняты работой и делами; греков так много, и между ними 20 столько отважных молодцов; у стольких в доме есть оружие, у стольких за поясом или в обуви спрятан острый нож; турок меньше; синие горы свободных эллинских пределов близки... И еще ближе веет над высокою каменною стеной трехцветный русский флаг...

Благов! Благов, мой милый! О, мой молодчик! Где ты? Возвратись скорей, мой молодой и красивый эффенди! У тебя в доме, под сенью русского орла, я не боялся бы и самого грозного султана! Я не ужаснулся бы и его царского гнева под твоею защитой! 30

## IV

Г. Благов все еще не возвращался, и скоро мы получили известие, что он уехал в Македонию для свидания с другим консулом русским, и неизвестно, когда возвратит-

ся. «Посмотрим, что задумала еще Россия?» — говорили люди. «Прежде она все с обнаженным мечом над Турцией стояла, а теперь за развалинами севастопольскими прилегла и в подозрную трубку смотрит».

Первые дни мы, по старому обычаю, принимали посещения, сидя дома с раннего утра, а потом отдавали их.

Много перебывало у нас разных людей за эти дни, и больших, и простых людей. Приезжал сам митрополит, архонты, были доктора, священники, монахи, учителя, ремесленники разные, были даже некоторые турки и евреи, которые знали давно отца.

Отец всех принимал хорошо, сажал, угощал; иных, кто был выше званием или богатством, он провожал до самой улицы.

Я же всем этим посетителям, без различия веры и звания, прислуживал сам, подносил варенье с водой и кофе, чубуки подавал и сигарки им делал. Чубуки, конечно, предлагали только самым высшим по званию, а другим сигарки.

Все меня поздравляли с приездом, приветствовали, хвалили и благословляли на долгую жизнь и всякие успехи.

«Мы тебя теперь, Одиссей, яниотом нашим сделаем», — говорили мне все. Так меня все одобряли, и я уже под конец стал меньше стыдиться людей. Вижу, все меня хвалят и ласкают.

Доктор иногда выходил к гостям; но большею частию он уходил утром из дома к больным, чтобы показать, что не к нему гости, а к отцу моему приходят, и что он это знает.

Взойдет иногда на минуту в гостиную, посмотрит на всех в лорнет, поклонится, высокую шляпу свою венскую тут же наденет и уйдет, только бровями подергивает.

Ненавидел он яниотов.

Гайдуша была во все это время очень гостеприимна, помогала мне служить гостям, ничего не жалела для угощения. Когда я просил у нее: «Еще, кира-Гайдуша, одолжите по доброте вашей кофе на пять чашечек». Она отве-

чала: «И на десять, дитя мое, и на двадцать, паликар прекрасный».

Так она была гостеприимна и ласкова, что я уже под конец недели перестал ее почти и ламией \* звать.

Видел я довольно многих турок за это время.

Видел я и самого Абдурраим-эффенди, о котором так часто говорил Коэвино; он приходил не к отцу, а к своему другу доктору. Наружность у него была очень важная, повелительная; худое лицо его мне показалось строгим, и хотя доктор клялся, что он добрейший человек, я все-таки <sup>10</sup> нашел, что обращение его с отцом моим было уже слишком гордо.

Доктор представил ему отца как своего старого знакомого; бей сидел в эту минуту с ногами на диване, завернувшись в длинную кунью шубку, и с важною благосклонностью взглянул в сторону отца. Отец подошел к нему поспешно, согнувшись из почтительности, и коснулся концами пальцев руки, которую бей чуть-чуть ему протянул, даже и не шевелясь с места.

Я заметил еще, что Абдурраим-эффенди как будто бы <sup>20</sup> брезгливо отдернул и отряхнул те пальцы, к которым отец прикоснулся.

Когда отец говорил потом что-нибудь очень почтительно, бей выслушивал его как будто бы и вежливо, но почти не отвечал ему, а смотрел с небольшим удивлением, как будто спрашивая: «А! и этот деревенский старый райя тоже говорит что-то?»

Он даже иногда слегка улыбался отцу; но обращался тотчас же к доктору и, говоря с ним, становился весел и <sup>30</sup> свободен, как равный с равным.

Искренно ли или лицемерно, но отец хвалил бея за глаза; но я не мог долго простить ему это надменное обращение с бедным моим родителем и со злобною завистью дивился, почему он оказывает такое предпочтение безумному Коэвино?

---

\* Ламия — ведьма, съедающая иногда молодых людей.

Гораздо приятнее было для меня знакомство со старым ходжей Сефер-эффенди.

Вот был истинно добрый турок, почтенный, простодушный и забавный. Нос у него был преогромный и красный; чалма зеленая; борода длинная, белая; руки уж немного тряслись, и ступал он не очень твердо ногами, но глаза его были еще живые и блистали иногда как искры. Все он шутил и смеялся. Знаком он был с отцом моим давно.

<sup>10</sup> В ту минуту, когда он пришел к нам, ни отца, ни доктора не было дома. Мы с Гайдушей его приняли и просили подождать; я сам подал ему варенье и кофе. Он спросил меня, знаю ли я по-турецки? Я сказал, что на Дунае, когда был мал, недурно знал, но что здесь, в Эпире, немного забыл.

Сефер-бей, все улыбаясь, смотрел на меня пристально и долго не пускал от себя с подносом, долго собирался на это ответить мне что-то; думал, думал и сказал наконец по-турецки:

<sup>20</sup> — Видишь, дитя, никогда не говори, что ты знал хорошо по-турецки! Слушай. Арабский язык — древность, персидский — сахар, а турецкий — великий труд! Понимаешь?

Я сказал, что понимаю. Старик тогда без ума обрадовался и хохотал.

Я хотел унести поднос, но ходжа схватил поднос за край рукою и спросил:

— Знаешь ли, дитя мое, кто был Саади?

Я сказал, что не знаю и не слыхал.

<sup>30</sup> — Саади, дитя, был стихотворец, — продолжал Сефер-эффенди, одушевляясь. — Вот что он сказал про тебя, мой сын: «Этот кипарис прямой и стройный предстал пред мои очи; он похитил мое сердце и поверг его к стопам своим. Я подобен змее с раздавленной головой и не могу более двигаться... Этот юноша прекрасен; взгляни, даже когда он гневается, как приятна эта строгая черта между его бровями!» А Гоммам-Эддин, другой стихотворец, ска-

зал иные слова, про тебя же: «Одним взглядом ты можешь устроить наши дела; но ты не желаешь облегчать страдания несчастных». Это что значит, мой сын? Это значит, что ты должен всегда оставаться добродетельным!

Я от этих неожиданных похвал и советов его так застыдился, что ушел в другую комнату и, услышав, что Гайдуша вслед мне смеется громко (она без церемоний села и беседовала с ходжей), еще больше растерялся и не знал уже, что делать. Слышал только, что Гайдуша сказала турку:

10

— Да, он у нас картиночка писаная, наш молодчик загорский, как девочка нежный и красивый. А глаза, ходжа-эффенди мой, у него, как сливы черные и большие. На мать свою он похож.

— Это счастливый сын, я слышал, который на мать похож, — отвечал старик.

Сознаюсь, что хотя я и стыдился, а похвалы эти мне были... ах, как приятны!

Понравился мне также тот молодой чиновник Сабри-бей, который показывал нам в конаке залу Али-паши.

20

Ничего в нем не было страшного или грубого. Такой тихий, ласковый, с отцом моим почтительный, руку все к сердцу: «эффендим, эффендим!» Собой хоть и не особенно красивый, но такой высокенький, худенький, приятный, с усиками небольшими. По-французски он говорил свободно; а когда он начинал говорить по-турецки, языком высоким, литературным, то это было просто очарование его слушать; гармония и сладость!

— Эффендим! — говорил он отцу моему вкрадчиво, сидя у нас, — прошли времена мрака и варварства, и мы надеемся, что все подданные султана будут наслаждаться совокупно и в несказанном блаженстве равенством и свободой, под отеческою и премудрою властью!

30

— Есть еще, увы! многое, многое, эффенди мой, достойное сожаления и жалоб, — сказал ему отец.

— Эффенди мой, кто этого не видит! — возразил Сабри-бей с достоинством. — Но справедливо говорят фран-

цузы: «Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas!» Постепенно и неспешно все изменяется! Все, решительно все, верьте мне! И еще древний латинянин сказал: спеши медлительно. И сверх того, прошу у вас прощения, сказал и другое хорошее слово француз: «Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles».

Я, слыша это, вышел в другую комнату и воскликнул сам с собою: «Нет, действительно турки сильно идут вперед! Так что это для нас даже невыгодно! Истинно сказано: „пути Провидения неисповедимы!“» И я печально задумался с подносом в руке.

В эту минуту на лестнице раздался страшный, дикий рев и крик; рев этот не походил ни на визг Гайдуши в гневе, ни на восторженные клики Коэвино. Я вскочил с испугом и встретился вдруг лицом к лицу со страшным человеком. Это был дервиш. Смуглый, низенький и седой, в высоком остром колпаке набекрень, в длинной одежде и с огромною алебардой в руке.

Взгляд его был ужасно грозен, и на одном виске его под колпак был всунут большой букет свежих цветов.

— Га! га! — кричал он, — га-га!

Не знаю, как даже изобразить тебе на бумаге его ужасный крик и рев! Я совсем растерялся и не знал, что подумать, не только что сделать. Варвар, однако, шел прямо на меня с алебардой и сверкая очами. Поравнявшись со мной, он не останавливаясь поднес свою руку к моим губам; и я поспешил поцеловать ее, радуясь, что не случилось со мной ничего худшего. Отец в эту минуту приподнял занавес на дверях и воскликнул как будто с радостью:

— Браво! браво! Добро пожаловать, хаджи-Баба. Жив ты еще? Милости просим, дедушка Сулейман!

Хаджи-Сулейман не обратил на слова отца никакого внимания, движением руки отстранил его от дверей, прошел через всю комнату, едва взглянув на Сабри-бея, и важно сел на диване, потом уже сидя он осчастливил всех по очереди и небольшим поклоном. Отец подал мне знак,

и я принес старику варенье и кофе (страх мой уже прошел и сменился любопытством). Сабри-бей с презрительною усмешкой спросил тогда у дервиша: «Как его здоровье?»

— Лучше твоего, дурак, негодяй, рогоносец! — отвечал старик спокойно.

Мы засмеялись.

— Мне сто двадцать лет, — продолжал хаджи, — а я скорей тебя могу содержать по закону четырех жен, дурак, негодяй ты ничтожный.

10

— Отчего ж у тебя одна теперь только жена, да и та черная арабка? — спросил бей, не сердясь за его брань.

Старик молча показал пальцами, что денег мало, вздохнул и стал молиться на образ Божией Матери, который был подарен доктору г. Благовым и висел в гостиной на стене.

Он молился вполголоса в нос и нараспев, поднимая руки и глаза к небу, и я только слышал раз или два: «Мариам, Мариам».

Потом он сошел с дивана и, не кланяясь никому, опять важно, величественно, тихо пошел к дверям и лестнице. Мы с отцом и Гайдушей проводили его в сени.

20

— Прощай, хаджи, прощай, дедушка, — говорил ему отец. — Не забывай нас, заходи.

Хаджи-Сулейман, не обращаясь и не отвечая, шел к лестнице медленно и гордо, но как только коснулся он босой ногой своей первой ступени, так вдруг побежал вниз, помчался с лестницы вихрем как дитя или легкая птичка какая-то! Даже стука не было слышно от его босых ног.

30

Это было так неожиданно и забавно, что не только мы с Гайдушей смеялись от всего сердца, но и отец долго без улыбки не мог этого вспомнить.

Возвратившись в приемную, отец рассказал Сабри-бею о выходе столетнего дервиша и дивился его здоровью и легкости его движений. Но Сабри отозвался о старике очень дурно.



— Нехороший человек, — сказал он. — Злой человек. Теперь он не может ничего сделать; но знаете ли вы, какой он был прежде фанатик и злодей? Я знаю о нем много худого. Ему точно что более ста лет; отец мой и многие другие турки издавна помнят его почти таким же, каков он теперь на вид. Но поведение его было иное. Когда в двадцать первом году была война с эллинами, он, знаете ли вы, что делал? Он пил кровь убитых греков и выкалывал пленным христианам глаза. Ужас! Я, эффенди мой, к таким свирепым людям питаю отвращение, какой бы веры и нации они ни были. Это ужасно, эффенди мой, мы в дом отца моего никогда его не принимаем, и потому он меня так бранит, как вы слышали.

— Времена такие были тогда жестокие, эффенди мой, — сказал, вздохнув, отец. — Будем надеяться, что подобные сцены не повторятся больше никогда.

Сабри-бей заметил еще, что иные турки все прощают Хаджи-Сулейману и считают его как бы святым; «но я, — сказал он, — презираю подобные заблуждения!»  
Потом он простился с нами и сказал отцу:

— Я, эффенди мой, слуга ваш во всяком деле; если вам и вашему сыну нужно что-нибудь у паши господина нашего, обратитесь ко мне, и я всегда буду готов, хоть сила моя и звание еще невелики.

Отец с тысячами благодарений и благословений проводил его вниз с лестницы, не без труда, однако; бей часто останавливался, умоляя отца не утруждаться для него и не делать ему столько незаслуженной чести; отец отвечал ему всякий раз: «это долг мой». А бей: «благодарю вас».  
И через три или четыре ступени они повторяли опять то же самое.

Я, глядя на них, думал: «Вот вежливость! Вот примеры, которые подают нам... И кто же? Турки». И дивился. Скоро я узнал и другие подробности о Сабри-бее.

Рауф-паша, который в то время управлял Эпиром, был человек не злой, не жестокий, не фанатик, но зато и неспособный, слабый человек. Самая наружность его, ни-

чуть не видная и ничем не замечательная, соответствовала его ничтожеству. В молодости он был военным и имел две раны от русских пуль в руке. Но и на войне распорядительностью он не славился. Он старался не притеснять народ, сколько мог, по крайней мере явно не оскорблял никого; охотно готов был защитить иногда христиан от нападков и обид, которые в некоторых случаях желали бы им делать янинские турки; но тяжёбными, даже административными делами занимался слишком неспешно и неохотно. Любимым занятием его была турецкая археология. По смерти его осталась любопытная книга о турецких старинных одеждах, с очень хорошими раскрашенными картинками, которые он заказывал в Париже. Книга эта была издана на двух языках, на французском и турецком.

Это занятие было его отрадой в старости и недугах; ибо бедный старик часто болел. Всем тем людям, которых он хоть немного любил или уважал, он показывал картины, рисованные акварелью по его заказу в Константинополе, и объяснял подробно, как изменялись моды со времен Османа Гази до султана Махмуда; объяснял, что с течением времени для каждого звания, чина и занятия определилась особая одежда вместе с особыми правами; что ни великий визирь, ни рейс-эффенди \* чалмы не носили, а имели высокие конические шапки, подобные шапкам дервишей-мевлеви; рассказывал, как самые фасоны чалмы у султанов менялись с течением времени, и почему он находит, что красивее всех была чалма султана Селима III, который и сам был первейший красавец...

В делах же им самим правил диван-эффендиси \*\* Ибрагим-бей, его зять.

Гайдуша, которая знала все на свете, рассказывала нам о том, как женился Ибрагим-бей на дочери Рауф-паши.

---

\* Рейс-эффенди — министр иностранных дел.

\*\* Это происходило еще до учреждения вилайетов и новых должностей.

Она была в большой дружбе с арабкой, служанкой Ибрагима, и от нее узнавала все, что ей было угодно.

Рауф в то время, когда в первый раз встретил Ибрагима, не был еще пашою, но занимал уже значительную и выгодную должность. Он приехал на короткое время в Стамбул. Там, однажды, пришел к нему по делу отца своего молодой мальчик турок, софта.\* Ему было всего пятнадцать лет. Рауф-эффенди в эту минуту был голоден, и дом его был далеко от той канцелярии, в которой он сидел. Он обратился к другим туркам, сидевшим с ним, и сказал: «Знаете ли, что я бы дорого дал теперь за простую головку свежего луку и за кусок хлеба!»

Не успел он произнести эти слова, как маленький и умный софта Ибрагим достал из кармана своего головку луку и большой кусок хлеба, завернутый в чистую бумагу; вынул ножик, разрезал лук, положил его на хлеб и с низким поклоном поднес его Рауф-эффенди. Рауф-эффенди воскликнул: «Вот ум!», приласкал Ибрагима, дал ему денег, устроил очень скоро дело его отца и взял его потом к себе. Отец Ибрагима был беден, детей имел много и сказал Рауфу: «Господин мой! У меня есть другие дети. Ибрагим больше не принадлежит мне. Он твой. Хочешь иметь его сыном, воля твоя; хочешь иметь его рабом последним, и на то твоя воля».

Рауф-эффенди скоро стал пашою. Мальчик подавал ему долго чубуки и наргиле и вместе с тем переписывал ему разные бумаги и письма, прилежно читал и учился, исполнял всякие поручения. Рауф-паша, хотя и держал его более как сына, чем как слугу, но Ибрагим сам старался служить ему, и когда Рауф возвращался усталый домой, Ибрагим не позволял черному рабу снимать с него сапоги. «Ты не умеешь!» — говорил он, бросался на колена сам перед Рауфом и снимал с покровителя своего сапоги так ловко, так нежно дергал чулки за носок, чтоб они отстали от разгоряченных и усталых подошв, так хорошо надевал

---

\* Студент мусульманского богословия.

туфли, что Рауф-паша говорил за глаза про него с наслаждением: «Не видал я еще человека, который бы так сладко снимал сапоги, как этот маленький Ибрагим!»

И наргиле, раскуренный милым Ибрагимом, и чубук, набитый им, и кофе, поданный иногда им с умильным взглядом и поклоном, казались для Рауфа-паши слаще, чем наргиле и чубук и кофе, поданные другим кем-нибудь, и бумага, написанная Ибрагимом, была всегда для Рауфа умнее и красивее, чем бумага, написанная другим писарем.

10

Между тем у Рауфа-паши росла единственная дочь. Она была немного моложе Ибрагима. Ростом она была высока и стройна; имела большие и красивые глаза, но лицо ее было немножко рябовато. Скоро она уже перешла за те года, в которые вообще и христианки и мусульманские девушки выходят замуж; ей было уже около двадцати лет. Рауф-паша был богат, дочь была единственная, он прочил ее за Ибрагима и не торопился сватать ее.

Однажды паша призвал дочь и сказал ей: «Пора тебя замуж отдать». Потом он повел ее в одну комнату, из которой было окошко в другое жилье, закрытое занавеской. Он поднял занавеску и сказал: «Смотри, вот тебе муж». В той комнате, на диване, сидел Ибрагим и читал книгу. Ему тогда было двадцать два года. Он был очень бел, черноок и чернобров, но слишком бледен и худ. Дочь паши, живя с ним в одном доме, хотя и на разных половинах, конечно, не раз видала его и прежде. Турчанки все видят и знают все то, что им нужно или хочется знать. Она отвернулась с досадой и сказала: «зайф-дер» (слишком слаб, нежен или худ). Паша возразил ей на это: «Он еще почти дитя. С годами пополнеет. Ты богата, и отец твой паша; если я отдам тебя за сына паши или бея богатого, что будет? Бог один знает. Может быть, он уважать тебя не станет и всякое зло ты от него увидишь. Я стар и умру: кто защитит тебя? Ибрагима же мы нашего знаем, и он будет вечные молитвы Богу воссылать за счастье, которое Он в тебе ему послал!»

20

30

Дочь согласилась тогда, и таким образом Ибрагим стал зятем паши, стал беем. Предсказания отца сбылись. Ибрагим очень пополнил, и так как ростом он был всегда высок, то самолюбивой жене теперь на наружность его жаловаться нельзя. Она смело может любоваться им из-за решеток своего окна, когда он едет верхом по улице, окруженный пешими слугами; и я любовался на него; вскоре после приезда нашего в Янину я встретил его на Крепостном мосту. Лошадь под ним была сытая и прекрасная, сам он был дорожен и красив, бурнус на нем был хороший, из тонкого сукна, с башлыком и кистями. Лошадь слегка играла под ним, медленно и гордо выступая. Я позавидовал.

Заняв при тесте своем должность «диван-эффендиси», Ибрагим-бей, к сожалению, стал слишком горд и заносчив. Он обращался с богатыми и почтенными христианами гораздо суше и надменнее, чем простой и опытный паша, его тесть; бедных нередко и бил своею рукой в самом конаке. Он полюбил роскошь, держал много слуг и лошадей, купил карету, которая по нашим горным дорогам вовсе не могла проехать, и ее от морского берега до Янины, наполовину разобрannую, несли носильщики на плечах за огромную цену. Сам он щеголял; двоих мальчиков своих он одевал в бурнусы из черного сукна, расшитые золотом; ковры дорогие заказывал, бесценные коврики, шитые золотом по атласу, для праздничной молитвы в мечетях при параде; заказывал много вещей серебряных, нашей тонкой янинской работы.

Отцу моему (которому все это необходимо было знать для его дел) приятели скоро объяснили, что Рауф-паша сам взяток не берет в руки, но что берет их иногда диван-эффенди, а иногда тот самый Сабри-бей, который так пленил меня своею образованностью. Они делятся оба потом с пашою. Ибрагим-бей был по-восточному очень образован и писал даже хорошие турецкие стихи, но европейских языков не знал ни он, ни паша. Поэтому Сабри-бей был им обоим очень нужен; Сабри знал хорошо по-французски и по-гре-

чески; почти все дела иностранных подданных или шли через его руки, или по крайней мере не обходились без его влияния. Все ноты и отношения консулам, которые часто писались по-французски, сочинял Сабри-бей; почти все переводы на турецкий язык делал он. И сверх того, он своею уклончивостью и вкрадчивостью достигал нередко большего, чем зять паши своею гордостью и гневом. Зять паши на людей простых нередко, как я сказал уж, поднимал руку в самом конаке; Сабри-бей никогда никого не бил. Зять паши, кроме митрополита и двух или трех самых важных старшин, никому из христиан визитов не делал и не платил. Сабри-бей знакомился со всеми. В самых простых речах и обычных восклицаниях между ними была большая разница; и тот и другой в разговоре обращались нередко к собеседнику со словом: «эффендим!» (господин мой!), но как говорил один и как произносил это слово другой!

«Эффендим!» — говорил Сабри-бей, и взгляд его был льстив; он прикладывал руку к сердцу, он, улыбаясь, как будто говорил тебе: «О! как я счастлив, что я с вами знаком и могу от души назвать вас „господин мой!“»

«Будь счастлив ты, несчастный, говорил, казалось, другой, что я так благосклонен и вежлив с тобою, и помни крепко, что только известная всем моя вежливость вынуждает меня говорить тебе „господин мой!“» «Эффендим!» эффендим! Да! А поза надменная на софе, взгляд, движение руки повелительное, все говорило у Ибрагима: «Я твой эффенди, глупец, а не ты, несчастный!»

Сабри-бей был принят хорошо во всех консульствах; а зять паши ни к кому из консулов не ехал, претендуя неслыханно, чтоб они первые его посетили. Один только Благов, который любил турок и хотел между ними быть популярным, был знаком с Ибрагимом. Благов, под предлогом спешного дела, зашел однажды сам, выходя от паши, в канцелярию диван-эффенди и посидел там пять минут; Ибрагим-бей был тронут этим и чрез несколько дней приехал торжественно в консульство русское и пробыл у Благова больше часа.

Сабри-бей был приятель со всеми; он не пренебрегал ни евреями, ни греками, и от этого нередко получал от них деньги и подарки тайком от паши и его зятя, и, как слышно было, в таком случае уже не делился с ними.

Он и с отцом моим поступил очень вежливо. Чрез два дня, не более, после того как отец мой был у него в конаке, Сабри-бей пришел к доктору в дом и сказал отцу, что хотя он с доктором и давно знаком и любит его как прекрасного человека, но что при этом посещении имел в  
10 виду именно моего отца.

На другой же день после этого визита я утром увидал, что отец торгует ковры в сенях у одной женщины. Он купил у нее наконец большой меццовский ковер в семь лир турецких, прекрасный, белый с пестрыми восточными узорами.

Потом, когда стемнело, он приказал мне взять носильщика, отнести ковер, аккуратно его свернув и прикрыв, к Сабри-бею на дом и сказать ему так:

— Отец мой кланяется, бей-эффенди мой, вашей все-  
20 славности \* и спрашивает о дорогом для него вашем здоровье. Он слышал, что вы хвалите ковры здешней меццовской работы, и просит вас принять этот ковер, который был у нас уже давно, но лежал сохранно без употребления, и потому он как новый. Он просит также извинения, что скромное приношение это не сообразно с добротою вашей и ценности большой не имеет. Но отец мой желал бы, чтобы вы сохранили его на память об Эпире и о тех людях, которых вы осчастливили вашею дружбой.

— Понимаешь? — прибавил отец шопотом и тонко  
30 взглядывая на меня.

Как не понимать. Конечно, понимаю я все, как следует понимать греку загорскому.

Г. Благов посмеялся бы, вероятно, опять над нашею риторикой, если б он слышал наш разговор, но мне такая

---

\* *Всеславность, эндоксότης* — титул, даваемый по-гречески беям; это ниже чем *экзохότης* — превосходительство.

возвышенная речь отца моего была как раз по душе. Я и не спросил даже, почему и зачем ковер нарочно купленный был назван давнишним: я сейчас понял, что гораздо вежливее именно так сказать бею, понял, какой в этом есть чувствительный оттенок, и поспешил к Сабри-бею.

Молодой турок принял меня почти с восторгом, как бы младшего брата.

— Садись, прекрасный юноша, садись!

И ударил в ладоши, чтобы принесли мне сигары и кофе. 10

Я встал тогда, велел внести ковер, сам ловко раскинул его пред беєм на полу и начал было мою речь.

«Напрасно говорил Несториди, — думал я про себя в то же время, — что я не хитер, не мошенник, не купец. Вот как и мудрые люди ошибаются иногда! Чем я не купец? Чем я не мошенник? Я все могу!»

Сабри-бей, увидав прекрасный белый ковер наш, представлялся изумленным и спрашивал почти с неудовольствием:

— Чтò такое это? Зачем, скажите, такое беспокойство? 20

Но я продолжал речь мою твердо и, воодушевляясь, прибавил в нее еще несколько моих собственных цветов, например: «на память об Эпире, которого жители, с своей стороны, никогда не забудут отеческого управления Рауф-паши и его благородных помощников!»

Взор Сабри-бея становился все приятнее и приятнее, улыбка радости сменила на лице его выражение притворной досады; он взял меня за руку и сказал:

— Ковер этот будет мне столь же дорог, сколько мог быть дорог подарок родного отца моего. Так скажи, другой мой, от меня родителю твоему. 30

Я с восхищением поспешил домой.

Осудить мне Сабри-бея за взятку тогда и на ум не приходило. Я не задавал себе вопроса: «следует ли брать или нет, когда хорошие люди дают?» Я и не подозревал даже, что такой вопрос возможен. И если бы тогда у меня



кто-нибудь спросил, я бы отвечал: «это не взятка, не лихоимство несправедливого судьи; это дар, это искреннее приношение дружбы, в надежде на будущее защитничество, в надежде на будущий труд ласкового и образованного чиновника». Что же тут худого?

Таково было мое первое знакомство с турками в Янине.

Ты видишь, что оно не было ни страшно, ни особенно печально или оскорбительно.

10

## V

Из христиан, я сказал уже тебе прежде, у отца моего было в Янине много старых знакомых; с другими он познакомился в этот проезд; и нас посетили многие из них тотчас по приезде нашем, и мы были у многих. Архонтов настоящих янинских, природных яниотов, напыщенных своим городским происхождением, и многих богатых загорцев, фессалийцев, живших в Янине, я видел за эти две-три недели или у них самих, или у нас, или в церкви, или в приемной преосвященного Анфима Янинского, или на улице. Видел старого предателя Стерио Влахопуло, которого все боялись и которому все кланялись. Незадолго еще пред нашим приездом он помешал достроить здание для училища в родном своем городе, уверив турок, что это училище только для вида, а в самом деле будет боевым пунктом, зданием, из которого христианам легче будет в случае восстания поражать низамов, заключенных в маленькой цитадели. Мне показали также и одного загорского патриота нашего, который так был строг и скуп для себя и для домашних своих, что жена его иногда не могла по-  
20  
30  
дать без него варенья и кофе гостям; ибо он и ей не всегда доверял ключи от провизии. Но этот скупой человек жертвовал сотни лир на учреждение эллинских школ в Загорах, на починку наших сельских дорог и мостов. Видеть обоих этих людей было очень поучительно. Загорец был

скуп для себя и для всех людей, но щедр для отчизны. Влахопуло был предатель отчизны своей, особенно когда его раздражали люди сильные противной ему партии, но зато он был нередко добр и щедр к людям бедным, ко всем тем, кто не мог или не хотел бороться против его влияния.

Прежде всех других знакомцев посетил отца моего его давнишний приятель и сверстник, загорец Чувалиди, который был тогда уже председателем янинского торгового суда. Про него мне еще дорогой, подъезжая к городу, отец <sup>10</sup> сказал, что он далеко превзойдет в хитрости и даже в мошенничестве самого тульчинского болгарина Петраки Стояновича. Я не помню, писал ли я тебе тогда о нем подробно? я не держу черновых тетрадей, когда пишу к тебе, мой друг. Если я повторяюсь, прости мне. Чувалиди был беден и вдруг сделался богат; он был сначала скромным учителем, потом стал на время неважным купцом; потом он скрылся из Эпира и вот вернулся теперь, в триумфе, председателем торгового суда, вернулся чиновником <sup>20</sup> Порты, — таким чиновником, который может бороться с консулами и с которым самим пашам нередко надо считаться! Все это чудо совершилось вот как. Один соотчик Чувалиди, загорский односелец его и добрый патриот, доверил ему отвезти на родину 400 лир золотых для наших общественных нужд. Чувалиди ехал под вечер горами. С ним были слуги и турецкий жандарм.

— Мне дурно что-то, молодцы! — сказал он им, вдруг останавливая мула. — Поезжайте вы вперед тихо; я слезу и помочу здесь у ручья голову мою водой.

Люди удалились. Не прошло и десяти минут, как Чу- <sup>30</sup> валиди внезапно выбежал из-за скалы, растерзанный, без фески, с ужасным выражением в лице и голосе, стал звать людей и кричать: «Стреляйте, ловите! Разбойники!.. Сюда! сюда!..» Когда люди подъехали, Чувалиди сказал им, что уже поздно, что разбойников было всего двое и что они скрылись в скалах неизвестно в какую сторону. Он подробно описывал их приметы и объявил, что его ограби-

ли... «Не своих денег мне жалко! — прибавил он почти со слезами, — мне жалко тех 400 лир, которые я вез для общественных нужд!»

Ты скажешь: это невероятное бесстыдство; ты, может быть, не поверишь этой молве; однако так все говорят об этом деле у нас и все знают, что Чувалиди скоро после этого стал торговать и богатеть; потом прожил несколько времени в Константинополе, поступил там на царскую службу и возвратился на родину, как я сказал, в триумфе и почете, важным чиновником.

Как бы то ни было, но отца моего Чувалиди любил; — они еще с детства были дружны, и на второй же день нашего приезда я увидел, что в приемную доктора вошел какой-то чисто и хорошо одетый человек, полный, среднего роста и приятной наружности; вошел и, простирая объятия отцу моему, воскликнул: «Йоргаки! Это ты, мой бедный Йоргаки!» Отец дружески обнял его и, казалось, чрезвычайно был обрадован этим посещением.

Долго сидел он у отца моего, долго они беседовали, и когда Чувалиди наконец ушел, отец мой провожал его до самой улицы, благодаря и еще раз обнимая его. Держал себя Чувалиди, надо сказать, с большим достоинством, говорил очень хорошо, и сам доктор, который был так скуп на похвалы грекам, сказал про него: «Очень умный человек! очень умный человек! Мало чести, но много ума, много начитанности и даже, скажу, остроумия... И даже, скажу, остроумия!» Впоследствии, как ты увидишь, Чувалиди стал почти благодетелем нашей семьи. Он поддержал нас в такие тяжелые минуты, в которые мы и от самых благородных людей не имели ни помощи, ни даже доброго совета!

Вспоминая теперь обо всех этих людях и о моей первой встрече и с ними, и с жизнью вообще, вспоминая о том, что у каждого из этих людей был хоть какой-нибудь луч света среди мрака их пороков и грехов, что каждый из них хоть чем-нибудь, хоть для кого-нибудь, был иногда добр или полезен, я повторяю всегда притчу о древнем мудреце

и о мертвой собаке, которая лежала на пути и на которую с отвращением плевали люди, проходя мимо.

«Не плюйте на нее и не ругайтесь над ее трупом, — сказал людям мудрец. — Верьте, боги так устроили мир, что и у мертвой собаки этой может быть нечто хорошее и даже лучшее, чем у нас!» Сказав это, он посохом своим раскрыл ей губу и воскликнул: «Скажите, у кого из вас такие ровные, прекрасные и белые зубы, как у этой издохшей собаки?»

Я видел еще многих людей в эти дни.

10

Я видел и того богача Куско-бея, которого, помнишь, так разбил и осрамил наш отчаянный доктор.

Куско-бей знал тоже отца давно. Он прислал сказать ему, что счел бы долгом побывать у него, если б отец жил не у врага его, доктора Коэвино, в доме.

Мы после этого сами пошли к нему.

Куско-бею было тогда более тридцати пяти лет; однако он был еще удивительно красив; в бороде его уже показалась седина; но черты лица его до того нежны, тонки и правильны, глаза так выразительны, что я понимаю, почему его звали смолоду Адонисом Янины. Говорят, жена одного прежнего паши была без ума влюблена в него. Она умела сочинять стихи и прислала к нему старую еврейку с маленькою бумажкой, на которой было написано по-турецки:

20

Я люблю одного свежего грека больше самой жизни моей.

Когда фи́га созрела, какой садовник может укрыть ее от людей?

Куско-бей и молодая турчанка видались не раз у еврейки, которой домик был близко от сада паши; стали видаться и в самом гареме. Наконец паша узнал об измене жены.

30

Пылая гневом, он неожиданно вечером возвратился домой; Куско-бей успел, однако, выбежать с помощью служанки в сад, перелез через стену на двор к еврейке; но, соскакивая с высокой стены, ушиб себе ногу так сильно, что и до сих пор заметно хромот.

Я заметил, что его никто не хвалил; и сам отец мой, который отзывался о людях очень осторожно и злословить не любил, и тот сказал мне про него: «Развратный человек! Не христианского поведения человек!»

Не понравилось мне также вот что у Куско-бея: этот богач, этот первый архонт, который скупал столько имений у турок, этот Адонис, из-за которого жены пашей подвергались опасностям, от скупости носил сюртук до того старый, что все сукно его на груди и отворотах блестело как стекло, а на рукава его было даже отвратительно взглянуть. Хотя я тогда и мало понимал еще толку в европейской одежде и, по правде сказать, всякий сюртук и пальто казались мне тогда одеждой благородства и просвещения, но все же я был не настолько слеп, чтобы не различать, что опрятно и что грязно и гадко для богатого человека!

Однако и у него впоследствии мне удалось открыть те белые зубы, на которые указал своим посохом древний мудрец!

Гораздо больше Куско-бея и вообще больше всех янинских архонтов понравился мне старик Бакыр-Алмаз-Бичо.

Рассуждения его о политике мне показались очень тонки и глубоки. Наружность его была почтенная, истинно архонтская, патриархальная. Ростом и видом, всем он был молодец и настоящий эффенди. Худой, сухой, бороды не носил, а только большие усы, седые, капитанские. Носил низамский однобортный черный сюртук, чистый, новый всегда и, конечно, феску, как подданный султана. Входил в комнату тихо, уходил важно, говорил не спеша; по улице ехал верхом тоже как следует архонту пожилому, шагом, на смирном и статном белом коне и с двумя слугами. Один из них нес за ним везде его собственный чубук и особый табак первого сорта.

Он (мне так показалось с первого раза) очень хорошо говорил о Восточном вопросе.

— Восточный вопрос, — говорил он отцу, — подобен котлу. Котел стоит и варится!

Мне это понравилось, но несносный доктор Коэвино (я было стал соглашаться с ним насчет развратного и скупого Куско-бея, у которого уже непомерно блестел сюртук) не мог и в этом случае не раздражить меня и не оскорбить моих чувств. Он возвратился в ту минуту, когда Бакыр-Алмаз уходил от нас. Они поздоровались между собою, и потом, пока почтенный архонт ехал медленно верхом через площадь, доктор долго смотрел на него в лорнет и, засмеявшись громко, вдруг воскликнул:

10

— О, дубина! О, добрая христианская душа! О, истукан деревянный, рассуждающий о котле Восточного вопроса! Как глупы и бессмысленны все наши эти греки, все эти попытки Фукидидов и Солонов, и самих чертей, когда они говорят о политике! Ты заметь... Нет, я тебе говорю, ты заметь, какую лукавую рожу делает этот Бичо, и глаз один... о, Маккиавель! и глаз один прищурит, и палец к виску указательный приложит, когда говорит о Восточном вопросе... Ха, ха, ха! «Мы дипломаты, значит, нас не обманет никто!...» О, дубина! О, Валаамова ослица, одаренная словом! Заметил ты, как они рассуждают? Заболел французский консул лихорадкой. «А! Интрига! Пропганда! Восточный вопрос!» Выздоровел русский консул от простуды. «А! демонстрация! Восточный вопрос!» Приехал австрийский консул, уехал английский. «Ба! Мы знаем мысли этого движения; от нас, греков, ничто не утаится. Мы эллины! Мы соль земли!» О, дурацкие головы! О, архонтские головы!

20

— Перестань, доктор, — сказал ему на это отец. — Ведь и ты архонт янинский. Все люди с весом и положением в городе зовутся по-эллински архонтами.

30

— Я? я? Архонт? Никогда! я могу быть бей, могу быть аристократ, могу быть, наконец, ученый. Но архонт янинский... о, нет!..

С этими словами доктор обратился к образу Божией Матери и воскликнул, простирая к нему руки, с выражением невыразимого блаженства в лице:

— О, Панагия! Будь ты свидетельницей, как я был рад и как мне было лестно слышать, когда мой друг Благгов говорил мне, что в Янине есть только два замечательные и занимательные человека, это — Хаджи-Сулейман, дервиш, и доктор Коэвино.

— Да, да! — продолжал он потом, грозно насканивая то на отца, то на меня, то на Гайдушу, которая стояла у дверей. — Да, да! Я вам говорю, Хаджи-Сулейман и я. Да! Один уровень — Хаджи-Сулейман и я. Но только не с Бакыр-Алмазом и Куско-беем я сравню себя... Нет, нет!  
<sup>10</sup> я вам говорю: нет, нет!

Наконец бедный отец уже и сам закричал ему в ответ:  
— Хорошо! довольно! верим, дай отдохнуть!

И тогда только взволнованный доктор замолчал и несколько успокоился.

Что за несносный человек, думал я, все он судит не так, как другие люди. Никого из своих соотечественников не чтит, не уважает, не хвалит. Не зависть ли это в нем кипит при виде их богатства, их веса в Порте и митрополии, при виде их солидности? За что напал он теперь на г. Бичо, на человека столь почтенного? Что ж, разве не правда, что Восточный вопрос похож на котел, который стоит и варится? Очень похож. И к тому же Бичо человек семейный, как следует, жена, дочка, два сына; дом хороший; патриот, хозяин; не с Гайдушей какой-нибудь открыто живет (все это знают и понимают! И стыд, и грех, и бесчестие имени). Бичо Бакыр-Алмаз живет с женой законною, которая была одною из первых красавиц в городе когда-то; она женщина и добродетели непреклонной; ей  
<sup>20</sup> один турецкий ферик или мушир \* в ее молодости предлагал двести лир в подарок, и она не взяла, отвергла их и осталась верна своему мужу.  
<sup>30</sup>

Имение еще недавно новое они купили в горах; говорят, вода там превосходная ключевая и лес значительный.

---

\* Военные генеральские чины.

Нет, Коэвино все блажит и хвастается. Я уверен, что г. Благов уважает Бакыр-Алмаза больше, чем этого, может быть, и не злого, но все-таки беспутного Коэвино. Хороша честь с юродивым дервишем быть на одной степени! Безумный Коэвино!

В доме у Бичо мне также очень понравилось. Такой обширный, хозяйский дом; двор внутренний устлан большими плитами; цветы и кусты хорошие на дворе; весной и летом, вероятно, они прекрасно цветут. Покоев множество, диваны просторные, старинные, кругом; ковры, зеркала <sup>10</sup> большие, портреты европейских Государей. Супруга пожилая, почтенная, в черном шелковом платье и в платочке. Идет от дверей к дивану долго, тихо, как прилично архонтисе; точно так же, как и муж, говорит не торопясь и с достоинством. И во всем она согласна с мужем, во всем она ему вторит и поддерживает его.

— Погода хороша; но скоро начнет портиться, — заметит муж. — Зима. «Зимой всегда погода портится», — подтвердит и она. Муж едва успеет вымолвить: «Наполеон — прехитрейшая лисица!», а она уже спешит поддержать его и говорит с негодованием: «Ба! конечно, его двое- <sup>20</sup> души всем известно».

И я, внимая речам этих почтенных людей, радовался на их счастье и думал про себя, сидя скромно в стороне: «Не шумят и не говорят эти люди с утра до ночи, как доктор, но что ни скажут они, все правда. Правда, что и погода к зиме всегда портится, это и я замечал не раз, правда и то, что хитрость Императора Наполеона всем известна!»

Тогда, конечно, я не мог предвидеть, что Бакыр- <sup>30</sup> Алмаз и жена его будут со временем мне тесть и теща и что в этом самом обширном доме, в этой комнате, где я теперь так почтительно молчал, сидя на краю стула, будет уже скоро, скоро — о! как быстро льется время! — будет здесь в честь мне, именно мне, греметь музыка громкая, будут люди песни петь, прославляя меня, и вино пить, и есть, и веселиться, и дети будут ударять в ладо-



ши, прыгая с криками по улице при свете факелов вокруг моей невесты.

И даже невеста моя будущая подавала мне сама тогда варенье и кофе, и я смотрел на нее рассеянно и думал: «дочка, однако, у них не так-то хороша. Худа слишком и очень бледная». Вот что я думал, принимая угощение из ее рук.

И точно, маленькая Клеопатра была собой непривлекательна, личико у ней было как будто больное, сердитое или испуганное. Ей было тогда тринадцать лет, и не пришло еще время скрываться, по эфирскому обычаю, от чужих мужчин до дня замужества.

Когда она внесла варенье, Бакыр-Алмаз сказал отцу моему:

— Это дочь моя, Клеопатра.

— Пусть она живет у вас долго, — ответил отец.

Потом Бакыр-Алмаз велел поставить поднос и сказал:

— Она знает сатирические стихи на нынешнее правитель-  
ство короля Оттона. «О, доколь саранча чужестран-  
ная... Доколе, о греки, баварец глухой...» Несчастной от-  
чизны...» Садись, Клеопатра, и спой эту песню; почти наших гостей.

Клеопатра молчала.

— Спой, Пáтра, когда отец желает. Почти гостей, — подтвердила мать.

Но Клеопатра вышла тотчас же из комнаты, не говоря ни слова и с недовольным видом.

«Некрасивая и непослушная девочка», — подумал я тогда, и тем кончилось наше первое свидание. С того дня я ее почти до самой свадьбы моей не видал, ибо вскоре после этого ее уже перестали пускать в приемную при мужчинах.

В первое воскресенье, которое пришлось после нашего приезда, мы с отцом были в митрополии у обедни.

---

\* Известная на Востоке песня. Король Оттон был точно немного глух.

Старого митрополита нашего я видел не в первый раз. Года полтора тому назад он объезжал Загоры: служил обедню в нашем Франгадесе. Я при нем пел и читал Апостола; он дал мне целовать свою руку, хвалил мое усердие и сказал мне: «Вот ты начинаешь жизнь свою службой при храме. Начало доброе; смотри, чтобы птицы злые не расклевали эти благие семена. Не связывайся никогда с безумными юношами твоего возраста! Турок и тот хорошо говорит: „Дели-базар — бок базар“; то есть — общество безумных есть рынок грязи».

10

Я поклонился ему в ноги и еще раз поцеловал старческую дрожащую его десницу. Краткая встреча эта, эта торжественная епископская служба, которую я в первый раз видел в нашей загорской церкви, милостивое внимание, которым отличил меня преосвященный Анфим от других моих сельских сверстников, все это оставило в сердце моем глубокое впечатление, и я ужасно обрадовался, когда увидел, что преосвященный еще бодр и крепок на службе. Он был росту огромного, и белая короткая борода очень шла к его полному и очень красному, но предоброму и даже иногда немного застенчивому лицу.

20

После обедни мы зашли к нему и застали у него несколько янинских старшин. Казалось, полное, примерное согласие царствовало между архипастырем и мирскими богатыми представителями христианской общины. Архонты (в их числе был и Бичо) почтительно целовали его руку, низко ему кланялись, подавали ему туфли, говорили беспрестанно «преосвященнейший», «отче святыи»; улыбались ему: он им тоже всем улыбался и, прикладывая руку к сердцу, называл то одного, то другого с большим, по-видимому, чувством «благословенный ты мой!» Я радовался.

30

Однако скоро разговор принял не совсем любезное направление, а одно слово преосвященного и мне показалось очень колким. Один из архонтов спросил его, доволен ли он последним своим путешествием по епархии. Преосвященный вздохнул, подумал и переспросил его: «доволен ли

я путешествием по епархии?» Еще раз вздохнул и сказал наконец вот что:

— Всякое путешествие, благословенный мой, поучительно чем-нибудь. В этот раз я видел нечто, весьма полезное, видел людей, которые пасли овец, и других людей, которые за свиньями смотрели. Боже мой, — думал я, — какая благодать кротких овечек пасти! Все они вместе, все согласны, куда одна, сердечная, бежит, бегут и другие. Пастырю доброму и радость. Совсем иное <sup>10</sup> дело свинья. Пасти свиней это мука адская; с утра выгнали их вместе, а к вечеру уже и собрать их нельзя; они все разбежались по роще. Тогда что должен делать бедный пастух? Он раскалывает небольшую палочку, ловит одну свинью и ущемляет ей ухо. Услышав только визг этой свиньи, и вся остальная скотина сбегается в ту сторону! Вот что я видел, и на многие мысли навело меня подобное зрелище, благословенный ты мой.

<sup>20</sup> Некоторые из старшин улыбнулись; другие громко засмеялись; Бакыр-Алмаз, который с архиереем был очень дружен, обвел все собрание торжествующим взглядом, постучал пальцем по виску, моргнул отцу моему глазом и сказал:

— Гм! понимаете?

Но красивый Куско-бей, который с небрежною важностью, хотя и все в том же отвратительном сюртуке, почти лежал в углу на диване, заметил на это довольно дерзко и с презрением в лице.

<sup>30</sup> — Разные вещи бывают на свете!.. Но я полагаю, ваше преосвященство, что тот пастух и почитается больше, который умеет применяться к характеру пасомых!..

После этого Куско-бей встал и, поклонившись почти-тельно архиерею, вышел. За ним вскоре ушли и другие посетители; поднялся и отец; но преосвященный еще при других показал ему рукой и глазами на диван и сказал ему:

— Мы с тобой, кир-Георгий, давно не видались. Я Загоры ваши всегда помню и, когда вижу вдали высоты ваши

из янинских окон, то всегда вспоминаю псалом: «Лучше день один во дворах Твоих, паче тысяч!»

Когда мы остались одни с архиереем, он указал рукою на дверь и сказал отцу:

— Видел их? видел ты их?.. Распри, корысть, зависть, лицепрятие. Увы! благословенный ты мой... Когда бы знал кто из вас, как тяжело и многотрудно положение христианского епископа в Турции!

— Знаем, святой отче, знаем! — сказал отец. — Епископ здесь не только пастырь Церкви, он и народный 10 начальник... Знаем мы вашу скорбь!

— Нет, ты не знаешь скорбей наших... Ты думаешь, что знаешь, ибо у тебя сердце мягкое, христианское, благочестивое. Вот ты и жалеешь иногда старика; думаешь, «трудно бедному старику!» А как трудно, почему — ты сердца моего не можешь понять... Скорбь мою ты, мирской человек, едва ли можешь понять. Взгляни на этих богатых яниотов. Раздоры, вражда, я тебе говорю, зависть! Суммы, пожертвованные благодетелями Эпира на добрые дела, нехорошо расходуются. Ужасный грех! Простой 20 народ наш янинский тоже раздачей этой денежной избалован. Все он беден, все он жалуется. Молодые работники наши отчаянные люди: разбойники, ножеизвлекатели. Турок самих не боятся. Не так давно один молодец ножом издали грозился старику Бакыр-Алмазу на празднике, чтоб и ему дали денег при раздаче. Влез на камни и показал Бакыр-Алмазу нож. Должны были и ему дать, хотя он молод и крепок. Но Бакыр-Алмаз вытребовал для него денег: «Не то чтоб я его боялся, говорит, а не хорошо благородному человеку с таким разбойником дела 30 иметь». А турки свое, а консула свое, а наши попы и монахи, тоже и они не ангелы, сам знаешь. Наши люди говорят: «Когда же у нас колокола будут звонить? пора бы гатти-гумайюн исполнять!» А турки янинские говорят: «Погибнем все, а проклятого звона гяурского не услышим!» Трудно архиерею в Турции, трудно! К кому пойти о колоколах просить? с кем дружбу сводить митрополиту?

С русскими? и турки, и англичане, и французы крик и шум поднимают... Патриарх советует осторожность, средним «царским путем идти!» Как же это идти? попросить западных представителей о колоколах? Скажу тебе: и сердце не расположено; я человек старый, из тех еще ржавых людей, которые говорили, что лучше чалму в Царьграде видеть, чем митру папскую... А к тому же, пойду я к англичанину — русского оскорблю! И этого не хочу, и не должно. А яниоты меня осуждают... Митрополит у них виноват все!.. Один из них недавно сказал: «Хорошо, что у протестантов епископы женатые! и апостол говорит: „Епископ должен быть одной жены муж...” Мо-  
нахи люди жесткие и семейных дел не понимают ничуть».

А что сами они делают, я тебе скажу сейчас. Приходит ко мне недавно протосингел мой и говорит: «Посмотрите, что у нас в Янине делается... Старая вдова Алéксина дочь свою хочет за турка отдать». Я посылаю за вдовой. Нейдет. Послал за ней кавасса, насильно привели. Привела с собой и дочь. Женщина смелая; остановилась вот тут в дверях,  
взяла дочь за руку и закричала не женским голосом, а лютым: «Отче! видишь ты сироту?» — Я говорю: вижу. Она опять: «Отче! видишь ты сироту?» — Я опять говорю ей кротко: «Вижу, благословенная, вижу!» — «Возьми же ее; я уйду и откажусь от нее. Ты ей будь отец, если ты не даешь мне воли судьбу ей сделать...» Я и так ей и иначе говорю; нет сил. «Видишь ты сироту?» — Вижу. — «Ну, возьми ее». Шум, крик, девушка плачет, скандал великий! В чем же дело? А вот в чем. Люди они точно бедные, отца нет; домик только есть один и больше ничего; кроме этой старшей дочери еще есть шестеро детей. Пришла она пред последнею раздачей милостыни к Куско-бею и говорит: «Дайте мне на приданое сколько можно из благотельских сумм, я нашла ей жениха». А Куско-бей отвечает...

Тут архиерей остановился и посмотрел на меня... Отец хотел было удалить меня, но старец одумался и сказал: «Нет, пусть и он слышит все; пусть учится отличать добро от зла с ранних лет!..» И продолжал:

— Куско-бей говорит ей на это: достану ей двойное приданое, пусть ночует там, где я ей скажу. Ушла вдова. К другому, и другой то же: «я ей и своих прибавлю». Третий, постарше, говорит: «У архиерея проси, я не знаю этого». Еще один, тот говорит: «И беднее вас есть, у Куско-бея проси». Бакыр-Алмаз сказал: «Рад бы, но один без других и я не могу обещать». По несчастию увидал в это время дочь ее один вдовый турок; человек лет тридцати, не более; хозяин, лавочку на базаре имеет. По-<sup>10</sup> нравилась турку девушка, он и говорит вдове: «Не ищи для дочери приданого, я ее возьму так. В вере же ее, клянусь тебе, я стеснять ее не буду. И церковь, и пост, и все ей будет на свободе. Даже и попу приходскому, старику, не возбраню вход в жилище мое». Посуди, каково искушение? и посуди еще, каков скандал? Лукавая женщина в этот первый раз мне ничего не сказала искренно, а ушла отсюда и оставила тут дочь, закричала на нее: «Проклятие мое, если отсюда за мною пойдешь!» Долго сидела сирота и плакала здесь на лестнице. Насилу старуха одна и кавасс<sup>20</sup> увели ее домой. «Чтобы не прокляла меня мать», — боится сердечная. «На нас грех, на нас!» — сказали мы ей все. Потом призвал я их с матерью при старшинах и при всех стал уговаривать ее, чтобы не выдавала замуж за турка. Тогда-то она стала вдруг как львица лютая и с великим гневом обличила при мне всех старшин. Верь мне, что от стыда я в этот час не знал, что мне сказать и что делать. Больше всех она обличала этого Куско-бея, и он не находил уже слов в свое оправдание; только гладил бородку свою, плечами пожимал и, обращаясь к мне, гово-<sup>30</sup> рил презрительно: «Клевета, святой отче, одна клевета. Все это от простоты и неразвитости происходит. Женщина неученая и неграмотная. Все это от того недостатка воспитания, которым страдает наш бедный народ...» Другие ему не возражают. Однако решили ей дать хорошее приданое, и она отказала турку и выдала теперь дочь за одного бедного христианина. Что ты на это мне скажешь, благословенный друг мой?

Не помню, что сказал на это архиерею отец мой; я был потрясен негодованием, слушая это, и с удивлением вспомнил о презрении, которое питал к архонтам этот, казалось бы, столь легкомысленный и безумный Коэвино.

На время я совершенно перешел на его сторону и готов был признать его умнейшим и справедливейшим из людей.

В ту минуту, когда, уходя из митрополии, мы спускались с лестницы, на дворе послышался какой-то шум, раздались крики и мужские, и женские. Мы увидели у порога толпу; служители архиерея, старухи, нищие, дети окружили осла, на котором лежала, испуская жалобные вопли, молодая женщина, в простой и бедной сельской одежде. Около нее стоял худой, высокий, тоже бедно одетый мужчина; лицо его было ожесточено гневом; волосы растрепаны; он спорил с дьяконом и произносил самые ужасные проклятия и потрясал с отчаянием на груди изношенную одежду свою. Это был муж несчастной, привязанной веревками на спине осла. Так привез он ее из села; так, сопровождаемый толпой, проехал он чрез весь город до митрополии. Мы остановились; сам преосвященный вышел на лестницу.

— Что ты делаешь, варвар, с женою своею? — сказал он свирепому мужу.

— То, что должно ей, непотребной, делать, — отвечал муж, дерзко взглядывая на архиерея. — Я знаю свой долг, старче. Делай и ты должное, разведи меня с этою блудницей, или я убью ее.

— Молчи, зверь! — воскликнул старец, поднимая на него свой посох.

— Пойдем отсюда, — сказал отец, увлекая меня за руку.

Мы вышли из ворот митрополии и долго шли молча и задумчиво. Наконец отец мой вздохнул глубоко и воскликнул: «Свет, суетный свет! Земная жизнь не что иное, как мука!» И я вздохнул, и мы опять пошли молча.

Так приятно началось и так печально кончилось это праздничное утро.

За завтраком доктор немного развлек нас. Он стал жаловаться на небрежное служение греческого духовенства, стал хвалить католиков (накануне ужасно бранил их за фанатизм), вскочил из-за стола и сперва представил в лицах, как должно кадить почтительно образам, читать и молиться с благочестием и солидностью, а потом стал передразнивать наших здешних попов, как они спешат и не уважают святыни. «Вот тебе Христос!» и прыжок направо. — «Вот тебе Ай-Яни!»\* и прыжок налево! <sup>10</sup>

Отец уговаривал его перестать кощунствовать, говорил: «Грех, Коэвино, грех». Но от смеха воздержаться и он не мог; я же до слез смеялся.

Доктор наконец устал, сел опять за стол и сказал: «Не мне грех, а тем, кто дурно литургисует; не мне грех. Бедный старик архиерей все-таки лучше их всех. Он и служит в церкви хорошо, благолепно. Я его за это уважаю. К тому же там, где нет, как у нас здесь, ни рыцарских преданий, ни чувства чести, ни высокой учености, ни, могу так сказать, аристократического воспитания, там остается одно — религия. Архиерей человек истинно религиозный; а эти архонты... эти архонты...» <sup>20</sup>

Опять мне пришлось согласиться с доктором. Я чувствовал, что он все возвышается и возвышается в моих глазах; я не понимал только того, что он хочет сказать своим аристократическим воспитанием?

Разве не аристократы Куско-бей и другие архонты? Роды их — старые торговые роды Эпира; они богаты, имеют хорошие дома, начальствуют над ремесленниками и сельскими людьми, садятся у консулов в приемной, имеют голос в митрополии и в Порте... <sup>30</sup>

Посмотрим, что скажет об этом г. Благов; когда придет, я, может быть, решусь спросить у него, если он по-прежнему будет ко мне благосклонен.

---

\* Ай-Яни — Св. Иоанн Предтеча, по-простонародному.



Консула не подчиняются у нас в Янине старому восточному обычаю, по которому живущий в городе делает первый визит новоприезжему.

Они и тогда, когда сами вновь приезжают, и тогда, когда наши местные люди после них прибывают в город, ждут первых посещений от нас. Между собой, как равные с равными, они следуют нашему примеру; новый консул ждет дома посещений от консулов, прежде его прибывших в Эпир. Исключение одно — паша. К нему как к сановнику, гораздо их высшему по чину, консула едут первые. У эллинского консула отец мой был вскоре после приезда своего, но не застал его дома. Не застал он дома и г. Бакеева, который в отсутствие г. Благова управлял русским консульством. Я очень желал видеть г. Бакеева и посмотреть, какой он. На мое несчастье, он даже сам два раза заходил к доктору, на первой же неделе после нашего приезда, но оба раза меня не было дома. Один раз меня увел к себе на дом старик, ходжа Сефер-эффенди, чтобы познакомить меня с сынком своим, Джемилом, очень милым юношей, моих лет; а другой раз я, по приказанию отца, ходил кое-какие вещи покупать на базар.

Так я дней около десяти, думаю, прожил в городе и не видал еще ни одного иностранного агента. На второе воскресенье отец сказал мне: «Оденься и причешись почище: мы пойдем сегодня ко всем консулам». Он сказал мне при этом еще, что г. Бакеев много разговаривал с ним, когда в последний раз сидел у доктора, и приглашал его заходить почаще в консульство; принял из рук его те статистические тетради, которые мы заготовляли в Загорах по просьбе г. Благова, и даже просил его совета по тяжбному делу между одним турецким беем и бедными христианами.

— Я знаю коротко это дело; оно старое, оно возобновлялось при двух пашах, — сказал отец. — И Козвино крепко просил меня объяснить г. Бакееву всю правду. Г. Бакеев сказал мне: «Я вам верю. Я даже согласен

показать вам ту записку, которую я составил об этом деле». Посмотрим.

— Кто же этот бей? — спросил я у отца.

— Этот самый Абурраим-эффенди, которого ты здесь видел, — отвечал отец.

— А как вам показался г. Бакеев? — поспешил спросить я с любопытством.

Отец улыбнулся и подумал; потом сказал:

— Ни первого нумера, ни самого последнего, а среднего. Не той выделки, к которой относится наш Благов, а <sup>10</sup> подешевле. Вот сам увидишь.

Я оделся и причесался не без волнения внутреннего; мне было и приятно и очень страшно, что я пойду теперь ко всем представителям европейских держав. Феска у меня была новая, но полосатый халатик мой (хотя тоже свежий и из хорошей материи) и верхняя широкая одежда моя из тонкого серого сукна меня очень тревожили и смущали. Ах, как я бы рад был в эту минуту самой дешевой европейской жакетке. Быть может, и консула подумают про себя то же самое, <sup>20</sup> что Коэвино громко сказал: «Этот молодой мальчик носит „турецкий саван“». Но что делать? Терпение!

Имя эллинского консула было г. Киркориди; многие полагают, что родной отец его был из армян. Он давно состоял на службе по разным городам Турции. Все в городе про него говорили, что он человек опытный, но слишком осторожный, смирный и тяжелый и потому ни вреда, ни пользы большой никому не делал. Он был вдов и жил скромно и уединенно, с незамужнею дочерью, уже не слишком молодой.

Жилище его было бедно и довольно пусто. <sup>30</sup>

Мы увидали здорового, свежего, очень толстого старика, степенного, солидного, действительно очень осторожного.

Принял он отца — не мог я и понять — хорошо ли, худо ли. Как будто внимательно, а вместе с тем как будто и холодно. Отец тоже хитрый; начал его испытывать понемногу. Это я сейчас же понял. Сперва он рассказал ему

о своем затруднительном положении в Тульче и о том, что от английского вице-консула Вальтер Гея видел больше защиты, чем от своих греческих консулов, и прибавил, что он и теперь очень боится быть вынужденным прежде времени отсюда уехать с больными глазами.

— Да, неприятно, — говорил консул. И потом прибавил, вздохнув: — Турция!

Потом отец стал говорить про г. де-Леси, здешнего английского консула.

10 — Я его давно знаю, — сказал отец, — он у меня дом нанимает. Стар, ничем не занимается, кавасса своего, турка, говорят, во всем слушается.

На это консул наш отвечал:

— Да. Он в летах, это правда. — И только.

Отец опять:

— Дел не любит.

А консул:

20 — Чтò ж их любить? За чтò? Человек аккуратный, почтенный. Люди везде много слишком слов говорят. Все-  
му верить нельзя.

Отец похвалил г. Благова, и консул согласился:

— Прекрасный молодой человек; умный молодой человек.

Отец говорит:

— Не молод ли слишком для своей должности?

А консул:

— Молод, но очень хороший человек.

Отец спрашивает:

30 — Вот про управляющего, г. Бакеева, не так-то хорошо  
отзывается общественное мнение. Проще, говорят, Благова  
умом?

— Не верьте, — сказал Киркориди. — Не верьте людским разговорам. Он тоже очень хороший человек. Он и учен. Имеет золотую медаль из университета русского.

— Я думаю зайти к нему. Как вы скажете, ваше сиятельство? — спросил отец.

— Зайдите, зайдите, — отвечал Киркориди. — Ко всем иностранным агентам зайдите. Отчего не зайти и не представиться? И к французскому консулу зайдите. Великие три державы, которым Эллада равно обязана. Вы знаете, мой долг защищать ваши интересы; хотя ваш паспорт и неправилен. Но турки подозрительны, а мы не сильны, и личное знакомство ваше с консулами облегчит ваше положение. Жаль, что у нас в Греции так охотно выдают турецким подданным паспорта. Это большое неудобство!

Все это он говорил тихо и равнодушно и толстыми пальцами по столу барабанил. 10

Отец встал и говорит:

— Позвольте, господин консул, снять с вас бремя моего посещения.

А он как будто бы обрадовался.

— А! — говорит, — куда же это вы? Спешите, вероятно? Прощайте. До свидания.

От него мы пошли к г. Корбет де-Леси, великобританскому консулу. Он (ты, вероятно, не забыл этого) нанимал давно наш янинский дом и платил за него нам очень хорошие деньги. 20

Мы очень обрадовались, когда увидели, в каком порядке держит он все наше хозяйство. Двор был чист; сад и цветник мило зеленели, несмотря на осеннее время. Не видно было ни одной сорной травы, ни щепки, ни бумажки, ни разбитой посуды, как бывает у других. По большому двору ходили павлины; красивые красные утки нездешней породы плавали в маленьком мраморном бассейне, который посреди двора нашего устроил англичанин на собственный счет. 30

В особенном, очищенном и огороженном месте у г. Корбет де-Леси разводились в последнее время белые куры и петухи. Он был уже стар, холост и, должно быть, скучал. Несколько лет тому назад он еще любил охотиться и держал хороших верховых лошадей. Но с годами охотой он начал тяготиться; что касается до лошадей, то он их всех продал вдруг, в досаде на своего конюха. У него был тогда

прекрасный конюх, молодой полуараб, бронзового цвета, сын того юродивого дервиша Хаджи-Сулеймана, который меня так и напугал, и насмешил у доктора в доме. Консул наряжал богато молодого сеиса в разноцветные и разукрашенные куртки и шаровары и давал ему много свободы, требуя только одного — послушания и чистоты. Однажды сеис подвел ему лошадь. Г. де-Леси хотел ехать к паше. Заноса ногу в стремя, консул увидал вдруг на этом стремени кусок прилипшей грязи. Он сказал тогда со вздохом:

10 «У меня нет слуг! Я такой службы не называю службой». Отправил лошадь назад в конюшню; пошел к паше пешком; араба расчел в тот же день и отпустил его, а лошадей тотчас же продал.

С тех пор он стал заниматься археологиею византийской и белыми курами. Он хотел сделать их как можно более хохлатыми и не желал видеть на перьях их ни малейшей желтой или черной отметины.

По несколько раз в день он сам посещал их и заботился усердно обо всем, что до них касалось.

20 Зная эту страсть его, отец мой привез из Загор очень большого и хорошего петуха, почти совсем белого, и курицу в таком же роде.

Они кормились у доктора; мы с Гайдушей все время смотрели за ними; в этот же самый день, когда мы с утра собрались делать консулам визиты, отец послал еще прежде себя пораньше нарочного человека с петухом и курицею к де-Леси. На дворе, однако, мы их напрасно высматривали, их не было с другими курами.

30 Полюбовавшись на прекрасное хозяйство, мы вошли наконец в разубранное жилище. Я был поражен! Комнаты наши были полны древностями, раковинами, редкими камнями из гор; китайскими, сирийскими, персидскими пестрыми вещами; разною мелочью; на столах стояли ящики под стеклами, с древними монетами и другими антиками. Книг было много, в золотых и разноцветных переплетах; хороших гравюр и картин так много и на стенах, и по столам, что я в одно посещение не успел их рассмотреть.

Ковров и ковриков разной величины, ценности и цвета было везде множество. Как выставка! В большой приемной диван был турецкий, крытый жолтым атласом, и страшный тигр, разостланный около него, глядел на посетителей большими стеклянными глазами как живой.

Сам консул был стар; он казался старше Киркори́ди и больше походил, по моему мнению, на капризную старушку, чем старца. Ростом маленький, лицо то веселое, то сердитое, красное-прекрасное, головка белая, немного трясется; борода и усы гладко выбриты. Чистенький, чистенький; на руках рукавички не такие, как у других, а мягкие и со сборками, как у дам. 10

Несмотря на двукратное приглашение консула, я долго не смел и сесть даже на жолтый шолковый диван. Такой материи на диване я никогда еще не видал, и мне все казалось, что здесь может сидеть только сам великий ви-зирь или по крайней мере такой раздушенный ароматами и даже в дороге в бархат одетый паликар благородный, как мой будущий благодетель г. Благов. Сел, однако, вспоминая приказание отца не быть слишком уже диким и чрез меру не стыдиться. 20

Разговор, впрочем, и здесь, как у Киркори́ди, был не слишком занимателен сначала. Консул с радостью сказал отцу моему, что он недавно узнал одну прелюбопытную вещь: «Я узнал, что куры едят муравьев».

Потом, когда отец мой передал г. Корбет де-Леси поклон от г. Вальтера Гея, старичок вдруг раздражился, покраснел и как бы с презрением спросил: «Вспомнил он обо мне? Это удивительно! удивительно!»

Отец после сознался мне, что г. Вальтер Гей никогда 30 поклона г. де-Леси не посылал и вообще не хвалил и не любил его. Но отец лучше ничего не мог придумать для того, чтобы начать речь о своих делах и о том, что надеется на помощь могущественной Англии, если турки начнут сильно терпеть его по делу его с Петраки-беем и Хахамопуло.

Пока отец с восторгом рассказывал о подвигах г. Вальтера Гея в Тульче, о том, как он на базаре прибил солдат,

я внимательно смотрел на старого джентльмена и замечал, что он недоволен. Он то делал презрительное лицо, то слегка пожимал плечами, то переменял позу в своем огромном кресле. Головка его старушечья еще больше затряслась.

Когда отец мой кончил и прибавил: «Я очень ему благодарен! Я мог приехать на родину, благодаря его энергии, достойной представителя такой великой державы, как Великобритания!», г. де-Леси несколько времени помолчал и<sup>10</sup> потом, слегка наклонив головку на сторону, засмеялся с пренебрежением: хе! хе! хе!..

— Вы не согласны со мной, г. консул? — спросил отец.

Г. де-Леси еще раз: хе! хе! хе! и потом очень строго:

— Я, к сожалению, скажу вам, что не согласен с вами, г. Полихрониадес!

— С чем же именно? — спросил отец.

— Со всем! — еще строже повторил старичок.

Отец смутился, и я за него тоже покраснел.

<sup>20</sup> Подумав, г. де-Леси вдруг поспешно прибавил:

— Нет! извините меня, г. Полихрониадес, я согласен... не с вами... О, нет, но с г. Вальтер Геом, в одном. В одном я с ним согласен, именно в том, что он сам гораздо более варварски и незаконно поступил в вашем деле, чем турки, на которых он так нападает. О! с этим я согласен... О! это с его стороны было очень остроумно сознаться громко, что он обнаружит, как он тогда сказал, больше варварства, чем турки.

<sup>30</sup> — Так вы, ваше сиятельство, находите, что нас, христиан, не надо защищать и тогда, когда мы правы? — спросил отец с негодованием и даже изменился в лице.

— Я этого крайнего мнения, кажется, не выразил, — отвечал старичок и замолчал.

Он довольно долго сидел после этого молча и разглядывал внимательно резной потолок; потом, указывая на него, сказал с приятною, почти восторженною улыбкой:

— Вот искусство, к которому некоторые эпироты, по-видимому, естественно склонны, искусство точить из дерева. В митрополии прекрасный иконостас. Жаль, если эта отрасль будет предана забвению.

Отец молчал. Он был взволнован. Он больше всего ждал помощи от английского консульства. Он всегда говорил: «Русским трудно; их считают турки врагами. Французы умеют действовать только одною дерзостью; но если англичанин захочет нам помочь у паши, ему это легче всякого. В общих делах надо верить русским и на них надеяться; в мелочах же англичанин, которому турки больше верят, может быть полезнее... если только захочет!..» 10

Отец ничего не ответил на замечание консула о резьбе и, глубоко вздохнув, спросил его наконец:

— Итак, г. консул, чего я могу ожидать от вашего сиятельства в случае каких-либо притиснений? Наше эллинское консульство, вы знаете, не сильно, а несвоевременный отъезд на Дунай может быть пагубен и здоровью моему и расстроит все мои расчеты. Чего, смею повторить, 20 могу я ждать?

— От меня? — спросил с притворным удивлением Корбет де-Леси. И опять: — хе! хе! хе!..

Несчастный отец, я видел, ужасно стыдился и мучился. А я бы, кажется, убил на месте эту капризную старушонку, которая жарила моего доброго и больного родителя на медленном огне.

Посмеявшись так оскорбительно, консул встал, и мы за ним. Он протянул отцу руку, чтобы сказать этим: «пора вам и уходить отсюда», и несколько минут стоял перед нами, опустив глаза в землю; наконец вдруг поднял их на отца и воскликнул: «От меня? Чего вы можете ждать от меня? Я полагаю, хотя и не наверное... хотя и не наверное, что вы можете ожидать от меня всегда прекрасного совета!» 30

— В каком роде, г. консул? — спросил отец.

— Вроде того, что нужно придерживаться большей правильности относительно эллинских и вообще иностран-



ных паспортов в Турции, г. Полихрониадес. Несомненные автохтоны Эллады стеснений не имеют в этой стране.

Мы поклонились и стали уже спускаться с лестницы, как вдруг услышали, что Корбет де-Леси спешит за нами по большой зале и зовет отца. Мы остановились.

— Я должен извиниться еще и просить вас об одном предмете убедительно, — сказал он любезно. — Убедительно прошу вас ни кур, ни тем более петухов с рыжими перьями, примешанными к белым, мне не присылать более; <sup>10</sup> ибо, если даже и выдергать эти рыжие перья, о которых идет речь, то расположение к этому оттенку остается в крови у птицы, и она может мне испортить неисправимо, я думаю, всю породу. Особенно петухи! Курицу вашу я пустил временно гулять по двору; но петух ваш и до сих пор лежит связанный в углу комнаты кавассов, и вы его можете там найти.

Кончив речь, консул вежливо поклонился нам и вернулся в свои внутренние покои.

На улице отец приостановился и сказал мне: <sup>20</sup> — Этот старик, слушай, редкое сокровище! Вот ядовитый старичок какой. Он прежде был лучше, с годами стал хуже. Ничего, ничего!.. Терпенье!

От Корбет де-Леси мы пошли к мсье Бреше, французскому консулу.

У него квартира была тоже недурна; но я не заметил у него тех редкостей, древних сосудов, монет, разнородных ковров и ковриков, как у англичанина. Кавассы его были горды, суровы и одни из всех консульских кавассов одеты <sup>30</sup> не по-албански, в фустанеллы и разноцветные куртки, а в низамское турецкое платье, в панталоны и черные сюртуки, с кривыми саблями сбоку. В городе говорили, что это ввела мадам Бреше от скупости; низамское платье проще и дешевле. Другие говорили, что на это есть иная причина. Рассказывали, будто бы г-жа Бреше выражается так: «*Je déteste l'habit Albanais; c'est trop Grec.* Я ненавижу греков. Везде простой народ зол, но злее парижского работника и простого грека ничего нет на свете! стоит только послу-

шать, как ссорятся и каким голосом люди кричат в Пирее, чтобы понять это».

Нас провели в холодную, большую приемную, в которой не было ни печки, ни жаровни, и заставили ждать нас одних по крайней мере целый час.

Все было тихо в доме. Мы прислушивались. Консул не показывался.

Гордые квассы не подали отцу даже табаку и бумажки, чтобы скрутить сигары, как делают всегда слуги гостеприимных домов, чтобы гость не скучал, ожидая хозяина. 10

Видя это обращение, отец и свой табак не смел достать из кармана. Он сидел повесив голову и грустил. Долго тишина не нарушалась ничем; только раз мы услышали издали громкий женский голос, который довольно сердито кричал: «Alfred!» Мужской голос из другой комнаты ответил на это: «Tout-à-l'heure, Mathilde!»

И потом опять все умолкло. Наконец дверь растворилась, и вошел г. Бреше гордой поступью и с необычайною строгостью во взоре.

Мы стремительно вскочили с дивана. Г. Бреше был худ 20 и довольно высок; он казался еще не стар; волосы и борода его были еще не седые; но все лицо было в мелких морщинках и, как мне и тогда уже показалось, он втягивал себе внутрь живот насильно, чтобы выставлять больше грудь вперед и казаться гордее.

Он не сел, а стал у стола, оперся на него одною рукой и спросил у отца по-гречески, но очень неправильно и неприятно:

— У вас есть дело? Чтò вам нужно?

— Дела у меня есть, это правда, г. консул, — отвечал 30 отец почтительно. — Но на этот раз я осмелился прийти к вашему сиятельству лишь для того, чтобы рекомендовать себя представителю одной из трех великих держав, создавших нашу свободную Грецию. Я загорский уроженец и эллинский подданный, а это мой единственный сын.

Г. Бреше молча кивнул головой. Он наводил на меня ужас. «Французы никого и ничего не боятся», — говори-

ли яниоты. «Они делают везде что хотят. А мсье Бреше не только вспыльчив; он жесток и бьет людей крепко, не разбирая ни веры, ни звания, ни возраста».

— Eh bien? — сказал г. Бреше. — Ваши дела? Ваши тяжбы? Говорите. Быть может, вас турки оскорбили или ограбили? Скажите смело. Я выучу их обращаться получше с людьми. Русские учили их, но мало. Теперь возьмемся мы. Говорите! у меня мало времени (он взглянул на часы).

<sup>10</sup> Из другой комнаты опять раздалось восклицание: «Alfred! Dois-je encore attendre?» И консул отвечал опять: «Tout-à-l'heure!»

— Я могу зайти в другое время, — поспешил сказать отец. — Извините, что я осмелился беспокоить вас.

— Нет, это ничего, — отвечал г. Бреше все так же сурово. — Говорите, если у вас есть дело, не терпящее отсрочки. Консульство Императора французов открыто всегда для тех, кто нуждается в поддержке. Тотчас же по приезде моем сюда, при первом посещении, которое <sup>20</sup> мне сделали здешние христианские старшины, я сказал им: «Здесь ваш паша! Здесь ваш конак! Идите сюда смело и будьте уверены, что вам будет всем хорошо. Франция никогда не будет потворствовать неразумию преждевременных греческих стремлений. Турки, при всей их необразованности, имеют больше государственного смысла, чем вы, и свобода была бы гибельна для вас самих. Но ваши личные, ваши гражданские права, ваша жизнь и собственность обеспечены отныне!.. с той минуты, как я здесь, говорю вам, нет более конака! я низверг уже трех <sup>30</sup> пашей в разных местах и выгнал из их епархий двух греческих архиереев, которые делали свои поповские глупости. В этом доме теперь, повторяю я, ваш конак! Entendez-vous!?» — грозно прибавил он, возвышая голос и стуча по столу рукой.

Отец мой в ответ на это поклонился и отвечал:

— Кому же неизвестно, г. консул, что Франция теперь преобладающее государство в Европе?

— Теперь? — повторил г. Бреше с презрительным выражением в лице. — Теперь? Франция была такой и прежде, государь мой, и будет вечно! Франция была всегда во главе человечества. Она предназначена распространять всегда и везде свободу и равенство, противодействовать всем вредным и варварским началам, откуда бы они ни исходили...

— Alfred! Je pars! — произнес в дверях женский голос, и вслед за этим через комнату прошла поспешно сама г-жа Бреше. Она была очень нарядно одета. Шолковое платье ее было такое широкое и длинное, какого я никогда до тех пор не видывал... Разве только на царских портретах. Серьги у нее были длинные, самой нежной работы; на плечах дорогой меховой воротник; а шляпка просто игрушка!

Зато лицом она была очень некрасива: худая, бледная; нос слишком длинен. Проходя, она едва-едва ответила на наш почтительный поклон и сказала мужу что-то вполголоса по-французски. Я тогда еще говорить по-французски не мог; но понимал уже немного, когда предмет разговора был не очень трудный.

Вслушиваясь в то, что сказала француженка мужу, я запомнил два слова: «se morfondre» и «ces individus». Потом, расспрашивая, я узнал, что первое значит что-то вроде «возиться», «связываться», а второе «эти неделимые, эти люди», но с оттенком пренебрежения.

Итак, г-жа Бреше, мало заботясь о том, что мы могли бы и хорошо знать по-французски, так невежливо и дерзко выражалась о нас в нашем присутствии. И эти люди, эти чиновники Императора, эти защитники просвещения и свободы хотели приобрести популярность у нас на Востоке. Чем же? Хвастовством, дерзостью, оскорблениями и... католическою проповедью, прозелитизмом веры, которую (как будто мы не знаем этого!...) они у себя в государстве всячески потрясли и стеснили.

Не правда ли, как умно?

Г. Бреше тогда взял со стола свою шляпу и перчатки и сказал отцу:

— Если нет спешного дела, то извините меня. Зайдите в другой раз: я сделаю вам несколько вопросов, касающихся вашей родины.

С этими словами он вышел в большую залу и вместе с женой и двумя кавассами важно спустился с лестницы.

Осторожно, издали, спускались за ними и мы.

Поворотя из ворот на улицу, мы увидали, что г. Бреше подал руку своей жене, и лицо его здесь, на улице, при виде встречного народа, сделалось уже не суровым, как дома, а вполне свирепым. Кавассы махали бичами во все стороны. Народ расступался.

Не прошли мы и десяти шагов, как уже пришлось нам быть свидетелями одной сцены, в которой г. Бреше показал, как Франция защищает везде равенство и свободу.

Молодой деревенский мальчик, куцо-влах, почти дитя, неопытный, по-видимому, и совсем невинный, ехал на осле своем, спустив ноги в одну сторону с седла. Он, кажется, был утомлен и дремал.

Консулу показалось, что он осмелился слишком близко проехать по узкой улице около шолкового платья г-жи Бреше.

— Бей его! — закричал консул.

Кавассы тотчас же сорвали мальчика с седла и начали крепко бить его толстыми бичами своими по спине и даже по голове, куда вздумалось. Несчастный молчал, пригибаясь. Мадам Бреше сперва посмеялась этому, а потом сказала: «Assez!» И они пошли дальше.

Мне до того было жалко бедного мальчика (который был одних лет со мною), что я еще при консуле довольно громко закричал, всплеснув руками: «Боже мой! Чтò за грех! Чтò за жалость? За чтò это?»

Подошли, оглядываясь на удаляющегося француза, и другие люди, и христиане, и турки, и евреи. Все утешали мальчика, который сел на камне и горько плакал. Его подняли опять на осла, старались шутками развеселить и говорили ему: «Айда! айда! дитя, добрый час тебе, паликар; не плачь, поезжай домой!»

Мы пошли дальше; отец задумчиво качал головой; а я с изумлением и ненавистью думал еще долго, долго о гордом и морщинистом лице французского консула и о его нарядной, но злой и отвратительной мадаме.

## VII

Едва мы сделали еще несколько шагов по улице, как вдруг пред нами предстал сам Коэвино. Несмотря на всю необузданность и живость своего характера, доктор по улице ходил медленно и важно, в *rinse-peze*, в новом цилиндре, в свежих перчатках; серьезно, солидно, изредка<sup>10</sup> только и грозно сверкая бровями.

Увидав нас, он, однако, повеселел, подошел к отцу и воскликнул:

— А, добрейший мой, я искал тебя! Знай, что ты завтракаешь сегодня позднее обыкновенного, на острове, и в монастыре Св. Пантелеймона, со мной, с Бакеевым, и с другом твоим Чувалиди. Жаль, что Бакеев любит этого глупого патриота Исаакидеса... Ты знаешь, того, который пишет иногда корреспонденции в афинские газеты... Я ненавижу этого лакея и боюсь, чтобы Бакеев не пригласил и его... Но что делать!.. Готовься; дом мой будет заперт сегодня.

— Господи помилуй! — возразил отец. — Теперь зима, ноябрь! Разве делают зимой чумбуши \* за городом?.. Положим, что погода хороша и тепла...

— А! а! — воскликнул доктор с восторгом. — О! разве это не причина, разве не наслаждение сделать именно не так, как делают другие! Яниоты едут на остров летом, а я не еду! Яниоты говорят: теперь зима! Они не едут, а я еду! Спешу, мой друг, между тем к Бакееву.<sup>30</sup> Он ждет тебя, чтобы поговорить о деле Абдурраим-эффенди. Ему доставили ложные сведения, и он хочет дей-

---

\* Чумбуш — увеселение, пирушка, пикник.

ствовать против него и в Константинополе и здесь. Иди, прошу тебя.

Отец сказал, что зайдет только на минуту в австрийское консульство.

Я был очень огорчен, не зная, возьмут ли меня на остров или нет; но, к счастью, доктор, уходя, вдруг оставившись, позвал опять отца и с улыбкой, рассматривая меня в лорнет, сказал:

— И сына, и сына, и сына единородного привези!

10   Добрый человек доктор! Истинно доброй души!

Видеться с австрийским консулом отец мой не слишком заботился. Он имел мало влияния на дела. И потому мы были очень рады, что его не было дома. Отец велел мне латинскими буквами написать на бумажке нашу фамилию (так как карточек визитных мы, конечно, не употребляли) и просил кавассов убедительно не забыть сказать г. Ашенбреннеру, что Георгий Полихрониадес, загорец и греческий подданный, приходил засвидетельствовать ему свое почтение.

20   Пока отец говорил с кавассами, я взглянул вокруг себя и заметил, что это консульство было как будто хуже и беднее всех. Прихожая была довольно тесна; на внутреннем дворе висело и сушилось белье, — все на виду, как у простых людей. Кавассы были одеты беднее, чем у англичанина и француза; наверху ужасно шумели и кричали дети; из кухни пахло жареным. Над лестницей на минуту показалась и сама мадам Ашенбреннер. Она была очень просто одета, беременна и держала на руках маленького сына; за ней с топотом, визгом и криком бежало еще трое  
30   детей... Лицом она была моложава и приятна. Увидав нас, она покраснела и скрылась, а дети побежали опять с визгом за ней.

Оттуда мы пошли в русское консульство.

Г. Благов нанимал огромный и прекрасный дом одного турецкого бея. На обширном зеленом дворе, окруженный высокою, толстою и древнею стеной, по которой как бы деревьями разрастался темный и величественный плющ,

этот дом показался мне царским жилищем. Широкая новая галерея, вся в стеклах, два изящных выступа с комнатами по бокам, лестница каменная, просторная, на верхний этаж; мраморными плитами выложенные нижние стены... За домом сад хороший.

Внутри было еще лучше; на этот раз мне пришлось видеть только канцелярию, в которой, несмотря на праздничный день, занимался г. Бакеев спешными делами.

Увидав нас, г. Бакеев встал, пожал руку отцу, ласково поклонился мне и предложил нам сесть. 10

Отец спросил у него, доволен ли он теми статистическими сведениями, которые он составил в Загорах по желанию г. Благова?

— Сведения? — спросил г. Бакеев, как бы рассеянно. — Извините, я не понимаю. Вы знаете, такое обилие дел.

— Тетради, которые... — сказал отец.

— Ах, да, тетрадки!.. Да!.. Извините, помню, помню. Но что делать, я не успел посмотреть. Знаете, управление очень трудно... Впрочем, я уверен, что ваши сведения прекрасны. 20

На вид, если хочешь, г. Бакеев был еще более консул, чем Благов. Очень рослый, полный, хотя и очень еще молодой, он при всем этом был и лицом чрезвычайно красив; еще красивее Благова. Глаза его, черные, большие и выразительные, одни уже могли бы украсить и облагородить всякую физиономию. В одежде его не было ничего фантастического, как у Благова; но он одет был щегольски и по последней моде.

Все движения Бакеева были тихи и величественны, как 30 у трагического актера, и глядел он в лицо собеседнику, мне казалось, как будто бы несравненно лукавее, чем его начальник.

Г. Бакеев угостил нас сигарами и кофе и сказал еще, что не прочь от скуки провести сегодня день на острове вместе с отцом и бедным доктором (так он назвал Коэвино, — бедный!).



Потом он начал расспрашивать отца о Загорах. Говорил он обо всем как будто осторожно и загадочно, а пожалуй, что и бестолково (но так я понял с течением времени; в первый же раз я принял это за высшую дипломатию и образованность).

— А! Загоры? Загоры? Да, Загоры! А скажите, прошу вас: Франгадес — это в Загорах?

— Это наше село, государь мой, — сказал отец.

— А, это ваше село! Самое ваше?.. То есть оно вам <sup>10</sup> принадлежит?.. Вам самим?

— Нет, как можно, г. управляющий. Это село большое, богатое, свободное; я один из простых жителей его — больше ничего.

— Житель... А... Житель... Прекрасно... Франгадес?.. Франгадес? Тут что-нибудь франки в древности... Вероятно! А позвольте еще спросить: Негадес — это тоже Загоры?

— Тоже Загоры, г. управляющий.

— Тоже Загоры. И Линьядес тоже Загоры?

<sup>20</sup> — И Линьядес принадлежит к нашему округу. Наши Загоры, г. управляющий, имеют издревле особые права; у нас нет вовсе турок и турецкого начальства. Наши Загоры можно бы назвать особою маленькою республикой под властью султана и в прямой зависимости от янинского паша.

— Да, это известно, — сказал равнодушно г. Бакеев. — Загоры? Загоры? славянское имя. Впрочем, это я так... Чтò значит имя? Пустой звук. Здесь все греки... Франгадес, Негадес, Линьядес... Да, у одного из наших подданных в селении Негадес есть дело... Прескучное!

<sup>30</sup> Так вот как, вы из Франгадеса... А, кстати о тяжбах. Мне доктор Коэвино сказал, что вы знакомы коротко с тяжбой здешних огородников с турком Абдурраимом-эффенди, который... Это дело идет о земле, которая простирается... вплоть... почти вплоть... До чего она вплоть, мсье Бостанджи-Оглу?

Бостанджи-Оглу был молодой писец русского консульства; он, в отсутствие настоящего драгомана, который

уехал с Благовым, заменял драгомана. На вопрос г. Бакеева Бостанджи-Оглу ответил, что земля эта идет «вплоть до стены и дома еврея Менахема Варуха».

— Да, да, Варуха, — сказал г. Бакеев. — Вот и прекрасно. Вы знаете, значит, коротко эту плачевную историю, этот образец, один из бесчисленных образцов здешних притеснений и страданий... Это ужасно!

Потом г. Бакеев велел писцу запереть дверь и, обращаясь к отцу моему, таинственно сказал:

— Я доверю вам некоторые отрывки из мемуара, который я составил по этому вопросу. Вы знаете, конечно, что сообщать посторонним лицам то, что мы пишем, не в правилах наших. Но вы даже и здесь, в городе, давно известны, как пламенный руссофил; я слышал об вас еще прежде. Я знаю и то, что в 54-м году ваша жизнь чрез русских была в сильной опасности... Нам все известно! к тому же, долгом считаю прибавить, что я не настолько невинен, чтобы без цели прочитывать мои депеши и мемуары посторонним лицам... Без цели... Понимаете?... Надо, чтоб единоверцы наши знали, как мы горячо блюдем их интересы... Надо... Знаете...

Говоря это, г. Бакеев с улыбкой простер пред собою руку и представил, как надо сеять семена на почву земли.

Отец скромно склонил голову.

Тогда г. Бакеев обратился к писцу Бостанджи-Оглу и приказал ему читать не спеша и переводя прямо и с точностью с русского на греческий. Хотя отец мой на Дунае и в Бессарабии выучился говорить по-русски, но литературный и дипломатический язык были ему недоступны; и потому г. Бакеев и велел читать мемуар по-гречески.

«Осмеливаюсь почтительнейше повергнуть на благосклонное внимание ваше дело Абдурраим-эффенди с янинскими огородниками».

Так начал Бостанджи-Оглу. Он был родом фанариот, но ребенком еще жил долго в Одессе и потом с ранних лет служил писцом при генеральном русском консульстве в Константинополе. Поэтому он оба языка, и греческий,

и русский, знал отлично и переводил очень хорошо и не долго думая.

«Многосложность моих теперешних занятий могла бы дать мне некоторое право замедлить этими сообщениями; но слезы бедных огородников, обильно пролитые под сенью двуглавого орла, побудили меня к усиленной деятельности во имя гуманности и самых священных интересов нашей великой отчизны. Элемент Православия несомненно страдает на Востоке! Дело огородников тому <sup>10</sup> живой пример. Теперь это дело мне ясно. Гордиев узел разрублен. Абдурраим-эффенди, негодяй и отъявленный фанатик, стремится завладеть давнею собственностью единовременных нам бедняков, собственностью, дававшей им и семействам их вполне достаточное и приличное содержание».

Отец внимательно выслушал всю бумагу до конца. Я тоже старался вникнуть в ее смысл.

Когда Бостанджи-Оглу кончил, я посмотрел на отца. Он был, казалось, не совсем доволен этим изложением <sup>20</sup> дела и молчал, глядя в землю.

— Что же вы имеете сказать в пользу или противу этого мемуара? — спросил г. Бакеев. — Быть может, найдутся какие-нибудь погрешности в подробностях и вы... конечно... вы здешний житель. Но главное, я желал бы знать, ясно ли изложено... Хорошо ли изображены все обстоятельства этого дела? Вот что главное!

— Мемуар прекрасный, — отвечал отец, — и написан высоким, дипломатическим языком, которому я, по недостатку ученого воспитания, едва ли и судьей быть в <sup>30</sup> силах. Но если вы желаете, чтоб я откровенно выразил мое мнение, г. управляющий, я осмелюсь возразить одно... только одно... я спрашиваю, не полезнее ли будет для нас, христиан, если высшие власти великих держав будут извещаемы лишь о действительных притеснениях и обидах? Они найдутся в обилии. Дружественно ли или враждебно держава расположена к христианам и к Турции, все равно. Имея как можно более фактов, избегая как можно более

увлечений, ошибок и клеветы, высшие власти какой бы то ни было иностранной державы будут знать лучше, на чем основывать свои действия, на что надеяться и чего опасаться... Ложные сведения дают оружие в руки врагам, которые могут обвинить дипломатию в незнании или в клевете...

— Как так! — воскликнул, краснея и меняясь в лице, г. Бакеев. — Разве эти сведения ложны?

— Извините! вы желали знать правду, — сказал отец, потупляя глаза и прикладывая руку к сердцу. 10

Г. Бакеев, видимо смущенный и недовольный, обратился к Бостанджи-Оглу и сказал ему:

— Не вы ли проверяли эти факты...

Бостанджи-Оглу покраснел еще более, чем начальник его, и с досадой обратился к отцу моему:

— Мне все подробно изложил Куско-бей. Куско-бей был сам здесь, и многое я записал прямо с его слов.

— Вы никого больше не спрашивали? — спросил его отец.

— Кого же спрашивать? — возразил Бостанджи-Оглу. 20  
— Исаакидеса спрашивали. Он сказал, что не знает дела этого основательно: слышал только, что Абдурраим-эффенди правее... Но Куско-бей предупредил меня, чтоб Исаакидесу мы именно в этом деле не верили, потому что у него есть старая тяжба с Шериф-беем, племянником Абдурраим-эффенди. У племянника с дядей дела почти все общие, и г. Исаакидесу желательно, чтоб у Шериф-бея было больше средств и денег для уплаты ему... Ему невыгодно, чтобы другие выигрывали тяжбы против этой семьи. Доктор Коэвино приходил нарочно три раза и 30  
тоже говорил в пользу бея. Но Коэвино в подобных делах не человек...

— Конечно, Коэвино не человек! — подтвердил г. Бакеев.

— Приходил еще вчера дьякон от митрополита и говорил также в пользу бея, но г. Бакеев не изволил снизить...

— Разумеется! — воскликнул г. Бакеев, — митрополит Анфим известный туркофил, я же имел в пользу противного мнения два элемента: народ... понимаете, народ, притесненный в своих правах, и кого же еще?.. Куско-бея, первого из здешних архонтов. И аристократию и демократию!.. Ясно?

Отец молчал. Г. Бакеев настаивал, однако, и хотел знать непременно его мнение. «Хотя бы для того, чтобы лучше опровергнуть его!» — несколько раз повторил он...

10 Тогда отец, со всевозможными смягчениями, с вежливостью и даже с лестью и комплиментами, но зато и с большою точностью, доказал ему, что все дело изложено не так и что даже вовсе о нем никому доносить не нужно.

— Во-первых, — сказал отец, — всем известно, что я не туркофил. Избави Боже! Не проходит дня, чтоб я не воссылал молитвы об удалении агарян туда, откуда они пришли. Но национальная ненависть моя не так слепа, чтоб я не мог различать одного турка от другого и не отдавать каждому должное. Абдурраим-эффенди не только не негодяй, а напротив того, один из самых лучших в Янине турок. Человек он умный и благородный. Лично я познакомился с ним недавно; но характер его давно мне известен, и род, к которому он принадлежит, древний янинский род, никогда фанатизмом и христианоборством не отличавшийся. К тому же в этой тяжбе, которую я знаю давно, он не что иное, как маска для иной цели. Часть доходов с этой земли была предоставлена издавна одному христианскому небольшому монастырю, который даже и построен был турком, дедом этого Абдурраим-эффенди,

20

30 по следующему странному случаю. Этот бей запоздал однажды зимою в дороге. На горах начал к вечеру дуть сильный ветер, и с утра уже падал снег. Съехал наконец бей верхом, со всеми людьми и выюками своими, на большое и гладкое поле, по глубокому снегу. Ехали они долго ли, мало ли, только ехали на лай собак перед собою, догадываясь, что Янина близко; огней же городских за бурей снежной не было видно. Наконец с большими усилиями

достигли они до города и тогда только с ужасом и радостью поняли, что переехали по новому льду, поперек всего Янинского озера. Озеро наше замерзает очень редко: с тех пор, кажется, и не случилось этого еще ни разу... И не слыхано было никогда, чтобы кто-либо дерзнул переходить у нас пешком по льду, не говоря уже о лошадях и тяжелых вьюках. Бей сообразил тогда, что он спустился на лед около того места, где стояли развалины одного древнего маленького скита, разоренного мусульманами в смутную годину. Он благодарил Мать «Пророка Иисуса»,<sup>10</sup> столь дивно его сохранившую; отстроил заново на свой счет маленький и красивый скит и назначил ему в пользование ту самую землю, о которой идет теперь речь. Г. Бостанджи-Оглу упомянул о Шериф-бее, племяннике Абдулраима. Отец Шерифа, по имени Омер-бей, был женат на христианской девушке, плененной в 20-х годах. Эта девушка была матерью Шериф-бея; она жива до сих пор; сохранила христианскую веру, бывает нередко в церкви и приобщается. Шериф-бей очень ее чтит, как слышно, и любит.<sup>20</sup> С братом покойного мужа, Абдурраим-эффенди, она в хороших отношениях. Земля же, о которой идет речь, находится по наследству во владении Шериф-бея и его матери, и они выплачивают постоянно доходы на монастырь; земля эта издавна отдавалась внаймы под огороды; теперь же, по-видимому, Шериф-бей и его дядя хотят распорядиться ею иначе и выгоднее; во всяком случае, увеличение дохода с земли увеличит и монастырский доход... Куско-бей, с своей стороны, имеет претензии на эту землю, на основании каких-то дел его отца с отцом Абдурраима-эффенди, и дело это вообще крайне запутано и темно.<sup>30</sup> Но ясно одно, что Абдурраим-эффенди, потомок спасенного турка, является в этой тяжбе защитником православной церкви и ее доходов; а противники его, эти огородники, вовсе и не собственники этой земли; они лишь орудие Куско-бея. Куско-бей, благодаря своей ловкости и деньгам, сумел выиграть несколько процессов противу богатых турок, которым он часто дает деньги за большие и

незаконные проценты для их роскоши и разных прихотей восточного воспитания. Этим путем он приобрел в собственность же несколько чифтликов, и обязанным селянам, как слышно, не стало лучше при нем, чем было при турках. По каким-то соображениям он в этом деле не хочет являться сам; вероятно, стыдится открыто показать себя грабителем церкви и потому посылает огородников плакать по консульствам.

10 Кончив это объяснение, отец еще раз наговорил тысячу извинений, сказал, что он не дипломат и может быть не дальновиден, но что по мере сил своих разделяет мнение г. Благова, который просил при собирании сведений ничего не преувеличивать.

Услыхав, что ему как будто ставят в пример Благова, Бакеев опять изменился в лице и, холодно сказав отцу, что он все-таки благодарит за объяснения, прибавил:

— Хотя, конечно, сущность дела... или, лучше сказать, сущность моего взгляда изменить уже не может никто, но я благодарю вас все-таки за труд, который вы на себя  
20 взяли.

И обратившись к Бостанджи-Оглу, он сказал ему повелительно:

— Чтобы мемуар был переписан вовремя... Завтра я его непременно отправлю... Слышите?

Позднее мы от того же Бостанджи-Оглу узнали, что г. Бакеев бранил его за дурные сведения; мемуар разорвал, ничего об этом больше не писал и, когда огородники пришли опять плакать, он их не принял, а велел им сказать, что он все уже сделал, что мог, и никакая сила всех  
30 здешних беспорядков прекратить не может. Это было, положим, очень лестно для отца; но обо всем этом мы узнали, как я сказал, гораздо позднее; а теперь впечатление от всех визитов консулам было для нас не слишком веселое и ободряющее.

Эллинский консул принял нас, разумеется, вежливо, и до дверей провожал, и говорил о долге своем относительно греческих подданных; но сознался, что защищать их инте-

ресы в Турции иногда очень трудно державе слабой и туркам недружественной. Англичанин, несмотря на старое знакомство свое с отцом, насмешливо отказал ему в помощи.

Француз принял его как простого носильщика или лодочника, не посадил и руки не подал. Обещал все, не зная даже в чем дело. Можно ли ему верить?

Русского управляющего отец, вопреки своей обычной осторожности, некстати огорчил и оскорбил, увлекшись на минуту своим старым расположением к русским чиновникам, желанием своим видеть их всегда толковыми и знающими. 10

Простившись с г. Бакеевым, мы поспешили к доктору, который ждал нас уже давно и сердился, собираясь на остров. Г. Бакеев, недовольный отцом, даже не сказал ему: «До свидания, на острове», когда мы прощались.

Он едва кивнул ему головой, а я, несчастный, успел поклониться только спине его.

Досадно и грустно.

Тем более досадно, что накануне приехал в Янину с Дуная один еврей и сказал, что в Тульче русское консульство непременно и скоро откроется. Как бы кстати было, если бы здешние русские чиновники послали бы хорошее рекомендательное письмо тульчинскому консулу для того, чтоб он мог поддерживать дядю против Петраки-бея. 20

Не досадно ли!

Блестящий серебром и золотом кавасс-баши Маноли, бряцая доспехами, выскочил к нам, когда мы спустились в нижние сени консульства. Он не мог покойно слышать в сенях никакого движения, и ни один кавасс, ни один слуга не поспевал прежде него выбежать из кавасской комнаты, чтобы взглянуть, что делается, чтобы вытянуться и сделать честь паше или иностранному агенту, когда они посещали русских; сказать два-три любезных слова другим посетителям, пониже, подать пиастр нищему по приказанию консула или усмирить какого-нибудь буяна. 30

Отец подал ему руку и спросил у него тихо:



— Есть ли надежда, чтобы г. Благов скоро вернулся? Чтò слышно об этом? Будь жив и здоров вечно, Маноли! Скажи мне всю правду, чтò слышно?

— С удовольствием, даже с великим удовольствием я скажу вам всю правду, г. Йоргаки, — отвечал Маноли и, улыбаясь, поправил усы свои. — Я вас уважаю и люблю. Я скажу вам; слушайте, прошу вас, меня внимательно. У г. Благова есть великие цели. Я его любимец, потому что он знает твердо, что такое значит капитан злой Лакки Сулийской.\* Злая Сулия! Одно слово и одно название! Злая. Это чтò значит? Значит — злая, не покоряется никогда. У г. Благова есть великие цели, но он их никому не открывает. Например, со мной... «Маноли!» «Чтò прикажете, эффенди». (Это мы вместе едем верхом в поле.) «Маноли!» «Эффенди?» «Когда ж ты, Маноли, будешь в самом деле эпирским архистратигом?» Я отвечаю: «Это, эффенди, в вашей воле. Вы, эффенди, мой сиятельный г. консул, можете все эпиро-фессалийские обстоятельства поставить вверх дном». «Ты думаешь?» — говорит. Я говорю: «Не только думаю, и уверен в этом». Он замолчал. Верьте мне, г. Йоргаки, что он даже иногда лежит по целым часам на диване, закрыв глаза; это все думы и думы. Например теперь, разве без цели он меня (меня — кавасс-баши) здесь оставил и не взял с собой? Нет. Он знает, что г. Бакеев управляет первый раз консульством, что он неопытен. Поэтому он и сказал мне: «Маноли, ты останешься здесь и со мной не поедешь. Смотри». Я понял и смотрю.

— А где ж теперь г. Благов и скоро ли, слышно, возвратится? — еще раз спросил отец ласково и терпеливо.

— Это трудно сказать, — отвечал архистратиг. — Быть может, он скитается по горам и страну изучает, дух, дух! И быть может, веселится уже в самой столице на Босфоре. Вы не были никогда, кир-Йоргаки, в Буюк-Дере? Я был. Чтò за великолепии! Какие цветы! Что за

---

\* Лакка Сулийская — долина Сулийская.

ужасные деревья! Церковь; архимандрит; дамы молодые, официальные дамы! Каики с золотом. Драгоман, и не спрашивайте, это лев. Борода до сих пор... Туркам трепет... Деревья, ужас... Дамы! Церковь!

Едва-едва избавились мы от героя Сулийской Лакки; он преследовал нас еще долго по улице.

Итак, что же, наконец? Что же мы узнали и чего достигли?

Узнали мы, что г. Благова едва ли скоро дождемся и что в Тульче скоро будет русское консульство... А достичь мы ничего не достигли. <sup>10</sup>

Захочет ли Бакеев после этого разговора трудиться для отца, поддерживать его здесь, писать для него в Тульчу? Сомнительно.

Вот как иногда люди самые осторожные могут поступать необдуманно в ущерб своим интересам.

Бедный отец мой! Бедный отец!

## VIII

Отец рассказал доктору о своем разговоре с г. Бакеевым! Он полагал, что управляющий русским консульством <sup>20</sup> очень недоволен им и что теперь приличнее будет ему вовсе не ехать на остров.

Но Коэвино вышел из себя и воскликнул, что отец мой судит слишком по-гречески.

— Греки, — кричал он, — до того обезумели от политики и тяжб, что не умеют вовсе отделять деловых отношений от личных. Но Бакеев, каков бы он ни был, Бакеев все-таки русский! Он все-таки сын великой Империи, он дитя общества, в котором умеют жить, забывая политические оттенки и дела. Это не то, что здешние ваши <sup>30</sup> маленькие презренные народцы!.. Не греки, не сербы и не болгаре, которые *лопаются* с досады, что их мало... Это не то, что вы! не то, что вы! Я говорю тебе, русские не то, что вы! — кричал он с пеной у рта.

Отец уступил. Гайдуша взяла корзину с вином, фруктами и сладостями, и мы все четверо сели в лодку и поехали.

Погода была осенняя, но прекрасная; чуть-чуть прохладная, лучше, чем бывает летом.

На острове мы нашли уже целую толпу слуг из русского консульства, повара, который готовил что-то в монастырской кухне, и партию цыган-музыкантов. Вскоре вслед за ними приехал и г. Бакеев с Бостанджи-Оглу и<sup>10</sup> тем самым Исаакидесом, который имел тяжбу с племянником Абдурраима-эффенди и не хотел доставлять Бакееву верных сведений. Они привезли с собой тоже вина хорошего и портера. Недоставало только Чувалиди. Его Коэвино пригласил, чтобы доставить удовольствие отцу. Впрочем, и сам доктор, открыто и везде называя Чувалиди мошенником, чрезвычайно уважал его ум, его начитанность и умение вести себя в обществе.

— И еще за то, — говорил доктор, — что он одевается чисто и хорошо; приличен и похож более на турецкого<sup>20</sup> чиновника, чем на греческого патриота.

Немного погодя и лодка Чувалиди причалила к берегу. Доктор приказал музыкантам играть. Цыгане запели по-турецки:

Ах! Аман! аман! мой багдадский друг,  
Ах! как летом гулять хорошо...

Печальные впечатления этого утра понемногу рассеивались. Я видел, что разговор между старшими оживлялся; заметил, что г. Бакеев смеялся и говорил благосклонно с<sup>30</sup> моим отцом; видел также, что и сам отец, слушая музыку и турецкие песни, понемногу светлел и успокоивался. Любя бедного отца моего всем сердцем, я обрадовался; забыл все худое и предался вполне блаженной беззаботности...

Я выпил в стороне с кавассами немного вина и начал петь вместе с цыганами все те песни, которые знал; а знал я их много еще с детства.

Завтрак на открытом воздухе был очень оживленный. Музыка все время играла.

Отца, как старшего по возрасту, посадили на лучшее место. Сам г. Бакеев любезно сказал ему:

— Мы все яниоты; а вы гость. Займите место председателя.

Доктор снял с головы отца феску и воскликнул с восторгом:

— Клянусь честью, я крепко люблю твою почтенную плешь, мой добрый Полихрониадес! Люблю твои седые волосы, спадающие по бокам так низко. Взгляните, мсье Бакеев, разве он не похож на великого французского поэта Беранже? Клянусь честью! Взгляните все... Это сам Беранже!

С этими словами доктор сорвал ветвь плюща, который стелился неподалеку по скале, свил ее венком и увенчал отца, восклицая: «Беранже!»

— Я твоего француза Беранже не знаю и об нем не слыхивал, любезный мой друг, — отвечал отец смеясь. — Может быть, он был иезуит какой-нибудь...

— О! о! — закричал Коэвино, простирая с хохотом руки к небу. — О! Беранже иезуит! Беранже — певец веселой доброты и военной славы... «*Vous, que j'appris à pleurer sur la France!*...» А! мой Беранже... мой благородный Беранже! Он выше Горация... Он полнее его; он возвышеннее!.. Могу так сказать... Да!

Господин Бакеев пожал плечами и заметил на это доктору, что Беранже не стоит так хвалить в наше время — он восхищался военной славой. «Кто же восхищается нынче военной славой? Нынче нужен прогресс, промышленность, всеобщее благо»... «Я не уважаю Беранже! Такой он француз!» — прибавил еще господин Бакеев с презрением.

Меня ужасно поразила тогда эта речь господина Бакеева; несмотря на всю боязливость мою и невоинственность нашего загорского воспитания, я без восторга не мог читать о молодецких подвигах наших клефтов и в первый раз

в жизни услышал, что военную славу неприлично воспевать в стихах. Удивило меня также презрительное выражение Бакеева: «такой француз!» Ведь французы, говорят, самый образованный народ в мире... Что ж это значит? О, как многому, бедный Одиссей, ты должен еще учиться!

Чувалиди, с своей стороны, выразил так:

— На что нам французские писатели, когда у нас и свое здешнее, и греческое, и турецкое, так хорошо?.. Прислушайтесь, доктор, к этой песне... Разве не нравится вам это: «Я держу двух девушек: одну правою рукой, а другую левою, и не знаю, которую оставить и которую удержать»! Слышите этот стих: *Чаір! Чаір!* (Трава! трава!) Разве не мило, это, господин Бакеев?

— Дико несколько, — отвечал господин Бакеев с презрительною усмешкой. — Однако и я привыкать стал к этой странной музыке, — прибавил он потом.

Когда кушанье было готово, я, по знаку, данному отцом, не сел вместе со старшими, но, взяв из рук слуги блюдо, стал служить всем, начиная с господина Бакеева и кончая отцом.

Доктор навел на меня лорнет и закричал весело:

— А! Сын! Сын Одиссей служит! Ха! ха! ха! Подревнему... А! а!

Господин Бакеев, напротив того, казался недовольным этим и заметил отцу моему, что он напрасно приучает меня к такому рабскому духу.

— Я этого не люблю! — сказал он.

Чувалиди заступился за наш старый обычай и возразил Бакееву:

— Вы сегодня, господин Бакеев, сами объявили, что хотите быть яниотом. Поэтому не чуждайтесь, будьте так добры, наших старых обычаев; пусть наш милый Одиссей не отучается чтить старших своих, а мы за это женим его со временем на первой янинской богачке, на девочке прекраснейшей из всего Эпира и потанцуем старики на его свадьбе... Я тебе пророк, мой сын! — прибавил Чувалиди и потрепал меня по щеке.

Я так был смущен и тронут этою лаской, что счел за лучшее поблагодарить его и поцеловал его руку, прикладывая ее и ко лбу.

Все тогда засмеялись. Отец был доволен мною. Я это видел по выражению, с которым он смотрел на меня. Я служил, но, конечно, не обижал и себя, уходя от господского стола к кавассам, я у них утешался как приходилось, то пирожком, то барашком, то фруктами и вином. Мне было очень весело!

После завтрака все пошли в то маленькое монастырское строение, где был убит Али-паша. Под старым навесом балкона еще был тогда цел простой деревянный столб, глубоко рассеченный тогда ятаганом. Теперь этого столба уже нет; он сгнил, и его бросили.

Мы вошли и в низкую, темную, небольшую комнату со старым очагом. Ее грязный пол в одну доску был во многих местах пробит пулями. При монастыре живет еще и до сих пор старушка, которая помнит эти времена.

Она рассказывала нам о том, как прекрасна и стройна была знаменитая Василики; описывала ее бархатную одежду, изукрашенную червонцами и шитьем; показывала низенькую дверь в темный чуланчик, в который скрылась красавица, когда посланные султана вошли на монастырский двор. При падшем властелине не было никого, кроме ее и одного верного слуги. Паша и слуга заперлись вдвоем в той самой комнате, в которой мы теперь все задумчиво стояли. Султанские солдаты не стали выламывать дверь: они подошли под комнату в низкие сени и стреляли вверх сквозь пол, приставляя прямо к доскам ружья. Али был скоро ранен в ногу. Он сел на диван, и слуга стал ему перевязывать рану. Убийцы прислушались, конечно, к их движениям.

— Еще одна пуля пробила снизу пол... (Отверстие мы сами трогали руками.) ... И эта пуля была последняя; она попала прямо в толстый живот паши, который висел с дивана над этим самым местом в то время, когда слуга перевязывал ему ногу.

Прекрасную Василики пощадили. Иные утверждают, что она, как христианка, предала пашу...

— Ужасная была эпоха! — сказал г. Бакеев, выходя из этой мрачной комнатки на двор.

Козвино говорил, что он верить не хочет, будто бы Василики предавала своего мужа и благодетеля...

— Я все-таки настолько грек, — сказал он, — что меня подобная низость в гречанке возмущает глубоко...

<sup>10</sup> — А я верю, что она предавала его, — сказал Исаакидес. — Может разве душа хорошей, благородной гречанки иметь искреннее сочувствие к турку, ко врагу ее нации? Нет, не может... Грязь предательства иногда проистекает из чистого источника.

— Я не понимаю такой греческой нравственности, — ответил доктор, отворачиваясь от него.

Оттуда мы все пошли в маленькую церковь монастыря, приложились к иконам, вслед за г. Бакеевым, и осмотрели в ней все, что было любопытного.

<sup>20</sup> Монах поднес г. Бакееву фигуру. (Так называют у нас в Эпире образ, печатанный на бумаге, который кладется на блюдо и подносится тем лицам, которые в первый раз посещают какой-нибудь храм.) Г. Бакеев положил на эту фигуру турецкую золотую лиру.

Потом, взглянув на всех, сказал значительно:

— Храм, кажется, древний!

И вышел вон.

В эту минуту я только заметил, что с нами нет ни г. Исаакидеса, ни отца моего.

<sup>30</sup> Доктор спрашивал, где отец; Бакеев искал Исаакидеса...

На дворе, между тем, расстелили ковры и принесли много подушек с монастырских диванов.

Музыка играла арнаутский танец, и кавассы собирались плясать.

Я вышел из монастыря в село, которое построено около него на острове, и долго искал отца.

Наконец я увидал, что он сидит задумчиво на камне, а Исаакидес, стоя перед ним, говорит ему о чем-то горячо и таинственно...

Они увидали меня и пошли ко мне навстречу... Я сказал им, что их ждут на монастырском дворе.

Из разговора их я слышал только, что Исаакидес говорил отцу так:

— Попробуйте. Постарайтесь. Это дело будет верное. Вы сами говорите, что Благов как будто бы остался доволен вами в Загорах...

10

— Да! — сказал отец, — Благов! А где Благов?

— И этот, и этот добрый человек... Он с вами был очень любезен здесь на острове.

— Вежливый человек, образован, — возразил отец...

— Не бойтесь; и я постараюсь. Конечно, он человек молодой, неопытен, с краем нашим не знаком; управляет в первый раз, торопится, думает по доброте души угодить нам, христианам. Бостанджи-Оглу человек ничтожный, жалкий, он тоже не здешний; всех сплетений интересов здешних еще не знает, верит Куско-бею: Бакеев пожалел огородников.

20

— У меня и своих дел достаточно, — возразил отец. — Я и без того не имею покоя. И мне люди должны и не платят...

— Ничего, ничего! — говорил Исаакидес. — Милый мой Одиссей, поди туда и скажи, что мы сейчас придем. И вместе с тем вызови потихоньку сюда Бостанджи-Оглу...

Я исполнил желание Исаакидеса, сказал г. Бакееву и доктору, что было нужно, и вызвал Бостанджи-Оглу из монастыря.

30

Исаакидес тотчас напал на него.

— Зачем же вы сообщили такие неосновательные сведения г. Бакееву по делу огородников? Зачем вы поверили Куско-бею? Счастье еще, что г. Бакеев благоразумен и спросил сведущих людей.

— И это не помогло, — перебил отец. — Г. Бакеев завтра пошлет свой мемуар... Он так сказал.



— Нет! нет! — воскликнул Исаакидес. — Вы, Бостанджи-Оглу, человек молодой, умный, ученый, хороший. Если вы по молодости увлеклись, надо исправить это дело. Надо сделать так, чтобы мемуар уничтожить и чтобы г. Бакеев на кир-Полихрониадеса не сердился. Устройте это, душечка моя, прошу вас.

Бостанджи-Оглу сильно покраснел и смутился.

— Я не виноват, — сказал он, — Бакеев сам хотел этого. Он говорил: «довольно... я уже все понял!» Может <sup>10</sup> быть, ему хотелось без Благова поскорей отличиться. Чем же я виноват?

— Никто вас винить не будет, — отвечал ему Исаакидес, — добрый мой, если вы исправите это дело. Надо, чтобы г. Бакеев убедился, что кир-Полихрониадес желал добра русскому консульству. Заходите завтра ко мне; вы так долго у нас не были. И супруга моя спрашивала не раз: «отчего Бостанджи-Оглу давно не был? Он такой приятный и остроумный юноша!» Заходите, мы поговорим. Какое варенье сварила моя Кириакица! И не говорите!

<sup>20</sup> С этими словами Исаакидес вошел на монастырский двор, и мы все за ним.

Кавассы, взявшись за руки, плясали посреди двора.

Архистратиг эпирский, Маноли, кавасс-баши, прыгал высоко, звеня оружием и развевая складки пышной фустанеллы. Но он не мог превзойти в искусстве плясать семидесятилетнего старика Ставри, который сражался когда-то под начальством Караискаки, был пятнадцать лет потом разбойником в горах и теперь жил процентами с собственного капитала и служил при консульстве из чести <sup>30</sup> и для права носить оружие. Ставри был первый танцор в Янине.

Г. Бакеев, Чувалиди и доктор лежали на коврах и смотрели.

Мы присоединились к ним.

Казалось, все так было весело и мирно. Сама воинственность арнаутская являлась в этот приятный миг лишь в светлом виде красивой и безобидной военной пляски.

Однако конец этого дня должен был помрачиться, и вечерние мои ощущения были еще хуже утренних, когда я видел раздоры в митрополии, нерешительность греческого консула, насмешки британского, свирепость Бреше и досаду Бакеева на моего обремененного заботами и дорогого отца.

Утро этого дня было пасмурно, полдень ясен, а вечер...

Когда пляска кончилась, музыкантам приказано было отдохнуть. 10

Чувалиди возобновил случайно разговор об Али-паше.

— Об этом человеке можно было бы написать книгу в высшей степени занимательную и героическую, — сказал он. — На дне этого тихого озера, которое нас окружает, погребено много человеческих костей. Недавно еще был жив здесь один старик, который еще юношей присутствовал при гибели прекрасной Евфросинии. Али-паша знал, что сын его Мухтар любим этою красавицей. Он и сам влюбился в нее страстно и, не надеясь или стыдясь отбить ее у сына, решился в его отсутствие утопить ее. 20 Поздно вечером призвал он христианских старшин и приказал немедленно привести в конак нескольких молодых архонтис и в их числе Евфросинию. Ослушание было невозможно. Старшины пошли по домам; при них был тот юноша, о котором я говорил; одна из несчастных этих женщин скрылась на чердаке и, быть может, жива была бы и до сих пор, если б этот молодой человек (он не знал даже, с какою ужасною целью требует их всех паша), если б он не отыскал ее на чердаке. Уже стариком он со слезами говорил мне: «О! грех мой! О! жалость! Зачем 30 я, несмысленный мальчишка, это сделал тогда? Мне даже никто ничем и не грозил». Евфросиния только что прилегла отдохнуть на диван и сказала своей старой няньке: «няня, я спать что-то хочу!» Тут застучали в ее дверь старшины. Ночь была темная; всех молодых женщин посадили в лодки и повезли по озеру. Посреди озера люди паши остановились и начали их топить. Тогда Евфроси-

ния сказала своей старой няне: «Парамана \* моя, мы расстанемся!» — «Нет, нет, мое дитя, мы будем вместе», — отвечала старуха и сама кинулась вслед за нею.

Чувалиди рассказывал хорошо, кратко, выразительно и с чувством.

Трагическая история эта рассказана была уже под вечер, на берегу того самого озера, где погибла молодая Евфросиния и ее бедная няня; она была рассказана так близко от столба, рассеченного самим Али-пашою, так<sup>10</sup> близко от тех старых досок, пробитых пулями, по которым текла в последний раз кровь бесстрашного тирана.

Все задумались и долго молчали. Г. Бакеев вздохнул глубоко. Я сам содрогнулся от ужаса, и в первый раз по приезде в Янину голубое это озеро, которое нас окружало, показалось мне страшным.

Отец мой первый прервал молчание.

— Сердечная нянька! — сказал он грустно. — Вот любовь!

— Ужасная эпоха! — воскликнул г. Бакеев.

<sup>20</sup> — Другая эпоха, — сказал Чувалиди примирительно, — другая эпоха. Где эти времена?

Мало-помалу по этому поводу завязался горячий спор о турках. Г. Бакеев и патриот Исаакидес доказывали, что «времена все те же» и что турки измениться не могут; доктор защищал турок. Отец мой и Чувалиди держались середины. Они находили, что Исаакидес преувеличивает пороки мусульман, а доктор возвышает их добрые качества и умышленно, из духа противоречия грекам, умалчивает обо всем худом, обо всем лукавом, жестоком, грубом и<sup>30</sup> бессмысленном.

Мы с Бостанджи-Оглу внимательно слушали старших.

Г. Бакеев рассказал, как в Трапезунте, тотчас после окончания Восточной войны, мусульмане вообразили, что западные державы принудили Россию изменить свой флаг.

---

\* Парамана — вместо матери, нянька, кормилица, экономка в доме.

Россия, думали они, для того имела прежде красный цвет внизу, чтобы показать, как она попирает Турцию ногами. Ибо красный цвет на флаге — цвет турецкий. С радостью рассказывали они, что теперь этого более не будет, что красный цвет на русском флаге будет теперь наверху, внизу будет белый. По возвращении русского консульства в их город они увидали, что красный цвет все по-прежнему внизу. «Но это консул, — говорили они, — это он делает самовольно, из гордости!» Консула оскорбить они боялись, но нашли случай выразить досаду свою иначе. Пришел в Трапезунт купеческий корабль под русским флагом. И на нем красный цвет был внизу. Тогда несколько турецких солдат (и, кажется, с разрешения офицера) сели в лодку и поехали на этот корабль; они нашли в нем мало людей и прибили их; капитан и другие матросы были на берегу. На возвратном пути турки встретились с лодкой капитана. Тут же на воде произошла схватка; турки одолели матросов, побросали полуживых в воду, и сам капитан, с переломленною ногой, едва не утонул. Подоспели на помощь другие лодки; матросов избитых и несчастного капитана спасли, а турки поспешили уехать.

— Что ж сделал русский консул? — тревожно и поспешно спросил Исаакидес.

— Разумеется, он принял строгие меры, — отвечал г. Бакеев. — Паша не осмелился медлить удовлетворением. Всю роту солдат привели на консульский двор; при чиновнике Порты вывели виновных и во главе их сообщника их офицера, раздели и били палками. Паша предоставил количество ударов на волю консула. Консул смотрел из открытого окна. Офицеру первому дали, — не помню наверное, — по крайней мере пятьдесят, если не сто ударов. Потом били двух-трех солдат слабее, остальных консул простил.

— А, bravo, bravo! — закричал Исаакидес. — Так их надо! Так их следует учить. Дай Бог консулу этому долгой жизни и здоровья... Пусть живет долго и счастливый ему час во всем!.. Bravo ему, bravo!..

— Это подтверждает, однако, мою мысль, — сказал Чувалиди спокойно. — Фанатизм в простом народе и у людей отсталых есть, но правительство турецкое подобных вещей терпеть не намерено и мало-помалу достигнет до того, что мы с турками станем жить недурно.

Отец после этого рассказал г. Бакееву подробно свою собственную историю с нанятым убийцей Мыстик-агою в Добрудже и прибавил:

— А я думаю, скорей, хоть бы по примеру этого благодетеля и спасителя моего Мыстик-аги и по многим другим, что в народе турецком есть много добрых и честных душ, но в управлении нет ни честности, ни порядка.

— Я рассматриваю мусульманизм иначе, шире и гораздо возвышеннее! — сказал доктор с чувством. — Я люблю суровую простоту этой идеальной, воинственной и таинственно сладострастной религии. «Бог один!» Какой Бог? не знаю! Один Бог. «И я Магомет — его пророк». Величие! Я люблю, когда темною зимнею ночью с минарета раздается возглас муэzzина — «Аллах экбер!» Бог велик! Аллах «экбер»! На каком языке вы скажете лучше?.. «Dieu est grand?» Не то. «Ο Θεος εινε μεγαλος?» Не то... «Аллах экбер!» А многоженство? О! я друг многоженства! Я друг таинственного стыдливого сладострастия!..

— Прежде было лучше в Турции, — начал Исаакидес, не обращая никакого внимания на поэзию доктора. — Прежде янычар подавал тебе только платок, в котором были завернуты пуля и золотая монета. «Выбирай!» Ты вынимал, давал ему золото, и он становился твоим защитником. А теперь? Теперь кто спасет от грабежа чиновников и судей, от жандармов, которые отнимают у селянина последнюю курицу и последнего барана и говорят еще: «Дай мне диш-параси, зубные деньги. Сколько я зубов истер у тебя в доме, оттого что много жевал!» В селах еще грабят народ по-янычарски, в городах — по новым методам. Чтò вы скажете, почтеннейший наш доктор, на это? Вы человек ведь воспитанный в Италии... За наш простой

разум пиастра не даете и судите дела подобные иначе, возвышеннее... Просветите нас...

Это последнее обращение Исаакидеса к доктору Коэвино было искрой для гнева, уже давно накопившегося в душе доктора. Коэвино вообще ненавидел Исаакидеса. За что? За многое. За то, что он эллинский патриот и говорит часто «глупые, свободолюбивые фразы», за то, что неопрятен, за то, что криво и гадко выбривает себе под длинным носом промежутки между усами, — за все! за все!..  
Еще прежде раз, у Благова на обеде (рассказывали люди в Янине), Коэвино вскочил из-за стола и пересел на другое место, гораздо ниже, чтобы не быть против Исаакидеса, и когда Благов его дружески упрекал за этот скандал, Коэвино ответил ему: 10

— О, мой добрый, благородный друг! Простите мне... О, простите! Я так обожаю все изящное, все прекрасное, что предпочел сесть на нижний конец стола, откуда я во время обеда видел против себя вашу красивую наружность. Я не мог спокойно обедать, когда предо мной был этот глупый взгляд, этот длинный нос, эти пробритые усы, этот комический патриотизм великой Эллады величиною в кулак мой! 20

Исаакидес знал, что Коэвино и презирает и ненавидит его, но он не огорчился, считая доктора, как и многие в Янине, полупомешанным; обращался с ним всегда внимательно и вежливо, но любил дразнить его и, говоря с ним как будто почтительно, насмешливо улыбался.

Это и я заметил еще вначале при встрече их на острове.

Исаакидес с улыбкой:

— Как вы, доктор? Как ваше здоровье? Здорова ли кира-Гайдуша? Ах, она здесь... Очень рад!.. 30

А Коэвино мрачно:

— Здоров. Хорошо. Благодарю!

Если бы ты мог видеть, что случилось с доктором, когда Исаакидес обратился к нему вдруг с таким ироническим вопросом. Он вздрогнул, и черные глаза его заблестали...

— Чтò я думаю? чтò я думаю об этом? Ха! ха! ха! Я думаю, что турки хорошо делали, обращаясь с греками жестоко... да! они прекрасно делали! О, о, о! Вы были лучше тогда, когда над вами висел всегда Дамоклов меч... Тогда вы были идеальнее, теперь вы низкие торгаши, вы мошенники...

— Доктор, прошу вас, успокойтесь и умерьте ваши выражения, — заметил ему г. Бакеев серьезно.

10 — Нет! нет! я не умеряю их! — воскликнул доктор, вставая и принимая угрожающий вид. — Греки были лучше, когда над ними висел Дамоклов меч...

— Постой, доктор, — сказал ему отец, стараясь взять его за руку.

— Нет, — кричал Коэвино, отстраняя отца. — Нет! Греки были лучше, когда над ними висел Дамоклов меч мусульманского гнева! А теперь? Теперь вы чтò? Вы ничтожные искатели вещественных интересов. У вас нет рыцарского воспитания в прошедшем... У вас не было Байардов и Роганов... у вас нет ни романтической чистоты, ни  
20 изящных пороков... да! вы все купцы, разношники, продавцы бубликов, носильщики, сапожники, мерзавцы!.. Вам был полезен ужас; ваши чувства тогда были от страха идеальнее... у вас тогда по крайней мере было глубоко православное чувство... Вы за Церковь, за Христа в старину отдавали жизнь... Я материалист, я, может быть, атеист, но я понимаю высоту Христианства... а теперь, когда турки перестали вас бить и резать, вы уже не строите монастырей; вы строите ваши национальные школы, где оборванный осел-учитель (дурак! дурак!) кричит: «Эллада!  
30 Эллада!» Вы теперь не веруете, вы не бежите в пустыню, не молитесь, рыдая... нет! вы лжете, обманываете, торгуете... вы как жида грабите процентами турок, которые гораздо лучше, благороднее вас... Вы...

— Доктор, — перебил Исаакидес, краснея, — вы гордитесь вашим воспитанием... будьте-ка вежливее...

— Зачем? с кем? против кого? — возразил Коэвино вне себя. — Против тебя, несчастный... тебя! тебя!.. ты

первый фальшивыми расписками и незаконными процентами ограбить хочешь бедного Шериф-бея, которому ты не достоин развязать ремень на обуви...

Исаакидес побледнел... и все смутились крепко, слыша это; отец мой в отчаянии схватил себя за голову руками...

Тогда г. Бакеев тоже встал с ковра и обратился к доктору очень строго и твердо.

— Г. Коэвино, — сказал он, — и я вам говорю, наконец, умерьте ваши выражения... Вы грубо оскорбляете моих друзей. Я вам это говорю... Поняли вы? Это я... я!.. <sup>10</sup>

Коэвино побледнел; он взглянул несколько раз, весь вздрагивая, в лицо г. Бакееву.

— Вы, г. Бакеев? вы? Знайте же, что и от вас... да! и от вас мне нейдет принимать уроки хороших манер. Да!.. прощайте. Лодку мне! лодку... Гайдуша! лодку!..

Бакеев и за ним Исаакидес громко захохотали ему вслед.

Отец мой и Чувалиди звали доктора назад, умоляя его образумиться, но просьбы их были тщетны! напрасно и я бежал за ним, по приказанию отца, до берега, повторяя ему: «Вернитесь, доктор, вернитесь, отец мой просит вас... Во имя Божие просим вас, вернитесь...» Все напрасно! он прошел грозно мимо всех слуг и кавассов, которые с удивлением вскочили и слушали, как он кричал: «Лодочник! лодку мне! лодку!» <sup>20</sup>

Гайдуша кинулась собирать свои вещи в корзину. Но и она не поспела за доктором.

На берегу он нашел спорящих лодочников, толкнул одного из них ногой и сам, вскочив в лодку, закричал ему: «Вставай! бери весло!» <sup>30</sup>

Напрасно я зывал к нему: «доктор, милый наш, золотой доктор... вернитесь...»

Он был уже далеко, и сама быстрая Гайдуша прибежала к берегу с корзиной слишком поздно.

Без доктора все стали скучнее.



Г. Бакеев, узнав от меня, что Коэвино уж далеко отплыл от берега, презрительно пожал плечами и, обратившись к отцу моему, сказал:

— Безумный и нестерпимый человек. Я всегда дивлюсь г. Благову, как он может проводить с ним так часто целые вечера. Я очень рад, что он убрался. Пусть играет музыка!

Но музыка не оживила никого. Сам Бакеев задумчиво молчал. Чувалиди говорил о каких-то делах с Бостанджи-  
10 Оглу. Исаакидес опять отвел отца моего в сторону и шептал с ним...

Мне стало сперва жалко доктора, над которым все смеялись, потом грустно, а потом и страшно...

Я сел за монастырем на камне и смотрел, как заходило солнце за гору, по ту сторону города, как темнело широкое озеро, в котором утопили турки молодых архонтис и несчастную параману... Ах! горько! горько жить на этом свете!..

Все темнело и темнело... Музыка умолкла. Г. Бакеев  
20 приказал готовиться к отъезду.

Ударили с крепости против нас пушки... На минаретах в городе загорелись плошки... Я вспомнил, что у турок начался *Рамазан*.

«Когда бы скорей домой, в теплое и тихое жилище... Отчего так грустно мне и страшно... отчего — не знаю!»

Я бросился поспешно за г. Бакеевым, чтобы не отставать от него и быть под его покровительством.

Отец мой был тоже близко, и мы втроем сели в первую  
30 лодку. В другой поехали Чувалиди, Исаакидес с докторскою Гайдушей и с Маноли кавасс-баши. В остальных лодках ехали музыканты, слуги и старый, семидесятилетний кавасс Ставри, тот самый, который в двадцатых годах сражался под начальством Караисаки и так хорошо умел танцевать по-албански.

Наш первый лодочник был турок и гребец хороший, и мы скоро оставили всех других далеко позади.

Г. Бакеев и отец молчали. Я все смотрел с непостижимым содроганием то на черную бездну, по которой плыла наша плоская и ветхая лодка, то на огни дальних минаретов, то на суровое, не бритое и усатое лицо турка, лодочника нашего. Я сидел около него, и мне показалось, что он раза два окинул всех нас свирепым взглядом.

Я молился про себя Божией Матери и Св. Георгию Янинскому и искал глазами в темноте того низменного берега, к которому мы должны были пристать.

Отец сделал наконец один вопрос г. Бакееву:

10

— Я осмелюсь спросить, — сказал он, — сколько драгоманов трактаты позволяют иметь консулам в Турции?

— Простое консульство может иметь трех, генеральное четверых, — отвечал г. Бакеев.

— Отчего же, ваше благородие (простите мое любопытство), — продолжал отец, — здешнее консульство держит только одного? Мне кажется, что и двое были бы полезны.

— Не знаю, — отвечал Бакеев. — Это не мое дело. <sup>20</sup> Это распоряжение консула... Что ж до этого... Посмотрите, как эти фанатики осветили свои минареты.

Услыхав это неосторожное слово, я с ужасом взглянул на сурового лодочника... Все янинские турки знают по-гречески как греки, а г. Бакеев говорит по-гречески. Опять вообразил я мгновенно и капитана, с переломленной ногой брошенного в воду, и Евфросинию, и няньку. Лодка качалась от малейшего движения... Лодочник молчал и греб как будто медленнее прежнего.

Смотрите, думал я, отчего ж он гребет медленнее? Отчего это? Боже, спаси Ты нас! Боже, спаси нас! <sup>30</sup>

Помолчав, отец мой еще спросил:

— Осмелюсь беспокоить вас, ваше благородие; вы никакой записки не получали от господина Благова из Загор обо мне?

— Записку? Записку об вас? Записка была и было что-то там, кажется, и об вас... под конец... две строки...

Не помню... У г. Благова отвратительный почерк, и я, признаюсь, не слишком трудился все разбирать. Довольно мне и той скуки, что по обязанности должен разбирать его скверный почерк на казенных бумагах... Вы как находите Янину? Не правда ли, прескверный городишка... Тоска!

— Конечно, город не европейский, — отвечал отец мой.

— Еще бы! Какая тут Европа!.. Это такая скука, такое варварство! У меня нервы расстроены от одной мостовой  
10 здешней.

Отец не отвечал. Все опять стихло... Вода кругом чернела; лодочник медленно греб; а я опять молился.

Наконец низменный берег близко. Воскликнув мысленно: «Слава Тебе Боже, слава Тебе!», я выскочил вслед за г. Бакеевым, не дожидаясь отца. Отец за мною...

Вдруг, в эту самую минуту, человек шесть или семь турецких солдат с чаушем явились пред нами из мрака с ружьями на плечах.

— Ясак!\* — грозно воскликнул чауш, толкая в грудь  
20 отца. — Назад, назад... Запрещено из острова по захождении солнца. Ясак, говорят тебе! — повторил он, прогоняя отца к воде.

— Постой, добрый человек, — сказал ему кротко отец, — постой, мы не знали этого. Вот и сам московский консул.

— Ясак!..

Г. Бакеев тогда схватил за руку чауша и воскликнул взволнованным голосом:

— Ты не видишь, кто я... Ты пьян, животное...

30 Чауш отдернул грубо руку и, взмахнув прикладом, воскликнул:

— Я пьян, я пьян? Постойте же, покажу я вам... Окружи их и приставь штыки, — скомандовал он солдатам.

Вмиг всех нас троих замкнули в круг, и штыки со всех сторон почти уперлись в наши груди.

---

\* Ясак — запрещено.

— Кто вы такие? — спросил еще раз чауш грозно.

Я трепетал и не мог даже и молиться... Вот мои предчувствия. Сбылись они. Я держался крепко за платье отца.

— Ты строго ответишь за это, — сказал чаушу г. Бакеев.

Голос его все так же дрожал.

— Я говорю, кто вы такие? — повторил чауш.

Но в эту самую минуту причалила вторая лодка. С нее быстро и легко как птичка вылетел старый Ставри, обнажил мгновенно ятаган и закричал зверским голосом на солдат: 10

— Прочь вы, сволочь бессмысленная! Не видите вы, анафемы, что вы оскорбили русского консула... Прочь все сейчас... Или я вас всех как собак в озере утоплю...

Тут же раздалось бряцание доспехов Маноли кавассбаши... Он тоже вынул ятаган и воскликнул:

— Разойдитесь, животные. Прочь!

За ним бежала и Гайдуша с криком:

— Бей, бей их, Маноли! Режь их, Ставри! 20

Солдаты расступились... Чауш молчал...

Кавассы наши и Гайдуша продолжали их ругать.

— Я чтò ж, — сказал наконец чауш угрюмо. — Я не знал, кто это. Мне приказано не пускать; сказано ясак, я и говорю ясак.

— Дурак, — возразил ему Ставри. — Разве ваши законы для консулов писаны...

— Ты мне ответишь за это завтра, — сказал чаушу г. Бакеев сильным, уже спокойным голосом.

И мы пошли... Исаакидес и Чувалиди скоро догнали нас. 30

Исаакидес был в негодовании и говорил, что простить этого невозможно. Чувалиди молчал.

При входе в город мы расстались с ними. Нам с отцом и Гайдуше нужно было повернуть к доктору.

К счастью, ключ от дверей был не у доктора, а у Гайдуши, и мы могли отпереть дом без него.

Сам Коэвино вспомнил о ключе только подходя к дому. Делать ему было нечего. Он ушел к Абдурраим-эффенди и там провел целый вечер, понося Исаакидеса и расхваливая турок. Так он сам говорил нам радостно на другой день.

Когда мы раздевались и ложились спать, отец мой сказал мне:

— Много, сынок мой, видели мы вещей сегодня, очень много...

10 — Да, отец, — сказал я, — много мы видели. А ты не огорчен ли, отец?

— Нет, сынок мой, нет. С Божьей помощью все будет хорошо. Бакеев, я вижу, не сердится на меня.

— А знаешь, отец, — сказал я еще, — ты, не знаю, как об этом думаешь... А я думаю, что Бакеев Благова не любит. Все он как будто не рад, когда ты о Благове ему говоришь.

— Вот ты какой хитрый, — отвечал мне отец смеясь. — Несториди наш бедный порадовался бы на это.  
20 Сказано: грек, да еще загорский.

— А послушай, отец, как ты скажешь, а ведь величия дипломатического у Бакеева больше, чем у Благова. Рост какой...

Отец засмеялся опять.

— Плоть сильна, но дух немощен у него, — сказал он. — Ты смотри только об этом никому не говори, дитя мое. Я тебе скажу, что русскому чиновнику не надо бы и кавассов ждать, а самому бы чауша этого сегодня крепко ударить... Я думаю, Благов хоть  
30 и раздушенный как барышня, а сделал бы так. Я слышал о нем уже такие дела. Только все-таки нам по городу смеяться над русскими чиновниками не следует. И ты смотри, историю эту для г. Бакеева выгоднее рассказывай. Русские все, каковы бы они ни были, наши первые благодетели. А ума и мужества не всем уделил Бог в одной мере. Покойной ночи тебе, сынок. Бедному этому чаушу, я думаю, завтра будет худо. Судьба,

все судьба... А ты помолись Богу и спи спокойно, дитя мое.

Я помолился, поблагодарил Бога за спасение от воды и от турок, снял с отца сапоги и платье и мирно уснул.

## IX

На другой день весь о том, что турки оскорбили управляющего русским консульством, разнеслась по всему городу.

Иные говорили, что Бакеева ударили турки прикладом, другие, напротив того, что он ударил в лицо чауша и сказал ему: «О, необразованный, дикий ты человек! Ты не знаешь о трактатах великих держав». 10

Я с утра выпросил у отца позволение сходить в русское консульство в гости к Бостанджи-Оглу, который еще прежде приглашал меня, и там был свидетелем многого.

Чауш с рассвета пришел в консульство и ждал г. Бакеева, чтобы просить у него прощения. Его послал сам полковник. Но у Бакеева на квартире был также уже с утра Исаакидес. Когда чауша допустили к г. Бакееву, Исаакидес уже успел раздражить его. 20

— Эти фанатики!.. Эти звери.. Не верьте, что он не знал, кто вы такой... Не верьте. Они все такого азиатского духа... Все пытаются оскорбить иностранцев наудачу. Если удастся, хорошо, не удастся — просят прощения и лгут... Весь город уже знает о том, что вас вчера оскорбили...

Эти же самые слова повторил Исаакидес и внизу, при мне, в канцелярии.

Напрасно чауш униженно кланялся, напрасно он хватал полу Бакеева, управляющий не обратил на него никакого внимания и приказал оседлать себе лошадь, чтоб ехать ко всем консулам и к паше. Он зашел на минуту в канцелярию и объяснил Бостанджи-Оглу, в каком духе надо приготовить для паши ноту... 30

Мы все стоя слушали.

— Жестче, понимаете, жестче! — говорил он.

Исаакидес краснел от радости. Бостанджи-Оглу также как будто радовался. Но мне, признаюсь, стало жаль бедного чауша. Я верил его раскаянию, верил и тому, что он ошибся вчера. К тому же он исполнял лишь приказания своего начальства.

Г. Бакеев вышел из канцелярии в сени, чтобы сесть на лошадь; чауш еще раз кинулся к нему...

10 — Эффенди! — произнес он, прикладывая руку к сердцу.

Г. Бакеев остановился и сказал ему:

— Любезный мой, ты виноват меньше твоего полковника: он должен учить тебя... Но я простить не могу.

В эту минуту в больших дверях консульства показались два чужих кавасса, и за ними вошли сперва г. Бреше, а потом Ашенбреннер, австрийский консул. Оба были в форменных фуражках.

20 — Quoi! mon très cher monsieur! — воскликнул с первого слова г. Бреше. — Правда ли, что вас осмелились оскорбить вчера?

— Да! вообразите! — отвечал г. Бакеев, с чувством пожимая руки обоим консулам. — Я собирался ехать ко всем коллегам моим и подвергнуть дело это их беспристрастному суду.

— Montons et racontez-nous! — воскликнул Бреше. — Чтò сделала вам эта сволочь?.. Cette racaille! Я выучу их помнить, чтò такое европейское консульство.

30 — Мы все солидарны, все солидарны, — говорил толстый Ашенбреннер.

И они ушли наверх.

Старый Ставри сказал тогда чаушу:

— Я говорил тебе вчера, что ты дурак. Видишь, несчастный, что я правду тебе говорил. Если бы ты вчера на месте попросил бы прощения, наш бы простил. А теперь, когда француз вмешался, пропала твоя голова. Жаль и мне

тебя, несчастный. Но ты, я сказал тебе, дурак... Слышишь?

— Судьба, — сказал турок, вздохнув, и пошел печальный из консульства.

— Бедный, — сказал я, обращаясь к Бостанджи-Оглу.

— Да, — отвечал Бостанджи-Оглу, — теперь его строже накажут, когда Бреше вмешался... Бреше зверь.

— Не зверь, — возразил ему Исаакидес, — а ловец хороший на диких зверей. Консул, каким должен быть на Востоке консул. <sup>10</sup>

Немного погодя оба западные консула и г. Бакеев сошли сверху и простились у дверей. Г. Бакеев сел на лошадь и поехал к паше, а Бреше и Ашенбреннер пошли в другую сторону.

Я тоже хотел идти домой, но Исаакидес удержал меня на минуту, отвел в сторону и сказал:

— Скажи по секрету отцу, что его дело по драгоманату почти устроено и чтоб он непременно зашел сегодня в консульство. Чем скорее, тем лучше. <sup>20</sup>

Возвратившись домой, я застал доктора еще дома. Он вообще выходил к больным поздно. Хотя в Янине было и кроме его несколько докторов, учившихся в Германии и в Италии, но Коэвино и до сих пор считается у нас лучшим. У него быстрый взгляд, решительность в лечении, находчивость, счастливая рука. Поэтому он и знать никого не хотел. Напрасно было приглашать его рано, напрасно было умолять его и давать ему деньги, чтоб он вышел из дома раньше, чем ему хочется. Ни дружба, ни сострадание, ни корысть не могли изменить его привычек. Он пил кофе и курил не спеша, в турецкой одежде; потом чесался и переделывал себе пробор раз десять по-английски до затылка; вынимал из комода несколько пар французских перчаток, разглаживал их, расправлял, выбирал то коричневую, то зеленую, то серую пару, нюхал их с восторгом, опять прятал. Потом надевал модную, чистую венскую рубашку, одевался <sup>30</sup>



долго с помощью Гайдуши. Чистил долго сам свой новый цилиндр.

— Гайдуша! Чтò я сегодня надену? Я думаю, чорный *мигре* (так звал он сюртук).

— Наденьте *мигре* или коричневый *жакетон*.

— А? Как ты думаешь? А? Или *мигре*?..

— В *жакетоне* вы моложе, в *мигре* серьезнее, — отвечала Гайдуша.

— А! *жакетон*! *жакетон*! Я сегодня хочу быть моложе.

<sup>10</sup> Великий Дант сказал. Ты помнишь, Гайдуша, тот великий, великий итальянский поэт, который об аде писал: *Lasciate ogni speranza*. Помнишь? Давай *жакет*... А! а! а! молодость — весна жизни. Учись, Одиссей, по-итальянски, непременно учись.

Если случался поутру при этом какой-нибудь знакомый или приятель, доктор начинал бесконечные споры об астрономии, религии, любви, поэзии (менее всего он любил говорить о политике). И в это время, когда он чесался, помадился, гляделся в зеркало или говорил то о расстоянии <sup>20</sup> земли от солнца, то об Уголино, грызущем в аду голову врага своего, в это время никакая сила не могла вызвать его к больным из дома.

Раз один богатый албанский бей из дикой и воинственной *Чамурьи* приехал лечить сына в Янину. Он вошел к доктору весь в золоте, в оружии и гордо потребовал, кладя на стол десять английских золотых, чтобы Коэвино *сейчас же* спешил к нему на дом.

Это было поутру, и пробор доктора еще был не пробран.

<sup>30</sup> — Я! я! спешить?.. Я? — воскликнул он; швырнул все золото перед беем на пол, ушел и заперся в спальне.

Гордый бей, привыкший повелевать в *Чамурье*, удивился, что грек не хочет денег; но медицинская слава Коэвино была велика в городе, и он решился ждать в гостинной, пока доктор оденется и соблаговолит выйти.

В это утро, возвращаясь из русского консульства уже довольно поздно, я застал Коэвино еще в халате и феске.

Он был весел, несмотря на вчерашнюю ссору с Исаакидесом и Бакеевым; громко хохотал и шумел и спорил с отцом.

Гайдуша принимала отчасти тоже участие в споре, то стоя у дверей, то прыгая по комнате, то поправляя уголья в мангале. Рассуждали о том, освободят ли рабов в России или нет, о том, каково дворянство русское и что такое г. Бакеев, дворянин по породе или нет. Рассерженный на Бакеева доктор утверждал, что, вероятно, он не дворянин; что вкусы у него слишком низки, что он проводит слишком много времени с Куско-беем, у которого сюртук блестит как зеркало, и с ослом Исаакидесом, у которого тоже сюртук сален и который выбривает себе криво промежутки между усами. «Он не аристократ!» — говорил доктор. Отец возражал ему, что здесь и не знают, что такое русское дворянство; что у русских есть благородные люди, у которых есть нечего, несмотря даже на то, что они имеют десятка два-три рабов. В Бессарабии, например, он видел подобных людей очень бедными, но они были горды и, рассердясь, говорили богатым купцам: «Хоть ты и богат, но я дворянин, а ты все-таки мужик!»

Коэвино, услышав это, пришел в восторг, в исступление:

— А! а! Это испанское! это испанское! Кавалер! Бедный рыцарь! Я не ошибся в русских!.. О! как я люблю эту гордую независимость крови.

Лицо его делалось попеременно то блаженным и сладким, то грозным и воинственным; он носился по комнате то к отцу, то ко мне, то к Гайдуше, выхваляя испанцев и мелких русских чиновников за то, что они не купцы и не банкиры.

На миг он успокоивался и говорил тихо и медленно:

— Когда здешние Бичо, Куско-беи, Конди и другие янинские так называемые архонты говорят про свой круг «наша местная аристократия», я возражаю им так: «Слушайте! Аристократия происходит или от силы меча, от великих военных подвигов, или дается за высокие граж-

данские труды на пользу государства... Да! В Европе есть аристократия. Например... (Коэвино вставал и шел через всю комнату к отцу.) Например, *Principes*, князья! (тихо подходя ко мне). *Dúkides!*.. Герцоги! (погромче) *Són-tides!*.. Графы! (Еще громче, обращаясь к Гайдуше. Опять шел к отцу на другой конец комнаты и еще громче и басистее:) *Viscóntides!* Виконты!

И все важно, медленно и гордо; а потом как вдруг взвизгнет, вспрыгнет, захохочет, закричит:

<sup>10</sup> — А вы? Вы все что такое, не только здесь, но и в Элладе? А? Семиджи, варкаджи, бояджи, папуджи, лустраджи!..\* Ха! ха! ха!..

Мы все трое, отец, Гайдуша и я, умирали от смеха.

Однако и на этот раз веселость наша не была продолжительна; кто-то застучался в дверь. Гайдуша пошла отпереть, возвратилась, и вслед за нею вбежала в комнату старая бедно одетая турчанка и с криком: «Хеким-баши мой, эффенди мой... Аман, эффенди, спаси моего сына...» бросилась к ногам доктора, хватая его полу.

<sup>20</sup> В первую минуту мы все думали, что она просит вылечить бедного сына; но Гайдуша сказала, что она мать тому чаушу, который вчера оскорбил г. Бакеева, и зная, что доктор очень близок с русским консульством, пришла просить его заступничества.

Старушка была очень жалка. Зеленое *фередже* ее было потерто; *яшмак* стар и груб; рабочие руки жесткие; день был осенний и сырой, и она дрожала и от волнения, и от холода. Она говорила по-гречески так же, как говорят простые наши гречанки; употребляла те же самые ласковые или горькие слова... «Золотой мой доктор». «Бог да благословит тебя, мой сын, мой барашек милый... Спаси мне сына». «Я ему невесту нашла недавно, барашек мой доктор, добрый мой доктор!.. Поди, сын мой, поди, эффен-

---

\* Семиджи — разнощик баранок, бубликов. Варкаджи — лодочник. Бояджи — красильщик. Папуджи — башмачник. Лустраджи — *décrotteur*.

ди мой. Русский тебе друг... Попроси его, чтоб он простил моего Мехмеда... Бог наградит тебя, Бог, сынок мой!..»

Мать, все мать... Я с беспокойством смотрел на Козвино и ждал, что он скажет. Доктор был впечатлителен и добр. Он был тоже взволнован и молча, содрогаясь всеми чертами своего оживленного лица, глядел в лорнет на старуху. Она в утомлении села наконец у ног его на ковре и плакала, утираясь старым своим покрывалом.

Гайдуша вопросительно глядела на своего господина. И она хотела помочь старухе. Отец тоже заметно был тронут<sup>10</sup> и сидел на диване задумчиво.

Доктор вздохнул наконец и сказал:

— Ты говоришь, Мехмед-чауш твой сын!.. Что мне делать?

— Эффенди мой! — сказала старушка, складывая перед ним руки.

— Неприятно!.. — воскликнул Козвино, обращаясь к отцу. Потом он сказал старухе: — Бедная, я не этому консулу друг, а тому, который уехал...

— Эффенди мой, будь жив и здоров! — повторила<sup>20</sup> турчанка необыкновенно ласково и кратко.

Доктор был в большом волнении и долго молчал... Потом он сказал отцу:

— Слушай, Полихрониадес, сделай ты это доброе дело. Видишь, мой друг, Бакеев не джентльмен... Если я пойду... Я готов... Я жалею эту женщину. Но если... если... (Лицо Козвино налилось кровью.) Если он меня не примет или примет со своими гримасами... «Гм! да!.. Гм! да!.. Конечно!.. Может быть...» О! о! мой друг... Тогда!.. Нет, поди ты! У тебя и нрав иной, и нервы крепче,<sup>30</sup> и ты не был в ссоре с ним...

Отец пожал плечами...

— Как идти! И я не близок с ним... Что значит моя защита в его глазах?.. И меня он может не принять...

В эту минуту я вспомнил о словах Исаакидеса на пороге консульства и с радостью вызвал отца в другую комнату...

Я передал ему там по секрету, что г. Бакеев будет его ждать сегодня и что *дело его почти сделано...* Так, как сказал Исаакидес.

— Вот и попросишь и за женщину, отец... Будь жив и здоров... Жалко бедную старушку.

Отец сначала не хотел и верить, заставил меня еще раз повторить слова Исаакидеса и, наконец, смеясь, сказал:

— Какой интриган этот человек! Когда так, можно пойти...

<sup>10</sup> Турчанку, впрочем, успокоить было нелегко; она очень огорчилась, когда узнала, что не доктор пойдет, а неизвестный ей человек, мой отец. Гайдуша, однако, сумела объяснить ей, что доктор с этим консулом не друг, а будто бы первый друг ему именно мой отец...

Отец оделся и пошел в консульство, и я из любопытства за ним; а турчанка шла немного особо вслед за нами.

Неподалеку от консульства отец мой еще раз спросил меня, не ошибся ли я? Он заставил меня повторить еще раз слова Исаакидеса...

<sup>20</sup> Напряжение умов в консульстве продолжалось. Г. Бакеева еще не было дома. Он возвратился на минуту из конака, подписал ту бумагу, которая была им заказана на случай неудачных словесных переговоров с пашой, отправил ее и тотчас же ушел к Бреше.

Бостанджи-Оглу рассказывал нам, что Рауф-паша сначала притворился, будто ничего не знает о вчерашнем, но потом, когда г. Бакеев сказал ему через переводчика, что он дивится, как начальство не знает о том, что простые солдаты оскорбляют иностранных представителей, Рауф-паша смутился и начал извиняться и уверять, что он дело разберет и чауша примерно накажет...

<sup>30</sup> — Дело не в чауше, а в полковнике, который должен был, отдавая полицейское приказание, прибавить: «исключая консулов и чиновников их»!

Бакеев предупредил Рауф-пашу, что если к вечеру полковник не явится просить у него извинения, он должен будет прибегнуть к мерам крайне неприятным.

Паша на это ничего не ответил. Бреше обещал пойти сам, если переговоры Бакеева не приведут к концу... Ашенбреннер сказал, что он сделает то же. Киркориди отговаривался болезнью и обещал послать драгомана, а Корбет де-Леси, у которого Бакеев был вместе с Бреше, сначала стал было защищать чауша, но когда Бреше сердито сказал ему: «Итак, господин де-Леси, я прошу вас сказать мне решительно, желаете ли вы быть солидарны со всем консульским корпусом или нет в этом случае?» Леси отвечал лукаво, что он и сам очень заинтересован этим вопросом, что драгоман его и без того должен идти по делам сегодня в Порту и он прикажет ему «вникнуть между прочим и в то, как намерена местная власть отнестись к поступку чауша».

Вскоре пришел и сам г. Бакеев. Он любезно поздоровался с отцом и позвал его наверх. Там они разговаривали долго, потом отец сошел, и г. Бакеев, провожая его на лестницу, повторял ему:

— Очень вам благодарен... Очень благодарен. Будьте и вы покойны! Я все сделаю, что́ могу.

Отец велел мне ждать и сам поспешно пошел в конак.

В чем же было дело? Ты, я думаю, отчасти уже догадался...

После отец рассказал мне все.

Исаакидес, у которого, как ты знаешь, было дело с Шериф-беем, молодым племянником Абдурраим-эффенди, дело запутанное и не чистое, давно желал перевести тяжбу эту, посредством векселей, на имя какого-нибудь русского подданного или на имя чиновника русского консульства. На искусство и вес эллинского консула он так же мало надеялся, как и отец мой. Людей, записанных в русское подданство, в Эпире было человек шесть-семь, но двое из них были в отсутствии; другие жили не в Янине, а в селах; иные были люди простые и ничтожные. Драгоман, который уехал с Благовым, не хотел мешаться в это дело. Исаакидеса самого Благов не хотел сделать вторым драгоманом и не стесняясь отказал ему, когда Исаакидес

предлагал свои услуги. «Вы, я знаю, приверженец великой идеи, — отвечал он ему, — человек беспокойный и как раз начнете либо ссориться с турками каждый день в суде и конаке, либо будете чуть не с тарелкой ходить по базару и собирать на восстание. К тому же у вас все одна фраза: „Турция и варварство!“, а я этого терпеть не могу. Завтракать милости просим; а доверяться я такому фанатику, как вы, не могу».

<sup>10</sup> Исаакидес, узнав откуда-то, что Благову очень понравился мой отец, порешил поскорее устроить его вторым драгоманом при русском консульстве. Он находил удобным начать это дело немедленно, при г. Бакееве, по нескольким причинам. Во-первых, потому что он сам на Бакеева имел гораздо больше влияния, чем на Благова, который над ним подсмеивался; во-вторых, потому что Благов, пожалуй, и для Полихрониадеса не захотел бы пустить в ход сомнительную тяжбу, а раз уже отец сделался драгоманом и тяжба признана, то и Благову будет неловко отступить от тяжбы или удалить отца. И наконец, для того, чтобы  
<sup>20</sup> вообще времени не терять и пользоваться тем, что отец здесь, а не в Тульче.

Руководясь этими целями, Исаакидес, с одной стороны, уговаривал отца проситься в русские драгоманы, как для того, чтоб иметь лучшую защиту от Петраки-бея, так и для того, чтобы с него, Исаакидеса, взять деньги за перевод векселей Шериф-бея на свое имя... (*будто бы* то есть Исаакидес должен отцу и поручает ему взыскать с бея). С другой стороны, он звал Бостанджи-Оглу есть к себе варенье и, уверяя его, что он и умен, и тих, и образован, что  
<sup>30</sup> жена его даже соскучилась без него, старался, чтоб и он примирил Бакеева с отцом моим. А сам, лаская молодого писца, бросил его наедине с г. Бакеевым. Мы после узнали все в точности, что он говорил Бакееву в этот день так: «Я отчасти жалею, что Бреше вмешался. Хорошо турок пугать. Но вся честь достанется теперь не вам, а французскому консулу. К тому же лучше бы ограничиться наказанием чауша; а теперь с помощью Бреше дело приняло

такой оборот, что надо ждать извинений полковника или спустить флаг. Это уж слишком затруднит ваши отношения с Портой надолго».

— Пусть трепещут меня турки так, как они трепещут Бреше... — говорил ему Бакеев. — Разве Россия хуже Франции? или я хуже Бреше?

Исаакидес не говорил ему на это правды, то есть что он не сумеет быть так свиреп и решителен, как Бреше, который на его месте зарезал бы чауша, может быть, сам ятаганом.

10

— Главное, — говорил он, — без хорошего драгомана невыгодно. Бостанджи-Оглу и молод и неспособен к делам. Без достоинства, без веса в конаке, и ломается, и стыдится. Даже физиономия у него неприятная, такой слабый и худой, и борода уже предлинная; турки зовут его *Москов-Яуды* \*... Они его не любят. Через дружбу со второстепенными чиновниками можно большего достичь. Теперь разве можно послать Бостанджи-Оглу в конак и сказать ему просто: «Ну, смотри там, что́ будет. Все узнай и все сделай... Я всех обстоятельств, сидя дома, предусмотреть не могу». Можно? Нет, нельзя. Я бы пошел... Но меня турки ненавидят. То ли дело, если бы Полихрониадес вам служил... Испытайте его; пошлите сегодня его в Порту...

20

Бакеев послушался совета и послал отца в Порту с просьбой и разузнать как можно больше, и сделать что-нибудь, чтобы дело не доходило без крайности до разрыва.

Отец мой, пользуясь минутой, не забыл о бедной матери чауша и просил г. Бакеева пощадить бедняка, обращаясь прямо с требованиями к его начальству.

30

— Так и сделано уже, — сказал г. Бакеев.

Когда отец ушел в Порту, г. Бакеев, довольно веселый, сошел к нам вниз, в канцелярию, любезно поздоровался со мною и велел позвать турчанку.

---

\* *Москов-Яуды* — московский иудей, русский жид.



— Только ради Бога, — сказал он, — чтоб она мои нервы пощадила и не выла бы много.

Мы уговорили старушку не кричать и привели ее в канцелярию.

Г. Бакеев принял ее величественно, но благосклонно, и сказал ей:

— Ваш сын не так виноват, как его полковник. Будьте покойны, я сумею наказать полковника и защитить вашего сына. Идите.

10 — Эффенди мой... — закричала было мать. — Я скажу тебе, эффенди мой...

— Идите! — сказал ей твердо г. Бакеев, и когда мы вышли, он почти упал на диван, восклицая:

— Однако, какие тут нужны воловьи нервы. Порядочный человек может ли здесь долго дышать!

Бостанджи-Оглу молчал, а я даже и сесть не смел без приглашения и, почтительно сложив спереди руки, стоял в углу. Хотя и сам отец отозвался о нем и вчера и прежде еще не совсем выгодно, я все еще никак не мог понять, в чем дело... Почему и чем он неспособнее или хуже Благова? Благов был веселее, правда, со мною любезнее и с отцом; но зато этот дипломатичнее, величавее, строже.

Помолчав, он спросил:

— Скажите, Бостанджи-Оглу, не цела ли у вас та записка г. Благова, которую он прислал мне из Загор?.. У меня ее нет... Там что-то есть о г. Полихрониадесе. А... вы, молодой человек, все еще стоите? Я и не заметил. Стыдитесь, сядьте! Чтò это за гнусное рабство. Нынче не та эпоха... Записка? Где же записка?

30 Бостанджи-Оглу тотчас же отыскал в бумагах записку. Бакеев начал читать ее, пожимая плечами и презрительно приговаривая:

— Конечно, конечно!.. Кто же будет разбирать эти иероглифы? Это просто невежливо так писать ко мне. Начальству он так не пишет. Вот он чтò пишет под конец вот об отце его... «Полихрониадес человек... Человек опытный... Рекомендую... знание страны... ум...» А под самый

конец ужасно написано... «Если он придет в Янину без меня с сыном, отведите им одну или две комнаты в доме и вообще устройте, чтоб им было хорошо!» Вот я этого тогда и не разобрал, даже внимания не обратил, признаюсь... Жаль, очень жаль.

Так мы узнали, что не г. Благов забыл о своем обещании принять нас к себе в дом, а г. Бакеев не дал себе труда дочитать до конца его записку.

Через час отец мой возвратился из конака и ушел опять с г. Бакеевым наверх. 10

— Что у них за секреты, Одиссей? — спросил меня *Москов-Яуды*, *Бостанджи-Оглу*, которому самому хотелось быть вторым драгоманом.

— Я почему знаю! — отвечал я. — Разве отец станет все говорить мне, такому мальчику еще неразумному!

— Лжешь, мошенник, знаешь! Когда знаешь, будь друг как друг и скажи мне. Какие у отца дела с Исаакидесом?

Я поклялся, что ничего не слыхал. И почувствовал тотчас же, что поклялся ложно, мысленно просил прощения у Божией Матери загорского параклиса нашего, *Широчайшей Небес*. 20

## Х

Отец в конаке узнал многое и устроил кое-что по мере сил своих. Он виделся с Сабри-беем и Чувалиди; говорил с ними долго; встретил там Абдурраим-эффенди и от него узнал некоторые подробности. Сабри-бей нашел возможность свести его и к гордому Ибрагиму, зятю паши.

Одни желали защитить чауша; другие хотели принести его в жертву, сохраняя достоинство Порты и полковника. 30

Сабри-бей говорил отцу:

— Несчастье наше, кир-Йоргаки, в простоте нашего народа. Этот чауш должен был сам понять, что такой порядок не для консулов и их чиновников, а для пьяниц и

побродяг, которые возвращаются с острова ночью в не-  
трезвом виде. Полковник не может извиняться за простого  
солдата.

Чувалиди, напротив того, по секрету сообщил отцу,  
что чауш клянется, будто сам полковник ему так сказал:  
«Хоть бы бей, хоть имам, хоть сам дьявол выйдет на  
берег, кричи: „ясак” и силой не пускай в город. Я отве-  
чаю...» А теперь он от этого отрекается...

Абдурраим-эффенди говорил так:

- 10 — Девлет это, эффенди мой, или не Девлет? До чего  
же дойдет наше унижение, когда каждый босоногий при-  
шлец из Франции или России будет полагать на все свои  
законы? Если наш Девлет не Девлет, то зачем же Англия  
и Франция погубили столько людей и денег в Крыму?  
Россия не искала взять Константинополя. Они из могу-  
чего нашего соседа создали нам непримиримого врага;  
тогда как Россия два раза уже доказала нам свою уме-  
ренность: в 29-м и в 40-м году... Они не для нас,  
эффенди мой, воевали с Россиею, а для своих торговых  
20 выгод и для своей славы. Да! и теперь они больше  
русских командуют нами. «Мы друзья!» Аллах! Пусть  
лучше мы от русского штыка потеряем с честью то, что  
мы приобрели мечом Османа, Амурата и султан-Маго-  
мета... чем видеть каждый день злобу и интриги наших  
европейских друзей... Аллах! Аллах! Как не понять это-  
го!.. Как не понять; но сказано давно: «*Баш бостандá  
бетмés!*» (Головы не растут в садах; не скоро их най-  
дешь.)

- 30 Потом прямой и независимый бей прибавлял с презре-  
нием:

— Полковник наш бедный хотел устроить всех, а  
теперь сам боится... Паша расположен послать его с из-  
винением; но Ибрагим-бей и ферик его отстаивают...

Таким образом отец мой узнал, что есть надежда  
заставить полковника извиниться. Он сказал и Чувалиди,  
и Абдурраим-эффенди, и Сабри-бею (каждому особенно  
и по секрету), что Бреше решился во что бы то ни стало

поддерживать Бакеева. Отец, сообщая это и застрашивая французским консулом турок, надеялся избавить г. Бакеева от необходимости спустить флаг. Драгоман французский и австрийский уже были по этому делу в коняке: но австрийский наедине с Ибрагим-беем сказал, что он не собственно по этому делу, а по другим, «хотя г. Ашенбреннер очень сожалеет, что столкновение» и т. д.

Драгоман французский говорил прямо и сначала по этому делу самому паше; но он был итальянец; мягкий и сладкий человек, портной при этом и шил на турок 10 платье. Грозные речи Бреше были: «Подите, скажите этим ослам, чтоб они не забывали о солидарности всех консульств по некоторым вопросам и... что они будут иметь дело со мной, если Бакеев не будет удовлетворен...»

Но вместо свирепого, худого и сморщенного лица Бреше, вместо его твердого взгляда и решительной поступи турки видели пред собою сладкогласного, румяного и подобострастного синьора Какачио, и речь его выходила во- 20 все иная: «Паша-эффенди мой!.. Г. Бреше свидетельствует вам свое почтение. Он очень сожалеет, что давно не имел счастья вас видеть. Он и сам хотел зайти и спросить, что такое за неприятность случилась... Он полагает, что надо удовлетворить русское консульство. Паша-эффенди мой...»

Рауф-паша медлил... Зная это, отец и сказал Сабрибею: «Предохраните Рауф-пашу от неприятностей с фран- 30 цузом, когда вы хотите ему добра. Бреше был в русском консульстве и поклялся прийти сюда и сделать скандал... Вы его знаете!.. Бакеев тоже твердо решился спустить к вечеру флаг. У него в консульстве уже укладывают архи- вы в ящики, кавассы уже торгуются с погонщиками. Быть может, завтра запрут консульство и уедут все от- сюда... Я слышал, что в подобных случаях им велено не уступать... Вы знаете, русские не дерзки, как эти фран- цузы, но они чрезвычайно тверды в государственных де- лах... А я желаю блага и вам, и Ибрагиму-эффенди, и

нашему доброму паше... самые мои интересы того требуют... Берегитесь Бреше... Он при мне был в русском консульстве; и Ашенбреннер, и эллин не отделятся от Бреше и Бакеева в этом случае...»

Сабри-бей эти слова сильно поразили, и он тотчас же пошел к паше.

Отец, узнав и об этом, пошел искать портного Какачио и сказал ему: «Какие неприятности, синьор! Чтò будут делать консула теперь? И чего ждать нам бедным, если их  
<sup>10</sup> не будут бояться?..»

— О! — сказал портной, — я довольно напугал пашу... имя г. Бреше, его тень достаточна для них!..

— Незаметно, чтобы турки боялись, — сказал ему отец на всякий случай и ушел.

Возвратившись в русское консульство, он передал все это г. Бакееву, который крепко пожал ему руку и сказал: «Благодарю! благодарю! Я не ошибся в вас».

Не прошло и часу, как раздался у ворот стук копыт конских. Г. Бакеев бросился к окну... Это г. Бреше возвращался верхом с прогулки. Он не хотел сходить с лошади. Г. Бакеев радостно сбежал к нему вниз. Я отворил  
<sup>20</sup> окно и слушал:

— Eh bien? — спросил француз.

Г. Бакеев пожал с отчаянием плечами.

— Если бы вы сами, г. консул, потрудились съездить туда... Ваше появление...

Говоря с французом, г. Бакеев утратил все то величие, которое он имел с отцом, со мной, с чаушем, со старою матерью чауша, с Коэвино, когда на острове делал ему  
<sup>30</sup> строгие замечания. Мне не понравилось это.

Бреше сухо ответил ему на это: «Nous verrons!» и ускакал.

— Ему хочется, чтобы вы спустили флаг и поссорились с турками, — сказал г. Бакееву отец мой.

Г. Бакеев покраснел и не отвечал на это ни слова.

Отец мой опять пошел в Порту. Он имел получить несколько тысяч пиастров долга с одного села и прикрывал

этим делом главную причину своих частых появлений в этот день в конаке.

— Не спрашивай, друг, о делах своих сегодня, — сказал ему Чувалиди. — Весь конак вверх дном... Кто за полковника, кто против... Наскучили и мне. Поди, скажи скорее Бакееву, чтоб он написал скорее ноту о спуске флага, и полковник извинится, я ручаюсь тебе.

Отец пошел, но на лестнице его догнал посланный от Сабри-бея. Сабри-бей свел отца моего к Ибрагиму.

— Чтò есть и чего нет, эффенди мой? — спросил его<sup>10</sup> как будто между другим делом и небрежно сам Ибрагим. — Вы, кажется, друг со всеми консулами... Чего эти люди от нас хотят? Скажите откровенно.

Отец отвечал ему на это так:

— Я, эффенди мой, слишком неважный человек, чтоб иметь вес в глазах дипломатов. Я имел счастье заслужить только личную благосклонность г. Благова и Бакеева и еще с г. Леси знаком давно, потому что он уже несколько лет нанимает у меня дом.

— Прекрасный дом! — воскликнул Ибрагим. — И<sup>20</sup> г. Леси наш друг и почтенный человек. Скажите мне, чтò хочет от нас г. Бакеев, который с вами дружен? Умный ли он человек или нет?.. Умный человек должен различить злобу от ошибки. Ошибся чауш, и его накажут.

В эту минуту занавесь на дверях внезапно поднялась, и в дверях предстал г. Бреше, бледный, в сапогах со шпорами и с большим бичом в руке.

Отец говорил, что и его самого, и Сабри-бея подняла<sup>30</sup> вдруг с дивана неведомая сила.

Гордый Ибрагим поднялся медленнее их и сделал было несколько шагов навстречу, не теряя достоинства. Но г. Бреше, звеня шпорами, подошел к нему и сказал, махая ему пред лицом бичом своим.

— Эффенди мой! Вы славьтесь вашими интригами против консулов. Советую вам быть осторожнее и не раздражать меня. Если паша не пришлет через час пол-

ковника извиниться к г. Бакееву, вы будете иметь дело со мной... Вы, а не кто другой.

Отец поскорее вышел. Он боялся, чтобы турки не возненавидели его за то, что он был свидетелем такой унижительной для них сцены.

Все это, конечно, он тотчас же передал г. Бакееву, который был очень рад. Отец объяснил ему, что слово, сказанное им мимоходом сладкому, но самолюбивому портному Какачио, принесло плоды. Он, должно быть, <sup>10</sup> передал г. Бреше, что турки не очень испугались его угроз.

Через час действительно послышался опять конский топот. Это был полковник в сопровождении Сабри-бея.

Уверяю тебя, что мне стало жалко этого турка от всей души! Он мне показался добрым человеком; высокий, толстый, пожилой уже, тихий. Он медленно и опустив глаза поднялся мимо всех нас на лестницу. Мы, конечно, поспешили тоже наверх, и Бостанджи-Оглу показал мне внутреннее окошко в стене, из которого была видна вся <sup>20</sup> большая зала Благова.

Г. Бакеев уже успел сесть величественно, как паша, на диване. Он едва приподнялся с него, принимая Сабри-бея и бедного полковника.

Толстый турок подошел к нему, по-моему, с большим достоинством, не улыбаясь и не унижаясь, но, приложив руку к сердцу, сказал печально и серьезно:

— Pardon, консулос-бей, pardon!..

Г. Бакеев тогда попросил их обоих сесть, и Сабри-бей начал по-французски длинную и цветистую речь о <sup>30</sup> трактатах и о взаимной дружбе государств.

Полковник молчал.

Сабри-бей прибавил под конец, вставая:

— Что касается до чауша, то он будет лишен должности и пробудет в тюрьме столько, сколько вы желаете, г. консул. Это приказание его превосходительства Рауф-паши...

Г. Бакеев отвечал на это:

— Мое желание, чтоб этого человека простили. Проступок лица столь ничтожного не может унижить нас. К тому же он клянется, что ошибся. И старшие более его виноваты плохими распоряжениями... До свиданья...

Таким образом старания отца способствовали тому, что русское консульство флага не спустило, что честь его была удовлетворена чрез меру, что бедный чауш был спасен и что досада и ненависть турок за события этого дня обратились опять-таки больше на Бреши и Францию, чем на Бакеева и Россию. 10

Репутация отца была составлена в глазах Бакеева; Чувалиди, кроме того, говорил ему потом, что и турки его хвалят. Они говорят: «бедный Полихрониадес советовал нам утушить скорее. Он предвидел и знал, что Бреши оскорбит и пашу и диван-эффендиси Ибрагим-бея! Хороший человек! Прямой человек Полихрониадес».

Вечером отец радовался всему этому и сказал мне:

— Это все за доброе дело, которое я хотел сделать этой бедной турчанке, меня благословил Бог в этот день. Я пошел больше для нее, а выиграл и для себя. Учись 20 этому, сын мой. Добро у Господа Бога не пропадет никогда!

Через три дня после этого пришла нам из Тульчи ужасная весть. Дом наш тульчинский сгорел. Дядя писал отцу, что вещи успели почти все спасти, но от здания осталась только одна стена. Он писал также, что после этого несчастия Петраки-бей стал опять настойчивее и даже, встречаясь с ним в кофейнях или на базаре, говорит ему: «Когда же ваш эллинский консул посадит вас в турецкую 30 тюрьму за Полихрониадеса? Пора бы! У него теперь сгорел дом, который я все собирался конфисковать. Остается одна надежда на ваши деньги!» «Ответил бы я ему на это, — писал дядя, — но если говорить правду, то надо обвинять и правительство; а я, ты знаешь, оскорблять теперь турок не могу, ибо собираюсь купить землю для магазинов на берегу Дуная и хочу попробовать паровую мельницу построить. Турки же готовы все для меня сделать,



если я сам перейду в турецкое подданство. „Нам таких образованных людей нужно!“ — сказал мне сам паша. Чтò мне делать, рассуди ты сам? Одна надежда на твой приезд. Новый греческий консул наш личный мне враг, ибо я не хотел подписаться на том прощении, которое многие из тульчинских греков наших подали на его предместника. Человек он ничтожный и мстительный; а главное — жена его очень зла. На позор и всеобщий наш срам, вообрази себе, г. консул послал людей с кавассом своим и музыкой выкапывать мачту с греческим флагом, которая стояла у дома его предместника для того, чтобы перенести ее к себе в дом, желая оскорбить его! Удалил прежнего драгомана и писца, которые были люди очень полезные, и даже одного бедного турка, который служил консульству верно уже несколько лет. За чтò же? За то, что бедный Гуссейн пошел не спросясь провожать на пристань своего прежнего господина! Жаль старика Гуссейна; семейный человек, заслуженный, раненый! Из этой черты ты легко себе представишь, чтò за консула прислало нам наше *свободное Ромейское* государство! Увы! когда оно было бы свободно от интриг и низостей! При таком консуле, при вражде его ко мне, как к другу его предместника, и при необходимости, в которой я нахожусь, не ссориться с турками, одно спасение — твой скорый приезд в Тульчу. Иначе за добро мое ты заплатишь злом».

Отец так долго плакал, читая это письмо, что доктор Коэвино, опасаясь за его больные глаза, послал за лекарством.

И доктор, и Гайдуша в эту тяжелую минуту показали и отцу и мне очень много доброты. Доктор серьезно придумывал, чтò бы такое посоветовать отцу и где бы достать ему денег на поездку. Гайдуша радушно прислуживала отцу, приносила ему лекарство, ободряла его и, видя мое сокрушение о бедном отце и о расстройстве дел наших, говорила мне ласково:

— Мужайся, мужайся, бедный Одиссей!.. Мужем будь, мальчик мой хороший... Бог велик, помни!

И начинала мне рассказывать о других людях; как страдал тот или другой и как они опять поправились.

— Благодарю вас, кира-Гайдуша, — говорил я ей, — что вы нас так утешаете.

И верь, мне всякий раз становилось легче от ее слов... Как огонь или железо раскаленное была эта отчаянная женщина! Взгляд ее, слова, — все у нее было крепкое, быстрое, жгучее!..

Доктор тоже выражал свое сострадание не одними словами: он оделся (конечно, все-таки франтом и вовсе не спеша) и пошел сам отыскать Чувалиди, чтобы тот дал отцу какой-нибудь хороший, практический совет. Чувалиди тотчас же пришел и успокоил отца. Они долго говорили одни и шопотом; я входил и выходил; от меня они как будто не скрывались, но я мог расслышать только отрывки их речей. Позднее мне отец подробно рассказал, о чем у них шла секретная эта беседа. Она шла все о тех же известных тебе делах: о процессе отца с Петраки Стояновичем, о переводе на имя отца векселей Шериф-бея, племянника благородного Абдурраим-эффенди, о совете, который давал отцу господин Благов еще в Загорах, начать дело против Стояновича в уголовном смысле у кади и по шариаду, о русском драгоманате и проч.

Пока мы не получили известия о тульчинском пожаре, отец не соглашался на соблазнительные предложения Исаакидеса. Исаакидес давал ему двести золотых лир задатка тотчас же и одну треть всей суммы после взыскания с Шериф-бея, если он приобретет русское подданство или получит должность русского драгомана в Янине и переведет тяжбу эту на свое имя. Отцу не хотелось впутываться в такое сомнительное и нечистое дело. Шериф-бей он знал с хорошей стороны; молодой человек этот был очень рачетлив и предан кутежу, но очень добр, откровенен и любим многими христианами, особенно низшего класса. Его старая мать была благочестивая, хорошая христианка, а он был по отношению к ней самый почтительный, любящий и послушный сын. Неприятно и совестно было без

всякой причины и личной вражды способствовать разорению такого хорошего человека. О тяжбе Исаакидеса отзывался дурно не один только капризный и страстный Коэвино, многие другие яниоты говорили, что, кроме незаконно больших процентов, вписанных в капитал, кроме неслыханного роста всей суммы, в числе расписок у Исаакидеса есть еще две или три, которые он должен был возвратить бею и не возвратил посредством какой-то очень грубой воровской уловки.

<sup>10</sup> Правда, другие утверждали, что это клевета врагов, что это выдумки некоторых элинов, против политики которых Исаакидес писал анонимные корреспонденции в афинских газетах. Эти защитники Исаакидеса говорили, что его тяжба нейдет вперед, потому что Чувалиди, председатель торгового суда, взял с бея хорошую взятку. «Есть разбойники в горах, — прибавляли эти люди, — но это те разбойники, которые ходят в звонких сапогах и стучат на весь свет, они не так страшны, а есть другие разбойники более опасные; они носят мягкие *чарухи*...»<sup>\*</sup> Их не слышно. Чувалиди носит чарухи и сидит спокойно на широком диване европейски устроенного судилища».

<sup>20</sup> Отец не знал, кто правее, враги или друзья Исаакидеса... Но во всяком случае ему мало было охоты начинать новые дела. «Я хочу, наконец, отдохнуть, — говорил он, — и часто завидую тем бедным людям в Загорах наших, которые искали на чужбине малого и давно уже успокоились в родном селе. Они сидят теперь у церкви под платаном, наслаждаются здоровьем, женят детей своих и играют с внучатами, а я?.. Я болен, стар, хлопочу и тоскую по родине»...<sup>30</sup>

Однако тяжба Шериф-бея иное дело, и вовсе иное — русский драгоманат. Бог знает еще, откроют ли консульство русское в Тульче и когда откроют, а состоять под русским покровительством в Янине и помогать политике русской было бы отцу очень приятно. Поэтому он не только

---

\* Мягкая красная и красивая обувь эпиротов.

не мешал Исаакидесу трудиться для доставления отцу драгоманства, но и сам он (если помнишь) на лодке ночью пробовал, хотя и тщетно, заводить об этом исподволь речь с г. Бакеевым.

Отец был также согласен с Исаакидесом вот в чем. Поступить в драгоманы, по мнению Исаакидеса, надобно было именно теперь, при Бакееве; Благов сам принять нового драгомана, может быть, и не согласится; его взгляд на это неизвестен, иметь влияние на него труднее, чем на Бакеева; он иногда назло не сделает чего-нибудь, если заметит, что им хотят явно руководить. Однажды Исаакидес очень наскучил ему просьбой дать в другое русское консульство хорошую рекомендацию одному священнику, который уезжал из Эпира. Благов рассердился и написал так: «Рекомендую вам отца Савватия. Он священник. Больше я про него ничего не знаю. Разве только то, что он очень дурно служит литургию, спешит, шаркает туда-сюда по церкви и вовсе неприлично иногда оборачивается и выглядывает на паству из царских дверей». «Что с ним делать?.. — говорил Исаакидес отцу. — Принять он, может быть, и вас не согласится, но удалить именно вас ему будет, конечно, трудно. Попробуем!» «Попробуем! — говорил и отец сам с собою. — Драгоманство не обяжет меня вмешаться непременно в тяжбу Шериф-бея, но может стать для меня великою опорой противу болгарина Стояновича и негодяя Хахамопуло... Не говоря уже об удовольствии помогать Благову в местной политике, когда придется».

События последних дней, история чауша и помощь, которую отец оказал консульству в конаке, еще более укрепили в нем желание стать русским драгоманом. Он уже мечтал продать свой тульчинский дом и магазины, передать все торговые дела на Дунае дяде или вовсе оставить их, нанять квартиру в Янине, перевезти сюда мать и бабушку Евгенку из села и предпринять какие-нибудь обороты в самом Эпире или разве-разве в соседней хлебородной Фессалии. Пусть ищут его оба Стояновичи, Петраки

и Марко-бей! В Тульче у него нет русского консула, а только греческий. Здесь у него будут и греческий консул на защиту подданного свободной Эллады, и русский, на поддержку своего драгомана; вместе они будут всесильны. В Тульче председатель *тиджарета*, болгарин Марко-бей Стоянович, личный враг и родной брат противной тяжущейся стороны; здесь у него председателем того же торгового суда загорец, товарищ детства и друг, хитрый, умный Чувалиди! Пусть попробуют отсюда вытребовать его на Дунай, если он будет драгоманом! Пусть назначает Петраки Стоянович себе в Янине *эпित्रопа*, поверенного, кого хочет и как знает!.. Пусть его судят с ним здесь!..

Отец от этих мыслей очень повеселел было за последние дни. Шутил со мной, с Гайдушей, с доктором, написал матери длинное и радостное письмо и все повторял: «Эта бедняга старая, мать чауша, счастье мне принесла в делах. Если я буду драгоманом, сделаю ей подарок. Одиссей, скажи мне, что подарить приличнее турчанке? Скажи, что мне ей подарить?»

Письмо дяди расстроило всю эту радость. Надо ехать скорее в Тульчу. Денег мало, сын не устроен, погода вдруг началась зимняя, дождливая; глаза болели, с семьей не простился, драгоманом еще не признан! Быть может, надо будет на Дунае или в Константинополе дать что-нибудь немалое тому или другому лицу. Соперник болгарин так влиятелен, так богат и так ловок! Быть может, даже придется уступить и помириться на половине, заплатить хоть часть небывалого долга. Что теперь делать? что предпринять? где деньги на дорогу занять? кто даст? Дом заложить янинский или загорскую землю бабушки? Боже! неужели и до этого дойти после стольких работ, трудов многолетних, лишений и одиночества на чужбине, вдалеке от дорогой и доброй жены, от дома, от родины, от сына единственного?

— Погибель моя! дитя мое, погибель моя! — говорил бедный отец и, облокотившись на стол, плакал.

А я плакал, слушая, еще горьче его...

Глаза стали хуже болеть.

— Ослепнешь, отец! — говорил я ему.

— Ослепну, дитя мое, ослепну!.. — отвечал отец.

Боже! Боже мой!.. Ни на какой ступени общественной нет спокойствия людям в этом живом свете... Землю ли ты пашешь, торгуешь ли ты, царством ли правишь — горе ждет тебя, как дикий зверь в логовище своем, чтобы растерзать твоё сердце в куски...

Дай Бог здоровья хитрецу Чувалиди! Он устроил тогда дела наши.

10

Каков бы он ни был, какова бы ни была его *разбойничья обува*, а я не мог иногда не благословлять его, видя, как он скоро осушил слезы моего доброго отца...

Позднее из этого добра вышло худо и нам и еще больше другим. Но разве есть добро без худа в этой тщете тщеты, в которой мы боремся все до гроба!

## XI

Итак, отец рассказал Чувалиди все откровенно и подробно: о предложениях Исаакидеса, о своем разговоре на лодке с г. Бакеевым, о драгоманстве, о совете г. Благова (еще в Загорах) насчет русского паспорта и уголовного суда против Петраки-бея и Хахамопуло. На это Чувалиди отвечал ему так:

20

— Г. Благов очень умный молодой человек и, несмотря на молодость свою, хорошо понимает и страну и свои обязанности; но и он может иногда ошибаться. Уголовный суд — это ошибка. Нет примера, чтобы в Турции такого рода тонкие уголовные процессы решались бы чем-нибудь. Другое дело убийство, грабеж, драка... Эти преступления еще судятся... Но я желал бы знать, какой это русский консул найдет верное средство выиграть в Турции уголовную тяжбу против Марко-бея, председателя *тиджарета*, и его брата, Петраки-бея? Благов говорит, что будущий тульчинский консул может действовать посредством лов-

30

кости и дружбы с кади. Но, во-первых, консула там еще нет; а во-вторых, надо полагать, что турки, за малыми исключениями, боятся сближаться дружески с иностранцами; они боятся своего начальства, боятся доносов, стыдятся своего незнания европейских обычаев, боятся проговориться... Кади тульчинский, как и все другие кади и моллы, знает, что они на месте долго не останутся. Что ему любезность консула, когда Петраки-бей ему взятку даст? Он спешит нажиться. Положение этих людей тоже не легкое. Люди они семейные, привыкли иметь по несколько жен. А тут переезды с места на место. Правительство само разорено и в платежах не всегда аккуратно; это не то что Россия или Англия, где общество стоит на прочных основах. Жизнь турецких судей и чиновников в этих отношениях тяжка, страдания турок теперь, быть может, нередко глубже наших, но ими никто не интересуется. Что кому за дело до бедности и разорения турецких семейств, до их домашних горестей?.. Войди ты в жилище кади, ты увидишь опрятность, некоторое изящество, потребность даже роскоши... Как же удовлетворить этому? На любезности консулов шолоковых шубок на рысьем меху трем женам не сошьешь, черкешенку им в помощницы не купишь. Чубуки с янтарями и серебряные чашечки для кофе не заведешь! А Петраки-бей дает и на шубку, и на чубук, даже на черкешенку... Он сам отыщет ему даже эту черкешенку! И турки, мой друг, люди, и у них есть душа, желания, нужды и горести! Чтò ж делать! Вот тебе и уголовный суд. Быть драгоманом русским? это дело другое. Достигни этого, и тогда Исаакидес даст тебе, по крайней мере, 200 лир золотых, теперь же. Положим, дело его не совсем чисто; есть подозрение, что некоторые расписки украдены им у бея. Но тебе что до этого за дело? Ты этого знать не обязан. И много ли дел в торговом суде таких, чтоб один был чист, а другой вовсе нечист? Мне, как председателю тиджарета, тоже нет до этого дела. Я, конечно, насколько позволяет мне закон, буду защищать бея, ибо консула завели обычай и в правом, и в

неправом деле защищать своих подданных. На нас, турецких чиновниках, поэтому лежит прямая обязанность сколько возможно отстаивать права турецких подданных против иностранных. Консула хвастаются друг перед другом количеством процессов, которые они выиграли неправдой. Турция — это для них арена самоуправства и молодечества и больше ничего. Ты знаешь, что делают французские консула? Или лучше сказать, чего только они не делают? Итак, мне дела нет до ваших сделок с Исаакидесом; будучи судьей, я свидетелем быть не могу. Тебя я люблю и вижу твою горе. Возьми деньги с Исаакидеса, переведи тяжбу с Шериф-беем на себя и будь покоен. Если Исаакидес впоследствии проиграет дело — ты тех денег не потеряешь, которые возьмешь с него в задаток теперь. Не выиграешь лишь той части, которую выдал бы тебе Исаакидес при взыскании с бея всего. Что касается до Петраки-бея, то в соглашение с ним не входи и ничего ему не уступай и не плати теперь. Достань себе место русского драгомана, возьми 200 лир с Исаакидеса, возьми отпуск и поезжай скорей в Тульчу. Я тебе дам письмо к одному жида, банкиру в Константинополе, которому, я знаю, много должен тульчинский теперешний паша. Он примет тебя хорошо, и с рекомендацией этого жида ты иди к паше смело. Он будет на твоей стороне, сколько есть сил. Вот тебе еще совет. В сношение с Петраки не входи, а если будет очень трудно, дай Марко-бею, его брату, председателю тиджарета, хорошую взятку. Это все-таки облегчение.

Когда Чувалиди это сказал, отец мой говорил, что он вскочил от изумления на диване.

— Как брату родному против брата дать взятку? Но ведь они не в ссоре, и все дела у них вместе?

А Чувалиди, сказывал отец, как демон улыбался и смотрел на него...

— Дай взятку Марко-бею, — повторил он, — не очень большую; лир тридцать, сорок, не сам, а через кого-нибудь, для того чтобы дали тебе честное слово хоть



год один тебя не трогать и дать тебе поправиться. Надо поставить и себя на их место. Они не в ссоре между собой, ты говоришь? Тем лучше. Они посоветуются между собою по-братски. Жить у них есть чем, слава Богу. Зачем же им спешить? Какая выгода? «Вот, — скажут они про тебя, — дурак, еще платит сверх того, что мы с него после возьмем!» Подумают и о том, что ты русский драгоман теперь и что теперь с тобой труднее бороться. А ты дай взятку, братья поделятся, быть может, ты же  
10 отдохни и приезжай сюда назад. Все легче так, чем идти на соглашение; за что же? Меньше 500 лир они не возьмут.

Таковыми речами этот хитрец наш загорский оживил, воскресил отца.

Отец обнимал его, а Чувалиди был сам очень тронут и говорил: «Что ж делать, друг! свет такой!»

Теперь затруднение главное было за г. Бакеевым. Отец попросил было доктора идти к нему и помириться для его пользы. Но доктор затопал, закричал: «Нет, никогда, никогда! Бакеев слишком ничтожен, чтобы я мог пред ним  
20 смириться. Это не Благов! Нет! Никогда».

Что было делать? Пошел отец сам к Исаакидесу, и с Бакеевым все тотчас же устроилось. К счастью, Исаакидес не знал ничего еще ни о том, что дом наш в Тульче сгорел, ни о том, что отец сам собирается на Дунай. Конечно, отец ничего ему не сказал; иначе он дал бы меньше. Теперь, считая отца в самом хорошем положении, он с радостью согласился дать ему 200 лир тотчас же, как только увидит, что Бакеев сообщил в Порту бумагу о назначении отца драгоманом русским. Исаакидес сказал:  
30 «Я сам пойду просить об этом г. Бакеева». И тотчас же пошел, предлагая отцу подождать его в кофейне. Бакеев согласился; но затруднение вышло неожиданное из Порты.

Паша ответил на бумагу Бакеева, что Порта Полихрониадеса эллинским подданным признать не может, и потому, как турецкому подданному, Полихрониадесу необходимо вытребовать особый фирман из Константинополя для признания его драгоманом.

Опять мученье и хлопоты.

Тут и мне пришлось бегать по разным местам, потому что дождь полился проливной и отцу моему Коэвино запретило выходить несколько дней, чтобы не испортить глаза на дорогу.

Я внимательно выслушивал приказания отца и исполнял их с величайшею точностью... Я видел, что отец был доволен мною.

Трудно было. Бакеев сердился на пашу; и это отчасти сделало нам пользу, потому что он горячее взялся от досады за дело. Он говорил: «Я покажу паше, что я значу».

Исаакидес советовал, напротив, не горячиться; он находил, что можно уж и не слишком спешить.

«Напишите в Константинополь», — говорил он Бакееву.

А нам нужно было, напротив того, именно спешить... Признаться Бакееву о пожаре? Быть может, он Исаакидесу скажет. Просить: «не говорите?» «Прочему?» Подозрения будут, недоверие. Просили Чувалиди хлопотать в Порте; но он отказался решительно и сказал: «Нет, этого я не могу». Но совет опять хороший дал, чтобы г. Бакеев по крайней мере выхлопотал у паши такого рода согласие: обозначить отца в бумаге от консульства просто загорским уроженцем, не упоминая о подданстве. Исаакидес опять уговорил Бакеева. Бакеев написал новую бумагу и частным образом послал предложить паше, чтобы старая была возвращена и сочтена, как говорится по международному праву, «*nulle et non avenue*». Паша колебался. Мы не знали, что́ делать.

Можно было бы доктору пойти к Абдурраим-эффенди и просить его ходатайствовать через друзей в Порте. Но отец находил, что это уже слишком подло и жестоко, действовать по этому делу через дядю, когда цель всех хлопот есть перевод на имя наше тяжбы Исаакидеса с Шерифбеем, который ему заменял сына и который его очень любил. «Нет у меня на это сердца», — говорил отец. И против доктора было стыдно.

Раз утром встали; я стал говорить с Гайдушей об этих затруднениях (конечно, не обо всем; о деле Исаакидеса и Шериф-бея я тогда почти и не знал ничего, а только о пожаре и о драгоманате, который нам был бы полезен.) Гайдуша сказала:

— Не бойся, Бог велик. Скажи-ка еще раз пояснее, чего хочет отец?

Я сказал с точностью о греческом и турецком подданстве, и фирмане, и колебаниях паши.

<sup>10</sup> Гайдуша сейчас же пошла в гарем Ибрагим-бея, зятя паши. Там служила по найму одна арабка, старая приятельница Гайдуши. Она прежде была рабою другого хозяина, убежала от него, нуждалась, боялась наказания, и Гайдуша долго скрывала ее у доктора в доме, кормила и свела потом во французское консульство, где ее приняли под защиту и освободили вовсе из рабства.

— Я все сделаю, — сказала Гайдуша уходя.

<sup>20</sup> Через два-три часа она возвратилась из гарема с триумфом. Дочь паши взялась попросить мужа о признании отца драгоманом без обозначения подданства в бумаге.

Отец отдыхал, когда она принесла эту радостную весть. Но мы с доктором посадили энергичную хромушку и заставили подробно рассказывать, как она это дело обдела-  
ла. И она рассказала нам все.

<sup>30</sup> — Я взяла целый узел тех маленьких апельсинов, которые нам прислали из Корфу. Потом зашла в английское консульство и от имени доктора попросила у самого консула большой букет лучших его цветов. Он велел мне нарвать сколько хочу. Оттуда я пошла прямо на кухню к своей арабке. Она мне очень обрадовалась. Я отдала ей букет и апельсины и сказала: «Эти фрукты, которые нам присланы издалека и зовутся *мандаринами*, доктор Козвино посылает с большими поклонами Ибрагиму-эффенди. Цветы также он посылает ему как редкость в это время года и потому, что бей любит все прекрасное».

— Браво, браво! — кричал доктор и рукоплескал ей.

Гайдуша продолжала:

— Арабка отнесла все дочери паши, возвратилась с благодарностью и сказала: «У нее жена мухасе-беджи в гостях сидит; она критская и по-гречески знает». Потом арабка стала смеяться, а я говорю ей: «Не смейся, голубка, душа моя болит!» Она спрашивает: «Отчего, глупая, имеешь ты такую печаль?» Я тогда говорю: «Есть у доктора друг, загорец, г. Полихрониадес; он живет у нас теперь в доме и глазами страдает. У него на Дунае дом сгорел, а его паша драгоманом русским признавать не хочет. И он плачет и сынок молодой плачет... Вот печаль моя». Арабка<sup>10</sup> говорит: «Подожди». И пошла туда. «Иди, говорит, тебя зовут. Я сказала, что ты песни знаешь хорошие». Пошли мы. Сидит дочь паши, важная, хотя и рябовата, но приятная очень женщина; воздух от нее такой приятный веет. Одета по-домашнему, просто; а рядом с ней мухасе-беджидина красуется. Молоденькая, волосики как у мальчика остриженные с боков, носик как у канареечки и голосок как у соловья... И одета, одета! В настоящий шолк небесного цвета. С длинными двумя хвостами на широких шальварах. А на головке три звездочки из алмазов трясутся.<sup>20</sup> «Ба, — думаю я, — нашел себе наш мухасе-беджи сокровище!» И веселая такая; все говорит и все смеется. Пашапула погордее; больше молчит и стыдится. А та, критская, сейчас мне по-гречески: «Это ты хорошие песни знаешь? Пой, чтобы нам веселее было». Я говорю: «Чтò прикажете?» Она по-турецки у пашапулы спросила; та говорит: «Чтò знает. Хорошее». Я стала прямо против пашапулы и запела:

А, а! Ханум-эффенди моя...

А, а! Пашапула моя...

Из злата было то чрево, чтò родило тебя!

Из серебра были сосцы, чтò питали тебя...

30

И пою, и пою.

Дочь паши улыбается. «Еще!» — сказала мухасе-беджидина. Я еще пою. — «Еще». — Я еще. — «Ну, довольно, — говорит сама пашапула, — отдохни, сядь».

Я не сажусь. Она опять: «Сядь». Я села на пол. «На стул сядь». Я говорю: «Не могу на стуле я при таких султаншах сидеть. Этого слова и не говорите мне!» Посидели. Велела она арабке мне кофе дать. Арабка говорит: «Она и сказки знает». А мухасе-беджидина вдруг закрылась рукой, засмеялась и спрашивает: «А доктор отчего не женится?» Пашапула ей: «Брак, брак!» (оставь, оставь это). А та припала к ней на плечо, умирает от смеха. «Нет, скажи, отчего твой доктор не женится?» Я<sup>10</sup> говорю: «Не нравятся ему девицы здешние. Он все жалеет, что он не турок; он говорит: турчанки благороднее наших, воспитаннее, нежнее... У наших руки грубы». — «Смотри, смотри!» — говорит мухасе-беджидина. А пашапула ей: «Переведи по-турецки, что она говорит». И когда та ей перевела, пашапула тоже покачала головой и сказала: «бак! бак! Смотри, — какие слова!» Так я их долго занимала и веселила. А потом арабка моя говорит им: «Она других веселит, а сама печаль о друзьях имеет». И рассказала им о кир-Йоргаки. Пашапула пожала плечами и сказала с гримасой: «Я такие вещи почему знаю!» Я говорю арабке: «Ты зачем это сказала? Госпожа гневается теперь». Начали они тогда по-турецки скоро, скоро говорить, и обе госпожи, и арабка. Я сижу и не понимаю ничего. Под конец пашапула говорила что-то мухасе-беджидине долго и толковала ей, и глаза у нее заблестали, и щеки зарумянились. И последние ее слова и я даже поняла. «Скажи ей это по-ромейски. Хорошо, хорошо!» Мухасе-беджидина перевела. «Вот тебе что Ханум-эффенди говорит. Отчего ж вы, христиане, от нас помощи<sup>20</sup> просите? Ведь вы говорите, что турки все злые и жестокие... Отчего?» Я говорю: «Простите. Это не так!» — «Как не так?» — «Не так!» — «А как?» — «А вот как: когда я еще маленькой была, отец мой простым носильщиком был. Случился неурожай в наших селах, голод. Потом собрали и хлеба и денег. А пришлось так, что мать моя три дня не ела. Приехал простой турецкий солдат в село. — „Хозяйка, — говорит он матери, —

что ты лежишь? Вставай. Жарь мне курицу. Да что с тобой? Отчего ты так крепко подпоясалась?» Мать ему сказала: „Я три дня не ела!” Тогда он из своего мешка вынул хлеб большой, отдал ей и сказал: „Больше нет у меня”, и сам голодный уехал. Тогда мать говорила мне: „Ах, дочка, дочка! добрее доброго турка нет человека другого! За их доброту видно Бог и Девлет их сохраняет так долго!” Это раз, говорю я, а другое то, что я у доктора Козвино давно живу, который турок больше уважает, чем христиан, и я от него много просветилась. 10  
Человек он учености не здешней, а европейской, извольте хотя бы у ваших супругов, у беев спросить». Кончила я. А мухасе-беджидина птичка по-турецки запела, и пашапула улыбалась, слушая ее. Потом отпустили они меня ласково, и дочь паши обещалась попросить мужа за кир-Йоргаки. Арабка проводила меня и сказала: «Заходи чаще. Они тебя хвалят и говорят: *Разное, разное* — знает эта женщина!» Вот как я сделала!

Так кончила Гайдуша свой рассказ, и мы с доктором опять рукоплескали ей. 20

Отец проснувшись узнал от нас все; он был и рад, и благодарил Гайдушу много за ее труды, но верить успеху не хотел.

— Нет мне доброго часу ни в чем в этот раз! — говорил он, вздыхая. — Ошибся я, когда думал, что старая мать чауша принесла мне удачу!

Мы все старались его утешить.

Пашапула, однако, сдержала свое обещание. На другой же день паша, увидав Чувалиди, спросил у него об отце:

— Ты знаешь его?

— Он соотчич мне, из одного села, — отвечал Чувалиди. 30

— Хороший человек?

— Человек тихий, — сказал Чувалиди.

— Ссор в судах и дерзостей не любит?

— Нет, не любит.

— Это главное в драгомане. А то они хуже консулов дерзки и горды становятся, когда их консула из грязи поднимут. А каков он с политической стороны?..

Чувалиди на это отвечал, смеясь:

— Меня, паша-эффенди, считают все вашим шпионом и потому при мне остерегаются. Я не знаю, какие мнения у Полихрониадеса. Знаю только, что он в делах худых и опасных, кажется, замешан никогда не был. Впрочем, поручителем я ни за кого быть в политике не берусь.

Паша засмеялся и велел признать отца моего драгоманом.

В тот же вечер Исаакидес дал отцу моему двести лир и <sup>10</sup> вексель на 〈Шериф〉-бея. О пожаре и о скором отъезде отца он все еще и не подозревал ничего, и когда отец сказал ему, что не так-то пристойно будет новому драгоману начинать службу с защиты собственного процесса в торговом суде, Исаакидес сказал: «Это правда; это вы хорошо говорите. Подождем две недели! Сказать и то, что так как Благову не будет охоты удалить вас, потому что он вас любит, то при нем будет и лучше для тяжбы, он защищать дела умеет, разумеется, искуснее, чем бедный мсье Бакеев. У Бакеева одно слово: „это возмутительно!“ А толку мало; хоть <sup>20</sup> он и друг мне: „но Платон друг, а истина еще мне милее!“»

Так успокоился Исаакидес; и мы с отцом тоже спокойнее взялись тогда за мое устройство в Янине и за приготовление к отъезду на Дунай.

## XII

Все страдания отца и все заботы его о тяжбах, о нуждах, о торговле нашего дома не могли, однако, заставить его на миг забыть о моем устройстве в Янине, то есть о таком устройстве, которое могло бы быть и надежно и безвредно для моей нравственности.

<sup>30</sup> О доме г. Благова отец в первые дни запретил и думать. Образ жизни в русском консульстве казался ему слишком открытым и шумным для той ученической и трудовой жизни, которой я должен был (да и сам хотел от всего сердца) предаться.

О самом Благове отзывался хорошо не один только Козвино, но очень многие.

Люди говорили, что политики его еще нельзя было ясно понять в течение каких-нибудь четырех месяцев его службы в Эпире. Замечали все, однако, что он сразу умел очень понравиться паше, и вот по какому, может быть, и ничтожному, поводу.

Г. Благов очень любит простой народ. «Он, кажется, демократ» (так говорили наши греки; но они ошибались).

Раз было гулянье за городом. Народу было много. Благов пришел туда с Бакеевым, с Козвино, с Бостанджи-Оглу и несколькими другими гостями; с двумя кавассами, со слугами, разодетыми по-праздничному, в золотые куртки и фустанеллы чистые как снег; с коврами разноцветными, с чаем, русским самоваром, фруктами и вином; сам расфранченный по-русски в бархаты и выпустив красную шолковую рубашку поверх шальвар. Велел разостлать ковры в тени; послал за музыкой, выбрал лучших юношей из толпы, чтоб они плясали около него албанские пляски. Молодцы пили вино, пели и плясали во здравие консула; г. Благов пил свой чай и кофе с друзьями на коврах. Пришел старик Хаджи-Сулейман (тот самый дервиш с алебардой, который меня напугал); Благов посадил его с собой на ковер, угощал его чаем и дал ему свежую розу подсунуть на виске под колпак.

Народ весь, и христиане, и турки, и евреи, все радовались на благородное консульское веселье. Составила вся толпа широкий, преширокий круг; передние посели на землю, чтобы задним не мешать смотреть, и полиция турецкая сидела тут же и веселилась.

Говорят, что это было прекрасно!

Проехал тоже по дороге около этого места г. Бреши с женой; оба верхами. Заптие тотчас же в испуге повскакали; встали и христиане некоторые; но г. Благов сказал громко своим кавассам:

— Скажите им, чтоб они сидели смирно и веселились, когда я тут.



Так злой француз и проехал мимо, замеченный только на минуту. Хотел, кажется, и австрийский консул, бедный, показаться народу. Вышел толстяк с женой и шестью детьми своими. Так они и прошли, никто на них и не взглянул даже. Только одна старуха сказала: «Вот как эту франкису, католичку эту, благословил Бог! сколько детей! А у твоей дочери ни одного нет».

Все так было мирно и весело. Немного было испортилось дело на минуту, но г. Благов и то поправил сейчас же. Один пожилой грек, который долго жил в Египте и умел танцевать по-арабски, закричал из круга дервишу Хаджи-Сулейману, не хочет ли он вместе проплясать.

Хаджи-Сулейман был родом феллах. Он согласился и стал с греками плясать. Разбегались они и сбегались по-арабски долго; потом грек, желая, по глупости своей, над столетним дервишем позабавиться, толкнул его; тот ему ответил, и началась борьба. Грек был роста большого, силен и лет не старше пятидесяти; он шутил, но дервиш сердился и начинал уже драться крепко, видя, что не может одолеть грека. Г. Благов тотчас же понял, что такого рода игры не удобны пред толпою разнородною, разнородною. Когда грек повалил дервиша, Благов закричал ему по-гречески: «брось его, дурак; чему ты обрадовался? Что поборол столетнего старца! Попался бы ты ему лет двадцать тому назад, он показал бы тебе, каков он был прежде!»

Грек наш вскочил и скрылся в толпу; а Хаджи-Сулейман важно возвратился к благородному обществу на ковры и сел около консула.

Турки хвалили доброе сердце г. Благова, а греческие архонты хвалили его ум. «Могли бы от неосторожности ссора и скандал великий выйти. Наши греки, египетские работники, головорезы великие; и турок было довольно много на гулянье. Умный человек г. Благов!»

Молодцы христиане, которые плясали на гулянье, пришли после в консульство и там праздновали до полуночи,

пили, плясали опять на дворе и пели разные песни. Один из них бросил вверх пустой стакан выше дома, и стакан не разбился.

Тогда все молодцы закричали: «Zito! Да здравствует Россия! Крепка она! Zito!»

Г. Благов вышел на балкон, посмеялся с ними и отпустил их, говоря: «Смотрите, не буяньте, а то попадетесь туркам». И лег спать. Только что он лег, вдруг в двери консульства стучат. Чтò такое? Матери молодцов пришли и плачут, что их сыновей турки в тюрьму заперли. Г. Благов успокоил этих женщин и сам поутру встав поехал к паше. 10

— Мне очень жаль, — сказал он ему, — что в самом начале нашего знакомства уже случаются неприятности.

Рассказал, как у него народ пел на дворе и как заперли молодцов.

— Здешний эфирский простой народ, и мусульмане, и греки, все драчуны и буяны, я их знаю, — сказал ему паша смеясь. — Они любят всякие истории. Эти шалуны были без фонаря и кричали на улице. Когда заптие их 20 остановили, они выругались, и часть их ушла, а двое попались. Они бранили полицию.

На это Благов отвечал:

— Я не имею официального права защищать турецких подданных и верю, что эти мальчишки виноваты сами; но знаете чтò? Хорошо ли для вас самих, для турецкой власти, чтобы народ говорил: «Не за то, что мы бранились, нас заперли, а за то, что мы именно у русского консула веселились. Нам и веселиться с единоверцами 30 нельзя!»

— Это я и сам понимаю и хочу забыть это дело в угоду вам, — сказал паша. Он позвал офицера и велел их выпустить.

С этой минуты паша и Благов сошлись.

Паша хвалил его и за такт, с которым он не дал разыгаться страстям при себе на гулянье (ибо, конечно, он узнал все об истории с дервишем), и за то, что он так

добродушно угощает этого юродивого дервиша, не делает различия между своими единовѣрцами и турками, за то, наконец, что он так деликатно и тонко выхлопотал прощение молодым повесам нашим.

Все говорили, что старый паша с тех пор уже очень полюбил г. Благова и что он предпочитает его всем остальным консулам. Сам он бывает у него редко, боясь возбудить зависть других агентов, к которым у него нет и охоты даже ездить часто; но он ужасно рад, когда Благов приходит к нему; вскакивает, спешит к нему навстречу с криком: «Милости просим, милости просим!», угощает его турецкими пирожками, советуется с ним насчет своих археологических занятий и с удовольствием делает ему *хатыр* \* там, где только может.

Чувалиди, который, несмотря на всю свою важность и медленность, умел иногда очень хорошо передразнивать людей, презабавно представлял, как паша хвалит всех консулов. Все они у него хорошие люди; каждый «эи-адам!», но, хваля их, старик так искусно умел менять тон и выражение лица, что каждый понимал всю глубокую разницу его чувств и скрытых мнений.

Надо было видеть, как умел Чувалиди, сидя на диване, подражать ему, как у него удивительно быстро менялись лицо и голос.

Про Корбет де-Леси, например, Рауф-паша говорил снисходительно и сострадательно:

— Эи-адам! Хороший человек! *старичок*.

Про Кирхориди, элина, сухо и равнодушно: «эи-адам».

30 Про австрийского консула серьезно и значительно:

— Эи-адам. Очень хороший человек; уступчивый, сговорчивый, вчера он мне сделал большую уступку.

Про г. Бреше с досадой и беспокойством:

— Эи-адам! Хороший человек. Чтò будем делать! Франция очень сильная держава!

---

\* *Хатыр*—угода.

Но когда речь заходила о Благове, Рауф-паша восклицал с восторгом:

— А! Благов, прекрасный молодой человек! Прекрасный! Приятный молодой человек, откровенный, умный! Это сад, уверяю вас, сад, а не человек.

Говорят, будто бы паша даже часто обнимал и целовал Благова и звал его: «сын мой!»

Влияние сильное имели на пашу только Благов и Бреше. Англичанин и австриец охотно сами ему во всем почти уступали, — один по равнодушию и лени, другой по личной боязливости и вследствие слабой поддержки от интернунция. Киркориди тоже уступал паше нередко, хотя и поневоле. Сам он был довольно тонок и очень тверд; но Греция была слаба и вечно враждебна.

Рауф-паша угождал только двум агентам: Бреше — из страха и личного, и политического, а Благову — из политического страха и из душевной к нему симпатии.

К тому же люди говорили, что Благов, когда захочет, так умеет быть очень решительным и твердым.

Благов в короткое время успел также приобрести и расположение, конечно, не всех, но многих архонтов янинских. Они приходили в консульство с утра. И г. Благов принимал их всех равно и просто: пил при них свой чай, смеялся, расспрашивал новости, выслушивал жалобы, сам рассказывал им много, и если не всегда мог помочь, то старался ободрить и утешить. Часто обедали у него наши греки-купцы, доктора, учителя. Часто в консульстве играла музыка; и сам г. Благов делал грекам нередко визиты; по вечерам у него иногда консула или архонты наши играли в карты далеко за полночь. Проигрывал он как будто охотно и не огорчался. Большие ворота консульства были с утра до ночи настежь открыты по его приказанию; нищих не отгоняли никогда, и жизнь, и движение, и деятельность, разговоры и шум в этом доме не прекращались ни на миг.

Отцу моему очень нравилось все, что он слышал о г. Благове, и он говорил, слушая эти рассказы:

— Вот консул! вот молодец!

Но меня отдавать в такой шумный и веселый дом он, разумеется, не желал: «Всякому свое место!» — говорил он.

Особенно одно обстоятельство было ему не по вкусу.

При одной труппе янинских цыган-музыкантов была пожилая танцовщица мусульманка, и у нее была молоденькая дочка Зельх<sup>а</sup>.

Зельха имела отроду всего четырнадцать лет; собой она была то, что турки зовут *назик*, грациозная, нежная, мил<sup>а</sup>я. Я ее видел тогда же и не нашел ее красивою: губы у нее были очень толсты и носик круглый, как у черных арабов; глаза только большие, смелые, черные-пречерные. Худа была так Зельха, что ее многие считали за переодетого мальчика. Думали, что старая танцовщица, не имея дочери, на замен себе обучала сына плясать и собирать деньги с тамбурином, рассчитывая, что он успеет набрать довольно до тех пор, пока возмужает заметно.

Другие говорили, что это ложь и что Зельха девушка.

Вот эту Зельху г. Благов очень ласкал и баловал; это была его любимая танцовщица на всех вечерах и пикниках, которые он давал у себя или за городом.

Зельха стала скоро нарядна как картинка; у нее были голубые, лиловые, красные юбки с большими цветами и золотою бахромой, курточки шитые, фески новые с голубыми кистями; шея ее была вся убрана австрийскими червонцами и турецкими лирами, и, незадолго до своего отъезда в Загоры, г. Благов дал ей огромную золотую австрийскую монету в шесть червонцев, чтобы носить напередо ожерелья.

Когда у нее спрашивали: «Зельха, дитя мое, откуда у тебя столько золота на шее?», она отвечала: «Мне его отец мой московский дал».

Молодые греки, которые вместе с ней иногда у Благова плясали, звали ее: «Турецкий червонец с российской печатью».

Турки в городе тоже смотрели на эту дружбу довольно благосклонно и смеялись.

Сам старик Рауф-паша раз пошутил с девочкой этой. На одном турецком пиру Зельха, по приказанию хозяина, подала паше на подносе водку. Паша тихонько спросил ее: «Ну, как идут дела с русским?»

Зельха от ужаса чуть не уронила поднос; они обе с матерью едва дождались окончания вечера, до утра проплакали, а поутру пришли в консульство и закричали:

— Аман! аман! Мы погибли! Нас в далекое изгнание пошлют!.. Грех великий у нас такие дела...

Благов очень этому смеялся, и конечно, никто танцовщицу и не думал тревожить.

Люди, которые знали дело близко, уверяли, что отношения эти между молодым консулом и танцовщицей совершенно невинны и чисты. Просто турецкое дитя очень занимает консула новизной речей своих, капризов и разных ужимок. И он жалеет ее к тому же.

Коэвино, например, ручался за Благова и клялся, что Благов любит и жалеет Зельху платонически.

— Благов весел, — говорил доктор, — но очень благороден и нравствен, а Зельха слишком молода. Но Благов сходит со мной, он любит все оригинальное, выразительное, особенное. О! я уверен, он любит Зельху идеально за то, что она мусульманка, дика и дерзка, и ничего не знает. Он говорил мне сам: «Я вас, Коэвино, люблю, ха! ха! ха! Да! я вас, Коэвино, люблю за то, что вы безумец и оригинал»... О! Благов! о! мой артист... О! мой рыцарь! О! прекрасный Благов...

Так объяснял Коэвино отношения консула к молодой турчанке. Так было и в самом деле, но не все этому верили.

И отец мой сказал доктору: «Все это хорошо, но не для нас. Консула люди большие и могут иметь свои фантазии, а я человек неважный и желаю, чтобы сын мой жил в доме скромном и тихом».

Я тогда подумал, что отец нарочно так сказал, чтобы вызвать доктора на предложение поместить меня в одной из нижних комнат; но тут же убедился, что это ошибка.

Доктор действительно помолчал, поморгал бровями, поглядел на нас в ріпсе-пез, еще помолчал, а потом с некоторым волнением спросил: «А у меня несколько времени жить он не может?»

Отец поблагодарил его и отвечал, что подумает. «Как бы не обременить тебя, и к тому же от училища далеко».

Доктор, по всему было заметно, очень обрадовался. Что касается до меня, то мне уже надоела эта нерешительность, эти ожидания и перемены. К умной Гайдуше  
10 за всю эту неделю я расположился всем сердцем и очень любил слушать ее песни, остроты и рассказы. Доктора тоже перестал бояться. Я охотно остался бы в этом просторном доме и сидел бы часто у окна, любясь на зеленую площадь, покрытую старыми плитами еврейского кладбища, на турецкую большую караульню и на проходной и проезжий народ.

Я и сказал отцу наедине:

— Отец, отчего ж бы и здесь не остаться, если доктор  
хочет?

20 — Оттого, что не надо, — отвечал отец, и я замолчал.

Отчего ж не надо? Чтò за перемена? Я перестал бояться, а отец испугался чего-то. Безнравственности? Отношений доктора с Гайдушей? Но Гайдуша хрома, худа, постарела. Пример не искусительный, и, живя один в городе, посещая друзей и молодых товарищей, я увижу, если захочу, какие-нибудь пороки более соблазнительные и страшные своей привлекательностью? Не то это было!

Отец испугался, это правда; но чего? Он за эти дни узнал от людей, отчего у Гайдуши на левой щеке шрам  
30 небольшой, отчего у нее рот чуть-чуть искривлен, когда она улыбается, и как года два тому назад у доктора горел дом. Я тоже заметил и шрам и улыбку странную, слышал что-то еще в Загорах об этом пожаре, но не обратил ни на то, ни на другое большого внимания.

Года два тому назад и прежде еще хаживал к доктору в дом один молодой столяр. Он чинил потолки, мебель, двери, окна и с Гайдушей был очень дружен. Однажды

после полуночи, на самую великую утреню Пасхи, когда почти все христиане были по церквам, увидал один еврей пламя в зеленом доме имама. «У Коэвино горит!» — закричал он, и тогда вместе с ним бросилось двое турецких жандармов из караульни и несколько гречанок соседних. Дверь выломали и погасили огонь. Доктор был в церкви, и дом казался пустым. Но, заглянув в одну из комнат, люди с ужасом увидели на полу окровавленное тело Гайдуши. У нее на шее и на щеке были раны; волосы вырваны клоками, и крови вытекло из нее так много, что платье и тело ее были прилипли к полу. Однако заметили в ней признаки жизни; побежали люди в разные стороны. Пришли доктора; пришли турецкие чиновники; английский драгоман и кавассы. (Коэвино был подданный Ионических островов.) Гайдуша ожила, и началось следствие. Убийца был столяр; он и не долго отпирался; но уверял, что Гайдуша пригласила сама его этою ночью, чтобы вместе ограбить доктора и убежать с ним («так как она меня любила», — сказал в суде столяр); он уверял еще, что она напоила его пьяным и потом деньгами захотела завладеть одна. Это показалось неправдоподобным. Гораздо было естественнее и проще объяснение Гайдуши: она признавалась, что, может быть, и была несколько расположена к столяру, что он даже хотел на ней жениться; но грабить он вздумал сам; начал ломать ящик комода, в котором у Коэвино лежало золото; она вступилась за собственность своего «хозяина, отца и благодетеля, который (так она и в суде выразилась) ее дурой деревенской и сиротой в дом взял и человека из нее сделал». Она вступилась, и тогда завязалась между нею и грабителем борьба на жизнь или смерть. Доктор пламенно отстаивал везде Гайдушу, и пред турками, и у консулов, прося их поддержки. Столяра осудили работать в тюрьме янинской в цепях на несколько лет и уплатить Гайдуше из заработков значительную сумму.

Однако дело многим все-таки казалось темным. «Отчего же она не звала на помощь? Отчего она не кричала? —



говорили иные люди... — Борьба, видимо, была долгая и тяжелая; Гайдуша ужасно смела и сильна, несмотря на свою худобу и малый рост». Так рассуждали иные люди... Отец готов был больше верить доктору и Гайдуше; он говорил, что столяр мог с начала самого зажать ей рот или сдавить ей горло; и, видев преданность ее доктору и его хозяйству, вспоминая их долгую жизнь вместе, отец говорил: «Не думаю, чтобы женщина, которая не берет жалования у человека за столько лет, вздумала грабить его!

<sup>10</sup> Но... но... лучше подальше от домов, где случаются подобные дела!»

Позднее он объяснил мне и больше.

— Ты тогда только что стал подрастать и был уже очень красив. Гайдуша женщина страстная, решительная, бурная... Я боялся, дитя мое, за тебя.

Вот была та неизвестная мне тогда причина, которая вооружила отца моего против докторского дома.

Мне было очень это досадно тогда; я хмурился и грустил, размышляя:

<sup>20</sup> «Два дома веселых в Янине, я слышу, есть: консульство русское и докторский дом, и в них-то мне жить не дозволено! Нет, видно, мне бедному счастья хорошего в этом городе!»

После того как было получено из Тульчи письмо о пожаре, отец дня два только и думал, что о драгоманстве и о деле Исаакидеса; но, кончив все это, он принялся думать опять обо мне и даже ходил со мной вместе смотреть мне квартиру. Долго мы не могли найти ничего по нашему вкусу. Там далеко от училища, там очень

<sup>30</sup> дорого; здесь семейство не так-то хорошо; а там по соседству все цыганки живут, танцовщицы из окон выглядывают, нарумяненные женщины на порогах сидят и смеются.

Опять все та же Гайдуша сказала нам: «Я вас в хорошее место сведу!» И привела она нас в церковь Св. Николая, к отцу Арсению, старому священнику, у которого мы и нашли маленькую комнату, окном на двор.

Отец Арсений был вдовый старик, воспитывал при себе двух внучат, и кроме этих детей и пожилой параманы никого у него и не было в доме. В комнатке моей стены были чистые, белые, один простой диван, шкапы в стенах по-турецки; на окнах занавески белые, пред окнами снаружи по стене большие лозы винограда; столик и стул. Чего же лучше? Мне полюбился сразу тихий церковный двор, мощенный плитками; а когда я остался на минуту один в той комнате, которую мне назначили, и облокотился на открытое окно, сухие листья виноградной лозы вдруг зашелестели от ветра; я вспомнил Загоры, и сердце мое сказало мне: «здесь тебе жить!» Такая же точно лоза вилась у бабушки под окном, так же шелестели на ней осенью сухие листья, и точно такая же трепетная тень падала от них на белую занавеску!..

«Здесь тебе жить!» — сказало мне сердце. Старик священник был седой, почтенный, веселый, ласковый. В городе его уважали. Цену он взял небольшую за комнату и пищу мою. И таким образом все вдруг хорошо устроилось. И от училища недалеко, и недорого, и тихо, и удобно, и нравственно. Отец радовался, и я был рад и про себя еще прибавлял: «и от русского консульства очень близко».

По возвращении домой от отца Арсения отец мой тотчас же стал собираться в путь. Ему хотелось уехать, не начиная дела с Шериф-беем. Достав себе на все непредвиденные расходы 200 лир от Исаакидеса, он рассчитывал так: «надо уехать внезапно и оставить Исаакидесу записку с извинениями и обещанием скоро вернуться, в Тульче кончить поскорее все дела, возвратиться в Янину и тогда уже, вникнув хорошенько в сущность тяжбы Шериф-бея, решиться либо начать ее, если в ней нет мошенничества со стороны Исаакидеса, а если есть, то сказать ему, что раздумал, и возвратить ему тогда без труда эти 200 лир, которые теперь нам так дороги и необходимы». Обмануть Исаакидеса, так сказать, внутренно, оставаясь по внешности правым, и возвратить ему

позднее его деньги, казалось отцу менее низким, чем грабить в суде заодно с этим бессовестным интриганом хорошего человека. Но надежда перехитрить афинского патриота не осуществилась. Человек этот был вовсе не умен; но он был тем, что мы зовем «кутопонирос» — глупо-хитрый человек. Когда дело касалось его денежных выгод или политических интриг, он был неутомим, бдителен и ни на минуту не терял из вида своей главной цели. Он как-то сумел узнать о сборах отца на Дунай; прибежал взволнованный к дому Коэвино и, не смея взойти внутрь, просил, чтоб отец вышел на улицу.

Отец, в оправдание свое, показал ему письмо дяди; но Исаакидес сейчас же вспомнил, когда пришла последняя почта, и сказал отцу:

— Письмо это вами уже несколько дней тому назад получено, а вы мне ничего не сказали. Оно было получено, сознайтесь, прежде, чем вы просили меня идти к Бакееву по делу вашего драгоманства?

— Это правда, — сказал отец, — но я не считал себя обязанным говорить вам о пожаре. Это дело касалось только меня одного.

Исаакидес потребовал, чтоб отец тотчас же шел к нему на дом писать прошение в русское консульство о начатии дела против Шериф-бея под русским покровительством; отец, колеблясь, вздыхая и сокрушаясь, уступил. Исаакидес нашел в тот же день для ведения дела без отца ловкого поверенного, с которым согласился в цене за хлопоты; написал сам прошение и отвел отца в консульство. Бакеева не было дома, и они объяснили, о чем идет речь, Бостанджи-Оглу. Отец сознавался мне после не раз, что он очень страдал в этот день. Он часто говаривал потом, что считает этот поступок свой хотя и вынужденным обстоятельствами, но все-таки очень дурным, очень грешным, худшим из всех своих поступков в жизни.

Бостанджи-Оглу, который досадовал на то, что отца моего, а не его сделали вторым драгоманом, принял прошение неохотно и сказал даже Исаакидесу:

— Чтò это вы, в самом деле, точно все условились разорять эту турецкую семью! Куско-бей на старика Абдурраима напал, а вы на бедного Шериф-бея. Вы погубите их!

— Ты птенец еще безгласный, мой друг, — отвечал ему Исаакидес грубо. — Молчи, любезный! Во-первых, разве ты не понимаешь, что разорять и губить всячески турок есть долг всякого хорошего христианина? Не можем мы с тобой взять оружия и проливать вражью кровь? Если так, то по крайней мере иным путем мы должны уничто- 10  
жить врагов отчизны. Да! А к тому же, что тут до тебя? Ты должен подать эту бумагу г. Бакееву, вот и все твое назначение. Понимаешь, дружок?

Отец возвратился домой убитый и расстроенный; его мучила совесть, он целый вечер вздыхал и, возводя глаза к небу, говорил: «О, Боже! все мы люди! все человеки!»

Я не смел спросить, чтò с ним такое, и только гораздо позднее узнал все тайные пружины и подробности этого дела, которое его так смущало. 20

На другой день отец уехал в Тульчу; я провожал его один до хана. Доктор проспал; Чувалиди занимался с турками во время Рамазана по ночам, а днем отдыхал. Исаакидес верно не хотел приехать. Погода опять немного поправилась в день отцовского отъезда.

В хану, в двух часах расстояния от города, мы простились с отцом, я поцеловал его руку, и он сказал мне: «Учись, матери чаще пиши; о пожаре и о глазах моих ей теперь не пиши, а только старику Стилову; Церковь не забывай. Что же тебе еще сказать? Как бы это мне ска- 30  
зать тебе — не знаю. Полагаю, что у тебя уже есть свой разум?»

Я отвечал, что разум уже есть у меня. Тогда отец сказал мне так: «А если разум есть, то связей не бросай; ходи в хорошие дома, бери полезные в них примеры образованности и благородства, а на то, чтò твоему возрасту непристойно и чтò несообразно со строгою

нравственностью доброго православного, от того устраняйся. Вот тебе мое слово отеческое. Я сказал, а ты это помни!»

Отец сел на мула и скоро скрылся со своими пешими провожатыми за горой; а я сперва долго плакал, сидя один у дверей пустого хана; а потом тоже сел на мула и поехал не спеша и в горьком раздумье в город, на свою новую квартиру.

<sup>10</sup> «Что-то ждет меня там? Что-то ждет меня, молодого, глупого, робкого, одинокого и всем теперь в этом городе чужого?» — спрашивал я себя, проливая слезы.

### III

## МОИ ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ И УСПЕХИ, СОБЛАЗНЫ И ДЕЛА

### I

Я снова беру перо, мой добрый друг. Я обещал тебе *когда-нибудь*, когда придется, еще и еще рассказать о моей юности, о первых и робких шагах моих на жизненном пути земном, загадочном пути, тернистом и прекрасном; на этом пути неудержимого течения, которого и самый близкий, завтрашний ночлег сокрыт для нас за страшною завесой никем не разгаданной тайны...<sup>10</sup>

Ты похвалил мои первые отрывки. Они понравились тебе больше, чем я ожидал, сознаюсь нелицемерно. Тем лучше. Твое сочувствие ободряет меня. Не искусство мое нравится тебе, мой друг, поверь мне; тебе нравится правда жизни, изображаемая мной.

Я буду продолжать; но прошу тебя, не думай, чтоб это было так легко и просто, как ты, может быть, полагаешь.

Все это далеко от меня; с тех пор прошло лет десять.<sup>20</sup> И я иной, и все вокруг меня другое.

Теперь мне скоро тридцать лет. Я женат уже второй раз, женат по любви; я счастлив в браке, ты знаешь — я не беден, я богат скорее. У ног моих играют наши дети.

Пред окнами моими не долина Янины, не безлесные горы тихого, сурового и живописного Эпира: пред ними течет Дунай, извиваясь в камышах по плоским полям Добруджи и Молдавии; не мулы, тяжело навьюченные, всхо-

дят медленно по каменным уступам; здесь пароходы спешат опередить друг друга с шумом, свистом, дымом и толпой. Здесь паруса кораблей белеют пред самым домом моим, а не снега далеких и родных высот.

Другая жизнь, другие люди, встречи, чувства вовсе новые, иные, чем были там, тогда!..

Ты помнишь ли, на чем остановился мой первый рассказ?

Ты помнишь — я остался в городе один без отца и без матери, без покровителей и почти без денег...<sup>10</sup> Добрый отец мой благословил меня и уехал в Тульчу.

«Что-то ждет меня в Янине? Что-то ждет меня молодого, глупого, одинокого и всем теперь в этом городе чужого?» — так думал я, когда расстался с ним в хану.

Проливая слезы, возвращался я шагом на муле к городу, который так красиво рассыпался туда и сюда тихими и веселыми предместьями по узкой и зеленой долине, между двумя высокими стенами обнаженных гор. Озеро было тихо, и в лазурных водах его суровою и прекрасною твердой<sup>20</sup>ней воздвигалась турецкая крепость на диких скалах, поросших древним плющом и кустарником. На тонком минарете крепостном звал ходжа мусульман к полдневной молитве, и его голос, звучный, сильный и приятный, издали долетал до меня...

Под городом мирно паслись стада овец, бряцающая звонками; и весь город как будто бы весело покоился в радостном сиянии ясного зимнего полудня. И мое взволнованное сердце понемногу утихало и открывалось для более<sup>30</sup> утешительных чувств...

Подъехал я к высокой стене, за которой была скрыта церковь Св. Марины, сошел с мула и сказал себе: «Теперь смотри, морé \* Одиссей!.. Ты сам отцу сказал, что у тебя есть свой разум; а ты сам знаешь, несчастная твоя

---

\* Морé — глупый, глупенький; на Востоке почти ласкательное слово и употребляется вроде нашего слова брат.

голова, что начало всякой премудрости есть страх Божий. Смотри же теперь!»

Я расседлал мула, поставил его на место и пошел поклониться отцу Арсению. Старик принял меня благодушно и даже радостно.

— Теперь-то мы тебя яниотом настоящим сделаем! — сказал он.

И я стал жить у него. Очень скоро привык я к тихому церковному двору. Мне пришлось по вкусу его простор, его чистота, большие каменные плиты, которыми он был 10  
мощен; понравились мне и могилы около церкви: они все имели вид деревянных саркофагов, и во всех них с одного конца была стеклянная дверка, в которой родные умерших зажигали лампадки. Когда вечером, в темноте за церковью, сияли эти кроткие звезды родственной любви, я думал, глубоко вздыхая, о чем-то и печальном, и приятном, о чем-то дальнем, дальнем, и утешительном, и страшном... О чем?... Теперь я понимаю, тогда я понять и сказать не умел.

Начал я в училище ходить. Увидал я там множество 20  
детей и больших юношей, таких же, как и я. Учителя хвалили мои познания. Один из них заставил меня изложить на новом и простом греческом языке отрывок из Омира. Я изложил. Учитель был доволен и спросил: «Ты не ученик ли господина Несториди?» Я сказал: «Да, господин учитель, я ученик господина Несториди». — «Браво тебе, паликар ты мой, браво и наставнику твоему почтенному... Высокословесный человек твой наставник господин Несториди, он похвальба и слава нашему знаменитому Эпиру!.. браво тебе, браво!» 30

Потом учитель оставил меня и спросил у других больших учеников:

— А что же это за боги эти у Омира, которые все бранятся между собой, как наши лодочники и носильщики, и всякому смраду греха и невоздержности всею бессмертною душою своей предаются?

Все молчали. Один из учеников сказал наконец:



— Это все неправда. Это все глупости и сказки!

Хитрый учитель помолчал и потом вдруг, обратясь ко мне, сказал:

— Ты, загорец, скажи мне одну вещь: ты кто такой... турок ты, или немец, или армянин?..

Я помнил все уроки Несториди и быстро воскликнул:

— Я эллин! господин учитель, я эллин! Мы все здесь эллины...

10 — Прекрасно! однако чему же ты рад?.. Эллины древние были ослы или неразумные малые дети... так говорит вот этот товарищ твой. Они, говорит он, все глупости сочиняли.

Так изловчился учитель лукавый; но на этого рода вещи и у меня были, как говорится, очень «открытые глаза».

Я минуточку, только одну минуточку помедлил в недоумении и потом вдруг сказал так:

20 — Нет, господин учитель, простите! Наши великие предки, знаменитые эллины, были одарены возвышенною мудростью. Но они не были просвещены верой истинною. Они поклонялись собственным слабостям и страстям; они боготворили злых духов и демонов злобы, блуда, лжи и коварства...

Учитель отступил от меня на шаг с удивлением и сказал еще раз:

— Браво тебе, загорский юноша! браво тебе! А откуда ты это знаешь, скажи мне, молодой мудрец?

Я опустил глаза и сказал, краснея:

— Вот знаю!..

30 Учитель, улыбаясь, настаивал; я тогда поднял на него смущенные от радости глаза мои и сказал:

— Я читал об этом в житии Св. Екатерины Великомученицы. Она была царского рода и очень образована. Она все знала...

Тут у меня голос прервался от стыда и волнения; но учитель сам покраснел от удовольствия и, потрепав меня ласково по плечу, сказал:

— Сиди! сиди!.. Успокойся! Из тебя выйдет, я вижу, такой именно человек, каких нам нужно теперь. Кланяйся от меня господину Несториди, когда будешь ему писать, и скажи ему, что мы все давно его ждем сюда и что я первый жажду его просвещенной беседы, как елень источников водных!

Так помог мне Бог в этот день! И, возвращаясь домой, я сказал себе опять: «Эй, морé-Одиссей несчастный!.. Все хорошо пока, все хорошо!»

Все хорошо, все отлично, мой добрый друг, но те соблазнительные и прекрасные демоны, которым воздвигали столь изящные храмы наши блистательные предки, эти коварные бесы бессмертны; они незримо живут и в наших собственных слабых сердцах; они реют неслышными тенями вокруг, глумясь над нашими грехами и поднося беспрестанно к жадным устам юности благоухающую чашу наслаждения, на дне которой скрыт яд духовной гибели и муки позднего покаяния!..

Однажды (дня через два, не больше, после моего первого триумфа в гимназии) около меня сел один ученик, уже большой и по виду мне сверстник, но в самом деле он был постарше меня. Одет он был по-европейски и широкую шляпу свою любил носить набок с особым молодечеством. Лицом он был красив, смел, весел и приятен, хотя и очень смугл; глаза у него были черные и огневые. Он захотел сам познакомиться со мной и сказал мне, что он сын греческого драгомана, старика, которого я знал уже в лицо. Имя этому юноше было Аристид. Отец его был с Ионических островов, а мать итальянка.

Аристид в тот же день увел меня из училища к себе домой; потом пришел и к нам на двор Св. Марины, и мы стали с тех пор постоянно вместе ходить и проводить время. В первые же дни нашей дружбы он начал учить меня худу и говорил: «Стой, я тебе на все открою глаза!» Он знал все тайные городские истории; над всем смеялся; представлял учителей; знал все кофейни, все самые дальние переулки в городе; знал, кто кого любит и кто кого

ненавидит. Он рассказывал мне множество анекдотов, полных соблазна. Меня одни из них смешили, другие ужасали, но смущали и тревожили меня равно те и другие... «Много ты знаешь, Аристид!» — говорил я ему, а он хвалился: «Погоди еще, ты и лучше этого от меня услышишь!»

Несмотря на то, что Аристиду было только всего восемнадцать лет, он уже старался нравиться женщинам и девушкам и проводил иногда целые вечера в бедном предместьи Канлы-Чешмэ, которое у нас имеет очень худую славу. Он прекрасно ездил верхом, никого не боялся и не стыдился, ходил и в разные консульства, посещал и самых простых людей, и везде заводил и дружбу, и ссоры. Ссорился с учителями и переставал ходить в школу, а брал уроки дома, да и то когда вздумается, потом опять возвращался в училище. Он был большой друг с молодым турком Джемилом. Отец Джемила был тот самый дряхлый Сефер-эффенди с длинным и горбатым красным носом, который ласкал меня и говорил мне персидские стихи «о стройном кипарисе», когда мы с отцом гостили у доктора. Джемилю было семнадцать лет. Мальчик он был тоже красивый, но белокурый, с большими тихими голубыми глазами, ленивый, немного глупый и отцом ужасно избалованный. По целым часам занимался он голубями, щенятами, барашками, раскрашенными на спине и голове розовой краской. Песни пел, сидя на камне у ворот отцовских, или играл на улице с самыми маленькими детьми; или по целым часам бросал в потолок бумажки, скрученными в трубочки и разжеванными с одного конца, и веселился, что они прилипали к потолку. Старый эффенди никогда его не бранил и, когда заставлял его за такими пустяками, утешался сам и, дрожа от радости и смеха, говорил: «дитя!! джуджук!» И кончено.

Дружба Аристида с Джемилом была так велика, что они иногда по целым дням не расставались. Уходили вместе на охоту; нередко старый эффенди, которого драгоман греческий нанимал, чтобы давать Аристиду уроки турецкого

языка, посылал вместо себя сына или приглашал Аристиду к себе, и тогда вместо уроков начинались шалости и шутки.

В турецкой азбуке есть буквы: «*айен*, *гайен*» и еще «*лам-элиф*» и «*вау*». Вот они оба вместе и начнут, прыгая, твердить сперва: *айен-гайен! айен-гайен!*.. А потом закричат вместе: *лам-элиф-вау!* из всех сил, и дразнят друг друга: *вау! вау! вау!* А старый эффенди хохочет и радуется на них.

Они и ему то же: *вау! вау!* И он не только не сердится, а еще и сам принимает в этом участие. Приподнимается 10 дрожащими ногами на цыпочки и тоже к ним навстречу длинным носом своим кивает как птица и кричит: *вау!*

Я бедного и доброго старика этого душевно полюбил и, думая о нем и теперь, когда уже его давно нет на свете, нередко повторяю то, в чем сознаются в минуту искренности и примирения все немусульманские жители Турции, что «уж добрее доброго турка не найти человека на свете!»

Он и мне, и Аристиду рад был всегда, как бы собственным детям своим, как родным братьям своего обожаемого Джемиля. 20

Он встречал нас и трясаясь, и смеясь, и восклицая: «Добро пожаловать! Милости просим! Счастливого утра вам!» Меня всегда потреплет по щеке рукой и заговорит иногда опять о «кипарисе» или начнет возвышенно декламировать по-турецки:

«Однажды я был огорчен и спрятал голову мою в воротник моей одежды. Но внезапно принесся из степи ветер, напоенный благоуханиями рая... Я взглянул и увидел пред собою щеку, подобную слоновой кости, обделанной в драгоценное черное дерево юных кудрей...» 30

Такие он вещи мне говорил, и мы все смеялись, слушая его; а с Аристидом он обращался иначе. Приветствуя его, он сжимал свой слабый старческий кулак, чтоб изобразить его силу и отвагу, и говорил по-гречески: «*Нна!\** паликар! *Бобо!\**

---

\* Междометия, служащие для изображения силы, ума или молодечества.

человек! бобо!» Или, указывая мне на него, с отеческою радостью восклицал: «Что нам с ним делать? Дели-Канлы! Бешеная юная кровь!»

Аристид начальствовал над нами; у него было гораздо больше опытности, чем у нас с Джемилем, и потому во всех увеселениях и шалостях и предприятиях он предводил, а я, и еще больше Джемиль, повиновались ему. Я говорю — особенно Джемиль. Если случалось, что Джемиль чего-нибудь не хотел или на что-нибудь не соглашался, <sup>10</sup> Аристид упраскивал его ласковыми словами: «Ага ты мой прекрасный! паликар ты мой! кипарис ты! апельсин ты! лимон ты мой!..» И ленивый Джемиль, потягиваясь и зевая, соглашался. Иногда, когда он уже очень упорствовал, то Аристид, махая на него прямо рукой, называл его без страха и совести: «Э! ты старая турецкая дрянь!» или, напротив того, молча брал его обеими руками за его свежие полные щечки и говорил: «Поди сюда, дитя мое!» и целовал его в губы и в глаза. Тогда Джемиль шел за ним покорно, как идет за хозяином раскрашенный весною ягненок. <sup>20</sup> Я дивился этой дружбе и смелости, с которою Аристид бранил Джемиля. Но Аристид однажды отвечал мне: — Ты бедный турко-райя и потому боишься. А я грек свободного королевства! Кого мне бояться? А кто меня обидит, для того вот что готово... — И, нагнувшись, он достал из сапога своего складной широкий и преострый нож.

— Смелый же ты молодец! — сказал я, вздыхая и завидуя.

От времени до времени, после прилежных занятий, мне было очень весело видеться с Аристом и Джемилем. <sup>30</sup> Джемиль хотя был и не умен, и не разговорчив, но всегда рад был меня видеть, уводил меня к отцу и угощал в изобилии всякими сладостями, кофеем и табаком, на который денег у меня еще не было; что касается до Аристида, то устоять против него, когда он был ласков или весел, было очень трудно. Многое, впрочем, не нравилось мне в шалостях и во вкусах его; часто они были вовсе не детские и не невинные; совсем другого рода, непохожие ни на

«айен-гайен», ни на бумажные трубочки Джемиля. Раз Аристид взял с собою на гулянье, которое было за городом в праздник, нитки и иголку и сшил тихонько в тесноте платья двум небогатым женщинам; они хотели разойтись; платье у одной разодралось. Женщины начали кричать и ссориться; мужа и знакомые вступились. Запуганные подошли унимать. Я от страха и стыда сидел полумертвый и так и ждал, что нас с Аристом изобьют или схватят и отведут к паше; а он сидел около меня на камне спокойно и смотрел равнодушно и только мне шептал: «молчи!! молчи!» 10

Нищего обругать, старуху на улице толкнуть, товарища в училище прибить, девушке, проходя мимо, сказать непристойность, — все это нравилось Аристу. Джемиль сам ничего, ни худого, ни хорошего, ни вредного, ни забавного выдумать не мог, но всем дурным поступкам Аристида он смеялся и радовался от души и говорил только: «Аман! аман! Смотри, смотри, что он делает!» И прыгал и рукоплескал тогда от восторга.

Меня же все это очень огорчало и беспокоило мою совесть; я нередко уходил от них с досадой или укорял их, напоминая, что это грех, что это жалко или страшно. 20

Джемиль на минуту тогда задумывался и смотрел спокойно то на меня, то на Аристида. Но Аристид толкал меня, говоря: «Молчи ты! у попа живешь и сам скоро по будешь... Убирайся, если тебе что не нравится... Вареная ты говядина, а не паликар».

Потом на другой день в училище или на улице он с улыбкой и ласковыми словами протягивал мне руку, обнимал меня, и я снова ему поддавался.

## II

30

Могла ли нравиться отцу Арсению моя дружба с Аристом и Джемилем?

Конечно, не могла. Отец Арсений был священник старинный, по-старинному хороший. Он не учился богосло-

вию ни в Константинополе, ни в Киеве, ни в европейских городах, не знал германской нынешней апологетики, знанием которой, быть может, и справедливо гордится теперь наше новое духовенство. Для него все было ясно, просто и незыблемо. «Старое Православие одно хорошо, остальное все неправда; все даже смешно и нестерпимо глупо!»

Когда он говорил: «ὁ полетизμός» (просвещение), надо было понимать под этим словом «Христианство», и Христианство настоящее, идеальное, то Христианство, которое иные зовут «мистическим», без всякого прямого отношения к земному блаженству всего рода человеческого; одним словом, то Христианство, которое и я зову истинным и которому я, теперь уже зрелый человек и семьянин не бедный, как ты знаешь, остался верен, вопреки всем соблазнам, всем слабостям моим и глубоким греховным падениям; вопреки тому, что с ранних лет я начал слышать вокруг себя совсем иное, вопреки растлевающим примерам и грубо-чувственным, и самым изящным, самым нежным и тихо искусительным примерам.

И теперь, живя не в горах незабвенной моей родины, но на дальней чужбине, среди иной природы, на берегах мутного, торгового и многолюдного Дуная, среди иных людей, и сам уже совсем иной, настолько изменившийся, насколько яблоня, обремененная осенними плодами, разнится от молодого полудикого побега, который просит ухода и заботливой прививки от рук искусного садовника, — и теперь, говорю я, с любовью и почтением хранит сердце мое память о старце этом и добром, и строгом, и простом за то, что он поддерживал во мне в самый опасный и восприимчивый возраст мой те чистые, суровые предания, которых духовный аромат наполнял воздух вокруг очага нашей загорской семейной святыни.

Отец Арсений не читал мне беспрестанных наставлений: он и не умел их долго читать; он становился красноречивее лишь под влиянием очень сильного чувства досады или радости. У него была дурная привычка в обыкновенное время беспрестанно повторять одни и те же слова,

самые незначашие: «Будьте здоровы! будьте здоровы! Кланяюсь вам, кланяюсь вам, кланяюсь! Отчего? отчего? отчего?» — и на этом нередко останавливалась его речь.

Но его собственный образ жизни был уже сам по себе наставлением.

И вот и теперь я с улыбкой (с такою улыбкой, с какой я желал бы, чтобы мой собственный сын вспоминал обо мне!) вспоминаю о седилах его; вижу пред собою его необыкновенно длинную белую бороду, которую он иногда брал шутя за конец и, приподнимая его, говорил: «не Арсением надо звать меня, а недостойным Онуфрием, Онуфрием, Онуфрием грешным! а? а? а?» (Потому что Св. Онуфрия, великого пустынника, изображают с седою бородой до колен и ниже.)

И твердил он опять: «Онуфрий! Онуфрий!» и смеялся, и хохотал, и веселился таким своим простым словам.

Вставал он рано, рано, до свету, шел служить в церковь или прочитывал то, что нужно по уставу; домой возвращался, садился у горящего очага, выпивал одну турецкую чашечку кофе и долго молча курил агарянский наргиле, размышляя пред огнем очага... Это была его дань плоти и турецкому на нас влиянию. Потом он занимался. Он заботился о переводе всего Св. Писания с греческого на албанский язык. Он полагал, что и творения некоторых Св. отцов, как разъясняющих более в приложении к жизни евангельское учение, необходимо было бы перевести на этот язык. Он сам был родом албанец, и его мать, столетняя старица, которая тогда еще была жива и жила в одном дальнем горном селении, ни слова не знала по-гречески.

Многие люди высшего класса в Янине укоряли отца Арсения за эти ученые труды его. Они говорили ему: «Оставил бы ты, старче, лучше в покое своих арнаутов белошапошников! Азбуки у них своей, слава Богу, нет: написана она, как слышно, была у вас на капустных листьях, и вы ее съели. Оно и лучше так. Не довольно разве с нас столькох народностей, которые, как плевелы, пробились по всему Востоку из-под благодатных всходов эллин-



ской пшеницы? Молдо-валахи, сербы, болгары-дьяволы, куцо-влахи, из которых нам неизвестно еще, что для нас выйдет. Останутся дикие арнауты при своем неписьменном языке, падет скоро Турция, и мы овладеем хоть ими посредством нашего божественного языка, так как быт и нравы их схожи с нашими, и станут они хорошими греками, как стали сулюты и другие, подобные им, ибо они прямо из варварской гомерической безграмотности своей влились в светлый поток нашего вековечного эллинского просвещения. А утвердишь ты язык их писанием, хотя бы нашими буквами, хотя бы турецкими, и вырастет еще одна голова у этой ужасной гидры, с которой даже Гераклу всеильного греческого ума не под стать бороться, ибо разнородные главы эти, которые зияют на нас и с Дуная, и из Балканских ущелий, и с Черногорских высот, и из дальней арабской Сирии, — всем этим зияющим главам один неизмеримо обширный желудок-кормилец скрыт в гиперборейском мраке Невских берегов! Да и что за язык этот наш арнаутский! Иоанн Предтеча, „Иоάνнис Прόδρομος“, по-албански выходит „Янни-Пери́дромос“ — „Яни-чума“. Это даже и грех бы так говорить и писать, а так говорится и переводится».

Так полушутя, полусерьезно говорили отцу Арсению иные купцы, доктора и ученые наставники наши. Так говорил Куско-бей, так говорил особенно Несториди, когда был в Янине. Если была в словах этих и шутка, то лишь потому, что все люди эти знали: не справиться старцу и с сотою долей того труда, который он желал бы свершить. Но отец Арсений был истинный, искренний поп; он был и патриот, конечно, как всякий грек, но православие *политическое* никогда не могло в нем исказить и затмить вполне *духовного*, настоящего Православия, простой и великой мысли о *загробном спасении многих душ*, осужденных неизбежно здесь на земле вечно страдать и вечно грешить!

И на все эти умные речи, в которых, надо сознаться, было много односторонней истины, с точки зрения нашего

греческого этно-филетизма, отец Арсений отвечал свое: «Нет, добрый человеке мой, нет. Надо и этих ржавых людей просветить истинным светом!.. Когда еще они выучатся такому высокому языку, как эллинский, а пока пусть на своем читают. А греки не пропадут до скончания міра, не бойся, не бойся, не бойся! Говорят, Петр Великий российский сказал: „Музы, покинув Грецию, обойдут весь мір и снова возвратятся на свою родину...” Не бойся, Россия и Греция — вот два столпа вселенского Православия, и греков сам Господь наш Бог милосердый хранит!» 10

И мне случалось слышать в доме отца Арсения такие споры, и не только слышать, но даже и понимать их так хорошо, как только мог понимать я их в те годы. Выразить и рассказать словами я тогда не мог, конечно, и сотой доли того, что могу выразить теперь; но понимать полусознательно, почувством, полумыслью — я понимал очень много и тогда.

В минуты, свободные от своих занятий, отец Арсений учил азбуке своих маленьких внучат; иногда шутил и смеялся с ними, заботливо вникал в их распри, расспрашивал 20 подробно, мирил и даже бил их иногда, но не крепко, не гневаясь в сердце своем и приговаривая: «Еще хочешь? еще? морé-мошенник ты этакий? А?»

К бедным он был милостив и жалостлив и нередко наскучал богатым людям, ходя по домам и выпрашивая у них для этих бедных деньги, когда у него самого не доставало. Старый Бичо Бакыр-Алмаз иногда, принимая его у себя, восклицал: «Уж вижу я, ты опять хочешь, мой поп, *развьючить* меня легонечко, чтобы поскорей в игольное ушко пропустить меня в рай!.. Нет, дай уж немного во 30 гресех отдохнуть, сердечный ты мой!»

Но отец Арсений настаивал смеясь и шутил настаивая, и хоть не много, но добывал денег от почтенного архонта, который и сам, впрочем, был человек набожный и добрый.

Меня старец сам иногда будил рано и полусонного вел с собой в церковь, напоминал — какого святого сегодня, заставлял петь и читать, чтобы не отставать от церковной

диаконии, а по большим праздникам и по воскресным дням я всегда пел и читал Апостола, как и дома в Загорах.

Мог ли такой старец благосклонно относиться к моей новой дружбе с молодым сорви-головой корфиотом и с турчонком, который, как все почти турчата, у нас считался несколько развращенным?

После того как Аристид и Джемиль посетили меня раза два, отец Арсений спросил у меня: «Часто ты бываешь у этого калдырим-челибея, у этого *гранителя мостовой* 10 (*уличного барина*)?»

Я солгал и сказал, что редко. Мне было так весело с Аристидом! «Как знаешь, — сказал священник, — только я скажу тебе, берегись ты таких молодцов». Больше он на первый раз ничего не сказал; а я поспешил только предупредить моих друзей, чтоб они на наш двор не ходили за мною часто и что я и сам их найду, где нужно. И стали мы почти неразлучною троицей: то у Аристида, то у Джемиля в доме, то за городом, то у дальних кофеен на лужайках, и все смех громкий, веселые песни, рассказы 20 непристойные, пересуды и насмешки над старшими... Я заботился только об одном, чтобы не слишком опаздывать вечером; тогда бы отец Арсений заметил, что я уже слишком много где-то гулял, и узнал бы истину.

Аристид не раз уговаривал меня сходить с ним вместе в *предместье* и посетить которую-нибудь из лучших городских *гетер*. Он говорил:

— Куда хочешь: хочешь к Анне, хочешь к Вьене, хочешь к Нице; хочешь, наконец, к черной арабке Бессире? Я их всех знаю. Арабка — это любопытнее; у Анны волосы 30 очень густые и длинные; Вьена лучше всех смеяться и шутить умеет; а Ница первая по красоте и такая благородная, как самая важная мадама. В шолковом черном платье, и родинка на щеке, и даже брат у нее родной офицером в Элладе служит. Ее паши любили. Куда хочешь?

Я вздыхал и говорил, что мне страшно и грех.

Он называл меня дураком и опять немного погодя предлагал то же.

— Ведь не в монахи же ты готовишься.

— Грех! — отвечал я ему.

И было мне очень жалко чистоты моей.

Однако я решился наконец и пошел с ним. Он повел меня к Вьене, которую он больше других любил за веселый нрав.

Был тогда темный вечер; ветер дул сильный: листья в садах шумели, мне казалось, как-то сильнее и страшнее обыкновенного. Аристид нес фонарь; я шел за ним, и сердце мое крепко билось. Наконец привел он меня в узкий<sup>10</sup> и темный переулок по глубокой грязи и остановился у маленькой калитки в большой и длинной стене.

Он хотел уже постучаться, но я остановил его и сказал ему:

— Аристид, душа моя, Аристид!.. Подожди!.. Скажи мне, именем Бога тебя умоляю, что мы там будем делать? Умоляю тебя!..

— Не бойся! не бойся, глупый, — отвечал Аристид, — ничего мы не будем худого делать. Сядем, поклонимся старухе тетке и Вьене самой. Они скажут: «Доброго вечера... Как ваше здоровье?» А мы скажем: «Благодарю вас, как ваше?» Они опять: «Благодарю вас...» Потом варенья хорошего и кофе нам подадут, вина и сигарки... Мы поговорим благородно и вежливо и уйдем.<sup>20</sup>

Если б он не упомянул о вине, я бы, может быть, пошел смелее; но мысль о вине напугала меня еще больше. Я подумал, что могу напиться пьян, и тогда, кто знает, на что я решуся!.. Я вспомнил в этот миг кроткие очи матери, воздетые к небу с мольбою, отца больного и трудящегося на дальнем Дунае в борьбе со злыми людьми; веселый,<sup>30</sup> правда, но опытный, испытующий взгляд отца Арсения и густые брови Несториди, который так сердечно ненавидел всякий разврат... Ночь была так темна... Листья под страшною стеной так страшно шумели...

— Нет! — сказал я, — нет, Аристид, пусти меня... Я стыжуся...

Аристид начал стучаться.

— Постой, Аристид, — говорил я, — постой...

— Зачем?

— Говорят тебе, я стыжусь... Боже мой! Боже!.. Стыжусь я; морé Аристид мой, стыжуся...

Аристид оттолкнул меня от замка и начал опять стучаться. Но в эту минуту я вырвал из другой руки его фонарь (он был мой, а не его) и убежал домой по камням и грязи, преследуемый его проклятиями и бранью.

Я дня три после этого был печален, вздыхал, молился, <sup>10</sup> твердил слова псалма: «Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся»; уроки даже, которые я всегда вытверживал так прилежно, и те не давались мне.

Мне казалось, что и отец Арсений, и старушка парамана его, учителя все и на улице все встречные на лице моем видят душу мою и говорят себе: «Вот он, этот распутный мальчишка Одиссей, который вчера был у блудной Вьены... не подходите к нему и не пускайте его к себе в дом!»

Однако я напрасно тревожился. Никто не говорил мне <sup>20</sup> о Вьене, никто даже и не заметил моего волнения и моей тоски. Отец Арсений не наблюдал меня внимательно; у него были иные заботы. Ему нужно было что-нибудь более ясное, чтобы привлечь все его внимание на состояние моей нравственности. Это ясное не замедлило случиться.

Через месяц после моего ночного бегства от дверей Вьены я встретил на улице Джемиля. Я давно у него не был, и он стал звать меня к себе.

У него была привычка довольно мило ласкаться и ломаться, когда он кого-нибудь из сверстников о чем-нибудь <sup>30</sup> просил, и расположение его ко мне было, кажется, искреннее.

— Пойдем ко мне, — говорил он, ласкаясь, — я тебе скажу, все у меня есть... Все! все! Табак есть, конфеты есть, варенье из вишен есть... кофе есть... раки есть. Аристид придет.

Я зашел; пришел скоро Аристид и начал угощать меня раки, смешанною с водой, и предлагал закусывать сладо-

стями, и сам пил, приговаривая: «Я все думаю о том, когда ты человеком будешь!» Я выпил три стаканчика, мне понравилось; я выпил шесть, выпил еще и не совсем пьяный, а не такой, как всегда, пошел домой.

Дорогой со мной поравнялся старый кавасс Ставри, поздоровался и спросил об отце моем. Я, будучи уже как бы вне себя, начал говорить с ним на улице пространно и громко, рассуждая о делах, как большой и опытный муж.

— Да, Ставри-ага мой! — сказал я важно и небрежно, — да, эффенди мой, в варварской в этой стране жить трудно хорошему человеку. Отец мой, конечно, как ты знаешь, человек хорошего общества и состояние имеет значительное по нашему месту, и в дружбе величайшей состоит с такими важными лицами, как господин Благов и господин Бакеев, и эллинский консул... С доктором Коэвино в родстве и в древнейшей приязни...<sup>10</sup>

— Ну, Коэвино что! — сказал Ставри, — Коэвино дурак! Он никаких порядков не хочет знать...

С этими словами кавасс хотел проститься и уйти от меня,<sup>20</sup> но я удержал его за руку и начал так громко увещевать его, чтоб он взял в расчет общественное положение отца, беспорядки турецкой администрации и мои собственные усилия на поприще науки для будущего благоденствия нашей семьи, — увещевал его так шумно и многозначительно, что прохожие не раз оглядывались на нас и сам Ставри, поняв, в чем дело, порывался уйти. Много раз останавливал я его почти насильно, уверяя, что «хотя этот свет и суетный, однако трудиться необходимо» и что «несомненно за грехи наших праотцев великое эллинское племя находится в том жалком положении, в котором мы его видим теперь...»<sup>30</sup>

— Бог, все это Бог! — восклицал я, указывая на небо.

— Оставь ты, дитя, теперь имя Божие, — сказал мне наконец старый кавасс. — Поди отдохни. Ты выпил, я вижу...

Меня это замечание нисколько не смутило. Мы были уже у ворот Св. Марины; я опять на минуту удержал Ставри и отвечал ему:

— Это ты прав, кир-Ставри. Но, знаешь сам, выпить с друзьями не грех... И Псалмопевец сказал: «Вино веселит сердце человеческое, и хлеб сердце человеческое укрепит...»

Ставри наконец вырвался у меня, а я взошел шумно на двор, напевая одну насмешливую песенку про янинскую девицу, которая когда-то с ранних лет, «проклятая», по-  
10 риглась в монахини и хотела жить свято, «в рясе и с четками», у церкви Св. Марины, а потом выходила навстречу юношам и говорила: «Прекрасный юноша! приди в мою келью, мы будем там одни, и я лежу там, завернувшись в рясу, как свежий сыр в полотне».

Никогда я не позволял себе петь громко на дворе у отца Арсения и тем более такие свободные песни. Я прошел прямо на кухню и не заметил, что отец Арсений следит за мной из открытого окна. В кухне я начал рассуждать громко и шутить со старою параманой.

20 Взялся помогать ей, все распевая громко «о молодой чернице», и начал укорять ее в том, что женщина она и хорошая, но не умеет делать так вкусно иные кушанья, как делает моя мать...

Парамана смеялась и уговаривала меня не кричать...

— Возьми лучше отнеси все эти тарелки наверх, — сказала она.

Я взял пять-шесть тарелок в обе руки и, стоя посреди кухни, запел героическую песню:

Олимп и Киссамос — две горы спорят —  
И говорит Олимп...

30

В эту минуту в кухню вошел отец Арсений, посмотрел на меня с минуту пристально, подошел и дал мне сильную пощечину, не говоря ни слова.

Я успел только воскликнуть «за что!» и уронил все тарелки, которые и разбились вдребезги.

После этого мне сделалось дурно, я упал на кровать и заснул крепким сном до самой ночи.

Поздно проснулся я, больной, усталый, огорченный, хотел выйти на свежий воздух, но дверь моя была заперта снаружи на ключ. Я понял, что отец Арсений хочет наказать меня, покорился и, отворив окно, долго сидел у него, прохладя себе голову... Я не в силах был ни рассуждать, ни плакать и только все шептал: «Маменька моя! маменька, что́ они со мной сделали! Маменька моя милая, что́ они сделали с бедною моею головкой!» 10

На другой день отец Арсений взялся уже и за увещание и долго говорил мне:

— Шутовство, шутовство!.. Разврат, разврат!..

Я поклонился ему в ноги, прося пастырского прощения, и в умилении души моей, поколебавшись немного, рассказал ему и о Вьене, и о побеге моем. Увидав мое раскаяние, старик обрадовался и смягчился, начал смеяться и хвалить меня за то, что я ушел.

— А то бы я тебе шесть месяцев Св. Тайн не дал приобщаться, — прибавил он. 20

Однако, хотя сердечно он мне все тотчас же простил и пожалел меня, но, прибавив, что по писанию «тот отец сына не любит, который его не наказывает», велел мне три месяца по шести земных поклонов утром и вечером класть за увлечения мои; с захождением солнца приказал каждый вечер вперед быть дома и от Аристиды, разбойника и мерзавца, удалаться как можно более.

— И от Джемиля, старче? — спросил я покорно.

— И от него тоже, — сказал отец Арсений. — Что́ за дружба у христианского юноши со врагом своей веры и 30  
нации! Они же и скверн всяких полны... И что ты выиграешь от этой дружбы?.. Когда бы еще какой сын паши или великого бея он был. Интерес бы был. А какой ты интерес от Джемиля получишь?..

Я поклонился еще раз священнику в ноги, решил повиноваться ему и целую неделю избегал даже встречи с Аристом вне школы и к Джемилю не ходил. Я заметил, что



после этого и самые уроки, которые я выучивал и при прогулках с ними все-таки не дурно, гораздо больше стали меня занимать, когда все мое внимание устремилось на них одних, и вслед за горьким раскаянием на умиленную душу мою сошла некая несказанно-спокойная и сладкая благодать.

Я все вздыхал, но приятно и утешительно, молился весело, учился прилежно и бодро и благословлял старика за его ко мне строгость.

<sup>10</sup> Аристид и Джемиль, соскучившись без меня, пришли ко мне сами, но едва только они ступили на двор Св. Марины, как отец Арсений вышел с палкой и начал бить ею крепко Аристида. Аристид, как ни был дерзок и силен, но не осмелился поднять руку на старого иерея и бороться с ним, а только приговаривая: «Чтò ты, старче! Чтò ты с ума сошел!..» уклонялся от его ударов и бежал со двора.

<sup>20</sup> Он, впрочем, не казался ни рассерженным, ни испуганным и, убегая со двора, даже громко смеялся, а за калиткой закричал: «юхга!\* поп! юхга!..» и ушел. Джемиль, напротив того, был очень поражен и испуган; он широко раскрыл глаза, сначала не зная, чтò делать, глядя на то, как старец преследовал с жезлом своим Аристида, а потом, подобрав полы своей длинной одежды, кинулся тоже бежать. Его отец Арсений не тронул, вероятно, чтобы не иметь неприятностей с турками, и только молча погрозился ему, когда он, согнувшись, проскользнул мимо него в калитку.

<sup>30</sup> Я сначала смеялся над бегством моих приятелей и над триумфом отца Арсения, который возвратился ко мне сияющий от радости и твердил со смехом: «Вот я как! Вот я их как!..»

Но потом, подумав, я стал очень опасаться, чтоб Аристид и Джемиль где-нибудь меня не побили или по крайней мере словами бы не оскорбили на базаре, или где-нибудь еще при людях не вздумали бы и мне кричать: «юхга! юхга!»

---

\* Позорящий возглас, вроде шиканья и свиста.

Однако ни увещания и угрозы отца Арсения, ни изгнание Аристиды и Джемиля со двора Св. Марины, ни даже собственное мое столь искреннее покаяние не могли бы, вероятно, подействовать на меня так, как подействовало одно ужасное зрелище... Оно надолго отвратило меня от сообщества Аристиды и Джемиля. Особенно от молодых турчат я поклялся с тех пор удаляться и долго бегал от них, как от страшной проказы.

Это было в один праздничный день. Я только что вышел после литургии с нашего церковного двора и стал смотреть туда и сюда, раздумывая, куда бы лучше пойти и, по правде сказать, очень желал встретить как-нибудь нечаянно Аристиду... Как вдруг я увидел, что по ближней улице кучками-кучками спешит куда-то народ...<sup>10</sup>

Наши греки и куцо-влахи, албанцы, евреи и турки, турчанки в зеленых одеждах своих, дети и даже иные взрослые бежали и прыгали по камням, стараясь обогнать других. В толпе стоял гул от голосов.

Я сам побежал туда и не успел перейти нашу улицу, как почувствовал, что меня кто-то нагнал и тронул сзади рукой. Я оглянулся и увидел Аристиду...<sup>20</sup>

Я очень обрадовался ему, и он, сверкая глазами, воскликнул:

— Идем, идем скорее, человека убивать будут. Турка будут резать...

— Как резать? Что такое?

Аристид рассказал мне поспешно, что это дело не очень новое и началось еще до моего приезда из Загор. Два молодых турка, почти такие же юноши, как мы с ним, месяцев пять тому назад поспорили и побрались между собой. Один из них ударил другого в лицо; обиженный хотел пострадать его карманным ножом, но тот сделал неосторожное движение, и нож вошел ему весь в живот. Судили их по шариаду, и родные убитого выкупа не взяли, а потребовали по старому закону «кровь за кровь». Арис-<sup>30</sup>

тид говорил еще, что отец убитого — лавочник, который на базаре продает чернильницы, подсвечники и другие подобного рода вещи; отец же убийцы — писец хороший. Он уже все узнал и разведal. Он даже знал, что убийцу зовут Саид, а убитого звали Мустафа.

Мы скоро добежали до конца города и увидали, что на поле за предместьем Канлы-Чешме столпилось уже множество народа. Другие догоняли нас.

10 С Аристидом пробиться вперед было недолго. Мы пробились, и я увидал... Ах! нет, никогда в жизни я не забуду этого.

Кругом палача и его жертвы стоял отряд солдат; ружья их были заряжены, и они беспрестанно отстраняли толпу прикладами; два офицера с обнаженными саблями стояли молча и угрюмо и только изредка взглядывали сурово туда и сюда.

20 Виновный Саид стоял посредине и горько плакал. Ему было не более восемнадцати лет... На нем были опрятные новые шальвары, и его пестрая ваточная курточка на шее и плечах была открыта и отвернута.

Палачом взялся быть за небольшую плату один оборванный цыган-водовоз, который на осле развозил по домам ключевую воду. Он был очень грязен, чорен и оборван. На лице его было написано беспокойство и печаль (он в первый раз в жизни поднимал нож на человека); за старым поясом его был заткнут большой и дорогой ятаган, который он достал где-то, говорят, нарочно по этому случаю, и еще другой нож поменьше.

30 В кругу же, около офицеров, стояли и родные убитого: отец, пожилой турок-лавочник, в полосатом халате и феске, полный, румяный и седой, и две турчанки, — одна была жена его, а другая сестра — тетка убитому юноше.

Отец был спокоен и печален; обе женщины кричали...

Но могу ли я изобразить тебе верно, как это все вдруг мне представилось... Все предстало вдруг: и палач оборванный и встревоженный, и отец задумчивый, и эти женщины, которые кричали и махали руками в страшном ис-

ступлении... Только и слышно было: «Проклятый! проклятый!.. Нет! нет!.. Нельзя... Крови хочу... крови!..» Так кричали эти две фурии; длинные тонкие носы их выставались через покрывало, которое не мешало видеть ни хвосты их, ни глаз, свергающих огнем исступленной злобы. «Крови! крови!» — твердили они себе. Тетка казалась еще исступленнее матери. Она начинала крик, а мать вторила ей.

Офицер сказал им: «Постойте! дайте сказать слово человеку!» Из толпы впустили в круг дядю убийцы. (Отец его заболел от горя, и брат пришел на место казни, чтоб еще раз попытать счастья и воспользоваться льготой выкупа денежного, которую разрешал убийце закон.)<sup>10</sup>

Он был одет в сюртук и феску, худошав и не стар еще. Лицо его было желтое от ужаса и горя... И руки и ноги его дрожали... Войдя в круг, он поспешно кинулся к купцу, схватил полу его платья и воскликнул по-гречески:

— Эффенди! эффенди! Господин мой! Во имя Бога великого... Согласись уступить... Ты отец и брат мой тоже отец... Посмотри на него, он дитя... Двадцать тысяч пиастров!.. Двадцать тысяч пиастров, все, что у нас есть... возьми!..<sup>20</sup>

Мальчик также в эту минуту бросился в ноги купцу, и что он говорил, я расслышать за рыданиями его не мог... Я слышал только, что он говорил: «нечаянно!»

Купец молчал; опустив голову на грудь и заложив руку за халат свой, он, казалось, был погружен в глубокое раздумье.

— Возьми! возьми деньги! Возьми, Мехмед-ага! — кричала толпа.<sup>30</sup>

И я закричал громко:

— Возьми, эффенди! возьми!

— Несчастное дитя! О! несчастный! — кричали другие и женские голоса, и мужские.

Мехмед-ага обратился к толпе и к дяде убийцы и сказал, указывая на женщин:

— Я согласен; пусть они согласятся...

Мальчик подполз по земле к матери убитого и сказал, стараясь охватить ее ноги, таким ужасным голосом, что, кажется, камень растаял бы, слушая его:

— Ханум! Ханум-эффендим... Боюсь я, боюсь... Мать моя, барашек ты мой... Слышишь... боюсь я, боюсь!

И он старался поцеловать ее желтую туфлю, и руки ломал, и загнул голову назад, открывая глаза свои, полные слез...

10 Даже Аристид, который смотрел, положив подбородок на мое плечо, и держал меня, обняв за стан, сказал:

— Ух! какая холодная \* вещь! — и сжал меня руками, содрогаясь...

А я стоял полумертвый от жалости и ужаса, но уйти до конца не хотел... не мог бы даже; толпа беспрестанно напирала на нас, и с трудом и грозным криком и ударами прикладов солдаты беспрестанно расширяли круг.

20 Поднялся общий шум и вопль; офицеры и солдаты кричали на народ; мальчик рыдал и кричал; толпа начинала реветь в негодовании. Но громче всех раздавался голос неистовой тетки. Офицер схватил, наконец, за плечо цыгана и, встряхнув его, грозно сказал ему:

— Кончай!

30 Цыган схватил Саида. Я не стану изображать тебе ужас бедного юноши. Я не могу передать тебе, с какими иступленными мольбами он обращался, влачась по земле, то к самому цыгану, то к офицерам... Это выше моего умения... Но я желал бы, чтобы ты вообразил себе весь этот нестерпимый ужас, который был написан на его лице, почти детском... И если ты и это вообразишь, то не знаю, вообразишь ли ты, что последовало за этим...

Цыган не умел убивать людей; он в первый раз в жизни поднимал руку с ножом, и поднимал ее из-за нескольких золотых на душу ни в чем пред ним неповинную...

---

\* Холодная вещь, хладный человек — на Востоке вместо противная вещь, неприятный человек.

Наконец один из офицеров взял под руку Саида и, приподнимая его, сказал ему ласково:

— Дитя мое! Покорись твоей несчастной участи... Так Бог желает... Чтò ты сделаешь против Бога...

Саид только воскликнул:

— Аллах! Аллах! — и, глубоко вздохнув, стал на колена пред цыганом и протянул ему шею...

Чтò с ним делал цыган — я не видал... Я закрылся весь в слезах и бросился в толпу, чтобы не видеть более... Я слышал только пронзительный визг. Я слышал опять 10 рев толпы и громкую команду офицеров... и опять новый визг.

Еще несколько минут — и не стало бедного Саида...

В народе продолжали раздаваться проклятия и вопли негодования... Вдруг кто-то закричал:

— Бей палача! Рви на куски цыгана! Бей его! Анафема старухам!.. Бейте этих ведьм!..

Я оглянулся и увидел, что солдаты с остервенением отбивались прикладами от толпы и офицеры подставляли сабли иным, которые слишком бросались вперед... У одного деревенского паликара из Чамурьи (я его знал; его звали Яни) шла кровь из руки... Его слегка ранили чем-то, верно оттого, что он рад был случаю наложить эту 20 руку на цыгана-мусульманина и на двух старых турчанок... На носилках, покрытых чем-то белым и кровавым, уносили труп Саида, и около носилок шел его дядя... Я взглянул на него и увидел пред собою такое спокойное и печальное лицо, что спокойствие это мне показалось; кажется, еще страшнее и жалче криков несчастного Саида... 30

Народ, отбитый солдатами, скоро успокоился, и отряд с офицерами направился к городу, охраняя палача и родных убитого... Я долго следил издали за зелеными *фередже* этих двух женщин и думал: «Какой же демон крови и мщения должен был обитать в их сердцах!.. И что же было бы с нами, христианами, если таким турчанкам и туркам дана была бы над нами полная воля!..»

Толпа начала рассеиваться и расходиться по домам. Я искал глазами Аристиды, которого оттолкнул в ту минуту, когда хотел отвести взоры свои от ужасной сцены холодного убийства... Он скоро и сам нагнал меня и сказал опять с улыбкой, как бы находя удовольствие вселять во мне ужас,

— *Ти криб пра́гма!* (Какая неприятная вещь!) Ты не видал, а я видел, как он его, бедного, повалил и перерезал горло ему как барану... Прежде хотел ему сзади голову <sup>10</sup> отрубить, но не умел... Ударил раз... Саид как закричит... Только кровь полилась... А потом бедняжка уж и не кричал, а все молча терпел, когда он его...

Я заткнул уши и просил его перестать. Впрочем, он и сам был очень бледен, и только чрезвычайная сила духа его, отвага и желание подразнить меня и представить себя самого безжалостным, только эти чувства внушали ему бодрость. Мы прошли несколько времени молча, и наконец он сказал мне:

— У меня есть несколько пиастров... Зайдем в кофейню, в Лутцу, выпьем холодной воды и кофе... А то боюсь <sup>20</sup> я, чтоб тебя не стошнило или чтоб ты в обморок не упал... Ты очень бледен, душенька!

Это он сказал без всякой насмешки, но с тою лаской и любезностью, которая всегда так смягчала мне сердце; она смягчила и теперь.

Мы скоро пришли в предместье Лутцу, спросили себе стулья, кофе и холодной воды и сели на лужку, лицом к озеру и горам и спиной к городу. Народу не было никого в это время. В кофейне только два человека играли в <sup>30</sup> шашки. Предместья издали казались так мирны и тихи. Долина зеленела, зеленело то самое поле, на котором убили Саида; и на дальних синих горах белели широкие жилы снега, так неподвижно и спокойно блистая!..

Я созерцал, умиротворяя в себе взволнованную душу... Курил и кофе пил, вздыхая. Аристид, тоже не говоря ничего, запел прекрасную песню, под которую пляшут на свадьбах в дальней Эгине:

Веселитесь, молодые, веселитесь, девушки —  
А день идет все к вечеру...  
А Харон \* дни наши  
По одному, по одному все отсчитывает...  
Ну, так давайте же землю эту топтать, веселяся,  
Ту землю, которая нас пожрет...

Нет у Харона разбора,  
Верности нет у него никакой!..  
Младенцев от груди берет  
И старцев не оставляет...  
Придавим-ка еще, пристукнем ногами ту землю...  
И пляска наша пусть станет вкуснее...

10

Веселитесь, молодые, веселитесь вы, девушки,  
Радуйтесь в прохладе молодости вашей.  
Смотрите — придет время,  
Как и вас съест гробовая доска...  
Ну, так давайте же землю эту топтать, веселяся,  
Ту землю, которая нас пожрет...

В эту землю, по которой мы ходим ногами,  
В нее все мы пойдем;  
Она под травкой своей, под зеленой,  
Поедает паликаров молодых,  
И под цветочками под своими  
Ест девушек молодых и девчоночек.  
Ну, так дайте ей еще ногою,  
Дайте хорошенько...

20

Веселитесь, молодчики, девушки, веселитесь!  
До того года проживет ли кто?  
У Харона есть решение:  
Ни души ни одной в живых не оставить,  
И архонтов, и больших людей,  
И всякую остальную бедную бедность, —  
Всех ждет их и нас Харон,  
Молодых, стариков и детей...

30

Так пел Аристид долго, а я слушал его. И стало мне  
легче, хотя и грустно.

---

\* Смерть.



Я попросил его снова спеть песню. Он опять запел, а я стал опять слушать.

Наконец мы встали. Аристид повеселел вовсе и говорил мне, смеясь:

— Пойдем теперь к Джемилю. Я буду ему рассказывать, и ты увидишь, как он будет бояться.

Но я сказал:

— Ни за что теперь к туркам не пойду. Далеко пусть будут от меня теперь все турчата молодые! Пусть Господь<sup>10</sup> Бог меня спасет от них...

Аристид назвал меня с презрением «несчастливым» и все пять пальцев наложил на лицо: «вот тебе все пять на глаза твои!»\* и ушел, а я возвратился к отцу Арсению.

К Джемилю после этого я вовсе перестал ходить и кланялся ему только на улице; но с Аристидом я долго бы не нашел ни причины, ни охоты, ни силы прервать (так с ним было всегда весело: такой он был занимательный, «курьезный», как у нас говорят), если б он сам вскоре не уехал в Корфу. Чрез неделю какую-нибудь после казни молодого турка он поссорился с одним из учителей наших. Ученики подняли шум; больше всех шумел сын Куско-бея, того красавца в грязном сюртуке, которого так ненавидел наш доктор Коэвино; Аристид на этот раз был гораздо менее виноват. Но учитель, боясь оскорбить сына богача, всемогущего в городе и в самой Порте, воскликнул, обращаясь к Аристиду: «Замолчишь ли ты, негодяй, шут маскарадный!» и поднял на него книгу, которую держал в руке. Боже мой! как сверкнули гордые очи у моего Аристида!.. Он только пожал плечами, улыбнулся и сказал, приступая к учителю: «Это ты меня-то, меня, учитель? Ты, морé, не в своем уме, вероятно!» Дал ему раз по книге, книга полетела из рук, а мой Аристид надел свою европейскую шляпу, загнул ее набок и вышел с триумфом из школы.<sup>30</sup>

---

\* Обычный на Востоке жест презрения или брани.

Рассказал дома отцу; отец огорчился и, опасаясь, чтоб он совсем здесь не изленился и не потерял головы, отправил его в Корфу. Тогда еще были там англичане; и был у них один дальний родственник англичанин, человек очень суровый и ученый. К нему отправил его отец.

Аристид, прощаясь со мной, говорил, пожимая плечами:

— Мне все равно!.. Что *меня режет?*... И там и здесь одно и то же. Там еще лучше. Там Европа. Там мне будут женщины и девушки сами из окон платками знаки делать. Она мне вот так, а я ей вот так тоже платком... И сейчас понимаем друг друга... Ты знаешь ли, какой я клефт? И какой злодей? Я такой злодей, как в той песенке поется:

Яни тот да Янаки, да распутный Яни  
Обводит все девушек, проводит прекрасных...

Вот я что, сын мой любезный ты, Одиссей!

И опять шляпу набок; обнял меня, поцеловал и уехал; а я остался, и мне сначала стало без него гораздо скучнее.

#### IV

Долго говорили в городе о казни Саида. Давно ничего подобного в Янине не видали; закон этот прилагался не часто, и не все родные были так жестоки и требовательны, как мать и тетка убитого Мустафы. Иные христиане, попроще или позлее, восклицали: «Тем лучше! Пусть турки режутся между собой. С нами они этого делать не могут так легко теперь... Державы не допустят... А за этот анафемский род кто заступник? Разве один Леси, старичок». Другие радовались, что консула напишут своим правительствам об этом происшествии и во всех европейских столицах будут знать, какие ужасы делаются в Турции. Но были и такие, которые вникали в дело гораздо глубже и, качая головой и вздыхая, говорили печально: «Еще есть крепость духа у мусульман! Не правительство желало

такой казни, а семья требовала приложения закона во всей его древней строгости!.. Неприятно христианину видеть, что его враги еще так преданы своему суровому, кровавому закону! Увы нам! увы!.. Мы здесь заняты нашими мелкими раздорами, в Элладе министерство падает за министерством, а мусульмане все терпят, все переносят, мирятся молча со всеми тягостями, и с теми, которые на них налагает правительство, пытающееся хоть для виду стать прогрессивным, и с теми, которых от них требует Коран».

- <sup>10</sup> Доктор Коэвино, который многое понимал так верно и тонко, даже и в политике, хотя он ее и ненавидел (потому, вероятно, что все архонты, учителя и доктора наши на Востоке много занимаются ею), судил об этом деле именно так, как я сейчас сказал. Но он не вздыхал и не печалился, как другие греки, согласные с ним во взгляде, а восклицал почти радостно, назло всем соотечественникам своим: «О! Средние века! О! браво! Средние века! Ха-ха! ха-ха! Какая мрачная, величавая картина!.. Какая трагическая сила духа есть еще у этого племени и в этой религии! Деньги!
- <sup>20</sup> 20 000 пиастров!.. На что нам деньги?.. Мы презираем их, хотя мы и бедные!.. Мы жаждем крови!.. Мы мщения хотим!.. О! что за возвышенный ужас!.. Архонт бы наш, учитель наш премудрый — не 20 000!.. О, о! Он 20 пиастров взял бы с радостью за умерщвление сына!»

- Исаакидес, вечный революционер, послал тотчас две корреспонденции об этом в Афины и в Триест... Я читал их (отец Арсений доставал и запрещенные в Турции газеты). Исаакидес постарался описать дело еще мрачнее, чем оно было, но преднамеренно оставляя кое-что в тумане...
- <sup>30</sup> Например, Саид, все это знали, рассерженный, подставил товарищу нож: Исаакидес писал, что они играли и что ссоры вовсе не было. Он даже нарочно не называл казненного по имени, не говорил, что он турок, и выражался так: «один несчастный юноша», «одно семейство...» Издали люди невнимательные или не знакомые с турецкою жизнью могли думать, что казнили грека. Корреспонденции кончались пламенными фразами о варварстве, о равнодушии Ев-

ропы... О русской крови, бесполезно пролитой под стенами Севастополя...

Консула, вероятно, все что-нибудь писали об этом. На месте казни были почти все драгомань; я сам мельком видел их форменные фуражки; один Бостанджи-Оглу не успел побывать и не узнал даже ничего об этом вовремя. Г. Бакеев был очень разгневан на него за это упущение, и он был прав; все заметили, что из русского консульства не было на месте казни ни чиновника, ни даже кавасса. Маноли-кавасс, всегдашний мой покровитель и друг, тотчас же вспомнил обо мне (он как-то уже успел узнать — всезнающий! — что я там был) и предложил г. Бакееву мои услуги. Г. Бакеев был очень рад, и вечером в самый день казни Саида за мной прислали, посадили в канцелярии и заставили все рассказать, что я видел, без прибавления и утайки. Я рассказал. Г. Бакеев сказал мне довольно холодно: «Мерсі»; а Бостанджи-Оглу тут же заметил: «Не хорошо, что ученик гимназии и совсем посторонний мальчик исполняет ваш долг!»

Бедный *Москов-Яуды* потупил очи и краснел, извиняясь и называя г. Бакеева даже «господин консул», а не г. Бакеев.

Воля ли Божия была на то, или такое особое стечение обстоятельств, только отец мой и я, мы во всем и везде стояли на пути этому очень сведущему в языках и трудолюбивому, но все-таки неспособному, ничтожному и даже несколько низкому молодому человеку! Со временем эти отношения приняли характер настоящей ненависти и явной борьбы, которая кончилась для меня полным торжеством.

Меня, ученика неопытного и застенчивого, какая-то незримая, но сильная волна житейского течения приподнимала и как бы приносила к порогу русских и к русскому консульству. Еще до возвращения отца моего и г. Благова как будто мне чувствовалось, что я уже теперь не просто *райя* беззащитный, а сын русского драгомана, который в Порте может сделать при случае больше самого консула, и воспоминание об этом часто, как богу Гермесу, окрыляло

мне ноги и хоть на минуту, но приподнимало меня от земли смелостью и гордостью. Оставаясь все эллином, я почти русский теперь!.. Никто меня не обидит!.. Как это прекрасно и утешительно! — думал я... Я сказал: «какая-то незримая волна житейского течения»... Да! Это было до такой степени справедливо, что я сам, почти и не замечая того, еще тогда, почти ребенком начал *делать дела*... и в митрополии, и в консульствах, и в самой Порте... *высокой* и страшной Порте... И показалось мне очень скоро многое

10 не так уже высоко и не через силу страшно!

Первое дело мое, и сразу в самой Порте, было вот какое: нужно было защитить от неистовой Гайдуши доктора Коэвино, и я защитил его... Ты удивишься? Слушай, и ты увидишь, что это сделалось все просто и легко.

Был в Янине у нас еще другой доктор (докторов у нас хороших и обученных в Европе много), по фамилии Арванитакис. Он был уже стар и женат давно на гречанке с одного из дальних островов...

Ты, как житель Эллады, сам лучше меня, я думаю,

20 знаешь, как много на островах красивых женщин; я же скажу тебе, что они гораздо оживленнее и чувствительнее наших янинских дам и девиц.

Г-жа Арванитакис хотя в то время была уже не очень молода, но еще красива, разговорчива, бойка и, как слышно, иногда тяготилась однообразною, тихою жизнью нашего города. Я видел сам позднее не раз, как она смело и много разговаривала с Благовым и другими консулами, тогда как наши янинские дамы, надо правду сказать, обыкновенно ограничивались во время визитов и при встречах с

30 иностранцами расспросами о здоровье и погоде или замечаниями о том, что «здесь Турция, варварство»; что «здесь приезжему из Европы должно показаться все нехорошо». Все говорили почти одно и то же и очень мало; разница была в том, что мадам Бакыр-Алмаз говорила степенно и тихим голосом; мадам Несториди говорила нежно, склоняя головку на сторону, как милый анемон, а мадам такая-то кричала пронзительно и на весь дом: «Ту-

речина! Туречина! Господин консул! Туречина! Дороги у нас дурные, несчастные, непроездные...»

Вот и вся разница.

Мадам Арванитаки хотя и прожила уже около десяти лет в Янине и одевалась по-янински в очень широкое и короткое платье на огромном кринолине, из-под которого были видны изредка цветные турецкие шальвары, хотя носила расшитый цветной узенький платочек, прикрепленный лишь на одной стороне головы, но и взгляд ее был пламенный, и походка иная, и речь, как сказал, гораздо более смелая и занимательная, чем у других дам. <sup>10</sup>

Даже одна пустая вещь... У нас есть один обычай: когда на вопрос о здоровье знакомый ответит, что он сам нездоров или жена его, или сын, или кто-нибудь близкий, то приличие требует сказать непременно: «Мне это очень неприятно...» Нельзя воскликнуть: «Ах! Что такое? Что у вас?.. Какое горе!.. Боже!..» Это можно, но после, а прежде сказать надо: «мне это неприятно», хотя бы и небрежно, и улыбаясь, и холодно, изображая на лице своем «что мне, брат, до тебя за дело!» Но сказать нужно... Оно как-то само и не подумав говорится. И точно, все янинские дамы, всех классов общества, и богатые, и бедные, и безграмотные, и в лучшей школе обученные говорят это приветствие точно таким же тоном, каким бы они сказали вам: «сегодня вторник, а не среда!» Только одна мадам Арванитаки умела придать сожалению своему в подобных случаях какую-то живую и приятную театральность: «Боже мой! Ваша жена? Ваша жена нездорова? Почему? Чем? Как мне это неприятно! Как мне жаль... Поверите! Такая молодая, милая!.. Еще недавно она как юный ангел шла по улице!.. Что с ней! Что с ней!» И человеку приятно было слышать эти восклицания даже и тогда, когда он мог сомневаться в их искренности. <sup>20</sup>

У мадам Арванитаки были две маленькие дочери; она занималась ими; но, может быть, ей все-таки было дома очень скучно. <sup>30</sup>

Постоянных гульбищ общественных, балов, театров у нас нет; в домах друг друга посещают редко... Сам Арванитаки был, как я уже сказал, и тогда не молод, гораздо старше жены; седой, в очках, всегда с табакеркой, смирный, простодушный, весь погруженный в чтение и задумчивость, собою неприглядный, низенький. Когда я позднее стал встречать больше людей разных наций и разнородного воспитания, я всегда, вспоминая о скромном, честном, ученом и бесхитростном Арванитаки, находил, что он<sup>10</sup> больше похож на германского профессора, чем на грека; видно было, что долгая жизнь в Германии пришлась вполне ему по природе. Греческого в нем было только имя, язык и, конечно, то сильное патриотическое чувство, которое есть стихия всякой греческой души! Сверх своих серьезных медицинских познаний Арванитаки был замечательный теолог и знал отлично каноническое право. Он был один из тех почтенных греков, которые, не пренебрегая полудикую свою родину, возвращаются домой из Европы с большим запасом знаний и потом живут у нас *по-нашему*<sup>20</sup> в однообразном труде и честной неизвестности.

Итак, черноокая мадам Арванитаки тосковала; она сверх того болела чем-то и доктору Коэвино доверяла больше, чем мужу. Людям очень близким она и сознавалась в этом, говоря с улыбкой: «Я очень уважаю господина Арванитаки, и все считают его очень знающим врачом; но что ж мне делать! У него нет той божественной искры в уме, которая есть у этого безумного Коэвино». И в этом она была права. Когда Коэвино хотел, он был врач превосходный, находчивый, изобретательный, внимательный.<sup>30</sup> Он часто посещал дом скромного Арванитаки, подолгу просиживал, особенно в те часы, когда старик старательно обходил своих больных; он рассказывал жене его о том, что делала Франческа да-Римини, или о том, что на Марсе есть атмосфера и океан, а на Луне, вероятно, нет.

Человеку впечатлительному с Коэвино могло быть иногда томительно и даже, пожалуй, и страшно от чрезмерной быстроты и силы его душевных изменений, вспы-

шек гнева и восторгов, необдуманной смелости и самого ребяческого малодушия и страха... Но скучать с ним было трудно.

Таким образом, посещая часто мадам Арванитаки и врачую ее, Коэвино вместе с тем и развлекал ее много. Она очень дорожила его обществом.

Однажды она созналась ему, что смолоду умела писать стихи, отыскала тетрадку и подарила ему на память следующее свое стихотворение:

В час поздний, вечерний,  
Когда выхожу я  
На берег пустынный,  
Глубоко тоскую...

10

Луна моя, луночка,  
Прошу я, свети мне  
Дорогой утесистой,  
Чтобы легче идти мне...

Чтобы видеть мне море  
И слышать мне волны,  
О скалы как бьются,  
Страдания полны!

20

И мой путь нелегкий,  
И я молодая  
По другу прекрасному  
Томлюсь, изнывая...

Коэвино в восторге возвратился домой, рыкая как лев. Он никогда не сочинял стихов, сел за перо, хотел писать, не мог и наконец ответил ей следующим бешеным взрывом страсти, который он выписал из печатного сборника и отнес ей на другой день, как бы косвенно объясняясь ей 30 этим самым в любви:

Ах! поцелуй  
Один раз в рот!  
Ну вот!!  
Тысячу в грудь...  
Дай мне вздохнуть!



Ах! образумься —  
Что ты, в уме ли?  
О! я не я!  
Глаза потемнели —  
Убил ты меня... и т. д.\*

К несчастью, Коэвино дома г-жу Арванитаки не застал и неосторожно отдал записку со стихами служанке.

Служанка в простоте своей отдала мужу. Арванитаки оскорбился и просил жену не принимать Коэвино так часто наедине без крайности. На следующий день Коэвино явился одетый щеголем и довольный изобретательностью своей, чтоб узнать, что будет дальше... поймут ли его и, если можно, то и насладиться победой... Мадам Арванитаки начала жаловаться на ревность скучного мужа. Вдруг застучали в дверь... Арванитаки, встревоженный за честь свою, возвратился раньше обыкновенного... Коэвино предпочитал остаться в гостиной и не подать никакого вида; но мадам Арванитаки, не желая слышать новых старческих утомительных упреков, почти насильно втолкнула его в стенной шкаф и приперла. Арванитаки взошел, посмотрел туда и сюда и прямо к шкапу; отпер его и увидал Коэвино там с венскою тросточкой, в жакетоне, со шляпою круглой, в свежих перчатках и с *pinse-nez!*..

Арванитаки тотчас отошел, сел на диван и, приподняв на лоб очки, чтоб они не мешали ему утирать платком слезы, начал плакать и сказал:

— Я живу, думаю только о том, чтобы никого не обидеть и не оскорбить!.. Зачем же меня люди так безжалостно оскорбляют!..

Доктор Коэвино был иногда очень добр и совестлив; он вышел, до крайности смущенный и пристыженный

---

\* Это плохое и даже гораздо хуже чем плохое стихотворение действительно из сборника и принадлежит, если не ошибаюсь, одному из лучших афинских поэтов, одному, так сказать, из *лавреатов* новых Афин.

кроткими жалобами собрата. Его игра в легкую итальянскую страсть причинила глубокое горе человеку, которого он сам уважал.

Он пришел домой печальный и взволнованный. Разделся, надел турецкую шубку свою, феску, велел с горя приготовить чай на балконе (потому что день был теплый) *по-русски*, с самоваром, который ему выписал из Одессы Благов и на который он всегда глядя утешался; сел у столика, закурил наргиле и, пригласив Гайдушу сесть с собою, начал ей, как старому другу, изливать свое горе и каяться, и хвалиться, и тосковать, что обидел ближнего, и восхищаться стихами...<sup>10</sup>

Гайдуша сидела, пила чай и слушала... Но когда Коэвино кончил, она внезапно вскочила, так что чуть-чуть не опрокинула на доктора самовар, связала свои вещи в узелок, ушла со двора и потом опять вернулась и с диким хохотом сказала:

— Смотри, доктор, что я сделаю. Я подам паше прошение, чтобы простили того злодея, который хотел меня зарезать и сжечь твой дом; через меня он в цепях работает; я же и выпущу его. Ты знаешь, доктор ты мой, какая я собака?.. Я собака из пастушьей овчарни... от которой волки дрожат и трепещут. Выйду я за него, за паликара, замуж и тогда... посмотри ты, что будет тебе... ни днем ни ночью не будет тебе покоя! Прощай!<sup>20</sup>

Что было делать доктору? Он был ужасно перепуган. Куда броситься за помощью? К кому идти? Ближе всего было идти к г. Корбет де-Леси, так как Коэвино был подданный Ионических островов... Он и пошел, но... буря и гибель!.. Леси осмелял его и даже позволил сказать себе, что такие дела с Гайдушей, с убийцами, заключенными в тюрьму, нейдут такому *джентльмену*. Вообрази себе ярость Коэвино! С тех пор он не ступал на порог своего консула и дал себе клятву посетить его только тогда разве, когда он будет, умирая, звать его, как лучшего, именно лишь как *лучшего* врача! Но теперь, сейчас что делать?.. Страх его был так же быстр и требователен, как и все<sup>30</sup>

другие его чувства и страсти! Идти к Бакееву? Враг... К Бостанджи-Оглу? Глуп; не понимает его, доктора, не ценит... глуп! К Бреше? Необразован; груб. К австрийцу? Добрый повар. К греку? Медлен, осторожен. Скажет: подождите еще немного. Куда? Прямо в Порту? Стыдно, неудобно! И вот нашел наконец. Пришел ко мне взволнованный и бледный; прямо ко мне в комнату; заперся со мною и шопотом, почти со слезами на глазах и обнимая крепко и целуя, рассказал все, как взрослому другу:

10 — Ты сын русского драгомана, мое сокровище... Тебя Сабри-бей, этот милый мой Сабри-бей, так хвалил. Иди, мое сокровище, к нему сейчас, только к Сабри-бею... И скажи ему вот как: ваш друг Козвино страдает от этой мегеры! Помешайте ей сделать это дело... Записки писать, понимаешь, я не желал бы... И об Арванитаки не говори ни слова... А только о мегере и об убийце.

Я не верил, что в силах буду что-нибудь сделать. Но решился и пошел охотно.

20 Мегера была уже и сама в Порте и прыгала, хромая и сверкая взорами, по большим сеням с прошением в руках. Сабри-бей, выслушав меня, много смеялся и сказал: «Бедный доктор!» Потом пошел один к Ибрагиму; потом кликнули меня туда же, и Ибрагим, улыбаясь, заставил меня повторить все. Я повторил все, смиренно и почтительно стоя у стены. Потом кликнули Гайдушу, и беи начали ее серьезно допрашивать:

— Ты, может, замуж за этого наказанного человека желаешь? — сказал Сабри-бей.

— Это воля Божья, — отвечала Гайдуша.

30 — Нет, — сказал Ибрагим важно, — ты должна говорить здесь всю правду. За искренность твою будет тебе и награда. Хотела бы за него замуж? Говори, баба, когда тебе приказывают...

— Какая же девушка не хочет замуж... — отвечала Гайдуша улыбаясь.

— Ты говоришь... девушка? А? Никак ты сказала: девушка?.. — насмешливо присовокупил Сабри.

— Незамужняя то есть женщина, — отвечала ловкая Гайдуша очень весело, принимая эти шутки за добрый признак благосклонности к ее делу. (На меня она взглянула, войдя, но верно ей и в голову не пришло, что я по этому же делу здесь!)

— Как же ты хочешь освободить этого злодея и простить ему, и стать его женою, когда у тебя и теперь на лице видны следы его зверства?

— Бог велит прощать обиды, бей мой.

— Прекрасно. А бедного доктора как же ты оставишь, кто же будет смотреть за ним? — спросил Ибрагим. 10

— Брить его? — сказал Сабри.

— Разве он худо с тобой обращается?

— Нет, — отвечала Гайдуша. — Дай Бог ему здоровья и долголетия... Он взял меня в служанки сиротой и мужичкою меццовской; я дочь носильщика простого. А он из меня теперь человека сделал, который все понимает, и ум мой развил даже, бей-эффенди мой. Но доктор человек большой, имеет связи, отношения, звание прекрасное, а я 20 желаю устроить тоже мою судьбу и освободить этого человека, который уже довольно был за меня правительством наказан.

Турки помолчали, и потом Ибрагим, приняв опять серьезный вид, сказал спокойно:

— Этого нельзя... Иди подобру-поздорову. Вон!

Гайдуша побледнела, но сказала твердо:

— Прошу вас, бей-эффенди мой, отдать это прошение мое самому паше господину нашему.

Ибрагим бросил ей назад прошение и отвечал: 30

— Несчастная! Иди вон! Не ты наказала разбойника, а девлет (государство). Не твоей морде, которую он разрезал, цена, а нужен порядок в городе. Слышишь?

— Бей-эффенди мой... — осмелилась еще сказать Гайдуша.

Но Ибрагим привстал немного с дивана, и Гайдуша выскочила в дверь как молния.

Беи захохотали громко, и я засмеялся, но слегка и всем видом моим показывая, что я никогда не позволю себе забыть, в каком высоком месте я, недостойный, пребываю в этот миг.

Я поблагодарил обоих беев, низко поклонился им и вышел очень довольный, конечно, собой и первым ходатайством своим в Порте. «Вот что значит *тень* отца моего и русский флаг!.. И я, мальчик, сделал дело, благодаря тому, что этот флаг и эта тень меня осеняют...»

<sup>10</sup> Но и эта радость моя была очень непродолжительна. За воротами конака меня встретила фурия. Я не ожидал никак ее тут увидеть и, не принимая никакого участия в сцене ее с беями, я думал, что и она не обратила на меня внимания.

Едва только вышел я со двора на улицу, как Гайдуша внезапно кинулась на меня и закричала так, что прохожие остановились.

— Это ты, *bastardo*, это ты, змея, подкрался уязвить меня... Проклятый!.. Вы все с отцом своим, загорская деревенщина, путаетесь во все. Подожди, подожди! Почернеешь и ты скоро, три раза проклятый, чтобы тебя взял Харон скорее от лица земли... Подождите!.. И отец твой ослепнет, я тебе говорю, я!.. И ты, *bastardo*, ни в чем успеха не будешь иметь... И матери твоей глупой пусть Бог никогда грехов ее не простит... А! Чтобы вы все никогда не спаслись ни в этом свете, ни в будущем...

— Стой, стой, кира-Гайдуша, за что ты нас проклинаешь! — воскликнул я в ужасе, и точно вся внутренность <sup>30</sup> моя содрогнулась от этих искренних и пламенных проклятий... У этой женщины было столько энергии и в духе, и в речах, и в движениях, и во взоре!

— За что? за что?.. Смотрите на этого невинного и бедного мальчика! Подожди... лопнут у отца твоего больные его глаза, лопнут... И что вы такое? Что вы? Разве вы из настоящей архонтской городской семьи? Разве в вас какое-нибудь особое благородство есть? Какая-нибудь

фантазия? Образованность? Деликатные вы люди, что ли?.. Знаешь ли, что у меня, дурак ты, больше ума, чем у всей вашей семьи!..

Я не знал, куда укрыться от стыда и ужаса; жида, которыми полон этот квартал, обступили нас и смеялись. На счастье мое один из турецких солдат, находившихся поблизости, обратил внимание на вопли Гайдуши, подошел и, обратясь к ней, спокойно спросил ее:

— Зачем ты здесь, блудница, так громко кричишь?..  
Здесь конак паши близко.

10

— Конак паши?.. — вспыхнув еще больше в лице, повторила иступленная женщина. (Должно быть, она горела желанием и пашу оскорбить в этот миг, но удержалась.)

— А если к паше бедных людей добрые люди не пускают?..

— А не пускают, значит не надо; должно идти домой, — сказал ей спокойно старый солдат, взял ее за плечи, повернул, толкнув хорошенько в спину, и хладнокровно промолвил:

20

— *Гид, роспұ!* (марш, блудница!) — Одним мановением руки разогнал жидов и сказал мне строго: — И ты, малый, иди домой.

Я признаюсь, грешный человек, благословил в эту минуту и власть султана, и беев, и солдата! Я с радостью вручил бы старому воину пять-десять пиастров бакчишу; но я говорил уже тебе, что мать моя редко позволяла отцу давать мне деньги; она, ты это знаешь, все боялась, чтоб я не пошел куда-нибудь... туда, куда, по ее мнению, уже давно, вероятно, влекли меня мой высокий рост, мои восемнадцать лет и розы воздержной и здоровой юности, которые все больше и больше расцветали на моих щеках. Однако я нашел в кармане два пиастра, подошел тихонько к солдату, сказал почтительно и робко: «Ага мой, я вас благодарю!» и положил ему деньги в руку. Солдат сурово взглянул на меня, на деньги, приложил руку к груди и удалился молча.

30

«Добрый воин, — подумал я, — ничего худого мне не сделал и от ведьмы бешеной спас! Дай Бог ему жить и спастися! Нет, хорошие люди эти турки, что говорить!»

Я поспешил обрадовать и утешить доктора. Он побился без служанки дня два, а на третий Гайдуша снова пришла к нему, и они надолго помирились. Он кричал ей: «А-а! ты поняла теперь мою силу в Порте! Поняла? Постигла?»

Со мной с тех пор он навсегда перестал обращаться<sup>10</sup> важно и небрежно, а все ласкал и обнимал, и звал: «сокровище мое!» Незадолго до этой истории я пришел к нему просить немного денег взаймы на табак; он все переспрашивал у меня: «На табак? на табак?» и достал очень медленно и дал немного, с недовольным выражением лица. А после этого дела он сам, встречая меня, тотчас отводил в сторону и заботливо и тихо спрашивал: «Табак есть?» И если не было, поспешно клал мне в руку большую серебряную монету и настаивал: «Возьми! возьми, мой Адонис! Возьми, мое сокровище!»

<sup>20</sup> Таково было мое первое дело в Порте.

## V

Другое дело, в котором мне волей и неволей пришлось принимать участие и за которое я пострадал немало, было гораздо важнее ссоры доктора с Гайдушей. Если гнев и проклятия Гайдуши причинили мне много стыда на улице и заставили меня вознести к небу даже мольбу за долголетие султана и его слуг, то в этой второй истории я<sup>30</sup> прошел через такие минуты страха, которых я не испытывал ни на озере ночью, когда мне казалось, что лодочник с большими усами хочет нас утопить за то, что г. Бакеев назвал Рамазан праздником фанатизма, ни при виде казни Саида.

На озере я не чувствовал по крайней мере за собой самым против турок никакой вины и преступления; во

время казни я был поражен больше жалостью, чем страхом за себя... Но теперь... Слушай и радуйся, мой патриот!

Есть в Эпире некто поп Коста. Кто только его не знает? И как его не знать! Голос у него громкий, рост высокий, вид бесстрашный, взгляд орлиный; он уже не молод — борода и кудри его давно седеют, но лицо его, тонкое и твердое, мне кажется, до сих пор еще моложе моего, и в то время на нем не было еще ни одной морщины. У него в предместье есть небольшой домик; есть попадья еще не старая, румяная и полная; есть двое деток; <sup>10</sup> но нет ни прихода, ни денег... Приход у него отняли за «постоянное вмешательство в неподобающие дела». Приход, по настоянию турецких властей, отнял у него сам янинский владыка. И владыку утомил поп Коста необузданным и беспокойным нравом своим. Престарелый владыка искал лишь спокойствия и мира. Довольно с него было и тяжкой ответственности, которую он нес пред Портой как главный представитель народа своей епархии, народа, ты знаешь, местами угнетенного в *чифтликах* у беев-землевладельцев (из них очень немногие, увы! похожи <sup>20</sup> на благородного Абдулраима), зато местами независимого, тревожного, воинственного, склонного к распрям, восстаниям, разбою, по одной лишь страсти к героизму и молодечеству. Довольно было с бедного владыки распрей и оппозиции наших архонтов, которые претендовали распоряжаться без зазрения совести суммами *благодетелей*; которые хотели, чтоб их дети в училище имели особые права (как ты видел в истории учителя с отчаянным моим Аристидом); довольно было с преосвященного и того, что богатые <sup>30</sup> яниоты не признавали равными себе не только бедных и поработенных землепашцев Янинской долины, не только сулийских героев-клефтов, которые в случае борьбы за отчизну сумели бы снова напомнить деяниями своими кровавые и блестящие времена Марков Бодарис и Дзавели; нет, они не хотели равнять с собою и нас, богатых и грамотных загорцев, во всей Турции, Греции и Молдаво-Валахии знаменитых умом, изворотливостью, ученостью,



жертвами денежными и трудами на пользу родины... Митрополиту приходилось с утра и до ночи думать то о том, чтобы паша не подозревал его в сообщничестве с недовольными, то о том, чтобы бедные греки не роптали на него за потворство богатым; чтобы богатые не сочли его демагогом и не потребовали у патриарха его смены, не набрали бы сотни подписей под жалобой на него; чтобы консула, наконец, не писали бы против него в свои посольства — один, что он «слишком туркофил и даже по-турецки говорит охотнее, чем по-гречески»; а другой — что он в постоянных сношениях с людьми подозрительными и буйными, что он, может быть, председатель какой-нибудь тайной *гетерии* революционной, орудие греко-русских крамол и подкопов. Ему хотелось отдохнуть на диване, почитать спокойно, грея у жаровни старые кости, а тут присылали от паши его требовать немедленно... Поймано двое греков; они вырезали в дальних горах турецких караульных. Один из этих ужасных, растрепанных людей с длинными волосами, с лицом зверским и бесстыдным, ссылался на него, уверяя, что владыка его знает давно и что он совсем не тот убийца, а человек миролюбивый и хороший. И вот ему надо было сесть на коня и спешить в Порту, и отречься от этого человека, и усовещевать его...

Прибегал к нему из дальнего сельского прихода молодой и красивый священник и показывал с гневом и воплями синие пятна на теле и царапины глубокие и говорил, что его поймали ночью какие-то люди христиане и арнауты-турки вместе... и пытали, и увечили, и убить хотели... И что он дойдет до патриарха и до послов великих держав, и до визиря великого, и до султана самого, если его не удовлетворят и не накажут примерно оскорбителей и мучителей этих; что он, если его не удовлетворят сразу, примет Мусульманство или Католичество, лишь бы найти себе защиту и путь ко мщению... Поднимал опять владыка тяжелое и старческое тело свое с мягкого дивана и садился на коня и ехал... И вот оказывалось, что молодой священник был волокита и обольститель, что он был именно тем, чем

хвастался Аристид: «Яни и все тот же Янаки, да распутный Яни!» И что арнаутам-соседям и крестьянам-грекам наскучили его грехи и его любострастные интриги, от которых не могла защитить ни христианская святыня семейного очага, ни мусульманские затворы; несколько молодых и той и другой веры согласились поймать его ночью и наказали сурово и крепко. Турки-чиновники и беи радовались и смеялись этому позору и говорили одобрительно: «Хороший поп! красивый, очень красивый поп! прекрасный поп!!» И владыка был посрамлен... 10

Так было трудно и скучно иногда митрополиту, а тут еще от попа Косты покоя нет. Вздохнет владыка и скажет себе: «Слава Тебе, Господи, кончились главные дела!.. Сии на колесницах, сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего призовем».

Но нет, самое *главное* дело еще впереди. Поп Коста не дремлет: то девушку-христианку из деревни трое турок похитили и везут на муле в город, чтобы потурчить ее (с ее согласия, так как ей один из этих турок понравился и обещал ей много денег). Поп Коста один нападает на турок при въезде в город, отбивает девушку, стыдит ее, ведет в митрополию, шумит... Правда, он поклонится прежде в ноги владыке, но встав, он говорит почти повелительно: 20

«Делай свой долг, святой Янинский, я свой кончил!»

То случается так, что маленький сын попа Косты ссорится с соседним турчонок; турчонок его бьет; мальчик бежит домой, турчонок за ним; попадья выходит из дверей и бьет маленького турка; мать турчонка вступается и бьет попадью, срывает с нее платочек, треплет ей косы; возвращается домой поп Коста и говорит: «Хорошо!» Идет к турчанке на двор, вызывает ее, внезапно припирает калитку — «око за око, зуб за зуб!» — срывает с нее покрывало; треплет ее остриженные в кружок волосы; бьет по щекам и уходит к себе. По всему кварталу крик и вопль неистового негодования. Турки собираются толпою; всякие турки: ходжи сердитые, купцы с базара, арнауты сельские, 30

лодочники и носильщики оборванные и крепкие; вопль и крики; камни летят в двери и на двор попа Косты. Поп Коста ворота на запор; берет двухствольное ружье в руки и говорит попадье: «Иди за мной и держи заряды». Он идет на небольшую вышку, которая у него есть около ворот, с окном прямо на улицу; отворяет окно; камни летят в него, но он, поводя грозными очами, румяный от какого-то полурадостного гнева, взводит курки и прицеливается... в одного ходжу... ходжа бежит. «Разойдитесь все! — кричит им поп Коста, — слушайте меня». Турки ободряют друг друга, и снова камни летят в окно; один попадает попу в грудь, он опять целится и кричит: «Разойдитесь и позовите солдат. Иначе вас накажет паша. Не то время теперь, что вы думаете! И на вас есть у падишаха закон. Отойди ты, молодец, я в тебя стрельну». Молодец отходит, бегут за солдатами. «Ага мой! — кричит поп Коста начальнику, — разгони народ этот и води меня к паше, если я виноват, а в доме моем разбойничать я их не пущу. Ты помни, ага, что это долг твой, и берегись».

10 — Знаю, знаю! — говорит мрачно чауш. Советует людям разойтись подобру-поздорову, советует попу положить ружье и выйти. Приставляют одного солдата к дверям — хранить дом и детей, а попа и попадью ведут в Порту, окруженных толпой. Турчанка прибитая идет тоже и несет в руке клочок волос своих.

30 Паша опять шлет за митрополитом. Поп ничего не отрицает; он считает себя правым и сам требует удовлетворения, ибо не должна была турчанка врываться на его двор и бесчестить его жену. Паша присуждает его на месяц в тюрьму; он сам находит, что турчанка виновата, но Ибрагим и прогрессивный Сабри-бей оба говорят, что невозможно допустить такого преобладания гяуров... Неслыханное дело, чтобы гяур осмелился взойти в турецкий двор и избить мусульманку. Только опасаясь консульского вмешательства, можно заменить ссылку тюрьмою. Поп в свою очередь не дремлет; он находит себе помощника, он из тюрьмы пишет циркуляры консулам, он во всем винит вла-

дыку; он пишет: «Невыносимые гонения, которые я терпеваю от святого Янинского, превосходят меру моих сил, истощенных на поприще служения алтаря Господня. Цивилизация иностранных агентов такова, что они легко поймут мое положение...»

Ашенбреннер идет к Бреше; Бреше идет к Благову и Киркориди; все идут к равнодушному Корбет де-Леси. Корбет де-Леси полагает, что Порта права. Благов, неожиданно для Бреше и для всех, согласен с ним и прибавляет, что поп Коста подает о себе очень дурное мнение<sup>10</sup> жалобами иностранцам на своего владыку. Бреше вне себя; ему хочется показать везде свою власть, и в этот день, как и в другие, он, конечно, с раннего утра думал — кого бы еще устроить? Бреше опять грозит «снять кожу с головы митрополита, de cet indigne pasteur!» Но погорячившись, он, однако, не делает ничего, ибо считает попа Косту агентом Благова и не хочет за это ему помогать.

Благов между тем посылает сказать попу, что это ему<sup>20</sup> полезно; пускай посидит немного и охладится от бурных своих страстей.

Но сам он его очень любит и открыто говорит и Бостанджи-Оглу, и Бакееву, и доктору: «Что архонты? Архонты скука! Вот поп Коста! Таких я люблю... разбойников!» И чрез неделю, не более, он говорит митрополиту: «Поклонитесь за этого попа. Мне его жалко. А об облачении и о митре я уже писал куда следует»... Едет опять старик в Порту; кланяется, просит дрожащим от волнения голосом и обещает за первый же поступок лишить<sup>30</sup> попа Косту прихода. Поп выходит и благодарит митрополита, как будто он и не знает, что митрополит ничуть не желал его выпустить; и владыка благословляет его на новые подвиги патриотизма и отваги, как будто и он не знает о том, что поп Коста писал: «Нестерпимые гонения, которые святой Янинский...», как будто он, владыка, не горюет, думая, что консула давно написали об этом все ко всем своим дворам, кабинетам и посольствам,

что святой Янинский гонитель невинных и кротких служителей алтаря Господня в угоду агарянам... Владыка Янинский уверен разве только в одном Леси... Леси или вовсе ничего не писал, или писал, что Порто умеет еще покорять буйных людей и встречать поддержку в почтенном пастыре янинских христиан.

И вот однажды, «одним печальным четвергом и средой одною горькою», я сидел после полудня у окна и учил прилежно урок. На широкие плиты церковного двора лился потоками зимний дождь. Вдруг вижу я, идет, бежит по нашему двору женщина в турецкой одежде; она останавливается, открывает лицо, озирается со страхом, смотрит в окна наши... Я вижу, что она очень бледна и худая, не старая, но и не первой молодости; собой еще не дурна. Я открываю окно с удивлением и хочу спросить ее, что ей, но в эту минуту вслед за ней бежит поп Коста, тоже озирается, тоже смотрит на наши окна... Потом бежит назад, со тцанием запирает калитку нашу и кричит ей: «Иди, иди в комнату скорее!» Женщина бросается поспешно в нашу дверь... Я тоже выбегаю из моей комнаты и застаю ее лежащую у ног отца Арсения, который взволнован немного, но весело смотрит и повторяет: «Хорошо, хорошо, хорошо! Опомнись, благословенная моя, опомнись!»

Турчанка молча держит одною рукой его рясу, а другую прижимает к сердцу и, закрыв глаза, шопотом восклицает: «Христос и Всесвятая! О, Всесвятая Дева моя!.. Госпожа моя, помилуй меня, помилуй!»

— Помилует, помилует, — говорит ей растроганный священник.

Входит поп Коста; лицо его еще веселее, чем у отца Арсения; руки в карманах рясы: «Видишь нас! Что мы такое!» Входит парамана наша, несет воду свежую и дает пить турчанке. Выпив, она вдруг встает и внезапно восклицает со страстью и отчаяньем: «Нет, нет! Я погибла! Сердце мое испорчено, и Харон меня скоро возьмет». Потом опять садится на пол, опять закрывает глаза и, качая

головой, твердит: «Харон, Харон, Харон! буря и гибель моя... Смерть!»

Что такое? Что такое? Я смотрю на всех с изумлением, и любопытство пожирает меня.

Вижу, оба священника все веселы. Турчанку поднимают и успокаивают на диване. Но она все держится за грудь и все говорит о Хароне, о лютой смерти неизбежной.

— Что ж Харон? Что ж Харон? — замечает отец Арсений. — Что тут вредного? На том свете венец неувядаемый ты получишь. <sup>10</sup>

— Сердце мое разрывается, учитель ты мой, — говорит турчанка. — Я давно больна, и в груди моей точно птичка живая крыльями бьется что-то, все бьется... Ах! Увы мне! увy мне!

Священники уходят оба в другую комнату, совещаются долго и опять приходят; парамана тогда говорит мне с улыбкой:

— Я знаю ее. Она маленькая еще потурчилась. Она была служанкой тогда у Раки-бея; потурчили ее; замуж выдали; приданое дали; муж ее хороший был молодец: высокий, цветом цвел тогда. Правда, что турок он был. Ну, что делать! А в 54-м году его убили... Вот она, бедная, овдовела... Что вдова? вдова разве человек? Тихо пойдет по улице — люди скажут: «она ломается так нарочно»; скоро пойдет — люди скажут: «Она мужа хочет... за мужем бежит!» Да! И так дело противное, и этак дело худое. Несчастье! <sup>20</sup>

— А теперь чего она хочет? — спросил я у параманы.

Но прежде чем успела парамана ответить, турчанка <sup>30</sup> встала быстро с дивана и, взяв мою руку, воскликнула с жаром:

— Ты, дитя мое, хочешь знать, чего я хочу? Чего я хочу, ты спрашиваешь? Спроси ты у меня самой, паликар мой молоденький! Я хочу умереть в Христовой вере... Я хочу, чтобы Св. Георгий Янинский Новый исцелил меня, и хочу, чтобы перестала трепетать эта птичка

живая, которая в груди моей так делает... скоро, скоро, скоро. И потемнеет в глазах моих... И я падаю. А если мне умереть судьба скоро, хочу, чтобы меня попы хоронили, не ходжи, попы... Вот чего я хочу, паликар ты мой, мальчик ты мой хороший. И боюсь я турок, боюсь я быть с ними, боюсь, что они или убьют меня как-нибудь, или настраивают меня, и издохну я в грехе как собака.

Священники возвратились задумчивые. Поп Коста сказал:

10 — Хорошо, теперь я сам привел ее сюда днем через огороды и дивлюсь только одному, как это нас с ней никто из турок не приметил... Днем, посудите! Поп Коста с турчанкой бежит... Но в митрополию через базар вести днем?.. Базар — не огороды... Буря и гибель моя! Что делать? Мне бы только до мощей Св. Георгия Янинского довести ее. И там бы я ее в надежде на помощь мученика оставил...

Пуше всего поп Коста не хотел, чтобы митрополит знал об его участии: не зная о нем, он охотнее защитил бы 20 турчанку. Все предлагали свои советы. Отец Арсений говорил: «пусть парамана ее отведет»; парамана говорила: «пусть одна дойдет; разве не ходят турчанки? Больше нашего по улицам гуляют; а я боюсь. Может быть, турки теперь уж узнали, что она с попом куда-то убежала, и ищут ее»... Турчанка говорила ей: «Радость ты моя! Что мне делать?.. Теперь я боюсь одна идти... Разорвут меня турки!»

— Не разорвут! Зачем рвать! — сказал насмешливо поп Коста. — А лучше вот что я скажу... — И, взглянув на меня, он спросил: — Это кто такой этот молоде- 30 чик?

Отец Арсений сказал ему, кто я. Тогда поп Коста обратился ко мне и сказал:

— Я тебе, молодец, скажу такое мое слово: сделай ты душеспасительное дело. До вечера ждать нельзя; надо спешить, пока митрополит еще в конаке у паши. Переоденем ее в платье параманы; черный платок большой ей на голо-

ву накинem; и ты веди ее во имя Божие и во славу Его!.. А мы следом за вами с отцом Арсением.

Прошу тебя, суди сам, до какой степени должно было такое поручение казаться мне страшным и как я содрогнулся, услышав такие слова.

— Учитель! — сказал я, чувствуя, что ноги у меня слабеют, — учитель... Я еще мал для таких дел.

Поп Коста смерил меня с ног до головы (я был почти одного роста с ним), и глаза его засверкали злобно.

— Правда, что ты мал! — И потом, топнув ногою, 10 воскликнул с отчаянием: — Говорить нам теперь много, христиане вы мои, некогда!

У отца Арсения глаза тоже блистали, и он сказал мне:

— Иди, иди, Одиссей. Я тебе говорю, иди... Это великое дело — спасти душу и вырвать ее из рук врага... Иди, я тебе говорю, и не бойся... Христос и Всесвятая доведут тебя в целости до митрополии... Никто ее в этой одежде не узнает, и на тебя меньше обратят внимания, чем на нас, попов. Идет малый с матерью — и 20 только.

Священники были, разумеется, правы, и время было дорого. Я решился идти, восклицая мысленно: «О Боже! подкрепи меня... Я не Аристид... в груди моей не железо и в ногах не сталь вложена... Доведи меня только живого с этою бедною женщиной до митрополии через этот многолюдный базар, где сидят и ходят такие бородатые и длинноусые агаряне, враги Твои, Христе Боже мой, и я клянусь, что как только немного разбогатею, то сделаю серебряную ручку на икону Матери Твоей в нашем загорском параклисе *Широчайшей Небес*». 30

— Идем! — сказал я бодро турчанке, когда она переоделась и покрылась большою черною шалью, как греческая вдова.

Я часто замечал и позднее, что после усердной молитвы мой ум светлел и я становился умнее и находчивее. Выходя из дверей Св. Марины, я вместо того, чтобы вести Назли (так ее звали) прямо в митрополию, довел ее поспешно до



ворот русского консульства (оно было несравненно ближе от нас) и кинулся в них, озираясь. Назли молча вбежала за мною.

Посреди большого двора стоял перед Бостанджи-Оглу Маноли, подпершись руками, и говорил ему:

— Нет! Несчастный Бостанджи-Оглу... Этого не будет, что ты желаешь... чтоб я шагал впереди перед тобой, как перед консулом или вице-консулом,\* или перед первым драгоманом их... Я всегда буду ходить с тобой рядом, до тех пор пока сам господин Благов не прикажет мне... Потому что до учености твоей, мне нет дела, и ты человек не важный и не великий, и даже довольно низкий, я тебе скажу, и обкрадываешь господина Благова...

— Где ты видел, что я краду, осел! — воскликнул Бостанджи-Оглу.

— Нужда мне видеть большая! — сказал Маноли насмешливо.

Я кинулся к Маноли и сказал ему с энтузиазмом:

— Кир-Маноли, золотой мой, надо скорее свести эту женщину в митрополию... Она потурчена и хочет возвратиться на лоно Церкви... Ты знаешь, я еще мал для таких дел... И я пойду с вами неподалеку... Только надо вам вести ее... Вы человек воинственный и вооруженный, а я что могу?

Бостанджи-Оглу тогда вмешался и сказал сердито:

— Хорошо ты говоришь, что ты мал еще. Зачем тебе-то в политические дела впутываться? Я не могу отпустить Маноли. Господина Бакеева нет дома теперь, и без спроса его кавассы не должны мешаться в подобные дела.

— Хорош и ты, — сказал ему на это спокойно старый Ставри. — Успокойся. А ты, молодец, скажи, какое это дело.

---

\* Вице-консул — секретарь консульства.

Но я сказал, что говорить некогда, что после всё узнают, что меня отец Арсений прислал; Назли говорила то же самое и умоляла. Тогда Ставри сказал:

— Так мы даже оба пойдем; но не так, как ты, Одиссей мой, говоришь. Ты иди с ней вперед, чтобы было не так заметно и чтобы не говорили без нужды про консульство, а если что случится, мы с Маноли будем близко!..

— Браво! — воскликнул Маноли, расправил усы, поднял плечи и пошел быстро к воротам. 10

Мы с Назли за ним; за нами Ставри.

— Куда? куда? Вы с ума сошли, — кричал мне вслед оскорбленный Бостанджи-Оглу. — Куда? Вы потеряли оба голову! Вы меня, драгомана, не слушаете, а слушаете пустого мальчишку.

И он махал своим зонтиком и руками; но мы все спешили молча через широкий двор.

— Анафема вам всем! Чтобы вам до митрополии всем, дуракам, не дойти, — сказал наконец в исступлении «московский яуды» и успокоился. 20

Дорогой я шел нарочно не спеша и постоянно ободряя себя мыслью, что в двадцати каких-нибудь шагах за мной следят два таких испытанных помощника с ятаганами и усами, «с железом в груди и со сталью в ногах», не чувствовал уже такой боязни, как прежде. А когда мы с Назли взошли под старую крышу темного базара и зашумели вокруг меня люди в тесноте, я как опьянелый шел вперед и ничего уже не помнил... Одну секунду только я ужаснулся. Уже поворачивая к митрополии, увидел я перед собою внезапно страшного дервиша Хаджи-Сулеймана с 30  
секирой в руках:

— Га! га! — закричал он так зверски, что все прохожие остановились. — Га! га! Рогач, негодяй, куда ты бежишь?

Назли также в страхе остановилась и закрыла еще больше лицо платком. У меня подломились ноги, но я вспомнил, однако, что это, вероятно, обычная ласка юро-

дивого и что он узнал меня, вспомнил, как я подавал ему варенье и кофе у доктора, и радовался встрече... Что было делать? Он все стоял и кричал сердито:

— Рогоносец! Гранитель мостовой ты этакий... С женщинами бегаешь... Га! га!.. Анафема... На, целуй мою руку...

Купцы в лавках хохотали; я, наконец, приложился к руке, которую он мне протягивал, и хотел идти.

Каждый миг нам был дорог... Кавассов я потерял из виду в толпе... Дервиш, как только я поцеловал его руку, утих и хотел идти, но вдруг (о! ужас вспомнить) обратился к Назли и сказал ей:

— Ты мать ему, верно? Я твоего мужа знаю, зачем ты черное носишь?..

Я сказал:

— Мать, мать... Мы спешим, Хаджи, очень спешим... (А между тем человек десять любопытных уже окружили нас.)

В эту минуту раздался голос Ставри:

20 — Айда, айда! Вперед, Одиссей... Айда! Хаджи, не мешай...

И мы прошли благополучно и эту подводную скалу, о которую чуть-чуть было не разбилось все мое мужество. Ворота митрополии были близко; но мы долго еще слышали брань Хаджи-Сулеймана; теперь он, стоя на месте, бранил моего спасителя Ставри: «Разбойник! Разбойник!»

Наконец, наконец, наконец стукнула за мной калитка; я вздохнул как пловец, выброшенный волною на берег, при всех поднял руки к небу и сказал:

30 — Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром!

Назли, как только почувствовала то же, что и я, что она в безопасном месте и окружена одними друзьями, внезапно скинула с головы шаль, как исступленная бросилась в маленькую церковь Св. Георгия Нового Янинского, упала на землю около мраморной гробницы его и восклицала: «Святой мученик мой... спаси меня!.. Пожалей меня,

святой ты мой... Не дай мне погибнуть, как ты погиб сам; *елейсон му, Кирие! елейсон му!*»

Сбежались за нею в параклис все мы: кавассы, я, три женщины, которые жили при митрополии, сторож и *кандильянафт*,\* и дети женщин, и слуги епископа. Вслед за тем вошел и сам отец Арсений с торжественным и радостным лицом. Двое нищих приковыляли на костылях.

Назли лежала, приникнув лицом и губами к холодному мрамору, и только шептала: «*елейсон му! Агие! елейсон му!*»

10

И мы все растроганные стояли вокруг нее и повторяли тихо и все дружным хором: «*Елейсон имас, о Феос, елейсон имас!*»

## VI

Пока мы с Назли и кавассами шли в митрополию, пока пришли, пока отец Арсений и кавассы и все мы утешали Назли у гробницы Св. Георгия и вместе с нею молились о ее спасении, поп Коста поспешил в Порту и там, в толпе просителей и других людей, призванных по делам, нашел какого-то такого человека, который взялся доложить митрополиту о том, что в митрополию прибежала турчанка, желающая принять Христианство. (И это было не так просто, как кажется: митрополит сидел у паши в совете, и к тому же поп Коста, как я уже сказал, не желал показываться сам на глаза владыке, потому что владыка готов был всегда с недоверием и гневом относиться к «его делам».) Наконец владыку вызвали и сказали ему: «Одна турчанка в митрополии желает принять Христианство».

20

Митрополит поспешно возвратился в приемную паши и воскликнул:

30

— Видите, эффенди мой! До чего враги мои злобны; они подослали в митрополию турчанку искать обращения

---

\* Лампадовозжигатель; при церквах на Востоке есть такая должность.

нарочно с целью расстроить меня с вами и вселить в вас ко мне недоверие.

Паша просил его успокоиться и доверчиво советовал ему послать своего собственного митрополичьего кавасса, чтоб узнать настоящим образом в чем дело.

Митрополит, однако, во гневе (все подозревая Куско-бея и других врагов своих в интриге) приказал кавассу в присутствии паши выгнать эту женщину вон тотчас же!

10 Кавасс пришел и застал нас всех у гроба Св. Георгия так, как я рассказал. Он сказал Назли:

— Уходи вон сейчас! Владыка так приказал.

Но Назли отвечала спокойно:

— Нет, я от святого мученика не пойду. Он меня не пускает.

Никто из присутствовавших кавасса не поддержал, и отец Арсений прибавил от себя:

— Куда ей идти отсюда?

20 Когда кавасс известил владыку о том, что Назли уходить не хочет, митрополит сел на коня и приехал сам.

Он вошел разгневанный, руки его дрожали, лицо было встревоженное. Мы все молча низко, низко поклонились.

Отец Арсений сделал ему три земных поклона. Назли все лежала, припав лицом к холодному мрамору гробницы.

— Это ты привел ее? — спросил владыка отца Арсения.

30 — Я, старче, я, я... — сказал отец Арсений весело и без малейшего смущения.

— Ты?

И митрополит долго глядел на него молча и подавляя бурю гнева, которая кипела видимо в нем... Потом сказал:

— Чтò ж, это хорошо... Не сподобимся ли мы с тобой мученического венца за это?.. А? как ты скажешь?..

— Простите... — сказал Арсений и еще раз поклонился в ноги.

Владыка продолжал все еще бороться с своими чувствами и потому, видимо, взвешивал каждое свое слово. Обращаясь к Назли, он сказал ей тихо, но с негодованием, дрожащим в голосе и взгляде:

— Встань, благословенная, подойди, поцелуй мою десницу. Дай мне взглянуть на себя, что ты за человек.

Назли встала и тотчас же, упав ему в ноги, сказала тихо и проникающим в сердце голосом:

— Старче мой! милый мой старче!.. Барашек ты мой старче... я скоро умру... мой старче!..

10

И, качая головой, она села на пол у ног его и заплакала. Потом сказала:

— Поди сюда поближе, деспот ты мой, эффенди ты мой, паша ты мой! дай руку свою...

Митрополит, тронутый, подошел ближе, нагнулся к ней и подал ей руку; она поцеловала ее, потом, приложив руку его к своей груди, в которой так сильно билось сердце, вдруг закричала раздирающим голосом:

— Слышишь? слышишь ты, как оно бьется?.. Слышишь, морé деспотиму? Умру я, море деспотиму? и не хочу я умирать турчанкой, слышишь ты?..

20

Тогда митрополит поверил ей, лицо его изменилось и успокоилось. Он стал спрашивать у отца Арсения, кто она и откуда, из какой семьи и каких лет была потурчена и когда задумала обратиться.

Выслушав все внимательно, митрополит позволил ей оставаться тут пока, а сам велел опять подать себе коня и вышел из церкви, говоря отцу Арсению со вздохом:

— Хорошо это! Но посмотрим теперь, что нам с турецкиной со всей этой делать... Консулов известить бы надо стороной... поскорее...

30

Отец Арсений повторял с радостью:

— Известим! известим... известим... Хорошо! хорошо! Все хорошо... Все слава Богу... Известим... известим...

Лошадь подавали; я бросился держать стремя; тогда только владыка заметил меня и сказал:

— А! и ты, благословенный, здесь?..

Он подал мне руку и прибавил, обращаясь к отцу Арсению:

— Ты бы сам здесь с ней остался; а к русскому и к эллину можно хоть бы и его послать. Он мальчик разумный, и отец его драгоман ихний... Не так заметно будет, как если от нас кто-нибудь пойдет... Как ты думаешь, сын мой?

Я сказал: как прикажете; и уж ободренный первым успехом, одушевленный мыслью о спасении бедной Назли, <sup>10</sup> успокоенный тем, что теперь один, без Назли, я пройду безопаснее, я полетел как на крыльях в русское консульство. Из осторожности я все-таки обошел базар далеко кругом и миновал благополучно все те места, где боялся встретить турок. Но я боялся напрасно. Еще в городе немногие знали об этом событии.

Гораздо труднее было мое положение в консульствах. Эллинского консула я не застал дома; побежал к отцу Аристида, к драгоману, и его не застал; прихожу на русский двор, Ставри говорит:

<sup>20</sup> — Поди в дом Бакеева, там и Бостанджи-Оглу чай пьет, потому что у Бакеева сегодня француз и австриец в гостях.

Я спешу к Бакееву и только что отворяю калитку на дворик его, прямо мне навстречу monsieur Бреше с своим кавассом. За ним австрийский консул и сам Бакеев.

Я посторонился поспешно и не знал, что мне делать. Они уходили, и я не смел остановить их и сказать в чем дело. Никто мне этого не поручал и не приказывал.

К счастью, сам Бакеев, увидав меня, сказал:

<sup>30</sup> — А! вот и самый этот Одиссей!..

Я понял, что они уже знают о деле Назли. (В самом деле, Бостанджи-Оглу, верно, обдумав после, что он не имеет права пренебречь этим, поспешил отыскать управляющего и рассказал ему.)

Консула остановились, и Бреше, повелительно обращаясь ко мне, с уничтожающим взглядом и строгим голосом сказал:

— Voyons de quoi s'agit-il?

Я сказал только, что отвел в митрополию одну турчанку, которая желает обратиться в Христианство...

— Et ce coquin de Déspot-effendi que fait-il maintenant?

Я сказал:

— Je n'en sais rien, monsieur le consul. Меня не он прислал, я сам пришел.

— Он, я думаю, ничего не делает! — продолжал monsieur Бреше. — Он любит только, как все они, чтоб ему говорили: «*Севасмиотатэ! Паниеротатэ!*» Qu'en<sup>10</sup> dites-vous, monsieur Ашенбреннер? Vous en savez quelque chose vous aussi? Пусть будет так, мы займемся этим делом...

И потом прибавил с презрением и гадкою усмешкой:

— Надо, однако, согласиться, что все это ужасно глупо. И я полагаю, что перспектива стать вечно невинною и ежедневно обладаемою гурией в раю Магомета гораздо забавнее, чем проводить время в том блаженстве созерцательном, которое обещает нам христианский клир... Sont-ils bêtes ces gens-la avec leurs conversions...<sup>20</sup> Если бы тут была еще любовь какая-нибудь, как часто бывает, я еще понимаю... Ne serait-elle pas la maitresse de ce petit jeune homme par hasard? Cela serait moins bête...

Я с недоумением и горестью слушал, как попираал этот отвратительный человек наши священные чувства, стоял в почтительном молчании и с радостью заметил, что Бакеев даже и не улыбнулся в ответ на грязную и бесстыдную речь Бреше; что касается до Ашенбреннера, то он улыбнулся насильно, покраснел и смутился; он был *папистан*,<sup>30</sup> и жена его славилась у нас как набожная католичка, которой чувство, с одной стороны, доходило до фанатизма и противу нас, а с другой — принуждало ее иногда искать молитвы и в православном храме.

Помолчав, Ашенбреннер обратился ко мне очень вежливо и даже искательно и начал расспрашивать: из какого квартала Назли и все, что я о ней знаю.



Обо всем том, что я знал про нее, я сказал, но, не теряя головы, я продолжал умалчивать и о том, что я видел и слышал в митрополии, и об участии попа Косты и отца Арсения. Я не хотел никого запутывать и боялся испортить дело. Но Ашенбреннер был лукав и лъстив. Он очень тонко (и все с самую сладкою улыбкой склоняясь ко мне) расспрашивал меня, и так и иначе стараясь проникнуть в какую-нибудь тайну, которую он подозревал во всем этом.

10 — Вы, значит, сами отвели ее в митрополию?

— Сам отвел.

— А как же вы с турчанкой вместе по улице шли? Здесь сейчас на это обращают все внимание.

— Она была в христианской одежде.

— А! она была в христианской одежде! Хорошо. А где ж она переоделась?

— Она дома так была уже одета.

Я начинал лгать и с ужасом чувствовал, что краска приливает мне в лицо.

20 — А! она была дома так одета? Вы ее, значит, прямо из дома взяли...

— Из дома прямо, господин консул... — продолжал я, как бы увлекаемый в бездну этим жирным и ласковым демоном.

— Из Канлы-Чешме? — сказал Ашенбреннер, особенно лукаво прищутив глаза (я понял: это предместье имеет очень дурную славу); но я решился стоять на своем и сказал:

— Да! оттуда.

Консула все улыбнулись. Бреше сказал:

30 — Je vous disais qu'il y a quelque chose!

Но Бакеев спас меня, сказав им:

— Не будем больше мучить этого бедного юношу; он сконфужен. К тому же я полагаю, что надо заняться этим делом поскорее, пока фанатизм мусульман не разгорелся... Это и паше облегчит дело, если только он захочет быть справедливым.

Бреше сказал:

— Это правда! — И тотчас же обратиться к своему кавассу, послал за своим драгоманом, *monsieur* Какачио, и вслед затем все они трое ушли, оставив меня одного.

Я сказал себе: «слава Богу! все хорошо!» И пошел домой в церковь Св. Марины.

Но едва только я поравнялся с домом одной турецкой школы, которая была не очень далеко от нас при мечети, как вдруг выбежала из нее толпа детей и начала кричать мне: «гяур! морé! гяур! брè! гяур!» и осыпала меня камнями. Один из них попал мне в спину и крепко ушиб;<sup>10</sup> другой, поменьше, в голову. Я не знал, куда мне бежать: дети были со всех сторон и прыгали, и кричали, и дразнили меня. Сбоку раздался громкий смех. Я оглянулся. На углу стояли двое молодых турок; младший был *сеис*,\* другой немного постарше, *софта*,\*\* в белой чалме. Обернувшись к ним, я сказал по-турецки: «На чтò ж такой стыд и срам... Чтò я сделал?..» Едва я только вымолвил это, лицо молодого сеиса остервенилось, он оглянулся туда и сюда, кинулся на меня, повалил меня одним ударом и начал бить ногами и руками так сильно, что я не<sup>20</sup> в силах был уже защищаться... Я начал кричать... Но и дети подняли такой общий вопль, что, конечно, голоса моего расслышать было нельзя... Наконец, усладив свою злобу, сеис встал и, ударив меня еще раз ногою в грудь, сказал: «собака!» и отошел. Софта не бил меня; он стоял около, смотрел и смеялся. Потом, когда сеис встал с земли, на которой он так безжалостно попирал меня, софта помог мне встать и, только дав мне одну пощечину, толкнул и сказал: «*гид! пезевéнг!*» (пошел! сводник!)

Я пошел домой, поправляя на себе одежду со слезами на<sup>30</sup> глазах. Лицо мое было исцарапано, и бок очень сильно болел. Когда я пришел домой, он весь был красный, и после того еще долго не могла сойти чернота от крепкого ушиба.

---

\* Конюх.

\*\* Ученик высшего духовного мусульманского училища, студент семинарии турецкой.

Я шел домой, пылая мщением. Не боль одна, не воспоминание о страхе за мою жизнь, который я испытал, когда этот сильный конюх повалил меня на мостовую; нет, гордость моя, мое самолюбие было глубоко оскорблено... Как! меня, который считал себя сыном архонтским, меня, любимого и единственного сына загорского торговца, *эмпора*,\* меня, которого сам господин Благов удостоивал брать благоухающею рукою своею за плечо и с которым он дружески шутил в Загорах... меня избил на улице безграмотный варвар, *обрезанный турок*, оборванный и вонючий конюх... Как защититься?.. Как отомстить ему? Как преувеличить даже мои страдания, чтоб его наказали строго?.. В волнении моем, в смятении и гневe я вдруг забыл обо всем, что могло меня утешить и ободрить... Я забыл о том, что я потерпел побои и оскорбления *во имя Христа*, заботясь о спасении души человеческой; я забыл и о русском флаге, которого тень и меня *хоть немного* осеняет, ибо хотя я сам не что иное, как жалкий *райя*, но отец мой теперь драгоман русский и уравнен временно в правах со счастливыми подданными того великого православного Самодержца, которого сияющий портрет грозно красуется в черкесской одежде на стене нашего загорского жилища!.. Я обо всем этом забыл и, думая лишь о боли в груди и спине, сокрушаясь только о стыде моем и бессилии, пришел домой к отцу Арсению и, сев в кухне у параманы, горько заплакал...

Когда добрая женщина эта с участием спросила, что со мной, я показал ей царапины на лице моем, молча снял одежду и показал ей знаки на теле и, закрыв лицо руками, снова заплакал.

На политические дела у нас все люди смышлены и все понимают их с быстротою молнии. Парамана тотчас же сказала:

---

\* *Эмпорос* — купец богатый, негоциант.

— Разденься, ложись скорее в постель; задавят русские турок за это дело... Будь покоен... Только ты больше стони и жалуйся, а я сейчас пойду в консульство.

И, накинув платок, тотчас ушла. Не прошло и получаса, как моя комната была полна людей. Отец Арсений сидел около моего изголовья и твердил: «За Христа, святую веру ты понес это, за Христа...» И смеялся, и веселился, и бороду свою знаменитую гладил. Маноли стоял, опершись на саблю, и, приподнимая усы, бранил турок и называл их «необразованные звери». Парамана<sup>10</sup> вздыхала, пригорюнившись у моих ног; скоро и доктор Козвино взошел, сверкая глазами, и, никому не кланяясь и ни на кого не глядя, весь преданный науке и дружбе ко мне, склонился надо мной заботливо и ощупал мой пульс.

Бостанджи-Оглу и тот пришел, и тот был внимателен и повторял: «Видите, видите! Не перерезать ли надо всю эту агарянскую сволочь?»

Соседи некоторые пришли; даже дети чужие набежали в отворенные двери, потому что внучата отца Арсения<sup>20</sup> известили их о том, что турки «убили нашего Одиссея».

Наконец и сам господин Бакеев показался в дверях; все встали и расступились перед ним. Отец Арсений спешил очистить ему место около меня; он первый поклонился доктору и спросил его, опасны ли побои для моего здоровья... Козвино сказал, что они ничуть не опасны, но что если хотят дать делу законный ход, то лучше послать за другим доктором, который состоит на турецкой службе, чтоб он освидетельствовал меня скорее, пока все знаки<sup>30</sup> свежи...

Господин Бакеев тотчас же послал за этим доктором, а сам начал расспрашивать меня о том, как было дело. Кто были эти турки, я не знал, но другие по описанию моему сейчас догадались.

Таким образом дело *Назли* соединилось с делом *Одиссея*, и многие еще гораздо позднее шутя говорили: «во

время того вопроса, который зовется Назли-Одиссей, или Одиссей-Назли».

Еще ни разу прежде в жизни моей я не ощутил так живо, как в эти дни, для меня столь незабвенные, ту глубокую связь, которая объединяла всех нас, православных, и греков, и русских, в общем нравственном интересе...

Я не говорю о заботах доброй параманы, которые были даже излишни, ибо, кроме сильной боли в ушибленных местах, у меня не было никакой болезни; не говорю об отце Арсении; он считал особым долгом обо мне пещись. Нет, я говорю обо всех других людях... Козвино посещал меня каждый день, несмотря на то, что рисковал беспрестанно встретить у меня людей, которых он считал теперь ненавистными себе врагами, Бакеева и самого Исаакидеса... Да! Исаакидес вмешался в это... И, как это бывает нередко в жизни, именно в тех людях, которые мне меньше всех нравились, я видел в этом случае наибольшее рвение. Исаакидес и Бостанджи-Оглу, один из *туркофагии*, другой желая отличиться в судах, больше всех других в этом случае действовали в моем духе, в духе того отмщения обиды, который продолжал одушевлять меня.

Г. Бакеев, хотя и посетил меня, но, видимо, ему таких дел не хотелось, где будет предстоять трудная борьба с турецкими изворотами и оттяжками. Он как-то брезгливо садился около меня на стул, брезгливо издали рассматривал на теле моем красноту, обнаженную врачами; не раз спрашивал врачей: «Ведь это, видимо, вовсе не серьезно?...» Заметил было даже и мне самому: «Таким молодым людям, как вы, не следовало бы мешаться в политические дела... особенно, когда они сами себя защитить не умеют... Предоставьте это старшим и более храбрым, чем вы...»

Однако на следующий же день прислал за мной Бостанджи-Оглу, чтобы меня вести в *истинтак*, на следствие.

Затруднение было в том, признают ли турки право русского консульства защищать меня. Отец мой, как ты помнишь, вероятно, имел греческий паспорт и требовал от турок, чтоб они признали его подданным Эллинского свободного королевства. Теперь он был сделан русским драгоманом, так что у нас было две законные иноземные защиты; но я рожден был им еще в турецком подданстве, и он, как и многие другие христиане Востока, не прочь был иметь в родстве своем и в семье своей людей различного подданства. Это прежде было очень выгодно для торговых и тяжёбных дел; это и теперь иногда удобно. Есть дела, которые легче устроить под флагом русским, другие под английским и иными европейскими, а были всегда и такие дела (например, до последнего времени по вопросам о поземельной и недвижимой собственности), для которых прямая зависимость от турок была часто выгоднее всякого иностранного подданства. Вот поэтому и мой отец не спешил без крайности снабдить меня каким-нибудь иностранным видом, вот поэтому я и до сих пор остаюсь турецким подданным, ибо позднее поладил с турками как нельзя лучше. 10

Итак, слабый и неспособный г. Бакеев колебался... Он, по обычаю своему, не надеясь на себя одного, пошел по всем западным консульствам извещать и советоваться. Он пришел к Леси, рассказал ему о Назли и обо мне и спросил, что он думает... (Бостанджи-Оглу был с ним, и он обо всем рассказывал после; говорили и другие люди.) 20

Леси долго смотрел в потолок, улыбался и наконец тонко сказал: 30

— Я провожу черту глубокого различия между делом турчанки Назли, о котором меня давно уже известили, и делом молодого Полихрониадеса, о котором вы мне даете первые сведения. Я твердо убежден, что дело Назли относится к области янинского митрополита, и консульство касательно подобного прозелитизма должно пребыть лишь в наблюдательной позиции, руководствуясь уверенностью,

что вероисповедания в Оттоманской Империи стараниями союзных держав Запада уже давно объявлены свободными. Это по делу Назли. Переходя же к делу молодого Полихрониадеса, которого вы, как я вижу, предпочитаете называть *Одиссеем*, я, продолжая проводить ту глубокую черту, о которой уже раз упомянул, выражу вам следующее мнение. Хотя отец господина Полихрониадеса, Полихрониадес, так сказать, старший, драгоман ваш и имеет право на вашу защиту, но сын не драгоман и прав на 10 защиту вашу не имеет и должен сам, если желает, обратиться прямо и непосредственно к оттоманским властям. Если же он несовершеннолетний, то можно найти руководителя, хотя бы в лице того почтенного иерея, в доме которого он, по вашим словам, обитает.

Г. Бакеев пошел к Бреше. Бреше выслушал его и сказал:

— *C'est votre affaire... Après tout cela m'est indifferent. Mais monsieur de Lecy est un peu fatigant, pour ne pas dire autre chose...*

20 — Что бы сделали вы, если б это был сын вашего драгомана?

Бреше тогда сказал:

— Я? Конечно, я бы послал его в Порту от себя самого. И если бы мне не дали сейчас удовлетворения... то я бы стал затрудняться только вопросом: кому из турок надавать пощечин, председателю следственной комиссии или Ибрагим-бею, который давно уже раздражает мне нервы... или, наконец, сделать сцену самому старому ко- 30 паку, паше этому.

— Современные ли и законны ли такие средства? — попробовал было колко сказать Бакеев.

На это Бреше, величаво поднявшись с дивана, воскликнул:

— *Monsieur*, все то современно, что поддерживает величие Франции, передовой нации во всем человечестве.

Что сказал добрый и толстый повар с австрийского Ллойда?

— Il povero ragazzo! Il est bien gentil, le pauvre enfant, avec sa robe de chambre turque (опять турецкий халатик! Опять саван турецкий! Опять печать отвержения... Боже! Когда же вернется отец мой и даст мне денег на европейское платье, на одежду прогресса и моды благородных людей!). Надо, надо взять меры... Хотя с этими турками очень трудно; они ужасно хитры... И свидетелей, заметьте, никаких не было при этом несчастии.

Наш эллин Киркориди был полезнее всех их. Он сам поспешил прийти к Бакееву и сказал ему: 10

— Есть тут одно обстоятельство важнее всего. Между нами будь сказано, ваш писец Бостанджи-Оглу, человек, знающий прекрасно языки и очень хороший, очень хороший юноша, но... он не очень опытен, неопытен, больше ничего. У вас пока нет хорошего драгомана. Если вы хотите непременно защищать Одиссея, то я предложу вам моего старика (это был отец Аристиды); а если не хотите, скажите, я сам возьмусь за эту защиту, так как этот Одиссей все-таки сын эллинского подданного, и, если мы даже не достигнем того, чтобы люди, которые его побили, были наказаны, то по крайней мере все узнают, что оскорбления такого рода не остаются пренебреженными и что на них есть какой-нибудь суд. 20

Киркориди сказал это все твердо и решительно. Исакидес, везде преследуя турок, подливал масла в огонь; он и греческому консулу, и русскому управляющему внушал одно и то же.

— Неужели такая обида останется без отмщения и пройдет без следа?.. Неужели? неужели?

Г. Бакеев решил послать меня в *истинтак*, но, всегда бестактный, вдруг неуместно возгордился против осторожного и умного нашего Киркориди и драгомана его не взял, а послал все-таки Бостанджи-Оглу мотать там пред турками своею длинною и острою жидовскою бородкой. Паша уступил, признал мое право. 30

Пошли мы... Бостанджи-Оглу мотал бородкой, сидя рядом с председателем турком, в восторге от такого поче-



та. Я сидел, напротив, смиренно на стуле с обнаженною грудью и спиной и показывал огромное пятно, которое из красного уже становилось синим и желтым.

На старом грязном диване, который шел вокруг всей комнаты, сидели другие чиновники и судьи, и все курили. На других стульях сидели, лицемерно потупив глаза, мои оскорбители, — софта и сеис... Их допрашивали. Сабри-бей был в числе членов и, разумеется, не оказывал мне никакого особенного внимания и был холоден.

<sup>10</sup> Председатель, медленный турок, жирный и невероятно хитрый и опытный, расспрашивал по очереди и меня, и моих противников... Но явно, что они были научены и говорили очень коротко и просто, что вовсе и не видали меня. Их выпускали обоих вместе в прихожую за занавеску, и они советовались там сколько хотели...

Бостанджи-Оглу предложил пригласить докторов. Председатель на это тихо сказал: «Мы и сами видим знаки. На что же докторов беспокоить... Свидетелей нет», — сказал он потом, обращаясь к Сабри-бею, и Сабри сказал, <sup>20</sup> кланяясь ему быстро: «Эвет! эффендим».

Потом отложили заседание на целую неделю, потому что были другие дела; через неделю нашли причину еще отложить; кто-то из членов был болен, и были опять более важные дела; нашли тело убитого человека в яме за городом... Деревенские женщины жаловались, что их тоже избили на дороге солдаты.

Так понемногу угасало мое дело, и у всех людей начинал проходить к нему интерес.

Угасало мое дело; угасало, казалось, и дело Назли... <sup>30</sup> В то время, когда меня прибили и когда моя комната была полна посетителей и друзей, Назли все оставалась в митрополии с разрешения самого пашы; митрополит боялся или притворялся, что боится ночного нападения турок. Он сказал паше: «Я продержу ее до утра; но расставьте вокруг стен моих аскеров». И паша послал ему взвод солдат со строгим приказом гнать всех турок от митрополии. На другой день Назли освидетельствовал, по

приказанию паши, доктор, нашел у ней болезнь сердца, и приказано было отдать ее в больницу, с тем, чтобы к ней невозбранно имели доступ духовные лица обоих исповеданий.

Тогда поп Коста, отчаявшись в помощи консульств и видя ее горе и отчаяние, которое доходило до того, что она боялась принимать лекарства и думала, что турки приказали доктору отравить ее, поп Коста сказал ей:

— Знаешь что! Оставь это все; скажи, что ты здорова и раскаялась и останешься впредь навсегда турчанкой. Вернись домой; я иначе сделаю... На консульства нет надежды... <sup>10</sup>

Посетил ее и отец Арсений и сказал то же самое. Посетили ее и мусульманские ходжи, и она решилась сказать им так, как научили ее христиане.

— Мне лучше, и я вернусь домой и останусь в той вере, в которой столько лет жила... Это все сделала мне болезнь... От нее я потеряла разум.

Сказать ей это стоило очень дорого! Она ежеминутно трепетала, чтобы не умереть от этих, хотя бы и лживо произнесенных ею слов. «Страшно, страшно, отец мой!» — говорила она отцу Арсению и плакала. <sup>20</sup>

У турок была радость по этому поводу. Иные прямо в глаза смеялись попу Косте и говорили: «Ушла куропатка из рук твоих!» А поп Коста отвечал дерзко: «Из моих рук ушла, да посмотрю, из Божиих уйдет ли в дьявольские. Вот вопрос, ага ты мой».

И точно, не прошло и двух каких-нибудь недель после всех этих событий, как однажды вечером вошел ко мне поп Коста и сказал: <sup>30</sup>

— Пиши к матери.

— Что писать? о чем? — спросил я с удивлением.

Но поп Коста повелительно сказал:

— Пиши, христианин ты человече! — и, указав на стол, еще сердитее и повелительнее прибавил: — Садись, морé, садись и не будь вареною вещью... Стыдно!

Я повиновался, и он продиктовал мне письмо о том, что христиане должны помогать друг другу, о том, что Назли страдает нестерпимо от «зверей во образе человек», о том, что госпожа Полихрониадес славится своим благочестием и добротой и что Назли желает поступить *параманой* в какой-нибудь уединенный и мирный монастырек именно в Загорах, где турок вовсе нет и где она может в монахини постричься.

Я написал. Он подписал и прибавил: «Сам я скверно пишу и не очень грамотно, а ты преуспел рано и в риторском искусстве, и в словесных науках. Живи, Одиссей!»  
10 Взял письмо и ушел.

На другой день еще до рассвета Назли, переодетая в старое платье попады, жены попа Косты, вышла из дома своего тихонько за город. Там ждал ее поп и другой молодец в фустанелле с двумя мулами (денег для найма мулов выпросил отец Арсений у кого-то из самых скупых архонтов). Молодец этот (скажу мимоходом, чтобы порадовать еще раз твой греческий патриотизм) был тот самый отчаянный юноша, который однажды грозился Бакыр-Алмазу издала ножом, чтоб ему на праздник выдали помощь денежную из митрополии, тот самый еще, который был слегка ранен, когда рвался растерзать палача-цыгана после казни Саида. Несмотря на его буйный и сварливый нрав, в нем было много привлекательного, и я сам любил его. Ростом небольшой, сложения вовсе не сильного, легкий и ловкий, круглолицый и бледный, как большая часть арнаутов, белокурый, еще безбородый вовсе, с глазами отважными, он ремеслом был просто башмачник и кормил трудами  
20 своими мать и двух сестер. Он был всегда весел, пел и плясал хорошо, когда у господина Благова на дворе собирались молодцы танцовать и консула веселить; он был из первых во всем. Это он бросил стакан выше дома и закричал, когда он не разбился: «крепка Россия»; он выбрал турецкий обход, и за него больше старался господин Благов, когда ходил к паше просить, чтобы выпустили молодцов из тюрьмы... Поп Коста иногда спрашивал у него:

— Сын ты мой! Яни мой! Мальчик мой! Друг ты мой, когда будем турок бить?..

— Сейчас! — говорил Яни и засучивал широкие арнаутские рукава свои выше локтей...

Поп Коста знал, кому поручить беспомощную и заблудшую овцу стада Христова, которую не могли или не хотели защитить как следует люди власти и влияния. И Назли с охотой доверилась этому герою.

Он благополучно отвез ее к нам в село Франгадес с письмом моим. В одном хану, при восходе солнца, отдыхал даже вместе с какими-то турками и рассказывал им тысячу 10  
небылиц о том, что спутница его больная, сестра двоюродная госпожи Полихрониадес, жены русского драгомана, и ездила лечиться в Янину, к докторам, и теперь возвращается восвояси... И турки говорили им серьезно: «В добрый час! В добрый час!» — И Назли отвечала им по-гречески: «Благодарю вас, ага мой!»

Так легко и неожиданно просто кончаются самые трудные дела, когда придет им *этот добрый час* и когда созреют сами собою обстоятельства, помимо воли даже 20  
самых сильных людей.

Назли давно уже не Назли. Она даже и не Елисавета, как была крещена, а мать Евпраксия. Пожив недолго у матери моей, она удалилась скоро в один из тех небольших горных монастырей наших эпирских, в которых, как в афонских лесных и пустынных кельях, живут по двое, по 30  
трое монахов, а нередко и один всего. Они все мужские, но женщины пожилые и основательные допускаются в них для прислуги и помощи. Сперва Назли мыла там полы и белье у одинокого старца *игумена без братии*, готовила ему смиренный обед... Здоровье ее в тишине стало лучше. Она желала постричься, и игумен, призвав двух-трех других монахов со стороны, постриг ее сам в маленькой церкви своей. Мать моя ездила смотреть на это пустынное, безлюдное и глубоко-трогательное пострижение и всегда вспоминала о нем с самым искренним чувством умиления и радости.

Не так давно (лет через пять после ее обращения и бегства из Янины) я видел ее еще раз. Я приезжал с Дуная в Загоры и посетил ее нарочно в той пустыне, куда она скрылась.

Монастырь этот построен на высоком холме, недалеко от села. Место это очень дикое, суровое, нагое и печальное. Белая высокая стена старого и небольшого дома с узкими окошками; крепкие ворота всегда запертые; древняя низенькая церковь, снаружи простое строение с черепичною кровлей, внутри темные своды и высокий до потолка узкий иконостас, старинный, весь в позолоте и мелких завитках резьбы, прекрасно сияющей из мрака. На задней стене, по нашему обычаю, иконописные портреты благодетеля этого храма, богатого, не нынешнего времени валашского князя (имя которого я забыл) и его супруги; князь почти в царской восточной широкой одежде; жена в европейском платье, с тонкою талией, как бы в корсете, с цветком в руке, с обнаженными по-бальному плечами... Игумен — дряхлый и простой старик, который смолоду знал еще самого Али-пашу Янинского и говаривал с ним, но ничего любопытно-го сказать о нем не умеет. Вокруг безмолвные каменистые ущелья и утесы. Несколько старых огромных деревьев, от которых в ненастные дни страшный шум... Назли — монахиня в черном платочке, в черном ситцевом платье... В смиренной келейке ее горит всегда лампада пред иконой Св. Георгия Нового Янинского, изображенного так, как всегда изображают его, в фустанелле и феске, в длинной *багрянце* мученической, с крестом в одной руке, с пальмой страдания в другой... Тишина и забвение... и никому невидимый и никем не награждаемый труд и молитва...

Я провел почти целый вечер с Назли. Это было летом; вечер был очень темен и чуть-чуть прохладен... Шумные цикады уже замолкали... В воздухе вокруг нас летали светящиеся мухи... Мы сидели с ней у открытого окна на старом и жестком турецком диване... Назли не жаловалась; она благодарила Бога, меня за тогдашнюю помощь, священников, митрополита, всех...

Хотя ей тогда уже было около тридцати пяти лет, но она не казалась еще старою и, несмотря на страдание сердцем, лицо ее было не слишком изнурено и не слишком бледно; голубые глаза ее были кротки и велики и даже скорее веселы, чем грустны. И от прежней жизни у нее осталась привычка, говоря, как-то мило, то туда, то сюда, то вперед, то назад, двигать головой и шеей, как делают воркующие голуби.

Мы долго беседовали; наконец я вздумал спросить ее:

— Как ты потурчилась? Расскажи мне.

10

Назли охотно рассказала мне, как ее родители были бедны, как умерла ее мать, а отец был грубый и сердитый лодочник и бил ее часто. Как поступила она в дом служанкой, еще маленькою девочкой, к турецкому бею, как ее там ласкали, приучали, как было дома скучно и голодно иногда, а в гареме сыто и весело. И там ее никогда не били, а доставляли ей всякие удовольствия и дарили ей вещи.

Между прочим она вот что сказала:

— И была у них, я скажу тебе, Одиссей, одна комнатка в гареме зимняя, вся красная и вся заново отделанная; низенькая, теплая, теплая зимой... И потолок пурпуровый, и стены, и диваны, и ковер... И когда зажгут огонь в очаге и сядем мы все около: и ханумиса, и я, и дети, и гости, и служанки другие... блестит огонь в потолке и в стенах, потому что все было вновь выкрашено, понимаешь... Так весело!.. Орехи едим, смеемся... Арабка одна песню пела, правда, песня эта очень нехороша и проста... и даже стыдно ее петь...

20

Где мой орех?

Где мой орех?..

30

Дальше ты, я думаю, и сам знаешь. И пляшет, и пляшет, спиной только шевелит, на одном все месте. А мы все смеемся. Где же мне у отца было так жить? Так они, Одиссей, и совратили меня...

Я еще спросил ее:

— А замуж как ты вышла?

Евпраксия улыбнулась, опять закачала головой и покраснела:

— У монашенки ты такие вещи спрашиваешь, глупый!

Я сказал:

— Говори уж! Я уеду завтра, и, может быть, никогда ты не увидишь меня. Утешь меня и вспомни, что меня за тебя турки тогда избили.

Она сказала:

— Ну, вот я все не соглашалась потурчиться. Боялась <sup>10</sup> греха. А там хозяйка сказала мне: «Мы тебя, Лиза, замуж отдадим. И что за муж! Что за муж!» И показала мне его сперва тайком, а так как я еще христианка была, то после приказала мне выйти туда, где он сидел с людьми и чубук ему подать. Было ему всего двадцать лет, а мне пятнадцать. И он был кузнец и *налбант*, который лошадей кует. Знал он, зачем пришел, и был одет во все хорошее. В голубых шальварах коротких, снурком черным расшитых, и в голубой курточке, снурком тоже черным расшитой, и на <sup>20</sup> голове феска новая, кругом голубым тонким платочком обвязана, и кисточка у него на виске черная так приятно лежала. А сам он был беленький и чернобровый, и стыдливый, и еще я тебе одну вещь скажу... если хочешь, что мне слишком уж понравилась...

И, не говоря, однако, что понравилось, Назли ужасно покраснела и закрылась руками, но я настаивал, и она, открыв лицо, сказала презабавно и притом с испугом даже на лице, что я ее в такое искушение ввожу:

— Пустое дело, Одиссей мой, вовсе пустое! Детское <sup>30</sup> дело!.. прости ты мне... Не знаю, что такое, что он себе все губы языком облизывал немножко. Потрескавши они были у него — не знаю. Вот меня враг и победил совсем тут. Понравилась мне эта такая глупость, и я потурчилась и вышла за него замуж. А потом его убили в 54-м году греки, и я осталась вдовою.

Так кончилось дело Назли.

А дело Одиссея? Месть за побои? Не осталось ли все без последствий?

Нет, мой друг, дело мое кончил тотчас по приезде своем Благов, этот лучший герой моей юности, которого я иногда хотел бы сравнить с Алкивиадом, если б Алкивиад не был порою уж слишком бесстыден в своем честолюбии, в своей силе и в блеске своем.

## VIII

Наконец я дождался Благова. Он приехал в самый праздник Крещения на рассвете.

Еще недели за две до приезда консула в городе ходили слухи о том, что он близко. Говорили, что он теперь в Превете или в Арте; иные уверяли, будто бы он был и в пределах свободной Элады, чтобы взглянуть на диких эллинов геройской Акарнании. Говорили даже, что он виделся там с разбойниками и сводил с ними тесную дружбу. (Со временем я объясню тебе, на чем основана была эта выдумка.) Рассказывали также шопотом и с радостью, что он старается повесить *большой колокол* в Арте или в Превете на христианском храме. «И это будет у нас неслыханное дело; будет этот колокол первым колоколом в Эпире, и увидят люди, верить ли впредь или не верить им вовсе султанским *гаттй-шерифам* и *гатти-гумаюнам*».

Полагали, что это, однако, вовсе не легко; вот почему: каймакам \* в той стороне был рожден в Христианстве; его в детстве звали Василием; позднее он был соращен в исламизм, и поэтому наши турки эпирские ему не верили. Их у нас по городам не очень много, и они стараются сплотиться между собою теснее, чтобы поддержать друг в друге пламень религиозного своего чувства пред лицом стольких *неверных* и у самых пределов этой независимой и всегда раздраженной Греции; они вечно недоверчивы, неуступчивы; они в одно и то же время как будто и напуганы, и сердиты.

---

\* Каймакам — вроде уездного начальника.



О каймакаме этом и без того турки говорили так: «Разве он Мехмед? Разве он Мустафа? Он не Мехмед и не Мустафа — он Василий».

Трудно было такого каймакама убедить, чтоб он не препятствовал всячески вознесению на высокую колокольню христианского колокола в городе и чтоб он согласился дать туркам новый повод называть его «Василием» и интриговать против него.

10 Наши архонты сомневались в успехе, улыбались и говорили: «Похвалим, похвалим Благова, превознесем и прославим имя его, если его начинания эти будут успешны».

И все мы скорее желали узнать, что там было. Я как влюбленный, как очарованный бродил около русского консульства, и не проходило дня, чтоб я не заходил к Бостанджи-Оглу или к кавассам узнать: «Когда будет консул? Не приехал ли он?»

20 Я все помнил слова Благова, сказанные им в Загорах: «Мы повеселим тебя в Янине, Одиссей!» И еще, — хотя сердечное озлобление мое против сеиса и софты, которые меня прибили, и против начальства турецкого, которое не наказало их, уже почти прошло, но все-таки самолюбию моему было бы очень приятно, если бы, придя поутру в училище, я мог там сказать при всех: «Слышали вы, как вчера отмстил русский консул туркам за бесчестие, нанесенное сыну его драгомана?»

В один из таких дней ожидания я сказал архистратигу Маноли:

30 — Господин Маноли, мой добрый, исполните мою просьбу: сведите меня наверх во внутренние покои господина Благова. Я никогда еще их не видал и сгораю желанием видеть, потому что все говорят, что там царствует роскошь и красота.

Маноли отвечал мне в духе благосклонности:

— Ты справедливо говоришь, мой Одиссей, что у нас наверху царствует роскошь и красота. И я с величайшим удовольствием отопру тебе все.

Я обрадовался, и он тотчас же повел меня.

Я, может быть, забыл сказать тебе, что прекрасный этот конак,\* в котором помещалось русское консульство, принадлежал именно тому самому Шериф-бею, племяннику Абдурраима-эффенди, с которым Исаакидес имел не совсем чистую тяжбу, к несчастью, переведенную им (как ты, конечно, не забыл) на имя отца в очень тяжелую для нас минуту.

Шериф-бей построил этот конак для себя недавно. Он был новым зданием, но в старинном вкусе. Бей думал, женившись, сам поселиться в нем; но когда и его дела, и дела его дяди стали приходить в расстройство и сумма долгов уже грозила превысить все состояние их, Шериф-бей перешел в наемный и худший дом, а свое новое блистательное жилище отдал г. Благову за большую цену.

Когда Маноли растворил дверь в приемную, я остановился в изумлении. Я никогда еще не видывал подобного сочетания азиатского вкуса с европейским порядком и опрятностью...

Правда, здесь не было того множества вещей, монет, древностей, посуды, раковин, как у старого англичанина; здесь, напротив того, все было просторно и даже немного пусто. Но зато как все было и свежо, и богато, и красиво!

Не знал я, на что мне прежде дивиться, чем любоваться, что изучать. Какой драгоценности касаться осторожно рукой.

Дом Шериф-бея был по отделке своей первый дом в городе. Поднимал я глаза свои на деревянный потолок — он был весь в самой хитрой резьбе; некрашенный, фигурный, совсем новый, и в мелких углублениях резьбы блеска позолота. Резьба дорогая была везде, где только было дерево в этом обширном покое: и вокруг множества окон, и по высоким карнизам вверх по стенам до окон; на дверях и вокруг дверей, и на дверцах шкапов, вделанных по-восточному в стену, и на маленьких полочках около шкапов. Все резьба. Все цветы, и звезды, и завитки тыся-

---

\* Большой дом, хоромы.

чи родов, и листья, и какие-то чудные ветви; и опять завитки, и опять звезды, и опять цветы...

Смотрел я на стены и дивился лепной алебастровой работе... Везде, где не было деревянной резьбы, были тоже звезды и цветы, и завитки, и фрукты, и листья... но белые, алебастровые, как бывают капители на церковных колоннах... Были даже и колосья металлические, облепленные этим составом, которые колебались от всякого движения двери или сотрясения мостовой, потому, я думаю, что они были на витых проволоках.

Глядел я вниз — я видел, что ноги мои стоят на чистой, свежей, блестящей циновке, тончайшей, не *здесьней* работы (должно быть, египетской); вся она была шахматная, пурпуровая с белым.

Подходил я к окошкам — на них на всех были занавесы еще изумительнее циновки и потолка, и лепных алебастровых стен. Это были большие, толстые, темные *кыз-келимы* из дальнего Курдистана; ковры без бархатного ворса, все в широких цветных разводах, полосах и треугольниках белых, розовых, голубых...

Я коснулся рукой их прочной ткани и еще более удивился. Я увидал, что в ткани этих странных ковров был заткан пучок разноцветного шолка... Я взглянул в другое место — была другая такая же кисточка шоловая; в ином — еще перышки птичьи разноцветные... Мне показалось даже, что на одном из этих ковров я увидел небольшую прядь волос человеческих.

Маноли улыбался, глядя на мое восхищение, и говорил торжественно:

— *Кыз-келим! Ковер девицы.* Их ткут невесты на приданое. Шолк заткан; перья. Невесты ткут и кладут около себя разные вещи, и что им попадет под руку, то и вплетают в ткань... Очень любопытно!..

Смотрел я на мебель туда и сюда, направо и налево, — я видел, что нет вокруг всей комнаты однообразного и сплошного дивана, как у турок или у наших архонтов, и нет тех гадких, дешевых европейских диван-

чиков и кресел с пружинами, которых я видел столько на Дунае в детстве, не понимая даже тогда, до чего они гадки. Нет! Здесь были там и сям несколько диванов отдельных, наподобие турецких, они были гораздо ниже обыкновенных наших и обиты дорогими бархатистыми мелко-узорчатыми персидскими коврами. Ты знаешь (знаешь ли ты персидские ковры, живя всегда в Афинах? Для меня это вопрос, прости мне),\* краски персидских ковров вовсе не яркие и несколько суровы... Но узоры их божественны, и прав был тот англичанин, который еще 10 недавно находил восточные ковры несравненно лучшими европейских уже по тому одному, что азиатцы изображают лишь одни небывалые фигуры, узоры свободно создающей фантазии, а не церкви, не безобразных дам с зонтиками под деревом, не тигров и охотников, трубящих в рог, и по которым, говорил этот англичанин, мы никогда ногами не ходим! Все эти дорогие персидские ковры, которыми были обиты низкие и широкие диваны Благова, были несколько темны и строги красками, сказал я. Только 20 два дивана были покрыты малоазиатскими коврами

---

\* Не должно удивляться, что молодой человек, рожденный и выросший в Турции, почти вовсе не видал хороших восточных вещей. Их вовсе не легко встретить в нынешней Европейской Турции. Западные моды самого *дурного тона* уже давно господствуют в высших (то есть административных, коммерческих и ученых) слоях тамошнего общества всех исповеданий без различия. И у христиан вкус еще хуже и вульгарнее, чем у турок. Чтобы видеть хорошие восточные вещи, надо или ехать в Азиатскую Турцию, или *отыскивать* их нарочно на цареградском Старом Базаре, или посещать посольства, особливо русское. Может быть, еще такого рода прекрасные произведения декоративного азиатского искусства можно встретить у очень не многих 30 пашей. У тех, вероятно, которые настолько уже *европеизировались*, что их дюжинным европейством не удивишь... Этому упадку вкуса способствует и расстройство местной промышленности в Турции вследствие слишком несообразной с ее экономическими силами *свободною торговлей*. Самые дурные и фальшивые произведения Запада сбываются по дешевизне своей хорошо разоренным турецким беям и купцам христианским старшинам.

необычайной яркости и гармонического соединения самых сияющих цветов: лазурная бархатистая шерсть чередовалась с ярко-розовою; из розовой арабески выходил светло-зеленый лист. В середине черной звездочки была палевая звездочка, а в палевой — белая.

По концам диванов были положены особые очень большие подушки, круглые как цилиндры, из шолоковой алой и голубой материи с золотыми полосками... И таких подушек, и такой ткани я тоже не видел еще ни в Тульче, ни <sup>10</sup> в Эпире!.. Задние подушки у стен были тоже какие-то особые, все шолоковые, но на ярких малоазийских коврах они были черные атласные, вышитые разными шелками, а на темных персидских были яркие подушки...

Были еще стулья и кресла тяжелой, резной, хорошей работы наших эфирских столяров; такие, однако, каких никто у нас не делает, а по рисункам. Был стол большой, круглый, и на нем вокруг лампы высокой лежало много книг в золоченых и разноцветных переплетах с разными изображениями и рисунками. Была большая чугунная английская <sup>20</sup> печь фигурная; были американские качающиеся кресла...

Тех дешевых гравюр и мелких фотографий на стенах, которыми теперь так богаты наши жилища и на которых какой-нибудь усатый дядя, окруженный детьми, обнимает тетку, — здесь не было вовсе. В углу висела икона Спасителя, кроткий лик, светлый, молодой и, однако, еврейский; икона была вся в золоте и почернелом серебре... (И Маноли воскликнул: «Серебро почерневшее. Это нарочно! Вкус! каприз!») А на другой стене, между дверцами резных шкапов, висела одна только большая картина: <sup>30</sup> три полуобнаженных женщины, полные, все белокурые и по-моему не очень красивые, стояли и сидели под тенистым деревом. Подальше виден был пастушок с овечками и посохом, тоже полунагой и безбородый, и над ним склонился другой человек в круглой шапочке с крыльями: он подавал пастушку яблоко. Устремился я к этой картине и спросил: «Это что еще!? Какие эти толстые женщины?» А Маноли мне: «Ты знаешь, верно, это лучше меня; это был

прежде один *вор Парис*. Он украл одну Елену». И я тотчас понял, что речь шла о Троянской войне, которую, конечно, я знал хорошо и лучше Маноли...

Такова была приемная у русского консула! Потом добрый Маноли повел меня в его кабинет, который был одного размера с этою приемной и выходил на другом конце галереи таким же точно выступом на двор. Там было тоже много хорошего, но все было проще и дешевле. Вместо циновки тут по всей комнате был здешний меццовский заказной ковер, черный, с крупными пестрыми звездочками. <sup>10</sup>

Было многое множество книг и бумаг на огромном столе. Опять широкие и низкие диваны, большие портреты на стенах и еще несколько треножников особых и высоких, на которых стояли рамы, обтянутые полотном... На одном столе в беспорядке были разбросаны краски, палитра и кисти...

Я смотрел на Маноли, и он улыбался мне. Потом, подойдя к одному из портретов, он сказал мне:

— Отец Благова, полководец!.. И еще мать Благова, <sup>20</sup> игомонической \* крови мадама!

И, подпершись после этого в бока руками, Маноли взглянул на меня без улыбки, а так, как будто он сам уже давным-давно породнился с предками Благова и снисходил лишь по доброте душевной к общественному моему ничтожеству.

Отец Благова был точно генерал; он казался на вид лет сорока, глядел строго, как орел, немного в сторону; на груди его были латы, рукава белые, а воротник синий; <sup>30</sup> сверх лат звезда и много крестов. Волосы его были светлы и очень кудрявы... У него не было ни усов, ни бороды...

Что касается до матери Благова, то она была изображена в белом легком платье, в саду. Лицо ее было худощаво и гораздо смуглее, чем у мужа, а глаза темно-синие, прекрасные, *романтические*, скажу я теперь; *добрые*

---

\* Игомон — князь, владыка.

(подумал я тогда); на черных волосах ее был венок из мелких голубых цветов, каких-то северных, каких у нас я не встречал.

Пока я смотрел задумчиво на знаменитых родителей моего Алкивиада и привлекали меня их лица и странные тогда для меня одеяния, так что я оторвать от них взоров моих не мог... Маноли подошел к другой стене и, обернув одну из рамок, обтянутых полотном, поставил на треножник картину и сказал мне:

10 — Одиссей, смотри, что́ это?

Я взглянул, присмотрелся и узнал, что это был начатый, но еще не оконченный вид нашей янинской крепости, так величаво воздвигнутой над озером. Густая, высокая зеленая трава вокруг узорного чугуна турецких почетных могил. Колонны мечетей из цветного мрамора, те самые колонны, которые иными почитаются за остатки Додонского прорицалища; древовидный, величавый старый плющ на полуразрушенной стене. Небо голубое... синяя вода... И людей никого. Только один турок с длинною белою  
20 бородой, в зеленой чалме и голубой одежде молится по книжке, сидя в тени у Додонских колонн на траве...

Я всплеснул руками: «Это он рисует?..» — спросил я.

Маноли раскрыл еще другие рисунки и бумаги... И я увидел разные вещи и здешние, и не здешние, и изумлялся и восклицал, смотря на них...

Потом подумал я так: «А на что́ ему, Благову, при таком высоком звании, трудиться над этим ремеслом?»

Подумал, поколебался и спросил так у Маноли:

30 — Не трудна ли эта работа?.. Находит время он трудиться?..

— Так любит он! Высокое искусство!..

Но, между тем, я, новый Бакыр-Алмаз, мудрый политик, задумал нечто тонкое и, лукаво взглянув на Маноли, сказал:

— Кир-Маноли, так ли это?

Маноли не хотел отстать от меня в тонкости, двусмысленно улыбнулся и отвечал:

— Кто это знает?..

— Вот то-то! И я говорю, *кто знает!* — продолжал я, ободряясь. — Знаешь ли что?.. Не ищет ли он под этим предлогом план крепости снять для российского сюда нашествия...

— Ба! — возразил Маноли, размышляя. — Я думаю, что если и так, то здесь не Дунай! Далеко от России и сообщения прямого нет.

— Союз с Сардинией или Францией, — заметил я. — Для России все это, я думаю, возможно... Были же, <sup>10</sup> вы знаете, русские в Корфу.

Маноли взглянул на меня с почтением и сказал, что я хоть и юн, но много грамотнее и учение его, он к тому же *аскер*, воин-человек, а я сын купца, человека политического, и могу это все видеть тоньше и дальше его...

— И еще, — прибавил он с любовью, — вас, загорцев всех, это известно, сам дьявол соткал и выткал...

Увы! мне очень скоро суждено было убедиться, что Маноли был правее меня, объясняя все это просто: «высокое искусство!» 20

Очень скоро суждено мне было смириться, сознав, что если я был грамотнее и учение кавасса, то во многом он был несравненно более моего тем, что нынче зовут *развитой* человек...

— Оставь теперь политику! — воскликнул он потом; — я тебе покажу еще одно зрелище... Поди сюда!

Он отвел меня в другую, небольшую комнату, которая была рядом с кабинетом. В ней остановился я тотчас же пред чем-то подобным престолу церковному; это был как бы драпированный кисеей столик. 30

— Что за вещь!.. Как престол церковный! — воскликнул я.

— Разве не видишь зеркала? — сказал Маноли, — это туалет эффенди...

В самом деле, на туалете стояло довольно большое зеркало в серебряной оправе, стояли духи, разные ножички, щеточки и, между прочим, каучуковая какая-то вещица,



как пузырь со стеклянкой и трубочкой... Маноли взял ее и вдруг начал пожимать что-то, опрыскивая меня всего тончайшею пылью благоухания...

— Вот это вещи! — говорил я. — Вот это жизнь!

— Европа! Просвещение! Наука! — значительно заметил Маноли; потом, притворив дверь в кабинете, он взял меня за руку и подвел к стеклянному окну, которое было на этой двери.

Окно было закрыто небольшою занавеской. Маноли <sup>10</sup> приподнял один угол и велел мне смотреть оттуда в кабинет и спросил:

— Чтò ты видишь?

Я смотрел почти с испугом. Не знаю, чтò я думал... Может быть, я ожидал, что он покажет мне что-нибудь волшебное...

— Я ничего не вижу! — сказал я наконец.

— Видишь этот диван у печки?

— Вижу.

— Видишь ли стол перед диваном и кресло, которое <sup>20</sup> качается?

— Вижу... Так чтò ж?..

— А то, что я скажу тебе, Одиссей, один величайший секрет, потому что я тебя очень люблю и отца твоего уважаю непомерно. Летом здесь на диване сидела ханума... Какая ханума!.. Не здешняя!.. Стамбульская ханума! *Меймура* \* супруга. *Фередже* модное из синего атласа... Да, мой Одиссей, ты это подумай! Она пришла с величайшею опасностью для себя; одна только арабка-рабыня ее провожала... Я умирал взглянуть на нее; разулся и под- <sup>30</sup> крался через спальню к этим дверям и глядел.

Маноли с таким жаром изобразил прическу ханумы, ее сброшенное назад покрывало и пунцовое платье с букетами (во всю мою руку букеты! показывал он), что я как живую воображал ее на пустом теперь диване, с улыбкой облокотившуюся на стол.

---

\* Чиновник.

— Чтò ж ты видел? — спросил я в волнении, почти в ужасе.

— Ничего! Сидела *она* с ногами на этом диване перед столом, вот так опершись на руку, и смеялась, и говорила что-то. А эффенди перед нею качался в кресле и улыбался, слушая ее. Потом он встал, налил из графина воды, взял варенья и все подал ей на подносе... И опять сел...

— Сам подал? Сам? — воскликнул я.

— Да! сам подал. Мои глаза это видели. А чтò они говорили — не знаю. Они говорили очень чисто по-турецки как бы по-эллински.\* 10

— Ах, жаль мне *это!* — сказал я печально. — Ведь это грех большой... Зачем бы ему так поступать, Благову!

— Пусть грех! — возразил Маноли, — однако все-таки и это как бы триумф для наших, турка одного лишнего рогносцем сделать! Все же наше паликарство, а не ихнее! Слышал ты это, морé Одиссей мой!

Однако это объяснение легкомысленного капитана Маноли не удовлетворило и не успокоило меня.

Моя полуволшебная, но чистая и строгая картина консульской жизни помрачилась на несколько времени чем-то неприятным и страшным. И стало жаль мне Благова, как будто я узнал наверное, что смерть его будет *лютее*, как смерть грешника и закоснелого в грехе человека. И стал он перед моими собственными очами не так недосягаем, не так возвышен над всем окружающим и его и меня. «Нейдет, — говорил я сам себе, уходя домой к отцу Арсению, — нейдет ему это... Он не Куско-бей...» 20

Да! я думал так. И тогда яснее прежнего и значительнее представились мне слова отцовские, прощальные его слова в хану, когда он уезжал в Тульчу: «Если есть у тебя разум, то связей не бросай, ходи в хорошие дома, бери полезные в них примеры образованности и благородства, а чтò твоему возрасту непристойно и чтò несообразно со 30

---

\* Этим кавасс хочет сказать, что они говорили литературным турецким языком, смешанным с персидским и арабским.

строгую нравственностью доброго православного, от того устранился. Вот тебе мое слово отеческое! Я сказал, а ты это помни!»

Однако понемногу, понемногу... мои молодые мысли... Ах, друг мой! Не напрасно, конечно, молот стольких отцов Церкви нашей сокрушал прекрасные изваяния языческих богов!.. Конечно, не напрасно столетия века кипела борьба изящных, но сладострастных демонов Олимпа противу суровых и чистых угодников распятого Христа. Изваянные, <sup>10</sup> видимые боги зла и наслаждения стали бессильны и не страшны. Ими можно украшать богатые покои, не боясь того, что от присутствия кумира скорее поверишь в его незримый, скрытый за прекрасным изваянием, порочный идеал, не боясь, что поверишь и поклонись ему. Но сам-то незримый этот идеал — обворожительный и лживый... Разве погиб он навсегда? Разве не ежедневно, не ежечасно, мой добрый друг, должны мы трепетать его? И разве не во всеоружии того бранного доспеха, которым <sup>20</sup> одеть и покрыть нас может одно лишь учение церковного аскетизма (ибо оно не от мира сего), должны мы выходить на шумное состязание этой всюду сияющей и вечно томительной жизни мирской? Одни скучные речи нравственного долга не могут овладеть беспокойным сердцем нашей юности и бушующей плотью молодечества нашего, когда нет над главами нашими еще иного закона. Когда нет такого закона, который не требует ежеминутного разумного согласия с нашей стороны (ибо при внутренней изменчивости самой сильной души человеческой, что вовеки, скажи, утвердится на ней?), а говорит нам только: «Повинуйся, <sup>30</sup> ибо Я так сказал!..»

Отец Арсений мой в начале вдовства своего прожил несколько времени на утесах унылого Синая и в лесах Афонской горы. Простой и неопытный во многом житейском, он был очень сведущ и умен в порядке своих мыслей и в области тех знаний, которым он посвятил себя.

Однажды, позднее, я спросил у него в одну тяжелую для меня минуту:

— Старче мой! Скажи ты мне искренно, именем Божиим прошу тебя, как ты думаешь, почему злые духи являлись глазам древних людей, как уверяет нас священное предание, и почему не являются они нашим глазам?

Отец Арсений взглянул на меня тогда внимательно и зорко. В глазах его, я помню, внезапно засветился пламень некоей радостной веры, и, поразмыслив немного, он отвечал мне так:

— Тогда у всех, и у самих язычников, было много веры. Теперь люди стали немощны, и вера слабеет. Земля сама стареет, и люди стали скоро дряхлеть и духом и плотью. Ослабели силы, ослабела вера. Теперь злым духам-искусителям выгоднее не являться нам воочию... Они говорят себе: «И так хорошо!» Явись маловерному человеку или безбожному демон воочию... и пойми он, что это демон, он после этого станет верить всему доброму крепче.

Так прекрасно ответил мой благородный старец отец Арсений.

Но эта беседа наша была, говорю я, много позднее, в одну очень тяжелую для меня годину.

А тогда?.. Тогда скоро мысли мои приняли менее печальное течение и менее суровый характер.

## IX

Я скоро забыл... Не самую турчанку в таинственном кабинете молодого дипломата, не синее атласное фередже ее, не волосы, стриженные на висках, не позу у стола, не платье красное... Не это все, конечно, нет! Я забыл только первое печальное движение моего собственного сердца и стал снова ожидать Благова с нетерпением, начал снова скитаться около консульства, если не всегда телом (потому что уроки надо было учить и в школу ходить), то по крайней мере душой, как скитались около входа в Элизи-

ум тени непогребенных людей, которых не пропускал немолимый перевозчик через страшный Стикс.

За несколько дней всего до возвращения Благова я опять было стал терять надежду увидеть его скоро. Приехал из Арты и Превезы один купец и рассказывал с восторгом о том, с каким великим почетом принимал г. Благова тамошний каймакам. Целый взвод пеших аскеров, под командой офицера, встретил консула за городом, и он въезжал в город тихо на своем прекрасном рыжем  
10 коне, и воины, держа ружья по форме, в два ряда шли по обеим сторонам коня, а впереди шел офицер, командуя, где нужно: «Аз-дур!» «Селям-дур!»\* Потом каймакам приехал сам к тому архонту, у которого Благов останавливался, и при греческих старшинах, при епископе, при всех сказал ему: «Воздух благоухания вашего дошел давно и до нас издалека». Г. Благов надеется повесить колокол и, кажется, не хочет уезжать оттуда, пока не уверится, что каймакам в этом деле его не обманывает...

Так говорил купец; но не больше как дня через два  
20 г. Благов прискакал, с одним только провожатым, на рассвете, в Янину.

Новое необычайное обстоятельство вызвало его в наш город внезапно.

Однажды, проснувшись утром, люди городские с изумлением услыхали новость: г. Бреше ударил в лицо г. Бакева. Почти все греки, даже и не особенно расположенные к России, ощутили в себе как бы внезапный и сильный прилив какого-то не то чтобы патриотического, а скорее  
30 обще-православного чувства и пришли в негодование... Многие спешили спросить: «Неужели голова папистана еще цела после этого?» Не говоря уже о чувстве мести и отвращения, которое питали к Императорской Франции столь многие греки в то время, когда еще не возросли болгарские претензии до нарушения правил Церкви и не раздражили эллинского чувства в народе против славян и

---

\* Стой! На караул!

России, не говоря уже об этом политическом чувстве, было еще чувство личной ненависти к самому Бреше, гордому и грубому со всеми без разбора.

Во всех движениях, во всех словах, во всех поступках этого злого и тщеславного человека дышало такое глубокое презрение ко всему *нашему*, местному, восточному, без разбора, турецкое оно или греческое, что иного чувства он населению и внушить не мог. Были даже люди, которые утверждали и клялись, что он берет большие взятки с богатых турецких подданных, чтобы под разными предло-<sup>10</sup>гами вмешиваться в их тяжбы и дела и выигрывать для них самые несправедливые процессы, благодаря бесстыдной смелости своей с турками.

Те немногие только люди, для которых он за большие деньги делал это, готовы были хвалить его, но не иначе как лицемерно. С такими людьми он обращался еще хуже, чем с другими, и одного из архонтов, обязанного ему подобным образом, он своею рукой бил гиппопотамовым бичом, преследуя его с лестницы за то, что тот осмелился сказать ему с значительным ударением: «До сих пор я<sup>20</sup> думал, что консульство Франции безусловно влиятельно в конаке паши!»

Что касается до г. Бакеева, то хотя его у нас не считали ни способным, ни энергическим человеком, но по крайней мере никто не видал от него особых оскорблений, а всегда почти видели желание помочь христианам.

Понятно после этого, как все вознегодовали и почти ужаснулись, услышав, что Бреше оскорбил управляющего русским консульством.

Однако очень скоро все мы узнали, что дело было не<sup>30</sup> совсем так... Бреше не ударил г. Бакеева, он сказал ему только: «Я сейчас был у вас на квартире pour vous mettre la main sur la figure».

Что хотел сказать этим злой Бреше? Хотел ли он передать по-французски презрительное восточное наше движение руки, когда мы говорим сердясь: «на вот тебе!» и накладываем всю ладонь на глаза противнику? Или он

придумал этот странный оборот, желая заменить им слишком уж грубое выражение «ударить вас»? не знаю...

Но так или иначе, Бакеев было нанесено этими словами глубокое оскорбление.

Вот как это было. Бакеев не умел жить *по-своему*, так жить, как жил г. Благов. Он не занимался живописью, не интересовался особенно нашими нравами, не любил утомляться ездой верхом по горам, не восхищался круговыми плясками наших паликаров и не смотрел на них по целым часам, как Благов с своего балкона. Бакеев не предпочитал общество глупенькой Зельхи, безумного, подчас утомительного Коэвино и юродивого дервиша Сулеймана обществу консулов. Бакееву везде нужна была Европа, везде нужны были прекрасные мостовые; ему нужен был газ, француженки, театр (а Благов говорил архонтам: «Зачем мне театр искусственный? Здесь у вас живой!»). Конечно, при таком взгляде на вещи Благову было весело в Эпире, а Бакееву скучно. Бакеев давно уже от скуки очень часто посещал Бреше. Жена Бреше играла на фортепиано, которое для нее нарочно выписал муж из Корфу, и множество носильщиков за дорогую цену несли его через наши горы на плечах своих. Бакеев пел недурно, и они вместе с мадам Бреше занимались музыкой. Часто видали их вместе всех трех на улице и, несмотря на косые глаза мадам Бреше, ее худобу и слишком большой нос, многие воображали, что Бакеев к ней питает эрос — счастливый или несчастный, этого люди не брались решить.

Г. Благов еще прежде не раз советовал Бакееву ходить туда как можно реже. Он находил, что у Бреше нет ни ума, ни познаний, ни вежливости, и сам он держал себя с ним очень сухо, очень осторожно и виделся с ним только по необходимости и редко. В городе давно у нас ходили слухи о том, будто между Россией и Францией после Парижского мира состоялся секретный договор, чтобы во всем на Востоке действовать заодно и согласно поддерживать друг друга. Шептали наши архонты даже, что наверное есть предписание обоим консулам быть во всем, где

можно, заодно. Было ли это предписание или нет (я думаю тоже, что было), но г. Благов, несмотря на все свое личное отвращение к Бреше, нередко поддерживал его в Порте, и в делах у них столкновений никогда не было. Стараясь удовлетворить свирепого француза во всем, что прямо касалось службы, г. Благов являлся всегда один из первых, в мундире, поздравить его в день рождения Императора и т. п., но в частной жизни он удалялся от него, насколько мог, не нарушая приличий. Никогда никто не видал их вместе на прогулке; никогда Бреше не играл в карты у Благова; обедал у него только с другими консулами, очень редко. Я узнал позднее, что Благов особенно стал осторожнее с Бреше и вместе с тем стал меньше давать воли собственной вспыльчивости и гордости с тех пор, как и ему случилось выслушать в доме Бреше две-три вещи, возмутившие его до невероятия.

Однажды говорили они о войне и военных подвигах, и Бреше сказал Благову:

— Ваш Суворов, например, был генерал дикий. Он делал разные гримасы, чтобы забавлять свою орду!

У Благова на первый раз достало столько выдержки, что он только отвечал:

— Это правда! Мы за это его очень любим!

На такой ответ г. Бреше не нашел уже новых возражений.

На другой раз было хуже. Мадам Бреше начала безрассудно порицать всех христиан Востока — греков, сербов и болгар. Рассматривая один рисунок Благова, она сказала:

— Правда, эти одежды красивы только на бумаге, но в натуре эти люди так грязны и так низки!..

— Вы находите? — отвечал Благов спокойно. — Я не совсем согласен; я нахожу, что они гораздо опрятнее и во всех отношениях лучше европейских рабочих (он не сказал французских, но европейских), которых и я имел несчастье видеть, — прибавил он потом.

Мадам Бреше вспыхнула и воскликнула:



— Вы хотите сказать о парижских рабочих... О, эта бедная Франция! Она подобна прекрасной женщине в вышшем свете, которой все завидуют, потому что она милее и умнее всех...

А Благов ничуть, по-видимому, не сердясь и улыбаясь ей, сказал:

— Франция много изменилась. Красавица в пятьдесят лет не то, что в двадцать пять... Не правда ли?

Тогда вмешался муж и грубо и прямо спросил:

10 — Вы разве грек, monsieur Благов?

А Благов ему:

— Не грек, но, конечно, если бы мне выбирать, то я скорей желал бы быть греком, чем парижанином.

— Я позволю себе сомневаться в этом! — сказала мадам Бреше. (Хорошо, что это сказала она, а не муж.)

При этом разговоре присутствовали Коэвино и драгоман Какачио. Они оба говорили, что он был веден тихо, даже с улыбкой; но, глядя на лица и слыша тон обоих консулов, становилось неприятно и страшно. Во взглядах 20 их и в тоне дышало столько сдержанной вражды и усилий воли, чтобы победить в себе гнев и ненависть, что надо было изумляться, как они оба в этом случае хорошо владели своими страстями.

С тех пор-то, как я сказал, Благов особенно стал остерегаться всякой близости с Бреше и всяких разговоров с ним, выходящих за черту необходимости. Предчувствуя возможность такого оскорбления, которого он простить будет не в силах, честолюбивый молодой человек не хотел запутывать себе карьеры каким-нибудь ненужным затруднением, какою-нибудь громкою историей, которая могла 30 кончиться, быть может, и в ущерб его службе (особенно, если эти слухи о тайном соглашении были справедливы). Он был вместе с тем уверен в своей энергии и не считал нужным раздражаться и возбуждать ее в себе без крайности. Этот человек был удивительно даровит и обилен тем, что зовут *ресурсы*, богат разными средствами *жить* и вести трудную борьбу жизни человеческой.

Он и Бакееву постоянно советовал делать то же и удаляться от Бреше. Но Бакеев не любил своего начальника и не слушался его; он, вероятно, из зависти к его способностям и быстрой карьере (Благову было всего двадцать шесть лет тогда), любил все делать вопреки ему и по-своему. Без Благова он во всем и беспрестанно советовался с Бреше, во все его вмешивал, был с ним слишком откровенен и слаб. Быть может, для хода дел оно было и недурно, в том смысле, что без Бреше, сам по себе, Бакеев и половины тех удовлетворений для кон-<sup>10</sup>сульства не находил бы у турок, которые он получал с помощью французского консула. Это так; и те люди у нас, которые прежде всего судят о *политическом* результате, хвалили Бакеева за это. Наш почтенный и простодушный Бичо Бакыр-Алмаз, глядя на то, как ухаживал Бакеев за Бреше, говорил, стуча себя по обыкновению пальцем по виску (понимаем мы! все понимаем!..): «Да, эффенди мой! Россия — государство! государство, эф-  
фенди мой!.. Где львиного зуба нет, лисий хвост умеет себе привязать!..»<sup>20</sup>

Бреше покровительствовал Бакееву, но уже давно был с ним не всегда вежлив и один раз позволил себе сказать сухо и грубо, когда тот обратился к нему вновь по какому-то делу: «Опять дела! У вас все дела!» Другой раз у них произошла была ссора по поводу простого разговора о танцах, на карточном вечере у самого Бреше в доме. Madame Бреше стала жаловаться, что в Янине совсем не бывает настоящих балов и никто по-европейски танцевать не умеет. На столе стоял ужин и, между прочим, ветчина. Г. Бакеев, желая, видно, показать при гостях, что он очень<sup>30</sup> хорошо знает по-французски и что он с Бреше на равной ноге, спросил у него:

— Et vous monsieur Breché, *gigotez-vous* quelquefois?

Г-ну Бреше этот тон не понравился, и он отвечал ему, возвышая голос и с неприятным выражением в лице:

— *Gigote-toi... Quant à moi je mangerai du gigot!*

Бакеев смолчал.

Наконец предсказания Благова оправдались по поводу одного дела, в котором Бакееву, внутренне оскорбленному этим словом: «gigote-toi», захотелось действовать несколько враждебно против Бреше.

Был в Янине один эмпирик-доктор итальянец. Итальянского консула не было, и итальянцы все были под защитой Бреше. Этот итальянец женат был на гречанке; отец гречанки, уроженец острова Итаки, имел русский паспорт (так точно, как мой отец имел греческий). У итальянца с <sup>10</sup> тестем были общие торговые дела. Они вместе, например, занимались контрабандой (кажется, пиявок, но я наверное не помню), и Благов не раз увещевал своего подданного оставить это. Наконец они попались. Как ни дерзок был Бреше, но не мог же он с турками действовать одною лишь дерзостью; особенно, когда они были правы и когда паша писал ему бумаги крайне осторожные и основательные, избегая сколько мог всяких личных с ним объяснений. Ему, однако, хотелось во что бы то ни стало защитить <sup>20</sup> своего итальянца. Паша уже написал две бумаги и просил ответа. Итальянец, испугавшись штрафа, пошел сам просить Бакеева, чтоб он взялся защитить его тестя.

— Я больше надеюсь на русское Императорское консульство, *illustrissimo signore!* — сказал он, чуть не целуя руку Бакеева. — Паша так любит господина Благова, а господина Бреше он ненавидит. О! *illustrissimo signore!*.. Вся моя надежда на вас.

Бакееву это очень польстило; он призвал тестя, уговорил его, чтоб он принял на себя это дело, взял шляпу, трость, кавасса и пошел в Порту. Там он секретно и долго <sup>30</sup> просил пашу оставить это дело, потому что замешан русский подданный, тесть итальянца; просил его именем Благова, который скоро приедет и будет этому рад.

Паша уступил ему довольно охотно: «в угоду господину Благову», — сказал он. Бакеев вернулся с торжеством. Паша между тем сказал прямо драгоману французскому такими словами: «Передайте *monsieur* Бреше, что я не желаю ссориться с консулами и с моей стороны готов на

всякую уступку. Дело вашего итальянца кончено, мы уже с господином Бакеевым говорили об этом... Я не требую штрафа, а прошу лишь, чтобы впредь не повторялась эта контрабанда».

Бреше, уже взбешенный тем, что итальянец осмелился обратиться к Бакееву, недовольный самим Бакеевым за глагол *gigoter*, объявил чрез своего драгомана, что он уступок не просил никаких, что Франция не нуждается в них и что он еще не отвечал на две официальные бумаги. Вместе с тем тотчас же написал паше самый грубый<sup>10</sup> ответ, в котором, не говоря даже о контрабанде, спрашивал у него: «Как он смел захватить собственность человека, вдвойне находящегося под защитой французского флага, как итальянца и как католика?» Самого же итальянца он изругал «бестией» и вытолкал в шею, потом пошел в Порту, дал пощечину часовому у ворот за то, что тот поздно отдал ему честь ружьем, и самому паше сказал так:

— Вы слишком скоро забыли, что Франция за вас недавно в Крыму проливала свою благородную, священную<sup>20</sup> кровь, которой все человечество должно дорожить!

— Это закон, — отвечал паша.

— Я предписания особого не имею от своего посла об этом именно предмете, а без предписания посла все ваши законы и новые распоряжения для меня не обязательны.

Прямо от паши Бреше поехал на дом к Бакееву, не застал его там, отыскал его в английском консульстве и в присутствии Корбет де-Леси, его драгомана и еще каких-то людей, сказал Бакееву, что он ходил к нему «наложить<sup>30</sup> руку на его лицо».

Что было делать бедному Бакееву? Он обратился к Леси и сказал ему: «Вы были свидетелем этого!» И ушел.

Долго все присутствующие в недоумении молчали. Посторонние лица поспешили уйти, а Бреше начал оправдывать себя пред английским консулом, обвиняя Бакеева в нестерпимых и мелких интригах.

Все это случилось как раз накануне Крещения. На Крещение, поутру, во время обедни весь город узнал, что Благов приехал. Уже за несколько дней перед этим выпал сильный снег и мороз был такой, какого давно уже в Эпире люди не помнили.

Несмотря на это, наша церковь Св. Марины была полна народа еще до рассвета. Я был в шубке и пел на клиросе, когда вошел один из моих маленьких товарищей по школе, сын нашего *кандильянафта*, и шепнул около меня отцу своему: «*Большой* консул приехал из Арты сейчас...» и тотчас же взял в тон своим тоненьким детским голоском. Мы с отцом его продолжали петь, переглянувшись, и потом *кандильянафт* с радостью сказал мне тихо: «Хорошо это!», и я сказал: «да! очень хорошо!»

Едва только мы это подумали и сказали, как вдруг (о, изумление и радость!) толпа наших арнаутов и куцо-влахов заколыхалась, начала поспешно раздвигаться и, предшествуемый двумя кавассами, в церковь вошел сам г. Благов!

Он был в большой и хорошей русской шубе, распахнутой на мундире; на груди у него виден был только что полученный им *командорский* знак Св. Станислава 2-й степени (я и не знал, что он получил его); на левой руке, которою он держал форменную треугольную шляпу, была белая, свежая перчатка...

Он шел своею молодецкою твердою поступью, не спеша и ни на кого не глядя. Остановился посреди церкви; не торопясь помолился на иконостас и потом взошел на особую *стасидию*,\* обитую красным сукном, рядом с епископским престолом, на которую он всегда становился, когда бывал в нашей церкви: она была около самых наших певческих мест. Стал он, обратясь к иконам лицом, совсем рядом со мной и, перекрестившись еще раз, запахнулся старательно в свою прекрасную шубу какого-то нежного темного меха. Вокруг меня запахло опять тем

---

\* Места с ручками для стояния; в петербургской Греческой церкви есть такие.

тонким благоуханием, которым я так восхищался еще в Загорах, и голос мой ослабел, и я долго все был в каком-то неизъяснимо-приятном волнении. Как будто я ожидал чего-то... Чего? я сам не знал... Точно будто бы я ожидал, что как только отец Арсений закроет *священный порог*,\* г. Благов вдруг обратится ко всем нам и к народу и заговорит, как всегда, не совсем чистым греческим языком, с тем недостатком в произношении, который мы зовем *пахистомо́*,\*\* но смело, весело, твердо, не спеша и сверкая своими большими, серыми, истинно *сарматскими* очами, и скажет всем нам: «Православные христиане, возлюбленные единоверцы мои! Знаменитые эллины, потомки Леонидов, Калликратидов и Пелопидов! Я здесь! Православие, в лице сотрудника моего и друга г. Бакеева, не будет попорно иезуитскими и дерзостными агентами Запада... Я здесь, и вы меня видите... И побои достойного сына моего драгомана, который так сладкогласно поет во святом храме сем, побои эти также будут жестоко отомщены... Я сотру главу агарянам!..» 10

Но он не говорил ничего. Стоял неподвижно, изредка крестясь и даже не оглядываясь на меня, хотя мех его большого воротника спадал с плеч его так близко от моего лица, что мне казалось, он сейчас коснется меня... 20

Утишив в сердце своем первое волнение, я громче, выразительнее и торжественнее обыкновенного прочел Апостол, рядом с ним и мимо его самого взойдя на ступеньку владычного престола; я пел потом, так старательно и долго выводя голосом самые звонкие и долгие трели нашего восточного псалмопения... Но все напрасно. Благов не обращал на меня никакого внимания. 30

Наконец мне улыбнулось счастье на мгновенье. Господин Благов уронил перчатку. Я стремительно поднял ее и,

---

\* Священная ступень, священный порог, святилище, алтарь. Выражение *царские двери* неупотребительно на Востоке, по понятным историческим причинам.

\*\* *Пахистомо́* — грассировать.

подавая, сказал тихо: «Извольте, сиятельныйший господин консул!» Но он, почти не взглянув на меня, сказал очень сухо: «Эвхаристо». («Эвхагисто», так он произносил, и мне это ужасно нравилось.)

Когда обедня кончилась, народ остался неподвижным и не шел к антидору, ожидая, чтобы консул взял его первый. Господин Благов был задумчив и забылся на минуту. Народ смотрел на него и ждал. Отец Арсений тоже поглядел на него; тогда я решился напомнить: «Антидор, господин консул!» Он сказал: «а!» и, подойдя к антидору, поцеловал руку отцу Арсению, а тот радостно приветствовал его: «Добро пожаловать... Мы вас ждали... Радуюсь... радуюсь!...»

После этого господин Благов тотчас ушел с кавассами. А я, едва только успел немного поесть у отца Арсения, побежал в консульство, чтоб узнать, что там будет.

Сам отец Арсений говорил мне: «Иди, иди! Посмотри, что он теперь сделает с французом»...

<sup>20</sup> Уходя, я еще спросил отца Арсения, не благословит ли он мне там позавтракать и даже пообедать вечером, если бы консул меня пригласил. На это отец Арсений ответил, сомневаясь:

— Имеешь мое благословенье, однако, я думаю так, на что бы ему, дипломату-человеку, тебя, безбрадного отрока, пиршествами угощать?

## Х

В консульстве я узнал, что Благов лег отдыхать и велел всем отказывать до тех пор пока не проснется.

<sup>30</sup> Получив письмо Бакеева, он оставил все, оставил дело о колоколе, бросил все свои выюки и кавасса в Арте, поздним вечером, пользуясь лунною ночью, сел на коня и с одним только турецким жандармом проскакал двенадцатичасовое расстояние в семь часов, несмотря на стремни-

ны, скользкие камни, не взирая на мороз и снег, под которым местами была скрыта глубокая грязь.

Турецкий жандарм, не то с негодованием, сожалея о своей лошади, не то с изумлением и уважением *потрясал на груди своей одежду* и говорил: «Консул! Ну, консул! Что за вещь такая? Всю ночь!..»

Однако, когда архистратиг Маноли вручил ему, по поручению консула, три золотых, выражение лица у турка вдруг переменялось, он приложил руку к сердцу и феске и поспешно ушел. 10

Благов приехал прямо на квартиру Бакеева, разбудил его, велел растопить себе печь, сделать чай и основательно тотчас же расспросил его обо всем. Он рассудил, что это дело не частное, не личное. Оскорбление было нанесено по поводу служебного казенного дела, по делу самого консульства и русского подданного; оно было нанесено не просто секретарю, а управляющему консульством, лицу, представляющему собою в то время, хотя бы и в глухой провинции, вес русской державы, честь Императорского флага, силу православия на Востоке. Оно было, наконец, нанесено видимо с намерением иметь свидетелей оскорблению в английском консульстве, в присутствии самого Корбет де-Леси. 20

На основании всего этого, Благов брал это трудное дело на себя, на свою ответственность и обещался добиться официального и блистательного удовлетворения во что бы то ни стало.

Слуга Бакеева, подавая чай консулу и растапливая печку, старался понять сколько мог, что они говорят; но он не знал по-русски и кроме имени Бреши ничего не понял. Однако он заметил, что г. Благов был как будто очень 30 весел и что его эффенди, Бакеев, который целый день никого не хотел видеть и был как будто полумертвый от огорчения, тоже повеселел при консуле, и все жал ему руку и говорил: «*Merci, merci!*» А потом они обнялись, поцеловались, и консул ушел к себе.

После этого, несмотря на ту всенощную скачку, которой ужаснулся даже и привычный турецкий наездник, Благов



вспомнил, что в этот день большой православный праздник (он слышал, вероятно, и от сокрушенного Бакеева, что весь город его ждет), оделся в мундир и пришел еще на *рассвете* в нашу церковь. И он прекрасно поступил; я не могу передать тебе, как это понравилось нашему народу. «Вот каких нам нужно! Пусть живет, молодец!» — говорили все.

Пока мой молодой герой и царский слуга отдыхал у себя наверху, после двух этих подвигов, под резным потолком и под шолковым одеялом, я сидел внизу у кавассов и ждал.

<sup>10</sup> Было холодно; но мы все собрались у большого мангала и беседовали весело, но вполголоса, боясь даже и мысли одной потревожить как-нибудь нечаянно консула. Нас было много. Старик Ставри и Маноли, Кольйо, камердинер консула, повар и садовник, еще один бедный мальчик, Алéко, лет двенадцати, у которого отца не было, а мать жила посреди озера, на том самом острове, где был убит Али-паша и где мы месяца три тому назад пировали с отцом моим, с Бакеевым и Коэвино. Его Благов взял без всякого дела к себе в дом, чтоб ему легче было каждый день ходить учиться в город, чтобы не платить матери каждый день за лодку и мальчику в училище не опаздывать. Скоро присоединились к нашему обществу поп Коста и сам Бостанджи-Оглу, который соскучился один в канцелярии. Он всегда делал так: то ссорился с кавассами, то требовал от них почета и покорности, как будто он был первый драгоман или настоящий секретарь на службе, то мирился опять с ними и приходил к ним рассуждать и смеяться.

<sup>30</sup> И если бы ты посмотрел тогда на всех нас, что была за картина около этой большой жаровни. Все мы разного возраста и сами разные и в разных одеждах. Поп Коста в клобуке и теплой рясе на лисьем меху; уж седой, но живой, худощавый и молодой движениями и речами, с очами точно такими же серыми, *сарматскими*,\* и сверка-

---

\* Савро-мáты — сарматы. Известно, что древние греки называли иные северные племена савро-матами — *ящероглазыми*, за сероватый цвет их глаз.

ющими, как у Благова; поп Коста, патриот и разбойник, спаситель, а может быть, и предатель при случае, лукавый и бесстрашный, алчный и готовый на жертву, умный и почти безграмотный. Бостанджи-Оглу, *Москов-Яуде*, которого ты уже давно знаешь, в новенькой серого цвета жакетке, весь продрогший от холода. Кир-Манולי, огромный, усатый, сухой, вне себя от радости, что Благов вернулся и что *будут теперь разные великие дела*, для праздника в лучшей одежде своей — в куртке темно-малинового бархата, обшитой особыми *придворными* русскими галунами, золотыми с черными двуглавыми орлами (и этим утешил его все тот же Благов — выписал ему из Петербурга). Кир-Ставри, задумчивый, исхудалый, такой же бесстрашный и решительный, как поп Коста, но серьезный, тихий и молчаливый, вспоминающий, быть может, в эту минуту, как он в двадцатых годах своими еще юношескими тогда руками застрелил из-за угла сельской хижины одного могучего и страшного бая, едва только тот впереди отряда своего выезжал, гарцуя на лихом коне, из узкого ущелья в село христианское, чтобы сжечь его и перерезать жителей.

И он был очень наряден в этот день, весь в серебре, хотя и без *придворных* галунов на куртке. Повар кривой, ленивый и лжец, которого, однако, г. Благов за что-то очень любил, — был в русской суконной одежде, которую зовут *поддевка* и которую с своих плеч отдал ему еще прежде сам консул, — в белом колпачке и в синих турецких шальварах. Молодой румяный Кольйо, камердинер г. Благова, простодушный, честный, немного бестолковый; без *галунов*, без *серебра*, но в албанской одежде, в чистой, белой всегда, как новый снег на горах, фустанелле и в новой яркой феске с вышитым золотом русским орлом; все озабоченный, взволнованный... не проснулся ли консул и не забыл ли он сам чего-нибудь, что очень нужно. Руки его всегда так же были чисты, как у самого консула, он чистил ногти щеточкой и беспрестанно на них глядел, потому что г. Благов раз только сказал ему: «Кольйо! Если большой палец твой, когда ты подаешь мне что-нибудь, не

будет мне нравиться, я тебя отпущу...» И внизу смеялись над ним и говорили ему вдруг: «Кольйо! Кольйо! Смотри... палец твой... палец». И он тотчас же глядел на руки и восклицал, хватая себя за голову по-турецки, так серьезно и забавно: «белас!» (беда моя). Я был, как ты знаешь, все в турецком халатике; только в этот день сверху на мне была хорошая *джюбе*,\* на хорошем рысьем меху, с пятнышками, не дешевая. Лучше же всех нас был старый садовник, которому в консульстве, особенно зимой, почти  
10 делать было нечего и которого держал Благов без всякой нужды. Он был так же, как и повар, в широких, но в очень старых светло-голубых шальварах, в высокой-превысокой феске, которая давно всякий цвет потеряла от сала и грязи, и в красной суконной куртке, перешитой из кусков старых мундиров, которые ему по доброте подарили еще  
20 года три до этого в Корфу английские солдаты, потому что воры в Элладе у него все платье отняли и он был тогда в одной только рубашке. Этот садовник уже не молодой, ростом маленький, кривобокий, безобразный и очень смиренный и добрый, по имени господин Христо, был большой рассказчик и видел очень много разных вещей и в разных странах; он уже второй год копил все деньги себе, будто бы на новое платье, и продолжал носить английский мундир и по будням, и по праздникам; а когда Благов у него спрашивал: «Не собрал еще денег ты, Христо, на новое платье?», он отвечал: «Не собрал, эффенди, нет, не собрал». — «Собирай, собирай», — говорил консул и давал ему еще что-нибудь. Но видно ему нравилась оригинальная его одежда, и он не приказывал ему менять ее.

30 Все мы сидели вокруг жаровни и грелись, и все думали о деле Бреши и Бакеева, и все говорили о нем.

Поп Коста вздохнул с сожалением и сказал:

— Зарезать! зарезать бы мало было на месте его... Жаль, что у Бакеева мало мужества, а то бы... раз... два...

---

\* *Джюбе* — шуба, верхнее широкое платье, вроде рясы с широкими рукавами.

И он показал рукой.

Не все разделяли его взгляды. Маноли на это возразил первый.

— Господин Бакеев — человек словесный, филологический человек, который в университете учился. А господин Благов военным был. Он прежде служил в царской гвардии кавалеристом. И вышел в отставку лишь по следующему особенному случаю. Они шли целым полком на смотр Государю, через улицу хотела пробежать одна женщина и упала; на руках у нее был ребенок маленький.<sup>10</sup> Г. Благов командовал своим солдатам: «стой!» и весь полк остановил. Когда тысяченачальник спросил у него грозно: «Зачем произошло это препятствие, и как он мог противу приказа высшего начальства остановиться, когда сам начальник командовал: „марш!“», то г. Благов сказал: «Меня остановило человеколюбие, вот так-то и так-то». А тысяченачальник ему на это: «Покорность и иерархия прежде всего... Должны были идти». Г. Благов рассердился на него и перешел в политику.

Тогда вмешался Бостанджи-Оглу и возразил Маноли:<sup>20</sup>

— На что ты это сказал, Маноли? Все это правда. Но что же ты думаешь, что господин Благов теперь палкой как *хамал* \* начнет за оскорбление драться с французским консулом?

Маноли обиделся и поспешил отвечать:

— Чего ты? Я этого совсем не говорил. Но господин Благов владеет оружием и может на *свиду* \*\* выйти с г. Бреше. За город уйдут и обнажат мечи. Ты сам всего боишься, несчастный, и думаешь так; а я тебе вот что скажу: один эллин одного баварца в Афинах вызвал и запел арнаутскую песню, и запел, и пел он песню, и пока тот собирался махать своею саблей, а наш вытянул ятаган, раз его и пополам. Вот что... Чувствуешь ли ты или не чувствуешь?<sup>30</sup>

---

\* Носильщик, грубый человек.

\*\* На поединок.

Тогда престарелый кир-Ставри вышел из своей задумчивости и промолвил с улыбкой:

— Да! и я слышал также, что он так чисто полосонул его, что баварец еще долго стоял не шевелясь и все понять не мог, что его разрезали пополам.

Мы все было разразились громким смехом, но Кольйо вскочил и зашептал с отчаянием: «белас»; мы вспомнили о г. Благове и смеялись тихо.

Добрый кир-Маноли не обиделся, а смеялся тоже, говоря:

— Э! Пусть будет и так... А все-таки на *свиду* самое лучшее дело.

В эту минуту беседу нашу прервали человек до двадцати архонтов: купцы, доктора и учителя, которые пришли поздравлять г. Благова с приездом, а может быть, и выразить свое сожаление о неприятностях, случившихся без него.

Тут был и красивый Куско-бей, и скромный Арванитакки в очках, и важный Бичо Бакыр-Алмаз, и полный Ставро-Мустаки, и Врósсо, и Мёссо, Исаакидес и, к удивлению моему и радости, сам Несторидес мой, который тоже накануне приехал совсем на житье в Янину из Загор, и многие другие.

Маноли одним прыжком вылетел в сени и приветливо объявил, что консул будет очень жалеть, но что он утомился путем и раннею обедней и отдыхает, и просил их завтра утром зайти позднее, чтобы наверное застать его дома и свободным.

— Я доложу ему, и он будет ждать вас, — сказал архистратиг Эпира.

Архонты удалились, а мы хотели возобновить наш интересный разговор.

Но в эту минуту в сенях явился Сабри-бей. Он был прислан от паши узнать о здоровье г. Благова. Опять Маноли выпорхнул и отправил его вежливо и со многими комплиментами назад.

Тогда поп Коста начал снова:

— Да! надо все привести теперь в порядок и правильность. Христианство страждет. Вот и Одиссей этот бедный за веру и отчизну потщился, а получил одни побои и больше ничего. Долго ли будет турок глумиться над нами? Все это дело Назли не так бы вести надо, а чтоб ужас и трепет был туркам внушаем! Но без хозяина что за строй и что за экономия в доме!

Бостанджи-Оглу оскорбился за себя и Бакеева и отвечал смеясь, но со злобой:

— Уж вы, попы, как впутаетесь в дело — беда с вами! Я попов знаю. У меня отец, к сожалению, поп. И недаром сказано, что сын попа — дьяволу племянник. Все попы интриганы и мошенники... <sup>10</sup>

— У тебя, ты говоришь, господин Бостанджи-Оглу, отец поп? — спросил повар.

— Так что ж? И он интриган и мошенник, и жесткий человек... Меня палками кормил... Боже упаси...

— Полно, много ли, — сказал кривой повар выразительно.

Он сказал это так выразительно и забавно, и все так хорошо поняли, что он хотел этим сказать, что опять было громким смехом ужаснули Кольйо, который должен трепетать за спокойствие своего господина... <sup>20</sup>

Поп Коста не обратил ни малейшего внимания на пустые слова противного Бостанджи-Оглу; он был все занят высшею политикой и снова начал говорить:

— Желал бы я видеть поскорей, что будет...

— Будет, чему быть должно. Примут меры, — заметил спокойно капитан Ставри.

— О! разумеется, что примут меры и потребуют самого величайшего нравственного вознаграждения... — с жаром подтвердил Маноли. <sup>30</sup>

Тогда вдруг вмешался садовник Христо, до той минуты безмолвный, и возразил им так:

— Вы говорите, что примут меры? Вы так говорите?

— Да, — сказал Маноли, — мы так говорим! Потому что честь и слава России этого требуют неизбежно.

Но садовник продолжал:

— Вы так говорите? Я я вам говорю — не говорите так. И слушайте вы все меня, что я вам скажу. Я вам скажу вот что: бывают такие политические вещи, которых постичь нам нельзя, ибо мы сами люди не политические. Да! я, христиане вы люди мои, очень много был и скитался в различных странах с моею бедностью... Теперь слушайте: в городе П... служил я в доме английского консула, мусье Виллартона. Он был человек, скажем, и не злой сам, но христианоборец первой степени. И говорил он и нам в доме всегда, что в Турции жить хорошо, что даже у них в Англии хуже и голоднее и строже; а что с турками рай земной. Другие консула идут с кавассами по улице, а он не берет кавасса. Это, говорит, Турции обида! На что мне стража? Кто кого тронет здесь? Здесь в городах, говорит он, спи с открытыми дверями, а у нас нельзя. И ходил один всегда по улицам. Я рассуждаю в глупости и бедности моей так, что если какой случай, то он не должен был уже гневаться. Однако он прогневался. Видишь ты меня, капитан Маноли? Вот этими глазами моими я видел, как его бил один араб и на землю повалил, и ногами бил. Да! было это недалеко от консульства, и я сидел в кофейне. Идет консул, и араб идет. Столкнулись. Консул ему: «Как ты смеешь толкать, сволочь!» и поднял палку. А тот раз его, и на мостовую, и ногами... Все мы, сколько ни было нас в кофейне, кинулись на араба и отбили консула. Дело теперь. Араб в тюрьме. Консула другие говорят: «Казнить его мало! что с ним сделать?» Паша говорит: «Увидим, увидим...» Город весь шумит. Христиане смеются. Француз первый пришел к Виллартону; и к паше самому уже он собирался идти с величайшею пышностью и гневом и говорит англичанину: «Я этим оскорблен тоже. И я консул. Я с ним то, я с ним это сделаю...» А мусье Виллартон ему: «Все это неправда... И все это не так было... И араба этого бедного напрасно заключили в тюрьму. Освободить его!» Теперь что вы мне, христиане люди, на это скажете? Не секретно ли все это?

Мы все с любопытством слушали кривобокого старичка и молчали; а он тоже помолчав продолжал:

— И еще вам скажу. Этого я глазами не видал, однако ушами слышал. В Константинополе старика лорда Б—, посла самого, чорные евнухи на *крестовой дороге* \* около магазинов бичами побили. За чтò, не знаю. Они при турецких гаремах были, которые в каретах ездят в магазины европейские вещи себе покупать. И побили бичами евнухи лорда. Посланники говорят: На совет сберемся... А лорд Б—: «На чтò совет? Этого никогда не бывало!» Слышали вы меня теперь, люди? Ну и судите о том, чтò бывает между людьми великого звания... Я говорю, тайна тут есть... 10

Все в первый раз слышали об этих двух событиях и все опять задумались молча, только поп Коста пошевелил щипцами уголья, чтобы было теплее, и сказал:

— Хорошо! Пусть будет все это так. Это значит, что в Турции все хорошо и что в ней рай земной... Вот и секрет весь... А в *нашем* деле с Бреше — секрет для какого дьявола? 20

Пришло опять один за другим несколько посетителей; пришел австрийский кавасс, пришел греческий — спросил, когда принимают. Потом пришел драгоман от Корбет де-Леси; он сам хотел видеть консула. Потом они ушли; а пришла одна добрая-предобрая сельская старушка, седая и белая, и веселая, круглая и румяная как яблочко; она давно уже заживала в русское консульство, потому что жандармы турецкие у нее в доме взяли барана, зажарили его, съели, отобрали еще несколько кур и потом грозились побить ее, если она не заплатит им *диш-параси*.\*\* Она 30 очень огорчилась и говорила: «Вот шестьдесят лет живу на этом свете, а этого еще со мной не бывало!» А когда ей говорили: «Бабушка, с другими бывало!», она отвечала

---

\* *Ставро-дромо*, крестовая или перекрестная улица; так зовут обыкновенно главную Перскую улицу в Константинополе.

\*\* *Зубных денег*. За то, что зубы тратил, тер их, кушая.



спокойно и весело: «Да-да-да! С другими вот бывало, а со мной никогда!» Она узнала от кого-то, что бывают *русские паспорта* и что тогда уже ни за кур, ни за баранов не страшно. Вот она и решилась выправить себе русский паспорт у *большого* консула; приехала в город издалека и ходила раза по три в неделю справляться, не вернулся ли консул. Она почти никогда не переставала, даже и на ходу, вязать толстый шерстяной чулок, а в другом таком же чулке за пазухой носила всегда какую-то турецкую бумагу и всем ее показывала.

Все ее в кавасской комнате приняли с радостью и смехом; у огня сейчас ей место Маноли опростал, посадил и сказал ей, подмигивая мне: «Бабушка, ты турецкая подданная?» А старушка весело, как дитя, головой затрясла: «А! а! а!» (т. е. да! да! да!) Смех! Маноли ей еще: «Да нет, бабушка, ты, может быть, греческая подданная?» А старушка опять ему: «А! а! а!» И на это согласна. Опять смех. Опять Кольйо говорит: «Перестаньте вы! Белас! белас!»

Так было весело в этот день. После старушки пришли Зельха с матерью, обе в белых покрывалах и черных *фередже*, как самые благочестивые и честные мусульманские гражданки.

И с ними сейчас разговоры и смех. «Зельха-ханум! Милости просим! Милости просим!.. Кофею не прикажете ли... Дайте кофею... Сигарку извольте... Кольйо, принеси бабушке нашей и ханумисам консульского варенья и кофе...» Так весело; одно жаль — что громко говорить и смеяться нельзя. Маноли говорит старухе матери Зельхи:

— Баба! раскрой покрывало! Поцелуй нашего попа. Чтобы тебе жить век и здравствовать, сделай ты это для моего удовольствия... Дочь твою на свадьбах все по очереди целуют, когда она с тамбурином деньги собирает, а тебя, бедную, кто целует? Поцелуй попа.

— Я согласна, — говорит турчанка.

— И я могу! — говорит поп Коста. — Она человек почтенный... — И они целуются.

Просто беда!.. Сам Кольйо зажимает рот, чтобы не разбудить Благова. Однако все-таки большой гул от голосов и смеха в комнате стоит. Но веселью нашему вдруг конец.

Внезапно скрипят засовы на воротах. Мы к окну и видим, что французский кавасс сам отворяет ворота... Бостанджи-Оглу бледнеет и спешит в сени, смотрит и не знает, что делать. Мсье Бреше въезжает на широкий двор, громко стучит копытами конь его по мощеной дороге. Мы в недоумении глядим друг на друга. Что будет?! Но напрасно наше смущение. Архистратиг Маноли ведь здесь!.. Он бодрствует неусыпно... Пока мы глядим друг на друга и ужасаемся, пока Бостанджи-Оглу, как дурак, бледнеет все более и более в сенях... Маноли как молния уже сверкает своими доспехами мимо нас.

Он у стремен француза и, приложив руку к золотому орлу своей фески, говорит ему так:

— Господин консул почивает, сиятельнейший господин консул! он ехал всю ночь очень спешно и был у литургии...

Бреше мрачно, медленно достает карточку и отдает ее молча кавассу, поворачивает лошадь и... вообрази, даже съезжает с каменной дороги, на сторону, на снег и мягкую землю... чтобы не греметь копытами по двору... Ворота только притворяет и засовы не трогает...

Маноли возвращается, приподняв усы и плечи; лицо его таинственно. Он глядит на нас, мы на него, а кривой повар говорит со вздохом: «Дела!»

Смех прекращается, и женщин в молчании угощают консульскими кофеем и вареньем. Не судьба была г. Бреше разбудить Благова; его разбудил Сулейман-дервиш. Тот был глух, и как только увидали мы все из окна, что он, несмотря на холод и снег, идет себе в ситцевом халате своем и в башмаках на босую ногу... Кольйо к нему навстречу побежал, чтоб он не вскрикнул: «Га! га!», но это было хуже... увидел он Кольйо, обрадовался ему и как лев, как бык полудикий взревел на весь двор...

Благов дернул звонок... все взволновались и рассыпались в разные стороны.

Садовник понес наверх дрова; Бостанджи-Оглу поспешил в канцелярию; мальчик Алеко бросился раздувать мангалы; Кольйо наверх, к самому консулу; Маноли не знаю куда устремился; а повар сказал двум старухам, турчанке и бабушке: «Пойдемте в кухню, я вас покормлю, так как сегодня праздник».

Остались мы только трое у мангала: Зельха, задумчивый <sup>10</sup> Ставри и я.

## XI

Когда мы остались втроем с капитаном Ставри и Зельхой, Зельха вдруг подошла ко мне и обратилась с вопросом:

— Мальчик, чей ты сын? Жид ты или христианин?

Я, смутившись и краснея, отвечал ей:

— Конечно, христианин, морé, зачем это я буду жидом? — И хотел уйти.

<sup>20</sup> Но она схватила меня за шубу, начала глядеть мне прямо в лицо (глаза ее были очень велики и черные и мрачные, ресницы очень длинные, как *франкские стрелы*; она редко улыбалась)... и сказала:

— Ты пойдешь к консулу наверх!..

Я отвечал:

— Оставь меня, пойду не пойду — чтò тебе!

(Ко мне никогда не прикасалась еще ни одна молодая девушка, а тем более танцовщица-цыганка. И мне при Ставри было очень стыдно...)

<sup>30</sup> — *Гёронта*,\* — с презрением и печально сказала Зельха, — точно игумен!

Кир-Ставри сидел молча у жаровни и не смотрел даже вовсе на нас.

---

\* *Геронта* — старец, настоятель монашеский и т. п.

Зельха повторила еще:

— Этот мальчик очень тихий... Точно он игумен, точно геронта!.. *Гид!* (поди прочь) — и с негодованием отбросила от себя полу моей шубы, которую держала.

Я опять хотел уйти поскорей от нее, но она вдруг снова схватила рукой шубу и воскликнула совсем другим голосом:

— Ба! какая прекрасная шуба!.. Пятнышки, пятнышки, пятнышки. Это знаешь что такое? Это ведь рысь! Прекрасно! Очень прекрасно! Скажи мне, милый барашек мой, это ты сам себе сделал, или тебе твой отец купил?..<sup>10</sup>

И прежде еще чем я успел ответить ей, она кинулась мне лицом под шубу, спряталась у меня на груди и оттуда кричала:

— Как прекрасно здесь! Как хорошо пахнет у него тут в шубе!.. Тепло, тепло!

Я старался оттолкнуть ее и вынуть ее голову из шубы; она сопротивлялась... Я начинал уже сердиться; кир-Ставри улыбался, но, увидав наконец эту борьбу, сказал ей строго:<sup>20</sup>

— Э! Зельха! полно! оставь Одиссея! я тебе говорю. Я консулу на тебя пожалуюсь...

Зельха вышла из шубы моей, высокомерно оглядела меня еще раз с ног до головы, и сама очень строго обращаясь к Ставри:

— Одиссей? Ты говоришь Одиссей? Это имя его? Одиссей? Никогда не слыхала! Какое скверное имя — Одиссей... — пожала с недоумением плечами, еще один раз сказала: — Одиссей! что за вещь такая?<sup>30</sup>

И вдруг нахмурила брови, топнула на меня ногой и закричала:

— Что ты стоишь, морé, иди наверх, узнай, что делает большой эффенди... знаешь, у меня к нему дело большое есть...

И толкнула меня в спину:

— Иди! иди!

Тогда уж и мне стало смешно, и я сказал: «хорошо! пойду...» И пошел в канцелярию, думая: «вот дерзкая какая она и необразованная, и у нее, смотрите, есть тоже дела! мои дела, это точно дела, не меньше бакеевского, посмотрим еще, что скажет мсье Благов о моих врагах, о софте и сеисе! вот это дела!»

Раздались опять шум и бряцанье за мной, и я увидел внезапно пред собою трех консулов разом: Корбет де-Леси, Ашенбреннера, нашего эллина и с ними трех кавас-  
10 сов... все были в официальных фуражках. Ставри повел их наверх.

Я видел, как впереди всех шел низенький и весь чисто выбритый англичанин в меховом длинном пальто и все с манжетками женскими на сборках. А за ним австриец и Киркориди, оба большие, оба очень толсты. Но австриец, еще не старый и живой, не отставал от Леси, а наш поднимался не спеша и дышал тяжело на все сени...

Я смотрел, как они все шли на лестницу, и слышал, что Ашенбреннер сказал по-французски: «Il n'est pas trop cou-  
20 lant...» «Nous verrons!» — отвечал Леси. А Киркориди молчал.

Я тотчас же поспешил в канцелярию и передал эти слова консулов Бостанджи-Оглу и спросил, что такое это слово *coulant*. Бостанджи-Оглу кинулся искать в словаре, нашел и с радостью воскликнул:

— А! уступчивый... хорошо! это значит, они мирить взялись... — потом прибавил: — Беги, Одиссей, за Бакеевым скорей... скажи ему.

Я тотчас же побежал на квартиру, рассказал Бакееву  
30 все, сказал, что Бреше приезжал сам и что он на снег с камней съехал. Г. Бакеев отвечал мне очень сухо и печально: «благодарю вас...», и мы вместе вернулись в консульство. Он прямо пошел наверх, туда, где собрались консулы, а я в канцелярию.

Вот что произошло наверху.

Ашенбреннер лучше всех других консулов уживался и с Бреше, и с Благовым, и с Леси. Он был всех слабее в

стране, всех уступчивее, может быть, и по природе всех добрее и любезнее. Бреше завидовал независимости и популярности Благова, которая все росла и росла, и ненавидел русских. Корбет де-Леси раздражал ему нервы своею щепетильностью и формализмом и тем, что он звал: *des simagrées britanniques!*

Когда после покушения Орсини на жизнь Наполеона III во Франции столь многие были возбуждены против Англии и восклицали с бешенством, что надо, наконец, разгромить этот притон, это вечное убежище разных преступников и политических авантюристов, Корбет де-Леси опасался серьезного разрыва между двумя государствами. Ему необходимо тогда было сделать визит господину Бреше. Он пришел, просидел ровно десять минут (по часам) и ушел. Когда же все утихло, он опять пришел и просидел более часу. Вот такие вещи не нравились господину Бреше. Ему, кажется, все на свете не нравилось!.. Не нравилось ему также, что Леси слишком часто спрашивал: «официально или официозно вы это говорите?» А еще более надоедал английский консул Бреше тем, что у Леси турки были все прекрасные люди, все честные люди, все правые люди. Бреше нужно было кого-нибудь *сокрушать* для величия Императорской Франции... Кого же сокрушать, как не этих бедных варваров? Они под рукой; у них нет ни Парижа, *столицы земного шара*, ни французских префектов. Леси опасался дерзости француза и считал за счастье не иметь с ним дела. Еще недавно, в самый день столкновения Бреше и Бакеева у него в доме, тотчас после столкновения, которое очень разгневало старика (у него в доме! Как это мог произойти такой беспорядок! Чуть не кулачный бой!), Леси, говоря с г. Бреше, не без раздражения выразился, между прочим, так: «Один раз был вот какой у нас случай... Французское посольство *позволило* себе...»

Бреше прервал его: «Monsieur de Lecy!.. Выражение ваше *позволило* себе нейдет в приложении к посольству Франции...»

Но старику уж Бреше надоел донельзя; он задрожал, затряс головой и сказал: «Извольте, извольте, в другой раз я буду, встречаясь с вами, в одной руке держать какой-нибудь словарь, а в другой револьвер...»

«Продолжайте ваш рассказ!» — сказал Бреше примирительно.

Но Леси отвечал сдержанно и злобно: «Да, я продолжаю... Посольство Франции *позволило себе* однажды...»

<sup>10</sup> Бреше снес это; нельзя же ему было разом *сокрушить* всех...

Благова Леси любил больше и уважал его как человека старинного дворянского рода, но трепетал московских интриг и видел их везде, подозревал, искал их всюду. Вдруг выходил из своей апатии и уединения, шел к Киркориди, шел к Ашенбреннеру и беспокоился у них: «Нет ли еще чего-нибудь? Откуда разбой в горах? Не виделся ли Благов с разбойниками в самом деле?.. Чтò за *ящик* с пистолетами ему прислали?.. (И ящик в самом деле <sup>20</sup> был, только не с пистолетами, а с так называемыми *grûnes pistoles*. Но на турецкой таможне испугались.) Не слышать ли чего о *русских рублях*?.. Правда ли, что он в лесном селении Вувуса, на самых дальних загорских высотах, подарил *пильщикам* образ Воздвижения Честнаго Креста и сказал им: „Все у вас хорошо тут на лесопильне вашей, только образа нет и лампы в углу. Это дурно. Надо, чтоб у вас было, как *у нас в России*...” Правда ли это? Это чистый панславизм!» — шептал Леси то австрийцу, то греку. И они соглашались и вздыхали и <sup>30</sup> говорили: «Чтò делать?» И писали все об этом образе и писали...

Кроме того, и лично Леси был не совсем доволен Благовым; до него дошло, что Благов рисовал на него очень удачные карикатуры, например, такого рода: Охота. Лес. Стоит Леси с ружьем и смотрит наверх озабоченно. На козырек его форменной фуражки села птичка, и он спрашивает ее: «Скажите мне, маленькая птичка, вы сели на

фуражку мою официально или официозно? Я буду действовать сообразно с этим!»

Что касается до Благова, то он Леси любил, уважал сердечно и если иногда смеялся над ним за глаза, то разве дружески и шутливо; а господина Бреше терпеть не мог и смеялся зло и брезгливо над его дурными манерами; как политического агента Благов остерегался французского консула и ненавидел его особенно, как представителя французской демократии, которая была в его глазах в гражданском смысле олицетворенная плоскость и грязь. <sup>10</sup>

Между этими тремя упрямыми, самолюбивыми и влиятельными коллегами, как ручей между камнями и колючими кустами, струился толстый Ашенбреннер, приятно и уклончиво извиваясь и журча...

В местную политику мешаться *деятельно*, а не только наблюдательно, он был бы очень рад, но что ему было делать?.. Конечно, можно со временем привлечь и всю Албанию к великой Империи Габсбургов, имеющей раскинуть мощь свою до самых Врат Блаженства!..\* Но... <sup>20</sup> теперь? Что делать в Эпире, где нет славян? Разве изредка-изредка спросить у греков, — и то даже не официозно, а как-то так — спросить у них: «Согласились ли бы вы быть когда-нибудь подданными австрийского Императора?» Хорошо еще, если грек ответит на это уклончиво: «Наши люди, г. консул, слишком необразованы, чтобы не бояться Католицизма». А иной скажет и прямее: «Нет, грек так свободолюбив и горд в своей народности, что по охоте и с любовью он поднимет тяжесть только одной великой короны, короны особого Византийского Императора». <sup>30</sup> Интернунций не поддерживает в распри с турками и строго велит агентам справляться самим на месте достойно и умно. Интернунций Прокеш-Остен сам постарел, совсем пожелтел и, кажется, думает только о том, как бы ему спокойно наслаждаться в Кон-

---

\* Босфор, Царьград.



стантинополе. Ходит по утрам на дачи к молодым посланницам, читает с ними немецких поэтов; на балах старается всех дам, под предлогом старости своей, брать за обнаженные руки выше локтя и вздыхает, говоря: «Как печально иметь молодое сердце в престарелом теле!»

Великую Империю Габсбургов разбили недавно в прах эти наглые французы под Сольферино и Маджентой, и молодой Император вынужден был просить мира у венчанного *кондотиери* и обниматься с ним... А мадам Ашен-  
10 бреннер молода, бедная, и беременна уже шестым ребенком... А жалованье меньше, чем у других консулов... Подданных почти нет в Эпире, и легкого, простительного *оборота* даже какого-нибудь не дождешься...

И вот ручей журчит и льется, миротворствуя... Он со всеми хорош. У Леси он негодует на *пыльщиков Вувусы*, на грязные интриги панславизма; у Благова он до слез смеется над птичкой и над вопросом: «Как вы сели, птичка?» и восклицает: «О! как это остроумно! Как изящно! Сколько правды! О! наш добрый *monsieur* Ле-  
20 си!»

У Бреше он тоже ропщет на *пыльщиков Благова* и смеется над птичкой Леси, но сверх того он жалуется на пашу, на то, что он перестает помнить, что такое *консульский корпус*, которого *doyen monsieur* Бреше (потому что он давнее всех в этой стране); он говорит, что туркам нужны то *шпоры*, то *узда*, что они грека, имеющего честь быть австрийским *protégé*, ввергли вчера в тюрьму, не спросив у представителя древней Империи Габсбургов.

И господину Бреше приятно, что чуть не вся *Австрия*  
30 у ног его и простирает к нему руки; он едет в Порту и шпорит старого и доброго пашу, и подтягивает и ворочает жестоко узду в надменных, но бессильных устах его Ибрагима!..

Теперь как быть?... Бреше увлекся через меру... Надо спасти его от неприятности... а завтра он в свою очередь поможет католической Австрии и уничтожит кого-нибудь в угоду ее агенту, а мы представим после интернунцию:

вот как искусен тонкий Меттерних Эпира... и будет *прибавка*, и для милой madame Ашенбреннер будет легче и приятней жить на свете. Вот другому его австрийскому же товарищу, вероятно, за разные подобные этому заслуги, в другом городе, дало правительство монополию или иную выгодную привилегию при торговле табаком с Турцией... Что-то в этом роде... И он воздвиг себе приятный и поместительный каменный дом зеленого цвета, убрал его розовыми лаврами и живет хорошо, несмотря на то, что его супруга еще более, чем madame Ашенбреннер, 10 «как плодovitая лоза в доме своем, и дети его как масличные ветви вокруг его трапезы». Надо также помнить, что Бакеев *секретарь*, а не консул. А это великая разница! У Бакеева нет *помазания* дипломатического, он ничего не *представляет*; он не *агент*, он чиновник, *employé*... «Пинеиро-Ферейра, Мартенс и др. согласны в том, что les bons offices» и т. д. Словом, надо, чтобы Бреше помог подданного австрийского завтра выручить из тюрьмы... Возвышая Бреше, возвышаем весь консульский корпус. 20

Надо смягчить Благова прежде, чем он, *может быть*, примет какие-нибудь меры. Надо придать этому делу частный, личный характер. С этою же целью и сам Бреше, как не *имеющий ничего личного против Благова*, поспешил ему сделать утром визит.

Корбет де-Леси с трудом соглашается идти *вместе* к Благову. Он находит, что Бреше вовсе не прав, а что Бакеев прав вполне (Бакеев с турками действовал посредством «bons offices» по делу контрабанды. Он не *шпорил* их, не оскорблял!); идти он идет; если только сам Благов не начнет. Он *предполагает* только, что «будет, вероятно, отвечать в примирительном духе, если бы случайно г. Благов сам завел речь об этой распре, достойной сожаления!...» (Быть может, старичок был бы и рад, чтобы молодой лев московский и старый, исхудалый от злости тигр парижского плебейства схватились бы при нем и растерзали бы друг друга, и чтобы на место их приехали 30

бы другие агенты, какой-нибудь тяжкий славянский телец и какая-нибудь тихая иезуитская лисица, которой и поживы не будет среди лукавого и бойкого эпирского народа! Быть может, и об этом думала британская старушка.) Чтò делал наш бедный эллин, наш медлительный Киркориди? Он решил, что он не *отделится от товарищей* и будет поддерживать их настолько, насколько будет выгодно для общего примирения. Ему больше нежели кому-нибудь необходимы *единение и сила* консульского корпуса, ему, который сам лично и умен, и очень тверд, но *государственно* так слаб пред турецкою системой своей власти!

Когда все (кроме Бреше) собрались в приемной Благова, наверху, *неожиданно* туда пришел Бакеев. Неожиданный оттенок... При оскорбленном не так удобно говорить, что его надо принести в жертву оскорбителю или по крайней мере отвлеченной силе *консульской корпорации*.

Благов пришел очень веселый и нарядный; точно ничего не случилось.

Ашенбреннер, который уже успел узнать о том, что Благову дали Св. Станислава 2-й степени, начал первый прежде всего с увлечением его поздравлять и, обратясь ко всем присутствующим, воскликнул радостно и с *незлобивою* какою-то *завистью* (как выражался после сам Благов).

— Два креста и одна медаль... Два креста и один из них уже командорский! У такого молодого человека! При-знаюсь, приятно служить такому правительству! Два креста и одна медаль!

Потом и Леси, поздравив Благова с тонкою, вежливою и сухою улыбкой дипломатии на гладко выбритых устах, начал такую речь:

— Холодно! Мороз значительный. Самые пожилые из жителей Янины с трудом могут припомнить то время, когда озеро подергивалось льдом. Но ныне оно подергивается все более и более...

Он остановился, соображая, что еще было бы тут приличнее прибавить...

Ашенбрэннер спешит вмешаться и говорит Благову:

— Вам было очень холодно, вероятно, ехать этою ночью. *Вы так сюда спешили.* Хотя, конечно, русские привычки...

— Не скажу, — говорит Благов, — чтобы мы были привычнее к холоду здешних людей... Здесь и в Италии люди зябнут в домах зимой и очень довольны; а мы на юге не знаем, что делать иногда от стужи...

10

Леси продолжает настойчиво и возвышая голос с некоторою досадой:

— Самые престарелые жители города Янины с величайшим трудом вспоминают о морозе, который в отдаленное время подействовал даже на воды озера...

Он приостановился еще раз; но Благов вдруг ему на это:

— Да! а я хотел спросить у вас, monsieur Леси, правда ли, что я прочел недавно о вашем Нана-Саибе, что он будто бы чуть не накануне восстания в Индии танцевал очень хорошо на балах с английскими дамами?

20

Вообрази себе положение Леси! Вся нить его метеорологических наблюдений была прервана; все расстроилось; он замолчал, выпрямился, заложил вдруг пальцы за жилет и отвечал Благову значительно:

— Monsieur Благов, на этот вопрос я могу ответить вам только одно... Что я не знаю об этом ничего.

Ашенбрэннер опять *струится* между *терновыми кустами*... Он говорит о том, что в России зимой, слышно, очень приятно, что леса в инее и санки, дымящиеся печи и златоверхие колокольни придают стране в такие дни какую-то волшебную поэзию, которой нет в южных странах...

30

— Да! — прибавляет он ласкательно, — всякая *цивилизация* имеет свою оригинальную прелесть. Так и русская *цивилизация*.

Благов благодарит его за «цивилизацию» России легкой улыбкой и продолжает дразнить Леси:

— Мне понравился этот Нана-Саиб... Вот это точно оригинальная цивилизация, пред которой наш русский иней ничто!

Леси молчит и смотрит на часы, не довольно ли этих *bons offices*?

Ашенбреннер опять о снегах и об одном итальянце, который замерз в России, и опять спрашивает:

— Скажите, mon cher monsieur Blagow, во сколько часов вы совершили свое знаменитое путешествие от Арты до Янины?

Бакеев в волнении, ему хочется, чтобы разговор скорее стал откровеннее... Чтобы заговорил хоть кто-нибудь о нем и о Бреше...

Он вдруг врывается некстати в беседу.

— Monsieur Благов ужасно спешил; он ехал такую ужасною ночью всего семь часов, и я, конечно, не знаю, как выразить ему мою признательность...

Никто ему не отвечает, а Благов говорит только Ашенбреннеру очень веселым тоном:

— Я люблю иногда, сознаюсь в этой слабости, разные трудности и сильные ощущения.

Киркориди, пока те говорят, в сторонке жмет крепко руку Бакееву и шепчет ему очень глухо, очень глухо:

— Как вы себя чувствуете? Здоровы ли вы?

— Вы знаете, — тихо и мрачно отвечает Бакеев.

— Так! так! что делать!.. — еще глуше шепчет ему по-гречески Киркориди под шум других голосов; и прибавляет еще тише по-итальянски и со вздохом: «Prepotenza!»

На лице его широко, спокойном, огромном и невозмутимом Благов *издали*, несмотря на молчание его, читает:

— Не сердитесь на меня, вы, русские, что и я с ними пришел... Вы знаете: Булгарис, английская партия... Ионические острова... Еврей Пачифико... А я проиграл вчера немного в карты...

Так рассказывал гораздо после обо всем этом сам Благов при мне, и этот рассказ его был восхитителен! Он

шутя уверял, будто бы ему даже казалось, что Киркориди подмигивал ему глазом в сторону Ионических островов, где тогда еще царили те самые красные мундиры, из которых выкроил себе куртку наш садовник Христо, столь сведущий в политике.

Так кончилось ничем это совещание; Корбет де-Леси ушел, негодуя слегка за Нана-Саиба и еще больше за *оригинальную его цивилизацию*, за ним ушли и остальные.

## XII

Время завтрака давно уже прошло. Консул был, вероятно, сыт еще с утреннего чая; а мы с Бостанджи-Оглу все сидели в канцелярии, в ожидании, и несколько раз то пили турецкий кофе, чтобы заглушить на минуту голод, то ели понемногу один хлеб, чтобы не испортить совсем себе аппетита к обеду, на который я непременно надеялся быть приглашен.

Скоро пришел к нам Коэвино. Он, не снимая шляпы и почти не кланяясь, спросил у нас:

— Принимает ли теперь господин Благов?

Ему сказали, что наверху консульское совещание по делам, но Бостанджи-Оглу прибавил, что г. Благов приказал задержать его на обед непременно, если он придет:

— Он очень желает скорее вас видеть, — сказал ему Бостанджи.

Доктор сел у мангала, снял шляпу и перчатки и несколько времени сидел молча, крайне печальный и задумчивый. Только брови его дергались над унылыми, потухшими очами. Но вдруг он оживился, встал и воскликнул:

— Ха-ха! ха-ха! консула! Très bien! Très bien! Теперь наверху совещание. Благов не уступит и не должно... Могут сказать, что у него есть такт.

Бостанджи-Оглу, который при всем ничтожестве своем любил не хуже других подстрекать доктора на разные его выходки, заметил:

— Бреше ужасно невежлив, и ему оскорбить человека не значит ничего.

Доктор продолжал, одушевляясь все более и более.

— Французский ум! Французская вежливость! Где она? Я их не вижу в Бреше... Бреше! Французское невежество, французская грубость... Какое сравнение с моим Благовым (и лицо доктора сделалось внезапно мило и приятно, глаза его стали сладки и томны). Благов, это истинная цивилизация, это порода. *C'est la race... la race* (он <sup>10</sup> опять ожесточился и наступал грозно на нас, чтобы показать силу аристократии и породы). Мать — княгиня, владетельной скандинавской крови. А? могу сказать — Рюрик!.. А? Не так ли? Рюрик... Было три князя: Рюрик, Синеус и Трувор... Ха, ха, ха, ха! Я все это исследовал... Я знаю больше твоих учителей, Одиссей мой милый, а? Скажи? больше? а, скажи, больше?

— Больше, доктор, гораздо больше.

— Рюрик, скандинавы, *les Varengiens...* А? *Les Varengiens...* Какие имена! они служили у Византийских Императоров... *C'est la race!* Взгляните на походку (и доктор <sup>20</sup> шел к дверям, шел от них опять к нам стойко и прямо, с несколько военным оттенком — это был Благов).

Потом, вдруг разразившись на мгновение хохотом, топотом и криком, он подошел ко мне тихо и сказал с глубоким отвращением и почти с жалостью:

— А *monsieur* Бреше? Он в Азии прежде ездил как *commis-voyageur...* прикащик, шолковых червей скупал. Червей! червей! — продолжал он с негодующим укором. — Он дипломат теперь... Червей... Отец Благова, <sup>30</sup> вот взгляни сюда, густые эполеты... *Трикантон* \* с белым плюмажем... Конь лихой... Кресты и ленты Государя! Борец против *la grande armée* (и доктор поднимал над головой моей палку, как бы желая доказать мне ощутительно, до чего был властен и могуч покойный отец Благова).

---

\* Треугольная шляпа.

Он прибавил еще:

— Татарский князь крестился несколько веков тому назад, он был добр как ангел, и русские его называли «Сильно-благ», а? Каково это? «Сильно-благ!» Потом боярский род Благových!

Долго размышлял Коэвино над прекрасным именем «Сильно-благ». Мы ждали, что́ будет дальше. И вот постепенно, сразу почти незаметно, доктор стал изменяться; он как будто сделался короче, сгорбился, пошел по комнате медведем, лицо его поглупело, опухло, и он заговорил грубо: <sup>10</sup>

— А вот отец Бреше... *Vla! ben!* Блуза грязная, деревянные сабо, колпак на голове ночной и вилы, и вилы! И вилы... и вилы!.. И он вилами этими тащит сено! И он этими вилами сено пихает!

И, схватив с дивана подушку, доктор начал с хохотом подпирать мне ею бок и притиснул меня к стене, и радостно и все с грубым лицом ревел на меня:

— А он вилами сено взваливает!

Мы с Бостанджи-Оглу до слез смеялись, и доктор <sup>20</sup> казался тоже счастлив. Он успокоился, сел и стал опять хвалить русских и Благова, говорил много, потом начал проводить параллель между самим собою и Благovichem:

— Оба артисты, оба поэты, оба люди хорошего общества, оба люди с энергией и с фантазией.

Долго наслаждался доктор, проводя эту параллель, которая ему очень льстила, и наконец, обратясь к Бостанджи-Оглу, спросил его весело:

— Скажи мне, мой дорогой Бостанджи-Оглу, разве <sup>30</sup> я не прав? а? Разве я не прав? Разве между мною и Благovichem нет некоего существенного, так сказать, сходства, онтологического, могу даже сказать, единства?

Бостанджи-Оглу молчал и улыбался не без смущения.

— А? Разве нет? а? разве нет? Скажи, будь вечно жив и здоров, мой милый.



— Как вам сказать? — ответил несмелым голосом Бостанджи-Оглу. — Ну нет, я думаю, что вам далеко, слишком далеко до господина Благова! Ничего и похожего нет.

О! если б я мог изобразить тебе живо внезапное оцепенение доктора... Его внезапное красноречивое молчание!.. Только брови его заиграли и черные глаза стали мрачны как могила...

Бостанджи-Оглу, я видел, немного испугался...

10 Доктор надел шляпу, надел перчатки, еще постоял и вдруг, стукнув об пол тростью, воскликнул:

— Подлец! Побродяга! Дурак... Скотина!.. Скотина!

Кир-Ставри отворил двери из сеней и смотрел с удивлением...

Доктор еще раз повторил: «Босоногая тварь! Дурак!» — и, отстраняя кавасса издали мановением руки от двери, вышел из нее царем.

Мы остались в недоумении.

Кир-Ставри спросил с язвительностью:

— Опять в него бес вселился?..

20 Бостанджи-Оглу был очень оскорблен и сказал мне и Ставри:

— Не сам ли он подлый человек? За что он меня так оскорбил? Хочет, чтоб я его вровень с господином Благовым ставил. Разве что так... а? погоди ты, я тебя заставлю у себя просить прощения... Консул у нас справедливый. Разве он позволит всякому оскорблять его чиновников в канцелярии, и тогда еще, когда они его честь и достоинство защищают!.. Будет этому Коэвино анафемскому от Благова! Посмотри, Одиссей...

30 В это время консулы окончили свой визит и ушли, и Бакеев спешно сошел к нам вниз в канцелярию и принес несколько бумаг. Он был гораздо веселее прежнего.

— Консул велел сейчас переписать вот это, — сказал он, показывая бумагу Бостанджи-Оглу. — Надо нам поскорей успеть... Не может ли и Одиссей помочь?

Почерк у меня был твердый, крупный и красивый. С французского я списывать уже мог почти без ошибок,

если черновая рукопись была разборчива. Я встал и написал для примера одну строку.

Г. Бакеев воскликнул:

— Да это превосходно! Вы лучше меня пишете... Садитесь... Вот вам все... Эти два циркуляра спишите...

Никогда я не видал Бакеева таким оживленным или взволнованным; он подал нам с Бостанджи-Оглу черновые; себе оставил самую большую бумагу и хотел было писать, но вдруг остановился и сказал:

— Нет! подождите, надо вам прочесть, что monsieur 10  
Благов пишет этому Бреше... Слушайте!

И он прочел нам громко:

«Г. консул, с удивлением узнал я, по возвращении моем в Янину, что вчерашнего дня вы позволили себе в присутствии г. Корбет де-Леси, английского консула „une action inqualifiable” относительно управляющего в мое отсутствие русским консульством, г. Бакеева. Я не вхожу в рассмотрение побуждений, которые могли внушить вам подобные выражения, и не мое дело рассматривать теперь, какое консульство было правее, то ли, которое, снисходя к про- 20  
ступку подданного, искало дружеским путем облегчить его заслуженное наказание, или то, которое хотело защищать контрабанду в пределах дружественной державы; здесь я считаю долгом лишь сообщить вам, г. консул, что оскорбление, нанесенное г. Бакееву по поводу дела юридического и в иностранном консульстве, касается не только лица г. Бакеева, но самого Императорского консульства, коим он в то время заведывал. Не считая возможным оставить без внимания подобный поступок ваш, я предупреждаю вас о том, что все сношения, как официальные, так и 30  
личные, будут прерваны между вверенным мне и французским консульствами до тех пор, пока мы не получим блистательного удовлетворения».

В том же смысле, но гораздо короче, написал Благов циркуляры всем другим консулам.

Когда я впоследствии больше ознакомился с обычаями и уставами консульств, мне стало казаться, что циркуляров

этих вовсе не нужно было писать никому. Что это было или лишнее увлечение Благова, вследствие того, что все-таки он был еще молод и сравнительно не очень давно служил, а случай был довольно редкий; или у него была какая-нибудь особая цель, особое желание придать всей этой истории больше шума и официальности, чтобы возврат к примирению без полнейшего покаяния француза был труднее. Решить этого я и теперь не берусь; но это и не важно. Важен был, во всяком случае, факт официального разрыва при тех слухах о тайном и тесном дружеском согласии, которые так твердо держались в городе.

Кончив свою главную бумагу, ноту к Бреше, Бакеев спешил нести ее наверх и нас все торопил, говоря: «Готовы ли вы? Не старайтесь слишком! Скорее...» Но дверь открылась, и сам консул вошел в канцелярию.

Как только он увидел меня, лицо его выразило удовольствие, и, протягивая мне руку, он сказал своим звучным голосом: «А! Здравствуй! здравствуй! Загорский мой ритор!.. Очень рад... очень рад!» И подставил мне даже щеку свою, к которой с благоговением и радостью приложился.

Потом он сел, перечел еще раз наши бумаги и стал подписывать их, говоря со мною в то же время:

— Я отца твоего жду. Напиши ему и поздравь... Тот первый драгоман, который был здесь прежде, остается в Константинополе, а твой отец будет первым, если только не позднее месяца вернется... Иначе я не могу... Так и напиши ему и прибавь, что я ждать терпеть не могу никого.

И, обратясь к г. Бакееву, консул прибавил еще:

— Я люблю его отца. Я верю ему, он говорит дело, а не фразы. Вопрос не в *страданиях* христиан, которые вовсе уж не так велики, вопрос в их *желаниях*. Вот что нам нужно знать.

Так говорил Благов об отце моем. Бакеев спешил соглашаться с ним во всем. Я видел, что Бакеев теперь при консуле вовсе уже не тот прежний Бакеев, которого я знал, когда он, величаво разваливаясь на софе, говорил отцу

моему: «а! *Негадес, Негадес*, это тоже Загоры? И *Линьядес*, и это тоже Загоры?» или когда он около меня садился, так пренебрежительно и осторожно осматривая издали знаки от побоев на моем теле. Теперь он стал гораздо проще и доступнее. Даже выражение лица его стало естественнее и добрее... Большие карие глаза его утратили ту лжеофициальную важность, которая сначала так меня поразила. О небрежном и недоброжелательном тоне, который он принимал когда-то, говоря о дурном почерке Благова, теперь уже и помину быть не могло... Он стал <sup>10</sup> предупредителен и почтителен с начальником своим; он с выражением искренней дружбы, всматриваясь в бледное и молодое, но несколько строгое и твердое лицо Благова, подавал ему бумаги, делал ему вопросы и очень часто звал его по русскому обычаю, прибавляя имя отцовское: «Александр Михайлович». (У них такой способ выражения, ты должен это знать, гораздо почтительнее и в то же время дружественнее, чем «г. Благов».) Мне Бакеев в таком ви-  
де больше нравился, чем в прежнем; я понимал, что он не <sup>20</sup> из низости, но из горячей благодарности изменился в обращении с своим начальником. Прежде все приближавшиеся к ним обоим замечали, что Бакеев Благову не только не льстит, но, напротив того, повинуетя ему очень неохотно и только по крайней необходимости. Я слышал, сверх того, будто бы главная причина искреннему рассказу Бакеева была та, что Благов имел благородство ни разу не напомнить ему ни словом, ни намеком даже о прежних предостережениях своих насчет близости Бакеева к ужасному представителю *передовой* и *величайшей* в мире <sup>30</sup> нации. Сам Бакеев позднее, уезжая из Янины, сознавался в этом отцу моему, хваля Благова, и говорил, что, выслушав весь его первый рассказ о столкновении с Бреше, консул, вместо упреков, сказал только очень весело: «А! прекрасно! прекрасно!» Когда же на вопрос Благова: «А вы его тогда бить не начали?» Бакеев отвечал, что «не решился» — консул с лаконической резкостью: «Напрасно! напрасно!»

Бумага к г. Бреше и циркуляры другим консулам были тотчас же отправлены, и г. Благов, встав, сказал мне:

— Пойдем наверх, Одиссей, поговорим!

Мы пошли вместе на лестницу, но за нами прибежала Зельха и, тронув рукой полу жакетки консула, воскликнула:

— Эффенди! Паша мой! Доброго утра тебе!.. Как ты, кузум-паша мой, доехал?..

Благов равнодушно поблагодарил ее за приветствие и  
10 позвал и ее с собою наверх.

— Ну, поди и ты сюда... Расскажи что-нибудь новое, — сказал он ей.

Наверху, в прекрасной приемной, было тепло; чугунная печь раскалена докрасна и сверх того в комнате было два мангала. В воздухе пахло хорошим курением, которого я тогда еще не знал. «Лучше ладана», — думал я.

Г. Благов не сел, а стал спиной к печке и начал греться, стоя, а нам обоим приказал садиться.

Зельха, не стесняясь ничуть, скинула с себя зеленую  
20 шубку, воскликнув: «фу, как жарко!», бросилась в американскую качалку, слишком сильно качнулась назад, испугалась, вскрикнула, а потом обрадовалась и начала тихо качаться.

Я же не смел сесть, когда консул стоит, и стоял, сложив спереди почтительно руки, до тех пор, пока г. Благов не сказал, уже с несколько гневным и скупающим выражением лица:

— Садись, наконец, когда я говорю тебе!

Я сел, и мы все молчали с минуту.

30 Наконец г. Благов спросил:

— На что ж вы пришли сюда оба? Если молчать, то я прогоню вас.

И, обратясь ко мне, он сказал:

— Ты, ритор, не имеешь ничего возвышенного сказать на этот раз?

— Есть одно дело, *эклампротате кирие прóксене*, — начал я печально и вставая снова.

— Без *эклампротате* продолжай, — заметил Благов тоже серьезно.

— Кирие проксене! — не удержался я еще раз, и он улыбнулся. — Есть одно дело, о котором вашему благородию, вероятно, за более важными государственными заботами доложено не было...

Лицо Благова омрачилось.

— Дело? — спросил он. — И у тебя дело? Уж не страдания ли *под игом*?

— Ваше благородие не ошиблись, — поспешил я сказать. — Но при этой девушке... 10

Благов, конечно, не успел еще узнать о том, что меня на этот раз *в самом деле* побили турки. Ему в это утро, может быть, надоели уже и другие дела. Как бы то ни было, он сказал:

— Хорошо, после! А ты, Зельха, что скажешь? Может быть, и у тебя есть тяжба?

— Эффендим? — спросила Зельха, обращая к нему мрачные очи свои.

— Тяжбы, тяжбы нет ли у тебя?.. 20

Зельха воскликнула с радостью:

— Есть! есть! Я нарочно пришла к тебе сегодня за этим, паша мой.

Она встала, серьезно подошла к консулу, поклонилась низко и, еще раз коснувшись рукой края его одежды, бросилась опять в кресло и сказала:

— Великая у меня до тебя просьба есть, бей-эффенди мой! Знаешь ли ты *Нйцу*, христианку, которая около нас живет? Она женщина блудная и дурная!

— На что ж мне знать таких женщин, — отвечал ей консул (и я заметил, что по мере того как Зельха вступала в разговор, лицо его веселело и глаза, помраченные моим *риторством* и моею *политикой*, все более и более оживлялись). — Изю всех дурных женщин я знаю только одну, тебя! — продолжал он с лицом довольным и, скажу я, чуть не любящим, обращаясь к ней. 30

Зельха всплеснула руками в ужасе:

— Чтò ты говоришь, милый паша мой! Чтò говоришь ты, морé консулос-бей мой! Я разве женщина? Я девица. Я маленькая еще... А Ница очень дурная женщина! Самая скверная и злая! Отчего она такая дурная, я не знаю... Скажи мне, паша мой, можешь ты сослать ее в изгнание или в тюрьму ее заключить, если она очень виновата?

— Я все могу! — отвечал Благов. — Чтò же сделала Ница?

— Она вчера поссорилась у калитки с моею матерью; <sup>10</sup> мать ей ничего не сказала, а она матери моей говорит: «Молчи ты, старая! Ты собака плешивая! Как на базаре ходят от парши собаки все плешивые». Так она ее назвала. Ты скажи, паша мой, разве это не грех? А я говорю тебе, что это очень большой грех.

Хотя мне сперва и очень досадно было, что консул занялся так этою пустою девчонкой, а не мною, но, слушая Зельху, я смеялся; консул старался быть серьезным и обещал маленькой турчанке рассмотреть это дело завтра основательно и непременно жестоко наказать эту Ницу, если <sup>20</sup> только есть свидетели.

— Есть, есть свидетели! — с восторгом воскликнула Зельха.

После этого она успокоилась и опять начала качаться на кресле изо всех сил, опять пугаясь и вскрикивая немного, когда она слишком низко падала назад. Потом вдруг сказала:

— Паша мой, ты мне дашь еще той помады, которая хорошо пахнет?

Благов отвечал, что даст ей этой помады тогда, когда у нее будут очень чистые руки. Зельха посмотрела на свои <sup>30</sup> руки, задумалась и пропела печально и неправильно по-гречески:

Ке сéна, сéна *на́дливо-оосу...*  
Корми-и-и м'ангелико!

— Одиссей, скажи, барашек, чтò значит *надликóсу*? Это наша Мариго соседка поет *надликосу*, всегда *надли-*  
*косу*.

Так говорила она вместо *Фа-глитóсо*.\*

Я начал понимать, хотя еще и не ясно, чем она Благову нравится.

— Ты будешь у меня завтракать, — сказал он ей. — Поди к Кольйо, чтоб он тебе вымыл руки.

После этого доложили, что приехал Ибрагим-бей (не от паши, а сам от своего лица сделал визит консулу); еще полчаса беседы с глазу на глаз. Я ходил сверху вниз и снизу вверх, выжидая все моей очереди, и мне пришлось быть на галерее в ту минуту, когда г. Благов провожал Ибрагима. 10

Красивый, полный, одетый в щегольское пальто на меху, Ибрагим держал себя очень хорошо и с большим достоинством; в этот день он был особенно чем-то возбужден (быть может, любезностью консула) и сопровождал речь свою одушевленными и выразительными движениями рук, на которых сверкали алмазные перстни.

Остановившись перед лестницей, он с жаром сказал Благову:

— *Санкюлот!* Я давно говорю, эффенди мой, *санкюлот!* 20

И он употребил еще одно слово, неупотребительное вообще у турок, которое он или сам позволил себе составить, или слышал от кого-нибудь в Константинополе. Он сказал:

— Вот это настоящий *барбарлык*, так я скажу, эффендим! Вот это именно то, о чем *они сами* так любят твердить «*la barbarie*»

Я понял, что они говорили о Бреше и французах.

Благову эти речи бея видимо нравились; он, по обыкновению, улыбался очень сдержанно, но веселое сияние 30 глаз обличало его внутреннее удовольствие.

---

\* „*Фа-глитóсо*” — спасу, освобожу. — Два стиха из песни значат:

И тебя, тебя освобожу я...  
О! мой ангельский лик...

*Надлико́су* ничего не значит.



— Подождите минуту, бей-эффенди мой, — сказал он Ибрагиму. — Я вам расскажу прекрасную остроту вашего Фуад-паши. Он говорил, что не понимает имени «monsieur Lavallette». Что это, грамматическая ошибка? Madame Lavallette — это правильно. А monsieur должен называться «Levalet».

Бей вышел из себя от восторга. Он громко закричал:

— А! прекрасно! о! это любопытно! Levalet! Lavallette. А! Фуад-паша! Чтò за ум! Чтò за мозг!

<sup>10</sup> Затем они простились, и Благов спустился для зятя паши на пять-шесть ступенек с лестницы (чего он давеча не сделал для трех консулов). И конечно, эти пять ступенек, по которым кстати умел сойти для турка молодой дипломат, столь неуступчивый с знаменитым Бреше, подняли русское консульство в Порте на пятьдесят ступеней выше прежнего.

Стоя у окна во время любезного прощания турка с Благовым, я думал о себе: «Вот бы минута! Не выйти ли мне теперь, не сказать ли, что меня обидели?» Но воздержался от этой дерзкой глупости и остался почти непримеченным. Уходя, Ибрагим, однако, кивнул мне головой. И только!.. О! агаряне! и зачем это русские так хорошо обходятся с ними... Зачем! Зачем это!

Когда ушел Ибрагим, я думал, что дойдет наконец очередь до меня, до моего дела и до обеда; но консул принимал сперва митрополичьего дьякона и беседовал с ним несколько минут наедине, а потом пошли *наверх русские подданные*. Их было трое; всё лавочники и торговцы.

<sup>30</sup> И я решился снова идти вслед за этими подданными *наверх*.

Г. Благов опять не садился, а стоял у печки.

Впереди всех нас шел пожилой плотный лавочник, который был одет по-турецки, и в феске, но с голубым европейским галстуком на шее; он снял башмаки еще внизу. За ним, качая туда и сюда огромным носом, плелся высокий старик Симо, в черном опрятном сюртуке с русскою фу-

ражкой в руках. Он был прежде богат и красив, долго жил в Бессарабии и славился тогда своими любовными приключениями, особенно тем, что он раз в Салониках притворился евреем, от живой жены гречанки, остававшейся в Эпире, женился на молодой еврейке, взял за ней деньги и убежал в Россию. Теперь он был дряхл, разорен, несколько лет уже вел тяжбу с турецкими подданными о стотысячном наследстве, не знал пока чем прокормить детей, беспрестанно приходил в консульство и, медленно качая головой и разинув рот, как потерянный, говорил Благову и Бакееву по-русски: «Пожалуйте на харчи. Турки дела не кончают: голодом уморили!»<sup>10</sup>

За Симо шел г. Понтикопечи, человек молодой и не бедный, в бараньей шапочке, в ботинках, в поношенном и грязном длинном европейском пальто, но вовсе без галстука, а на шею и еще больше на подбородок, чем на шею, у него был небрежно накинут вязаный шарф. Он был не выбрит, несмотря на праздник, и весь посинел от холода. Манерами он старался показать, что он очень образован и что сами консулы для него свои люди.<sup>20</sup>

Он долго не снимал своей бараньей шапочки, но увидав вдруг пред собою в открытую дверь приемной стоящего у печки консула, он сорвал ее с головы, вошел в приемную не прямо, как мы все, а боком, обходя полукругом у стены, любезно улыбаясь и отставляя руку с шапочкой очень далеко в сторону.

Все эти подданные поочередно (и европеец все в обход) подошли к консулу и протянули ему пальцы рук своих, а консул едва касался их, как будто он боялся обжечься или взять какую-нибудь противную муху. (Почти так же, как делал Абдурраим-эффенди с отцом моим у доктора в доме.)<sup>30</sup>

На лице г. Благова не выражалось, впрочем, ничего ни веселого, ни сердитого.

— Чтò вам? — спросил он.

Лавочник, по-турецки одетый, начал поздравлять его с приездом, а г. Благов: «Верно дело есть?»

— Есть и дело, — отвечал лавочник, — только сегодня мы по поводу возвращения и по случаю праздника православного.

— Это напрасно, — отвечал г. Благов, даже не улыбувшись; — я обязан заниматься вашими делами, но тратить время на ваши приветствия я не намерен. С Богом!

И он показал головою на дверь.

Тогда европеец в бараньей шапочке приблизился к консулу очень развязно, подал ему письмо и сказал, что оно <sup>10</sup> рекомендательное от г. Петрова, другого консула, во Фракии.

Благов, читая письмо, начал слегка улыбаться. Потом, положив его на стол, он спросил: «Так какое же у вас дело?»

Европеец подал другую бумагу.

— Если это прошение по-гречески написано, — сказал консул, — то я сам не могу читать его. Я не очень хорошо разбираю греческое письмо.

— Оно по-славянски, — отвечал с льстивым движением европеец. (Жив долго с болгарам в Фракии, этот ловкий грек, русский подданный, надеялся больше угодить *панславистическим чувствам русских*, если напишет прошение по-славянски.) <sup>20</sup>

Г. Благов начал читать громко это прошение:

«Ваше величество! (Я прошу тебя верить, что я не преувеличиваю.) Голема-та грыжа, кое то вы имеете за всички единовержыта неговы на турско-то и наипаче за подданные-те Государя Императора сполучи да оставим город Пловдив-т и да излезем на Эпир под ваше высоко- <sup>30</sup> то покровительство и да возложим надежды-то всички на ваше благородие и на Государя Императора!...»

После этого приветствия следовала жалоба на крестьян двух сел в соседнем городе округе Куренда, давно не платящих денег отцу просителя (подданному турецкому); сумма долга была большая, видимо с процентами на проценты, внесенными заранее в долговое обязательство в какую-нибудь очень тяжелую для бедных селян минуту.

Благов спросил:

— Отец ваш, вероятно, покупал хлеб у них еще на корню?

Европеец с некоторым беспокойством, но сознался, что «на корню».

— Это хорошо! — сказал консул; — а вот что пишет о вас г. Петров из Фракии. Слушайте:

«Мсьё Понтикопеци достал себе в Кишиневе русский паспорт. Он едет к вам в Эпир и убедительно просит у меня рекомендации. Что сказать? Это один из тех новорусских подданных местного происхождения, которых назначение одно — ставить консульство в самое трудное положение. Большею частию они мошенники. Г. Понтикопеци покупал здесь хлеб на корню у болгарских селян, когда те были в крайности при уплате податей туркам. Потом... Вы знаете сами, конечно,... проценты на проценты. И вот консульству, с одной стороны, нельзя отрицать юридических прав г. Понтикопеци, а с другой, приходится ввергать в тюрьму и без того обремененных налогами сельских болгарских старшин за неуплату!..»

— Видите, — сказал консул и прибавил: — Хорошо по крайней мере, что у вас нет национального оттенка; вы и своих здешних греков грабить готовы точно так же, как и болгар...

— Это дело коммерческое! — сказал европеец и довольно бойко взглянул на консула.

— С Богом! — повторил ему еще раз Благов и показал на дверь с таким заметным изменением в голосе и взгляде, что молодой человек поспешно направился к выходу.

Благов сделал и сам несколько шагов за ним, и тот так испугался, что вдруг вся его грация и смелость пропали; он вильнул в сторону спиною и побежал боком, боком (понимаешь?) так, как делают ослы, когда погонщик сзади кольнет их чем-нибудь больно с одной стороны...

После этого и плотный лавочник, по-турецки одетый, уже сам, не дожидаясь второго приглашения, ушел; а старику Симо консул дал две лиры «на харчи» и прибавил:

— Теперь чтобы два месяца я твоего имени не слышал.

Освободившись от этих людей, г. Благов обратился ко мне и сказал:

— Когда же обед, наконец?.. Поди, Одиссей, вели подавать кушать. Позови Зельху и узнай, будет ли доктор Козвино или нет... (Отчего же он не сказал нам с тобой *кушать*, а кушать просто. Нет! Видно большая разница ему быть у нас в Загорах и ему *есть наш хлеб*, или здесь мне быть у него в доме и мне есть его хлеб!)

<sup>10</sup> Однако прежде чем я успел выйти, на галерее показался кир-Манולי с докладом:

— Эффенди, старичок Мишо!

За Манולי шел согбенный старичок. Г. Благов вдруг вышел сам на холодную галерею и воскликнул с самым радостным видом, простирая руки:

— А, капитан Мишо!.. Милости просим... Милости просим. Очень рад!..

Мишо был вот какой старик: во-первых, он весь был только двух цветов — белый с красным. Одежда вся: <sup>20</sup> фустанелла, косматая *флоката*,\* чулки; усы, брови, волосы были белые; кожа на лице — и та была как воск, зрачки глаз его даже были очень светлые; только феска, башмаки, которые он снял за дверью, кушак на фустанелле, губы и веки старческие, вовсе без ресниц, были красные. Он служил когда-то слугой у самого Али-паши и у детей его. Когда Али-пашу убили по приказанию султана, сыновей и приближенных его ввергли в тюрьму, в том числе и молодого Мишо. Каждый день входили в тюрьму <sup>30</sup> люди султанские, брали по два, по три человека и резали их; остальные ждали своей очереди; ждал и Мишо. Но решение изменилось: темницу отворили и всех остальных отпустили на волю. С тех пор Мишо жил в Эпире; разбогател, женился, овдовел и жил по-старинному теперь, не

---

\* *Флоката* — белая шерстяная зимняя арнаутская одежда, снизу косматая и с острыми открытыми как крылья рукавами. Одно из самых красивых и грациозных одеяний.

бедно, но сурово; жил один в своем собственном большом уже постаревшем и холодном архонтском доме. Все, кто смотрел внимательно на этого низкого ростом и согбенного старичка с белыми бровями и красными веками, в простой, но чистой и красивой арнаутской одежде, думали про себя: «Чего не видал этот человек! Чего бы не мог он рассказать, если б он умел понимать и ценить то, что видел! Он знал мрачного героя нашего Марко Бодариса и пел, быть может, вместе с ним унылые и жестокие песни горцев под звуки *тамбуры*. Он знал, вероятно, *тех самых* женщин, 10 которые кинулись в пропасть с сулиотских высот. Мимо него самого, когда он сидел на дворе Али-паши с другими его молодцами (без разбора турками, арнаутами и греками, лишь бы были лихие), прошел, быть может, посещая сатрапа, лорд Байрон, с таким пламенным чувством воспевавший наш полудикий Эпир!.. Мишо, может быть, говорил часто с самим Али-пашой; он, может быть, мыл ему ноги; он знал всех его жен, одалисок, фавориток... Кто знает! Кто знает тайны этих по нравам уже столь отдаленных от нас времен! 20 Времен сладострастных и кровавых, и пастушески-простодушных и христиански-восторженных? Быть может, этот старец, такой строгой, правильной православной жизни, такой набожный, серьезный, молчаливый, может быть, и он был одно время в числе тех красивых отроков и юношей, которые в шубках, расшитых великолепным золотым янинским шитьем, веселили одряхлевшего, толстого, но все еще страшного повелителя, танцовали, обнимаясь при нем и целуясь с избранными им самим для этой потехи девицами его гарема...»

Так думали многие, взирая на угрюмого старца. Так 30 думал, конечно, и Благов, оказывая ему всякое внимание и почтение и стараясь всячески от него что-нибудь выпросить. Но старик был не только угрюм, он был нестерпимо скупен в своем загадочном молчании... И заставить его говорить о прошедшем было очень трудно.

— Многое было! много разных вещей! — так любил он отвечать, вздыхая слегка.

Почти так случилось и теперь.

Благов посадил его в лучшие кресла у печки и сам сел, чтобы не стеснять и не смущать его (старiku было бы мучительно сидеть перед *стоящим* консулом).

— Чтò нового, капитан Мишо? Чтò нового в городе? — спрашивал он ласково.

Старик усмехнулся чуть-чуть.

— У меня новое? — переспосил он. — Я и старое все забыл уж...

<sup>10</sup> Однако потом прибавил (внимание Благова, вероятно, возбудило наконец и его):

— Вот на тебя радуюсь, что ты такой молодец. Твой предместник был хороший дипломат, почтенный человек; мы его любили; но он был из наших керкирейцев, грек... А я вот радуюсь, что настоящего русского тебя первого вижу... Не уступай никому... Пусть дрожат... Хорошо ты делаешь!.. Живи и здравствуй за это!..

— Холодно очень, — сказал Благов. — Говорят, озеро мерзнет... Не помните ли вы, капитан Мишо, когда <sup>20</sup> было замерзши озеро здесь?

— Помню. Раз было. Это было давно, — отвечал капитан и, снова со вздохом опустив голову, погрузился в молчание.

— Как же переходили через него на остров тогда? Ведь там люди в деревне и монахи живут? — спросил консул.

— Не помню, — отвечал Мишо.

— Не помните, носили им провизию? — спросил Благов.

<sup>30</sup> — Не помню, — отвечал Мишо.

После этого он встал, сказав: «Сниму я с *тебя бремя*...\* Тебе и кушать пора...», тронул слегка руку Благова, надел за дверями башмаки и согнувшись пошел себе тихонько к лестнице. Благов проводил его до самой лестницы.

---

\* Т. е. *бремя моего присутствия*, чтобы не наскучить.

Кольйо доложил, что обед готов. Я поспешно спустился вниз, кликнул Зельху, велел идти ей наверх кушать, а сам, порядочно пристыженный и голодный, пошел тихо по улице домой, не постигая, что такое сделалось с Благовым. И почему он, который и в Загорах у нас был так хорош со мной, и здесь сказал мне при первой встрече: «Очень рад, очень рад!» с таким же радушием, как и старику Мишо — почему он не хочет теперь сказать мне такое пустое слово: «Одиссей, пойдем кушать со мной!» 10

Я знал, что в это время дня у отца Арсения кроме хлеба и черного кофе я ничего не найду и в кавасской комнате или в кухне Благова я бы мог поесть хорошо, но предпочел уйти домой. Не то чтоб я гордился пред кавассами или поваром. В Загорах я привык обедать за одним столом с работником нашим, старым Константином, и бабушка моя Евгенко Стилова, хоть и богатая женщина в своем селе, была ничем почти не выше и не образованнее старушки с турецкою бумагой в шерстяном чулке, которая пришла в Янину доставать себе паспорт у русского консула... Не гордость пред слугами консула, а стыд пред ними 20 и пред собой, что Зельха какая-нибудь приглашена наверх, а меня он не пригласил, вот что заставило меня скрыться скорей и предпочесть скудную пищу священника обильному обеду в консульской кухне...

Я шел мимо тихо и печально, размышляя об этом, как вдруг услышал, что кто-то бежит за мной по улице и кричит: «Одиссей! Одиссей!» Я оглянулся и увидел маленького Алеко.

Он сказал мне так: «Куда ты ушел? Большой консул 30 спрашивает тебя. Обедать иди». Я пошел назад и, если я отказываюсь описать тебе мою радость, так это потому, что она была неизобразима.

И теперь еще я об этом обеде вспоминаю с удовольствием. За этим обедом объяснилось для меня много. Решилась и судьба моих оскорбителей, *сеиса* и *софты*!



Обед наш не был весел. *Для меня* (да, для меня *только*) он был приятен и остался особенно памятным, потому что г. Благов доказал мне ясно, как ошибался я, обвиняя его в забвении обещаний и в чрезвычайной гордости противу меня, все-таки архонтского сына, которого он хотел не только принять в дом свой, но и *веселить* в городе; как веселит и утешает старший друг или старший родственник друга и родственника младшего.

- <sup>10</sup> Поняв при этой второй нашей встрече, что молодой консул не всегда бывает таким добрым, любезным и веселым, каким он мне показался в Загорах, когда, с дороги усталый и голодный, он отдыхал, кушал и смеялся у нас в доме — я утратил вдруг, всякую надежду расположить его к себе. В Загорах я ожидал увидеть на коне пред воротами нашими нечто вроде пожилого, бородатого, недоступного паши, и очень удивился и обрадовался, когда предо мной предстал человек молодой, почти юноша, стройный, прямой и высокий как кипарис, с чертами лица нежными и
- <sup>20</sup> тонкими, немного бледный... когда увидал, что вместо суровой и старческой бороды у него есть только небольшие, чуть-чуть кверху приподнятые усики. Очи его, правда, сверкали и тогда, и тогда они были велики и смелы, но они сверкали весельем, приветствуя всех нас, а не злым лучом недоверия или гнева. Две-три шутки его со мной, два-три ласковых слова, сказанные, быть может, потому, что мой отец ему был тогда очень нужен для хорошей статистики, и вот я в моей неопытной глупости решил, что Благов мне
- <sup>30</sup> *друг* или все равно как старший брат и благодетель, что он с первого же взгляда сильно полюбил меня и сделает все для моего счастья и для моей будущей карьеры.

«Здесь... в Янине... увы! (думал я в этот первый шумный день его внезапного приезда)... увы! не то!» Он, если хочешь, нравиться мне стал с первых же часов своего возвращения из Превезы еще гораздо больше прежнего. Здесь я увидал его действующим. Я понял сразу практическую

силу его ума, оценил его энергию, восхищался вместе со старым Мишо и со всеми слугами в доме и со всем городом его независимым образом действий относительно западных агентов. Да! я готов был вместе с другими яниотами гордиться им, как будто он был *наш*... *наш* вполне, а не только тем одним *наш*, что крестится в церкви, как мы, и берет антидор, как мы, и как мы говееет у *наших* попов.

Все это так; но я с этого же утра и бояться стал его гораздо больше, чем ожидал, и в очах его приметил иные сверкания, не веселые, не радушные, как в Загорах, а жесткие, острые, как блеск стального ножа...<sup>10</sup>

Возвращаясь с маленьким Алеко в консульство, я думал: «Однако он бывает и грозен... Помни это, бедный мой Одиссей! Чтò ты, несчастный, пред ним, когда он ничуть не боится Бреши и о знаменитых министрах говорит кому вздумается такие вещи: *Le valet! La valette!* Берегись теперь и умей понравиться ему. Это, ты видишь, теперь вовсе не так легко. Он может обласкать тебя, как почтенного капитана Мишо или эту негодную, хотя и забавную Зельху, но он может и выгнать тебя, как выгнал Понтикопечи, даже и гневаться на него не удостоивая, а так выгнать, как гонит сильный ветер сор и пыль по дороге!..»<sup>20</sup>

Я впал в другую крайность, размышляя так. Опять улыбаясь простер ко мне щедрую десницу свою Благов и воскликнул, увидав меня:

— Садись же, садись! ешь скорее! Ты, я думаю, очень голоден, бедный... Кольйò! Давай ему больше, больше!.. Вообрази себе, я только сейчас узнал, что ты не у нас тут живешь, а у священника, и еще что тебя турки крепко побили... Кольйò! Положи ему ты сам на тарелку. Он, может<sup>30</sup> быть, думает, что образованность требует брать поменьше!

Потом, обращаясь к г. Бакееву, консул сказал ему довольно серьезно:

— Напрасно вы не потрудились дочесть моей записки. Я на ветер слов не люблю говорить. Я пригласил его отца к себе в дом — этого довольно...

Г. Бакеев ему на это стремительно и кротко:

— Александр Михайлович! Vous comprenez...

А Благов:

— Non, je ne comprendrai jamais une impolitesse semblable. А статистику его вы, конечно, также не перевели?..

— Александр Михайлович, voyez-vous, Александр Михайлович!

Но Александр Михайлович был неумолим:

— Вот если бы вы меньше занимались слезами *бедных огородников, пролитых обильно под сенью двуглавого*  
10 *орла*, так и прекрасный труд его отца давно бы был там, где он должен быть...

Г. Бакеев покраснел ужасно и, в сильной досаде, откидываясь на спинку своего кресла, воскликнул:

— У всякого свой слог и всякий свободен в выборе выражений... мне кажется!..

На это г. Благов ответил ему одну вещь, которой значения я до сих пор не могу понять, хотя и очень много видал, узнал и прочел с тех пор.

Он сказал ему по-русски:

20 — Курские помещики хорошо пишут! (Помещики значит — благородные, дворяне... Не уроженец ли Курской области был г. Бакеев?)

После этого консул заставил меня подробно рассказать о деле Назли и моем, несмотря на присутствие за обедом маленькой турчанки, которая, впрочем, по-гречески говорила очень дурно, а серьезных разговоров и вовсе не могла понять.

Однако осторожность никогда не мешает, и я старался, с одной стороны, в рассказе моем избегать собственных  
30 имен и званий, а с другой — уклонялся всячески от слишком ясного изображения действия г. Бакеева, боясь и его (без того огорченного) оскорбить и противу себя восстановить как-нибудь. Я не говорил: «Назли, митрополит, поп Коста, поп Арсений, Сулейман-дервиш»; я говорил: «Наш большой иерей — про митрополита, а про Косту — *тот, который все делает, знаете?* А про Назли — *и прозелитос* (прозелитка)». Зельха знала только: *деспот-эф-*

фенди; слово *иерей* для нее было не так понятно, как *пол*, а *прозелитка* — для нее было то же, что для меня «курский помещик».

Консул был благосклонен и внимателен, и я, ободряясь все более и более, одушевляя себя воспоминаниями этих событий, еще столь недавних и для меня, конечно, очень важных, чувствовал сам, что говорю хорошо, выразительно и просто, и искусно в одно и то же время.

Я говорил так: «Тогда... как я вдруг увидал пред собою на базаре этого *страшного юродивого с секирою*, дрогнуло у меня сердце!.. Однако, слава Богу, мы дошли куда нужно с *тою женщиной*, с *прозелиткой*, и приехал главный *иерей наш*, и нашел ее у *гробницы святого*; он пожалел ее и послал меня сюда к г. Бакееву. Г. Бакеев дальше сам изволит знать все это лучше меня...»<sup>10</sup>

О *софте* и *сеисе* я говорил открыто: тут нечего было скрывать.

Г. Благов слушал меня с дружескою, ободряющею улыбкой и только два раза прервал меня. Раз он сказал мне самому: «Ты хорошо говоришь. И ты очень ловок, я вижу. Из тебя со временем выйдет, я вижу, прекрасный драгоман!» (Триумф, после которого вся кровь во мне взыграла, и я заговорил еще умнее и лучше.)<sup>20</sup>

А другой раз, когда, желая яснее отличить *иерея* Арсения от *иерея* Косты, я движением руки показал на груди своей как бы большую бороду, спрашивая: «Вы понимаете, ваше сиятельство?» Г. Благов отвечал мне: «Подожди минуту, сейчас!..» И, обратясь к Бакееву и к Бостанджи-Оглу, которые оба сидели унылые и сумрачные, он сказал им: «Этим жестом Одиссей напомнил мне мой собственный жест. Там, знаете, у границы, где колокол... Сидели мы одни с этим каймакамом, который объявил мне, что „воздух моего благоухания дошел и до него“, и говорили откровенно об этом деле... Мне хотелось расположить его к нам каким-нибудь обещанием и вместе с тем связывать себя словом не хотелось. Я сказал ему: „Эффенди, вам самим выгодно уго-<sup>30</sup>дить большинству населения, и сверх того вы понимаете,

что мы, русские, одной веры с ними. Нам это приятно, и Россия никогда, вы это знаете сами, услуг не забывает". И, говоря это, я вот точно так, как он теперь, провел рукой около шеи по груди... как орден висит. И каймакам так хорошо понял меня, что покраснел и глаза опустил от смущения... Ну, продолжай теперь (сказал мне, кончив свой рассказ, Благов). Ты видишь, я даже тебе подражаю... „Там, на границе, где колокол..." У вас надо этому здесь учиться, у греков, у болгар и армян. Вы, я думаю, когда родитесь, то не просто родитесь, как в других местах люди, а как-нибудь политически и тонко...»

Так шутя хвалил меня консул. Когда же я рассказал о том, как меня били турки и как велики были пятна на боку и спине моей, Благов воскликнул: «Каково!» И спросил у Бакеева: «Чтò же было сделано?»

Бакеев отвечал: «Ничего. Вы знаете турецкие проволокки. Свидетелей не было».

Консул, помолчав, сказал: «Конечно, если свидетелей не было, то турки, пожалуй, правы... Я сам на их месте поступил бы так. Но... *На своем месте* я теперь сделаю иначе!»

«À la Bréchet?» — попробовал было сказать с насмешкою Бакеев, но консул отвечал ему весело: «Да, à la Bréchet!»

И обратясь опять ко мне, он прибавил: «Мы сегодня же отыщем твоих недругов и накажем сами их крепко!»

Так кончился разговор со мной.

Бостанджи-Оглу с самого начала обеда, как я сказал, уже сидел опустив глаза и всячески старался привлечь на свою тоску и отчаяние внимание г. Благова, но это ему долго не удавалось; наконец консул заговорил о Коэвино.

— Мне так досадно, — сказал он, — что я доктора до сих пор не видал. Не понимаю, отчего он не пришел обедать. Мне одну минуту даже послышался его голос внизу... Как будто его резали...

Тогда Бостанджи-Оглу, приняв вид еще более обиженный, привстал немного со стула, покраснел, на глазах его показались слезы, и он начал так:

— *Кирие проксене!* Коэвино точно был внизу в канцелярии... Я говорил ему о вашем приглашении... И он без всякой причины выругал меня подлецом, побродягой... Нет! Я продолжать не могу... Пусть Одиссей расскажет... Он был свидетелем...

— Чтò такое? чтò такое? — спросил консул с удивлением.

Я рассказал ему, как Коэвино хвалил его и отца его, и бранил Бреше и отца Бреше, как он потом долго настаивал, чтобы Бостанджи-Оглу согласился с ним, будто бы у него, доктора, очень много сходства в характере и во всем с г. консулом... За это и произошла ссора, потому что Бостанджи-Оглу отвечал: «Далеко вам до г. Благова!»<sup>10</sup>

Рассказывая, я руководился одною мыслью — сказать правду (я все заботился прежде всего о себе, чтобы всячески угодить г. Благову); но мне было вместе с тем и жалко доктора; я ожидал, что г. Благов сейчас же начнет утешать своего огорченного писца и пообещает ему принудить доктора извиниться... Так, мне казалось, требовали и справедливость, и даже собственное самолюбие консула; ибо нельзя же человеку, хотя бы и доброму и, может быть, умному, но над которым все смеются, позволить безнаказанно сравнивать себя, старого безумца и малодушного хвастуна, с кем же?.. с представителем России, блестящим консулом, которого все чтут и даже боятся!.. Я все еще не мог решить, чтò такое этот Коэвино, нарушавший так бессовестно все *наши* местные, столь определенные, столь древние и столь ясные правила житейской мудрости, общественных приличий и даже нередко и нравственности (например, в открытой близости к Гайдуше или в деле с женой почтенного Арванитаки).<sup>20</sup><sup>30</sup>

Каково же было мое удивление, когда я увидал, что г. Благов не придавал всему этому делу ни малейшего значения и, смеясь от всего сердца моему рассказу, воскликнул:

— Бедный Коэвино! бедный! Как жаль мне, что это случилось...

Я смотрел в недоумении на всех, и все мои понятия о справедливости и о правах консульского самолюбия пошатнулись и пришли в какое-то смятение.

— А дальше чтò? — спросил г. Благов у Бостанджи.

И Бостанджи-Оглу сам казался еще больше меня удивлен... Не думал ли и он, что консул скажет: «послать за Коэвино!» Или как мне про сеиса и софту: «Мы отыщем и накажем его!»

— Дальше чтò? — переспросил Бостанджи-Оглу, робко понижая голос. — Дальше, он ушел.

Г. Благов молча кушал; и мы все молчали. Бостанджи-Оглу, не дождавшись ничего от консула, до того наконец вышел из себя, что возобновил разговор почти с криком иступления:

— Господин Благов, чтò ж мне делать? Этот человек глубоко оскорбил меня! Я не лодочник, не слуга простой... Я не могу после этого служить более при консульстве...

— Не служи, — отвечал консул. И опять спокойно продолжал кушать.

Но раздражение Бостанджи-Оглу дошло до отчаяния, и он опять закричал дрожащим голосом, весь красный и поднимая руки высоко над головой:

— *Кирие проксене!* Я вашу честь защищал... Вас! Ваше достоинство...

Тогда и лицо г. Благова немного побагровело; в глазах его сверкнул тот стальной блеск, который мне так памятен. Он отвечал писцу своему медленно, но выразительно:

— А кто, скажи мне, просил тебя защищать мою честь? Я тебе поручал разве это? Доктор, наконец, прекрасный человек. Вот если бы кто-нибудь меня к тебе приравнял — это было бы мне грустно. Если ты оскорбился, вызови на дуэль господина Коэвино. А мне какое дело до того, что он тебя оскорбил? Впрочем, формальное прошение ты можешь подать, если хочешь. Мы начнем дело с английским консульством, под начальством которого доктор состоит. В этом я тебе препятствовать, к несчастью, не имею права.

И потом, помолчав немного, консул прибавил еще с недобрый выражением лица, но весело, как бы наслаждаясь терзаниями жертвы своей:

— Вместо того чтобы защищать меня там, где не надо, ты бы лучше, мой любезный друг, исполнил мою старую просьбу, за обедом не чавкать. Это неприятно.

«Чавкать? чавкать?», спрашивал я себя в беспокойстве. Этого глагола я не знал по-русски. Но вслушавшись, что в эту минуту Бостанджи-Оглу вдруг перестал делать ртом «плак-плак!» при жевании, я немного испугался за себя; ибо иногда я делал это, по местному обычаю, существующему у нас в самых хороших архонтских домах. Так вкуснее, слышнее вкус; что́ делать, надо вперед остерегаться и мне! Буду знать!

Обед наш приближался к концу. Г. Благов, который очень повеселел после того, как уничтожил обоих сослуживцев своих, обратился снова ко мне и стал шутить со мной.

— Знаешь, — сказал он, — мне твоя турецкая одежда очень нравится. Я тебя срисую в ней непременно. Я тебя срисую вместе с Зельхою и Хаджи-Сулейманом. Это будет семья дервиша, сын и дочь... Хочешь?

— Как прикажете! — отвечал я, опять изумляясь и краснея; мне показалось это очень обидно.

Г. Благов прибавил еще, оглядывая издали мой мех:

— Это рысь... Раскрой немного полу. Вот так. Славная шубка! Да! я забыл. Ты можешь, если хочешь, перейти в консульство жить, пока твой отец вернется. У тебя прекрасный почерк, и если у тебя останется время от уроков, ты можешь помочь нам переписывать отцовскую статистику. Я тебе за это могу по окончании несколько золотых дать из казенных сумм. Впрочем, как знаешь, это твое дело.

Я выразил не только согласие, но и живейшую радость мою и сказал, что, благословясь у отца Арсения, напишу матери и перейду завтра.

— Кольйо, приготовь ему маленькую комнату, окном в сад; и чтобы было все там хорошо! — приказал г. Благов.



В это время явился опять кавасс Маноли и подал Благову конверт от Бреше.

Г. Благов немного, чуть-чуть изменился в лице и, обернув конверт раза два, туда и сюда, положил его нераспечатанным на стол и сказал кавассу: «Хорошо».

Г. Бакеев встревожился гораздо больше его и, видя, что консул молчит и задумчиво играет апельсином, он сказал:

— Вы бы распечатали, Александр Михайлович, скорее. Быть может, он извиняется предо мной.

<sup>10</sup> Г. Благов отвечал ему, раздумывая:

— Это особый случай!.. Я вам объясню это после, и вы согласитесь со мной. Верьте мне, что для вас же будет лучше, если я не распечатаю.

— Будет ли это правильно? — спросил Бакеев тревожно.

— Чтò же вам до этого? — возразил консул и велел кликнуть Маноли.

Отдавая кавассу французский конверт, он сказал ему:

<sup>20</sup> — Отнеси это сам господину Бреше и скажи ему вежливо, что я не могу принять от его консульства ничего после той бумаги, которую я ему послал сегодня. Вежливо. Посмотрим, как ты скажешь?

Маноли вздрогнул, выпрямился и начал:

<sup>30</sup> — *Кирие проксене!* Я скажу господину Бреше так: сиятельнейший господин консул! Господин Благов много вам кланяется и приказал мне вручить вам этот ваш конверт и сказать, что он не может, к величайшему сожалению своему, распечатать его после той дипломатической ноты, которую он имел честь сообщить вам, господин консул, сегодня поутру.

Г. Благов засмеялся, и Бакеев даже улыбнулся на эту речь архистратига.

Консул сказал тогда:

— Хорошо. И «величайшее сожаление», и «честь имел», и даже «ноту» — это все ты можешь сказать, а что я *много* кланяюсь ему, этого уж лучше не говори. Ты вообще, я вижу, хорошо говорить умеешь.

Боже! что́ сделалось с Маноли! Он вдруг весь вскипел от радости и воскликнул:

— Мсье Благов! Я за консульство Его Величества и за ваше благородие готов жизнь мою положить!

— Ты надень большую бурку, Маноли, когда пойдешь. Сегодня ужасно холодно.

— Мороз, эффенди! Ужас! Замерзание! — закричал Маноли, простирая руки к небу.

— Да! А ты ходишь в одном бархате и галунах, — ласково укорял его консул. — Я очень люблю тебя за то, что ты не жалеешь денег на одежду и богаче всех в Янине одет. Но потому-то и надо беречь себя, что ты человек нужный. А что́ озеро?

— Все замерзло. Один человек сделал три шага по льду, но все озеро вдруг взревело ужасным ревом, как зверь, и этот человек убежал. И другие люди в страхе рассеялись в разные стороны и возвратились в жилища свои.

Так отвечал Маноли, и консул, отпустив его с конвертом, обратился к г. Бакееву и сказал ему:

— Все будет по-нашему. Все хорошо. Только знаете, — продолжал он, вздохнув слегка: — у нас сумеют ли защитить своего... Мы стали так уступчивы. Я думаю, уступчивее этих несчастных турок.

В этом смысле они продолжали довольно долго разговаривать между собою. Г. Бакеев, по-видимому, опять простил своему начальнику его насмешки, а консул начал объяснять ему, почему он не хочет распечатать французского конверта; он говорил: «Если эта бумага нечто вроде извинения или объяснение в примирительном духе, то мы будем вынуждены принять эти объяснения и удовлетворение наше не будет гласно и блистательно. А если он пишет новые дерзости (что́ более с его нравом сообразно), то нам станет после прочтения труднее достигнуть двойного, так сказать, нравственного вознаграждения за двойной проступок. Даже его собственному французскому начальству станет тогда труднее определить меру его наказания, ибо на

все есть предел, и нельзя же требовать лишнего от сильной и гордой державы».

Мне очень хотелось внимательно дослушать и понять все это, и я дослушал и понял, хотя это было мне вовсе не легко. Зельха все время мешала мне. Она ничего почти не ела, скучала, что ею никто не занимается, и давно уже то морщилась, то через стол подавала мне разные знаки; то издали еще кричала, топая ногой на Колью: «Не хочу! Не подавай мне этого кушанья!», начинала жевать *мастику* \* и, надувая ее воздухом, делала из нее пузыри и дразнила меня ими. В душе на нее я ничуть не сердился и даже она все больше и больше начинала нравиться мне; но я все-таки старался усмирить ее всячески, угрожал бровями, взглядами, движением головы... Все было тщетно!

Наконец она взяла конфетку из вазы и бросила ею в меня. Это так сконфузило меня, что я уже не мог более следить внимательно за деловым разговором Бакеева с Благовым и успел запомнить только одну фразу консула:

«Он (кто был он, я не знаю) говорит про всех нас, консулов, так: „*tous ces consuls ne sont que de la drogue!*” Но это не беда (прибавил Благов смеясь), он человек прекрасный и очень даровитый. Я его очень уважаю».

— Что значит это выражение: «*de la drogue*»? — спросил Бакеев с удивлением. — Я, признаюсь, не понимаю его хорошо.

Благов объяснил ему, что это значит: «горькое, ядовитое зелье, противное лекарство или просто дрянь».

Слушая это, я подумал:

«Ну, какая же дрянь Благов, например? Какое он горькое зелье? Что за вздор! А вот эта дрянная и дурно воспитанная девчонка, правда что горькое зелье и ядовитая травка... Все она шалит и все меня дразнит, а я все хочу смотреть на нее. Зачем — не знаю!»

---

\* *Мастика* — род белой смолы, которую имеют привычку многие жевать на Востоке.

Когда мы вышли из-за стола, г. Благов сказал мне, садясь на диван:

— Ну, Одиссей, сейчас после кофе пойдем софту и сеиса отыскивать.

Но я вдруг пожалел моих врагов и простил их. Вполне счастливый от всего того, что случилось со мной за обедом, радуясь несказанно и потому, что перейду в консульство, и потому, что получу *первые* в моей жизни золотые деньги за труд... (И за какой труд!.. за письмо в Императорском консульстве. Уж это что-то даже к недостигаемой 10 черте посольств и министерств великих ведущее! Неужели?) вполне счастливый, говорю, я почувствовал внезапно, что *всепрощающий христианин* берет в смягченном сердце моем перевес над *мстительным греком* и сказал:

— Оставим их, мсье Благов, если позволите... Я им прощаю.

Но консул отвечал:

— Ты прощаешь, но я не прощаю. Мне не тебя жалко вовсе; я хочу, чтоб они знали все, что не только сына нашего драгомана тронуть нельзя, но и маленького Алеко, 20 пока он живет в нашем консульстве. Сейчас кончим кофе и пойдем.

Цветущий Кольйо подавал в это время своими *знаменитыми* руками всем нам кофе в черных чашечках с филигранными серебряными *зарфиками*.\*

Когда мы все взяли чашки, Кольйо сказал консулу:

— Эффенди! Могу я вам только одно слово сказать?

— Говори, Кольйо, — отвечал ему Благов очень ласково. — Уж не поссорился ли и ты с кем-нибудь? У вас тут все ссоры, я вижу... 30

— Нет, эффенди! — с чувством воскликнул добрый Кольйо. — Нет! Я ни с кем, эффенди мой, не ссорюсь... А мне только очень жалко! Маленький Алеко внизу сел и плачет *черными* слезами.

---

\* Подставки турецкие под чашки, вместо блюдечка. В Янине недурно работают серебряные вещи.

Г. Благов, услышав это, обнаружил тотчас же большое участие; он спросил поспешно, о чем плачет мальчик, и Кольйо объяснил ему, что озеро давно совсем уже застыло и что уже скоро двое суток, как нет с островом сообщения; лодки давно перестали ездить, по льду никто перейти не может, и на острове у людей нет, может быть, ни хлеба, ни угольев для мангалов, потому что они почти все покупают каждый день из города.

Выслушав это, г. Благов спросил:

10 — А паша, ты не слышал, ничего туда не посылает?

Кольйо отвечал ему на это простодушно:

— Разве вы, эффенди, турок не знаете? Вы знаете их.

Тогда Благов послал за маленьким Алеко. Сиротка пришел в своих старых суконных шальварчиках и поношенной маленькой *флокате*.\* Глаза его были полны слез. Он подбежал к консулу и поцеловал, плача, его руку.

20 Г. Благов погладил его по голове и сказал ему: «О чем ты плачешь, мой бедный Алеко, о чем?» с таким ласковым выражением, с таким искренним чувством, какого я еще ни разу не замечал у него.

Мальчик отвечал:

— Боюсь, мать моя замерзнет и умрет там. У нее и хлеба нет!

Господин Благов оставил свой кофе недопитым, встал тотчас же и, сказав мне: «твоих сеиса и софту отложим до завтра!», велел подать себе шубу и пригласил с собою г. Бакеева:

30 — Пойдемте, посмотримте, что там такое на озере случилось.

Потом он взял Алеко за грязную его руку так, как взял бы маленького брата своего, и повел его за собою, говоря: «Не плачь, не плачь, Алеко! Мы вместе с тобой перейдем озеро и отнесем матери и хлеба, и угольев, и денег!»

---

\* *Флоката* — белая косматая албанская верхняя одежда, весьма красивая.

Г. Бакеев, увидав, что консул, по-видимому, задумал попробовать *по-русски* по льду пройти, уклонился от этой прогулки и сказал, что он все-таки очень взволнован и расстроен и пойдет домой.

Тогда г. Благов сказал:

— Ну, хорошо, так я приглашу с собой Киркориди и Ашенбреннера. Мы *коллективно* перейдем озеро. Они же оба толстые, может быть, и провалятся. Это в своем роде тоже будет недурно. Греки решат, что я их с политическою целью утопил нарочно. Пойдем, Алеко!

10

Они ушли, и оба кавасса с ними; и Кольйо пошел за ними из любопытства. А я, так же, как и Бакеев, из боязни, чтоб и меня не заставил консул переходить через лед, пошел к Несториди, с которым мне сверх того и повидаться очень хотелось.

## XIV

Несториди был дома. Он получил должность при гимназии нашей и приехал в город пока еще без семьи. Добрая его кира-Мария с детьми должна была приехать позднее.

20

Он нанял себе скромную квартиру, недалеко от училища и от русского консульства, и я застал его сидящим с ногами на диване, еще не обитом ситцем, у пылающего очага и в такой же турецкой шубе с широкими рукавами, какая была на мне. У него было двое гостей, Исаакидес и еще один человек, которого я никогда в Янине не видывал.

Незнакомец этот был роста высокого, плечист, полон, красив; у него были очень большие и густые бакенбарды, черные и с небольшою сединой. Он беспрестанно был занят ими, взглядывал на них искоса, подкручивал их, расправлял в стороны, составляя из них, вместе с настоящими усами, другие усы, очень длинные. Одет он был чисто и не бедно: пальто на нем было из очень хорошего и толстого трико; на груди золотые запонки, на руке большой пер-

30

стенъ с розовым круглым яхонтом. Лицо его было веселое и доброе; на вид ему казалось лет разве пятьдесят (в самом деле ему было около шестидесяти). Он был похож больше на богатого шкипера с островов, доброго и воинственного, чем на осторожного купца наших стран. Но он был купец и очень богатый. Родом он был, кажется, с одного из островов Архипелага, но жил и торговал давно уже в Болгарии шолковыми коконами и пшеницей. Он вел дела и в Марсели, и в Англии, и в Одессе. Сюда он <sup>10</sup> приехал ненадолго, не знаю, по какой нужде. Имя его было Пётро Хаджи-Хамамджи. Турки же его звали Делі-Петро (безумный, отчаянный Петро) и даже так титуловали его в казенных документах, в судах и пригласительных приветствиях.

Входя в квартиру Несториди, я еще из прихожей услышал громкий хохот и узнал даже голос моего сурового наставника, который так редко смеялся. Хаджи-Хамамджи что-то говорил.

<sup>20</sup> Несториди мне обрадовался; я прочел это во взгляде его. Мы обнялись; я спросил о здоровье моих родных и его семьи, и он сказал мне, что слух о том, как я был побит турками, дошел туда давно, что мать моя была очень испугана и совсем собралась ехать сюда, несмотря на проливной дождь... «но я отговорил ее», сказал Несториди. Бабушка Евгенко очень радовалась, что я такой юный и сподобился пострадать за веру. «Имеет венец на небеси у Бога за это!» — говорила она всем.

<sup>30</sup> Мне было очень приятно все это слышать. Несториди пригласил меня сесть, а Хаджи-Хамамджи спросил у него, подставляя руку к уху (так как он был немного глух): «Кто этот прекрасный юноша?» Несториди отвечал ему, что я сын одного из загорских старшин, и прибавил: «Мальчик не дурной. Отец же его — один из добрейших и благороднейших у нас людей».

Хаджи-Хамамджи любезно кивнул мне головой: «Очень хорошо. Радуюсь!» И потом спросил у Исаакидеса и хозяйина:

— Будем мы продолжать?

— Конечно, конечно! — ответили те, и на лицах их тотчас же явилась улыбка в ожидании одним, что скажет им Дели-Петро.

Дели-Петро откашлянувшись, расправил бакенбарды и, став величественно посреди комнаты, продолжал речь, которую, видно, я на миг прервал моим приходом.

— Итак, я сказал, — начал он, делая томные глаза и все играя бакенбардами, — я сказал, что русские бывают нескольких и даже очень многих сортов. Прежде всего <sup>10</sup> великие русские; потом малые русские, иначе называемые у нас на Дунае и *Хохóлидес*. Есть еще русские-германцы; люди не плохие, подобные Дибичу-Забалканскому, и наконец есть еще... особые русские, издалека откуда-то, из Уральских гор, *уральский росский*. Таков был, например, у нас не господин Петров, который там недавно, а его предместник, господин Бунин... Я даже спрашиваю себя, зачем это Бу-нин... нин?... Настоящий русский должен быть *ов* и *ев*... Прежде всего *ов*. Этот господин Бу-нин <sup>20</sup> не имел в себе того некоего тонкого и вместе с тем властительного вида, который имеют все благородные великоруссы, даже и те из них, которые не богаты. Таков был, например, предместник господина Бунина, генеральный консул мсье Львов. При нем господина Бунина никто не слышал у нас; он жил в глухом и безвыходном переулке, и, как Львов заговорит с ним, он вот так (Хаджи-Хамамджи вытянулся и руки по швам). А как уехал Львов, и назначили его. Чтò за диво! думаю я, Бунин там... Бунин <sup>30</sup> здесь... Бунин наполняет шумом весь город... Бунин в высокой косматой шапке... У Бунина по положению четыре кавасса турка, в турецких расшитых одеждах с ножами... да! А сверх положения десять *охотников* из греков, в русской одежде и в военных фуражках. Бунин идет к паше — пять человек направо впереди, пять человек налево... А Бунин сам в большой шапке. *Monsieur* Бунин здесь, говорю я, *monsieur* Бунин там! Сегодня он с беями друг и пирует с ними; завтра он видит, что бей слишком



обидел болгарина-поселянина; он берет самого бея, связывает его, сажает на телегу и с своим кавассом шлет в Порту связанного... И турки молчат! Сегодня Бунин болгарскую школу учреждает; завтра Бунин *едет сам встречать* нового греческого консула, которого назначили нарочно для борьбы противу него, противу панславизма в тех краях, и сам приготавливает ему квартиру. Сегодня Бунин с пашою друг. Он охотится с ним вместе; ест и пьет вместе... «Паша мой! паша мой!» Завтра он мчится в уездный  
10 город сам верхом, с двумя кавассами и греками-охотниками; входит внезапно в заседание меджлиса. Мудир встает. «Раз — два!» Две пощечины мудиру, и Бунин на коня и домой. И с генерал-губернатором опять: «Паша мой! паша мой!» «Чтò такое? Что за вещь?» Вещь та, что мудир прибил одного болгарина, русского подданного; а паша слишком долго не брал никаких мер для наказания мудира. Понимаете? «Мы с пашою всё друзья! Зачем мне на него сердиться? Он бессилен для порядка, для строгого исполнения трактатов, обеспечивающих жизнь, собственность,  
20 честь и подсудность иностранных подданных, — так я сам буду своих защищать!..» А? Что скажете вы — не Уральские это горы?.. (Так, кончив рассказ свой, спросил Хаджи-Хамамджи с удовольствием, как бы сочувствуя этому уральскому духу Бунина.)

Исаакидес был тоже очень доволен этим и сказал:

— Таких людей здесь надо!

Но Несториди заметил на это так:

— Чтò тут делать Уральским горам, добрый вы мой Хаджи-Хамамджи! У нас Бреше из Парижа такой же...

30 Хаджи-Хамамджи выслушал его, приклонив к нему ухо, и вдруг, топнув ногой, воскликнул:

— Не говорите мне о французах! Извольте! Скажите мне, Бреше пьет *раки* с беями турецкими, так что до завтрака он более византийский политик, а после завтрака более скиф?

— Нет, не пьет; он почти и не видит у себя турок, — сказал Несториди.

— Извольте! — воскликнул Хаджи-Хамамджи. — А monsieur Бунин пьет. Бунин пьет! Бреше сидит у порога простой и бедной греческой хижины за городом, входит в семейные дела греческого землевладельца или лодочника, мирит его с женой?.. Отвечайте, я вас прошу!

— Ну, нет, конечно... — отвечали Исаакидес и Несториди.

— Извольте! А monsieur Бунин сидит у бедного греческого и у бедного болгарского порога и говорит мужу: Ты, брат (видите — *брат, брат!*), тоже скотиной быть не должен и жену напрасно не обижай; а то я тебя *наставлю на путь мой* и пойдешь ты по истине моей... Извольте! Бреше строит сам православный храм в селе подгородном? Сняв сюртук, везет сам тачку? Роет землю лопатой для этого храма?.. Я за вас отвечу — нет! У Бреше дом полон друзей из болгар и греков?.. Я вам отвечу — нет! К Бреше *просятся* ли в кавассы разоренные *сыновья богатых беев*, которых имен одних когда-то трепетали мы все?.. просятся в кавассы обедневшие дети тех самых янычар, на которых султан Махмуд до того был гневен, что на каменном большом мосту реки Марицы, при въезде в Адрианополь, *обламывал* *граненые главы* столбов, украшавших мост, когда он проезжал по мосту этому? Да! чтобы даже эти граненые главки не *напоминали ему чалмы и колпаки янычарских могил*... а к Бунину просятся!

Хаджи-Хамамджи кончил и сел отдохнуть на минуту; все молчали в раздумье.

Несториди, который с начала речи смеялся, стал печальнее под конец ее и размышлял что-то, облокотившись на руку. Наконец он начал так:

— Пусть так! Я понимаю великую разницу между дерзостью и энергией Бреше и дерзостью и энергией того, что вы зовете духом *Уральских гор*. Я согласен, что эта скифская патриархальная грубость имеет в себе нечто более привлекательное, чем французская холодная злоба. Эти черты, которые вы находите у Бунина, мы нередко видим здесь и у турок, и должны сознаться, что...

Исаакидес перебил его с негодованием:

— Господин Несториди, что вы богохульствуете... Вы православного агента сравниваете с этою сарацинскою мерзостью!..

Несториди мрачно взглянул на него из-под густых бровей своих, попросил его подождать и продолжал:

— Разница, однако, та, что турки слабы, уступчивы и не бдительны. А Бунины только притворяются скифами, в самом же деле они Меттернихи в образе скифском...  
10 Хорошо ли это для нашей греческой будущности? Вот о чем я думаю и вот единственная точка зрения, с которой мы, греки, должны смотреть на всех и на все во вселенной.

Выслушав все это, Дели-Петро снова встал, простер руку, прося внимания, и продолжал так свои рассуждения:

— Я не люблю французов. Англичане мне нравятся больше. Я люблю, чтоб у нации было что-нибудь свое, местное, ей собственно принадлежащее. Мне нравится, что у англичан есть многое, только им одним свойственное. Какие-то любопытные и даже бессмысленные вещи. Чрез-  
20 вычайно я это люблю! Но я не люблю, что англичанин *всегда* аристократ... Это глупо. Другое дело — русский. Сейчас он аристократ самый гордый и грозный... «Пошел ты вон, такой-сякой!.. *кюпек-оглу* (сын собаки!)» — Хаджи-Хамамджи топнул ногой и крикнул на весь дом сильным голосом. — А потом...

Тут Хаджи-Хамамджи приостановился, осмотрелся, как бы отыскивая кого-нибудь, увидел меня около себя, обнял меня одною рукой за плечо, нагнул ко мне голову довольно нежно и, совсем изменившимся голосом с не-  
30 обыкновенною тонкою и верною выразительностью, представил немного угрюмую ласку русского солдата или даже офицера, говоря не совсем чистым русским языком:

— Ну, здравствуй, брат! Как ты, брат, поживаешь? Пойдем водочки выпьем.

Это было так верно, этот внезапный переход от брани к доброте до того был похож на манеру тех русских военных, которых я еще так недавно в детстве моем видел в

Тульче, что я забыл всю скромность, надлежащую моему возрасту при старших, и воскликнул с восторгом:

— Чтò за правда это! Чтò за правда! Такие они! такие!

Несториди взглянул на меня подозрительно и, ни слова не говоря, показал мне рукой, как будто человек погружается куда-то, ныряет во что-то.

— Это я, учитель? — спросил я. — Куда это? я не понимаю хорошо...

— Tu quoque, Brute! — сказал Несториди печально. — Куда? еще ты спрашиваешь? В поток панславизма... 10

Я не нашелся отвечать на этот укор. Дели-Петро, однако, не умолкал.

— У русских есть нечто, — продолжал он, — и властительное и примиряющее!.. Посмотрите у нас здесь. Грек ненавидит турка; турок ненавидит грека и араба; *автохтон* Элады не хочет признавать одинаковых прав за греком, вне свободной Элады рожденным; болгарин тех стран, где я живу, как мне кажется, презирует болгарина-шóпа; Сербия и Черногория в антагонизме; друзья и марониты пылают друг против друга зверскою враждой... 20  
А русскому все равно. Ему всякий брат. «Э! брат! брат!» Только не бунтуй против Государя. Этого русский требует... Я вижу тут нечто глубокое. Я вижу тут не притворство, а естественное свойство русского духа. Во-первых, я скажу и сам про себя: я не *дипломат*; я *политик*. Je ne suis pas diplomate, mais je suis grand *politique*. Mon coeur est très large! Je n'ai pas un coeur de Metternich, mais ma *teste* (так говорил он вместе *tête*) ma *teste* est de grand *politique*! 30  
Итак, я вижу здесь нечто глубокое! Я вижу, что русские могут одинаково действовать с успехом и на мусульман, и на православных, и на буддистов, и на последователей Конфуция... Тут, может быть, сокрыты гигантские предначертания исторических судеб. Был граф Амурский — будет граф Заамурский, будет граф Брамапутрский... Это верно! «Пошел ты вон, такой-сякой! Сын собаки!» А потом — «Ну, как ты, брат, поживаешь? Не выпить ли

водочки?» А может быть... а может быть, и наоборот... т. е. прежде: «не выпить ли, брат, нам водочки?» И потом: «пошел вон!» И это ведь способ недурной. А?

Тут уже все, и Исаакидес, и я, и сам Несториди засмеялись громко.

Несториди тогда еще был далеко от мысли о союзе с турками, да и теперь, когда он склонился, под влиянием греко-болгарского дела, к подобному союзу, его мысли были вовсе другие, почти противоположные мыслям Дели-Петро. Не изгонять правительство с Босфора, не бунтовать противу него, вступая в союз с недовольною партией мусульман, стало теперь целью его; напротив того, хранить султана на Босфоре до той минуты, пока эллины выждут себе удобного случая самим завладеть наследием халифов. Так думает теперь Несториди и все передовые люди, подобные ему.

Тогда он еще не дошел до этой мысли; славянское движение не казалось еще очень сильным и опасным; и не все последствия его можно было предвидеть; церковного разрыва еще не было у нас с болгарами; а турки были в то время гораздо суровее и смелее...\*

Тогда политическая мысль была труднее и запутаннее для таких людей, как Несториди, и единомышленников его.

Однако он возразил на красноречивые речи Дели-Петро очень обдуманно, тонко и глубоко, хоть и с односторонностью.

— Если русские, — сказал он, — имеют в себе те два свойства, о которых вы говорите, редкую личную доброту и государственную строгость... то это-то и есть наше величайшее несчастье. Они все возьмут! Иго их будет легче всякого другого ига, и нашего имени греческого не останется...

— Греческое имя пропасть не может! — с жаром перебил Исаакидес. — Греки сохранились под несколькими

---

\* Действие происходит в 60—61—62 годах.

веками такого ужасного и дикого ига, что им больше нечего бояться за свое будущее...

Несториди усмехнулся презрительно и, не возражая ему прямо, продолжал свою ясную и твердую речь, в которой каждое слово резало как алмаз:

— Греческое имя погибнет бесследно под давлением стомиллионного славянства. Дружеское давление единоверцев опаснее вражеского ига мусульман. Мусульмане не сливаются с побежденными; они лишь одну часть их претворяли прежде в себя насилем, посредством обращения христианских детей в янычарство, посредством пропаганды, очень редко удачной, посредством браков с христианскими девицами, которых дети тотчас же и отделялись вовсе от родной нации, их мать произведшей. Черта разграничения оставалась глубока и понятна всякому. Но славяне? Но русские? Они будут ходить в одну церковь с нами, они, как Бунин, будут сами с лопатой строить наши храмы; они будут венчаться с нашими дочерьми; они добры и ласковы; а начальство их строго и искусно...<sup>10</sup>

— Грек хитрее русского, — сказал Исаакидес.<sup>20</sup>

— Да! Но Россия несравненно мудрее Греции, брат ты мой! — возразил Несториди. — Мы все, раз освободившись от турок, не хотим терпеть никаких стеснений... И я первый таков. Мы все аристократы, и каждый из нас хочет быть первым. А в России люди покорны, и машина государства идет твердо и спокойно, раздробляя в прах пред собою все, что противится ей.

Дели-Петро, который во время этого спора глупого Исаакидеса с умным Несториди сидел и наклонялся то туда, то сюда, приставляя руку к уху своему и стараясь не проронить ни одного слова их, встал тогда, взял шляпу, трость свою и сказал:<sup>30</sup>

— Прежде чем пожелать доброй ночи гостеприимному хозяину, я требую еще одного слова... Выслушайте меня. Греки пропасть ни в каком случае не могут! Они вступили на историческое поприще еще за тысячу пятьсот каких-нибудь лет до Рождества Христова, и с тех пор ничто вели-

кое не может свершиться без них. Итак, возвращаясь к русским и к их всемирному владычеству, я скажу вот что. Кто-то из французов сказал: «*Opposez-vous au mouvement, il vous écrase; mettez-vous a sa teste, vous le dominez*». Итак, русские — великая завоевательная нация. Она завоевательна даже иногда вопреки себе. Она из семи-восьми миллионов, с которыми начал Петр Великий, почти не замечая сама того, возросла в течение двух веков до семидесяти и более. Пораженная, хотя и со славою, но все-  
10 таки пораженная в Крыму, она приобретает Кавказ и Амур. Россия должна расти даже вопреки себе. Нравится ли нам, грекам, это или нет, она возьмет Константинополь. Большому дому нужна большая дверь! Но эта аристократическая, завоевательная нация не способна к развитию наук и искусств... У нее нет великих философов и поэтов... и знаменитых во всем мире художников и ученых... У нее есть вот какие люди: великие политики и полководцы... Но где у них лорд *Вирон*? где у них Платон и Сократ? Где у них *ò Невтонос*, *ò Локкос*?.. Вот  
20 назначение греков в среде славянского океана: флот, торговля, искусство...

— Пусть будет и по-вашему, — сказал Несториди, провожая его в прихожую...

— Чтò за дьявол! — вскрикнул вдруг Дели-Петро. — Теперь я вижу, что забыл фонарь мой... И посадят меня турки в *кулук* \* без него. Чтò мне делать!

Тогда я сказал ему:

— У меня есть фонарь, господин мой, не угодно ли, я вас провожу?

30 Хаджи-Хамамджи горячо поблагодарил меня, и мы вместе хотели уйти. Но Несториди спросил у меня:

— А Бреше? Ты был в консульстве. Чтò там делается?

— Да, да, — подтвердил Хаджи-Хамамджи и поспешил подставить мне ухо.

---

\* На гауптвахту.

Я сказал, что все прервано с Бреше, что я сам переписывал даже циркуляр, наконец рассказал и о том, как г. Благов не распечатал конверта француза.

Все помолчали и переглянулись.

— Это хорошо! — сказал Несториди.

— Радуюсь, душевно радуюсь! — воскликнул Исаакидес. — Радуюсь за твердость благословенной нашей России! Радуюсь!

А Хаджи-Хамамджи подумал, подумал и, обращаясь к обоим собеседникам, весело сказал: 10

— Чтò же это? Я хочу видеть этого человека... этого Благова... Посмотреть, Бунин он или не Бунин... *велико-росский* или *малый-росский*? А? Вот мне чтò любопытно! Вы сведете меня к нему завтра?

Несториди отвечал, указывая на Исаакидеса:

— Вот человек русской партии. Он сведет. Да и одни идти можете.

После этого мы простились и ушли вместе с Хаджи-Хамамджи. Дорогой он расспрашивал меня очень любезно об отце моем и о матери, и о гимназии, и сказал мне, что он в Эпире в первый раз и что Эпир ему больше нравится, чем Фракия и Македония. 20

— Да, — отвечал я ему, — особенно у нас в Загорах все люди очень умны.

— Загоры ваши — слава нашего греческого племени. Сулия — слава воинская; Загоры — слава умственная и торговая, — сказал он.

У дверей церкви Св. Марины мы простились; я просил его взять до завтра мой фонарь и принести его в русское консульство, «в которое я на днях совсем перейду по величайшему желанию самого консула», — прибавил я. 30

— А, — сказал Дели-Петро, принимая от меня фонарь и смеясь, — так вот почему учитель сказал, что вы погрузились совсем в поток панславизма. Не бойтесь. Это ничего. Вы воспользуйтесь всем, чтò нужно вам от русских, и вынырните опять эллином... Каподистрия разве не



остался лучшим из греков? А? Не бойтесь... Грек и растяжим, и крепок как сталь!.. Понимаете?.. Покойной ночи вам, мой добрый!

И, пожав мне руку, любезный купец ушел с моим фонарем.

Было уже около одиннадцати часов ночи, ибо разговор у Несторида продолжался долго. Наконец я решился ударить в дверь раза два не громко... И, к стыду и удивлению моему, сам священник, пройдя через весь двор по снегу, 10 отворил мне дверь.

Я попросил у него прощения, объясняя, что меня задержал Несториди, и он не сказал мне ничего на это, только спросил:

— А Бреше?

Мы пришли наверх; у него горели еще свечи, и на турецком столике, поставленном на диване, лежала развернутая книга Ветхого Завета. Он опять трудился над своим албанским переводом. Сев, он с живостью переспросил 20 меня еще раз:

— А Бреше?

Я рассказал и ему о деле Бреше все, что видел и знал. Мне ужасно хотелось спать, но вместе с тем мне хотелось и другого: я желал скорее узнать от него, как он смотрит на мое переселение в русское консульство.

Пересиливая дремоту мою, я стоял пред старцем несколько времени молча. Он сказал мне сам:

— Время тебе отдохнуть теперь. Иди.

Тогда я решился открыться и пришел в волнение, от которого вдруг исчез весь мой сон. Я начал так:

30 — Отче! Господин Благов очень желает, чтоб я перешел в консульство. У них есть большая письменная работа, и он предлагает мне деньги, чтоб я помогал, потому что она спешная. Он очень желает.

Отец Арсений, всматриваясь в меня, отвечал:

— Правду ли ты говоришь?

Я отвечал, что правду, но, конечно, чувствовал, что не совсем, потому что Благов не сказал мне: «я очень

желаю», не просил меня, а сказал только: «Переходи, если хочешь, впрочем, как знаешь».

Лгать мне больше не хотелось отцу Арсению, и потому я о желаниях Благова умолчал, а повторил из его слов только то, что было и правда, и выгодно моему малодушию.

— Верьте мне, что работа у них очень спешная и что он мне деньги даст за нее.

— А училище? — спросил отец Арсений.

— Я только буду помогать в часы, свободные от уроков; за деньги. Несколько лир золотых. 10

Отец Арсений ответил мне, что я все-таки уже не дитя. Приказал написать матери и потом делать как хочу и как знаю.

После этого, давая целовать на прощанье мне правую руку свою, почтенный человек этот прибавил:

— Не знаю я, сыне мой, правильно ли ты идешь по этому пути. Как будто бы, мне кажется, отец твой не слишком желал этого! Однако как знаешь. И так как месяц этот еще не кончился, то я тебе возвращу половину платы, которую мне внесла за него вперед твоя мать. Покойной ночи тебе, дитя мое! 20

Я удалился, вздыхая и жалея отца Арсения, в мою холодную и маленькую комнатку, в которой, конечно, не было печи, а только один давно потухший мангал. Мне стало очень скучно ложиться на жестком диванчике в такой мороз без огня. Я вспомнил о чугунных печах и огромных мангалах Благова; о том, что там меня будут греть и питать уже не так, как здесь, и не только бесплатно, но будут еще и золотые деньги платить мне самому за пустую работу переписки. И жалость, которую я на миг почувствовал к отцу Арсению, начала исчезать, как искра в полном сосуде воды. Да! Душа моя была в этот вечер полна, как сосуд, налитый драгоценною и опьяняющею влагой, которая поднималась и лилась через край... 30

Я завернулся в два ваточные одеяла и в шубу мою и лег лицом на подушку, холодную как лед... И думал...

Волна за волною несла меня к русскому порогу, к порогу, который для меня тогда казался так недосыгаем, так прекрасен, так высок...

Волна за волною... все выше, все выше... все выше! Волна эта была чистого и голубого цвета, как само небо, но она была очень холодна... Я вздрагивал на миг от холода и страха, когда волна эта, опускаясь, падала немного вниз подо мною... Я вздрагивал и видел снова мрак и пустоту вокруг себя на мгновение. Но вода опять синела и уже без колебаний, без волнения и без сотрясений этих  
10 скучных, поднималась ровно, ровно, наверх над зеленым двором богатого дома с резным потолком и протекала без шума и препятствий в открытые окна русской галереи... Галерея была полна народа...

Около меня стояла милая, невинная отроковица высокой игемонической крови, родная сестра Благова — Зельха. Шопотом она говорила: «Милый мой! Нареченный  
20 супруг мой! Одиссей мой, ты для меня все на свете. И брат, и повелитель, и муж, и отец. Тебе повинуюсь, я стала такая же христианка, как ты, и теперь, лобзая твои ноги, я молю тебя... Я озябла в этой волне, дай завернуться мне в твою рысью шубу...»

— Постой, — говорю я сурово. — Я жду чего-то... Подожди! — И я сам завертываюсь в шубу крепче; мне самому очень холодно...

Бреше стоит в деревянных башмаках и бумажном колпаке и держит на плече вилу. Он смотрит вниз, как человек, глубоко униженный.

Толпа между тем расступилась, и г. Благов подходит к нам. Он в генеральских эполетах, в латах, в  
30 *трикантоне* с плюмажем, который льется по плечам его почти до земли, как душистый водопад белого пуха...

Он возлагает на меня и на Зельху, вместо брачных венцов, командорские знаки Св. Станислава на красных с белым широких лентах, меняет их на нас три раза и отходит прочь, говоря:

— Граф Каподистрия! Vous n'êtes pas diplomate, mais vous êtes grand politique...

Он отходит, и белые перья льются, льются каскадом вокруг него, и он весь исчезает в белом снегу далеко за озером на горе; я уже не вижу его более. А вижу перед собой Хаджи-Хамамджи, который, расправляя бакенбарды, благословляет меня с милою Зельхой на совместный путь многотрудной жизни; он благословляет нас, приветливо улыбаясь нам.

Мы оба с Зельхой благодарим его с жаром и целуем его руку. <sup>10</sup>

Потом я вижу, что мрачные глубокие глаза моей невесты уже не ниже моих, а горят таинственным огнем прямо против моих, и губы ее, полные, полные, горячие, горячие, тоже касаются моих губ... и она шепчет мне тихо: «Барашек мой милый... Очи главы моей, Одиссей, радость ты моя, птичка моя золотая... Не знаешь ты, что я такое, Одиссей? Я горькая ядовитая травка. Я демон маленький... Я самый молодой и самый маленький из малых бесов твоих... И я выпью до дна, Одиссей, твою чистую, голубую, ровную, ровную душу, которая только сегодня полилась через край...» И я отвечал ей: «Пей, моя царица! Пей, сестра моя, мою голубую, ровную душу!» <sup>20</sup>

## XV

Утром на следующий день я, почти обезумев от радости и еще раз поклонившись отцу Арсению, перебрался с пожитками моими в консульство... Загорская мечта моя осуществилась... Я сделал первый шаг на крутом, но восхитительном пути почестей, роскоши и славы! «Быть может, вся будущность моя теперь...» — начинал думать я, вздыхая от блаженства, но благоразумно тотчас же сам клал себе предел: «Остановись, молодой Одиссей, пути Провидения неисповедимы, и свет видел великих мужей, низвергнутых в прах неумолимою судьбой!» Я даже приводил <sup>30</sup>

себе на память знаменитый миф Сизифа, никогда не перестающего катить тяжелый камень в гору — и катить его напрасно... (О нем же на днях только что прочел я в книге.) Мне приходила также на ум осторожность отца моего, его правило турецкой мудрости: «*Яваш, яваш...*\* все будет, все совершится понемногу!» Но мне было так весело и приятно, что я правило это прилагал к обстоятельствам моим в том смысле, в каком мне было выгоднее... Я говорил себе: «Да! вот все свершится! Все желания наши могут быть исполнены! Надо только Бога не забывать!..» И тут же забывал Его... Ах! горькая травка! Ах, душистый цветок моего сновидения, и тебя, Зельха забавная, я буду видеть часто теперь...

Не знаю, как и когда случилась эта перемена... так скоро! В один день... Сон ли этот вчерашний так сблизил меня с нею? Час ли просто пришел такой?.. Не знаю. Но я уже не нападал больше на Зельху, не бранил ее, а напротив того, начинал улыбаться, вспоминая ее резвость, начинал даже как будто и жалеть ее и думал: «Тоже ведь и она, бедняжка и сироточка, бьется и убивается, хлеб приобретая себе. Не осуждай — да не осужден будешь, Одиссей мой!»

Небольшая комнатка, которую приказал для меня приготовить г. Благов, мне показалась прекрасною. В ней было только одно окно, но оно было велико и красиво и вид из него был очарователен!.. Диван был в этой комнате всего один и не очень большой, но обит он был пестрым ситцем, с такими крупными лилиями и астрами, что их можно было долго и приятно созерцать задумавшись, если наскучит глядеть в окно на город, сады и минареты, на тополи садов и на горы за городом. Можно было сделать и больше того; можно было внезапно уединиться от всего мира и забыть даже об Янине, обо всем Эпире и обо всей Турции. Для этого достаточно было только спустить на окно расписную европейскую стору, которую уже, полю-

---

\* Потихоньку, потихоньку.

бив меня и угождая мне, повесил добрый Кольйо. На ней изображена каменная угрюмая башня в густом лесу, в лесу таком зеленом и веселом, каких, кажется, и не бывает в самом деле... И к этой башне, и по этому лесу прекрасно-му едет один воин европейский на хорошем коне; на шлеме его высокие перья и в руке его большое копье...

Спущу я — и радуюсь; подниму — и люблюсь.

И мангал пылает жаром около меня, и стол для смиренных занятий моих покрыл Кольйо зеленым сукном, как для какого-нибудь мудреца, и образ Божьей Матери загорский мой, *Широчайшей Небес*, я повесил сам и прибил его по-русски в восточном углу.

И не знаю я, стоя у окна этого и сидя в этой комнате, на что мне смотреть и на какую вещь прежде всего веселиться мне, окаянному... и за что мне все это! За что и за какие заслуги!

Снег тает в саду Шериф-бея; ручьями бежит вода; травка везде опять зеленеет. Солнце юга спешит жадно вступить снова в свои, на несколько дней поправленные, права.

У моего Алкивиада есть звезда удачи. За его звездой пойду и я. Один день, одну ночь опоздай он, и не было бы случая ему перейти вчера вечером озеро Янинское и вплести еще один лавровый лист в венец своих успехов.

Весь город с утра уже опять был полон его именем! К своему кавалерийскому подвигу, к набожности своей, столь утешительной нашему православному народу, к ранней обедне в мундире и крестах, к независимости действий своих пред лицом западных агентов, к искусному и твердому ведению дела с ненавистным Бреше, к радостным для нас слухам о колоколе на юге Эпира он прибавил еще одно дело: вчера, пока был мороз, он первый, смеясь, перешел на остров по льду страшного озера... и за ним перешли другие консула, австрийский и греческий, за ним отнесли людям хлеб и уголья. За ним перебежал бедный Алеко к бедной и рыдающей матери.

О, мой герой! О, мой Благов!.. о, как прав Коэвино, восхваляя его! Как дальновиден и опытен почтенный родитель мой, который в один вечер в Загорах оценил и понял его, сказал мне, что он *первого* нумера весь, а никак не *второго*.

Не написать ли мне теперь ему стихи? Написать, поправить и поднести с таким приветствием:

«Сиятельный господин консул»...

10 Нет, он этого не любит... Проще: «Позвольте мне, ничтожному мальчику, которого вы изволили осыпать ныне...» Вот так. Стихи я давно люблю и давным-давно даже завидую нашим новым поэтам, Рангави и Суццо, Риге Фереосу и Залокосте. Они не поэты дальней древности... Они все такие же нынешние греки, как и я. Отчего ж бы и мне... Например, в таком роде (это в сборниках есть афинских):

Глас Марса меня восхищает!  
Кипит моя кровь и уста восклицают!  
На тирана восставши,  
20 Ярмо я топчу и ломаю...  
Умереть я желаю!  
Я свободы хочу!

Или вот как это:

О! дети эллинов, спешите!  
Отчизны зову вы внимлите...  
Мужи, бесстрашные на муки!  
Оружье в руки!  
Уже везде труба свободы  
Против тирана возгремела...  
30 Борьбы мгновение пришло...  
И вражья кровь... пусть потечет как воды.

Самого его я в это утро видел хотя и несколько раз, но всякий раз лишь на минуту, и ему некогда было обратить на меня внимание. С утра в канцелярии спешили отправить почту; усатый старик, болгарин Трийча, отчаянный курьер русской службы, примчался из Битолии, где вскачь, где вплавь, и ждал огромного пакета, чтоб опять помчаться

назад чрез реки, утесы и леса... Потом г. Благов принимал всех архонтов, которые накануне застали его еще спящим. Я видел только, как он на минуту вышел провожать их в залу, когда они прощались с ним толпою. Видел, как он жал им по очереди руки, не наклоняя при приветствиях ничуть ни головы, ни стана, но оставаясь неподвижным, как бронзовый кумир надменного и счастливого самим собою божества. Я слышал, что седой Бакыр-Алмаз сказал ему так: «Я позволю себе возразить, г. консул, на ваше предположение об улучшениях и прогрессе Империи 10 Оттоманов; я выражу мою мысль с помощью великого исторического примера: есть Гордиевы узлы, которые раз-рубить может лишь победоносный меч Александра!»

На это Благов отвечал с улыбкой: «Вы думаете?» И больше ничего! Я, глядя и слушая из дверей моих, воскликнул мысленно:

— Учись! учись! Вот это дипломат!

Потом Несториди, также прощаясь, сказал ему такого рода краткую речь:

— Позвольте, г. Благов, и мне, новоприезжему из За- 20 гор, приветствовать вас вослед за представителями древней и досточтимой общины иоанинских элинов, позвольте и мне уверить вас, что эпироты умеют быть благодарными, умеют равно чтить все христианские державы, которых просвещенное влияние способствует хоть сколько-нибудь заживлению вековых язв великого греческого племени, и сверх того поверьте... (он приостановился)... умеют прекрасно отличать истинных друзей своих от лож-ных...

Г. Благов молча подал ему руку и не сказал ни слова. 30 Я видел, что он был недоволен, глаза сверкнули и щеки вспыхнули. Но он тотчас же опять овладел собою, и архонты ушли. Я подумал, что он понял несколько дерзкий намек Несториди «о друзьях истинных и ложных». Зная образ мыслей моего наставника, я тотчас же догадался, что он говорил о славянах, и мне показалось это столь неуместным и дерзким, что сердце у меня дрогнуло от боли, от



страха, от стыда... Не знаю отчего... только я даже сказал сам себе тихо и с отчаянием за своею дверью.

— Ба! что за вещь он сказал!.. Зачем это!..

Но Благов тогда еще образа мыслей Несториди не знал; и как я после понял, он был недоволен другим: его всегда гневало, когда он слышал, что христиане позволяют себе ставить наравне *православную*, Московскую, Царскую Россию с чуждою Англией или с Францией какого-нибудь Бонапарта.

<sup>10</sup> Во всяком случае, он был недоволен речью Несториди, и все архонты это заметили, и все они упрекали потом учителя за его невежливый намек; но все они почти думали, как я, не про державы Запада, а про лживую дружбу православного панславизма.

Еще архонты были здесь, когда от самого паши приехала за г. Благовым коляска. Рауф-паша, получив известие, что г. Благов собирается к нему с визитом, не захотел, чтобы его возлюбленный консул ехал верхом или шел бы пешком к нему чрез весь город по глубоким ручьям тающего снега, чтоб он не забрызгался или не простудился бы, и предупредил, что в назначенный час будет готова коляска.

Я видел коляску эту; она была хороша; видел коней вороных, сильных, как волы, быстрых, стройных и огненных, как юные олени; они били копытами землю у *нашего* подъезда. Видел возницу араба молодого (мне показалось только, что *франкская* жакетка его была стара, и не знаю почему Рауф-паша не приказал ему строго зачинить под мышкой большую прореху!..)

<sup>30</sup> Два турецких солдата верхом и наш кир-Манולי тоже верхом ожидали консула.

Я видел, как г. Благов вышел еще раз переодетый (меня восхищало, что он, как знаменитый царевич или как епископ, беспрестанно меняет свои облачения). Он был уже не в бархатной жакетке, в которой он принимал архонтов. Он был теперь в очень длинном черном сюртуке с шолковыми отворотами (я никогда этого не выдывал), и в

петлице у него был нежный орденский бантик, голубой с красными крылышками, точно бабочка летела, летела и впиалась в него, как в душистый цветок весны... и в высоком цилиндре он был на этот раз; а перчатки его, опять совсем новые, были такого светло-лилового цвета, как море иногда бывает зимой, при тихой погоде и при кротком заходе солнца. Сам же он, высокий, прямой и тонкий, казался мне в этом длинном сюртуке похожим как бы на очень красивую бутылочку, наполненную водою померанцовой или розовой, которыми у нас иногда прыщут на людей, приветствуя их. <sup>10</sup>

Сел он в колесницу; черные быки-олени кинулись вдруг с места и помчали его к воротам по широкому двору... Ставри в золоте вспорхнул на козлы как юноша; Маноли с конными турками помчался вскачь вослед по воде, по траве, по камням, по грязи, по снегу...

Умиленный, я воскликнул в окошко: «Zito Россия!» и потом смиренно возвратился в мою милую опочивальню.

Там сидя, я колебался, что мне прежде начать: письмо к матери, по совету отца Арсения, или по внушению души <sup>20</sup> моей героические стихи на победоносное возвращение Александра Благова?

Сперва я, вняв призыву муз, попытался начать стихи; но внутренний хор моих разнообразных ощущений, торжественных и веселых, православных и демонических, серьезных и детских, лживых и праведных, не выходил на бумагу свободно, стройно и красиво... Я напрасно тщился на зеленом сукне моего нового стола. Я оказался еще недостойным такого философского, дипломатического или пиитического стола, с зеленым сукном хорошей до- <sup>30</sup> броты.

«Шумит Борей!..» «Свищет Борей, свищет!..» «Борей свистит и льдом...» «И старики...» «И старцы...» «И вот от северной державы...» «И вот, его приветствуя, танцует...» «Благоуханьями полна, стройна как пальма молодая...» Я почувствовал наконец, что у меня, как во вчерашнем сновидении, одно лицо незримо и внезапно пре-

вращается в другое, и отроковица-плясунья, «la petite drogue», моя «горькая травка душистая»... вместо Благова, слетала неожиданно ко мне на ледяных крыльях этого ужасного Борея! И даже более (увы! увь!), я чувствовал, что стиль менее героический, менее строгий пошел у меня лучше, что тут Фебу помогает сама всемогущая Афродита...

Я оставил поскорее эти стихи и начал было письмо к матери. Это подальше от искусительного, это добродетельнее. И я начал это письмо:

«Достопочитаемая и превозлюбленная мать моя, прежде всего вопрошу вас о драгоценнейшем здравии вашем и о здравии досточтимой и превозлюбленной воспитательницы и благодетельницы и бабки нашей, госпожи Евгении Стиловой. Я же, благодарение Богу, здоров и, лобзая почтительно десницу вашу, досточтимая мать моя, и десницу госпожи Евгении, желаю вскоре видеть вас и радоваться вместе с вами. Ныне, по настоятельной просьбе его сиятельства Императорского консула всех россиян, господина Алéксандроса Благова, я оставил отца Арсения и перешел жить в означенное консульство для совокупной переписки за весьма щедрую и даже, в смирении моем скажу, несообразную с нежным возрастом моим и неразумием плату из государственной казны; в точности же определить еще не могу цены; но его сительство изволил сказать, что заплатит мне несколько золотых оттоманских лир по окончании статистических сведений набело».

Нет, это лучше удалось, чем стихи; даже и ложь о настоятельных просьбах удалась очень хорошо... Она удалась так хорошо, что мне стало стыдно, и я письмо к матери тоже отложил на время, желая обдумать зрелее — лгать мне или не лгать.

Но я думал об этом недолго, потому что пришли посетители, Кольйо и маленький Алеко. Кольйо сел, спрашивал, доволен ли я комнатой, и рассказывал, смеясь, что Бостанджи-Оглу и сегодня опять сердит на консула за то, что он не взял его с собою к паше. Бостанджи-

Оглу совсем оделся тоже, кинулся к Благову навстречу и говорит: «И мне прикажете ехать?» А консул ему: «Как бы бедного Рауф-пашу не напугать. Он больной. Целая куча народа. Сиди уж дома, я думаю, ты и так-то туркам ужасно надоед!» Люди все вышли смотреть на консула. Бедный Бостанджи! Мы этому все так смеялись. Даже жалко его.

Алеко пришел разутый из почтения ко мне и долго не хотел садиться на мою мебель, потому что платье свое он находил очень грубым. Он хотел также, приветствуя меня,<sup>10</sup> поцеловать мою десницу, но я, тронутый его сиротством и милловидностью, любезно обнял его и сам посадил около себя на стул.

Тогда мальчик ободрился и скоро одушевился до того, что стал в лицах представлять, как консулы переходили по льду на остров. Он очень хорошо представил прежде Киркори́ди, расставил ноги широко и надулся и ходил тихо и все: «ах! ах!» А мсье Ашенбреннер скоро, скоро «ха, ха, ха! хи, хи, хи! Очень хорошо! очень прекрасно!» А мсье Благов только: «Сюда! сюда!»<sup>20</sup>

И Кольйо рассказывал также, что Киркори́ди говорил прежде: «Стойте! или я один вперед, или я один после... Я слон, я кит! Я как десять человек вместе... Где льду вынести меня с другими вместе».

Потом, когда Алеко ушел, у нас был с Кольйо разговор очень дружеский и любопытный. Я расспрашивал его подробно о том, как живут они в консульстве, кого больше любит Благов и кого меньше и что́ нужно делать, чтобы ему понравиться.

Кольйо советовал мне за обедом громко не жевать, с<sup>30</sup> ножа не есть, руки чисто держать и Бостанджи-Оглу остерегаться, «потому что он, мошенник, завистлив и предатель».

Наконец я решился, помедлив немного, предложить Кольйо еще один вопрос:

— Добрый мой Кольйо, — сказал я, — я вижу, что ты хочешь быть моим другом. Дай Бог тебе за это долго

жить. Давай же будем как братья во всем согласны. Скажи правду, любит Благов эту турчанку или не любит?

— Я думаю, что любит, — отвечал размышляя Кольйо. — Она веселит его, и он за это ее награждает.

— А больше ничего нет?

— Пустые это слова, Одиссей, — сказал Кольйо с досадой. — Не верь людям. У нас любят осуждать, ты это знаешь. Только это ложь, и ты не верь этому. Я бы знал.

<sup>10</sup> После этих посещений мне стало еще веселее. Г. Благов дома даже и не завтракал; он прямо от паши поехал ко всем консулам (кроме Бреше, разумеется) и остался кушать у Ашенбреннера. Мы завтракали вдвоем с Бостанджи-Оглу, и во время завтрака пришел Коэвино. Он в этот день стал ангелом доброты. В этот день имел он также свой триумф и в это утро он свершил также свой подвиг.

Ты не забыл, я уверен, мою притчу о *белых зубах издохшей собаки*? Если же ты забыл, то перечти ее, прошу тебя. Я, как говорит один старинный писатель, не

<sup>20</sup> намерен быть ясен для того, кто ко мне не внимателен.

У Адониса Куско-бея, богатого и скупого, у этого местного нашего Креза-циника в сюртуке, блестящем от ветхости, у Куско-бея развратного и лукавого, у этого обольстителя бедных христианских девушек, просящих приданого, у этого архонта низкого перед властями и недосыгаемо гордого с людьми неимущими и простыми, был также один ряд очень белых и ровных прекрасных зубов. Он очень был привязан к своей старой матери и чтил ее так искренно, как иногда не чтут матерей своих и хорошие люди.

<sup>30</sup> Мать эта опасно занемогла. Составился консилиум; но больная сказала сыну, что она верит только одному человеку — Коэвино и просит его послать за ним. Она, как madame Арванитаки, находила, что только у одного Коэвино есть та божественная искра, которая внушает доверие больным. Каково было надменному и богатому архонту идти к этому дерзкому безумцу, который в многолюдном обществе называл его глупцом, невеждой и негодяем и пред-

лагал сойти вниз, чтобы проломить ему голову палкой и удостовериться, есть ли у него мозг!

Я думаю, во всю жизнь свою Куско-бей не выносил такой борьбы, какую вынес в это утро. Однако он немедленно пошел к доктору. Вошел. Гайдуша доложила, сказав доктору, что madame Куско-бей при смерти, что сын ее пришел умолять о помощи.

Коэвино не торопясь пробрал пробор, не спеша оделся, вздел ринсе-пез и вышел одетый в нетопленную приемную, где уже давно дрожал Куско-бей. 10

Увидав его, Куско-бей встал стремительно, восклицая:

— Доктор! Мать моя при смерти!

Но Коэвино, смерив его с головы до ног в ринсе-пез, сказал тихо и улыбаясь ему:

— Добро пожаловать моему ослу! Добро пожаловать моему мерзавцу!

— Доктор! Я прошу вас...

— Иду, мой осел! Иду, мой архонт! Иду, мой дурак! Иду, моя скотина!

И пошел и осмотрел старуху, и ей скоро стало легче. 20  
Коэвино после этого колебался даже взять те пять золотых, которые упрашивал, умолял его взять благодарный сын, и взял только потому, что старуха сама ему сказала с чувством:

— Я тебя прошу, благодетель мой, возьми ты их!

После такого торжества европейской науки и его личного таланта над богатством злоприобретенным, над пороком и невежеством как же было доктору не смягчиться хоть на короткое время ко всем людям, как было не «замкнуть все человечество (так он сам говорил, простирая руки и возводя очи к небу) в горячие и беспредельные объятия любви!» 30

От Куско-бея он прямо пошел на квартиру Бакеева, у которого он с самой ссоры на острове не был. Он еще и раньше, как только узнал о том, что Бреше оскорбил русского секретаря, порывался пойти к нему в тот самый вечер. Ему стало жаль, он простил его, он забыл в ту минуту, что Бакеев так резко заступался тогда — и за

кого же? — за Исаакидеса, у которого красноватый нос висит вниз и усы криво подбриты... Но не решился, опасаясь сухого приема, ибо Бакеев, правда, не был ни прост, ни прям, ни искренен.

Теперь он пошел к нему; они помирились и вместе бранили Бреше и хвалили Благова.

От Бакеева Коэвино пришел в консульство, прямо подошел к Бостанджи-Оглу, схватил его, обнял и воскликнул весело: «А! а! а! Забудь мою *фурию*, мой добрый Бостанджи. Забудь! Если б у тебя были такие нервы, как у меня, ты пожалел бы меня, а не сердился. Во имя Божие прошу тебя, забудь это все! Я сегодня так счастлив!.. У меня есть *кейф* сегодня... Я умоляю тебя, не порти мне *кейфа*! Ха, ха! ха, ха! ха, ха!»

Бостанджи-Оглу сказал ему:

— Бог вам простит, доктор; другой раз не надо оскорблять так бедного человека, который в зависимости тяжким трудом приобретает себе хлеб и который поэтому не в силах сам себя защищать.

Коэвино покраснел, застыдился, на глазах его показались слезы. Он помолчал, потом ушел наверх дожидаться Благова... и не более как минут через пять уже весь обширный конак Шериф-бея был наполнен его радостным воплем и хохотом, и потолок над нашей канцелярией дрожал от его топота и прыжков. Он, верно, рассказывал Кольйо или садовнику, который топил там печи, о своей победе над Куско-беем.

По уходе доктора наверх у нас с Бостанджи-Оглу начался разговор, который для меня был очень важен по своим последствиям.

Я сказал ему, смеясь и указывая глазами на потолок:

— Гремит наш Зевс!.. Гремит с Олимпа!

На это Бостанджи отвечал печально:

— Пусть гремит. Он-то точно, что человек пустой и не злой. А что ты мне скажешь, Одиссей, о мсье Благове?.. Что вчера он мне говорил за обедом? Что за деспотизм! Что за варварство обращаться так со мною, которого он сам вы-

писал из Константинополя за мое прекрасное знание языков, и русского, и французского, и турецкого, и греческого, за мое трудолюбие!.. Как было не оценить то, что я за него вступился, то, что я ему доказал мою преданность! Нет, Одиссей, яблоня других плодов, кроме яблок, дать не может! Московитский деспотизм похуже турецкого будет!.. Чтò за злость в его ответах! Чтò за презрение! Чтò за яд горчайший! За чтò? Скажи мне, за чтò?

Я молчал. Чтò мне было говорить на это? Я готов был и пожалеть его, но не настолько, чтобы говорить против 10 Благова, даже и тогда, когда я нахожу его не вполне правым... Не так я уже глуп и ветрен, чтобы сделать это! Зачем я буду говорить? Кому будет легче от того, что я соглашусь с Бостанджи-Оглу?.. Только *мне самому* может быть хуже в несчастную минуту, а Бостанджи-Оглу я этим не спасу и не утешу. Итак, я решился молчать и молчать.

Бостанджи-Оглу, предполагая, должно быть, что молчание мое есть немое порицание жестокости молодого консула, все более и более одушевлялся. (Руки его уже не 20 опускались, он беспрестанно поднимал их выше головы тем противным движением, которое придавало ему нечто подлое, и глаза его блестели от горести и гнева.)

— Я знаю все политические тайны консульства, — продолжал он. — Я могу сделать вред! Я знаю, где их шифр секретный... Как ни запирай его, как ни прячь они... А я могу все разыскать, когда захочу... Если я захочу, то я могу доказать, что в самом деле я недаром поповский сын. Я докажу на деле, что сын попа — племянник самому дьяволу... Понимаешь? 30

Я хотел тотчас спросить у него: «А чем виновата вся Россия, если Благов тебя огорчил?», но отложил этот вопрос и сделал ему сначала другой:

— Какие же такие великие тайны можешь знать ты, писец консульства? Ты не секретарь.

— Ты думаешь? Ты так думаешь? — спросил Бостанджи злорадно и таинственно. — Пусть будет по-твое-



му! Одно я скажу тебе... только одно, слышишь. Тут есть проект восстания... Пстой...

Он пошел в угол, искал долго в каких-то бумагах. Нашел; пошел припереть дверь и, возвратившись, подал мне французскую бумагу, переписанную очень спешно его собственной рукой, и сказал мне: «Читай!»

Я читал; а он стоял за спиной моей, помогая мне разбирать, и переводил мне по-гречески целые фразы.

10 Точно, это был проект восстания, преимущественно в северной Албании. Шла речь о Вассоевичах, о феодальных преданиях буйных арнаутов, о гегах, об албанских католиках...

Но Бостанджи-Оглу, все-таки опрометчивый, при всей природной злокозненности своей, не обратил внимания на одно. Проект этот был не русский. Он был составлен одним гарибальдийцем или французским коммунистом, не могу наверное теперь утверждать. Он был только подан при случае где-то, даже и не здесь, Благову, который возвратил подлинный проект автору с надписью: «Вот воздушные замки! и притом, разве этот странный анахронизм, который зовут Турция, не лучше все-таки (как зло знакомое) тех разлагающих и вздорных принципов, которые ваши единомышленники желали бы внести в среду этих добрых и наивных населений Востока?» Он возвратил автору подлинную его рукопись с этим блестящим замечанием (с которым и я теперь, после пятнадцати лет опыта и знания, вполне согласен); но, разумеется, он приказал сам снять с него, на всякий случай, копию. Это была его обязанность. И он, может быть, не смутился бы  
20 даже, если паша или сам султан узнали бы об этом! Но Бостанджи-Оглу, трудолюбивый, знающий языки, иногда лукавый, был все-таки, как я сказал, не умен и ветрен. Списывая сам все одною и тою же рукой и очень спешно, он списал в строку и надпись Благова, не обратив на нее  
30 внимания...

Я тогда тоже сразу не совсем ясно понял это различие; истории этого проекта не знал вовсе и потому я не мог

ответить на все это Бостанджи-Оглу так, как ответил бы ему человек более меня зрелый и знакомый с этого рода делами. Но я был все-таки грек, я был сын Востока, всосавший с молоком матери политический смысл; и я возразил ему так, как сумел бы ему возразить на это не только я, не только Кольйо, но, я думаю, и сам маленький Алеко, складывавший еще склады в школе взаимного обучения. Я спросил его, *выждав* время:

— Скажи мне, однако, чем виновата вся Россия в том, что Благов несправедлив к тебе? А еще вот что. А хри-<sup>10</sup>стианам всем за что ты сделаешь вред, обнаруживая подобные вещи? И еще, бедный ты мой, я прошу тебя, не говори ты мне никогда так дурно против мсье Благова, потому что мне это очень неприятно, скажу тебе. Он благодетель мой. Что мне делать? Предать тебя — стыжусь и жалею, а слушать — не хочу.

Бостанджи-Оглу, услышав мой ответ, побледнел; а потом, подумав немного, начал улыбаться и, лукаво подмигивая мне, сказал:

— Однако, ты чортов чулок, я вижу, загорец! Ты будешь патриот хороший и верный слуга единоверному нам начальству... Молодец ты — браво тебе!.. Я хотел испытать тебя... Так как ты теперь здесь жить и писать будешь... Теперь я тебя и консулу и Бакееву все хвалить буду...

Я сказал ему на это:

— Благодарю тебя. Смотри, чтобы тебя они хвалили! — и тем этот разговор наш кончился. *Но я запечатлел его в сердце моем.*

Между тем топот Коэвино над головами нашими утих. Благов и Бакеев возвратились, и меня вдруг позвали на-<sup>30</sup>верх.

Я увидел Благова уже в шубе, в фуражке и с тростью в руке.

— Идем к софте и сеису! — сказал он, глядя на часы. Коэвино спросил его тогда:

— Итак, *soirée* будет... Танцовщицы будут?... Я хочу праздновать все триумфы разом: ваши, мои, триумф этого

милого Одиссея нашего над врагами его и гонителями!.. О! приди, приди мое сокровище! Приди, мой Антиной, мой Эрос! мой Антэрос!.. — воскликнул он вдруг, обнимая меня и целуя...

— Доктор! Оставьте Одиссея! — сказал ему Благов, с упреком качая головой.

— Ха-ха! ха-ха! — кричал Коэвино. — Да! и его триумф... Празднуем сегодня же! всё празднуем, всё! Vivons! vivons! О, весна — молодость года! О, молодость — весна жизни нашей...

Мы вышли все трое вместе.

Из кавассов перед нами шел один только Ставри.

На улице, когда я увидал, что мы в самом деле идем сами наказывать турок, у меня вдруг дрогнуло сердце, и я сказал консулу:

— Monsieur Благов, боюсь я, чтобы после турки мне не отмстили.

Но Благов не обратил на мои слова ни малейшего внимания и отвечал:

— Ну, бойся, если тебе охота.

Нечего было делать, я шел за ним.

Оба турка жили недалеко от консульства. Софта жил в доме ярко-зеленой школы турецкой, которая выступом выходила на широкую улицу, а сеис рядом со школой, у какого-то другого турка в услужении.

На подороге Ставри остановился и сказал консулу:

— Эффенди, если мы пойдем звать их, они не выйдут на улицу. А надо иначе сделать.

— Внутрь войдем, — сказал Благов.

— Нейдет, эффенди, в дом входить для таких дел! Пусть будет открыто, на улице лучше.

Я удивился, что Благов послушался старика тотчас же и отвечал:

— Я думаю, Ставри, что ты это хорошо говоришь... Но что ж нам делать?

— Легкое дело! — отвечал с пренебрежением Ставри. — Вы извольте идти понемногу. Если случатся они

сами наружи, то вы накажете их сами, если вам это приятно. А я между тем пойду к Сулейман-дервишу. У него сынок теперь без места, тот, который тоже сеисом служил у мсье Леси. Он очень желает к вам. Мы ему дадим что-нибудь, и он их вызовет. Сколько вы дадите ему?

— Сколько хочешь дам. Лиры две золотых? Он тоже мусульманин. Пойдет ли он?

— Ба! — сказал Ставри. — За что же две лиры? Дайте ему один меджидие серебряный за это. Он скажет им только: вас какие-то люди зовут на улицу. 10

— Как бы они после его за это не убили, — заметил Благов.

— Это их турецкие счета между собой. Нам что?

— Хорошо, — сказал Благов.

Ставри поспешил в тот переулок, где был дом дервиша. А мы пошли не торопясь вперед.

Благов казался невозмутим и весел; но у меня, по мере приближения к *зеленой школе*, которая была издали так видна, все сильнее и сильнее билось сердце. Я взглянул на доктора, и у него дергались уже не одни брови, — все 20 лицо его было в непомерном движении, и глаза его были унылы. Наконец он сказал Благову:

— Я удалюсь. У меня есть еще визиты... Удаюсь... К тому же нервы мои...

— Нервы? — спросил Благов рассеянно и сказал потом: — Хорошо.

Он не сводил глаз со школы, так же, как я. Коэвино ушел. Ставри ушел. Мы остались одни с консулом, оба безоружные. Я утешал себя мыслью, что Благов непременно дождется кавасса и молодого араба, который, в надежде на награду и должность, будет, вероятно, на нашей 30 стороне.

Миновали и эту страшную теперь для меня школу. Я думал: «Все хорошо; слава Богу. Нет никого». Но вот еще миг, и сам сеис мой стоял перед нами в красной праздничной одежде, высокий, плечистый, смелый; из-за кушака его был виден довольно длинный нож.

Я думал, что мы пройдем мимо и дождемся вооруженного Ставри, чтоб исполнить наше намерение. Г. Благов как будто бы и хотел сначала сделать еще несколько шагов. Он человека этого никогда не видал; я молчал и видел, как сеис глядел насмешливо, провожая глазами консула, потом взглянул и на меня и окинул меня блистающим взором насмешки.

В эту самую минуту г. Благов вдруг обернулся и спросил:

10 — Одиссей, не он ли это?

— Он, — отвечал я робея.

Консул обратился тогда к сеису и спросил у него:

— Знаешь ли ты меня, кто я такой?

— Нет, не знаю! — отвечал сеис дерзко и спокойно. (Конечно, это была ложь; консульство было на той же улице, и фуражка круглая, русская известна у нас.)

— Не знаешь? — повторил Благов побледнев и, возвышая немного голос, указал на меня: — А его ты знаешь?

20 — Его знаю, — отвечал сеис, пренебрежительно подбоченясь и взявшись рукою за кушак, за которым был нож.

Прохожих на этой большой улице было довольно, несмотря на холод. Были и турки. Нас скоро окружило человек тридцать и христиан и турок.

— Зачем же ты бил его, когда ты знаешь, что он сын моего драгомана? — спросил Благов, и голос его все крепчал и все возвышался; лицо теперь краснело все более и более.

30 Говоря, он поднял трость. Сеис, отступив немного, взялся рукою за рукоятку ножа.

Тут увидал я, до чего бывают люди смелы...

Возвращаясь домой после расправы и не доходя до консульства, Благов сказал мне:

— Беги скорей к своему Несториди и еще отыщи одного приезжего купца Хаджи-Хамамджи, Дели-Петро, и зови их сегодня ко мне на вечер. И скажи Дели-Петро,

чтоб он приходил ко мне раньше. Я очень хочу его видеть... Я буду ждать тебя к обеду.

Я пошел звать их, а г. Благов вернулся в свой конак.

## XVI

Обедали мы при свечах и все были веселы.

Еще мы не кончили прекрасного желе с гранатовыми зернами, которое зовут *эльмазиё*, когда на галерее разда-  
лась цыганская музыка и в столовую вошла Зельха, такая  
нарядная и красивая, какой я еще ее никогда не видал. Она  
тотчас же сняла с себя шубку и бросила ее на диван. <sup>10</sup>  
В этот день на ней было платье из тонкой шерстяной  
материи, все в широких полосах: одна полоса ярко-палевая,  
другая белая; палевая была одноцветная, а на белой были  
ряды букетов печатных мелким узором в персидском  
вкусе. Курточка на ней была самая хорошая, новая, из  
малинового бархата, вся в шитье и блестках, без рукавов;  
под курточкой надета была рубашка с широкими рукавами  
из шолковой азиатской кисеи (*хашлама́*), у которой одна  
полоса прозрачная, а другая густая белая, почти как атлас.  
Шея ее была украшена кораллами и ожерельем в два ряда <sup>20</sup>  
турецких золотых лир, наполеондоров и австрийских чер-  
вонцев; на груди висела огромная австрийская монета  
в пять червонцев (заветный дар *московского отца*). На  
чорных волосах ее, подстриженных по-турецки на висках,  
надета была немного на сторону новенькая феска.

Она тотчас же начала просить у Благова разных вещей.

— Эффенди, — сказала она, — у меня от этих мед-  
ных штучек, которыми я звоню, когда танцую, руки после  
не хорошо пахнут. Купи мне перчатки. А когда ты мне  
сделаешь серебряные эти штучки, тогда мне перчаток не <sup>30</sup>  
надо будет.

Благов согласился и тотчас же послал Маноли к одному  
архонту, который держал магазин разных мелких европей-  
ских товаров, и велел просить его непременно прислать

несколько пар самых маленьких шелковых перчаток (хороших лайковых в Янине вовсе не бывает).

— Я знаю, — прибавил Благов, — что он уже ушел теперь с базара домой и что опять идти в лавку очень холодно и далеко. Но я прошу его. И ты можешь начать с того, что пригласишь его на сегодняшний вечер. А уж потом, понимаешь, о перчатках...

Не прошло и получаса, кажется, как Маноли уже принес несколько картонов женских шелковых перчаток. Они<sup>10</sup> были разной меры и всяких цветов.

Зельха кинулась на них, и мрачные глаза ее засверкали искрами. Все улыбались, глядя на ее радость. А Коэвино сказал Благову по-французски: «Она особенно заботится сегодня о своей красоте, потому что будут и танцовщицы других партий!» А Благов отвечал: «Да! Однако и года делают свое; она стала постарше».

Зельха была в недоумении, какую пару выбрать — палевую, черную, светло-лиловую, светло-коричневую. Но Благов ей сказал: «выбери все!» Она взяла пар шесть<sup>20</sup> разом, опять стала покойна и, подойдя к консулу, серьезно коснулась края его одежды, благодарила его и спросила: «Теперь какие надеть, паша мой, прикажешь?» Благов велел надеть палевые, «а так как ты (прибавил он) через час замараешь их совсем, то надень после черные».

— *Пек си, эффенди!* — отвечала Зельха, надела палевую пару и, увидав, что она сидит на ней красиво, в обтяжку и вовсе ей не мешает, так обрадовалась, что подошла вдруг ко мне и, сказав: «Взгляни, барашек мой, как красиво, как хорошо!», положила обе маленькие руки свои<sup>30</sup> мне на лицо.

Никто, к счастью, не обратил на это внимания. Все были заняты приготовлениями к вечеру.

В кабинете и в приемной зажигали лампы. И хотя стало гораздо теплее, чем было утром, однако чугунные печи пылали везде. Кольйо в свежей, белой одежде и с золотым орлом на пурпуровой длинной греческой феске ходил по комнатам с курениями. Скоро пришли и другие танцовщи-

цы, Ферземин и Эисме с другою партией цыган-музыкантов. Ферземин была высокая, еще молодая и довольно полная женщина, белокурая и красивая; а Эисме была не хороша и не молода, но считалась лучшею и самую опытною у нас *цынгистрой* (танцовщицей). Она была худа, желта и широколица, как ногайская татарка, и глаза ее сверкали, как тот горный хрусталь, из которого делают на Востоке хорошие четки. При ней был маленький сын лет десяти, с такими же глазами, как у матери, в длинной, почти женской одежде и в феске. Он также танцевал.<sup>10</sup> Одеты обе *цынгистры* были опрятно, но просто и бедно, в ситцах, и наша Зельха казалась пред ними царевной, радостно ожидающей прекрасного принца-жениха.

Она и сама знала это. Подойдя к другим танцовщицам, она с улыбкой высокомерия оглядела их и сказала им по-турецки:

— Я с вами вместе плясать сегодня не буду.

— Кто тебя просит? Кто тебя желает? — возразила Ферземин спокойно, пожимая плечами.

Но Эисме, взглянув на девочку свирепым и завистливым взглядом, вскрикнула:<sup>20</sup>

— Э! ты, дрянь! будешь плясать, когда велит эффенди... Много слов лишних не надо, знаешь... что с тобой говорить.

— Ты... дрянь, — отвечала Зельха с небрежным, аристократическим презрением.

— Молчи! — возразила Эисме с еще большим гневом. Но в эту минуту мать Зельхи, которая уже села было на пол около музыкантов своей партии и собиралась ударить в бубен, вскочила и, бросившись к дочери, рванула ее<sup>30</sup> очень сильно за руку, восклицая:

— Говорила я тебе, потерянная, не заводи ссоры; пошла, дура, прочь от них; ты девушка — и тебе стыдно.

Бостанджи-Оглу тоже вмешался и, обращаясь к Зельхе, убеждал ее не шалить. А мать ей сказала тоже еще раз: «ты девушка — тебе стыдно». Другие танцовщицы тогда засмеялись, восклицая: «девушка, девушка!» Но муж Эис-



ме, страшный, худой и небритый цыган, похожий на того, который казнил несчастного Саида, закричал жене с полу: «оставь!» Женщины замолчали, музыка заиграла, и все они сели на пол и хором мирно все запели песнь о нападении разбойников на путника в горах.

Осел мой медленно ступал

Тропинкой узкой над обрывом.

О, ужас! я боюсь, что пропаду средь этого Парнаса!..

И вдруг из-за кустов пять-шесть ребят в одежде грязной,

и нагого ножи...

10

Зельха не удостоила сесть на пол. Она опять подошла ко мне и, ничуть не стесняясь, раскинулась на великолепном диване Благова и улыбнулась мне так мило, поглядела на меня так внимательно, так ласково, что я внезапно вспомнил мой вчерашний сон и весь содрогнулся от какой-то новой, от какой-то внезапной радости. Встрепенулся радостью, мне самому не понятною. Это чувство было похоже на какую-то струю или какую-то тончайшую стрелку, которая из глаз моих, из уст, ответивших против воли ей  
20 такую же улыбкой, полной выражения, проникла глубоко, глубоко в сердце мое... Да! в сердце; я говорю это не иносказательно, а просто, ибо я подобного ничего не ощущал еще ни разу. И мое неопытное сердце затрепетало от радости и страха... Я переступил в этот миг через какую-то незримую волшебную черту. Я перестал ее бояться и не хотел гнать ее прочь.

Около нас в эту минуту не было никого. Музыка все громче и громче играла; певцы и певицы все возвышали голоса; громче и громче звучал тамбурин старухи; яркие  
30 лампы и свечи блистали вокруг, озаряя пестроту просторного жилища. Милый Кольйо опять ходил с чарующею благовонною курильницей; пышная юбка его качалась при каждом осторожном шаге, которым ступал он по клетчатой циновке...

О, Боже мой! Что́ случилось со мной! Я не хочу уже более удаляться от «душистой и горькой моей травки»...

Цветок соблазна и греха! Мной внезапно овладел тот самый младший, тот нежный и маленький демон, самый быстрый и крылатый из всех демонов упоительного зла, которого меня так долго учили бояться. Я сказал ей только два слова: «что ты, моя Зельха?» и взял ее осторожно за маленькую руку под складками моей широкой одежды, чтобы никто не видал. Она отвечала: «ничего» и сама, незаметно ни для кого пропуская свои пальцы один за другим между моими и сжимая их все крепче и крепче, вдруг обернулась лицом к цыганам и, 10  
выждав минуту, запела вместе с ними, отворачиваясь от меня и все с большим чувством сжимая мои пальцы своими. Мне казалось, что я слышу, как скрипит под моею рукой нежный шолк ее перчаток; мне казался этот звук сильнее и тамбурина, и скрипок, и громких возгласов певиц.

Так сидели мы довольно долго; никто не замечал, что мы держимся за руки. Наконец вошли гости: доктор Арванитаки, Куско-бей и два других архонта, Врессо и Мессо. Их провожал Бостанджи-Оглу. Я поспешно встал и 20  
почтительно поклонился, но Зельха не обратила на них никакого внимания.

Врессо был один из самых почтенных наших янинских архонтов. Он очень недурно понимал вопросы высшей международной политики. Но в мелкие интриги местных партий вмешиваться не любил.

Еще немного погодя пришел Несториди, пришли Исакидес и Бакеев.

Наконец вышел и сам г. Благов. Все окружили его приветствуя и все потом сели; сел и я в стороне и внима- 30  
тельно слушал. Исакидес первый счел долгом упомянуть о наказанных оскорбителях моих, сеисе и софте. Указывая на меня с улыбкой, он сказал:

— Мы с радостью услышали, что бедный Одиссей от-  
мщен.

Но лстивый Мессо перебил его, стремительно воскликнув:

— О, конечно! Ваше сиятельство изволили снизить до этих негодяев и удостоили их наказать сами, дабы свет знал, что юноша, который наслаждается российским покровительством как сын вашего драгомана, не может быть оскорбляем.

— Чтò ж мне оставалось больше делать? — сказал Благов. — Я думал...

— О, да, понятно! — воскликнул Мессо.

Г. Благов замолчал. Тогда Бакыр-Алмаз заметил:

10 — Если уже рассуждать об этом, то прежде всего надо припомнить, что господин Благов в течение стольких месяцев жил с пашой прекрасно, ни одного турка ничем не обидел и ни на кого в городе не поднимал руки. Паша мог бы их наказать административно, по достаточному нравственному убеждению...

— И по доверию к русскому консульству, которое вело себя всегда благородно и даже уступчиво по отношению к Порте, — прибавил солидный Вроссо.

20 — Не так, как некоторые другие, — прибавил г. Благов.

Все поняли, что он намекал на Бреше, улыбнулись, и Мессо, припрыгнув на диване, воскликнул:

— О, да, понятно, конечно!

А Бакыр-Алмаз обвел всех взором и сказал:

— Знаем, чтò это значит!

30 Мне казалось, что эта обильно расточаемая лесть несколько тяготила консула. При всей сдержанности и некоторой скрытности Благова, при всем том, что тон его был почти всегда ровен и лицо и взгляд спокойны, у него было одно свойство, которое обличало его душевное движение: он легко краснел. Так и в этом случае, он покраснел и, обратившись к Несториди, начал другой разговор:

— Я очень рад, что вы здесь надолго; здорова ли ваша кира-Мария?

Я видел, как у Несториди вздрогнули брови от удовольствия, что консул даже не забыл имени его жены, и разговор оживился.

Благов начал рассказывать о своем путешествии по Эпиру, Фессалии и Македонии; говорил, как ему все понравилось в Меццове, в Загорах и в Сулийских горах и как хорошо, что все это так разнородно, так самобытно и вместе с тем так одушевлено одним и тем же патриотическим эллинским духом.

— Мне нравится чрезвычайно оригинальность этого строя, — сказал консул. — Как бы особые небольшие республики под неограниченную, по-видимому, властью паши. Я говорю: по-видимому, потому что уничтожение 10 всех этих местных особенностей и неравномерных привилегий, которые иногда кажутся и не совсем справедливыми жителям тех округов, которые этих привилегий не имеют, было бы, однако, очень вредно для общего хода ваших национальных дел. Тогда константинопольской централизации было бы легче простираť свое владычество до самого отдаленного села. Пусть лучше поселяне янинских окрестностей и других непривилегированных округов, которые находятся в зависимости от беев и обязаны платить им, пусть лучше они завидуют привилегированным жителям Загор или Меццова, чтобы сохранились по крайней мере эти очаги, где сосредоточена ваша национальная жизнь, чем, уравнивая все, давать простор только этой централизации на французский образец. 20

— О, конечно, — воскликнул Мессо. — Мы свято должны хранить наши старинные права и даже обычаи, которые суть залог нравственности нашей.

— Я говорю не столько о нравственности, сколько о нравах, — сказал Благов.

На это Несториди заметил так: 30

— Я полагаю, что именно то, что вы, господин консул, зовете нравами, и служит хранилищем даже нравственности в наших семьях, нравственности, которою мы, греки, так дорожим. Единство нравов и обычаев дает, например, крепость и определенность общественному мнению.

Вроссо перебил его с улыбкой:

— Господин Несториди в сочинении своем о Загорах, которое он надеется скоро издать, является строгим защитником народных танцев, праздничных обрядов и даже детских игр местного происхождения.

Несториди прервал его, говоря:

— Да, я утверждаю даже большее; я говорю в этом труде моем, что изменять у нас в Загорах восточную одежду на европейскую несообразно с климатом и что от перемены этой может пострадать общественное здоровье.  
10 Хотя я и сам подчинился этой вредной моде и надел европейскую одежду, но нахожу, что мы все должны были бы одеваться так, как одет молодой человек (он указал на меня, и я почтительно встал).

На это возразил Исаакидес, что в такой варварской стране, как Турция, никакой нет возможности одеваться порядочному человеку по-восточному и будто бы меня, например, не так бы легко решились прибить турки, если б я носил европейскую одежду.

Мессо поспешил заметить на это:

20 — Однако сиятельнейший господин консул потщился и сумел извлечь из этого печального обстоятельства большую пользу. Все люди, считаю долгом это присовокупить, обратили особенное внимание на то, что ваше благородие были без оружия и без кавассов и, несмотря на целую толпу мусульман, дали им публичное наставление.

И, обращаясь ко мне, он прибавил еще:

— И этот молодой человек, как слышно, вел себя истинным паликаром.

30 Все начали тогда хвалить меня хором, говоря то же, что говорили многие при начале моего дела и дела Назли, — что «я пострадал за веру и народность, что я хорошо заслужил от отчизны». Смирный Арванитаки, и тот подтвердил то же самое по-латыни и даже поправлял очки, чтобы лучше меня рассмотреть. В эту минуту появился греческий консул и с ним Хаджи-Хамамджи, а вслед за ними явился и доктор Козвино. Тогда все встали, начался смех и шум. Музыка опять громко заиграла; доктор хохотал и

кричал: «браво! браво!», архонты любезно спорили между собой; сам Несториди начал смеяться, слушая Хаджи-Хамамджи, который что-то ему очень громко рассказывал. И над всем этим шумом, говором и смехом высоко, высоко возносился звучный голосок моего маленького, нарядного и черноокого демона. Она пела, и я, удалясь в темный угол, слушал ее внимательно. Г. Киркориди просил замолчать.

— Подождите, — сказал он, — я очень люблю песни разлуки; это, кажется, песня разлуки.

10

Вы, птички полевые, ах, румелийские вы птички,  
Туда, куда летите вы, чтоб вниз спуститься,  
Письмо есть у меня, писанье я имею,  
Снесите доброй вы его, вы матери снесите,  
Чтоб не ждала она меня и чтоб не ожидала.  
Я здесь, куда пришел, тут и женился,  
И дали мне жену колдуньи дочь,  
Чарует корабли — и не плывут они,  
Чарует реки — и реки не текут.  
Меня она очаровала, и мне возврата нет;  
Хочу уехать, — снег и дождь,  
Назад вернусь, — днем солнце, ночью звезды.  
Седлать хочу коня, — он расседлается,  
Хочу оружие взять, — опять его снимаю.

20

Однако кто-то из круга гостей ударил громко в ладоши, и музыке приказали замолчать. Хаджи-Хамамджи хотел говорить речь.

Хаджи-Хамамджи, по обычаю своему, расправляя бакенбарды, стал посреди комнаты и начал так:

— Россия сосредоточилась...

(Все засмеялись. Это была обожаемая им дипломатическая цитата, и все знакомые ему люди уже предвидели, что он с нее начнет.)<sup>30</sup>

Хаджи-Хамамджи обвел всех томным и значительным взглядом и продолжал плавно и величаво:

— Она сосредоточилась! Задумчивый образ не уснувшего, но слегка раненого и отдыхающего льва изобразил бы превосходно это состояние. Я убежден, что Россия искренна в своем миролюбии. Но... есть течение истори-

ческих судеб, независимое от воли самых всемогущих людей. В 1810 или 1811 году могли ли предвидеть государственные люди России, что в 1814 году русские войска будут вступать триумфально в Париж? «Прикажете ли разрушить Аустерлицкий мост?» — спросили французские льстецы у Императора Александра. — «Зачем его разрушать, когда мои войска прошли через него, вступая в Париж?» — отвечал дипломат-победитель. (Хамамджи радостно засмеялся.) Я сам, которого вы видите, которого

<sup>10</sup> турки зовут «безумный Петро» и уверяют, что следует слушать меня говорящего, чтоб узнать мысли всех других *не говорящих* греков, я, Хаджи-Хамамджи, не отчаиваюсь перейти во главе иррегулярной конницы Гималаю... *Oui! cette teste fera tout... Elle passera le... diable... comment le nommez-vous?.. le Ganguès à la teste des troupes irregoulières et cosaques! Sacré nom de Dieu!..* Какое пышное зрелище! Древние города, миллионами, триллионами населенные! Священные коровы... их держат святые люди за хвост... Океаны разноцветных зданий... Нагие баядерки...

<sup>20</sup> Слоны белые величиною с гору... Боги с десятками рук... Обезьяны кричат и прыгают с ветки на ветку... Христос и Панагия!.. Кто это? С полосатою лентой Св. Георгия первой степени через плечо. *C'est le chef des troupes irregoulières...* Граф Дели-Петро Загангесский, Хаджи-Хамамджи князь Загималайский... *Sacré nom de Dieu!..* Женщины кричат: «Аман, аман, пощади нас!» Нельзя!.. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа... Попов сюда!.. В Ганг их всех, в реку... В Ганг, в Ганг!.. *Cette petite bayadère est très jolie! Sa figure est tout-à-fait canonique...*\* Иван! *cette*

<sup>30</sup> *bayadère...* — Хамамджи подмигнул значительно Ивану. — Потом снова принял повелительный и серьезный вид, обратился ко всем нам, стоявшим около него близко,

---

\* Хаджи-Хамамджи, не зная хорошо по-французски, не стесняясь переделывает окончания греческих слов и заменяет ими те французские слова, которых ему недостает. *Канонические черты лица* по-гречески значит правильные, красивые; *clire* — *clergé* и т. д.

и сказал нам, слегка толкая нас всех поочередно к дивану: — В Ганг, в Ганг! Да, надо их всех искупать в реке, как сделал Владимир!.. Но, если политика требует осторожности, можно поступить иначе... Я сделаю только водосвятие и молебен в униформах и трикантонах на базаре в Бенаресе и Калькутте... Только одно водосвятие...

Все громко зааплодировали и закричали: «Браво, браво». В том числе и сам консул.

Хаджи-Хамамджи продолжал:

— Я сделаю водосвятие, вступив прежде в Бенарес <sup>10</sup> при восторженных криках народа: «Zito Хаджи-Хамамджи, граф Дели-Петро Загималайский!..» Сделав водосвятие только для войска, не принуждая ни к чему народ, я, напротив того, покажу пример терпимости и пойду прежде в мусульманскую мечеть, и сниму сапоги, и скажу так, поднимая руки к небу: «Аллах экбер! Бог один для всех, и Магомет был человек великий». Заметьте, скажу не пророк, а человек, и скажу это *pour que notre clire à nous ne rouisse t'accouiser!* Англичане глупы, что мешают лю- <sup>20</sup> дям в Индии бросаться под колесницу богини. Пусть люди будут свободны... При такого рода свободе будет больше послушания и любви.

Все смеялись. Но Благов сказал оратору так:

— Слава Богу, что мы не мечтаем о том, о чем вы мечтаете. Если бы все то, что вы говорите, свершилось, от России не осталось бы и следа. Мы все бы уехали жить на юг и восток. Такого рода триумфы были бы началом падения для настоящей, для нынешней России.

— Тем лучше! Мы, греки, поможем вам просветить Восток, — возразил Хамамджи. — Надо желать только <sup>30</sup> одного: надо вести дела так, чтобы ни одна западная держава не могла мешаться в дела Востока, кроме России. Что могло быть лучше трактата сороковых годов между Турцией и Россией? Особливо эта анафемская Австрия! У нее отняли Ломбардию, отнимут Венецию, Чехию... Надо отнять все. Из всех держав, действующих на Востоке, всех вреднее, всех растленнее нравственно — это Авст-



рия. Для нас, греков, достаточно вспомнить, что Австрия — родина Меттерниха, пред которым напрасно преклонял колена, умоляя за нас, наш благородный Ипсиланти. В 1822 году Меттерних убеждал Императора Александра I предоставить свою распрю России с Турцией на решение европейской конференции. Но великий Каподистрия успел вовремя раскрыть глаза Императора на эти сатанинские козни...

В эту минуту в зале показался австрийский консул.

10 Хаджи-Хамамджи внезапно умолк; г. Благов пошел на встречу Ашенбреннеру, и все поспешно встали, кланяясь.

Г. Ашенбреннер любезно здоровался со всеми и всем пожимал руки. Он восклицал и по-итальянски, и по-гречески: — А, кирие Вроссо! А, синьор Мессо!

Г. Благов представил ему Хаджи-Хамамджи и сообщил ему вполголоса, что это человек чрезвычайно занимательный.

Все утихло и сели по местам. Но Ашенбреннер, который увидел еще, вероятно, из большой залы, что Хаджи-  
20 Хамамджи что-то ораторствовал и все его слушали, обратился ко всему обществу и сказал приветливо:

— Я, кажется, прервал очень оживленную беседу; я прошу продолжать. Синьор Хаджи-Хамамджи, вы рассказывали что-то.

Хаджи-Хамамджи поклонился и отвечал:

— Это была речь о высшей политике, к которой я имею особое призвание, и если позволите, господин консул, я буду продолжать начатое.

— Очень рад, очень рад! — воскликнул австрийский  
30 консул с жаром.

Все с удивлением ждали и спрашивали себя, как это Хаджи-Хамамджи будет продолжать подобную речь при Ашенбреннере.

Оратор, однако, встал и, приняв свою любимую позу, продолжал так:

— У великой Империи османов есть два великих соседа: Австрия и Россия. Османлисы — народ чисто госу-

дарственный, народ военный. Они сначала доказали глупину своего политического смысла. Есть предание, что султан Магомет II, завоеватель, вскоре после взятия им нашей древней столицы стоял в прекрасном киоске с неким старым шейхом, и они вместе любовались на магическое зрелище Босфора. «Государь! — воскликнул наконец в умилении шейх, — Государь, если бы столькие народы, подвластные теперь твоему жезлу и твоей деснице, стали все правоверными мусульманами!» Тогда Магомет II взял его за руку, обратился лицом к роскошному цветнику, который был виден из киоска, и сказал ему: «Разве не красивее и не величественнее вид этого сада теперь, когда цветы и растения в нем так разнородны? Пусть роза лучше всех цветов, но цветник был бы хуже, если б он состоял из одних только роз». Так изрек этот страшный и мудрый завоеватель. Османлисы были политически правы, рассуждая так: «Оставим этих неверных, этих несчастных людей торговать и пахать землю; мы же будем воевать, будем править, будем брать подати!»

(Говоря это, Хаджи-Хамамджи делал опять жесты руками. «Воевать» — грозный взмах рукой; «править» — доверительный взгляд в обе стороны и горизонтальное движение руки, режущей голову; «будем брать подати» — хватая пальцами что-то в воздухе, он значительно и не спеша набивал себе карманы.)

Все понемногу начинали смеяться и прерывали речь его хохотом.

— Il est ravissant! — воскликнул Ашенбреннер. — Продолжайте, продолжайте, итак, Россия и Австрия...

Хаджи-Хамамджи продолжал:

— Я сказал Австрия и Россия, а не Россия и Австрия, ибо Австрия ближе к Турции во многих отношениях; местность, род населения и многие другие дела... и другие дела.

Улыбки на этот раз были сдержаннее.

— Чисто государственный военный характер османлисов имеет, однако, свои худые стороны. Эти свойства их,

не смягченные ничем другим, слишком едки и остры. Они действуют на окружающую среду слишком разъедающим образом. Подвластные им народы были слишком угнетены. И мы все должны быть благодарны Австрии и России за те войны и за те дружеские ходатайства, которыми эти державы способствовали смягчению государственного ига османлисов. Но тут явилось неожиданное обстоятельство, Империи османов стало грозить разрушение... Великие соседи имеют право позаботиться о наследстве халифов; имеют право спросить себя: что будет? Обе державы вынуждены бросить взгляд на зеленые всходы, которые видны уже из-под расшатанного здания. Я понимаю, что они должны, может быть, даже поддержать это здание, чтобы быстрое его разрушение не повредило их собственному жилищу; но, поддерживая его, они из собственных выгод, как державы христианские и соседние, должны не терять той свежей зелени, тех всходов, о которых я говорил. Это наблюдение не есть вражда, не есть интрига; это есть законная мера предосторожности.

Ашенбреннер просил заключения.

— Заключение мое вот какое, — сказал Хаджи-Хамамджи, наливая себе из графина. — Заключение мое то, что великие христианские соседи Турции имеют право больше всех других держав Европы вмешиваться в дела мусульманского соседа. Я скажу даже более, — из всех других держав Запада только Австрия и Россия имеют право вмешиваться в дела Турции, стараясь смягчать своим миротворным влиянием те слишком разъедающие свойства, которые обнаруживает мусульманская государственность, предоставленная лишь самой себе. Обе державы эти должны стараться дополнить своим влиянием лишь то, чего недостает туркам, — они должны способствовать развитию и росту того племени в Турции, которое более всех способно к умственному труду, к торговле и мореплаванию, промышленности и философии, к словесности и к изящным искусствам, возвышающим дух наш и украшающим нашу жизнь. Мне не нужно, я полагаю, после этого

перечисления объяснять более, про какое племя я говорю. Подвиги эллинов и творения их издревле сами говорят за себя. Zito!

И он выпил сразу весь стакан.

Тогда и все архонты встали с шумом и все закричали:

— Zito! Zito Россия! Zito Австрия! Zito Эллада! Ура, господин Благов! Да здравствует господин Ашенбреннер! Zito господин Киркориди! Zito, Zito!

— Музыку! — воскликнул господин Благов.

Музыка заиграла героическую песнь, стаканы звенели, <sup>10</sup> архонты продолжали кричать: Zito, Zito! Консула стоя благодарили и кланялись.

Господин Благов, увидав меня, подал мне полстакана вина и сказал:

— И ты пей, и ты кричи Zito!

И я пил, и я кричал Zito.

## XVII

После речи Хаджи-Хамамджи и всех этих тостов вечер еще более оживился. Кольйо и кавассы разносили вино, кофе и сладости; огни все сияли; музыка все играла; печи <sup>20</sup> все топились, и чугун их раскалялся все краснее.

Танцовщицы танцевали то по очереди, выходя одна за другою, то все разом. Под звон музыки, все более и более громкой, под унылое пение цыган и под их радостные, дикие возгласы, к которым присоединялись часто восторженные голоса архонтов, выходили одна за другой: Эисме, Ферземин и Зельха. То *наша* нарядная царевна кружилась долго на месте, бряцая своими тарелочками и поднимая высоко руки в шолковых перчатках; то из-за нее являлась, прыгая, белая и стройная Ферземин, также <sup>30</sup> простирая руки с звонками и также кружась; и она снова удалялась, обойдя Зельху, и на место ее выходила Эисме, широко и мягко ступая; и она звонила, и она кружилась, и она выгибалась назад, гордо сверкая узкими черными

очами. А сынок ее, в феске и широкой одежде, кружился между ними, как маленький дервиш-мевлевî, так искусно, что ни разу ни в чем не ошибся и не помешал ни одной из них. И едва только обращалась к нам спиной суровая Эисме, опять с другой стороны, закинув голову назад и на сторону, прыгала Ферземин, и опять Зельха восхитительно гнулась вся назад пред нами, как нежная ветвь молодого растения... И снова кружился мальчик в зеленой ряске. И цыгане, сами одушевляясь их пляской, вскрикивали пронзительно, и все громче и громче была старуха в тамбурин...

Я сидел в большом кресле как упоенный и ни о чем уже не думал. Мне казалось, что я был не на земле! Я слышал звон и песни, видел танцовщиц и не видел их... Я слышал старших: «Браво, Зельха! браво! Zito Ферземин! Эисме, однако, пляшет лучше их всех... Хорошо! *аферим*,\* дитя мое, *аферим*! Еще, еще! Браво!..» Но кто кричал — я уже не разбирал и видеть не мог. Г. Благов, проходя мимо меня, спросил: «Ну что, Одиссей?» И, не дождавшись моего ответа, пошел дальше; я вскочил и потом, опустившись опять в кресло мое, предался снова созерцательному, тихому восторгу.

Наконец меня вывел из этого полусна Исаакидес. Он коснулся рукой плеча моего и, подавая мне газету, шепнул: — Прочти после, Одиссей, здесь идет речь о тебе. — Обо мне? — спросил я с изумлением. — Да, о тебе! — отвечал Исаакидес, улыбаясь. — Это из Афин; секретно. Поди, прочти. Но прошу тебя, милый сын мой, напиши еще раз отцу на Дунай, чтоб он возвращался скорее. Ты видишь, какой господин Благов деятельный; он разом наше дело с Шериф-беем покончит.

Я взял газету, ушел поспешно в мою комнату и стал читать. Корреспонденция из Эпира была обозначена крестиком. Вот что в ней было:

---

\* *Аферим* — хвалю, прекрасно! — по-турецки.

«Христианство решительно подавлено в Турции. У нас в Эпире христиан — пария, которому запрещено иметь человеческие права. Все народы просвещенной Европы живут в XIX веке; только злополучные греки продолжают влачить свое плачевное существование среди мрака Средних веков! Увы! Гатти-гамаюны и гатти-шерифы — слова, лишенные смысла! Пусть не говорят нам об ужасах, совершаемых друзьями-мусульманами в Дамаске, Горане и других местностях Сирии! Здесь в нашей несчастной стране не сразу хотят истребить христиан; здесь турки стараются 10 постепенно довести их до отчаяния и гибели. Это еще вернее, потому что менее привлекает внимание общественного мнения Европы; кабинеты великих держав, не видя пред собою потоков крови, остаются равнодушными и не спешат смыть позорное пятно варварского владычества с европейской карты».

Далее описывалась кратко, но со всевозможными преувеличениями, история Назли и мои приключения... Упомянуто было опять и о казни «невинного юноши» (и опять не сказано было, что его звали Саид, что он турок, а не 20 грек). Про меня было написано так:

«Благородный этот юноша, по имени Одиссей Полихрониадес, отчизной не будет забыт! Все проливали слезы при виде отроческой красоты его, изувеченной зверскими побоями извергов. Яниоты толпами окружали его страдальческий одр. Жизнь его долго была в крайней опасности. Его почтенная мать, может быть, навсегда разрушила свое здоровье, видя его на одре. Мужественный юноша, однако, оставался верен идее, одушевлявшей его. Он сказал друзьям, окружавшим его: „Я счастлив, досточтимые 30 господа мои, что пострадал так жестоко за веру и родину!“ Наконец усилия почтенных врачей восстановили его здоровье, и эпироты могут поздравить себя, что у них одним благородным патриотом больше. Да здравствует молодой Одиссей Полихрониадес, и да хранит Бог благородного юношу для блага христианского Востока!»

Я положил газету на стол. Этот тон, эти слова для меня были столь неожиданны, столь высоки, что я, подавленный ими, не ощущал в первую минуту даже и радости, я стал вдруг задумчив и, вздохнув глубоко, еще раз с уважением перечел корреспонденцию.

«Однако, — воскликнул я мысленно наконец, — однако это что-то уж слишком! Боже, за что Ты вознес мой рог так высоко перед лицом всех людей?»

И я в третий раз посмотрел на свое имя. Чисто, ясно:  
10 Одиссей Полихрониадес. Это я! и где ж? На каких скрижалях неизгладимо иссечены эти дорогие мне звуки? На столбцах периодического издания, в котором тут же рядом, рядом со мной, безбрадым отроком, красуются монархи, полководцы, писатели великие и политические мужи нашего века! Да, повыше я читаю: «Тогда именуемый Яни Акостан-Дудаки лодочник сказал матросу Маттео: „Я разобью тебе, осел, морду“. На что матрос Маттео отвечал ему: „А я кишки тебе вырву и тогда...”»

Нет, это глупо. Выше:

20 «Наши министры точно маскарадные шуты...»

Нет, ниже:

«Хлопок, привозимый из Америки...»

Нет! Вот пошли короли:

«Его величество король Виктор-Эммануил возвратился в Турин».

Вот Гарибальди, вот Император Наполеон в трех местах, волнение в Навплии, вот сам султан! И рядом со всеми ними ты, мой Одиссей, увенчанный лаврами патриотизма.

30 Да! А говорят еще, что Исаакидес человек скверный и глупый; а он вот что сделал. Нет, я вижу, что эти люди судили поверхностно, что он замечательный политический писатель и надежный друг. И, размышляя так, я решил, что завтра же pošлю эту газету к матери в Загоры, и вышел опять в гостиную.

Танцы прекратились, и Зельха обходила гостей с тамбурином, собирая деньги. Она хорошо уже знала порядок

и правила политических приличий. Прежде всего она подошла не к хозяину, а к представителю другой великой державы — Ашенбреннеру; чуть улыбаясь и глядя на него немного как будто свысока, она тихо опустилась к нему на колени и обвила рукой ему шею. Ашенбреннер с любезностью поспешил положить ей серебряный меджидие. Зельха поблагодарила его движением руки и, встав с его колен, почти перепрыгнула в объятия Киркориدي. Греческий консул, отстраняя ее, ласково сказал ей: «Не сиди у меня долго, дитя мое; у меня неловко: ты видишь, как я толст. Иди себе дальше». И он положил ей тоже меджидие. 10

Благов махнул ей тихонько рукой, чтоб она проходила мимо его. Я заметил, что Ашенбреннер сказал тогда, обращаясь к Киркориди: «Мсье Благов лицемернее и искуснее нас; он бережет все лучшее для свиданий с глазу на глаз».

Греческий консул лукаво подмигнул в сторону Благова и подтвердил слова Ашенбреннера греческою пословицей: «Известно, что волк тумана ищет». 20

— Вы ошибаетесь, господа, — возразил Благов как будто весело, но я видел, что ему было стыдно и он желал переменить разговор; он подозревал меня и тихонько приказал мне сходить и справиться у людей, есть ли все что нужно к ужину? Чтобы денег не жалели и чтобы было всего много. Я сбегал, узнал, что все в порядке и все хорошо; доложил об этом на ухо консулу и, на случай новых поручений, оперся сзади его на высокую резную спинку кресла. Разговор о маленькой *цингистре* продолжался. 30

— Верно одно, что она хорошеет, белеет и полнеет, — говорил Ашенбреннер. — Летом она была ребенок вроде этого сына Эисме, который кружится и пляшет только потому, что так велит мать. А у этой девушки уже теперь заметны и в танцах томление и нега, которых прежде у ней не было. Румянец ее теперь стал очень нежен и хорош.

— У нее на щеках краска, — сказал Киркориди.



— О! едва ли, — возразил Ашенбреннер.

— Есть краска, есть, — закричала из угла Ферземин.

— Чтò ты врешь, собака! — возразила ей мать Зельхи. — Нет у нее краски! Нет!

Ашенбреннер решился сделать испытание; он позвал Зельху, которая в эту минуту собиралась уже сесть на колени Бакеева, взял ее за руку, спросил ее платок и начал тереть ей щеки. Она не сопротивлялась и самодовольно подставляла ему лицо. На платке не было ничего, и Зель-  
10 ха, сделав австрийскому консулу небольшую гримасу, спросила:

— Чтò, есть? Чтò, нашел?

Ашенбреннер тогда встав поклонился ей низко и сказал:

— Виноват.

Эта крайняя вежливость консула была так неожиданна, что Зельха от нее смутилась гораздо больше, чем от подозрений его в неестественном цвете лица; она вдруг, покраснев, вспрыгнула ему опять на колени и, обнимая его обеими руками, воскликнула:

20 — Ничего, паша мой! Ничего, эффенди! В этом нет вреда мне, — и поцеловала его в щеку так весело и искренно, что все громко и весело засмеялись.

— Какой демон эта девчонка! — воскликнул с восторгом Куско-бей.

— *Аферим*, дочь моя, благодарю тебя, — сказал австриец, сам от души смеясь этой милой ее выходке, и положил ей еще большую монету.

Г. Бакеев был очень занят какою-то беседой с Бакыр-Алмазом, и, когда Зельха подошла к нему, он с досадой  
30 отстранил ее и, бросив ей на тамбурин деньги, сказал:

— Иди дальше.

Старый Бакыр-Алмаз, напротив того, посадил ее к себе на колени, все продолжая разговор с Бакеевым, потом дал ей денег и, потрепав рукой отечески по спине, сказал:

— Экая курточка знаменитая; на возвратном пути опять заходи ко мне.

Вроссо, Мессо, Исаакидес, — все по очереди удостоились принять ее на свои колени; но Исаакидес и Мессо ничего не говорили и только улыбались игриво и противно; Вроссо же при этом заметил не без остроумия:

— Не след бы отцу семейства обниматься с тобою, моя прекрасная, но таков обычай древний, и г. Благов советует чтить обычаи.

Что касается до Несториди, то он, насупив строго брови и давая ей деньги, сказал:

— Я за то тебе заплачу, чтобы ты только не подходила ко мне. 10

Она отошла и смотрела, к кому еще идти.

Когда пришла очередь Хаджи-Хамамджи принимать приветствия молодой баядерки, он и за это дело взялся по-своему, очень прилично и умно; выдвинулся на край дивана, выставил одно колено вперед, посадил ее осторожно на самый кончик, подальше от себя, и, глядя на нее томно и серьезно, повел с ней основательную беседу на турецком языке; после каждого ее ответа он клал ей по монете, всякий раз прибавляя ценность. 20

— Садись, моя дочь, милости просим. Скажи, сколько тебе лет? (и положил один пиастр).

Зельха, с неудовольствием взглянув на этот пиастр, сказала:

— Шестнадцать, — и хотела уйти, но Хаджи-Хамамджи вежливо придержал ее, не спеша и не сводя с нее взоров, вынул пять пиастров и спросил:

— Очень хорошо. А отец у тебя есть?

— Нет, отца нет, — отвечала Зельха смягчаясь.

— А *валиде* есть? 30

— *Валиде*? — с удивлением спросила Зельха. И, обращаясь к матери, которая все еще сидела в углу, закричала ей громко: — Смотри! Что это он говорит *валиде*, что такое *валиде*?

Хаджи-Хамамджи объяснил ей, что *валиде* значит то же, что и *нене* (мать), и положил десять пиастров.

Зельха припрыгнула радостно и воскликнула:

— А! *Нене!* Вот моя *нене*, видишь этого старого человека, который там сидит.

Старуха тоже радовалась из своего угла на красоту и успехи дочери.

— А где ты родилась, дочь моя?

— *Нене*, где я родилась? — вскричала Зельха.

— Она родилась в Трикале, — сказала мать.

— А, в Трикале! Прекрасное место, — сказал Хамамджи, — земля там очень хорошая.

10 — Какой курьезный человек! *Аджайб Адам!* — восклицала Зельха, продолжая прискакивать от удовольствия. — Ну спроси у меня еще что-нибудь; я тебе все скажу.

— Все скажешь? — спросил Хаджи-Хамамджи. — Прекрасно. А жених у тебя есть?

— Ба! жениха нет у меня. (И она подставила ему опять тамбурин.)

20 — Не дам теперь тебе ничего, пока ты не скажешь мне, кого ты любишь. Какого молодца? Какого джигита?

— Тебя люблю, — сказала Зельха.

— Меня? нет, это ложь, и я не дам тебе за это ни пиастра. А ты, прекрасная девушка, скажи мне прямо, что ты имеешь в душе. Я тебе за это золотую лиру дам. Скажи, кто больше всех тебе здесь нравится? Но я хочу поверить, я хочу, чтоб это было похоже на правду.

Зельха с недоумением обвела взором все собрание; взглянула и на Благова (я все еще стоял за высокою спинкой его кресла и не видал его лица).

30 Все с улыбками, с нетерпением, почти с беспокойством следили за ней... Следил и я. Наконец Зельха обратилась к матери и еще раз пожала плечами.

— Что я скажу?

— Скажи, скажи! Вреда тут нет. Кто здесь прекраснее всех, кого ты больше любишь? — ободряла ее мать.

Зельха еще подумала, еще посмотрела, то на Благова, то на других, и вдруг с ребяческой радостью, соскочив с

колен фракийского купца, стала посреди комнаты и громко воскликнула, указывая на меня пальцем:

— Его люблю! Его! Одиссей всех лучше, Одиссей!..

Приемная задрожала от хохота, от рукоплесканий, от криков:

— Браво, Зельха! *Аферим!* Браво!.. Вот здравый выбор!.. Да! «два нежных цветочка юности...» Молодец, Одиссей!.. — кричал Коэвино.

Я как только мог быстрее спустился на пол за спинку консульского кресла, чтобы скрыть там мое смущение. 10  
Г. Благов, нагнувшись, поднял и вывел меня, смеясь надо мной, оттуда.

— Он герой дня теперь, — заметил про меня Вроссо.

— Вы счастливы на мусульманок, — сказал мне благосклонно австрийский консул.

— Не избалуйте, не испортите его так рано! — сказал чей-то голос из толпы. И я узнал, конечно, голос моего загорского наставника Несториди.

Я стоял, сложив смиренно руки спереди и лицемерно опуская очи, но... тщеславие уже вселилось в меня... И я 20  
сам не знал, какого рода было мое смущение. Смущение истинной стыдливости или волнения радости, что я играю такую важную роль и в таком высоком для меня кругу...

Однако вскоре все оставили меня в покое. Музыкантов отпустили надолго отдохнуть вниз, и шум утих.

Гости разошлись по разным комнатам. Благов увел в кабинет Ашенбреннера и что-то шептал там ему. Киркори- 30  
ди беседовал солидно с несколькими архонтами о коммерческих делах.

Коэвино, который так долго крепился и так долго молчал в этот вечер, желая сохранить больше достоинства и величия пред архонтами, наконец изменил себе. Увидав, что Ашенбреннер ушел из приемной и что даже мусульман нет более в комнате, он окружил себя несколькими слушателями и говорил с восторгом об одном своем новом открытии.

— Меня теснил до сих пор узкий патриотизм Эллады... Но теперь и я понял, что и я патриот; патриот великий, иступленный... Моя родина, мой очаг теперь — православие. Вот мощный, необъятный патриотизм! Ты протестант? Прочь! ты не будешь со мной в раю вместе! Ты турок, папист?.. Прочь!.. А ты серб? О! иди сюда, брат мой! Ты будешь со мной вместе в раю... Ты русский? — Будешь! Ты валах? — Ты будешь!.. Иди сюда, о возлюбленный мой!..

10 Слушатели вторили ему дружелюбно.

Г. Бакеев долго ходил по зале с Хаджи-Хамамджи под руку; он с увлечением жаловался ему на Бреши и спрашивал: «Скажите, что ж мне было делать?»

Хаджи-Хамамджи почтительно и внимательно слушал его, подставляя ухо, и соглашался, что делать было нечего.

Потом, когда г. Бакеев оставил фракийского купца, к этому последнему подошли Исаакидес, Вроссо, Несториди и Арванитаки, подошел и я послушать. (Смотреть уже было не на что: она ушла вниз.)

20 Несториди спросил вполголоса:

— Что ж, господин Хамамджи, как вам понравился амфитрион наш?

— *Уральский русский?* — спросил Исаакидес, напоминая вчерашнюю беседу.

— О, нет! — отвечал Дели-Петро значительно и тихо. — О, нет... велико-русский, велико-русский...

— А тот, Бакеев? — шепнул ему почти на ухо Вроссо.

Дели-Петро еще тише и бросая поочередно на всех нас свой любимый многозначительно-томный взор, повторил

30 несколько раз:

— Малый русский, малый русский... Я нахожу, что малый русский.

Конечно, всем стало очень смешно это слышать, и все мы чувствовали, что в этой остроте большая правда.

Так время шло до ужина...

Меня кавассы и Кольйо позвали помогать в столовую, и я с радостью тоже носил посуду и накрывал стол. Все

было хорошо, но Бостанджи-Оглу опять и тут смутил меня. Он таинственно отозвал меня в сторону и шепнул мне:

— Не видал ты, бедный, как у консула изменилось лицо, когда эта пропащая девчонка на тебя, а не на него указала, что ты лучше всех!..

— Поди ты, — сказал я ему с досадой. — Господин Благов даже не удостоивает заниматься такими пустяками. У тебя все злое на уме! А у него звание высокое, и он, может быть, стыдился при народе, чтоб она в угоду ему на него не указала... Она еще дитя!

— Дитя! — возразил он с гнусною, циническою усмешкой. — Весь батальон низамов, я думаю, знаком с ней... Я человек тертый и знаю все дела... А ты еще дурак...

Я рассердился и сам выбрал как умел хуже этого во всем противного мне человека, удалился от него к моим добрым кавассам и слугам — помогать им в хозяйстве.

Хозяйничая, однако, в столовой, я несколько времени был озабочен вопросом, кому больше верить: ему, Бостанджи-Оглу, или Кольйо, который говорит, что все это ложь, а что *нет ничего*...

И я решил, что надо верить Кольйо, потому что он добрый и честный и все про консула лучше знает и еще... потому... вероятно, что мне самому было приятнее *так* верить.

За ужином все было хорошо: и кривой повар постарался, и всего было в обилии, и гости все были очень веселы. Даже молчаливые и тихие люди говорили и шутили на этом дружеском пиру. Враги примирились, и серьезные речи прерывались смехом, а смех сменялся радостными возгласами и заздравными кликами.

Козевино сидел рядом с Куско-беем и громко хохотал, потому что Куско-бей шептал ему что-то забавное... Доктор радовался и восклицал: «А! bravo! А! я давно говорил, что ты умеешь веселиться, что ты именно то, что у

нас называется *чурис*!\* Настоящий янинский *чурис*!.. Браво!..»

Смиранный Арванитаки, и тот с оживлением простирали руки к Бакыр-Алмазу, который сидел напротив его, и восклицал: «Не следует вам так пристыжать нас, пьющих, и пить так мало... Я донесу на вас сейчас господину Благову...»

Наконец Несториди (вероятно, сознав невежливость своего утреннего намека о «ложных друзьях» и желая загладить ее) встал, поднял стакан и сказал так:

— Господин Благов! Позвольте мне, человеку нездешнему, но который еще несколько месяцев тому назад в Загорах успел оценить высокие качества вашего ума и вашей души, поздравить именитых иоаннинских граждан, собравшихся здесь, на сем дружеском пиру, с счастливым возвращением вашим. Мужественная душа эллина умеет помнить добро, господин Благов, и наша Иоаннина всегда с умилением будет вспоминать о том, как вы в сопровождении здесь присутствующих коллег ваших, благородных представителей Австрии и Эллады, взяли на себя труд перейти непрочный лед здешнего озера, на который ничья непривычная нога не дерзала стать, чтоб отнести убогую пищу и топливо бедным жителям острова. Будьте уверены и вы, благородный амфитрион наш, и вы, достойно уважаемые представители просвещенных и христианских держав, что жители Иоаннины не нуждаются в мраморе и резце, дабы иссекать на вечную память имена своих благодетелей: имена эти начертаны неизгладимо в наших признательных сердцах!.. Zito! Да здравствуют представители европейских просвещенных держав, удостоившие нас чести пировать с нами здесь... Zito!!!

Когда гром стульев, звон стаканов и крики умолкли и консула, которые долго кланялись, стоя и чокаясь со всеми, опять сели, встал сам Благов и предложил сперва

---

\* *Чурис* — именно городской янинский молодец, повеса простого звания.

тост за здоровье своих коллег, а потом за всех архонтов Янины и за всех эпиротов.

Принимались пить не раз за здоровье то одного, то другого лица. Один кричал: «Здоровье г. Ашенбреннера!» Другой: «Г. Киркорида, я пью за ваше здоровье!» Г. Благов провозглашал: «За здоровье нашего друга и целителя Коэвино!» Zito Хаджи-Хамамджи... Дели-Петро, наш друг из Фракии, Zito!

Опять гремели стулья, опять звенели стаканы...

Хаджи-Хамамджи вставал и начинал говорить несколько 10  
ко раз понемногу. Один раз он воскликнул:

— Пью за здоровье господина Благова и всех великих русских!

Потом:

— За здоровье господина Бакеева и малых русских!

Благов не воздержался от улыбки, а Бакеев смутился.

В последний раз Дели-Петро говорил несколько прост-  
раннее. Он опять возвратился к любимому предмету свое-  
му, к тому, какие бывают на свете разные народы, разные  
люди и в особенности *разные русские*... 20

Эту речь его беспрестанно все прерывали рукоплеска-  
ниями и восторженным смехом.

Так как никто из присутствовавших здесь, кроме Несторида, Исаакидеса и меня, не слышал еще ничего об этом, то он и начал так:

— Есть еще и другое разделение; например, есть русские с рубашкой внутри и есть другие русские с рубашкой наружу. Русские с рубашкой наружу имеют привычку...

Тут он расстегнул немного рубашку на мощной груди своей, выразил на лице своем нечто серьезное и задумчи- 30  
вое и начал не спеша класть себе туда, приговаривая каждый раз: «Во имя Отца и Сына»... кусок хлеба со стола, апельсин, вынул из кармана записную книжку и ее туда же... Потом, поспешно оглянувшись в обе стороны, схватил вдруг две серебряные ложки и опустил их туда.

Рукоплескания огласили столовую; слуги и кавассы да-  
же не могли служить и смеялись. Маленький Алеко по-



ставил тарелку на пол и, забыв все почтение к властям, смеялся громко, глядя на фракийского политика.

Хаджи-Хамамджи продолжал:

— Однако русские с рубашкой наружу имеют великое качество. Это — дар дисциплины и покорности и уважения к властям. Однажды одно из лиц Царской фамилии поехало в сопровождении нескольких генералов и высших офицеров на катере по Финскому заливу; катер опрокинулся, и все стали тонуть. Приехали поспешно другие лодки на помощь,<sup>10</sup> и начали люди доставать тонувших из воды... Вынут за волосы (Хаджи-Хамамджи схватывал что-то рукою в воздухе и подносил к глазам так, как смотрит человек на волосы, когда они, падая, остаются у него между пальцев, которыми он провел по голове). Вынут и смотрят... «Кто это... Князь?» Нет! матрос! (и он молча раскрывал руку, бросая матроса опять в воду); обращался в другую сторону, в ином месте ловил рукой: «Адмирал?» Нет! (и опять бросал, пока не нашел и князя и адмирала)...

Все начинали смеяться, но Хаджи-Хамамджи попросил<sup>20</sup> внимания и присовокупил: «Эти свойства и составляют главную силу России... Сила России необходима не только нам всем здесь на Востоке, она необходима и самой Западной Европе, в которой так много элементов раздора. Да здравствует русский с рубашкой наружу!»

Ашенбреннер восхищался фракийским оратором и спросил у г. Благова: «Где вы его нашли?» Г. Благов отвечал: «Он меня нашел, а не я его!»

Наконец встали из-за стола и ушли в гостиную пить кофе.

<sup>30</sup> Г. Бакеев еще раз доказывал Хаджи-Хамамджи, что он напрасно называл его *малым русским*, что он почти москвич, и старался объяснить ему, что такое хохлы.

Хаджи-Хамамджи извинялся и отвечал ему убедительно, что он, выпив за здоровье г. Благова и всех великорусских, не знал, куда деть малороссов, и так как он слышал, что их числом меньше, то и нашел приличным отдать их секретарю, так сказать, второму лицу после консула.

Г. Бакеев все-таки казался недоволен этим, и так они ушли.

Я, хотя немного, но пил вино и был очень сыт, и весьма рад, и всеми доволен. Пошел я в свою приятную комнатку; зажег свечу, распустил немного кушак, лег на диван и достал опять газету, в которой мое смиренное имя стояло рядом с именами стольких знаменитых людей.

Я прочитал снова корреспонденцию Исаакидеса; и, не смотря на то, что в ней было для меня столько лестного, я, читая ее во второй раз, стал понимать, что есть тут ложь... будто бы мы, христиане, здесь ни кушать, ни спать, ни веселиться... ни ходить по улице не можем. А дерутся? Где же не дерутся?.. Когда и в свободной Элладе лодочник убил даже матроса! И яснее вдруг чем вчера поутру мне стали слова Благова: *«не в страданиях христиан вопрос, потому что вовсе уж не так велики они, а в их желаниях»*.

«И в Турции, думал я, разве худо живет человек, когда он счастлив, как я теперь», и так я задумался над этим, что и не заметил, как на боковой двери поднялась занавеска и вошла Зельха.

Она подкралась к моему дивану, кинулась ко мне и села с громким смехом около меня. В первый раз сегодня увидал я, что она так весела и так часто смеется. Исповедуюсь и признаюсь тебе, мой друг, я только *теперь* понимаю... до чего я *тогда* ей сам обрадовался!

Я поспешил подвинуться и дать ей больше места и спросил ее ласково, устала ли она.

— Устала, — ответила она улыбаясь и потом молча стала глядеть на меня.

Мы поговорили о разных предметах, совсем посторонних. Наконец я взял ее за руку и спросил, сняла ли она перчатки... «Сняла», — отвечала она. Потом приблизила мою руку к лицу своему и бесцеремонно понюхала ее и сказала: «Твои руки хороши, толще моих, только они ничем не пахнут, а мои пахнут духами левантинскими».

— Ты любишь консулос-бея? — спросил я ее.

— Очень люблю, — ответила она. — Он мне сегодня еще четыре золотых дал.

— Люди говорят, у него есть любовь к тебе, Зельха... такая, знаешь... большая...

— Кто знает! — сказала она уже более серьезно и положила себе в рот мастику и начала жевать ее.

— А ты любишь его? — еще спросил я ее.

— Еще раз спрашиваешь, — сказала она с досадой. — Люблю, он много мне дарит, он как отец мне.

<sup>10</sup> Тогда я убедился, что с ней надо говорить яснее, и спросил у нее о том же яснее и грубее и прибавил:

— Правда ли это?

— Ба! — воскликнула она... — Нет, это неправда.

Я молчал, глядел, и сердце мое все сильнее и сильнее билось, мне было страшно; только я все-таки не выпускал ее руки из моей. Забыв теперь и Благова, и все вопросы высшей политики, и советы родителей, и отца Арсения, и мою собственную славу, прогремевшую благодаря Исаакидесу по всей Элладе и по Турции, я теперь думал только о том, когда приятнее держать мне эту неверную, агарянскую маленькую руку, тогда ли, когда я слышу под пальцами моими нежный скрип шолку, или тогда, когда эта рука безо всего?

<sup>20</sup> Наконец она спросила меня: «Хочешь этой мастики?» Я сказал: «Хочу».

Она нагнулась...

Прощай, прощай, моя невинность, моя чистота! Прощай навеки, стыдливость целомудрия! Я обнял ее, и мы стали с ней целоваться.

<sup>30</sup> В больших комнатах вдали опять заиграла музыка, опять начали петь цыгане. Тогда нам стало еще приятнее. Она брала меня руками за лицо, и поднимала вверх мой отроческий подбородок, и целовала его, и целовала шею, и говорила,

— А я тебя, *кузум*, очи мои, где ни поцелую, везде мне нравится.

Это становилось нестерпимо! Страшная стрелка все глубже проникала в мою душу, взволнованную и расте-

рянную среди стольких сильных для меня ощущений в эти дни.

Я хотел бы ответить ей что-нибудь благоразумное, но благоразумного не нашлось у меня ничего; и я сказал только на это, вздыхая:

— И я тебя сегодня очень полюбил, моя душенька.

Вдруг приподнялся занавес на дверях, и вошел Благов.

Мы оба молча и тихо поднялись с дивана. Но у меня дрожали ноги, и я не видал от страха и стыда, что выразило лицо грозного моего покровителя. 10

Я слышал только голос его, как всегда спокойный, как всегда тихо-повелительный и скорей ласковый на этот раз, чем гневный.

— Зельха! — сказал он ей. — Иди скорее, тебя все ждут. Танцуй еще раз.

А мне он ничего не сказал. О! лучше бы он скорее сказал мне что-нибудь укоряющее... Он пропустил ее в дверь прежде себя. Занавес запахнулся за ними, и я остался один, мгновенно отрезвленный раскаянием и страхом.

Я не вышел более никуда из моей комнаты. 20

Я сидел и твердил себе: «Боже! Что сделал я, окаянный! Маменька моя милая, пожалей меня глупого, одинокого на чужбине!.. Если он соперник мне, как говорит Бостанджи-Оглу, он возненавидит и прогонит меня. Если это неправда, если он ни в чем не повинен, он, может быть, тоже прогонит меня завтра как развращенного юношу из жилища своего и скажет отцу моему всю правду!»

Долго сидел я так, сокрушаясь, один. Я слышал, как в зале толпой, уходя, прощались гости; узнавал голоса, слышал ее беззаботный, бесстрашный, неразумный смех. Слышал, как Благов приказывал, чтобы музыканты играя провожали гостей чрез весь двор до ворот по обычаю Востока. 30

Музыка удалялась, утихала, утихла вовсе вдали. Я же сидел и все сокрушался.

Консул потом приказывал что-то в зале кавассам; потом прошел Кольйо по зале из спальни Благова тихо в

своей мягкой обуви. Только доски скрипели. И я содрогался и от этого скрипа, и от легкого стука консульских каблучков.

Стукнули еще две-три двери в доме. Наконец все затихло. А я все еще сидел и говорил себе: «Маменька моя, маменька! Что-то он скажет мне завтра? Чтò заговорит он поутру?»

Камень Сизифа низринулся в один миг с недостигаемой вершины и в падении своем он разрушил мгновенно все <sup>10</sup> здание богатства, славы, наслаждения, которое я успел уже мысленно воздвигнуть в эти два незабвенные дня моей жизни, и сам я лежал теперь во прахе и ужасе под этими позорными обломками, под этими презренными остатками моих малодушных мечтаний и страстей. Я поздно уснул, забыв раздеться, и Богу в эту ночь от чрезмерного уныния не в силах был молиться.

## IV

### КАМЕНЬ СИЗИФА

#### I

«Скажи мне, наконец, Одиссей мой, что ж случилось с тяжелым камнем Сизифа, который низвергся так внезапно с той вершины, где ты думал утвердить твое детское счастье?» Так пишешь ты мне, мой добрый друг, в последнем твоём письме из Афин. Ты повторяешь: «Я жду!» и советуешь мне забыть те опасения, на которые я указывал в моих тебе ответах. «Не тревожься (говоришь ты), не стыдись пи-<sup>10</sup> сать мне о внутренних бурях твоего детского самолюбия и томительных радостях твоих весенних дней, о давно протекавших годах мира и забвения на милой твоей родине.

Все возрастающая день ото дня трагическая мощь того исполинского потока истории, в кровавые волны которого мы все (все до одного) жители христианского Востока влечемся неудержимо теперь и с энтузиазмом, и с ужасом; эта трагическая мощь великих событий дня не заставит меня, Одиссей мой, забыть нашу дружбу; и трубный при-<sup>20</sup> зыв увенчанной лаврами Клио не заглушит вполне в моем сердце ни милых мне жалоб твоего отроческого уныния, ни любовных песен забавной турчанки твоей, ни звуков твоего благочестивого псалмопения в православных церквях прекрасного Эпира. Будь покоен! Пиши, пиши все так же искренно, как ты писал до сих пор, и, если мне самому придет очередь стать в ряды бойцов за свободу Греции и всего Христианства, я прочту со вниманием и с улыбкой

радости твои правдивые строки даже при свете бивуачных огней и накануне опасного боя.

И почему ты думаешь, Одиссей, что в повести твоей так мало связи с событиями дня? Ты ошибаешься, и страх твоей скромности, могу тебя уверить, напрасен, мой друг! Напротив того, для внимательного ума очень многое в изображаемом тобою мирном прошлом объясняет грозный взрыв настоящего. Читая твои записки, я вижу всю Турцию, а не один только Эпир, я вижу, до какого унижения и расстройства была доведена она на деле теми же самыми европейскими друзьями ее, которые так ее защищали в речах и дипломатических актах своих; я вижу, как своевольно господствовали в ней агенты иностранных держав, ревниво охранявшие ее от самых умеренных притязаний России. Эти державы, на которые и мы, мы, афиняне... увы! так долго и так напрасно надеялись. Я вижу и понимаю многое из записок твоих, будь покоен. Я вспоминаю и те слова твои, которые ты сказал мне всего четыре года тому назад, когда мы с тобой сидели задумчиво на Халкидонском берегу и восхищались сияющими дивною красой мирными и богатыми берегами синего Босфора, и многоцветными, и зелеными.

Ты, Одиссей, сказал мне тогда: „Что́ значит ваш тонкий и образованный афинский ум?.. Ум вреден иногда. У событий свой ум. И глупые люди иногда видят дело в грубости своей вернее слишком тонких людей. Не верь ты Англии, даже и она ничего не может. Не верь ни в союз с мусульманством, ни в возрождение Турции. Сам я туркам не только не враг, нет, я с ними живу хорошо, имею от них выгоды; я свыкся с ними, и очень многие черты их характера для меня привлекательны. Но верь мне, Турция скоро погибнет, вопреки и тебе, и мне, и всем друзьям своим, вопреки всем собственным усилиям! Я вижу каждый день, как устаревшая Турция тает мало-помалу и разрушается, несмотря на раздоры христиан друг с другом, несмотря на мир с Россией, несмотря на умеренность и искренность этой самой России, которая, по-видимому, и забыла, что есть на свете страшный для всех Восточный вопрос”.

Да, Одиссей, я помню эти речи твои и только теперь я понял, до какой степени ты был тогда прав и как я ошибался... Прошу тебя, продолжай... И в малой капле воды изображается сияние дневного светила; и в незначительных, по-видимому, событиях, правдиво изображаемых тобою, только глупец не сумеет прочесть залогов грядущего, полного ужасов и славы, восторгов и слез, самоотвержения и зверских неистовств, огня и потоков крови, и неповинной ни в чем, и преступной, — только легкомысленный глупец не прочтет залогов того грядущего, которое стало теперь настоящим и о котором столькие простые люди тогда пророчески нам прорицали... 10

О, рассказывай, рассказывай мне дальше твою историю, Одиссей...»

Вот, я выписываю все эти слова твои из письма твоего и повторяю мои собственные речи на Халкидонском берегу в этой тетради, для того чтобы ты еще раз вспомнил о них и чтобы ты никогда от них не отрекся и, читая их внимательно, «при бивуачном огне», как ты пишешь, — сказал бы себе твердо и раз навсегда: «Одиссей и тогда еще, 20 пятнадцать лет тому назад, в своей детской православной преданности России и русским был ближе к истине, чем я с моими воздушными замками, воздвигнутыми на досуге в Афинах, у подножия Акрополя нашего и при виде красот его невозвратной славы!»

Да, мой добрый друг, камень Сизифа, как мне казалось, упал и разбился вдребезги и в прах в тот горький вечер, когда я, сидя на диване моей комнатки в русском консульстве, прислушивался к тяжелым шагам гостей, уходящих толпой по большой зале, и к звукам музыки, ко- 30 торая провожала их по двору до ворот... Я слышал (ты помнишь) ее беззаботный и громкий смех... Я думал:

«Увы тебе! увы, Одиссей несчастный!.. О, женолюбец презренный, недостойный великого и геройского имени, которое дали тебе твои дорогие родители... О! глупый, презренный мальчишка, забывший, что женою и грех впервые проник в человечество, забывший и мудрые речи



древних людей... Не утверждал ли кто-то из них, что из многих женщин только одна добродетельна и подобна трудолюбной пчелке, смиренно жужжащей вокруг семейного улья, а что из всех остальных одна похожа на сварливую лающую псицу, другая на заносчивую лошадь, третья на лстивую и свирепую кошку...

Променять мощного благодетеля! променять кого же? представителя православной России на ничтожную и, может быть, развращенную девчонку, на нечто такое, что мы<sup>10</sup> зовем „Палеокóрицо! Дьяволокóрицо”.\*

Все кончено!

А как хорошо бы было, торгуя, богатеть под сенью русской протекции!.. Как прекрасно было бы и самому с благоразумною постепенностью стать прежде помощником отца и писцом Великой Державы, как Бостанджи-Оглу; потом, заменив усталого отца, самому сделаться драгоманом... и наконец... вице-консулом (кто знает). Да! подобно другим обыкновенным грекам или славянам торгового сословия в Турции, поднять русский флаг над большим и<sup>20</sup> собственным своим домом в каком-нибудь приятном приморском городке...

Как это все разумно и прекрасно!.. И как хороши эти милые золотые орлики на красной эмали Св. Станислава! С каким вкусом золотые решеточки... Но... Нет... Св. Анны я никогда уж не получу... Я и большою медалью золотой на столь пышной пурпуровой ленте, которую дают русские у нас на Востоке почтенным торговцам, людям, помогающим их деятельности, я и этим знаком отличия был бы польщен вполне...

<sup>30</sup> И вот... О, горе мне, горе мне...»

Представилось фантазии моей в эту минуту одно обстоятельство из того времени, когда я еще жил в Загорах, у матери, и учился у Несториди.

Однажды приехал в то время к родным своим из Константинополя один богатый загорец. На груди его мирно

---

\* Дрянная девчонка; дьявольская девчонка.

сияли рядом Св. Станислав и Меджидие. Я никогда не видал этого и с глубоким чувством и жадным любопытством спросил у Несториди:

— Господин учитель! Как же это так, что Россия и Турция столь часто враждуют, а он христианин, и у него и русский крест, и турецкий *нишан* есть?.. Разве это можно?

— Отчего же нельзя? Видишь — значит можно.

Я поинтересовался узнать, как же именно можно достигнуть такого странного сочетания.

10

Несториди отвечал мне так:

— Можно даже к этим нишанам и эллинского Спасителя на голубой ленте привесить. Я научу тебя, как. Надо делать сперва с турками какие-нибудь выгодные обороты, поставки, например, на войско, и пашам хорошие взятки давать. Вот — Меджидие. Потом русским доносить на турок, что они берут взятки и что с ними жить невозможно. Это — Станислав. А из того, что заработаешь и от турок, и чрез русскую протекцию, пожертвовать на эллинское восстание или на большую школу для борьбы против панславизма. Вот — Спаситель...

20

Учитель сначала говорил серьезно; но под конец речи он не мог уже удержаться от улыбки.

Отец мой сказал тогда, качая слегка головой:

— Что ты говоришь ребенку!

А мать моя засмеялась громко и весело воскликнула:

— Учитель всегда говорит хорошо!.. Правда это!.. Зачем человеку не быть искусным в этой жизни?

И я после этого долго дивился мудрости людей, подобных этому загорцу с Меджидие и Станиславом, и думал: «Отчего это учитель смеялся словам своим и зачем отец качал ему головой с укором? Если паша добрый, отчего же не почтить его приятными дарами; если паша злой, то чем же, как не дарами, умиловить изверга? А русским доносить на турок — это наш долг; а просвещению эллинскому и освобождению способствовать — тоже обязанность... О разум, разум!.. сияющая искра божественная,

30

отличающая словесную тварь, человека, от бессловесных!.. Какие плоды ты можешь принести нам, когда мы управляемся тобою, а не страстями нашими!..»

Да! с помощью разума я построил бы новый дом в Загорах, большой и высокий, и каменный. Корабли бы мои плыли и плыли по морям, и в Марсель, и в Одессу, и в Италию, и в Бейрут... И с пшеницей, и с шолком, и с лимонами, и с шерстью, и с табаком турецким, и тюмбекі персидским...

<sup>10</sup> Но!.. Она, она... колдуньи дочь... (так пела мне вчера пророческая песня), она заколдовала «мои корабли», и они не поплывут теперь никуда!

Вот завтра поутру консул позовет меня и воскликнет:

— Одиссей! Твой отец мне друг, и я готов был полюбить тебя как меньшего брата, но ты не достоин. Не я ли удостоил сам своею рукой наказать официально на улице твоих оскорбителей-турок? Не ты ли наслаждался брашен в доме моем?.. Иди с глаз моих, развращенный и лукавый мальчик! Не оскверняй больше жилища моего ты, которого <sup>20</sup> поведение так несообразно ни с нежным возрастом твоим, ни с правилами христианской нравственности. Я все передам твоему досточтимому родителю и другу моему...

Так сказал бы у нас почти всякий честный глава дома и каждый добродетельный архонт...

Но если он сам?.. Если она любима им... О! Я не ревную... Она мне отвратительна теперь... Но если?.. Тогда он так не скажет... Тогда еще хуже... Он все-таки удалит меня... Чтò ж делать мне?.. Куда мне скрыться от стыда и вопросов, от улыбок слуг и насмешек товарищей?..

<sup>30</sup> Боже! Боже! прости мне и помоги мне, несчастному!..

И еще: если он не станет даже и говорить так много и так трогательно, а скажет мне, как сказал жалкому Пондикопеци слегка, но так значительно подступая к нему: «С Богом!» Куда я пойду?

Или он и не скажет даже «с Богом», а побледнеет так страшно, как побледнел тогда, поднимая трость на сеиса, и воскликнет громовым голосом: «Вон! негодяй!..»

И из-за чего? Из-за чего? И зачем было это?.. Стыд, глупость, грех, позор бессмысленный!..

Так я уснул наконец, утомленный и веселым вечером, и горем ночным, на обломках и прахе Сизифова камня...

Но камень этот низринулся с крутой высоты лишь в одном воображении моем!.. Он лежал спокойно, не у вершины (ибо мы все в жизни Сизифы, и у кого есть та неподвижная вершина, которой можно достичь, катя этот тяжкий камень жизни? Не у всех он падает внезапно вниз; но или сама вершина, влекущая нас, отодвигается<sup>10</sup> по мере приближения нашего и зовет нас снова к себе, или камень, откатываясь хоть и немного назад при каждом усилии нашем, никогда не может достичь до того райского жилища радости и покоя, где розы растут без шипов)... И мой камень не упал и не разбился, и не у мечтательной вершины этой лежал, а лежал он лишь там же, где был и вчера, до поцелуя на диване; он был все у того же русского порога, от которого никто отгонять меня и не грозился.

Открыл я мои очи, смеженные сном, взглянул я на<sup>20</sup> окно, озаренное солнцем, прочел я «Пáтер имóн»,\* оделся и поспешил в школу все еще смущенный и задумчивый, но готовый мужественно трудиться и не прилагать нового зла ко злу, уже совершенному, не прилагать уныния и лени к легкомыслию и разврату...

В училище я был старателен, благодаря моей настойчивой способности к учебному подвигу, но невольно и страдальчески рассеян; я забыл, кто был Калликратид и в чем он был так благодороден, и как он погиб. И потом так глупо и неправильно написал слово «Эвния», что вместо «бла-<sup>30</sup>госклонность» вышло «постель»...

— Не выспался еще после вчерашнего бала. Ищешь не благосклонности, а постели... — сказал учитель, не гневно, ибо он уважал мое прилежание и способности, а лишь с тонкою улыбкой...

---

\* Отче наш.

Но товарищи засмеялись громко, и мне было это очень неприятно.

Случайное совпадение в смысле этих слов «ищешь не благосклонности, а постели...» даже ужаснуло меня своею неожиданностью. Я увидел в этом такой со стороны учителя ясный намек на мои обстоятельства и на минуту потерялся до того, что вся кровь мне бросилась в голову и слезы готовы были политься из глаз моих.

Но добрый мой наставник, заметив мое смущение, обратился строго к товарищам и заставил их молчать, восклицая:

— Утихните! Что вы смеетесь над Одиссеем, который лучше всех вас. Он один раз только ошибся, а вы? Садись, садись, Одиссей! Прекрасно! Прекрасно, дитя мое.

Я и тут чуть-чуть было еще сильнее не заплакал, теперь уж от умиления и признательности.

Насилу дождался я окончания классов и побежал в консульство, чтоб узнать скорей, скорей мой приговор.

Пришел... Ах! Как тут все хорошо! Как все пестро! Как пахнет духами и свежим деревом новой постройки! И как красива хрустальная плоская ваза с фруктами, которая уже давно готова посреди стола на белой скатерти с узорами, отливающими в нечто еще более белое. Ах... ах...

Вот и Алеко. Как он мне улыбается. Вот добрые и почтенные кавассы наши (наши, наши!.. не насмешка ли это теперь?) Вот мой черноглазый, круглолицый и румяный друг Кольйо. Вот рыцарь мой с копьем на зеленой шпоре... Прощай, моя комнатка...

Вот раздались эти страшные, эти легкие и твердые, эти столь знакомые, резкие шаги... Дверь отворилась...

— Здравствуй, Одиссей...

Руки не подал, и мы сели кушать...

Прошел еще день, прошло еще два дня... Все то же...

Восход солнца и молитва, рыцарь с копьем, Алеко и Кольйо, училище и труд упорный... потом завтрак...

«Здравствуй, Одиссей!»

Потом — обед и вечер, ночь...

Иногда «прощай, Одиссей!»

Иногда и того нет.

Ни руки, ни выговора, ни гнева, ни улыбки, ни приветствия...

О! тайна, мучительная тайна... Кто мне разгадает тебя, прекрасный и убийственный сфинкс великой Московии!?

К кому пойти? кому открыться?..

Что замыслил он? Или было темно у дивана, и он ничего не видал... Нет! Это невозможно, свеча горела близко, и было так светло, что я видел, как выпадали из-под фески ее небольшие... самые маленькие пряди волос... Ах, зачем, зачем эти волосики были так пагубны и милы...<sup>10</sup>

Мог ли он не видеть, как она сидела, если я видел эти проклятые кисточки Велиара! Видно — он решил ждать до поры до времени... Видно, мне рано или поздно, но придется возвратиться в первобытное состояние моего ничтожества!..

Жалкий, беспомощный *райя*, Одиссей — и только!.. Опять тебя могут турки оскорбить безнаказанно, избить, даже убить, как хотели они убить отца моего на Дунае...<sup>20</sup>

О Суццо, Александр Суццо мой, о «необузданный» певец свободы, которого так высоко ценил даже сам Несториди, не ты ли в поэме твоей, Александр, так воскликнул:

Столько слез должно и крови, и страданий, и побед  
Цепью рабства завершиться!

Лучше всего было бы открыть сердце свое отцу Арсению... Я и хотел это сделать, но вот что случилось.<sup>30</sup>

На второй из этих четырех дней тихого и скучного томления я забежал к нему с намерением все рассказать, но старец охладил меня тем, что с первого слова спросил с проникающею строгостью взгляда:

— Ну, что, как ты живешь в великом свете теперь? Иродиада все волнуется, все пляшет, все головы твоей требует?..

Я ответил почтительно, но сухо, и не решился ни о чем ему говорить... Если он так подозрительно смотрит за то только, что Иродиада пляшет, то что же он скажет, когда я сознаюсь ему, что я лобзал Иродиаду лобзанием преступной любви...

Потупив очи, как подобает у нас смиренному отроку пред старцем, я отвечал ему на все его вопросы о политических делах, о здоровье консула, об отце моем; но о горе и грехе своем не сказал ничего...

10 Встретил я также в тот же самый день и попа Косту в консульской зале. Он шел озабоченный, и хотя внизу ему сказали, что Благов заперся, занят и не велел никого принимать, но он не унывал и непременно хотел его видеть...

Он попросил меня доложить консулу; я отказался, и он, топнув ногой и скрипнув зубами, решился подождать в зале, чтоб улучшить минуту, когда можно будет сказать Благову два слова.

20 Он стал у окна и, заложив по обычаю своему руки в карманы подрясника, вздыхая от нетерпения, смотрел куда-то...

И я смотрел долго, но не на вид из окна, а на самого попа Косту, размышляя, что «ведь и он иерей, и хотя святой Янинский и отнял у него приход за вмешательство в неподобающие дела, но все-таки рукоположения он не лишен и многоопытен в жизни...»

Я подошел к нему тихо и сказал ему робко:

— Отче, я имею нечто очень важное вам сообщить.

30 Поп Коста, с изумлением и досадой обратясь ко мне, сказал:

— Важное дело? говори... Только говори скорее.

— Я хотел вам сказать, отче, что я родителями всегда был содержим в удалении...

Поп Коста слегка еще раз притопнул ногой, и очи его помрачились:

— Без многословия! — заметил он строго.

— Отче, я согрешил, и теперь...

Поп Коста, почти с презрением окинув меня взором, перебил меня быстро:

— Согрешил? Ну что же? Согрешил — умолкни!

Я в ужасе отступил от него,

— Да это Бог Каину сказал: «Согрешил — умолкни!»

— Бог Каину, а я тебе говорю. Не тумань, брè, несчастный ты, головы моей... Имею дело! Стой (и он довольно ласково взял меня за одежду на груди моей и продолжал так) — я уйду, а ты скажи консулу вот так: Был поп Коста; ждать не мог и велел мне передать вам,<sup>10</sup> что правительство турецкое хочет заменить подать *вергí* новою податью *темету́* и что народ недоволен. Темету будут взимать по оценке всего имущества и дохода. Богатые люди уже свои дела охлопотали, и наши диаволо-архонты (тут он радостно улыбнулся тому, что христиане в Турции такие умные!) верно что-нибудь... Кто их знает (опять улыбка и знак пальцами, что деньги, взятки дают чиновникам-туркам...) И беи, конечно... А бедным труднее темету, чем верги. И тут всего труднее простой тур-<sup>20</sup> карье,\* потому они, знаешь ты сам, нуждаются. И это очень хорошо. Объясни, что именно турки-то бедные и простые и хотят протестовать и противиться, а христиане и жида с ними заодно... Слышал, морé? Ну, прощай... будь здоров.

Я печально обещал передать. Поп ушел; и как только я услышал, что Благов отпер свою дверь, то я тотчас же поспешил к нему, полагая, что, может быть, наедине наконец он мне скажет что-нибудь и разрешит мои мучительные сомнения, хотя бы и убийственным ударом, но разрешит их.<sup>30</sup>

Я вошел и, выслушав еще раз все то же хладное: «Здравствуй!», начал, как древний верный вестник, слово в слово: «Был поп Коста и сказал, что...»

Благов, качаясь в креслах, слушал меня с величайшим вниманием, и когда я кончил, он сказал:

---

\* Туречина.



— Хорошо. Как ты сказал? темету? Запиши вот на этой бумажке латинскими буквами. Записал?

— Записал.

— Хорошо. Иди.

Ну, не ад ли это?

Наконец мне уж на третий день пришла мысль обратиться к Кольйо.

Мне показалось тогда, что он лучше всех людей постигнет мои чувства и даст мне совет добрый, ибо он Благова<sup>10</sup> знает уже около года, и путешествовал вместе с ним, и в Константинополе был, и... даже в эту минуту я вспомнил одно обстоятельство, на которое прежде не обратил большого внимания. Кавасс Маноли еще прежде, глумясь над стыдливостью Кольйо, советовал мне при нем же приподнять ему широкий рукав его албанской рубашки и поглядеть, «что у него есть на руке».

Я схватил тогда Кольйо за рукав, но он, краснея, сердито вырвался у меня и ушел, хлопнув дверью, а Маноли, смеясь, уже без него прибавил: «Эротические дела! Не<sup>20</sup> смотри на него, что он смиренный. Он *манга*!..»\*

Вот почему я подумал, что Кольйо может более, нежели кто-нибудь, быть мне полезен, может понять мои чувства и объяснить мне, как мне должно объяснять себе хладное молчание нашего господина и благодетеля.

Я стал искать Кольйо по всему дому и долго не находил его; наконец мне сказали люди, смеясь, что Кольйо очень огорчен и сидит в саду один на камешке у стены...

Что такое еще случилось?

## II

<sup>30</sup> Кольйо в самом деле сидел за стеной дома в саду, на камне, в уединенном месте. Он плакал тихо и утирал слезы

---

\* *Манга* — должно быть, арнаутское слово, употребляемое часто в Эпире: бедовый, ловкий, хитрый молодец...

тем самым широким албанским рукавом своим, который скрывал его эротическую тайну...

Увидав это, я понял, что теперь не время мне говорить ему о моих секретах и совещаться с ним; я сел около него на другой камень и ласково спросил: «что случилось?..»

Он долго не смотрел на меня и долго не хотел отвечать, а потом сказал:

— Спроси у людей, они все смеются теперь надо мной!..

Я отвечал ему, что я ничего не знаю.

10

— Об лампе... — сказал он наконец.

Случилось вот что. Милый и честный Кольйо был очень недогадлив и вместе с тем очень хотел быть тонким человеком; от этого он беспрестанно делал ошибки; к тому же он был и неловок; довольно стройный, хотя и широкоплечий, он как-то умел быть еще шире, чем казался, цеплялся беспрестанно за двери, шумел, стучал, ронял; пламенно стараясь услужить Благову и обожая его, он забывал его привычки, не ставил ему туфли на ночь, не туда клал сигары куда нужно. Усердствовал не в меру; бил вещи иногда и ценные и, разбив, останавливался пред консулом печально, а консул говорил ему спокойно:

20

— Старайся не бить!

И Кольйо уходил, еще больше испуганный и почти недовольный, пожимая плечами, почему это Благов не бранит и даже не бьет его за дело, когда следует бить и бранить... Когда бы хуже не было!..

Почти то же, что думал я в эти дни, думал и Кольйо всегда в подобных же случаях. Насчет лампы вот как было. Г. Благов привез из Константинополя дорогую и большую новую европейскую лампу, окрашенную зеленоватым цветом древней бронзы. Кольйо, желая угодить и показать, что он русский хлеб недаром ест, взял ее вниз и целое утро чистил и скоблил ее всячески до того, что она наконец стала жолтенькая и заблестала, как простая новая медь. Он ее поставил на стол и ушел. Вдруг звонок. Благов стоит пред

30

лампой; около него два гостя-архонты, Бостанджи-Оглу и кавасс Анастасий...

— Кто это сделал, Кольйо? — спрашивает консул.

Кольйо говорит весело, что он вычистил.

— Хорошо! — говорит консул. — Прекрасно! Чисто!..

И тогда все начинают громко смеяться... Кольйо сначала смеется сам, озираясь на всех и еще не понимая в чем дело... Но один из архонтов отечески говорит ему:

10 — Не надо делать того, Николае, чего ты не знаешь... Эта краска, посредством особого тонкого способа, нарочно для красоты наводится... Надо простить его безграмотности и варварству, господин консул...

А Благов говорит с улыбкой:

— Я не сержусь... Мне нравится это... Точно самовар русский!..

И все опять засмеялись.

И сошел вниз Кольйо, все ему кричат, и Бостанджи-Оглу, и повар, и Маноли:

20 — Кольйо! Где самовар? Кольйо! Самовар ты видел, Кольйо?..

И, рассказывая мне это, Кольйо мало-помалу одушевлялся, печальное лицо его стало выражать энергическое отчаяние, и он наконец воскликнул, вставая и ударяя себя в грудь...

— Нет, Одиссей, нет!.. Я должен погибнуть... Я дурак! Я несчастный человек. У всякого человека, Одиссей, самолюбие есть... Я не могу этого вынести... не могу... Я утоплюсь... Я уйду в разбойники! И пусть я погибну...

30 Пусть я погибну! Несчастный я!..

— Постой, Кольйо, — сказал я ему. — Ведь одна эта лампа что такое?.. Вот если бы грех, если бы глас совести твоей...

Кольйо с досадой отвернулся.

— Что ты говоришь мне, Одиссей мой, глас совести... Оставь это, слушай... Нет, ты слушай, Одиссей мой, что я тебе скажу.

И он опять сел и с глубоким чувством начал рассказывать мне, что с ним случалось еще прежде, сколько он делал разных глупостей и ошибок в консульстве и «какое у этого человека» (то есть у Благова) терпение. Важнее же всего было то, что во время путешествия их по Эпиру и Македонии Кольйо потерял в кофейне однажды девять золотых лир, которые поручил ему Благов на мелкие дорожные расходы. Он изображал мне свой ужас, свое отчаяние, свой стыд, свою мучительную боязнь, что Благов сочтет его за наглого вора и тотчас же прогонит его... 10

Тут уж и я искренно ужаснулся, услышав это, и воскликнул:

— Ну, что же он? Что же?

— Ничего, — отвечал Кольйо. — Что я тебе скажу? Совсем ничего... Я стал пред ним и, простирая руки к небу, сказал ему со слезами: «Прошу вас, эффенди, именем Бога прошу вас, не думайте, что я их украл или истратил... Лучше просто прогоните меня как безумного». А он так смотрит (и Кольйо открыл как можно больше глаза)... так смотрит и говорит мне очень любезно и кротко: «Нет, 20 я тебе верю, Кольйо! Успокойся!»

Кольйо, одушевившись, не умолкал, и я не находил долго возможности передать ему то, что меня тревожило. Он рассказал мне после этого еще много разного о том, как, не желая, чтобы турки-жандармы прежде его подсказали держать повод и стремя Благову, когда он останавливается и сходит с коня, попробовал подскочить сам и полетел вниз головой с седла; а Благов сказал ему: «Нет, уж пусть лучше турки!» Потом как в посольстве русские дамы призывали его, чтобы посмотреть его одежду, и трогали ее, 30 и как ему было это стыдно... И как он не знал куда ему деть руки; а один старик сказал по-русски: «Добрая, предобрая рожа!» И эти слова перевел ему доктор-болгарин по-гречески и подтвердил их сам и, наконец, как г. Благов хотел отпустить его только за то одно, что раза два фустанелла его была грязна и руки не совсем чисты; он не стал и расговаривать с ним много, а положил жалованье

ему на стол и спросил: «Отчего ты, Кольйо, не оделся почище, когда я это люблю? Скажи правду». «Тягощусь переодеваться», — сказал ему Кольйо по совести. «Значит, ты не можешь больше служить мне; вот твои деньги».

— Так сказал Благов. И никогда еще я не видал у него в лице такой злости, — прибавил Кольйо.

Насчет этой злости Кольйо имел свое тонкое соображение. Он приложил плутовски палец к виску и сказал:

10 — Полагаю, что это при других в столице он хотел быть еще строже насчет чистоты... Так я думаю...

— Чтò ж ты сделал тогда? — спросил я.

— Я постоял немного за дверью, подумал и, возвратившись, сделал ему земной поклон и сказал: «Простите! Я буду вперед гораздо чище». А он: «Не надо быть глупым», и больше ничего.

Все эти рассказы Кольйо были неутешительны для меня. Они не только не объясняли мне ничего, напротив того, они еще больше туманили мою мысль...

20 Не прогнать простого мальчишку за потерю девяти золотых... Поверить ему на слово! И удалить его беспощадно за то только, что рук не вымыл и фустанеллу поленился переменить... Как понять такого человека? Как угодить ему?.. Ни я, ни Кольйо не понимали. И как нам было понять? Привычки и понятия наши были совсем иные. У нас, на Востоке, есть свои определенные общие обычаи, придерживаясь которых, самый неопытный человек может не делать грубых ошибок; у русских образованного общества нет обычаев; у них всякий имеет свои обычаи. У нас, например, в субботу надо вымыть пол в

30 доме, и если придут гости, это ничего, надо только воскликнуть: «Ах, извините; вы застали нас вверх дном (áно-кáто)»... Иначе как «ано-като» кто скажет? А Благов «ано-като» никому не говорил, не извинялся, запрещал по субботам мыть у себя каждую неделю полы и говорил, что «это грязная чистота». У нас, когда слуга кофе или варенье подает, он должен иметь вид кроткий и как бы жалобный и, потупя очи, отступить, подав, и

даже еще лучше, если он руку к сердцу приложит. А поднос всякий раз водой всполоснуть, и если он будет мокрый, то это не беда, — значит, он чист, если свежая вода с него течет. Отступить назад и руку прикладывать — это Благов любил, и когда Кольйо, побывав на Босфоре, думал, что надо это оставить, Благов, который как будто бы ничего вокруг себя не замечал, а все видел, тотчас же сказал ему: «Кольйо! Нет, ты руку прикладывай к сердцу так — это мне нравится...» А поднос мокрый подавать не приказывал. Юноши, например, у нас, <sup>10</sup> слуга ли, как Кольйо, или купеческий сын, подобный мне, — все равно, — юноша должен быть прежде всего экономен и деньги крепко, крепко, и свои, и отцовские, и хозяйские, в руке держать... Один вот юноша-болгарин тонул в Дунае, а деньги в руке... Так и вынули его... Это человек будет! А не то что девять лир золотых потерять в кофейне... За это изувечить мальчишку стоит. И можно ли верить ему?.. А платье?.. На что это платье? Слуга или служанка чем грязнее, тем лучше... Бегай вниз, <sup>20</sup> вверх... стучи, кричи, работай... Есть ли время наряжаться и чиститься хорошему человеку?.. И купеческий сын точно также... Его бранит отец за щегольство и опрятность... И скорее горцу, воину по духу, может нравиться разодетый молодец-сын, чем городскому купцу. «Ты человек труда! Не развращайся...» А Благов только за одно пятно на юбке хотел удалить Кольйо... О поцелуях моих молчит и ученость мою зовет риторством... Разве ритор — дурное слово?.. Демосфен и Цицерон были ритори... Это обязанность просвещения... Как же мы с <sup>30</sup> Кольйо угодим ему?.. Ни я, ни Кольйо не могли этого постичь... Но у Кольйо была совесть чиста, и он плакал о лампе только из самолюбия, обижаясь, что весь город будет это знать и назовут его яниоты человеком «диким и необразованным», а я находил себя преступным.

Мы посидели несколько времени молча и в раздумьи... Потом походили по саду тоже молча. Я вздыхал, и он вздыхал...

Наконец я остановился и сказал, обращаясь к нему дружески:

— Послушай, мой милый Кольйо! Послушай, чтобы мне всегда радоваться на твои глазки... Не бойся и не обижайся... что я тебе скажу...

— Говори...

— Послушай, не было ли у тебя чего-нибудь такого с девушками или женщинами? Просвети, вразуми меня... что мне делать?.. Я каюсь тебе и сознаюсь в моем несчастии; мне эта пропадшая туркуда очень понравилась в тот вечер, когда были гости... Скажи мне, не было ли чего-нибудь такого и с тобой?.. И если ты уклонился от зла, то открой, как без греха сохраниться и мне. И с тобой, может быть, что-нибудь было, и ты тоже красив лицом. Ты красивее меня.

И я не льстил ему. Я в самом деле находил тогда, что он красивее меня. У меня, как ты знаешь, продолговатое лицо и нос классический. А у Кольйо лицо было круглое и очень румяное, выражением доброе и тихое, а иногда и веселое. Персидский поэт Саади восхитился бы его наружностью, ибо он говорит про одного юношу: «лицо его было подобно полной луне в ту минуту, когда она восходит». Если бы [не] небольшие усики, которые начинали уже украшать его губу и были еще похожи больше на брови, чем на усы, если бы (припоминая все того же Саади) не «пух айвы» на подбородке и щеках его, то он очень был бы похож на широкоплечую, полную, краснолицую и скромную, честную девушку, для шутки одевшуюся в мужскую фустанеллу. Лучшее же всего была хорошая душа его, которая светилась так привлекательно из его очей и улыбки.

Я держал его за его прекрасную руку и просил исповедать мне для поучения что-нибудь из прошедшей его жизни, так как он был годами тремя постарше меня.

Боже! как стыдливо и простодушно и испуганно смотрел на меня этот незабвенный мой юноша-горец...

Высвободив руку свою, он отвечал мне кротко:

— Не спрашивай этого, Одиссей...

Я начал умолять его и сказал ему так:

— Не оскорбляй меня! Я не предатель... Покажи мне, мой друг, что у тебя на руке... Я только об этом прошу тебя об одном...

Кольйо посмотрел на меня внимательно, как бы желая убедиться, доверять ли ему мне, или нет, и спросил серьезно:

— Ты смеяться после надо мной не будешь?

Я с жаром поклялся ему, что не буду.

10

Тогда Кольйо, подняв широкий рукав, обнажил до плеча свою сильную руку, и я увидал на смуглой коже ее синюю елочку, или палочку, от которой шли в стороны веточки. Это изображало непоколебимый кипарис; а внизу была тоже синяя меланхолическая подпись:

Ах! Вах!

День и ночь гуляю,

Все тебя не забываю!!.

— Видел? — спросил Кольйо, опуская рукав и крас- 20  
нея.

— Видел, — отвечал я, тоже отвращая взоры мои, чтобы не стеснять его.

А Кольйо прибавил с глубоким, глубоким вздохом:

— Что делать! Всякий человек находит в этих вещах свое удовольствие.

Я стал просить его рассказать, что значит это воспоминание, рассказать мне для нравственной пользы моей, но Кольйо решительно отказался.

— Нет, Одиссей! нет! Не проси меня! Этого я сделать 30  
не могу!

И он почти с исступлением прижал руку к груди и, подняв глаза свои к небу, воскликнул:

— Вот тебе Бог мой! это невозможно... И ты оставь меня теперь...

С этими словами он поспешно удалился; а я, погоревав еще, пошел медленно наверх, думая: что-то будет!..



Но за обедом все внезапно и легко разрешилось само собой.

Г. Бакеев собирался уезжать в Арту и Превезу. Ему после истории с Бреше оставаться в городе было тяжело, и Благов сам, понимая это, дал ему поручение хлопотать там о вознесении колокола на колокольню, *первого* христианского колокола в эфирском городе... Консул обещал ему прислать за ним нарочного гонца, если Бреше получит предписание извиниться.

<sup>10</sup> Но чрез этот отъезд уменьшилось количество рук в канцелярии, и Благова это тревожило.

Разговаривая об этом за обедом, он как-то пристально вглядывался несколько времени в меня и потом, обратясь к Бостанджи-Оглу, спросил его, сколько будет листов в статистике, которую приготовил еще в Загорах отец мой. Бостанджи-Оглу сказал, что очень много.

Тогда они разочли всё вместе, и консул сказал:

— С завтрашнего дня ты, Бостанджи, начни переводить это по-французски; каждый день подавай мне по-  
<sup>20</sup> правлять поутру; а вечером Одиссей будет переписывать перевод на хорошей депешной бумаге начисто... и будет опять мне же на просмотр приносить на следующий день. Так мы все будем заняты и всё скоро кончим.

Потом он спросил у меня, не будет ли этот труд мешать моим школьным занятиям? Я сказал, что не помешает ни-сколько, если число листов в день не будет слишком велико.

Тогда консул спросил:

— Будет ли Одиссею этой работы недели на две?

<sup>30</sup> — Будет на месяц, — сказал Бостанджи-Оглу.

— И прекрасно! — сказал Благов. — Если хочешь, я тебе сегодня золотых три за это казенных вперед дам, так как я тебе обещал.

Что мне было сказать на эту высокоблагодарную почтенно-приятную речь благодетеля!..

Я до того был поражен радостью, услышав, что не только этими заботами о переписке устраняется для меня вся-

кая мысль об изгнании из консульства, но напротив того, грозная туча, нависшая на моем горизонте, неожиданно разрешается злато-плодотворным дождем Данаи, — что я не мог уже владеть собой от порыва внезапной радости и, вскочив за обедом со стула, воскликнул:

— Я не нахожу слов, чтобы выразить вам мою живейшую благодарность, сиятельный господин консул мой!..

Все, и Благов, и Бакеев, и Бостанджи-Оглу, и даже Кольйо засмеялись...

Я, смущенный немного этим, но все-таки счастливый, <sup>10</sup>сел опять; а г. Благов с насмешливою улыбкой, оглядывая меня внимательно, заметил:

— Как деньги любит! Так его со стула даже кверху вдруг подняло.

Опять смех, в котором уже и я принял искреннее участие...

Но мой смех был не тот смех, что *у них* у всех; мой смех был трепет и хохот внутреннего праздника души моей...

На вторичном возвращении моем к вечернему обеду из школы, действительно, я нашел на столе моем несколько черновых листов статистики, переведенной Бостанджи-Оглу, и очень разборчивых. Я обрадовался им как некоему *праву гражданства* в русской канцелярии, убрал их и сел к отворенному окну с видом на обнаженные высоты. <sup>20</sup>

День был сухой, зимний день; ясный, веселый и теплый... Слышалось уже приближение ранней весны юга; травка в саду все больше и больше зеленела, и снега недавнего не видно было и следов.

Высоты, которые темнели величаво за городом пред <sup>30</sup>окном моим, были *наши же* загорские высоты. Темною стеной они начинаются тотчас же к востоку за Янинским озером и даже есть почти у самой вершины их на склоне к городу маленькое, очень маленькое загорское селение *Линьядес*. Белые домики его и красноватые черепичные кровли были очень хорошо видны из консульского дома, и я каждое утро, вставая и творя молитву, глядел на них,

вспоминая с чувством, что дальше, дальше, за несколькими такими высотами живут все мои... Живет моя мать дорогая, и бабушка Евгенко Стилова, и Константин, наш работник хороший, живет, и Елена, служанка наша, все те, которых я с детства любил и которых только одних я мог любить безо всякой боязни, без колебаний и раскаяния.

Сегодня, когда душа моя вдруг успокоилась и смягчилась от радости, что все мне прощено, я смотрел на эти высоты еще с бóльшим чувством. Они краснели все более и более от заката, и я думал, что верно и в маленьком этом Линьядесе, которого белые домики так хорошо видны отсюда, теперь блещут стекла в пурпурных лучах заката так, как блистали они в селе Джудила несколько месяцев тому назад, когда, переезжая с отцом в Янину, я в последний раз оглянулся назад. Так я думал, хотя этого я видеть не мог.

Я давал себе еще раз слово быть благоразумным, целомудренным и трудолюбивым и напоминать себе постоянно, что отец мой старается и что у него болят глаза и некому  
будет чрез несколько лет, кроме меня одного, быть опорой семье.

Зельха была очень далека теперь от моих мыслей; мне неприятно было даже вспомнить об ней, как ребенку долго противно вспомнить о сладком кушанье, которым он неосторожно пресытился и тяжело занемог.

В таком созерцании застал меня Кольйо. Он вошел улыбаясь и сказал мне тотчас же, садясь:

— Я, Одиссей, переменил мысли теперь... Такая прекрасная погода. Консула дома нет. Пойдем вместе за город погулять. Там я расскажу о себе кой-что... такое, что ты давеча спрашивал. Я хочу рассказать тебе, как на острове Иакинте \* я видел на руке у одного молодца-грека нарисованную даму в платье и с букетом. И как нарисована! Какая живопись на коже человеческой! Как икона!.. Послушай... Вставай, пойдем...

---

\* Занте.

Каково мне было это слышать? Каково испытание мужеству? Я понимал, что он издали с этого острова Иакин-та подкрадывался к истории своего *голубого кипариса*, которую узнать я просто алкал.

Я понимал к тому же, что теперь за городом должно быть очень приятно... Мне представилась веселая зелень долины и один домик около мощеной дороги направо, и вдали хан, и темная дубовая роща около монастыря Перистерá, которую я очень любил. С Кольйо мне всегда было весело... И воздух в окно прилетал прохладный и душистый...<sup>10</sup>

Но я превозмог себя и, подавляя глубокий вздох, сказал, обращаясь к Кольйо:

— Нет, иди, Кольйо мой бедный, один! а у меня теперь дело спешное есть... Не обидься, что я тебе отказываю! Прости мне...

Кольйо сказал: «Пиши, пиши!» и ушел.

А я тотчас же сел за стол мой и начал чисто и крупно переписывать статистику с величайшим терпением...

И после обеда весь вечер и за полночь я писал и на другое утро отправил г. Благову так много и так хорошо написанного, что он с Кольйо велел передать мне те три золотых и сказать: «Очень хорошо!»<sup>20</sup>

Чего мне было еще более желать? — Глупая любовь моя, казалось мне, утекла совсем вместе со снегом...

Прошел мороз, прошла любовь. Мороз еще вернется хоть на будущий год; неразумие — никогда!..

Прочно лежит мой камень тепень у вершины горы, на которую водружен стол Бостанджи-Оглу, покрытый зеленым сукном. О! гора моя, гора тучная, гора усыренная, над которой парит так всемогущественно двуглавый орел Гиперборейской державы...<sup>30</sup>

Однако?.. Луч сомнения...

Смотри, Одиссей, смотри ты, впрочем!.. Ведь все-таки ты не знаешь — видел ли он что-нибудь тогда на диване, или ничего не видал...

Смотри ты... Берегись, злополучный!

Конечно, чувство мое к «забавной» турчанке было вовсе не глубоко и так противоречило всем правилам и началам, которые я всосал с молоком моей доброй и богобоязненной матери, что я не только не искал поддерживать его игрою фантазии, но скорее стыдился его искренно и всячески рад был подавить его в сердце моем.

Как всякий молодой христианин, выросший в Турции под властью турок, я всякое вмешательство в дела, прямое или косвенное, явное или сокровенное, всякую интригу или демонстрацию считал несравненно важнее сердечных и романтических чувств... О всякой любви, вне законного и освященного Церковью брака, окружавшие меня с детства люди говорили, — кто с презрением и насмешкой, а кто с отвращением и ужасом... «Блудница» и «прелюбодейца» были два имени, которые без оттенков и уступок давались всем тем женщинам, которые изредка, среди строгого и однообразного стиля нашей вековой византийской жизни, разрывали на себе покров стыда и цепи чтимого обычая... О «симпатических и милых» падших женщинах, о мужчинах высокого ума, которые романтическую, нежную и томительную, но преступную страсть считали бы делом философским и высоким, не менее важным, чем сама наука, и гораздо более занимательным, чем политика, — о таких мужчинах едва ли и слышал у нас кто-нибудь (кроме Коэвино, который бредил подобными предметами и был за то посмешищем всего города).

Отец мой о любви почти никогда не говорил, хотя сам и женился по чувству и при условиях особенно поэтических.

У меня остался в памяти рассказ отца моего про одного англичанина, которому жена изменила, потому что влюбилась в другого человека. Когда англичанин убедился наверное в измене жены, он стал каждое утро, уходя от нее, молча класть пред нею на стол небольшую сумму денег, в указание ее непотребства и унижения, и таким средством

средством довел ее до отчаяния и преждевременной смерти.

У отца моего обыкновенно выражение лица было больше спокойное, доброе, немного даже равнодушное, но когда он рассказывал об этой мести оскорбленного супруга, глаза его сверкали и жест его был исполнен выражения: он дышал какою-то радостью гнева и сочувствием мужу.

И мать моя, слушая это, стремительно и страстно восклицала: 10

— Хорошо он сделал! Прекрасно... Так было нужно ей, скверной женщине!..

Мать моя, если и упоминала о таких людях, как Козвино или Гайдуша, или о таких историях, как история доктора с г-жой Арванитаки, то прежде всего она вспоминала о «грехопадении» и о том, как страшны были речи той мертвой головы языческого жреца, которая в пустыне отвечала на вопросы Св. Макария Египетского. «Ниже и глубже нас, неверных и язычников, и больше нас несравненно наказаны на том свете христиане, не по закону жившие». Бабушка Евгенко не говорила ничего об этом. Я не помню. 20

О политике, о высшей ли, о средней, или даже о самых мелких делах гражданских говорили все с уважением, серьезно, с тонкостью, глубиной, с остроумием, с любовью...

И я, дитя своей страны и сын своих обычаев, и я стыдился и боялся той стрелки Эроса, которая так внезапно и вовсе не глубоко проникла в неопытное сердце, и гордился чрезмерно, когда, садясь за стол, брал в руки 30  
«трость книжника-скорписца» и переписывал крупными французскими буквами самую ничтожную бумагу, например, такую:

«Monsieur l'Envoyé!

J'ai l'honneur d'accuser réception de la dépêche que V. E. m'avez fait l'honneur... sub № ...

J'ai l'honneur d'être...»

А если случайно в каком-нибудь подобном извещении был на полях знак «*ci-joint*» или «*ci-près*», (·/·), то я возносился еще более, ибо около года, может быть, все думал, что этот (·/·) знак означает совсем другое, что-нибудь очень секретное и условное, то есть понимайте другое, не то, что я пишу... Например, понимайте так: «Турецкая Империя в Эпире на краю гибели... и прикажите мне только дунуть на это позорное и подгнившее здание  
10 азиатского варварства...»

Но мне и не нужно было искать дел; дела эти, и политические, и тяжёбые, и коммерческие, сами с ранних лет искали меня.

Через несколько дней после моего водворения в консульстве Кольйо привел ко мне в комнату двух христиан из села (своей родины) Чамурья. Они приехали жаловаться на нестерпимые обиды, которые терпят люди в этом округе от мусульманских беев и от продажной слабости  
20 янинских властей, и в случае нужды готовы были даже выселиться из своей страны. Не так давно было совершено там турками ужасное преступление.

На дороге из города Фильятеc к селу Нйвица, несколько дней тому назад, в большой ложбине, у дороги, найдены были три обезображенных христианских трупа.

Один был труп молодого и очень известного в том округе селянина Панайоти Чока. Он лежал с головой, раздробленною пистолетным выстрелом в упор. Видно было по положению трупа, рук и головы, под которою была дорожная торба, что Панайоти убит был сонный на месте.  
30 Шагах в десяти от него лежал старик, его родственник; у этого горло было перерезано ножом, нос и щеки изрублены, и на руках были глубокие раны, одежда его была изорвана. Должно быть, он хотел бежать и защищаться. Третьего спутника, который ездил с ними в город, бедного юношу Косту, долго не могли отыскать. Наконец увидали его труп подальше и пониже под высокою скалою на каменистом месте с переломленною ногой; он был убит двумя

выстрелами в грудь навывлет. Можно было догадываться, что он проснулся от первого выстрела и, увидев, что старика режут, хотел скрыться и спрыгнуть в темноте с высокой скалы, переломил себе ногу, и что убийцы нашли его, может быть, прислушавшись к стонам, которых он удержать не мог.

Свидетелей не было ни одного. Но у всех христиан тотчас же подозрение пало на молодого бея Джеффёр-Дэма, который претендовал на большую часть той земли, где расположено было село Нивица. Подозрение это укрепилось еще больше, когда неподалеку от трупа Косты 10  
нашли серебряные ножны от ножа Джеффер-Дэма.

Что же означало это таинственное злодеяние?.. Джеффер-Дэм был не разбойник, он был гордый дворянин, и на трупах осталось все в целости: деньги, серебряные украшения одежды, даже оружие убитых осталось нетронутым и было разбросано около них на земле.

История эта довольно длинная, но мне необходимо рассказать ее...

Чамурья лежит неподалеку от Адриатического моря, на западе Эпира; есть там места гористые, есть и небольшие леса на горах, но много долин, производящих пшеницу, кукурузу, виноград, и даже на иных теплых склонах разведены рощи олив, которые не растут на высокой и холодной Янинской долине. 20

Беев турецких в тех странах вообще довольно много; в горах Фильяте и Маргарити у них большие дома, пустые, страшные, суровые, на стенах у них нарочно для устрашения нарисованы большие львы и грозные усатые янычары. Есть в Чамурье довольно много христианских сел, чифтлик- 30  
ков, зависимых от этих беев, укрепленных за ними старыми фирманами; но есть и свободные села, кефалохория; жители их живут на своей земле и беям никакими указами ничего платить не обязаны.

Но беспорядки, грабежи и притеснения, которым подвергались издавна христиане подобных отдаленных округов, где не было ни страха консульского, ни даже хоть



сколько-нибудь сильной и разумной местной власти, принуждали иные села платить добровольную подать (положим, хоть бы по двадцати пиастров со двора) самым энергическим и влиятельным из беев Чамурьи, чтобы пользоваться их защитой. Наконец, при возрастании податей и дороговизны, люди утомились этим; правительство султана обещало лучшие порядки, и действительно, там и сям даны были некоторые льготы, заведены были, хотя и непрочные, но все-таки более строгие порядки. Централизация, кото-  
10 рую турецкие чиновники хотели ввести по примеру Франции, имела свою хорошую и свою худую сторону.

Стараясь больше прежнего все уравнивать (по крайней мере с виду), турецкое правительство вредило христианам тем, что уничтожало почти везде их местные особенности, ослабляя самоуправление их общин, но с другой стороны, не надо этого скрывать, оно все-таки старалось ослаблять и феодальную необузданность беев. Оно хотело сохранить за собой одним монополию беспорядков и притеснений. Однако были естественные минуты роздыха, в которые  
20 казалось, что все как будто бы и в самом деле стремится к лучшему устройству.

Вот в одну-то из таких минут, еще в начале прибытия Рауф-паши в Эпир, христиане шестнадцати освобожденных сел на родине нашего Кольйо объявили беям, что больше платить им не будут, так как это было не по указу и не по закону, а лишь временно, по нужде и обычаю. О паше все отзывались как о человеке добром, совершенно чуждом фанатизма и здравомыслящем; и селяне эти надеялись, что он поддержит несомненные, вполне закон-  
30 ные права на освобождение от этого добровольного налога, который был не только для них бременем, но и живым укором и стыдом для правильной власти; — ибо зачем же откупаться от влияния частных лиц или зачем подкупать их годовым окладом, когда есть эта законная власть, и карающая, и заступительная.

Рауф-паша действительно принял вначале их сторону. Беи жаловались в Константинополь, докладывая, что эти

села не свободные, а старые, *обязанные* чифтлики. Диван-эффендиси Ибрагим между тем стал брать деньги, вероятно, и с селян и с беев, и тяжба затянулась на несколько лет... Потом и Рауф-паша, всегда почти поддававшийся влиянию дочери и зятя, перешел почти совсем на сторону беев. Селяне, хотя и не слишком бедные, но все-таки утомились, перессорились между собою, разделились на партии, и некоторые села решились, чтобы кончить это дело, возобновить платеж и пошли к беям с повинною головой.

Были даже люди, которые обвиняли некоторых старшин в том, что их подкупили беи. Трудно, конечно, узнать, правда ли это; предатели есть везде, и некоторым беям, разумеется, могло казаться выгодным дать один раз немногим старшинам и по большой даже сумме, чтобы получать всегда и со всех этих шестнадцати сел определенные доходы. 10

Как бы то ни было, часть христиан согласилась возобновить уплату. Некоторые из греческих законников и опытных людей советовали им поступить так еще потому, что теперь по крайней мере беи не выхлопотали себе еще новых фирманов, и старые злоупотребления не получили юридической санкции; но если продолжать тяжбу, то фирманы могут быть выданы, и тогда уже будет гораздо труднее возобновить дело позднее. Так я помню об этом деле, хотя и не совсем уверен, вполне ли я все в нем понял. 20

Не все села и не все христиане, однако, были с этим решением согласны. Сильнее всех восставал против этого тот самый убитый молодец Пáно из села Нивица. Ему не было еще и тридцати лет, но он приобрел уже между родичами и односельчанами своими большое влияние. Он был не беден, смел, умен, собою виден; Кольйо его знал и говорил про него с восторгом: «Такой молодец! Такой хороший молодец! Свет не видал такого!» 30

Он жил втроем с молодою женой и молодою сестрой-девушкой. «И так, — говорил Кольйо, — у них было весело! Все трое молодые. Работают и смеются. Все смех у них и веселье! А Дёспо (это сестра его), только

все ее видишь, как она бегаёт туда, сюда и босыми ногами стучит, и по горнице, и по лестнице вниз, и по лестнице вверх. Ту-ту-ту-ту! — сюда! ту-ту-ту — туда!.. Хорошее семейство!»

Я очень любил, когда Кольйо рассказывал что-нибудь просто и не подозревая, какой он был прекрасный живописец и как запечатлевались в сердце слушателя его простодушные изображения!..

10 И теперь стоило ему только рассказать мне немного о родине своей, которую я не видал и которая ни на Янину, ни на Загоры не похожа, как я уже вообразил себе все так ясно, и оливки эти седые, и лихого Пано в старой фустанелле с молодецкими усами, и жену его, с грудным ребенком за спиной идущую на работу, и Деспо эту молоденькую, которая красивыми и нежными, хотя и босыми ногами, покрытыми сухой пылью, бежит с сосудом на беззаботной головке... «ту-ту-ту»... как говорил Кольйо, представляя даже руками, как Деспо делает «ту-ту-ту!»

20 И еще чувствительнее тогда было мне представить себе глухую ложбину, в которой лежал бездыханный труп молодца и заступника этого с разнесенным вдребезги черепом, и бравых товарищей его, убитых так жестоко.

Убийство это было совершено почти тотчас же после приезда Благова. Слух об нем очень скоро пронесся и по Янине; селяне, которые пришли свидетельствовать против Джеффер-Дэма, носили с собой серебряные ножны ятагана, затерянные второпях на месте преступления. Множество людей признавали эти ножны и свидетельствовали, что они принадлежат Джефферу. И не только христиане, 30 но даже были и турки, которые прямо указывали на убийцу. Над большим селом Нивицей, в котором было домов, может быть, триста, претендовал господствовать не один этот Джеффер; с ним вместе получал деньги с жителей этого села и другой турок Тахир-бей-Аббас. Он был еще с отцом Джеффера во вражде и теперь во всеуслышание говорил, что Джеффер злодей и злодей глупый, мальчишка, который, убив Пано, вредит не себе одному, а всем

беем Чамурьи и больше всех ему, Тахир-Аббасу, и лишает и его дохода, ибо селяне Нивицы, доведенные теперь до отчаяния и бешенства, хотят во что бы то ни стало переселиться в Россию, в Элладу ли или даже в иную область Турции, лишь бы им дали где-нибудь земли.

Джеффер-Дэма схватили, привели в Янину и содержали несколько времени под стражей. Но это длилось очень недолго, за него нашлись поручители, паша его выпустил, и не далее как через неделю после его поимки Кольйо вбежал ко мне так, что дверь едва не сорвалась с петель, схватил меня за руку и, повторяя: «Джеффер-Дэм! Джеффер-Дэм!..», почти выкинул меня на балкон, который выходил на боковой стене в переулок. <sup>10</sup>

Джеффер-Дэм проходил пешком с одним слугой мимо русского консульства. Я только этот раз и видел его, но уже никогда забыть его не мог; и если бы даже он не был героем такой трагической истории, если б он не совершил никакого преступления, если б я не знал даже имени, а только видел бы раз, как он прошел по улице этой, то и тогда, кажется, не забыл бы его никогда, как не забывает человек прекрасную картину, на которую он поглядел и не долго, но со вниманием... <sup>20</sup>

Джеффер-Дэм был еще молод и чрезвычайно красив. Он был приятно круглолиц, очень смугл и очень свеж; во всей его особе, в огромных темных очах, в небольших черных усах, подкрученных кверху, в стройном стане, в тихой, неспешной, величавой походке, в белых руках, заложенных покойно за спину, было так много чего-то необъяснимого, породистого, тихо-гордого, тайно-самодовольного, что я тебе выразить не могу! Одет он был, конечно, в пышную фустанеллу, а куртка его и все остальные части одежды были из черного сукна и вышиты золотом, сиявшим как новый червонец и на груди, и на спине и рукавах, и на обуви икр. <sup>30</sup>

За ним шел пожилой усатый слуга, тоже одетый по-албански, и лицо его было одно из тех худых и свирепых арнаутских лиц, вспоминая о которых, понимаешь события

последних дней в злополучной Болгарии и видишь тотчас же пред собою то церковный двор Батака, наполненный истлевающими трупами, то триумфальные арки из мертвых голов христианских, перевитых цветами, то распятых и повешенных священников; то мать-болгарку, убитую и связанную с изнасилованною дочерью ремнями их собственной кожи!..

Не этот ли слуга помогал своему молодому красавцу-господину убивать Пано и его спутников? Не он ли уж научил его все это совершить?..

Когда мы с Кольйо выскочили как безумные оба вместе на балкон, Джеффер-Дэм поднял не спеша на нас глаза, поглядел на нас... Я бы желал, мой друг, чтоб ты понял, как он это именно поглядел!.. Или глаза его были очень красивы, или мысль об ужасном этом убийстве придавала всему, что до него касалось, особое значение... только мы оба с Кольйо сказали друг другу почти в одно время, когда он удалился: «как глядит!»

А «как» именно он глядит, этого мы не могли сказать... Он поглядел равнодушно; ничего не было заметно... А мы сказали, однако, оба друг другу: «Как глядит!»

Прошел молодой злодей-красавец. Прошел и ушел, и я больше никогда не видал его... Но так мне до сих пор кажется удивительным и странным, что такой нежный и тихий юноша, полный достоинства и изящества, резал сам христиан, обагрят горячею кровью эти почти женские руки, заложенные теперь так равнодушно за спину; потерял даже ножны свои в борьбе, так мне все это кажется странным, что стоит мне только подумать о первой молодости моей и об Янине, так одно из первых лиц, которые представляются воображению моему как живые — это Джеффер-Дэм с поднятыми к балкону нашему на минуту равнодушными черными очами, в белой фустанелле, которая чуть-чуть качается, когда он ступает по камням, и руки его за спиной, на которых и следов христианской крови как будто не видно...

И не мы одни с Кольйо обратили внимание на прекрасную наружность этого бесстыдного убийцы. Люди, го-

раздо больше нас знающие что́ такое «изящное», заметили ее.

У нас был раз как-то запросто австрийский консул. (Благов продолжал предпочитать его всем своим товарищам, и они часто бывали друг у друга.)

Ашенбреннер больше нашего восхищался красотой молодого бей. Именно больше нашего. Мы с Кольйо по-детски считали обязанностью, так сказать, нашей умалчивать по возможности обо всем, что́ может встретиться в мусульманах мало-мальски хорошего, и особенно в мусульманах злых; мы не осмеливались выразить друг другу то, что́ нас поразило, и поняв, конечно, молча друг друга, сказали только: «как глядит!...» 10

Ашенбреннеру не было, конечно, никакой нужды или потребности скрывать свои впечатления, и он хвалил громко и восторженно: «*Quelle beauté! Ah! Ce costume mirobolent! Mais c'est fabuleux! C'est curieux au plus haut degrés!*.. Какая жалость, что этот молодой человек такой преступник, такой негодяй!...»

На это Благов отвечал ему при нас с веселостью (он всегда при Ашенбреннере был в духе): 20

— Я жалею о другом... И я его видел, и отдаю справедливость и костюму его, и наружности; и даже так оценил все это, что пожалел об одном: отчего я здесь не всемогущий сатрап... Я сначала выписал бы из Италии живописца, чтобы снять с него портрет, а потом повесил бы его... Я не говорю: посадил бы его на кол... потому что, как вы знаете, теперь это не принято... но я повесил бы его тоже картинно: при многолюдном сборище и христиан, и турок, чтобы турки учились вперед быть осторожнее... 30 И сам присутствовал бы при этой казни... Я не шучу...

— О! — воскликнул, смеясь, австриец, — какое нероновское соединение артистического чувства и кровожадности...

Благов немного покраснел и отвечал:

— Что́ ж Нерон?.. Вот разве мать... Это конечно... Но нельзя же уверять себя, что пожар Рима был не красив...

— Ecoutez!.. — воскликнул Ашенбрэннер, — вы сегодня ужасны!..

И, переменив разговор, он начал доказывать, что турки решительно неисправимы и что все надежды, возлагаемые на них в Европе, напрасны. Это истлевающая нация! У них есть сила только противу беззащитных и слабых, как например в Сирии, а наказывать преступления они не хотят или не умеют...

Но Благов был в этот день хотя и весел, но в самом<sup>10</sup> деле ужасен.

— Зачем же вы всегда помогаете им под рукой? — спросил он без церемонии и все с тем же победоносным лицом.

Ашенбрэннер, впрочем, вышел из затруднительного положения очень мило.

Он воскликнул:

— Послушайте! Чтò ж нам делать против такого колосса, как вы? Ваша Россия — это какой-то наивный Баобаб! Она растет невинно, как дерево... Все не хочет<sup>20</sup> завоеваний, всего боится, и все около нее трещит, как старый забор... Чего хотят ваши государственные люди — никто никогда понять не может... *Voyons, soyez-donc bon enfant... Avoyez, que j'ai raison.*

Но Благов ответил ему на это так:

— Это очень зло, то, чтò вы говорите. Вы, кажется, хотите этим сказать, что мы, русские, сами не понимаем чего хотим... Бывает, положим, и так... но не всегда.

— А! А!.. — восклицал Ашенбрэннер. — Рассказывайте!.. Никогда, никогда этого не бывает! Я хочу только<sup>30</sup> сказать, что ваши государственные люди умеют желать именно того, чего требует минута; *c'est organique...* Их воля — необходимое проявление того, так сказать, естественного роста... о котором я говорю... Тем хуже!.. Тем хуже для нас! Поставьте же, наконец, себя на место Австрии! — прибавил он с жестом шуточного отчаяния.

— Ставлю, ставлю, — снисходительно сказал Благов.

Эта шуточная и довольно смелая беседа консулов кончилась тем, что Ашенбреннер при нас обещал Благову не только написать интернунцию о необходимости удовлетворить жителей Нивицы и семью убитого Пано и наказать Джеффер-Дэма, но обещал ему уговорить даже и Бреше, для пользы самой Турции, сделать то же и дал слово, что беловую бумагу свою даст на прочтение Благову. Слово свое он сдержал, конечно, но он не клялся при этом, что он никакого другого и в противоположном духе донесения еще секретно не напишет своему начальству, и еще, прибавлю, впоследствии оказалось, что слово, сказанное Благовым (не совсем в шутку) о жажде очень строго наказать Джеффер-Дэма, Ашенбреннером не было забыто. <sup>10</sup>

Вот именно около этого времени, когда консула решились все писать в Царьград о том, что Джеффер-Дэма выпустили на поруки и что его серьезно судить паша, кажется, не намерен, явились в Янину те представители Нивицы, которых Кольйо, как земляков своих, помимо Бостанджи-Оглу, прямо привел ко мне в комнату.

Лишь только до Нивицы дошел слух о том, что Джеффер-Дэм ходит свободно по Янине, все село поднялось в исступлении и решилось выселиться во что бы то ни стало и куда бы то ни было. Движение это понемногу сообщилось и жителям других соседних сел. Однако селяне хотели сначала посоветоваться с влиятельными лицами в Янине и приобрести себе поддержку в консульствах; поэтому, выбрав для этой цели надежных людей, они поручили им прежде всего обратиться к Благову и к эллинскому консулу Киркориди. <sup>20</sup>

#### IV

30

Я принял жителей Нивицы (их было трое), разумеется, как следовало, с уважением и участием; посадил, угостил их консульским кофеем и сам крутил им сигарки и спрашивал обо всем обстоятельно.



Я видел, что я им понравился, и один из них, старик, сказал мне так:

— Жаль, что отца твоего здесь нет... Как это так долго без хорошего драгомана консулу оставаться?..

— Отец скоро будет, — отвечал я.

— Когда еще будет! А консулу бы нужно пока хорошего драгомана из здешних.

— Вот Бостанджи-Оглу пока ходит по делам в Порту.

10 — Не здешний. Нужно бы здешнего, — сказали селяне. — Твой отец такой человек, какого нужно... А пока бы другого взяли; хорошо бы сделали. Отчего консул Исаакидеса не возьмет на время? Он человек грамотный, имеет и мозг, и состояние, и все что нужно.

— Он и турок ненавидит так, как нужно, — прибавил с веселою улыбкой другой.

Я отвечал, что это дело начальника, «а я что тут?»

— Нет, ты посоветовал бы это консулу, чтоб он Исаакидеса взял.

20 Я стал догадываться, что это какие-нибудь внушения со стороны самого Исаакидеса, которому хоть на один бы месяц хотелось послужить при русском консульстве, чтобы покончить скорее какие-нибудь дела свои или дать им по крайней мере выгодное направление. Я не мог знать наверное, повредит ли это отцу моему или нет, и боялся, чтоб Исаакидес не сумел бы так за это время понравиться своею деятельностью консулу, что отец, по возвращении своем, найдет место навсегда занятым.

30 Что Исаакидес желал стать хоть временно драгоманом, это я знал наверное, потому что он стал под разными предложениями почти ежедневно, с первого дня возвращения Благова, ходить в консульство и подобострастно улыбаться всем нам.

Бостанджи-Оглу, который и не любил меня и завидовал мне в чем-то (я и не знаю, в чем именно), но и скрываться от меня не умел, еще вчера, глядя на подходящего с поклонами к Благову Исаакидеса, сказал мне так:

— Что за дьявол, иногда и этот Козвино говорит хорошо! Прав он, когда говорил, что у этого человека низкий и подлый вид и что сюртук у него уж слишком скверный и сальный, и усы даже всегда криво пробриты, и нос висит... Ей-Богу, все это правда... Гляди, гляди, как он смотрит снизу на консула. Хочет в драгоманы попасть, у отца твоего место отбить...

— Хочет разве? — спросил я.

— Одно и то же все твердит: «Вам без Полихрония-деса трудно... Вам хоть на время нужен местный человек».

— А консул что? — еще спросил я.

— Не знаю. Молчит.

Для меня было понятно, что Бостанджи на всех сердится за то, что его самого никто драгоманом сделать не желает. Посмеявшись над ним злорадно в сердце моем, я дал себе слово написать поскорее обо всех этих обстоятельствах отцу и просить его, чтоб он дал мне наставление относительно моего собственного поведения, когда ко мне люди будут обращаться с вопросами или просьбами, касающимися чего-нибудь подобного.

На этом-то основании и этим сельским представителям я отвечал, что не мне, мальчишке, приличествует давать консулу советы, что он знает сам, кого взять нужно.

Селяне, услышав мой сухой ответ, как будто даже испугались немного и поспешили согласиться со мной.

— Конечно, конечно! Как консулу самому всего не знать!

Но простодушный Кольйо, который присутствовал при нашем совещании, вмешался в дело и сказал своим землякам:

— Это Одиссей хорошо говорит, что ему не пристойно давать консулу советы.

— Не советы, а так только одно слово, живя в доме... Мы тоже знаем, — перебили селяне обидчиво.

— Стой, стой! — прервал их Кольйо, одушевляясь, — и я не дурак, ты знаешь... Ты стой, что я тебе,

*патриот*,\* скажу... Ты сам консулу скажи так: «Мы, конечно, и так, и так... а вы бы, ваше сиятельство, Исаакидеса взяли, чтобы хоть по нашему делу он похлопотал бы пока до г. Полихрониадеса...» Что? Разве я глупо сказал?

И Кольйо начал смеяться и на всех нас по очереди взглядывал, радуясь своей тонкости и своей политике.

Селяне нашли, что это в самом деле правда и, как только г. Благов отпер дверь своего кабинета, так Кольйо доложил ему о приходе этих людей и отвел их к нему.

10 Они очень долго у него сидели, долго говорили с ним и вышли от него очень довольные.

На первую мысль их, переселиться в Россию, он сказал, что в России места много и что отказу им, вероятно, не будет, но что он советует им прежде обдумать зрело такое крутое решение: в России и воздух другой, и обычаи не те, и вода\*\* не та. А главное, что такие молодцы и православные люди здесь очень нужны. И не лучше ли прежде воспользоваться этим ужасным несчастием, которое случилось, чтобы доказать и Высокой Порте, и европейским посольствам, как правы были жители этих шестнадцати сел, когда уверяли и клялись, что им эта зависимость от беев становится нестерпимою, и желали достать какой-нибудь фирман или что-нибудь подобное для устранения впредь притязаний со стороны беев.

Благов дал им сверх того подробные наставления, как они должны действовать; советовал прежде всего обойти всех консулов, начиная с Леси, но не подавать им подписанных прошений, чтобы без крайности не раздражать против себя еще больше турок, которых всегда оскорбляют донельзя официальные обращения христиан к консулам, а оставить только для памяти неподписанные заметки о ходе их дела и о подробностях самого преступления.

---

\* *Соотечественник*, — неправильное употребление вместо *симпатриот*.

\*\* На Востоке очень дорожат хорошою водой и замечают в воде тончайшие оттенки.

Благов обещал им даже, что прикажет кому-нибудь из нас в консульстве составить для них получше эти записки.

— Англию хвалите, меня больше браните, — прибавил он еще, и селяне много этому совету радовались и смеясь говорили: «Англичанин не поверит нам!»

Об Исаакидесе они не забывали и решились рекомендовать его Благову.

Консул немного удивился и спросил у них:

— Разве он хорош?

Старший из селян сжал кулак и воскликнул, сверкая<sup>10</sup> глазами: «Зверь-человек на турка!!..»

И Благов отвечал селянам: «Что же, это правда, на время можно и его попробовать».

Меня очень поразило, когда я узнал, что консул, который никого слушать не любил, вдруг вздумал послушаться этих селян.

Но видимо было с другой стороны, что его приемы мало-помалу начинают меняться и что он не может быть уже впредь так умерен и сдержан, как был в первые месяцы своего пребывания в Эпире, до путешествия по округам. Осмотревшись на новом месте, узнав людей и взвесив обстоятельства, он явно желал теперь повыше приподнять в нашей стране русское знамя и показать всем, что его первоначальная умеренность есть лишь то, что древние звали мудростью, а никак не слабость или равнодушие.<sup>20</sup>

Самое решение его взять драгоманом Исаакидеса, о котором он около года тому назад говорил, что «нельзя брать драгоманом человека, который чуть не с тарелкой для сбора на восстание по базару ходит», доказывало ясно этот поворот его настроения.<sup>30</sup>

Вероятно, и та безнаказанность, в которой оставило турецкое начальство сеиса и софту, избивших меня, его protégé,\* оскорбила его, может быть, глубже, чем меня

---

\* Protégé — надо помнить, что это слово по отношению к консульству имеет и официальное значение. Одиссей имел отчасти право на русскую защиту как сын русского драгомана.

самого, пострадавшего только телесно и столько хвалимого всеми за «мученический венец», и память этого события была, может быть, не последнею из причин, побудивших Благова доказать, что он только сам не хотел до сих пор быть ужаснее Бреше, а стоит только ему захотеть, то Бреше будет пред ним, русским дворянином Рюриковой крови, как мелкий ястреб пред настоящим Царским орлом!..

10 Я убежден, что Благова пожирал внутренний огонь честолюбия и что жажда самой разнообразной деятельности, в которой он мог бы обнаружить свою энергию, томила его глубоко.

И, наконец, если я и ошибаюсь, если бы даже он не был так честолюбив, так сокровенно-страстен гордостью и волей, если б ему и не было так приятно вести разом несколько трудных, запутанных и таинственных дел, разве бы он не должен был обратить все внимание свое на дело Джеффер-Дэма и на оскорбленных христиан Чамурьи?..  
20 Надо же было русскому деятелю так или иначе вознаградить и успокоить или хоть утешить несчастных родных и соотчичей Пано, так жестоко погибшего, а если можно, то и отмстить за него во славу имени православного!

Как достичь этого? Как поступить? Чтò придумать? Чтò предпринять?..

Я понимаю, что эта мысль должна была долго тревожить деятельного молодого человека, который, при всех недостатках своих, был слишком благороден, чтобы корыстный и предательский поступок красавца Джеффер-Дэма не возмущал его глубоко, помимо даже всяких политических соображений о духовной связи греков с Россией и об  
30 обязанностях взаимной помощи, которые лежат на всех православных людях Востока, помимо, наконец, всемирного и великого значения того, чтò зовут так верно не славянский и не греческий, не византийский и не русский, а именно — *Восточный вопрос!*..

Тотчас же по уходе представителей Нивицы Благов послал известить Порту, что он берет себе вторым драго-

маном эллинского подданного Исаакидеса. Туркам это очень не понравилось; Исаакидеса они справедливо считали беспокойным человеком и пытались сначала дружественно и официально протестовать против такого избрания.

Сабри-бей был у Благова и говорил прямо, что Исаакидес «гетерист», что он будет «мешать карты» и причинит бесконечные затруднения; что паша надеется на дружбу.

Но Благов возразил на все это резко и холодно. Он перечислил прежде все то, чем он был сам недоволен, говорил об оскорблении Бакеева солдатами, о двухдневной тогдашней борьбе и о вмешательстве г. Бреше, тогда как извинение должно бы было последовать немедленно и не дожидаясь, чтобы французский консул явился с дерзостями на помощь правоте Бакеева; говорил и о том, что меня избили сеис и софта и не были начальством своим наказаны, и о том, что отца моего несколько дней не хотели признать драгоманом, а теперь не хотят признать Исаакидеса; упоминал и о неконченных тяжбах русских подданных. И прибавил:

— Где же эта дружба? Я вижу только одни препятствия. И обвиняю я в этом, если хотите, одного себя; я был слишком уступчив и слишком правильно вел себя.

Туркам на это возразить было нечего... то, что зовется «attitude» русского консульства, было в самом деле так долго «attitude correcte», особенно в сравнении с опустошительной и всесокрушающею деятельностью Бреше, что Сабри-бею осталось только умолкнуть и уйти, а паше признать Исаакидеса драгоманом.

Исаакидесу Благов поставил, с другой стороны, следующие условия: во-первых, сейчас же ехать в Чамурью (и на свой собственный счет; лишних казенных денег теперь нет) и внимательно и беспристрастно на месте разузнать все, все что только возможно о деле Джеффер-Дэма и Пано; понять дух других беев; многие ли из них на стороне Джеффер-Дэма, и многие ли враги ему, — подобно тому Тахир-бей-Аббасу, который, как слышно, поддерживает в этом деле христиан Нивицы... И почему

это Тахир за христиан? Какие его расчеты? И нет ли еще кого-нибудь из мусульман в Чамурье, которые имели бы связи и влияние в Арте и Превезе, чтобы постараться о колоколе? Сверх того, собрать мимоходом статистические сведения о побережье Адриатического моря вообще и о южных округах Арты и Превезы... Как можно точнее: все турецкие караульни, все христианские сельские церкви, школы и маленькие монастыри, все произведения почвы, все роды занятий, весь ввоз и вывоз... За все это

<sup>10</sup> Благов обещал Исаакидесу непременно тотчас же по отъезде его подумать о его тяжбе с Шериф-беем и заняться ею...

«Подумать и заняться...» Он так сказал, — больше ничего...

Исаакидес ликовал и собрался на следующий же день в дорогу, не жалея даже небольших расходов, ввиду больших выгод от выигрыша процесса.

Между тем Благов, не имея, по-видимому, никакого верного понятия о том, какие кроются в этой тяжбе

<sup>20</sup> Исаакидеса с Шерифом злоупотребления со стороны первого, и насколько во всем этом замешан отец мой, призвал вдруг меня в свой кабинет и спросил как будто равнодушно:

— Ты не знаешь, какая это сделка у отца твоего с этим Исаакидесом?..

Я пожал плечами и отвечал по совести, что знаю одно: отец мой занял в крайности пред отъездом на Дунай двести лир у Исаакидеса, а больше ничего я не знаю.

— Ты не бойся говорить мне правду, — сказал на это

<sup>30</sup> консул; — всякий может иногда ошибиться и согрешить... Для меня все-таки большая разница — интересы твоего отца, которого я уважаю, и мошенничества Исаакидеса. Я его знаю и вовсе ему не верю. Говори, что ты знаешь, смело.

Я поклялся, что больше ничего не знаю.

Я не лгал, и г. Благов больше меня об этом не спрашивал.

В этот же самый день, после обеда, Кольйо пришел ко мне и сказал, что Исаакидес, уходя домой, был очень весел, искал меня, не нашел и поручил ему, Кольйо, звать меня к себе провести вечер.

Я собрался идти и с удивлением увидел, что и Кольйо идет туда же.

— И ты идешь туда? И тебя звали? — спросил я.

— Я иногда бываю у них, — отвечал Кольйо.

10

Я не знал, что он бывает иногда у Исаакидеса в доме и принят там почти на правах равенства, и думал сначала, что он хвалится...

У Исаакидеса в доме всегда было довольно хорошо, приветливо, не скучно. Все почти по-янински, — тихо, довольно опрятно, просторно; большие турецкие диваны кругом стен, покрытые полушерстяным, полубумажным штофом, который зовется «дамаско», оранжевым с зелеными разводами; на белых оштукатуренных стенах большие портреты европейских Государей; русский Император с голубую лентой; австрийский в белом мундире; Виктория; прусский коронованный герой с седыми бакенбардами; Наполеон с усами тонкими; король Галантуомо — с усами толстыми; был на всякий случай и портрет Абдул-Азиса, но он был гораздо меньше других и висел особо над входною дверью, так что грекам можно было сказать: «Я отделил его прочь от Царей, Христа признающих!» А если придет с визитом турок, то ему можно было сказать с улыбкой любви: «Падисах вход мой осеняет всегда!»

20

Сам Исаакидес был хозяин дома ласковый, веселый и простой. Супруга его кира-Кириакица была не особенно хороша собой, но, смотря по вкусу, могла быть и приятна. Ей было лет двадцать пять, двадцать шесть. Как сказать об ней? Мне бы хотелось, чтобы ты вообразил ее себе поживее. Она роста была небольшого, сложена хорошо, моложава, но цвет лица ее был желтоватый и ровный, как цвет воска. Глаза ее только были очень недурны: голубые

30



и задумчивые. Мне всегда нравилось, что она держала себя и естественно и как-то немножко, немножко... не то гордо, не то осторожно. Она почти каждое лето ездила в Корфу купаться и посетить знакомых и приобрела там немного больше других янинских дам свободы в обращении с мужчинами. Эпирские (и не одни эпирские, но, скажу вообще, и греческие, и болгарские, и, вероятно, сербские дамы) не то чтобы стыдятся, но они сидят и смотрят на гостя и говорят с ним так, что чужой мужчина не знает, что́ им сказать, и все поневоле обращается к мужу... И ему становится как-то стыдно, и он поскорее уходит домой.

Госпожа Исаакидес, хотя и очень тихая по манерам своим и характеру, умела, однако, ободрить гостя тем, что сама беспрестанно заговаривала с ним, предлагая довольно разнообразные вопросы, или сама рассказывала разные вещи.

Одевалась она не по-янински, *малако́ф* \* у нее не был уж так широк, как у других; на голове дома не было ничего, а на улице она носила круглые шляпки, как *madame* Бреше, только подешевле, и шейфа длинного у нее не было. У нее были какие-то чорненькие кофточки или курточки, которые очень хорошо обрисовывали ее тонкий стан и придавали ей много миловидности и моложавости.

Она чаще других архонтис ходила к *madame* Ашенбреннер, к *madame* Бреше и к дочери Киркориди и очень любила сама рассказывать так кротко и задумчиво о консульских семействах.

— Попробуйте этого варенья, это *madame* Ашенбреннер прислала мне. — Я посылаю ей наше варенье, греческое, она посылает мне варенье немецкое. Мы очень с ней дружны. Она такая милая женщина!

— Вчера я была у *madame* Бреше. Ей еще привезли два шелковых платья из Парижа. Одно дикого цвета с белыми и фиолетовыми цветами, шейф огромный; а дру-

---

\* Кринолин.

гое абрикосового цвета с розовою отделкой. Какая красота!.. Где она, бедная, здесь это надевать будет!..

— Третьего дня я была у mademoiselle Киркориди! Как жаль, что эта прекрасная девица коса и не вышла замуж. Она очень желала бы иметь фортепиано, но сюда нести на руках через горы такую тяжелую вещь очень трудно и дорого.

И все это так медленно и чувствительно, голосом мягким, не крикливым, как у других архонтис.

Долгоносая и страшная madame Бреше говорила про нее. <sup>10</sup>

— Madame Исаакидес для восточной женщины довольно мила. — И потом прибавляла, откидываясь томно на спинку кресла своего: — разумеется, она не может иметь всей грации истинно-европейской женщины (la grâce d'une vraie européenne!) Однако...

Исаакидес казался к жене своей очень внимательным и двух дочек своих маленьких он очень любил.

В истории женитьбы их было, впрочем, столько особенного, что я не могу не остановиться немного на ней и не рассказать тебе ее мимоходом. <sup>20</sup>

Исаакидес видел Кириакицу до брака сначала еще почти ребенком, тогда, когда еще ее выпускали при мужчинах; видал он другую младшую сестру ее, Марию; разница в годах была между ними мала, но в красоте большая. Младшая сестра, которая потом вышла замуж за другого архонта, была красива и свежа, как картинка. Кириакица в отрочестве своем была гораздо хуже, чем теперь. Исаакидес сватался за младшую чрез знакомых женщин и чрез родственников и просил за ней восемьсот лир приданого. <sup>30</sup> Долго спорили, однако наконец согласились на шестистах лирах, и свадьба была назначена секретно в доме родителей, так как жених был эллинский подданный, а невеста — дочь райя.\* Собрались родные, при-

---

\* Дочерям турецких подданных за подданных иностранных турки выходить замуж не позволяют.

гласили священника, жених ждал; вывели из внутренних комнат нарядную невесту...

Исаакидес с ужасом и удивлением увидал, что это была не Мария, а Кириакица, не красавица — младшая, а эта бледная, восковая девушка небольшого роста. Он смутился и не знал, что́ делать. Но родные окружили его, хвалили Кириакицу, умоляли не срамить, твердя, что невозможно младшую выдать прежде старшей и, наконец, отец сказал жениху:

10 — Хорошо, добрый и милый друг мой, ты человек разумный. Ты желал восемьсот лир?.. Вот тебе восемьсот пятьдесят. Успокой ты меня старика. Возьми их; я за детей своих последнюю каплю крови моей отдам...

Исаакидес взял деньги, вздохнул и обвенчался.

Но ведь и у него был один ряд «белых зубов»... Он был человек уживчивый и, помимо бесстыдства своего в политике и тяжбах, я готов сказать, скорее добрый, чем злой.

20 Они жили после этого с женой очень согласно, лучше, чем живут многие из женившихся охотно.

Он все улыбался под кривыми усами своими. Она все пела-распевала голоском своим и все хвалила, что́ только ни есть на этом Божьем свете. Обороты денежные шли недурно. Диваны оранжевые с зеленым были; шолковые кофточки и шляпки были; дети были. Дом свой был. В Корфу купаться ездила... Консульские жены и дочери хвалили и варенье присылали.

Чего же еще хотеть? Хорошо!

Им было хорошо, и нам, гостям, было хорошо.

30 Мне, по крайней мере, было очень приятно. Вечер прошел разумно, как проводятся иногда вечера в благочинных семействах восточных христиан.

Кроме меня и Кольйо, были тут в этот вечер — мать госпожи Исаакидес, почтенная старушка, одетая очень опрятно, в темном платье и в черном платочке; она почти ничего не говорила, но держала себя с важною приятностью и с достоинством улыбалась, слушая других.

И был еще один гость, приезжий из Афин, г. Вамвакос, законник, молодой человек лет под тридцать на вид. Он был очень разговорчив и казался мне занимательным и весьма образованным. (Как моя встреча, так и встреча Кольйо с этим человеком в этот вечер оставила довольно значительные следы на последующих наших думах и осталась не без влияния на нашу судьбу.) Панталоны у него были гораздо уже, чем у Исаакидеса и других наших янинских, почти такие же узкие, как и у Благова и Бакеева, и какие-то яркие. И не только панталоны, сам он<sup>10</sup> весь был очень узенький, длинненький, высокенький, жиденький, бледненький. И головка его по росту была слишком маленькая. Только бакенбарды довольно густы и велики.

Я помню, что я долго не мог дать себе отчета в том впечатлении, которое он производил на меня. Как будто бы оно было не хорошо... А впрочем, как будто и хорошо. Хорошо было оно потому, что в нем было с избытком заметно все то, что я привык уважать и о чем даже и мечтал нередко для себя.

Обучался он в просвещенных и свободных Афинах, в<sup>20</sup> университете. Платье европейское, и даже модное (хотя к благовскому европейскому платью оно относилось, как «лист поблекший и пожелтый, гонимый осенним ветром», относится к созревшему бутону, но все-таки...), говорит языком самым тонким и высоким. Громит деспотизм. Хвалит мостовую в Триесте; порицает нашу. Цепочка у него большая золотая на часах и ключик такой, какого я еще и не видал: не особенный от часов, а так прямо возьмет он за шишечку какую-то у часов пальцами, небрежно раскинувшись на диване, затрещит шишечка тихонько, и завелись часы.<sup>30</sup>

(Усовершенствование все! А мы под игом все назад!..)

Говорил г. Вамвакос много.

Неумолкающая его беседа была, впрочем, очень разнообразна и содержала в себе много поучительного и для меня нового. Он говорил об итальянских певцах, о том, что

бывают два рода теноров, *tenore di forza* и *tenore di grazia*, что сам он *tenore di grazia*.

Потом он радовался изгнанию короля Оттона и декламировал стихи из политической драмы Александра Суццо.

«Мы, эллины, стали посмешищем вселенной», — декламировал он нараспев и очень громко.

Мы все подобны полумертвым кускам изрубленной ехидны...

Раздираем недра отчизны...

Каждый из нас под знаменем какой-нибудь презренной

газеты...

Народ, еще столь недавно \* героический сподвижник наш

на поле брани,

Мы его предали в когти каких-то филологических хищных

птиц...

Мы не греки, а *грекули* римлян...

Подчинились деспотизму баварцев,

Готфов без славы, отряхающих хлад от вандальских

одежд своих у развалин Акрополя...

Он хвалил старика Гриваса; рассказывал, что он у себя в имени ходит сам вместе с рабочими в национальной одежде и с длинною секирой рубит колючие кусты... И прибавлял, что одно только не хорошо: «Гривас становится страшен для свободы эллинской. Он набирает целое войско охотников, и нет ли у него коварных замыслов?..»

Еще он сообщил госпоже Исаакидес, какую он траву пьет от геморроя и сколько было у него прежде мозолей и как он их свел.

Итак, нельзя не согласиться, что речи Вамвакоса были и разнообразны и полны полезных сведений. Все это: Все-научница аттическая, платье, язык Фукидида и Иоанна Златоуста, ключик, свободолюбие и медицинские общепользные сведения, — это все хорошо...

Но я не мог решить наверное, хорошо ли, что головка его мне казалась уж очень мала, а бакенбарды велики, и что он все глаза поднимал к небу и слишком был «тарахо-

---

\* Политическая драма была напечатана в Брюсселе, в 1843 году.

пи́ос» (многомятежен) как род иудейский... что он был беспрестанно на ногах, в то время когда мы все сидели истово и чинно на длинном диване; или то, что он раскидывался на диване уже слишком близко от хозяйки. Или вдруг опять вскакивал и начинал напевать, чуть не прыгая, песенку любовную (приятным, впрочем, голоском, и опять очи к небу)...

Белая ты моя роза!..  
И золотой ты мой жасмин!..  
Цумба! Цумба!  
Цумба! Цумба!

10

И так он то туда, то сюда, и руками, и глазами, и ногами... и голову назад, и голову направо, и голову налево... А мы все — Исаакидес, Кольйо, и я, и обе госпожи: Исаакидина и мать ее — сидим и смотрим на него. Не знаю, как сказать... как будто бы не хорошо... А может быть, это происходит от свободы политических нравов в Греции и для этого самого проливали кровь Канарис, Миаули и Карайскаки! Не знаю!..

Сомнителен также показался мне и другой род вольности, которую он себе позволял.

20

Он как-то все подпрыгивал, сгибая коленки, и, подобострастно смеясь, все обращался к одной госпоже Исаакидес, а не к мужу или к матери...

— Кирия!.. о! кирия!.. Вы не поверите, что за энтузиазм может пробудить новый певец, которого я слышал...

И вдруг выпрямился; очи печальные, одну руку к сердцу, а другую вверх...

Клятвам ты не доверяешь...  
Вздохов знать не хочешь ты!..

30

И опять, согнув коленки и улыбаясь, к ней:

— Кирия! Кирия!..

О государственных волнениях в Элладе или о стихотворениях Суццо говорит, язык его чистый, греческий; а на-

счет увеселений и дам: все у него *сульэ, суарэ, гáнтиа*, а не *папуция*, не *хорó*, не *хирóфтиа*.\*

Изо всего обращения его с госпожой Исаакидес мне показался остроумным один только льстивый вопрос этой молодой даме; она вышла по хозяйству приготовить нам какое-то прохладительное и пригласила с собой даже Кольйо (который сидел скромно в углу и подобно мне большею частию созерцал молча афинянина и слушал его), они пробыли там довольно долго.

<sup>10</sup> Едва только возвратилась она, предшествуемая служанкой, которая несла на подносе сладости, как Вамвакос бросился с дивана и, устремляясь к ней навстречу, воскликнул с отчаянием: «А! госпожа моя, вы нас вовсе покинули! Мы думали, что вы уже *корни пустили там!*..»

Это «корни пустили там» мне понравилось.

Так продолжалось очень долго. Вамвакос занимал общество; остальные изредка прерывали его. Так продолжалось до тех пор, пока наконец он не усыпил старушку мать госпожи Исаакидес. Забыв свою безмолвную важность,  
<sup>20</sup> почтенная кирия упала потихоньку на подушки софы и уснула. Дочь, смеясь, разбудила ее, и она ушла.

Кольйо сначала долго не показывался в приемной — он остался в прихожей и стыдился взойти при аттическом льве. Госпожа Исаакидес сказала наконец мужу:

— Смотри, кир-Васила́ки, бедный Кольйо стыдится и сидит внизу.

Исаакидес сам пошел за ним и, приведя его за руку, как смущенную невесту, посадил его у стола в стороне. Кольйо, я видел, весь вечер после этого был на себя не  
<sup>30</sup> похож... Он был как потерянный (от самолюбия и стыда, так я думал)... Сидел облокотившись на стол, не говорил ни слова, изредка печально улыбался мне, едва отвечал на ободрительные вопросы хозяина и хозяйки. А когда ему подавали варенье и кофе, он внезапно и судорожно выхо-

---

\* Башмаки, танцевальный вечер, перчатки.

дил из своего онемения, схватывал левою рукой широкий рукав своей правой руки, как священник, желающий благословить, и вовсе без надобности так высоко и изысканно поднимал эту руку с ложечкой над подносом, как будто он хотел эту ложку вонзить в желе с исполинскою силой. Глаза его все время были потухшие и лицо как бы изможденное...

Под конец вечера Исаакидес ласково сказал жене:

— Кириакица моя, не утетишь ли ты нас старым винцом? 10

— С радостью, с радостью, — ответила добрая хозяйка, и вино принесли.

Исаакидес наливал нам всем трем, и мы пили понемножку, даже и Кольйо.

Выпив рюмке по две, мы все хором запели всем известную греческую *Марсельезу*:

О, мой острый и длинный нож

И ты, черное ружье мое, огневая птица...

Вы уничтожаете турка, терзаете тирана на части...

Госпожа Исаакидес сказала тогда Кольйо: 20

— Приблизься, Кольйо; зачем ты удаляешься и стыдишься?.. Пой с нами громче...

Кольйо кивнул головой в знак согласия и произнес в первый раз во весь вечер два слова: «это можно!», подошел поближе к хозяйке и афинянину, начал петь, и сильный голос его очень скоро покрыл все другие голоса.

В эту минуту, когда все занялись пением, Исаакидес тронул меня за плечо, отвел к столу и, наливая мне еще рюмку вина, сказал:

— За твое здоровье, Одиссей... 30

Мы выпили.

Потом Исаакидес, всматриваясь в лицо мое, ласкательно продолжал:

— Имею я до тебя большую просьбу, дитя мое; ты приближаешься постоянно к консулу русскому; постарайся, чтобы без меня уже было начато наше дело с Шерифом.



Ты знаешь? Старое дело, которое туркарья в мою пользу решить, конечно, не хочет... А я могу и долго пробыть в отъезде. Я хочу угодить консулу.

Я отвечал, пожимая плечами, что я, кажется, в этом ничего не могу.

— Кого господин Благов слушает? Никого!

— Пусть так! — продолжал Исаакидес, — но все-таки напоминовение одно... У него разные мысли и заботы. Напоминовение... Послушай меня...

<sup>10</sup> И он отвел меня еще подальше от других и продолжал с выражением самой вкрадчивой ласки во взгляде и голосе:

— Сыне мой! Разве ты не знаешь, что и отец твой может большие выгоды от меня иметь чрез это дело. Я отчаяваюсь в возможности достигнуть хорошего результата без помощи великой державы и без вмешательства энергического консула. Турки выдумали, будто я не возвратил Шерифу несколько расписок и будто в других есть подлог. Клеветать на христиан им всегда легко! На что подлог? Шериф и без того должен мне больше тысячи лир золотых. Кто виноват, что он пьяница и расточитель. Не я же!.. Посмотри, какой дом три года тому назад построил. На что он ему был?.. Турецкая нерасчетливость... Пусть пропадает...

Тут Исаакидес, все улыбаясь весело и довольно отвратительно, повторил очень нагло то, что он говорил несколько месяцев тому назад на острове, когда ссорился с Коэвино.

— Не могу я «чорным ружьем» и ножом терзать турка, так я его иначе сгублю и пользу христианам сделаю... Слушай же, сыне мой. Надо спешить. Ему, Шериф-бею, просватали теперь богатую невесту, дочь Пертэф-эффенди. Завтра или послезавтра свадьба. Надо налегать на него, пока деньги у него есть... Иначе он опять их расточит, и где мы их возьмем?.. А я твоему отцу готов даже половину отдать всего долга его, лишь бы мне другую половину счетом от турок получить... Подумай об этом, сыне мой... Не говори, что ничего не можешь... Бог

это знает! Постарайся... Польсти Бостанджи-Оглу, чтоб он у консула настаивал. Помни, говорю я тебе, что Шериф женится теперь на богатой и что ты можешь пособить отцу твоему приобрести деньги большие, или дом, или землю вместо денег, — когда бей вынужден будет продать. Смотри, теперь и деньги у бея есть, и консул русский молодец. Меняются обстоятельства. Разве не может завтра уехать Благов? Разве все русские консула такие, как он? Тоже и между ними есть никуда негодные...

Речь искуителя была сладка, и меня впервые поразила ясная мысль о возможности отцу моему внезапно приобрести довольно хороший капитал, который или здесь бы в Эпире улучшил и возвысил наше положение, или бы послужил по крайней мере к расплате с болгарским злодеем Петраки-беем на Дунае (пусть его дело вовсе несправедливое и долг отца небывалый вовсе; но ведь мы в *Турции*, и я не раз удивлялся терпению отца моего, который вот уже лет пять-шесть напрасно тратился и мучился, отстаивая права свои!..).

Да! слышать то, что говорил Исаакидес, было мне очень приятно, но... что я могу? вот вопрос.

Так я и еще раз сказал ему:

— Хорошо! Но что я могу? — В мои года и в моем положении...

Исаакидес кощунственно возразил мне на это словами псалма:

«Мал бех в братии моей и юнейший в дому отца моего: пасох овцы отца моего... Изыдох в сретение иноплеменнику и проклят мя идолы своими...»

На это я не ответил. Его лесть и корыстные надежды, которые он возбудил во мне, боролись в душе моей с тем все-таки неприятным впечатлением, которое производил во мне его ползающий характер... Конечно, что говорить. Хорошо получить пятьсот золотых или имение, или дом... Хорошо!..

— Еще рюмочку на дорогу, — говорил Исаакидес.

Я выпил еще одну рюмку на дорогу, кланяясь, благодаря и обещая сделать все что могу...

— А что могу, все-таки не знаю!

Наконец Исаакидес отошел от меня и, присоединясь снова к жене и господину Вамвакосу, продолжавшим еще вместе петь, начал тоже басом патриотический припев:

Эллада! Эллада!..

Я смотрел, где Кольйо... Но он опять куда-то скрылся... Я пошел искать его и нашел его внизу в сенях у открытого окна.

10 — Задыхаюсь, — сказал он. — На ветер свежий хотел... Пойдем домой...

— Что с тобой, Кольйо? — спросил я. — Ты опять печален?..

— Ничего. Голова болит...

Мы вернулись в комнаты и, простившись с хозяевами, ушли.

Исаакидес и жена его прощались с Кольйо очень ласково и ничем не отличали меня от него, ни приветствием, ни пожатием руки.

20 — Доброй ночи, Одиссей! Доброй ночи, Кольйо. Не забывают нас...

Но Вамвакос иначе простился с хозяевами, иначе со мной, иначе с Кольйо...

Не могу я изобразить как именно, только иначе. И Кольйо это заметил и еще больше огорчился...

Мы возвращались в консульство по темным улицам с фонарем и долго молчали.

30 Я все думал о чифтликe Шериф-бея, о доме его, о золоте и о том, зачем я так бессилен, что не могу ничего сделать? И еще было одно обстоятельство во всем этом деле, которое затрудняло меня... Я вовсе еще не знал, хочет ли отец мой делиться барышом с Исаакидесом или нет. Впрочем, думал про себя: «как бы не хотеть?»

Не знаю я, о чем с своей стороны размышлял Кольйо, но он вдруг прервал молчание наше вопросом:

— Нравится тебе этот Вамвакос?

Я отвечал нерешительно, соображаясь со своим собственным впечатлением:

— Как будто хороший человек. Просвещенный. А ты как его находишь?

— Хороший!.. — отвечал Кольйо, как бы не желая высказывать настоящих чувств своих.

Я, занятый моими коммерческими мечтами, не желал продолжать разговора; но Кольйо опять возобновил его с другой стороны.

— Думаю я иногда... Так... помысл пустой... Тяжела <sup>10</sup> жизнь, мне кажется, женщине молодой, когда у нее муж такой некрасивый и неопрятный, как Исаакидес... Ты как думаешь?

Я ответил ему на это поучительно, чтобы только он оставил меня в покое:

— Чтò ж делать, друг мой! Не всем Бог красоту дал. Все-таки таинство и учреждение... Честен брак и ложе нескверно...

— Ты прав, — сказал Кольйо, и больше мы ничего не говорили всю дорогу. <sup>20</sup>

По возвращении в консульство я нашел на столе моем письмо от отца, уже из Константинополя, а не с Дуная; он сообщал мне, что послал письмо и Благову с просьбой пощадить его и не лишать драгоманства, если он немножко еще опоздает; потому что он не совсем здоров и никак не может тотчас выехать в Эпир. Насчет дела Исаакидеса и Шериф-бея он писал так: «Как они (т. е. Благов и Исаакидес) находят лучшим, так пусть и делают». Итак, из неожиданного письма этого явствовало, что отец мой не только от меня не требовал никакого содействия в этой <sup>30</sup> тяжбе, которая меня начинала так живо интересоваться, но и сам почти отстранялся от нее, предоставляя все не зависящему ни от него самого, ни от меня ходу обстоятельств.

Но и я с своей стороны уже успел очень скоро вспомнить об одном важном условии нашего юридического быта в Турции.

Вот о какой именно: у отца моего был хотя и не совсем правильно приобретенный эллинский паспорт, а я был *райя* (на этот раз к счастью); так что в случае какой-нибудь конфискации или продажи чифтликов и домов они были бы, вероятно, записаны отцом на мое имя, а не на его собственное...

Собственность! Недвижимая собственность!.. Или уж и в самом деле все, все сверкающие звезды разом спешат восходить на утреннем небосклоне твоём, Одиссей мой <sup>10</sup> сердечный!..

Газеты пером Исаакидеса гремят о тебе, о! патриот-человек...

Вельможи русские раскрывают тебе двери жилищ своих... Молодые девушки сами хвалят и сами целуют тебя.

Безнравственная уступчивость твоя их сластолюбивым замыслам, по милосердию ли, или по чему-либо иному, не казнится...

В политику уже тыходишь!

Царское жалование идет...

<sup>20</sup> И если еще: «собственность» эта?..

Да! посмотрим, что скажет тогда Несториди, который шутил прежде, что я слишком уж добр и глуп и купцом быть не могу...

Шутил ли он?

На другой день уже с раннего утра я предался мечтам любостяжания...

<sup>30</sup> Учитель наш в гимназии возглашал громогласно и внушительно: «Печальные и унижительные для великой эллинской нации условия политической жизни сделали то, что эта *политическая жизнь*...»

А я, устремив на него почтительные и лжевнимательные взоры, думал про себя, слегка вздыхая, об одном имени Шериф-бея, в полутора часах ходьбы от города. Унылое место!.. Гора, на склоне ее белый, старый, пустой, препустой дом, бедное христианское селение, небольшая, но доходная мельница; мне уж слышался шум ее каскадов... Деревьев там очень мало... Вид, конечно, не весе-

лый, но есть кукуруза в обилии, есть и пшеница, и с них селяне должны, за то что живут на моей земле, уплачивать мне два на десять. Хорошо! Они ведь не рабы же, наконец, эти соотчики мои. И Авраам был богат; что ж такое!.. «Богатство еще течет — не прилагайте сердца...» Вот что нужно. Оно течет теперь нам в руки само: что ж я-то делаю худого? Селяне имеют право удалиться, если им неприятно платить. Свобода! Да! Конечно, оно так: «печальные и унижительные условия политической жизни...» Но вот как пойдут эти чифтлики, станут звать отца моего Полихрониадес-бей (как есть Фотиадес-бей); а меня, например, Одиссей-эффенди... И я мысленно повторял, как бы прислушиваясь в глубине души моей к приятности звука: Фуад-эффенди, Рифаат-эффенди, Гумбухиан-эффенди, Одиан-эффенди, Одиссей-эффенди... Нет, хороши, дьявол их возьми, эти турецкие имена! Да и чем же я виноват, наконец, тоже надо сказать и это. Видно час еще нам, элинам, освободиться не пришел! Всякая власть от Бога, и нравы турок несомненно смягчаются... Надо бы как-нибудь это право! Да, впрочем, Благоев<sup>20</sup> молодец, уж он выиграет тяжбу!

## VI

А между тем в той же самой душе моей, которую так ласкал шум мукомольных каскадов, раздавались и другие звуки, слышались совсем иного рода голоса и даже вопли... Зачем это дело ведется с Шерифом, а не с другим каким-нибудь подлым и злым турком?

Шериф-бей еще и прежде и сам по себе мне нравился, и были еще сверх того особые причины, которые расположили меня к нему и о которых расскажу. Да нравился он<sup>30</sup> и не мне одному, но и другим христианам.

Наружность его была довольно приятная, выражение лица очень доброе и располагало в его пользу. Говоря о внешности бея, я упомяну и о том, однако, что Шериф,

несмотря на свое положение в городе, на средства и кредит (которые были все-таки еще довольно велики), одевался очень дурно, но не иначе как по-европейски. Он ходил в феске, в широких панталонах дурного покроя и в ваточном пальто, недорогом и поношенном. С тех пор как я узнал, как люди одеваются хорошо по-европейски, и я стал больше понимать в этом и бессознательно жалел, что Шериф-бей надел это платье *цивилизации и моды*, с которым он и обращаться не умел. Приятное и молодое лицо его портилось еще и тем, что он, как многие у нас, редко брился. И эта черта была еще заметнее при плохой европейской одежде; небритый подбородок в восточной одежде придает только суровый и грубый вид; а при европейской он делает человека похожим на грязного нищего или на столичного вора.

Неприятно, конечно, было видеть человека, который построил такой великолепный дом и тратил так много денег, таким неопрятным. Но это все я рассуждаю *теперь*. А тогда я хоть и чувствовал смутно все это, но другие, гораздо более важные соображения заставляли меня с самого начала моего приезда в город смотреть на Шериф-бея с искренним дружелюбием, жалея только, зачем такой хороший человек не может креститься и стать членом нашей общины.

Недостатки Шериф-бея вредили только ему и разве семье его и ближайшим людям, таким же туркам, как он. Добрые же его качества прямо относились к нам, христианам, и были нам дороги именно потому, что были редкостью в турке.

Шериф-бей пил, например, но он пил и бывал пьян у себя дома или у других приятелей-турок, подобно ему падких до *раки*; из нас он в пьяном виде никогда никого не тревожил. Восточные люди всех вер и племен стыдливы и шума не любят. Ни турку, ни болгарину, ни греку, ни армянину нет никакой охоты в пьяном виде бить окошки и посуду и цинически выставлять всем людям напоказ свое буйство, свой разврат, свои оргии.

Шериф-бей разорялся от неумеренной жизни и от дурных распоряжений по хозяйству; но он не был христиано-борец и свою мать, христианку, так чтил и любил, как благослови Боже каждому из нас почитать и любить!

К тому же, и не разделяя мнения Исаакидеса, что турок позволительно грабить огромными процентами и даже фальшивыми расписками, все-таки можно сказать, какой же христианин станет ненавидеть тех мусульман, которые разоряются и вредят этим укреплению мусульманского владычества? Чем слабее и беднее турки, тем естественнее нам меньше ненавидеть их. 10

Шериф-бей был невежествен и кроме плохого чтения и письма на двух языках: турецком и греческом, ничему обучен не был. Но что было мне до этого за дело? Тем лучше! Это его дело, а не наше.

Важно было то, что его мать была христианка, что он позволял ей жертвовать доходы на православные церкви (как мы видели из истории бакеевских огородников, «обильно проливавших слезы под сению двуглавого орла»). Важно было то, что крестьяне в чифтликах его жили поноснее, чем у других беев и даже... чем у иных христианских старшин, скупивших у беев подобные чифтлики. 20 Важно было то, что он был со всеми вежлив и что приятная наружность его никого из нас не обманула.

Сверх всего этого была и еще одна личная причина, которая располагала меня к Шериф-бею.

Подобно тому, как дипломат Сабри-бей, служивший в Порте, был благосклонен к отцу моему за то, что отец подарил ему большой меццовский ковер с яркими узорами по белому полю, так и я был признателен Шериф-бею за серебряную сигарочницу очень тонкой, филигранной работы, которую он вручил мне по следующему случаю. Еще когда я до приезда Благова жил у отца Арсения, Шериф-бей заехал однажды к священнику по какому-то поручению своей матери. 30

Он был верхом на вороной, небольшой, но лихой лошадке своей, которую многие знали в Янине за то, что она



«плавала как змея, летала как птица и по скалам взбиралась подобно козе». Против обыкновения всех беев, которые по городу ездят всегда почти шагом и в сопровождении пешего слуги, Шериф-бей, не знаю почему, был один. На дворе у отца Арсения не было никого, и я, взяв под устцы прекрасную лошадку, с удовольствием водил и прохлаждал ее, пока бей сидел у священника.

Сбираясь опять сесть на коня и ехать домой, Шериф-бей поблагодарил меня и, не зная, кто я такой, предложил<sup>10</sup> мне бахчиш в пять пиастров; я сухо поблагодарил его. Тогда, обратив, верно, внимание на недовольное выражение лица моего, он спросил меня:

— А ты чей такой, мальчик?

— Я сын кир-Георгия Полихрониадеса из Загор, который только что русским драгоманом назначен, — сказал я с достоинством.

— Ба! Вы сын его? — воскликнул бей, спохватясь и подавая мне руку, — в таком случае простите мне и будем друзьями.

<sup>20</sup> Меня эта внезапная перемена тона очень тронула.

Потом он, как хозяин дома, занимаемого Благовым, заехав один раз в отсутствии консула, чтобы распорядиться починкой черепицы на кровле, застал меня в консульстве случайно и зазвал к себе. Ему, верно, хотелось расположить меня самого и еще больше отца моего в свою пользу, но тогда я, не думая вовсе о том, есть ли какая у отца сделка с Исаакидесом, не догадывался, что во внимании бея есть тонкое соображение, и приписывал все его любезности одним моим достоинствам и моей обворожительности... (в Янине многие меня хвалили, а я, сам не замечая того, внутренне становился все гордее самим собою).

<sup>30</sup> Шериф-бей угостил меня кофеем, хорошим табаком, предложил и раки с водой; выпил сам немного; сидел со мной долго на открытой галерее своего селамлыка \* и го-

---

\* Мужская половина дома, приемная.

ворил о разных предметах. Он сначала, впрочем, и подразнил меня даже. Но довольно невинно.

Это свидание наше происходило вскоре после того, как сеис и софта прибили меня.

Шериф-бей начал разговор с того, что сознался мне, смеясь (подливая себе раки), в дурном поступке...

— Сегодня я поступил *à la turka*, — сказал он. — Крепко избил своего сеиса и прогнал его... Подпруга лопнула в ту минуту, когда я садился...

— Эти сеисы такие звери! — воскликнул я неосторожно. Мне бы нужно было в угоду ему воскликнуть: «Все эти *слуги* так необразованны и варварозны!», так, как обыкновенно говорят архонты наши и дамы их, особенно при иностранцах... «Эти *слуги*» вообще, а я сказал «сеисы»... 10

Шериф-бей чуть-чуть улыбнулся и потом, серьезно устремив на меня взоры, заметил:

— Да! вот и вас сеис оскорбил... Какой беспорядок, что его не наказали!.. И за что это он вас? Говорят люди, вы какую-то турчанку в митрополию водили?.. Только я не верю... Что вам до турчанок?.. Вы человек молодой и нежный... 20

Я испугался на мгновение, что разговор принимает такой политический и религиозный оборот, а бей нарочно принял пресерьезный вид и все повторял с притворным презрением: «Как люди лгут. На что вам турчанка?»

И я нетвердым голосом отвечал:

— Сами вы знаете, бей-эффенди мой... Что мне турчанок водить...

Насладившись немного моим минутным страхом, Шериф-бей переменял разговор и, взяв со стола коробочку фосфорных спичек французской фабрики с отвратительными карикатурами, показал их мне, удивляясь, зачем это безобразие и какой тут вкус, и слово за словом начал уж очень серьезно жаловаться, что Европа нестерпимо вредит Турции своими мануфактурными изделиями; что лампы, фосфорные спички, дешевый фаянс и гнилые английские 30

ситцы и ковры, все это губительно и вредно для турок и для христиан, и вообще всех жителей Европейской Турции; что прежде, например, весь Эпир и Фессалия ходили в фустанеллах домашнего тканья, а теперь всюду эта афемская «американика». Расспрашивал меня, знаю ли я ткань, которую делают в селах люди из растения *спартá*... Одним словом, он повел беседу о коммерческих вещах, которые были мне с ранних лет понятны и как нельзя более доступны.

10 — Когда бы Турция наша была сильнее, — сказал он, — нужно было бы положить в Дарданеллах и во всех портах 50 % на сто, сто на сто на всякий европейский ввоз... А то это только разврат и разоренье для всех подданных султана... Эта франкья!..

Я соглашался со всем этим искренно, ибо и от отца своего слышал еще прежде и не раз, а очень часто, что слишком свободная торговля губит Турцию и что самое лучшее бы было, если бы Россия, господствуя в этих юго-восточных странах, могла бы положить неодолимый желез-  
20 ный предел европейской коммерции...

Отец мой полагал, что это стоит даже купить целым периодом кровопролитных войн вроде Греко-Мидийских или Пунических, из которых страны более бедные и менее промышленные всегда выходят под конец победительницами.

Я был очень рад, что бей завел со мной разговор о таких серьезных делах и, вспомнив еще, что отец мой, когда ему случалось вести подобного рода разговоры с турками или вообще с людьми, которым он вполне до-  
30 верить не хотел, заменял мысль о господстве России мыслью о «всеобщем военно-торговом союзе восточных государств, лишь под руководством России», подумал немного, можно ли это сказать (и отчасти, быть может, под легким влиянием раки) и выразился так в ответ бейу:

— Бей-эффенди мой! Ваша всеславность говорите правду. Но чтобы Восток мог противостоять коммерческому влиянию Европы — необходим союз Турецкой Империи,

Персии, Румынии, Сербии, Греции и Египта с Россией против Запада; тогда можно было бы изменить тариф и уничтожить весь этот ввоз. Я не могу припомнить цену, но отец мой говорил, что один золотник шолку, который в сыром виде высылают, например, адрианопольские купцы в Европу, возвращается в Турцию оттуда в виде шолковой материи, которой цена баснословна, если сравнить ее с сырым материалом... Нужен могущественный союз. Это мнение многих опытных людей, бей-эффенди мой. И я, конечно, ничтожный еще мальчишка, но имею уши и слышу, и что слышу, то теперь излагаю вам...<sup>10</sup>

Шериф-бей налил себе еще раки, выпил, вздохнул и, жалобно прищелкнув языком, взглянул на меня плутовски и сказал:

— Союз всех этих государств с Россией!.. Прекрасно! А слышал ты басню о *желтом быке*, *Сары-Окюс*?

— Нет, бей-эффенди мой, о *желтом быке* я не слышал.

— Жили три быка, — начал бей (все подливая себе раки). — Черный, белый и желтый (*сары-окюс*). Крепкие и с большими рогами. Пришел лев и говорит: «Заключим союз против других зверей и против охотников». Этот лев боялся напасть на трех быков разом, потому что двое из них могли бы проколоть ему бок в то время, когда он пожирает бы третьего. Быки не верили ему сначала, а потом согласились. И точно, лев долго охранял их верно и от охотников, и от других зверей. Потом, выбрав добрый час, он отозвал в сторону белого быка и желтого и сказал им: «Хорошо мы живем, но этот черный цвет очень неприятен. *Огурсиз*».\* Быки белый и желтый испугались и просили льва, чтобы он черного быка удалил. Лев его съел в удаленном месте. Немного погодя он сказал желтому быку: «Белый цвет очень опасен тем, что издали виден и привлекает охотников и зверей». И белого быка предал ему желтый бык, и он белого быка съел. А когда съел<sup>30</sup>

---

\* Дурное предзнаменование, дурная примета.

белого быка, то, лежа перед желтым быком, который теперь был один и защищаться уже не мог, лев все смотрел на него насмешливо и повторял, показывая ему свои когти: «Э! Сары-Окюс! Что-то мы, Сары-Окюс, будем теперь с тобой делать? Как-то мы хорошо с тобой, Сары-Окюс, будем теперь жить».

Рассказывая басню, Шериф-бей очень благодушно засмеялся и прибавил:

— Кто там ни остался бы последний из этих: Турция  
10 ли, или Персия, или кто другой, а все будет Сары-Окюс...

И мне, слушая его, пришлось вспомнить, как это говорят про турок все наши старики, и отец мой, и старик Стилов, и Константин, работник наш, и отец Арсений: «Хороший человек, а все-таки *турок*». Не в том непременно смысле, что всякий турок злодей или негодяй, а только *турок* и больше ничего, т. е. что у самого хорошего из турок всегда есть против христиан и против покровительницы их России если не острый нож в сапоге, то  
20 хоть камень скрытый в складках одежды... Они нам не верят и никогда не поверят, точно так же, как мы им не верим и никогда не поверим вполне...

Однако все-таки Шериф-бей был приятен и стал мне еще приятнее под конец этой занимательной беседы на открытой галерее с веселым видом на город и дальнюю крепость.

Как пример способности янинских жителей к художественной и мануфактурной деятельности, он вынул ту серебряную табачницу филигранной работы, о которой я упомянул, и начал ее расхваливать, любуясь, как сквозил фи-  
30 oletовый шолк ее подбоя сквозь нежные узоры белой проволоки.

— Восхитительно! — сказал и я.

— Нравится? Возьмите себе, — сказал бей.

Я, лицемерно поколебавшись, принял это как дар его дружбы с невыразимым внутренним восторгом... Это была первая в моей жизни серебряная, собственно мне, а не родителям принадлежащая вещь...

Потом мы простились, и я ушел тогда, довольный и моим умением говорить, и видом с открытой галереи, и забавною басней, а больше всего восхитительною табачницей...

«Благородный человек! Прекрасный человек! Как жаль, что он не хочет или не может креститься и стать членом душеспасительной нашей христианской общины!.. Благородный молодой человек!.. Видно сейчас человека старого очага и высокого рода... Хорошей души человек!.. Прекрасная табакерка!..»

10

.....  
Неужели тебе, друг мой, непонятно теперь, что шум той мельницы не мог заглушить вполне в сердце моем жалобных вздохов доброго бая, разоренного вконец, при моем предполагаемом (я говорю — предполагаемом, и только, — понимаешь?) участии...

Что ж это такое, наконец: доброта моя или мое мало-душие и неопытность?

И можно ли богатеть при подобных чувствах? И еще: как бы это без греха сохранившись хоть день на свете этом пожить нам, бедным, хоть немножко в уладу душ и телес наших страстных, о дружбе мой? Скажи ты мне, — а я не знал тогда, не узнал позднее и доныне, клянусь тебе, не знаю наверное, как?..

20

## VII

Шериф-бей и все родные его испугались, когда узнали, что Благов вдруг взял Исаакидеса драгоманом. Они, как ты помнишь, ничуть не боялись Исаакидеса, пока он мог вести тяжбу с ними только как простой греческий подданный. Хотя эллинский консул Киркориди был несравненно опытнее Благова в коммерческих и тяжёбных делах Востока (ибо Благов умел только с достоинством притворяться, что он все знает), но разница в политическом весе семидесятимиллионной России и свободной Эллады, которая по

30

материальным силам своим меньше многих отдельных областей Русской Империи, такова, что консул русский, хотя бы и вовсе незнакомый ни с юриспруденцией вообще, ни с тайными и нередко очень простыми пружинами турецких дел, мог и в судах влиять несравненно больше, чем самый искусный, самый ловкий и знающий эллин.

Поэтому-то Исаакидес и стал в глазах своих противников совсем другим человеком, когда он явился пред ними внезапно во всеоружии русской протекции.

<sup>10</sup> Абдурраим-эффенди сам поспешил немедленно к Коэвино; Коэвино пошел к Благову и что-то громко кричал у него. Шериф-бей, который и в первые дни по возвращении Благова сделал ему визит, пришел тотчас же еще раз, прежде чем Благов успел заплатить ему этот визит, и просидел часа два с ним наедине.

Немного погодя бей пришел и еще раз в консульство вместе с Коэвино.

Меня тогда не было дома, но я спросил у Кольйо, не заметил ли он чего-нибудь особенного? Не слышал ли он <sup>20</sup> хотя бы отрывками, о чем они говорили в то время, когда он подавал варенье и кофе? Не произносили ли имя отца моего или Исаакидеса? Кольйо сказал, что, когда он вносил прохладительное и кофе, то Шериф-бей рассказывал консулу о том, как один его знакомый турок был в России в плену и, приставивши оба указательные пальца ко лбу, мычал, а потом пальцем водил по горлу. Это значило: турок не знал по-русски и ходил по базару покупать себе сам говядину. Все смеялись. А больше ничего он не слышал; потом заметил, что и Шериф-бей и Коэвино ушли очень недовольные; <sup>30</sup> Шериф-бей был прегрустный и что-то шептал доктору, уходя; а Коэвино все молчал, ни на чьи поклоны внизу не ответил, собаку повара на дороге тростью ударил, и брови у него «вот так прыгали». (Кольйо сделал из рук себе как зонтики над глазами, и руки эти у него очень выразительно вздрагивали, а лицо стало жестоко и решительно.)

Я понял из этого, что Коэвино взбешен на Благова... Верно он приходил ходатайствовать за Шериф-бея и ни-

чего не достиг. Верно Благов сказал с возмутительную холодностью: «Очень жаль, очень жаль, что я в этом ничего не могу. Течение тяжбы должно свершиться. Д'эм-боро!\* д'эмбог'о!» Тем самым ужасным тоном, которым он мне говорил: «зди'астуй, Одиссей!», «пг'ощай, Одиссей!» — или же с тою же адскою радостью, с которою он иногда раздирал на части то Бакеева, то Бостанджи-Оглу...

Потом вдруг что-то изменилось; приехал к вечеру в тот же день нарочный из Превезы от тамошнего вице-консула и привез от него пакет донесений и письмо от Исаакидеса. 10 Г. Благов за обедом \*\* прочел все это, обрадовался и даже нам сказал: «Есть надежда повесить скоро колокол».

Бостанджи-Оглу поспешил принять живое участие в радости начальника и, скорчившись весь, спросил довольно глупо: «Из Превезы пишут?»

Но Благов, не удостоив его ответом и не dokonчив даже обеда, ушел к Козвино и там виделся еще раз с Шериф-беєм, за которым нарочно ходила Гайдуша.

До совершенной ясности для меня еще было, однако, все-таки далеко в это время; я начал только понимать, что 20 все три дела: дело колокола в Арте, дело отцовского векселя и дело страшного убийства в Чамурье как-то связаны между собой в уме ли Благова, или силой самих обстоятельств.

Я ждал с нетерпением, когда же начнет Благов тяжбу в тиджарете, и мне казалось, что из-за того одного, что Шериф-бей человек хороший, нельзя же нам с отцом век свой не расширять круга нашей деятельности.

Одно только воспоминание несколько пугало и смущало меня. Я припоминал, что отец мой пред самым отъездом 30 своим, именно после того как он вступил в неизвестное мне соглашение с Исаакидесом, был как-то печален и расстроен, все вздыхал и слишком часто повторял: «Увы! все мы люди!» Значит, он находил себя в чем-то не совсем

---

\* Не могу.

\*\* Обедает на Востоке в 7 часов и даже позднее.



правым. Отец мой был человек совестливый и честный настолько, насколько позволяет быть честным коммерческая жизнь.

Это так, конечно, но я сообразил, однако, и то, что если и есть отчасти подлог в документах Исаакидеса, то ведь не во всех же, а именно — отчасти; и не может же Шериф отрицать бóльшую часть своего долга...

Значит — не все нечисто...

<sup>10</sup> Для проверки мыслей моих я пробовал говорить об этом кое с кем; например, с Кольйо и с кавассом Ставри. Кольйо пожимал только плечами и отвечал: «Почем я знаю!» Но почтенный Ставри, который сам жил процентами с небольшого капитала (нажитого им еще прежде, вероятно, разбоем), очень ободрил меня, сказав:

— Конечно, так! Пусть турки, если у них есть мозг, различают хорошие расписки от худых. Разве это твое дело? Пусть греческий консул наказывает Исаакидеса за мошенничество, как нужно и как в Элладе наказывать за это полагается. А чтò же тут худого, если твой отец возьмет с Исаакидеса то, чтò прилично? Это ты хорошо сам понимаешь.

Эта речь Ставри очень меня развеселила. Прошла еще неделя; я написал второе письмо отцу и просил еще раз настойчиво его наставлений: «чтò мне отвечать, когда у меня будут спрашивать что-нибудь, и не нужно ли и мне действовать как-нибудь с моей стороны?» Справлялся я раз и у Бостанджи-Оглу, не начато ли опять дело в тиджарете, но он ответил грубо: «Не начнет никогда Благов этого грязного дела». Он желал, разумеется, оскорбить <sup>30</sup> этим моего отца и повторял с гримасой: «Такое грязное! Такое грязное дело!...» Так что я уже не стал больше обращаться к нему, а спрашивал все у кавассов. Они говорили раза три: «нет»; а на четвертый сказали: «сегодня начали!»

Я вздрогнул внутренно и ждал, чтò будет.

Мечты внезапного обогащения продолжали услаждать меня, и я предавался им теперь тем охотнее и тем бесстыд-

нее, что сам не мог, казалось мне, несмотря на все просьбы и советы Исаакидеса, ничего сделать для ускорения благоприятного для нас исхода.

Заговорить самому с Благовым, подойти к нему униженно и сказать ему так, как говорили ему у нас многие другие: «Прошу вас, сиятельнейший мой г. консул, нельзя ли».

Нет! Это ужасно!.. Этого я не мог! Одна мысль о том, как он с удивлением спросит: «Что? что?» или как все лицо его иронически просветлеет, когда я начну говорить... Эта одна мысль наводила краску стыда на щеки мои и полагала дверь ограждения на уста мои. 10

А мечтать, предоставляя все року и фортуне — я мог, и мечтал. Но и то не очень долго. На следующий же день после того как в торговом суде возобновилась тяжба эта, парамана отца Арсения пришла ко мне и сказала, что старый священник очень просит меня зайти к нему поскорей, как только я буду свободен.

Я тотчас же пошел к нему. У дверей церковного двора я увидел новую венскую карету Шериф-бея. 20

В карете не было никого. Я обратился к кучеру, турку, с вопросом: «Кто это приехал к священнику?», но кучер, окинув меня сердитым взглядом, спросил: «А ты сам кто такой?»

Я сказал этому варвару, что я сын русского драгомана, и надеялся этим смягчить его; однако напрасно; он молча отвернулся, почти презрительно взглянув еще раз на меня.

Когда я, ответив на его видимую грубость тайным презрением, вошел в прихожую, то услышал довольно громкий, но приятный женский голос из приемной отца Арсения, и парамана, выскочив из кухни, поспешно сообщила мне, что там сама мать Шериф-бея. 30

Отец Арсений тотчас же вышел ко мне. Он был немного взволнован и, дав мне поцеловать десницу свою, по обычаю спросил все-таки сначала, здоров ли я, здоров ли консул и т. д.; однако по беспокойному выражению лица

его я видел, что он сейчас спросит у меня что-нибудь более важное.

И точно, он начал так:

— Чтò мы теперь будем делать с этою женщиной? Она сокрушается о сыне своем. У них и без того в доме только что случилось большое несчастье. Жена молодая убежала от него к отцу своему. А почему она убежала, этого я не могу тебе сказать. А тут вот в тиджарете вчера начал Благов дело отца твоего... Приехала, просит и пла-  
10 чет, чтобы я уговорил митрополита нашего отлучить от Церкви Исаакидеса и отца твоего, обоих, за лжесвидетельство и обман... Безумные вещи!.. Чтò будешь делать с ней... мать! женщина... Чтò ты скажешь?

— Чтò мне сказать, старче? — отвечал я. — Разве я могу судить о таких великих делах...

— Не суди... Не суди... Я тебе говорю, чтобы ты знал только. Надо отцу скорее написать. Она просит также, чтобы я к Благову сходил, попросил бы его дело это при-  
20 остановить... Не могу я и этого сделать... А ты скажи мне, не знаешь ли, как отец твой в эту тяжбу запутался?

Я и ему сказал то же, чтò Благову, т. е. то, чтò знал.

— Больше ничего нет? — спросил священник пытли-  
во. — Пусть будет так. А может быть, и еще что-нибудь знаешь. Так ты мне скажи. Мне ты можешь сказать.

Я прибавил, что сам только на днях узнал навверное, что тяжба в торговом суде будет вестись от имени отца моего, а не от имени Исаакидеса.

Отец Арсений подумал, подумал, ушел опять в прием-  
ную, и немного погодя я услышал голос ханумисы: «Ниче-  
30 го! Ничего! Пусть войдет он сам...», и вслед за этим отец Арсений отворил снова дверь и кликнул меня.

Мать Шериф-бея сидела на диване без покрывала на лице. Как христианка, принадлежащая к турецкой семье и турецкому обществу, она соблюдала все турецкие обычаи только на улице и при многолюдстве; при свиданиях же запросто в домах, даже и с мужчинами, она лица не счита-  
тала нужным покрывать.

Она взглянула на меня так печально и поздоровалась со мной так приветливо, что я, как прикованный стыдом и почтением, остановился у порога.

— Подойди сюда, подойди ближе, дитя мое, — сказала она мне. — Здоров ли ты?

Я ответил, что здоров и благодарю «госпожу мою», и приблизился к ней робко, но с глубоким, внезапно проникающим сердцем мое сыновним чувством.

Я никогда не видал в жизни (и еще так близко и так просто) важной турецкой дамы... И эта турецкая дама, одетая по-турецки в очень широкие пышные шальвары из темно-синего ситца с красными мелкими букетами, и в беличьей шубке, крытой золотистым атласом, была такая же христианка, как моя родная мать.

Кирия Параскева (так звали ее) была не совсем здорова, и голова ее немного качалась.

Меня растрогали и худоба ее красивого пятидесятилетнего лица, и печальные взоры ее очей, и ласковый голос, которым она сказала мне этот простой, обыкновенный привет: «Здоров ли ты, дитя мое?» И то, наконец, что она была несколько смугла и черноока, подобно моей матери.

Эта тень далекого сходства поразила меня в самое сердце до того глубоко и неожиданно, что я почувствовал даже — не странно ли? — я почувствовал, что у меня ноги внезапно от жалости слабеют, как бывает от страха... Мы все трое помолчали немного. Ханумиса и священник сидели; я стоял. Она смотрела на меня внимательно и пристально; я на нее почтительно и снизу, стараясь немного потуплять очи; отец Арсений, ожидая от нее чего-то, глядел на нее.

Наконец кирия Параскева предложила мне сесть.

— Нет, я постою, — сказал я и продолжал стоять.

Тогда она сделала мне несколько вопросов один за другим:

— Здоров ли твой отец? Здорова ли мать твоя? Имеешь ли ты от нее письма? Ты в русском консульстве живешь? Хорошо тебе у консула жить? Деньги получаешь?

Я на все эти вопросы отвечал утвердительно.

— Какое же ты дело у консула делаешь, что он тебе деньги платит?

Я сказал:

— Пишу, переписываю.

— Он очень грамотен, — похвалил меня отец Арсений.

Кира-Параскева все продолжала вглядываться в меня, как будто собиралась с силами сказать мне что-то важное или тяжелое; и потом вдруг лицо ее покраснело, глаза заблестали, голова затряслась сильнее, но все еще сдерживаясь, она начала так:

— Хорошо, значит, тебе жить у москвича этого? А разве он добрый человек? Он человек жесткий, злой... Не жесткий ли и не злой ли он человек? За что он преследует моего сына? Мой сын никому вреда не сделал. Если Шериф дурен, для себя дурен... А из людей он никого никогда не обидел.

Я молчал в недоумении. Отец Арсений заметил с своей стороны, что я почти ребенок и в эти дела не вхожу, и про благодетеля своего дурно говорить не стану. Но кира-Параскева не слушала его и продолжала:

— Нет! Ты скажи мне, разве он хороший человек? Разве человек такой благородный не должен быть в своем слове тверд... Ты знаешь ли, что он сказал моему сыну? Ты знаешь ли...

И она дрожа приподнималась немного с дивана, приближаясь в увлечении речей своих ко мне:

— Ты не знаешь? Ты не знаешь?..

— Почему ему знать, он ученик и дитя еще, — опять защитил меня отец Арсений. — Пусть он лучше идет домой. Он ничего не знает... А ты, госпожа моя, успокойся. Если можно, он напишет отцу своему все что слышал, и пусть отец решает, как быть делу...

— Нет! Нет! Стой, стой, — сказала она, — слушай. Если ты не знаешь, что Благов сказал моему сыну, я скажу тебе. Он сказал ему: «Верьте мне, бей-эффенди

мой, что душевно я нисколько не расположен помогать противу вас всем этим купцам. Вы турецкий бей, я сам бей московский. И я очень хорошо понимаю, как вам тяжело с ними бороться, как они с вас проценты берут, и все, и все!.. А буду делать только, что́ надо по закону и через великую нужду!..» Слышал ты это? Слышал это? Нет, ты скажи мне, сын мой, слышал ты эти слова сладкие?

Я сказал:

— Теперь от вас слышу, кира моя...

Отец Арсений улыбнулся. Кира-Параскева оскорбилась и, утихнув на минуту, вздохнула и сказала: 10

— Не веришь мне? Как хочешь; это твое дело. А я тебе говорю, что это не благородно. Такие слова говорить, и двух недель не прошло, как и он, и Киркорида напали на сына моего и требуют продажи имения его с публичного торга для уплаты Исаакидесу. Исаакидесу, вору, мошеннику, подлецу этому. Шериф мой никому не вредил, никому, никогда. Пусть он турок! Пусть! Это для его души гибель, а людям что́?

Голос ее прервался, и она начала рыдать. Я не знал, что́ мне делать. Отец Арсений с участием смотрел на нее и твердил: 20

— Успокойся! Успокойся!.. Вот он напишет отцу. Ты напиши, Одиссей, отцу, нельзя ли подождать до его возвращения... Успокойся, кира моя, умолкни... Смотри, чтобы здоровье твое хуже не повредилось от огорчения... Отец его скоро вернется; он человек хороший...

Но кира-Параскева вдруг отерла слезы, встала с места и с энергическим движением, простирая руки, начала про-  
клинять Исаакидеса. 30

— Этого вора! Этого подлеца!.. Анафемский час его рожденья... О! чтобы душа его никогда не спаслась... О! если б я могла привязать его к хвосту лошадиному и разорвать его на четыре куска, и кинуть их во все четыре стороны. Эти куски анафемские проклятого его тела...

Напрасно отец Арсений старался прервать ее, напрасно он возвышал голос, раздраженная мать была неуправима

и, не обращая никакого внимания на священника, она подошла ко мне и, слегка трогая меня бледною, нежною рукой своей на груди за одежду, говорила опять уже кротко:

— Слушай, слушай, Одиссей, слушай меня, старуху. Я христианка такая же, как ты, как отец твой, как мать твоя... Дай Бог ей много жить и здравствовать, бедной... Слушай. Мать твою ты любишь? Ты должен ее любить. Мать твоя жалеет тебя? А я, разве я не должна жалеть сына моего оттого, что он турок? Чтò делать мне? Это правда, он турок... А ты знаешь, какой он турок? Знаешь ли ты, что он позволил людям повесить колокол на церкви в чифтликке своем? Да! И висит теперь колокол уж год... «данга-данга!» звонит в праздники! Там он хозяин; ни паша, никто не заставлял его и никто не мешал. А сказал он деревенским людям: «За это дорогу поправьте, по горе ездить нельзя ни вам, ни мне, ни чужим людям». И поправили люди дорогу, и он сам, снявши пальто, впереди всех работал... Понял ты теперь? И еще одно слово я тебе скажу, а потом иди себе. Я скажу тебе, что деревенские христиане хотели у входа на задней стене в церкви его портрет написать, как пишут портреты благодетелей. Но сын мой сказал: «Нет, не надо. Это и по вашей вере не совсем выйдет хорошо, и по моей неприлично!» Теперь иди, иди, иди пиши отцу... чтò хочешь. Я тебе сказала... О! Боже! Боже мой.

И она, утомившись, села на диван, утирая платком глаза. Я не знал, уйти ли мне или нет, и смотрел на священника вопросительно.

<sup>30</sup> Отец Арсений понял мой взгляд и сказал мне: «иди». Я, поклонившись, вышел в сени, а он тотчас же за мной и сказал мне тихо:

— Это правда. Шериф-бей, хоть и турок, но человек хороший; он лучший из всех турок здесь в городе. Они разоряются, и как бы не пришлось ему и тот дом, в котором Благов живет, продавать. Он пьет и денег не считает. Отцу напиши, что вот мать Шериф-бея приезжала про-

сить меня, Арсения, чтоб Исаакидеса и отца твоего митрополит отлучил от церкви. Но это, конечно, не годится. А ты все-таки напиши, что слышал... Как он прикажет...

Я возразил на это:

— Старче, напишите лучше вы сами моему отцу; а я пошлю вместе с моим письмом.

Отец Арсений сказал, что подумает, и сообщил мне при этом, что ему приходит в голову, не оттого ли Благов начал вдруг, не дождавшись моего отца, дело в тиджарете, что он не совсем доволен Шерифом; Шериф обещал консулу постараться через других беев в Превезе или Арте, чтобы там непременно повесили колокол. Колокол этот уже довольно времени привезен из России, и его все не вешают.

— Вот Благов и недоволен, — прибавил отец Арсений с лукавою улыбкой. — Так мне говорил, знаешь кто? Коэвино; и просил меня уговорить господина консула отложить дело Шерифа до возвращения твоего отца. А мне как в это мешаться?.. Не знаю, правду ли говорит доктор. Тайные вещи отсюда, тайные вещи оттуда... Лучше ты узнай от кого-нибудь. И мне скажи. Тогда отцу вместе и напишем.

Я вышел очень смущенный от отца Арсения и остановился в раздумье у ворот. Я не знал, что мне теперь придумать.

Если бы сам Исаакидес был в это время в Янине, то я пошел бы к нему и, не говоря ни слова ни о колоколе, ни о свидании моем с матерью Шериф-бея, выспросил бы у него только о том решительно, какая же именно эта сделка у него с отцом моим и большие ли выгоды придутся на нашу долю, если они получают все деньги сполна за конфискацию хотя части имений Шериф-бея. Я очень боялся, чтобы вмешательством моим не испортить как-нибудь отцовского оборота. Если б я знал тогда наверное, что дело идет только о тех двухстах лирах, которые отец взял у Исаакидеса, чтоб ехать осенью на Дунай, то это еще ничего. Занял — отдаст; а если отец без отдачи взял за



ведение своей тяжбы от его имени и с особыми условиями, то это дело совсем другое.

Что́ делать? Как понять все это?

Здесь наши выгоды, здесь страдания и заботы больного отца на чужбине; там политическая тайна, дело колокола в Арте, дело столь дорогое и для меня, как для православного грека эпирского. Тут убийство это в Чамурье. Джеффер-Дэм друг Ибрагиму; Благов хорош с пашой. У Шериф-бея тоже есть друзья и родные в Чамурье.

- <sup>10</sup> Потом от Шериф-бея убежала домой молодая жена. Отец Арсений говорит: «А почему, этого я не могу тебе сказать!» Жалко кыры-Параскевы, жалко колокола, жалко выгод отца (они же ведь и мои — все равно!). Жаль даже, очень жаль самого Шериф-бея... Пожалуй, в иные минуты... хотелось бы и этому Исаакидесу быть полезным и приятным... Табачница Шерифа пойдет когда-нибудь на расплавку и в лом какой-нибудь, а печать — дело веков, и в печати, в афинских газетах, на скрижалях истории, пером этого... да! этого самого Исаакидеса ведь написано:
- <sup>20</sup> «Благородный, мужественный юноша Одиссей Полихрониадес подвергся...» (По делу Назли.)

Что́ лучше, слава или злато (ну — или серебро — все равно), — реши ты, мой друг, а я не берусь!

Я хотел, наконец, видеть ясно во всем этом лабиринте, в котором нить Ариадны держал один только Благов, и решился пойти к Коэвино, чтобы попытаться хоть от него узнать еще что-нибудь и о колоколе, и о тяжбе, и о семейных горестях Шериф-бея; отчего это и как, и когда это убежала от него молодая жена?

- <sup>30</sup> Случилось это, видно, очень недавно, может быть, вчера или дня два тому назад, не более, ибо, хотя о домашней жизни турок мы знаем несравненно менее, чем о семейных делах горожан православных, и даже большею частию не совсем ясно и понимаем, что́ у них в гаремах может делаться и случаться, но бегство богатой молодой девушки, только что соединенной узами брака с одним из самых известных в городе мусульман, случай слишком порази-

тельный и редкий, чтобы не обратить на себя общего внимания. Однако до меня и до всех меня окружающих об этом и слуху не доходило.

Итак, с твердым намерением употребить все усилия моего загорского, купеческого и политического, хотя и незрелого ума, чтоб узнать от Козвино все, что он знает сам, я поспешил от отца Арсения прямо к нему.

## VIII

Доктора за последнее время было нелегко заставить дома. Все, что я рассказал тебе, мой добрый друг, о Джеффер-<sup>10</sup> Дэме, о трагической смерти молодца Панайоти и о колоколе, и об отъезде Исаакидеса и Бакеева, и о моем свидании с матерью Шериф-бея — случилось не разом, конечно, не в два-три дня, а следовало одно за другим в течение по крайней мере двух-трех недель, не помню наверное.

Пока Александр Михайлович Благов наслаждался своею изобретательностью и тонким соединением отважной предприимчивости с тем макиавеллизмом, который так нравился всем без исключения христианам Востока и мог только усилить его популярность; пока Шериф-бей и все родные<sup>20</sup> его, подавленные разом несколькими неудачами и горестями, забывали турецкую гордость и старались заискивать у всех: у приближенных Благова и даже у меня, — во все это время доктор почти не бывал дома и все часы, свободные от визитов, проводил в доме столяра куцо-влаха, мастера Яни, на дочери которого он задумал жениться.

Одевшись во все лучшее, он уходил в дом мастера и сидел там, разговаривая то с матерью, то с самой невестой (которая, как говорят, была в самом деле довольно мила),<sup>30</sup> вопреки всем преданиям и обычаям города.

Бедный мастер Яни был так польщен, что доктор сватается за его дочь, что решился уступить его требованиям и позволял ему видаться ежедневно, и днем, и вечером, с невестой и просиживать с нею по два, по три часа. Конеч-

но, их ни на минуту не оставляли одних; то сидела с ними мать, то приходил сын, молодой подмастерье в синем куцо-влашском безрукавнике и шальварах, и, не обращая внимания на вздрагиванья докторских бровей и надменные взгляды, с почтительною улыбкой садился вдали на край дивана слушать, как доктор просвещал сестру и рассказывал, то со слезами умиления, то с хохотом торжества, о свободе девичьих нравов в Европе, о прогулках под руку, о вальсе и кадрили, о том, что кавалеры садятся там около <sup>10</sup> девиц, а отцы и матери радуются этому и гордятся этим. Или, наконец, о том, что в Англии был один Шекспир, который писал про Италию и описывал, что на балу Юлию (дочь «виконта»!) берут молодые люди за обе руки без перчаток! И он брал невесту за руку без перчаток, а та смотрела на брата и глазами спрашивала: «теперь что ж делать мне, буря и погибель моя!» А мать или брат говорили доктору жалобно: «Где у нас, у яниотов, такое политическое просвещение!.. Вот вы только идете по улице, так криком все соседки кричат, и у калиток, и в окна: Коэвино к Маригó столярной пошел! И ставни решетчатые так и стучат, все кидаются в них смотреть».

Было и еще одно затруднение; доктор хотел, чтобы невесте купили хорошую шляпку и сделали бы платья все по последней моде, как у *madame* Бреше, чтобы юбки были длинные и сзади влеклись бы по полу и чтобы дали два ореховые комода в приданое. Но таких платьев, как у *madame* Бреше, шить никто не брался; все шили здесь круглые и короткие юбки, чтоб они колоколом только стояли на огромном *малакофе*.<sup>\*</sup> Шляпку тоже негде было <sup>30</sup> вскорости порядочную достать. И насчет комодов мастер Яни очень затруднялся; скоро великая Четыредесятница; дочь компрометирована; один комод поспеет, а другой где взять?.. Доктор уступил, но сказал, чтобы хоть один комод кончали скорее... Он и сам начинал бояться, что раздумает жениться, и постоянными посещениями поддер-

---

\* *Малакоф* — кринолин.

живал в себе подобие любви к этой простенькой девушке... Поэтому его дома застать было в это время очень трудно.

Я застал одну Гайдушу; и это было к лучшему. Доктор почти все, что знал, рассказывал ей, а она могла передать мне все спокойно и гораздо лучше, чем он сам, без крику, без вводных эпизодов, без утомительного шума и хохота.

Я не мог понять, как она смотрит на семью столяра и на желание доктора жениться. Казалось, как будто бы она смирилась пред мыслью о законном браке и не находила себя вправе за это осуждать Коэвино.

10

— Доктор все у невесты, кира-Гайдуша? — спросил я, не желая обнаруживать сразу настоящую причину моего посещения.

Гайдуша усмехнулась и отвечала:

— У невесты. Вся махала \* голову потеряла. От окошек с утра не отходят. Все сторожат, когда он пойдет к невесте. Варварский народ!..

— Но ведь у нее нет приданого? — сказал я.

— Доктор не любостяжатель. С его ученостью и даром, который он от Бога имеет, деньги он и сам найдет.

20

— А собой она хороша? — спросил я еще.

— Молодая, — холодно отвечала Гайдуша. И, как бы желая переменить разговор, сама начала спрашивать у меня, что делается в консульстве и какие меры принял Благов относительно убийства в Чамурье? Были ли селяне у других консулов, и что им консула сказали, и куда поехал Исаакидес? Правда ли, что он именно в Нивицу и поехал, чтоб обстоятельнее все расследовать? И о колоколе артском даже спросила.

Я очень обрадовался и, ответив ей на все это как следо-  
вало и как было прилично, стал сам ее расспрашивать о семье Шериф-бея, о бегстве только что прибывшей в дом его богатой молодой жены и обо всем, что мне было нужно.

30

Гайдуша была истинно великого ума женщина. Я не шучу, утверждая это.

---

\* Квартал.

Она не только с восхитительною ясностью изобразила мне секретные семейные дела Шериф-бея, но объяснила даже мне как нельзя лучше многое из политики Благова, отчасти по собственным догадкам и предположениям, отчасти по тому, что знала чрез Коэвино. Исаакидес старался, нельзя ли теперь, сейчас, поскорее разыскать что-нибудь с Шериф-бея, потому что дядя и мать только что сосватали ему одну из самых богатых и знатных невест города, Азизе-ханум, дочь Пертеф-эффенди.

10 Об этом Пертеф-эффенди Коэвино говорил, сверкая глазами: «О-о! Пертеф-эффенди! А-а! Пертеф-эффенди... Это тот Пертеф-эффенди, которого отец дерзал бороться с самим Али-пашой Янинским... О-о! А-а!.. Пертеф-эффенди»...

И не только один Коэвино, но и старик Мишо, почти немой и ко всему равнодушный, тот *красный с белым* старик Мишо, которого так уважал Благов, говорил о Пертеф-эффенди с глубоким вздохом: «Поднял ношу этот человек в молодости своей!»

20 Пертеф-эффенди именно ношу поднял, и спина его с ранних лет не могла уже разогнуться. Безжалостный Али-паша, враждуя с отцом его, возненавидел и детей. Пертефа еще отроком он посадил в подземелье своей крепости, в особом углублении, в стене, и посадил надолго, так что Пертеф там рос, не имея места выпрямиться никогда во всю длину тела. Так он вырос, и, когда дверь тюрьмы отворилась пред ним, его стан был уже согбен на всю жизнь. Он был очень богат, и Азизе-ханум была его младшая и любимая дочь. В Янине привычны люди (и

30 христиане, и турки) давать за девицами большое приданое, и без приданого не берет никто, ни богатый, ни бедный.

Гайдуша о самой Азизе-ханум говорила мне так:

— Эта девушка очень горда и очень благородна. Не могу я сказать, чтоб она была красива, бедная... Бела она, это правда, и очи имеет черные, большие и огненные. Доктор ее лечил и в гареме часто бывал у них. Он с турчанками очень прост, и они с ним не стыдятся; потому

что привыкли к нему. Он хвалит ее ум и говорит, что она даже хорошие двустушия на греческом языке сочинять умеет. И ум есть, — продолжала Гайдуша, — и глаза огненные, и рода высокого, и денег много, и лицом бела. Однако судьбы ей хорошей нет, куропаточке бедной... Худа, и есть у нее, все равно как у меня, — прибавила еще Гайдуша с каким-то внезапным лучом не то гордости, не то гнева в глазах, таких же огненных, как и очи албанской дворянки, о которой она говорила, — есть у нее недостаток, как у меня... Я хрома, а она кривобока... Это от Шериф-бея скрыли. Переехала невеста к нему в дом. Вошел к ней жених. Пробыл там минутку, возвратился к матери и со слезами на глазах сказал ей: «Мать моя, что ты сделала! Я ее видеть не могу... Я не могу приблизиться к ней!» Вот какое оскорбление! И кира-Параскева, и Абдурраим, его дядя, усовещивали его и просили... И говорили: «Ведь она молоденькая: ей всего семнадцать лет. Ум есть, богата...» А Шериф только вздыхал и говорил: «Не могу я приблизиться к ней!...» Вот горе! Долги, разоренье, люди роскошные, знатные... Очаг старинный и славный... Все пропало!.. Хорошо. Уговорила его мать возвратиться к невесте. Он возвратился; но Азизе-ханум заперла дверь и не пустила его. На другой день еще хуже. Турчанки знакомые пришли поздравлять. Азизе-ханум не выходит к ним. Пошел муж просить у нее извинения и обещает жить с ней хорошо и любить, и говорит ей: «Послушай, Богом я тебя заклинаю, похорони ты меня лучше после, только не срами и выйди к этим женщинам!» А она как взглянет на него страшно и как засмеется, и спрашивает: «Хоронить? Хоронят люди близких людей. А я тебе что?» Он и так, и эдак, и оттуда, и отсюда, но Азизе-ханум как львенок озлобилась, схватила себя за волосы и, топнув ногой, закричала на него: «Не хочу я!!» Опять затворилась; послала отцу своему сказать, чтоб он за ней карету прислал, и уехала... И остался наш Шериф-бей без жены молодой и опять без денег... Был он тут у доктора после этого и даже заплакал, потому что в эти самые дни и в тиджарете

г. Благов начал дело Исаакидеса. Ты хотел знать, что случилось. Теперь я сказала тебе.

Так говорила Гайдуша, и я еще лучше понял горе кыры-Параскевы, которая не знает, как спасти сына от дурной жизни и разорения. Но всего этого мне было мало. Я сказал еще Гайдуше:

— Кира-Гайдуша, вы с моего приезда в этот город были добры ко мне; дай Бог вам жить! Скажите мне, очень я вас умоляю, что говорит доктор об этой тяжбе и  
10 что вы сами знаете? Я хоть и сын отца моего, но что такое тут кроется, я не знаю...

Гайдуша улыбнулась многозначительно.

— Ты сын отца своего? (И она головой покачала.) Я знаю, что ты сын отца твоего и что вы оба загорцы. Только я думаю, когда глаза мои на тебя глядят, что отец твой в твои года много меньше твоего дьявол был... Хорошо ты льстить людям умеешь... Что будет из тебя, морé, позднее? Однако я тебя люблю, и хитрость твоя мне нравится... Я тебе скажу, что я знаю очень многое, больше, чем ты дума-  
20 ешь. Но я хотела бы тоже знать, на что это тебе?

Я отвечал ей так:

— Положим, кира-Гайдуша, что я загорец и что в делах имею глаза открытые; только по совести я вам скажу, что мать Шериф-бея просила меня отцу моему написать, чтоб он помешал Исаакидесу теперь требовать всех денег с ее сына и уговорил бы его на сделку пойти. Я вот и хочу знать, что это такое тут кроется?

Гайдуша села на пол и, задумчиво помешивая щипцами уголья в мангале, сказала:

30 — Ты не выдашь меня Благову?.. Поклянись.

Я поклялся Богом.

— Хорошо, — сказала она, — я все знаю и все скажу тебе. Не пиши ничего отцу. Не надо. Благов ничего Шерифу не сделает... И твой отец даже ничего, ни даже одного пиастра лишнего не получит. А придется твоему отцу возвратить Исаакидесу те двести лир, которые он взял у него. А тогда Благов возьмет бумаги эти все и

бросит Исаакидесу в морду... Скажи мне, звонит ли колокол в Арте или не звонит?

— Не знаю! — прибавил я и сказал, что было от Бакеева известие, но все-таки, кажется, еще не звонили...

— Ну, подумай тогда сам... Подумай о том, что у Шериф-бея есть родные в Арте и Превезе, и если будет колокол звонить, так Исаакидесу дела своего не выиграть. Благов не станет им заниматься. Ему колокол нужен, а о том, есть ли у отца твоего деньги от Исаакидеса или нет, большая ему забота... Благов думает о больших вещах, а не об отце твоём и об Исаакидесе...<sup>10</sup>

Итак, все это было ясно теперь! Шериф-бей должен был хлопотать, как знает, о колоколе в Арте; Бакеев должен был хлопотать о колоколе в Арте; вице-консул в Превезе должен был хлопотать о колоколе в Арте; Исаакидес на свои деньги должен был заехать в Превезу и Арту и стараться в ущерб себе и не зная даже, что его враг Шериф-бей ему тайно помогает и самую эту помощью вредит, стараться все о том же колоколе в Арте. Каймаку артскому был обещан Св. Станислав на шею за этот колокол. Имя отца моего должно было явиться в судилище лишь для того, чтобы все этот же колокол возвещал медным гласом своим на весь Эпир православный: «Братья-греки!.. Братья-греки!.. Не изменяйте России. О! братья-греки... Замолкли на время ее пушки... Но не замолк ее звучный голос... Не настало время снова звать вас к битве; оно опять придет... Но пока глас России зовет вас на мирную молитву в святой храм того Православия, которым вы ее, Россию эту великую, когда-то просветили... Братья-греки!.. Братья-греки... Не бойтесь... Пока в России есть такие молодцы, как я, Александр Благов, не попрут и вас, элины, никакая вражда, никакое иго, никакие усилия злобы...»<sup>20</sup>

После этих слов Гайдуши мы оба долго и задумчиво молчали. Она все сидела на полу у мангала. Наконец она сказала:

— Он не любит купцов.



— Кто? — спросил я стремительно.

— Благов, — отвечала Гайдуша, и выражение лица ее стало загадочно и таинственно.

— За что? — воскликнул я обиженно.

— Вот постой, — сказала она. — Однажды я сидела тут же на полу у мангала и говорила с ним и с доктором. И сказала я ему такое слово: «Я безграмотная дочь меццовского пастуха... я не архонтская дочь, не купеческая!..» А он: «Это-то и хорошо... Мне пастухи больше купцов нравятся... Они гораздо благороднее!..»

После этих, столь удивительных и обидных для меня и семьи моей слов Гайдуша прибавила еще:

— Будь покоен, будь покоен; ты хотел правду знать и то, что я об этом думаю... Вот я думаю, что Благов ничего бею не сделает, если колокол в Арте повесят... А впрочем, не знаю.

Тогда и я решился передать ей слова кыры-Параскевы о том, что Благов сказал Шерифу: «Вы бей турецкий, я бей московский, и я вас жалею, а не этих купцов...»

— Видно вы правы! — сказал я.

Однако на это Гайдуша возразила:

— Оно так! Но кира-Параскева и солгала немного. Благов это здесь, доктору говорил. А турку он сам таких слов не скажет. А доктор уж, утешая Шерифа, передал ему это. Благов, не беспокойся, знает как поступить надо.

Потом Гайдуша встала и пошла варить для меня кофе, а я все сидел в большом раздумье, понимая наконец, что не только я, но видно и отец мой тут ничего не может... И еще гораздо больше, чем тяжба, меня занимала теперь столь новая для меня, столь ужасная мысль, что будто бы пастухи благороднее нас, торговцев!.. Странно! Неслыханно! Обидно это! И почему же?..

Вдруг раздался внизу громкий, повелительный стук железного кольца в дверь, и, выглянув в окно, я увидел, что стучит кавасс Маноли, а за ним стоит сам Благов. Я побежал отворять ему.

Благов вошел в сени и на лестницу так поспешно, как он никогда еще при мне не входил; лицо его было также необыкновенно весело и светло. Самое его приветствие: «А! Ты здесь, Одиссей! Здравствуй!» было не обычное, холодное, а в самом деле дружеское приветствие.

Он велел скорее позвать Гайдушу и сказал и ей по-гречески шутливо и любезно, слегка подражая грекам в интонации и в выборе слов:

— Как поживаете, как поживаете, сударыня? Здоровы ли вы? Я здоров, я очень хорошо себя чувствую. 10

Во всех движениях его была заметна мало свойственная ему радостная живость. Он хотел сначала послать Гайдушу за доктором и на словах пригласить его возвратиться домой сейчас же; потом раздумал и, написав ему записочку, послал с этой запиской кавасса и даже прибавил:

— С кавассом лучше. Доктор любит с кавассом ходить по улице... Не правда ли?

Он приказал еще и на словах просить доктора прийти скорее и потом, обратясь ко мне и Гайдуше, сказал:

— Знаете, колокол повесили. 20

— Zito! — закричала Гайдуша.

Так вот чему он был так рад, что даже скрывать своей радости не хотел!

Итак (если только Гайдуша не ошибалась), наше дело с Исаакидесом должно быть положено в мешочек и повешено на стену, как делают в турецких канцеляриях, и подиши его после в таком мешке!

Итак, унылое, но столь полезное имение с мельницей уже не будет никогда моим!.. Одиссеем-эффенди я не сделаюсь скоро! И мне остается теперь только радоваться на этот колокол в Арте и восклицать, подобно Гайдуше, в патриотическом восторге: «Zito Россия, столб Православия!..» Купцов он не любит! Извольте видеть, у него пастихи лучше!.. И почему же это они лучше? Э! что ж, и это хорошо!.. Будем кричать: «Zito Россия!» О! свет! Обманчивый свет!.. Что ты такое, суетный свет? Одно мелькающее привидение и больше ничего... Строго говоря, впро- 30

чем, ведь Шерифу и кроме мельницы осталось бы еще чем жить, я думаю... Отец, мой бедный отец. Где ты?.. Но этот жесткий человек (теперь и я согласен, что он жесткий), ведь он не любит тебя?.. И ты купец! Zito Россия! Пусть будет так.

Так думал я, сидя молча в уголку, а ведьма Гайдуша тоже молча бросала на меня издали сатанински-веселые взгляды.

## IX

10 Дела! Дела!..

Такого рода дела волновали меня приятно... По голубой воде пробегала то там, то сам лишь мгновенная зыбь...

Такого рода дела, как дело Нивицы, как дело колокола, как тяжба Шериф-бея — это наша жизнь на Востоке.

Укоров совести не было; страх (тот вечерний страх позорного изгнания) давно прошел... Забывалось даже понемногу и неприятное недоумение при мысли: «отчего же этот московский сфинкс молчит так странно и не читает мне наставлений по поводу моих грехов с Зельхой?»

20 Унижен я никем теперь не был. Скорее даже я был чуть-чуть и незаметно для меня самого сначала превознесен за этот первый месяц моей жизни под русским флагом. Люди старшие, люди опытные, богатые, даже лица господствующего мусульманского исповедания, и те почти что искали моей протекции. В городе очень многие уже знали меня по имени; были даже и такие люди, которые называли меня: «сын души русского».

Вообще я был покоен духом, и даже мираж моего приятно-полезного, уныло-доходного чифтлика, внезапно явившийся на дальнем небосклоне моей карьеры и внезапно исчезнувший под холодным дыханием арктического самовластия, даже и мираж этот, рассеявшись, оставил меня не в месте пустынном, непроходном и безводном, а в милой комнатке моей с дальним видом на черепичные кровли и сады, и на тонкие минареты горы, величаво увенчанные по утрам густым, синим туманом, среди кото-

рого то появлялись, то медленно таяли другие, светлые облака.

Астры и розы моего дивана были все так же многоцветны и крупны; стол письменный — все так же просторен; окошко светло; обед обилен и вкусен. Кавассы и Кольйо любили меня. Алеко-сиротка каждое утро радушно приносил мне еще пылающий слегка мангал, чтобы мне было теплее вставать (так как февральские дни у нас иногда еще очень свежи). Он даже клал нередко в уголья мангала лимонную корку, чтобы лучше пахло. 10

В училище все шло хорошо; статистика отцовская, за переписку которой русское Императорское правительство уже платило мне деньги, сама по себе была занимательна и представляла для меня очень много нового.

Так, например, ты помнишь, что самые первые мои встречи с турками в Янине оставили в уме моем скорей довольно благоприятные для них впечатления, чем тяжелые, именно потому, что я ждал от них худшего... Ты помнишь также, что и на оскорбивших меня молодых мусульман я не очень долго гневался искренно; Благов так скоро и так крепко отомстил им за меня, и сам я был после столько похваляем соотчиками за мое самоотвержение в деле Назли, что глубокому гневу против сеиса и софты не осталось и места среди триумфальных моих ощущений. 20

В свободной загорской республике нашей, ты знаешь, тогда даже ни мудира, ни кади не было и сами жандармы заезжие к нам держали себя осторожнее в наших селах (где дома такие архонтские и люди такие богатые, грамотные и со связями), чем держат они себя в округах поработанных и глухих. 30

В отцовской же статистике я находил, между прочим, печальную и точную картину прежних, еще недавних албанских набегов, разорений и убийств, от которых не умела или не хотела защитить нас бессильная власть, царящая вдали, на божественном Босфоре.

И если все это утихло и умиротворилось на время, то не ясно ли было всякому, что и роздых этот был бы не-

возможен, если бы холмы и камни Севастополя не обогрились русской кровью и если бы западные союзники Турции, понуждаемые Россией, не вынуждены были требовать от нее хоть сколько-нибудь сносной жизни для подвластных ей христиан.

И мало ли что было еще в этих отцовских тетрадах!..

Мне хотелось переписать их для Благова как можно больше и скорее; и не раз, а много раз, я, приготовив вечером уроки, с величайшим понуждением и скукой брался снова за перо и писал до полуночи, ободряя себя лишь надеждой на будущее.

В таком постоянном труде и благом настроении, развлекать теперь разве только всеми делами этими, интригами политическими, чифтликами, колоколами, убийствами и тяжбами, я прожил долго.

О «горькой и душистой травке» моей я вспоминал нередко, но, слава Богу, с равнодушием... (Так мне казалось тогда!)

Иногда, впрочем, проснувшись поутру, я нечаянно взглядывал на окно и, прежде еще чем увидеть горы и клубы синего и серого тумана, одевающего их, я видел волшебного-зеленый лес моей сторы и черного франкского воина, который с копьем в руке все недвижно ехал на черном коне к далекому замку.

В той янинской песенке, которую Зельха пела так неправильно и так мило, тоже поется о башне какой-то и о том, что молодец «встанет с постели своей, возьмет оружие, наловит куропаток и зайчиков, и птичек малых настреляет, и освободит из башни ту, которую он зовет: „О, мой ангельский лик”!»

И вот прежде еще, чем «Пáтер имóн»,\* звучала в ушах моих эта песенка.

Я вскакивал с дивана, молился, гнал прочь непотребные, опасные мысли и спешил в училище.

---

\* Отче наш.

Так длилось долго.

Но вот она опять пришла; пришла сама, без зова... В один воскресный полдень. И пришла она к нам в консульство с таким честным и добрым намерением, что душевный вред мой был только еще глубже от новой симпатии, которую она во мне возбудила, именно как в греке и христианине!

Она пришла просить консула защитить и избавить от тюрьмы ту самую христианку Ницу, которую она так недавно желала заточить куда-нибудь за то, что Ница<sup>10</sup> назвала ее мать «плешивою собакой». Она давно, видно, забыла об этой уголовной тяжбе и помирилась с Ницой.

Ница же между тем поссорилась с турецкою полицией, и ее присудили на шесть месяцев в отвратительную, грязную тюрьму.

Мы только что кончили завтрак и сидели все в кабинете, когда Зельха пришла и, не обращая на нас почти никакого внимания, подошла к Благову, поклонилась ему и поздоровалась с ним.<sup>20</sup>

Благов с притворною строгостью спросил ее:

— Зачем ты пришла? Кто тебя звал?

Зельха очень хорошо видела, что он шутит, и, ничуть не смутившись, еще раз прикоснулась к его одежде и сказала:

— Эффенди мой! У меня есть до тебя великая просьба! Великая просьба.

— Чтò такое! Чтò такое?.. — спросил Благов как бы испуганно... — Садись, говори.

Но Зельха не села и продолжала стоять почтительно, и сказала:<sup>30</sup>

— Смотри, эффенди, какое дело. Эту Ницу, о которой я тебе говорила, заперли в тюрьму. У нее есть старая мать и маленькая дочь. Без Ницы им кушать нечего. *Нна!*.. (Зельха, говоря это *нна!*, раскрыла рот и провела тихонько ногтем по концам верхних зубов, то есть «вот ни такой крошки!»)

И еще прибавила: — *Хич-тйпоте!*\* так мило и забавно изображая лицом и руками свой ужас при виде подобной нищеты, что мы все были тронуты и вместе с тем смеялись.

— Чтò ж мне с этим делать? — спросил Благов весело.

— Эффенди! — отвечала Зельха, — ты так дружен с пашой. Попроси его, чтоб ее, бедную, отпустили. Мать плачет, дочка кричит... Жалко.

— А за чтò ее посадили в тюрьму? — спросил еще  
10 консул.

Зельха пожала плечами и серьезно отвечала:

— Разве я знаю за чтò?

— Ты лжешь! Знаешь! — сказал консул.

Зельха клялась, что не знает, и повторяла:

— На шесть месяцев заперли!.. Эффенди! Я прошу, скажи паше...

— Посмотрю! — сказал Благов и, обратившись к Бостанджи-Оглу, прибавил: — Не совсем идет в такие дела из предместья Канлы-Чешме нам мешаться... Как ты  
20 думаешь, Бостанджи-Оглу?..

Глаза Бостанджи-Оглу заблестали от радости, что консул вдруг вздумал спросить его мнения; но он мнения этого и не имел; задумавшись, он, вероятно, спрашивал себя не о том, чтò он сам теперь думает обо всем этом, а, напротив, лишь о том, чтò думает консул? Как бы угодить ему. И на этот раз угодил, хотя и не сразу.

— Как вам угодно! — сказал он сначала.

— Это глупо! — сказал Благов.

Бостанджи поспешил поправиться:

30 — Мне кажется, — воскликнул он, — надо помочь. Турчанка за христианку просит. Пример хороший...

Г. Благов одобрительно взглянул на него и начал спрашивать опять Зельху, чтò это была за история. За чтò посадили Ницу?

---

\* Два раза — *ничего*, по-турецки — *хич* и по-гречески — *тйпоте*, для усиления.

— Не знаю, — сказала Зельха. — У нас на улице все люди жгли сор в кучках.\* Пришли заптие. «Оставьте, оставьте. Чтоб не было пожара!» — «Не оставим, не оставим!» — «Оставьте!» — «Не оставим!» Шум и драка! Я вижу, потом повели несколько человек в Паша-капуси.\*\* У одного кровь здесь на лице... И Ницу взяли и увели.

Благов сказал: «Посмотрим», и тем этот разговор кончился.

Зельха вероятно бы ушла, если бы почти в эту самую минуту не явился в дверях Козвино.

Он был мрачен.

Поздоровался, сел и молчал несколько времени, обмениваясь с Благовым незначительными фразами.

Бостанджи-Оглу ушел, а я рад был видеть ее толстые губы и детский круглый носик и остался.

Зельха между тем рассматривала картины Благова. Поднимала одну, раскрывала другую; смеялась, говорила мне вполголоса, из почтения к старшим:

— Одиссей, посмотри, посмотри сюда... Хаджи-Сулейман дервиш!.. Ха-ха-ха!.. Посмотри, посмотри, кузум... И секира его в руках. Какой сердитый!

И качала головой, и дивилась.

— Это, кузум-Одиссей, что такое?.. Ба! ба! Это крепость наша!.. Ходжа сидит! Как прекрасно!..

Я уже несколько свыкся со свободой обращения в консульстве, подошел и тихонько отвечал ей на ее глупенькие вопросы.

Должно быть, со времени возвращения Благова я незаметно для самого себя сделал огромные успехи в цивилизации; я уже с ней теперь играл ту роль, которую несколько времени прежде играл относительно меня как-васс Маноли.

---

\* Из домов выметают сор на середину улицы и жгут его.

\*\* В Порту.



Когда она спросила меня тихо: «Зачем он это делает?», я отвечал: «Э! любит! Искусство такое!» А она сказала: «Это очень хорошо!»

Пока мы говорили тихо, Коэвино мало-помалу все возвышал и возвышал голос.

Наконец он вскочил и закричал громко:

— Нет! Это невозможно... Я сказал, что это невозможно... У них не готов еще комод... И я не могу на ней жениться.

10 Я сказал Зельхе: «Оставь меня, подожди» и стал слушать. Зельха взяла картинку, села с ней в кресло и, качаясь, рассматривала ее.

— Я сказал самому отцу, — продолжал доктор, — что комод необходим, с самого начала, и дал ему две недели срока. Прихожу сегодня, спрашиваю: комода нет. Я отказался и очень рад!.. И очень рад... N'est-ce pas, mon ami? n'est-ce pas?.. Свобода лучше... а? а? а? Свобода лучше... Я отказался... Ха-ха-ха! Чтò может заменить сладость и прелесть свободы... А! Одиссей! Ганимед мой прекрасный... Чтò ты скажешь на это?.. Свобода лучше брака?

20

— Не знаю право, доктор, — сказал я, — чтò лучше...

— Все такой же невинный и неопытный... Когда же будет твой отец, скажи мне, мой Эрот?

— Я писал ему, доктор, что господин Благов его ждет.

— А! а!.. — весело наступал на меня доктор с томными глазами и все смеясь.

Потом он посмотрел на Зельху и сказал:

30 — Бедная Зельха! Здравствуй, моя бедная! Здоровали ты? Здорова? Аферим! Аферим! Ха, ха!

— Друг мой, знаете чтò, — сказал еще Коэвино, вдруг обращаясь к господину Благову. — Сделайте мне к Пасхе подарок. Изобразите мне вместе на одной небольшой картине Зельху и Одиссея. А? Зельху и Одиссея... Поцелуй! изобразите поцелуй молодой любви... Молодой любви, как первый и нежный цветок весны.

— Нет, — отвечал Благов, — это вовсе не так занимательно. Я хочу представить семью дервиша. Зельха будет дочь и будет сидеть у ног старого Сулеймана и работать что-нибудь... А Одиссей, в этой турецкой одежде, будет подавать ему наргиле; он будет сын.

Я содрогнулся немного от страха попасть на полотно в таком обществе, но, полагая, что консул дразнит только меня, улыбнулся и молчал.

Козвино был недоволен; лицо его подергивалось как всегда, когда кто-нибудь противоречил ему, и он прибавил<sup>10</sup> серьезно:

— Пусть будут две картины. Но прежде моя, прежде моя. Зельха, дитя мое! Слушай, чтобы мне на глазки твои радоваться! Слушай, сделай то, что я попрошу тебя.

Зельха положила картинку, встала с большою готовностью и отвечала:

— Прикажи мне, хекім-баши,\* я сделаю...

— Сейчас?

— Сейчас...

— Поцелуй Одиссея... Я Али-паша Янинский. Я ужас-<sup>20</sup> ный Али-паша!

Я никак не ожидал этого, и прежде чем успел я встать с моего места, Зельха спокойно, не улыбаясь, даже не колеблясь, не стыдясь, прыгнула ко мне и, обняв меня за шею, поцеловала в губы. Я хотел отстраниться в стыде и страхе... Но было поздно.

Козвино хохотал, прыгал и кричал:

— Я Али-паша! Али-паша Янинский... О! изобразите, изобразите мне, мой друг, эту местную картину. Это очаровательный генге!.. Вот мысль этой картины: турчанка-<sup>30</sup> танцовщица и стыдливый юноша-грек. А? Разве не так? Это действительность, это истина... Весна! Зелень! Старый фонтан, покрытый плесенью и мохом... и он стыдится, а она не стыдится! Две простоты! Две наивности! Два міра! Две души!

---

\* Главный доктор.

Но Благов на эту веселую речь Коэвино заметил с большим равнодушием:

— Напрасно вы, доктор, беспокоитесь так о нем (то есть обо мне). Он лучше нас с вами умеет устраивать свои дела по этой части. Спросите у него, чем он занимался с ней в своей комнате в тот вечер, когда здесь был Хаджи-Хамамджи.

Она (счастливая!) не обратила на слова эти никакого внимания и продолжала смотреть картинки. А я? Я изумленный, пораженный в глубь сердца стыдом и почти ужасом, взглянул только на миг туда, откуда исходил этот ровный, насмешливый голос, я бросил на лицо его только один быстрый взгляд испуга и удивления. И, увидав на этом бледном, продолговатом и правильном лице столь знакомое мне холодное и весело-злое, тихое сияние, поспешно встал и хотел идти к дверям. Он видел! он видел все и он молчал... О, Боже!

Коэвино хотел удержать меня; он ласково звал, просил возвратиться, но я уже был далеко. Мне было до того стыдно, что я и в комнате моей, сев у стола, закрыл лицо руками. Он видел все! Отчего же он молчал? Отчего же он не бранил меня? Отчего же не делал мне наставлений? Снова тайна, снова загадка сфинкса. И мне придется, может быть, разбить себе голову, если я не разгадаю ее.

Опять, как и тогда «тем печальным вечером», я слышал шаги по большой зале.

Консул и доктор ходили по ней взад и вперед и разговаривали по-французски.

Они то подходили к моей двери, то удалялись от нее. Обо мне они не говорили не слова. Видно было, что они всему тому, что меня так тревожило, не придавали никакой важности. Я слышал отрывки их беседы, но эти отрывки были мне не совсем понятны, и я, прислушиваясь, не знал, к чему они относятся. Я слышал то Благова, то Коэвино, то конец, то начало фразы.

— Как это говорится *homo sum?*... — спрашивал Благов у моих дверей.

— Et nihil humanum... — отвечал Коэвино, и они отходили.

И вдруг с того конца залы раздавался крик доктора.

— Великий Цезарь гордился победой над женщиной столько же, сколько...

Опять у дверей моих говорил Благов:

— Madame Бреше ужасна. Madame Ашенбреннер разве женщина? Это мать и кухарка.

Я заинтересовался; я в первый раз в жизни моей слышал, что «мать и кухарка не женщина!» Что за речи! Не 10 мужчине же быть матерью и кухаркой!

Опять Коэвино все громче и громче:

— Я почитаю две страсти: одну дикую, грубую, зверскую...

И удаляясь, он доканчивал свою мысль глухим рыканьем и ревом.

Потом они ушли гулять куда-то. Зельха тоже ушла домой, я и не видал когда и как. И когда я вышел опять из комнаты моей, кабинет Благова был заперт на ключ, а все остальные комнаты были безмолвны и пусты. 20

И почему же я, глупый мальчик, думал, что тут есть новая тайна и новая загадка ядовитого сфинкса?

О, как проста! как проста разгадка этой тайны!

Ему было все равно; и он ни меня, ни ее и никого из нас здесь не любил всею душой и всем сердцем своим.

И любил ли он, этот человек, когда-нибудь и кого-нибудь, и где-нибудь сильно, я не знаю. Мне часто кажется, что никогда, никого и нигде!

## Х

Ты помнишь, как пришло из Арты и Превезы известие, что колокол наконец повешен? Ты не забыл, конечно, как пришел Благов к доктору на дом, как он застал меня там в совещании с Гайдушей и как Гайдуша пророчила мне 30 неуспех в деле с Шерифом.

Правда, колокол висел очень красиво над воротами арт-ской церкви, под одною из небольших арок, из которых состоит эта колокольня.

Христиане могли любоваться на эти белые арки, одна над другой узорно возведенные, на голубые просветы неба сквозь них и на самый колокол. Но кто тот смельчак, которого рука впервые ударит в него при турках в эфирском городе?.. Ему ничего, быть может, не сделают сейчас, но после и позднее, когда-нибудь при случае! Кто же?

10 Кто первый извлечет звук из безмолвной бронзы этой и восхитит христианские сердца?

Благов хмурится, узнав об этом.

«Паша все болеет, и это верно интриги Ибрагима!.. — думает он. — Теперь Ибрагим здесь стал пашой, а не Рауф... Лучше бы сменить наконец этого слабого старика...» Подумав еще, он веселеет и решается в первый раз звонить *сам*... Не рукой своею, конечно, а другим способом, не менее того, однако, явным и дерзким.

Кавассы Маноли и Ставри призваны, и он спрашивает их:

20 — Можете ли вы звонить в Арте в первый раз сами и посмотреть, что сделают турки?..

— Можем! — говорит скромно, но с язвительною улыбкой старый Ставри.

— Чего мы не можем для вашего сиятельства и для Самодержца всех россиях! — восклицает Маноли.

— Так поезжайте и звоните, завтра суббота, и посмотрите, что сделают турки.

— Что им делать! — презрительно отвечает Ставри.

— Они противу вашего благородия ничего не могут сделать; они не имеют никакой независимости, ни куражу, ни даже ничего они не имеют, исключая своей варварозности! — восторженно подтверждает Маноли.

30

— Я нахожу, эффенди, что это... — хочет он еще сказать... Но Благов говорит ему:

— Хорошо, иди, иди...

Кавассы приезжают в субботу вечером, и воскресным утром, вдруг... удар... один, другой... звонят! звонят!.. кто?

кто звонит?... звонят! звонят все громче, громче... Zito! кто решился?..

Во всех христианских семьях движение, радость, смех от радости, боязнь... недоумение...

Местный артский вице-консул, подчиненный Благову, и г. Бакеев (который все еще там гостит, тоскуя и скучая от досады и стыда после истории с Бреше), оба в форменных фуражках идут к литургии, и церковь и улицы перед церковью полны народа.

Что делают турки? Ставри был прав: «что им делать!»<sup>10</sup> Не убить же кавассов, не кинуться на христианский народ, который здесь не то что боязливые болгары давно угнетенной Фракии!.. И время было другое! Совсем другое!

Турки артские уныло молчат. Есть между ними беи, согласные с Абдурраимом и Шерифом... На них, через янинских беев, через Шерифа старался влиять Благов. Эти турки говорят: «Что делать! Нельзя во всем грекам перечить. Нельзя все против русских идти. Надо иногда одну десятину земли отдать, чтобы сохранить себе сто!..»

Каймакам ждет себе Станислава, он рад, он счастлив,<sup>20</sup> что мусульмане покойны.

В понедельник утром у нас скрипят ворота, раздается веселый стук копыт на консульском дворе.

Кавассы соскакивают с утомленных лошадей.

Маноли кричит, простирая руки к небу: «Радость, триумф в Арте! Ужас!..» Благов, наградив их щедро, тотчас же пишет своему начальству бумагу с настоятельною просьбой выслать каймакаму как можно скорее командорские знаки Св. Станислава, и я сам удостоиваюсь переписывать эту бумагу, на которой в одном месте стоит даже и таинственный значок (·/·).<sup>30</sup>

Бумага отправлена в Петербург прямо через Триест, а копия послана в Арту Бакееву, для утешения каймакама, которому перевели ее по-турецки, на словах, конечно, а не письменно.

— Благодарю! Благодарю! — восклицал каймакам вне себя от волнения. — Это честь! Это честь!.. Благодарю...

Напишите господину Благову, что я ему вечный друг и слуга.

Итак, все были довольны: духовенство наше, каймакам, не только артские, но и янинские христиане, сам Благов, Шериф-бей и вся семья его; отец Арсений был донельзя рад и приходил поздравлять Благова; Коэвино кричал «Zito!», Гайдуша перепрыгивала от одной соседки к другой с этою приятною вестью... *Белый и красный*, помнивший времена Али-паши и Байрона, старик Мишо

10 качал головой и говорил, стараясь сделать страшное лицо.

— Говорю я, что этот консул мужчина, я говорю это давно!

Было только два человека, которых смущало несколько это всеобщее торжество.

Эти два человека были Исаакидес и я. Мечты о конфискации имений, домов и мельниц Шериф-бея становились менее осуществимыми с той минуты, как тайное содействие Шерифа дало Благову возможность удовлетворить общественное мнение греков.

20 Решившись писать тебе всю правду, я не хочу скрывать от тебя и того, что в этом первом столкновении патристических чувств с личными интересами в молодой душе моей... не то чтобы превозмогли последние, но они охладили несколько мою радость. Неслыханный еще дотоле в эпирских городах смелый и праздничный звон православного колокола раздавался ведь не в самой же Янине, близко от меня. Он в дальней Арте призывает верующих к молитве. Я мог только воображать этот звон и, воображая, повторять за другими: «Zito Россия! Молодец Благов!...»

30 Повторять я повторял это и очень часто повторял, и с жаром, по-видимому, и с убеждением даже...

Но... я не долго вытерпел и поспешил к Исаакидесу, чтоб узнать, радуется ли он.

Да, и он радовался, но был и луч сомнения...

Неужели Гайдуша была права? Неужели все сбудется по ее предсказанию и Благов бросит бумаги Исаакидесу «в морду»?

Я пришел к Исаакидесу.

Г. Вамвакос был опять тут. Он стоял в приемной перед зеркалом и расчесывал себе гребешком жидкие волосы.

Исаакидес показался мне задумчивее обыкновенного.

Впрочем, он улыбался и не слишком унывал.

— Вот, господин Одиссей, — сказал он мне, — надо нам всем радоваться, — в Арте звонили в колокол.

— Да, — отвечал я, — каждый православный эпирот будет отныне воссылать теплые мольбы к небу за здоровье и долголетие господина Благова. 10

Исаакидес продолжал:

— Паша ничего не хотел помочь ему; но помогли другие турки... Ты слышал?

— Слышал, — сказал я и опустил глаза.

— Труднее нам будет теперь, — сказал Исаакидес. — Господин Благов очень благороден, и я боюсь, что он не станет теперь стеснять тех турок, которые ему помогали... Кто знает, что он об этом думает... Что ты скажешь, господин Одиссей?

— Почему я знаю! — отвечал я, пожимая плечами. 20

Я подумал в эту минуту: не сказать ли мне Исаакидесу, что консул зовет его мошенником вовсе не в шутку и нисколько не уважает его?.. Но мне показалось, что это было бы низко с моей стороны, и я не сказал ничего.

Вамвакос тогда вдруг повернулся к нам и сказал:

— Господин Исаакидес! вы напрасно говорили мне давеча, что не надеетесь принудить русского консула начать дело ваше с этим турком до возвращения господина Полихрониадеса. Я берусь его вынудить... Я докажу ему категорически, что он не прав... Если вам угодно, я представляюсь ему как афинский адвокат, и, конечно, одно слово «Афины» уже подействует на него электрически. Эти русские аристократы имеют только одни военные наклонности, а в законоведении и вообще в науке слабы. Человеку, который подобно мне изучил все кодексы, не трудно будет подавить его глубиной моих сведений. 30



— Не рассердился бы он на меня? — сказал Исаакидес.

— Необходимы приятные приемы! — возразил Вамвакос, поднимая глаза кверху, — я привык вращаться в высоком свете и постараюсь позолотить ему эту пилюлю.

На это Исаакидес ему ничего не ответил, но, провожая меня в сени, он постарался снова оживить мои надежды.

— Пусть Вамвакос поговорит с Благовым... Это не вредит, — сказал он мне. — Но у меня есть и другое <sup>10</sup> средство расположить консула к уступчивости... Я ему покажу сегодня же такую *фигуру*, что он восхитится! Ты увидишь сам... Тахир-Аббас-бей, враг убийцы Джеффера, здесь в городе... Я его приведу сегодня в консульство... Я в Чамурье был, Одиссей мой, и дело мое знаю хорошо... будь покоен!

Я ушел домой, размышляя так:

— Нет, видно не надо терять еще надежды!..

Увы! на миг только, на один краткий миг я мог опять с веселием думать, что «колокол» и «мельница», Бог и <sup>20</sup> Маммон, дух Православия и моя личная плоть, гордость отчизны и богатство семьи моей ничуть не помешают друг другу... И *фигуру* Тахир-бея Исаакидес показал Благову, и Вамвакос приходил в консульство с намерением подать консула своею образованностью и законоведением... но все напрасно!

Исаакидес, правда, в Чамурью не даром ездил, как ты поймешь позднее... Он все разведал, все узнал; он даже сделал гораздо больше, чем приказал и позволил ему Благов... Но что ж из этого?..

<sup>30</sup> Тахир-Аббас пришел. Он не был похож ни на нежного романического злодея и врага своего Джеффера, ни на доброго и мягкого, но неопрятного и по-европейски одетого Шекира. Тахир ростом был очень высок, очень плечист; бел и румян; все у него было крупно и страшно; усы черны, густы и длинные; глаза выпуклы и почти без выражения; нос грубый и большой. Одет он был не так изящно, как Джеффер в тот день, когда проходил под балконом

нашим, но все-таки очень хорошо: юбка его такая же была белая, как юбки наших кавассов, и цветная куртка расшита золотом. Оружие за золотым поясом было богато.

Казалось, он занял собою всю комнату, когда Исаакидес ввел его в нашу канцелярию... Мне стало страшно на него смотреть.

Тахир едва-едва ответил на наши с Бостанджи поклоны и посидел несколько минут на диване, пока Исаакидес поспешил сам наверх доложить Благову.

Бостанджи тотчас подал ему папироску и уголек из 10  
мангала.

Бей закурил и продолжал сидеть молча, ни разу не изменяя ни позы, ни выражения лица. Самая легкая улыбка благодарения и приветствия не озарила его каменного лица, когда Бостанджи подал ему папироску.

Я все время, под разными предложениями, не садился при нем. Так он был страшен... Наконец Тахир промолвил слово:

— Вы местный человек, яниот? — спросил он у Бос- 20  
танджи.

Бостанджи поспешно отвечал ему, что он из Констан-  
тинополя.

— Очень хорошо... Радуюсь... — сказал бей, и опять  
ни слова.

К счастью, Исаакидес очень скоро пришел за ним и со  
всевозможными комплиментами повел его к Благову.

Любопытно донельзя было видеть вместе и как бы в  
союзе этого дикого и прекрасного, если хочешь, в своей  
народной грубости феодального азиатского воина, одетого  
так чисто и хорошо и едва грамотного; и нашего подобо- 30  
страстного и униженного горожанина-грека, корреспондента  
эллинских газет, в его отвратительной, неряшливой  
одежде à la franca, с этими висячими и кривыми усами, с  
сальным воротником и старою шляпой в руке.

Тахир-Аббас просидел у Благова около часу и, все так  
же важно, так же бесстрастно и гордо озирая все стеклян-  
ными и выпуклыми глазами своими, спустился с лестницы

и ушел в сопровождении двух слуг, ожидавших его в сенях.

Мы переглянулись с Бостанджи-Оглу, когда Тахир-Аббас исчез из глаз наших, и сказали друг другу:

— Ну, это бей! Это арнаут! Избави нас Боже!

А Бостанджи прибавил еще:

— Ах, я бы всех таких помучил хорошенько, если Турция падет, чтоб они все приняли христианство!.. Какие бы они воины для нас были!..

10 Я же воскликнул:

— Как бы они нас с тобой прежде не помучили! Смотреть даже неприятно...

Но вместе с тем я не забыл и того, что мне шепнул Исаакидес: «надо угодить консулу, а там увидим... Я покажу ему такую *фигуру*...»

И вот *фигура* показана...

20 Чтò будет дальше... Не подействует ли теперь красноречие г. Вамвакоса на умягчение сердца молодого честолюбца? Верно он очень рад, что такой страшный бей пришел к нему на поклон.

После полудня пришла почта: принесли бумаги от начальства, пришли русские газеты. Г. Благов пошел в канцелярию и сел на диване разбирать все это. Мы с Бостанджи-Оглу переписывали статистику на зеленых столиках.

Консул, читая, чему-то улыбался про себя; потом кинул Бостанджи несколько бумаг и сказал ему весело:

30 — Посмотри, мы с тобой чтò наделали. Я забыл в рассеянности подписать имя свое под несколькими бумагами, а ты так и отправил. Теперь начальство вернуло их и бранит меня.

И он отдал ему бумагу из министерства со строгим выговором за небрежность. Это его более позабавило, чем смутило. И он не стал даже и укорять Бостанджи за то, что тот не напоминает ему.

Потом он стал читать газеты и сообщил нам, что еще несколько партий польских повстанцев разбито наголову.

— Еще пощечина этой Европе! — сказал он.

В это время доложили, что пришел г. Вамвакос, афинский законник.

— Кто? Кто? — повторил Благов с изумлением.

— Один законник, — сказал Ставри.

— Ну, зови законника сюда, — ответил консул.

Вамвакос был и здесь все так же счастлив и развязен, как и в приемной Исаакидеса.

Благов принял его, как всех: встал медленно, не спеша подал ему руку, сухо пригласил сесть и, помолчав немного, спросил с преднамеренною нерешительностью в голосе: 10  
«Вы по делу... извините... или...»

— Господин консул, — закатывая глаза к небу, сладостно и быстро залепетал Вамвакос, — я столько слышал об имени вашем, что счел за самый приятный долг явиться к вам и преподнести вам выражение моего почтения. Ваша популярность между эллинами эпиро-фессалийских стран слишком известна вам самим, чтобы мне было нужно многословием утомлять просвещенное внимание ваше... Никакая тяжба, никакой, так сказать, интерес не руководил 20  
мною при этом посещении моем... Дружба моя с господином Исаакидесом, драгоманом вашим, который исполнен к вам любви и преданности, я надеюсь, будет достаточною рекомендацией меня в ваших глазах...

Благов на все это не отвечал ни слова. (Я украдкой взглянул на лицо его, чтобы понять, какое впечатление производит на него это беглое риторское вступление, мне, впрочем, показавшееся прекрасным и завидным, и увидал, что по лицу Благова чуть-чуть пробегает что-то знакомое мне и насмешливое.)

Помолчав, консул спросил: 30

— Вы из Афин?

Речи Вамвакоса полились опять потоком... «Я воспитанник Аттической Всенаучницы...», и лились, и лились, и головка качалась на тонкой шее, и качалась, и качалась...

Благов все молчал. Молчал он четверть часа, молчал двадцать минут.

Вамвакос все изливался, все пел очень красноречиво, но однообразным и скучным голосом...

Благов не возражал ему ни слова и, не меняясь в лице, глядел на него гостеприимно и покойно.

Наконец Вамвакос сказал:

— Впрочем, быть может, я пришел не вовремя... У вас есть спешные дела... Я вижу столько газет и бумаг пред вами.

Тогда Благов встал и, очень любезно улыбнувшись ему,  
10 отвечал:

— Если хотите, это правда... Я очень занят...

Вамвакос, который ожидал, что его будут удерживать, покраснел, поклонился и ушел.

Когда за ним затворилась дверь, консул спросил:

— Как это воробей называется по-гречески?

Бостанджи сказал: «Споргити».

— Вот голова маленькая, как у споргити...

Мерзавец Бостанджи залился звонким хохотом, не понимая, что этот неуспех Вамвакоса огорчил меня. И этого  
20 мало: он не только хохотал, но он даже и сказал консулу нечто для нас с Исаакидесом очень вредное.

Он сказал так:

— Господин консул, вы не думайте, что этот Вамвакос так просто приходил; это его Исаакидес, наверное, подослал, чтобы с вами об его тяжбе поговорить... Он ему, видите, друг и законник...

— Я уж почти догадался, — сказал Благов.

Мы всё писали; консул все читал газеты. Никто не приходил. Наконец пришел сам Исаакидес. Вероятно, он  
30 узнал, что из беседы его афинского друга с консулом ничего не вышло, и был немного задумчив.

Помолчав, он доложил консулу о событиях дня, о которых он только что успел узнать, и между прочим о том, что христиан турки сгоняют из сел делать дорогу и не только денег им не платят, но и хлеба за это, кажется, не дают; сказал еще, что паша все нездоров, не может сегодня выходить из гарема, и доктор беспрестанно ходит к

нему; наконец, повременив еще, начал было так с заискивающей улыбкой:

— Вы приказали напомнить вам о деле в тиджарете...

— О каком деле? — спросил Благов.

— О моем деле, значит... с Шерифом...

— Нет, я передумал, — сказал консул. — Я не буду возобновлять его...

Воцарилось на минуту молчание. Они поглядели друг на друга. Исаакидес то бледнел, то краснел. Даже губы его шевельнулись сказать что-то, но не сказали.

10

У Благова блеснули глаза опять столь знакомою уже мне радостью злого триумфа. Но и он не сказал ничего. Немного погодя Исаакидес взял дрожащею рукой свою скверную шляпу и, поклонившись почтительно, вышел из канцелярии.

Благов едва ответил на его страдальческий поклон. И тем разговор этот кончился. Консул потом довольно долго сидел на диване, читая русские газеты и не говоря никому ни слова. Мы с Бостанджи-Оглу прилежно писали.

Потом Благов бросил газету, потянулся и сказал, обращаясь к Бостанджи-Оглу:

20

— Вот в газетах наших пишут всякий вздор. Описывают, например, как мошенники обманывают порядочных людей. Это не ново. Занимательнее было бы описать, как иногда порядочный человек... проводит мошенника. Бостанджи, как сказать по-гречески «порядочный человек»?

Бостанджи ответил выражением, в буквальном смысле означавшим «человек каким должно быть».

30

Благову это не понравилось.

— Нет, — сказал он, — это не то! Порядочным человеком еще можно себя назвать в веселый час... Но как сказать про себя «человек каким должно быть!» Это слишком высоко и непристойно. И каким это именно человеком надо быть... еще вопрос... Одиссей, ты ведь ученый муж; когда вырастешь совсем, придумай и публикуй для этого новое эллинское слово...

Но я остался глух к этой благосклонной шутке. Пророчица Гайдуша! Оракул, Пифия Гайдуша! Радуйся!.. «Когда повесят колокол, Благов бросит бумаги Исаакидесу в морду, и до выгод твоего отца ему дела нет». Радуйся! Радуйся, ведьма!

Я вспомнил кстати и слова кыры-Параскевы, матери бея: «Разве он хороший человек? Разве он добрый? Нет, он человек жестокий и недобрый».

Теперь кира-Параскева находит его, вероятно, очень <sup>10</sup> добрым; а я не согласен с ней!

Да! пока эта жестокость, эта паликарская, дерзкая хитрость, молча хвастливая... Эта сияющая немим тщеславием предприимчивость касалась других, а не меня и не отца моего, которого я так жалел и которого я с таким блаженством увидел бы наконец в Загорах (или хоть в близкой от Загор Янине), на покое, задумчиво и кротко беседующим о старине и о нынешних делах в тени платана, до тех пор эта хитрость, молодечество, эта веселая резкость, никого не щадящая, мне казались прекрасными!.. Но едва <sup>20</sup> лишь эти самые свойства обратились на меня самого и затронули в одно и то же время и самые корыстные, и самые священные сыновние чувства мои, — так я вместо любви и благоговейного страха почувствовал к консулу какую-то ненависть и отвращение, и самый страх мой стал страх не хороший, а дурной... Эти самые серые, сарматские глаза, большие, весело пожирающие, показались мне наглыми и бесстыдными, они надоели мне, — опротивели!

И я, отвернувшись, продолжал молча писать, думая про себя: <sup>30</sup> «Не хороший он человек!.. Не люблю я его больше!.. Как он противно гордится! Как он любит огорчать людей!..»

## XI

Нет! Не хороший он человек! Не добрый! Почему ж, не разобравши еще внимательно дела с Шериф-беем, он спешит от него отказаться? Почему он так рад всегда, когда

кому-нибудь больно: Исаакидесу или Бакееву, Бостанджи-Оглу или мне?..

И как это он в самом деле неприятно расширяет все глаза свои, как лев веселясь на ужас добычи!.. Извольте видеть, «он московский бей»! Он не любит купцов!.. Это он доктору сказал; и доктор передал турку, чтобы тот не боялся и чтобы хлопотал о колоколе в Арте — для чего? Все для его же прославления!..

Он только доктору по дружбе сказал... Чем он, бедный, виноват, что доктор передал кому следует!.. 10

Знаем мы, знаем! Мы тоже что-нибудь да понимаем, потому что греки всегда были великого и тончайшего ума люди!.. Нас обмануть невозможно, даже и знаменитой этой великорусской дипломатии!.. Знаем мы, что вы турку самому хорошему ничего неприличного для православной политики не скажете, а сделаете все искусно... Но и мы, во славу Божию, тоже не слепы!..

Купцов не любит! Отца моего, значит, тоже не любит! Отца моего, который так боготворит Россию и так хвалит его, мальчишку, богатого и судьбой обласканного! Отца 20 моего дорогого!.. Хорошо! Похвально это!.. Предпочитать распутного пьяницу-бея (хотя бы и не злого) почтенному, седому руссофилу Полихрониадесу.

Но, однако же, колокол этот?.. Слава имени православного?

Но, спросим себя, однако, еще и о том: православный ли он человек? И насколько?

Несториди славится у нас умом и ученостью, и о сборниках его упоминали даже недавно в Германии; он может 30 судить.

Ведь и Несториди тоже очень рад, что колокол повесили в Арте, и он тоже находит, что все это было сделано ловко; но отчего же он при мне, в ответ на возгласы по этому поводу Бакыр-Алмаза и других более его доверчивых людей о Православии Благова, принял плутовато-суровый вид, который он принимал, когда хотел язвительно пошутить над чем-нибудь, и только головой покачал.



Сказал бы, например, православный человек то, что Благов еще вчера говорил доктору, сидя с ним на балконе?

Я тут уже не случайно слышал отрывки их беседы, как тогда, когда они ходили вместе по зале и говорили, что «страна наша прекрасна, но что в ней иногда задыхаешься»; что «мать и кухарка» может быть и «не женщиной»! — Нет, на этот раз я, движимый любознательностью, взял книжку учебную в руки и сел невинно на диване в столовой, нарочно, чтоб услышать от них что-нибудь новое, тонкое, европейское. Они и не заметили меня, и разговор был для меня истинно нов.

Уста Коэвино источали сладчайший мед. Он хвалил хорошее супружество.

— Приятно, — говорил он, — увидеть около себя, пробудившись поутру, уснувшее честным сном покорное вам и любящее существо!.. Существо, которому вы можете без стыда и боязни доверить все сердечные движения ваши...

Так говорил доктор с большим чувством; я слушал эти речи его, и каждое слово его находило самый живой отзыв в сердце моем... Не этими ли самыми чувствами жили мои родители? Не ими ли дышала семья моего загорского наставника Несториди, только с виду облакавшего их суровостью? Не о такой ли жизни приучали и меня рано мечтать окружающие меня почтенные люди, восхваляя нескончаемым и дружным хором кротких и покорных, добрых и верных супругов?.. Доктор потом начал говорить о прогулках вдвоем за город с доброю женой, о радости при рождении детей...

Безумца умудрил на этот раз Господь, и речь его была так искренна, так горяча и трогательна, что она действовала на меня даже гораздо глубже, чем подобные же похвалы честному браку, которые произносил от времени до времени отец мой, всегда мимоходом и отрывочно, или слова Несториди, которого лицо даже было неспособно выразить какое бы то ни было нежное чувство. Не удивительно ли это?..

Безумец был мудр в этот день; а досточтимый, мудрый не по летам, искусный защитник Православия и возносите-  
тель колоколов во славу имени христианского, помолчав  
довольно долго и не подозревая, вероятно, до чего внима-  
тельно ждут его ответа юношеские уши мои за дверьми  
балкона, отвечал ему, безумцу, на эти трезвенные речи его  
речами... ужасными (другого эпитета я тогда не нашел для  
этого странного ответа).

— Нет! — сказал Благов медленно, печально и задум-  
чиво, — нет!.. Я очень завидую вам, доктор, что вы мо-  
жете любить подобную жизнь и утешаться такими карти-  
нами... Для меня, к несчастью, это непостижимо. Эта фа-  
мильярность, эта близость. Эти какие-то права какой-то  
женщины на меня!.. Этот неопрятный, отвратительный сон  
в одной комнате!.. Эти смешные разъезды с визитами  
вместе... «Вот, смотрите все: „мы муж и жена“!..» Я не  
могу без отвращения видеть какого-нибудь умывальника  
общего в супружеском доме. Я не знаю, какими роскош-  
ными и раззолоченными чертогами надо окружить себя,  
чтоб эта проза была сносна для меня!.. К тому же я не  
влюбчив, и как скоро любовь принимает какой-то нежный  
характер, так я кроме отвращения ничего не чувствую!..

— Послушайте, — возразил Коэвино, — но если вы  
в горести, в болезни... Кто! О, кто лучше женщины усмот-  
рит за вами.

Благов засмеялся.

— Когда я болен, я люблю повернуться лицом к стене  
и никого не видеть. На что мне жена в эти минуты, когда  
я кроме ненависти и скуки ничего не нахожу в себе? Не  
для того ли (тут смех Благова стал каким-то сатанин-  
ским), не для того ли, чтоб она видела меня в такую  
именно минуту, в которую я жалок и бессилён? Не лучше  
ли обыкновенный слуга, нанятый за деньги? Или старая  
сиделка, которая уже утратила всякий половой характер.  
Нет! болезни и недуги — это только новый повод нена-  
видеть брак... Я говорю, поймите, не про учреждение  
брака, не об этой нравственной, так сказать, конскрипции,

которую требует от нас общественный строй. Я говорю лишь о себе самом. «Да идет мимо меня сия чаша!» А учреждение я сам защищать готов, хоть с оружием в руках. Есть люди, которые ненавидят молочную пищу, но из этого не следует, что надо перебить всех коров или перестать доить их. Пусть это во мне разврат и порок. Но я им доволен для моих личных нужд и вкусов.

10 Я не мог видеть сквозь стену, что делалось в это время с лицом Коэвино; я слышал только, что стул его стучал и двигался не раз, я слышал, что он пытался не раз прервать Благова горячим возгласом: «А я! а я! ха, ха! Je vous comprends, mais moi!» Но Благов, всякий раз ударяя рукой по железной решетке балкона, говорил: «pardon, je vais finir» и, возвышая свой резкий голос, опять медленно и систематически продолжал.

Они говорили еще долго, и я долго их слушал с изумлением. Коэвино уже давно согласился со всем, все уступил, опять стал безумцем, опять хохотал и сказал даже  
20 так:

— Après tout, la meilleure femme du monde, c'est la femme d'autrui.

И Благов... Благов ответил на это... Как бы ты думал, что?

— Да, пожалуй... если только это не надолго. А если привязаться и привыкнуть к этой чужой жене и если муж при этом не ревнив, не опасен, равнодушен, как у нас в России, например, равнодушны многие мужья, то и это становится очень подло и гадко!

30 Несколько секунд после этого молодой консул помолчал и потом, вставая, сказал доктору:

— Подождите, я вам прочту одно стихотворение.

С этими словами он показался в дверях балкона. Я закрыл себе лицо моею книжкой; но так, что мог видеть его немного. Благов, заметив меня, сначала как будто удивился и сказал:

— Ты здесь?

Потом прибавил после минутного колебания (ах! как бы дорого я дал, чтобы знать, что он думал обо мне в эту минуту? Не подумал ли он, что при мне не надо читать эти стихи?):

— Поди, у меня на столе развернутая желтая книжка...

Я принес желтую книжку, и Благов, возвратясь на балкон к доктору, прочел ему с большим чувством несколько французских стихотворений, из которых одно я запомнил легче, потому что оно было очень просто, но поразительно.

Adieu, Suzon, ma rose blonde  
Qui fut à moi pendant huit jours...  
Les courts plaisirs de ce monde —  
Font souvent les meilleurs amours!

10

.....

Raf! C'est mon cheval qu'on apprête...

Как он громко, как страстно читал эти простые стихи (и как скоро, увы! привык и я в обществе русских ценить такую простоту!).

Нагнувшись немного в сторону на диване, я мог видеть лицо Благова. Я видел красивое движение прекрасной руки его. «Raf! c'est mon cheval qu'on apprête!» Я видел хорошо строгий профиль его немного длинного и бледного лица, лица даже слишком строгого и властительного для его возраста. (Ему ведь было всего еще двадцать шесть лет.)

20

Доктор слушал. И его я видел. Его голова вздрагивала, смуглое лицо было томно, глаза задумчивы.

Благов остановился и сказал серьезно, так серьезно, как будто бы дело шло о родине или вере:

— Вот идеал жизни! «Raf! c'est mon cheval qu'on apprête».

Доктор потом сказал:

30

— Молодые французы XVIII века имели обычай восклицать и даже писали на стенах такого рода правила: «Шпага дворянина должна быть всегда готова на защиту Бога, короля и любовницы».

Разговор этот длился между ними два часа, я думаю, пока наконец кто-то проходивший по улице не поклонился

им и, остановясь под балконом, не прервал их разговора известием, что Рауф-паше опять немного получше, что он стал выходить.

Я после этого покинул свой уголок поучения и ушел. Но, Боже мой! Никакая речь, никакое чтение дотеле не поражали меня так, как поразили эти слова Благова.

«А таинство? Таинство брака? — думал я долго, долго еще после этого. — Отчего же ни тот, ни другой не упомянули ни разу о смертном грехе? О священных заповедях Божиих? О страшной каре загробной? О том, как святые отцы, учителя наши, говорили, что из всех злых духов самый отвратительный, даже *по виду*, это демон плотского греха, и милая личина, которую принял он на этой земле, назначена лишь для того, дабы лучше скрыть те отвратительные свойства, которые таятся под нею!»

Мне хотелось не раз выйти на балкон и сказать им:

— Простите, господа мои, вы забыли одно... вот то-то и вот то-то!

И потом что за жесткость и к себе, и к другим!.. Отчего же ненавидеть нежность так уже искренно и глубоко? Зачем так презирать благодушный уход юной... или хоть бы и не юной супруги... Что за холодное, что за железное сердце...

Нет! Нет! Нет!.. Он мне чужой, он не *наш*, не *мой*, не близкий сердцу... Он только повелитель мой... Он не отец, не брат, не друг... Он господин господствующий. Он чуждый бог, сошедший на миг в нашу простую среду, над которой он парит высоко несатым сердцем и гордою мыслью!..

И опять, опять вспомнил я прощальные слова отца моего у дверей горного хана, где я в последний раз, со слезами провожая его опять на Дунай, поцеловал его десницу. Вот эти слова:

«Ходи в хорошие дома, бери в них полезные примеры благородства и образованности, а от того, что твоему возрасту непристойно и что несообразно со строгою нравст-

венностью доброго православного, от того устранился... Вот тебе мое слово отеческое. Я сказал, а ты это помни!»

Но где же эти пределы подражания? Пределы поучения? Где этот критерий познания блага и зла?.. Как уловить эти изменчивые и незримые пределы моему уже смущенному молодому уму, когда великие мудрецы всех времен были несогласны друг с другом в начертании их?..

«Бери примеры благородства...» — сказал отец...

Но вот Бостанджи-Оглу рассказывает, будто бы этот самый Благов получил года два тому назад в наследство от дяди своего восемь тысяч русских рублей и прожил их в один месяц в отпуску, в России, говоря, что «обеспечить его такая небольшая сумма по его понятиям не может, а память хорошую подобный месяц оставит ему на всю жмзнь»... Восемь тысяч рублей!.. Для меня это целая жизнь... Целый мир, еще недостижимый, но понятный... Для меня это хороший дом в Загорах, это торговля фессалийским хлебом или рыбой и русскою икрой на Дунае; чистый расчет с заимодавцами утомленного отца, для меня это брак счастливый, это первый камень большой торговой или даже банкирской конторы в Галате, в Галаце, в Смирне, Букуреште...

Куда же он прожил эти деньги? На гетер, на театры, на огромные бахчиши каким-нибудь слугам, чтоб они льстили и притворно угождали ему.

Школу ли он воздвиг на родине своей для просвещения тех поработенных русских с «рубашкой наружу», которых я еще в первом детстве моем видал на Дунае и о которых даже во всеобщей географии для руководства в греческих училищах пишут так: «простолюдины русские грубы и поработены, тогда как благородный класс в России весьма образован».

На что же он прожил эти деньги? На что? Бостанджи смеется моему ужасу и моему удивлению и говорит:

— Разве эти благородные русские знают счет деньгам?..

Что ж, не этому ли благородству подражать мне?.. Не расточительности ли мне учиться?..

Или не тому ли, о чем говорил Козэвино, — на балконе, во всем так охотно и быстро уступая Благову: «Un gentil-homme doit avoir son épée toujours prête pour defendre son Dieu, son roi et sa maitresse...»

10 Sa maitresse! Да! а не законную свою супругу! Или не внимать ли с любовью Благову, когда он законный брак, согласный, дружный, исполненный нежной и твердой до-  
веренности, зовет отвратительною вещью и с такою гор-  
достью любит свою порочность. И говоря так долго  
о браке, сравнивая его с необходимым, принудительным  
набором солдат, ни разу не упомянуть о христианском ос-  
вящении его, при котором все становится так ясно, так  
хорошо, так понятно. Да! без этой дальней, бесконечно  
дальней, но глубокой музыки, то кротко-усладительной, то  
грозно-звучащей где-то и откуда-то о загробном венце и  
загробной ужасной и нестерпимой каре, — быть может, и  
20 правда, что песня брака была бы скучна и суха для иных.  
Для иных, — я говорю тебе теперь, но в то время,  
когда солнце жизни только что начинало восходить для  
меня, я другого идеала не знал!

Счастливый брак с красивою и не бедною девушкой,  
которая бы меня любила и боялась, как должна жена бо-  
яться мужа, вот о чем я думал еще в Загорах. Переступить  
в свое время, во время подобающее, мирно и неспешно  
порог приветливого *гинексея*, хозяином благосклонным, но  
строго-ревнивым о своей чести, не понижая себя ни на  
пядь общественно, но поднимаясь этим союзом еще выше,  
30 если только можно. Вот что снилось мне и наяву!

И когда я видел на улице не доросших еще до заклю-  
чения \* дочерей архонтов наших, когда они, потупив очи,  
спешили в женское училище с книжками в руках в сопро-

---

\* В городах Эпира девушек (высшего круга особенно) перестают показывать мужчинам со дня их зрелости и до брака. Они даже причащаются ночью, и мужчин в церковь тогда не пускают.

вождении служанок, то я, как ястребок, разводящий по воздуху высокие круги, выбирал иногда в их толпе с улыбкой мою будущую добычу, в одно и то же время любуюсь на их нежную юность и считая золото их отцов.

И когда подобная девушка, когда такой херувим невинный и пугливый будет покорно подходить ко мне за повелением и целовать при других мою супружескую руку осторожно и почтительно, как целуют у иерея, а наедине обнимет меня и назовет так свободно и смело: «Одиссей мой! мой мальчик милый! Очи мои, Одиссей!..» И когда над ничем дотоле ни с той ни с другой стороны не оскверненным ложем нашим будут летать незримо, благословляя нас, светлые ангелы Божии (так не раз пророчила мне мать моя, убеждая меня хранить целомудрие). Неужели же это такая отвратительная, такая скучная вещь, как говорит Благов?

О, нет! О, нет! Он мне чужой... И я не знаю, чему мне учиться у него, кроме того разве, чтобы руки были очень чисты, чтобы речь была смела и умна в собраниях людей и чтобы европейское платье было сшито по моде у лучшего портного на берегах Босфора или Невы!

Это, конечно, все мне очень нравится! Но понравится ли это отцу? Вот вопрос! Отец сам одевается не красиво и вовсе не по моде, хотя и довольно опрятно, но не говорил ли он при мне столько раз:

— Не в многоценных и «мягких» одеждах виден смолу хороший хозяин и человек-делец, а в предприятиях и оборотах своих. Некогда трудящемуся и умному купцу смотреться в зеркало и возлагать душистые умашения на голову свою. Будут деньги у тебя, так и в старой одежде ты будешь всякому нужен.

И, глядя на то, что происходило вокруг меня, я видел, сколько в этом было правды. Кавасс Маноли и милый Кольйо сияли чистотой; Маноли даже щеточкой чистил себе ногти, как европеец, и в то же время, при княжеской роскоши восточной одежды, казался гораздо великолепнее самого Благова, но они оба, и Кольйо, и Маноли стояли у



дверей или подавали варенье, чубуки и кофе; а богатый Куско-бей, которого грязный и блестящий от грязной ветхости сюртук и меня, неопытного, с первого раза неприятно удивил, Куско-бей сидел небрежно на диване рядом с Благовым и шопотом беседовал с ним о высших силах восточной политики.

Чему подражать, о Боже! И у кого чему мне учиться!

Так я гневался тогда на Благова и так вдруг строго и спешно начал судить его. Но тебя, мой друг, я об одном<sup>10</sup> прошу, не спеши ты карать его, не принимай слишком горячо к сердцу и мои тогдашние интересы. Благов был во многом лучше меня. И я во многом, в очень многом был вовсе неправ!

## XII

«Все течет!» — сказал Гераклит.

И в моей неокрепшей еще душе, свершавшей день за день свое земное назначение, стремился роковой поток развития, то журча и пенясь по сияющим камням радости, то тихо извиваясь между зеленью и цветами покойной со-  
<sup>20</sup>вести, то влачась по низменному ложу уныния и горя! Все проходит, все меняется; изменился и я; уже в эти первые месяцы моей жизни в доме Благова я стал многое лучше прежнего понимать, но зато в других отношениях в уме моем все больше и больше воцарялось смущение и многое из того, что для меня прежде было аксиомой, становилось сомнительным. Я все больше и больше начинал думать... И хотя к думам этим у меня и с детства было расположе-  
<sup>30</sup>ние; хотя и прежде в Загорах еще я нередко предпочитал слушать по целым часам рассказы и рассуждения старших, забывая игры сверстников, но мои прежние думы были думами, так сказать, созерцательными, неясными. Тогда в Загорах я не мог ответить себе самому на внезапный во-прос: «О чем же я именно размышляю так внимательно?» Теперь я начинал хорошо понимать, о чем я думаю и в чем именно сомневаюсь.

Самые чувства мои к консулу понемногу изменились. Его холодность, его равнодушие и к нравственности моей, и к тому, что я считал интересами моими, скоро охладили меня.

Душа моя уже не стремилась к нему так, как при начале нашего знакомства, восторженным почтением и любовью... и характер страха моего пред ним менялся, мой первый страх был страх идеальный, это было любящее содрогание пред величием сана и пред блеском власти (которая и в самом деле у консулов на Востоке была велика в среде нашей); мой новый страх был страх недобрый, страх несколько унижительный. Я стал бояться его жестокого нрава, его насмешек, его взглядов, его улыбок даже... Как далек я был от того счастливого и вернопреданного дерзновения, с которым я обращался к нему впервые в Загорах, риторически восклицая: «Сиятельный консул мой! Добродетели начертаны на челе вашем!»<sup>10</sup>

Как я был глуп, когда с небрежным и серьезным видом говорил сверстникам моим в школе эту затверженную за другими речь: «Консул отцу моему великий друг и меня, ты знаешь, он любит как брата!» И товарищи мои не только не смеялись надо мной; они выслушивали меня сочувственно, внимательно, почтительно взглядывая на меня.<sup>20</sup>

Впрочем, я не один был тому виной...

Разве множество людей, более меня опытных и старших, не поддерживали во мне подобное убеждение словами и поступками? Я говорил тебе, что многие в городе стали давно уже называть меня *Психойос ту Россо*.<sup>\*</sup> Разные просители и старушки с *арзухалами*,<sup>\*\*</sup> умильно улыбаясь, обращались ко мне как к человеку сильному и консульскому любимцу.<sup>30</sup> Исаакидес, рассуждая со мной о деле Шериф-бея, употреблял не раз именно ту самую фразу, которую и я считал себя вправе повторять товарищам: «Консул отцу твоему друг и тебя любит как брата!»

---

\* Сын души русского, воспитанник, приемыш.

\*\* Прошение.

Поп Коста, доставляя в консульство разные сведения, всегда охотнее передавал их через меня, чем через Бостанджи-Оглу, в том случае, когда не заставлял Благова или когда тот не хотел принять его. Турки были со мной любезны. Сам Ибрагим уже отдавал мне поклоны на улице; мать Шериф-бея кира-Параскева и отец Арсений посылали за мной, а не за Бостанджи-Оглу, когда Шериф-бею грозила со стороны Благова опасность.

<sup>10</sup> Случалось даже, что вовсе незнакомые люди обращались ко мне как к политическому деятелю. Однажды, например, увидел меня на улице бородатый, широкоплечий, страшный грек-кефалонит и, оглянувшись туда и сюда свирепыми глазами (не смотрит ли кто-нибудь на нас), остановил меня и, ударив слегка рукой, прошептал с яростью:

— Скажи *русскому*, что старик Леси, английский консул, подлец и анафема! Подлец он, я, Спиро Контоянаки, тебе это говорю! Дияволо-турки морят меня, Спиро Контоянаки, английского подданного, целые месяцы в своих судах и меджлисах, а он, подлец и анафема, белых кур разводит... Слушай, ты только скажи это *русскому*... Так вот говорит Спиро! А он уж сам знает, что надо. Он дяде Горчакову напишет... Он знает! А ты скажи!..

<sup>20</sup> И Спиро ушел от меня, еще раз толкнув меня дружески в грудь и не назвав даже ни разу по имени ни меня, ни консула.

Я даже за это время стал смелее и противу турок. Однажды какой-то молодой мусульманин, прилично одетый, встретившись со мною неподалеку от консульства, видимо с намерением оскорбить, толкнул меня очень сильно. Я остановился и сказал ему: «Эффенди мой! это противно цивилизации! Я сейчас пожалуюсь русскому консулу».

<sup>30</sup> Турок рассыпался в извинениях: «Pardon, pardon!» И уходя, сделал еще два раза приятный знак рукой; а я с достоинством удалился.

А между тем, именно в то время, когда они все уже звали меня *Психойос ту Россо*, думая, что влияние мое в

консульстве растет с каждым днем, и воображали, будто Благов (пригласивший меня в дом свой почти случайно, мимоходом у нас в Загорах, в веселую минуту) взял меня к себе как бы воспитанником, в это самое время я убеждался, что этот самый Благов обо мне очень мало думает, к поведению моему вполне равнодушен и что, пожалуй, полосатый «турецкий халатик» мой, который я так презирал и желал с себя скорее сбросить, был ему дороже меня самого!

«Отчего же и не взять его, этого Одиссея? Отец его полезный и преданный России человек... Сам Одиссей трудолюбив; почерк у него так крупен и отчетлив... Он так счастлив моим приглашением, и я люблю, чтобы многое множество даже бесполезного народа питалось и служило с радостью вокруг меня. И разве дурно все это вместе: кривой повар Вассо, в белом колпаке и синих шальварах и в старой русской поддёвке; Маноли в малиновом бархате с черными орлами на золотом галуне; кривобокий садовник в красном мундире, маленький Алеко в старой, белой арнаутской флокате с крылышками и коричневой абе; Одиссей в полосатом халатике; ковер персидский разноцветный; чашечки из янинской серебряной проволоки; поднос китайский восхитительный, где на черном лаке из золотой травы болота одна за другой поднимаются ввысь, исчезая вдали, всё золотые же цапли с пурпурными хохолками на красивых головках... Разве дурно все это вместе — Одиссей и поднос, ковер и садовник, кавассы и чашечки тонкой работы?...»

Да, Благов любил оригинальность нашей жизни, он как живописец радовался на картинность наших одежд; он находил, что даже толпа восточная производит на него совсем иное впечатление, чем «траурная» (так он выразился) толпа европейских городов...

В этом смысле, вероятно, он и меня удостоивал немножко любить вместе с Зельхой, с кавассами, с садовником.

Я сказал: он «турецкий халатик» мой, как кажется, любил больше, чем меня самого...

Какая неуместная, досадная любовь, — не правда ли? Для меня, для меня, который каждый день все собирался просить у него еще несколько золотых вперед или займы для того, чтобы купить себе одежду «моды и прогресса»... и все не решался... хотя и знал, что на деньги он очень щедр и едва считает их.

Я мечтал о жакетоне, вроде докторского, а Благов грозился, шутя или нет, а я еще не знал, перенести меня на полотно так как я есть теперь в *турко-саване* этом на вечный позор, с дервишем Хаджи-Сулейманом и с этою Зельхой, которая, конечно, сатанински мила, но которую, как многие полагают, «знают уже все жандармы».

Каково это для христианина и для архонтского сына?..

Мысль об этом риске не раз беспокоила меня так серьезно, что я вечером, засыпая, внезапно вздрагивал, просыпался и начинал думать, что Благов, как человек возвышенного европейского образования, собирает все эти фотографии наших эпиротов, снимает с них очерки карандашом и вообще теряет время и трудится, вероятно, даром. Он имеет какую-нибудь при этом особую, тайную цель государственную...

Может быть (думал я) это как статистика моего отца. Может быть, срисовывая только тех из здешних людей, которые одеты в одежды восточные, без разбора, и христиан, и турок, и евреев, — он желает представить иконографически своему правительству наши бедствия, изобразить наше глубокое нравственное падение под вековым игом азиатского варвара! «Они сами стали ржавыми ази-  
ядцами, сами стали турками, сами стали варварами... не-  
счастливые...»

Не нарисовал же он ни одного грека в сюртуке, пальто или панталонах!.. Не изобразил же он тех немногих, сравнительно, из наших соотчичей, которые, достигнув высшего положения в обществе, переменили «турецкий саван» и широкие шальвары на узкие панталоны и долгополый, приличный образованным людям сюртук! Нет, у него на столе архонтских фотографий нет, ни богатого Куско-бея, ни

ученого Несторида, ни величественного седого политика Бакыр-Алмаза, ни честного Вроссо, ни скромного Арванитак в золотых очках.

А в самом лучшем, большом и дорогом альбоме, который он привез с собой из России, в альбоме черного дерева с восхитительным изображением одного древнего московского, многоцветного и многоглавого храма, какие были карточки?.. Там были карточки, пестро и тщательно раскрашенные самим Благовым. Но какие? Вопрос!.. Какое странное и, мне казалось, бессмысленное смешение! <sup>10</sup>

На первой карточке был все тот же босой кровопийца Хаджи с огромною секирой в руке, сердитыми черными очами и в высоком своем колпаке! На второй — другой юродивый же турок, тоже янинский, почти нагой, с головой почти не покрытою; лицом действительно весьма красивый, задумчивый и мужественно-тихий; — еще не старый, крепкий мышцами, смуглый, речами небогатый — Ахмед. Конечно, он пожалуй что раб Божий безвредный. Но непристойно все это русскому консулу — вот что! <sup>20</sup> Вослед за полунагим Ахмедом была изображена какая-то простейшая сельская и бедная старуха христианка в платочке, в грубом фартуке, с корзиной за спиной, полною щепок и сухих сучьев. За старухой Зельха (ну, это еще понятно...) Да! Зельха, нагнув головку, пляшет, поднимая руки с позвонками, в лиловой юбке с крупными алыми цветами и с двумя рядами золотой бахромы внизу. Красиво. И еще за Зельхой: мальчики, внуки Рауф-паши, сыновья диван-эффендисы Ибрагима в красненьких фесках и в черных бурнусах, расшитых выпуклым золотым янинским шитьем, славным по всей Турции и в Элладе. Это я <sup>30</sup> опять еще допускаю. Хотя и турчата, но высшей сферы, — внуки друга нашего и генерального губернатора всего эалета Рауф-паши.

Допускаю даже изображение верного слуги царского, высокого, широкоплечего, тоненького-тоненького в перехвате г. Маноли-кавасса, грозного лишь усами, но очами столь кроткого и сердцем мягкого. Понимаю и румяное,

круглое яблочко моего друга Кольйо, его полную луну при восходе, с усами, похожими еще больше на брови, чем на усы.

Они суть дети нашего дома, люди, преданные Государю русскому и Благову, и флагу. За ними поп Коста.

Но, Боже мой, зачем же рядом с православным иереем (хотя бы и необузданным) я вижу кого же? Арабку в желтом платье! Арабку, явно блудную Бессире, к которой звал меня когда-то безнравственный Аристид, «потому что <sup>10</sup> любопытно!» Арабку Бессире, черную-пречорную, чернейшую моего башмака. И зубы свои белые ослабленные она показывает бесстыдно, радуясь своей дурной жизни, гнусная тварь! Это в первый раз до того меня поразило, что я ударил кулаком по столу и едва удержался от возгласа негодования на весь дом!

Архонтов и архонтис ни одного, ни одной. Да! Только одна честная христианка, невестка святого новомученика Георгия Янинского, в платочке по-янински на одном лишь <sup>20</sup> боку головы и в таком круглом и широчайшем малакофе, что юбка ее даже не уместилась вся на фотографии и за краями рамки пропала.

По крайней мере невестка новомученика — женщина благочестивая, собою прекрасная и хорошей правильной жизни. Хоть одна! Но и та не совсем архонтиса, а пониже. Непостижимо.

Я очень долго не мог никак остановиться на мысли Маноли, что это все та же любовь к высокому искусству, а искал все чего-то таинственного и глубокого, скрытого.

Неужели это не шутка, что я буду на одном полотне с <sup>30</sup> дервишем?

Наконец ударил этот неприятный для меня час и я понял, что Благов вовсе не шутит.

Он посылает за мной в свободную минуту; я прихожу, удивленный, в его кабинет и вижу, что он стоит с кистью в руке, в одной шолковой синей рубашке «наружу» и держит палитру с красками.

Он говорит мне очень благосклонно: «сядь».

Я сажусь покорно и все еще недоумевая... Неужели? Но сомнения эти долго не могут длиться...

Г. Благов кладет палитру, снимает с треножника ту картину, которую он кончал пред этим; ставит на ее место небольшую рамку, обтянутую чистым полотном, берет карандаш, отходит от меня, подходит ко мне, поправляет мне голову, отбрасывает рукав моей верхней широкой одежды на ручку кресла, поправляет кисточку на феске моей. Трогает меня даже концом карандаша за подбородок и поднимает кверху потупленное долу лицо мое. Садится сам и 10  
начинает чертить на полотне.

Мы оба долго молчим.

Наконец несколько глубоких вздохов один за другим вырвались из груди моей...

— Ты вздыхаешь? — спросил консул.

Я говорю, что это ничего. И жду с нетерпением какого-нибудь еще более ласкового вопроса, чтобы сказать ему хоть отчасти правду о том, что меня так смущает.

Но вопроса нет! Благов рисует молча. 20

Наконец я в первый, кажется, раз с самых тех пор, как живу у него в доме, решился заговорить сам.

— Можно мне у вас, господин Благов, спросить одну вещь?

— Спроси.

— Отчего вы не рисуете никогда ни консулов европейских, ни архонтов, ни ученых людей, а все простых людей наших или турок?..

— Как я не рисую консулов? Я рисую их, — отвечал Благов, — я рисую на них карикатуры... Ты разве не 30  
видал Корбет де-Леси с птичкой?.. Консулов в карикатуре, а архонты ваши как-то ни в картины, ни... в карикатуры не годятся. Понимаешь?

Я мало просветился этими словами, но притворился, что понял, и, помолчав еще, прибавил:

— А мне вы позволите надеть европейское платье?.. если я себе сошью.



— Вот вопрос! — сказал Благов. — Какое мне дело, что ты носишь? Поправь феску... немного на перед... Вот так...

И мы опять замолчали.

Около часу держал он меня так пред собой и, отпуская, сказал мне только: «Теперь иди!»

Но у меня осталась надолго от слов его «какое мне дело» какая-то боль на сердце, и я вспомнил еще другие его слова, которые были им сказаны вскоре после приезда его, и на которые (или лучше сказать, на то чувство, которое эти слова во мне пробудили) я не обратил в первую минуту большого внимания. Я хотел однажды идти вечером к одному товарищу моему и пришел у него спроситься. Он поглядел на меня с удивлением и сказал точно так, как и теперь: «Какое мне дело, куда ты идешь?» Он даже как будто оскорбился тем, что я мог предположить в нем заботу о моем поведении!..

### XIII

Я вышел из кабинета в глубокой задумчивости, отыскал Бостанджи-Оглу и решился умолять его, чтоб он откровенно сказал мне, зачем рисует нас всех г. Благов, если уж решено, что тайной государственной цели он при этом иметь не может.

Бостанджи отвечал с насмешливою улыбкой:

— Это называется *этнография*; *этнос* и *графо*... Разве ты, эллинист, не знаешь этого?

— Однако, — возразил я, — какое же народописание изобразить меня, загорского грека, на одном полотне с египетским феллахом, Хаджи-Сулейманом, и с битольскою цыганкой, или турчанкой — этою Зельхой... Это только обида и насмешка и больше ничего...

— Там, в России, тоже музеи собирают, — сказал на это Бостанджи (все с улыбочкой). — Младенцы в спирту без головы и с тремя головами; Юлия Пастрана...

— Что такое Юлия Пастрана? — спросил я с испугом.

— Это женщина волосатая, которую в Америке мать от орангутанга родила...

Бостанджи-Оглу не захотел давать мне больше никаких объяснений, и я хотя и не слишком верил ему, что меня и Зельху вывезят в таком музее, где держат безголовых зародышей, но все-таки впечатление от этого разговора у меня осталось тяжелое, и я страстно пожелал скорее стереть со своей особы последние следы азиатизма и заказать себе сейчас же самое модное и хорошее европейское платье. Сосчитав деньги, полученные мною от г. Благова, я увидел, что их будет мало, и решился просить у него вперед. Вошел опять к нему и сказал:

— Господин Благов, я решился сшить себе европейское платье. Не будете ли вы так милостивы, не дадите ли еще четыре лиры вперед за переписку...

Благов читал книгу лежа на диване; он едва взглянул на меня и, указывая на ящик стола, сказал: «Возьми там и запиши в счет»...

Я взял и тотчас же поспешил к французскому драгоману г. Какачио, который был у нас лучший портной. У него был сын Леонардо лет семнадцати. Леонардо Какачио был мальчик ласковый и товарищ добрый, хотя очень боязливый и порядочно уже развращенный; курчавая белокурая головка его и веселое детское лицо с ямками на щеках производили очень приятное впечатление. Мать его была православная, и он ходил в нашу эллинскую школу.

Леонардаки очень мне обрадовался и тотчас же согласился просить отца, чтобы тот сам сшил мне скорее новое платье. Г. Какачио принял нашу просьбу приветливо; он выбрал мне сам материю на все; давал советы. Трико было очень хорошо: темно-коричневое, с небольшими крапинками и потемнее, и посветлее (тогда, помнишь, такое носили?). Он предложил мне даже сделать двое панталон: одни такого цвета, как сюртук, за наличные деньги, а другие светло-серые; — прекрасные, с чуть розовыми блед-

ными пятнышками, как хороший какой-то мрамор или яшма, в долг, без срока. «Вы юноша серьезный, я вам верю, — сказал он; — вы вернее другого взрослого!..»

И с этими лестными словами французский драгоман сам, преклонив предо мной колено, начал снимать с меня мерку, обещая, что все чрез три дня будет готово. Этого мало. Они с сыном, чтобы доставить мне больше удовольствия, подобрали мне из готовых вещей полную и хорошую европейскую одежду и заставили меня для опыта одеться и посмотреться в зеркало. Боже мой! Я не ожидал даже, что я так строен, так ловок и благообразен! Этот цветной, темно-малиновый сюртучок с широкими круглыми отворотами и округленными на передних углах полами!.. Эти узенькие панталоны!.. Этот жилет свободный и складный с крупными шарообразными пуговицами! Неужели и у меня будут такие же вещи? Такие же пуговицы? Я желаю такие же пуговицы!

Вот теперь-то я в самом деле младший брат самого Благова.

Все желания мои исполнены и во благое время исполнены. Милосердый Господь!..

— Как к нему идет! как идет! — говорили восхищенно отец и сын Какачио...

— Жаль, что феска на голове... — сказал Леонардаки, — видно, что не европеец...

Но отец возразил убедительно:

— Ба! Это ничего... К такому брюнету феска красная идет прекрасно!.. Юный фанариот из Стамбула... Князек молодой фанариотский! Балтаджи, Аристархи-бей...\* Прекрасно!..

Мне снимать не хотелось чужого этого платья; но пришлось, однако, снять и уйти домой в восточном.

Счастье мое было тем еще полнее, что г. Какачио взял у меня денег на покупку хороших, самых модных, хотя и бумажных, европейских рубашек. Он взялся устроить мне

---

\* Известные фанариотские фамилии.

все это выгоднее, чем бы я мог сделать сам, потому что человек, торговавший такими предметами, был с ним близок.

Но этого мало. В этот день суждено было по поводу одежд этих пережить мне многое и ощутить самые противоположные чувства, и усадительные, и очень, очень горькие.

Я уже готов был выйти на улицу, когда Леонардаки, восхищенный красотой дня, почти весеннего, удержал меня за руку, восклицая:

10

— Стой, Одиссей, поедем, мой добрый, верхом в поле сегодня! Посмотри, как весело! Не скупись, глазки мои, найми себе лошадь в хану. И Кольйо возьмем и которого-нибудь из кавассов ваших. Поедем... Смотри, какая зелень...

Он просил умильно, так, как просит милая девочка. И он был прав к тому же. Зелень была свежая, и небо ясное, и воздух не жаркий. Я был и без того возбужден воспоминанием о том прекрасном, стройном, чернооком юноше греке, в модном платье и красной феске на черных, немного выющихся волосах, которого я только что видел в большое зеркало г. Какачио. Я был возбужденно весел и сказал ему: «Да будет по-твоему! Едем!» Мигом и смело сообразил я, что ни за что не поеду в турецком балахоне моем по городу и за город верхом. Я не хочу быть похож на старого еврея-разнощика какого-нибудь, который по делам своим плетется на лошаденке куда-нибудь, и длинное платье все висит у него вокруг.

20

Но где достать сейчас европейскую одежду? Платье Бостанджи-Оглу и Леонардо мне мало и коротко?

30

Пришли мы домой. Старик Ставри и Кольйо сейчас согласились ехать, Алеко побежал нанимать лошадей. Мою лошадь оседлали консульским седлом.

Я сказал Кольйо:

— Кольйо! я желал бы иметь сегодня для этой прогулки хорошее европейское платье. Но я не знаю где достать.

Кольйо, подумав, отвечал:

— Я пойду попрошу для тебя у консула. Оно будет тебе хорошо.

— Я стыжусь, — сказал я.

— Зачем стыдиться! — возразил бесхитростный Кольйо. — Великое это дело разве раз один в его жакетке погулять! Оставь мой рукав. Пусти меня. Он даст.

И Кольйо пошел; а я подумал:

«Как это я сам не подумал об одежде Благова?.. Это правда, что говорит Кольйо».

<sup>10</sup> Росту мы были теперь почти одного; я за эту зиму в Янине еще вырос, и собственное белье уже несколько теснило меня в окрепших плечах и мужающей шее.

Кольйо вошел к нему; а я остался в зале. Из отворенной двери все было слышно.

Кольйо сказал ему что-то. Потом раздался голос консула:

— Кому? Одиссею?..

Мне послышалась в голосе его нота удивления. Потом они оба помолчали... Я смутился; щеки мои вдруг запылали от стыда.

<sup>20</sup> Но вот наконец Благов встал. Я услышал его шаги и отошел подальше. Он пошел в спальню и, возвратясь оттуда, сам подал Кольйо старую бархатную жакетку. (Я говорю «старую» только потому, что у него была еще другая, совсем новая.) Подавая одежду, он не сказал ни слова.

Кольйо вышел от него с триумфом.

Смеясь и радуясь моей радости, он сказал:

— На здоровье! Теперь ты настоящий горожанин.

Через полчаса я был совсем одет, совсем молодцом.

<sup>30</sup> Белые воротнички, синий галстучек, консульская жакетка, перчатки... все! Чтобы еще больше быть похожим на Благова, который верхом предпочитал ездить в высоких сапогах, я выпросил у Кольйо те дорожные его сапоги, в которых он разъезжал за консулом иногда по горам.

Кони наши уже стояли у дверей. Бостанджи-Оглу и тот захотел с нами ехать. Но, увидав меня в одежде Благова, он воскликнул: «Что это, он подарил тебе это платье?»

И когда Кольйо объяснил ему в чем дело, Бостанджи покачал головой и сказал: «Удивительная вещь!» Я приписал это все его зависти и низости.

И вот мы выехали все вместе и уехали за город далеко, и пробыли за городом почти до захождения солнца. Это была жизнь! Это была радость, ничем не отравленная, невинная и безгрешная.

Песни пели; пред дальним ханом пили кофе и хорошую воду, сидя все на круглой возвышенности, сложенной нарочно для путников из камней. 10

Толстый ханджи в грязном фартуке был человек очень разговорчивый, он знал всех моих спутников, но меня видел в первый раз, потому что мне еще никогда не случилось ездить в эту сторону. И потому, подавая кавассу Ставри кофе, он указал на меня и спросил: «А этот молодой кто такой?» Когда же Ставри назвал меня, ханджи воскликнул: «А! этот! Говорили мне люди, что русский взял себе воспитанника, но я никогда не видал его!...» Потом, обращаясь ко мне, прибавил, ласкательно прикладывая руку к своему сердцу: «Прошу и нас, господин Одиссей, иметь в твоей благосклонности...» (Бостанджи, к счастью, не слышал этого!) 20

Я поклонился ему. Потом мы опять сели на лошадей и уехали.

Незабвенная прогулка! Счастливый, незабвенный час моей молодой жизни!

Солнце, уже склоняясь на запад к обнаженному гребню печальных и суровых гор, светило кротким лучом ясного заката.

Мне было очень хорошо. С особым романтическим чувством вспоминаю я до сих пор беловатую землю одного круглого холма, с которого мы один за другим осторожно спускались. Сухую и редкую горную травку около тропинки и глыбы камней, покрытых жолтым мохом... Все пантеистически дышало для меня в этот день... Мне было скорее грустно, чем весело, но так хорошо!.. 30

И кроме этого собственного чувства моего юного сердца, кроме сладкого созерцания, которому я весь отдавался,

и вспомнить было бы нечего об этой прогулке, ничего в ней не было особенного, если бы не это мое приятно томительное чувство. Ехали под гору, ехали на гору... Пели, конечно, все вместе и героическую песню, известную песню про Юсуф-араба.

Юсуф-араб сражается...

Потом старик Ставри скакал отлично на своем коне. Бостанджи-Оглу хотел тоже быть паликаром, но свернулся с седла.

Ставри язвительно сказал:

— Сегодня мы хорошо веселимся, когда на седле, а когда и под седлом.

И мы все этому смеялись. Мы с Кольйо не скакали на наших наемных лошадях. Нам и так казалось хорошо.

После скачки вперегонки Ставри, Леонардо с Бостанджи-Оглу остались впереди и долго пели хором; и мы с Кольйо нарочно отстали, чтобы побеседовать свободнее; по сердцу мы с ним были ближе друг к другу, чем все остальные, и друг с другом мы говорили смелее и откровеннее.

Между прочим я спросил у Кольйо вот что:

— Скажи мне, Кольйо, как ты поступил к господину Благову?

Кольйо отвечал мне так:

— Скажу я тебе, что я жил с одним дядей моим в свободной Греции, в Патрасе, и помогал ему в делах его. Потом мы поехали в Корфу и дядя заболел; лежал он два дня или три и говорит: «Николай, кажется, смерть моя пришла. Денег у меня мало; но возьми их и пошли дочери моей в Эпир. Не обмани меня». После этого ночью смотрю, он сел на кровать и закричал: «О, ò!» и стал креститься. Голову к стене прислонил. Потом начал у него подбородок трястись, и глазами он прямо глядит, и ничего уж больше не говорит. Я ужасно испугался; я никогда не видал, как это умирает человек. Я понял, что он умирает. Так он и умер при мне, сидя, и все глядел

так страшно. Его похоронили, и деньги я его взял и все отправил двоюродной сестре моей, его дочери, в Эпир, как он приказал. А сам остался без хлеба и безо всякого ремесла в Корфу. Потому что я, как ты знаешь, никакого ремесла не имею. Чтò мне было делать, я не знал... Пошел вниз к морю. За садом английского губернатора есть под горой пустое место. Сел я там голодный и плакал. Потом одна женщина пожалела меня и сказала: «Если ты ремесла не имеешь и тебе ничего в услужение пойти в хороший дом, то попросись к новому русскому консулу, который назначен в Эпир. Он молодой паликар и денег, видно, имеет много. Он теперь здесь, в Корфу». Я сказал ей: «Чтò делать! пойду и в слуги; может быть, оружие позволят мне тогда носить турки». Однако, скажу я тебе, если бы не оружие это и не консульство, то я бы не желал быть слугой и терпел бы еще нужду. Были и другие причины, потому я очень хотел ехать с консулом в Янину. Но я их не могу теперь сказать. Вот я и послушался этой женщины и увидал Благова, и он мне ужасно понравился. Тогда я сказал себе: «Я уже теперь люблю этого человека и буду ему так служить, что даже, если нужно, жизнь за него отдам!» Вышел я на дорогу за предместье Горіцу и дожидался его, как он поедет верхом, а когда он выехал из города, я подошел к нему, схватил его лошадь за повод и долго так вел ее и говорил с ним, просил его взять меня с собою. Он не рассердился и слушал меня. «А сколько ты хочешь жалованья?» — спросил он. Я же отвечал ему:

— Эффенди! это воля ваша. А я желаю вот чтò: если вы поедете в Россию когда-нибудь, то возьмите и меня, чтоб я мог поклониться православнейшим святыням Москвы!

А он говорит: «Ты так желаешь этого?»

— Да, — я отвечаю ему, — я очень желаю этого, потому что у меня много смертных грехов!..

Он и взял меня. И еще я скажу тебе, пришли в гостиницу к нему наниматься еще два грека, оба по-евро-



пейски одетые: один пожилой морайт,\* сердитый, страшный такой; а другой молодой корфиот, он по-французски знал хорошо и все прыгал: «Мосьё лё-консюль! мосьё лё-консюль!» Но Благов показал им столько гордости, что ужас!.. Вот так осмотрел их и прогнал очень обидно; они вышли и ругали его. А меня он взял.

Выслушав внимательно рассказ Кольйо, я, поразмыслив, спросил его:

— Скажи мне, Кольйо, надеешься ли ты от господина  
10 Благова какой-нибудь большой интерес получить для будущей твоей жизни или нет?

Кольйо печально и отрицательно прищелкнул языком и сказал:

— Нет! Я скажу тебе, Одиссей, истину. Я никакого особого интереса не жду от него. Но мне очень приятно жить в консульстве и человека этого я очень люблю...

Я на это не отвечал ему ни слова. Глупое самолюбие шептало мне, что это так и следует, что Кольйо не архонтский сын, как я, не загорец, а простой чамис из Чамурии;  
20 грамотности небольшой он обучился у иеромонаха на родине своей и больше ничего. Ему и не следует ничего ожидать от Благова, кроме шитых курточек, хорошего оружия и золотых *силяхов*...\*\* А мне должен быть открыт бесконечный путь.

Так говорил мне коммерчески воспитанный рассудок мой. Но сердце мое, по природе восприимчивое ко всему прекрасному и высокому, уже и тогда содрогалось невольным уважением и симпатией к этому простому товарищу юных дней моих, и я только сознаться себе не умел по  
30 совести, до чего чище и благороднее моих чувств и моих житейских идеалов были чувства и наклонности горца Кольйо!

Больше ничего мы особенного не говорили, и больше ничего и не случилось во время этой прогулки нашей. Все

---

\* Из Морен.

\*\* Албанских поясов для ношения ножа и пистолетов.

было так обыкновенно, и если бы, повторяю еще раз, не то полумеланхолическое, чрезвычайно сладкое чувство, которое все время наполняло мне сердце в этот день, то нечего было бы и сказать об этой прогулке... Если бы не это чувство и если бы не другое еще... Другое, неожиданное и тяжелое, которое ждало меня дома!..

Возвращались мы домой через живописные янинские предместья. На улицах стоял тихий гул, тот особый и радостный гул, который бывает слышен в час захождения солнца, когда люди, кончив торговлю и весь дневной труд свой, спешат домой к семьям своим; на базаре запирают лавки. Женщины и дети стоят и сидят у отворенных калиток, смеясь и разговаривая... Над черепицами низких домиков, освещенных последними лучами солнца, стелется гостеприимный дымок позднего и скромного обеда; иные на улице пред дверьми жилища своего веничком раздувают для прохладного вечера мангалы.

Хорошо! Мы ехали и глядели на всех, и все на нас смотрели. Я видел, что на меня смотрят особенно.

Смотрели женщины, смотрели мужчины, смотрели дети. Многие знали нас и кланялись нам.

Я думал в уме моем: «Вот они теперь говорят друг другу: Это сын души русского консула. Какой красивый и как он одет хорошо в этот бархат!»

Подумав это, я даже пожелал услышать какой-нибудь подобный возглас, и желание мое неожиданно скоро исполнилось. Громко стукнув калиткой, как безумная кинулась одна молодая горожанка к соседке своей и очень громко и тревожно спросила ее, сгорая любопытством: «Кто это? Кто это в бархате? Кто это!»

— Это тот молодой, которого русский воспитывать взял, — отвечала соседка и поклонилась мне с улыбкой приветствия.

Желание мое исполнилось! Спутники мои не сделали по этому поводу никаких замечаний, и мы приехали домой.

Дома, сняв жакетку, я отдал ее Кольйо и сказал ему:

— Смотри, Кольйо, хорошо поблагодари консула за это...

Но Кольйо тотчас же вернулся оттуда опять с жакеткой и сказал с радостью: «Консул тебе дарит ее».

Я не верил такому счастью; но Кольйо говорил убедительно:

— Так он сказал: «Отдай ее Одиссею, она мне не нужна теперь»...

10 Бостанджи-Оглу присутствовал при этом, и на лице его при виде моего радостного смущения внезапно изобразилось сострадание:

— Радуюешься ты? — спросил он меня, — ты радуешься, морé? — И потом с жаром воскликнул: — Чему же вы оба с Кольйо рады, не стыдно ли вам? Не поняли вы, что это обида? Глупые вы мальчишки! Я говорю вам, это обида. Он брезгает. Он не хотел отказать и отдал совсем. Он не удостоивает надевать одежду, которую носил *всякий* на теле своем. Хороша причина радости! Если у тебя есть самолюбие, Одиссей, ты не должен принимать ее...

20 Кольйо вступился за меня пламенно:

— Зачем ты оскорбляешь Одиссея напрасно! Зачем ты ищешь обидеть людей! Знаешь ты сердце Благова? Зачем у тебя столько злобы, кирие Бостанджи-Оглу? Тебе стыдно, а не нам!

— Ты сам же говорил слова его: *теперь* она мне не нужна... Что значит это слово *теперь*? — спросил Бостанджи.

— Теперь, значит — теперь, постой... — говорил Кольйо.

30 Но я прекратил этот спор... Я понял сразу, что Бостанджи был прав.

Я взял эту оскверненную мной одежду и понес ее сам к нему. Чувство глубоко и несправедливо оскорбленной гордости придало мне много силы духа. Я вошел не колеблясь в консульский кабинет. Благов писал. Мы взглянули друг на друга. Я положил жакетку на диван и сказал с горечью, но твердо:

— Господин консул, извините, прошу вас, моей неопытности и моей простоте. Я не знал, что вы мной так брезгаете. Я не желаю брать себе этой одежды...

Господин Благов покраснел и сказал:

— Это твоя воля; потрудись сказать Кольйо, чтоб он отдал ее Вассо-повару.

Я заметил, что на лице его сверкнуло что-то, но что это было за чувство? Жалость ли, досада ли, не знаю!..

Я ушел и, передав Кольйо его приказание, остался один в моей комнате. 10

О! как мне было стыдно...

И как я вдруг тогда возненавидел его за мою собственную ошибку...

Вот «сын души» его в каком унижении!.. И глупые люди не знают этого!..

И я должен после этого продолжать «есть его хлеб!» Должен видеть его! Почитать! Служить ему!.. Хвалить его в городе!..

И что же во мне такого отвратительного? Не цвету ли я здоровьем и юностью? Правда, у меня нет такого обилия одежды, как у него, и я не возлагаю на себя благоуханий Парижа. О! как я в этот вечер ненавидел его! Как мне было стыдно!.. Какой *чужбиной*, горькою, темною *чужбиной* показался в этот вечер его пышно убранный дом. 20

Как я хотел отмстить ему, предать его, вредить ему!..

Неужели же! Неужели он видит между мной и собой такую оскорбительную бездну? И опять, чем же я могу быть человеку так противен, когда все даже говорят, что я очень красив собой? 30

Не кривобокий же я садовник в оборванной и грязной одежде! Не занимаюсь же я грубым уличным каким-нибудь ремеслом!

О! как был прав отец Арсений, когда он не советовал мне оставлять смиренный церковный двор Св. Николая и спешить *туда*, в это высшее общество, не спросясь отца! Туда, куда меня могло звать одно только тщеславие!

И нет причины, нет возможности теперь уйти от этого надменного оскорбителя. Куда идти? Зачем? И с чем, с какими деньгами уйти мне отсюда?..

И чем бы мне отомстить ему за это! Что я могу ему сделать, бессильный мальчик, живущий его милостями!

И если бы кто-нибудь тогда мне сказал, что найдется скоро, очень скоро рука, или лучше сказать *ручка*, ручка детская, маленькая, еще более бессильная и юная, чем моя, которая и не ведая ничего о моем оскорблении, жестоко  
10 отомстит ему за меня... Я конечно бы не поверил!..

Но она нашлась, эта рука, мощная в самом бессилии своем... Нашлась скоро, и я был отмщен через меру!..

## XIV

Так, удивленный, оскорбленный пренебрежением Благова, я все больше и больше отчуждался от него душой, и досада моя на него возросла наконец в эти дни почти до вражды. Я рад был за все судить и за все осудить его.

Теперь я его не осуждаю! И за что было осуждать так строго и так страстно?

20 Ты должен понимать, друг мой, я прошу тебя об этом, что образ мой пред тобой постоянно двойится от двойного освещения.

Недавно ночью шел я по улице, освещенной в одно и то же время и газом, и полною луной. Я шел тихо по тротуару от фонаря до фонаря и смотрел на обе тени, которые сопровождали меня. Одна длинная, неизменная, постоянно обращенная в одну и ту же сторону, ложилась нелево от меня по тротуару и по стенам домов, — это была тень от луны. Она напоминала мне неисправимое уже ничем и никогда, неподвижное, вечное прошедшее. Другая тень, тень от газа, беспрестанно менялась; она то темнела, то бледнела и даже совсем исчезала. Она мелькала то впереди, то сбоку, то сзади... по мере удаления моего от одного фонаря и по мере приближения моего к другому. Эта вторая тень подобна

жизни ума нашего и нашей души в настоящем; жизни изменчивой, подверженной всем влияниям дня и часа; жизни ума, непрестанно зреющего и потому и на давно прожитое (само по себе неизменное) взирающего различно, то смутно, то бесконечно яснее и отчетливее.

Ты должен различать эти две тени в рассказе моем; ты должен всегда помнить, что Одиссей, который описывает тебе свое прошедшее, совсем уже не тот Одиссей, которого он тебе старается как можно вернее изобразить.

Раздвоение это тем более неизбежно, что те лета мои, с которых я начал тебе мой (быть может, слишком подробный) рассказ, были для меня летами величайшего внутреннего переворота, и года через два позднее я уже во многом стал больше сходен с знакомым тебе теперь Одиссеем, негоциантом дунайским, европейски искушенным (я не хочу сказать «воспитанным»), но возвратившимся снова и навсегда к животворным «исходищам водным» византийского Православия нашего; чем с тем изумленным и невинным отроком, который въезжал когда-то из Загор на муле с отцом своим в Янину осенним днем, полный робких мечтаний о счастье в обманчивом этом мире земном!

Теперь я только сужу Благова и не ищущу осудить его.

Почему ему было и не быть мне чужим в сердце своем?.. Он всем нам был чужд по воспитанию и правилам. Он мог любить патриархальность нашу, созерцательно восхищаясь ею, но в нем самом патриархального не было и следа. Он был блестящий европеец славянского племени, знатного рода, православного исповедания, — вот он что был. Он был даровитый консул, исполненный энергии ума и пожирающего честолюбия. Как политик, он мог любить все греческое племя, союзное, способное, своеобразное; — как читатель прекрасного он любил живописную родину мою, не схожую ни с Россией, ни с Западом. Но меня, меня, за что ему было меня патриархально и сердечно любить, когда он и вообще любить кого бы то ни было всею душой был мало способен?

И разве он был уже так дурен, как стал он мне казаться в минуты гнева моего? Разве непонятно, что молодой начальник бывает нередко потому именно гордее, осторожнее и жестче, что он молод и боится уронить себя; — боится дать волю окружающим?..

Он так был умен! Он молчал, но он, вероятно, давно уже понял, что поступил слишком просто и по-русски, взяв меня в дом, не думая долго. Могло ли ему с его гордостью быть приятно, если он догадался, что пребыванию моему в консульстве придается в городе какое-то важное значение 10 глупого и смешного в его глазах фаворитизма?..

И не потому ли именно он и старался отдалить, охладить и даже унижить меня несколько?.. И все это *не вдруг*, все это так незаметно, мимоходом, как будто бы нечаянно.

Нет! Он и в больших предприятиях и в малых домашних делах одинаково был умен и проницателен!

И будто бы я-то, я сам был так хорош и так безгрешен?..

20 Разве не был и я честолюбив, корыстен и лукав!.. Разве я... Разве другие грехи?..

«Возлюби ближнего твоего, но возненавидь грехи его!» — учит нас Церковь.

Я же на него самого пылал тогда гневом, а грешные наклонности его с каждым днем и с каждым часом становились и моими недугами...

Они нравились мне, эти искушения; они меня невыразимо пленяли; и убийственная для души поэзия томительного и тонкого женолюбия, все сильнее и сильнее развиваясь, стремилась порвать все те узы строгого благочестия, 30 которыми меня столько лет опутывали мои воспитатели!

Ах! бедный, бедный Одиссей!..

И столько людей склоняли меня к падению! Столько людей искали меня соблазнить, потворствовали мне, развращали меня!

И прежде всех *она*... Все *она*, эта загадочная Зельха, которую я также долго не мог понять! Что она такое? Что

она — невинное дитя, только грубо и бесстыдно воспитанное, или жертва бедности и раннего распутства?..

Она опять пришла и, хотя и уверяла, что ей надо скорее домой; но как-то случилось (не знаю и не помню я, несчастный, даже как), что какою-то силой принесло ее по воздуху в мою комнату и посадило ее на мой диван, и на этот раз уже не она, а я... я, безумный, подозвал ее к себе поближе... (Накануне сам г. Какачио принес мне мое щегольское европейское платье, и как только я надел его и увидел опять в зеркало *константинопольского*,<sup>10</sup> смуглого, курчавого и стройного *архонтóпула*, так сейчас же почувствовал в душе своей небывалую смелость и предприимчивость.) Долго мы сидели с ней; и она меня целовала, и я ее целовал; очень долго... И никто не мешал нам...

И мы даже сами пресытились поцелуями, устали, отодвинулись друг от друга и начали беседовать, не сводя глаз один с другого.

О чем же это мы беседовали?

Она спрашивала:

— Хочешь мастики?

Я отвечал:

— Дай.

И мы оба жевали мастику.

Она опять предлагала вопрос:

— Ты франкское платье себе сделал?

— Да... А что, разве тебе не нравится?..

Она пожимала плечами и делала гримасу, говоря: «что мне за дело!» Потом, тронув круглую пуговку на жилете моем, она сказала: «это очень красиво, как черешни!»<sup>30</sup>

Я делал ей выговор:

— Ты ручки свои опять не хорошо, душенька моя, вымыла. Консул увидит!

Она равнодушно вытягивала пред собой свои маленькие руки и ни слова не говоря смотрела на них и вздыхала вдруг так детски и невинно, что я опять... приближался к ней...



— Скажи мне, Зельха моя, правду, душечка (говорил я потом), честная ты?..

— Что за вещь? — спрашивала она, не понимая.

— Ты доброго поведения, не распутная, нет?

— Нет! я девушка. Я мала еще, — отвечала она равнодушно.

Мы молчали немного и опять разговаривали.

— Где ты плясала на этой неделе, Зельха?

— На свадьбе у еврея Симоначи. Плясали много.

<sup>10</sup> Вино пили; я была пьяна.

— Неправда! — восклицал я в досаде, — это неправда! Разве ты любишь вино?

— Очень люблю... Я говорю тебе, что была очень пьяна. Мать меня за это бранит, — прибавила она.

Но я этому не поверил и думал, что она шутит.

Так она была нежна и привлекательна и слаба на вид... Где ж ей пить и быть пьяной! Это она лжет и дурачится!

После этого я позвал к себе в комнату Кольйо и Алеко, мы все вместе пили кофе, курили консульский табак и пели хором песни.

Подобно тому как Кольйо пожимал плечами, что Благов не прогонял его и не бранил, даже когда он бил посуду и терял золотые, но все-таки был счастлив этою странностью консула, так и я, должно быть, пороптав на него за то, что он так холодно относится к моей нравственности, «все видит и обо всем молчит», как-то свыкся с этим равнодушным молчанием и, утратив страх человеческий, о страхе Божиим забыл в этот волшебный миг, когда мы все такие молодые и добрые, и веселые, она и я, добрый Кольйо и бедный Алеко

<sup>30</sup> воспевали так дружно и беззаботно ту весну, которая цвела в сердцах наших и томительно зрела в нашей крови!..

Была она, целовала меня, смеялась, пела, кушала кофе и ушла... И на этот раз, увы!.. у меня уже не было рассказа, а только мысль о том, что вот она опять придет и что она девушка добрая, все просит за христианку... и что это все может даже к добру повести. Можно ее в Элладу тихонько отправить и окрестить.

И вместо того, чтобы каяться и плакать, я стал все петь с утра до вечера, как этот Вамвакос:

Белая ты моя роза  
И золотой ты мой жасмин!..  
Цумба, цумба...  
Цумба, Цумба...

А потом восклицал, как Благов или как французский поэт, им любимый: «*Raf, c'est mon cheval qu'on apprête!*»

Все, говорю я, как будто согласились искушать меня и увлекать на путь безнравственности и легкомыслия. 10

Благов и Козвино своими неосторожными при мне беседами и примерами самой жизни своей, Кольйо, сама Зельха и ее мать, и даже (чего ты, конечно, не ожидаешь!) кривой повар Вассо!

Например, положим, в субботу была Зельха и целовалась со мной, а на следующее утро, в воскресенье, мы с Кольйо вместо того, чтобы пойти в церковь, ушли за город, и там, сев на холмике, с которого был виден весь город, говорили о молодых девушках и о любви.

Мне кажется иногда, что я и теперь вижу пред собой 20  
эти предместья янинские, сероватые, желтоватые или белые низкие домики и высокие стенки такого же цвета, из небеленого земляного кирпича, и садики, еще не одетые весеннею зеленью; и одна около другой сырые от тумана красные черепичные крыши, с пятнами и узорами белого цемента, и нежный пар, который от них тихо поднимался, по мере того как солнце согревало их, и дымок из труб... И слышу пение петухов, которое в это незабвенное утро мне казалось особенно торжественно, весело и громко...  
Может быть, петухи пели в это утро точно так же, как 30  
всегда, но я был восторженнее.

Кольйо был тоже как будто счастлив, хотя и задумчив. В это утро наконец я узнал от него подробно тайну его голубых знаков и надписей на руке.

Он говорил с большим чувством о родине своей. Рассказывал мне о некоторых обычаях тамошних сел; о том,

например, что у них нередко нарочно ловят ласточек и привязывают им на шею крошечный колокольчик, чтобы знать наверное — те ли же самые ласточки на старые гнезда возвращаются к ним на другое лето, которые улетели прошедшею осенью. Описывал, что молодые женщины у них покрывают голову особым и очень красивым убором, не *факио́лями* на всю голову, как у нас в Загорах, и не узеньким узорчатым платочком на один бок, как в Янине, а белую бумажною материей; они обвязывают ее сперва <sup>10</sup> как бы венцом или полосой вокруг чела, а потом, приподняв длинный и широкий конец, падающий на спину и украшенный бахромкой, закидывают его поверх головы так, что бахромка падает через белый венец им прямо на лоб.

Мне казалось, что это должно быть очень красиво.

Потом он открыл мне, что он любил там одну очень молодую женщину по имени Та́шо. Она была гораздо отважнее его и сделала первый шаг. Муж ее был Кольйо двоюродный брат; — но он был в отсутствии и ей было всего девятнадцать лет. Ташо жила вдвоем с младшею <sup>20</sup> сестрой, девушкой лет четырнадцати, и старою теткой, вдовой, которая была к ней очень снисходительна и во всем ей потворствовала.

Кольйо по-родственному и ничего не подозревая в своем простодушии, соглашался нередко ночевать у них, и Ташо все шутила с ним, угощала его всячески и наконец однажды, когда он лег около очага спать на полу и все стихло, она пришла к нему и, сев у ног его на постель его, воскликнула:

— А! Кольйо! Анафемский Кольйо! Зачем ты так <sup>30</sup> сжег мне сердце мое, что я ни ночью, ни днем, глядя на тебя, не имею покоя!..

— Я очень испугался греха, — рассказывал Кольйо, — и брата моего двоюродного оскорбить и обесчестить не желал. И ничего не отвечал... Но какое было это мученье мне... ты уж сам пойми, Одиссей...

— Так мы очень долго любили друг друга, — говорил Кольйо, — и часто были вместе; однако, сколько я ни

любил ее, я не решался впасть в грех... (и остановившись на мгновение, Кольйо прибавил с сильнейшим чувством) Я очень боюсь Бога, Одиссей, и не знал иногда, что мне делать. Она же ничего не боялась, ни мужа, ни людей... А когда я говорил ей о грехе, она отвечала: «Что мне делать! Люблю тебя!» Вот раз сидела она у меня на коленях, как вдруг вбежала одна девочка, подруга ее младшей сестры, и застала нас так. Она сейчас опять ушла и всем рассказала. Стал народ говорить и смеяться над нами. И сочинили на нас одну песню; я помню только начало: 10

На горе у попа Яни  
Точно турки в Рамазане...  
Ташо и Кольйо...

Не помню я дальше; но это слово такое «на горе у попа Яни» они выдумали от того, что мы с Ташо иногда, постом, соглашались на горках по виноградникам искать ули-ток для кушанья, выходили с разных сторон из села, и в разное время, и там встречались. И вот раз нас видели вместе люди в виноградниках попа Яни. Я потерял голову от стыда и мученья, когда стал слышать, что мальчики на 20 улице мне вослед поют эту песню; но Ташо сказала: «Пусть поют об нас в песнях!.. Больше славы нам!» Так была эта молоденькая смела. А я все стыдился. Только однажды встречает меня один мой родственник и говорит: «Кольйо! приехал из чужбины младший брат мужа Ташо и узнал, что ты обесчестил жену его старшего брата и что про вас с ней говорит и поет народ. Он хвалится, что если ты куда покажешься и он увидит тебя, то вызовет на свиду\* или так убьет... Так ты завтра в церковь не ходи!» 30 Этого, Одиссей, я вынести никак не мог! Я надел оружие и пошел в церковь. И этот враг мой был там; однако, увидав меня вооруженного, он не сказал ни слова, и все мы разошлись по домам из церкви мирно и спокойно.

---

\* На дуэль. У албанцев, так же как и у черногорцев, поединок существует.

После этого я уже не мог терпеть разговоров этих и песен и, собрав свои вещи в узелок, ушел пешком из села, не простившись с Ташо, и уехал в Элладу. Я очень стыжусь людей всегда, Одиссей... вот отчего я ушел. А скучно мне без нее было так сначала, что я на дороге несколько раз садился и плакал, и думал на Святую Гору уйти и стать монахом; а как пришел в Элладу, так сейчас наколол булавок себе этот кипарис и надпись эту, чтобы Ташо никогда не забывать, и натер это место порошком так, что у  
10 меня распухла рука и несколько дней болела сильно... А потом прошла... А потом и любовь эта самая прошла!..

Так рассказывал мне Кольйо. И в кратком рассказе его, и в его наружности, и в голосе, и в движениях было столько чувства, столько искренности, что я был очень заинтересован и тронут.

Подумавши, я сказал ему, однако:

— Все-таки это грех!

Кольйо глубоко вздохнул и, опустив глаза, несколько  
20 времени перебирал рукой складки своей фустанеллы, как стыдящаяся девушка перебирает свой передник; наконец обративши на меня тихий взгляд, отвечал:

— Все это грех, конечно. Но что делать нам, бедным!.. Я исповедывался в Элладе потом и говорил с одним монахом; он утешал меня и сказал: «Падения все-таки не было, так что ты за борьбу свою имеешь венец... Но надо быть осторожным вперед... А вот это, — прибавил он, — хуже, что ты на смертный бой с ее зятем хотел идти даже без исповеди и покаяния в грехах. С какою ношей предстал бы ты на страшном судилище Христовом, если б этот  
30 человек убил тебя?..»

— Что ж, это правда, — воскликнул я. — Не нужно было идти в церковь, когда этот шурина угрожал тебе... Он бы мог тебя убить...

— Не могу! не могу! — с жаром воскликнул Кольйо, поднимая руку к небу. — Я имею очень много самолюбия и не могу вынести, чтобы человек хвалился, что я боюсь его...

Я подивился этой храбрости и потом спросил его не без стыда и робости:

— А что ты скажешь, Кольйо, про мои эти дела?.. Ведь ты знаешь ли, что пред тем как вам с Алеко прийти ко мне, мы с Зельхой этой очень долго целовались, очень долго. И что тебе сказать... про себя. И мне стыдно и страшно. Как рай мне кажется эта приятность! Никогда я еще в жизни моей девушку молодую не обнимал и не целовал. Даже не знал, до чего это хорошо! Точно безумие какое-то... Точно сон приятный! Не знаю как и сказать...<sup>10</sup> А совесть моя говорит, что это хуже, чем твоя любовь с Ташо. Ташо была христианка, а эта туркуда. Для меня это иногда очень неприятно, и я не знаю даже, как мне тяжело будет на исповеди это отцу Арсению сказать.

— Нет! — отвечал Кольйо решительно (точно будто бы и он знал ту мысль, которою я себя сам накануне утешал). — Нет, это не так. Я наверное знаю, что это еще лучше, потому что ты можешь чрез любовь эту выкрестить ее, и надо только как начнешь целовать ее, так думать об этом и иметь эту цель в виду. Тогда ничего.<sup>20</sup> Это я наверное знаю. Я слышал это от людей хороших и великого опыта...

Эта речь Кольйо, столь твердая и ясная, и с моими тайными наклонностями столь удивительно совпавшая, не-сказанно ободрила меня. Она придала чуть ли не обязательный какой-то смысл моим отношениям к маленькой танцовщице и развеселила меня донельзя. Низкий и грубый разврат не легко бы меня соблазнил и увлек. Ни бесстыдный и вечный смех Аристиды, ни примеры таких бессовестных людей, как Куско-бей, покупавший за деньги<sup>30</sup> девическую честь, не могли бы легко совратить меня с пути добрых правил. Но этот невинный Кольйо, любящий, стыдливый, исполненный веры и теплоты покаяния, был для меня искушитель самый опасный в мире!

Его кротость, под которою таилось мужественное сердце воина, его опрятный и привлекательный вид, его бескорыстие, его дружба ко мне и откровенная, простая, но в

сердце поражающая сельская речь, — облакали самый грех в такой веселый, улыбающийся или меланхолически сладкий вид, в такое чистое и живописное одеяние поэзии, что даже и память о каком-то «мрачном беззаконии» не могла, кажется, иметь тут места...

Долго мы бродили за городом (Благов уехал еще с вечера на охоту, и Кольйо был свободен); сидели у кофейни, пили кофе и холодную воду с рахат-лукумом; потом пошли домой дальнею дорогой через предместье Канлы-<sup>10</sup> Чешме, в котором жила Зельха. Не я предложил идти этим путем, а Кольйо; мне кажется, что он хотел доставить этим мне удовольствие.

При входе в предместье я сказал ему:

— Я еще думал, Кольйо, о твоих делах с этою Ташо... Правду сказал монах, что ты венец своею борьбой заслужил; но я бы хотел еще знать: с тех-то пор ты все так же невинно и честно жил или нет? Мне бы очень хотелось от тебя в этих делах поучиться...

Кольйо вдруг покраснел и отвечал нерешительно и со <sup>20</sup> вздохом:

— Кто поживет и греха не увидит!.. Мы люди!..

Меня это сильно поразило и взволновало. Значит, *настоящее-то* он все-таки скрывает от меня. Я долго умолял его рассказать, что с ним после любви с Ташо случилось, и где и как?.. Но он ответил только:

— Стой, Одиссей, не спрашивай меня больше об этом... Одно я тебе могу сказать теперь. Случилось это прошлого года... Больше ничего я тебе теперь не скажу. На мне лежит великая клятва. Я душой отца моего покойного клялся. <sup>30</sup> Чрез десять лет, если мы будем вместе, я тогда, может быть, все открою тебе. А пока, я могу тебе сказать еще вот что. На берегу моря, в Корфу, за городом, под горой есть старый фонтан... На нем есть лев, в камне высеченный. Фонтан этот еще от венецианцев остался. Жолтый, жолтый, старый камень. И вода из него хорошая сочится и в море течет. И говорят люди, что кто из этого фонтана пьет, тот в этот год влюбится.

И это правда! И я пил и влюбился... А больше ничего я тебе теперь не скажу, и ты, Одиссей, меня не тирань, и не спрашивай, во имя Божие, прошу я тебя...

Ну, скажи же мне, не опаснее всего другого была сладкая музыка таких речей, и эта искренность чувства благородного горца, не была ли она полна тончайшего яда? Именно такого, который был сообразен с моим возрастом, с моим сердечным устроением, в том чувством изысканного, которое было мне, видно, от природы свойственно?

Не говори мне, прошу тебя, никогда, что демонов нет,<sup>10</sup> и не улыбайся тому, что ты, конечно (я знаю), назовешь моими суевериями и ханжеством. Если бы не крылись они в нас самих и не носились бы незримо в воздухе около нас, то как бы *самое хорошее* и нежное, и честное, и благородное могло становиться так легко самым опасным и вредным и незаметно изменяться вовсе, подобно облаку на голубой лазури неба в летний полдень, когда очертания этого облака, представлявшие сначала некое подобие белой воздушной нимфы или крылатого ангела, постепенно, чуть заметно удлиняясь там, укорачиваясь здесь, разверзаясь<sup>20</sup> сверху, сгущаясь и темнея снизу, разрываясь на части, — становятся вдруг похожими на такое отвратительное, адское чудовище, в котором мы и узнать не можем прежнего идеального видения нашего!..

Я не стал настаивать и беспокоить больше Кольйо, и мы шли молча по предместью, как вдруг Кольйо сказал:

— Посмотри, Одиссей, Зельха стоит на пороге своей хижины.

Я посмотрел и увидал, что Зельха в самом деле стоит на пороге своего жилища, опершись рукой в притолку<sup>30</sup> двери. Одета она была по-домашнему, бедно и довольно неопрятно. Домик, в котором они жили с другими цыганами, небеленый, желтый, имел очень бедный вид. В окнах стекла были повывбиты и кой-где заклеены грязными бумажками; а в одно отверстие была втиснута, для защиты от ветра, грязная ситцевая тряпка или какая-то старая одежда, не знаю.



Сквозь отворенную дверь, у которой стояла Зельха, видны были темные сени.

У двери на камне сидел небритый, оборванный, худой и отвратительный цыган, скрипач, один из тех музыкантов, которые всегда сопровождали Зельху и мать ее на вечера, где Зельха плясала.

## XV

Зельха была бледна и жаловалась, что у нее ночью была сильная лихорадка. Она не приветствовала меня <sup>10</sup> ни улыбкой, ни веселым взором; очи ее были мрачнее обыкновенного. Она сказала только печально и серьезно: «Добрый день, Одиссей... Здоров ли ты?..» И потом, приподняв повыше ту руку, которою она держалась за дверь, сказала: «войди к нам. Вассо-повар тут»...

— Войти? — спросил я Кольйо.

Кольйо сказал: «зайдем!», и мы вошли.

Внутренняя комната у них была не так грязна, как можно было ожидать, судя по ветхим глиняным стенам <sup>20</sup> хижины, по бумажкам вместо стекол и по тряпке, всунутой в разбитое окно. Зеленый ситец на широком диване кругом стены был очень стар и весь в заплатках, но недавно вымыт, и на окнах висели чистые, белые занавески с бахромой.

Мы вошли и увидели, что на диване сидит кривой Вассо в бурке на одно плечо и все в русской поддевке поверх шальвар. Старуха, мать Зельхи, сама подавала ему <sup>30</sup> кусочки рахат-лукума и воду на позеленелом и изломанном медном подносе. Лицо ее было покрыто, как на улице.

Довольно сильный и прохладный ветерок влетал в окна, вздувая занавески.

Мы поздоровались, и Вассо, не вставая, тотчас же воскликнул, как будто он был хозяин дома:

— Добро пожаловать, господин Полихрониадес... Я тебя едва узнал; ты в этой *бонжурке* \* совсем консульчик стал.

Он протянул мне руку, и я, пожав ее, сел на диван. Кольйо тоже сел.

Старуха, казалось, была нам очень рада, звала дочь, приказывая ей варить кофе, посылала цыгана за свежей водой, говорила, что ей стыдно меня принимать в такой бедности... И все смеялась, все смеялась...

Зельха пришла на ее зов неохотно, все уныло, все печально смотрела на нас и сказала:

— Я больна... Как я буду варить кофе...

Мать закричала на нее: «Стыдно, стыдно... Глупая голова твоя, стыдно...»

Но Зельха не обратила на ее укоризны никакого внимания и села против нас на диван.

Вассо тихонько тронул меня по руке и шепнул:

— Тоненькая как *проволочка* серебряная... Турецкий червонец с русскою печатью... Заболела, птичка моя!

Я покраснел.

Кольйо между тем предложил помочь сварить кофе. Зельха тотчас согласилась, говоря: «У меня голова болит... А вместе с тобой сварю...» И они вышли.

Я по-прежнему не понимал, что это за девушка и как она себя ведет, и чего она хочет. Меня немножко взволновал ее уход с Кольйо, который, как он сам рассказывал, обладал таким редким и дьявольским даром привлекать женские сердца.

Мне показалось, что Зельха взглянула на него томно и чуть-чуть ему улыбнулась. Я мог из добродетели, из страха, из стыдливости отказываться от нее, я мог страстно желать сохранить мою чистоту, я мог, наконец, не сметь оспаривать ее у такого влиятельного человека, как консул; но Кольйо не консул... Зачем встречать меня без улыбки,

---

\* *Бонжураки* — так иногда называют на Востоке короткие европейские сюртучки.

а ему, румяному и такому приятному... хотя бы и чуть-чуть улыбаться? Я считал ее как бы собственностью моею, и в первый раз чувство ревности посетило сердце мое...

«Она блудница! — подумал я... — Это ясно! Она блудница!» Но странно! Именно оттого, что она «блудница», оттого, что она доступна... мне вдруг, в первый раз, представилось ясно, что она может легко стать моею... И если грешил и грешит добрый и набожный Кольйо, отчего же и я буду святее других?..

10 Я так занялся этою мыслью, что и не обращал внимания на циклопа Вассо, которого лукавое око было все время устремлено на меня. Оглянувшись на него, я увидел на лице его снисходительную улыбку.

В то же время и старуха, как будто отвечая на тайную, но понятную ей мысль повара, начала от всей души и громко смеяться...

— Чему вы оба смеетесь? — с удивлением спросил я.

— Радуюсь на твою красоту и на твое благородство... — сказал Вассо.

20 А старуха спросила: «Разве нельзя смеяться?» И потом прибавила:

— Отчего ты никогда не заходишь к нам? Зельха тебя все равно что брата любит...

— Вот я зашел, — отвечал я.

А Вассо вдруг стихами:

Ты, девушка моя, ты врач искусный...

Я раненый, приди и поцелуй меня,

Чтобы я стал здоров — несчастный...

30 Противная старуха опять нагло захохотала и даже давилась от радостного смеха. Потом оглянувшись беспокойно в сторону двери, встала, выглянула в сени, подошла ко мне очень близко и, нагнув надо мной свое худое, желтое и длинное лицо, которое было очень хорошо видно сквозь кисею яшмака, шепнула мне:

— Любит она тебя, любит!..

И вышла опять в сени.

Мне ли, мне ли, столь искренно целомудренному, было слышать такие речи матери про дочь!.. Положим, они обе мусульманки; но в подобном деле это все равно; грех все грех; низость все низость... и мать все мать!.. Турки в этом случае согласны с нами...

Я опустил глаза и молчал. Я чувствовал, что Вассо все глядит на меня. Наконец он сказал:

— Кир-Одиссей! Полно, не стыдись. Старуха правду говорит...

Я совсем растерялся и перестал даже понимать, о чем <sup>10</sup> речь.

— Очень ты стыдлив, — сказал Вассо. — Это хорошо...

Больше ничего он не сказал.

Потом пришла опять старуха; опять смеялась, опять оглядывалась назад, опять шептала.

Я наконец рассердился и сказал ей:

— Я не понимаю, что вы говорите... Оставьте меня, или я уйду...

И хотел встать, но Вассо сказал:

— Оставь его теперь. Успокойся, Одиссей, я тебе все объясню... 20

Зельха и Кольйо возвратились. Она несла кофе, и лицо ее было гораздо румянее прежнего. Меня это поразило. Я не подумал о том, что она долго сидела над огнем, чтобы варить кофе; а вспомнил только с быстротой молнии о том нежном румянце, который покрывал ее детские щеки *вчера на моем диване*. Вспомнил, и сердце мое снова взволновалось странною смесью любви и презрения к ее разврату. «Она целовалась и с Кольйо»... 30

И так мне было это неприятно, что я, едва допивши кофе, встал и сказал:

— Ты, Кольйо, как хочешь, а мне пора домой...

Кольйо сказал, что и он пойдет, и мы, простившись, ушли.

Я всю дорогу собирался спросить у Кольйо правду: целовал ли он ее, или она его, или нет...

Двадцать раз этот вопрос был на устах моих, но уста не могли легко произнести его... И только к вечеру я как-то решился и спросил его об этом.

— Нет, вот тебе хлеб мой,\* нет! — воскликнул он с жаром. — Я варил кофе; а она лежала у огня и грелась.

Я успокоился.

Но все это ничего не значило в сравнении с тем удивлением, которое я испытал в тот же день, когда поздно вечером Вассо пришел ко мне в комнату и, поговорив сперва о разных предметах, объявил мне вдруг, что, право бы, было всем хорошо, если бы Зельха стала моею любовницей...

— Почему же всем хорошо? — спросил я с изумлением.

Вассо вздохнул и сказал так:

— Здесь есть тайна великая! Проклятая девчонка очень своенравна и упряма. Совсем дитя и ничего знать не хочет, и ничего еще не понимает. Мать очень желает, чтоб она стала любовницей консула, и надеется получить большие выгоды и собрать хорошее приданое дочери. Однако есть трудности в этом деле. У Благова есть такая, видно, честность: если девушка бесчестная, худой жизни, — ну, можно согрешить. Пусть дьявол повеселится! А покупать честную девушку у матери — брезгает... А тут и та сама дура. О деньгах и о приданом совсем не заботится. И какое ее худое поведение!.. Совсем дитя...

— Так она не худого поведения! — воскликнул я.

Око повара блеснуло удовольствием.

— Она тебе нравится, морé Одиссей! — сказал он. — И мать заметила, что и ты ей нравишься. Значит, все и будет по очереди и по порядку. Она тебя будет, например, любить и сделается чрез это худого поведения; а консул тогда успокоится и даст ей хорошее приданое...

Так вот она, тайна эта! Вот разгадка всего этого дела!..

---

\* Божба.

За что же я так нападал на Благова, когда он так благороден... Нет, прости мне, Господи, мой несправедливый гнев... Человек этот — лучший христианин, чем я...

Другие сыплют золото, чтоб обольщать девиц, а он, зная, что этой девочке ничего кроме безнравственной и грязной жизни в будущем предстоять не может, что ей и терять нечего, и что даже тот небритый цыган, который позднее возьмет ее себе в жены, будет рад русским деньгам на ожерелье ее и в ее сундучке. Он, зная все это, не хочет, однако, брать на душу великого греха, развращать неопытного ребенка, которого желает так пламенно продать сама та, которая родила и вскормила ее!

Нет! я грешен, я грешнее его, прости мне, Господи... и много в нем хорошего, честного и христианского...

Вассо ушел от меня ни с чем, конечно. Я сказал:

— Оставьте меня, г. Вассо; это все пустяки. Делайте с этою ведьмой-старухой что хотите... А до меня что вам?.. Какие мне дела иметь, — мне, ученику молодому, с танцовщицей и турчанкой... Оставьте меня, прошу тебя, Вассо, и не говори мне больше никогда об этой девушке и обо всех таких делах. Я, брат мой, только и думаю, как мне скоро большими и торговыми оборотами придется заниматься, чтобы родителю моему помогать, и как бы мне познаний и учености побольше приобрести, чтобы человеком стать... Вот я тебе что говорю, и ты оставь меня.

— Как хочешь! — сказал повар и ушел.

Но он все-таки не оставлял меня в покое и от времени до времени, встречая меня, делал мне намеки, говорил шуточки, пословицы разные, подходящие к делу, и глядел на меня все пристально своим сатанинским глазом.

— Вассо, повар, все понимает! Глаз у Вассо один, а лучше двух глаз глупого человека! Я имею голову женскую, плодovitую, *рождающую*, у меня все такое умное! И глаз, и ум, и руки, и собака моя умная. И ружье даже у меня есть такое, что как дичь покажется, так оно само

как телеграф от нетерпенья — «так-так-так-так!» делает... Не говори мне ничего, Одиссей, а я все-таки знаю, что туркуда сожгла тебе сердце...

Иногда я отшучивался, иногда сердился, иногда не отвечал ему ничего, но речи его все-таки действовали, и все чаще и чаще представлялось моим мыслям, что если грешат такие и набожные юноши, как Кольйо, и хотят грешить (если не всячески, то хоть с разбором) такие высокообразованные, такие благовоспитанные дипломаты, как <sup>10</sup> Благов, так что же я такое за подвижник и за ангел, что мне уж и поцеловать мою «горькую и душистую травку» нельзя? Нельзя и руку ее детскую, маленькую поддержать крепко в моей мужающей руке? Нельзя будто бы и обнять ее гибкий стан?.. Правда, что «проводочка она серебряная»! Бедная дочка злой и развратной колдуньи... И у нее есть душа человеческая!.. Душистая травка, расцветшая так мило и беспомощно у полуразрушенной стены бедного предместья. *Душа, конечно, душа гибнет?* А если?.. Если в самом деле спасти ее-то душу христианским креще-  
<sup>20</sup> нием?

Вот и сам повар Вассо говорит:

«Она невинна! Она дитя! Совсем дитя, и о приданом не хочет заботиться...»

И радовался я сильно, думая так, тщеславную радостью, что она к Благову, блистательному и гордому, равнодушна, по-видимому, а меня, безо всякого расчета, во вред, может быть, себе, целует, обнимает и от меня ничего, кроме объятий и поцелуев, не хочет...

<sup>30</sup> Значит, правду говорят люди, что я собой очень красив... Э! Одиссей... Ты счастлив! Счастлив, море! Посмотри еще, что будет с тобой... Ты дворец мраморный на берегах Босфора построишь, и самые знатные фанариоты будут рады отдать за тебя своих нежных и образованных дочерей... Турки будут, кланяясь, просить у тебя денег взаймы, и будут у тебя все *нишаны*: и русские, и эллинские, и турецкие, и австрийские, и французские... И в Загорах будут гордиться тобой. И в «Национальном ка-

лендаре»\* будет напечатан со временем портрет твой на том листке, где сияют: Суццо, Коллети, Трикупи, *Ὁ Сатобрианос*, *Ὁ Мерримеос*, *Ὁ Ламартинос*, *Ὁ Горцаков*, *Ὁ Мэнциков* или тот мусье Лавалетт, которого Фуад-паша называл так жестоко «le valet»... Пусть так... И хотя он «le valet» и, может быть (кто его знает!) такой же христианоборец, как наш грубый Бреше, но я все-таки не отказался бы видеть портрет мой с его портретом на одной гравюре нашего греческого «Национального календаря»!

Министр! Что́ делать! Кому честь — честь; кому<sup>10</sup> страх — страх; кому оброк — оброк!

## XVI

Но что́ ж дела? Что́ делает страшный Тахир-Аббас? Что́ думает теперь черноокий злодей Джеффер-Дэм? Утешена ли несчастная семья убитого Пано?.. Платят ли по-старому оброк беям жители Нивицы, смирились ли они или упорствуют в надежде на Благова и на Русское посольство?.. Что́ Ница, за которую так убедительно просит Зельха?.. В тюрьме ли она, плачет ли старая ее мать, кричит ли маленькая дочь?.. Что́ Бреше, наконец? Бреше!<sup>20</sup> Мы об нем забыли, но ни он, ни русские чиновники не забыли той грубой и глупой распри, которая взволновала месяца два тому назад весь город и побудила Благова промчаться холодною зимнею ночью по горам из Превезы, чтобы защитить бездарного и беспомощного секретаря своего, столь презираемого им в глубине сердца!..

Извинится ли г. Бреше, наконец? И когда же? Скоро ли? Пишут русские; пишет, конечно, и Бреше в Париж. Скоро ли?.. Благов решил не уступать ни за что́. Он не боится. Он писал, что попросит перевода в другое место,<sup>30</sup>

---

\* «Этνικόν Ιμερολόγιον», ежегодное афинское издание, где помещаются портреты как греческих, так и иноземных замечательных людей.



если удовлетворения не будет блистательного! Нельзя так унижать своих!.. Каков бы ни был Бакеев, он русский и в этом деле с формальной стороны он прав, он даже слишком прав.

Получая почту, Благов иногда раздражен и бросает бумаги на стол.

Бакеев приезжал на двое суток из Превезы, чтоб еще раз поговорить с своим молодым начальником об этом убийственном для него деле. Уже люди в городе стали<sup>10</sup> забывать эту печальную для русского консульства историю; но сам Бакеев не мог забыть ее. Иногда его так мучил стыд при этом воспоминании, что ему хотелось скорее уехать вовсе из Эпира и не дождавшись решения, Благов советовал ему еще хоть немного подождать. Предсказания его, однако, были вовсе неободрительны.

— После Севастопольского погрома, — говорил консул, — мы, кажется, вообразили себе, что слабость есть сдержанность и благоразумие! Нет! Право, я нахожу иногда, что турки лучше нас! Я повторяю всегда, Турция —<sup>20</sup> это анахронизм непонятный; но надо сознаться, что турки из жалкого материала извлекают все, что только возможно, а мы... с нашими силами...

И когда Бакеев называл по именам то того, то другого русского деятеля, возлагая надежды на них, Благов отвергал всех их по очереди, глумясь нещадно.

Бакеев называл одного. Благов отвечал:

— Печальный характер, который действует всегда только под влиянием страха!

Бакеев называл другого. Благов смеялся и говорил:

<sup>30</sup> — Ну, этот ничего не боится, даже обвинения в подлости!

Бакеев упоминал и о третьем, прибавляя: «Конечно, и у него есть своя Ахилесова пята...» На это Благов возражал:

— Он с головы до ног пята Ахилеса. Подождите, нам с вами не будет никакого удовлетворения!..

— Что ж мне делать! — с отчаянием и раздражаясь восклицал тогда Бакеев. — Вы должны, вы обязаны достичь чего-нибудь.

— Послушайте, однако, — сухо отвечал ему консул. — Ведь не *мне же* за вас стреляться с этим лакеем? Согласитесь, вы мне не жена... и даже не брат.

Бакеев, выслушав все эти горькие речи, уехал опять в Превезу; но вдруг тотчас же после отъезда его пришло известие из Константинополя, что французское министерство строжайшим образом приказало г. Бреше официально извиниться.

Г. Благов напрасно жаловался на медленность и уступчивость России; он уже слишком любил всех и все осуждать! 10

Но кончить дело вдруг — все же зависело не от него. Известие было *русское*, и надо было знать, получено ли самим французским консулом предписание в этом же смысле или еще нет? Вероятно, французский посол русского посланника \* не обманывает, но бумаги могли пойти не с одною и тою же почтой. Необходимо было заранее послать гонца за Бакеевым в Превезу, надо бы и его удовлетворить *лично*; нужно было, чтоб он присутствовал при извинениях Бреше. 20

Г. Благов колебался обратиться с вопросами по этому делу к любезному, но лукавому Ашенбреннеру. Ему справедливо казалось не совсем ловким спрашивать об этом и обнаружить, что он посылает уже за секретарем своим, чтобы присутствием самого оскорбленного унижение сопернику было сильнее, чтобы покаяние было принесено вдвойне и пред лицом, и пред *флагом*.

Бумага получена была утром; и по обычаю, когда мы все собрались к завтраку, г. Благов, уже не скрывая своего удовольствия, показал ее Бостанджи-Оглу и мне. И тут же он выразил откровенно свое недоумение. 30

— Не придумаю, как бы мне это сделать, — сказал он.

Думали и мы.

Бостанджи-Оглу сказал:

---

\* Тогда у России в Царьграде была еще миссия, а не посольство.

— Я пойду к Коэвино и попрошу его, чтоб он узнал, получил ли Бреше бумагу или нет.

— Нашел дипломата! — возразил Благов. — Коэвино у Ашенбреннера от радости и дружбы плакать начнет. Уж лучше послать Гайдушу. Она гораздо в этом отношении выше его.

Тогда я напряг свою мысль, подумал и вдруг как светом озаренный, сказал стремительно:

10 — Я узнаю сегодня же. Я пойду к сыну мсье Какачио, французского драгомана, и узнаю от него. Он ходит в наше училище и большой мне друг.

Выразительное лицо Благова просветлело самою доброю улыбкой, которую я только у него знал, и он сказал мне:

— Однако ты в самом деле умен! Боюсь я, что ты станешь скоро великим банкиром в Константинополе и что мне под старость придется у тебя занимать деньги и кланяться тебе... Что ж, иди.

20 Я тотчас же после завтрака пошел к Леонардо и сказал ему ласкательно:

— У меня, Леонардаки мой, есть до тебя большая просьба... Исполни ты мне ее, друг мой, и я для тебя сделаю все, что ты попросишь.

— Говори, — сказал Леонардо.

Я сказал ему вот что:

— Слышал ли ты в доме отца своего что-нибудь о том, есть ли приказание, чтобы мсье Бреше извинился пред русскими, или нет.

30 — А на что тебе, — отвечал Леонардо смеясь, — может быть, есть, а может быть и нет! Ты вот никогда на эти *soirées*, которые у вас в консульстве бывают, меня не пригласишь. Я тогда, когда у вас была музыка и цингистры плясали, входил на двор, смотрел на окошки... А туда не мог к тебе взойти. Пригласи меня в другой раз, тогда я скажу тебе, есть или нет то, что ты говоришь...

— Ты обманешь меня, Леонардаки, — сказал я печально.

— Пригласи, не обману.

— Послушай, — сказал я, — как я могу в консульство на вечера приглашать друзей моих без спроса консула? А ты вот что сделай: просто приди в мою комнату и сиди. А я выйду и скажу консулу: «Какачио сынок у меня сидит; желает видеть все». Он и позволит. На такие вещи он добр.

Тогда Леонардаки очень обрадовался и сказал мне:

— Отец говорил дома с мамашей и с сестрами моими, что бумага об этом уж недели две как получена, только, знаешь, мсье Бреше не хочет все идти. Все старается ней-<sup>10</sup>ти и еще писал в Париж... Смотри только, чтобы вреда моему отцу не было...

— Какой же вред! — отвечал я.

Я тотчас же с гордостью пришел в консульство и передал Благову слова молодого Какачио.

\* Благов пошел сам к Ашенбреннеру. Теперь, имея эти сведения из довольно верного источника, ему было удобнее действовать.

Вечером, за обедом, он рассказал нам о своем разговоре с австрийцем и, как бы в награду за мою изобретательность и преданность, почти все время, рассказывая, обращался ко мне, а не к Бостанджи-Оглу. Точно будто бы я был уже совсем взрослый помощник и сослуживец его. Это было так мне приятно и лестно!<sup>20</sup>

Он рассказывал так:

— Я сказал Ашенбреннеру, будто бы мне в нашей бумаге пишут из Константинополя, что предписание извиниться отправлено Бреше уже давно, и я желаю знать, отчего же это дело до сих пор не кончается... Не знает ли он? Вижу, он знает. С первых слов уже начал *струиться*...<sup>30</sup> Улыбается... и наконец говорит: «Не знаю... Но во всяком случае... Это не легко... Ему! С высоты величия... Это не легко, согласитесь? Я, впрочем, схожу, постараюсь разъяснить все это... и устроить... Но ведь и вы (говорит) не захотите поставить коллегу нашего в безвыходное положение пред целым городом... Вы знаете здесь и то, и это!..» Я говорю ему:

— Какие же уступки я могу сделать? Я буду требовать, чтоб было все официально...

Так рассказывал Благов *мне!*.. А я еще хуже Ашенбреннера *струился* на стуле моем от блаженства...

На следующее утро кавасс поехал за Бакеевым в Превезу. На другой же день и Ашенбреннер пришел рано, просидел у Благова очень долго; мы узнали, что он все также старался смягчить это дело (вероятно, Бреше его просил). Он сначала предлагал, чтобы встречу сделать как <sup>10</sup> бы случайною у него самого, или еще лучше у Леси, тем более, что именно в доме Леси произошло оскорбление.

Благов не соглашался и требовал, чтобы Бреше пришел безотлагательно к нему и как можно официальнее; он грозился, что будет открыто телеграфировать в свое посольство, так как теперь известно, что предписание от французского министерства есть.

Ашенбреннер после этого спросил: «когда же он может принять Бреше?»

<sup>20</sup> Благов отвечал, что не может принять до тех пор, пока не вернется Бакеев, и что даже с этою целью, зная решительный характер Бреше, он уедет куда-нибудь из города дня на два, хотя бы навстречу самому Бакееву или на охоту; чтобы Бреше, решившись уже исполнить приказание своего начальства, не пришел бы внезапно до приезда Бакеева.

— Вы слишком жестки к нашему коллеге! — воскликнул австриец.

<sup>30</sup> Ашенбреннер уходил и приходил еще раза два. Один раз я сам слышал, как он в зале, уходя и прощаясь, говорил Благову:

— Оставьте господина Бакеева в Превезе! Вы сами поставили вопрос не на личную, а на международную почву... Бедному Бреше будет так легче. Знаете, он семейный человек, и ему нельзя не послушаться своего начальства; он не вы; у него нет вашей независимости, ваших *чифт-ликов* под Москвой. Облегчите хоть сколько-нибудь его положение! Такой характер — что́ делать!..

— Вот это хорошо! — воскликнул Благов. — Отчего же ни вы, ни я, ни Леси этого не сделаем. И еще бы была тут какая-нибудь порядочная причина, а то пиявки и глупое самолюбие...

— А! — возразил Ашенбреннер. — Вы! Леси! Я! Это совсем другое дело. Мы все получили хорошее воспитание старых монархий, а они... вы сами знаете. Они все немного *Клеоны*. Революции не прошли без следа; французы стали грубы!..

— Чем же мы-то виноваты, что все они кожевники и сапожники! Это странно! — восклицал Благов с самым жестким смехом своим... <sup>10</sup>

Но тут эта жесткость меня опять восхищала.

Однако наконец он решился уступить немного. Бакеев не сейчас примчался из Превезы, как требовал от него Благов. Ему нужно было ехать трое суток шагом. Благов прождал его только один день и, так как он всегда имел в виду гораздо больше честь консульства и свою гордость, чем самолюбие его окружающих, то он, вероятно, и расчел, что так еще лучше... Пусть Бакеев негодует сколько угодно! Он сам же от пустоты своей скучает всегда и от скуки не мог дотерпеть до конца. Кто его отправлял второй раз в Превезу насильно! Ждал бы здесь. <sup>20</sup>

Уступка эта Благову не сто́ит ничего; публичное удовлетворение будет, а за эту пустую уступку недурно будет иметь при случае каком-нибудь и Бреше на своей стороне.

Итак, Благов согласился.

Уже с утра мы все в доме и многие в городе узнали, что Бреше после полудня придет извиняться в русское консульство. <sup>30</sup>

Благов, щадя француза из своих расчетов, приказал около этого времени никого не принимать, кроме самого Бреше. Козвино, сгорая нетерпением, гораздо раньше пришел радостный в консульство. Сверх расположения к Благову и вообще к русским, у него была и другая причина радоваться. Бреше успел и его оскорбить. Козвино прежде

хаживал к Бреше и даже после ссоры его с русскими не имел никакого основания явно прекратить с ним сношения. Но вот что случилось: Коэвино говорил у него в доме столько же, сколько у всех других, столько же, сколько и у себя дома с одною Гайдушей, то есть очень много. Однажды он, рассказывая что-то в доме Бреше, выразился между прочим так: «Я говорю иногда, я увлекаюсь...» Бреше грубо и сердито перебил его: «Иногда! Вы слишком снисходительны!.. Иногда! Вы *всегда* говорите. Вы только  
10 и делаете, что говорите!»

Коэвино встал (я вижу его отсюда... Как задергалось лицо его, как оно стало серьезно и печально, и достойно, и бледно)... Он, вероятно, встал, поклонился и ушел медленно, грозно, величаво. Так ушел, как всегда он выходил и входил; как должен был, по его мнению, входить и выходить истинный доктор... так, как выходили и входили древние врачи...

Он вышел и не ходил более к Бреше. И в это утро он вошел все так же медленно и тихо к Благову; но, став пред  
20 ним, вдруг закричал со слезами восторга в очах:

— О! мой друг! Я торжествую! Я счастлив... Этого Бреше... Вы позволяете мне видеть все это?..

— Нет! Не позволяю, — сказал ему Благов.

Коэвино помирился на мысли, что он по крайней мере просидит у меня в комнате или в канцелярии до тех пор, пока придет и уйдет Бреше.

На это Благов согласился; взял с него честное слово, что он не выскочит, и приказал Бостанджи-Оглу и мне стеречь его.

30 Время приближалось.

Приглашенных свидетелей, как я сказал уже, не было; но свидетелей и посетителей частных внизу явилось под разными предлогами довольно много. Мы сошли в канцелярию, смотрели на большой двор в окно и ждали. Коэвино хохотал и дразнил меня Зельхой и Хаджи-Сулейманом. Он был очень весел. Пришел племянник повара; пришел из народной школы к Алеко другой мальчик;

водовоз нарочно для этого остался. Своих слуг было много.

Все были внизу, все ждали, все смотрели. Маноли был бледен и наряден; голос его был слаб от волнения; но усы ужасны.

Он заранее с победоносным стуком и скрипом отворил ворота с улицы настежь. Наконец... Показались в широких воротах оба французские кавасса с кривыми саблями и в низамских мундирах. За ними, заложив руки за спину и играя тростью, шел мсьё Бреше. На нем был обыкновенный сюртук; но фуражка на голове была официальная с золотым шитьем. 10

Мы в канцелярии толкались к окнам, кидались к двери, шептали друг другу: «фуражка, фуражка!.. Официально!..» «Полуофициально...» «Официально — мундир...» «Нет, это все равно!..»

Мы спорили шопотом, как будто бы Бреше мог услышать нас с того конца широкого двора! Он близился к большим дверям дома.

Все три кавасса русские, чтобы приветствовать его и оказать ему больше почтения, выстроились в ряд у дверей; Кольйо, пользуясь тем, что и он также носит воинственную фустанеллу, стал тоже около них. 20

Тогда Маноли, увидав, что их вышло не трое, а четверо, быстро схватил Кольйо за одну руку, а кавасса Анастасия за другую, переставил их налево, а сам остался на правой стороне, около кир-Ставри, который только улыбался тихо и приятно. Так вышло красивее, правильнее.

В кухонных дверях теснились все остальные: Вассо, его племянник, мальчики, водовоз, впереди всех стоял садовник в красном мундире. Собака повара лаяла, и повар бил и умирал ее. 30

Маноли громко покашливал. У Бостанджи-Оглу тряслась борода; у доктора все лицо и лорнет двигались и туда и сюда.

Я трепетал... Мне казалось, что Бреше меня сейчас убьет этою палкой, которою он машет у себя за спиной!..



Раздалось бряцанье сабель французских кавассов в сенях. Мы отворили еще немного дверь канцелярии.

Русские кавассы отдали честь.

Бреше не спеша приложил руку к козырьку. Он ни на кого не смотрел; он глядел вперед и шел очень твердо и спокойно. Но я не желал бы быть в эту минуту ни на его месте, ни на месте того, кто бы стал ему в этот чорный день его поперек дороги.

Что ж сделал Благов?

10 Он не остался ждать его наверху, как при простом, обычном посещении.

Нет! принеся ему (или вернее, себе) в жертву Бакеева, Благов вздумал еще сойти к Бреше поспешно навстречу, на площадку большой лестницы. (Он понимал, что народу много глядит внизу.)

Он сошел, чтобы был еще заметнее смысл этого исключительного свидания, чтоб, оказывая при свидетелях французскому консулу особое, невиданное, как бы радостное почтение, еще больше смирить и унижить его.

20 Они встретились на площадке. Движения Благова, как и всегда, были как-то резко театральны, как-то естественно натянуты, но очень красивы.

Они протянули друг другу руки.

Все затихло... Мы слушали.

— Monsieur! — сказал Бреше громко, — мое правительство...

— А! — воскликнул Благов. — Оставим это! Я так рад вас видеть у себя. Пойдемте...

И он взял его под руку и повел наверх.

30 Мы молча поглядели все друг на друга. Коэвино глядел на меня в *rinse-nez*, ничего не говорил, а только вскидывал все головой, как будто он сам только что растоптал ногами Бреше, и спрашивал у всех: «Где он? Где он, наш враг?»

После этого все мы разошлись, каждый по своему делу, и все утихло.

Консула очень долго оставались наверху вдвоем, и что они говорили, никто не знает.

На другой день Благов был у Бреше, и оба потом обедали у Ашенбреннера, который радовался и веселился, что консульский корпус снова дружно будет продолжать свои функции.

На другой же день приехал и Бакеев из Превезы.

Он был в справедливом негодовании на Благова.

Сойдя усталый с лошади, он в грязных сапогах вошел прямо в кабинет, и мы слышали из залы, как он громко сетовал и восклицал: «При таких условиях служить невозможно».

10

Голоса Благова не было слышно, но я сквозь стены видел и понимал его безжалостное и вместе с тем снисходительное молчание.

Бакеев чрез два дня после этой новой обиды, нанесенной уже не врагом отчизны, а соотечественником, уехал вовсе из Эпира. Его провожали Бостанджи-Оглу и два кавасса по приказанию консула. Никто из горожан по собственному движению не явился проводить его, и он ни с кем не простился, и никто никогда у нас не пожалел о нем. Когда позднее случалось кому-нибудь вспоминать о нем, то многие восклицали с презрением: «Чтò Бакеев! Ни добра, ни зла не умел сделать! *Вареная вещь!*» А другие прибавляли со смехом: «*Малый росский! Малый росский!* Помнишь Хаджи-Хамамджи?»

20

Все это не помешало, однако, г. Бакееву вскоре получить довольно важное и хорошее консульство. По странному капризу, сам Благов много заботился о его повышении и не раз ходатайствовал за него письменно.

Но Бакеев продержался на новом месте своем недолго. Его недогадливость, его неловкие переходы от робости к раздражительности, его притворная и не искусно рассчитанная гордость, его нетвердое знание международных обычаев и привычка выражаться с глупою напыщенностью в донесениях начальству очень скоро испортили его карьеру.

30

Отставку получил он вот по какому замечательному случаю.

В городе, где он был консулом, вскоре после его приезда турецкое начальство нашло нужным схватить одного православного священника, турецкого подданного.

Не знаю, каков был этот иерей (может быть, он был вроде нашего попа Косты), но г. Бакеев вступился за него.

Священник как-то сумел убежать, и г. Бакеев принял его к себе открыто в консульство, преувеличивая понятие о так называемом «праве убежища». Паша расставил вокруг консульства стражу. Г. Бакеев, вероятно, не мог спать, чувствуя, что он окружен, хотя бы и на почтительном отдалении, толпой вооруженных мусульман; он, кажется, уговорил или принудил священника тихонько уйти из консульства. Турки схватили беглеца на улице и отвели опять в тюрьму.

Тогда г. Бакеев вдруг решился спустить флаг, то есть самовольно прервать с местною властью все сношения.

Донесение свое русскому начальству об этом неприятном событии он оканчивал так:

«Когда все было уже кончено, произведены были в консульстве три выстрела: один был сделан одним кавасом из ружья в саду; другой другим кавассом же из пистолета на балконе, выходявшем на улицу, а третий выстрел сделал я сам пробкой из бутылки шампанского. Императорское консульство уже не существовало *de jure* в этом городе, и я, вышедши на балкон, сел на нем задумчиво, как Марий на развалинах Карфагена».

Это было уже слишком! Вскоре после отправки этого донесения г. Бакеев получил телеграмму, в которой ему предлагали немедленно приехать в Петербург в отпуск. Он поехал и не возвращался более.

В числе разных любопытных подробностей, которые мне удалось по особому случаю узнать гораздо позднее, было еще следующее. Благова упрекали сослуживцы — зачем он рекомендовал Бакеева с хорошей стороны.

— Он так глуп и несносен, что я боялся, как бы мне его не возвратили опять секретарем; — отвечал Благов.

— Однако, Россия? — возражали ему строго.

Но на этот естественный укор г. Благов отвечал пророчески:

— На что для России даровитые чиновники на Востоке? И с глупыми Восточный вопрос сам собою разрешится рано или поздно. Всякий дурак понимает, что в Турции есть турки и есть христиане.

Я называю ответ Благова потому «пророческим», что последствия оправдали его отчасти.

Большинство русских консулов и секретарей нового назначения за последние годы гораздо больше похожи были <sup>10</sup> на Бакеевых, чем на Благова и других благовоспитанных, смелых и способных консулов, которые являлись один за другим на Востоке после Парижского мира и в шестидесятых годах. Даже наружность, физиономии, манеры — все вдруг изменилось к худшему в русском консульском корпусе.

И несмотря на это, странное и досадное для руссофила обстоятельство, дело шло и зрело своим чередом. Видно не изменишь рокового хода истории ни силой таланта, ни <sup>20</sup> бессилием пустоты...

Внезапно сходит с небес страшный ангел битв и возмущает стоячую воду, и тогда прозревают слепые, тогда хромые бодро и твердо становятся на ноги, и у расслабленных от рождения в подобные минуты просыпаются нередко небывалые силы!

## XVII

Еще событие, еще! Едва только стали умолкать в городе разговоры о том, как извинялся пред Благовым Бреше, как вдруг новое и поражающее известие: Джеффер-Дэм <sup>30</sup> убит!.. «Убит? Кем он убит!.. Христиане взбунтовались и убили его, zito!» «Неправда! Неправда! Если бы христиане взбунтовались и явно убили бы его, зачем бы ему лежать ничком около мостика, у ручья, в кустах бузины?.. Кто это сказал?.. Кто ж убил его?.. Турки убили! Враги его и мстители беи убили... Тахир-Аббас. А, bravo! zito! Тахир-

Аббас, zito!..» Тихий шопот. «А! ба! невозможно... Нет. Это было бы очень хорошо, это было бы прекрасно, но уж слишком смело». — «Вы знаете Исаакидеса?.. Разве вы не знаете его!.. Чего ему бояться; он греческий подданный и русский драгоман... Он не раия». — «Нет, это слишком, слишком смело!..»

Еще проходит день. Приводят шестерых христиан из Нивицы, их запирают в тюрьму, на них налагают ужасные оковы, которых тягость одна — уже сама по себе пытка; их запирают в узкие и темные шкапы, в которых и спать надо стоя, им дают соленую пищу и не дают воды, им прикладывают горячие яйца под мышки, им стягивают головы веревками.

Так, по крайней мере, рассказывают в городе.

Люди, однако, начинают верить, что не Тахир-Аббас, а несколько разгневанных христиан умертвили Джеффера за смерть Пано, увидав, что правильного суда над Джеффером не будет.

Австрийский консул опровергает это мнение; он доверительно шепчет некоторым лицам, что христиане напрасно страдают, что убийца не кто иной, как Тахир-Аббас, и что он только орудие, а направлена рука его в угоду беспокойным умам... Кем? кем?..

Понятно, кем... Кто предприимчив и горд, и смел? — Всё интриги панславизма... Разве русские останавливаются пред каким-нибудь средством, чтобы только приобрести популярность между народами, подвластными соседним государствам? Разве русскими рублями не полны не только Эпир, Болгария, Босния, но и Галиция, и Моравия?

И хотя никто из нас, эпиротов, не видал такого обилия русских рублей в Эпире; — но, кто знает, может быть, босняки и жители Галиции счастливее нас в этом отношении. И греки наши начинают немного верить этому: но горе Ашенбреннера в том, что, вместо негодования, его клеветы возбуждают в христианах радость. — «Вот человек! вот консул!.. вот паликар!.. вот мститель за бедного Пано и его товарищей!.. Вот меч Божий на агарян-злодеев!..»

Но Благов и сам ничего не знает; он не знает даже, что его друг и ласковый собеседник Ашенбреннер так коварно запомнил его слова о том, что он хотел бы примерно наказать Джеффер-Дэма, запомнил тот приятельский завтрак, за которым Благов говорил, что он «понимает иногда Нерона»...

Я ручаюсь за то, что Благов сначала в самом деле ничего не знал! Визит страшного Тахир-Аббаса Благову, о котором узнали и в Порте, и везде, вражда обоих беев между собой, известная храбрость и жестокость Тахира, <sup>10</sup> страсть Исаакидеса к глубокой и тайной интриге, его ненависть к туркам и, наконец, эта полущутка Благова тогда, за завтраком, когда он говорил, что желал бы прежде изобразить красавца Джеффера на полотне, потом повесить его картинно пред пестрою толпой всех вер и племен Эпира, — вот что дало оружие в руки клевете...

Как бы то ни было, Благов, говорю я, ничего не знал сначала; он призвал Исаакидеса, но и тот в первый день ничего еще верного не знал. К христианам заключенным проникнуть возможности не было. Их содержали очень <sup>20</sup> бдительно. Добрый Рауф-паша на этот раз очень гневен; он негодует на людей подчиненной ему страны именно за то, что он до сих пор был снисходителен, нерадив и мягок, а люди не ценят этого и смеют не трепетать пред ним!.. К тому же Джеффер-Дэм — друг Ибрагиму возлюбленному; а тонкий, прогрессивный Сабри-бей, который приводит греков своею образованностью в ужас за будущность отчизны (ибо при слишком образованных турках никогда мы свободны не будем!), этот любезный и молодой полу- <sup>30</sup> француз Сабри, говорят, первый сказал в Порте:

— Это, эффендим, верьте мне, все интриги московские, и прежде всего надо пытаться людей и спрашивать, не возбуждал ли их Благов с гетеристом Исаакидесом.

И папа, больной, усталый, взбешенный, стал вдруг так свиреп, как становятся иногда свирепыми люди добрые, когда впервые показалось им, что их уступчивость неблагоприятные души употребляют во зло. Но, повторяю, и все-

знающий Исаакидес в первый день, когда привезли несчастных христиан из Нивицы, ничего не знал.

— Вы слышали! Что же это такое, христиан пытаются? — спросил у него при нас Благов с ужасом.

Исаакидес пожимал плечами и говорил:

— Узнаю, узнаю все...

К вечеру пришел поп Коста, принес Исаакидесу какую-то записку и они все трое, поп Коста, Исаакидес и консул, долго беседовали втроем.

10 Поп Коста скрылся и очень поздно вечером возвратился опять.

Он нашел наконец средство видеть одного из заключенных в тюрьме христиан.

Ну, тут я готов согласиться, что русскими рублями можно было что-нибудь сделать. Тут очень может быть, что турецкая стража за хороший бахчиш допустила пастыря и учителя к этим несчастным людям для молитвы и утешения. Но еще бы! Неужели не позволить себе даже и этого, когда христиан пытаются!?

20 Истина раскрылась позднее.

Вот как было дело. Грубый и вспыльчивый Тахир-Аббас действительно был неправ и неосторожен. Он везде кричал по-прежнему, что правительство турецкое не правительство, если отпустило Джеффера, что это все рюшветы и рюшветы (взятки и взятки), что мальчишку Джеффера убить мало, надо на части разорвать его живого; что он вредит всем беям и особенно ему тем, что христиане могут с отчаяния, после гибели Пано и его товарищей, в самом деле уйти из этих мест и оставить и его, Тахира, ни в чем

30 не повинного, без доходов.

Христиане, возбужденные речами Тахира, не слушались тех старшин своих, которые были благоразумнее, и решились, пока дальнейшая судьба их распри с Джеффером не определится в Константинополе под влиянием консульских донесений и при давлении посольств, ничего Джефферу не платить; Тахир же своей цели достиг, казалось; ему христиане дали денег, прося его под-

держки у сильных людей, и он обещал им сделать все что может.

Приехал сам Джеффер с тремя вооруженными слугами и двумя заптие. Стали требовать денег... Поднялся шум и бунт... «Не дадим ни одного пиастра!» — кричали в испуге люди.

Старший из слуг Джеффера (тот самый свирепый и худой арнаут, которого мы с Кольйо видели с балкона идущим за господином своим) в бешенстве проклял христиан и веру Христову, сорвал с груди одного молодого грека, который стоял близко от него, крест и с ужасным ругательством бросил его на землю. 10

Селяне побежали по домам, чтобы схватить оружие; — иные, имевшие при себе ножи, вынули их из-за пояса...

Джеффер и слуги его, обнажив ятаганы, кинулись на коней и ускакали в город.

На другой день после этого в городе, в кофейне, произошёл горячий спор между этим самым свирепым слугой Джеффера и сеисом Тахира, молодым христианином. Слуга Джеффера избил сеиса до крови, и все люди видели, как сеис шел после этого жаловаться в Порту по улицам и базару без фески, с окровавленным лицом, и как по голове его из разорванной в двух местах кожи струилась кровь. 20

Начальство слугу Джеффера строго не наказало; оно продержало его только сутки в тюрьме; Джеффер был сам у местного начальника и отстоял своего слугу.

В тот же вечер, вскоре после захождения солнца, Джеффер шел домой откуда-то, а любимый злой слуга его нес пред ним фонарь. Он проходил около стены в пустом месте. Людей не было видно. Вдруг из-за угла раздались один за другим два выстрела. Джеффер-Дэм упал лицом вниз на камни; он был уже мертв. Другая пуля разбила фонарь в руках слуги и ранила его слегка в ногу. Убийца скрылся в темноте. Слуга Джеффера, увидев, что его господин уже умер, собрав все свои силы, дополз до более людного места и рассказал все. 30

Вот как произошло это дело и вот что известно.



Случайное, быть может, совпадение всех этих обстоятельств было таково, и страстей с разных сторон было замешано столько, что и самому правильному и сложно-организованному суду без откровенного сознания настоящего убийцы было бы очень трудно уяснить себе истину.

Чего же можно было ожидать в стране, где все судьи и администраторы были сами исполнены политических страстей и предвзятых мыслей о политических целях; в  
10 государстве, где правители привыкли и всякую формальную правду, и всякое нравственное соображение приносить в жертву только одной государственной идее — укреплению расшатанной уже власти и усилению хотя и преобладающего, но все-таки ослабленного обстоятельствами и духом времени мусульманского элемента.

Раненый слуга Джеффера говорил, что убийца его господина был вооружен, вероятно, европейским двустольным охотничьим ружьем, потому что выстрелов было два — один за другим. К досаде турок, он оправдывал  
20 христиан и обвинял Тахир-Аббаса. Он говорил так:

— Ружья франкские двустольные эти есть у иных беев, правда. Но у Тахир-Аббаса есть очень хорошее, и этот мальчишка-сеис, которого я за грубость его в кофейной *вымыл* хорошенько, стрелок отличный и охотник. Это он стрелял в нас и не без ведома своего господина.

Опять начинало казаться, что Ашенбреннер и все те, которые указывали на Тахира, правы! Разница была та, что не сам Тахир, обнаруживалось теперь, убил Джеффера, а слуга его.  
30

«Но эти неблагодарные, эти крамольные христиане, которых никогда ничем удовлетворить нельзя (говорили в Порте), неужели они окажутся правыми! Какое новое торжество враждебным консулам — русскому и эллину!.. Сколько жалобных донесений напишут теперь в Петербург и Афины этот наглый Благослов и лукавый, лжесмиренный Киркориди!..»

Темное дело! Друг мой Сабри-бей (которому я носил в дар ковер от отца моего) опять является Маккиавелем и дает советы в Порте:

«Схватить и Тахир-Аббаса, и сеиса его, не медля ни часу, — говорит он. — Они ходят по всему городу и показывают вид невинного спокойствия. Тахир-Аббас — изменник. С какой стати ему было делать визит Благову и сидеть там два часа? Одному Благову? Я заметил в его поведении *bir opposition systematique!*.. Разве можно верить албанским бейам? Давно ли бунтовали арнауты под начальством Гионни-Лékка? И что за мусульмане эти арнауты! Они готовы за деньги и с приманкой грабежа помогать не только нам, истым османлисам, но и грекам, и русским против нас...»

«Схватить, схватить Тахир-Аббаса, это правда!» — решили в Порте.

Паша колеблется, но не долго. Правда, ему бы не хотелось в стране, где так сильны еще эти воинственные беи, взять внезапно под стражу одного из самых богатых и энергических представителей этого важного в Империи элемента, тем более, что нет никаких доказательств на то, что он сам стрелял в Джеффера или даже посылал своего сеиса стрелять. Но вспыльчивый Ибрагим и тонкий, ядовитый Сабри поддерживали его колеблющуюся волю.

Сабри прибавляет еще одно очень верное и глубокое замечание:

«Схватив Тахира, мы докажем Европе, что преследуем строго не одних христиан, что все нарушители порядка — правительству враги. Христиане бунтовали и взялись за оружие; представители их ходили почти официально по всем консульствам жаловаться на нас; если они невинны в смерти Джеффера, то мы все-таки можем судить и наказывать их за другие дела; и если мы привезем сюда Тахира, то от него или от сеиса его узнаем, насколько русское консульство причастно этому делу». Иные из христиан, приближающихся хоть сколько-нибудь к Порте, думали так же, как и Сабри; Куско-бей и Чувалиди советовали

тоже схватить бея. Каковы бы они ни были оба, но они были христиане, и потому желали, чтобы, обвинив Тахира или сеиса его, турки освободили заключенных представителей Нивицы.

Между тем и Благов не дремлет. Он делает все, что только можно сделать для этих захваченных селян. Он обходит всех своих западных товарищей и сообщает им о том, что христиан пытаются в Порте, не зная еще вовсе, причастны ли они к новой трагедии в Чамурье или нет. Но западные консулы не согласны между собой. Ашенбреннер готов верить всему худому про турок; он ужасается их варварству, он говорит, что христиан пытаются, он восклицает: «с'est affreux!» Но к паше по этому поводу говорить даже и дружески не идет. Бреше очень бы рад растерзать всех вместе — и пашу, и Ибрагим-бея, и христиан, и мусульман, и виновных, и невинных, чтобы доказать только, что Франция первая в мире держава; но с него довольно было и того, что он только что извинялся позорно перед Блазовым, он, почтенный уже годами представитель Франции, пред этим московским «blanc-bec!..» Идти теперь еще помогать ему, ему, которого Бреше не мог и лично не ненавидеть и которому, вероятно, завидовал до ярости во всех отношениях, ибо даже по внешности, по денежным личным средствам, по родству, по всему он Блазову годился бы разве в управляющие имением... Разве эти «подлые фанатики греки, эти отсталые, тупые и лукавые схизматики-эпироты» не скажут: «вот все это добро от Блазова; теперь Бреше за нас заступается ему в угоду!..» Помощь Блазову приходит оттуда, откуда на этот раз ее никто не ждал, — от Корбет де-Леси!

Меры, подобные этой пытке, вредят прежде всего самой Турции, и несоблюдение умеренности в подобных случаях бросает невыгодный свет на турецкую администрацию в глазах европейского общественного мнения. Это орудие обвинения в руках русской дипломатии. Не надо давать ей пищи и обличать ее зложелательный труд.

Так говорит г. Леси.

Речь эта действует на турок, но христиане очень хорошо понимают, почему Леси помог на этот раз Благову, и популярность Благова все растет и растет. Имя его становится известно и в самых дальних городах и селах, и даже в Афинах, в Акарнании, в Виотии, в Корфу. О нем пишут похвалы греческие газеты, которых он и не читает.

Все в Эпире скоро узнали, что Благов предлагал другим консулам сделать коллективное и вполне дружеское замечание паше насчет этих слухов о пытке и что сначала ни один из них на это не согласился, отзываясь тем, что <sup>10</sup> Турция независима в своих внутренних делах, — а потом, что, по его только настоянию, старик Леси надел официальную фуражку, выбрился еще чище, чем всегда, надел перчатки и пошел учить турок... не человеколюбию, а только осторожности.

Конечно, Благов и сам сообщил о разговорах своих с консулами нескольким архонтам и сверх того все мы, жившие в консульстве, усердно ему помогали в распространении по городу известия о том, что русский по-прежнему «бодрствует». Исаакидес, Коэвино, Бостанджи-Оглу, кавассы, у которых в Янине было много знакомых, все помо- <sup>20</sup> гали ему; я, с своей стороны, рассказал об этом по крайней мере двадцати, если не больше, мальчикам из училища, а они, разумеется, тотчас же разнесли этот слух по семьям своим (у нас ведь и дети любят политику и понимают ее гораздо лучше, чем дети других стран и государств). Дело это было такого рода, что даже враждебные России греки, некоторые купцы, доктора и учителя, на этот раз по кров- <sup>30</sup> ному чувству сострадания были на стороне России.

После этой попытки Благова согласить консулов для <sup>30</sup> общей демонстрации против турецких порядков прошло дня два.

Все было тихо. Жители Нивицы еще томились в тюрьме, но пытать их перестали и цепи с них сняли. Г. Благов уехал за шесть часов от города в монастырь Зицу; он хотел поохотиться в его окрестностях и взял с собой одного кавасса Ставри.

Любопытное дело! Англичане не побоялись русского посланника в Тегеране убить. Они возбудили персиян. Австрийцы князя Черногорского убили. Французы Мавромихали, убийцу Каподистрии хотели защитить. Одни только русские не хотят ничего подобного. Даже и такой молодец, как Благов, не смеет войти ни во что подобное. Но без этого как делать великие дела?.. Какая тут беда? Долго не может быть скрыто, кто настоящий убийца, и долго христиан мучить не будут поэтому... хотим — предадим Тахир-Аббаса, хотим — спасем... Граница Эллады близка!.. Понимаешь?..

Я сказал: «понимаю!» и продолжал размышлять.

Тогда Исаакидес, взяв мою руку, сказал мне еще одно очень приятное слово:

— Знаешь, Одиссей, что. Зачем этой дряни Бостанджи-Оглу сидеть тут в консульстве? У него нет никаких способностей? Турки смеются над ним в Порте. Консульству надо хороших помощников. Отец твой не едет; и если б и приехал, чем больше орудий, чем больше агентов, тем лучше. Надо бы тебе стать писцом на место Бостанджи-Оглу; ты получал бы определенное жалованье, имел бы вес; хотя ты моложе его много, но ты сам знаешь, что ты гораздо умнее его. Твоя приятная наружность, твоя юность — хорошая рекомендация в Порте. Мы вместе сделали бы многое множество великих и патриотических дел. Позднее ты мог бы сам стать драгоманом. Брось эти книги! Конечно, наука вещь хорошая, но у тебя родители стареют; ты турецкий подданный; хорошо потому с ранних лет взяться за практические дела. Что тебе учителем быть? Подумай, нельзя ли прогнать Бостанджи-Оглу?

Я был сильно взволнован этою лестною и соблазнительною речью и отвечал, краснея и потупляя очи:

— Он знает хорошо языки, знает по-русски, он опытнее. Я не могу еще так скоро его заменить. Г. Благов его любит.

— Очень Благову нужно его любить!.. А переписываешь и ты, даже с французского, прекрасно... Впрочем —

как знаешь... Я тебе сказал мою мысль. А насчет тяжбы Шериф-бея дело наше еще не кончено. Можно и возобновить его в добрый час, — только бы Благов был нами доволен.

После этого Исаакидес взглянул на часы, — сказал, что он ждет письма от Тахира и, в случае чего-нибудь особого, надеется и мне найти *дело* в этих важных событиях.

— Благов, дьявол, на охоту некстати уехал, — сказал он уходя. — Мне это очень неприятно. Он не знает, как это все важно и что моя голова задумала. Кого в случае нужды я пошлю к нему, кроме тебя? Бостанджи, этого дурака, я ни за что не пошлю. Самому мне ехать нельзя. Я здесь буду нужен. Смотри не отлучайся; я и консула, и Россию прославлю безо всякого со стороны Благова старания и тебя выведу в люди.

Он ушел после этого в Порту по делам, а я остался один в раздумье и в самом деле не мог уже заниматься больше книгами.

И действительно, что же это все читать и читать о том, как был хитер Фемистокл и как был Алкивиад изыскан и смел, как был Демосфен красноречив, и какие подвижники для отчизны были в древнее время спартанцы и афиняне, даже в такие юные лета, как я!

Не приятнее ли действовать, чем читать о действиях других? Не приятнее ли быть хитрым, как Исаакидес, и уметь даже для общей пользы Православия компрометировать самих русских, которым служишь, опутать сетями интриги даже такого умного и самобытного человека, как Благов, и, по-видимому, повинувшись ему, перенося даже от него оскорбления, ставить его самого не в то положение, которого бы он искал, из обязательной (если не из личной) осторожности, а в то, в которое вынудили его стать мои тайные, неизвестные ему действия и слова!..

А усы кривые и грязный сюртук?.. Это дело другое. У меня, я ручаюсь, усы никогда кривыми не будут, и в новом европейском платье я сияю и красуюсь так, что все

люди, любуясь на меня, говорят: «Что за прекрасный, стройный юноша Одиссей! Стан его как литой из меди! и очи чернобровые, и щеки свежие!»

Если бы в этот вечер я встретил Зельху (о Боже!), всему был бы конец! Так я был и горд, и бодр, и дерзок! Всему был бы тот конец или бы то начало, которого желал повар Вассо и на которое указывала намеками сама ведьма, ее мать. И Благову было бы гораздо меньше греха.

10 Я даже пошел под вечер с самым серьезным видом по дороге в Канлы-Чешме, на покатый путь порока, в ее переулок. Но... (прошу тебя, мой друг, не шути этим)... но, проходя мимо церкви Св. Николая, где я начал, под крылами отца Арсения, мою жизнь в Янине, я почувствовал неодолимое желание войти на двор и взглянуть на церковь и на то окно, за которым я жил еще так недавно — по счету и месяцев и дней, — годá и года целые тому назад по обилию разнообразных встреч и новых чувств, постепенно и глубоко перерождавших меня!

20 Я взошел на двор и поглядел вокруг: в окнах отца Арсения огня еще не было; на звонком и обширном дворе не было ни души. Из промежутков между старыми плитами его росла так кротко давно знакомая мне и все та же трава. Большие, толстые столбы церковного навеса стояли так мирно и непоколебимо в своем прочном величии. А за церковью, как робкое стадо, у стены ее, стадо духовное: деревянные саркофаги, в которых за стеклом теплятся, по старому обычаю, лампы. Эти, тоже хорошо мне известные во дни моей чистоты, могильные лампы, эти вечерние звезды безгрешной, родственной любви!.. Огоньки их были так слабы, так трепетны, так жалки, так легко угасимы!..

30 Я постоял, задумался, вздохнул глубоко, вспомнил о матери... и... не пошел в Канлы-Чешме.

Прошу и умоляю тебя еще раз, мой милый, молодой мой друг, для твоей собственной пользы, не смейся, не улыбайся даже, не спеши глумиться высокомерно, а подумай... подумай, прошу я тебя!..

На следующий день, в самый полдень, в ту самую минуту, когда все мы, ученики, толпой выходили из училища, я увидал, что на улице ждет меня Алеко.

— Иди скорее в консульство, — сказал он мне тихо. — Г. Исаакидес прислал за тобой. Есть дело.

Я пошел скорее, но Исаакидеса уже не было. Не дождавшись меня, он ушел из консульства. Кольйо накрыл мне одному, точно господину дома, на стол в столовой с обычною чистотой и торжественностью, и повар Вассо<sup>10</sup> приготовил, мне, в отсутствие Благова, прекрасный завтрак не хуже обыкновенного; даже фрукты стояли в вазе на столе.

Никогда еще этого не случалось, чтобы я так господствовал один за консульским столом! Я взглянул на эти приготовления, и мне показалось, что те горожане, которые звали меня «сын души русского», были правы.

Но мне не суждено было сесть за этот для меня одного приготовленный изящный стол.

Вошел поп Коста быстрыми шагами и, выразительно<sup>20</sup> указав мне на дверь моей комнаты, шепнул: «Иди сюда! Дело есть!»

Мы затворились, и поп Коста сказал мне:

— Одиссей! Тахир-Аббаса сегодня ночью схватили... турки. Мы должны его спасти. Не посраим имени этого консульства, которого хлеб мы все едим.

— Что же делать? — спросил я.

— Надо скорее ехать тебе к Благову. Вмиг доехать, вмиг вернуться и сказать ему так: «Исаакидес и поп Коста прислали меня вам сообщить вот то-то и то-то. К вечеру<sup>30</sup> сегодня Тахира привезут в Янину. Его обвиняют в убийстве Джеффера и в возбуждении христиан к восстанию. Он наш. Позвольте спасти его».

Я отвечал на это, что я не могу решительно ехать без приказания драгомана Исаакидеса, что это дело очень важное; я турецкий подданный, и мне нужно знать, по



крайней мере, не по пустому ли я рискую быть после гонимым турками за мое вмешательство.

— Ты прав! — воскликнул поп и ушел.

Но возвратившись еще на мгновение, он строго сказал мне:

— Смотри! Даже ни «кхх!» никому не сделай об этом. Головы наши береги; — не ты один турецкий подданный, и я тоже.

И опять ушел.

Я сел за стол, и Кольйо, подав мне первое кушанье, тоже сел на диван и сказал мне:

— Знаешь, Одиссей, что я тебе скажу про Зельху? — Сегодня ее мать была внизу у повара Вассо и жаловалась нам, что Зельха начала пить вино и недавно напилась пьяна на одной свадьбе, где плясала; — плясала и чуть-чуть не упала. Старуха очень огорчается и говорит: «Хоть бы г. Одиссей уговорил ее; побранил бы ее. Она его послушается». И я пожалел (прибавил Кольйо). Жалкая вещь, когда такая девушка, еще маленькая почти, и пьет! Противная вещь!..

— Неужели это правда? — сказал я, оставляя на минуту кушанье...

— Чего ты хочешь, когда сама мать говорит, — возразил Кольйо.

Я замолчал, задумался, но в эту минуту поп Коста опять почти что вбежал и подал мне записку от Исаакидеса:

«Кир-Одиссей, делай во имя Христа, прошу тебя, безотлагательно то, что тебе он скажет. Кому мы без тебя доверим? Ехать надо в Зицу к Благову скорее. Мне невозможно!..

Твой друг Исаакидес».

Опять история. Опять политическое дело! И это еще хуже, еще опаснее, еще важнее!..

Но — теперь тут Благов! Под крылами и под плечьями его наступлю на аспида и василиска и попру ногами льва и змия!

Я готов.

Византийские вчерашние внушения Исаакидеса проникли глубоко, глубоко в мое сердце. Еще шаг в тайной борьбе против неверной власти. Еще один сильный напор плечом на камень Сизифа. Еще, еще одна ступень!

Ехать я готов. Пусть дают мне проводника верного и коня быстрого...

*Pa! c'est mon cheval qu'on apprête...*

От страха, радости, отваги и волнения я теряю аппетит, я забываю и фрукты, и нравственное падение моей тоненькой и милой баядерки! 10

Но это было еще не все — решиться ехать. С кем мне ехать? Я дороги в Зицу не знаю хорошо. А пути шесть часов шагом; спеша можно доехать и в четыре и в три часа. Но и то, не будет ли поздно? Кого взять с собой?.. Кого?..

Поп Коста решает так: взять непременно Маноли-ка-васса, но не говорить ему ни слова. «У него язык длинен, — говорит поп Коста с глубоким презрением, — он хвалиться будет». 20

Маноли в Порте по тяжёлым делам вместе с Исаакидесом.

Как быть? О Боже! Время так дорого!.. Бея могут привезти в самую Янину, а мы не успеем подать ему руку помощи вовремя.

Исаакидес возвращается из Порты бледный от волнения. Он почти вбегает, задыхаясь, на лестницу.

— Чтò ж вы делаете тут? Чтò вы делаете! — восклицает он с отчаянием. — Я думал, Одиссей в Зице...

— Он не знает дороги! — говорит с отчаянием поп Коста. — Нельзя ли взять Анастасия отсюда... 30

— Стой! стой! — восклицает Исаакидес и зовет поспешно Анастасия.

Анастасий человек уже пожилой, ограниченный, медленный, недогадливый, честный, даже глупый; широкое, румяное лицо его с большими белокурыми усами не похоже на те греческие лица, к которым вы привыкли на юге,

он больше похож на солидного простого немца или на русского, серьезного нрава, чем на пылкого эллина.

Родом — он эфирот, но эллинский подданный, он служил несколько лет солдатом по охоте в свободной Греции; он читает газеты, он самый грамотный, но зато и самый глупый из всех трех кавассов наших. Но он человек твердый, исполнитель точный, если только понял, что́ надо делать; он воин хладнокровный и бесстрашный.

10 Говорит он очень мало; иногда кажется, что он едва умеет говорить.

Мы все четверо запираемся, и поп Коста говорит ему с улыбкой:

— Кир-Анастасий, на тебя вся надежда наша. Великое дело! Великая тайна... Спасем вместе Тахир-бей.

Поп говорит с жаром, глаза его мечут искры... мы с Исаакидесом ждем, что́ изречет Анастасий.

Лицо Анастасия все также светло и тихо.

— Можно спасти! — отвечает он.

— Не правда ли, можно? — воскликнул Исаакидес.

20 — Надо у консула спросить, — отвечает Анастасий...

— Кого послать? Кого послать к консулу с запиской? — почти с отчаянием говорит Исаакидес. — Одиссей не знает дороги.

— Бостанджи-Оглу пошлите, — говорит простодушный Анастасий.

Но Исаакидес и поп Коста в один голос восклицают: «Ни за что́! Ни за что́!.. Дурак... Он с лошади упадет. Он станет спорить с нами, подлец, анафема... Он потеряет время».

30 Опять решаются послать за Маноли в Порту и отправить меня с ним вместе к Благову в Зицу. Хорошо! Теперь все согласны.

Мальчик Алеко бежит за Маноли; ему приказано лететь птицей и просить, умолять Маноли приходить скорее. Поп Коста сам спешит, между тем, в хан нанять двух лучших лошадей. Исаакидес обещает своих денег приплатить, только бы не опоздали.

Я надеваю сапоги и готовлюсь к отъезду.

Исаакидес пишет консулу письмо и запечатывает его. Он гонит Анастасия вниз; он говорит ему:

— Придет вдруг Маноли, увидит, что нас здесь столько собралось, и скажет: «Это что за дела». — Иди, иди!

Анастасий уходит так же равнодушно и тихо, как пришел.

Мы беспрестанно смотрим на часы, смотрим в окно, не идет ли Маноли, прислушиваемся, не стучат ли копыта конские у ворот? 10

Наконец и копыта застучали, Маноли пришел. Поп Коста не показывается пока. Видно для того, чтобы люди даже и в консульстве не знали, какое такое дело, чтобы ничего не было заметно.

Маноли входит.

— Что случилось, господин Исаакидес? — спрашивает он.

— А! Кир-Маноли! — вкрадчиво говорит ему Исаакидес, — любезный друг! Пожалуйста, мы просим тебя: проводи нашего паликара (указывая на меня) в Зицу к консулу. Консул велел ему приехать, прислал записку, а он один не найдет дороги. Позволь мне, капитане мой, предложить тебе эти денежки за лошадь. Я велел отличную тебе нанять. Сам поп Коста ходил за лошадьми, чтоб угодить консулу... 20

— Что такое случилось? — спрашивает с улыбкой Маноли, — что г. Благов так хочет Одиссея видеть!.. Э! хорошо! Поедем, Одиссей! Пусть будет так!..

В зале Исаакидес еще раз остановил меня и шепчет: «Именем Божиим умоляю тебя — скажи консулу, чтоб он задержал в Зице Маноли, а сюда прислал бы нам Ставри. Ставри с Анастасием сделают дело. Не забудь — именем Божиим...» 30

— Будьте покойны, будьте покойны! — говорю я.

Вышла еще одна маленькая неприятность и небольшая задержка: в ту минуту, когда мы с Маноли уже были на конях, явился Бостанджи-Оглу.

— Куда это, куда! — воскликнул он с изумлением.

— Консул велел Одиссея привезти! — отвечал Маноли со слов Исаакидеса.

Исаакидес стоял сам у дверей; Анастасий поправлял мне подпругу.

— Чтò это такое! — жалобно возопил Бостанджи, — всех кавассов берут отсюда. Разве с одним Анастасием можно? Я буду жаловаться.

— Зачем ты оскорбляешь господина Анастасия? —  
10 гневно возразил Исаакидес. — Чем же он не ясакчи? Чем не кавасс? И чтò ты смеешь теперь, когда я здесь?..

— Я смею, я тружусь... — кричал Бостанджи...

— Молчи! молчи! — кричал Исаакидес.

Но топот наших лошадей заглушил их крики, и я больше не слышал их спора.

Когда мы обычным шагом выехали за город, я сказал, обращаясь к спутнику моему: «Господин Маноли, поскачем. Я спешу!»

— Чтò такое? Чтò за дело спешное? — спрашивал он,  
20 сгорая любопытством.

— Не знаю! — отвечал я, пожимая плечами. — Приказали скорее... Надо ехать... Айда! айда!..

И я погонял лошадь вскачь. Маноли, все спрашивая, все смеясь двусмысленно, все подозревая, мчался за мною.

Дорога в Зицу сначала идет вдоль узкой Янинской долины и около часу или более так ровна, что можно ехать по ней в колесном экипаже, но потом крутым поворотом она углубляется в каменистое и хотя и не глубокое, но  
30 мрачное и унылое ущелье, и только немного не доезжая сосцевидного холма Зицы, воспетого лордом Байроном, она опять идет между обработанными и низменными виноградниками и вдоль веселых и густых живых изгородей, летом покрытых цветами.

Круглый холм, увенчанный рощей огромных дубов, вязов и тополей, чернеет темным сосцом еще издали, на горизонте.

Много мне было хлопот и борьбы дорогой с Маноли. Подозревая справедливо, что от него что-то важное и удивительное, и политическое скрывают (от него, столь любопытного, от него, кавасс-баши, от него, верного слуги царского), Маноли всю дорогу то терзал меня вопросами и догадками, то удивлялся, почему это поп Коста сам нанимал лошадей? Что-нибудь есть тут! Поп Коста ему, Маноли, враг смертельный и к тому же известный разбойник и даже предатель. Он, Маноли, наверно знает, что поп Коста во время нашествия эллинских добровольцев на Эпир в 1854-м году предал Гриваса Абди-паше, который и напал на греков в селе Коцильо. 10

— Поп Коста враг мне великий, он враг мне! — повторял Маноли.

— Он враг тебе, но он мне не враг, я просил его нанять лошадей, — отвечал я ему, все подгоняя лошадь.

Потом Маноли, недовольный и рассерженный, стал говорить, что так гнать лошадей нельзя, что они упадут и издохнут, — кто за них платить будет тогда?

— Я человек не столько богатый. И хоть, конечно, я 20 имею в селе прекрасную собственность, — и даже купил двенадцать европейских стульев у прежнего австрийского консула, когда он, уезжая, продавал свои вещи, — имею что-нибудь. Имею три ковра... Стой, Одиссей, не бей лошадь... Я тебе говорю, испортим мы лошадей...

Но эту речь держал он мне тогда, когда холм Зицский уже чернел на небосклоне; я, видя его, заблудиться не опасался и потому решил все жалобы Маноли пресечь довольно резко; я сказал ему так:

— Если тебе, кир-Маноли, не угодно скоро ехать — 30 мне все равно. Я Зицу вижу; ты оставайся, а я поеду, и если г. Благов будет тобой недоволен, не моя вина...

С этими словами я обогнал его. Маноли смирился и поспешил за мной.

Наконец мы взобрались на вершину самого монастырского холма и вошли на монастырский двор. — Солнце было уже довольно низко, но до ночи было еще далеко.

Монахи нам сказали, что консул давно вернулся с охоты и, лежа на ковре под деревом в винограднике направо, читает книгу.

Один из монахов прибавил, улыбаясь:

— У него в этот раз нет *кейфа*. Скучает. Прежде он любил говорить с нами, а теперь все удаляется, все молчит, все читает; даже на охоту мало ходит... В церкви ни разу не был. Все ходит один по садам и дорогам и все читает книги... Чтò с ним такое?

<sup>10</sup> Я отвечал, конечно, что не знаю, и поспешил отыскать Благова.

Он в самом деле лежал, прислонившись к диванной подушке, на красном ковре под огромным деревом и держал книгу. Книга эта была «Чайльд-Гарольд».

Увидав меня, он привстал и, к удивлению моему, как будто очень мне обрадовался.

— А! Это ты, Одиссей... Очень рад... Как это ты сюда приехал?.. Чтò случилось?..

<sup>20</sup> Он пригласил меня сесть, и я тотчас же приступил к делу.

В записке Исаакидеса к Благову не было изложено самое дело; Исаакидес, вероятно, остерегался предавать бумаге соображения и факты, которые могли повредить и ему самому, и консульству, и мне, если бы записка каким-нибудь случаем затерялась и попала бы в турецкие, австрийские или английские руки. Он просил только г. Благова верить мне, уверял, что я все дело и весь план действия знаю хорошо и что на меня, несмотря на молодость мою, положиться можно.

<sup>30</sup> — Рассказывай! — сказал мне Благов, когда я ему прочел записку (сам он греческие рукописи разбирать не мог хорошо).

Я сказал, что завтра наверное привезут Тахир-бея под стражей в Янину и что Исаакидес и поп Коста берутся спасти его, если консул позволит. Необходимо только отправить кавасса Ставри в город, потому что без него сделать ничего нельзя. Я прибавил, что надо спешить.

Благов погрузился в раздумье. Вероятно, он спрашивал себя мысленно, чем он должен быть в этом случае — дипломатом только, строгим ко всем правилам и обычаям международных сношений, или же политиком, неистощимым на ресурсы для утверждения своей популярности в стране оппозиционной и православной?..

Он несколько раз взглядывал на меня пристально и опять, задумавшись, молча, продолжал играть концом своего пояска на русской рубашке.

Я почтительно ждал его решения. Молчание его, одна-<sup>10</sup> ко, продолжалось не долго. Он спросил меня прежде всего о том, отчего же это меня прислали сюда, а не Бостанджи.

— Почему они, то есть Исаакидес и поп Коста, доверили все это тебе, если они считают это дело таким серьезным? Есть служащий постарше тебя в консульстве — Бостанджи-Оглу. Если драгоману самому нельзя было оставить консульства вовсе пустым, то он мог его прислать? Почему это?

Кровь прилила мне в лицо от оскорбленного самолюбия, когда я услышал эти слова; но, искусно сдерживая<sup>20</sup> себя, я ответил Благову довольно твердо и толково (даже с улыбкой):

— Бостанджи падает с лошади; надо было спешить сюда.

И потом, поколебавшись чуть-чуть, прибавил: «Да ему никто и не верит. Его все считают и глупым, и хвастуном, и даже предателем».

Благов взглянул на меня еще раз внимательно, как будто он хотел пронзить меня своим взглядом до глубины<sup>30</sup> сердца, и сказал:

— Да, с лошади он, пожалуй, упал бы, и что он глуп, — и это правда. Позови сюда скорее Ставри.

Я побежал и привел Ставри.

— Слушай, Ставри, — сказал ему консул. — Исаакидес и поп Коста желают спасти Тахир-Аббаса, которого турки должны завтра под стражей привезти в город. — Они спрашивают моего позволения. Я очень буду рад,



если это им удастся, но брать на себя ответственность за это дело я не желаю. — Я его не знаю и знать не хочу... Понимаешь?

Морщинистое и бледное лицо старого разбойника оза-рилось самую приятную, вежливую и тонкою улыбкой.

— Конечно, понимаю, — ответил он. — На что вам знать об этом деле. Если мы попадемся — вы не защищайте нас. А если не попадемся — вы наградите нас немножко, ваше сиятельство...

10 — Я вас всех прогоню, если вы попадетесь, — сказал строго Благов.

— Есть Бог! — возразил Ставри.

— Как же вы это сделаете? — спросил консул.

Ставри предложил мне несколько вопросов: когда ждут Тахир-бея в город? Откуда эти известия? Согласен ли Анастасий принять в этом деле участие?..

И когда я ему на все это удовлетворительно ответил, Ставри, все не переставая улыбаться своею тонкою улыбкой, полулюбезною, полузлойбою, сказал:

20 — Надо будет дать знать Тахир-Аббасу, что я и Анастасий будем ждать его в хану — в последнем, от которого до Янины не больше часу. А там мы уж сделаем дело.

— Как хотите, — сказал консул. — Я не считаю себя вправе запрещать вам спасти человека, который был на стороне христиан в Чамурье, и, если б я не был консулом, я с удовольствием сам вместе с вами ждал бы его в этом хану; но помните: если у вас будет какая-нибудь вооруженная схватка со стражей, то мне вас защитить будет  
30 невозможно, и самое большее, что я в силах буду сделать тогда, это отправить вас обоих секретно в Элладу или в Россию. А если вас захватят, например, турки и отведут к паше, то вот что: хотя по трактатам кавассы и драгоманы неприкосновенны, но ведь и вырывать силой из рук правительства людей, которых оно взяло под стражу, в мирное время невозможно, и мне тогда, если вас схватят и посадят в тюрьму, придется от вас отречься. Помните это; помни-

те, что я ничего не знаю, но мешать вам делать, что вы хотите, не буду.

Ставри презрительно отвечал на это:

— Зачем силой брать. — Мы не дураки и нам в Элладу или Россию бежать невыгодно; у нас здесь собственность есть, и здесь наши родные. — Так я поеду?

— Это не мое дело, — повторил Благов и, встав, пошел внутрь монастыря и продиктовал мне по-гречески небольшую записку Исаакидесу:

«Я ничего знать не хочу. Это ваше дело!

10

Благов».

Потом, отдавая записку Ставри, он еще раз прибавил на словах: «А кончите все хорошо, разумеется, я буду очень рад!»

Мне консул приказал оставаться в Зице, чтобы не были заметны эти беспрестанные разъезды туда и сюда лиц, служащих при консульстве.

Кир-Ставри тотчас же собрался в путь и стал седлать своего злого белого жеребца, разубранного красными кистями. Я пошел помогать ему и поспешно укладывал его сумку. Маноли молча и печально присутствовал при всем этом, и выражение доброго и изменчивого лица его было так жалобно, так детски-малодушно, что мне было его очень жалко. Любопытство и самолюбие продолжали по-20

жирать его. Ставри, кажется, почувствовал то же, что и я; потому что, оседлав коня своего, он ударил слегка рукой по седлу и сказал, обращаясь к нему:

— Так-то, кир-Маноли!.. Подтяну попрочнее подпругу и, если нужно, сердечному Тахир-Аббасу своего жеребца отдам. Пусть на нем бежит до эллинской границы? — 30  
Не так ли! Пусть турки лопаются!..

Маноли покраснел и отвечал порывисто:

— И позволяет это консул?..

— Без позволения как бы мы делали?.. Аддио!

И старик, взлетев на лошадь как юноша, стал осторожным шагом спускаться с холма; я проводил его немного под горку и спросил у него: «Вы сказали Маноли о Тахир-Аббасе; а мы не говорили ему... Хорошо это?»

— В городе вы молчали — это хорошо, — отвечал Ставри. — Кир-Маноли иногда многоречив безвременно; а теперь он остается здесь. Зачем оскорблять его? Он не предатель. Хуже бы рассердился, узнав стороной.

Я понял, что Ставри был очень тонкий политик, и, одоблив его соображения, пожал ему руку, пожелав успеха в опасном и щекотливом деле, взятом им на себя.

Ставри исчез за поворотом винтообразной дороги, спускавшейся с Зицского холма; довольно долго его не было видно и с вершины; но потом, доехав до равнины, он пустился вихрем вскачь по Янинскому пути, и я, прислонившись к огромному вязу у монастырских стен, долго любовался, как мелькал то туда, то сюда, внизу и вдали его белый конь между деревьями и густыми кустами, еще нагими в это время года. Я принял такое живое участие в этом драматическом предприятии, что только и думал в эту минуту о том, спасут ли они страшного Тахир-Аббаса или нет, и как они это сделают? — Чтò сделают турки и чтò скажут англичане и французы, когда догадаются, что русское консульство так неправильно по форме, но так усладительно для оппозиционных чувств и взглядов христианского населения, вмешалось в это темное и запутанное дело убийства на поэтической родине моего милого Коль-йо? Я жалел даже, зачем Благов удержал меня в Зице, зачем я не могу принять до конца деятельного участия в этом молодецком предприятии и даже не тотчас узнаю, чем оно кончилось.

## XIX

Я стоял, и долго, взирая с высоты на широкую, безмолвную и разноцветную долину, в неизобразимой прелести стелившуюся у подножия Зицского холма; белый конь ста-

рого кавасса давно уже исчез из глаз моих. Я задумался глубоко и, сев на земле под вязом, вспомнил вдруг о том, какая глубокая разница между низкою и подлою безнравственностью Куско-бея, покупавшего без разбора за деньги бедных и невинных невест, и безнравственностью Благова, к которой присоединялось в характере его столько рыцарского, великодушного и даже в иных отношениях столько христианского чувства!.. Я чувствовал, что такая безнравственность, вовсе для меня новая, начинает мне 10  
чрезвычайно нравиться и что нельзя назвать низким и безусловно даже грешным человека, который в эти еще молодые годы и при всей искусительности власти, денег и безнаказанности отказывается купить золотом у развращенной матери невинную, хотя бы и грубо воспитанную дочь, девушку, которая, вероятно, ему в высшей степени нравится... хотя бы и «на восемь только дней», как говорит французский поэт.

Так размышлял я, незаметно опутываясь тончайшими сетями греха, ибо, конечно, мягкосердечные падения чувствительного честного Кольйо и холодные, может быть, по 20  
сердцу, но облагороженные высоким умом грехи Благова были привлекательным, романическим влиянием своим несравненно для меня с христианской точки зрения опаснее, чем комические приключения доктора Коэвино, чем бесстыдные и грубые шалости моего прежнего друга, дерзкого Аристида, и тем более жестокосердые, алчные, гадкие, ужасные дела Куско-бея, в которых демон плотской ненасытности являлся уже во всей наготе своего безобразия!

Я забыл о Тахир-Аббасе и задумался о другом таинственном деле; я спрашивал себя под этим зицским вязом: 30  
«Чем кончится другая темная история? История Зельхи и Благова? Станет или не станет в самом деле курьезная туркуда моя тем, чем до сих пор неосновательно звали ее в городе, то есть „турецким червонцем с московскою печатью“?»

Я не ревновал. Напротив того, я никак не мог забыть речей одноглазого повара, который мне так настойчиво предлагал, пользуясь детским расположением ее ко мне,

избавить Благова от большого греха и вместе с тем сделать и ей вещественную пользу — быть косвенною причиною ее обогащения. Благов так щедр ко многим!.. И разве «восемь дней» не могут стать «восемью месяцами», в течение которых от русских щедрот она станет вовсе не бедною невестой?

И думая обо всем этом, я с удовольствием вообразил себе, что она пришла бы и села, например, здесь под этим вязом на траве и, мрачно взирая прямо мне в глаза  
10 своими огромными, черными глазами, осененными ресницами столь длинными, как «франкские стрелы», сказала бы мне опять: «А я, мой милый, где ни поцелую тебя, все мне приятно!»

Так я сидел погрузившись в думы...

Вдруг раздался за спиной моей голос:

— Одиссей, пойдем вместе гулять, пока солнце еще не село.

Я обернулся: предо мной стоял Благов, опершись на трость.

20 Боже! Гулять, гулять с ним! Гулять с ним одним?! Он зовет меня! Он хочет со мной беседовать как бы с товарищем! Что́ это? Не сон ли? Не обман ли взволнованных чувств? Нет, это истина! Вот он и вот я! И мы идем, идем рядом под горку, прямо к селу, идем через село Зицу, идем вместе, и нас приветствуют селяне поклонами и почтительными улыбками, и мы оба вежливо отвечаем им тем же. Нет, это не сон! Я уже не чувствую напряжения мышц моих, напирающих туго на тяжкий камень, воздвигаемый медленными усилиями на гору славы, богатства и почестей!  
30 Нет, я снова как цветок прекрасный или как разукрашенный каичёк, поднимаюсь выше и выше движением голубой и светлой волны счастливых случайностей!

Мы долго и медленно шли витою дорогой с холма. Опустошенные зимой виноградники были унылы; день был пасмурный, и солнце в облаках стояло уже низко над горами, освещая снеговые жилы, которые белели, спускаясь извилисто с вершин по темно-синим их массам.

Мы очень долго молчали. Монахи зицские были правы, жалуясь, что Благов совсем изменился. Он был ужасно задумчив. Раза два он слегка вздохнул. Быть может, без меня он вздыхал бы громче и глубже.

Опираясь на трость, шел он по дороге в широкой шляпе своей и длинном плаще из темного верблюжьего сукна, скроенного по образцу аравийского бурнуса, шел почти не поднимая взоров от земли и только сбрасывал ногой изредка в сторону или вниз небольшие камешки.

Я долго и напрасно ждал, что мы будем говорить о делах и что я найду случай, обвинив Бостанджи-Оглу, достичь своей давней цели — поступить на его место, обратить наконец камень Сизифа надолго в неподвижный, краеугольный камень моего благоденствия. 10

Наконец г. Благов остановился и, обращаясь ко мне все тихо и задумчиво, сказал:

— А знаешь что, мне что-то стало жаль бедного Рауф-пашу. Это похищение Тахир-Аббаса огорчит старика.

Я молчал.

Благов, сделав еще несколько шагов, сказал: 20

— Он болен. Я жалею, что согласился на это дело. Этот Исаакидес начинает надоедать мне... Чтò ты скажешь на это?

Я? я чтò скажу? Как это странно! Я буду учить его! Не понимаю! Этот человек непостижим во всех путях своих!.. И к чему тут жалеть?.. Не понимаю!.. Сострадать чему же?.. Чтò старичок паша будет иметь несколько неприятных минут... Этот паша, хотя бы и по слабости, допустивший пытку. Это странно! Это... не смею подумать... почти глупо! Это безумно даже. Это что-то сродное Козвино. 30 Или уж правда это, что они схожи и что под сияющею ледяною корой этого сдержанного и твердого человека кипит тот же бездонный хаос чувств и мыслей, который у разнузданного доктора, у этой брадатой гетеры, клокочет с бесстыдным и простодушным тщеславием? Не верное ли чувство после этого говорило устами отца моего про тех русских военных, которых он видел в 1853-м году на Ду-

нае... «Начнут вдруг турок превозносить и хвалить. Люблю я русских. Но они капризные люди и понять их трудно!» И вот с таким-то таинственным сфинксом я осужден жить, и на таком-то многообразном Протее утверждать мои неокрепшие еще мышцы!

— Я, г. консул?.. Я что́ думаю... об этом?..

— Да, я желаю знать, что́ ты думаешь?..

— Я думаю, г. консул, что жалеть Рауф-пашу вовсе не следует... потому что он христиан пытал?..

10 Сфинкс не отвечал, и мы пошли далее по равнине...

Шли, шли еще. Не было видно ни одной живой души... не было слышно звука. Я решился занять разговором г. консула и спросил у него:

— Можно сделать вам один вопрос?

— Очень рад. Сделай.

— Какая у русских поэзия?..

— Как какая?..

— Хорошая поэзия?..

— Конечно, хорошая, — отвечал Благов, как будто  
20 слегка оживая и улыбаясь. — А ты думал, дурная? Ты, может быть, думаешь, что все русские только консула да мужики, как липоване на Дунае, которых ты видел и которых представлял Хаджи-Хамамджи за ужином?..

— Нет... я... нет.

Лицо Благова еще более просветлело, и он, все улыбаясь и зорко взирая на меня, сказал:

— Сядем тут, на камнях, у ограды.

Мы сели.

— А! — сказал он. — Русская поэзия? А ты разве  
30 любишь поэзию? Ведь ты эмпор — купец?

— Разве купцы не люди, — сказал я краснея.

Ответ мой видимо тронул Благова. Лицо его дышало добротой и тихою лаской. Как не похож он был в этот час на того Благова, который не хотел надеть оскверненной мною жакетки!

— Скажи ты мне лучше какие-нибудь греческие стихи... из новых. Не Гомера, ни Пиндара... а вот ваших нынешних.

Я подумал и спросил:

— Какие же вам угодно? Я знаю много...

— Скажи какие-нибудь печальные, — элегию...

— Элегию?.. Сейчас.

И вспомнив одно из стихотворений Танталида, я начал торжественно: «Элегия на приснопамятного драгомана, князя Телемака Хандзерли, первого драгомана российского посольства в Константинополе, скончавшегося в Смирне».

Где Телемак? где наш блестящий высокопоставленный князь Византии, любезной отчизны?

10

— Бог с ним, с драгоманом нашим! — прервал меня Благов. — Царство ему небесное! Это вовсе не особенно печально, — прибавил он с улыбкой.

Я возмутился неуважительным отношением консула к этому предмету. Князь Хандзерли был знаменитый человек. И, подумав, сделал ему другое предложение:

— Не угодно ли вам полюбопытствовать и выслушать эпитафию госпоже Смарагде Ставриной? Это была одна совсем скорбленная старушка. Она родилась, рожала, хоронила родных и сама похоронена все в одном и том же 20 месте. В эпитафии очень красноречиво это выражено.

Я начал. Но консул тотчас остановил меня:

— Это очень благозвучно и остроумно; только уж оставим старушку там, на том месте... Нет, уж лучше скажи что-нибудь не печальное, а такое, от чего бы мне стало весело... праздничное.

— А! праздничное! Чтò бы такое?.. Да! праздничное. Ода по поводу награждения десяти учителей богословия и празднества, происшедшего на острове Халки:

30

Снова ветви душистого лавра,  
Снова день торжества и венцов,  
Снова повод для од и пеанов,  
Песнопенья священных органов.  
В нашей Халкинской школе святой  
Десять новых сынов увенчали,  
Богословия славных сынов.



— Постой, постой, — сказал Благов с удивлением. — Какие это учителя? О чем ты говоришь?

— Учителя в Халках, на Принцевых островах, — сказал я. — Потому что проповедники нужны.

Лицо Благова омрачилось.

— Нет, — заметил он тихо, — тут все такие слова: «анакрузма», «синкротуси». Я ничего не понимаю. Слишком по-эллински... Не знаешь ли чего-нибудь любовного, грешного такого... Понимаешь — любовь?

<sup>10</sup> (Как не знать грешного! — Сколько мать и отец ни старайся, а грех как по воздуху носится вокруг нас. Выберу, впрочем, что-нибудь более нежное, более деликатное для его образованности и наиболее невинное, чтобы себя зарекомендовать с эфической точки зрения.)

Я пробовал декламировать ему несколько стихотворений: «Кошечку» Танталиди:

Видишь, свет мой, как котенок  
Со снурочком все играет...

<sup>20</sup> «Осыпающуюся розу», одного из новейших поэтов:

К душистой розе протянул я руку,  
Чтобы сорвать ее!..

Но роза облетела прежде, чем поэт успел ею насладиться. Поэт нашел, что это похоже на молодость нашу. Еще говорил я некоторые вещи Панайоти Суццо и Рангави. Но господину Благову все это не слишком нравилось. Тогда я решился предложить ему нечто местное, простонародное, сочиненное неизвестным творцом, одну из тех милых <sup>30</sup> песен, которые поют у нас люди, передавая их изустно друг другу.

— Вам ничего, — если стихи эти будут *хидайческие*?

Благов как будто испугался.

— Чтò такое? чтò такое?..

— *Хидайческое* — это значит грубое, простое; а то бывают стихи городские, тонкие такие; они тоже иногда простым языком написаны, а не высоким, но в духе обра-

зованного общества, а не хидаячески. — Теперь, если угодно...

И я начал:

И на что ты мне, золото, и ты, белое серебро,  
Если нельзя целовать мне глаза твои, шею белую.  
Не надо мне веселиться и вино пить не надо;  
Надо мне быть одному в скалах каменных  
И лежать ничком, и лить слезы мне черные,  
Чтобы стало тут озеро и холодный ключ;  
И пришли бы туда белокурые, черноокие,  
Ноги мыть бы пришли, шеи белые—  
И пришла бы любовь моя, пришла бы любимая...  
И я издали увидал бы ее и два слова сказал бы:  
«Ах, на что ты мне, золото и ты, белое серебро,  
Если нельзя целовать мне глаза твои, шею белую...»

10

— Вот это хорошо! Вот это прекрасно! — воскликнул Благов. — Повтори еще... «Ни вина мне пить, ни веселиться не надо; — а все ничком на земле лежать...» Прекрасно!.. Вижу я, что все это *хидаяческое* у вас здесь очень мило; а другое-то... не хидаяческое — плохо... То есть не у греков только, а у болгар и сербов это нехидаяческое еще много плоше, чем у греков...<sup>20</sup>

(Это был все тот же «турецкий халатик», все та же кавасская фустанелла; все те же старые коричневые шальвары Алеко, которые годятся в картину, и все те же архонты, которые «даже и в карикатуры не годятся!..»)

Ободренный, однако, его простым и добрым обращением, я спросил его еще:

— А разве вы знаете по-болгарски?

— А ты знаешь?

— Знаю; ведь я долго на Дунае ребенком жил.

— А ну-ка, скажи мне...

30

Тут Благов приостановился, не сводя с меня глаз, подумал... и сказал с улыбкой:

— Что значит: — «Млада турска хубава девойка?»\*

---

\* Молодая турецкая, красивая девушка.

Я, конечно, перевел, но сгорая стыдом. Меня испугали эти слова, эти вопросительные улыбки. У меня блеснула мысль, ужаснувшая меня на мгновение, я подумал: «Боже! а если он вдруг предложит мне точно так же, как Вассо, предшествование ему на пути греха! Как отказать такому сильному человеку?!»

Но я не успел еще и сообразить всю нелепость этой боязни, всю несообразность этого поступка с гордым характером Благова, на минуту поддавшегося под влиянием 10 каких-то непонятных впечатлений дружественной со мной простоте, — как бездна вдруг закрылась; затянулась густою, туманною влагой, которая должна была постепенно стать снова холодною и сияющею, обычною ледяною корою.

Едва только перевел я по-гречески, что значит «млада хубава турска девойка», и в смущении ожидая, что́ будет дальше, взглянул на него тревожно, как он внезапно опять омрачился, посмотрел молча несколько минут в темнеющую 20 даль прекрасной долины, потом встал и сказал с чуть слышным вздохом:

— Пора домой!

Поднимались в гору мы еще медленнее, чем спускались, и было уже вовсе темно, когда мы возвратились в монастырь. Во все время Благов не сказал мне ни слова. Он опять погрузился в какие-то тяжелые думы; быть может, самым приглашением на прогулку и беседой о стихах, и шуткой на болгарском языке он пытался развлечься и забыть об этих тяжких своих думах...

30 Малочисленные обитатели пустынного монастыря уже все спали, кроме одного прислужника, ожидавшего нас. Маноли, накрыв очень старательно и чисто в архондарике\* столик для нас обоих и поставив холодное жаркое, вино и варенье, сам заснул, раскинувшись в другой комнатке на коврике у очага. Но он не забыл и меня. По другую сторону очага был готов и для меня другой коврик, и

---

\* *Архондарикон* — приемная.

жесткая подушка с монастырского дивана была прислонена к стене в возглавии.

Благов все молчал. Прислужник монастырский начал было суетиться около него и любезно сказал ему:

— Поздно гуляли... сыро; не заболеть бы вам лихорадкой?

Но Благов стал мрачнее ночи; он видимо страдал; он ничего ему не ответил; и, войдя в большой архондарик, где он должен был спать, обратился ко мне и сказал, указывая на приготовленный ужин: 10

— Пожалуста, примите это прочь... я ничего не желаю...

Прислужник хотел еще сказать что-то любезное и гостеприимное; он уже и начал... «покушайте...», но я дернул его за рукав; он замолчал и мы вместе вынесли столик.

Консул тотчас же заперся на ключ, а мы с прислужником, сев на пол у очага, съели все до тла и выпили немного вина за здоровье тоскующего консула.

— Скучает, — сказал послушник.

— Да, скучает, мало политической цивилизации здесь... — 20  
отвечал я кратко и неохотно, ибо хотел до смерти спать...

— Турция!.. — вздохнул и значительно заметил прислужник.

Мы простились, и я лег на ложе свое. Но как ни был я утомлен, я сквозь сон несколько времени еще слышал чрез стену, как Благов мерно и безостановочно ходил взад и вперед по своей комнате.

## XX

Целый день еще мы прожили с Благовым в Зице. Утром он опять очень долго читал Байрона, лежа под деревом на красном ковре; потом скрылся куда-то; а я, привычный к правильным утренним занятиям в классах, долго влачил туда и сюда томительную и праздную скуку. Маноли надоел мне нестерпимо своими рассказами и жалоба- 30

ми на предательство, низость и вражду попа Косты. Пробовал я беседовать с монахами, но столетний игумен говорил уж слишком мало и, когда я у него спросил, помнит ли он лорда Вирона, он сказал: «Да! он был курчавый». И больше не прибавил к этому ни слова.

Помощник его, очень серьезный монах в очках, подобно Маноли утомил меня жалобами на князя Кузу, который замышляет-де обобрать все греческие монастыри и святые места. Проситься в Янину я не смел. Мне становилось очень скучно. Бездействие и любопытство навели меня, наконец, на мысль отыскать ту книгу лорда Байрона, которую, лежа на ковре, по утрам читал под деревом Благов. Лорд Байрон имел для меня значение, как и для всякого грека, преимущественно патриотическое. Я привык слышать его имя с детства, знал, что он умер в Миссолонгах, что он хотел сражаться за нашу свободу и, почитая его память как святыню, я никогда не думал о том, какой он был человек, что он любил, что ненавидел, о чем мечтал и чем мучился. Я его вовсе не знал и даже ни разу не видал в Эпире его изображения; русские генералы: Паскевич, Дибич, Кутузов и Суворов мне были гораздо понятнее и ближе; их я всех знал в лицо; их всех видал я на бумаге дешевых гравюр.

Я проник в комнату консула в то время, когда он удалился снова один в дубовую рощу (грустить, вероятно), и нашел у него две книги «Чайльд-Гарольда»; английский подлинник в стихах и французский перевод прекрасною прозой, которая, при небольших усилиях, была мне довольно доступна если не по духу и внутреннему смыслу, то, по крайней мере, по внешнему пониманию слов и выражений.

В обеих книгах было вложено много травок и листов, еще не успевших высохнуть: видно было, что Благов срывал их около себя, лежа на ковре. — Я внимательно прочел начало песней «Чайльд-Гарольда» по-французски и с изумлением понял, что Байрон говорил так: «Прощай! о прощай, моя родина! Прощай, моя родная страна! Счаст-

лив тот, кому есть о ком пожалеть на родине. А я плачу о том, что мне никого и ничего там не жаль!»

Это было отмечено карандашом. Нравилось это молодому властелину моему или эти речи приводили его в патриотическое негодование — я не мог решить и решать тогда не искал. Я только удивился и запомнил эти странные и горькие слова. К вечеру, однако, г. Благов опять позвал меня гулять, и на этот раз разговор наш был совершенно иной. Этот разговор был деловой.

Консул начал с того, что спросил меня:

10

— А почему же это все находят, что Бостанджи-Оглу мошенник и предатель? (Он не забыл этих слов, на которые в первую минуту как будто не обратил внимания.)

Я, обрадованный тем, что мне представился наконец случай отомстить сразу и сильно низкому Бостанджи, который всегда источал яд в разговорах со мной, и одушевляясь притом еще и советом Исаакидеса выжить соперника из консульства и разделить власть с ним, с этим самым предприимчивым и столь премудро коварным Исаакидесом, начал так:

20

— Кавассы утверждают, что Бостанджи обсчитывает вас, что он утаивает часть тех денег, которые вы ему поручаете...

— Это называется воровство, а не предательство, — заметил г. Благов равнодушно и не глядя на меня, как будто ему было все равно, обкрадывают его люди или нет.

Тогда я рассказал ему о французской революционной записке, которую читал мне Бостанджи еще в первые дни возвращения Благова, когда Бостанджи был оскорблен доктором.

30

— Чтò ж, он грозился туркам это показать? — спросил с улыбкой Благов.

— Да! — сказал я. — Только когда я ему указал на ваше замечание внизу, где вы говорите, что Турция «старое зло» (так у вас там было сказано) и гораздо лучше всего этого западного масонства и революции, то он испу-

гался и начал уверять меня, что он только мою верность хотел испытать. Я стал вас хвалить и сказал, что вы благодетель мой.

Благов поглядел на меня мельком, и после этого мы долго шли молча все под ту же гору, с которой спускались накануне, и к тем же камням, сидя на которых мы говорили о русской и греческой поэзии.

Дошедши до камней, мы по-вчерашнему сели на них, и г. Благов сказал:

10 — А как ты судишь об Исаакидесе?.. Мне иногда нравятся твои разговоры... Скажи мне откровенно свое мнение о нем. Если ты мечтаешь служить русским хорошо и верно, то надо прежде всего достичь того, чтоб я тебе верил. Будь откровенен и справедлив, как отец твой. Отцу твоему я верю...

Меня слова эти привели в восторг, и я отвечал:

— Исаакидес человек, скажу вам, очень лукавый, только вам он верен, и консульству от всего сердца служит... Он даже говорит (прибавил я, смеясь немного и  
20 почтительно), что готов вас, вопреки вам самим, прославить!..

— Как же это он может?..

— Да вот вы бы здесь были и ничего бы будто не знали о Тахир-Аббасе; а он похитит его, и чести у христиан и у многих албанских беев будет вам больше, чем ему.

— А ты думаешь, удастся это дело?.. — сказал Благов.

— Я думаю, удастся!.. — И, похвалив еще раз удаль кавассов, ловкость Исаакидеса и попа Косты, прибавил:  
30 «Такие люди взялись, что верно сделают хорошо».

Г. Благов сделал мне еще вопрос, все в том же духе:

— И ты находишь, что Исаакидес очень искусен и очень предан? Почему же ты это думаешь?..

— А! — воскликнул я с жаром. — Он все это приготовил и он все это устроил даже. (И я, пристально глядя на начальника нашего и радостно улыбаясь, кончил мою речь почти шопотом, несмотря на то, что мы были одни посреди

огромной и безлюдной долины.) — Он ободрял и возбуждал Тахир-Аббаса убить Джеффер-Дэма. Верно ни сам он, ни слуга его не решились бы на этот поступок, если б Исаакидес не обнадеживал их, не обещал бы вашей помощи.

Г. Благов обернулся ко мне вдруг лицом и спросил с улыбкой как будто бы весело (о, я позднее понял, как это было притворно!):

— Чтò ты говоришь!.. И это он сам сознался в этом?.. Говори, ты хотел говорить мне правду, всю правду... Не бойся. Я говорю тебе, не бойся. Если ты хочешь <sup>10</sup> серьезно, повторяю тебе, соединить судьбу свою с русским консульством, то ты должен прежде всего мне открыть все...

Я смутился, испугался, задумался, но отступить уже было невозможно, и я... предал... Исаакидеса. Я сказал: «Да! он сам сознается в этом...»

Г. Благов встал с камня и сказал, пожимая плечами:

— Мне все равно, наконец, как они хотят... Я сказал, что я ничего этого знать не хочу. И в похищении этом есть <sup>20</sup> уже та доля пользы, что, спасаясь, Тахир-бей как бы указывает на свою вину и обвиняемые христиане Нивицы скорее чрез это будут освобождены. Но все-таки я тебе очень благодарен, что ты мне это сказал. Исаакидес уже слишком смелый и опасный мошенник, с ним невозможно иметь дело. Он постоянно будет вводить консульство в такие дела, которых я не ищу... Довольно с нас клеветы европейцев! Я тебе очень благодарен за это... Я его прогоню!

Но лестные слова эти на меня не слишком радостно <sup>30</sup> подействовали. Я был ужасно смущен. Благов перехитрил меня, и я не мог решить, хорошо ли я поступил или нет? Хитрить хорошо; и отец мой, конечно, хитрит; быть верным Благову и консульству тоже похвально и выгодно; но меня все-таки встревожила мысль, что я употребляю во зло доверие этого Исаакидеса, который при всех своих пороках чувствовал ко мне, казалось, такую бескорыстную, отеческую симпатию. Я попытался исправить немного



мою, не знаю как назвать, ошибку или иначе. Одним словом, я жалел Исаакидеса и сказал консулу, подумав:

— А если он только похвастался мне, что возбуждал Тахир-Аббаса; похвалился из тщеславия одного? А вы его прогоните, г. Благов...

— Нельзя держать ни дня одного такого драгомана, который начинает хвастаться своими преступными действиями даже и подобному тебе слишком молодому человеку. Это еще хуже, еще вреднее, чем делать и молчать...

10 После этого тревога стыда и раскаяния овладела окончательно душой моею, и я смущенный возвратился домой. Консул тоже погрузился в свои думы, и мы не говорили более ни слова.

Опять я лег у очага рядом с Маноли, но на этот раз сон мой не был уже так крепок, как накануне, и я еще дольше вчерашнего слышал медленные шаги Благова, по-прежнему страдавшего бессонницей... И мне от этого стало еще грустнее... Наконец я заснул, но сон мой продолжался не  
20 долго. Внезапно я был пробужден голосами, звоном посуды и стуком...

— Вставай, вставай, Одиссей... Сейчас едем в Янину!

Было около двух часов ночи... Полная луна светила на чистом небе. Лошади стояли уже оседланные. Я не успел даже умыться лица; слышался голос Благова:

— Скорей, скорей...

Сам столетний игумен вышел из своей келейки с костылем. Благов едва успел только поцеловать его руку, как мы уже были на конях и спускались как только могли скорее с холма по Янинской дороге.

30 Чтò же такое случилось?

Похищение Тахир-Аббаса удалось вполне, удалось так, что против русского консульства невозможно было ничего официально сказать.

Предупрежденный вовремя тайными агентами Исаакидеса и попа Косты, Тахир-бей ожидал увидеть в последнем хану пред самым въездом в Янину кавассов Анастасия и Ставри. Они и в самом деле сидели там поджав ноги и

пили кофе, когда стража ввела туда бея для небольшого отдыха. Было уже темно, и в овраге за холмом был скрыт с двумя хорошими лошадьми молодой Яни Чарухас (тот самый бледный и отважный юноша, который увозил в Загоры турчанку Назли и был слегка ранен в день казни Саида). Тахир-бей, сев, поздоровался с кавассами и спросил их, хорошо ли они себя чувствуют.

— Очень хорошо! Все хорошо!.. — отвечал Ставри.

Солдаты и чауш расположились тоже пить кофе.

Бей, помолчав немного, обратился к чаушу:

— Я хотел бы на минуту на воздух. Голова тяжела.

Чауш велел одному из солдат выйти с Тахиром за дверь.

Не успели они выйти, как раздался крик солдата: «Э! э! куда?.. Амáн! амáн!»

Всё растерялось и вскочило на ноги... Все побежали на двор, и кавассы, и солдаты, и другие посетители хана.

— Бей, бей его! — закричал Ставри...

— Не бей, не бей!.. Не приказано!.. — кричал еще громче чауш.

— Бей! стреляй, не беда! — кричал опять Ставри...

Чауш ругался; все шумели...

Кавассы русские делали свои критические замечания; даже Анастасий сказал, качая головой, тому солдату, который провожал Тахира: «Как же ты это так?»

— Скверное дело! — говорил Ставри.

Но Тахир и Яни были уже далеко. На дороге была подстава, и на утро они уже переехали на лодке через Амвракийский залив и были безопасны за пределами свободной Эллады. Итак, не в этом было затруднение и не по этому поводу мчались мы теперь по камням и стремнинам при лунном свете вслед за нашим вождем.

Нет! Не по этому поводу, а потому, что эллинское консульство было осаждено турками. В нем скрывался убийца Джеффера, молодой сеис Тахир-бей, успевший бежать из Чамуры еще прежде, чем схватили его господина. Он явился тайно в Янину в тот самый скучный день, который мы

провели с Благовым в Зице, в тот день, в который я предал Исаакидеса консулу. Звали его Костаки; он года три еще мальчишкой прожил в свободной Греции, нанимаясь сторожем в виноградниках вместе с нашим Кольйо, и они были тогда очень дружны друг с другом. Люди, у которых он скрывался, сообщили Кольйо. Поп Коста, конечно, и в это дело вмешался, и так как он был немного сердит на греческого консула за то, что тот давал ему мало денег, то он и посоветовал, чтобы Кольйо отвел Константина к греческому кавассу Георгию, пламенному патриоту, и чтоб они вместе просили дочь консула спасти юношу-убийцу, пользуясь тем, что у Костаки был в кармане старый, престарый, давно просроченный и вовсе неправильный греческий паспорт, полученный им во время его пребывания в Элладе. Дочь консула, не молодая уже, но очень энергичная девица, гордая своею греческою кровью, с жаром взялась за это дело и, не говоря ни слова отцу, спрятала юношу в подвальной комнате, где у них хранились разные вещи. Поп Коста радовался, что он и душу христианскую спас, и консулу греческому показал, что значит поп Коста и как нехорошо его раздражать. «Это не то что кавассам бея спасать, бея, ни в кого не стрелявшего, а только подозреваемого в неподобающих сочувствиях; нет! это совсем другое дело; здесь христианин, убийца турка, и турка важного, скрыт отважно и оскорбительно для Порты под флагом дружественной и соседней державы. Вот что такое поп Коста!»

## XXI

Уж начинало светать, когда мы приехали в Янину.

На заре становилось нестерпимо ехать верхом; сон клонил всех на седле одинаково; но г. Благов и старый Ставри, нарочно, чтобы рассеять дремоту, ускакали, стуча по камням, вперед на своих прекрасных лошадях; а мы с кавасс-баши не могли поспеть за ними на наших наемных и ехали шагом, качаясь в мучительной дремоте вперед и назад.

Наконец эта попытка кончилась, и я, упав на диван, уснул мгновенно и глубоко.

Почти около полудня Кольйо разбудил меня, восклицая:

— Спишь ты, Одиссей? А турки хотят напасть на греческое консульство.

Я вскочил в ужасе, пришел в себя и вскоре узнал все, что происходило.

Кольйо немного преувеличивал. Опасность со стороны мусульманского населения была больше мнимая. Толпа, с утра уже второй день сходившаяся около дома Киркори́ди, состояла не из одних турок; в ней было много и христиан, и евреев. Любопытство сгоняло эту толпу, а не гнев.

Хотя, конечно, не только хитрым и умным туркам, но и самым простодушным из мусульман не могло нравиться беспрестанное самоуправное вмешательство консулов во внутренние дела Империи; но все-таки и сила привычки к этому вмешательству была у них уже довольно велика, и не зная других стран, где и самая высшая дипломатия кроме двора ничего не ведаёт и не смеет касаться, они не могли быть оскорбляемы этим вмешательством так, как оскорблены в сердце своем турки, более знающие свет и более опытные. К тому же это дело Нивицы, дело Пано, Джеффер-Дема, его свирепого слуги, дело Тахир-Аббаса и его молодого сеиса, стрелявшего в Джеффера, все это дело было так сложно и запутано, что и в самой Порте не знали что́ делать и с чего начать. А мусульмане-народ не знали еще за кого и быть, за Джеффера или за Тахира. Турецкие беи были с обеих сторон. Это парализовало волнение умов, и страсти не знали, куда направиться...

Народ больше любопытствовал видеть, чем кончится препирательство между местною властью и эллинским консульством, чем гневался или искал вмешаться сам.

Однако паша приказал усилить немного отряды войск по всем кулукам,\* поблизости греческого консульства.

---

\* Гауптвахта.

Толпа сходилась, расходилась, шепталась, рассуждала: «Говорят, русский приехал из Зицы, ночью... Будет защищать грека»... «Старик англичанин идет, англичанин идет... Дай дорогу, дай дорогу... осел...» «Русский где?...» «Русский там уже давно у грека»... Действительно, Корбет де-Леси с тончайшей улыбкой шествовал в официальной фуражке и с двумя сияющими кавассами впереди к жилищу Киркориди.

Он шел уговаривать Киркориди, чтоб он позволил паше осмотреть все консульство и поискать убийцу Джеффера. Бедный паша, кажется, искал только очистить себя перед своим высшим начальством этим осмотром; я думаю, он плохо надеялся на выдачу убийцы, особенно с той минуты, когда Благов возвратился в город.

Леси, прежде чем явиться к Киркориди, заходил к Бреше и Ашенбреннеру спрашивать, как думают они насчет того, что Порты требует осмотра в консульстве.

При всей своей мягкости и уклончивости, Ашенбреннер на этот раз горячо воспротивился этому, восклицая:

20 — Какой прецедент! Какой ужасный прецедент!.. После этого турки будут у нас у всех хозяйничать!.. Это невозможно... Я не могу согласиться на это.

Этот ответ Ашенбреннера известен, потому что был дан при свидетелях; но были ли у них с Леси какие-нибудь еще дополнительные совещания насчет Благова или «интриг панславизма» — этого не знает никто. Я расположен думать, что были, и мне все кажется, что Ашенбреннер тоже уговаривал пашу требовать осмотра только для того, чтобы поставить оба православные консульства в затруднительное положение и усилить раздражение, которое после похищения Тахир-Аббаса было сильно у турецких чиновников против Благова.

30 Что касается до Бреше, то он в первый день, когда Благов еще не был тут, тоже восстал с энергией против осмотра; но как только Благов внезапно явился, так и он сдался очень охотно, по-видимому, на доводы Леси.

Леси имел в виду прежде всего только возвысить авторитет местной власти. «Le prestige de la Sublime Porte», —

говорил он; но Бреше, который этого «престижа» и знать не хотел, обрадовался только тому, что Благова, если он будет защищать Киркориди, легко будет серьезно поссорить с пашой.

Итак, Леси явился в эллинское консульство и... нашел там Благова.

Благов, опять повеселевший и даже все более и более обрадованный тем, что дела запутывались и становились донельзя драматичными, весь сиял от радости и даже любезничал, против обычая своего, с косою и немолодою уже дочерью Киркориди. 10

Видя, что нет другого исхода, как говорить при Благове, Леси начал так:

— Господин Киркориди... мне кажется, что для успокоения умов населения было бы необходимо вам согласиться на предложение паши сделать в вашем консульстве осмотр. Я полагаю, что паша, будучи с вами всегда в прекрасных отношениях и имея в виду, между прочим, и то, чтобы честь эллинского консульства была не запятнана, так сказать, подозрениями в таком неправильном деле, как скрытие отъявленного преступника и убийцы... 20

Это последнее слово было уж так язвительно, что и хладнокровному и опытному Киркориди оно показалось возмутительным. Он отвечал тоже с улыбкой.

— Чтò бы, кажется, Порте рассуждать о чужой чести и чужом бесчестии, когда вам самим известно, до какой степени повсюду ее чиновники исполнены лжи, коварства и низости! Вы не можете отрицать этого, конечно...

Леси покраснел и продолжал:

— Я полагаю, что осмотр улучшит ваше положение в городе. Иначе, вы меня извините... подозрение естественно... 30

Для Киркориди именно в ту эпоху, когда Англия уступала Греции Ионические острова, было очень невыгодно становиться во враждебные отношения к английскому консулу. Один неловкий шаг, и он, человек старый, семейный и так долго служивший Элладе, мог лишиться должности, прогнав своего министра в Афинах.

А уступить было унижением и даже явным нарушением права неприкосновенности консульства. Чтò было делать?..

Он молча барабанил пальцами по столу и долго не отвечал Леси ни слова.

Леси решился обратиться к Благову и спросил его мнение.

— Как бы вы поступили на месте г. Киркориди? — спросил он пытливо.

10 — Никак, — отвечал Благов.

Киркориди и дочь его засмеялись.

Леси оскорбился и, тряхнув головой, сказал довольно горячо: «Мы шутим здесь?»

— Нет, я готов не шутить, — сказал Благов. — Как же тут поступать? Тут есть один возможный поступок: требовать от паши удовлетворения в том, как он смеет даже высказывать подобные подозрения, и жаловаться на него своему посланнику, чтоб его за это сменили. Я полагаю, что если бы консульский корпус в Эпире  
20 не был бы фикцией вследствие наших несогласий, то мы все коллективно могли бы протестовать. Но так как этого мы не сделаем, то остается одно: самому г. Киркориди решить, чувствует ли он себя расположенным отдельно поднять это дело так, как я говорю, и единолично протестовать против такой дерзости местной власти.

Леси, слушая это, был вне себя и сказал:

— Вы так думаете? А я полагаю, что единство консульского корпуса невозможно, когда некоторые из людей, входящих в состав его, ежеминутно ищут унизить  
30 местную власть и расстроить господствующий порядок, тогда как другие ищут утвердить этот порядок и успокоить умы.

— Порядок и Турция!.. — воскликнул смеясь Благов. — Это — холодный жар, жаркий холод, сырая сухость... и т. п.

Видя сдержанное бешенство Леси, дочь Киркориди делала Благову умоляющие знаки, и Благов замолчал.

Леси после этого встал, поклонился, подав руку только хозяину, и пошел к дверям.

Киркориди вышел проводить его почтительно на лестницу. Они остановились в зале пред выходом и еще долго оба говорили там.

Когда Благов остался один с дочерью Киркориди, эта девица сказала ему:

— Я сама против осмотра; это ужасное оскорбление флагу нашему. И вы, представитель сильной державы, вы не можете вообразить себе, до чего страдает эллинское сердце при мысли о подобном стыде. Никогда не осмелился бы никто предложить вам или Бреше осмотр консульства. Это все интриги западных консулов против отца моего за то, что он с вами хорош. Я не знаю, что делать. Положение Греции, право, ужасно!

И она начала плакать.

Благов, тронутый ее слезами (как он и сам признавался потом), сидел, глубоко размышляя, чем бы поскорее помочь эллинскому своему сослуживцу, которого солидный характер и умеренный по отношению к России образ мыслей он сердечно уважал. Киркориди часто говаривал Благову, когда речь шла о «великой идее» эллинов, то есть о восстановлении Византийской Империи, если не до Дуная, то по крайней мере до Балкан:

— Сладкие мечты! Как бы мы, греки, не уподобились той собаке, которая, гоняясь за отражением мяса в воде, упустила мясо действительное, бывшее у нее в зубах. Россия — рыба большая (прибавлял он со вздохом и качая головой), ей надо в Босфоре икру метать.

Вот за такие слова и вздохи Благов очень любил греческого консула и всею душой хотел помочь ему.

— Я сделаю с радостью все что могу, — сказал он огорченной дочери. — Надо придумать.

Перевести тайно и неожиданно убийцу Тахира в русское консульство или в дом какого-нибудь русского подданного не было возможности. Турецкая полиция сторожила со всех сторон. Можно было по крышам или как-нибудь иначе пе-



ревести до соседнего дома, но к чему же это было делать, когда все эти дома принадлежали турецким подданным и в них можно было полиции прямо войти... Чтò было делать? Не предавать же этого юношу! Это казалось невозможным. Дочь Киркориди, хотя и плакала как женщина, но и ей одна мысль об этом казалась невозможною и отвратительною. Когда старый драгоман консульства, испуганный собравшеюся толпой, сквозь которую он прошел, дрожа от страха (хотя ни один из турок не сказал ему ни одного обидного слова), когда этот робкий и больной старик осмелился только произнести слово: «Зачем предавать его? Просто выгнать и пусть спасается как знает!», то m-elle Киркориди встала с места своего и воскликнула:

— Нет! пусть лучше турки ворвутся сюда, чем даже подумать об этом. Пока я жива, я христианина, даже и убийцу, не предам. Он прекрасно сделал, бедный мальчик, что отомстил этому извергу за побои. С мужеством он защищал свою честь! Он прав, он прав, он прав!..

И она топала ногой, и некрасивое лицо ее, пылая гневом, становилось моложе и лучше.

Благову и это исступление женского патриотизма очень понравилось.

Киркориди, переговорив с Леси, наконец возвратился и сказал:

— Я пойду сам к паше и буду требовать, чтоб он приказал разогнать толпу. Это становится серьезно. Турки не знали еще хорошо до сих пор, что убийца христианин, и теперь они...

Он не успел кончить... Раздался сильный звон разбитого стекла; в соседнюю комнату влетел камень и сбил со стола зажженную свечу (она горела, потому что консул пред этим только что печатал конверты).

Свеча, падая со стола, зажгла кисейную занавеску; огонь мгновенно поднялся к потолку...

Раздался отчаянный крик m-elle Киркориди, на который с улицы толпа отвечала ревом и хохотом...

Эллинское консульство горело...

Когда мы с Кольйо подросли к эллинскому консульству, то вид собравшейся толпы показался нам вблизи вовсе не столь грозным, как мы ожидали. Народа было не очень много, и толпа к тому же, как я уже сказал, состояла не из одних мусульман. При самом повороте к дому Киркориди, на углу, мы встретили грека-лавочника, который шел мирно вместе с турком-молочником и говорил ему что-то. Вслед за ними из-за угла выбежала целая толпа мусульманских мальчиков, и многие из них, обгоняя грека и молочника, весело кричали:

— Погасили, погасили!.. Сами погасили!

Что погасили? Кто погасил — мы не знали.

Подойдя к дому, мы увидели, что большая дверь заперта и что народ стоял тихо, празднично и не волнуясь. Еще несколько человек при нас отделились от других и с озабоченным и задумчивым выражением на лицах ушли. Мы узнали, что это были турки. Другие смотрели на нас равнодушно. Только один юноша-еврей в таком же долгополом, полосатом турко-саване, какой я только что недавно снял, подошел к нам и с радостным видом сказал нам:

— Погасили.

— Что?

— Пожар. Один мальчик-турок бросил камень в окно; занавески загорелись, — а потом их сорвали и погасили. Ваш (то есть Благов) громко на кого-то кричал... Теперь ничего. — Уйти лучше (прибавил он смеясь), чтобы не наказали нас, кто здесь был...

Мы с Кольйо подошли к дверям, и, пока я стучал колом, Кольйо спросил у одного старого турка нарочно, как будто ничего не зная: «Что случилось?»

— Я разве знаю, — отвечал турок, пожимая плечами... — Говорят люди: у них кто-то из вашей Чамурии спрятан и что придет войско осматривать консульство и возьмет этого человека. А мы смотрим, что будет.

Итак, пока все было покойно, но кто не знает, что подобные сборища растут и что одна искра в среде их, не в добрый час вспыхнувшая, может причинить много неправимого зла.

Я стучался. Нам все не отворяли. Внутри не слышно было ни движения, ни голоса. Так продолжалось довольно долго. Я прерывал стук, чтобы прислушаться, и опять стучал.

— Не хотят отпереть, — с насмешкой и злою улыбкой <sup>10</sup> сказал все тот же старый турок... — Чего им бояться?..

— Чего им бояться! Не хотят, — возразил ему горячо храбрый Кольйо.

Я все стучался. Это становилось несносно. Сзади эта толпа людей, между которыми две трети были мусульмане; пред нами эта железная дверь.

Но вот вдруг по камням сеней раздался шум шагов многих людей разом; легкий звон оружия... засов пред нами взвизгнул, и три кавасса, один греческий и два русские, вышли разом из дверей с толстыми палками в <sup>20</sup> правых руках, с дерзкими и вызывающими взглядами. Левые руки их лежали на поясах, из-за которых видны были смертоносные рукоятки.

За ними шел Благов в широкой и мягкой шляпе. Он был бледен и лицо его было какое-то особенное, очень светлое и очень злое; левою рукой, а не правой, опирался он на свою дорогую трость. Я быстро взглянул на правую руку и увидел, что она была без перчатки, заложена чуть-чуть за одежду на груди, и что на ней было красное пятно и большие белые пузыри. Должно быть, он сильно страдал <sup>30</sup> от боли в этой руке и оттого лицо его было странное. (Я в первый раз видел, что он страдает от боли; и в первый раз я почувствовал, что и его можно жалеть...)

Остановившись на минуту на крыльце, Благов обвел молча глазами всю толпу несколько раз. Люди быстро расступились, чтобы дать ему дорогу. Старый турок, который говорил — «чего они бояться» — принял невинный и серьезный вид и, подложив руки под полы своей серой

длинной рясы и опустив голову, как бы в глубоких размышлениях о своих собственных делах, удалился, кинув, однако, на меня мельком взгляд, небрежный и равнодушный ко всему этому. Благов все молчал, глядя на толпу с болезненной и сдержанной злобой.

Кавассы все стояли вокруг него, левые руки на поясах, и почтительно исподлобья взглядывали на него.

Не прошло и нескольких секунд, как толпа разошлась наполовину. Как только Благов заметил, что цель его достигнута, он обратился к кавассам и сказал им громко: 10

— Вы знаете этих людей?.. Вот этого... Знаете этого?..

Но «этот» тотчас же поспешно ушел; за ним ушли разом пятеро других.

— А этого турка знаешь?..

«Этот» турок был высокий, очень плечистый, румяный и красивый лицом, с подкрученными кверху усиками. Он держал себя очень гордо.

— Я человек мушира.

(Он был больше чем человек мушира; он был муширу родственник и человек, независимый по своим средствам.) 20

Но Благов стоял близко к нему и, не будучи в силах себя больше сдерживать, он схватил его (больною рукой) за грудь, оттолкнул с дороги так сильно, что тот едва устоял на ногах, и воскликнул с бешенством:

— Мушира! мушира! — А я человек Московского Падишаха, подлец, и ты будешь сегодня в тюрьме... И все, кого вижу я здесь, будут нынче в тюрьме... Если бы вас здесь было, негодяи, двадцать тысяч, так я бы всех вас разогнал как сволочь... Слышите вы, негодяи!..

После этого переулочек мгновенно опустел, и человек мушира удалился молча, хотя и медленнее всех. 30

Благов не мог еще вдруг успокоиться, ибо твердые и сдержанные характеры возбуждаются до подобной крайности редко, — и громко говорил вослед уходивших людей, будто обращаясь к кавассам своим:

— Запишите их имена... всех... и жидов этих, и христиан...

После этих слов он обратился к Анастасию и приказал ему оставаться в эллинском консульстве помогать единственному кавассу бедного Киркориди и «смотреть». «Смотри, ты!» — сказал он строго и пошел к паше в Порту с одним Маноли. Кавассы впустили нас с Кольйо, и мы, войдя в греческое консульство, узнали все как было.

Руку Благов обжег себе сильно, срывая с окна пылающий занавес.

Когда m-elle Киркориди вскрикнула: «пожар», Благов,<sup>10</sup> не говоря ни слова, подошел к занавеске и мгновенно сорвал ее и карниз с гвоздей. Но затоптать он ее на ковре не мог. Ковер в кабинете начал, вспыхивая, тлеть. M-elle Киркориди хотела кинуться к нему на помощь, но он крикнул ей: «Не подходите!» Он боялся, чтобы длинная женская одежда не вспыхнула. На крик ее тотчас же прибежали снизу люди. Старик Киркориди не говорил между тем ни слова; обойдя осторожно огонь, в котором стоял Благов, утаптывая его, он взял со стола большую керосиновую лампу и тихо вынес ее в большой зал. Все<sup>20</sup> думали, что он потерялся, но он был прав: кабинет был тесен, и услышав уже, что по лестнице бегут слуги, он, окинув глазами комнату, понял, что ковер не кисея и что все сгореть не успеет. Он испугался только одного — чтобы в тесноте и смятении не опрокинули лампу и не разлили керосин.

Однако усилия одного Благова затоптать ногами огонь были недостаточны. Куски разорванной кисеи там и сам еще пылали вокруг него, и ковер тлел все дальше и дальше; огонь подкрадывался к столу, с которого висела очень<sup>30</sup> низко довольно легкая шерстяная скатерть. Кавассы принесли ушат воды; но прежде чем они успели поднять его и вылить, служанка опрокинула вверх ногами большой круглый стол, стоявший в стороне, и, быстро двигая его, затерла и затушила огонь.

— Браво, Анна! — воскликнули все в один голос.

О молодом убийце все забыли в этот страшный и краткий миг. Запертый на ключ в гардеробе консульской доче-

ри, он мог бы сгореть, прежде чем вспомнили бы об нем, если б огонь не был потушен.

Все были рады, и Благов, не обративший внимания в первую минуту на свой собственный ожог, сказал:

— Я разгоню эту сволочь сейчас и пойду к паше требовать удовлетворения.

Киркориди не удерживал его; он был, конечно, этому рад, но дочь просила оставить одного из русских кавассов с ними.

Тогда-то Благов вышел из двери греческого консульства, и, как ты видел — достиг своей цели, разогнав толпу. <sup>10</sup>

Мы с Кольйо сидели внизу в кавасской комнате, и Кольйо очень желал видеть своего соотечественника, запертого наверху.

Стыдно было, однако, нам беспокоить консула в такое время нашими детскими просьбами.

Так мы сидели внизу и ждали. Все — и мы, и кавассы, и слуги Киркориди, были задумчивы и почти все время молчали.

Не скрою, что мне было немного страшно. Хотя толпа <sup>20</sup> и разошлась, но мы еще не знали, что́ будет дальше. — Я думал про себя вот что:

«Не уйти ли мне домой? — Что я все вяжусь, в самом деле, в политические события и во всякие осложнения? Принять бы теперь вид деловой, как принял тот старый турок, когда Благов вдруг в такой грозной красе предстал во вратах эллинской проксении. И возвратиться бы разумно и благосохранно опять под сень двуглавого орла; — там теперь очень тихо и так прекрасно, и у меня еще есть к завтраму хороших страниц десять экзегеза эллинского для учителя?» <sup>30</sup> Но тотчас же по естественному сплетению мыслей я вспомнил о том, как основательно советовал мне Исаакидес предпочитать практическую жизнь науке, и остался, решившись разделить здесь, если нужно, дальнейшую судьбу моих единоверцев, друзей, соотичей и покровителей. Жизнь в Янине в обществе таких отважных людей, как Благов, Ставри, Анастасий и Кольйо (который

нарочно пошел в церковь, когда ему угрожал там вызов на поединок), конечно, не прошла для меня бесследно. В Загорах я восхищался победами Дибича и геройством Марко Боцариса; я грозно пел клефтские песни, сверкая очами, в одиночестве, в семье или с такими же боязливыми мальчиками-загорцами, каков и я был; но это все было в идее, а на деле наше ничуть не воинственное, а совсем торговое, расчетливое загорское воспитание располагало меня думать, что до мужества и храбрости нет мне никакого дела, а нужно только одно: «мудрость». Здесь же, увидав, что не только люди, так сказать, варварозные или простодушные горцы какие-нибудь считают долгом быть смелыми, но даже и знатные, утонченного воспитания, изнеженные люди как Благов, «возливавшие на себя благоухания Парижа», находят удовольствие в храбрости и отваге, я стал больше верить, что и я могу стать смелее, если нужно. И стал больше прежнего стыдиться боязни; стал в самом деле от стыда смелее, а от большей смелости опять привычнее к мысли о том, что от опасностей в жизни и скрыться даже навек невозможно. Они тебя найдут!

Так мужала моя душа под влиянием двух прекрасных крайностей, — под влиянием пасторальной и гомерической энергии наших сельских героев, подобных Ставри, и под аристократическим влиянием русского дворянского рыцарства, которое воплощал мой бледный, стройный и холодно всемилостивый к слабым, московский Алкивиад.

И я остался и повеселел!

Страх как не чувствовать? Его даже надо чувствовать немного, но надо, чтоб это легкое содрогание было приятно нам и возбуждало бы нас на бодрую борьбу.

## XXIII

Паша принял Благова вежливо, но очень сухо. Он был еще под впечатлением слухов о похищении Тахир-Аббаса, и внезапное возвращение Благова из Зицы для вмеша-

тельства в дела Порты с эллинским консульством не могло, конечно, развеселить его.

С своей стороны и русский консул не мог быть особенно любезен и весел; страдая от боли в руке, на которой он сорвал кожу до живого мяса об одежду того турка, которого он толкнул, раздраженный всем этим, что он слышал, видел и переживал в последние часы в доме Киркориди, негодующий на пашу за то, что он осмеливался посягать на неприкосновенность консульских жилищ и претендовать на право осмотра, он явился пред Рауф-пашой, вероятно, с таким выражением в лице и голосе, которого тот еще у него и не видывал при прежних веселых и приятельских свиданиях.

— Что же это у вас делается в городе, паша мой? — сказал Благов, — мусульмане бьют стекла в греческом консульстве и оно чуть-чуть не сгорело...

Паша смутился и посмешно отвечал:

— Я послал уже на соседний кулук, чтобы низамы разогнали народ...

— Я сам уже разогнал эту сволочь, — возразил Благов. — Дело теперь в том, во-первых, чтобы наказать тех, кто там был. Нескольких я знаю сам, но других местная власть должна разыскать. Я знаю, откуда это, — это все интриги г. Леси.

— О! — воскликнул с улыбкой паша. — Г. Леси старик, который любит только свой покой. — Какие его интриги!..

— Как бы то ни было, — сказал Благов, — если скоро все не успокоится и не будет кончено, я... хотя мне очень жаль... телеграфирую в Константинополь, что здесь от беспорядков и оскорблений становится жизнь для нас невозможною. Об осмотре нечего и думать. Это может предлагать только эта злая старая баба — Корбет де-Леси! Он готов и себя унижить, чтобы только сделать вред обоим православным консульствам.

С этими словами Благов встал и протянул паше левую руку. Но паша просил его подождать.



Он позвонил и приказал сейчас позвать полицейского офицера; офицер тотчас же пришел и на вопрос Рауф-паши, — приказали ли из кулука, соседнего дому Кир-кориди, солдатам идти к эллинскому консульству и охранять его от всяких движений мусульманской толпы, — офицер сказал, что эллинское консульство уже окружено цепью часовых и что другие приказания все также исполнены.

Благов понял, что это *совсем не то*, чего он хотел.  
<sup>10</sup> Было ясно, что Рауф-паша не виновных приказал отыскать немедля и предать строгому наказанию, но, напротив того, пользовался только этим предлогом удалить как будто враждебную толпу, с целью расставить солдат кругом консульства так, чтоб убийца нигде не мог пройти незамеченным.

Поняв это, Благов сдержал бешенство, которое закипело в нем, когда он понял, что старик на этот раз искуснее его, и заметил паше: «что, собственно говоря, толпа, собравшаяся вокруг консульства, не обнаруживала никаких  
<sup>20</sup> особенно враждебных действий или намерений; что в среде ее было много христиан и евреев; что камень был брошен ребенком; наконец толпа вся эта разошлась; так что ни охранять, ни разгонять не надо никого; но необходимо сейчас же схватить нескольких из бывших там мусульман; именно того человека *мушира*, который противился ему, Благову, того молодого ходжу, который был с детьми и допустил их бросить камень, вероятно, даже возбуждал их. Этого нельзя оставить безнаказанным. Мы все чуть-чуть не сгорели».

<sup>30</sup> — Одним словом, — прибавил он, — как хотите!.. Эти часовые — новое оскорбление всем консульствам. Это вред принципу, установленному трактатами. Это совсем не достигает цели. Это больше только взволнует умы. Я уйду и подожду немного, после чего я пошлю телеграмму, что положение наше здесь нестерпимо...

— Осмотр положил бы всему этому конец, — сказал паша.

— Нет! — сказал Благов, опять вставая, — я никогда...

Но в эту самую минуту он, забывшись, коснулся больною рукой чего-то жесткого в своей собственной одежде — и неожиданно жгучая боль до того потрясла его, что он издал глухой и сдержанный, как бы нечеловеческий стон.

Рауф-паша услышал этот невольный и сдержанный стон Благова, и, заметив страдальческое, озлобленное выражение его лица, воскликнул:

— Чтò с вами? Чтò такое!

10

Благов показал обожженную и ободранную руку.

Паша вскочил с дивана, зазвонил в колокольчик, начал бить в ладоши. Прибежали чубукчи.

— Скорей! — воскликнул Рауф, — скорей картофельной муки! Один платок чистый... Два платка... хорошие! Лимонаду!.. Один лимонад!

Он был в сильном волнении. Благов снова сел на диван.

Паша, упрекнув его за долгое молчание и за то, что он тотчас не перевязал руки, не стал даже и спрашивать, где это он обжег ее: он понимал, где и когда. Ему было стыдно и жалко. Благов видел стыд и жалость на бледном и худом лице старика, и понемногу сам смягчался.

20

Принесли картофельную муку на тарелке, принесли тонкие платки на серебряном подносе и стали обвязывать руку Благову. Благов сидел. Паша, поколебавшись с минуту, решил забыть все турецкие приличия и, стоя перед ним, обкладывал сам бережно ему руку картофелем, и обвязывал платком.

Чубукчи поспешил за лимонадом, и они остались одни. Благов встал тоже с дивана. Он понимал, как много значило по турецким понятиям, что паша стоял перед ним при слуге. Он понял, что это было лишь одно доброе чувство в этот миг примирения, и ему самому стало жаль старика. Он встал, не говоря ни слова.

30

Паша, в свою очередь, это понял и, доверчиво поглядывая на молодого консула, отечески говорил ему: «Сядь! сядь!.. И я сяду...»

И оба сели рядом. Паша поправлял ему бантик на платке.

— Теперь прекрасно. Не болит больше? — спросил он.

— Теперь лучше, благодарю вас, — сказал Благов, протягивая ему здоровую руку, и потом прибавил с улыбкой:

— Вы очень добры... Надо бы вам и бедного Киркориди пощадить. Он человек пожилой и семейный, все равно как вы; только вы богаты, а он нет...

Рауф-паша взял Благова крепко за руку и сказал, глядя прямо ему в лицо:

— Чтò делать! — Служба, сын мой! чтò же нам делать?.. Государство!..

— Нет! — отвечал Благов все ласково, — нет, паша мой. Это, простите, не совсем так; это исключительное насилие, потому что Эллада слаба.

— Ба! — воскликнул паша с жаром, — верьте мне, если бы здесь было консульство Дании или этой Бельгии, я чтил бы их не менее как и большие державы. Но эта Эллада! Она всякий день делает нам затруднения; она поддерживает разбои на нашей границе; она укрывает наших преступников... она говорит о нашем варварстве: *«бир фанатизм! дикие люди!»*, а между тем, знаете, какие у них у самих порядки!.. Акарнания — гнездо разбоя. Кефалониты изверги. Привезет контрабанду в Превезу и Арту, и если их подозреваешь, то они кричат, такое у них слово, знаете: *зитò иканопиисин.\** Страна эта полна людей, у которых неправильные паспорта.

30. Аллах! Аллах! Мы очень терпеливы!

Благов, чувствуя, что в словах паши много правды, решился обратиться прямо к его дружеству и сказал:

— Я редко прошу вашего *хатъира*; но для Киркориди надо уступить; Киркориди гораздо умнее и честнее других греческих консулов.

---

\* Требую удовлетворения.

Слуга с лимонадом на минуту прервал их дружескую и серьезную беседу. Рауф-паша приказал ему позвать одного офицера, которого он считал наиболее надежным и порядочным, и потом продолжал все с доверчивым выражением лица и голоса:

— Посмотрите... Я пошлю Саид-бея. Он вежливый человек. Я ему велю побывать одному, без солдат наверху, для порядка... (и потом прибавил шопотом и значительно) Чтò делать! Этот *дженабет* \* Корбет де-Леси! Холодные люди эти англичане. Я их не люблю. — И, захохотав,<sup>10</sup> вдруг прибавил: — Друзья! а? Как вы недавно сказали: «старая баба...» Прекрасно! прекрасно! старая баба! Чтò делать?.. Здесь инглеz, здесь француз... здесь немец...

— Здесь москов... все гяуры!.. все дженабеты! — закончил за него Благов, смеясь...

Паша как будто немного испугался или притворился испуганным:

— Нет! Зачем же все дженабеты? Зачем же гяуры?.. Я этого не говорю... Я этого никогда не думаю даже...<sup>20</sup> Постойте, — прибавил старик, — я говорю, что пошлю Саид-бея в греческое консульство; — он оставит двух-трех низамов внизу, даже на улице, если хотите, а сам взойдет и поговорит от моего имени с Киркориди... Хорошо?..

— Очень жаль, — отвечал Благов; — только я должен буду писать после протест... и я думаю, что Бреше и даже Ашенбреннер сделают то же... Они теперь молчат, а после будут протестовать... Это наверно! Я вам говорю!<sup>30</sup>

Паша молча развел руками и наклонил голову, как бы говоря этим: «как угодно!»

Разговор принял опять сухой и холодный оттенок. Благов встал тогда и сказал паше так:

---

\* Вроде — проклятый.

— Я ухажу. Я не могу даже присутствовать при том, как вы офицеру бедете приказывать осмотреть консульство. Все консульства неприкосновенны.

Но в эту минуту занавес на дверях приподнялся и в комнату взошел, почтительно согнувшись, Сабри-бей... Он остановился у дверей.

— Чтò такое? скажи? — спросил паша.

— Эффендим! — отвечал Сабри, — пришел юнан \* Тержиман-бей. Юнан консулос согласен переговаривать с Саид-беем.

И паша, и Благов оба в одно и то же время покраснели — Благов от гнева, паша от невольного стыда. Задерживая Благова у себя дружеским препирательством, Рауф между тем продолжал действовать иным путем чрез Леси (которого он звал *дженабет* и в самом деле лично терпеть не мог).

И Киркориди уступил. Служба и все интересы его сотнями нитей были связаны с английским консульством именно в это время, потому что шла речь об избрании Альфреда, и множество ионических подданных со множеством тяжб и всяких дел, с разными проступками и даже преступлениями, в ту минуту переходили из рук Леси под греческий флаг.

Эта неожиданность сразила на минуту Благова. Он молчал и пожирал свой гнев. Ему показалось, что положение его, как непрошенного заступника, смешно.

Рауф-паша, тоже смущенный, поспешил сказать Сабри-бею: «Хорошо! Иди. Послать Саид-бея».

После этого он с Благовым сухо простился, и Благов ушел прямо к себе, не заходя даже к Киркориди.

Он был так рассержен, что никого не хотел видеть.

Поп Коста заходил на минуту и просил у него свидания по очень нужному делу (это нужное дело — был новый план спасения молодого чамиса.\*\* Благов его не

---

\* Юнан — эллин, иониец.

\*\* Чамис — уроженец Чамурии.

принял. Киркориди прислал узнать, как его рука; он и этого посла не принял и велел сказать: «очень дурно!» Пришел позднее сам Киркориди; он и его не принял.

## XXIV

Я узнал, конечно, гораздо позднее все эти подробности о свидании Благова с Рауф-пашой; я узнал их отчасти из рассказов самого консула разным лицам в моем присутствии; отчасти из толков и объяснений посторонних людей. Но пока все это происходило, я сидел в кавасской комнате, в самом нижнем этаже греческого консульства, в обществе Ставри, Кольйо и эллинского кавасса Георгия. И мы все ничего не знали, что́ будет. Толпа разошлась, улица опустела; железная дверь консульства была заперта крепко могучими засовами. Мы все были молчаливы и задумчивы. Наконец Ставри предложил мне сыграть партию в шашки, и мы сели. Греческий кавасс, мрачный, ужасно худой в лице, усатый, черный и суровый, взял тамбуру\* и начал играть на ней унылую и воинственную песнь. Голос у него был сильный и тонкий; он пел по нашему обычаю несколько в нос и, пронзительно вскрикивая, располагал нас всех к чему-то несколько страшному и печальному. В широкой, большой комнате, почти подвальной, несмотря на ранний еще час дня, было уже довольно темно, потому что на улицу открывалось только одно малое, защищенное железною решеткой оконцо, немного повыше мостовой. Кольйо все собирался повидаться с заключенным наверху Костаки, но все колебался и спрашивал то того, то другого из нас: «Не знаю, идти ли мне наверх?.. не знаю, попросить ли мне позволения взглянуть на этого Костаки?..» — «Что́ ты скажешь, кир-Ставри? кир-Георгий, что́ ты скажешь?»

---

\* Балалайка.

Всем он надоел. Георгию он мешал петь, и тот сказал: «Э! несчастный, что ты тут воешь... Что нам за дело до этого... Замолчи!»

А Ставри заметил ему тоненьким от злости голоском: «Жаль мне твоего роста и твоих плеч широких, морé! Чего ты боишься!.. Айда с Божиею помощью, не съест тебя старик Киркориди!..»

10 Самолюбивый и обидчивый Кольйо побледнел от отчаяния и пошел с нерешительным видом наверх. Самолюбие и стыд делали его, столь смелого пред явною опасностью, всегда робким и смешным, когда ему предстояло явиться пред высшими и особенно в присутствии женщин.

M-elle Киркориди, однако, и сама уже выпустила на время затворника из шкапа, потому что он с утра ничего еще не ел, и, посадив его в столовой за стол, приказала служанке накормить его поскорее чем можно.

20 Ему принесли вареного мяса, сыру и вина и он кушал не торопясь, когда Кольйо решился взойти туда... Их оставили одних, и они беседовали радостно в консульской столовой, — как вдруг раздался громкий удар кольца в железную дверь.

Дочь Киркориди вбежала в столовую бледная и дрожащая со словами:

— Прячься, прячься!..

За ней служанка — тоже в ужасе; ломая руки, села на пол и качаясь повторяла: «Турки! турки! Буря и гибель моя... Сгинула головка моя!.. Буря и гибель моя...»

30 Кольйо бросился к окну, разбил, зацепившись, графин с красным вином и стакан. Вежливый Саид-бей, присланный пашой, стучался в дверь; с ним было человек десять солдат.

У нас внизу Ставри и греческий кавасс вскочили со своих мест и переглянулись. Я не встал... Я так и остался пред шашечною доской в безмолвии. Я не сразу даже понял, кто это может быть и почему это страшно!..

— Кто там? — грубо и грозно спросил Георгий, не отпирая дверей...

— Один офицер от паши, — отвечал Саид-бей гораздо мягче.

— Нельзя, я пойду прежде спрошу у консула. Подождите.

И он побежал наверх.

— Они не сломают двери? — спросил я Ставри.

Но Ставри ничего не ответил мне; только морщинистое и бледное лицо его исказилось злою улыбкой, и он вышел тоже в сени и стал у дверей. <sup>10</sup>

В ту минуту, когда он вышел, и я хотел уйти и поспешить наверх под прикрытие консула и его дочери, полагая основательно, что им-то ничего и ни в каком случае не могут сделать *эти* турки (низамы, а не уличная толпа!..), но только что я подошел к дверям, в решетчатое окошечко с улицы показалось лицо турецкого воина; нагнувшись, он заглядывал в кавасскую комнату...

— Кто это? — спросил другой турок про меня (должно быть, и он из-за головы солдата видел меня). <sup>20</sup>

— Э! ты! мальчик!.. Загорец!.. Э! мусьё... Иди отворяй. Не бойся...

Но я уже быстрыми шагами всходил на лестницу...

«Однако! — думал я про себя в сильном волнении, — это слава тоже, которую я искал!.. Дьявол бы ее взял со всем ее добром. Теперь извольте! А? Собаки нет анафемской, турецкой даже, которая меня не знала бы в лицо! Загорец!.. Каково!.. Все знают эти варвары-люди. Дженабеты этикие... А! варвары... Гм! Теперь и паша узнает непременно, что молодой этот Одиссей вяжется во все самые неблагоприятные для Порты политические дела, и погибну я... в заточении...» <sup>30</sup>

Но в ту минуту, когда страх как на крыльях возносил меня в верхний этаж эллинского жилища, благородный Кольйо ощущал совсем противоположное чувство... Мы встретились на верху лестницы; схватив потихоньку со стола консула заряженный револьвер и вынув из-за ку-



шака всегда скрытый в нем небольшой, но острый нож, он спешил вниз разделить участь Ставри и Георгия (а не так, как я, боязливый!). Красивые и простодушные, огромные и круглые, темные глаза его были спокойны и еще круглее и больше обыкновенного; он был только немного бледен. Мы встретились, переглянулись и не сказали друг другу ни слова. Я видел мгновенно тихую гордость на лице его, столь же юном и больше даже младенческом по выражению, чем мое... Поникнув пристыженно очами

<sup>10</sup> долу, я взбежал наверх. Кольйо был уже внизу. Он не знал, что́ будет. Не знакомый хорошо с порядками, не слышав приказания отворить дверь офицеру, приказания, которое отдал немедленно Георгию, кавассу, старый, но твердый духом консул, Кольйо понял только одно во всем этом смутно, — что там турки, что здесь греки; что турок больше, что греков всего трое, годных для защиты, и что земляка его, праведного мстителя, надо спасти или погибнуть самим! И он бежал вниз гораздо смелее, чем

<sup>20</sup> полчаса тому назад входил наверх предстать мирно пред лицом Киркориدي и его косой барышни... (О, Кольйо, Кольйо!.. Где ты теперь, мой благородный Кольйо, мой несчастный Кольйо? И помнишь ли ты твоего боязливого, но любящего товарища? Где ты, мой милый?.. Где?..) Вслед за Кольйо сбежал и Георгий с лицом мрачнее ночной бури.

Я вошел в залу. Толстый Киркориди сидел в кресле у круглого стола, облокотившись на него. Широкое, огромное лицо его, окруженное с боков седыми узкими бакенбардами, было спокойно; но маленькие глаза его казались

<sup>30</sup> грустны, и тонкие губы (которых выражение было заметнее, чем у других, потому что он брил себе чисто и усы, и подбородок) были крепко сжаты, с выражением печальной решимости.

Дочь, унылая, сидела на диване в своем темном шерстяном платье.

Я поклонился и стал у двери.

Взглянув на меня, г. Киркориди, казалось, удивился и спросил только и без гнева и без любезности: «Вы зачем здесь?»

Я не успел ответить. По лестнице раздались шаги... Саид-бей поднимался наверх для осмотра.

Сбежав вниз, Георгий обратился к Ставри и Кольйо и, ударяя себя в грудь, воскликнул с жаром:

— Э! братья, вы христиане, скажите, — или нет?.. Киркориди наш — хочет пустить турок сюда! Чтò мы будем делать теперь? Может разве какой-нибудь человек<sup>10</sup> понести такое бесчестие... Умрем лучше здесь!

— Умрем, — сказал Кольйо.

— Убьем их... Становись, Ставри, к окошку и стреляй из ружья. А мы из двери. Кольйо, есть у тебя сердце?.. дитя мое?

— Есть! — отвечал Кольйо твердо.

Терпеливый Саид-бей третий раз возобновил стук и говорил сквозь дверь:

— Отворите или нет? Иначе я пошлю сказать паше, что нас не пускают.<sup>20</sup>

— Сейчас, сейчас пустят вас, — отвечал Георгий, значительно взглядывая на товарищей. Одною рукой он взялся за засов, чтоб отворить его, другою вынул из-за пояса серебряный кремневый пистолет и взвел курок...

Глядя на него, и Кольйо приготовил свой револьвер. Это было безумие. Но умный и находчивый Ставри поправил все дело.

— Стой, — сказал он Георгию... — Стой... нельзя это делать... Вы должны слушаться консула. Я тебе говорю! Не делайте это так... поди прочь! Дай ключ. Верь<sup>30</sup> мне! — И подходя к двери, он сказал Саид-бею ласковым голосом: «Извините, эффенди... Сейчас... У консула спрашивались. Он приказал впустить вас».

Саид-бей оставил кольцо. И Ставри, почти вырвав ключ из рук Георгия, хотел отворить.

Однако исступленный патриот Георгий не мог вдруг утихнуть. «Погоди минуту!» — воскликнул он и, схва-

тив где-то эллинский флаг, он разостлал его на камнях сеней у порога в ту минуту, как только Ставри отпер дверь.

(Посмотрим, значит, как осмелится турок ступить ногою на флаг независимого царства! Убью его, если он ступит! Чтò ж, судить меня, если я останусь жив, будут не здесь, а в Афинах!)

Но Саид-бей был тоже не глупый человек: увидав внезапно пред собою разостланный на полу белый с голубыми <sup>10</sup>полосками флаг, он отступил и остановился на миг в недоумении. Но только на миг. Сообразив дело очень скоро, он подошел, нагнулся, поднял флаг, поцеловал его и приложил ко лбу с выражением глубочайшего почтения и, сложив его бережно, не торопясь, тут же в сенях в восемь раз, подал его любезно изумленному и внезапно остывшему при виде такого обращения Георгию.

И Георгий принужден был тоже почтительно взять флаг у него из рук.

Саид-бей, приказав своим солдатам дожидаться его внизу, <sup>20</sup>пошел наверх в сопровождении греческого кавасса, который никак не хотел от него отстать. Саид вошел в зал. Мы взглянули на него. Киркориди встал и подал ему руку.

Саид-бей был человек еще очень молодой, лет двадцати пяти, очень высокий и очень гибкий, смуглый, с небольшими усами; мундир с тонким перехватом и на груди аксельбанты с кисточками. Манеры его казались скромны и просты.

Он очень почтительно, даже согнувшись, коснулся руки эллинского консула и очень ловко по-европейски <sup>30</sup>поклонился дочери, которая, желая польстить ему, даже привстала с дивана.

— Вас паша прислал? — сказал Киркориди печально и тихо с небольшим вздохом. — Я очень рад, что он прислал такого благовоспитанного и благородного человека. Я много слышал о вас хорошего. Прощу сесть, — прибавил он.

Все сели.

— Георгий! — сказал консул. — Разве ты не знаешь?.. Поддай скорее кофе бею-эффенди. И я выпью, — прибавил он добродушно. — Люблю турецкий кофе... У нас в Греции не умеют (продолжал он, все кротко вздыхая и покачивая тихонечко туда и сюда с соболезованием своею толстою и лукавой головой), не умеют, дураки... Кто был в Турции, тот знает, что такое кофе...

— В Букуреште я был однажды, эффендим! — заметил весело и любезно Саид. — И вот я пил у одного загорца, торгующего там, смесь из мокка с ливанским; о, эффенди!.. Что это был за кофе! Это лучше нашего.

— В Букуреште умеют жить, — сказал Киркориди.

Подали кофе и довольно долго продолжался все такой же невинный и не касающийся до предмета посещения разговор. Дочь все молчала. Она глазами указала мне на стул около дивана и, нагнувшись, сказала мне тихо: «Не пытка это! Он тут в шкапу моем... Сколько у отца моего терпения и мужества!.. Боже!.. Я без ума от гнева и волнения!..» Я согласился с нею на словах, но в душе уже находил, что теперь все очень легко и очень умно, и цивилизованно, и прекрасно, так как вместо побоища происходит столь приятная беседа.

И в самом деле, тоненький офицер и толстый консул так мирно курили сигареты, так медленно пили кофе, очень громко втягивая его, чтобы лучше наслаждаться им, что и подумать было бы странно, будто убийца в двух шагах от нас сидит, запертый на ключ в дулапе,\* затерянный в юбках и одеждах консульской дочери!

Киркориди не говорил о том, что ему это «очень неприятно», что «это оскорбление флагу» и т. п. Напротив того, он по окончании угощения кофе сам первый встал и сказал Саиду равнодушно:

— Теперь не угодно ли обойти вам все комнаты, осмотреть все, что вам угодно. Внизу вас сведут в кухню и погреб. Елизавета, отвори свою спальню.

---

\* Шкап в стене.

Я пришел тогда снова в ужас, но уже не за себя. М-elle Елизавета растворила двери своей опочивальни, где был заветный шкаф...

Но Саид опустил взоры и, приложив руку к груди своей, сделал шаг назад и сказал:

— Ба! эффендим! Это совершенно лишнее. Паша-эффенди строго запретил мне такую невежливость. Вы, эффенди, понимаете, что это все одна форма. Паша знает вашу дружбу, ваше благородство. Он приказал мне только  
10 извиниться пред вами, что войско давеча вовремя не пришло разогнать толпу и предупредить беспорядки. Но больше этого не будет; везде кругом консульства будет теперь расставлена стража и будет охранять его до тех пор, пока не утихнут все разговоры. Мы понимаем, что мальчишка этот, если и был тут недолго, то по милости слуг ваших и без вашего ведома.

После этих выразительных слов Саид-бей простился и ушел.

20 Караул кругом консульства с этой минуты был удвоен, и не было выхода и прохода даже из соседних домов, откуда люди могли бы выходить, не встречаясь с солдатами. Приметы Костаки, конечно, были им известны. Белокурый, молодой с порядочными уже усами, в фустанелле, в пестрой полукашемировой ваточной курточке.

Итак, осмотр кончился. Все утихло в консульстве. Костаки опять выпустили и перевели в кладовую, где ему было просторнее и веселее, и заперли его там.

30 Киркориди не мог даже написать протеста в Порту и жалобы своему правительству. Он был не прав; а паша очень деликатен и ловок. Можно даже наверное думать, что не сам Рауф придумал все это так хорошо, а все он, мой друг, нежный приниматель доброхотных даров, Сабри-бей, и разве еще жирный и дьявольски лукавый друг отца моего, председатель тиджарета, загорец Чувалиди. Подобно многим христианам и греческой и славянской крови, Чувалиди умел до невероятия искусно служить пра-

вою рукой туркам, стараясь косвенно и левою рукой в то же время помогать христианам. Но чтобы такого рода сложная игра была успешна, необходимо было одно условие: противодействовать то греческому, то русскому консульствам.

«Пусть видят турки, что для меня, преданного правительству и крещеного человека, православная ра́йя дороже мусульман, не скрываюсь; но правительство оттоманское правильное и законное, хотя бы и за грехи предков наших, но все же, подобно всякой власти, от Бога поставлено, и это правительство, которого я чиновник, для меня во сто крат милее и дороже этой чуждой и всепоглощающей России, и этой ничтожной, беспутной, демагогической Эллады, которой нечем прокормить своих сынов, по-европейски обучившихся в несоразмерном с нуждами населения числе!»

И вот я уверен, что они с Сабри-беем придумали всю эту уловку. «Для внешнего народа мусульманского надменный и властный осмотр; для греческого правительства любезные извинения и пустая формальность; для поимки убийцы и блокады эллинского консульства часовые; для защиты иностранного флага от оскорблений уличной толпы все те же часовые. Киркори́ди парализован; Леси рад; Бре́ше и австриец злорадно равнодушны; Благо́в, похитивший Тахир-бе́я и задумавший, кажется, слишком явно господствовать, взбешен и хоть слегка, но в первый раз унижен... Прекрасно!»

Благо́в, действительно, раздраженный неудачей и неловкостью своего положения, дает волю гневу и упорству своему и делает еще худшую ошибку.

Узнав о том, что Саид-бе́й входил в дом Киркори́ди и что часовые расставлены по всем углам и переулкам, Благо́в пишет протест от себя одного, во имя общей консульской неприкосновенности. Он приучил себя действовать без помощи западных консулов, и до сих пор все с удачей и блеском. Я и теперь, вполне ценя его дарования, его смелость, ум, красоту и твердость, го-

тов назвать его «светилом», хотя бы для того, чтобы сказать, что нет светила, с которым бы не случилось затмения.

Он пишет, что удивлен и поражен неприятно. Он прямо говорит об оскорблении одного из флагов и выражается так: «*On a forcé la porte du consulat héllénique*». Он прибавляет еще, что «консульство эллинское свободно допускать, что ему угодно; но что русское консульство не может без протеста допустить такой возмутительный пре-  
10 цедент».

На это Порта отвечает очень скромно и очень умно, без раздражения и надменности; Порта только оправдывается с достоинством. Паша пишет, что осмотра никакого не было, что эллинское консульство пожелало само очень любезно принять офицера, которого паша прислал, чтобы выразить ему свои сожаления о небольших беспорядках, случившихся в это утро пред порогом консульства. Бумага кончалась такими словами:

«Всегдашняя уступчивость местной власти и готовность  
20 ее удовлетворять во всем возможном Императорское русское консульство давала бы, кажется, этой власти право ожидать и от другой стороны, по крайней мере, самой элементарной справедливости».

Благов на эту ноту не ответил; но чем менее ему было возможности ответить на нее прилично, тем более он был разгневан и угрюм.

Благову, избалованному удачей, могло казаться, что он оскорблен и унижен в этом деле. Он был вне себя от сдержанного гнева. Он полагал, что и сам Киркориди  
30 предал его, заступника своего, на своего рода поругание, уступая настояниям Корбет де-Леси и Рауф-паши. Он даже и входить в объяснения с греческим консулом по этому делу долго после этого не желал. Но как все противники его: Ибрагим, Сабри-бей, сам паша, Леси и Бреше, так и все янинские почитатели его были совсем иного мнения. Христиане восхищались его смелостью; они радовались тому, что русские кавассы способствовали бег-

ству Тахира, хвалили русского консула за то, что он один только из представителей великих держав ревностно вступился за притесняемого эллина; — они превозносили до небес твердость, с которою он особо и один протестовал против осмотра греческого консульства. Сам Благов, говорю я, видел во всех последних обстоятельствах одну неудачу; другие видели успех.

Иные архонты стали звать его после этих дней не «мегáлос», как звали его прежде простолюдины наши, а «мéгас прóксенос».\* 10

Помни, мой друг, что между тем временем, которое я описываю, и тем, в которое я пишу, прошло более пятнадцати лет, и в те годы мы были гораздо еще ближе к осаде Севастополя, на бастионах которого вместе с русским войском бились так восторженно эллинские добровольцы, чем к нынешним печальным дням недоразумений и раздора между греческим народом и тою Россией, на которую так долго взирали мы как на единственный наш оплот, тою Россией, которая и сама утверждала 20  
мышцы свои прежде всего на нас, греках, как на высших и лучших представителях Православия на Востоке.

Да, Благов мог быть недоволен собой в эти дни... Но мы, христиане, мы все были довольны им. Дипломатия, правильная по формам, сдержанная и вместе с тем пустая, ничего не возбудила бы в нас, кроме презрения. И Бакеев умел соблюдать формы и держался умеренности, но под нею таилось ничтожество. Ходили слухи и о том, что в Константинополе посольство русское было не совсем до- 30  
вольно слишком выразительными приемами Благова; Бостанджи шептал, уверяя, что есть строгий выговор консулу. Но если и так, то что же это доказывает? Такой выговор посольства или очень умен, или крайне недалновиден. Он недалновиден, если искренен; — он умен, если притворен. Отчего же и не принести в жертву изредка самолюбие молодого и второстепенного по званию агента со-

---

\* Не «большой консул»; — а «великий консул».



ображениям другого порядка для вида и в угоду высшим сановникам Великобритании и Порты? — Но только для вида. И кто имеет право строго судить формы Благова? Кто имеет право, скажи мне, строго судить и его, и Киркориди в этом деле?.. Тахир-Аббас, может быть, изверг в душе; убийцей, однако, он не был сам, и странно было бы, если б он пострадал лишь за то, что просидел два часа у одного Благова, не посетив других консулов. Он был, хотя бы и из личных выгод, или из вражды к Джефферу, но все-таки на стороне притесняемых христиан. Неужели нам не пожалеть и не защитить его?

Его сеис, молодой Костаки, мстил, положим, за себя, за побои, несправедливо нанесенные; но он мстил в то же время и за Пано, за его несчастных товарищей, за старшин села Нивицы, пытаемых в Янине; за попранные права соотчичей, за взятки и вопиющие поборы беев. Его выстрел надолго смирил притеснителей. Выстрел этот помнят в Эпире до сих пор.

20 Кто имел право судить строго обоих консулов, и Благова, и Киркориди, за самоуправство? Не паша ли, которого не боялись в стране те, кому следовало бояться? Не боялись разбойники на севере и юге Эпира, на границе Элады и Албании; не боялись притеснители, не боялись взяточники, не боялся Бреше; а боялись гонимые жители Нивицы, боялись христиане Превезы и Арты, когда нужно было столь законно повесить колокол на православной церкви. Не Бреше ли осудил бы Киркориди и Благова, Бреше, который не скрывал своего презрения к

30 Турции и обращался с турецкими чиновниками, даже довольно высокопоставленными, как не посмел бы в своей Франции обращаться с каким-нибудь «portier»? Не он ли махал бичом пред лицом Ибрагима, когда ему благоугодно было заступиться за бессильного и подобострастного пред ним Бакеева? Не он ли, не Бреше ли этот несколько позднее «во славу Франции» своею рукой ушиб до смерти свинцовым набалдашником трости турецкого солдата,

который (говорят, даже и не нарочно) толкнул его на улице? Да! он убил его и остался безнаказанным! Может быть, Корбет де-Леси имел право защищать порядок и громить произвол своих товарищей в Эпире? Правда, сам он был до смешного точен в формах своих. Но не прочли ли мы все в «Синей Книге» года два позднее то донесение его, где он уверял, что все заботятся лишь о христианах, и никто не вспомнит о мусульманском населении, которое страдает еще больше, чем райя, страдает от бедности, стеснений, от наборов воинских. Не он ли, вдохновенный, вопреки своей осторожной природе, теми самыми страстями, которых кровавый пир мы видели теперь в Батаке и Каварне... не он ли становился красноречив и восклицал с энергией: «Отчего это несчастное мусульманское население не прибегнет до сих пор к насилию? Отчего не вспомнит оно, что в среде его есть люди, крепкие мышцами и решительные сердцем?...»<sup>10</sup>

Так писал своему правительству этот опрятный, этот приличный, безукоризненный в приемах своих, хотя и причудливый старик. Так писал он, и мы с ужасом все прочли эти слова! И прочли, и забыли, и опять ждем чего-то от Англии. И опять ждем, и опять не дождемся... И опять обманемся, и опять придем к тому же! И опять, после целого ряда несчастных претензий, ошибок и разбитых детских надежд, воскликнем печально, что кроме этой всепрощающей России нет у нас никого! И будут пророками даже и в отчизне своей те немногие, те столь редкие нынче греки, которые, подобно мне и покойному отцу моему, говорили все это давно, давно, возбуждая злые насмешки и патриотический гнев.<sup>30</sup>

## XXV

После этих дней волнений и борьбы, для участия в которой мы с Благовым на рассвете прискакали из Зицы, настали дни тихие.

Костаки, убийца Джеффера, все сидел в погребке; часовые все сменялись, внимательно следя за всеми молодыми людьми в фустанеллах. Кольйо два раза останавливали вечером; но золотой орел на феске его оба раза освободил его; к тому же его и в лицо слишком многие знали.

Никто не мог понять, чем это кончится. Кольйо, как земляк и знакомый этому Костаки, конечно, убивался больше всех. Он был очень уныл, и лицо его опять совсем изменилось. Он беспрестанно восклицал: «Погиб этот па-  
10 ликар! Погибла головка его! Это я отвел его туда и я погубил его! Я дурак и ничего не знаю! Я несчастный человек, Одиссей, и мне ни в чем часу нет! — Это я отвел его туда и я погубил его». И, сев на камень у стены сада, Кольйо начинал плакать.

Я утешал его чем мог.

Так, говорю я, прошло трое суток. Прошло еще дня два. Часовые все сменялись, все смотрели, все следили и... не усмотрели, не уследили ничего.

Однажды я вышел за ворота нашего консульства и уви-  
20 дал, что Ставри сидит на камне. Я присел около него.

Был полдень и было довольно жарко. Прошли мимо нас солдаты на смену сторожившим убийцу. Ставри глядел им долго вслед с радостною улыбкой.

«Пойдут теперь, сердечные, жариться и скучать... Анафемский час им, — сказал он и потом, обратившись ко мне, прибавил: — Теперь, я думаю, малый в Акарнании давно!»

Я изумился:

— Чтò ты говоришь мне, г. Ставри?!

30 — Говорю правду! — отвечал Ставри.

И точно, он говорил правду. Накануне, рано утром, привез в эллинское консульство пожилой селянин, куцовлах, большую вязанку дров на осле. Он пробыл до полудня в доме Киркорида и часов около двух дня вышел снова с развьюченным ослом, без дров и с десятью золотыми в кармане. Осла вел за веревочку сын его, тоже куцовлах, молодой, рослый, с черными усиками, в ва-

леном колпачке, в синих шальварах и в старом, побелевшем местами, синем же безрукавнике валашского покроя, в стоптанных чарухах на босых ногах. Под мышкой у него был большой пучок зеленого луку, и в руке кусок хлеба. Он ел с аппетитом. Старик шел за ослом и подгонял его как будто от скуки палкой. Они прошли около двух часовых, и те не обратили на них никакого внимания.

Юноша был переодетый убийца Джеффера, Костаки, ему только подчеркнули немного усы и брови, а волосы<sup>10</sup> остались какие были. Старик был в самом деле обыкновенный куцо-влах и возил всегда греческому консульству дрова. Ему предложили денег, и он на свой страх решился увезти с собой молодца и доставить его в сохранности на эллинскую границу. Это дело удалось еще лучше, тише и безобиднее, чем похищение Тахир-Аббаса.

Часовые все стояли. Киркориди наконец протестовал, уверяя, что все спокойно, и предложил теперь частным образом паше самому приехать к нему и осмотреть серьезно весь дом, начиная с погреба и кончая шкапами. Паша<sup>20</sup> понял и снял часовых.

Эта простая уловка была придумана и устроена все теми же политиками, нашим кавассом Ставри и попом Костой. Г. Благов запретил своим людям вмешиваться в дела греческого консульства, но он не мог запретить Ставри разговаривать с попом Костой и давать советы греческому кавассу, отважному и мрачному Георгию, который, кроме насильственных и отчаянных поступков, ничего придумать бы сам не мог.

Ставри сделал даже более. Когда г. Киркориди, по<sup>30</sup> окончании всех этих трудных дел, предложил чрез третье лицо деньги ему и попу Косте, то поп с радостью взял; а кир-Ставри, который служил при русском консульстве только из-за чести носить оружие и жил не всегда умеренными процентами со своего собственного капитала, от награды за тайное участие в спасении Костаки отказался, говоря: «Не желаю я деньги брать за избавление души

христианской от оттоманов. Поп пусть берет: у него папья есть и малые детки. — Я же холостой человек».

Мы все в русском консульстве, узнав об этом новом торжестве над турками, ликовали. Только молодой начальник наш по-прежнему оставался угрюм и ужасно печален.

Он все ездил верхом; ходил пешком за город один, даже без кавасса, хотя это было и не принято, и не всегда безопасно в том смысле, что по характеру своему Благов не мог бы вынести ни малейшей невежливости, не только <sup>10</sup> оскорбления, со стороны мусульман; а между мусульманами и в то тихое время нашлось бы всегда достаточно таких, которые под предлогом незнания консула в лицо решились бы из одного только молодечества толкнуть его или назвать бранным именем. В таком случае Благову пришлось бы расправляться самому, не взирая ни на положение свое, ни на то, вооружен ли был бы или нет, силен и смел или робок его оскорбитель. Могло этого и не случиться, но могло и быть. Но Благову именно эта возможность какой-нибудь лихой встречи, должно быть, и нравилась. <sup>20</sup> Он клал маленький револьвер в боковой карман, брал самую крепкую трость свою и ходил один далеко по самым безлюдным местам.

Дома за обедом он был очень молчалив в течение этих дней. Мы все смотрели ему исподлобья в глаза, но ничего, кроме равнодушия и скуки, не могли в них прочесть. Мы приписывали дурное настроение это его неудачному вмешательству в спор эллинского консульства с местною властью, сосредоточенному гневу его на пашу, на Леси и Киркориدي.

<sup>30</sup> Мы думали, что он ездил верхом и ходил пешком один за город и по глухим переулкам лишь для того, чтоб обдумать какой-нибудь глубокий план мщения.

Бостанджи-Оглу говорил: «Беда как он теперь сердится». И кавассы думали то же. Маноли говорил: «Предал нас Киркориди анафемский». Ставри соглашался с этим, прибавляя только: «Что ж ему, бедному, делать! Все англичанин путает!» И Маноли начинал с жаром проклинать

английскую политику: «Эта политика Англии!.. Эта политика!.. Ужасная политика... Дьявольская, анафемская, проклятая, низкая, христианоборческа́я политика!..» И сначала казалось, что мы в самом деле были правы. Раздражение между Портой и русским консульством все усиливалось и росло. Эти два человека — Рауф-паша и Благов, этот добрый и больной старик, расположенный лично к молодому честолюбцу, и этот молодой честолюбец, который искренно уважал и жалел больного старика, не могли долго, при всей доброй воле своей, сохранить хорошие отношения. Все условия окружающей жизни должны были, вопреки их желанию, доводить их от времени до времени до столкновения и заставляли их вступать в открытую борьбу. 10

Уже со дня назначения драгоманом Исаакидеса, которого в Порте считали бунтовщиком и заговорщиком, у турецких чиновников несколько изменился тон. Бостанджи-Оглу находил, что у них уже нет той любезной готовности, с которою прежде они старались удовлетворять всем желаниям Благова. Особенно стал горд и сух Ибрагим. Здесь 20 отказ; там затруднение; там проволочка; тут сухое и как бы печальное согласие по крайней необходимости. Видимо было, что и сам Рауф-паша начинает находить, что он в Благове несколько ошибся и что напрасно говорил про него стольким людям: «Это не человек, а сад!» В саду этом, среди цветов и благоуханий, начинали шипеть ехидны, и из густой и веселой тени древес слышалось от времени до времени глухое и лютное рыкание какого-то неизвестного еще зверя.

Все последние события, изображенные мною: явная 30 помощь, оказанная нашим консульством жителям Нивицы, смерть Джеффера, бегство Тахир-Аббаса, вмешательство Благова в дело Костаки, — все это не могло нравиться ни паше, ни Ибрагиму (который во многих случаях значил больше самого пашы), ни всем другим мусульманам.

К тому же очень скоро после бегства Костаки в Акарнанию случилось и еще одно новое дело, незначительное по

сушности, но очень шумное с виду, которое привело русское консульство к официальному столкновению с Портой.

Леси с Благовым не были в явной ссоре. Невозможно было бы консулам существовать в одном городе, если б они прерывали личные сношения после всякого случая открытой борьбы или при каждой досаде за неудачу в том тайном соперничестве, в каком они постоянно между собой находились. К тому же у Корбет де-Леси и Благова, хотя и наиболее друг с другом враждебных на политическом поприще, было много сходства во вкусах хорошего воспитания, много одинаковых потребностей, как у людей высшего общества, таких потребностей и вкусов, которые были гораздо слабее у грубого Бреше, у бедного немецкого семьянина Ашенбреннера и у нашего патриархального и расчетливого Киркорида.

Благову иногда хотелось посидеть в прекрасно убранной квартире Леси; Корбет де-Леси хотелось побеседовать об археологии или живописи на персидских диванах Благова. Однако на этот раз и за все эти истории: Нивицы, Пано, Джеффера, Тахира и Костаки, они были более обыкновенного раздражены друг против друга и довольно долго не видались. Но вот что случилось.

Корбет де-Леси только что приобрел две прекрасные древние вещи от одного греческого часовщика, торговавшего в Янине антиками. Одна из этих вещей была небольшая почерневшая серебряная чашечка византийской работы, вся покрытая выпуклыми изображениями и узорами. Внутри этой чашечки была ввинчена другая, поменьше; ее можно было отвинчивать и снова привинчивать обратно дно с дном к большой чашечке, так что она в этом случае становилась как бы опорой большой чашке, и тогда весь сосуд стоял удобно на столе. Внутри на дно большой чашки тогда ввинчивался еще зачем-то прекрасно сохранившийся орел. Другой антик был древнее. Это был овальный медальон из полупрозрачного светло-коричневого камня; на нем с необычайным изяществом и тонкостью было вырезано изображение языческого жертвоприноше-

ния. Полунагой юноша, преклоненный на одно колено; около него стоящая молодая женщина, дерево с ветвями и листьями и отрубленная головка барана. Я вспоминаю только выгиб лядвий коленопреклоненного юноши и изумляюсь, до какой степени в этом маленьком изображении соблюдена была верность природе и красота линий человеческого тела!

Когда Леси приобрел эти две прекрасные вещи, ему захотелось непременно побывать у Благова и показать их ему. Никто лучше Благова не сумел бы все это оценить,<sup>10</sup> похвалить и понять так, как понимал сам Леси. И он пришел. Пришел, показывал, радовался и говорил, самодовольно улыбаясь:

— Я уже не раз сообщал вам, что здесь, в Эпире, при некотором усилии и старании можно найти..., и т. д.

Потом они вместе, Благов и Леси, пошли гулять за город, пешком. Погуляли, побеседовали еще об Элладе и Византии и возвращались опять в русское консульство. Благов уговорил Леси напиться у него чаю и хотел показать ему одну начатую им на полотне группу, всю в восточных одеждах (в ней должен был и я в «турецком саване» занять подобающее место).<sup>20</sup>

Все было так мирно и дружественно. Но вот опять несчастный случай. Подходя к нашим воротам, консула с удивлением увидели, что по переулку бежит одна молодая арапка, а за нею гонятся несколько человек мусульман. Консула остановились. Арапка бросилась прямо к ним; синее с желтым покрывало ее спало с ее головы, и она, почти припадая к ногам Благова, воскликнула с отчаянной мольбой: «Эффенди! Возьми меня к себе... Меня убить<sup>30</sup> хотят!» Мусульмане, которые гнались за ней, остановились почтительно поодаль; но один, чорный же мужчина, поклонившись консулам, сказал: «Она дура! Никто ее убить не хотел, она бежала от нашего хозяина, от йесерджи».\*

---

\* Торгующий рабами; хозяин рабов.



— Чтò такое от йесерджи, я не знаю, — сказал Благов и приказал кавассам взять девушку и ввести ее в консульство.

Леси попытался объяснить Благову:

— Йесерджи, йесер — *éslave*. Она раба; он торгует рабами... Ее надо возвратить хозяину.

Но Благов, не отвечая ему на это ни слова, еще раз любезно пригласил его зайти к себе и выпить чаю.

Леси, уже немного рассерженный, но, вероятно, все <sup>10</sup> надеясь уговорить Благова возвратить арапку хозяину, вошел.

Однако Благов тотчас же при нем приказал отвести ее в дом к одной вдове русско-подданной с просьбой (конечно, просьба консула есть приказание) принять ее к себе, так как она слишком молода, чтобы пристойно было держать ее долго в консульстве, полном холостых мужчин.

Леси терпеливо допил свой чай; но я воображаю, чего стоило ему это принуждение! Тотчас после чая он, все дипломатически улыбаясь, ушел; но уходя сказал:

<sup>20</sup> — Я убежден, г. Благов, что вы поступили не совсем сообразно с принятым порядком.

Чтòб еще более огорчить его, Благов весело возразил ему:

— Чтò ж за беда? — Ведь мы, к счастью, в Турции.

— До свидания! До свидания! — с дрожью гнева в голосе, но все с приятною улыбочкой твердил Леси, уходя домой.

Поистине сказать, тот черный слуга йесерджи не лгал, когда уверял, что молодую арапку эту никто убить не <sup>30</sup> хотел; она бежала оттого, что жена хозяина, рассердившись на нее, плеснула на нее кипятком. Впрочем, йесерджи был довольно жесток, и жена его вообще с рабынями обращалась грубо. Христиане, жившие по соседству с ними, уверяли, что она очень часто их сильно бьет, и они громко кричат и стонут. Это так, но и то была правда, что бежавшая молодая девушка, если не была дура, то очень ветрена и своенравна, как оказалось очень скоро. Плеснула на нее

хозяйка в довольно основательном гневе за то, что та ей сказала: «Если ты будешь бранить меня, я подожгу ваш дом и ты сама сгоришь в нем, а я убегу!»

Вскоре после удаления Леси из нашего консульства пришла Благову бумага из Порты на турецком языке. Внизу была печать Ибрагима, а не подпись самого паши.

Паша опять не выходил из гарема; он уже третий день лежал. Поэтому Ибрагим и позволил себе прямо от себя обратиться к консульству с требованием возвратить «арапку Гюль ее хозяину йесерджи».

Надо было видеть безмолвный гнев Благова в то время, когда Бостанджи-Оглу читал ему громко эту турецкую бумагу! Он сел к столу и, приказав Бостанджи-Оглу немедленно перевести эту «ноту» с турецкого на французский язык для отправки в посольство, начал диктовать мне ответ на имя самого Рауф-паша. Ответ этот был в высшей степени оскорбителен для Ибрагима. Благов, как бы игнорируя его, писал между прочим так:

«С величайшим изумлением узнал я из этого письма, подписанного одним из ваших „employés“, что в городе Янине существует какой-то „йесерджи“, тогда как торговля невольниками давно уничтожена в Оттоманской империи, сообразно человеколюбивым намерениям е<го> в<еличества> султана. Считая себя вправе сноситься лишь непосредственно с вашим превосходительством и зная давно всегдашнее желание ваше поддерживать дружественные отношения между местною властью и вверенным мне Императорским консульством, я обращаюсь прямо к вам в полной надежде, что впредь подобные беспорядки и неправильные выходы второстепенных должностных лиц вашей канцелярии не повторятся».

Бумага эта была отправлена, и возражения на нее не последовало. Дня два-три казалось, что опять удача или победа на нашей стороне; но потом сын той вдовы русско-подданной пришел жаловаться на взбалмошную девчонку Гюль и воскликнул с отчаянием:

— Г. консул! Прошу вас, избавьте меня от этой дуры! Она кричит, шумит, поет целый день, не слушается; мать моя бедная нездорова и лежит, и вот сегодня утром эта безумная входит к старухе и говорит ей: «Ба! старая, ты все лежишь еще! Как ты мне надоела, что до сих пор не умираешь... Погоди, я тебя отравлю...» Помилуйте, г. консул, старуха испугана, и страх в самом деле может сократить ее дни! Г. консул — я сын!..

И Благову, и нам всем хотелось смеяться, но, уважая  
10 сыновнее чувство этого человека, все удержались, а консул сказал ему, что просит его повременить немного.

— А если она будет очень дурачиться, то можно и наказать. Например, не давать ей дня два ничего есть, кроме хлеба и воды.

— Позвольте, ваше сиятельство, побить ее немного.

— Да, разве очень мало, — сказал Благов, — чтоб она не ушла вдруг; это будет неловко.

Но где мера — побить много и побить немного?

Огорченный сын, возвратясь домой, дал арапке только  
20 одну пощечину, и Гюль тотчас же сказала: «бьешь ты меня, осел! йесерджи лучше тебя... Пропади ты вместе с москвичом проклятым своим!.. Чтобы вы оба стали тонки как палец мой».\* И ушла к йесерджи в дом, где ее приняли, говорят, с радостью и всячески обласкали.

Таков был не совсем удачный для нас конец этого небольшого дела; в западных консульствах, конечно, все были рады этому случаю посмеяться над Блазовым и над его нерассчитанным на этот раз либерализмом, но чиновники Порты были вне себя от досады и, повторяя:  
30 «теперь Благов не только христианам потворствует, но и в дела мусульман вмешивается и рабов учит неповиновению», решились во всем ему противиться и на каждом шагу его создавать ему затруднения и полагать препоны.

---

\* Греческая брань, то есть, чтобы тебе исхудать, измучиться, растаять.

Бреше, Ашенбреннер и Леси согласно и старательно раздували огонь этой распри.

Наконец-то расторглась эта столь давняя приязнь между местною властью и русским представительством.

Западные консула не скрывали своих чувств и от греческого консула; но толстый Киркориди наш, который старался всегда идти медленно и обдуманно «царским путем золотой середины», не слишком надеялся на прочность их коллективного торжества. Он качал печально большою и широкою головой своею, соглашался и даже жаловался им на «панславизм в Македонии» (которая была так далеко от ближайших интересов и дел). Сам он Благову ничего не передавал с грубым предательством, но рассказывал все что знал об интригах западных агентов в Порте своему драгоману; а драгоман его был в то время дружен с нашим Исаакидесом; и Благов почти все то знал, что ему полезно было знать. Киркориди не хотел ни с кем ссориться и находил выгодным сберечь себе расположение Благова на случай каких-нибудь новых и неожиданных осложнений, столь обыкновенных в службе и деятельности консулов на Востоке.

## XXVI

После возвращения арапки Гюль добровольно к йесерджи между русским консульством и местною властью продолжалась еще несколько времени мелкая и раздражительная борьба. Диван-эффендиси Ибрагим был так рассержен, что забывал даже приличия; однажды, когда Бостанджи-Оглу настаивал, чтобы скорее решили дело о наследстве долгоносого и проголодавшегося авантюриста Симо, диван-эффендиси позволил себе сказать ему так:

— Мы здесь не для того, чтобы забавлять консулов.

Бостанджи-Оглу поспешил, конечно, пожаловаться Благову, и Благов был сначала как бы поражен этою дерзостью Ибрагима и переспросил с изумлением: «Как?

Как?» А потом лицо его потемнело от гнева, но он сказал только с притворным одобрением:

— Это недурно сказано!

Этого было Ибрагиму мало. На другой же день, чтобы выразить нашему консульству еще больше и нагляднее свою досаду и пренебрежение, он уговорил пашу поступить очень резко и неправильно. (Так нередко и не попад поступали турки, когда хотели обнаружить внезапно свою самобытность.)

<sup>10</sup> Один из сомнительных \* русских подданных был давно уже должен турецкому подданному несколько тысяч пиастров. Турки схватили его на улице и заперли в тюрьму.

Узнав об этом, Благов вдруг поднялся во весь рост. Он взял кавассов и пошел сам тотчас не в Порту, а прямо в тюрьму, и, шумно войдя в прихожую, потребовал, чтобы подданного немедленно ему показали. Человек этот был тот самый мошенник Понтикопечи, которого когда-то (помнишь) консул прогнал. Стража турецкая встревожилась; послали сказать скорее Ибрагиму; прибежал офицер и

<sup>20</sup> почтительно предложил консулу поговорить с Понтикопечи через решеточку в дверном окошке.

Благов подошел к этому окну; подвели Понтикопечи. Каков бы ни был этот молодой человек, как бы ни были смешны его глупые претензии на образование, как бы ни были противны его дела с болгарскими и греческими селянами, он был русский подданный; он был схвачен незаконно, прежде еще чем был решен раз навсегда вопрос об его подданстве; он был ввергнут за обыкновенный коммерческий долг, вместе с толпой разных уличных буянов, воров

<sup>30</sup> и пьяниц, в очень тесную и очень грязную комнатку, где все спали кучей на голом и отвратительном полу.

Благов обратился к офицеру и сказал ему:

---

\* Эти сомнительные подданные были вот какие: например, какой-нибудь грек, еврей, болгарин или армянин, райя, ехал в Афины, добывал себе греческий паспорт очень легко, а потом русский в Одессе или Кишиневе. Турки не признавали его нового подданства.

— Извольте выпустить его сюда, наружу. Я с ним переговорю здесь; иначе я велю моим кавассам сломать сейчас замо́к и выведу его сам вон; и вы будете отвечать за все последствия подобного дела. Маноли, сорви замок!..

Часовые не смели противиться, офицер велел отпереть дверь. Понтикопечи выбежал и, забыв европеизм свой, кинулся целовать полу Благова.

Благов постоял с ним, сделал ему несколько вопросов и потом сказал ему: «Иди со мной рядом», а кавассам приказал идти вперед.

10

И так они вышли и увели его, и никто не решился им помешать. Да и в самом деле, не стрелять же было туркам в русского консула? Не колоть же его штыками? Чтò было им делать?..

Все эти обстоятельства только больше и больше утверждали нас, всех окружавших консула, в том, что его слишком упорная, неделями продолжавшаяся задумчивость, скука, выражавшаяся на лице его, что все его эти одинокие и дальние прогулки происходят от гнева, оскорбленного самолюбия и от жажды мщения соперникам.

20

Мы так и ждали, что вот-вот завтра он выдумает еще что-нибудь такое, чтобы посрамить и сразить и пашу, и Бреше, и Леси, и коварного добряка Ашенбреннера. «Выдумает он что-нибудь, смотрите!» — говорили мы.

И точно, он выдумал нечто очень ловкое. Но это ловкое было вовсе не мстительное, а напротив того, крайне добросердечное и разве только... имело в себе немного расчета, чтобы доказать западным консулам, что им еще рано радоваться его раздорам с Портою, что он имеет в запасе самые разнообразные ресурсы для поддержания своего влияния.

30

Вот чтò он выдумал.

Рауф-паша, как я сказал уже, опять заболел; он лежал, задыхаясь от кашля, и врачи думали, что он на этот раз уже не встанет с одра своих страданий. Иные полагали, что вся эта последняя тяжелая борьба с русским и греческим консульствами очень огорчила и оскорбила его;

слышно было, что и в Константинополе были недовольны его распоряжениями, его слабостью, бегством Тахира и Костаки, и хотят его отозвать.

Паша был так расстроен, так убит, что лежал по целым часам не говоря ни слова, и близкие люди замечали, что он нередко тихо плачет, отворачиваясь от них к стене.

Бостанджи-Оглу принес эти известия из Порты и передавал их Благову, глупо и радостно улыбаясь и расширяя глаза изо всех сил, чтобы понять, что думает начальник (как я ненавидел его, когда он это делал!).

— Плачет, как баба!.. — говорил он в угоду начальству, думая, что консул порадуетя вместе с ним.

Но лицо Благова не выразило ничего, кроме значительного внимания к его рассказу, и, выслушав все до конца, он сказал:

— Поди сейчас опять в Порту и вели спросить у паши, желает ли он принять меня сегодня, как он есть в постели. Я очень жалею, скажи, что он болен и очень хочу его видеть. Слышишь — скажи очень хочу.

Рауф-паша с радостью согласился его принять. Говорить, а тем более слушать рассказы других он мог без вреда для себя и даже с пользой, ибо это подкрепляло его в его глубоком унынии. Понятно, как он был тронут вниманием Благова! Он смеялся, целовал Благова, благодарил его и два раза даже позволил себе назвать его: «Джуджук мой!» (мальчик мой, сынок мой).

Благов просидел у него долго; рассуждал с ним о персидской литературе, ни слова не упомянул о скучных делах, и не только снова восхитил его, но сверх того, счастливая звезда, которая ему тогда еще ярко во всем светила, помогла ему странною случайностью и на христиан произвести по этому поводу очень приятное впечатление.

Я сказал тебе еще в начале моего рассказа, что старый Рауф был неспособен, нерадив; сказал, что он брал взятки и позволял брать и зятю своему Ибрагиму, и другим чиновникам; но я отдал ему одну справедливость, — что он

был по природе своей не жесток и в религии вовсе не фанатик.

На другой день после визита Благова, чувствуя себя опять хуже, он вздумал испытать средство, к которому мусульмане изредка прибегают в недугах: обратиться к христианской святыне. Он послал за священником, чтоб тот отчитал его.

Священник читал над ним молитвы, а потом паша взял из рук его Евангелие, поцеловал, приложил ко лбу, положил себе на больную грудь и держал его долго.\* 10

Через несколько дней ему стало гораздо лучше, и греки говорили: «Наш молодец чуть ли уж не vykpeстил бедного Рауфа». «Хоть не vykpeстил, — отвечали другие; — а может быть, он посоветовал ему это сделать. И Господь помог старику. И это хорошо, что он поправляется. Он прост и неспособен, довольно добр и делает много ошибок; нам таких и нужно пашей; а от пашей умных и по-европейски образованных да избавит нас Божественный Промысл. Они будут уверять, что Турция в прогрессе. А прогрессу при таких, как Рауф-паша, кто поверит?...» 20

Никому из западных консулов, даже и туркофилу Леси, не пришло на мысль посетить и утешить в часы личной скорби того человека, которому они помогали в делах, а сделал это наш молодец, тот самый Благов, который столько ему в этих делах досадил, желая по долгу своему угодить христианскому населению.

Искусству и энергии Благова, впрочем, помогало в то время и общее положение дел, и сами европейские соперники русского влияния беспрестанно то ошибками своими, то самую правильную игрой своей политики напоминали 30 туркам, что иго дружбы их и бремя их союза не легко.

Бреше именно в те самые дни, когда Рауф-паша был так болен и так огорчен, пожелал снова напомнить населению о грозной силе и славе передовой европейской держа-

---

\* Прошу читателя верить, что все это факты. Это все делал Золотарев в Адрианополе. Рауф-паша был Ариф-паша.



вы. Он поднял ужасный шум за то, что на улице десяти-летний турок, взглянув на него, сказал своей матери громко: «Это франк идет!» Бреше требовал, чтобы мать этого ребенка и другая еще сопровождавшая ее мусульманка были бы обе немедленно заключены в тюрьму. Турки основательно возмущались такую претензией. Пусть бы еще мальчик сказал: «Скило-франк» (собака-француз), как говорится у нас нередко; но он сказал просто: «Это франк!»

Паша решительно отказал удовлетворить на этот раз  
10 Бреше, отзываясь, что разыскать этих женщин невозможно.

Со своей стороны и Леси тревожил турок немало, хотя и совсем иначе. Он никому не грубил, не бил никого, не требовал никаких бессмысленных и возмутительных удовлетворений; но он делал тайно нечто такое, что в государственном отношении было для турок вреднее всяких мелких обид и унижений.

В Элладе в это время еще продолжалась борьба партий за опустевший престол. Гривас сорвался с цепи, и не было уже искусной руки молчаливого Колетти, чтоб удерживать  
20 его. Зантский комитет священной борьбы, образованный Реньери, Манаки и другими благоразумными патриотами для отпора необузданным политическим страстям, тогда только что начинал свои действия.

Англичане возмечтали, пользуясь этими замешательствами, присоединить наш Эпир к своим «Семи островам» и образовать под протекторатом своим особое Греческое королевство под именем Эпиро-Ионийского; создать себе еще одну точку опоры на западе Турции и, разъединяя греков, обессилить эту «русскую батарею, обращенную  
30 против Европы», по словам Пальмерстона. (Тогда еще думали так!..)

Ввиду этой мечты и Леси стал на время общительнее и деятельнее. Он старался быть любезным с нашими архонтами, от которых, конечно, могла бы много зависеть удача подобного политического предприятия, если б они сочувствовали ему. Леси чаще прежнего приглашал к себе обедать Бакыр-Алмаза, Вроссо, Мессо, Куско-бея; посещал мит-

рополита и просиживал у него долго, порицая действия афинских демагогов и повторяя всем известную истину, что Новая Эллада своею пустотой и бесплодным буйством обманула ожидания всех филэллинов первой четверти этого века. Архонты радовались, кушали, бранили охотно и Гриваса, и Булгариса, и всех вождей последнего движения, курили дорогой табак, сидя в нескладных и не совсем новых шюртуках на тех царских диванах из палевого атласа, на которые я едва смел сесть, когда вместе с отцом посещал англичанина; все они соглашались на словах с господином Леси. Красивый и злой Куско-бей острил по-восточному и мимоходом с помощью Леси выиграл за это время две большие тяжбы против турецких подданных; Мессо восклицал, прыгая на диване от восторга:

— Конечно! Конечно! Ваше сиятельство поняли самую сущность этого вопроса, достойного вечного оплакивания!

Благоразумный и честный Вроссо говорил очень кротко и очень умно о том, что сильное правительство лучше слабого и демагогического. Бакыр-Алмаз величаво и таинственно шептал: «Я давно говорю, что Восточный вопрос подобен котлу, который кипит и кипит...» Митрополит вздыхал и жаловался на свое бессилие в Порте.

Но... к «Семи островам» никто не присоединялся и никто не пылал желанием увидеть в Янинской долине те пунцовые мундиры, которые год спустя греки сумели удалить даже и с живописной эспланады \* острова Корфу!..

Греки обманывали англичан, но при всей своей осторожности Леси ни греков, ни турок обмануть не мог. Тот же самый Куско-бей, который только что громил в британском консульстве афинскую демагогию и рассказывал смешные анекдоты о турецких взяточниках и несправедливых судьях, приходил в Порту и доносил Ибрагиму все, что он слышал от Леси.

Конечно, турки, слыша это, думали:

---

\* Большая красивая площадь в городе Корфу; место гуляний и военных экзерциций.

— Кто нам друг?.. Никто... Кто нам враг? Все. Чем англичанин для нас лучше русского? Не лучше ли дорожить русскою приязнью? Не лучше ли остерегаться русской вражды, когда везде вражда, везде ложь, везде измена!

Так издавна шли, колеблясь, дела на Востоке, и кончалось всегда тем, что русские, даже и ошибаясь, выигрывали, даже и побежденные на миг, побеждали надолго.

<sup>10</sup> При таких-то условиях, после любезного и, я верю, на этот раз совершенно искреннего поступка Благова, обрадованный улучшением своего здоровья и сердечно тронутый паша и даже внезапно раскаявшийся Ибрагим поспешили обнаружить русскому консулу все свое желание быть снова приятными ему.

Стотысячная тяжба несчастного Симо, тянувшаяся столько лет, была вдруг решена, и голодный отец шести детей в один день стал владельцем огромного поместья (хотя и не под своим именем, ибо он был не турецкий подданный).

<sup>20</sup> Другой сомнительный русский подданный, которого Ибрагим, подобно Понтикопечи, захватил было и посадил в тюрьму тоже за долги в тот самый вечер, когда Благов собирался к паше, был немедленно выпущен; — еще прежде чем Благов успел и узнать о том, что его захватили. Одного заптие, который не раз сопровождал Благова в его путешествиях по стране и за которого он несколько времени тому назад ходатайствовал, вдруг произвели в унтер-офицеры.

<sup>30</sup> Солнце Благова, на минуту только померкшее, всходило опять, и соперники консула, как я сказал, напрасно спешили радоваться. От самих русских зависит всегда удача их дел на Востоке как больших и решительных, так и тех мелких дел, которых множество составляет огромную силу и оставляет в стране надолго неизгладимые предания. От русских самих, от их ума, от их изворотливости, от соединения дерзости с лаской и твердости с умною уступчивостью вовремя, и ни от кого больше, как от них самих, равно зависит и тяжбу Симо решить, и наградить турецко-

го жандарма, и освободить всех христиан Востока, и укрепиться самим на Проливах в счастливый час!

Вскоре после примирения с Благовым Рауф-паша начал снова выезжать, и один из первых визитов его был нам.

Он приехал неожиданно, во время завтрака нашего, не предупредив Благова, что он будет к нему, как делают обыкновенно паши, чтобы непременно застать дома того, кого они желают почтить посещением.

Маноли вбежал в столовую как безумный и закричал точно в отчаянии:

10

— Эффенди! Паша приехал!

Мы с Бостанджи-Оглу растерялись, встали и начали метаться туда и сюда; но Благов сказал нам: «Не кидайтесь!», пошел навстречу старику, встретил его в зале, взял бережно под руку, извинился, что завтракает и предложил разделить с ним, «как у нас это по-русски (прибавил он) называется, хлеб-соль!»

Паша поблагодарил и отказался, потому что он теперь на особой диете, и сел на диван.

Пришлось так, что он сел именно на тот диван, к которому я сидел за столом задом. Чтò мне было делать! Я никогда еще в жизни моей не сидел в одной комнате с пашой; теперь я должен даже есть пищу мою при нем! Кто он и кто я? Какая у него власть? Власть, несравненно, бóльшая надо мной (турецким подданным!), чем власть самого Благова! Какая у него сила? И какое мое ничтожество! Я не знал, чтò мне делать. Повернул стул совсем боком, чтобы быть почти лицом к паше, и, едва касаясь локтем стола, совсем перекосил все тело мое, и мне было очень трудно подносить куски и жидкий суп, чтобы не разронять и не разлить всего себе на новое европейское платье.

20

30

Благов, кушая, поддерживал с пашой довольно оживленный разговор. Он сначала спросил его, отчего он в болезни не обратился к Коэвино, хвалил доктора и прибавил:

— Он немного безумный — «делі»; но все почти эти дела хорошие люди. К тому же рекомендую его вам как

большого друга мусульман. Он постоянно восхищается всем турецким.

Паша смеялся и спрашивал, намекая на его ссоры с Гайдушей:

— А что, как он дома живет, Коэвино? Стекла его целы?

— Пока целы, — сказал Благов.

И они начали говорить, какие бывают эти люди — «дели».

<sup>10</sup> — Бывают и женщины такие дели, — сказал паша. — Однажды, еще очень молодой, я шел в Стамбуле по улице задумавшись, мне очень хотелось поступить в морскую службу, потому что мундир наших моряков тогда был очень красивый, с голыми руками. На руках иные люди вытравливали себе знаки, рыбу, например; и я хотел вытравить себе такую рыбу. Меня это очень беспокоило, и я шел задумавшись. Вдруг я чувствую, что меня кто-то крепко ударил по спине палкой. Я испугался; гляжу —  
<sup>20</sup> старая мусульманка, я ее не знал. Ударила и говорит мне так: «Ты что, глупый, идешь печально? Молодой должен быть весел, а ты идешь как старик! Иди хорошо! Смотри!» Еще погрозила палкой и пошла дальше. И я пошел.

Разговор был занимательный, но мне решительно было мучение так сидеть. И есть я не мог, и лицо мое горело от тревоги, и я спрашивал себя, не уйти ли мне? Не отомстит ли мне паша позднее за то, что я, который обедал у себя в Загорах чаще всего с работником Константином, теперь осмеливаюсь...

<sup>30</sup> Я решил, что надо уйти, и вдруг встав, пошел из столовой.

— Что ты? Что ты? — шептал Бостанджи-Оглу.

— Головокружение внезапное, — сказал я и ушел в залу.

Но сам паша встревожился.

— Что с этим мальчиком случилось? — спросил он.

Я слышал еще какие-то слова, слышал, что Бостанджи-Оглу сказал паше: «Бойтся вас, эффендим!»

Благов велел оставить меня в покое; я был очень рад и подошел слушать из-за занавески, что́ они такое говорили.

Слышу — обо мне.

— А! Это сын Полихрониадеса, красивый какой мальчик! — говорил Рауф. (Добрый паша! Дай Бог ему в здоровья поправиться! Нет! Что́ сказать, фанатизм и с нашей стороны глупость; турки бывают люди очень хорошие.)

— Он хороший молодой человек, — отвечает Благов. — Он воспитан по-старинному, в прекрасной и почтенной семье. (Добрый консул! Благодетельный единове-<sup>10</sup>рец мой!)

Паша начал тогда говорить о старине и о том, что хотя и многое нынче лучше, но что были вещи и в старину прекрасные.

— Эта мода, *à la franca*, нам всем много вредит, возвращает людей... И турок, и христиан, и евреев... Всех, всех.

Они поговорили еще немного об этом, и вдруг Благов<sup>20</sup> сказал:

— Однако это и хорошо, что Одиссей ушел; без него одну вещь мне будет легче сказать вам. Вот вы хвалите старину вашу. А я боюсь, что вы сами стали совсем европейцем и не любите делать того, что́ делали паши в старину, «хатыр» друзьям. (О чем эта речь? Опять не обо мне ли? Приникну еще к занавеске.)

— Нет, я делаю хатыр когда могу, особенно таким людям, как вы! — отвечал паша. — Вы что́ желаете?

— Дайте мне слово, что вы мой хатыр сделаете, и я вам тогда скажу.<sup>30</sup>

— Вперед как дать слово!

— Нет, вы верьте мне, что я вредного ни для государства, ни для вас не попрошу.

— Хорошо, — отвечал смеясь паша, — я согласен.

Тогда Благов сказал ему так:

— Когда вы говорили сейчас о женщинах дели, я вспомнил об одной Нице. Вы велели посадить ее за что-то дерз-

кое в тюрьму. Освободите ее, я сам ее никогда не видал, но меня за нее очень просили. Я знаю, что я прошу о деле незаконном, но ведь паша не префект какой-нибудь, и вы сами говорите, что любите действовать и судить по-старинному.

Паша, выслушав эту просьбу, захохотал так громко, что даже закашлялся и замолчал на время; а потом, отдохнув, отвечал серьезным тоном:

— Вы знаете, что эта Ница сделала? Они здесь сме-  
10 тают сор из домов на средину улицы и зажигают его. Это опасно. Я велел запрещать это. Полиция подошла, а люди эти взбунтовались и не слушались. Началась драка. Ница эта была тут же и она ударила по щеке полицейского чауша. За это ее необходимо было заключить надолго. Этого нельзя прощать. За оскорбление полиции полгода тюрьмы.

— Что ж делать? — спросил Благов. — Я согласен, что это очень дурно.

— Что делать? — сказал паша, опять смеясь. — Вы  
20 не знаете Ницы сами?

— Могу вас уверить, что не знаю.

— А кто же такой женолюбец, что просил за нее? Какой-нибудь женолюбец. Она очень красива. И знаете что, она имеет хорошее родство. У нее родной брат офицером в Элладе служит. Я выпущу ее из тюрьмы, но вы должны мне сказать, кто просил за нее? — говорил паша.

— Я согласен открыть вам эту тайну, — отвечал кон-  
сул. — Просил за Ницу вот он, Бостанджи-Оглу. Это  
30 правда, что он женолюбец, и кажется, имеет к ней сла-  
бость...

Слушая это из-за занавеса моего, я удивился, как это не стыдно Благову клеветать, хотя бы и в шутку, на человека. Бостанджи вовсе был не таков; я должен сказать правду; он был благовнее многих молодых людей своего возраста уже вследствие холодности своей, скупости и боязливости. Но Благову не было до этого дела, он думал только всегда о том, чтобы достичь скорее цели. Я не мог

видеть лица Бостанджи в эту минуту, но понял, что он должен быть на этот раз в справедливом негодовании. Однако протестовать он, разумеется, не осмелился, и разговор о заключенной в темницу гетере продолжался.

— Хорошо! — воскликнул паша весело. — Дайте ей знать, чтоб она объявила, будто у нее ревматизм, — ноги болят, руки болят. В тюрьме сыро, не хорошо. Я велю доктору посетить ее, и мы потом ее выпустим.

Паша после этого уехал, и Ницу на другой день выпустили. 10

Мы все думали, что Благов забыл об ее деле. Судьбой ее, ее страданиями в тюрьме старались заинтересовать Благова не одна только Зельха; Козвино рассказывал подробно ее биографию, и Бостанджи-Оглу (это правда) раза два упоминал о ней по одному лишь доброму движению; но Благов сначала медлил, стыдясь вмешиваться в дела предместья Канлы-Чешме, имевшего столь худую славу, а потом настали дни распрей с турками; он, однако, не забыл и этого небольшого дела, нашел наконец удобный час упомянуть о нем, не унижая ни себя, ни свою роль в городе. 20

Таким рядом новых успехов ознаменовало себя в это время наше консульство. Западные завистники Благова радовались слишком рано; а мы все, и я, и кавассы, и слуги, и доктор Козвино (который вошел в тот же день к нам в залу, потрясая палкой над головой и восклицая: «*Des triomphes et encore des triomphes!*»), и те из архонтов, которые были на стороне России, — мы все радовались.

Бостанджи-Оглу был только один, как я и угадал, стоя за дверьми, в справедливом негодовании на консула. 30

Он поднимал руки к небу, сгибал шею, потрясал длиною своею бородкой, и всяческими некрасивыми телодвижениями искал выразить, до чего «это ужасно!»

— И не стыдится, и не стыдится так марать человека пред турком... И не стыдится он, и не стыдится!.. — говорил он почти с отчаянием.

Но... увы! справедливости нет на земле!..



Бостанджи, конечно, был прав, негодуя на эту безжалостную и капризную шутку Благова; но он был так не любим всеми нами, что все мы его горю не могли не смеяться, хотя сами, будучи на его месте, при нашей боязни общественного мнения, оскорбились бы точно так же глубоко, как и он, подобным пренебрежением к репутации нашей!

Все приближенные консульству люди, говорю я, радовались «триумфам», возобновившимся после нескольких <sup>10</sup> поражений; я тоже радовался улучшению дел, но сверх того я радовался еще и тому, что паша узнал меня лично и похвалил меня. Мне было очень хорошо в Янине, но я чувствовал, что мне недостает чего-то существенного и важного... Мне не доставало личного знакомства с генеральным правителем края... Теперь и это осуществилось!..

Если будет нужно, если того потребует интерес мой или благо семьи моей, я пойду к нему самому и, став пред ним, почтительно и умно изложу ему мою просьбу и без помощи консульства! Я понравился бедному Рауфу... Понравилась <sup>20</sup> ему красота и опрятность моя; а еще больше, я полагаю, понравился трепет пред его мощью; трепет, изгнавший меня даже из-за стола!

«Хорошо, Одиссей, хорошо. Еще шаг вперед! Еще утешение матери дорогой! Еще дар Промысла! И вместе с тем, конечно, и искусство. Умел ты в меру и вовремя испугаться...» Это называется «ум!»

## XXVII

Мы все были довольны новыми удачами и успехами консула нашего; мы, радостно смеясь и представляя друг <sup>30</sup> пред другом страстные движения доктора, восклицали подобно ему: «Des triomphes et encore des triomphes...» Но сам Благов и при этом счастливом повороте дел оставался все таким же молчаливым, задумчивым и скучным, каким он нам казался во дни неудач. Он все продолжал удалять-

ся от людей, принимал их только по долгу службы; о прежних сборищах по вечерам, о которых я столько слышал тотчас по приезде моем в Янину, о карточной игре и с консулами, и с архонтами, и с пашой и речи теперь давно не было. Теперь он даже перестал и пешком далеко ходить каждый день, и верхом по утрам не ездил, и картин и рисунков своих не касался.

Он все читал лежа на диване или погрузившись в большое кресло. Он запырался с утра.

Кольйо выходил от него осторожно в залу и, таинственно ступая неслышными стопами в красных чарухах своих, шептал мне: 10

— Опять лег и опять читает!

— Чтò он читает? Ту книжку?

— Да, ту книжку! — говорил Кольйо.

Ту книжку!.. Какая же была эта книжка?..

Забыл ли я, или не пришлось мне кстати — не знаю; но я не упоминал о ней ни разу. Теперь я скажу тебе, какая была эта книга.

Кольйо еще прежде, зазвав меня однажды в кабинет Благова, показал мне ее. Она была не велика, в синем бархатном переплете, с золотым обрезаом и золотым крестом на верхней стороне. 20

— Все эту книжку теперь читает, — сказал мне Кольйо. — Церковная она или нет, я не знаю. Посмотри, чтò такое.

Я посмотрел. Это было Евангелие на французском языке. На первом чистом листе его была французская же надпись очень красивым и мелким почерком:

«Это Святое Евангелие принадлежит милому сыну моему Саше Благову». (Слово «Саша» было написано по-французски так: «Sacha»; это все равно что у нас, у греков, Алеко.) «Милый сын мой! Береги этот подарок любящей твоей матери. Пусть эта святая книга сопровождает тебя всюду. Читай ее, когда тебе будет грустно, и вспоминай обо мне. Вчера, накануне твоих именин, я после обеда пошла одна гулять в наш прекрасный сад, где ты прежде 30

так любил играть, и сорвала два листа, один красный, а другой фиолетовый. Я положила их в это Евангелие и посылаю тебе, чтобы ты знал, что и осень имеет свои утешения и свои красоты. Отрада моей осени — это ты, это твое счастье и моя любовь к тебе, мой обожаемый Саша. Да хранят тебя Милосердный Бог и Пресвятая Дева Мария! Село Александрово; августа 30-го 1852 года».

Под всем этим посвящением внизу было подписано: «Lise Blagow, née princesse Massalsky».

10 Какое горячее и нежное чувство взволновало мою душу, когда я прочел эти строки!.. Большой портрет этой Лизы Благовой, урожденной княжны Масальской, был близко. Я взглянул на него и увидел и на нем еще раз уже знакомый мне густой и темный сад вдаль, увидел белые перила балкона, увидел эту смуглую, еще молодую женщину (в то время уже умершую). Глаза ее такие синие и ласковые! И цветочки в черных волосах тоже синие, не здешние, русские цветы. И за садом, около которого она сидела, чуть видная, где-то, где-то, такая красная, должно  
20 быть, вечерняя заря!

Кольйо ждал моего ответа, и я сказал ему:

— Оставь это. Знаешь, это Евангелие, которое ему подарила на именины его покойная мать. Для спокойствия его души. Вот она что написала.

И я старался как мог перевести ему эту трогательную французскую надпись. Кольйо слушал благочестиво и внимательно, и когда я кончил, он сказал, указывая на портрет почти со священным ужасом в очах:

— Прикипéсса она была... Да спасет Бог ее душу!..  
30 Бедная, умерла она. Видно, он ее любил, мать свою. Православный человек, что ни говори! А только вот что, Одиссей, ты не смейся надо мною, я прошу тебя! Это что на французском языке Евангелие?.. Не знаю, как ты скажешь, а мне это что-то кажется криво... Франкская вещь... Что ты скажешь?..

Но я хотя и сам в глубине сердца находил, что это «не порядок», и мне эти звуки «le bon Dieu, la Sainte Vierge»

были очень чужды и не совсем приятны, сказал ему, однако, важно, что «и самим апостолам заповедано благовествовать на всех языках, и что Дух Святой в виде множества языков сошел на апостолов».

— Разве и у нас не читают на многих языках Евангелие на первый день Пасхи, на *Втором Воскресеньи*?\* Даже по-албански и по-турецки?

— Это правда! Ты все хорошо знаешь, — смиренно и со вздохом воскликнул Кольйо.

И мы, положив книгу на место, ушли. Но подобно<sup>10</sup> тому, как я почувствовал, что и этого жесткого, насмешливого, бесстрашного в наших глазах Благова можно жалеть, когда увидел, что он обжег и ободрал себе до живого мяса руку; подобно тому, как я понял в *Зице*, что он не только командует и владычествует, но иногда и грустит и мечтает, подобно этому и теперь я всем сердцем постиг (с того дня как я видел эту книжку и прочел эту надпись), что у Благова *есть Бог* в преисподних души его; *есть Бог* не для того только, чтобы ходить по большим праздникам в нашу греческую церковь в мундире и орденах. Как должна была<sup>20</sup> действовать на него эта надпись, истекшая из материнского сердца как живой ключ любви, если она действовала на меня, несмотря на иностранный язык, так чудно? Если даже меня восхитили эти *осенние листики*, которые я нашел еще целыми (красный был круглый и зубчатый, сплошь пурпуровый; а другой был тоненький, нежный, весь как кружево тканый, и на нем в самом деле по белому были фиолетовые пятна и жилки необычайно тонкие и красивые). Да! только с этой минуты я стал понимать красоты осени; я понял их печальную поэзию гораздо прежде, чем<sup>30</sup> стал читать об этой красоте у стольких тоскующих поэтов всех времен и стран... До той поры я не обращал внимания ни на увядшие листья, ни на унылые прелести осенних дней.

---

\* *Второе Воскресенье* — так зовут греческие простолюдины вечерню на первый день Пасхи.

Эти листочки и эта синяя книжка не одного Благова сопровождали везде; она с тех пор и за мной следует всюду в мыслях моих, и я с тех пор не могу видеть ни падающих листьев, ни синего бархата, чтобы не вспомнить о них, о моей молодости, о молодости Благова, и об его незнакомой мне и давно уже умершей матери, и о моей, которая до сих пор жива и которую я с годами выучился любить еще больше, чем любил, когда был юношей.

10 Моя мать не умела писать так хорошо, как мать Благова; но что сильнее трогает сердце преданного сына — простота нежной матери или ее высокая образованность — кто решит?..

Итак, он грустил!.. Он скучал у нас. Он писал на родину (я знаю, что он так писал):

«Послушайте! Вот уже два года я задыхаюсь в Эпире!»...

О чем же тосковал Благов? Что было ему так нестерпимо нужно, так мучительно мило? Чего он не имел? Чего? Чего, скажите? Он был красив, был молод, знатен  
20 родом, смел, умен! Кроме звания, конечно, прекрасного для его лет, независимого, видного; кроме того влияния и тех успехов, которыми он мог наслаждаться у нас; кроме всех надежд на иные размеры влияния и власти в будущем, не жил ли он в этом восхитительном жилище, где пахло духами и свежим деревом новой постройки, где под резными потолками пестрели такие разноцветные ковры, где все было красиво: и сам хозяин, высокий, прямой, гордый, бледный, отважный, в бархате и тонком белье, и эти ковры, и лепные узоры стен, и резные узоры потолка,  
30 и красные с белым шахматы египетских циновок, и картины, и сафьянные переплеты золотообрезных книг на столе, воинственные кавассы, румяный и черноокий Кольйо, в чистой как снег фустанелле, и серебро, и конь верховой, и вся утварь, все сосуды... Где даже я был не дурен и не глуп. Где, наконец, и те люди, которые были не так красивы и не так опрятны, или душою не слишком достойны, и те были ему или полезны, или искусны; были забавны,

может быть: был Христо — садовник кривобокий, в красном мундире, и хитрый Вассо, искусный в изготовлении блюд и в других делах; Бостанджи был подвижник в переводах своих, в безропотном многописании, в повиновении, в благопотребном страхе и труде. Чего было ему еще желать, ненасытному?

О чем скучать? Чего искать? О чем томиться?..

Не сам ли он столько раз хвалил наш край, наш город, наши горы и долины, леса и ручьи, наше озеро, наши веселые одежды, наши унылые песни и тихие пляски? Не он ли говорил при архонтах наших: «Зачем мне театр? Здесь на Востоке сама жизнь театр». Не говорил ли он, что даже «здешняя толпа ему милее *траурной* толпы европейских городов». Да! это его собственная речь, это его чувства... Чего же ему еще желать так страстно? Разве нет дела у него? Он сам ищет, он сам создает эти дела... Он сам рвется на всякую борьбу, на всякую схватку, на всякий труд, лишь бы этот труд был видный труд, лестный труд, блестящий, шумный...

Он в этом прав! Русский консул в Турции не просто дипломат придворный. Он должен быть исполнен огневого духа, ума, движения и сил. Он должен быть почти как вождь народный. Он должен быть «политик». Политика есть дух; а дипломатия что такое? Это только одна из форм этого духа.

И Благоев все это знал хорошо; он действовал так, как нужно было действовать в Эпире.

Он любил иногда свою деятельность, он уважал в иное время свое назначение.

Но не только деятельность свою, я уверен, что он вполне искренно любил и самую страну нашу; наши нравы занимали его, и он находил в них много поэзии. Он сам слишком любил все прекрасное, чтоб ему жизнь родины моей не нравилась вся вместе, в своей своеобразной совокупности. Эта тихая и медленная эклога нашей домашней и будничной жизни, которую так внезапно прерывают от времени до времени такие мрачные трагедии.

Он любил не только Эпир и нас всех, в нем живущих; я думаю, что в иные дни удачи он и всю Турцию готов был любить то как зритель, то как деятель, то как зрелище более живое и величавое, чем картонные, искусственные зрелища европейских столиц, то как ничем иным пока не заменимое поприще его молодечеству, его уму, его пламенному честолюбию!

10 Казалось, будто все так покойно и в самом доме нашем, и в полях, и на стогнах глухого, мирного и опрятного города, похороненного в свежей долине за непроездными путями, у синего озера, за двумя высокими и длинными гребнями обнаженных гор.

Нет шума, нет треска экипажей, нет того обманчивого грома и суеты, которые так поражают нас в городах торговых и богатых. Театров нет; балов, бульваров с громкою музыкой; фонари не горят вечером по улицам; пешеходы их несут сами в руках; коляски и кареты не мчатся возбуждающим грохотом по гладкой мостовой; их мало в городе и они едут почти шагом по неровным камням узких  
20 улиц.

Густой, древовидный темный плющ величаво одевает старую стену, рядом с новым и щегольским домиком, окрашенным какою-нибудь веселою краской, зеленою, желтою, белою, голубою, в шахматы.

Задумчивые аисты вьют гнезда на оградах дворов.

И когда представишь себе в воображении всю эту прекрасную и пеструю картину, от границы свободной Греции, от Амвракийского залива, вблизи которого сражались Антоний и Август; от Арты и Превезы, где цветут лимоны и где апельсинами (как яблоками в садах иных стран)  
30 усеяна земля, на север до тех страшных, неизвестных даже и нам, эпиротам, высот и ущелий, где живут кровоместники арнаутские геги, в круглых фесках с густыми кистями; когдаобразишь себе Лакку Сулийскую в старой фустанелле, бедную и отважную Лакку, восхищавшую великого певца Британии, и богатое Меццово в каменистой долине у пределов плодородной и низменной Фессалии (где земля

так черна, где луга так зелены, где стада так тучны, где древний Пиней течет, так чудно извиваясь, к Темпейской долине), Меццово в синих одеждах, обшитых красною каймой, Меццово, сохранившее до сих пор у себя черты старых сословий; и потом румяных полукочующих куцовлахов лесистого Пинда, в одежде белой и суконной, их красивых детей с золотыми монетами на фесках, обрученных, по старому обычаю, уже с раннего возраста; их деревни, пустые в зимнее время; и наши богатые Загоры, наши села с белыми меловыми, каменными крышами, а не с крытыми черепичными, как в других местах; и бедные чифтлики хлебородных долин, где работают для турецких беев угнетенные христиане округов, не получивших издавна фирманами привилегий; когда представишь все это, все, в одном совместном и всецело-разнородном образе драгоценного нашего Эпира, и подумаешь (как думал, конечно, как обязан был думать беспрестанно Благов), что все это, несмотря на обманчивую тишину и медленность, живет жизнью несравненно более здоровой, чем живут жители шумных и торговых городов, и когда знаешь, что все подобные страны под властью турок свежи, как новые всходы хлебов, и воспламенимы так быстро и так страшно, тогда, конечно, станет ясно, в каком смысле Благов, и как политик, и как поэт, мог нас любить!

10

20

30

Но мог ли он жить долго одним созерцанием?

Встречалась на пути трудность, подобная распре Бреши и Бакеева; встречалось дело темное и серьезное, подобно делу Джеффера и Пано, со всеми сложными последствиями; летел камень в окно; горел занавес в греческом консульстве; лилась кровь в дальнем округе; здесь угрожала толпа мусульман; Корбет де-Леси ухищрялся унижить православного агента, — Благов выросал на миг. Но проходили эти вспышки, и все утиhalo. Опять одно созерцание; опять пустой двор и просторный дом; опять мы и только мы, Кольйо, кавассы, я, Исаакидес; опять крик одних и тех же разнощиков хлеба, сластей и баранок, давно знакомых всем в лицо; опять день за день все одно и то же...



Те же лица, те же тяжбы, те же визиты одних и тех же архонтов, те же архонтисы в платочках; те же аисты летом; тот же проливной дождь зимой и те же чугунные, пылающие с утра до вечера в безмолвном доме печи.

В то время в Эпире не было великих и грозных событий, не было кровавых восстаний, не было избиений, как в Сирии или как теперь в Болгарии и Боснии. Турки тогда были мирны и разумны. Не было у нас в Западной Турции и другого рода борьбы, той подземной борьбы папства с Православием и панславизма болгарского с эллинством, которая совместно и одновременно кипела в восточной части Балканского полуострова, в славяно-греческих краях.

У нас, в Эпире, тогда не было напряжения политической жизни; напротив того, настал долгий роздых после кровавых схваток 1854 года, после экспедиции Гриваса в Эпир.

Были дела, но какие? Было тихое брожение умов, были перевороты в соседних землях; и у нас они отзывались переменами мыслей, сомнениями, колебаниями умов, антипатиями и сочувствиями. И тогда Восток был в движении, но только не у нас. В Герцеговине бунтовали. Лука Вукалович уже давно боролся с турками в надежде на помощь держав; фотографические карточки широколицего, усатого воеводы дошли до Японии. Черногорские молодцы и тогда ужасали низамов и обращали их в бегство одним лишь натиском своим, одними лишь воплями воинственного гнева. Еще не остыла кровь несчастных сирийских христиан.

В свободной Элладе, ты знаешь это лучше меня, еще в полном разгаре тогда была борьба партий после удаления Оттона. Англичане (я говорил уже тебе прежде об этом) то пытались разделить греков, то думали подкупить их надолго уступкой «Семи островов». Эпироты ничуть не искали присоединиться к этим «Семи островам» и временные ласки англичан их не вводили в заблуждение; но и свободную Грецию в то время многие были у нас недовольны.

Не внутренних пустых переворотов, не борьбы чиновников за власть, не агитации «докторов без практики

и адвокатов без тяжбы», которыми полны современные Афины, ждали мы, турецкие подданные, от наших свободных братьев Акарнании, Мореи и Акрополя. Мы ждали оттуда новых подвижников для свержения мусульманской власти — подвижников, подобных Марко Боцарису, Маврокордато, Караисаки, Колокотрони и Канарису!..

Обманутые в ожиданиях своих, многие из эпиротов тогда гораздо больше, чем афинскими делами, интересовались тем, что делает черногорец Мирко, изменил ли он, как слышно, черногорскому делу за австрийские деньги или нет?.. Что свершил еще упорный Вукалович?.. Что пишут о нем?

Со смехом и похвалами читали в газетах письмо его к Дервиш-паше:

«Слушай, ты, потурчонок Дервиш! Подкрадываясь, как жалкий трус или мошенник, ты пробрался в мои Зубцы, порасхитил женские фартуки и кудель, поубивал людей, которых не тронет ни один честный солдат, беспомощных стариков и невинных детей; если бы, несмотря на все это, родила тебя мать воином, то почему же не остался ты подождать меня в Зубцах, а с невиданною еще на свете трусостью уклонился от честной борьбы? Если ты юнак, то выходи немедленно из города; на открытом поле мы встретимся с тобой!»

— Вот муж! Вот подвижник! Вот какого нам здесь надо! — восклицали у нас.

И это в городе. А сельские люди в дальних долинах и горах еще меньше обращали внимание на борьбу «черныльщиков» и «словесников» эллинских, а мавровуниотов (черногорцев) знали и они понаслышке и хвалили их.

— Когда мавровуно поднимается, туркам скверно, — говорил один седой старик из дальнего села у нас внизу, в кавасской комнате. — Я черногорцев, этих зверей, знаю (прибавлял он с воинственным восторгом в очах); у них

ружья в шестнадцать четвертей длины, и он, чтобы не тратить лишних зарядов, подбежит к турку, подхватит его вдруг этим ружьем между ног и через себя на воздухе перекинет. Турок на куски и распался! Такие люди — эти мавровуниоты!

Все это Благов обязан был знать; и все это он, конечно, знал, но всего этого ему было мало; не в такую эпоху и не при таких малосложных условиях политической жизни мог он показать себя во всеоружии своих сил!

<sup>10</sup> Я понимаю, верю, он должен был иногда нестерпимо страдать при мысли о том, что и он может прожить тою обыкновенною, бесславною жизнью, которою живут столько людей.

Однажды, я помню, еще прежде, когда Бакеев был еще здесь, они вместе читали русские газеты и нашли в них известие о смерти одного русского и русским довольно известного генерала. Некролога не было. Благов не любил говорить о своих чувствах; он не находил никого достойным проникать в святилище своей гордости и своего себя-  
<sup>20</sup>любия; но почему-то на этот раз он захотел изменить себе и сказал тихо и мрачно, бросая газету:

— Как отвратительны эти простые слова: «Умершие исключаются из списков...»

И после этого неожиданного возгласа, не дождавшись и ответа от Бакеева, он встал и ушел куда-то.

В доме его, говорю я, было так тихо, и просторно и покойно; все мелкие заботы житейские были нами так старательно устранены от него. Он имел полный досуг терзать сам себя, тоскуя о чем-то лучшем, о чем-то мощ-  
<sup>30</sup>ном и блистательном, о чем-то восхитительном и страшном... Вот *теперь*, среди событий, подобных нынешним кровавым событиям на полях и высотах злополучной Болгарии, Благов дышал бы, может быть, весело и бодро!

Нужен был ему еще (я позднее понял это; его вкусы и правила воспитания так были непохожи на наши вкусы, на наши правила!), ему необходим был тот воздух томительно-растлевающий, душистый и веселый воздух, которым

дышат молодые женщины в странах, свободных нравами. Его учил не наш Несториди, который любил, чтобы жена стояла пред ним, и скрежетал зубами при одной мысли о каких-нибудь любовных приключениях; его вскармливал не отец мой, который смолоду боялся, конечно, и смотреть на женщин и, обливаясь потом, носил из Галаты в Перу жарким южным полуднем куски ситцев и сукон на спине своей к покупателям в дом; его отца еще учил эмигрант, маркиз французский, изгнанный демагогией в чужбину. Его отцу (быть может, его деду даже) говорил француз: надо быть рыцарем: «noblesse oblige»; надо пленять женщин и уметь быть достойным их любви, надо быть храбрым и любезным. «Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour!» Мой дед говорил отцу моему: «Не будь женолюбцем! Это мерзость пред Господом!»

Его отец имел поединки за дам (вещь у нас, торговых людей Востока, невозможная, унижительная для мужчины в понятиях наших!).

Моя мать почтительно целовала руку у отца моего не по страсти, но по обычаю, по долгу; она при первой встрече с ним вымыла ему ноги и вытерла их полотенцем.

Его отец, впервые объясняясь в любви его матери, быть может, преклонял пред ней одно колено и считал за честь прикоснуться устами к ее душистой руке, не знавшей никакой работы, кроме кружев, шолка, кисеи. Его мать носила не платочек на черных своих волосах, покров сурового целомудрия и стыдливой сухости. Она цветами украшала их, мечтая в густом саду их богатого села. Отец его не обливался, подобно моему, потом спешного труда. Им обливали землю за этим самым садом, изображенном на портрете, сотни послушных крестьян, — чтоб отец его мог надеть золотые латы на царский парад и чтобы мать имела время выбрать — какие цветы лучше пристали к ее нежному и тонкому лицу.

Его отец начальствовал, мой повиновался; его отец рачител, мой трудился и берег; его отец еще безбородым юношей на вороном коне, в белом мундире и каске, всту-

пал победителем во Францию вслед за Императором русским и принимал букеты из рук покорных парижанок. Мой родитель в детстве своем едва ли и слышал о том, что есть этот Париж на свете; он отроком *пас овец* в окрестностях загорского села и, лежа на траве в ветхой одежде, с *грифельною дощечкой в руке*, учился писать и считать не для того, чтоб упиваться стихами Байрона и Гёте, а для того лишь, чтобы знать *Слово Божие*, чтобы в церкви громко читать, чтобы добывать себе и семье своей хлеб и откупаться от турок.

Благов был младший сын той роскошной и просвещенной русской знати, которая столько веков, исполняя волю царскую, правила грозно народом русским и учила его повиноваться для свершения великих государственных судеб; я был трепещущий *райя*, я был один из тех детей христианского Востока, которые только что в последние годы стали выделяться из своего народа, принимая в душу свою разом и благо, и горькое зло западной мудрости, европейского знания и утонченного растреления более сложных нравов.

Он был сын сословия, уже распавшегося в основах своих, но все еще утонченного и привыкшего к власти; я был дитя класса нового, поздно вступающего на тот общий путь, на котором другие были давно прежде нас.

Мы сходились на этом общем всем теперь пути, но как далеки были друг от друга начальные исходища наши!.. Мог ли я скоро и легко понять его в то время?

И вот теперь я обращаю мысленные взоры мои к этому прошедшему нашему, из жизни навеки невозвратно исчезнувшему, но «неподвижному» и полному трепета и чувств во моей вздыхающей душе... и говорю:

— Чтò думал ты? Чтò думал ты тогда, о мой бледный и стройный, холодный с виду и нарядный покровитель? Ты, на кого я возлагал такие детские неосуществимые надежды? Чтò думал ты?.. Какая глухая буря тончайших ощущений кипела в уме и сердце твоём, когда ты ездил так долго молча верхом вниз и вверх по горным тропинкам вокруг города? Или когда ты по целым часам лежал на

диване своем? Или когда ты усиливался заняться живописью и затворялся в столь свежем и просторном кабинете твоём, куда я (тоже честолюбец!) проникал лишь со страхом и любовью, как в алтарь? И ещё тогда о чём ты думал, когда, качаясь в креслах, читал так внимательно книги, которых пленительная безнравственность привела бы в ужас и Несториди, и Вроссо, и Мессо, и Бакыр-Алмаза, и отца моего... если б они стали читать эти книги; но они и не читали их! Я не знаю, о чём ты думал тогда, о чём ты мечтал и чем терзался; ты, который для меня, смиренного, должен был бы быть всегда образцом покоя и олимпийского счастья... Не знаю! Но мысль моя мне шепчет, что ты тосковал очень часто, ещё чаще, чем нам всем казалосьсь...

Венок из роз и лавров среди грома и дыма, среди стонов, крови и победных песен. Вот что нужно людям, подобным Благову. И никакая *полезная* деятельность не насытит их душу, алчущую не простого труда, а подвигов и жизни. Они будут подчиняться такому простому труду поневоле и в угоду веку, чтобы не быть ни в чём ниже уровня, но втайне, в сердце своём, будут всегда презирать его.

А у нас было все так ровно, все так разочтено и правильно в нашей жизни; и наши женщины, покрытые наискось цветными платочками, ни о чём, кроме погоды и здоровья, не говорили с ним, почтительно встречая его изредка в патриархальных приемных своих мужей и отцов.

«Madame Бреше собой так ужасна», — говорил он сам. Madame Ашенбреннер, напротив, собой красива, но у нее такое множество детей. И она так добросовестна, так неряшлива с виду, — так скучна!..

Она так скучна, — говорю я... Какая женщина не была ему здесь скучна?..

Мне, загорскому юноше, Янина была великая столица; для меня она была полна в то время восхитительных, и юных, и знатных невест, которые то шли по улице в школу, то глядели на меня тихонько из-за решетчатых

ставней... Ему — эта самая Янина была однообразная, ужасная, томительная, хотя и милая деревня; тем более томительная, тем более ужасная, чем она была милее, чем была красивее, чем более хотелось, чтобы под сенью платанов ее, на скалах, поросших плющом, в тени зеленых колонн Додонских, у старой мечети, не быть все одному и одному с подавленным чувством и сдержанною речью...

Мы, глупые, все думали: «Он сердится на пашу, на Леси, на Бреше, на Ибрагима!» О, Боже!.. Чтò такое <sup>10</sup> Рауф-паша? Его жалко. Чтò такое Леси? Он смешон. Чтò такое Ибрагим и Бреше? Их можно унижить иногда... О! конечно!.. Если бы вместо больного Рауф-паши пред ним был бы сам великий визирь, блестящий Фуад или Митхад-паша; если бы вместо Леси ему предстоял Беконсфильд; если б он мог эффектно Гамбетте наступить на грудь ногою... Тогда, быть может, он сказал бы: «Ныне, о, Боже, отпускаешь ты раба своего с миром!»

Но Леси! Рауф-паша! Быть может, он благодарил их и благословлял их за то, что они от времени до времени <sup>20</sup> вонзали иглы раздражения в его плоть; за то, что они вносили хоть какое-нибудь живое чувство в его душу.

Мы не понимали его, глупые мы дети! Простые мы дети отдаленной отчизны моей! Мы не понимали ничего... Понимал его один только человек у нас; понимал его Коэвино. Да, доктор знал его.

Я пошел однажды к доктору и сказал: «Доктор, консул все скучает. Отчего он скучает? Отчего говорил он, гуляя с вами — помните, тогда — по зале своей, отчего он говорил, „что madame Бреше ужасна, а madame Ашен-<sup>30</sup> бреннер не женщина, а только мать и кухарка?“ Чтò это за речи такие странные? Я не понимаю их. Как же мать и кухарка может быть не женщина?..»

Коэвино восхитился моим простодушием и радостно начал объяснять мне все.

— Женщина! (сказал он сладостно и нежно) женщина — это есть нечто или игривое, имеющее то, чтò турки зовут *назиа* (грация), а французы *la coquetterie*. Понима-

ешь? женщина — это искра. Это благоухание! Пусть она будет нравственна, как Лукреция римская, или сластолюбива и преступна, как Лукреция Борджиа. Она в обоих случаях женщина... Искра, цветок жизни... поэзия... А! а! Я могу сказать — искра... цветок нашей жизни...

И встав тихо с дивана, Коэвино осторожно пошел по своей гостиной от меня к Гайдуше, шепча как только мог нежнее и со слезами на глазах:

...«Грация, меланхолическая слабость...» (потом буйно): «Или огневая, пожирающая страсть... (потом возвратился ко мне игриво)... Или, наконец, кокетство... шалость Эротта... Привлекательная живость ума!.. А наши здесь, наши архонтисы...»<sup>10</sup>

И лицо, и голос его, изменяясь мгновенно, стали грубее и он, сев церемонно на краешек дивана, сложил руки спереди и сказал сперва довольно басистым голосом:

— Тí кáмнете кирие прóксене? Калá истé? (Что вы делаете, г. консул? Здоровы ли вы?)

Потом пересел подальше и голосом тонким:

— Ти камнете кирие проксене? Кала исте? У нас здесь Турция! Дороги у нас жалкие, непроездные.<sup>20</sup>

Это была другая дама.

Потом третья с громким визгом:

— Ти камнете кирие проксене? Кала исте?.. У нас здесь Турция; дороги у нас жалкие, непроездные!..

И так далее он продолжал передвигаться по краю дивана и, меняя до бесконечности голос свой, представлял очень долго; а мы с Гайдушей смеялись, глядя на него.

Доктор преувеличивал; он ненавидел все местное и был несправедлив, конечно. Многие из архонтис наших красивы, милы и умны. Но правда та, что «они хороши только для мужей своих», по нашей поговорке; они не умеют и не смеют быть беспорочно-свободными и безгрешно-любезными с посторонними людьми. Они сдержанны и холодны с чужими; их приучили отцы и мужья слышать старый возглас:<sup>30</sup>

«Хвала тебе, мужчина пылкий, и женщина холодная — привет тебе!..»



Я мог бы огорчиться словами Коэвино, ибо и моя мать часто помогала служанке стряпать на кухне, и она точно так же приветствовала гостей.

Но я не огорчился, а задумался и, возвращаясь домой, думал не о спасении души моей и не об уроке завтрашнем, и даже не о Восточном вопросе или о блеске будущей карьеры моей, а лишь спрашивал себя о том, есть ли у моей несравненной туркуды, у Зельхи моей, меланхолическая грация, огневая страстность или игривость детская и чарующая?

И нашел, что у нее, у глупой такой цыганки, все это есть! А что безумный доктор гораздо умнее наших благо-разумных людей, это я понял уже давным-давно, и как он ни юродствовал, но слово его давно уже приобрело в глазах моих большой вес! Это не то что было тогда, когда я впервые вступил в «турко-саване» в его дом, сопровождая отца моего прошлую осенью!..

О! как уже далеко и как чуждо стало для ума моего это младенческое время!

Все течет, все течет! Но куда?..

## XXVIII

— Женщина! Женщина! Искра! Цветок жизни! Поэзия! Грация, меланхолия, дикая страсть, милая шалость Эрота!.. — говорил Коэвино.

Не понравится ли эта Ница Благову? Не развлечет ли она его на миг? Не освежит ли ее любезность хоть ненадолго ему воздух этой Янины, которая была в глазах его лишь очаровательная живописная деревня, забытая в горах за непроездными дорогами.

«Этот прекрасный край! Ce beau pays, — как говорил он при мне доктору... — Но иногда здесь задыхаешься, это правда...»

Ница красива; она и смела, и разговорчива; она читает и пишет недурно; она даже сочиняет стихи; те небольшие

двустиишия, которые умеют шутя сочинять простые гречанки на дальних островах и у нас, в нашем странном Эпире, столь диком и столь грамотном.

Доктор заинтересовал ею Благова; он рассказал ему всю ее прежнюю жизнь. Говорили о ней и другие. Бостанджи-Оглу знал также о ней некоторые подробности.

Ница родилась здесь, в этой самой Янине, и у матери ее был прежде довольно миленький домик в предместьи Лутца; с небольшим садом, с цветами на дворике, мощенном плитами. После смерти отца Ница осталась всего <sup>10</sup> четырнадцати лет, и они с матерью едва-едва могли жить и питаться. Красота Ницы тогда была чрезвычайна. «Но солнце ее почти не видало», как поет одна песенка, и только иные близкие соседи знали ее в лицо. Шитьем приобретала она себе и матери насущный хлеб. Красота ее не только не уменьшалась с годами, а напротив того, становилась все совершеннее. Она выросла, и к тонким чертам, к темным шелковистым волосам и глазам, исполненным жизни и огня, к правильному овалу белого лица, к румянцу нежных щек (на одной из них была и та <sup>20</sup> черная, маленькая мушка, которую считают иные верхом обольстительности, последнею каплей, переполняющею сосуд любви!), прибавился и стройный, гибкий, величавый стан.

Скоро ей понравился один юноша-армянин. Он был издадека и выдавал себя за грека.

Но постой, ты знаешь, я одно время думал быть поэтом и пробовал писать стихи. Это было позднее моей первоначальной жизни в доме Благова; я тогда был уже гораздо <sup>30</sup> зрелее. В старых бумагах моих хранится отрывок, где я пытался неопытною рукой изобразить горькую и правдивую историю этой бедной любви двух юных, невинных и несчастных сердец, разделенных строгостью отеческой веры. История эта, столько раз слышанная мною, поразила мое воображение. Я ничего не исправлял в этих стихах; я ничего теперь к ним не прибавил; они остались как были с дурными рифмами, с недоконченными картинами...

Прости, мой друг, моему пиитическому бессилию, прости во имя чувства, прости бессильному творцу во имя той правды, которую он пытался изобразить.

Под гнетом варварским храня  
Отечества священные преданья,  
Жила в родном жилье безропотно и тихо  
Мария, честная гречанка...  
В одежде черной, как прилично  
Вдове сурового Эпира...  
10 Она имела дочь одну; ее одну любила.  
И Ница милая была  
Подобна цвету раннему апреля.  
Глаза и рост, и стан, улыбка граций...  
Все в ней дышало благородством...  
«Архонтством пахло» от нее, хотя  
Она была бедна и часто хлебом лишь питалась...  
У них был дом...  
О! грек, вернувшийся с чужбины,  
Взгляни на эти скромные дома,  
20 На эти крыши с красной черепицей...  
В садах, в блестящих листьях шелковицы...  
На эти чистые и бедные дома...  
Тот желтый, — глиной лишь покрыт; другой белее...  
Один побольше, тот беднее...  
О! элин! чувствует твой дух  
Как много силы тут таится?..  
Здесь пламень веры не потух...  
Здесь Православие хранится!..  
Все древний дух отчизны здесь лелеет —  
30 Все сердцу грека говорит:  
«Страданий много здесь, труда, лишения,  
Но веры луч, незримым подвигам смиренья  
Венец, Христом обещанный, дарует.  
И чистых радостей семьи...  
..... чарует!»  
Он был не грек; он греком лишь назвался.  
Никто не знал, что армянин  
Под этим именем скрывался.  
Он был почти дитя; девятнадцать лет ему лишь было,  
40 Когда любовь ему всю душу озарила...  
Весной, когда миндаль цветет, белея,  
В своем саду она сидела, напевая,

На зелени, и шила матери одежду.  
 Две русые косы у ней до пояса спускались.  
 Она одна была и пела, и над ней  
 Цветов миндальных лепестки  
 С ветвей тихонько осыпались.  
 И подняла она глаза...  
 Ей было лет шестнадцать лишь, о Боже!..  
 И он был так хорош, высок и свеж...  
 И чернобров, и бел лицом, румян и строен...  
 Как здешний куцо-влах, одет весь в синем —  
 И в новой феске... «Вы здоровы?» —  
 Спросил он, а она: «Поли калá... Как вы здоровы?  
 Вы мать мою хотите видеть?.. Нет ее...»  
 — «Нет, извините, ничего!» — он отвечал, краснея...  
 И он ушел, стыдясь, ушел поспешно...  
 И стало скучно ей; и эта ночь у ней была долга,  
 Душна, мучительна, и много  
 Назавтра плакала она о том,  
 Что снова милый мальчик тот  
 К ним не пришел и не спросил еще стыдливо:  
 «Здоровы ль вы, кириа Ница?..»  
 Пришел, ушел, еще пришел. Любовь все зрела...  
 Голубка видела его и видеть вновь хотела.  
 Но вот узнала мать: «Он армянин...  
 Он армянин! Не нашей веры он...  
 Нет, это грех, и дочь погубит душу...  
 Я не могу! Он армянин — не православный...  
 Не в нашей Церкви вырос он  
 И плоть, и кровь Христову  
 Не в нашей чаше ест и пьет...  
 Я не могу!.. Я прокляну и дочь, и час ее рожденья!..»

10

20

30

Дальше нет стихов у меня в бумагах; но я хотел тогда изобразить в них дальше эту тяжелую борьбу просто-душной и ничем непоколебимой веры с материнскою любовью; печальную покорность дочери; горе юноши. Его попытки обольстить Ницу, если нельзя уже стать ее мужем. Была у Ницы тетка, сестра отца, вдова и очень бедная. Киркор обратился к ней и отдал ей все, что у него было, говоря: «Я потом женюсь; может быть, мать потом согласится».

40

Тетка зазвала к себе однажды Ницу. Ница пришла. Киркор сидел у стола; пред ним стоял графин с вином. Увидав Ницу, он заплакал и, ударив по столу рукой, сказал: «Царевна ты моя, царевна! Волосики твои темные и густые, как кипарисы царьградские!.. Чтò делать мне, бедному, чтò мне делать!..»

Тетка ушла, и они остались одни. Много раз видалась потом у этой женщины Ница с молодым Киркором.

10                   И ласкам не было конца,  
                  И разговорам и объятьям...  
                  «Дождемся ль мы с тобой венца?»  
                  Или одним с тобой проклятьям  
                  Мы суждены подпасть  
                  За нашу бедную любовь?...  
                  О горе наше! о напасть!..»  
                  «Всю жизнь мою, всю душу, кровь  
                  Я за тебя готов отдать!..»  
                  Так шли часы, часы блаженства!..

20           Когда Ница почувствовала, что она беременна, она сказала тетке, а тетка начала убеждать мать, чтоб она согласилась на этот брак. Мать, убиваясь и рыдая о позоре дочери, однако, продолжала говорить, что это грех и что она отдаст ее Киркору только в том случае, если он перейдет в нашу веру. Киркор уехал; Ница родила девочку. Бедность стала еще тяжелее; соседи гнали их; звали мать непотребными словами; а дочери ушибли голову до крови, кидая в нее камнями.

Они продали чистый домик свой и наняли жалкую квартиру в Канлы-Чешме.

30           Мать старела; дочери нужно было кормить и себя, и ее, и девочку. Она работала и старалась честным трудом приобретать семье хлеб.

Голубка бедная, трудясь, хотела спастись и выйти снова на добрый путь, но коршун зоркий уже чертил издали над нею преступные круги.

Куско-бей разыскал ее. Он с ранних самых лет, несмотря на всю строгость нравов отца своего, умел устроить

свои любовные дела или, вернее сказать, свершать свои подвиги холодного и грубого разврата. У него была старая няня, которая любила его донельзя и ни в чем не умела отказать ему; чтоб отец не знал, когда он ночью уходит из дома, он упрашивал старуху ложиться в сенях и привязывал к руке ее длинный снурок, который и пропускал сквозь замок на улицу. Едва только засыпал отец, он тихонько уходил, и когда возвращался на рассвете, то ему не нужно было стучать кольцом замка. Он дергал снурок и будил параману, которая осторожно отворяла ему дверь. Трудно было усто-<sup>10</sup>ять бедной девушке против настойчивых усилий такого изобретательного и богатого человека. Однако она долго боролась. Куско-бей гордился не только богатством и хитростью, но и красотой своею, которую не могла вполне затмить и отвратительная одежда его. Он был разгневан ее долгим и гордым сопротивлением и решил беспощадно наказать ее.

— Как? Отдаться по любви какому-то мальчишке-армянину, разнощику уличному, и пренебрегать мною, молодым богачом и красивым архонтом в европейском платье?.. Нет, я накажу ее за ее долгое сопротивление.<sup>20</sup>

Он предложил чрез какую-то женщину Нице сто золотых лир.

Сто золотых лир!.. Это то, что для меня было бы пятьсот или тысяча!.. Сто лир — это состояние, которое в нашем краю с радостью берет за невестой учитель гимназии, доктор, христианский чиновник Порты или даже иной купеческий сын. Ница наконец уступила. Свиданье было тайком от матери назначено в одном хану. Они виделись там, и Куско-бей начал с того, что отсчитал ей эти сто<sup>30</sup> золотых и положил их на окно.

Когда Ница доверчиво уснула, Куско-бей взял ее шаль, ее головной убор и все, что только мог захватить из одежды ее, чтобы лишить ее возможности показаться пристойно на улицу, вышел тихо и запер ее снаружи, но деньги свои оставил великодушно на окне.

Ница проснулась и с ужасом поняла все; кричать ей было, конечно, невозможно; она пробыла так взаперти

очень долго, пока, наконец, ханджи не подошел к ее дверям и не переговорил с нею. Послали за тою женщиной, которая была посредницей в этом печальном деле; она поспешила к Куско-бею. Куско-бей объявил, что он отдаст вещи и ключ только в том случае, если Ница возвратит ему сама, по охоте, его сто лир все сполна. Бедная девушка одну за одной просунула все сто лир сквозь щель из-под двери и тогда Куско-бей освободил ее.

С тех пор она привыкла уже к бесчестию и стала вести  
10 худую и позорную жизнь.

В Элладе у нее был родной брат, офицер королевской службы. Еще ребенком его выписал туда один богатый родственник их, обучил его и сделал, как у нас говорят, «человеком». Прежде он присылал иногда письма матери и сестре. Потом перестал. Потом мать от приезжих из свободной Греции людей узнала, что он недавно отдал на приданое одной сироте, дальней родственнице их, всю сумму денег, сбереженную им за несколько лет из скромного жалованья, вероятно, путем очень чувствительных  
20 лишений. Узнав об этом удивительном поступке, Ница писала ему не раз, прося помощи или позволения приехать к нему. Брат не отвечал; пробовала сама мать писать ему чрез других, но этим другим брат ответил так: «Я долг родства считаю, как всякий благородной души грек, высоким долгом, вторым после долга патриотического; я сам обязан моим высоким образованием тем родственным чувствам, которые одушевляли благодетеля, воспитавшего меня. Но долг родства не простирается на тех женщин, которые позорят и бесчестят имя, носимое  
30 мною, и память моего отца. У меня нет ни матери, ни сестры; и те небольшие средства, которыми я располагаю, я лучше пожертвую на что-нибудь более полезное для отчизны и человечества, чем на потворство развращению нравов».

Жалко было этой Ницы, жалко старой матери. Но я нашел, слушая этот последний рассказ (Бостанджи-Оглу говорил об этом Благову), что строгий брат был прав.

Подобно ему поступили бы у нас очень многие честные люди.

Каково же было мое удивление, когда г. Благов, выслушав также все это с большим вниманием, сказал с самою неблагоприятною интонацией своею: «Мерзавец, однако, этот офицер!»

Как же мне это понять? Кто прав после этого?

Кого же мне слушаться?

## XXIX

Такова была история этой Ницы. Освобожденная из <sup>10</sup> тюрьмы пашой, она опять прислала Зельху спросить у консула позволения прийти к нему и лично поблагодарить его.

Охота, с которою Зельха хлопотала за свою красивую соседку, еще раз доказала мне, до какой степени Зельха была равнодушна к консулу и как она была нерасчетлива и не ревнива, когда дело касалось этого человека, видимо, чтимого ею только за сан его и любимого по-детски лишь за подарки, которыми он ее осыпал.

Получив соизволение Благова на просьбу Ницы, Зель- <sup>20</sup> ха тем же самым, известным тебе порядком, зашла ко мне в комнату и села на мой диван. Повторять тебе все то же я не буду... мне стыдно. Скажу только, что я, при помощи вражией, становился с каждым разом все смелее и смелее.

Расставаясь с ней, я просил ее сказать мне искренно: «Нравится ли ей консул и желает ли она стать его возлюбленной?»

Она сделала гримасу и отвечала серьезно и как бы печально:

— Нет; холодный человек! Сердитый человек! Он не <sup>30</sup> свежий такой!

— А я? Я тоже суук-адам, и я сердитый! — сказал я ей, и нарочно, придав себе грозный вид, поглядел на нее дикими очами.



Но Зельха, приложив в ответ на эту шутку мою бережно к лицу моему ладони рук своих, сказала с выражением задумчивой, меланхолической нежности только одно слово по-гречески: «мана-му» (маменька ты моя!). И после этого, простившись со мною, она ушла.

Благов согласился принять Ницу. Архистратиг эфирский, распорядитель придворный, — кавасс-баши Маноли поспешил предупредить красавицу, чтоб она не жеманилась, не боялась, не стыдилась, не терялась, если <sup>10</sup> консул примет ее хорошо, а держала бы себя как «кирия».

Ница, руководясь общим янинским обычаем, по которому молодая женщина ни по улице, ни в дом какой-либо не должна ходить одна, без другой пожилой особы женского пола, пришла со своею матерью, очень опрятною и пристойною старушкой, одетою во все темное и которая была, как я теперь нахожу, ничем почти на вид не хуже наших старых архонтис. (В то время я, разумеется, не <sup>20</sup> дерзал так мыслить, ибо важных старушек совсем иного рода я никогда еще не видал.)

Маноли, однако, с помощью повара Вассо убедил эту мать, чтоб она свое старое лицо и не показывала наверх. Ница взошла одна.

Г. Благов приказал принять ее в большой своей приемной и позвал туда Бостанджи-Оглу, говоря: «Может быть, мы с ней не пойдем друг друга хорошо. Я не всегда понимаю здешний простой язык».

Я в это время читал книжку в этой самой большой приемной и, услышав приказание консула принять сюда <sup>30</sup> Ницу, хотел уйти, но он сказал:

— Куда ты? Сиди здесь.

Причина, заставлявшая г. Благова желать, чтобы при свидании его с молодою гетерой были свидетели, была, впрочем, понятна: он хотел, чтобы все знали, как он просто и обыкновенно принимает ее, не иначе как христианку, пришедшую благодарить его за покровительство и защиту.

Ница вошла. Она была в черном шелковом платье и черной кружевной косыночке на темно-русых и густых волосах.

Благов встал... (Да! вообрази, он встал) перед нею, как вставал перед madame Арванитаки, перед madame Исаакидес или перед моею матерью; потом вежливо предложил ей сесть, сам сел и приказал Кольйо подать кофе.

Ница была видимо смущена этим почетным приемом, она перебирала складки на юбке своей, краснея, и пальцы ее дрожали. 10

Мы с Бостанджи-Оглу переглянулись и хотели улыбнуться, полагая, что консул веселится и поднимает ее на смех, но заметив, что на лице Благова то полное и серьезное спокойствие, которое обыкновенно внушало нам почти-тельный страх, удержались от улыбки и ждали, что будет дальше.

Ница, по-видимому, от смущения не собралась еще с силами начать свой благодарственный комплимент, когда уже сам Благов начал так:

— Я очень рад, что мог быть полезен вам... Паша 20  
хороший человек.

Ница тогда привстала на минуту и отвечала так:

— Я не знаю, как мне благодарить господина консула за это благодеяние... Я совершенно напрасно страдала бы и мучилась в тюрьме, если бы вы не взяли на себя этого труда...

Тут уже и Благов улыбнулся:

— Вы говорите: напрасно? Это мне нравится.

— Ах! эти турки! — воскликнула Ница...

— Турки, конечно, турки, — сказал консул; — одна- 30  
ко признайтесь, между нами, христианами, что вы очень смелы... Ведь это правда, что вы ударили унтер-офицера в лицо при всех на улице?..

Ница молча потупила очи на минуту; но потом подняла их опять на консула и сказала как-то особенно томно и делая красивое движение головой:

— Да, я его ударила...

— Мне это нравится; мне это нравится!.. — сказал смеясь Благов, — так его и надо...

Мы все радостно засмеялись.

(О, если б услышали этот разговор Корбет де-Леси, Ашенбреннер и Бреше!.. Какая бы пища была для их перьев... «Грязные интриги русского консульства!.. Возбуждение народных страстей... Унизительные сношения с потерянною женщиной! — Бездушная низость Рауф-паши, который делает г. Благову непростительные уступки...  
10 Нет! Это в самом деле ужасно! — Турция эта несчастная видимо разлагается! Пашу необходимо сменить и т. д...»)

Подали кофе и папиросу Нице. Ница пила и курила не спеша, естественно и не без достоинства. Мне казалось, что консул глядел внимательно на ее руки, и я посмотрел на них; они были немного велики, но очень чисты и на них было несколько золотых колечек с бирюзой и другими камнями.

— У вас брат офицером в Элладе?

— Да, — сказала Ница, — он имеет хорошую долж-  
20 ность и не так давно был награжден королем Оттоном, еще прежде этой революции в Афинах...

— За что?

— Не знаю! — с очень милым выражением презрения отвечала Ница, — кажется, каких-то разбойников убили там, в Элладе... Там у них разбойников больше еще, чем здесь в Турции...

— Отчего же этот брат не помогает вам? — спросил Благов.

Ница сделала еще приятное движение и плечами, и голо-  
30 вой, которого я изобразить не могу, но оно опять было очень ловко, и отвечала:

— Он не хочет нас знать. Счастливый человек несчастного человека не жалеет. Не все, господин консул, такие хорошие, как вы, что жалеете людей. У людей иных много злобы.

Благов, видимо, не знал, что ответить на это, и молчал; как вдруг Бостанджи-Оглу вскочил и сказал:

— Господин Благов, кирия сочиняет иногда прекрасные двустишия. Заставьте ее хоть одно сказать.

Ница опять очень смутилась и воскликнула:

— Не сто́ит это внимания!.. Простые вещи... Иногда для развлечения...

Но Благов оживился и просил ее убедительно сказать хоть одно. Ница опять опускала глаза, опять перебирала складки одежды своей и, снова и с изученною как будто быстротою поднимая смелые глаза свои не на Благова самого, а на Бостанджи-Оглу, сказала:

10

— Такие пустяки я буду здесь говорить? Вы хотите смеяться после надо мной. Пусть будет, впрочем, так, как вы желаете. Я скажу.

Потом, внезапно обратясь к Благову, она проговорила не спеша и очень выразительно сперва одно двустишие:

Что небо без столба стоит, дивлюсь, над нами...

Дивлюсь еще, что ты меня, мой друг, любить не хочешь!..

И еще:

Имела в жизни я четырнадцать любовей.

Но эта... вот последняя... она меня погубит!..

20

И при этих словах у Ницы, ничуть не улыбавшейся губами и по-прежнему сохранявшей в голосе, и в выражении лица, и в позе какую-то почтительность, не лишенную все-таки достоинства, сверкнуло в глазах, глядевших до той минуты так тихо и томно на Благова, что-то веселое и лукавое так быстро и так выразительно, и так неожиданно, что Благов сильно покраснел, и мы с Бостанджи уже не могли воздержаться от улыбки, а потом оба испугались, что консул на нас оскорбится.

Но Благов постарался оправиться и сказал спокойно:

30

— Это очень хорошо! Очень мило. Да, я слышал, что и здесь, и в Крите, и в других местах женщины умеют сочинять эти двустишия. Очень хорошо... Благодарю вас.

И с этими словами он встал и, пожелав ей здоровья и всего лучшего, протянул ей руку как равной... Ница

быстрым движением, которого он ожидать не мог, нагнулась и поцеловала его руку, как у отца, священника, или мужа.

Благов после этого хотел уйти, но молодая гетера остановила его еще на минуту и сказала:

— У меня, господин консул, есть одна тяжба...

— Тяжба? У вас? — спросил Благов с удивлением.

— Точно так, господин консул; я имею тяжбу и очень прошу вас, чтобы вы поговорили обо мне митрополиту или  
10 самому паше. Есть здесь один молодой такой, имя ему Валаса́ки Сту́па. Он прошлого года хотел на мне жениться и брал иногда у меня взаймы деньги, а иногда мне дарил некоторые вещи. Теперь родители этому Валасаки на мне жениться не позволяют; а он денег мне моих не платит и вещи свои требует: пара серег, и браслет, и шаль еще одну. Я очень прошу вас, господин консул, защитите меня; пусть он или возьмет меня за себя, или вещи мне оставит, или деньги заплатит. Я имею расписки его.

20 Говоря это, красавица достала из кармана пачку маленьких расписочек.

Но Благов не взял их и, сказав ей только: «Хорошо... Я подумаю об этом», удалился.

Ница тоже ушла.

Не знаю, много ли думал об этой тяжбе Благов; но знаю, что он ничего не сделал, и никому, ни митрополиту, ни тем более паше никогда об этом деле не говорил. Ница чрез несколько дней пришла опять узнать, есть ли надежда на выигрыш этого дела; но Благов велел ей сказать, что ему «некогда», и не принял ее.

«Ни вина мне пить, ни веселиться не надо!»

Вот что Благову понравилось, когда мы с ним беседовали о поэзии в Зице!..

Но может ли самый печальный и невыносимо скучающий человек сказать, что его никто и ничем не развеселит завтра же?..

Можем ли мы быть уверены, что какой-нибудь старый друг, давно невиданный нами, или новый знакомец остроумный и веселый не утешит нас беседой своей и что мы не выпьем с ним охотно стакан хорошего вина?..

.....  
Мы толпой выходили из училища около полудня; я<sup>10</sup> стоял еще на крыльце, когда один из товарищей моих закричал:

— Посмотрите, кто это едет на лошади Благова?..

Я поспешил к воротам и увидал, что австрийский кавасс идет пешком, а за ним едут шагом верхами Ашенбреннер и еще какой-то видный мужчина в синем мундире; этот последний был в самом деле на нашей рыжей и красивой лошади.

Они делали визиты паше и консулам.

Незнакомец в синем мундире был некто Бранкович, далматинец и австрийский моряк, давний друг Ашенбреннера, и приехал посетить его и взглянуть кстати на жизнь<sup>20</sup> внутренней Турции.

Австрийский консул прислал к Благову за верховую лошадью для него.

Все ученики наши хвалили мужественный вид и красоту далматинца.

Часа через два после этого я увидал его вблизи, в зале Благова.

Я почти столкнулся с ним, когда он входил на лестницу.

Бранкович был очень высок ростом, смугл, плечист.<sup>30</sup> Глаза у него были черные, красивые и веселые; редко я видал такое приятное соединение воинственности с мягкостью и мужественной силы с ласковою тонкостью!

Он ответил вежливо на мой поклон.

Благов встретил гостей в дверях и увел их в приемную. Чтò они там говорили — я не знаю. Кольйò был счастли-

вее меня. Он носил в приемную кофе и варенье и стоял там долго с подносом, пока они кушали.

Когда он вышел оттуда, он, обратясь ко мне, сказал с энтузиазмом:

— Видел ты, какой зверь \* австриец этот? Лев! Этого Коэвино уж добрым поваром с Ллойда не назовет. Чтò за мужчина! И какая у него эта форма прекрасная... Не стра- тиг ли он?

Я спросил:

10 — Душка моя Кольйо... Скажи, чтò они говорили там?

— Гм! — сказал с пренебрежением Кольйо, — пустые вещи... О каких-то женщинах, которые поют на театре... Так мне показалось... Почему я знаю!

Чрез полчаса Бранкович и Ашенбреннер ушли, а на следующий день они оба обедали у нас.

Консул никого не пригласил еще, кроме Коэвино.

Мы с Бостанджи-Оглу весь обед молчали, конечно, и слушали оба с величайшим вниманием. И Благов, и Бранкович были оба очень веселы. Бранкович говорил больше  
20 всех; Благов поддерживал разговор охотно и по выражению лица его, по тону, по всему было видно, что новый знакомец ему чрезвычайно понравился. У него была в этот день другая улыбка, и свет его очей был тот ласковый свет, который я видел у нас в доме, в Загорах.

Коэвино был тоже вне себя от удовольствия, внимая речам Бранковича. И хотя он больше любил сам говорить, чем слушать, но в этот день и он был разумен и умерен.

Ашенбреннер был всегда любезен.

30 Больше всего меня поразило тогда то, что все эти просвещенные люди, эти европейцы, почти ни слова не говорили ни о политических, ни тем более о торговых делах.

Напрасно старался я уловить хоть тень или какое-нибудь подобие того, о чем говорили у нас в Эпире между собой люди дела и влияния! Это было совсем иное. О Турции

---

\* Греки употребляют слово «зверь» часто в хорошем смысле, в смысле силы, мужества и даже красоты.

почти ни слова, о злоупотреблениях пашей ни слова, о цене пшеницы или о податях, о которых говорил тогда весь город, тоже ни слова.

А между тем разговор веселый, шумный, свободный не умолкал. И все о любви, все о женщинах...

А я все это слушал и старался глубже постичь, как вести себя в обществе ввиду карьеры и будущего богатства.

Сначала Бранкович сказал Благову, что в английском консульстве скоро будет перемена; он почти наверное знает, что Леси будет повышен и на его место придет г. Виллартон (тот самый, помнишь, которого побил на улице араб, по словам садовника Христо). Бранкович прибавил, что он Виллартона знает хорошо.

— Он, кажется, крайний туркофил и интриган нестерпимый? — спросил Благов.

Бранкович опустил глаза и поспешно ответил Благову, что, «не служа сам на дипломатическом поприще, он не может судить о деятельности Виллартона, а туркофилы — англичане все».

— Однако разница, — заметил Благов.

Но Бранковичу не хотелось поддерживать этого разговора и он, опять вдруг повеселев, воскликнул с жаром:

— Но жена его, жена его, господин консул! Жена господина Виллартона... Это нечто удивительное и прелестное! Это демон и ангел! Наездница и дипломат; истинная леди и вместе с тем... и вместе с тем, как я вам это выражу?

— Не выражайте — я догадываюсь... — сказал ему Благов, сияя от радости злословия.

Лицо Бранковича опять быстро изменилось; он скоро потупил очи и серьезно возразил:

— Боюсь, что вы не так поняли мое колебание...

Потом он продолжал:

— Найти общество подобной женщины в турецком городе, это значит найти жемчужину!..

— В куче сора? — подсказал доктор Козвино с хохотом.



Опять Бранкович отклонил злословие и сказал:

— О нет! Я не то хотел сказать. Разве вы находите, доктор, что турецкие города так неприятны? Мне многое в них нравится... Как вы, господин консул, находите турецкие города?

— Нет, — отвечал Благов, — я не нахожу их слишком неприятными и мне многое здесь нравится.

— Г. Благов ориенталист своего рода, — заметил Ашенбреннер. — Я советую вам, Бранкович, посмотреть рисунки и фотографию мсье Благова. Он делает альбомы восточных одежд. И приемную вы его видели?.. О! он здесь как дома!

Все улыбнулись, и Бранкович возобновил свою речь о госпоже Виллартон.

— Я продолжаю, — говорил он. — Виллартон, это, во-первых, леди, я сказал, в полном смысле слова. Когда она была с мужем в Константинополе, *monsieur de Lavalette*...

— *Monsieur le valet tout court*, — вставил Благов.  
20 Бранкович потребовал объяснения, и когда Ашенбреннер рассказал ему о том, что Фуад-паша считает фамилию Лавалетт грамматическою ошибкой, он много смеялся и рукоплескал.

— Хорошо, начал он потом, — пусть будет так! *Monsieur Le Valet* сказал про мадам Виллартон, когда познакомился с ней в Константинополе на балу: «Эту женщину и в Париже бы заметили».

— Чтò ж? — перебил Благов с небольшим движением презрения. — Двор Императора Наполеона III вовсе ни в чем не образец. Франция второй Империи это гигантская пошлость во всех отношениях (*une platitude gigantesque*)!

— Я не совсем с вами согласен, мсье Благов, — заметил Ашенбреннер. — Чтò такое Франция! Мы имели несчастье испытать в 59 году...

— Стальная машина, без внутренней жизни, без души, — возразил Благов. — Но мы мешаем господину Бранковичу рассказывать...

Бранкович опять продолжал:

— И что ж? Что, вы думаете, сказала madame Виллартон, когда похвала французского посла дошла до нее. «Конечно, это может показаться с первого раза приятным (сказала она). Но на что мне это? Я знаю, все эти парижские дамы на один манер и весь ум их из книжек или из театра. А я по крайней мере развилась сама под пальмой, около Бейрута...» Вот что она сказала, messieurs! И какой тон! Какой голос, тихий, гармонический... И взгляд... и взгляд, messieurs, подобный лунному сиянию!.. Она родилась действительно в Сирии и ее мать была сирийская гречанка; а отец негоциант-англичанин. И надо слышать еще, когда она начинает говорить по-турецки, самым изящным, литературным турецким языком... Все эти Гафизы, Саади, все это ей известно... И как она ездит верхом! Вы, господин консул, хорошо ездите?

— Недурно! — отвечал Благов с притворною скромностью.

— А! — вмешался наконец Коэвино, который до тех пор молчал, не сводя почти глаз с австрийца (лицо его было задумчиво, не знаю, от счастья ли, что разговор идет в его вкусе, или от того, что он утомился долгим молчанием). — А! это неправда. Господин Благов великолепный наездник! Он может объезжать диких коней... Он кавалерист, он кентавр... Могу сказать, да! Он кентавр.

— А если вы кентавр, — преклоняясь, сказал Бранкович, — то я завидую вам, monsieur!.. Вы можете ездить с ней спокойно. А я, признаюсь, хотя и ежу, но как старый моряк, я больше привык к борьбе с океанами, чем к управлению конями. У madame Виллартон есть серая в яблоках лошадь... Я любил смотреть, когда эта лошадь рвется у нее в руках большим галопом. И левая рука ее устанет, и она положит правую руку с хлыстиком (son avant-bras droit)... еще сверху на узду, чтобы сдерживать лошадь для меня или вообще для того кавалера, который с ней едет... И говорит спокойно, как будто она и не на лошади огне-

вой, monsieur, а на мягком диване. Это восхитительно! Впрочем, если вы и кентавр, то берегитесь быть кентавром Ниссом...

— Ниссом? — спросил Благов, — я этого кентавра не знаю... Я забыл мифологию...

Г. Бранкович хотел объяснить; Коэвино, которого лицо давно все трепетало и двигалось от желания вставить свое слово, тоже собрался говорить; но ласковый Ашенбреннер, вероятно, сожалея, что молодежь не принимает участия в беседе, воскликнул, указывая на нас с Бостанджи.

— Подождите, *messieurs*! Вот два молодых эллина. Интересно испытать, хорошо ли они знакомы с мифами своей великой древности... Бранкович! Рекомендую. Это господин Бостанджи-Оглу, исправляющий должность русского драгомана, а это Одиссей Полихрониадес, сын другого драгомана... Кто из вас, *messieurs*, помнит миф о Ниссе?

Мы оба покраснели. Бостанджи сознался, что он этого не знает и никогда не слышал. А я, сперва чуть-чуть при-  
20  
ставши на стуле и опустившись опять, начал почтительно,  
но твердо:

— Кентавр Нисс был сильно влюблен в Деяниру, жену Иракла...

— Так! так! — ободряли меня оба австрийца и Коэвино.

Выслушав до конца рассказ мой о похищении Деяниры, об одежде Нисса и о трагической смерти обоих соперников, и влюбленного кентавра, и полубога-супруга, Благов сказал:

— А! вот что... Нет, я не боюсь стать Ниссом, если  
30  
даже она и Деянира. Я вовсе не влюбчив и даже не страстен.

— Правда ли это, господин доктор, — весело спросил Бранкович у Коэвино, — вы господина консула знаете лучше и давно с ним в приязни. Мне любопытно было бы предвидеть то будущее, которое предстоит в случае приезда сюда господина Виллартона, или, лучше сказать, г-жи Виллартон...

— О! — воскликнул Коэвино с восторгом, — о! Да! Это правда! Мой друг Благов не страстен... О! я имею на это доказательства... Мой друг Благов — это сталь, которая не легко плавится... Я имею на это доказательства.

— Какие? — спросил Благов, с удивлением обращаясь к доктору.

— Го-го! го-го! — воскликнул Коэвино. — Искушение очень велико... Приятно... (но, взглянув на нас с Бостанджи-Оглу и на Кольйо, доктор внезапно умолк... И он умел иногда воздержаться!)<sup>10</sup>

Я сначала ничего не понял, но когда Бостанджи-Оглу толкнул меня под столом коленкой, я догадался, что речь идет о ней, о моей «горькой травке», о моем «маленьком демоне».

— А! — сказал Благов, — понимаю! Но это-то еще и не доказательство... Впрочем, это вовсе не интересный вопрос.

— Однако, — с лукавою усмешкой возразил Бранкович, — я позволю себе заметить, что вам, господин консул, мои рассказы об этой сирене нравятся, я вижу...<sup>20</sup>

— Мне нравятся *ваши* речи, *ваши* взгляды, — сказал Благов с любезностью, немного все-таки надменной.

Бранкович поклонился и продолжал так:

— Если вы не легко влюбляетесь — вы счастливы! Я завидую вам! Нет, я не таков! Женщина — это воздух, без которого я дышать долго не могу. Я думаю, что если бы меня заключили на необитаемый остров и предложили мне на выбор одни жолуди с ключевой водой и молодую женщину в подруги, или стол Лукулла без женщины, я остался бы на жолудях!<sup>30</sup>

— И я! и я! — воскликнул Коэвино и прибавил с чувством, поднимая к небу томный взгляд: — одно тщеславие, о! одно лишь тщеславие, и то какое это блаженство... Я очень во многом похож на господина Благова, я тоже не страстен по природе моей...

— Однако, — перебил его Благов, — ваши прежние приключения?

— О! Все это тщеславие! — радуясь и гордясь своими слабостями, продолжал Козвино. — Одно тщеславие, мой друг... одно тщеславие... Тщеславие это такое блаженство... (И он поднял даже руки к небу.)

Бранкович с улыбкой взглянул на него и замолчал.

— Извините, доктор, — сказал Благов, — мне необходимо сделать еще один вопрос господину Бранковичу.  
10 Вы сами-то, господин Бранкович, были кентавром Ниссом или нет?.. Желали ли вы им стать по крайней мере?

— Oh, monsieur! Вот инквизиционный и смелый вопрос! Видите ли, я был воспитан отцом моим в таких правилах: «Благородный и прямой мужчина лгать должен только в одном случае, это когда дело идет о чести женщины. Здесь можно дать и честное слово, и клятву произнести, что нет ничего...»

— Когда в самом деле было? А, — было! а! Браво... — воскликнул доктор.

20 — Нет, — спокойно и добродушно продолжал Бранкович. — Я сказал только общее правило. Но в этом случае я могу быть несколько откровеннее, и потому именно, что я не был счастлив, могу сознаться с полною искренностью, что я желал... очень желал быть кентавром... но неудачно. Увы!..

— Чтò же помешало, — с улыбкой настаивал Благов, — ваша честность или ее честность?..

— Ба! этот вопрос еще страшнее! Признаюсь... А мне бы хотелось искусно вам ответить на него!.. Чтò вы хотите  
30 понимать под именем моей честности?.. Объяснитесь.

— Ну, не знаю... Мало ли чтò? Ну, муж товарищ... приятель... Почему я знаю... Это понятно.

— А! — воскликнул Бранкович... и вдруг, прервав прежнюю речь, поднял стакан с вином и чокнулся с Благовым, говоря ему: — За ваше здоровье, господин консул. Я счастлив, поверьте, что встретил вас здесь... Я и прежде много слышал о вас...

Мужественное и доброе лицо Бранковича дышало в эту минуту искренностью, и Благов поблагодарил его.

— Теперь о честности... — сказал после этого Бранкович. — О честности я вам скажу, господин консул, что у меня насчет мужей составилось с ранней молодости моей такое правило. Я разделяю всех мужей на три разряда. На мужей, которых обманывать не должно ни в каком случае; на таких, которых... можно... и на таких, которых необходимо, которых должно обманывать!

— Виллартон из последних! Ха-ха-ха! браво! — закричал Коэвино. <sup>10</sup>

— Да, — прибавил Ашенбреннер, — он, может быть, своего рода Иракл и стреляет опасными стрелами, и потому долг чести и отваги должен победить на этот раз долг честности... Не так ли?.. Бранкович ведь рыцарь без страха и упрека!..

— Нет, — возразил Бранкович, — Виллартон на Иракла не слишком похож... И стрел его я не видал... по крайней мере на этом поприще... Но я сказал уже, что я был несчастлив... <sup>20</sup>

— А были и счастливые? — спросил Коэвино.

— *Voyons, messieurs, voyons!..* (Лицо Бранковича при этих словах стало серьезнее.) — Мои намерения были самые хорошие. Я хотел только заплатить дань женским достоинствам... Я хотел хвалить и восхищаться, а вы все злословите. Впрочем, для всех вас она еще нечто отвлеченное, не реальное, а я ее знаю лично и мне даже не совсем приятен, признаюсь, тот оборот, который принимает наша беседа... Извините меня... Я не скажу более ни слова о мадам Виллартон; она приедет скоро... И тогда вы увидите сами. Я вам предсказываю, что вы все влюбитесь в нее, начиная со старого Рауф-паши и кончая этим красивым юношей, который так хорошо знает мифологию (и вдруг, обратясь вежливо ко мне, он спросил): «*On vous nomme Ulysse, n'est ce pas, monsieur?..*» <sup>30</sup>

— *Ulysse! A! a! a-a! Ulysse!* Его зовут по-гречески Одиссей! — ответил за меня со смехом Коэвино. — Он

славный юноша... Он прекрасен, молод и мил, как Ганимед, которого боги предпочли самой Гебе... А-а! А-а!.. самой Гебе! А! Я могу сказать Гебе! Улисс!.. Это мне нравится! Улисс!..

В эту минуту все вставали из-за стола.

— Мне очень приятно с вами познакомиться, — вежливо и серьезно подавая мне руку, сказал добрый герой далматинец.

Я был взволнован и тронут.

Бранкович должен был пробыть еще несколько дней в Янине.

Ашенбреннер хотел доставить ему побольше удовольствий местного характера, и когда Благов звал их к себе вечером играть в карты, то австрийский консул заметил, что и при картах можно бы иметь небольшое повторение того вечера с танцовщицами, на котором они несколько месяцев тому назад так веселились.

20 Благов согласился с удовольствием, но не захотел приглашать на этот раз никого из архонтов, а позвал всех консулов и пашу. Из греков он пригласил одного Коэвино, потому что знал, что и он не стеснит своим обращением пашу, и сам стесняться его присутствием не будет.

Архонты же все сидели бы при паше неподвижно, на краю дивана, с притворным смирением сложив руки, подобрав внутрь животы и опустив глаза в землю.

30 И паше было бы при них скучно и тяжело; все они были хотя и знатные у нас люди, но прежде всего райя, турецкие подданные. А если бы который из них слишком и развеселился, то диссонанс вышел бы еще худший.

Хотя вечеринка была и малолюднее первой и обещала быть еще потому менее оживленною, что из танцовщиц приказано было звать только одну Зельху (напоказ Бранковичу, по настоятельной просьбе Ашенбреннера), однако

случайность вышла такая, что первый вечер устроился вдруг, а ко второму мы готовились заранее, два дня.

Зельха была извещена, музыканты наняты; но паша опять был не совсем здоров в этот день, и Благов с Ашенбреннером отложили пляску до другого дня, и только собрались одни консула и играли долго в карты. Даже Леси пришел; он был весел и говорил очень долго с Бранковичем о медалях и других древностях Эпира. Проиграл много, заплатил с веселою улыбкой и, уже уходя, вдруг сказал хозяину: 10

— Я очень сожалею, что мне будет трудно или почти... невозможно еще раз воспользоваться вашим обществом в тот раз, когда у вас будет паша и баядерки. Я должен готовить дом мой к приезду гостей, которых я с нетерпением ожидаю.

Так все узнали, что Бранкович сообщил известие верное.

И действительно, Леси во второй раз уже не пришел, несмотря на то, что Благов ходил сам его звать. Козвино тоже чуть-чуть было не отказался. В этот самый день 20 Гайдуша чем-то его расстроила и он ушел к Абдурраим-эффенди. Паша не обещал. Ему еще нездоровилось. Я ходил сам узнавать. Все не ладилось. Не знаю как самому Благову, но мне это было очень неприятно.

Два австрийца, как бы они любезны ни были, и натянутый, скучный, злой Бреше — это не вечер!..

Однако я постарался со своей стороны сделать что мог... Благоразумие мое было опять где-то очень, очень далеко!.. И после того, как эта девочка, взяв меня за щеки, назвала меня «маменькой»; после того, как я слышал, что и Бранкович (такой образованный, такой красивый, такой хороший человек, что даже самому беспощадному этому Благову он, видимо, очень нравился... да!) что Бранкович говорил: «лучше жолуди и молодые женщины, чем пиры Лукулла без женщин». После рассказов простосердечного и чувствительного Кольйо о голубом кипарисе на руке его... После... картинок всех этих... в аль- 30



бомах и книгах Благова... (О! картинки эти... О, картинки!.. О! Эрот нагой и юный, лобзающий Психею! О! примеры старших! О! речи сверстников и друзей!..)

Правду говорит бедный мой Кольйо, вздыхая и потупляя очи: «Чтò делать! Всякий человек имеет в таких вещах свое удовольствие!»

Я старался, говорю я.

Я, притворяясь важным и озабоченным, говорил кавасу Маноли (именно ему, потому что он меньше всех казался мне лукавым)... Я говорил ему заботливо: «Кир-Маноли, смотрите, еще не все решено... Может быть, паша будет сегодня вечером; надо предупредить эту пропащую девчонку, чтоб она была готова плясать и чтобы ее кто-нибудь другой не захватил. Чтòб она приходила пораньше... Господин Благов будет иначе ужасно недоволен».

Почем я знал, будет ли недоволен Благов? Он не говорил мне ни слова; но я начинал бесстыдно лгать и выдумывать на своего благодетеля под влиянием весенних звуков и весенних благоуханий!

И бедного Леонардаки Какачио надо было тоже пожалеть. Я ведь дал слово ему пригласить его к себе, если будет вечер. Он ветрен и слишком иногда откровенен; он признался сестре своей, что сообщил мне о получении г. Бреше предписания извиниться; сестра сказала матери; мать отцу, и отец прибил его больно тогда за вмешательство в государственные дела.

Он не раз выставлял мне на вид, как он за меня пострадал; напоминал мне о моих обещаниях и два раза забегал ко мне на день узнавать, будет ли вечер.

Наконец все кончилось благополучно; пришли с семи часов вечера австрийцы и Бреше; приехал и сам паша в коляске; пришел Киркориди; явился наконец и Коэвино: у Абдурраим-эффенди он встретил одного ученого приезжего издалека ходжу, с которым спорил горячо о вере и, забыв о том, как недавно еще (с неделю тому назад) проповедывал, что религия невозможна, потому что есть атомы, пламенно отстаивал против турка Православие.

Коэвино говорил турку: «Отчего же вы чтите все-таки Христа и пророчицу Марию!»

Турок отвечал ему: «Отчего вы чтите книги Моисея? Вы чтите еврейскую веру; но евреи вашу не чтят; вы понимаете их, а они слепы. И мы для вашей веры глаза имеем, а вы для нашей, которая еще совершеннее, глаз не имеете!.. Еврейская старше всех; ваша средняя, а наша самая новая и самая лучшая...»

Коэвино на это сказал: «А безбожие еще новее вашей веры... Ха-ха! ха-ха!..»

10

«Новее...» — отвечал ходжа, несколько смущенный.

Коэвино забыл свои домашние огорчения и поспешил поделиться со мною радостью своей победы над турецким богословом.

Он прямо ворвался в мою комнату (он знал, что в приемной уже есть гости и нельзя же вдруг при них при всех об этом кричать).

— Для меня все идея, Одиссей мой... Для меня везде идея!.. — восклицал он, топая на меня ногами. — И стул — кристаллизация, могу так сказать, идеи... И стол — кристаллизация идеи... И любовь, сама любовь... могу так сказать... и сама, сама нежная любовь к прекрасному земному существу есть своего рода кристаллизация божественной, пантеистической идеи ужасной и полной любви... всеблагой и всеобъемлющей, всепожирающей и мучительной... могу так сказать... Ха-ха!.. всеобъемлющей! Да!

20

И он обнимал меня.

Был ли стул идея или нет, этого я понять не мог. Но что любовь, весенняя, молодая, сладкая, боязливая и томительная, — что любовь вовсе не идея какая-нибудь, а непобедимая и почти грубая сила, которая меня увлекала тогда... куда-то... это я чувствовал...

30

Я с трепетом ждал ее прихода.

И вот она пришла!

И вот опять заиграла в зале родная наша цыганская музыка.

Окна были отворены. Было и тепло и прохладно. Ах! как хорошо!..

Сановные гости велели притворить дверь в залу. Г. Бре-ше находил, что музыка наша слишком пронзительна. Без всякой вежливости, безо всякого внимания к паше, который уже начал было склонять голову от удовольствия то туда, то сюда при этих и ему столько же, сколько и мне, приятных звуках, Бреше положил вдруг карты и, закрыв руками уши, воскликнул:

10 — Однако эти бедные музыканты даром хлеб свой не едят! Они стараются...

Затворяют двери? Пусть затворяют, тем лучше, тем лучше. Пусть они там играют в карты! У нас здесь лучше.

Манולי шепнул Бостанджи-Оглу, Бостанджи-Оглу шепнул Благову: «Не лучше ли в таком случае вниз сойти музыкантам!.. Издали звуки будут мягче... И люди там повеселятся и попляшут».

— Пусть здесь наверху пляшут и веселятся, — сказал Благов. — Это ничего.

20 И спросил у паши почтительно:

— Пока мы играем в карты, вы позволите там людям повеселиться... Не будет ли беспокоить ваше превосходительство этот топот и песни? Вы не совсем еще здоровы.

— О, нет! я очень люблю эти забавы, — сказал паша. Мы пошли с радостью в зал.

Но недолго и сами тут пробыли. На зеленом, обширном дворе было так весело и сухо.

30 Мы все ушли на двор. Музыкантам постелили рогожку на траве, из нижних сеней вынесли табуреты и стулья, заперли ворота — и музыка начала играть. Долго мы плясали и пели; плясали кавассы и другие молодцы, извиваясь длинною лентой, плясал и я в их ряду, а впереди всех отличался опять знаменитый танцор, престарелый Ставри. Он отошел. Зельха подпрыгнула и подала сама руку архистратигу Манולי, и он рыцарски и любезно, приподняв усы, прыгал с нею, увлекая за собой всех нас.

Мы делали что хотели, пели очень громко, смеялись еще громче... и кричали «Zito!» Пришли и новые лица, — Хаджи-Сулейман с маленьким сыном десяти лет и с большим, приезжим издалека, двадцатилетним красавцем бронзового цвета, которого звали Ариф. Пришел Леонардаки. Пришел столяр консульства и племянник его, рослый и румяный молодец, куцо-влах.

Не прошло и часа, как уже собралось у нас тут человек больше пятидесяти. Консул узнал об этом и велел, чтобы маленький Алеко сейчас же сбегал за дешевым вином и чтобы всем было угощение. <sup>10</sup>

Мне тут было лучше, чем наверху. И конечно, самым сановным гостям было скучнее там, чем нам здесь. Проплясав раз *сирто* в ряду других, я удалился и сел в стороне на стуле. (Я очень любил всегда созерцание.) Сел я и погрузился в думу, и меланхолическую, и приятную, слушающая пение цыган.

Вдруг я почувствовал, что меня кто-то взял рукой за плечо. Взглянул, и вижу мать Зельхи... Я содрогнулся от прикосновения этой смрадной и грубой старухи!.. <sup>20</sup>

— Что вам? — спросил я, однако, довольно вежливо, по вниманию к ее возрасту.

Старуха взяла табуретик, села около меня и сказала тихо:

— Кузум-Одиссей. Посмотри, прошу я тебя, за моей дочерью, чтоб она вина не пила...

— Разве она в самом деле много пьет? — спросил я с негодованием. — Я думал, это выдумки.

Старуха покачала головой и с отчаянием потрясла одежду на груди своей.

— Она пьет, много пьет!.. — сказала она. — Мне это <sup>30</sup> очень жалко. Она еще мала и так уже много пьет...

Я спросил, давно ли она стала пить?

Старая турчанка печально продолжала:

— Прежде она пила помалу, а теперь все больше и больше пьет. Куда придет плясать, и не успею за ней посмотреть, она напьется и падает потом. Голова болит... Нездорова. Разве не жалко?..

Чувство мое к этой неприятной женщине, слушая эти жалобы ее, несколько смягчилось. Я видел в них живую материнскую скорбь... Но какая досада мне была слышать, что эта бедная девочка так портит и унижает себя! Я не знал, что ответить, и только думал со вздохом: «Не лжет ли повар Вассо, что она невинное дитя? Не правее ли был Бостанджи-Оглу, когда сказал, что весь батальон низамов с ней коротко знаком?»...

10 Я думал обо всем этом; — а музыка гремела, и усатые люди в белых юбках все плясали предо мной свой воинственный и медленный танец.

Становилось темнее и прохладнее. Наверху во всех окнах загорелся свет ламп.

Старуха, помолчав, продолжала:

— Очень дурно это вино! Очень дурно! Я и Кольйо просила, чтоб он ей не давал пить...

— Да, это очень неприятно! — сказал я.

Мы помолчали оба после этого; но я чувствовал, что старуха глядит на меня сбоку, как будто испытывая меня.

20 Наконец она же опять прервала молчание и сказала, придвигаясь еще ближе ко мне:

— Посмотри, Одиссей, что я тебе еще скажу... Большую вещь тебе я скажу. Помоги нам. Зельха тебя как брата, ты знаешь, любит. Вышла вещь худая и до консула у меня великое дело есть.

— Что такое? — спросил я с досадой.

— Ты Феим-бея, телеграфчи,\* знаешь? Толстый, ростом небольшой, молодой... Телеграфчи... Феим-бей... Знаешь?..

30 Я вспомнил, что видал где-то Феим-бея; вспомнил, что он точно молодой человек невысокого роста, белокурый, полный и румяный. Я видел его раз когда-то, он был в белых летних панталонах. Он показался мне очень чисто одетым и довольно приятным человеком.

---

\* Телеграфного чиновника.

Дальше, дальше... Старуха открыла мне, что на днях, очень недавно, этот Феим-бей, воспользовавшись склонностью Зельхи к вину, напоил и обольстил ее.

— Чтò ты мне говоришь! — воскликнул я, почти вскакивая со стула...

Удивление мое было так сильно не потому, чтобы подобный конец или, лучше сказать, подобное начало было не в порядке вещей для бедной сироты танцовщицы... Не потому, что это унижало бы Зельху... Напротив, потому что это обольщение или почти насилие даже, хотя слегка, <sup>10</sup> возвышало ее в моих глазах...

«Кто ж обольщает девушку, которая принадлежит всем низамам?..»

Я принял после самое живое участие в словах старухи и, слушая ее, дивился только одному... «Как же это она так весела сегодня? Не тоскует, пляшет сама по охоте. И где она? На дворе ее не видно. И куда ж она теперь ушла? Где, где она?»

— Где ж она, Зельха, теперь? — спросил я у матери с беспокойством. <sup>20</sup>

— Оставь ее, — сказала мать. — Я тебя прошу, передай большому консулу то, чтò я тебе сказала. Он тебя так любит. Скажи ему, что Зельха его отцом своим считает и ничего ей не нужно, только чтобы консул-бей знал, как ее обидели и какая она теперь несчастная.

Я отвечал ей, что слишком еще молод, чтобы вмешиваться в подобные дела и консулу ни за чтò об этом говорить не стану.

Старуха умоляла; я говорил: «не могу! не могу» и предложил ей сказать ему самой. <sup>30</sup>

— Как я к нему подойду? — сказала старуха. — Я никогда не подходила к нему близко. Я стыжусь...

Я не отвечал ей и убежал от нее наверх. Мне хотелось поговорить с самою Зельхой и узнать, чтò она думает обо всем этом и чтò она теперь делает.

Бегу наверх. В зале никого; в гостиной вижу в растворенную дверь: Бреше, качаясь на стуле, бросает молча

карты на зеленый стол. Коэвино сидит. В моей комнате темно. Но в боковой, в столовой, слышу голоса... Спешу туда. Какая веселая компания...

Леонардаки раскинувшись на диване; с ним рядом Зельха! Кольйо у стола на стуле смеется. Нет, он не смеется... Он весь дрожит, он умирает от смеха. Кавасс Маноли со своими большими усами тоже на диване и тоже веселится как мальчик. Алеко сидит на полу и валяется от хохота.

<sup>10</sup> Посреди комнаты стоит новоприезжий сын Хаджи-Сулеймана-дервиша, бронзовый Ариф, необыкновенной красоты юноша, в синих зуавских коротких шальварах, расшитых черным снурком, в синей такой же куртке с откидными рукавами и в нижней курточке из палевого ситца с большими красными астрами.

Он держит в руке бумажку и карандаш, и так как он писать не умеет, то ставит какие-то палочки и считает... как бы ты думал, что?.. он считает своих возлюбленных. И все по вероисповеданиям и национальностям.

<sup>20</sup> — Да! эффенди мой... Две цыганки! Три оттоманки... — И, прерывая вдруг счет, обращается к Маноли, говоря ему: — последняя была та, которая сказала тоненьким голосом: «ким дер о?» (кто это?), когда я к мужу ее приходил... Все сватала мне белую невесту, а потом и сама пошла туда же в счет!

Все громко захохотали. Зельха запрыгала на диване.

Ариф говорил все это с таким спокойным и забавным комизмом; темные, черные глаза его были так смышлены и лукавы. Так он мило менял интонацию и самый голос.

<sup>30</sup> Речь его была какая-то особая, поспешная, а сам он притворялся таким дьявольски тихим.

— Слушай, Одиссей, слушай... Садись, — закричали мне все.

Я сел и слушал.

Ариф продолжал:

— Три оттоманки, две цыганки; две русские... в Галаце. Одна липованка, в Измаиле... Я на Пасху ходил на

Дунае к липованам;\* приду и сделаю на себе крест и скажу им: «Христос крест! Захайка...»\*\* Муж мне сейчас: не угодно ли водочки, г. Ариф? А захайка эта раз, два, три, сейчас целовать меня...

— При муже тут же! — воскликнули с изумлением Маноли и Кольйо.

— Много они смотрят, липованы, на такие вещи! Где случится и на улице с чужими целуются... Вот эта туркуда, которая сказала мне тоненьким голосом: «Ким ò!», да еще одна липованка были лучше всех. Я пилил дрова на дворе у своего хозяина машиной анафемскою такой... Потел, потел... весь мокрый стал и снял феску... А она глядит через стену и говорит мне так сладко: «Здравствуй, Ариф»... Я говорю: «Здравствуй, Маша». — «Ты не умеешь пилить, Ариф... Зато у тебя головка хорошая... Вот какая аккуратная»... После этого началась наша дружба...

И он, сбив феску набок, стал опять важно считать и писать палочки.

Потом бросил бумажку, скрестил на груди руки и, обратясь внезапно к Зельхе, воскликнул как будто сердито:

— Э! Зельха. Что ты сидишь? Давай польку танцевать à la frança. Ты думаешь, я не умею? Меня франки в Руццуке и Галаце отлично выучили...

— И я умею! и я умею! — отвечала Зельха с радостью. — А где музыка?

— Музыку! музыку!.. Алеко, беги за музыкой...

— Скорей, скорей! — кричали все.

Цыгане пришли, сели и стали играть.

Ариф обнял Зельху одною рукой за ее тонкий стан, прижав ее крепко, а другою рукой взял ее маленькую руку и начал.

Я весь содрогнулся от ревности. Глядя на то, как она смеялась речам красивого араба, как она охотно дала ему

---

\* Старообрядцы русские.

\*\* Христос воскрес, хозяйка!



прижать себя крепко, как она дружески глядела снизу вверх ему в глаза, я начинал опять думать, что она совсем развращенная... Я просто терялся в догадках и соображениях.

Сначала музыка играла польку неверно и слишком медленно. Танцоры не могли сладить. Ариф знал танцевать по-франкски гораздо лучше Зельхи и хотел скорого темпа. Зельха не понимала, чего он хочет; не поспевала за ним. И выходило все это очень некрасиво. Но итальянское ухо<sup>10</sup> Леонардаки помогло; он взял скрипку у одного цыгана и начал играть один превосходно.

— Браво! Леонардаки мой! Будь жив! — воскликнул повеса Ариф и махнул опять рукой Зельхе: — Иди сюда, ко мне...

Опять он ее обнял. Опять у меня содрогнулись колена и заболело сердце.

Они начали танцевать польку согласнее прежнего... Все лучше и лучше... все шибче и шибче... Ариф что-то шепнул ей по-турецки и вдруг начал вертеть ее наоборот. Все<sup>20</sup> быстрее, быстрее... И она поняла уже и летала вокруг него и за ним как птичка, только маленькие ножки ее в европейских ботинках мелькали из-под лилового платья с пестрыми букетами и золотой бахромой.

— Фу ты дьявол! — восклицал Манולי, рукоплеская.

Потом Ариф остановился и, не переставая держать ее своею большою, красивою, мужественною бронзовою рукой за ее детскую руку, стал объяснять ей так: «Ты, морé, смотри теперь!.. Ты ведь кружиться сама умеешь, я подниму руку высоко, а ты под рукой моей прыгай и вертись<sup>30</sup> на месте... А я сам буду прыгать особо».

Она, с любопытством и как будто даже с любовью (мне казалось) слушая его наставления, поднимала на него таинственные очи.

И вот они уже опять пляшут и пляшут еще лучше, и кружатся еще шибче. Как она ловко прыгает и вертится на месте под его поднятую рукой!

Никогда, ни прежде, ни после я не видал, чтобы мусульманин в зуавских шальварах так прекрасно танцевал по-франкски!

Наконец они кончили. Ариф бросился на стул, отдуваясь, и сказал:

— *Дансэ, дансэ юрулдум! Гантларим иртылды!* На каком это языке?.. Кто знает?.. Это по-армянски. Армяне так в Стамбуле говорят: «Дансе, дансе...» Это значит: «Танцевал, танцевал, устал и перчатки мои разорвались».\*

А потом, показывая свои руки и оборачивая их ладонями то кверху, то книзу, прибавил:

— Мои перчатки никогда не рвутся. Я всегда их ношу. Сверху черные, а снизу красные. Я точно обезьяна, душенька ты моя!

Вокруг меня хохоту и веселости не было конца.

В эту минуту, отыскивая глазами Зельху, я услышал звон стакана, оглянулся и вижу, что она наливает себе из графина вино и пьет.

— Зельха! — воскликнул я строго, — брось... брось, Зельха... Мать твоя сердится и плачет, что ты приучаешься пить...<sup>20</sup>

Она, однако, выпила полстакана и толкнула его; стакан разбился, вино пролилось. Кольйо и Алеко вскочили в страхе за консульские вещи. А Зельха как будто обрадовалась тому, что успела еще выпить и что разбила стакан, бросилась к Леонардаки и, обняв его за шею, начала припевать по-гречески:

Иди, милый друг, со мной,  
Будем ладно жить с тобой...

Леонардаки тоже соперник был, казалось мне, опасный.<sup>30</sup> Белокурый, чистенький, веселый, курчавый мальчик, приятный, с ямочками на щеках. Он тут же поцеловал ее при всех в губы и сказал: «птичка моя!»

---

\* Ариф смеется над цареградскими армянами, которые говорят полутурецким, полуфранцузским языком.

— Бесстыдник! — воскликнул целомудренный Кольйо, краснея, встал и вышел.

Но Маноли, хотя был семьянин и старше всех нас, смеялся.

— Чтò делать! — сказал он, — это ничего. Теперь у нас Европа!

Однако и он немного покраснел, говоря это.

Что касается до меня, то я решительно уж не мог выносить этого больше и закричал на молодого Какачио:

10 — Ты чтò же это, господин Леонардо, здесь делаешь... Оставь ее... Она танцовщица и пусть делает как знает, а ты сын очага отцовского и должен с достоинством вести себя... Знаешь!..

Я был в негодовании, в ярости, и голос мой дрожал.

— Чтò такое? Чтò такое? — спрашивала Зельха, которая не поняла и половины слов из моей грозной речи.

Но я подошел и взял ее за руку, восклицая:

— Иди ты прочь от него, Зельха! Стыдно!

20 Она пожала только плечами и сказала серьезно, но не сердясь:

— Очень сердитый человек!

— Порядок любит! — заметил Ариф, смеясь.

Все это еще больше гневало меня. Леонардаки оскорбился и сказал мне, вставая с дивана:

— Чтò я сделал? Чтò ты кричишь, несчастный! Чтò я сделал? Чтò я сделал, скажи...

Я его не боялся; скорей он боялся меня.

И начался у нас громкий спор, началась ссора.

30 — Я тебе сказал чтò!

— Чтò ты сказал, чтò?

— Я сказал тебе чтò!.. Лишних слов не надо... Знаешь...

— Да! да! Знаешь...

— Не дразнись, — угрожал я, наступая на него, потому что замечал, что он боится; — я тебе говорю, молчи и не смей мне так противоречить, потому что я тебе говорю

правду, не должен ты из консульства русского презренный *порностасион* \* делать!

— Ба! ба!

— Ба! ба! что ты... что ты!..

Напрасно кавасс Маноли успокоивал меня, говоря:

— Оставь его, Одиссей, это ничего...

Напрасно Ариф рукоплескал за спиной моей с радостным смехом обличения.

— Ревнует! Он ревнует... Он ее ревнует.

Все это только еще больше раздражало меня.

10

Я готов был, кажется, выгнать Леонардаки из дома, и только природная осторожность моя не допустила еще меня сказать ему последнее оскорбительное слово, но Ариф внезапно взял меня за плечи рукой и начал так:

— Э! Кир-Одиссей, оставь гостя, это стыдно тебе. Зачем ты так ревнуешь. Стой! стой! Что я тебе скажу! Он (то есть Леонардаки) еще мал и боязлив. А ты бы со мной схватился, и я бы показал тебе, что такое Ариф-араб, Сулеймана старого дервиша сын.

Тогда я обратился к нему и отвечал ему твердо:

20

— Я связываться с тобой и вовсе не хочу, а я пойду скажу драгоману или самому консулу, и тебя, побродягу, велят выкинуть вон на улицу. При трех кавассах будешь паликарство ты свое показывать. Смотри, молчи! А не то я сейчас пойду к господину Благову... Леонардо мне друг, а ты здесь что такое?

У Арифа в одно мгновение побледнели губы и он, затрясшись немного от гнева, хотел что-то сказать... Но удержался, скрестил на груди судорожно руки, повернулся, топнул ногой и, замолчав, отошел было к двери, но

30

вдруг его гнев прошел и он воскликнул с хохотом:

— Мы ссоримся, а Зельха все пьет.

Я оглянулся к столу и увидел, что Зельха, вся перегнувшись назад, пьет прямо из графина...

— Оставь! — закричал я ей.

---

\* Место разврата. — *Порностасион*.

— Оставь! — закричал и Маноли, кидаясь к ней.  
Но она увернулась от него и убежала из комнаты.  
Кир-Маноли с сожалением воскликнул:  
— Пропала девочка эта!.. Совсем погубит себя...  
А я молчал. Я ненавидел ее!..

## XXXII

Наконец большие люди кончили играть в карты, и Бостанджи-Оглу пришел вниз и потребовал музыкантов и Зельху наверх.

<sup>10</sup> Большая галерея со стеклами была освещена; паша, очень бледный, худой и все немного кашляя, сидел на диване с Бреше. Ашенбреннер, Киркориди и Козвино разговаривали о чем-то в стороне на креслах.

Бранкович и Благов ходили вместе по галерее.

Увидав Зельху и всех нас, Благов подвел к ней Бранковича и представил ему ее.

— А, это она! — воскликнул Бранкович по-французски, подавая ей руку. — Но это что-то уж слишком эфирное, *monsieur le consul*... Это что-то уж слишком нежное (и <sup>20</sup> потом продолжал стихами Ламартина):

Тебе ль ждать от меня фимиама поэзии?  
Тебе, дочь Востока, рожденная под ветром пустыни!  
Цветок садов Алепа, который бы избрал соловей,  
Чтобы петь над ним и томиться!

Он все держал ее за руку, а она все равнодушно слушала его, не понимая ни слова.

Я смотрел на нее пристально, замечая, не обнаружит ли она чем-нибудь, что она уже слишком много выпила.

Нет! Ничего не было видно. Напротив, сначала она <sup>30</sup> была очень тиха и спокойна, а потом, когда Благов приказал ей плясать тот характерный танец, в котором танцующая должна сперва вести нараспев любовный диалог с одним из музыкантов, и когда раздались первые аккорды варварской музыки, которая так восхищала и пашу, и ме-

ня, и кавассов, и так была неприятна анафемскому этому Бреше, Зельха вдруг преобразилась.

Веришь ты, я никогда еще не видал ее такую.

Я тебе говорю и ты мне верь, она была прелестна! О, мое бедное, оскорбленное дитя!.. Если бы ты мог видеть этот круглый маленький нос, такой правильный в своем ребяческом очерке. Эту чуть-чуть желтоватую атласную кожу нежного лица, которое вечером казалось очень белым, и румянец этот легкий, слабый, в самом деле подзрительный, до того он становился в последнее время хорош, и подстриженные в кружок, почти синие волосы (до того они были черны), которые гладкими кисточками лежали на висках и по этим рисованным щекам, и эти серьги золотые из мелких монет, длинные почти до плеч, которые колебались и сверкали при каждом движении ее головки!

Она долго плясала и я смотрел на нее, восхищаясь.

Сперва она стояла на месте, обернувшись лицом к зрителям, а спиной к музыкантам. На минуту прерывая музыку, один из цыган объяснялся ей в любви и предлагал ей подарки.

— *Истемем-бен!* (не хочу я), — отвечала она нараспев один раз.

Музыка опять играла, опять прерывалась; опять цыган предлагал ей дары.

— *Истемем-бен!* — повторяла она громко.

Но вот он сказал еще что-то... Неумолимая девушка согласилась... Музыка заиграла веселее и скорее, и она, нагнув голову и подняв руки с медными тарелочками, привязанными к пальцам, начала звонить и плясать.

Она теперь плясала несравненно лучше, чем год тому назад. Она плясала с выражением, с душой, почти со страстью; все движения ее стали и сильнее, и несравненно искуснее... Теперь невозможно было бы ни старой Эисме, ни грузной, хотя бы и красивой, Ферземин танцовать с ней вместе, как тогда. Она уже достигала совершенства.

Было одно движение, которому обучила ее мать. Движение это было почти бесстыдно; кто видел восточные

танцы, тот знает эти непостижимые для непривычного к ним человека быстрые содрогания стана, это дрожание мышц, доведенное до изумительной ловкости.

Я слышал возгласы Бранковича: «*Mais c'est inouï cela, messieurs!*...» Паша и Ашенбреннер улыбались; Коэвино не сводил с нее лорнета; Киркориди тяжело вздыхал о чем-то.

И вдруг музыка, игравшая во все это время потише, опять раздалась громче и громче, и Зельха понеслась кругом залы все быстрее и быстрее, обошла ее кругом раз  
10 два, все порхая неслышно, и вдруг, остановившись пред самым Рауф-пашой, опустилась тихо на землю, и сидя, и все звоня, сначала вся перегнулась назад, так что голова ее почти касалась пола; потом, снова поднявшись, она нагибалась вперед постепенно под музыку, нагибалась, нагнулась и почти коснулась челом земли, как бы кланялась властелину в ноги. И все звоня, и все звоня она склонилась так низко, что головной платочек ее упал к ногам  
20 Рауфа и гладкие волосики ее рассыпались по лицу ее огромною кистью черного шолка...

— Браво! — воскликнул паша, аплодируя.

Все тогда были рады; все хвалили ее; даже Бреше и тот сказал: «это очень грациозно! Надо в этом сознаться!» Как будто ему было больно похвалить хоть что-нибудь не французское; он утолил, впрочем, свою ненависть к восточному, прибавив: «это похоже на испанскую качучу, кажется?.. Не оттуда ли это пришло?» Благое стоял в стороне, и лицо его светилось. Ему верно было приятно, что Зельха догадалась сделать эту фигуру не пред ним (он  
30 был хозяин), не пред Бранковичем (он мог быть соперником по красоте и по годам своим), и не пред Бреше (он был ему ненавистен), и не пред Киркориди или Ашенбреннером (они были не очень важны по весу своему), а пред старым пашой.

Он даже подошел к ней после этого и сказал ей тихо: «это ты хорошо сделала». И за эту догадку, только за это одно, он особо дал ей тихонько два золотых.

Музыка замолкла. Зельха села в стороне немного отдохнуть. Кавассы свои и чужие, Ариф и слуги, взобравшись толпой на лестницу, смотрели на галерею. Леонардо и Бостанджи-Оглу стояли почтительно у окна; я все еще сердился и не говорил с ними, но стоял близко от них. Вдруг я заметил, что паша обратился к Благову, Благов к нему нагнулся и почтительно выслушивал, что говорил ему Рауф; потом Благов взглянул в мою сторону и паша тоже.

Я вздрогнул от радости. Я думал, они говорят опять обо мне; я думал, они меня хвалят; я ждал, что они меня сейчас позовут. 10

И действительно, Благов направился в мою сторону; я поспешил с приятным трепетом ему навстречу; но он сказал мне не то, чего я ждал. Он не сообщил мне: «подойди к паше; он хочет сказать тебе милостивое слово»... Нет, он спросил у меня другое: «этот курчавый молодец — сын Какачио или нет?»

Я сказал: «да».

— Говорят, он поет и играет хорошо на скрипке... Паша спрашивает, правда ли это? Ему хвалил его способности Бреше, и паша желает его слышать... Поди сюда, как его зовут?.. 20

— Леонардо, консул зовет тебя.

— Что прикажете?

Какой быстрый мальчик и ловкий!.. Гораздо ловчее он меня, негодяй... Он уже тут, смотрите!.. «Что прикажете?» Как знает говорить, мерзавец! И ямочки эти как мигают на его щечках. Так пойдет дело, так он, пожалуй, понравится больше, чем я нравлюсь всем: и нашему, например, и всем консулам, и паше, и ей... Да, ей особенно. 30

Вот Благов говорит этому Леонардо:

— Что я прикажу? Я хочу, чтобы ты сыграл что-нибудь на скрипке для паши и спел бы что-нибудь хорошее.

— Oui, monsieur le consul, je suis à vos ordres! — отвечает смелый негодяй; — только позвольте домой за моею скрипкой послать. У цыган не очень хороша.



— Пусть не хороша, — говорит Благов; — лучше похуже, только сейчас.

Опять этот развратный мальчик искусно шаркает и опять говорит: «oui, monsieur le consul». (Дьявол бы взял его! Зачем я не умею так шаркнуть и не говорю так смело: «oui, monsieur le consul...» Все иго, все иго это причина всему и главный корень неисправимого зла!.. Ах, Боже мой! Боже... как грустно! Посмотрим, что́ будет дальше.)

10 Однако и дальше все идет у него хорошо. Я начинаю каяться, что пригласил этого Леонардо. Все почти, я вижу, восхищаются им не меньше, чем Зельхой. Он в самом деле способен. Он берет скрипку, становится пред пашой вежливо и скромно, но глядит на него безбоязненно и начинает играть «Carnaval de Venise». Кончает «Carnaval», играет «il Baccio»; кончает «il Baccio...», поет премило итальянскую песенку:

Простушка ты, горлица,  
Не видишь опасности:  
Бежишь от ястреба злого  
20 Прямо в сеть птицелова.

Потом, кончив эти стишки (Ашенбреннер переводит их паше, и паша весело одобряет их покиванием головы и улыбкой), кончив эти милые стишки, Леонардо берет скрипку под мышку и кланяется.

Паша и консула ему опять аплодируют.

30 Сам Бреше глядит одобрительно, насколько может глядеть одобрительно его печальное, морщинистое и злое лицо. Хорошее вино, которое разносит во все это время Кольйо, и хорошая европейская музыка Леонардаки смягчили даже и его, и он говорит паше (он тоже сегодня хочет угодить старику):

— Он хорошо танцует польку, этот garçon... И она умеет, я знаю (Бреше пальцем указывает на мою Зельху)...

— А! — радостно восклицает паша. — Я очень рад, очень рад. Пусть они танцуют польку вместе. Я люблю эти европейские танцы. Велите ему.

Бреше решается быть любезным и даже заботливым на этот раз (для чего и почему — не знаю!). Он говорит, что цыган не хорошо играет, что надо послать за отцом Леонардо, за его драгоманом; он прекрасно играет. Он будет играть, а сын будет танцевать с Зельхой под его музыку.

Паша не согласен с этим и говорит: «Зачем отца беспокоить?..» Бреше не подозревает, что паша вовсе не желает быть в обществе портного. (Другое дело мальчик, молодой сын этого портного, пляшет и поет пред ним как наемник, точно так же, как плясала Зельха, и совсем другое этот «драгоман великой державы с правами своими и с меркой в кармане»). Благов, зная это, поддерживает мнение паши, что посылать за старым Какачио не надо. Спор делается общим и дружеским. Бранкович вмешивается и говорит, что он сам сыграет на скрипке, что он умеет. Леонардо со своей стороны так смел, что вдруг подходит к старшим и говорит что-то господину Бреше, указывая издали смычком на Арифа, которого белые зубы сверкали все время чрез перила лестницы, и на Зельху (о Боже... она опять пьет! Она схватила стакан потихоньку с подноса и выпила половину. Она выпила бы весь, если бы мать не вошла и не вырвала его из рук ее... Я вижу, мать бранит ее, она хохочет и прыгает... У меня кружится голова от разнообразных впечатлений...) Леонардо указывает на Зельху и Арифа. Он, верно, предлагает играть, чтоб они танцевали польку так, как в той комнате, где я мучился ревностью. Я слышу, что Бреше, топнув ногой, отвечал резко:

— А! ба! с этими шальварами!..

Но вот добрый исполин Бранкович сел на кресло и, ударив смычком, воскликнул:

— Довольно! Зельха, начинайте. *Voyons...* Я сам умею играть на скрипке.

Несколько голосов раздалось в то же время: «Зельха! Зельха!»

Но ее уже не было. У нее начинала кружиться голова и она, скрывшись в гостиную, прилегла на минуту на диван.

Мать и Леонардо бросились за нею и с трудом уговорили ее выйти в зал. Мать была в отчаянии и, когда я вошел туда, движимый своими взволнованными чувствами, старуха обратилась ко мне и с горестию сказала:

— Видишь, она уже пьяна... Я говорила тебе, я говорила тебе, что она дура и худая девка. Видишь, вино погубит ее... Я тебе говорю... Теперь она консула не слушается и паши не боится, и плясать не может.

Но Зельха уже сидела на диване и, показывая пальцем  
10 на мать, громко смеялась и повторяла:

— Боится! Боится как, что я не пойду... Пойду! Пойду!.. — вскрикнула она вдруг, вставая и грозно топнув на нее ногой. — Слышишь, пойду я, старая ты, пойду... Молчи!

Леонардо принес ей холодной воды; она выпила с жадностью весь стакан; Леонардо помог ей водой намочить голову, и они вместе вышли в зал.

Я остался в полутемной большой гостиной. Мне не было весело. И я взял со стола графин, и я налил себе  
20 полный стакан вина, и я выпил!.. Выпил, сел и грустно задумался.

Бранкович играл прекрасную польку, веселую, живую, молодецкую... Я слышал, как она плясала, слышал, как топали изредка и тихо ее каблучки... Я слышал, что старшие восклицали: «Аферим! Браво! Брависсимо!.. Браво!..» Они долго плясали, а я долго сидел один... Потом они перестали плясать. И музыка утихла. Слышно было, что монеты падали на тамбурин. Зельха собирала деньги. И все утихло на время в зале.

30 Старшие все пошли в кабинет Благова; паша хотел посмотреть его картины и альбомы.

А я сидел все один и все думал об ней. Вдруг она вбежала и, оглянувшись туда и сюда, обняла, поцеловала меня и сказала весело:

— Я немного выпила. Я сяду с тобой тут. Смотри!

И сказав это слово: «смотри», она высыпала на стол целую кучку золотых и серебряных монет.

— Ты не глядел на меня, как я танцевала польку, а я, смотри, сколько денег взяла. Вот это Рауф-паша дал... две лиры... Это француз... Это немец... Это вот тот большой, большой (Бранкович)... Чтò ты сердитый сидишь? Хочешь денег?.. Я тебе дам, глазки мои, если у тебя мало... Я тебя очень люблю. Возьми, кузум, эти два маленьких золотых. Больших я не дам (прибавила она, с детским движением страха и кокетства отодвигая от меня остальное золото). А эти два возьми... Возьми, возьми, кузум-Одиссей.

И она опять тянулась целоваться.

10

Золота я не взял из гордости (хотя оно мне очень понравилось), но был очень сильно тронут в сердце моем ее добротой и сказал, целуя ее в протянутые ко мне уста:

— Зачем ты пьешь и зачем ты так развратна, Зельха?

— Чтò делать! — сказала она смеясь.

— Как чтò делать! Вот Феим-бей-то чтò сделал с тобой... Если бы ты не пила много... этого бы не было...

— Феим-бей? — повторила она с презрением, но без всякого раздражения или злости, или грусти, — Феим-бей дурак, гайдарос (осел)... Я его вот так, вот так!..

20

Она показывала вид, что топчет его ногами.

Я вздохнул только в ответ на ее легкомыслие и подумал:

«Цыганка! сказано цыганка — одно слово... Дьяволу невеста... бедная... Чтò с ней сделаешь доброго...»

А между тем мне и самому хотелось в эту минуту быть в сетях сатаны. И я все вздыхал... все вздыхал, любуясь на нее, как она опять серьезно начинала считать деньги, сбивалась, опять считала, просила меня счесть, сколько будет тут пиастров, и опять веселилась, и опять считала.

30

Благов в это время усаживал в другой комнате гостей за карты до ужина. Мы слышали, как там придвигались стулья к столам. Я слышал, что паша говорил: «Мсье Киркори — это сборщик десятины у нас. Он всех нас обирает. С ним я боюсь уж играть».

И Киркори тихо говорил: «Не бойтесь, не бойтесь, паша-эффенди, у вас денег много!»

Зельха тоже прислушивалась и смеялась, глядя на меня.

Потом гости утихли; только щелкали карты и слышался резкий голов Бреше:

— Du guignon! Rien que du guignon!..

Вдруг вошла снова старуха мать Зельхи и сказала мне таинственно: «Иди сюда, — иди со мной, — консул большой хочет говорить с тобой...»

10 Чтò это еще такое? Странный вестник мать Зельхи!.. Идем. Идем в маленькую туалетную Благова. Он стоит и ждет.

Когда мы вошли с этою мусульманкой-ведьмой, Благов спросил у меня с удивлением: «Чего она от нас хочет? Она говорит о каком-то Феим-бее. Я ничего не понял. Она сказала, что ты переведешь... Чтò такое?»

— Чтò ты желаешь, скажи мне, — обратился я к ней.

Старуха поклонилась низко и, коснувшись края одежды консула, начала таинственным шопотом и с выразительными движениями рук и всего тела с отчаянием говорить мне так:

20 — Ты, Одиссей, знаешь, кузум, о чем я говорю... Феим-бей, молодой, толстый такой... Он злодей... Пошли мы к нему, он обещал нам денег. Пришли...

Но Благову все это показалось очень подробно.

— Короче! — сказал он нетерпеливо. — Мне нельзя долго здесь быть. Чего она хочет, два слова...

Я понял, конечно, о чем идет речь, и сказал ему не без смущения.

30 — Вот она мне точно то же внизу говорила. Феим-бей этот обидел Зельху. Он, говорят, сначала ее вином наполнил, ну и... вот... как вам известно, насилие, она говорит... бесчестие...

Старуха следила за моею речью внимательно и восклицала:

— Да! да! худой человек, худой!.. Он на телеграфе служит... Эффенди... Пожалей нас...

Благов был недоволен; лицо его становилось гневно; он отстранился подальше от противной женщины и спросил:

— Неужели она хочет, чтоб я паше говорил об этом? У них на это есть свой турецкий суд... молла...

— Нет! нет! Зачем паше? Чтò молле тут делать... — воскликнула с жаром старуха. — Я только хотела это сказать, чтоб эффенди знал; потому, что Зельха ему как дочь, а он ей все равно как отец...

Благов понял эти слова без моей помощи, и, пожав с отвращением плечами, заметил: «Хорош отец и хороша мать!»

Потом, помолчав с секунду и постояв в раздумьи, он ни слова не произнес более и вышел вон. <sup>10</sup>

А старуха взглянула на меня наглыми и сверкающими глазами своими так выразительно, что, несмотря на закрытую грязною кисеей нижнюю часть лица ее, я понял, что она довольна, предовольна и что ей больше ничего не надо...

Бедная Зельха моя!

Мы разошлись в разные стороны. Меня скоро отыскал Бостанджи и начал мирить меня с Леонардо. Мы помирились и долго разговаривали дружески у меня в комнате. <sup>20</sup>

Ни до ужина, ни после ужина танцев наверху не было. Внизу люди между собой танцевали, и музыка там играла; но мне так было скучно и жалко, что я не ходил туда и удивлялся даже, как таким людям, уже не очень молодым, как кавассы наши, не надоедят эта музыка и эта долгая пляска на одном и том же почти месте.

Где Зельха — я не видал; я думал, что она там у людей внизу, и не искал ее. Ужинать остались с Благовым только австрийцы; паша и другие гости уехали и ушли еще прежде ужина. Музыканты тоже ели, пили и отдыхали. <sup>30</sup> Бранкович за ужином много рассказывал, много смеялся, и Благову было с ним как будто весело.

Когда и австрийцы ушли домой, казалось, что все бы должно было успокоиться; но вдруг мать Зельхи прибежала наверх и с криком и слезами начала говорить, что дочь ее умирает...

— Чтò такое! Чтò такое!..

В доме произошло внезапное смятение. Все мы, кавасы и Кольйо, и Бостанджи, сбежались туда, где лежала Зельха. Скрывшись в большой полутемной гостиной на дальнем диване, она лежала без сил и движения, без сна, но не открывая глаз...

Платочка на голове ее не было; он валялся на полу; она лежала неподвижно навзничь, бледная-пребледная, слабенькая, тоненькая; она силилась нам улыбнуться, когда мы все звали ее по имени... Силилась и едва могла...

<sup>10</sup> Побежали за консулом. Он пришел смущенный... Мать громко рыдала. «Она умирает!» — прошептал с ужасом Бостанджи-Оглу.

— Боже! — воскликнул при консуле впечатлительный Маноли. — Что если она умрет здесь, в русском консульстве! Как это будет нехорошо!

Я взглянул на консула; он был мрачен и долго стоял молча над ней. Мы все ждали, что он скажет.

— Облить ей голову водой холодной, — посоветовал Маноли.

<sup>20</sup> — Облейте, — сказал Благов и тотчас пошел в свою комнату и написал записку к доктору Коэвино:

— «Доктор! Зельха в обмороке. Приходите немедленно, если хотите, чтобы мы не поссорились!»

Он подал эту записку незапечатанную и не глядя кому. Я взял ее, просмотрел и уговорил, упросил старика Ставри, как наиболее дельного из слуг, идти к доктору, чтобы привести его непременно.

Зельха все молчала и не двигалась. Мать рыдала все громче и громче; я ушел, чтобы скрыть мои слезы.

<sup>30</sup> Между тем Маноли и Кольйо, жалея дорогую мебель Благова, бережно взяли ее на руки и понесли ее в большую залу, где диваны были проще. Я видел, как они несли ее: Кольйо держал ее ноги, Маноли нес за спину, поддерживая своею широкою грудью ее слабую головку.

Я слышал, как ветреный Маноли смеялся и говорил:

— Как пушок она! Совсем весу в ней нет... Как младенец неразумный...

И слушая это, мне ее стало еще жалче... Они положили ее на диван.

Долго мы прождали доктора. Ставри не мог уговорить его одеться снова; записка же Благова оскорбила его и угроза не подействовала.

— Не могу! — сказал он кавассу, содрогаясь от гнева, и не пошел.

Благов побледнел, когда Ставри язвительно доложил ему: «Этот доктор... не хочет прийти...»

— Чтò ж он говорит? — спросил консул, не скрывая досады. <sup>10</sup>

— Чтò говорит?.. Вы знаете его!.. Он говорит, не умрет она от этого... Встанет.

Благов пожал плечами и вышел вон. Ему не хотелось, верно, посылать ночью для Зельхи за другим врачом, менее чем Коэвино ему близким; ему было неловко и стыдно это сделать; однако он решился; доброе чувство и, может быть, искра действительной любви при взгляде на ее безмолвную и бледную красу, распростертую пред ним так беспомощно, взяли верх над гордостью. Он вынес письмо к Арванитаки, и лицо его было при этом очень смущенное. <sup>20</sup>

Но, к счастью, в эту самую минуту Зельха начала приходить в себя. Она чуть-чуть открыла глаза, улыбнулась слабо, увидав, что около нее стояли мы все, и сказала:

— Оставьте, оставьте меня... Голова болит...

С этими словами она встала на четвереньки, как зверок, и, нагнув голову вниз между рук, начала упираться ею крепко в диван, повторяя: «Аман! аман!.. Голова моя!..»

Тогда все успокоились за нее и понемногу разошлись, оставив ее с матерью, которая продолжала мочить ей голову.

Потом ей стало легче; она крепко заснула, проспала в гостиной долго, и утром рано мать увела ее благополучно домой. <sup>30</sup>

### XXXIII

Вот и карнавал!.. Погода хороша; солнце греет; толпа пестра и многочисленна на просторной площади пред зеленым домом Коэвино.



Сам доктор сидит на балконе и глядит в лорнет.

Народ мирен и весел, все ходят, гуляют, говорят громко, смеются и поют, попирая осевшие в землю плиты древнего еврейского кладбища. Все, даже и молча, как будто бы сердцем поют ту песню моего прежнего друга Аристида... «Давайте ту землю ногами топтать, топчите ту землю, которая всех нас пожрет!.. Разницы нет у нее для архонтов и бедных, для молодых и для старых людей, для паликаров и девиц!.. Приударьте крепче ногой эту землю!»

10 В толпе ходят маски. (Костюмы все те же, наши веселости редки и просты, и разнородности нет в них.) Вот молодой человек, одетый кавассом; у него блестит за поясом оружие и приклеены большие усы. Как он рад, что хоть в шутку смеет быть таким героем при турках и при самом паше, который приехал на ближнюю гауптвахту и курит там наргиле, любуясь на гулянье. Другой мальчик одет молодою девушкой, набелен, нарумянен; стыдливый в своей обычной одежде, он теперь бесстыден, он нагло глядит, он смело пляшет, он неловко кокетничает. Но собой он все-таки хорош. Третий 20 юноша доктор, он европеец; он обезобразил свое молодое лицо очками, свой стройный стан каким-то старым сакпальто, на голове его шляпа, под мышкой «инструмент»... Они все вместе — доктор, девушка и кавасс пляшут, поют и уходят. Идут другие маски. Опять то же. Опять два доктора, опять три кавасса, опять очень румяная и неловкая девушка. Все то же; однако весело глядеть на них; весело смотреть на движение, на пестрые одежды, на смех и пляску; нам всем приятно слышать крик детей, слушать музыку и шум толпы.

30 Сам Рауф-паша здоров и доволен. Он приглашает митрополита к себе на гауптвахту и вместе с ним пьет кофе и курит, как бы всенародно показывая ему уважение.

Шутя и подсмеиваясь, старый, низенький и бледный турок, обращаясь к старому высокому и красному епископу, говорит так:

— Однако, деспот-эффенди, ведь эти скоморошества грех по вашей вере?.. Вы бы не должны любоваться на них.

— Эффенди мой! — смиренно, но с достоинством отвечает епископ, — эти увеселения суть народное право наше, огражденное фирманами.

Паша продолжает шутить:

— Я знаю, знаю! Это странно и удивительно! Когда наши тогда брали Янину, отчего христиане выговорили себе только два права, сдавая город: право наряжаться на карнавале и право умерших носить по улицам с пением и открытым лицом?.. Ничтожные вещи это!..

— Во всем остальном они надеялись на милость и великодушные победителя, — отвечал епископ...<sup>10</sup>

И удачные ответы его разносятся по всему городу в тот же день. Все на этот раз хвалят непопулярного митрополита: турки за почтительность, христиане за ум и достоинство. И Коэвино хвалит, и Благов, и я хвалю...

Я, впрочем, — все хвалю и все славословлю в этот приятный день! И небо синее, и землю Божию, и воздух душистый и весенний, и молодость, которой ключ горячий, кипучий поток я слышу в крови моей... И песни молодцов, и красоту красоток, и доброту доктора, у которого я сижу на балконе, и власть султана в настоящем, и волю эллинов в грядущем... И жандармов турецких, блюдущих порядок, и разбойников греческих, так молодецки (и так безопасно для меня) где-то в дальних и мрачных горах его нарушающих... И Благова с Бранковичем, которые такими боярами проехали верхом через площадь. Хвалю и славословлю за то, что собой видные люди, за то, что хорошо глядеть на них. Хвалю Ашенбреннера за то, что он добрый семьянин; он только что прошел с женой и тремя детьми мимо нас, и мы ему кланялись. Хвалю даже Бреше за то, что он приложил давеча руку к фуражке, когда я ему в переулке робко поклонился. (Образованный человек, вежлив!) Всех хвалю.<sup>20</sup>

Не хвалю только все того же развращенного повара Вассо...<sup>30</sup>

Он опять все с тем же обратился ко мне...

— Кир-Одиссей, дай мне для одного человека свою рысью шубку и чистую феску...

— Для маски? — спросил я.

— Для маски.

— Замараешь их мне.

— Не бойся, паликара чистенького, паликара хорошего я одену в них и тебе его покажу... Приведу тебе его.

Глаз его блестит при этой речи. Я хмурюсь.

— Чтò такое? Чтò такое?

— Ты знаешь чтò!.. Не делай политики... Вечером увидишь, чтò это будет... Сегодня карнавал и веселье...  
<sup>10</sup> Все будет хорошо. Только ты, извини меня, очень глуп... Ты был бы первым, а теперь последним не хочешь ли быть. Феим-бей раз, *наш* два, а ты последний. Знаешь пословицу: «Всякий на очереди своей; пусть он будет хоть поп». Поняла головка твоя?..

Я в негодовании и волнении отхожу от него не говоря ни слова. И он тоже не говоря ни слова берет мою шубку и уносит ее куда-то. Чтò же это будет?

Куда девалось честное веселье мое?.. Моя бесхитростная и беззаботная радость, где ты?.. Я в волнении жду вечера,  
<sup>20</sup> и ни танцы, ни маски, ни песни, ни шутки, ни тихое созерцание, ни громкие разговоры, ничто мне не нужно, ничто не утешает меня! Я в волнении... В каком волнении?.. Ревную я, радуюсь, боюсь, жалею и стыжусь?.. Не знаю... Не могу сказать, не умею... не помню! Но помню я одно, что настал вечер тихий, теплый. Потом засветилась луна. Помню, что улицы пустели и темнели. Но пение еще раздавалось порою и музыка иногда была слышна... Я стоял пред отворенным окном и смотрел в наш сад.

И вот калитка отворилась и вошел в нее Вассо в бурке  
<sup>30</sup> и с фонарем в руке; за ним шел кто-то небольшого роста... Они подходили по дорожке ближе. Я видел какого-то, казалось мне, отрока в феске, который старательно подбирал полы моей шубки. Она была ему длинна. Они остановились на минуту около дома. Я старался стать у окна так, чтоб они и вблизи не видали меня.

Я уже понял давно, кто был этот отрок!.. Я хотел только очами узреть то, чтò понимал давно.

Сердце мое билось!.. Вассо вошел на минуту на нижнюю галерею, верно для того, чтобы посмотреть, нет ли кого-нибудь внизу. Она села на камень и ждала.

На мое окно она не поднимала глаз и сидела. Вассо вышел и позвал ее. От окна я перебежал к двери моей и припал к щели. Казалось мне, она долго ждала.

На лестнице и наверху не нужна была чужая одежда.

Она шла теперь одна через залу, разубранная и нарядная как пленная царевна, в куртке золотой, в знакомой малиновой куртке, в червонцах вся, в моей новой феске...<sup>10</sup> Она поправляла эту феску мою и шла одна вперед по зале, теперь так ярко освещенной луной... Она подошла к двери Благова и тронула замок...

Я дрожал... Я дрожал не от ревности, о нет! Я забыл ревность... Я дрожал потому, что мне было жалко ее, мне было за него стыдно...

Я услышал, что двери его отворились. Я лег в невыразимом волнении на постель... Закинув за голову руки, я долго лежал недвижим и о чем-то смутно и печально думал...

На улице ребята наши все еще пели песни и, остановившись около нашего дома, звонили прекрасно в такт позвоночками, напевая хором незнакомую мне песню. Я слышал только иные слова и стихи, а иных не расслышал:<sup>20</sup>

Серебро листочки,  
Хрусталь корешочки,  
Ветви голубые,  
Листья золотые!

И пели они эти пустые слова так долго и так согласно, и так мило, что я еще больше смутился помыслами. Так лежал я долго... Певцы ушли, звонки прекратились, умолкла песня вдали. А я все лежал и думал о чем-то...<sup>30</sup> Должно быть, я думал о том, желал ли я быть на месте Благова? И помню, что не желал... Нет, нет!.. Ни за что не желал бы такого греха и стыда жестокого...

Я не мог быть покоен. Я встал и зажег свечу. Все было тихо. Как будто не было никого во всем просторном доме этом.

Вдруг громко хлопнула дверь... Это дверь там... Я знаю ее звук... Это там!.. Кто-то идет, кто-то бежит... Это она... она... О ужас!.. Она бежит ко мне. Она вбежала, громко захлопнула за собою дверь, громко щелкнула ключом, заперла ее и бросилась прямо ко мне бледная, сердитая, брови ее были грозно сдвинуты... Она кинулась ко мне и, остановясь против меня, вся сверкая гневом и страхом, сказала мне, как будто бы и я был в чем-нибудь виноват:

10 — Истемем-бен! истемем!.. (не хочу, не хочу я).

Она боялась; она никого не любила, никому не продавась; она была безгрешна в том, в чем сама на днях винила себя из корысти, в угоду матери... Все это дело Феима, все это обольщение, все эти жалобы на насилие... все это была одна ложь, одна выдумка матери и повара, чтобы смягчить твердую волю Благова, который искал наслаждения, но не хотел низости.

Я сел около нее и, взяв ее за руку, спросил:

— Чтò с тобою, Зельха?..

20 Она сперва сердито отстранилась от меня, но потом вдруг, оборотив ко мне опять печальное и гневное лицо, отвечала:

— Зельха скверная... Зельху убить надо... Понимаешь... Взять пистолет и убить ее вот сюда...

Она ударила рукой себя в грудь.

— Это грех! Это стыдно... Убить меня надо за то, что я пришла сюда...

30 Я не знал, чтò ответить ей на это... Она сидела безмолвно, и я молчал долго, с беспокойством прислушиваясь, не слышно ли чего-нибудь в стороне кабинета...

Но все было тихо и безгласно... Я сказал тогда:

— Иди, Зельха, иди в большую комнату, спи, успокойся...

— Я боюсь, он придет туда, когда я буду одна...

— Иди, не бойся... Здесь тебе нельзя дольше оставаться... Он услышит, поймет, что ты здесь. Он будет на меня сердит за это...

Она встала и, взяв мою свечку, ушла в большую гостиную; я проводил ее с величайшею осторожностью до дверей, поднял занавес и сказал: «Вот тут на диване спи».

Она тогда сказала: «Я запру дверь».

— Как хочешь, — отвечал я.

Она заперлась со стороны столовой, чрез которую был прямой ход в кабинет Благова, поставила свечку на стол и легла на диване, лицом вниз на шолковую подушку.

Я ушел без огня в свою комнату, освещенную луной, и, конечно, уже вовсе спать не мог после этого. Буря разнообразных чувств моих была так сильна, что для сладкого чувства мирной любви не оставалось места в потрясенной душе моей.

Я просто не знал, что делать; сидел у окна, ко всему прислушиваясь и от всего содрогаясь. Одна из стен моей комнаты выходила на улицу, и когда посреди молчания ночного раздались вдруг по мостовой мерные и тяжелые шаги турецкого дозора, я испугался и мне пришла самая глупая мысль... Солдаты, казалось мне, остановились на минуту пред русским консульством и говорили что-то... Я слышал смутный говор глухих голосов... Я так был взволнован, что мне показалось на миг, будто они знают, что здесь у нас в эту минуту молодая мусульманка подверглась позору и обольщена, что они гневны, что они решительны, что они ворвутся в консульство и всех нас убьют...

Но солдаты ушли, и я опомнился и устыдился, поняв, какому пустому страху я на мгновение поддался... Опять все стало тихо. Прошли еще какие-то люди по улице. Опять вдали раздались музыка и пение весельчаков карнавала... Молодые люди, разгулявшись, не хотели идти домой и все пели и пели, останавливаясь то там, то сям на лучших улицах и позванивая в такт побрякушками...

Но вскоре я опять услышал шорох за занавесом в соседней темной комнатке и, поняв, что там Зельха, поднял занавес, который отделял эту темную комнатку от моей.

Луна осветила ее. Она сидела на полу в этой комнатке и руки ее были подняты кверху.

— Чтò ты делаешь, Зельха?..

— Молюсь, — отвечала она, серьезно взглянув на меня.

Я опустил занавес, не желая ей мешать, и возвратился к себе; мунуту спустя она сама вошла ко мне со свечой и, уже улыбаясь мне немного, — чуть-чуть улыбаясь, села на диван и сказала мне:

— Садись сюда со мною. Я не хочу спать. Я все боюсь, что он придет.

10 Чтò делать! Я сел около нее и решился спросить у нее, как было это все.

Она сказала, что мать уговорила ее прийти, и вот она пришла.

— Пришла, — говорила она, — пришла и села, и говорю ему: «Я хочу деньги прежде!» Он смеялся и дал мне десять лир... Вот они (и улыбаясь уже весело, как ребенок игрушке, она достала эти деньги из бокового кармана своей куртки). — И начала считать. Сочла, помолчала и опять продолжала:

20 — Потом он дал мне эти деньги. А я говорю: «Я уйду, я нездорова...» Он сказал: «Ты лжешь, Зельха... ты здорова; ты все лжешь...» А я говорю: «Да, я лгу, и про Феим-бея я солгала»... Он говорит: «И это лжешь...»

— Я рассердилась и сказала ему: «Нет, это правда... Я боюсь... Грех, и я не хочу...» И убежала к тебе. А он остался...

Тогда я робко спросил ее: «Ты совсем не любишь его?»

Зельха сделала гримасу отвращения и, покачав отрицательно головой, отвечала:

— Я тебе говорила — не люблю! Он *холодный* человек...  
30 *Суук-адам!* — И сама, подняв высоко плечи и мило сгорбившись, она так пристально глядела мне в глаза!

Я опять уговорил ее идти в большую приемную, но она, сказав «оставь, я спать хочу», упала поперек дивана моего и уснула почти тотчас же крепким сном...

---

\* На Востоке это значит неприятный человек. Женщины говорят это особенно про тех мужчин, которые им не нравятся.

Тут только, увидав, что она измучена и что ее будить уже жалко и стыдно, я понял, что мне самому надо уйти из моей комнаты куда-нибудь и что нельзя нам оставаться вместе до утра!..

### XXXIV

Надо было мне удалиться скорее... Но куда?

Я решил, что лучше всего и дальше всего от нее будет одно место в нашей большой зале.

Это место было в дальнем углу залы. Там был выступ на двор; он образовывал нечто подобное тем маленьким<sup>10</sup> крытым балконам или бельведерам с окнами на все стороны, которые, конечно, ты не раз видал в Константинополе. Благов велел отделить его от остальной галереи длиною и очень пышною занавеской на кольцах, из бумажной материи песочного цвета с красною и синею обшивкой; диван турецкий, который шел с трех сторон этого приятного убежища, был покрыт точно такою же материей и с такими же синими и красными каймами и на подушках, и внизу. Я часто любил удаляться в этот уголок и, задернув большой занавес, учил там свои уроки<sup>20</sup> или просто предавался одинокому созерцанию. Чрез высокую стену нашего двора были видны на большом расстоянии черепицы кровель, минареты и деревья, и была даже видна та высокая башня с деревянным киоском наверху, откуда Али-паша Янинский видел в последний раз перед смертью битву своих войск с войсками султана и свое поражение. Дальше, точно так же, как из окон моей комнаты, возвышался над озером нагой гребень наших первых загорских высот, и точно так же у вершины этого гребня белели в ясный день домики маленького села<sup>30</sup> Линьядес, и так же краснели нередко красные черепицы кровель, когда солнце ярко освещало их.

Я вышел в залу в башмаках, чтобы не стучать, и остановился. Все по-прежнему было тихо... Но из-под затворенной двери консульского кабинета в щель светился огонь



и слышались его тихие и ровные шаги. И он не спал. Он ходил по своему кабинету...

Как можно осторожнее прокрался я в свое убежище, еще прислушался и не спеша, с расстановкой открыл окно. Мне нужен был свежий воздух: я задыхался. Открыв окно и вдохнув в себя прохладный ветерок, я присел с ногами на диван и стал глядеть на гору, освещенную луной, и на блестящие кровли уснувшего города. Петухи уже начинали громко петь. Я был рад, что придумал уйти от Зельхи, чтобы совесть моя была покойна и противу себя и противу консула, и начал так успокаиваться, что захотел уже прилечь и задремать...

Но эта ночь тихого и почти безмолвного безумия не должна была еще кончиться так просто...

Вдруг обе половины консульской двери быстро и шумно растворились... Я вздрогнул, придвинулся подальше за занавес и смотрел. Благов стоял в дверях своего кабинета со свечой и глядел в пустую залу, не замечая меня. Он отворил обе половины настежь. И ему было душно, и он хотел прохлады и воздуха!.. Весь кабинет его, освещенный и большой лампой, и свечкой, которую он держал в руке, был виден хорошо... Черный ковер с яркими звездами и фигурами меццовских узоров, полосатые диваны, стол большой и лампа, и треножники с картинами; и большой портрет матери в стороне... Ее платье представлялось издали как белое пятно...

Благов стоял, не подозревая, что я так близко.

Он был на этот раз не в своем обыкновенном коричневом бархатном халате, но в малиновом шолковом, настоящем сирийском бурнусе с золотыми затканными пальмами... Он надел этот театральный, этот прелестный бурнус для нее!.. Он хотел украсить себя всем, что было ему только доступно, хотел окружить себя лучшими предметами своей роскоши... Он мечтал забыться; хотел, быть может, забыть в эту минуту, что он Благов, что он русский, что он христианин... Он хотел быть на миг восточным сатрапом, визирем, султаном... Он хотел быть красивее, он хотел

понравиться, хотел, чтобы не одно золото... о! Боже... как мне теперь было жалко его...

Я продолжал глядеть на него, едва переводя дыхание... Была минута, правда, когда я желал, чтоб он увидал меня в зале, чтоб он знал, что я не с нею, что я ушел от нее... Не мог же он не слышать и не понять, куда она от него побежала, к кому она спаслась от него, внушившего ей только страх, отвращение и стыд!..

Теперь же, теперь, когда я увидал его в этом малиновом с золотом бурнусе, когда я догадывался детским и жалостливым сердцем моим, как ему могло быть стыдно... (какой же ребенок не знает этого чувства!..) я предпочел бы, кажется, быть с нею в моей комнате, чтоб он только не увидал меня, чтоб он не знал, что есть свидетель оскорбления, которое нанесла ему эта девушка! Я не шевелился; я все сидел неподвижно.

Благов вернулся в свою комнату; поставил свечу на стол, сбросил с себя этот пышный бурнус неудачи, надел так смиренно, скромно и печально (так казалось мне) свой коричневый шлафрок и, заложив в раздумьи руки за спину, стал ходить из конца в конец от окон своего кабинета и от угла, где белел из темноты призрак его умершей матери, через всю залу почти до дверей моей комнаты.

Я думал, что он подойдет к самой двери моей, что он остановится, ревниво прислушиваясь, припадая к ней осторожно... (ведь он считал себя теперь наедине с самим собой; он не знал, какой зоркий глаз, какое встревоженное сердце следили за ним из-за большой занавески этой!..) Но он не удостоил и этого сделать... Он не удостоивал ревновать!.. Он был только задумчив, грустен и, может быть, презирал себя за преступный и грубый порыв. Задумчиво, говорю я, заложив руки за спину, но все так же гордо, все так же тихо, все так же твердо ступал он, то проходя в нескольких шагах от меня, то удаляясь в глубь своего кабинета... И чем благороднее был его вид, тем стыднее и даже страшнее мне становилось за него, когда я думал, как жестоко отомстила ему за меня эта Зель-

ха!.. Он не хотел надеть после меня одежды своей, он велел отдать повару жакетку, которую я осквернил еще недавно моим плебейским потом... Он отвергал только одежду; она отвергала его самого и бежала ко мне... Ни сирийский шолк, ни благоухания Парижа, ни просвещенный ум, ни мужество, ни сан, ни золото, — ничто это не подкупило и не пленило ее... Она взяла деньги и убежала ко мне, у которого не было ни его духов, ни его мужества, ни его власти, ни его денег!.. Ей он казался неприятен,<sup>10</sup> холоден и даже стар... И до ума его, до его дарований, до поэзии Мюссе и Лорда Байрона какое ей было дело?.. Она дитя простое и дикое, она нежный плод жизни грубой, она видела поэзию лишь в том благоухании юности, в той простоте обращения, которое я мог ей предложить, — в моих кудрявых, черных волосах, в моих больших и добрых глазах, в розовых и чуть-чуть еще пушистых щеках, которые ей приятно было трогать руками!..

Благов все ходил; я все сидел в углу моем и с биением сердца следил за ним. Я видел, как он вошел опять в кабинет свой; зажег медленно свечу, которую недавно<sup>20</sup> только погасил, взял ее в руку, поднес к портрету матери и долго смотрел на него; я видел издали все это, но, конечно, не мог понять его дум...

Он долго, говорю я, смотрел на этот белый портрет, теперь так ярко освещенный. Потом он отошел от портрета, поднял свечу еще выше и стал разглядывать образ Спасителя в углу. Теперь я видел ясно его строгий профиль, его немного длинный и жесткий выражением подбородок!

<sup>30</sup> Задумчиво и все-таки медленно поставил он опять свечу на стол, опять заложил руки за спину и вышел в зал... Но на этот раз... о ужас!.. он шел прямо ко мне!

Я холодел и дрожал от смущения и страха; я забыл даже вовсе о моем желании, чтоб он знал, что я не с Зельхой, что она одна, а я особо; что я ушел, убежал от нее ему в угоду... Я забыл об этом. Он шел прямо на меня; подошел, отдернул занавес. Я успел только сперва

припасть на подушки как спящий; а потом приподняться как бы пробуждаясь... Это сделать я успел... Он стоял предо мной, высокий, бледный... Яркая луна чрез множество стекол бельведера со всех сторон освещала лицо его. От мертвенного света луны худые щеки его казались мне более обыкновенного впалыми, и все лицо его было хуже, строже и старее... «Суук-адам! Суук-адам! Суук-адам...» Она так сказала...

Он отдернул занавес совсем и увидал меня.

Я молчал, привстав на диване.

10

— Ты здесь? — сказал он.

— Да, я здесь...

Он постоял, посмотрел в окно на небо, на луну и на двор; опять задернул немного занавес, задернул его точно так, как он был у меня, и отошел. Я лег и сердце мое стучало в груди моей.

Он снова стал ходить из залы в кабинет и из кабинета в залу, точно так же, как прежде, как будто меня не было, как будто он не видал меня... Наконец, войдя к себе, он притворил дверь в залу, щелкнул ключом и утих...

20

И все утихло тогда; и я стал забываться на подушках дивана. Но скоро я заснуть не мог; петухи пели все громче и громче... Ночь была тепла, и снова вернулись запоздавшие молодцы, и снова очень долго стояли в переулке и звонили позвонками в такт, и пели:

Растут два лимона,  
Лимончиков пара,  
На ветке одной.  
Сестер двух люблю я,  
Люблю двух сестричек,  
Я в доме одном.

30

Дрожу при одной я, другой я боюсь,  
Боюсь сказать им  
Как я их люблю!

Сквозь дремоту слышал я песню эту, и сердце мое опять крепко билось, и я мучился чем-то, сладким ли и радостным чувством, или горьким и страшным — не могу сказать...

Настало утро. Все проснулись. Зельха на рассвете сошла тихонько вниз, разбудила Вассо и вместе с ним исчезла из дома.

Благов тоже почти не спал: он на заре дернул шнурок колокольчика, который был проведен в кавасскую комнату, и приказал, чтобы Кольйо подал скорее ему чай.

Потом он с Анастасием-кавассом ушел пешком к озеру; катался в лодке, беседовал с лодочником; гулял один по острову; зашел в бедное жилище матери нашего маленького Алеко и пил у нее плохой кофе в простой чашечке.

Потом сидел долго и молча опять один у мечети в крепости и смотрел на восхождение солнца из-за гор...

Потом вернулся, «взял опять ту книжку...» (сказал мне Кольйо) и заперся...

После опять ушел куда-то, и до завтрака я не видал его.

День был воскресный. Я был в церкви у святой Марины; я был покоен, молился, пел с певчими громко и усердно; сам вызвался прочесть Апостола и прочел его так хорошо. Потом зашел с чистою совестью выпить чашку кофе у старца Арсения и был принят им ласково. Мы говорили о политике. Я рассказал ему подробно о тех затруднениях с Портой, которые мы имели, и о том, как Благов искусно и внезапно вышел из них любезностью, когда увидал, что силой ничего нельзя уже сделать. Окончив рассказ свой, я прибавил значительно и с тонкою улыбкой, как опытный дипломат Востока: «Да, гёронта мой! Это так! И эта политика хороша. Давно было сказано, что Россия умеет привязывать себе лисий хвост, когда она не может действовать когтями льва». Отец Арсений был доволен и мной, и Благовым, и вообще единоверною Россией, гладил длинную бороду свою, смеялся и говорил: «Это хорошо, это хорошо, это хорошо! Пусть англичанин лопается»...

От отца Арсения я пошел к доктору. Козвино был дома, но собирался идти куда-то и был очень таинствен;

чему-то улыбался. Приглаживая щеткой своей венский цилиндр, он наскочил на меня, приговаривая:

— А? Одиссей! А!.. Чтò у вас нового? Чтò у вас нового?.. А! Ничего? Ха-ха! ха-ха!..

Но больше ничего не сказал и ушел. Позднее, гораздо позднее, я узнал, что в это самое утро и незадолго до моего посещения г. Благов, несмотря даже на свою угрозу поспориться с Коэвино за то, что он не хотел прийти ночью, когда Зельха была в обмороке, заходил к нему в это утро и поручил ему значительную сумму для доставления ей. Он, должно быть, гнушался сам собой в этот день и всячески хотел пред совестью своей загладить то, чтò внушало ему отвращение, забыть это, утешить душу свою иными, лучшими и чистыми, великодушными ощущениями. Зельха за одну ночь и за одно утро стала вдруг не только не бедною, но даже довольно выгодною невестой. 10

Друг мой, в одном из писем твоих ты сказал мне, что я на русского покровителя моего смотрел в то время как на «полубога»... Мне было неприятно, сознаюсь тебе, читать это... Зачем «полубог»? Разве ум и сильный характер, разве власть и влияние, разве красота телесная и благородство приемов не действительные явления жизни?.. Неужели твое демократическое чувство или нерасположение твое к русской политике на Востоке, которую ты считаешь слишком славянскою и для нас, греков, опасною, неужели эти чувства, до моего предмета прямо не касающиеся, могут ослепить твой ум и лишить его беспристрастия?.. 20

Я не говорю о тогдашней юности моей, о простоте и даже грубости моего первого воспитания; нет... я и теперь, когда я уже столько видел и со столькими сильными людьми всех наций, вер и сословий имел сношения и дела, я продолжаю думать, что Благов был именно таким, каким я его без прикрас изображаю. И еще прибавлю: не знаю еще я, не правее ли тот, кто без зависти и без придиричвой иронии относится к людям и смотрит на них оком любви и снисхождения, или тот, кто, злорадствуя, легко- 30

мысленно ищет найти во всех лишь пороки?.. Жизнь для всех трудна, мой друг; у всех борьба жестокая до последнего часа... И не знаю, есть ли такой злодей, которому бы нельзя было не сострадать иногда душой, даже и подвергая его заслуженной казни?

А разве Благов был злодей?

И детское сердце, конечно, нередко очень жестоко и грубо, но внезапно воцаряются в нем такие высокие и добрые чувства, которым и слова и названия невозможно <sup>10</sup> найти... Есть жалость высокая, святое чувство, полное почитительности и трепета... Эту жалость мы чувствуем внезапно при виде падения или горя тех сильных людей, которые нам кажутся счастливыми и недостижимыми для нашего обычного горя...

Таков был для меня Благов; таковым по несколько жестокому характеру, по высокой и широкой будущности, которая могла ему легко предстоять, по средствам и способностям своим мог он казаться не только мне, но и равным с ним по годам и положению людям; таков он действительно <sup>20</sup> был и таково было то робкое, почитительное и невыразимое сострадание, которое я почувствовал неожиданно и глубоко, когда он вышел к завтраку и так просто по обыкновению сказал: «Здравствуй...» Я не смел взглянуть на него; я сидел напротив него за столом и страдал за него... и стыдился. Я видел пред собой не этого Благославленного, спокойного, равнодушного, который был одет как всегда и разговаривал с Бостанджи о делах; я все видел того оскорбленного, униженного и порочного сатрапа в малиновом сирийском бурнуса с золотыми пальмами... Я видел Благославленного <sup>30</sup> бледного как никогда, освещенного полною луной, свет которой его так старил... Я видел портрет его матери. Я видел те листики осенние; я видел синий бархат той книжки и надпись, и крест золотой... Я видел побежденного мною соперника...

Я молчал и взглядывал на него осторожно. К счастью моему, он не казался смущенным или гневным, он был светел, ровен, тих. Да! я видел опять этот светлый, этот

добрый луч, который я уже знал, тот луч почти кроткий, которым я согревался, гуляя с ним по темнеющей и обширной долине зицских окрестностей...

«Ни вина мне пить, ни веселиться не надо!...»

Так он тогда говорил, восхищаясь простою нашею поэзией... И мне казалось, что он и теперь, когда глядит на меня, думает именно это...

— Да, я грустен, но добр теперь, Одиссей! «Ни вина мне пить, ни веселиться не надо!...»

## XXXVI

10

Под конец завтрака Благов, все время говоривший с Бостанджи-Оглу о делах нашей канцелярии, приказал кавассу сходить к тому доброму архонту Вроссо, которого я уже не раз тебе хвалил, и велел сказать ему так: «Все готово. Не угодно ли вам прийти в консульство?»

Что такое — готово, мы не знали. Готов был в Порте фирман для Вроссо; он был признан первым и почетным драгоманом консульства, без жалованья, как человек богатый, но со всеми правами. Бостанджи-Оглу получает прибавку жалованья и назначен вторым драгоманом. Об отце моем и об Исаакидесе не было помину. Никто в консульстве не знал, что готовится такая неожиданность.

Я понял, что мое неосторожное слово в Зице о тайных и, по-видимому, непрощенных действиях Исаакидеса для возбуждения Тахир-Аббаса и для прославления русского флага принесло свой плод, хотя и не сейчас. Г. Благов решил давно избавиться от Исаакидеса, который слишком уже смело запутывал отношения наши с Портой; но он не хотел удалить его вдруг, чтобы турки не вообразили, что Благов приносит им в жертву врага их, лишь бы чем-нибудь угодить им в то время, когда был раздор с пашой и когда противники Благова торжествовали.



Я тревожился этою мыслью и боялся даже увидеть Исаакидеса, чтобы мне не было пред ним стыдно. Думал и об отце моем; место первого драгомана, которое так долго было им до возвращения в Эпир номинально занято, теперь уже не вакантное! Как же отец будет действовать на Дунае, среди врагов своих, когда у него отнимется этот русский паспорт, столь много спасавший его в коммерческой и тяжёлой борьбе?.. И что будет теперь со мной самим?

10 Однако все разрешилось для меня очень скоро, очень выгодно, очень лестно и совсем неожиданно.

Седой и приятный Вроссо явился немедленно и Благов пошел с ним к паше; там они пробыли недолго и тотчас же по возвращении консул велел, чтобы были готовы на завтрашнее утро верховые лошади в Превезу для него, для Бостанджи-Оглу, для одного кавасса и вьюков.

Все в доме поднялось на ноги; Кольйо укладывал вещи; Бостанджи-Оглу был вне себя от восхищения, что он драгоман и получил прибавку жалованья и что Благов берет  
20 его с собой надолго для помощи и переписки.

Только я не знал несколько времени, что мне предстоит, и печально помогал Бостанджи-Оглу приводить в порядок бумаги...

— Что за прелесть теперь в Превезе! — восклицал Бостанджи, — море, весна!.. Должно быть, лимоны и апельсины теперь цветут... Что за прелесть! И пост содержать там приятно. Все морские вещи \* там ловятся... Любишь ты ежей морских, Одиссей?..

— Люблю, — отвечал я угрюмо, не желая ничем вос-  
30 хищаться.

Я не мог знать, что давнишняя мечта моя — сесть у зеленого стола Бостанджи, таким же писцом, каким он был до сих пор, так близка к осуществлению.

---

\* Разные раковины и вообще моллюски: устрицы, пинны, сепия, и т. д.

Но она была близка. Двери в канцелярию растворились, и вошел сам Благов. Он был все так же добр и светел.

Он сел и сказал нам серьезно и благосклонно:

— Я пробуду в Превезе, быть может, долго. Я просил греческого консула защищать официально без меня русских подданных. Вроссо будет следить за событиями в городе и обо всем, что узнает, будет доносить мне частными письмами. Ты, Бостанджи, передай Одиссею все тяжёбные дела, чтоб он знал, где что лежит и под каким номером. 10 Когда нужны будут какие-нибудь бумаги для Вроссо или Киркорида, ты, Одиссей, помни и отыщи их.

Он глядел на меня так прямо, открыто и серьезно, как будто ничего не случилось, как будто не он сегодня ночью был так оскорблен и пристыжен ею!.. Как будто я не был ему счастливым соперником!.. Как будто я не видал его бурнуса?..

— Отыщи и отдай, — продолжал мой благородный сфинкс; — сверх того я бы желал, чтобы ты помогал господину Вроссо в сообщении мне сведений, когда будешь 20 свободен. Не надо обременять его одного письмом. Он человек почтенный. Он тебе будет говорить, а ты пиши мне два письма в неделю. Не пренебрегай никакими сведениями; я знаю, ты не ленив, напротив; но я говорю тебе, чтобы ты не думал, будто нужно только тогда писать мне, когда пашу убьют, когда тебя посадят на кол или когда... например, мсье Бреше станет вдруг порядочным человеком... Всякое сведение нам хорошо, я так сказал и Вроссо. Поп Коста один сообщит тебе многое множество вздора. Ты пиши и о вздоре, только обозначай источник, и все 30 письма свои показывай г. Вроссо; он будет исправлять их... Доволен ты?

— Я очень доволен, господин Благов, — сказал я, вставая и краснея от радости. — Боюсь только, турки...

— А! Турки! — прервал консул. — От турок мы тебя оградим. Бостанджи, напиши ему такой маленький *permis de résidence*, и обозначь его *commis du Consulat de*

*Russie*. При этом, ты знай, правило вот какое: не только драгоман и кавассы неприкосновенны, но, по договору с Портой, и всех людей, служащих в консульстве, хотя бы они были и подданные султана, паша не должен задерживать или заключать в тюрьму, или как бы то ни было беспокоить, не предупредив прежде консула об их вине. Это предписано пашам делать *par courtoisie*... Ты понимаешь, что это значит?..

— *Par courtoisie*? Из вежливости, по благородству, —  
10 отвечал я.

— Напиши ему *permis de résidence*, Бостанджи, — продолжал Благов. — А ты, Одиссей, извести отца своего, какие у нас перемены; я довольно его ждал. Теперь в Тульче открыто русское консульство. Пусть он туда обратится; и если ему нужно, я чрез тебя пришлю ему рекомендательное письмо к новому нашему консулу... Смотри же, ты хотел служить нам, так надо служить хорошо.

Подписав *permis de résidence*, г. Благов ушел и увел с собой наверх Бостанджи; а я остался один в канцелярии у  
20 открытого окна.

На траве обширного двора сиял кроткий луч вечернего часа... Не зеленом сукне лежал такой чистый, такой новый «*permis de résidence*».

«*Odyssée Polichroniadés, commis du Consulat Impérial de Russie à Janina*».

И рядом с ним целая грудка золотых, мое жалованье за целый месяц вперед. Я был мирен сердцем, но что-то не весел...

Быть может, сила чувств моих... или сознание серьез-  
30 ного долга?..

Вот «камень Сизифа» остановился на вершине «тучной и усыренной горы»... Он стал внезапно и неожиданно «краеугольным камнем» моей будущей карьеры... Я не смеюсь!.. Для моих лет, согласись, это начало было очень серьезно, и при счастья и ловкости, шаг за шагом могло повести меня далеко, улучшая все больше и больше положение мое в стране, увеличивая с годами связи и вес,

способствуя обогащению моей семьи посредством удачной торговли под русским флагом.

Я сел у окна и серьезно задумался.

Опять двери отворились; но уже не шумно; они отворились тихо, бережно, и в канцелярию вошел Исаакидес.

Я встал, чтобы приветствовать его, и он ласково пожал мне руку, но лицо его было расстроено.

— Здоровы ли вы? — спросил я его, стараясь скрыть от него мое смущение. 10

— Слава Богу! — сказал он, садясь. И потом прибавил с печальною улыбкой, пристально всматриваясь в меня: — Имеем новости...

— Какие?

— Благов прогоняет меня...

— Чтò вы говорите! — воскликнул я, как будто не зная, что взяли Вроссо.

— Прогоняет. Разве ты не знаешь? — продолжал Исаакидес медленно и мрачно. — Благов призвал меня и сказал: «Я объявил в Порте, что вы драгоманом больше не будете. Вроссо будет первым драгоманом». Я спросил смиренно: «За чтò такая немилость?» Он отвечал: «С тех пор как вы у меня, отношения с Портой все хуже и хуже... Вы слишком много интригуете. Вы хотите руководить делами моей политики и надеетесь мной управлять без моего ведома. На все есть мера». Такими речами укора он меня удостоил за труды мои. 20

Я был в сильном волнении и боялся ужасно, что он подозревает меня. Я ждал еще одного вопроса как ужасного удара... 30

И он сделал мне этот страшный вопрос:

— Ты, Одиссей, ничего не говорил ему? Ты не предал меня?.. Ты помнишь, чтò я тебе говорил о Тахир-Аббасе...

О, мучение!.. О, стыд и горе!.. Веришь ли ты, мой друг, что я до сих пор содрогаюсь от этой боли сердца моего... Я нередко улыбаюсь, вспоминая о других моих

угрызениях того времени... Все другие эти угрызения совести были так невинны и забавны, но этот, этот миг... До сих пор я без жалости не могу вспомнить лица его, его кривых усов...

Но что́ было делать!.. Оставалось одно, лгать ему... И я лгал; я постарался солгать получше, и сказал ему:

— Что ж я себе, что ли, враг?.. Вы добра мне всегда хотели... Зачем я себе врага сделаю...

— Как знаешь! — сказал Исаакидес. — Живи и будь <sup>10</sup> здоров, если ты правду говоришь!.. А мне, я вижу, часу нет предпринимать теперь что-нибудь важное. Как грязную тряпку бросил меня теперь Благов. Когда я сделал все те дела, которые были ему угодны. Не следовало бы так ему поступать. Теперь турки задушат меня! Э! что́ делать! Судьба... «Хызмет!» Прощай, Одиссей... Будь здоров. Заходи к нам, не забывай моего дома, когда тебе это приятно.

И, пожав мне дружески руку, Исаакидес ушел.

Я долго после этого не шел к нему в дом; мне все казалось, он думает обо мне так:

<sup>20</sup> «Такой юный, такой тихий... и такой интриган, такой жестокий этот Одиссей! За что́ он предал и обидел меня, меня, семьянина, который принимал его у себя как родного в дом и давал ему бескорыстные советы, как пролагать себе лучше путь в жизни этой!..»

И до сих пор я не знаю даже, прав ли я был или нет, и утешаю себя только тем, что намерение мое было ему не враждебно; я хотел возвысить и восхвалить в Зице его способности, смелость и преданность... Хотел стереть с <sup>30</sup> лица земли нашего общего соперника Бостанджи... Но может быть, очарованный минутною добротой и ласковым тоном Благова, я переступил за черту осторожности и сказал ему и о том, о чем не надо было говорить, о том, что Исаакидес возбуждал Тахира... А может быть, преданность политическая и требовала этой жертвы личной приязни?.. Не знаю.

На другое утро мы все вышли на двор; ворота были растворены. Благов сел на коня своего; вскочил и Ставри

на белого жеребца; взобрался Бостанджи на наемную лошадь... Запестрели вьюки, зашумели вокруг люди; застучали подковы по камням...

— Прощайте! Смотрите! — сказал консул, касаясь шляпы.

— Добрый путь, добрый путь... Дай Бог нам увидеть вас опять... Добрый час! — хором и с чувством говорили мы все.

Прыгнула лошадь Благова; еще раз вскрикнули люди: «добрый час!», караван тронулся в путь... и исчез за углом.

Я остался один наверху в этом большом и пустом теперь доме. 10

Я вошел в нашу красивую приемную. Окна были открыты, и весенний зефир колебал на них кисейные длинные и густые завесы.

Свершилось — я писец!

Я желал укрыться как робкий птенец под крылья двуглавого орла могучей Империи, и укрылся!.. Вот он везде, этот двуглавый орел; он везде; он надо мной на воротах жилища, черный, большой, на круглом щите; он предо мной на голубой печати этого паспорта, ограждающего меня от гонителей и от варварства; — он вокруг меня всюду, вышитый золотом на фесках вооруженных служителей царских, друзей моих!.. 20

Грозно смотрит мрачный орел на обе стороны, на Восток и на Запад, на пашу и Бреше, и ни паша, ни Бреше теперь мне не страшны!

Отчего же мне не весело, отчего не так мне весело, как было весело в мечте?.. Отчего не ликую я, а только покоен и мирен?..

Оттого, что нет никаких чистых радостей без примеси горечи на этой бедной земле... 30

Мне жаль Исаакидеса!.. Мне стыдно пред ним!..

# V

## Я КУПЕЦ

### I

Прошло не более трех недель после отъезда русского консула г. Благова в Превезу. Мы с новым драгоманом, нашим почтенным и добрым Вроссо, жили тихо и мирно: я в консульском доме, он в своем. Каждый день он приходил с утра в канцелярию и спрашивал, не случилось ли чего.

<sup>10</sup> Но ничего особенного не случалось, и я охотно и прилежно, не отвлекаемый ничем, предавался моим учебным трудам.

Написал я отцу на Дунай и матери в Загоры письма, в которых извещал их о том, что г. Благов сделал меня чиновником своей канцелярии; зато, находя, что отсутствие отца моего длится слишком долго, он назначил Вроссо первым драгоманом, а Бостанджи-Оглу вторым.

Едва только я успел написать это, как от отца моего пришло мне тоже письмо, очень запоздалое.

<sup>20</sup> Он писал мне, что он возвратится в Эпир скоро, что на Босфоре его задержали хлопоты у знакомых пашей и важных фанариотов все по тому же бесконечному делу с болгарским извергом Петраки-беем и что ему больше всех помог другой болгарин, некто Велькович, «очень благородный и образованный человек, презирующий Петраки-бея» (так писал отец). Он приказывал мне также успокоить

г. Благова, передав ему известие о скором его возвращении, и горячо извиниться пред его превосходительством в просрочке, «вынужденной тяжкими обстоятельствами и неравною борьбой с бесправием и с подкупностью турецкой администрации». Исаакидесу отец приказывал сказать по-турецки:

«Ява́ш! Яваш, эпси оладжа́к!»\* И наконец, обращаясь собственно ко мне, он приказывал мне немедленно выпросить в Порте одного из двух жандармов и ехать с ними в село Джаммандá (неподалеку от наших Загор) и собрать непременно те сто двадцать золотых лир, которые уже шесть лет должны нам крестьяне этого села и все не платят, притворяясь несостоятельными. «Те небольшие деньги, которые тебе необходимы на наем верховой лошади, на содержание жандармов и лошадей их в пути и для награды самим туркам этим за труды их, ты можешь занять у кого-нибудь от моего имени и потом, заехав в Загоры, взять у матери и заплатить немедленно долг».

Я обратил особенное внимание на следующие слова моего родителя: «Господина консула тебе совсем не следует беспокоить этим делом; это дело частное наше. Его превосходительство и без того обременен высшими заботами, а ты турецкий подданный, и сходи к Сабри-бею в *паша-капуси́* и отнеси ему мое прилагаемое письмецо, в коем я его горячо прошу о помощи нам против этих хитрых сельчан. Он тебе даст жандармов. А мне деньги очень нужны, ты сам это понимать уже можешь, и торговые обороты мои тебе уже давно понятны и отчасти известны. Теперь имею значительный заказ из Константинополя зернистой русской икры чрез дунайских липован получить, и в сроки деньги необходимы. А если встретишь какие препятствия, сам пойми. Ты уж не дитя бессмысленное, а скоро уж муж будешь. Не теряйся и не посрамайсь. Наука необходима, но неизбежна для тебя и практическая жизнь. Глаза мои то лучше, то хуже опять,

---

\* «Потихоньку, потихоньку, все придет!»



и недавно произошло такое расширение левого зрачка, что я думал совершенно потерять зрение в левом глазе. Однако пока многомилостивый Господь, не по грехам воздавая, избавил меня. А если буду кривой — это еще хорошо; будучи же на оба глаза незрячим, как я прокормлю семью и защищу ее от грабителей да и от защитников турецких, которые дороже обходятся самих врагов. Петраки-бей требует небывалый долг, а сельчане действительного долга мне не платят, и в Тульче, и здесь в

<sup>10</sup> Стамбуле без *рюшвета* \* очень трудно. И все состояние наше не прочно. Ты должен также знать, что я и сам в Янине должен около 20 000 пиастров и прекрасный дом твоей матери в Янине, в котором теперь живет г. Леси, может быть, попушением Божиим вынуждены будем продать; ибо я не хочу стать неоплатным банкротом и бесчестным человеком пред лицом людей. Все это я желал сообщить тебе, чтобы ты знал и был разумен, дитя мое бедное... Увы! что делать, сын мой. Мое положение в

<sup>20</sup> твои годы было много хуже твоего и труднее. Ты обитаешь в доме российского императорского агента на *аджемских келімах*\*\* и детство свое и первую юность провел подобно архонтскому детищу. Я же в твои года тяжкие ноши носил, как простой хамал, ситцы и сукна из лавочки хозяина по домам, и, как сирота одинокий; перенес много и презрения и побоев. Однажды очень сильно меня по щекам прибили на улице турецкие молодцы без причины и повода, а лишь из глумления одного над христианством, — и я даже защищаться не мог, ибо на спине у меня было множество товара, под которым я, при палящем зное полудня, согбенный шел в гору, обливаясь потом. Не так начинаешь ты живот свой... И ты это рас-

<sup>30</sup> суди все не как мальчишка, а как муж. Многие наши загорцы в девятнадцать лет уже сами супругами и отцами становятся».

---

\* *Взятка.*

\*\* На *персидских коврах.*

Оканчивая это длинное письмо, отец еще раз повторял: «А г. консула, как я говорю, этим делом по сбору денег с сельчан ты не тревожь напрасно; не обременяй его, который так нам благодетельствует, что и в дом свой тебя удостоил как младшего брата допустить! Сабри-бей все сделает».

Письмо это меня и обрадовало, и тронуло глубоко, и испугало, и превознесло... Отец скоро будет! радость... Как его обижали еще смолоду люди, как его, потного и согбенного под ношей, негодяи турки били по лицу — жалко! Состояние наше непрочно, и я должен помнить, что завтра, завтра отец несчастный ослепнет, и я... я... мальчишка, должен буду немедленно захватить в руки кормило нашего уже надломленного судна и управлять им в страшных и тяжких пучинах житейского океана... Это очень страшно!! Очень страшно...

А гордость моя была польщена и поручением собрать деньги, и тем, что отец уже считал меня почти мужем и писал мне так дружески и так доверительно...

Под влиянием всех этих чувств я воспрянул как левенок и дал себе слово собрать деньги с лукавых селян и доставить их страдальцу-родителю моему раньше, чем он, бедненький, ожидает...

Мужество! мужество! Одиссей!.. Ум и энергия! Пусть Несторида не скажет больше никогда обо мне: «Ну, какой Одиссей купец!.. Купец должен быть умный, мошенник, молодец... А ты учитель какой-то...» Покажу я тебе учителя!

Благову не говорить? Но его и нет в городе; достаточно будет сказать г. Вроссо.

Увидим...

Теперь бегу к Сабри-бею...

Все покидаю! Книги, тетрадки закрыты... Забыть образ черноглазой цыганочки моей... благоухание развращенной, но милой «горькой травочки» сердечной моей... далеко! далеко улетело, рассеялось суровой и благодушною, серьезною и честною речью любимого отца...

Бегу к Сабри-бею... бегу...

К тому же... быть может... и узнаю как-нибудь... ну... как-нибудь... как придется, — не прогневался ли на меня паша за то, что я еще *тогда, прежде карнавала*, хотя миг пытался есть *боком* при нем, или за то, что не мог есть... и убежал как дикий человек из-за просвещенной трапезы... Дьявол сам разберет все эти трудности и хитросплетения человечества... А разбирать, однако, очень необходимо и даже неизбежно!.. Вот *белас* \* где!

10 Прихожу в Порту. Вхожу в те большие, холодные сени, где ждут всегда просители; где стоят у дверей стражи и жандармы; чрез которые из одних завешанных теплою занавеской дверей в разные другие двери, тоже завешанные, перебегают посланцы, проходят чиновники туда и сюда, возбуждая всегда движение в толпе, большее или меньшее, смотря по званию и силе проходящего...

Вхожу и вижу разных людей с бумагами в руке и без бумаг, кто сидит на полу, кто на ступеньках лестницы, кто стоит у стены. Некоторые воины и стражи сидят на скамеечках. 20 Ходит продавец бубликов с лотком для проголодавшихся людей; кафеджи готов подать кофе (за деньги) кому угодно...

Смотрю, кому бы сказать, что я к Сабри-бею, чтобы послушался и скорее доложил. К счастью, вижу, сидит тот самый серьезный, тихий, но твердый турок, который почти год тому назад, когда я еще был несравненно глупее и необразованнее, защитил меня от бешеной Гай-души, тот самый благодетельный воин, который вынудил меня благословить хоть на мгновение позорное иго ино- 30 верных...

Его звали Гуссейн-ага...

Я немножко сробел, подходя к нему, потому что толстые и длинные усы его стояли и в бока и вперед довольно грозно, но укрепился духом и сказал ему искательно:

---

\* *Белас*! Этим турецким словом христиане часто выражают свое беспокойство. Как у нас: *беда*!

— Гуссейн-ага мой... Благоволите доложить... Сабри-бею, что я имею до него весьма нужное дело. Я сын русского драгомана Полихрониадеса...

Гуссейн-ага все равнодушно и мрачно спросил:

— Сабри-бей?..

Я говорю: «Да-с... Гуссейн-ага мой... Ваше благородие... потрудитесь...»

Гуссейн-ага встал не спеша (он прежде почти презрительно оглядел меня с головы до ног), приподнял занавеску на одной из дверей, и я слышал, как он, просунув 10 голову туда, сказал грубым голосом:

— Йоргаки-Поликроноса мальчик желает прийти. Слово имеет сказать... Можно...

И, обернувшись опять назад, Гуссейн-ага сказал мне:

— Иди!

Я вошел.

Сабри-бей провожал в эту минуту к дверям одного пожилого, очень худого и как будто сердитого турка в зеленой чалме и синей очень опрятной одежде...

Я слышал конец их разговора: «Так это невозможно?» 20 — спрашивал сердитый турок, как бы сдерживая гнев. Сабри-бей вежливо, тонко, искательно отвечал ему:

— Невозможно, эффенди мой, это никак невозможно. Теперь совсем другие порядки... Я очень рад бы был услужить вам, но в изгнание нельзя человека за два слова послать...

— Невозможно! — повторил турок мрачно (казалось, что ему большого труда стоило не изругать, не проклясть, не избить Сабри-бея). — Нам невозможно, а гяурам су- 30 дитам \* все возможно...

— Это не наше дело, эффенди мой; на это есть трактаты с иностранными девлетами... — с улыбкой ничем непобедимой дипломатии возразил Сабри.

— Эй в'аллах! — сказал эффенди уходя и кланяясь.

---

\* Иностранном подданным.

Он направился к двери и, проходя мимо меня, взглянул на меня так грозно, что я не знал куда скрыться. Но это впечатление тотчас же исчезло, когда я остался один с ласковым Сабри.

Он посадил меня около себя с улыбкой; распечатал письмо отца тоже с улыбкой; с улыбкой взглядывал чрез письмо на меня; читая, приятно качал головой, повторяя: «пек эй! пек эй!» Потом задумался... Потом, когда в конце письма дошел до того места, где ему иносказательно <sup>10</sup> обещал отец деньги по окончании дела, сделался серьезен и старался скрыть сладкое волнение, которое овладело им... И даже слегка вздохнул, когда, сложив письмо и обратясь ко мне, сказал:

— Я очень люблю вашего отца! Очень умный и добрый человек... *Пек эй адам!* Пек vertueux, honorable!.. И для компании самый приятный человек, и в делах очень умный... Я очень жалею, что он лишился должности русского драгомана. Г. Благов прекрасный молодой человек, <sup>20</sup> высокой образованности, но он немного горяч, и другие люди имеют на него вредное для дел влияние...

Потом, помолчав, Сабри-бей стал вглядываться, все с улыбкой же и не выпуская моей руки, в мою новую европейскую одежду и, смеясь, воскликнул:

— Теперь вы европеец! И прекрасно! Вы очень хорошо сделали, что оделись так. При положении вашего отца и живя в русском консульстве вам неприлично быть одетым как *бизирьян* \* с базара. Ведь я правду говорю? — спросил он вкрадчиво и провел слегка своими тонкими пальцами по моей щеке.

<sup>30</sup> — А! — воскликнул Сабри-бей. — «Нежный пух айвы» уже начинает покрывать ваши щеки...

Дальше, впрочем, он этого разговора «о пухе айвы» не продолжал и, приняв снова деловой и серьезный вид, сказал:

---

\* Разнощик, мелкий торговец.

— Успокойтесь! Успокойтесь! Дело отца вашего — дело правое, и он очень хорошо сделал, что обратился прямо к нам. Я это вам все устрою... — И ударил в ладоши.

Вошел Гуссейн-ага.

— Отведи г. Одиссея к Мустафа-бею (это был начальник заптие), ему нужны завтра двое заптие конных в село Джамманда...

Гуссейн вышел.

Тогда, ободренный лаской Сабри-бея, я решился просить его, чтоб этот именно Гуссейн был одним из назначенных мне в помощь заптие... Я надеялся на его солидность и его усы. Сабри-бей воскликнул: «с радостью, с радостью!» и, послав меня догнать и вернуть Гуссейна, написал к кому-то записку, отдал ее Гуссейну, а сам сказал мне, что пойдет доложить обо всем паше и Ибрагиму, приказывая мне дожидаться в сенях.

Уходя из комнаты, он еще раз остановился и сказал мне:

— Когда кончишь все это дело, заходи ко мне, дитя мое, заходи ко мне в дом... Я всегда рад видеть такого милого и благородного юношу...

Он сказал это по-гречески и так звучно и приятно:

«Эвгени́с неаниа́с»,\* что я был вне себя от радости.

Я поблагодарил и обещал непременно прийти благодарить его, но прибавил:

— Я боюсь, эффенди, что эти люди сельские денег не отдадут. Они такие варвары и такие хитрые...

— Заптие их принудят отдать, не бойся, — сказал Сабри-бей. — Я скажу Гуссейну, чтоб он был посердитее, и можно будет и в тюрьму некоторых взять...

Так успокоив меня, Сабри-бей вышел вместе со мной в большие сени и ушел к паше; а я остался в сенях и ждал.

Я был очень доволен и ходил взад и вперед между просителями, женщинами и солдатами, осторожно, почти-

---

\* Благородный юноша!

тельно изредка взглядывая на занавеску паши, за которою скрылся Сабри.

Вдруг раздался под открытыми окнами конский топот и легкий шум колес по песку двора...

Иные из просителей подошли к окнам, подошел и я. У каменных ступеней подъезда стояла коляска паши и конники, которые должны были сопровождать его куда-то, кто на играющей лошади, кто спешась окружали экипаж... Вбежал на лестницу молодой офицер... Скорыми шагами вошел на минуту к паше, тотчас вышел опять и дал знак рукой из окна...

Солдаты все бросились на лошадей... Чорные кони в коляске рвались...

Занавеска вдруг приподнялась высоко, и паша вышел, слегка кашляя и придерживая рукой кривую саблю.

Хотя он был ростом мал и худ, и стар, и нездоров, и невзрачен... но он был *паша*...

И я тотчас же ощутил его присутствие по некоему особому полубоязливому, полупраздничному содроганию моих глубочайших внутренностей...

Все в сенях вскочило на ноги, все поднялось мгновенно, глухой шопот разговора умолк, и все как бы застыло в почтительном молчании...

Рауф-паша проходил чрез сени, отвечая слегка рукой на поклоны иных, но ни на кого не глядя. Я стоял, уничтожаясь, однако около лестницы, на самом пути его... Уничтожаясь, я все-таки желал быть на видном месте...

Я боялся лишь настолько, что желал видеть обязательную боязнь мою замеченною; я трепетал, но трепет мой не заглушал моей тщеславной жажды привлечь на себя хоть мимолетный взгляд властелина...

И Рауф-паша увидал меня...

Он вдруг остановился.

— Ты сын Полихрониадеса, бывшего русского драгомана? — спросил он не сердясь.

Я сказал:

— Я, паша-эффендим, точно сын его...

— Ты просил жандармов в село Джамманда?

— Я просил, эффендим, — отвечал я притворно умоляющим голосом...

— Я велел Гуссейну и другому ехать с тобой завтра... Они взыщут деньги...

Потом, поглядев еще на меня, он улыбнулся слегка и спросил:

— Можешь ты запомнить то, что я тебе скажу, и написать об этом г. Благову в Превезу? 10

— Я постараюсь, паша-эффенди мой... — сказал я, чувствуя, что у меня вырастают крылья и что и ум мой, и память, и все силы души моей становятся вдруг гораздо острее...

— Слушай же, — продолжал паша весело, — напиши г. Благову, что он проиграл пари, той книжки я еще не нашел, он знает; но найду и пришлю; но я в другом месте нашел то, о чем мы говорили: «Не Сиамэк убил Дива, а сын его Хушенг». Так у Фирдузи... Не забудешь? Скажи, как я сказал. 20

Я повторил уже без страха, а стремительно и весело: «Не Сиамек убил Дива, а сын его Хушенг. Так у Фирдузи»...

Я видел, что за спиной паши Сабри-бей ободрял меня улыбкой.

— Аферим! — сказал паша. — А кто такой Фирдузи?

Я сказал:

— Оттоманский стихотворец, паша-эффендим.

— Аджемский, фарсийский, — сказал паша и пошел садиться в коляску. 30

А я... А я?..

Я ушел домой спокойный...

Что мне было больше нужно?.. Чем я не дельный, полезный сын, еще с «пухом айвы» на щеках; я умею уже помогать отцу и открывать себе путь к самым могущественным лицам в мире...



Пусть Несторида узнает все это! Будет он говорить другой раз: «Какой ты купец. Ты так — учитель какой-то!» Посмотрим!

О том, что «не Сиамек убил Дива, а сын его Хушенг. Так у Фирдузи» я написал г. Благову тотчас же по возвращении домой очень обстоятельно и почтительно; потом попросил позволения у Вроссо отлучиться будто бы прямо в Загоры по делам отца; он разрешил, и на другое утро очень рано, только что первый румянец прекрасной Эс  
10 озарил нагую вершину Линьядес, я вышел из консульства, сел на мула и, закутанный в бурку, выехал из Янины в сопровождении Гуссейн-аги и другого жандарма, рябого и довольно старого, который тут же погрозился шутя русскому консульству, и когда я спросил:

— За что ты, ага мой, русскому консульству грозишься?

Он потрепал себе правую ногу и сказал:

— Болит. Один казак под Силистрией саблей крепко ударил, *пезевенг!*!..\*  
20 Но сказал он это весело, как приличествует воину, который с удовольствием вспоминает о прежних боях своих, и замечание это нисколько не нарушало того веселого и доброго расположения духа, в котором мы все трое, мои телохранители и я, выехали из города и небольшою рысцой пустились по гладкой и узкой долине Янинской, по которой еще расстился утренний белый туман.

## II

Друг мой добрый, мне бы не хотелось описывать тебе то, что мы сделали в селе Джамманда...

30 Мне неприятно и стыдно об этом вспоминать... Но пусть тебе будет известно все обо мне; не только те ошибки моей юности, которые могут пробудить в тебе симпатию

---

\* Подлец.

и заставят тебя снисходительно и весело улыбнуться, но и те поступки мои, которые возбуждают в тебе отвращение и гнев...

Да! Несториди ошибся!.. Я был купец, — я был «мошенник, изверг», каким следует быть мужчине, как он когда-то шутил... Или, сказать иначе, я даже не был изверг, я был тем Понтикопеци, которого Благов так безжалостно изгнал одним лишь мановением руки... и который мне самому казался довольно низким и смешным.

Я достал для отца те сто двадцать золотых лир. Чрез <sup>10</sup> два дня после моего приезда с турками в село Джамманда австрийская почта везла уже на Босфор твердый и тяжелый *груп* \* зашитого в кожаный мешочек золота... Такой крепкий, круглый, плотный был этот *груп*...

И я был этим горд, и все свои меня хвалили... И я считал себя правым и умным...

Скорей, скорей!.. Я кончу это без подробностей...

Мы приехали в село Джамманда еще до полудня и зашли к одному селянину не из лучших. Я был не совсем спокоен и все просил Гуссейна быть построже. <sup>20</sup>

— Успокойся! — говорил турок, — все сделаем... Будут деньги!

— Они ужасно лукавы, эти люди! — говорил я ему о селянах.

— Не беда! — отвечал Гуссейн.

Гуссейн был вообще в духе и прежде всего потребовал от хозяйки поесть чего-нибудь...

— Чтò у тебя есть? — спросил он.

Хозяйка сказала, что ничего нет, кроме хлеба и *трахан*-<sup>30</sup>  
*ны*. \*\*

Как не знать арнауту, чтò такое трахана!

Но Гуссейн притворился, что не знает, и начал расспрашивать, как она делается. Хозяйка не верила, что он не знает, и смеялась, но Гуссейн настаивал, и она говорила:

---

\* Мешочек для почты.

\*\* Искусственная крупа для супа.

- Беру муки, просею...
- А потом?
- Потом... потом что...
- Да! потом что! говори, баба!
- Потом — тру...
- Трешь? Пек эй... А когда протрешь... тогда что?
- Сушить на солнце буду...
- В чем терла, в том и сушить понесешь...
- Нет, ага мой (она начинала хохотать), на полотне.

10 — Видишь ты, какой труд! Небось полотно надо искать! Пока найдешь... пока принесешь... пока расстелешь... Когда, когда высохнет! А там еще варить... Нет, знаешь что, баба, мне жаль тебя... Это, бедная, для тебя слишком трудно. А знаешь что? Возьми двух кур... раз-два головки имхвати и изжарь... Жарить, пожалуй, мы и сами будем. Надо тебе помочь...

Я ничего не сказал и денег за это не обещал; ибо у меня было их вовсе мало, и я очень был рад и сам курицу съесть...

20 У хозяйки выражение лица изменилось, когда она поняла, к чему клонилась комическая речь Гуссейна... Кур поймали, скоро изжарили, и мы поели...

А между тем комната наполнялась все больше и больше старшинами села, которые кланялись нам и садились на пол на рогожку, приветствовали нас всех одними и теми же словами...

Прежде турок, а потом меня...

— Что делаете? Здоровы ли? Пек эй! Благодарю...  
 Что вы делаете, здоровы ли вы... Пек эй...

30 Но довольно...

Кончилось тем, что мы, поевши, вышли все под платан на площадку около церкви, и тут начались препирательства. Я, в твердом сознании моей и отцовской правоты, показывал их расписки и приказание паши... Гуссейн меня поддерживал словом, громовым голосом, угрозами... Просьбы, убеждения с обеих сторон... укоры... крик... Ты знаешь, как это бывает...

Эти соотечественники мои, эти эпироты седые и молодые, усатые и безбородые, в толстых поношенных синих безрукавниках и валеных колпачках... которых я в другое время так любил... теперь мне стали ненавистны...

Они были должны... отчего не хотят они платить? У них есть крайние нужды, положим; а у нас разве нет души человеческой, разве нет и у нас нужд?.. Они должны платить бею, должны платить десятину, должны содержать семейства, должны друг другу, может быть. Все это так! Но разве мать моя и бабушка Евгенка, и Константин-работник, и служанка Елена, и я сам, и отец, разве мы хлеба не едим, разве нас не грабят турки взятками и тем, что позволяют таким людям, как тульчинский Петраки-бей, взводить на отца небывалые долговые обязательства?.. Разве не предстоит отцу моему в скором времени переезд в Янину всюю семьей и отделка дома?.. Он должен разостлать ковры, например, не покрыть же ему полы в столице вилайета, ему, драгоману Императора 'русского, простою циновкой домашней работы, как покрыты у них в хижинах полы... Варвары люди! Варвары! Разве не понимают они, что я страдаю отчасти оттого, что у отца недостает денег, чтобы послать меня в университет в Афины, Москву или Италию?.. Разве не должен и отец мой в Янине 20 000 пиастров? Разве не должен и он платить долги, чтоб его уважали и чтобы коммерческая честь его не была замарана и уничтожена дотла?..

Боже мой! Боже мой!.. Чтò за варвары, чтò за необразованные люди!.. Как еще мало школ у нас по дальним селам, школ, в которых они выучились бы понимать всю разницу между благородным отцом моим... столь полезным для родины, и ими, людьми простыми и ржавыми, которые кроме плуга и топора не знают и не могут знать ничего!.. Иные из них лгут, все кричат, взоры их свирепы... то один, то другой вперед выступает...

— Мы сами просить пойдем к паше, — говорят они. — Мы только что заплатили то-то и то-то в казну!..

Что твой отец лопнул, что ли?.. Издох с голода он, что ли...

— Не говори таких слов; я тебе говорю, не говори таких слов, — возражал я, уже выходя из себя.

— Не кричи!.. — говорил Гуссейн одному...

— Молчи... Тише! — говорил я другому...

Но селяне не слушались и почти с угрозами наступали на меня и на жандармов.

Я был в негодовании и в страшном гневе...

10 — Так вы не дадите теперь денег... Не дадите?.. — сказал я.

— Не можем теперь, — отвечал твердо и сердито один сорокалетний суровый мужчина.

Он стоял, прислонясь к низенькой ограде, и, скрестя руки на груди, гордо смотрел на нас... Лицом он был широк и мужествен и немного похож на герцеговинца Луку Вукаловича, которого карточки ходили у нас по городу. Настоящее же его имя было Илья.

Без жандармов я бы не желал с ним спорить...

20 — Не можете? — переспросил я еще раз...

Илья сказал еще раз, еще тверже, еще сердитее:

— Да, не можем...

— Паша вас посадит в тюрьму...

— Пускай... Есть Бог!

Я утомился, отошел с жандармами в сторону и спросил:

— Гуссейн-ага! что мы будем делать теперь?.. Я вас прошу, постарайтесь, ага мой добрый... Я и вам и Изет-аге по одному наполеону дам с великою радостью...

30 (Я хотел было обещать им по одной лире турецкой, но моментально сообразил, что наполеон ходит много меньше, а вид его все так же приятен и даже лучше... с портретом Императора... Женам на серьги и ожерелья годится...)

Тогда Изет-ага в первый раз вмешался в разговор и сказал:

— Надо их побить, поучить немного...

Гуссейн подумал, собрался, видимо, с духом, и, подойдя вдруг к двум старикам, слегка толкнул их рукой, приговаривая:

— Айда, айда, капитаны... Довольно слов пустых... Соглашайтесь деньги сейчас собрать, или мы свяжем старших и отведем в тюрьму...

— И там будут мучить вас, — прибавил Изет-ага, обращаясь к Луке Вукаловичу.

— Мучить можно людей, — сказал Лука гордо и не смущаясь...

10

— Айда! айда! — сказал и ему Гуссейн-ага, дотрогиваясь до его плеча...

Но этот смелый человек дернул плечом и, отстраняя грубо Гуссейна рукой, воскликнул:

— Чтò ж! э! вяжите! ведите в тюрьму! Пытайте!.. Яйца горячие под мышки кладите!.. Уголья горячие на голову кладите... Мы собаки... дело старое...

Но Изет-ага в эту минуту кинулся на него и начал бить его кулаком в лицо.

20

Гуссейн обнажил саблю и кинулся тоже к нему.

Кровь потекла у Ильи из носа и зубов по большим усам его.

Старики кинулись между Ильей и Изетом, умоляя Илью не поднимать рук на *царского человека*, не защищаться, и Изет-агу умоляя смиренно простить и оставить его.

— Не бей, не бей... не бей, ага наш, не бей, — говорили старики, — Оставь его — мы соберем деньги... сейчас...

— Скорей! Сейчас! — закричал сердитый Изет, который <sup>30</sup> вмешался поздно, но кончил все скорее мрачного, но, видно, более доброго и осторожного Гуссейна.

Я был и смущен, и рад, и испуган.

Толпа расходилась; Илья уходил тоже, молча и вытирая кровь с лица и с колючей небритой бороды своей. Изет-ага смеялся.

Гуссейн молчал и крутил себе сигарку.

— Кончилось; теперь соберут, — сказал он, садясь на камень около церкви.

— Нет, — сказал Изет-ага. — Я пойду потороплю их. Чтоб они нас до ночи не промучили здесь... Люди они очень хитрые.

Мне кажется, что турки боялись немного, чтобы христиане, одумавшись и собравшись с духом, не вернулись и не произвели сгоряча сами какого-нибудь насилия над нами.

<sup>10</sup> Он ушел; и мы с Гуссейном не слишком долго ждали. Я решился, подумав, спросить у Гуссейна:

— Не отомстили бы они мне за это...

— Не бойся, — сказал Гуссейн так твердо и равнодушно, что и мне в душу влил успокоение.

Около вечерень старшины возвратились и отсчитали мне тут же на церковной паперти ровно сто двадцать золотых.

<sup>20</sup> Руки и ноги мои дрожали от радости, не от корыстной радости (ибо я знал же, что завтра отправлю все это золото на Босфор), но от тщеславного восторга, от ясного представления отцовских похвал и отцовского удовольствия.

Илья не пришел с другими.

Ударили в било к вечерне, когда мы сели на наших коней и выехали из Джамманды в Загоры с триумфом.

Я беспрестанно схватывал рукой за боковой карман мой на груди в трепете за деньги, которые, таким тяжелым узлом затянутые в носовой платок, и обременяли, и восхищали меня в одно и то же время.

<sup>30</sup> Да, мой друг, мы выехали из этого села в ту минуту, когда ударили в било и когда священник сбирался читать в церкви тот самый девятый час, в котором взывают люди: «Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкусивый, умертви плоти нашей мудрование».

Мы ехали под гору по узкой и ровной дороге. С одной стороны около нас крутою стеной поднималась гора, вся в кустах, вся в деревьях, в светло-зеленой мелкой травоч-

ке; по другую руку, в глубоком овраге, через который был перекинут каменный полуразрушенный мостик на небольшой арке, с шумом бежал по большим камням прохладный и чистый ручей. Несколько раз до тех пор, пока мы спустились и переехали осторожно мост, село исчезало за поворотами дороги и снова показывалось.

И каждый раз, когда я снова видел в зелени его хижины и крыши, покрытые плитками мелового почерневшего от ветхости камня, мне становилось не стыдно (нет! я говорю, что я считал себя тогда правым по моим торговым понятиям), мне становилось только страшно и жалко, когда я видел опять мысленными глазами моими хозяйку, у которой мы съели двух кур... священника в короткой одежде и шальварах, который возглашает теперь: «Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкусивый»... Илью, который утирал рукой струи крови, бежавшей по его суровым усам и по бороде давно небритой... и всех этих бедных соотчичей своих.

Но когда я думал об этом Илье, о его страшном лице, похожем на лицо страшного герцеговинского воеводы, я чувствовал еще больше боязни, чем жалости.

Я был очень рад, когда село совсем скрылось из вида и когда Изет-ага сказал:

— Поедьте поскорее. До хана еще четыре часа; надо до акшама \* поспеть. А завтра будем у тебя в домике, Одиссей, в Загорах. Айда, айда!

— Пой песни, — сказал ему Гуссейн.

Изет запел пронзительным голосом, и мы веселою иноходью побежали по мелкому камню.

— Айда... айда... а!.. — прерывая песню свою, возбуждал нас Изет.

Мы смеялись и ехали еще шибче.

Мы смеялись и пели. И звук мелких камешков, пересыпавшихся под копытами коней наших, веселил нас. Ах!.. а в селе... в селе этом люди, конечно, несравненно более

---

\* Ночь.



достойные и уважения, и счастья, чем я, мальчишка, и чем эти турки, сообщники мои, — эти люди, быть может, теперь вздыхали или молились, или плакали... Или проклинали и меня, и отца, и начальство турецкое, которое всегда готово защищать того, у кого больше денег или больше силы в городе, больше связей в консульствах, больше голоса в конаке губернатора.

Будь покоен, такие распри между христианами — праздник для хитрых и опытных турецких чиновников.  
10 Или, лучше сказать, самый простой и не умный из них по природе своей в подобных делах становится ловок и догадлив.

И паша, и Сабри-бей уже одним наитием неким, вероятно, поняли, что «*пусть старый Полихрониадес платит нам деньги за то, чтобы сельские греки говорили потом: Вот как жестоко теснит нас проклятый драгоман русского консульства!*»

А между тем все в порядке.

20 Должны же люди когда-нибудь и платить по своим распискам.

Кто прав? скажи мне. Кто неправ... Мне стыдно было описывать тебе этот подвиг мой. Но, раз дано общее положение дел в этой поработщенной стране, скажи мне, объясни, вразуми... Чтò мне было делать... И не спеши ты, вольный сын свободной Греции, не спеши казнить презрением твоим или ненавистью юношу, воспитанного тем духом коммерческой, деловой настойчивости, без которого христианам невозможно было бы дышать там, где для нас, кроме лестницы, мощеной золотом, невозможен  
30 иной путь ни к почету, ни к независимости, ни даже к самым простым правам гражданина и человека.

Не спеши ненавидеть! Не спеши презирать мою трудовую и трудную юность, ты, афинский деятель мой, ты, мой деист и демагог во фраке и тонком белье!..

Расцветало и в моей юности много роз, и душистых лилий весенних в ней было немало, но перевиты были эти розы такими крупными терниями нужды, принуждений и

забот! благоухание этих белых кринов таило нередко в себе такой жесточайший яд страха и раскаяния, уныния, огорчения и скуки!..

Мы подъезжали уже к хану, где должны были ночевать, когда вдруг услышали за собой быстрый стук подков по камням и увидали, что нас нагоняет *сувари* \* и за ним крупною и смелою иноходью спускается с горы незнакомый нам европеец... Они мигом нагнали и обогнали нас... Сувари сказал: «Добрый час вам!» И европеец воскликнул тоже: «Добрый час! Добрый час!» 10

Он был не стар и собой приятен, с круглою и короткою рыжею бородой. Сидел на лошади прекрасно и свободно; платье на нем было модное, короткое, легкое не по времени, как у человека, который не боится весеннего холода. Сапоги высокие со шпорами из лакированной кожи были в грязи. На голове была у него низкая и круглая шляпа из твердого черного войлока, какие только что начинали тогда носить.

Приветствуя нас весело, он приложил к полям шляпы длинный бич свой, намотанный на красивую рукоятку.

— Кто это? — крикнул не стесняясь тому сувари вослед наш Гуссейн. 20

Но европеец, не дав времени ответить, сам обратился к нам весело и с улыбкой закричал, поднимая прямо кверху бич: «Бир Инглез! Айда! Добрый час!» И они скрылись быстро со стуком и молодецким звоном подков за поворотом дороги к Янине через небольшое ущелье.

Это был новый английский консул, который ехал в Янину на смену оригинальному старику Корбет де-Леси.

### III

Хочу я изобразить тебе, мой молодой друг, приезд мой на родину в Загоры... Хочу и колеблюсь не от бедности, а от полноты моих чувств! Я два раза садился за эту 30

---

\* Конный жандарм.

тетрадь и два раза оставлял ее. Мне казалось невозможным *заставить* тебя чувствовать то, что я тогда чувствовал сам... А иначе зачем писать, если я не в силах заставить тебя пролить слезу радости и вздохнуть с тою глубиной и сладостью, с которою вздыхает смертный человек, «пришлец и пресельник» этой земли, в те редкие и драгоценные минуты, когда душа его полна невинным, кротким и мгновенным счастьем...

10 Я хочу, чтобы ты не только понял, я хочу, чтобы ты помнил и любил, я хочу, чтобы ты видел все умственными очами издали так же ясно и картинно, как я вижу и теперь все это прошлое!

Я желаю, чтобы ты помнил беспрестанно, как помню я, что село Джудила стоит на правой руке в стороне, когда едешь к ним во Франгадес, что высокие обелиски его тополей видны издали; хочу, чтобы ты помнил не меньше моего, что в этом селе Джудила окно какого-то домика посылало мне прощальный свет, блистая на раннем закате, когда около года тому назад мы покидали с отцом родные Загоры...

20 Я хочу, чтобы ты не забывал ни на миг ту для меня столь милую подробность, что крыши домов в Загорах не из красных черепиц с полосками белого цемента, а все из плиток мелового камня, белого и чистого, когда они новые; я хотел бы, чтобы ты мог вообразить себе хоть сколько-нибудь отлогие, округленные высоты вокруг «пустынного Франгадес»... И колокольню нашу, огромную шестиугольную из темного камня башню, на которой, без страха турок, звонят колокола... И платан у церкви с необъятною сенью, с величавым шелестом, с журчанием прозрачного и холодного ключа у могучих корней его. И церковь нашу, без купола, правда, без главы, без внешних украшений, но обширную, богатую, пеструю и сияющую позолотой внутри и пурпуровою краской деревянного резного потолка.

30 Я бы желал даже, чтобы ты мог из Афин видеть, как я вижу отсюда, с Дуная, какими именно узорами идут за селом узкие тропочки, протоптанные пастухами и козами по мягкому желтому склону безлесной горы. И этих коз,

и черных козляток их, взлетающих, играя, на ветки деревьев... И дубки, *прунари*, с колючими листьями и крупными жолудями, которые растут на крошечном холмике позади села, около пустынного маленького параклиса Божией Матери *Широчайшей Небес*, возобновленного и украшенного благочестивым и добрым отцом моим на трудовые деньги. Я бы желал даже, чтобы ты знал, который *прунари* побольше и который поменьше. (Я ведь помню даже, сколько их и какого цвета мох на них, и где он именно.) Но разве это возможно? Разве можно тебе 10 по словам моим вообразить эту картину во всей ее полноте, от сияющего лазурного весеннего неба до розового, милого цветочка, который только что смиренно расцвел, ненаглядный мой загорский цветочек, у старой каменной стенки в углу!..

Нет! Передать пером и словом подобную картину, живущую в бездонных, непостижимых недрах души, не может человек человеку. Ты легче поймешь со всею силой симпатии глубокие и священные чувства мои, чем выразишь себе именно те самые предметы, при виде которых 20 кипели в юном сердце моем эти чувства.

И черные глаза Зельхи, и Благов, и паша, и роскошный консульский дом, и архонты, и турки, и почести, карьера, деньги, и лукавство, и грехи мои, и безумства Козвино, и дурные правила приятного Бранковича, и окровавленное лицо мужественного Ильи, и кроткий, умиротворяющий призыв церковный: «Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкусивый», — все, все это было мною внезапно забыто, когда я тихо вступал веселым этим полуднем на 30 каменные плиты родного двора!

Все, все было забыто...

Я вошел: на дворе не было видно никого; было так тихо, что я слышал только звонкое журчание фонтана за нашим домом в переулке.

Мать моя была в гостях, Елена в кухне, бабушка Евгенийко Стилова и Константин, севастопольский воин, трудились в саду.

Я вошел в пустой дом и отворил тихонько дверь в ту небольшую приемную с двумя низкими и широкими красными софами по двум сторонам большого очага, о которой я писал тебе еще в начале моей повести.

Я увидел эту столь любимую еще в раннем детстве моем комнату, в которой я слышал столько вечерних рассказов у зажженного зимой очага, в которой я засыпал на коленях у матери или в объятьях отца.

10 Я увидел все три окна, большие и светлые, торжественно и празднично озаренные солнцем, и полосы солнца этого на стенах и диване. Увидал в белой стене шкафчик с зелеными и фиолетовыми треугольниками на дверцах и услыхал сильный запах прошлогодней айвы, которая рядышком, рядышком стояла вокруг всей комнаты на зеленой узенькой полочке, изогнутой к углам на двух концах своих по обычаю...

На очаге тлел, догорая и чуть вспыхивая, один огромный обрубок пня.

20 На диване лежал забытый матерью чулок со спицами. Около чулка кошечка с желтыми глазами и с обрубленным хвостом (которую я оставил еще крошечным котенком) проснулась и приподнялась на лапках спросонья, высоко, высоко изгибая спину, и смотрела на меня пристально.

Я постоял, поглядел и, вдруг припав к каменному краю очага, начал плакать громко и целовать его.

Так застала меня служанка Елена и с громким криком радости кинулась звать мать и бабушку.

Почти год!

30 Ты сам хоть и моложе меня, но уже давно не безбородый юноша. Поэтому ты знаешь по опыту значение одного года в подобный возраст жизни нашей...

Это век!

И какой год? Вспомни!..

Что я видел с тех пор, как прощался на последнем подъеме пред спуском в долину Янины с тем вечерним лучом в окнах загорского села?.. Что я видел? Что я слышал? Что

я чувствовал! И сколько сделал! Сколькому научился! Каких плодов познания добра и познания зла вкусил я с тех пор в этой Янине, которая для Благова или Бранковича могла казаться столь же мирною и тихою, и не страшною, как то озеро, у берегов которого она так красиво построена, а для меня разве Янина эта была озеро?.. Но не была ли она опасным и глубоким «морем житейским» для моих еще слабых сил, для меня, еще столь неопытного пловца?..

И если я сам бы не заметил, что я уже не тот<sup>10</sup> Одиссей, не тот в одно и то же время самоуверенный книжник и вовсе невинный отрок, Одиссей, который выехал в «турецком халатике» на муле из этих ворот прошлого осенью, то возгласы других, радость и гордость матери, удивление старой Евгенки... и похвалы соседей объяснили бы мне, что я *могу быть спокоен*, что я во всем, во всем иду вперед, как следует молодцу и мужчине.

Православный я был, и какой еще!.. Я принял даже мученичество за веру в деле Назли!<sup>20</sup>

Образован и учен я был!

Патриотом эллинским я, разумеется, был... Опять то же дело Назли и многие другие дела, коими уж сами ежедневники Эллады пером Исаакидеса превозносили мое имя по всему свету... Быть может, на берегах самой Миссисипи читает с удовольствием обо мне грек-торговец, ибо где только нет торгующих греков!

Но я еще был сверх того и патриот особый, местный, загорский патриот, ибо все от Елены скоро узнали, что я плакал, припав к очагу... Сделал я это так искренно, так<sup>30</sup> неожиданно сам!..

Но если хвалят за это после люди, ведь тем лучше, не правда ли?

Похвала не слаще ли сердцу, чем мед устам?

Был я и добрый сын, почтительный, любящий, покорный. Был я еще «поли эвгенис» в модном платье и перчатках!

Еще я был красив и собою очень виден. Все говорили, что я стал лучше, гораздо лучше. Высок я был и уезжая, но теперь я стал шире, плечистее, сильнее, толще, жирнее, даже и мышцы мои окрепли. Это все говорили, и я сам это, если не видел, то чувствовал. Еще неизвестно, мог ли бы так легко, как полгода тому назад, *сеис* повергнуть меня на землю и попать ногами?

Это вопрос теперь...

10 Ходил я тверже и прямее, вспоминая осанку моего трона, и мать говорила вне себя от счастья: «Эффенди! Совсем эффенди стал ты теперь».

Я видел, что молодые замужние женщины, встречаясь со мной, уже не смотрели на меня так смело и беззаботно, как прежде, а лицемерно потупляли по добродетели своей очи... и потом вдруг сверкал в этих добродетельных очах луч понятной любознательности.

20 О! я видел это и как будто не видал. Девушки уже прятались от меня, прыгая стремительно назад с серьезным и невинно-жалобным видом, если случайно встречались со мной при входе в чужой и дружеский дом!

Вот я что́ был *теперь*! Вот я что́ стал за этот год!

Воином я, правда, не был... Да! воином меня никто не считал. Но зато я был нечто иное, нечто такое, что́ важнее всего. Я был *купец*, искусный и твердый *эмпорос*, в два дня добыл для стареющего отца деньги, которые несколько лет не мог выручить сам этот отец; приехал, вынудил и взял и, вынув тяжелый узел из кармана, бросил его небрежно на стол пред матерью, говоря равнодушно:

30 — Матерь моя! Вот деньги родителя. Это из села Джамманда!

И прочь отошел от стола, заложив руки совсем по-европейски в карманы узких панталон.

Приятен неожиданный звон благородного металла, упавшего на стол! И счастливой матери остается только сказать, всплеснув руками с умилением:

— Живи, мой сын! Живи, мой сын! Ты уже столб для семьи и дому хозяин истинный! Живи, мой сын.

Да! я и намерен теперь жить и наслаждаться жизнью, ибо у меня *все уже почти есть* и все почти уже я делать умею!

Еще лет пять, еще пять-шесть лет, и я не такой дом воздвигну в Загорах наших, а немногим разве хуже конака Шериф-бея, с резными и лепными украшениями потолка и стен.

Живи, Одиссей, конечно, живи!.. И *куропатки* замужние везде ходят тихонько, выглядывая, ожидая тебя, птицелова, и *свечечки* разубранные и девственные, повсюду<sup>10</sup> припасенные для тебя, молодца, в тиши православных *гинекеев*, смиренно ждут, чтобы ты принял и возжег в них во время благопотребное пред алтарем церковным пламя и честное, и законное!..

Не скажет теперь Несториди, что я только скромный учитель. Он скажет: «Нет, я ошибся! Одиссей купец; он *эмпор*. Он может стать скоро богатым архонтом не только в селах загорских или в достославной Иоаннине, но во всяком граде и стране, и христианскою, и мусульманскою верой живущих!»<sup>20</sup>

Так ликовал я, не зная, что мне придется скоро опять раскаиваться... И как глубоко, как постыдно!..



## ПРИМЕЧАНИЯ К «ОДИССЕЮ»

# ПРИМЕЧАНИЯ К «ОДИССЕЮ»

## I и II

### Примечания Г-на Ону

1) не сомневайтесь. Это верно.

2) верно. — Иногда турецкие власти поручают исполнение подобных приговоров какому-либо «заптие» (полицейскому).

3) верно, — но не иснаф, а еснаф.

4) нет не пересолил, знаю не мало таких дел.

### Примеч(ания) автора

1) Сомневаюсь. — Правда у меня С. 16 пытались целовать руку — женщины положения не худшего, чем матери Одиссея. — Но я — Консул. — Читал, что в Черногории многие женщ(ины) у чужих мужч(ин) при встрече целуют руку. — Написал тогда не помню под какими впечатлениями.

2) Проверить о джелате. — Рассказ отца Одиссея с натуры, — С. 25 1—4, прим. кроме некоторых мелких подробностей, взятых из других случаев, но вообще не выдуманно.

3) Проверить выражение об иснафах. — Адрианопольское предание. С. 27 20

4) Характер мошенничества или тяжбы, конечно, в духе подобных дел в Турции; но он все-таки как отдельный случай выдуман мною С. 32—35

- С. 40 5) верно.  
11—14
- С. 41—42 6) по-моему, напрасно  
29 Вы так часто сомневаетесь. Ваши подробности удивительно верны вообще, у Вас кроме таланта редкая добросовестность. Не знаю, удастся ли мне проверить перевод.
- С. 45 7) Следует выбросить  
22 слово «самого».
- С. 50 8) слово *сюнбюль* зна-  
24—25 чит гиацинт (*jacinthe*).
- С. 53 9) Никто не мог объяс-  
14—15 нить мне откуда происходит это выражение. Вообще, я заметил, к сожалению, что когда сам чего-нибудь не знаю в подобных Восточных вопросах, то редко кто-нибудь в со-

по воспоминанию о разных подобных делах в Адрианополе и Тульче. — В Царьграде я спешил, когда писал и не уверен не пересолит ли я, имея тогда в виду лишь общие черты.

5) Кажется — верно. — Взято из сборника Эпирских песен.

6) То же — из сборника. — Но не уверен, что слово *Эримо* — пустынное — употреблено в том смысле, что жители разбежались в большинстве, или что место пустынное, удаленное (это правда — я там был; — но с другой стороны большинство Загорских сел производят такое впечатление; стоят особняком в глухих и безлесных долинах или на таких же высотах. — Хорошо бы проверить и самый перевод.

7) Чулок диавола — *Тѹ диавѹлу кáльца*. — Полагаю лучшим выбросить слово «самого». По-гречески было бы и без него понятно.

8) Не уверен в слове «*эюмбюль*». — По-моему — это *темно-лиловое*.

9) Видел эту игру в Эпире. — Название сказали мне те самые дети, которые играли. — Но я сомневаюсь.

стоянии объяснить мне.  
Не для хвастовства говорю я это, а потому что Вы ужасно требовательны.

10) Слышал я, что греки, даже и Крымские, про таких белокурых женщин говорят «галані». — Но может быть я ошибся. — Мне понравилось это и я не остерегшись написал.

10) bis) — Это обыкновенная тирада греческих учителей и духовных лиц.

\*)10 (По ошибке поставил второй раз 10-й №). — Эта тирада кажется очень верна, несмотря на то, что вся сочинена мною, лишь по воспоминанию многого слышанного от греков или прочитанного. С. 57—58

11) Не свечка, а свет мой.

11) По-моему это ошибка. — В песнях говорится *лампада* му *граммэни*. — Но «лампада» по-гречески значит не наша лампада, а *Свечка*? — Надо бы, кажется, «Свечечка моя»? С. 64<sup>1</sup>

12) Это обыкновенный изворот восточный.

12) Обо всем процессе хорошо бы *построже*. — Нет ли каких-нибудь у меня глупостей и невозможностей. С. 66  
67—69

13) см. выше.

13) Смотри 11-е прим(ечание) *тоже*. С. 70  
24—25

14) не знаю, потому что не везде в Турции дается одно название той же самой иконе. Но едва ли Вы ошиблись.

14). — Не ошибка ли? — Точно ли это икона *именно Знамения*? — Сказал мне это мой молодой слуга Георгий, когда я спросил у него, как по-гречески называется икона *Знамения*? С. 71  
22, прим.

не уст. 15) Это довольно верно  
в общем.

С. 93 16) Может быть, таких  
8—10 преданий много.

не уст. 17) Не ищите в Консуль-  
ских донесениях осо-  
бенной exactitude, mais  
le côté tendancieux —  
все писалось и пишется  
по известному шаблону,  
смотря по тому что у  
нас считается направле-  
нием в известную мину-  
ту.

С. 98 18) Другого выражения  
8—9 нет, кажется. Со време-  
нем будет непрменный  
греческий перевод.

15) Так ли все это?

16) Слышал это об *Аише* и *Фать-  
ме*. — Не знаю — не вздор ли?

17) Во *всем теперь* сомнева-  
юсь. — Даже и в том, о чем и сам,  
и другие Консула донесения писа-  
ли. — Мне все кажется, что ни  
Ионин, ни Хитров, ни Золотарев,  
ни я — ничего *фактически* осно-  
вательно в Турции не знали; — а  
схватывали может быть верно лишь  
общий дух политического вопроса  
(т. е. «Carthago est delenda!» и  
больше ничего!). — Вспоминая об  
этом обо всем, верю только покой-  
ному старику Дендрино. — А  
Консулам *русской крови*, — на-  
чиная с себя самого, — относи-  
тельно внимания к *фактам* не ве-  
рю. — Болгарин Станишев хоро-  
шо говорит, что все эти молодые  
тогдашние русские консула пре-  
жде всего были *поэты*. — По-  
жалуй, что я еще был пооснова-  
тельнее многих.

18) Это слово «халатик» меня  
очень затрудняет. — Я придумал  
так перевести слово «антерй» для  
русских, чтобы им было легче во-  
образить, как Одиссей был одет; —  
и если я даже вообразу, что чита-  
ет это грек *по-русски*, — то он  
будет удовлетворен. — Если же  
перевести это *по-гречески* — то  
догадается ли переводчик — ска-  
зать просто «антерй»; — а если он

сдуру переведет «турки́й рѡба ди ка́мера!» — Я же полагаю, что со временем «Одиссею» греческого перевода не избежать.

19) Это выражение мне неизвестно.

19) «Блю-Э́ма» — говорят гре- не уст.  
ки. — Кажется — так?

20) Едва ли? все женское на Востоке хуже, слабее. Не знаю.

20) «Филико́ кефа́ли; геннай», С. 104  
слыхал я от греков; особенно в 27, прим.  
Эпире.

21) так.

21) Так ли я объясняю? не уст.

21) bis) трудно удостоверить. Лучше выбросить «Гоммам Еддин» и сказать просто: другой стихотворец.

\*21) (По ошибке второй раз 21 С. 114  
№). — Был ли точно такой сти- 37  
хотворец. — Не во сне ли я его  
видел....

22) Я точно не знаю, но не важно. Vous cherchez trop la bête.

22) Рисунки этих костюмов я ви- С. 119  
дел в известной книге Ариф-Па- 18—29  
ши в Адрианополе. — (С него же  
вообще и портрет Рауф-Паши  
снят). — Но объяснений поче-  
му какая у кого чалма не знаю.

23) Это дело турецкой грамматики: *си* прилагательное. Диван эффендиси дословно: *du divan son iffendi — ou l'iffendi, l'employé du divan.*

23) Почему эффенди-Си, а не С. 119  
просто эффенди. — Это вы сами, 30  
Ону, мне в Константинополе ве-  
ли так писать. — Что значит —  
это «Си»? — Я слышал — так-  
же — ..... «делиси». Объясните?

24) Это обыкновенная история в Турции. Вы передали ее очень верно и живо.

24) Хорошо бы проверить у турок С. 120—121  
этот рассказ. — История о луко-  
вице рассказана мне в Адрианопо-  
ле, по поводу жизни и карьеры  
одного Паши или еще какого-то  
значительного чиновника. — Что  
касается до сватовства; до зана-

вески и до «заиф-дер»; то это все расска(за)но мне было самим И. Ал. Ивановым о Султане-Аб-д(ул) Меджиде, о сестре его и о муже ее, которого И(ван) А(лек-сееви)ч мне даже на улице показал. — Только султанский зять остался худым; а наружность и характер Ибрагима взят мною с двух адрианопольских чиновников. — *Дрался* — диван-эффенди Сулеймана-Паши. — Красив, горд и любезен был зять Ариф-фа; — но я не помню был ли он на должности диван-эфф(енди) и вдобавок на меня даже napало сомнение — может ли по обычаю или закону зять Паши стать диван-эфф(енди)?

С. 122 25.) То же.  
14

25) То же Си, что и в 23-м.

С. 122—123 26) Это политика ме-  
муру, то есть чиновник  
для сношений по поли-  
тическим делам.

26) Что за должность была или могла быть до Виллайетов у этого Сабри? Сам не знаю. — А видеть таких тонких молодых турок видал. — В Адрианополе — некий Фейм-бей у Паши в Конаке отлично польку танцевал с консульскими женами.

С. 125 27) Во всяком случае  
9 выбросить слово «сигары».

27) Папиросы, а не «сигары» собственно. — Уж слово папиросы мне огадилось в повестях наших русских хамов реальной школы; имя же им легион. — Не лучше ли сказать — «сигаретты» — «миá сигаретта»?

28) Тут ошибка в переводе: Я люблю не одного грека, а *гречанку*.

Какие у Вас помышления; не узнаю Вас.

28) Опять сильное сомнение! Положим, что вообще это двустиишие пахнет Востоком. — Но вот его источники: — *Первый стих* прямо переведен с вступления — одного действительно турецкого стихотворения, которое написал мне на память русскими буквами один старый грек, который живя смолodu еще при Султан-Махмуде в Константинополе получил это любовное стихотворение от турчанки. — Слова «Бир тазé ур-ум...» я помню.

Так как в Эпире, и по рассказам и по песенникам видно, что многие Мусульманки и Христианки сочиняют любовные двустиишия, то я к первой строке и прибавил сам вторую из головы... Не знаю похоже ли?

29) верно.

30) Это верно, но скучно немного. Вы говорите мне: «будьте по строже». Я бы сократил немного историю тяжбы, хотя она и не грешит против правды.

29) Верно ли это?

не уст.

30) Вся история этой тяжбы меня тревожит. — Я тогда (в 73 г.; в К<он>с<тантино>п<о>ле) очень спешил и ни о чем почти не успевал справляться точно. — Я помню, что когда я именно этот пассаж читал громко при Вас у Хитрова, то Вы (Ону) прослушав сказали; пожимая плечами: «Tout est possible!» — Ведь это восклицание почти указание на неправдоподобие тяжбы и вообще всей истории? — Тогда я вынужден был кончать скоро и утешил себя мыслию, что *общий дух* этой всей сложности процесса — характер-

С. 159—164



рен для Турции. — Но тягостное чувство сомнения никогда не оставляло меня, после этого Вашего возгласа: «*Tout est possible!*» То есть: «*même l'in vraisemblable...*» Характер же этого сочинения все-таки должен быть по возможности и «этнографический». — Таким он признан многими и в России. — [Аксаков, по прочтении первых трех частей говорил публично: «После этого не нужно ездить в Эпир!»] Поэзия чувств моего «Одиссея» и других лиц не должна находиться в противоречии с этнографическими фактами. — Поэзия чувств, если местный характер ее верно схвачен, — есть, пожалуй, высший род этнографии. — Критика серьезная давно признала, например, что Шекспир при всех анахронизмах и других фактических ошибках своих, верно и прекрасно изображал характеры и дух эпох и наций. — Но что простит критика Шекспиру, то нам, современникам, основательно не простят. — Надо, чтобы и общий дух был верно понят и чтобы и факты не были бы слишком сочинены. В России — последняя сторона дела мало людям доступна; но моя авторская совесть — очень требовательна. — Во всей этой истории (под № 30) — с действительных фактов взято только следующее: 1) Приключение на льду Янинского озера с беем и восстановление им небольшого

монастыря. — 2) «Слезы бедных огородников» из донесений (сморщенного) Обер-Миллера из *Трапезунта* (NB). — В Янине — огороды были; — но тяжбы такой не было за огороды. — 3) *Характер Исаакидеса* верно снят с некоего греческого поддан(н)ого *Аравантино* в Янине и тяжба такая нечистая с беem тоже при мне была. — Также была переведена на русского подданного, благодаря темной сделке; но подобно Благову, я отказался вести ее через ее *дурную славу* (фальшивые и утаенные росписки и т. п.)

4) *Характер Шериф бея* — с С. 163 *натуры*. — (Позднее развит в «Камне Сизифа») и *мать* у него была действительно христианка, которую при мне даже и хоронили парадно с Митрополитом и т. д.

Что касается до доходов на *скит* от турецкого семейства; до *найма огородов* и т. п. *осложнений*, то это все сгруппировано мною только для того, чтобы показать как были иногда сложны и растяжимы в Турции подобного рода дела, в которых шло дело и о росписках (компетенция Тиджарета и Консульств) и поземельной собственности — (до *Вилайетов* — : Молла или Межкеме?)...

Пожалостя, Михаил К(онстантинови)ч, *построже, построже!*...

31) Другого перевода не нахожу. По-гречески: не

31) Ну это не очень важно. — С. 166  
Это вольный перевод с греческо-<sup>2</sup>

«Фа зисис», а «на зисис».

го: «Фа зисис!» Довольно бы: «Будь жив!» А «здоров» — я прибавляю и для ясности и для благозвучия по-русски. — Если бы когда-нибудь переводил бы это по-гречески очень умный грек и по-русски начитанный, то он догадался бы и перевел бы просто: «Фа зисис!». — Ну, а Перипандопуло и К<sup>о</sup> станут в тупик и скажут: Леонтьев ничего не знает.

Эти оттенки и важны, и неважны; смотря по тому как взглянуть на дело. — «По духу», по «гению» русского языка лучше «удвоять» как я делаю; — по «гению» греческ(ого) языка — это не нужно. — По «букве» — это ошибка. — Всякий ли это поймет.

С. 168  
24—25 32) Это слово значит и гулять и созерцать, преимущественно созерцать.

32) *Весьма неточный* перевод известной и простой песни:

Аман, Аман, Багатлы —

Яз челды, сарьян татлы!

«Сарьян», «Сарьянизу» (по греч(ески)) — еще значит ли точно «гулять»? — Не значит ли это скорее: «созерцать?», «любоваться на виды, даже сидя»... и т. д.

Все подобное ужасно наобум писано... По одному художественному чутью... Предосадно!...

С. 170  
12 33.) чаир значит луг (prairie)

33) Вот и это «Чаир! Чаир». — Я перевел это в скобках — «Трава! Трава!» — Откуда это я взял? Негодую теперь на эту самонадеянность! — Слышал я это слово «чаир» — по случаю

того, что греки говорят — лошадей весной надо посылать на свежую траву; — «фа та стілумен ис ту чайри». — Вот и все мои с этой стороны познания! А насчет песни тоже не много знал. — Слышал, что молодые турки пели какую-т(о) длинную песню, очень приятную — (чуть ли не самого этого Багдатлы?) и не раз припевали: «Чаир! Чаир!»

34) *диш парасы*, сы au lieu de ci par euphonie après para. Si c'était piri, on dirait si.

34. Так ли это называется? Почему это везде *си* и *си*? — Факт верен; я сомневаюсь в правильности названия? С. 178 33

35) может и осенью и зимою и весною и летом

35. — Может ли Рамазан быть поздней осенью. — Все забыл, и не доверяю себе. — Помнится, что Рамазан *передвигается по всему году*. — Что он *летом* бывает, и в *середине зимы* — это я знаю; а насчет других времен года боюсь ошибки. С. 182 22—23

36) подобные истории бывали.

36) Это случилось в начале 60-х годов в Янине с Дендрино и Г. Бертраном, франц(узским) Консулом. — Рассказано мне племянником Дендрино, который тоже при этом был, и потом подтверждено в Янине. С. 184—185

37) Это верно.

37) Забыл донельзя французский язык... Все сомневаюсь? С. 188 26

38) подобные сделки мне известны. Не сомневайтесь.

38) Хорошо бы строго проверить историю этой тяжбы и этих сделок. С. 195—196

- С. 200 39) верно — в ого- 39) Это кажется верно. — Вы-  
26—27 родах.
- С. 207 40) повторяю — вер- 40) Опять эта тяжба!?
- но, но скучно немного  
для того, который не  
бывал как мы на Вос-  
токе.
- С. 209—210 41) Я бы переделал не 41) Все к *тому же* вопросу.
- много в виде сокраще-  
ния; — скучненько.
- С. 211—212 42) тоже 42) *Idem.* — Сомнения?
- С. 213—214 43) — да немного че- 43) *Idem.* *Не через край ли?*
- рез край.
- С. 217—219 44) — очень мило и 44) *Очень* желательно бы *строго*
- верно. проверить *натуральность* этой  
сцены в гареме. — Писано по  
разным отрывочным сведениям от  
женщин — в разных городах.
- С. 219 45) нет, *cela ne choque* 45) Не слишком ли *русский* обо-  
36—37 *pas.* рот?
- С. 224 46) *Il faut traduire par* 46) «Старичок» кажется не по-  
27 *un mot qui soit le cont-*  
*raire de мальчишка.* турецки? По-гречески говорят  
«геронта́ки!»
- С. 225 47) Это верно. 47) Это рассказал мне Варзелли  
5—7 про Ионина. — Это верно.
-

### III

#### (Мои первые испытания и т. д.)

- |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Никак не высокословесный, а что-то между грамотный и ученый.                                                                                                                                               | 1) «Логнотатос»? По-русски «словесный» слабо и даже непонятно.                                                                                                                              | С. 237<br>28    |
| 2) так верно.                                                                                                                                                                                                 | 2) Так ли я написал это?                                                                                                                                                                    | не уст.         |
| 3) это выражение мне неизвестно; оно вероятно чисто местное.                                                                                                                                                  | 3) Это «Бобó» сам слышал от греков. — (В Янине — все турки говорят по-гречески).                                                                                                            | С. 241<br>34    |
| 4) верно.                                                                                                                                                                                                     | 4) Кажется — верно?                                                                                                                                                                         | не уст.         |
| 5) <i>нероврасто</i> нельзя объяснить: вареная ты говядина. Вареная говядина может быть и вкусная, — а в действительности <i>нероврасто</i> значит вещь без всякого вкуса — <i>cuit à l'eau sans viande</i> . | 5) Я думаю — вареная вещь — правильное?..                                                                                                                                                   | С. 243<br>25—26 |
| 6 и 7) мне кажется верно.                                                                                                                                                                                     | 6 и 7) Писано по воспоминанию местных и адрианопольских рассказов, которые я в то время очень невнимательно и рассеянно слушал, не ожидая даже, что буду писать повести из Восточной жизни! | не уст.         |
| 8) <i>юха</i> а не <i>юхга</i> !                                                                                                                                                                              | 8) Кажется — верно? <i>Юх-га</i> !                                                                                                                                                          | С. 254<br>18    |
| 9) так                                                                                                                                                                                                        | 9) ?? Сам не знаю — в чем сомневаюсь!?                                                                                                                                                      | не уст.         |
| 10) верно кажется                                                                                                                                                                                             | 10) Переведено из «Сборника»; не знаю насколько хорошо.                                                                                                                                     | С. 261          |

- С. 269 11) не понимаю — этот  
32—36 номер не отвечает то-  
му же номеру в книге...  
Ах да! повторение но-  
меров. Не знаю Суццо  
ли эти стихи, но знаю,  
что Суццо лучший поэт.
- С. 272 12) брэ или «каймене»  
32 еще лучше.
- С. 279,  
881—882
- 12) «Баба!» Подразумевается, что  
Ибрагим говорит здесь по-грече-  
ски. — Это «баба» не годится. —  
Лучше «бре!» или «каймене!»
- № NB на 57 стр. — Зачеркнул  
это потому, что во всей Янине, ка-  
жется, нет ни одной домово́й бани:  
а только публичная да и то не  
большая. — Списано — с нату-  
ры только из Адрианопольской  
жизни. — Это случилось со мною  
самим. — Покойный Митроп(о-  
лит) Кирилл — мылся у Блонта в  
доме; — а меня привел к нему в  
баню — сюрпризом Блонт. —  
Но, между жизнью Фракии и  
Эпира есть большая разница. —  
Жаль выбросить эту картину,  
столь оригинальную и правдивую,  
но я иду точности.
- С. 289 12) «Кирие елейсон», а  
2, 9—10, не агиа елейсон му.  
12—13
- С. 289 12) тоже
- С. 299 13) так — и теперь еще  
8—17 больше чем прежде.
- С. 302 14) мог быть только по  
8—9 особому случаю.
- 12\*) (12-й № по ошибке второй  
раз) Вопрос: правильно ли напи-  
саны эти молитвенные возгласы?
- 13) Я полагаю, что это несомнен-  
но так?
- 14) Не могу вообразить какая  
должность у этого Сабри-бея! И

ую его везде, чтобы яснее изобразить характер — такого *европейского* молодого турка, каких, конечно, мы все не раз встречали. — Вопрос: может ли он быть членом «истинтака»? — Мне казалось, что *может* быть назначен по особому случаю.

- |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15) верно                                                                       | 15) <i>Гатти-шериф</i> (1839 г.) относился, кажется, больше к <i>высшему управлению</i> , чем к правам <i>Христиан</i> ? — Впрочем — это не беда. — Во всяком случае — можно и так выразиться; — ибо влияние перемен в управлении высшем могло косвенно отражаться на положении <i>Христиан</i> . | С. 309<br>20—21 |
| 16) хорошо                                                                      | 16) Опять слишком вольный перевод: « <i>ту дьавóлу кáльца!</i> »                                                                                                                                                                                                                                  | С. 317<br>16—17 |
| 17) правдоподобно.                                                              | 17) Не знаю <i>точно</i> ли это о монополии <i>пиявок</i> . — Раз — это верно, то остальное все хорошо. — Это ведь взято с истории Бертра-на и Дендрино — в Крите.                                                                                                                                | С. 328<br>5—32  |
| 18) по-моему, священный порог совсем не хорошо, — лучше наше выражение русское. | 18) Верно ли названо?                                                                                                                                                                                                                                                                             | С. 331<br>5—6   |
| 19) кажется хорошо переведено.                                                  | 19) Просто «чтоб тебе жить!» ( <i>фа зýсис!</i> )                                                                                                                                                                                                                                                 | С. 334<br>6     |
| 20) верно                                                                       | 20) С Консульского рассказа (не помню какого консула). — <i>Есть</i> ли в самом деле <i>такие сливы</i> ?                                                                                                                                                                                         | С. 348<br>18—21 |
| 21) Дери-Саадин — Царьград а не Босфор.                                         | 21) <i>Так ли</i> это?                                                                                                                                                                                                                                                                            | С. 349<br>20    |



- С. 357 22) бросьте наконец 22) То же что и № 19.  
36—37 сомнение
- С. 365 23 и 24) молодой турок 23 и 24) Проверить вообще. —  
25 мог говорить так *Барбарлык* — это я не выдумал; а слышал от одного турка в Адрианополе, который сказал мне: я сегодня сделал один *барбарлык* — знаете — больно исколотил своего сеиса.
- С. 368 25) мало знаю болгар- 25) Это я думаю — хорошо. —  
26—31 ский язык, — но не Понтикопечи — знает три слова по-русски, и три слова по-болгарски и при малограмотности своей хочет славизмом угодить Консулам. — Бобчев, бывший сотрудник Каткова, — прочел это и сказал мне: «Это не по-болгарски». — А я ответил ему: — «Это *карикатура* на болгарский язык». — Я думаю, что я правее.
- С. 372 26) да. Надоели 26) То же, что и в 19 №.
- 17
- С. 403 27) Никто объяснить не 27) Этот вопрос уже был (№ 14  
10—11 мог в I части *Об иконе Знамения*).
- С. 403 28) греки вообще упо- 28) Как это сказать по-грече-  
21 требляют в этом случае ски? — Надо ведь вообразить, что Одиссей пишет по-гречески.
- турецкое слово *кысмет*. Турки употребляют арабское слово *тали*, — что значит восходящая звезда.
- С. 407; 882 29) On pourrait dire mal 29) Вычеркнуто, ибо эта острота  
30 14 mûr, le fruit vert n'étant «зеленое сукно» и «сам зелен» хороша по-русски. — По-гречески она невозможна, я думаю?
- pas mûr.
- не уст. 30) не нужно. 30) Думаю, что это (зачеркнутое) не нужно?

- |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 31) не помню, но не важно                                   | 31) Так ли это? Я слышал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | не уст.         |
| 32) как проверить!                                          | 32) Из сборника. — Не знаю хорош ли перевод.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | С. 427<br>10—23 |
| 33) аферин, а не м                                          | 33) Так ли это — аферим!?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | С. 434<br>16    |
| 34) Как охотник знаю, что волк любит туман для своих целей. | 34) Из сборника пословиц: «О лѣкос антѣра гирѣви».                                                                                                                                                                                                                                                                                       | С. 437<br>20    |
| 35) да.                                                     | 35) Так ли я называл —?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | не уст.         |
| 36) хорошо                                                  | 36) Я знаю, что слово «ахтиар» говорят и про женщин. — Но так как — как по-русски нельзя про женщину сказать: — «старик»; а сказать просто <i>старуха</i> — было бы не так выразительно и не имело бы никакой «couleur locale» — то я и предпочел перевести в моем воображении слова «Ту ахтиар» или «ò ахтиар» — «этот старѣй человек». | С. 440<br>1—2   |
- Эти тонкие оттенки в языке производят очень выгодное впечатление. Впрочем, почтительнейше честь имею и это повергнуть на благоусмотрение Вашего Превосходительства!

---

*Конец I-го тома.*

---

*Прошу* если и сверх этого, если что попадется *сомнительное* или *ошибочное*, исправить или *посоветовать* чем заменить.

*Это главное* — посоветовать как и чем заменить. — А без этих советов — как же мне-то поправлять?

(2 части, большая IV Камень Сизифа; и маленькая V Я Ку-  
пец. — (Εἰσαὶ εἰμ πορὸς!))

#### IV. Камень Сизифа.

- |                     |                                                               |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С. 457<br>29—33     | 1) никто из моих знако-<br>мых не знает этого вы-<br>ражения. | 1) τὰ Εὐνία ложе. — ἡ Εὐνοία,<br>благосклонность.                                                                                                                                         |
| С. 459<br>24—27     | 2) не знаю                                                    | 2) Не знаю — верно ли?                                                                                                                                                                    |
| С. 459<br>35—37     | 3) в чем сомнение? не<br>понимаю.                             | 3) Тоже сомневаюсь?                                                                                                                                                                       |
| С. 461<br>10—16     | 4) так.                                                       | 4) <i>Верги, темету.</i> Кажется так. —<br>Выписал из донесения <i>Ионина</i> , в<br>Азиатск⟨ом⟩ департ⟨аменте⟩.                                                                          |
| С. 462<br>17—20     | 5) так                                                        | 5) Со слов <i>прислуги</i> .                                                                                                                                                              |
| С. 468<br>3—4       | 6) на а харо                                                  | 6) Θα (να?) χαρο εἰς τὰ ματτία<br>σου.                                                                                                                                                    |
| С. 469<br>16        | 7) ах! вах! хорошо                                            | 7) Не лучше ли «ай-вай!»!                                                                                                                                                                 |
| С. 471<br>24        | 8) не нашел еще                                               | 8) Как сказать «право гражданст-<br>ва» — по-гречески?                                                                                                                                    |
| С. 477—478<br>26 11 | 9) и 10) напрасно Вы<br>так мало доверяете се-<br>бе.         | 9 и 10) Все сомневаюсь теперь и так<br>и вижу (даже с <i>того света</i> ) —<br>что меня обличают в невежестве, в<br>том, что кто-нибудь у меня сидит<br>«под тенью развесистой клюквы!»). |
| С. 478—479<br>37 6  |                                                               |                                                                                                                                                                                           |
| С. 483<br>16—17     | 11) Вместо mirabo-<br>lant, — mirobolant                      | 11) По-французски, я думаю, у ме-<br>ня <i>слова</i> правильно написанного нет.                                                                                                           |

- 13) N'attendez pas même de mon amitié que je lise toutes. 13) Переводил в К(он)с(тантин)п(о)ле прямо, кажется, из Суццо — а теперь не верю! С. 498 7—17
- 14) просто университет. 14) Можно ли так перевести — Πανεπιστήμιον? С. 498 28—29
- 15) и 16) напрасно все сомневаетесь 15 и 16) Все глупые и болезненные сомнения С. 499. 501 7—10 17—19
- 17) лучше Эллас! 17) Я слышал такой припев от одной барышни в Крите; но не знаю почему мне кажется, что она припевала не «Эλλάς! Эλλάς», а именно «Эλλάδα». С. 504 5
- 18) это выражение рисковано. 18) Как сказать по-гречески: «мукомольные каскады?» Возможно ли? С. 507 24
- 19) Vous êtes meilleur juge que moi 19) Слишком русский оборот, новейшей школы. — Точно у Тургенева и К°. — А я этого не люблю. С. 518 35
- 20) опять! 20) Опять тоже: Θα ζίσις и только. С. 524 7
- 21.) это все очень мило в турецком вкусе и жанре. 21) Когда бы какой умный турок проверил бы это. — Записано впрочем в Янине, со слов доктора грека (и Туркофила), который очень был вхож в гаремы. С. 530 20—31 531—532 6 2
- 22) дело так действительно ведется. 22) О мешочках этих я в провинциях много слышал и сам, помнится, мешочки на стене где-то видел. С. 535 24—26
- 23) это хорошо, опять сомнение! 23) Можно ли сказать по-гречески: приятно-полезный; — уныло-доходный? По духу — это, конечно, верно; потому что первое перенято прямо у Афонских рус- С. 536 29

ских монахов и т. п. людей, воспитанных на Византийском стиле; — а 2-е шуточно — в том же роде. — Но возможно ли бы было — выразиться так с успехом по-гречески?

С. 537 24) мне кажется, что к  
35 Босфору божественный  
не идет, — *magique* —  
или что-то в этом роде.

С. 540 25) верно.  
1

С. 543 26) хорошо.  
13—14

С. 544 27) не понимаю.  
25

С. 561 28)  
10—15

С. 562 29) что-то не нравится  
27 мне это выражение!

С. 569 30) Кажется хорошо  
36

С. 571 31) *Эялет* а не эалет.  
32—33

С. 577 32) лучше мой милый,  
12 дорогой

С. 591 33) см. в книге.  
8

С. 593 34) я не слыхал, но  
29, прим. Вы слыхали — доста-  
точно.

24) *Божественный* — Босфор.  
Как сказать: *Θεϊκος*?...

25) Ну это кажется — верно.

26) Тоже, что и 6.

27) *Μία τεταρτη φελιβερι κε πεμ-  
πτι....?..?* (из песенников; подра-  
жание.)

28) Воображаю — сколько оши-  
бок по-французски!

29) Подражание церковно-Ви-  
зантийскому.

30) «Турко-саванос»...?

31) В 61—62—63 годах еще не  
было Вилайетов. — *Эалеты* —  
были??

32) «*Ματια μου!*»

33) То же сомнение, что и в 28.

34) *Свидá*. — От многих в Эпи-  
ре слышал: «*Εἰς τὴν σβίδα*!»  
вместо — *μονομαχία*

- 35) Это не про́волока, а толстая нить с золотом или серебром, вроде шнура. 35) *Прóволочка серебряная* — С. 599 18  
что-то в этом роде из песенников. — А теперь забыл *так ли...*  
*Сърма?* — Проволока?
- 36) Мне это выражение неизвестно. 36) Слышал от людей в Эпире: С. 603 34—35  
«Θυλικο κεφαλι; — γεvνvαι!» Бо-  
юсь — не ошибся ли
- 37) Не вареная вещь. Я объяснил уже выше. 37) «Неро-врасо»... С. 615 22
- 38) Подобные пытки бывали в Турции и вероятно до сих пор. Это все известно мне. 38) Вся эта история из Чамурьи С. 618, 7—13  
рассказана мне слугой моим Георгием, который сам уроженец этой 620—621  
*Чамурьи* (в Эпире). Сам я там 31 23  
быть не успел. — Желательно было бы найти случай для строгой проверки подробностей этой картины.
- 39) такие истории также С. 622 21—26
- 40) хорошо. 40) То же, что 6 и 26. С. 626 29—30
- 41, 42 и 43) проверить не могу 41, 42, 43) Кажется — все это С. 648, 649 32 15  
С. 649 35
- 44) *Εκσιγισις*, по-гречески значит просто перевод, всякий перевод. 44) «Благосохранно» — так же С. 669 28—30  
как в № [23] *по духу по стилю*  
верно, но желательно знать можно ли сказать это по-гречески? «*Εκζεγεσις*» кажется так называется на Востоке ученическая работа, когда с древне-эллинского — языка — переводят с объяснениями на нынешний?
- 45) так 45) Кажется, — так. С. 674 25—30

- С. 685 46) блокада только на  
21 море, осада лучше.
- С. 687 47) возражений ника-  
10 ких не имею.
- С. 693 48) тоже  
6—14
- С. 695 49 и 50) верно  
33—35
- С. 697  
20—32
- С. 698 51) так  
22—23
- С. 700 52 и 53) бывали такие  
10—12, случаи.  
прим.
- С. 701  
1—10
- С. 703 54) это бывает (осо-  
3—10 бенно мусульманки)
- С. 704—705 55) все верно или прав-  
17 14 доподобно.
- С. 710 56) так  
9—16
- 46) Разве можно сказать «блока-  
да», когда дело идет о *суше*, а не  
о *море*? — *Осада*?
- 47) Это не преувеличение: *Сту-  
пин* и *Золотарев* имели оба в Ад-  
рианополе такую счастливую звез-  
ду. — Все что они ни делали, все  
приписывалось их умению. —  
*Ступина* звали «мéгас».
- 48) Это примечание я сделал не для  
исправления, а *так* для М. К. *Ону*;  
мне представляется это верным оп-  
ределением вообще *судьбы* России  
и Турции. — Руским вообще турки  
нравятся и наоборот — а *история*  
ведет дело *вопреки* вкусу.
- 49 и 50) Это все случилось при мне  
с Золотаревым в Адрианополе.
- 51) «Θα (να?) *gúnis sán tu*  
*дактиλό-му!*»
- 52, 53) Рассказывают, что Бело-  
церковец поступал так в Янине. —  
Ступин тоже в Адрианополе поз-  
волял себе подобные дела удачно.
- 54) *Правда*. Ариф-Паша и Золо-  
тарев в *Адр<ианополе>*.
- 55) Выписано прямо из старого  
донесения Ионина.
- 56) Это верно. — Случилось, в Яни-  
не, при мне именно с *такой* Ни-  
цой. — По моей просьбе Ахм<ед>  
Расс<им> Паша освободил ее имен-  
но таким путем: «ревматизм и т. д.»

- 57) *девтера анастасис.* 57) *Девтерон анастасис.* — Ка- С. 715  
жется — нет ошибки. 5—7, прим.
- 58) тут близко 58) Не ошибся ли я? *Тут ли?* С. 718  
*Мыс Акцииум* 28—29
- 59) так 59) *Назиа?* Так ли? *Назик?* С. 726  
35—37
- 60) так 60) «Харá ис тон андрон тон дес- С. 727  
пón ке ис тин гинека криа». — 36—37  
Слыхал не раз и между прочим в  
Петербурге — от Посланника  
*Метакса* (в 69).
- 61) помните нашу *Афи-* 61) Сам не видал ни одной сочи- С. 728—729  
*ну!* она тоже пишет нительницы. — Но слышал от 33 3  
стихи. многих и в песенниках встречал  
много подобных, записанных со-  
бирателями двустий.
- 62) да 62) Слышал сам, как один *хам-* С. 732  
*чик-грек* сказал даме: «*Василисá-* 4—5  
*му!* — Та *малля-су* ине сан ти  
*кипариссиа тис пóлеос!*»
- 63) Как же я Вас вы- 63,64) Как нужно в этом случае: С. 758  
чу турецкому языку? «*Ким-дер-ò?*» или: «*Ким ò.*» — 23  
Вы верно писали. Это *дер* так же беспокоит меня как  
и *си?* Почему *дер?* Зачем — *си?*
- 64) *Ким дыр о* значит С. 759  
Кто есть тот? в сокра- 9  
щении *ким о* Кто тот?  
или кто там. Стоит ли  
входить в такие мелочи?
- 65) турченоч мог так 65) Это кажется — верно. — То С. 761  
говорить. есть *турецкие* слова верны? 6
- 66) правильно. 66) Кажется — правильно напи- С. 765  
сано? 21—25



С. 772 67) хорошо  
4

С. 777 68) это предание  
5—11

С. 780 69) хорошо  
23—30

С. 787 70) да  
26—33

С. 796 71) я уже объяснил  
9—10

67) Даже и в таком пустяке не доверяю себе. — Так ли я выразился?

68) Из рассказов старшин Янинских.

69) С действительного рассказа одного знакомого.

70) Из песенника.

71) *Фа зисис*; — опять то же.

---

## V. Я купец!

не уст. 1) так

С. 803 2) так  
6

С. 803 3) хорошо  
17—34

С. 807 4) прикажете рыться в  
18—19 Фирдауси? в таком случае Бог знает когда кончу.

1. Верно ли.

2. «Да-с» — «Не-ски»?

3) Хороша ли эта сцена? — *При* мне ведь такого не могло случиться; а *при* Одиссее — могло.

4) Кажется — верно; *относительно Фирдузи*. — Что касается до некоторой фамильярности Паши с Одиссеем; то я видал еще и побольше; Ахм(ед) Рассим-Паша в Янине звал меня обедать и привести с собой моего фаворита — Петраки. — Я поблагодарил, но пришел один, не желая оскорбить этим предпочтением своего драгомана Лазаридиса, (который был кстати сказать ужасно не интересен, вроде Бостанджи-Оглу). Паша на это объяснение мое сказал мне: «Лазаридес скромный

человек; и я пригласил бы и его; но он драгоман, а не «воспитанник» ваш. — Тогда надо и французского драгомана — Моричи́, портного пригласить. — А я с итальянцем-портным не хочу обедать....» А с Петраки всегда шутил и разговаривал; хотя знал, что Петраки бедный райя из Тульчи.

С. 809—810 5) так  
26 16

5) Это старинный, шуточный рассказ; Заптие притворяется, будто думает, что всю операцию надо делать *теперь*; а траханá заранее уже заготавливается.

С. 817 6) бир инглиз  
24

6) «Бир-инглез!» Это верно ли написано. — А манера две капли воды Блонт, Адрианополь.

С. 821 7) можно.  
24

7) Можно ли «ефемерис» перевести — *ежедневник*?

Конец.

T.I.V.P

NB. Случайно отыскал эти стишки. —

Севдейм тазе бир рум дельбери,  
Савместе Саесте гюя бери,  
Асикам ватле гюрмедим джана. —

## ОБ ИЗДАНИИ «ОДИССЕЯ»

1. Думаю, что нужно *три* тома.

2. Денег не требую; — с меня достаточно, чтобы<sup>1</sup> мне было предоставлено продажа после погашения расходов Г. Суворина на издание; на *объявления* и т. п.

3. Полагаю полезным *предисловие*, за которое заплотить издателю. — (Кому? Страхову, Грингмуту, Авсеенке, Александрову, Южному, Загуляеву (*L. V.* — в *Journal de St. Petersb(urg)*): или *безымённо* от издателя?). — Г. Буренину — опасно, невыгодно: — ему не скоро угодишь. — Найти автора для предисловия могу я сам. — Заплатить ему рублей 100 — не могу.

4. Хорошо бы, чтобы книга вышла не позднее Января 1891.

5. *Гранки* непременно высылать мне в Оптину для последней корректуры<sup>2</sup>. — Берусь — не задерживать.

К. Леонтьев

12 *Авгу(ста)* 90.

Опт(ина) П(устынь)

---

<sup>1</sup> *Далее зачеркнуто*: издание разошлось и тогда уже можно будет получить

<sup>2</sup> *Было начато и зачеркнуто*: вер(стки)

ФРАГМЕНТЫ  
ЧЕРНОВОЙ РЕДАКЦИИ

## ⟨НЕНАПЕЧАТАННЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ «ОДИССЕЯ»⟩

«Глас Марса меня восхищает,  
Кипит моя кровь и уста восклицают —  
На тирана восставши,  
Ярмо<sup>1</sup> я топчу и ломаю,  
Умереть я желаю,  
Я свободы хочу!...»

Или вот это. — <sup>2</sup>

О, Дети Элинов, спешите!<sup>3</sup>  
Отчизны зову вы внимлите. — <sup>4</sup>  
Мужи, бесстрашные на муки!<sup>5</sup>  
Оружье в руки!<sup>6</sup>  
Уже везде труба свободы  
Против тирана возгремела  
Борьбы мгновение приспело...  
И вражья кровь<sup>7</sup> пусть потечет как воды!..

Тогда мне это больше нравилось. —  
Прекрасно! Но что ж из этого?..

---

<sup>1</sup> *Далее зачеркнуто: его В начале строки зачеркнуто: Я гр ⟨?⟩*

<sup>2</sup> *Далее зачеркнуто: Спешите, о*

<sup>3</sup> *Далее зачеркнуто: Мужи, опасности орудья*

<sup>4</sup> *Далее зачеркнуто: Уже везде труба свободы / Против тиранов  
[тирана]*

<sup>5</sup> *Вписано над строкой над зачеркнутым: опасностей друзья*

<sup>6</sup> *Вписано над зачеркнутой строкой: Труба свободы возгремела*

<sup>7</sup> *вражья кровь вписано над зачеркнутым: кровь врагов*

Я созерцал, я<sup>8</sup> слушал песни, я любил тогда читать стихи, но что  
в окружающей

---

<sup>8</sup> *Далее зачеркнуто:* читал

---

Незримые, томительные демоны снова толпою летают<sup>1</sup> вокруг  
меня....

Я сердцем чувствую, что близится их необоримый, неудержи-  
мый, их сладко-пленительный хор, и день от дня, час от часа они  
становятся мне милее самых чистых ангелов света....

О, я бедный, бедный!...<sup>2</sup>

О! как просторна и безмолвна эта теплая зимой, эта прохлад-  
ная и полутемная летом приемная наша!.. С каким волшебством  
теперь, в переменчивые дни Февраля, смешиваются в ней веселый  
треск фигурной и пылающей чугунной печи с теплым ветерком,  
который тихонечко, тихонечко влетает в окна, открытые на зеле-  
неющий двор, колеблет тонкие, спущенные на них завесы....

Как широки и как всю душу мою растлевают эти низкие дива-  
ны Благова, покрытые материей с мелким узором персидского  
вкуса!...

И картина эта на дальнем конце длинной комнаты.... Эти нагие  
богини.... Они мне не нравятся.... Я не люблю бесстыдства, но  
Парису Гермес предлагает драгоценное яблоко избрания.... Из-  
брание!... Избрание!... Ах! Увы мне.... Увы мне.... Во всем таится  
измена, и яд развращения сокрыт в самых полезных и похвальных  
наклонностях наших!... На большом круглом столе, покрытом  
светло-голубой суконной скатертью Цареградской работы, расши-  
той многоцветными Турецкими письменами, лежит у консула  
столько хороших книг и русских, и французских, и немецких....  
Сколько альбомов с картинами.... и какие картины....

Я не любил грубого бесстыдства, и разврат цинический никог-  
да бы не совратил ума моего с того строго-благочестивого пути, по  
которому вели с детства меня мои честные и простые, верующие  
душой родители...

---

<sup>1</sup> *Далее зачеркнуто синим карандашом:* и реют

<sup>2</sup> *Было:* О, бедный, бедный... Одиссей!... *Зачеркнуто* каранда-  
шом, я вставлено.

Я был рожден к тому же с чувством прекрасного в сердце.... хотя я долго не знал даже имени тому священному огню, который во мне таился....

Да! я хотел стать купцом; я и стал им; — я купец не бедный и не дурной.... Но я стал точно таким же купцом как Хаджи-Хаммамджи, Фракийский политик, говоривший о себе, что он по призыванию ритор и агитатор, а купец по нужде....

Во мне тлел и таился священный огонь поэзии, которого действие столь разнородно в разных течениях жизни. — Если устояло и окрепло в тебе христианское чувство вопреки всерасторгающей буре помыслов, соблазнительных примеров, страданий, сас-толюбия, гордости и отчаяния в часы малодушия, вопреки тому, наконец, что зовут «духом века», — то этот тайный огонь уже не пожрет нещадно беспомощную и горькую душу твою.... Нет! — Его могучая теплота, мой милый и добрый друг, лишь согреет и оживит духовный свет твоего разума, который без этого тайного горения.... был бы, может быть, (да простит мне милосердый Господь мой!) немного холоден, как торжественное сияние солнца в морозный день на северных, снежных полях....

Но, если?... Если?...

Сядь, сядь, мой добрый друг, в полдневный зной в тени и в безмолвии слушай, как шелестят едва слышно вокруг тебя листья шелковицы, или высоких тополей... Слушай! —

Слушай и<sup>3</sup> как ласточки мелькают мимо тебя и над тобой.... Неудержимо, беспрестанно... Одна мелькнула, щебеча и скрылась, за ней другая... тотчас, и опять снова прежняя.... То сама она, то тень ее на земле, — исчезает, реет перед рассеянными и задумчивыми очами твоими....

И неужели умирать нам, когда небо так ясно?... И неужели не любить нам больше... Не любить снова? — Не любить легкомысленно и задумчиво.... с болеющим восторгом никогда не сытой души...

Стыдно, стыдно мне об этом писать тебе теперь.... когда именно пришло время стольким и юным, и старцам, и простым, и знатым готовиться к смерти... За Балканами, на Дунае, или в Критских горах....<sup>4</sup>

Но, если мне не писать о *тех ласточках*... которые все чаще и чаще начинали мелькать вокруг меня, если мне молчать о том

---

<sup>3</sup> В копии М. В. Леонтьевой оставлено место для пропущенного слова.

<sup>4</sup> Абзац перечеркнут карандашом.

незримом хоре страстей, который все теснее и теснее смыкался вокруг меня в те ранние годы мои, и я становился все бессильнее и бессильнее в сопротивлении моем... Если мне молчать об этом, то я должен бросить перо . . . . .

И я его сегодня брошу.... Я не могу продолжать....

Я опять вижу перед собой кисейные занавески... Но другие... *позднее*.... Я вижу и себя уже иным.... Я вижу себя твердым, спокойным в грехе, .... Я вижу еще другого

---

умный человек, и я полагаю, что он весьма для края нашего полезен. —

Мессо я не застал дома, но жене его я описывал борьбу нашу с Ибрагимом и Леси и наше торжество, и говорил в заключение: — «Г. Благов чрезвычайно тонкий дипломат и Россия может гордиться, Госпожа моя, таким деятелем. — Конечно, я еще молод и не берусь решать окончательно подобные вопросы....

— Не угодно ли вам варенья), Г. Одиссей? — отвечала Госпожа Мессо....

У Вроссо я уже утомился немного изображением наших подвигов и говорил о том, с каким блеском мы угощали Бранковича и какой Бранкович образованный человек. —

Вроссо был человек добрый, ласковый и умный; — он был один из самых почтенных и честных архонтов наших. —

Вздыхнув приятно, он сказал: — «Очень я люблю сам благородные и дружеские увеселения!» —

А Madame Вроссо сказала: — «Г. Одиссей, не угодно ли вам варенья!....»

У Несториди я опять возвратился к политике; — говорил о борьбе нашей с Ибрагимом и Леси и сказал:

— Удивительно способный человек Г. Благов; — я полагаю, учитель (не знаю как вы скажете), а я полагаю, что он в высшей степени превосходный деятель и полезен нашему краю. —

Но Несториди возразил:

— Я скажу — себе и своему честолюбию он полезен. — А краю — что от него? — Только компрометирует нас в глазах Турок своей энергией и своими симпатиями. — Скажи, — присоединит он к свободной Греции Эпир и Фессалию, или нет? — Нет; — так какая ж нам от него польза?... Один шум и только. — Понимаешь....



Я не смел возражать и, почтительно вставая, хотел уйти, но Кира Мария, супруга Несториди, вдруг спросила меня, смеясь:

— А что же ты, Одиссей, не сказал нам, как у вас Зельха пляшет... Посмотрела бы и я на эту Зельху, что за вещь она такая... Слышу — Зельха, Зельха....

Я покраснел и отвечал почтительно:

— Точно, Госпожа моя, она пляшет, кажется, весьма порядочно, но я еще слишком молод, чтобы мне вникать в искусство этих *цингистр*. — Недаром я долго был учеником Г. Несториди; — я опасаясь свободных нравов, чтобы не развратить прежде времени своего сердца. —

Кира Мария покачала головой и воскликнула:

— Посмотрите, как он теперь хорошо говорит! —

Что касается до самого Несториди, то он был доволен мной; — чуть видная улыбка осветила его строгое лицо и из-под нависших и густых черных бровей просиял минутный взгляд искренней ласки...

В тот же вечер я пошел к Исаакидесу, чтобы узнать его мнение о поведении Благова и о том, что мне написать отцу теперь, после того как обнаружилось уже нежелание консула продолжать тяжбу. —

Дверь у Исаакидеса отворила мне не служанка, а.... Кольо. — Я удивился немного, но ничего не сказал ему; — а на его лице, в ту минуту как он отпирал мне дверь был написан какой-то странный испуг... Я заметил в потухших и тревожных глазах ту глубокую тоску, которая была мне знакома еще с того дня, когда он вычистил лампу....

На юбке его <в> виде передника был повязан чистый *пестипал*, белый с красными полосами. —

Дорогой Кольо опять начал разговор об Исаакидесе и жене его. —

— Я испугался (сказал он мне с улыбкой) когда ты посту-чал; — думал, что сам Исаакидес вернулся и чтобы он чего-ни-будь на меня не подумал,.... повязал себе пестипал... а потом покаялся, зачем повязал.... да уж снять не успел....

— Что ж ему подумать? — сказал я, пожимая плечами....

— Чтобы не приревновал бедную жену, — отвечал Кольо печально. —

— Ба! — воскликнул я откровенно. — Такой мальчик, горец сельский... как ты... А она — почтенная Кирия, архонтиса...

Лицо Кольо, полное жизни и движения, так внезапно омрачилось при эти словах моих, что я смутился. — Не имея сам ни

малейших помыслов и претензий нравиться таким серьезным дамам и матерям, как Госпожа Исаакидес, почитая подобных женщин издали и от всего сердца моего, — я готов был сказать то же самое и о самом себе, что я сказал Кольо. — Но тут я увидел, что я сказал какую-то неловкость и что Кольо ужасно обиделся, или огорчился....

〈Он только качнул головой〉<sup>1</sup> в знак согласия и сказал:

— Ты прав. —

И мы оба замолчали. — Он стал серьезен и как будто сердит, а я не знал чем поправить свою ошибку, и мы больше в этот вечер друг с другом не говорили: —

Я точно также как и в тот вечер,

---

<sup>1</sup> Зачеркнуто синим карандашом, над словом качнул поставлен вопросительный знак, однако ничем не заменено.

# ВАРИАНТЫ И РАЗНОЧТЕНИЯ

## ОДИССЕЙ ПОЛИХРОНИАДЕС

Текст *РВ*: 1875. № 6. С. 536—605. № 7. С. 199—265. № 8. С. 489—549. 1876. № 1. С. 58—125. № 2. С. 567—625. № 3. С. 107—176. 1877. № 8. С. 815—847. № 10. С. 589—616. № 11. С. 270—317. № 12. С. 512—559. 1878. № 7. С. 410—447. № 8. С. 853—880. № 9. С. 267—302. № 10. С. 542—604. 1882. № 8. С. 699—721.

Полужирным шрифтом обозначаются вставки, сделанные в *ИЖХ* и *СС* (последние вынесены в примечания). Звездочка используется в случае совпадения исправлений в *ИЖХ* и *СС*. Разночтения в отточиях не передаются (напр.: *РВ*. 1876. № 3. С. 148 — 8 точек; ср. с. 418). Случаи явных опечаток также не выносятся в этот раздел. Напр., с. 675, строка 8 — «для парада» — «для порядка».

### С. 8

<sup>5</sup> с <тою> первую женой.\*

<sup>21</sup> в отсутствии<и> мужа.

### С. 9

<sup>34</sup> бояр молдо-<валахских>.\*

### С. 10

<sup>25</sup> на всякую <скучную> работу\*

<sup>35</sup> <теперь> пусть собирается

### С. 11

<sup>18</sup> И не думай ты, что это [«что» восстановлено по *РВ*]

С. 12

- 11 Только далее к Пинду где рослый Куцо-Влах жи-  
вет\*  
18 Эллин афинский<!>  
20 села эллинские<;> богатые\*

С. 14

- 1 село<, > в зеленом уборе  
8 гостеприимного <и> чистого жилища. [восстановлено  
по РВ и ИЖХ]  
30 кликать его<:> «жених».\*

С. 15

- 24 жениться. Приехали [без абзаца]  
25 в ИЖХ: <через> горы

С. 17

- 24 вытерла их <расшитыми полотенцами>.\*

С. 18

- 14 разгневан <переворотами> счастья

С. 19

- 19 ожидал что <и> в Эпире  
23 чего можно было <ждать>?...

С. 20

- 34 в ИЖХ: <через> Дунай

С. 23

- 33 в ИЖХ: Туркам русских продавали<.>  
36, на остров <Тинн>\*

С. 24

- 8 <через> Дунай\*  
11 <через> реку\*  
15 никого <и> не убили  
24 «Кого ж <бы> он послал [восстановлено по РВ и  
ИЖХ]

С. 25

- 28 одна память о бедной жене

С. 26

- 6 — Чтò ж я тебе скажу  
31 учеником <у> налбанта

С. 29

<sup>8</sup> и постель ему ⟨стлала⟩ бы руками своими\*

<sup>9</sup> в доме твоём ⟨постелила⟩!\*

С. 33

<sup>1</sup> капуджи-баши султана ⟨Абдул-Азис-хана⟩, богат как лидийский Крез, а уж ⟨подлец такой⟩ что Хахамопуло ⟨наш пред⟩ ним ⟨Аристидом Справедливым является⟩. Расскажу\*

<sup>6</sup> Отец его ⟨старичок⟩ Стоян, ⟨простой⟩ болгарский мужик из-под Костенджи\*

<sup>8</sup> из коричневой абы. ⟨Как говорится по-болгарски: «Четыре кожи один колпак! Голем-те чорбаджи!»⟩\*

прим. \*«Четыре кожи бараньих — один колпак; большой господин значит!»

<sup>15</sup> не ездят. ⟨При нем дочь замужняя с зятем и внуками уже большими живет.⟩

Сыновей ⟨же⟩ у него двое\*

<sup>19</sup> тиджирета, и ⟨так сказать⟩ бич человечества\*

<sup>31</sup> ⟨поставкой⟩ сена\*

С. 34

<sup>35</sup> не в силах Петраки⟨, сердечный наш⟩. За то\*

С. 35

<sup>21</sup> — Дай ⟨ты мне, Хахамопуло любезный,⟩ сейчас пятьсот лир\*

С. 38

<sup>20</sup> злополучная ⟨этакая⟩!..\*

С. 40

<sup>18</sup> И этому ⟨причиной главной⟩\*

С. 41

прим. *Караканца* ⟨и *Костарас* — капитаны, начальники⟩ повстанцев или грабителей.\* [*В РВ* относится к обоим именам]

С. 42

<sup>3</sup> и айда⟨!⟩ грабить

С. 44

<sup>26</sup> я не знаю⟨;⟩ но добрый\*

С. 46

<sup>4</sup> и видел и <слушал>\*

<sup>31</sup> Слушайте<....> Смотрите!\*<sup>1</sup>

<sup>34</sup> Смотрите и теперь все также.

С. 48

<sup>20</sup> <но> теперь этот центр\*

С. 50

<sup>5</sup> Да<!> Несториди\*

С. 51

<sup>27</sup> и <старинная> дщерь\*

<sup>29</sup> красуясь <в тысячи> зеленых островов\*

С. 54

<sup>21</sup> стояла <пред> ним

С. 55

прим. <Загорье>, между прочим, <славилось>\*

С. 56

<sup>28</sup> собирал пословицы народные наши\*

С. 59

<sup>5</sup> лет двести<,> триста\* [так и в СС]

С. 62

<sup>7</sup> вод<;> все эти

С. 63

<sup>28</sup> по коленам <себе> ударяет.\*

С. 67

<sup>17</sup> человек пять<,> шесть\*

<sup>18</sup> вице-консульства.

Только что\*

<sup>22</sup> Осман! море!\*

С. 68

<sup>18</sup> эффенди мой, извольте<.>

<sup>25</sup> — Да<!> райя; а ты не пиши и не <юнак табааси> и не Османли <табааси>\*

---

<sup>1</sup> В. ИЖХ: Слушайте.... Смотрите,

С. 69

- <sup>8</sup>     ⟨Пред⟩ отъездом  
<sup>12</sup> поручителем ⟨пред⟩ турецким начальством  
<sup>22</sup>     — Больной человек⟨!⟩ сказал он

С. 70

- <sup>16</sup> свой домашний хлеб⟨!⟩»

С. 73

- <sup>11</sup> как ⟨оступился⟩ и падал\*

С. 75

- <sup>9</sup> а очень молодой⟨; не грозный, а веселый и ласковый; и не гордый, а может-быть иногда уже и слишком простой⟩.\*  
<sup>17</sup> ⟨этой⟩ чалмой\*  
<sup>23</sup> ⟨через⟩ плечо\*  
<sup>29</sup> на всех смело ⟨и прямо⟩ глядел.\* **Ростом он был очень высок и ходил очень прямо.**  
Рассматривал я его

С. 76

- <sup>33</sup> отвечал ей **по-гречески: недурно, но с какой-то странной особенностью в произношении:**<sup>2</sup>  
— Форма наша

С. 77

- <sup>2</sup> царская; ⟨—⟩ а сознаюсь\*  
<sup>11</sup> давно уже. ⟨—⟩ Говорить

С. 78

- <sup>8</sup> Но что́ делать. ⟨Лукавая жена, а все жена!...⟩\*  
<sup>28</sup> магический жезл⟨;⟩ сколько раз\*

С. 79

- <sup>30</sup> упомянул почти случайно

С. 80

- <sup>6</sup> в ИЖХ: ⟨Через⟩ неделю  
<sup>30</sup> консул с ⟨тобой⟩\*

---

<sup>2</sup> Вставка в ИЖХ. Было: отвечал ей недурно по гречески



С. 81

- <sup>22</sup> что будешь у меня в доме жить? [Возможно, порядок слов исправлен не Л.]

С. 82

- <sup>15</sup> сановник⟨:⟩ и взглянуть приятно. И собой\*  
<sup>25</sup> и слуги. По возвращении домой было решено, что мы скоро поедем в Янину.<sup>3</sup>  
Тотчас

С. 83

- <sup>5</sup> пригласил к<sup>4</sup> себе на помощь  
<sup>17</sup> ⟨Загорье находилось⟩\*

С. 84

- <sup>35</sup> убил того-то в ⟨том⟩-то селе

С. 85

- <sup>2</sup> в ⟨самих⟩ Загорах\*  
<sup>20</sup> сказал, что ⟨он⟩ через неделю<sup>5</sup>  
<sup>29</sup> Неприятно только было

С. 86

- <sup>13</sup> Это большое благодеяние⟨!⟩\*  
<sup>19</sup> воды и ⟨кофею⟩ напились\*

С. 87

- <sup>8</sup> Как древний ⟨атлет⟩\*

С. 89

- <sup>26</sup> чтò случилось вчера

С. 90

- <sup>4</sup> с сожалением ⟨прибавила⟩  
<sup>25</sup> Яни с вечера ⟨же⟩ ушел\*  
<sup>26</sup> тарелки, ⟨и⟩ блюда, и чашки\*

С. 91

- <sup>23</sup> речь была⟨;⟩ маленькая

---

<sup>3</sup> Вставка в ИЖХ. В РВ здесь не было разделения на главы. В ИЖХ и СС со слова Тотчас начинается вторая часть

<sup>4</sup> Вставка в СС

<sup>5</sup> В ИЖХ: что он чрез неделю; в СС: что через неделю

С. 92

<sup>12</sup> мой доктор⟨,⟩ первый доктор

С. 93

<sup>9</sup> жена его ⟨Аиша⟩\*

С. 94

<sup>14</sup> А я, ⟨вздыхнувши⟩\*

<sup>16</sup> сказала⟨;⟩ с худою\*

С. 95

<sup>21</sup> Но ⟨передавши⟩\*

<sup>27</sup> изыщества, — **это другое дело! Но его разврат, его!**  
«Мой ум

С. 97

<sup>35</sup> турок.

⟨Гайдуша отвечала:⟩

— Хорошо

С. 98

<sup>4</sup> поправился ⟨пред⟩ зеркалом

<sup>16</sup> Это ⟨мученье⟩\*

<sup>37</sup> выдумал еще ⟨что̀⟩!\*

С. 99

<sup>34</sup> для всего міра⟨;⟩ патриотизм\*

С. 100

<sup>7</sup> Вкус⟨.⟩ Абдурраим-эффенди! Вкус!⟨.⟩\*

С. 101

<sup>19</sup> до полусмерти ⟨измучал⟩\*

<sup>28</sup> глазами.

Разделся

С. 103

<sup>6</sup> ⟨Что̀⟩ так?\*

<sup>12</sup> на ⟨что̀⟩ он\*

С. 104

<sup>28</sup> Везде ⟨и⟩ до сих пор\*

С. 105

<sup>24</sup> с любимую ⟨женой⟩\*

С. 107

- <sup>26</sup> в СС: означающим его мужество  
[Исправлено по РВ и ИЖХ]

С. 108

- <sup>6</sup> не скажу, сознаюсь\*  
<sup>9</sup> какова бы она ни была<;>\*

С. 111

- <sup>30</sup> под <твоей> защитой!\*

С. 113

- <sup>23</sup> что-нибудь<, > очень почтительно\*

С. 114

- <sup>31</sup> Вот <что> он\*

С. 115

- <sup>3</sup> Это <что> значит\*  
<sup>30</sup> сидя у нас<;>\*  
<sup>36</sup> — <Аман, аман!> эффенди мой\*

С. 116

- <sup>24</sup> не только <что> сделать.\*

С. 117

- <sup>1</sup> варенье и <кофей>\*  
<sup>14</sup> <Божьей> Матери\*

С. 119

- <sup>23</sup> одежда<, > вместе с особыми  
<sup>30</sup> диван-<эффенди,> Ибрагим-бей\*

С. 120

- <sup>4</sup> не был еще <пашею>  
<sup>14</sup> головку <лука>\*

С. 122

- <sup>7</sup> слугами<, > и я\*  
<sup>14</sup> должность «диван-<эффенди>»\*  
<sup>18</sup> <своей> рукой\*  
<sup>24</sup> <густо> расшитые золотом\*  
<sup>26</sup> в мечетях при <народе>\*

С. 123

<sup>2</sup> в ИЖХ: <чрез> его руки

С. 124

<sup>10</sup> именно отца моего.

<sup>19</sup> бей<,> эффенди мой

<sup>33</sup> над <нашей риторикой>\*

С. 125

<sup>35</sup> Я <и> не задавал себе вопроса\*

С. 126

<sup>18</sup> две<,> три недели\*

С. 127

<sup>19</sup> чиновником Порты<;> таким\*

С. 128

<sup>11</sup> Чувалиди любил<:> — они

С. 129

<sup>24</sup> с <маленькой> бумажкой\*

С. 131

<sup>1</sup> Коэвино (<с которым> я было стал соглашаться с **ним**  
**насчет развратного**\*)

<sup>26</sup> ничто не утаится<...> Мы Эллины!

С. 132

<sup>31</sup> двести лир <подарку>\*

С. 133

<sup>13</sup> прилично <архонтиссе>\*

С. 134

<sup>19</sup> короля <Отона>.\*

С. 135

<sup>3</sup> Франгадесе<;> я при нем<sup>6</sup>

С. 138

<sup>1</sup> С <Русским>?

<sup>4</sup> Скажу тебе<,> и сердце

---

<sup>6</sup> В ИЖХ: Франгадесе, я при нем

<sup>6</sup> в <Цареграде>\*

<sup>14</sup> в ИЖХ и СС: скажу сейчас<: > Приходит

<sup>21</sup> Я говорю<, > вижу

<sup>28</sup> отца нет<: > домик

С. 141

<sup>6</sup> <выскочил> из-за стола\*

<sup>10</sup> святыни. «Вот тебе Христос!» и прыжок напра-  
во. — «Вот тебе Ай-Яни!» и прыжок налево!<sup>7</sup>

Отец

<sup>22</sup> человек <искренно> религиозный

С. 142

<sup>31</sup> по <тяжбленному> делу

С. 143

<sup>8</sup> и подумал<, > потом\*

<sup>34</sup> Принял он отца<, > не мог я и понять хорошо ли\*

С. 144

<sup>6</sup> прибавил <вздохнувши> — Турция!\*

С. 146

<sup>27</sup> к <г.> де-Леси

<sup>37</sup> не успел их <и> рассмотреть.

С. 147

<sup>31</sup> поклона <г-ну> де-Леси

С. 148

<sup>14</sup> и <притом> очень строго\*

С. 149

<sup>12</sup> <Е>сли только\*

<sup>22</sup> И опять: «Хе! хе! хе!»\*

С. 153

<sup>15</sup> некрасива<; > худа\*

С. 154

<sup>17</sup> <спутивши> ноги\*

---

<sup>7</sup> Вставка в ИЖХ. Здесь же прим. авт.

С. 157

- <sup>20</sup> сведения ⟨прекрасные⟩.  
<sup>23</sup> Очень рослый, ⟨плотный⟩  
<sup>25</sup> Глаза его, **черные** большие  
<sup>29</sup> по последней моде.

⟨Говорил он гораздо плавнее, величавее и сообразнее с консульским званием чем Благов, который был иногда уже слишком жив и как бы беспечен в речах, тоне и приемах.

У Бакеева⟩ все движения<sup>8</sup> были тихи и величественны, как у трагического актера, и глядел он в лицо себе-седнику, **мне казалось**, ⟨серioзное и даже⟩ как будто **бы** несравненно лукавее, чем его ⟨с виду слишком веселый и легкомысленный⟩ начальник.

С. 158

- <sup>7</sup> Франгадес⟨,⟩ это  
<sup>11</sup> управляющий. ⟨—⟩ Это село  
<sup>16</sup> Нега́дес⟨,⟩ это тоже

С. 159

- <sup>15</sup> ⟨через⟩ русских\*

С. 160

- <sup>21</sup> — ⟨Чтò⟩ же вы\*

С. 162

- <sup>35</sup> на лай собак ⟨пред⟩ собою

С. 163

- <sup>20</sup> ⟨Абдурраимом⟩-эффенди  
<sup>37</sup> деньги ⟨на⟩ большие и незаконные проценты\*

С. 164

- <sup>30</sup> не может. ⟨Г. Благов возвратясь сделал замечание г. Бакееву за это дело, говоря:

— Вот если бы вы меньше занимались слезами огородников, которые вовсе не так несчастны... То вы бы не забросили тетради Полихрониадеса, которые надо было тотчас же перевести по-русски.

---

<sup>8</sup> В ИЖХ далее вставка: Бакеева

Они даже, рассказывают люди, сильно по этому поводу поспорили.)\* **Это было, положим, очень лестно для отца**

⟨Но⟩ обо всем этом ⟨я узнал, разумеется,⟩ **как я сказал**, гораздо позднее⟨, тогда когда я стал почти своим человеком в Русском консульстве.⟩ ⟨А⟩ теперь\*

С. 166

<sup>11</sup> злая⟨;⟩ не покоряется\*

<sup>32</sup> страну изучает, дух⟨!⟩ Дух!\*

<sup>33</sup> **И Быть** может ⟨он⟩ веселится\*

<sup>35</sup> великолепии⟨.⟩ Какие цветы⟨.⟩ ⟨Что⟩ за ужасные\*

С. 167

<sup>7</sup> Итак ⟨что⟩ же наконец? ⟨Что⟩ же мы\*

С. 168

<sup>24</sup> Ах! Аман! ⟨А⟩ман!\*

С. 169

<sup>21</sup> — О! ⟨О⟩!\*

С. 170

<sup>32</sup> обычаев⟨.⟩ Пусть наш\*

С. 173

<sup>2</sup> стоя ⟨пред⟩ ним

С. 174

<sup>19</sup> моя кириакица [*исправлено на Кириакица по с. 493*]

С. 175

<sup>22</sup> молодых ⟨архонтисс⟩\*

С. 176

прим. *Парамана⟨,⟩ вместо матери, нянька, кормилица⟨;⟩  
экономка*

С. 177

<sup>22</sup> — ⟨Что⟩ ж сделал\*

С. 178

<sup>28</sup> Ты вынимал⟨;⟩ давал\*

<sup>32</sup> еще⟨: —⟩ дай мне

С. 179

<sup>9</sup> между усами⟨;⟩ — за все\*

С. 182

<sup>16</sup> молодых ⟨архонтисс⟩\*

С. 183

<sup>7</sup> ⟨Божьей⟩ Матери\*

С. 187

<sup>4—5</sup> не было разделения на главы

С. 188

<sup>5</sup> раскаянию⟨;⟩ верил\*

С. 190

<sup>20</sup> голову врага своего ⟨кардинала⟩, в это

<sup>31</sup> золото ⟨пред⟩ беем

С. 191

<sup>18</sup> десятка два⟨,⟩ три\*

С. 192

<sup>3</sup> (князья! тихо)

<sup>4</sup> (Герцоги! погромче)

<sup>5</sup> (Графы! еще

<sup>7</sup> (Виконты

С. 194

<sup>34</sup> в ИЖХ: чиновников их!»

С. 195

<sup>11</sup> вопросом⟨;⟩ что

С. 198

<sup>2</sup> и не выла ⟨бы⟩ много. [восстановлено по РВ и ИЖХ]

С. 199

<sup>2</sup> с сыном⟨;⟩ отведите\*

<sup>9</sup> ⟨Через⟩ час\*

<sup>25</sup> с ⟨Феим⟩-беем\* [так в РВ на с 518—523; ср. с. 199—203 наст. изд.]

<sup>35</sup> чиновников⟨;⟩ а для\*



С. 200

- <sup>10</sup> эффенди мой⟨?⟩ Или\*  
<sup>19</sup> с Россиею⟨;⟩ а для своих\*  
<sup>31</sup> всех⟨;⟩ а теперь\*

С. 201

- <sup>37</sup> ⟨а⟩ нашему доброму [опечатка?]

С. 203

- <sup>13</sup> Скажите откровенно⟨?⟩

С. 204

- <sup>35</sup> его превосходительства⟨,⟩ Рауф-паши...

С. 205

- <sup>7</sup> ⟨через⟩ меру\*

С. 207

- <sup>33</sup> предан кутежу⟨;⟩ но очень

С. 208

- <sup>3</sup> Коэвино⟨;⟩ многие\*  
прим. Мягкая⟨,⟩ красная

С. 210

- <sup>28</sup> ⟨Чтò⟩ теперь делать? ⟨что⟩ предпринять\*

С. 212

- <sup>7</sup> ⟨Чтò⟩ ему\*  
<sup>16</sup> ⟨Чтò⟩ кому\*  
<sup>18</sup> в жилище кади⟨;⟩ ты увидишь\*  
<sup>23</sup> чашечки для ⟨кофея⟩\*  
<sup>32</sup> Но тебе ⟨что⟩\*

С. 213

- <sup>4</sup> друг ⟨пред⟩ другом\*  
<sup>7</sup> ⟨что⟩ делают\*  
<sup>32</sup> у них вместе⟨!⟩\*

С. 214

- <sup>15</sup> «⟨Чтò⟩ ж делать\*  
<sup>19</sup> ⟨чтоб⟩ я мог  
<sup>20</sup> Никогда⟨!⟩»\*  
<sup>21</sup> ⟨Чтò⟩ было делать\*

С. 216

<sup>33</sup> с большими поклонами (Ибрагим)-эффенди.

С. 217

<sup>23</sup> А та критская

<sup>32— 33</sup> без абзаца

С. 218

<sup>2</sup> «Не могу на (стул) я при таких султаншах (сесть)».

<sup>4</sup> (кофею) дать.\*

<sup>16</sup> «ба́к! ба́к» Смотри

С. 219

<sup>17</sup> хвалят(. «Тюрю, тюрю белир») говорят. ((*Разное ~ женщина!*))\*

С. 220

<sup>10</sup> на (Рауф)-бея

С. 221

<sup>33</sup> в испуге (поскакали)

С. 222

<sup>22</sup> пред толпою разнородною (и) разнородною.\*

С. 223

<sup>11</sup> поутру (вставши)\*

С. 224

<sup>2</sup> турками (и) за то\*

<sup>19</sup> тон и (выражения) лица

С. 225

<sup>5</sup> уверяю вас, (это) сад\*

<sup>22</sup> принимал их всех (рано) и просто\*

С. 226

<sup>12</sup> глаза только (были живые), большие, (пресмелые), черные-пречерные.

В ИЖХ: глаза только (были) большие, смелые, черные-пречерные.

С. 229

<sup>30</sup> между (ею) и грабителем

С. 231

- <sup>7</sup> мощный <плитами>  
<sup>9</sup> которую мне <назначали>  
<sup>22</sup> прибавлял: «<И> от\*

С. 233

- <sup>30</sup> <Чтò> же тебе\*

С. 237

- <sup>10</sup> его чистота<;> большие  
<sup>23</sup> отрывок из <Омира> [восстановлено по РВ и ИЖХ;  
в СС: Гомера]  
<sup>33</sup> эти у <Омира> [то же]

С. 238

- <sup>5</sup> или Армянин<!..>

С. 241

- <sup>23</sup> всегда <поддержает за щеку>\*  
<sup>27</sup> из степи <ветр>\*

С. 242

- <sup>14</sup> прямо <рукою>\*

С. 244

- <sup>5</sup> одно хорошо<;> остальное\*  
<sup>26</sup> садовника<.> И теперь\*

С. 245

- <sup>8</sup> вижу пред <собой>\*

С. 246

- <sup>25</sup> особенно Несториди <наш>, когда\*

С. 247

- <sup>23</sup> ты <этакой>?

С. 249

- <sup>25</sup> Если б <он> не упомянул [восстановлено по РВ и  
ИЖХ]

С. 250

- <sup>25</sup> <Чрез> месяц

С. 251

- <sup>16</sup> и <ваш> эллинский консул...\*

С. 253

<sup>13</sup> шутовство⟨...⟩ разврат\*

<sup>31</sup> И ⟨что⟩ ты\*

С. 254

<sup>14</sup> с ума сошел⟨...⟩»\*

прим. возглас⟨:⟩ в роде\*

С. 255

<sup>20</sup> не успел ⟨перебежать⟩ нашу улицу\*

<sup>27</sup> ⟨Что⟩ такое?\*

С. 256

<sup>2</sup> и другие ⟨такого⟩ рода вещи\*

<sup>10</sup> Ах! ⟨Н)ет\*

С. 257

<sup>12</sup> попытать счастье ⟨и⟩ воспользоваться [восстановлено по РВ и ИЖХ]

<sup>18</sup> — Эффенди! ⟨Э⟩ффенди!\*

<sup>21</sup> что у нас есть... ⟨Все⟩ возьми!..\*<sup>9</sup>

С. 259

<sup>35</sup> И ⟨что⟩ же\*

С. 261

<sup>14</sup> вашей⟨,⟩ Смотрите

<sup>16</sup> ⟨Когда⟩ и вас съест

С. 262

<sup>8</sup> — Ни за ⟨что⟩\*

<sup>19</sup> ⟨Через⟩ неделю\*

<sup>26</sup> шут маскарадный⟨?⟩»\*

С. 263

<sup>7</sup> ⟨Что⟩ меня\*

<sup>16</sup> Вот я ⟨что⟩\*

С. 264

<sup>9</sup> с теми, ⟨которые⟩\*

<sup>16</sup> «О! Средние Века! О! bravo! Средние Века!\*

<sup>22</sup> О! ⟨что⟩\*

<sup>24</sup> с радостью\*

---

<sup>9</sup> В ИЖХ: ⟨все⟩ возьми

С. 265

- 14 в канцелярию\*  
29 полным <триумфом>.\*  
35 который <и> в Порте

С. 266

- 2 в ИЖХ: смелостью и гордостью

С. 267

- 16 <Чтò> такое? <Чтò>\*  
20 «<чтò> мне\*  
31 <Чтò> с ней! <Чтò>\*

С. 268

- 17 не пренебрегая полудикою родиной <своей>\*  
26 но <чтò> ж\*  
30 по долгу просиживал<;>\*  
32 своих больных<,)> <Коевино>\*

С. 269

- 13 глубоко тоску<я>....\*

С. 270

- 11 явился щеголем одетый и довольный <изобретатель-  
ностью>\*  
20 в стенной <шкаф>\*  
21 к <шкафу>\*  
23 со <шляпой> круглой\*

С. 273

- 17 <мужичкой> мецовской\*

С. 274

- 12 ее тут <встретить>\*  
28 за <чтò> ты\*

С. 275

- 26 пять<,)> десять\*  
31 восемнадцать лет

С. 276

- 3 <чтò> говорить!»\*

<sup>10</sup> был посрамлен...

Полагая, что Корбет де-Леси (особенно в политическом смысле) близок к Порте и что дружба с ним епископа послужит на пользу общую и отвратит вечные подозрения в руссофильстве, владыка искал подружиться со старым причудником; но Леси ему не верил и, между прочим, однажды вот что сделал с ним. В нашем доме, который нанимал английский консул, была небольшая и прекрасная турецкая баня (в Эпире это встречается гораздо реже, чем в восточных областях Турции; у нас народ турецких бань не любит и думает, что миро святое от них выходит из тела). Однажды святой\* Янинский жаловался, что здесь нет таких хороших бань, как в Царьграде и Адрианополе; Леси велел истопить свою, приказал нарочно нанять двух баньщиков, ловких ребят, и пригласил митрополита. Митрополит с радостью поехал и вымылся; но в ту минуту, когда лежа в предбаннике на хорошей постеле, весь укутанный и с чубуком в руке, он собирался насладиться в мире этою<sup>10</sup> земною радостью, вдруг двери растворились, и предстал смеясь сам красный, выбритый и седой Корбет де-Леси; а за ним стояли гг. Благов, Бакеев, Бостанджи-Оглу и английский драгоман, очень злой и насмешливый человек. Что хотел этим доказать капризный старик? Не хотел ли он унижить епископа или доказать Благову, что митрополит англофил и больше ему друг, чем Благову? Как бы то ни было, Благов вышел из этого, по обыкновению, хорошо; он поцеловал руку у владыки, сел около него на ложе и начал говорить с ним и расхваливать турецкие бани, потом сам поправил ему одеяла<sup>11</sup> на ногах и с поспешностью принял из рук его чубук, не дав<sup>12</sup> времени прислужнику взять его, когда владыка сделал одно лишь движение...

---

\* Так называются архиереи и митрополиты на Востоке.

<sup>10</sup> в РВ: этой

<sup>11</sup> в РВ: одеяния его

<sup>12</sup> в РВ: не давши

Корбет де-Леси надоело стоять в жару, и он вышел; тогда, взглянув значительно на его спину, владыка простер руки к Благову и умильно прошептал: «Сын мой! Чтò делать!.. Знаешь!» «Знаю, знаю!» — сказал Благов, опять поцеловал его десницу и вышел.

И опять это все тотчас же разнеслось по городу; друзья архиерея хвалили его тонкую дипломатию, враги пожимали плечами и восклицали: «Этот человек не уважает своего сана... Если б я был патриарх, я бы его баньщиком в наказание в Царьграде сделал. В былые времена так делали с монахами виновными...» [фрагмент, зачеркнутый в 1889 г.]

С. 279

- 12 от попа <Кòста>
- 23 но <вставши>\*
- 28 бежит домой<;> турчонок\*

С. 280

- 2 на двор попа <Кòста>.

С. 281

- 5 мое положение<...>>
- 12 и в этот день
- 13 думал <как> бы еще\*
- 23 «<Чтò> архонты?»\*
- 25 И <через> неделю\*

С. 282

- 7 <середой> одною\*
- 15 спросить ее «чтò ей(?)»\*<sup>13</sup>
- 25 держит <одной> рукой\*
- 26 и <закрывши> глаза\*
- 32 <Чтò> мы\*
- 34 <Выпивши> она\*

С. 283

- 15 Увы мне! <У>вы мне!\*
- 24 <В>дова разве\*

---

<sup>13</sup> в ИЖХ: спросить: «чтò; в СС вставка

С. 285

<sup>25</sup> с ⟨этой⟩ бедною\*

<sup>26</sup> такие ⟨брадатые⟩

<sup>35</sup> ум мой светлел

С. 286

<sup>4</sup> стоял ⟨пред⟩ Бостанджи-Оглу

<sup>7</sup> чтоб я ⟨шаг⟩ впереди ⟨пред⟩ тобой, как ⟨пред⟩ консу-  
лом

<sup>8</sup> или ⟨пред⟩ первым драгоманом

С. 287

<sup>17</sup> ⟨чрез⟩ широкий двор.

<sup>29</sup> увидал я ⟨пред⟩ собою

С. 288

<sup>2</sup> ⟨Чтò⟩ было\*

С. 289

<sup>3</sup> все мы⟨;⟩\*

С. 296

<sup>8</sup> благоухающею ⟨рукой⟩ своей\*

<sup>12</sup> в ИЖХ: Как отмстить

С. 297

<sup>24</sup> расступились ⟨пред⟩ ним.

С. 302

<sup>7</sup> оскорбители, софта\*

С. 307

<sup>2</sup> несмотря на страдания сердца\*<sup>14</sup>

<sup>12</sup> как мать ее умерла\*

<sup>18</sup> она вот ⟨чтò⟩\*

С. 308

<sup>1</sup> закачала ⟨головкой⟩

<sup>11</sup> ⟨А⟩ чтò за муж!\*

<sup>24</sup> ⟨чтò⟩ понравилось

С. 309

<sup>7</sup> в самый ⟨день Рождества⟩\*

<sup>30</sup> Греции⟨:⟩ они\*

---

<sup>14</sup> в ИЖХ: страдание сердца



С. 311

<sup>23</sup> дивиться. <Ч>ем любоваться. <Ч>тò изучать.\*

С. 312

<sup>16</sup> еще изумительнее <и> циновки, и потолка\*

С. 314

<sup>24</sup> икона Спасителя<;>\*

С. 318

<sup>19</sup> стол <пред> диваном

С. 319

<sup>3</sup> <пред> столом

<sup>5</sup> <пред> нею

<sup>24</sup> И стал он <пред> моими

С. 320

<sup>15</sup> идеал<, > обворожительный и лживый\*

С. 325

<sup>1</sup> в ИЖХ: я думаю то же <что> было

С. 326

<sup>8</sup> <что> в двадцать пять...\*

С. 327

<sup>30</sup> Г. Бакеев <хотел> видно показать\*

С. 329

<sup>17</sup> за то что **тот** поздно

С. 330

<sup>3</sup> <пред> этим

<sup>6</sup> церковь Св. <Николая>\*

С. 331

<sup>19</sup> жестоко <отмщены>...

С. 333

<sup>6</sup> <Что> за вещь такая? <Трапа-трапа! Трапа-трапа!>  
Всю ночь!..\*

<sup>36</sup> несмотря на <то всенощное «трапа-трапа», которого>  
ужаснулся\*

С. 335

- 22 кривой ⟨и⟩ ленивый и лжец\*  
24 любил, — ⟨тот⟩ был в русской суконной одежде\*  
26 консул⟨,⟩ в белом\*  
28 бестолковый⟨,⟩ без галунов\*  
29 в албанской одежде, ⟨но⟩ чистой, белой\*  
32 взволнованный⟨,⟩ не проснулся ли\*

С. 336

- 10 нечего, и которого держал

С. 337

- 10 ⟨ребеночек⟩ маленький  
29 я тебе вот ⟨что⟩\*

С. 338

- 14 пришли ⟨поздравить⟩ Благова

С. 339

- 16 — Так ⟨что⟩ ж?\*
- 18 много ли⟨?⟩\*

С. 340

- 14 На ⟨что⟩ мне\*

С. 341

- 22 спросить когда ⟨принимает⟩.\*<sup>15</sup>

С. 345

- 17 Тепло⟨-⟩тепло!

С. 347

- 19 «Официально\*  
25 столицы земного шара, ⟨ни французской администра-  
ции,⟩ ни французских префектов.\*  
36 позволило себе\*

С. 348

- 4 какой-нибудь ⟨академический⟩ словарь\*  
34 такого рода⟨.⟩ Охота.\* Лес

С. 349

- 21 Разве изредка⟨,⟩ изредка\*

---

<sup>15</sup> В ИЖХ: спросить когда принимают; в СС: спросил, когда принимают

С. 350

<sup>28</sup> не спросясь у представителя [исправлено по РВ; в ИЖХ и СС: председателя]

С. 351

<sup>36</sup> схватились **бы** при нем и растерзали **бы**<sup>16</sup> друг друга

С. 353

<sup>22</sup> положение Леси(?)

С. 359

<sup>13</sup> «Г. консул⟨, —⟩ С удивлением<sup>16</sup>

С. 360

<sup>32</sup> велики⟨:⟩ вопрос

С. 361

<sup>35</sup> не решался. ⟨К⟩онсул\*

<sup>36</sup> «Напрасно! ⟨Н⟩апрасно!»\*

С. 365

<sup>17</sup> ⟨пред⟩ лестницей\*

С. 366

<sup>4</sup> Что это грамматическая ошибка⟨.⟩\*

С. 368

<sup>20</sup> ⟨Живши⟩ долго\*

С. 369

<sup>18</sup> в ИЖХ: а с другой ⟨—⟩ приходится

С. 372

<sup>4</sup> сидеть ⟨пред⟩ *стоящим* консулом).  
⟨Благов старался оживить его.⟩  
— Чтò нового

С. 373

<sup>4</sup> ⟨что̀⟩ такое\*

С. 376

<sup>12</sup> откидываясь на спинку своего ⟨стула⟩, воскликнул  
<sup>36</sup> *прозѣлитос\**

---

<sup>16</sup> Вставка в СС

<sup>17</sup> в ИЖХ: с удивлением

С. 377

<sup>10</sup> юродивого с ⟨секирой⟩\*

С. 380

<sup>30</sup> к тебе приравнял⟨. Это⟩ было бы

С. 384

<sup>4</sup> не легко. Зельха\*

<sup>15</sup> взяла ⟨конфету⟩\*

С. 386

<sup>25</sup> ⟨Г.⟩ Благов оставил\*

С. 389

<sup>3</sup> ⟨что⟩ скажет\*

С. 390

<sup>14</sup> ⟨Что⟩ за вещь?\*

<sup>21</sup> ⟨Что⟩ скажете\*

С. 391

<sup>18</sup> трепетали мы все⟨,⟩<sup>18</sup> **просятя в кавассы** обедневшие  
дети

<sup>25</sup> **могил... А к Бунину просятя!!**

С. 396

<sup>2</sup> скажу вот ⟨что⟩.\*

С. 397

<sup>6</sup> — Радуюсь⟨;⟩ душевно радуюсь!\*

С. 399

<sup>9</sup> от уроков⟨.⟩ За деньги

С. 400

<sup>10</sup> без ⟨волненья⟩\*

С. 402

<sup>6</sup> все ⟨свершится⟩

<sup>9</sup> вот все ⟨свершается⟩!

С. 404

<sup>24</sup> О! ⟨Д⟩ети\*

---

<sup>18</sup> в ИЖХ: ?..

С. 405

- 12 <Е>сть Гордиевы узлы  
20 из-за гор\*  
21 <вслед> за представителями\*

С. 406

- 2 за <своей> дверью.\*  
3 Зачем это<?>!..\*  
18 <и дошел> бы пешком\*  
23 была хороша<, > видел

С. 407

- 13 и помчали <их>\*  
14 Ставри в золоте на козлы вспорхнул\*  
15 <помчались> вскачь\*  
30 доброты. <Я был сам для такого стола еще слишком зелен.><sup>19</sup>

С. 408

- 34 Кольйо сел <и> спрашивал\*

С. 410

- 15 ангелом доброты. <У него точно в этот день случился свой> триумф\*  
16 он <свершал> также свой подвиг.\*  
25 низкого <пред> властями

С. 411

- 2 есть ли у него мозг<.>\*  
4 вынес в это утро<!>\*  
18 — Иду<!> мой осел!

С. 412

- 37 обращаться так со <мною>\*

С. 414

- 1 тебе... <Т>олько\*  
15 был не русский<!>\*  
33 все <одной> и тою же рукой\*

С. 415

- 10 А еще вот <что>.\*  
11 за <что>\*

---

<sup>19</sup> Зачеркнуто в 1889 г. в авторском экземпляре

- 16 жалею〈. А〉 слушать\*  
23 писать будешь〈!〉...\*  
24 хвалить буду〈!〉...\*

С. 416

- 1 над врагами **его и** гонителями!  
12 〈пред〉 нами шел  
21 делать〈. Я〉 шел\*

С. 417

- 16 пошли не 〈спеша〉 вперед.\*  
20 не одни брови〈:〉 все лицо\*  
29 в ИЖХ: утешал себя мыслию  
34 хорошо〈,〉 слава Богу.  
35 стоял 〈пред〉 нами

С. 418

- 17 — Не знаешь〈!〉  
30 отступив немного, 〈положил руку за кушак около〉  
ножа.\*

С. 420

- 7 потом, понимаешь〈?〉 о перчатках...\*  
15 года делают свое; **она стала постарше**».  
17 какую пару выбрать〈:〉 палевую\*  
23 〈через〉 час  
25 — 〈Эвет〉, эффенди\*

С. 421

- 1 Эйсмé 〈—〉 с другою партией\*  
11 бедно, 〈—〉 в ситцах\*

С. 422

- 24 〈через〉 какую-то незримую  
29 тамбурин 〈старух〉\*  
36 моей травки...»

С. 425

- 21 чтобы 〈сохранялись〉

С. 426

- 30 Назли〈: «Ч〉то я\*

С. 429

<sup>27</sup> на Юг и Восток.\*

С. 431

<sup>19</sup> будем брать ⟨подать⟩!

<sup>24</sup> в воздухе он значительно

С. 432

<sup>2</sup> слишком ⟨сседающим⟩ образом.\*

<sup>10</sup> будет? ⟨о⟩бе\*

<sup>25</sup> Я скажу даже, более всех других держав\*<sup>20</sup>

<sup>26</sup> Запада, *только* Австрия и Россия

С. 433

<sup>10</sup> стаканы ⟨звонили⟩

<sup>13</sup> Господин Благов ⟨увидал⟩ меня

<sup>26</sup> за другой Эисме\*

С. 435

<sup>4</sup> в XIX веке: только

<sup>5</sup> среди мрака ⟨и⟩ Средних Веков\*

<sup>8</sup> в Дамаске, Горане и других местностях Сирии! Здесь

<sup>18</sup> ⟨Упомянута была⟩ опять и ⟨история⟩ казни

<sup>28</sup> видя его ⟨одр⟩.\*

С. 436

<sup>8</sup> высоко ⟨пред⟩ лицом

<sup>9</sup> посмотрел на свое имя.

<sup>9</sup> ясно⟨,⟩ Одиссей\*

<sup>31</sup> он вот ⟨что⟩\*

С. 437

<sup>23</sup> подозвал меня ⟨в полголоса⟩ и тихонько приказал\*

<sup>33</sup> этого сына ⟨Аисме⟩<sup>21</sup>

С. 441

<sup>3</sup> всех лучше, Одиссей!..<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> В ИЖХ: даже более, из всех других держав

<sup>21</sup> В ИЖХ: Аисми

<sup>22</sup> Вставка отточия — в СС

С. 443

<sup>2</sup> Он таинственно отозвал **меня**<sup>23</sup> в сторону  
<sup>37</sup> ты-то именно что у нас называется *чурис*<sup>24</sup>

С. 444

прим. городской⟨,⟩ Янинский\*

С. 445

<sup>9</sup> опять ⟨звонили⟩ стаканы...  
<sup>16</sup> улыбки⟨;⟩ а Бакеев  
<sup>26</sup> другое разделение⟨,⟩ например\*

С. 446

<sup>12</sup> смотрит человек на волосы, когда они падая остаются у  
него между ⟨пальцами⟩, которыми он  
в СС: падают отовсюду  
<sup>32</sup> старался ⟨объяснять⟩

С. 447

<sup>25</sup> я только *теперь* понимаю... ⟨и помню твердо что⟩ я  
*тогда*\*  
<sup>28</sup> устала ли она⟨?⟩

С. 448

<sup>10</sup> говорить яснее ⟨и грубее⟩, и спросил\*

С. 453

<sup>23</sup> на досуге в ⟨веселых⟩ Афинах

С. 455

<sup>6</sup> турецкий *ниман*  
<sup>12</sup> к этим *ниманам*<sup>25</sup>

С. 457

<sup>1</sup> И из-за чего? ⟨из⟩-за чего?

С. 463

<sup>29</sup> думал и Кольо всегда в подобных **же** случаях.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Вставка в СС

<sup>24</sup> В ИЖХ без дефиса

<sup>25</sup> Л. обвел чернилами карандашные исправления М. К. Ону

<sup>26</sup> Вставки карандашом



С. 465

<sup>8</sup> свое отчаяние⟨...⟩ свой стыд

С. 467

<sup>10</sup> подавать не приказывал⟨...⟩

<sup>27</sup> Разве ритор⟨, ритор⟩ — дурное слово?..

С. 469

<sup>26</sup> Ах! Вах! **(Ай! Вай!)** —<sup>27</sup>

С. 470

<sup>20</sup> поутру⟨:⟩ а вечером

С. 472

<sup>20</sup> опорой семье⟨...⟩

С. 473

<sup>4</sup> просто алкал⟨...⟩

<sup>23</sup> сказать: Очень хорошо! ⟨прекрасно! благодарю!⟩

<sup>24</sup> еще более желать⟨...⟩

С. 474

<sup>9</sup> вмешательство **в дела**,<sup>28</sup> прямое или косвенное

С. 477

<sup>12</sup> нашли ⟨серебряную рукоятку⟩ от ножа

С. 478

<sup>26</sup> по нужде и обычаю⟨....⟩

<sup>28</sup> здравомыслящем, ⟨хотя бы и не умном;⟩ и селяне

<sup>32</sup> стыдом для правильной власти⟨...⟩

<sup>36</sup> принял в начале их сторону⟨....⟩

С. 480

<sup>3</sup> Ту-ту-ту-ту!⟨... Айда...⟩ ту-ту-ту — туда⟨...⟩

<sup>22</sup> так жестоко⟨...⟩

<sup>26</sup> ножны ятагана, ⟨затерянного⟩ второпях

С. 483

<sup>4</sup> Благов его продолжал предпочитать всем

<sup>17</sup> plus haut degrés в авторском экземпляре с зачеркнуто

<sup>33</sup> кровожадности... ⟨О!...⟩

---

<sup>27</sup> Предложено Л. как вариант; см. с. 844

<sup>28</sup> Вставка на полях

С. 484

<sup>5</sup> в Европе напрасны⟨...⟩ Это истлевающая нация!⟨...⟩

<sup>9</sup> в самом деле ужасен.⟨...⟩

<sup>12</sup> все с тем же ⟨сияющим⟩ победоносным лицом.

С. 487

<sup>34</sup> живя в доме... ⟨мы говорили...⟩ Мы тоже

С. 488

<sup>прим.</sup> в СС: вместо ⟨ком⟩патриот

<sup>16</sup> вода не та⟨...⟩

<sup>17</sup> очень нужны⟨...⟩

С. 490

<sup>4</sup> сам не хотел до сих пор быть ужаснее Бреше

<sup>7</sup> пред настоящим Царским орлом!...

С. 491

<sup>7</sup> надеется на дружбу.⟨...⟩

<sup>18</sup> подданных⟨...⟩ И прибавил

<sup>22</sup> слишком правильно вел себя.

С. 492

<sup>11</sup> подумать о его тяжбе с Шериф-беем и заняться ею....

<sup>13</sup> Подумать и заняться...

С. 493

<sup>18</sup> зовется дамаско

<sup>30</sup> веселый и простой⟨...⟩

<sup>35</sup> поживее ⟨(у меня на это есть особые причины)⟩.

С. 494

<sup>16</sup> разные вещи⟨...⟩

С. 495

<sup>23</sup> когда еще ее выпускали

С. 496

<sup>11</sup> Вот тебе восемьсот пятьдесят⟨...⟩

<sup>14</sup> вздохнул и обвенчался⟨...⟩

<sup>20</sup> из женившихся охотно⟨, и даже как бывает в других местах, по страсти (у нас же ни в Янине, ни в Загорах по страсти никто еще никогда не женился)⟩.

<sup>34</sup> Исаакидес⟨:⟩ почтенная

С. 497

<sup>26</sup> Хвалит ⟨афинскую⟩ мостовую; **порицает нашу.**

С. 499

<sup>4</sup> от хозяйки⟨...⟩ Или  
<sup>34</sup> язык его ⟨хорош⟩

С. 502

<sup>2</sup> в отъезде.⟨...⟩ Я хочу угодить консулу.⟨...⟩  
<sup>13</sup> чрез это дело.⟨...⟩  
<sup>15</sup> энергического консула.⟨...⟩  
<sup>19</sup> больше тысячи лир золотых.⟨...⟩  
<sup>20</sup> пьяница и расточитель.⟨...⟩  
<sup>30</sup> сыне мой.⟨...⟩ Надо спешить.⟨...⟩  
<sup>32</sup> послезавтра свадьба⟨...⟩

С. 503

<sup>5</sup> вместо денег⟨....⟩ когда бей вынужден будет про-  
дать.⟨...⟩  
<sup>7</sup> Меняются обстоятельства.⟨...⟩  
<sup>22</sup> могу?⟨...⟩ ⟨в⟩ мои года

С. 505

<sup>20</sup> Л. вставил черту после строки 20  
<sup>36</sup> юридического быта в Турции⟨...⟩

С. 506

<sup>18</sup> В политику уже ⟨входить...⟩  
<sup>20</sup> И если еще⟨...⟩ собственность

С. 507

<sup>5</sup> «⟨Текущу богатству⟩ не прилагайте сердца...»  
<sup>21—22</sup> не было разделения на главы

С. 508

<sup>2</sup> (которые были все-таки еще довольно велики ⟨пока⟩)  
<sup>28</sup> дороги именно потому что были редкостью в Турке

С. 510

<sup>10</sup> бахчишь в пять пиастров

С. 512

<sup>30</sup> мысль о господстве России

<sup>34</sup> легким влиянием раки

С. 513

<sup>16</sup> о желтом быке Сары-Окюс

С. 515

<sup>8</sup> человека старого очага

<sup>32</sup> с 〈необыкновенным〉 достоинством притворяться

С. 517

<sup>25</sup> тяжбу в тиджарете

<sup>28</sup> круга нашей деятельности〈...〉

С. 518

<sup>8</sup> Значит — не все нечисто...

<sup>31</sup> грязное дело!...» 〈так〉 что я

С. 520

<sup>7</sup> А почему она убежала

С. 525

<sup>34</sup> наверное 〈(как узнал я позднее)〉

С. 526

<sup>11</sup> «А почему, этого не могу

<sup>15</sup> и этому Исаакидесу

<sup>16</sup> Табачница Шерифа

<sup>19</sup> пером этого.... да! этого самого Исаакидеса

С. 527

<sup>5</sup> моего загорского, купеческого

С. 528

<sup>13</sup> Юлию (дочь 〈герцога, «конта»!))

<sup>20</sup> 〈и〉 ставни решетчатые

С. 529

<sup>15</sup> Вся махала голову потеряла.

С. 530

<sup>13</sup> Али-пашей Янинским

С. 536

<sup>20</sup> теперь не был <...> <с>корее

С. 537

<sup>1</sup> светлые облака<...>

<sup>9</sup> очень свежи)<...>

<sup>10</sup> лучше пахло<...>

С. 539

<sup>1</sup> Так длилось долго.<...>

С. 540

<sup>24</sup> он сам теперь думает

С. 541

<sup>5</sup> в Паша-капусí.

<sup>27</sup> глупенькие вопросы.<...>

С. 542

<sup>10</sup> подожди»<:)> и стал

<sup>14</sup> две недели срока.<...>

<sup>15</sup> спрашиваю: <Комода> нет

<sup>25</sup> твой отец<?> скажи мне мой<...> Эрот<.>

С. 545

<sup>31</sup> наконец повешен<...>

<sup>34</sup> в деле с Шерифом<...>

С. 546

<sup>9</sup> после и позднее<...> когда-нибудь

<sup>11</sup> христианские сердца?<..>

С. 547

<sup>17</sup> говорят: Чтò делать! Нельзя во всем Грекам перечить.<...>

<sup>18</sup> против Русских идти.<...>

<sup>30</sup> таинственный значок<...>

С. 548

<sup>24</sup> мою радость<...>

<sup>26</sup> близко от меня<...>

<sup>29</sup> <м>олодец Благов!..»

С. 551

<sup>34</sup> старую шляпой в руке<...>

С. 552

<sup>20</sup> на поклон.⟨...⟩

С. 555

<sup>4</sup> ⟨притворно⟩ спросил Благов.

<sup>6</sup> сказал ⟨спокойно и даже печально⟩ консул.

<sup>34</sup> каким это *именно* человеком

С. 556

<sup>9</sup> Теперь кира-Параскева

<sup>22</sup> сыновние чувства мои⟨...⟩ так я

<sup>25</sup> страх не *хороший*, а дурной

<sup>27</sup> надоели мне⟨...⟩ опротивели!⟨..⟩

С. 557

<sup>18</sup> тоже не любит⟨...⟩

<sup>20</sup> судьбой обласканного⟨...⟩

<sup>23</sup> руссофилу Полихрониадесу⟨...⟩

<sup>24</sup> колокол этот⟨...⟩ Слава имени православного⟨...⟩

<sup>27</sup> ⟨и⟩ насколько?...

С. 558

<sup>6</sup> и «не женщиной»!⟨...⟩

<sup>10</sup> тонкое, европейское⟨...⟩

С. 559

<sup>7</sup> я *тогда* не нашел

<sup>16</sup> смотрите все: мы

С. 560

<sup>13</sup> ударяя ⟨звонко⟩ рукой

С. 561

<sup>11</sup> в строке подчеркнуто 4 первых слова, рядом вопросительный знак; слева на полях вопросительные знаки и: *Quie ma aime? Qui ai amie...*

<sup>15</sup> *Raff! C'est mon cheval qu'on apprette* зачеркнуты вторые *f* и *p* [*то же на с. 591*]

<sup>21</sup> *То же*

<sup>29</sup> *То же*

С. 563

- 24 На *гетер*, на театры, на огромные бахчиши  
26 угождали ему.⟨...⟩  
36 эти благородные Русские

С. 564

- 3 Коевино⟨...⟩ на балконе  
4 уступая Благову.⟨...⟩  
7 свою супругу⟨...⟩  
10 зовет *отвратительною вещью*  
11 своею порочностью.⟨...⟩

С. 565

- 21 или Невы⟨.⟩  
23 ⟨в⟩от вопрос⟨.⟩  
29 на голову свою.⟨...⟩  
31 всякому нужен⟨...⟩

С. 566

- 1 чубуки и кофе⟨:⟩ а богатый  
11 тогдашние интересы⟨...⟩

С. 567

- 24 я не один **был** тому виной....

С. 568

- 8 со стороны Благова опасность⟨...⟩

С. 569

- 3 мимоходом **у нас в Загорах**, в веселую минуту  
15 вокруг меня⟨...⟩ И разве дурно все это вместе⟨?⟩  
⟨К⟩ривой повар  
16 и в ⟨моей⟩ старой русской поддевке⟨.⟩  
20 коричневой *абе*⟨,⟩ Одиссей  
22 из янинской серебряной проволоки⟨,⟩  
35 с кавассами, с садовником.⟨...⟩

С. 570

- 6 и едва считает их.⟨...⟩  
9 на полотно *так как я есть* теперь  
19 вероятно не даром⟨...⟩  
20 *тайную* цель государственную...⟨...⟩  
22 Может быть⟨,⟩ думал я ⟨,⟩  
23 срисовывая *только тех из здешних людей*, которые

С. 571

<sup>3</sup> в золотых очках.⟨...⟩  
<sup>13</sup> в высоком своем колпаке!⟨...⟩  
<sup>15</sup> почти не покрытою⟨...⟩ ⟨Лицом⟩<sup>29</sup> действительно  
<sup>16</sup> мужественно-тихий⟨.....⟩ ⟨Е⟩ще не старый !  
<sup>17</sup> речами небогатый — Ахмед⟨...⟩  
<sup>18</sup> раб Божий безвредный⟨...⟩  
<sup>23</sup> и сухих сучьев⟨...⟩  
<sup>26</sup> бахромы внизу⟨...⟩  
<sup>30</sup> по всей Турции и в Элладе.⟨....⟩  
<sup>31</sup> еще допускаю.⟨....⟩  
<sup>31</sup> но высшей сферы⟨....⟩ внуки  
<sup>32</sup> губернатора всего *залета* Рауф-паши.⟨...⟩

С. 572

<sup>2</sup> чем на усы.⟨...⟩  
<sup>5</sup> и Благову и флагу⟨...⟩  
<sup>20</sup> за краями рамки пропала.⟨...⟩  
<sup>25</sup> Непостижимо.⟨...⟩  
<sup>27</sup> любовь к *высокому искусству*

С. 573

<sup>8</sup> на феске моей.⟨...⟩  
<sup>10</sup> лицо мое.⟨...⟩  
<sup>12</sup> долго молчим.⟨...⟩  
<sup>16</sup> это ничего.⟨...⟩  
<sup>21</sup> я в первый, **кажется**, раз  
<sup>33</sup> не годятся⟨...⟩ Понимаешь?  
<sup>37</sup> если я себе сошью⟨...⟩

С. 574

<sup>26</sup> ⟨р⟩азве ты

С. 575

<sup>37</sup> светлосерые⟨...⟩ прекрасные

С. 576

<sup>2</sup> без срока⟨...⟩  
<sup>6</sup> Этого мало⟨...⟩  
<sup>10</sup> посмотреться в зеркало.⟨...⟩

---

<sup>29</sup> В авторском экземпляре вставлено и зачеркнуто съ



- 11 ловок и благообразен!<...>  
13 на передних углах полами<....> Эти узенькие пантало-  
ны<....>  
18 младший брат самого Благова.<...>  
32 уйти домой<....> в восточном.<...>

С. 577

- 1 потому что <архонт> торговавший такими предметами  
был <ему человек близкий>.  
4 Но этого мало.<...>  
5 пережить мне многое<...> и ощутить  
11 в поле сегодня!<...> Посмотри как весело!<...>  
13 лошадь в хану<...>  
37 подумав, отвечал<..>

С. 578

- 3 — Я стыжусь<....> сказал я.  
5 в его жакетке погулять<..>

С. 579

- 17 что *Русский* взял себе воспитанника  
25 Незабвенная прогулка!<...>  
26 молодой жизни!<...>

С. 582

- 10 какой-нибудь **большой** интерес получить  
14 Я никакого **особого** интереса не жду от него.  
16 и человека *этого* я очень люблю...  
23 бесконечный путь<...>

С. 583

- 17 для прохладного вечера мангалы<...>  
18 Хорошо!<...>  
32 с улыбкой приветствия<...>

С. 584

- 14 не стыдно ли вам? <Н>е поняли вы что это обида?  
<г>лупые вы  
17 на теле своем<...> Хороша причина радости!<...>  
21 оскорбляешь Одиссея напрасно!<...>  
31 был прав<...>

# С. 585

- 2 так брезгаете<...>  
 19 Не цвету ли я здоровьем и юностью?<...>  
 22 в этот вечер ненавидел его<...>  
 28 оскорбительную бездну?<..>  
 30 очень красив собой<...>  
 31 Не кривобокий же садовник я в оборванной и гряз-  
 ной одежде<.>  
 32 уличным каким-нибудь ремеслом<...>  
 36 не спросясь отца<...>  
 37 одно только тщеславие<...>

# С. 586

- 2 Куда идти? <э>ачем? <и> с чем<?>  
 4 И чем бы мне отмстить ему за это<...>  
 5 его милостями<...>  
 16 почти до вражды<, я> рад был  
 25 которые сопровождали меня.<...>  
 29 <постоянное,> неподвижное, вечное прошедшее.  
 34 приближения моего к другому.<...>

# С. 587

- 1 в настоящем<,> жизни изменчивой  
 5 яснее и отчетливее<...>  
 29 вот он что был<...>  
 32 способное, своеобразное<...> как читатель прекрасного  
 34 ни с Россией, ни с Западом<...>

# С. 588

- 4 боится уронить себя<...> боится дать волю  
 8 не думая долго<...>  
 13 даже унижить меня несколько<...> <и> все это  
 14 как будто бы нечаянно<...>  
 16 Нет! <о>н и в больших  
 17 умен и пронизателен!<..>  
 21 Разве другие грехи<...>  
 24 <А я> на него самого  
 28 пленяли; и убийственная  
 33 склоняли меня к падению<...>  
 34 развращали меня<...>

С. 589

- <sup>3</sup> ей надо скорее домой⟨... Но⟩ как-то случилось (не знаю и не помню я, несчастный, даже как)⟨...⟩ что

С. 590

- <sup>5</sup> отвечала она **равнодушно**.  
<sup>15</sup> Но я ⟨тому⟩ не поверил  
<sup>19</sup> и пели хором песни⟨...⟩

С. 591

- <sup>14</sup> кривой повар Вассо!⟨...⟩  
<sup>15</sup> целовалась со мной⟨....⟩  
<sup>21</sup> эти предместья Янинские⟨....⟩ сероватые, **желтоватые** или белые  
<sup>28</sup> И слышу пение петухов⟨....⟩  
<sup>34</sup> надписей на руке⟨...⟩  
<sup>35</sup> о родине своей ⟨Чамурье...⟩

С. 592

- <sup>13</sup> на лоб⟨...⟩  
<sup>14</sup> очень красиво⟨...⟩  
<sup>17</sup> первый шаг⟨...⟩  
<sup>18</sup> двоюродный брат⟨...⟩  
<sup>22</sup> ей потворствовала.⟨...⟩  
<sup>34</sup> не желал⟨...⟩

С. 593

- <sup>8</sup> застала нас так⟨...⟩  
<sup>8</sup> всем рассказала⟨...⟩  
<sup>9</sup> смеяться над нами⟨...⟩  
<sup>18</sup> и там встречались⟨...⟩  
<sup>19</sup> в виноградниках попа Яни⟨...⟩  
<sup>23</sup> смела⟨...⟩  
<sup>27</sup> говорит и поет народ⟨...⟩

С. 594

- <sup>3</sup> и уехал в Элладу⟨...⟩  
<sup>28</sup> и покаяния в грехах⟨...⟩

С. 595

- <sup>4</sup> прийти ко мне⟨...⟩  
<sup>5</sup> очень долго⟨...⟩  
<sup>6</sup> про себя⟨...⟩ И мне стыдно и страшно⟨...⟩

- 7 эта приятность<...>
- 8 не обнимал и не целовал<...>
- 9 до чего это хорошо!<...>
- 10 Точно сон приятный<...>
- 11 твоя любовь с Ташо<...>
- 12 а эта Туркуда<...>
- 14 отцу Арсению сказать<...>
- 15 будто <б> и он
- 17 это не так<...>
- 20 иметь эту цель в виду<...> Тогда ничего<...>
- 21 наверное знаю<...>
- 25 ободрила меня<...>
- 27 развеселила меня донельзя<...>
- 31 с пути добрых правил<...>
- 33 и теплоты покаяния<...>
- 34 самый опасный в мире<...>

### С. 596

- 1 сельская речь<...>
- 11 доставить этим мне удовольствие<...>
- 17 честно жил или нет<...>
- 23 скрывает от меня<...>
- 27 могу сказать теперь<...>
- 28 теперь не скажу<...>
- 29 великая клятва<...> Я душой отца моего покойного  
клялся<...>
- 31 все открою тебе<...>
- 32 еще вот что<...>
- 33 есть <престарый> фонтан...
- 34 от венецианцев остался<...>
- 35 старый камень<...>

### С. 597

- 6 полна тончайшего яда<...>
- 12 суевериями и ханжеством<...>
- 21 сгущаясь и темнея снизу<...> разрываясь на части<...>

### С. 598

- 10 очи ее были <еще> мрачнее
- 14 «войди к нам<...> Вассо повар тут»...
- 27 поверх шальвар<...>

С. 599

- <sup>25</sup> и чего она хочет<...>  
<sup>30</sup> чуть-чуть ему улыбнулась<...>

С. 600

- <sup>1</sup> хотя бы и чуть-чуть улыбаться<...>  
<sup>5</sup> Но странно<...>  
<sup>12</sup> устремлено на меня<...>  
<sup>13</sup> снисходительную улыбку<...>  
<sup>31</sup> от радостного смеха<...>

С. 601

- <sup>6</sup> Я опустил глаза и молчал<...>  
<sup>10</sup> понимать о чем речь<...>  
<sup>28</sup> на моем диване<...>  
<sup>29</sup> к ее разврату<...>

С. 602

- <sup>10</sup> право бы было всем хорошо  
<sup>17</sup> своенравна и упряма<...>  
<sup>23</sup> можно согрешить<...>  
<sup>25</sup> сама дура<...>  
<sup>25</sup> совсем не заботится<...>  
<sup>30</sup> и ты ей нравишься<...>  
<sup>31</sup> и по порядку<...>

С. 603

- <sup>9</sup> и в ее сундучке<...>

С. 604

- <sup>17</sup> бедного предместья<...>  
<sup>18</sup> душа гибнет?<...>

С. 605

- <sup>11</sup> оброк!  
    (Paff! Cest mon cheval, qu'on apprête!)  
<sup>27</sup> <и> когда же?  
<sup>28</sup> и Бреше в Париж<...>

С. 606

- <sup>1</sup> не будет блистательного!  
<sup>2</sup> он Русский<...>  
<sup>3</sup> даже слишком прав<...>

- 5 бумаги на стол<...>  
14 хоть немного подождать<; хотя предсказания> его, **од-**  
**нако**, были  
30 ничего <за то> не боится  
33 пята Ахилеса<...>

С. 607

- 3 даже не брат<...>  
12 зависело не от него<...>

С. 608

- 5 послать Гайдушу<...>  
19 пошел <в школу.>  
<Я отозвал Леонардо в сторону> и сказал

С. 609

- 6 Он и позволит<...>  
14 Я тотчас же <по окончании уроков> с гордостью

С. 610

- 9 сделать как бы *случайною*  
13 как можно *официальнее*  
17 спросил: когда же он может принять Бреше?  
24 не пришел бы *внезапно*  
31 в Превезе! <вы> сами  
35 *чифтликов* под Москвой<...>

С. 611

- 3 *пиявки* и глупое самолюбие...  
6 другое дело<...>  
7 вы сами знаете<...>  
13 Но *тут* эта жесткость  
14 Бакеев не *сейчас* примчался из Превезы, как требовал  
от него Благов<...>  
20 что так *еще* лучше...  
22 дотерпеть до конца<...>  
26 на своей стороне<...>

С. 612

- 3 Но вот что случилось<...>  
14 грозно, величаво<...>  
16 истинный доктор  
17 *древние* врачи...

- 23 Не позволяю<....> сказал  
30 Время приближалось.<...>  
32 посетителей *приватных* внизу явилось

С. 613

- 11 фуражка на голове была *официальная*  
18 к большим дверям дома.<...>  
22 воинственную *фустанеллу*

С. 614

- 12 (или вернее себе)

С. 615

- 16 два кавасса *по приказанию* консула.

С. 616

- 15 решился спустить флаг  
28 ему предлагали немедленно приехать в *Петербург* в отпуск.

С. 617

- 6 и есть христиане.<...>  
8 оправдали его отчасти<...>  
31 Неправда! <н>еправда!  
34 Турки<, Турки> убили!  
35 А, bravo<,> zito<.>

С. 618

- 2 уж слишком смело<....>  
5 Он не райя<....>  
14 рассказывают в городе.<...>  
24 и горд, и смел<....>  
31 русских рублей в Эпире<...>  
35 в христианах радость.<...>

С. 619

- 5 он понимает иногда *Нерона*....

С. 620

- 3 христиан пытаются<,> спросил у него  
10 возвратился опять.<...>  
15 что-нибудь сделать.<...>  
16 за хороший *бахчишь*

18 Но еще бы⟨, и как⟩ не позволить себе даже и этого  
когда христиан пытаются⟨!...⟩

21 Вот как было дело⟨: г⟩рубый

23 ⟨право⟩ Турецкое не ⟨право⟩

### С. 621

11 с ужасным ругательством ⟨начал попирать его нога-  
ми....⟩

13 чтобы схватить оружие⟨,⟩ — иные

19 молодым христианином.⟨...⟩

23 струилась кровь.⟨...⟩

36 рассказал все.⟨...⟩

37 вот что известно.⟨...⟩

### С. 622

28 на Тахира, правы!⟨...⟩

30 а слуга его⟨...⟩

### С. 623

6 Тахир-Аббас изменник⟨...⟩

8 сидеть там два часа?⟨...⟩

8 в его поведении *бир* opposition systematique

17 но не долго⟨...⟩

### С. 624

2 и потому желали ⟨бы⟩, чтобы

11 всему худому про Турок⟨:⟩ он ужасается

12 он восклицает⟨...⟩ *s'est affreux!* ⟨но⟩ к паше

25 разве в ⟨слуги или⟩ управляющие

35 в руках русской дипломатии⟨...⟩

36 зложелетельный труд⟨...⟩

37 Так говорит⟨, вероятно⟩ г. Леси.

### С. 625

3 все растет и растет⟨...⟩

5 в Корфу⟨...⟩ ⟨о⟩ нем

14 учить Турок... ⟨но⟩ не человеколюбию

31 прошло дня два⟨...⟩

### С. 626

5 Я отвечал: ⟨хорошо⟩, благодарю вас⟨...⟩

7 Хорошо⟨! хорошо⟩ делаешь!

13 — Это рука⟨,⟩ а голова?



- 19 <и> показал ему  
36 Тахир-Аббаса не примет<...>

### С. 627

- 9 «Чтоб я не пропал **бы?**» сказал Тахир<...>  
11 Вот как было дело<...>  
20 дело свободы забывается надолго.<...>  
24 страшная истина.<...>  
33 урок полезный.<...>  
34 новою славой.<...>  
35 пусть остерегается.<...>  
36 ему и России<...>

### С. 628

- 1 Любопытное дело!<...>  
2 в Тегеране убить<...>  
3 князя Черногорского убили<...>  
5 не хотят ничего подобного<...>  
6 ни во что подобное<...>  
11 Понимаешь<...> Я сказал  
15 — Знаешь, Одиссей что<...>  
16 никаких способностей?<...> Турки смеются над ним в  
Порте<...>  
24 хорошая рекомендация в Порте.<...>  
25 великих и патриотических дел<...>  
26 сам стать драгоманом<...>  
28 ты турецкий подданный; хорошо **потому** с ранних лет  
взяться за практические дела<...>  
29 Что тебе учителем быть?<...>  
30 прогнать Бостанджи-оглу?<...>  
34 так скоро его заменить<...>

### С. 629

- 1 сказал мою мысль<...>  
2 дело наше еще не кончено<...>  
3 в добрый час<...>  
7 в этих важных событиях<...>  
9 сказал он уходя.<...>  
10 очень неприятно<...>  
11 что моя голова задумала<...>  
14 Я здесь буду нужен<...>

- 15 без всякого со стороны Блага старания<...> и тебя  
выведу в люди<...>  
24 в такие юные лета как <мы...>  
33 в которое *вынудили его стать мои тайные*  
35 А усы кривые<?...> и грязный скруток<...>

# С. 630

- 1 говорят: Чтò за ~ свежие!  
5 всему был бы конец!<...>  
5 и бодр, и дерзок!<...>  
6 тот *конец* или бы то *начало*  
8 гораздо меньше греха<...>  
11 в ее переулочек<...>  
12 Но... (прошу  
14 <свою> жизнь в Янине  
19 перерождавших меня!<...>  
20 Я взошел на двор<,> и поглядел вокруг  
33 и... не пошел  
36 не спеши <глупить> высокомерно [*возм., опечатка*]

# С. 631

- 17 были правы<...>  
24 ночью схватили... Турки<...> Мы должны его спасти<...>  
26 которого хлеб мы все едим<...>  
28 ехать тебе к Благову<...>  
33 Позвольте спасти его<...>»

# С. 632

- 2 за мое вмешательство<...>  
6 Головы наши береги<...> не ты один  
14 на одной свадьбе где плясала<...> плясала и чуть-чуть  
не упала<...>  
18 и пьет! <противная> вещь!....  
26 «<К.> Одиссей  
28 к Благову скорее<...>  
31 <и> это еще хуже  
33 Но<...> теперь тут Благов<...>  
34 попру ногами льва и змия<...>

# С. 633

- 4 против неверной власти<...> <е>ще один сильный напор  
плечом на камень Сизифа<...> <е>ще, еще одна ступень!...

- 6 Ехать я готов.〈...〉  
14 доехать и в четыре **и в три часа**.〈...〉 〈н〉о и то  
19 с глубоким презрением〈; «он» хвалиться будет.〉  
23 Как бытъ? 〈Как бытъ!〉 О Боже!  
24 подать ему руку помощи вовремя.〈...〉  
32 и зовет поспешно Анастасия.〈...〉

С. 634

- 3 Эпирот, **но эллинский подданный**; — он служил  
8 хладнокровный и бесстрашный.〈...〉  
17 светло **и тихо**〈, ровно и чисто...〉  
23 не знает дороги〈...〉  
31 Хорошо! 〈хорошо!〉 Теперь  
34 приходить скорее〈...〉

С. 635

- 9 копыта конские у ворот?〈...〉  
12 не показывается пока〈...〉  
15 Маноли входит〈...〉  
23 эти денежки за лошадь〈...〉  
23 отличную тебе нанять〈...〉  
31 прислал бы нам Ставри〈...〉  
32 сделают дело〈...〉

С. 636

- 2 〈просто〉 отвечал Маноли  
6 возопил Бостанджи〈...〉  
7 берут отсюда〈...〉 Разве с одним Анастасием мож-  
но〈...〉  
11 Чем не кавас?〈..〉  
12 я тружусь... 〈на!〉 — кричал Бостанджи...  
17 «Господин Маноли, поскачем〈...〉  
22 〈н〉адо ехать...  
24 мчался за мною.〈...〉  
36 еще издали, на горизонте〈...〉

С. 637

- 12 в селе Коцильо».〈...〉  
19 за них платить будет тогда〈.〉  
20 не столько богатый.〈... и〉 хоть, конечно, я имею в 〈го-  
роде〉 прекрасную собственность〈....〉  
23 продавал свои вещи〈....〉  
30 скоро ехать〈....〉 мне все равно.〈...〉

С. 638

- 2 направо и читает [исправление Л. на полях]  
 16 очень мне обрадовался.〈...〉  
 17 Очень рад.... 〈очень рад〉....  
 33 завтра〈, вероятно,〉 привезут

С. 639

- 1 погрузился в раздумье〈...〉  
 12 а не Бостанджи〈...〉  
 16 Бостанджи-оглу.〈...〉  
 23 спешить сюда〈...〉 И ~ прибавил: Да  
 27 и даже предателем〈...〉  
 31 и что он 〈очень〉 глуп, — 〈так〉 и это правда.

С. 640

- 22 не больше часу〈...〉  
 22 сделаем дело〈...〉  
 31 в Россию〈, а〉 если

С. 641

- 2 не буду〈...〉  
 4 — Зачем силой брать〈... мы〉 не дураки〈...〉 и нам  
 10 Это ваше дело»!  
     Благов.  
 29 〈п〉одтяну попрочнее подпругу  
 30 своего жеребца отдам.〈...〉  
 31 до эллинской границы?〈...〉 Не так ли!〈...〉

С. 642

- 3 спросил у него: Вы ~ это?  
 7 Он не предатель.〈...〉  
 8 узнал стороной.〈...〉  
 11 взятом им на себя.〈...〉  
 22 и как они это сделают〈.〉  
 27 моего милого Кольо?〈..〉  
 31 чем оно кончилось〈...〉

С. 643

- 1 из глаз моих.〈...〉  
 28 своего безобразия!〈..〉  
 30 вязом: Чем  
 31 другая темная история?〈..〉 История Зельхи и Благо-  
     ва?〈..〉  
 35 Я не ревновал〈...〉

С. 644

- 1 от **большого** греха
- 2 причиной ее обогащения<...>
- 5 вовсе не бедною невестой?<..>
- 16 еще не село<...>
- 18 опершись на трость<...>
- 20 Боже! <г>улять, гулять с ним!<..>
- 21 как бы с товарищем!<..> Чтò это?<..> Не сон ли? <не  
сон ли?> <н>е обман ли взволнованных чувств?<..>
- 27 Нет это не сон!<..>
- 29 славы, богатства и почестей<...>
- 32 счастливых случайностей!<...>
- 37 их массам<...>

С. 645

- 2 Благов совсем изменился<...>
- 3 слегка вздохнул<...>
- 4 громче и глубже<...>
- 17 бедного Рауф-пашу.<...>
- 18 огорчит старика.<...>
- 21 — Он болен.<...>
- 22 Чтò ты скажешь на это?<...>
- 24 я чтò скажу?<...>
- 24 Я буду учить его!<...> Не понимаю!<...>
- 28 допустивший пытку.<...>
- 29 почти глупо<....> Это безумно даже.<...>
- 30 сродное Коевино.<...>
- 35 и простодушным тщеславием?<...>

С. 646

- 1 превозносить и хвалить.<...> Люблю я Русских.<...>
- 5 неокрепшие еще мышцы<....>
- 11 Шли, шли еще<... не> было видно
- 12 не было слышно звука.<...>
- 37 из новых<...> <н>е Гомера
- 37 ваших нынешних<...>

С. 647

- 12 Это вовсе не **особенно** печально
- 18 Смарагде Ставриной?
- Это была

21 красноречиво это выражено. Я начал⟨...⟩

Но консул

27 праздничное.

Ода по поводу

### С. 648

10 — Как не знать

23 успел ею насладиться⟨...⟩

### С. 649

23 все та же кавасская фустанелла⟨....⟩

26 которые даже и в каррикатуры не годятся!...

### С. 650

1 сгорая стыдом⟨...⟩

2 вопросительные улыбки⟨...⟩

10 дружественной со мной простоте⟨....⟩ как бездна вдруг  
закрылась⟨...⟩

31 чисто в архондарике<sup>30</sup>

### С. 651

5 не заболеть бы вам лихорадкой⟨.⟩

7 он видимо страдал ⟨теперь⟩; он ничег

15 вынесли столик.⟨...⟩

18 за здоровье тоскующего консула⟨...⟩

24 на ложе свое⟨...⟩

27 по своей комнате.⟨...⟩

31 ковре; ⟨и⟩ потом скрылся куда-то

### С. 652

3 помнит ли он лорда ⟨Байрона⟩

10 очень скучно⟨...⟩

19 чем мучился⟨...⟩

22 их я всех знал в лицо⟨...⟩ их всех видал я на бумаге  
дешевых гравюр ⟨и портретов⟩.

31 слов и выражений⟨...⟩

35 и с изумлением понял⟨...⟩ что Байрон

---

<sup>30</sup> Отсутствовало примечание автора

С. 653

- 1 о ком пожалеть на родине<...>
- 2 ничего там не жаль!<...>»
- 6 тогда не искал<...>
- 7 горькие слова<...>
- 24 а не предательство<...>
- 32 спросил с улыбкой Благоев<...>

С. 654

- 1 мою верность хотел испытать<...>
- 2 вы благодетель мой<...>
- 23 и ничего бы **будто** не знали
- 25 больше чем ему<...>
- 29 прибавил: Такие
- 30 сделают хорошо<...>
- 32 очень искусен и очень предан<...>
- 35 и он все это устроил даже<...>

С. 655

- 2 убить Джеффер-Дема<...>
- 4 не обнадеживал их<...> **не обещал бы вашей помощи.**
- 8 сознался в этом<...>
- 22 будут освобождены.<...>
- 23 ты мне это сказал<...>
- 24 смелый и опасный мошенник<...> с ним невозможно иметь дело.<...>
- 29 не слишком радостно подействовали<...>
- 37 отеческую симпатию<...>

С. 656

- 1 ошибку или иначе.<...>
- 23 уже оседланные<...>
- 26 вышел из своей келейки с костылем<...>
- 29 с холма по Янинской дороге<...>

С. 657

- 7 спросил их: — Хорошо ли
- 11 на минуту на воздух<...> Голова тяжела.<...>
- 19 не приказано<...> кричал
- 29 свободной Эллады<...>
- 32 вслед за нашим вождем.<...>
- 33 Нет <н>е по этому

С. 658

- 18 разные вещи⟨...⟩  
25 соседней державы⟨...⟩  
26 Вот что такое поп Кòста⟨...⟩

С. 659

- 5 ⟨а⟩ Турки хотят напасть  
26 так сложно ⟨и темно,⟩ и запутано

С. 660

- 22 согласиться на это⟨...⟩  
23 был дан при свидетелях⟨,⟩ но были ли у них  
32 Что касается до Бреше, то он в первый день, ⟨как⟩  
Благов  
36 авторитет местной власти⟨...⟩

С. 661

- 17 паша ⟨будет⟩ с вами всегда в прекрасных отношениях⟨,⟩ и имея в виду

С. 662

- 2 права неприкосновенности консульства.  
21 могли бы протестовать⟨...⟩  
27 — Вы так думаете?⟨..⟩  
31 успокоить умы⟨...⟩

С. 663

- 8 оскорбление флагу нашему⟨...⟩  
14 он с вами хорош⟨...⟩ Я не знаю, что делать⟨...⟩

С. 664

- 3 Что было делать?⟨...⟩ Не предавать же этого юношу!⟨..⟩  
6 невозможно и отвратительною⟨...⟩  
8 дрожа от страха⟨,⟩ хотя ни один из Турок не сказал ему ни одного обидного слова⟨,⟩  
11 произнести слово⟨...⟩ «Зачем предавать его⟨...⟩  
12 пусть спасается как знает!⟨...⟩»  
15 подумать об этом⟨...⟩  
16 не предам⟨...⟩  
17 этому извергу за побой⟨...⟩  
18 защищал свою честь⟨...⟩



- 20 становилось моложе и лучше<...>  
21 очень понравилось<...>  
26 приказал разогнать толпу<...> <э>то становится  
29 звон разбитого стекла <и> в соседнюю комнату

С. 665

- 5 состояла не из одних мусульман<...>  
12 погасили<... сами> погасили<...>  
20 какой я только **что** недавно снял  
27 громко **на кого-то** кричал...  
36 возьмет этого человека<...>

С. 666

- 7 и опять стучал<...>  
13 Я все стучался<...> Это становилось несносно<...>  
15 эта железная дверь<...>  
17 многих людей разом<...> легкий  
23 в <своей> широкой и мягкой шляпе.  
25 очень злое<...> левою рукой  
29 большие белые пузыри<...>  
31 что он страдает<...> **от боли** и в первый раз  
34 несколько раз<...>  
35 чтобы дать ему дорогу<...>  
35 который говорил — чего они боятся — принял

С. 667

- 3 равнодушный ко всему этому<...>  
12 Но этот<...> тотчас же  
12 <пошли> разом пятеро других <с озабоченным видом>.  
15 Этот Турок был высокий  
16 красивый лицом, <в низамском сюртуке> с подкручен-  
ным  
25 — Мушира! мушира<...> А я  
31 хотя и медленнее всех.<...>  
33 до подобной крайности редко<....>

С. 668

- 3 и смотреть.<...>  
11 на ковре не мог.<...>  
12 начал вспыхивая тлеть<...>

14 чтобы длинная женская одежда <и она сама> не <вспых-  
нули>.<...>

23 сгореть не успеет.<...>

24 и не розлили керасин.<...>

27 были недостаточны.<...>

34 и затушила огонь.<...>

35 в один голос.

<Все были немного бледны, но весело глядели друг  
на друга.> О молодом

### С. 669

27 во вратах Эллинской проксении<...> <и> возвратиться

28 под сень двуглавого орла<...> там теперь очень тихо

30 страниц десять <эксегеза> Эллинского

35 соотчицей и покровителей.<...>

### С. 670

2 не прошла для меня бесследно.<...>

5 с такими же <богатыми> мальчиками-загорцами

11 варварозные <и> простодушные горцы

13 даже и знатные, <и> утонченного воспитания

16 что и я могу <быть> смелее если нужно.<...> <и> стал

17 боязни<, и> стал

20 даже на век невозможно.<...> Они тебя найдут<...>

28 Страха как не чувствовать?<...>

30 на бодрую борьбу.<...>

### С. 671

25 Г. Леси <старичок>

32 Об осмотре нечего и думать<...>

33 эта злая старая баба<...> Корбет де-Леси!

36 левую руку. **Но паша просил его подождать.**

<— Подождите, подождите... сядьте... я прошу  
вас...>

### С. 672

1 позвать <себе> полицейского офицера<,> офицер

2 вопрос Рауф-паши, — приказали

5 толпы, — офицер

14 пройти незамеченным<...>

21 много христиан и <ко всему политическому равнодуш-  
ных> Евреев

- 21 был брошен ребенком⟨,⟩ наконец толпа вся разошлась;  
 так что  
 26 молодого ⟨хаджу⟩  
 28 ⟨Это⟩ нельзя оставить ⟨безнаказанно⟩.  
 33 не достигает цели⟨...⟩  
 33 взволнует умы⟨...⟩  
 36 положил бы всему этому конец⟨...⟩ **сказал Паша.** —

### С. 673

- 4 в своей собственной одежде⟨...⟩ и неожиданно  
 14 скорей ⟨сырого картофелю!... Кусками, кусками...⟩  
 15 Два платка... хорошие!⟨..⟩ Лимонаду⟨...⟩ ⟨о⟩дин лимо-  
 над⟨...⟩  
 20 понимал где и когда⟨...⟩  
 23 Принесли ⟨картофель⟩ на тарелке  
 27 обвязывал платком. ⟨Рука его немного дрожала.⟩  
 34 не говоря ни слова⟨...⟩

### С. 674

- 1 бантик на платке⟨...⟩  
 10 а он нет... Рауф-паша  
 11 сказал прямо глядя ему в лицо  
 13 — Чтò делать⟨...⟩ ⟨с⟩лужба, сын мой⟨...⟩ чтò же  
 нам делать?.. ⟨г⟩осударство!....  
 15 все ласково⟨...⟩  
 20 Но эта Эллада! ⟨о⟩на всякий день  
 23 о нашем варварстве⟨...⟩ бир фанатизм! дикие ⟨лошади,⟩  
 а между тем знаете ⟨ли⟩ какие у них, у **самых** поряд-  
 ки!..  
 25 гнездо разбоя⟨...⟩  
 29 неправильные паспорта⟨...⟩ Аллах! Аллах!⟨..⟩  
 33 прошу вашего *хатыра*⟨...⟩ но  
 34 других греческих консулов⟨... что они часто дураки и  
 мошенники, это правда...⟩

### С. 675

- 9 Чтò делать! ⟨э⟩тот *дженабет*<sup>31</sup> Корбет де-Леси! ⟨х⟩о-  
 лодные люди эти Англичане⟨...⟩ ⟨я⟩ их не люблю⟨...⟩  
 11 а? ⟨к⟩ак вы недавно  
 19 Зачем же **все** дженабеты?

---

<sup>31</sup> Отсутствовало примечание автора

- 22 в греческое консульство<...> он  
24 Хорошо<...>

С. 676

- 1 — Я ухожу.<...>  
15 (которого он звал дженабет  
22 под греческий флаг.<...>

С. 678

- 20 в консульской столовой<...>  
26 За ней служанка<...> тоже в ужасе; <и> ломая руки  
28 Сгилла головка моя! <сгилла.>..  
30 и стакан<...>  
31 стучался <повелительно> в дверь  
34 и переглянулись<...>  
35 в безмолвии.<...> <У меня не было ног...>

С. 679

- 3 офицер от паши<...> отвечал  
11 и стал у дверей.<...>  
14 не могут сделать эти Турки  
26 А(!) Собаки нет анафемской  
27 не знала бы в лицо<.>  
28 эти варвары люди<...>  
29 Гм<...> Теперь и паша

С. 680

- 2 он спешил вниз <в самом деле> разделить участь  
2 (а не так как я, боязливый!)  
5 только немного бледен<...>  
9 очами долу, <вдыхая от радости и стыда,> я взбежал  
15 что там Турки, что здесь Греки<,> что Турок  
18 погибнуть самим!<...>  
20 и его косою <и энергической> барышни...  
23 Где ты, мой милый?... <г>де?...

С. 681

- 2 только и без гнева и без любезности  
4 Я не успел ответить<...>  
8 вы христиане, скажите<...> или нет?..  
9 Киркориди наш<...> хочет пустить Турок сюда<...>  
11 Умрем лучше здесь<...>

- 14 из ружья<...> А мы из двери.  
     — Кольйо, есть у тебя  
 18 сквозь дверь<...>  
 25 приготовил свой револьвер<...> Это было безумие<...>  
 28 <с>той.... нельзя<....>  
 29 слушаться консула.<...> Я тебе говорю<...>  
 30 поди прочь.<...> Дай ключ.<...>  
 36 не мог вдруг утихнуть.<...> «Погоди минуту!»<...> воскликнул он

## С. 682

- 2 отпер дверь.<...>  
 5 независимого царства.<...>  
 5 если он ступит!<...>  
 6 не здесь, а в Афинах<....>  
 15 остывшему при виде такого обращения Георгию.<...>  
 24 с небольшими усами<....> мундир  
 34 благородного человека.<...>

## С. 683

- 2 кофе бею-эфенди.<..>  
 3 прибавил он добродушно.<...>  
 10 торгующего там<....> смесь из мокка с ливанским<, >о, эфенди!...  
 11 Чтò это был за кофе<....>  
 22 столь приятная беседа.<...>  
 24 мирно курили <сигары>  
 33 осмотреть<...> все чтò вам угодно<...>  
 34 в кухню и погреб<...>  
 35 свою спальню<...>

## С. 684

- 6 Это совершенно лишнее<...>  
 7 <настрога> запретил мне такую невежливость<...>  
 8 это все одна форма<...>  
 9 ваше благородство<...>  
 14 не утихнут все разговоры<...>  
 16 без вашего ведома<...>  
 24 ваточной курточке<...>  
 30 жалобы своему правительству<...> Он был не прав<...>  
     а паша очень деликатен и ловок<...>

# С. 685

- 10 поставлено, и это правительство
- 23 все те же часовые〈...〉
- 30 еще худшую ошибку〈...〉
- 34 консульской неприкосновенности〈...〉
- 36 с удачей и блеском〈...〉
- 36 его 〈дарование〉

# С. 686

- 2 с которым бы не случилось затмения〈...〉
- 4 поражен неприятно〈...〉
- 17 пред порогом консульства〈...〉
- 28 от сдержанного гнева.〈...〉
- 30 предал его, заступника своего, своего рода на поругание
- 33 долго после этого не желал.〈...〉
- 36 〈Горожане〉 восхищались

# С. 687

- 5 против осмотра греческого консульства〈...〉
- 8 не мега́лос, **как звали его прежде простолюдины наши** а ме́гас прòксенос 〈не большой консул, как звали его иногда простолюдины наши, а великий наш консул〉).<sup>32</sup>
- 23 были довольны им.〈...〉
- 25 ничего, кроме презрения.〈...〉
- 26 но под нею 〈не〉 таилось ничтожество. [возм., опечат-ка]
- 30 строгий выговор консулу.〈...〉
- 33 если искренен; —

# С. 688

- 2 Но только для вида.〈...〉
- 6 изверг в душе〈,〉 убийцей однако **он** не был сам
- 8 не посетив других консулов〈...〉
- 14 несправедно нанесенные〈,〉 но он
- 16 пытаемых в Янине; за погранные
- 17 вопиющие поборы беев〈...〉

---

<sup>32</sup> В авторском экземпляре вставка на полях и примечание; в зачеркнутом тексте были подчеркнуты слова: большой, великий, консул

- 18 смирил притеснителей.<...>  
19 до сих пор.<...>  
21 за самоуправство?<...>  
22 кому следовало бояться?<...> <не> боялись  
25 жители Нивицы,> <которых он позволил даже пы-  
тать,> боялись  
27 колокол на православной церкви.<...>  
32 с каким-нибудь «portier»?<...>  
34 подобострастного пред ним Бакеева?<...>  
36 позднее во славу Франции своею рукой

### С. 689

- 2 он убил его<....> и остался безнаказанным<.>  
5 точен в формах своих<...>  
10 от наборов воинских<...>  
12 в Батоке  
14 «<о>тчего это  
20 причудливый старик.<...>  
21 прочли эти слова!<...>  
21 ждем чего-то от Англии<...>  
23 придем к тому же<....>  
34 настали дни тихие<...>

### С. 690

- 5 слишком многие знали<...>  
6 чем это кончится<...>  
8 больше всех<...>  
опять совсем изменилось<...>  
11 ничего не знаю<...>  
12 ни в чем часу нет<...>  
13 и я погубил его<...>»  
16 прошло трое суток<...> Прошло еще дня два<...>  
18 не уследили ничего<...>  
23 с радостною улыбкой<...>  
26 в Акарнании давно!<...>  
29 г. Ставри?<..>  
30 отвечал Ставри<...>

### С. 691

- 20 и кончая шкафами<...>  
37 «Не желаю деньги брать я

С. 692

- <sup>2</sup> холостой человек<!>»  
<sup>28</sup> на Леси и <на> Киркориди.  
<sup>35</sup> Киркориди анафемский<...>»

С. 693

- <sup>4</sup> были правы<...>  
<sup>13</sup> вступать в открытую борьбу<...>  
<sup>29</sup> неизвестного еще зверя<...>

С. 694

- <sup>13</sup> у грубого <и необразованного> Бреше

С. 695

- <sup>2</sup> молодая женщина<,>  
<sup>6</sup> линий человеческого тела!<...>  
<sup>21</sup> (в ней должен был и я в <«турецком халатике»> занять  
подобающее место).<...>  
<sup>30</sup> «Эффенди<...> Возьми  
<sup>34</sup> от йесерджи»\*.<...>

С. 696

- <sup>1</sup> — Чтò такое от йесерджи<?> <Я> не знаю  
<sup>2</sup> ввести ее в консульство<...>  
<sup>8</sup> пригласил его <здесь> зайти  
<sup>10</sup> хозяину, <зашел охотно>.  
<sup>21</sup> с принятым порядком<...>  
<sup>24</sup> в Турции<...>  
<sup>25</sup> — До свидания! <до> свидания<,>

С. 697

- <sup>22</sup> существует какой-то йесерджи  
<sup>27</sup> желание **ваше** поддерживать дружественные отношения  
<sup>32</sup> не повторятся<...>»

С. 698

- <sup>1</sup> <п>рошу вас  
<sup>12</sup> можно и наказать<...>  
<sup>17</sup> это будет неловко<...>  
<sup>31</sup> учит неповиновению><...> решились

С. 699

- <sup>34</sup> с изумлением:  
<—> Как? <к>ак? А потом



С. 700

- <sup>16</sup> немедля ему показали<...>  
<sup>26</sup> он был русский подданный<,>

С. 701

- <sup>20</sup> от жажды мщения соперникам<...>  
<sup>23</sup> коварного добряка Ашенбрехера<...>  
<sup>24</sup> говорили мы<...>  
<sup>25</sup> нечто очень ловкое<...>  
<sup>30</sup> для поддержания своего влияния<...>

С. 702

- <sup>3</sup> и хотят его отозвать<...>  
<sup>18</sup> хочу его видеть. **Слышишь — скажи очень хочу.**  
Рауф-паша  
<sup>26</sup> сынок мой) <...>  
<sup>27</sup> Благов просидел у <паши> долго  
<sup>34</sup> старый Рауф<-паша> был неспособен  
<sup>37</sup> но я <отдам> ему одну справедливость

С. 703

- прим. \* Прошу читателя верить, что все это факты. **(Это все делал Золотарев в Адрианоп<оле>. Рауф-паша был Ариф-Паша).**  
<sup>12</sup> бедного Рауфа». <...>  
<sup>16</sup> и делает много ошибок<:> нам таких и нужно  
<sup>19</sup> что Турция в прогрессе.<...>

С. 704

- <sup>37</sup> Мессо, Куско-бея<,> посещал

С. 705

- <sup>10</sup> с господином Леси<...>  
<sup>15</sup> — Конечно! <к>онечно!  
<sup>22</sup> на свое бессилие в Порте.<...>  
<sup>24</sup> увидеть <на> Янинской долине  
<sup>26</sup> с живописной эспланады  
<sup>33</sup> слышал от Леси.<...>

С. 706

- <sup>4</sup> везде измена!<...>  
<sup>20</sup> <Другого сомнительного русского подданного>, которого Ибрагим  
<sup>23</sup> был немедленно выпущен<....> еще прежде

- 27 произвели в унтер-офицеры.⟨...⟩  
29 напрасно спешили радоваться.⟨...⟩  
33 неизгладимые предания.⟨...⟩

С. 707

- 2 в счастливый час!⟨...⟩  
15 ⟨извинялся⟩, что завтракает  
16 «как у нас **это** по-русски⟨,⟩ прибавил он⟨,⟩ называется  
⟨это⟩ хлеб-соль!»  
24 Какая у него власть? ⟨в⟩ласть  
36 безумный — дели; но все

С. 708

- 3 на его ссоры с Гайдушей⟨.⟩  
5 — ⟨Что он⟩ как он дома живет  
8 эти люди дели.  
10 такие дели⟨.⟩, **сказал паша**, — Однажды  
28 осмеливаюсь ⟨...⟩<sup>33</sup>  
31 — Что ты? ⟨ч⟩тò ты?

С. 709

- 7 глупость⟨,⟩ Турки  
25 хатыр друзьям.

С. 710

- 22 просил за нее⟨.⟩

С. 711

- 30 в справедливом негодовании на консула⟨...⟩  
32 и ⟨всяческим некрасивым телодвижением⟩<sup>34</sup> искал

С. 712

- 6 к репутации нашей!⟨...⟩  
18 почтительно и **умно** изложу ему ⟨умно⟩ мою просьбу  
21 пред его мощью⟨,⟩ трепет, изгнавший меня даже из-за  
стола!⟨...⟩  
23 Хорошо, Одиссей, хорошо⟨...⟩<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> ... исправлено на . — правее: ..

<sup>34</sup> Первоначально окончание слова некрасивым исправлено синим карандашом на -ы

<sup>35</sup> Первоначально было исправлено на восклицательный знак, затем оставлена точка

24 Еще дар Промысла<...> <и> вместе с тем, конечно, и  
<мое> искусство.

25 Умел <я> в меру и вовремя испугаться.

26—27 [не было разделения на главы]

С. 713

25 <Посмотрите> что такое.

С. 714

16 (в то время уже умершую)<...>

16 синие и ласковые<...>

19 должно быть вечерняя заря<...>

23 его покойная мать<...>

30 умерла она.<...>

30 мать свою<...>

31 что ни говори<...>

С. 715

4 сошел на апостолов»<...>

18 в преисподних души его<, > есть Бог

20 в мундире и орденах<...>

28 тонкие и красивые)<...>

С. 716

14 так писал)<, > <он писал:>

18 так мучительно мило?<...>

19 Чего? <ч>его?

20 смел, умен!<...>

31 на столе, <и> воинственные кавасы

34 Где <даже,> даже я был не дурен и не глуп<...>

С. 717

5 в благопотребном страхе и труде<...>

18 видный труд, <и> лестный труд

22 движения и сил<...>

23 вождь народный<...>

29 свое назначение<...>

34 в своей своеобразной совокупности<...>

37 такие мрачные трагедии<...>

С. 718

6 его пламенному честолюбию!<...>

12 обнаженных гор<...>

- 19 узких улиц.〈...〉  
24 белую, голубую〈....〉, **в шахматы.**  
25 вьют гнезда на 〈широких〉 оградах дворов 〈и садов; а  
злые копчики на крышах; город тих, и они не боятся  
людей〉.  
29 и Август〈,〉 от Арты  
30 где апельсинами〈,〉 (как яблоками в садах иных стран)  
усеяна

С. 719

- 17 как обязан был думать  
30 в дальнем 〈уезде〉  
32 агента, — Благов выросал на миг.〈...〉  
34 и просторный дом〈,〉 опять  
36 давно знакомых 〈вам〉 в лицо

С. 720

- 2 архонтисы в платочках; 〈те же копчики,〉 те же аисты  
4 в безмолвном доме печи.〈...〉  
15 после экспедиции Гриваса в Эпир〈...〉  
19 антипатиями и сочувствиями.〈...〉  
21 не у нас〈...〉  
26 воплями воинственного гнева.〈...〉  
27 несчастных сирийских христиан.〈...〉

С. 721

- 3 Мореи и Акрополя.〈...〉

С. 722

- 9 во всеоружии своих сил!〈...〉  
17 Некролога не было.〈...〉  
28 устранены от него.〈...〉

С. 723

- 1 свободных нравами〈...〉  
9 изгнанный демагогией в чужбину〈...〉  
15 пред Господом 〈Богом〉!»  
27 стыдливой сухости〈...〉 〈о〉на  
30 изображенные на портретах [*опечатка в РВ*]

С. 724

- 2 покорных 〈прихотям его〉 Парижанок.  
9 откупаться от Турок〈...〉

- 15 один из тех детей христианского Востока, <который>  
только что в последние годы <стал> выделяться  
19 более сложных нравов<...>  
23 давно прежде нас<...>

С. 725

- 4 как в алтарь?<...>  
9 и не читали их<.>  
10 и чем терзался; ты, который  
17 И никакая полезная деятельность  
24 в нашей жизни<,> и наши женщины  
28 Madame Бреше <была> собой так ужасна  
30 такое множество детей.<...> <и> она  
31 неряшлива с виду<...> так

С. 727

- 3 как Лукреция Борджиа.<...>  
6 осторожно <шел> по своей гостиной  
32 по нашей поговорке<:> они не умеют

С. 728

- 15 большой вес!<...>  
19 младенческое время<...>  
20 <—> Все течет  
25 Не понравится ли Ница эта Благову?  
29 за непроездными дорогами<...>

С. 729

- 5 Говорили о ней и другие. Бостанджи-оглу <восхищался  
ее красотой и> знал  
11 и <она> с матерью едва-едва могли жить и питаться<...>  
12 была чрезвычайна.<...>  
23 величавый стан.<...>  
33 отеческой веры<...>  
35 мое воображение.<...>

С. 730

- 3 он пытался изобразить.<...>  
17 У них был дом... О! Грек, вернувшийся с чужбины  
28 Здесь православие хранится<...>  
29 Все древний дух отчизны здесь <хранит...>  
31 Страданий ~ чарует! [без кавычек]

С. 731

- 19 Что снова <тот> милый мальчик <Куцо-Влах>  
 21 кириа Ница»...  
 23 и видеть вновь хотела<...>  
 36 горе юноши<...>  
 38 и очень бедная<...>

С. 732

- 2 графин с вином<...>  
 4 «Царевна ты моя, царевна<...>  
 27 кидая в нее камнями<...>  
 35 преступные круги<...>  
 36 разыскал ее<...>  
 37 умел устраивать

С. 733

- 35 великодушно на окне<...>

С. 734

- 3 поспешила к Куско-Бею<...>  
 6 все сполна<...>  
 10 худую и позорную жизнь.<...>  
 35 Жалко было этой Ницы, <ее> старой матери.

С. 735

- 7 Как же <это?> мне это понять? Кто прав после  
 этого?  
 Кого же мне слушаться?  
 24 все смелее и смелее.<...>

С. 736

- 10 как «кирия».<...>  
 18 наших старых архонтис.<...>  
 31 <с>иди здесь

С. 737

- 20 Паша хороший человек.<...>  
 22 тогда <встала> на минуту

С. 738

- 10 в самом деле ужасно<...>  
 11 видимо разлагается<...>  
 13 и не без достоинства<...>

- 16 и другими камнями<...>  
32 нас знать<...>  
33 не жалеет<...>  
34 хорошие как вы<...> что жалеете людей<...>  
34 много злобы<...>

С. 739

- 1 прекрасные двустипия<...>  
2 хоть одно сказать<...>  
11 здесь говорить?<..>  
12 надо мной<...>  
13 вы желаете<...>  
15 и очень выразительно<...> сперва  
24 глядевших <с> той минуты  
27 что Благов <ужасно> сильно покраснел  
31 — Это очень хорошо!<...> Очень мило<...>  
33 сочинять эти двустипия.<...>

С. 740

- 2 у отца, <или> священника  
4 но молодая гетера <почтительно> остановила  
7 с удивлением<...>  
18 Я имею <рописку> его.

С. 741

- 18 Они делали <визит> паше и консулам.

С. 742

- 25 внимая речам Бранковича<...>  
27 разумен и умерен<...>  
31 о торговых делах<...>  
34 люди дела и влияния!<...> Это было совсем иное<...>

С. 743

- 3 тоже ни слова<...>  
7 будущего богатства<...>  
24 <э>то нечто удивительное

С. 744

- 7 мне <много> здесь нравится.  
10 альбомы восточных одежд<...>

13 о госпоже Виллартон<...>

16 в полном смысле слова<...>

34 в 59 году...

<\*Описываемое здесь происходит раньше 70-го года.>

#### С. 745

6 или из театра.<...>

21 разговор идет <умный и> в его вкусе

33 большим галопом.<...>

37 <и> говорит спокойно

#### С. 746

1 а на мягком диване.<...>

#### С. 747

1 о! <д>а! <э>то правда!

8 <с хохотом> воскликнул Коевино

9 (<вдруг> взглянув на нас

14 о моем «маленьком демоне».<...>

23 — Мне нравятся ваши речи, ваши взгляды

#### С. 748

3 — О! <в>се это тщеславие!

6 поднял даже <руку> к небу

14 правила: Благородный ~ ничего...

18 А<!> было!<sup>36</sup> а! <браво>...

#### С. 750

20 а позвал <только> всех консулов и пашу.

26 и опустив глаза в землю<...>

30 вышел бы еще худший<...>

#### С. 751

22 Паша не обещал<...> Ему еще нездоровилось<...> Я ходил сам узнавать<...> Все не ладилось<...>

#### С. 752

13 была готова плясать<...> и чтобы ее кто-нибудь другой не захватил<...> <ч>тоб она

19 и весенних благоуханий!<...>

29 будет ли вечер.<...>

35 забыв о том, <что так> недавно еще

---

<sup>36</sup> исправлено из: Было



С. 753

- 11 несколько смущенный<...>  
30 боязливая и томительная<....>

С. 754

- 1 Окна были отворены<...> Было и тепло и прохладно.  
<...>  
12 тем лучше.<...>  
13 здесь лучше.<...>  
17 повеселятся и попляшут». <...>  
26 Мы пошли с радостью в зал.<...>  
27 тут пробыли.<...>  
28 так весело и сухо.<...>  
31 заперли ворота<...> и музыка начала играть<...>  
35 Он отошел<...>  
37 увлекая за собой всех нас<...>

С. 755

- 2 Пришли и новые лица<...> <ходи>  
5 Пришел Леонардаки<...>  
8 человек больше пятидесяти<...>  
12 лучше чем наверху<...>  
13 чем нам здесь<...>  
14 в стороне на стуле<...>  
17 пение Цыган<...>  
18 взял рукой за плечо<...>  
24 — Кузум Одиссей<...>  
26 с негодованием <и печально>  
29 на груди своей<...>  
36 напьется и падает потом<...>  
37 Нездорова<...> Разве не жалко<...>

С. 756

- 2 несколько смягчилось<...>  
4 портит и унижает себя<...>  
7 что <«>весь  
9 обо всем этом<....>  
12 Становилось темнее и прохладнее<...>  
13 загорелся свет ламп<...>  
15 Очень дурно<...>  
23 я скажу<...> Помоги нам<...>

- 24 ты знаешь, любит<...>  
25 великое дело есть<...>  
32 в белых летних панталонах<...>  
34 довольно приятным человеком<...>

### С. 757

- 3 напоил и обольстил ее.<...>  
16 пляшет сама по охоте<...>  
17 На дворе ее не видно<...> И куда ж она теперь  
ушла?<..>  
25 какая она теперь несчастная<...>  
30 сказать ему самой<...>  
35 и что она теперь делает<...>  
36 Бегу навверх<...>

### С. 758

- 1 на зеленый стол<...> Коевино сидит<...> В моей комнате  
темно<...>  
2 Спешу туда<...>  
5 на стуле смеется<...>  
6 он умирает от смеха<...>  
8 веселится как мальчик<...>  
8 валяется от хохота<...>  
10 сын <ходжи>  
14 с большими красными астрами<...>  
18 он считает своих возлюбленных<...> И все по вероиспо-  
ведениям и национальностям<...>  
26 Все громко захохотали<...> Зельха запрыгала на ди-  
ване<...>  
28 были так смышлены и лукавы<...>  
29 менял интонацию и самый голос<...>  
31 притворялся таким дьявольски тихим.<...>

### С. 759

- 10 были лучше всех<...>  
23 — Э! Зельха.<...> Что ты сидишь?<...> Давай поль-  
ку танцевать à la français.<...>  
33 содрогнулся от ревности.<...>

### С. 760

- 15 ее обнял<...>  
16 и заболело сердце.<...>

- 23 и золотою бахромой.<...>  
28 смотри теперь<...>  
31 и как будто <со смелостью и> даже с любовью<, > мне  
казалось<,>

С. 761

- 12 никогда не рвутся<...> Я всегда их ношу<...>  
30 казалось мне, опасный<...>  
32 с ямочками на щеках<...>

С. 762

- 7 покраснел, говоря это<...>  
27 <ч>тò я сделал, скажи...

С. 763

- 2 презренный порностасион делать!  
прим. Место разврата. — *Порностасион.* —  
9 Он ее ревнует<...>  
15 это стыдно тебе<...> Зачем ты так ревнуешь<...>  
16 <ч>тò я тебе скажу!  
17 еще мал и боязлив<...>  
19 старого дервиша сын<...>  
23 выкинуть вон на улицу<...> <С тремя кавассами> бу-  
дешь паликарство ты свое показывать<...>  
24 А не то я сейчас пойду<...> к господину Благову...

С. 764

- 29 Нет! <н>ичего не было видно.

С. 765

- 2 Зельха вдруг преобразилась.<...>  
6 в своем ребяческом очерке.<...>  
15 движении ее головки!<...>  
29 начала звонить и плясать<...>  
30 лучше чем <полгода> тому назад.  
35 вместе как тогда<...>  
35 достигала совершенства<...>  
36 обучила ее мать<...>

С. 766

- 6 вздыхал о чем-то<...>  
11 пред <самым> Рауф-пашой  
14 почти касалась пола<,> потом

- 16 кланялась властелину в ноги<...>  
28 и лицо его светилось <хорошим огнем...>

С. 767

- 28 на его щечках<...>  
30 Да, ей особенно<...>

С. 768

- 8 Боже... <Христос и Панагия,> как грустно!  
9 все идет у него хорошо<...>  
10 пригласил этого Леонардо<...>  
12 берет скрипку <и смычок> под мышку  
34 очень рад<...>  
36 эти европейские танцы<...>

С. 769

- 11 и с меркой в кармане»)<...>  
13 посылать за старым Какачио не надо<...>  
18 сверкали <весь вечер> чрез перила  
25 как в той комнате<...> где я мучился ревностью<...>  
31 Зельха, начинайте<...> Voyons... **Я сам умею играть на скрипке.**  
35 Но ее уже не было<...>

С. 770

- 2 выйти в зал<...>  
8 и плясать не может<...>  
18 в полутемной большой гостиной<...>  
20 и грустно задумался<...>

С. 771

- 3 <э>то Француз... <э>то Немец... <э>то вот тот большой  
5 Я тебя очень люблю<...>  
6 эти два маленьких золотых<...>  
8 остальное золото)<...>  
9 кузум Одиссей<...>  
26 быть в сетях сатаны<...>  
30 и опять считала<...>  
34 сборщик десятины у нас<...> Он всех нас обирает<...>  
С ним я боюсь уж играть<...>

С. 772

- 6 «Иди сюда<...> иди со мной<...> консул

С. 773

- 17 Бедная Зельха моя!⟨...⟩  
26 на одном и том же почти месте⟨...⟩

С. 775

- 5 угроза не подействовала⟨...⟩  
19 взяли верх над городстью⟨...⟩

С. 776

- 4 как будто бы ⟨с⟩ сердцем поют  
17 нарумянен⟨,⟩ стыдливый  
19 неловко кокетничает⟨...⟩  
20 он Европеец⟨,⟩ он  
22 под мышкой инструмент...  
23 поют и уходят⟨...⟩  
25 очень румяная и неловкая девушка⟨...⟩  
29 и шум толпы⟨...⟩  
31 пьет кофе и курит⟨...⟩ как бы всенародно показывая  
ему уважение⟨...⟩  
37 грех по вашей вере⟨...⟩

С. 777

- 1 смиренно, **но** с достоинством  
3 огражденное фирманами⟨...⟩  
16 ⟨Но я⟩ все хвалю и все славословлю в этот прият-  
ный день⟨.⟩  
28 за то, что он добрый семьянин⟨,⟩ он только что

С. 778

- 11 последним не хочешь ли быть⟨...⟩  
12 Феим-бей раз, наш два, а ты последний⟨...⟩  
17 и уносит ее куда-то⟨...⟩  
22 ⟨в⟩ каком волнении⟨...⟩ ⟨р⟩евную  
24 не помню⟨;⟩ ⟨н⟩о помню  
32 подбирал полы моей шубки⟨...⟩ Она была ему длин-  
на⟨...⟩  
35 не видали меня⟨...⟩  
37 то что̀ понимал давно⟨...⟩

С. 779

- 5 и позвал ее⟨...⟩  
6 припал к щели⟨...⟩

- <sup>6</sup> она долго ждала<...>  
<sup>7</sup> На лестнице и наверху  
<sup>29</sup> смутился помыслами<...>  
<sup>35</sup> Я встал и зажег свечу<...> Все было тихо<...>  
<sup>36</sup> во всем просторном доме этом<...>

С. 780

- <sup>1</sup> Это дверь там...

С. 781

- <sup>9</sup> комнату, освещенную **луной** и, конечно

С. 782

- <sup>6</sup> уже улыбаясь мне немного<...>  
<sup>29</sup> Он холодный человек... Суук-адам!

С. 783

- <sup>8</sup> в нашей большой зале<...>  
<sup>9</sup> в дальнем углу залы<...>  
<sup>26</sup> <пред трагической> смертью <своей> битву **своих** войск  
с войсками султана и свое поражение<...>  
<sup>32</sup> ярко освещало их<...>

С. 784

- <sup>1</sup> и слышались его тихие и ровные шаги.  
<sup>20</sup> освещенный и большой лампой <и месяцем>, и свечкой  
<sup>24</sup> и треножники с картинами<...> и большой портрет  
<sup>27</sup> что я так близко<...>

С. 785

- <sup>37</sup> я думал как жестоко отмстила ему за меня эта Зель-  
ха<...>

С. 786

- <sup>6</sup> ни золото<...> ничто это  
<sup>14</sup> которое я мог ей предложить<....>

С. 788

- <sup>3</sup> исчезла из дома<...>  
<sup>28</sup> «Да, геронта мой! <э>то так!

С. 789

- <sup>16</sup> довольно выгодною невестой<...>  
<sup>34</sup> без прикрас изображаю<, > <и> еще прибавлю

С. 790

- 20 почтительное и <невероятное> сострадание  
 24 страдал за него... и стыдился<...>  
 31 <я> видел портрет **его матери**<...> <я> видел *те* листи-  
 ки осенние; я видел синий бархат той книжки  
 37 ровен, тих<...>

С. 792

- 4 так долго было им **до возвращения в Эпир** номиналь-  
 но занято  
 7 в коммерческой и тяжёлой борьбе!... **И что будет те-  
 перь со мной самим?**

С. 793

- 15 и пристыжен ею<...>  
 16 счастливым соперником<...> <к>ак будто я не видал его  
 бурнуса?...  
 19 сфинкс<, > — сверх того

С. 794

- 19 у открытого окна.<...>  
 24 Polichroniadéss  
 31 на вершине тучной и усуренной горы...  
 33 Я не смеюсь<...>

С. 795

- 2 под русским флагом<...>  
 35 <о>, стыд и горе!....

С. 796

- 11 что-нибудь важное<...>  
 12 бросил меня теперь Благов<...>  
 13 ему угодны<...>  
 16 когда тебе это приятно<...>  
 29 <н>о может быть  
 34 этой жертвы личной приязни<...>

С. 797

- 7 Добрый час<...> <х>ором и с чувством говорили мы все.  
 9 исчез за углом<...>  
 10 пустом теперь доме<...>  
 12 в нашу красивую приемную<...>  
 14 густые завесы<...>

- <sup>21</sup> и от варварства〈...〉 он вокруг  
<sup>22</sup> служителей Царских, друзей моих〈...〉  
<sup>26</sup> теперь мне не страшны〈...〉  
<sup>32</sup> Мне жаль Исаакидеса〈...〉 Мне стыдно пред ним  
 〈...〉

С. 798

- <sup>15</sup> канцелярии; 〈но〉 за то

С. 800

- <sup>23</sup> как простой хамал〈:〉 ситцы и сукна

С. 801

- <sup>3</sup> не тревожь напрасно; 〈—〉 не обременяй  
<sup>14</sup> уже 〈надломанного〉 судна

С. 802

- <sup>2</sup> 〈()К тому же ~ где!()〉

С. 803

- <sup>34</sup> — 〈Эй〉 в'аллах!

С. 812

- <sup>13</sup> суровый мущина〈...〉

С. 815

- <sup>1</sup> овраге, 〈чрез〉 который

С. 817

- <sup>26</sup> к Янине, 〈чрез〉 небольшое ущелье.

С. 819

- <sup>4</sup> параклиса\*<sup>37</sup> ~ Широчайшей 〈н〉ебес

\* Особый придел; маленькая церковь [чаще] за селом чем за городом, в которой служат редко, только в определенные дни.

С. 820

- <sup>20</sup> около чулка 〈черная〉 кошечка.

---

<sup>37</sup> В СС примечание автора отсутствует



## ПРИМЕЧАНИЯ К «ОДИССЕЮ»

### С.827

- <sup>9</sup> Читал *вписано над зачеркнутым*: Знаю  
<sup>24</sup> после тяжбы *зачеркнуто*: взятый  
<sup>25</sup> после в Турции *зачеркнуто*: и взят мною

### С. 828

- <sup>10</sup> после слово *начато и зачеркнуто*: С  
<sup>11</sup> после в том *зачеркнуто*: же  
<sup>25</sup> после и без *зачеркнуто*: этого

### С. 829

- <sup>15</sup> после лишь *зачеркнуто*: на основан(и)  
<sup>18</sup> 11-е написано после того же *зачеркнутого*

### С. 830

- <sup>15</sup> Вспоминая *написано после зачеркнутого*: только  
<sup>17</sup> после А *начато и зачеркнуто*: ру(сским)  
<sup>22</sup> после все *зачеркнуто*: мы  
<sup>28</sup> после затрудняет *зачеркнуто*: Для рус(ских)  
<sup>32</sup> и *вписано над зачеркнутым*: но  
<sup>36</sup> догадается *написано после зачеркнутого начала того же слова*

### С. 831

- <sup>35</sup> после сватовства *зачеркнуто*: то

### С. 832

- <sup>4</sup> после и *зачеркнуто*: об одном  
<sup>11</sup> чиновников. — Дрался *вписано над зачеркнутым*: диван-эффенди-Си

- 14 *после он зачеркнуто: зятем Арифа мутер мутесарифом;*  
27 *после танцовал с зачеркнуто: Христиан⟨ками⟩*

С. 833

- 5 *вступления вписано над зачеркнутым: начала*  
17 *после многие зачеркнуто: Турчанки*  
21 *после похоже ли зачеркнуто: NB*

С 834

- 6 *после Характер же зачеркнуто: этот*  
14 *должна вписано над тем же зачеркнутым словом*  
38 *после с беем и зачеркнуто: напр⟨имер⟩*

С. 835

- 10 *перед беем зачеркнуто: Шериф*  
11 *после при мне была зачеркнуто: Я вследствие*  
12 *над словом подданного начато и зачеркнуто: наш⟨его?⟩*  
13 *после но зачеркнуто: я*  
15 *фальшивые написано после того же зачеркнутого слова*  
18 *после с натуры зачеркнуто: См. Глава*  
19 *после «Камне Сизифа» зачеркнуто: Глава и оставлено место*

С. 836

- 1 *Фа написано после того же зачеркнутого*  
7 *после и по-русски начато и зачеркнуто: зн⟨ающий⟩*  
14 *после «По духу» зачеркнуто: опять так⟨и⟩*  
18 *ошибка написано после зачеркнутого начала того же слова*  
37 *Слыхал написано после того же зачеркнутого*

С. 837

- 3 *фа написано после зачеркнутого: «и*  
7 *знал написано после зачеркнутого: не*  
24 *после 60-х годов зачеркнуто: с*

С. 838

- 3 *Опять написано после того же зачеркнутого*  
18 *разных написано после зачеркнутого начала того же слова*

С. 839

- 6 *после Так ли зачеркнуто: это*

15. у Ону после а в зачеркнуто: Вашем смысле  
20 6 и 7) написано после зачеркнутого в предыдущей строке: 6)

С. 840

- 7 у Ону после Суццо зачеркнуто: оди(н)  
16 после Списано зачеркнуто: к сожалению что  
23 после Но, зачеркнуто: что

С. 841

- 16 могло вписано над зачеркнутым: может  
25 у Ону после 18) зачеркнуто: свящ(енный)  
30 над фа зисис рукой Ону вписано: на

С. 842

- 10 перед знает зачеркнуто: не

С. 843

- 1 31) написано после зачеркнутого в предыдущей строке: 13  
10 под словом «ахтиар» Ону подписал: иктиар

С. 845

- 18 этого написано после того же зачеркнутого

С. 846

- 4 после было зачеркнуто: сказать это  
21 у Ону перед элет зачеркнуто: вилает

С. 847

- 4 Сирма написано после зачеркнутого начала того же слова

С. 848

- 30 Ницой вписано после зачеркнутого: Ницц

С. 849

- 16 после Слышал, зачеркнуто: что  
23 после Почему зачеркнуто: эф

С. 851

- 13 заранее вписано над зачеркнутым: давно  
25 перед словом джана зачеркнуто: Сана  
стихотворение написано рукой неустановленного лица

# КОММЕНТАРИИ

## ОДИССЕЙ ПОЛИХРОНИАДЕС (ВОСПОМИНАНИЯ ЗАГОРСКОГО ГРЕКА)

Автограф неизвестен.

Датируется 1873—1878 гг.

Впервые: Мое детство и наша семья (Воспоминания Одиссея Полихрониадеса, загорского грека) // *РВ*. 1875. № 6. С. 536—605. № 7. С. 199—265. № 8. С. 489—549. Мои первые испытания и успехи, соблазны и дела (Воспоминания Одиссея Полихрониадеса, загорского грека) // *РВ*. 1876. № 1. С. 58—125. № 2. С. 567—625. № 3. С. 107—176. Камень Сизифа (Еще из воспоминаний Одиссея Полихрониадеса, загорского грека) // *РВ*. 1877. № 8. С. 815—847. № 10. С. 589—616. № 11. С. 270—317. № 12. С. 512—559. 1878. № 7. С. 410—447. № 8. С. 853—880. № 9. С. 267—302. № 10. С. 542—604. Я купец! (Отрывок из воспоминаний Одиссея Полихрониадеса, загорского грека) // *РВ*. 1882. № 8. С. 699—721.

Подпись: К. Леонтьев.

Вошло в *ИЖХ* (Т. II. С. 117—390. Т. III). В т. II помещены первые две части *РВ* с выделением новой, ставшей второй — «Наш приезд в Янину»; VII глава первой части стала VII и VIII-й; X глава первой части стала второй главой второй части.

Вошло в *СС* (Т. IV), за исключением XI—XXXV глав «Камня Сизифа».

Не переиздавалось.

Печатается по тексту *СС* с исправлениями, «Камень Сизифа» — по экземпляру с авторской правкой (из собрания А. Ф. Маркова<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> Выражаем особую признательность московскому библиофилу Анатолию Федоровичу Маркову, любезно предоставившему нам принадлежащий ему авторский экземпляр «Камня Сизифа» для работы над этим томом. Об этой книге см.: *Марков А.Ф.* Заметки библиофила. Неучтенная правка Константина Леонтьева // *Книга. Исследования и материалы*. Т. 70. М., 1995. С. 226—233.

Роман «Одиссей Полихрониадес», завершивший цикл «Из жизни христиан в Турции», Леонтьев считал главным своим созданием в беллетристике. «Что я сделал? — писал он в 1886 г. Т. И. Филиппову. — Судя по отзывам людей весьма разнообразных: едва ли «Одиссей Полихрониадес» ниже «Обрыва» и «Обломова» (ЛН. Т. 22—24. С. 473).

Роман начат в Турции, что отмечено Леонтьевым в «Хронологии моей жизни»: «73-й Новый год в Царьграде (...) Кады-Кей (Пишу начало Одиссея) (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1008. Л. 5—6). Это было первое обращение к «крупной форме», да и к беллетристике вообще, после сожжения эпопеи «Река времен» (1871 г.) и года жизни на Афоне. «Такой обширный, объективный труд требовал большого досуга воображению; — рассказывал Леонтьев в 1875 г. в «Моей литературной судьбе», — нужно (...) обдумывать беспрестанно все, даже самые внешние обстоятельства, иногда и вовсе придумывать их, сообразуясь с местностью и другими возможностями. Героя я выбрал неудобного (...) Все изображается тут не русское (...) К тому же разнообразных лиц — турок, греков, европейцев в Одиссее много» (ЛН. Т. 22—24. С. 433).

Задуман «Одиссей» был еще до переезда в Царьград, даже до Салоник, — возможно еще в Янине (в этом городе и происходит действие), вскоре после приезда из Тульчи.<sup>2</sup> Об этом свидетельствует то, что в марте 1873 г. Леонтьев сообщал племяннице о своей работе, упоминая об этом произведении, как о вещи, ей известной: «...Я отправил в редакцию еще начало Восточного большого романа *Одиссей Полихрониадес* (помнишь о молодом Греке и Тульчинской Еврейке)» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 50).

Как это было свойственно Леонтьеву, большинство персонажей и сюжетных линий романа имели реальную жизненную основу. Так, один из главных героев, консул Благов, по признанию автора, «как бы составлен из Ионина, Хитрова<sup>3</sup> и разумеется меня самого» (ЛН. Т. 22—24. С. 433). Другой консул, Н. Д. Ступин, описан в «эпирской хронике (...) под именем Бунина»: «Об этом Буinine рассказывает некто Хаджи-Хамаджи, фракийский купец и

<sup>2</sup> Тульчинские впечатления также нашли отражение в романе.

<sup>3</sup> Александр Семенович Ионин (1837—1900) был консулом в Янине до Леонтьева; Михаил Александрович Хитрово (1837—1896) — первый секретарь посольства, а затем генеральный консул в Константинополе.

оратор. Хаджи-Хамамджи тоже лицо, без прикрасы списанное с действительности. Это точно был *фракийский* негодник Хаджи-Кириаджи, родом фессалиец, и один из самых приятных, добрых, умных и занимательных греков, известных мне в Турции. Он был богат и, несмотря на легкомыслие свое, доходившее иногда до ребячества, благодаря уму, начитанности своей и богатству, был очень влиятелен» (СС, IX, 270).<sup>4</sup> Образ доктора Коевино, напоминающий доктора из повести «Пембе», навеян одним из немногих близких Леонтьеву собеседников из янинских греков — врачом с европейским образованием, о котором вспоминала М. В. Леонтьева (Т. 3. С. 732). Прототипами Ариф-паши стали генерал-губернатор Янины Ахмет-Расим-паша,<sup>5</sup> а в некоторых эпизодах — адрианопольский Рауф-паша (см. прим. автора на с. 703). Прообразом танцовщицы Зельхи была янинская цыганка Пембе (см. Т. 3. С. 731—732), о прототипе Исаакидеса Леонтьев упомянул в «Примечаниях к „Одиссею“» (с. 835).

Даже у эпизодических героев, возможно, были реальные прообразы. Так, появляющийся в финале романа Бранкович (его линия не доведена до конца; ср. в разделе «Фрагменты черновой

---

<sup>4</sup> Хаджи-Кириаджи также послужил прототипом Хаджи-Петро в повести «Хризо» и Джимопуло в повести «Пембе» (см. Т. 3. С. 732). Упоминается он в мемуарах К. А. Губастова (РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 36 об.) и в письме И. А. Иванова от 1872 г., в котором названо также еще одно имя, использованное в романе — Алеко (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 129. Л. 5).

<sup>5</sup> «Еще занимательный посетитель К. Н—ча был губернатор Янины Ахмет Расим Паша. — Ему было лет под сорок, но он не был вполне „старым“ турком по понятиям. Многому европейскому в складе жизни сочувствовал, а к русским имел симпатию; прежде он служил на Дунае и ему нравились русские липоване-раскольники. И женщин русских хвалил за отсутствие в них лукавства и хитрости. — На Дунае полюбил чай. — Несмотря на свое официальное положение — он не менее раза в месяц посещал К. Н—ча; подавался самовар и он с К. Н—че(м) беседовали за чаем с захода солнца и за полночь. — Он, как и грек-доктор, совершенно свободно говорил французским языком, хотя и не „по-французски“. — К. Н—ч с ним охотно беседовал и всегда рад был его посещению, и сам у него бывал также запросто» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 37). Ахмеда Рассим-пашу как «хорошего» и «справедливого» человека вспоминает в своем письме к Леонтьеву бывший тульчинский консул А. Н. Кудрявцев (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 164. Л. 2 об.).

редакции» с. 858) вызывает в памяти упоминание в статье «Грамотность и народность» об одном тульчинском знакомом Леонтьева: «Один весьма ученый, образованный и во всех отношениях достойный далмат, чиновник австрийской службы...» (СС, VII, 52). Речь здесь идет об австрийском консуле Е. Висковиче.

О прототипе героя-повествователя Леонтьев не упоминал. Однако он никогда не опровергал В. В. Крестовского, поведавшего в *РВ* о «курьезной встрече» во время русско-турецкой войны с греком-доктором Одиссеем Полихрониадесом, который «в юности жил в Янине, много странствовал» и «знавал» в числе других русских Леонтьева. Узнав о том, что его имя «известно множеству грамотных людей в России» и «принадлежит герою {...} целой прелестнейшей эпопеи из эллинского быта», доктор был несколько смущен и поинтересовался, «в каком свете представлен герой этого романа». «В самом симпатичном...» — отвечал ему автор («Из воспоминаний о минувшей войне» // *РВ*. 1879. № 5. С. 203—205). В 1885 г. Леонтьев даже высказывал свое огорчение тем, что Крестовский не включил этот эпизод в отдельное издание своих военных очерков (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 111; речь идет о книге «Двадцать месяцев в действующей армии (1877—1878)», вышедшей в 1879 г.).

Возможно, эта сценка, описанная Крестовским, не вымышлена. Некий Полихрониадес и его сын Георгаки (Ергаки)<sup>6</sup> упоминаются в письмах к Леонтьеву секретаря консульства в Янине И. П. Крылова от 24 июля и 7 августа 1870 г. (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 162. Л. 13 об.—14, 18 об.). Полихрониадес неоднократно приходил в русское консульство с просьбами о помощи: за долги должен быть продан его янинский дом, нужны были деньги для того, чтобы отправить Георгаки в Одессу. Правда, по характеру реальный Полихрониадес совсем не похож на отца Одиссея: «...Соорудив прежалкую мину начал жаловаться на свою старость и повел бесконечную речь о Мантаки и о том какой он мошенник. Я смекнул в чем дело, — и не обманулся» (Л. 13 об.).

«Тульчинская еврейка», упомянутая в приведенном выше письме к М. В. Леонтьевой, в романе не появилась; вероятно, она — по замыслу — должна была сделаться второй женой главного

---

<sup>6</sup> Ср. в романе отца главного героя зовут Георгием (Йоргаки). Еще об одном возможном прототипе Одиссея см. в преамбуле к «Примечаниям к „Одиссею“» (с. 1029—1030).



героя (ср. с. 8 и 235), но роман остался незавершенным и повествование не доведено даже до первой его женитьбы.

История создания и публикации романа может быть достаточно подробно прослежена по переписке Леонтьева 1870-х годов.

«...Когда я жил в Константинополе в 72 и 73 году, — я <...> посоветовал себе сам *уступить*. — Я сказал уже тогда в письме покойному Павл(у) Мих(айловичу) Леонтьеву, что начну вещь более *грубую, для денег*;<sup>7</sup> — я выразил(ся) так, я помню: „это будет товар более *модный*“ — Эта грубая вещь — была *Одиссей*. — Я начал ее почти с презрением. — Я пренебрегал прежде, напр., *характерами*, этнографией, ясным изображением быта, отвергал подробности и гнался за *внутренней музыкой* какой-то <...> В *Одиссее* — я разом <...> изверг все это и типы и этнографию и выпуклость подробностей... Я переступил, быть может, за нужные пределы, утратил то *чувство меры*, о котором Вы говорите<sup>8</sup> — и в то же время — не насытился, не исчерпал себя, не истощил не только этого «океана» моих воспоминаний и проектов, но и одн(ой) *Эпирской жизни моей*. — *Одиссей* — уступленная вещь, это *продажа эстетической совести* за деньги, которые стали нужнее после выхода в отставку <...> И вот эта продажность совести, эта уступка — грубости вкусов — доставила впервые мне некоторый успех... Удостоила меня хотя бы напр., *вашего внимания*» (Письмо Вс. С. Соловьеву от 18 июня 1879 г.; РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 32—32 об.).

Письмо, о котором вспоминает здесь Леонтьев, было написано, вероятно, осенью 1872 г. 13 декабря П. М. Леонтьев ответил от имени редакции *РВ*: «...Мы с нетерпением ожидаем Вашего Восточного романа, и охотно поместим его вскоре по получении. Хорошо было бы если бы Вы доставили первую половину (буде она отделана окончательно), а за этим не замедлила и вторая» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 1).

В марте 1873 г. в Москву были посланы первые главы произведения. 24 марта, получив благоприятный ответ от П. М. Леонтьева на свою телеграмму, автор «Одиссея» пишет, что намерен

---

<sup>7</sup> Леонтьев был должен Каткову 4000 рублей, роман печатался в уплату этого долга. См., напр., письмо Н. Н. Страхову от 16 июля 1875 г. (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 49 об.—50).

<sup>8</sup> Ответ на упрек Вс. Соловьева в письме от 12 июня 1879 г.: «В произведениях Ваших <...> нет одной очень существенной вещи, — нет того, что называется *цельностью* или, вернее, *чувством меры*...» (ЛН. Т. 86. С. 483).

«трудиться сколько есть сил» и обещает: «Для майской книжки журнала Вашего я пришлю еще 5 глав романа; полагаю выслать их в последних числах апреля» (РО ИРЛИ. 4778. Л. 3). Все лето он ожидает начала публикации. В сентябре, по его поручению, к П. М. Леонтьеву отправляется приехавший в Москву К. А. Губастов. В письме последнего от 18 сентября подробно рассказано об этом визите. Приведем лишь фрагмент, связанный с «Одиссеем»: «„Полихрониадес“ Ваш не печатается до тех пор пока не получено будет окончание 1-й части. Несмотря на мои уверения, что 1-я часть уже совсем у Вас окончена, Леонтьев спорил, что они не могут изменить своим правилам. Торопитесь же как можно скорее выслать оконченные у Вас главы, ибо это есть единственная задержка и Леонтьев положите(льно) будет упорствовать на своем» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 68).

20 декабря в письме своему однофамильцу Леонтьев вновь осведомляется о судьбе «Одиссея» (РО ИРЛИ. 4778. Л. 6 об.).

8 апреля 1874 г. П. М. Леонтьев, объясняя отказ редакции опубликовать «Афонские Письма», противопоставил этому произведению «Одиссея»: «Напротив, роман с местным колоритом, написанный Вашим пером, наверное найдет читателей во множестве. Как бы достигнуть того, чтоб у Вас лежало сердце к этой работе?» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 7; последняя фраза отчеркнута Леонтьевым на полях). В этом же письме была высказана просьба не затягивать «беллетристические работы»: «Для редакции весьма важно иметь оконченную вещь прежде чем печатать ее» (Там же).

Племянница Леонтьева вспоминала: «Еще в К(онстантино)поле начал К(онстантин) Н(иколаеви)ч повесть из Греческой жизни *Одиссей Полихрониадес*; — эту зиму [1874—1875 — ред.] он почти до нее не дотрогивался» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1048. Л. 8).

Дело обстояло не совсем так. В августе 1874 г. в Оптиной Пустыни Леонтьев начал писать вторую часть «Одиссея», до отъезда в Калугу написал только две главы (Моя литературная судьба // ЛН. Т. 22—24. С. 433—434). Первая часть давно находилась в редакции; Леонтьеву было обещано, что роман начнут печатать в ноябрьской книжке, это не было сделано. («Одиссея начнут печатать завтра», — писал он 1 октября кн. К. Д. Гагарину) (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 2 об.).

7 декабря Леонтьев писал одному из сотрудников РВ И. Ф. Красковскому: «А из 2-й части *Одиссея* я через 2 недели довольно много пришлю. — Если они желают, чтобы я скорей

кончал, то очень просто: пусть не держат рукописей по 6 месяцев в столе. — Как только увижу 1-ю часть в печати, сейчас и естественно прихочусь больше и 2-ю продолжать. — А то право уныние нападет хоть на кого — писать, писать и 2 года не видеть ни строки своей в печати!» (ОР РГБ. Ф. 141. К. 1. Д. 21. Л. 4). В другом письме Красковскому Леонтьев восклицает: «Печатается ли „Одиссей”?, наконец!» (Там же. Л. 7 об.).

В письме от 10 января 1875 г. П. М. Леонтьев сообщил о намерении редакции помещать «Одиссея» со второй книжки журнала. «Мы могли бы поместить его в 1, но в ней необходимо дать место драме Писемского» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 8 об.). Здесь же он просит автора «энергично взяться за продолжение *Одиссея* и если найдется возможность, не очень его растягивать, дабы напечатать сполна в нынешнем году» (Там же).<sup>9</sup> Первая часть романа была опубликована в летних книжках «Русского вестника». Точнее — тогда это были первые главы повести «Мое детство и наша семья».

Сразу после этого, 13 сентября, секретарь редакции журнала К. Н. Цветков пишет Леонтьеву: «Редакция покорнейше просит Вас доставить продолжение; может статься Вы найдете возможным прислать хотя несколько для ближайшей книжки» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 275. Л. 1).<sup>10</sup> В письме от 6 октября он повторяет просьбу «о скорейшей высылке первых глав 2-й части *Одиссея*». Приведем большой фрагмент этого письма, свидетельствующий о том, как в тот период журнал Каткова был заинтересован в приобретении беллетристики Леонтьева. «Вы вы-

---

<sup>9</sup> 15 января 1875 г. Леонтьев сообщает К. А. Губастову: «На днях получил от П. М. Леонтьева записку, что *Одиссей* и *Болгарский* вопрос уже набираются в типографии. — Но, здесь я узнал по секрету, что это еще не значит — все кончено...» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 5 об.).

<sup>10</sup> Леонтьев считал, что это письмо было вызвано появлением статей В. Г. Авсеенко в «Русском мире» (письмо Губастову от 1 октября 1875 г.; РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 17 об.—18; то же в письме Н. Я. Соловьеву: ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 59. Л. 8). Ср. в «Моей исповеди»: «...Катков под влиянием этих Петербургских похвал образумился и письменно предложил мне продолжить тот роман (*Одиссей Полихрони(дес)*), которого начало было ему привезено из Турции» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 42).

ражаете желание, чтобы рукопись по получении не задерживалась в редакции, а печаталась тотчас же. Могу Вас уверить, что в этом же состоит также желание редакции {...} Вообще, на последние месяцы нынешнего и первые будущего года у нас предвидится обилие беллетристики, и говоря откровенно, я не ручаюсь, что присылка 2-й части *Одиссея* в декабре или январе не застанет редакцию среди колебаний: что пустить раньше, что позже. Между тем как время, когда я писал Вам, было самое благоприятное для ее начала; а раз начавшись она естественно продолжалась бы и в других книжках, не возбуждая никаких колебаний. В то время, т. е. три недели тому назад, я имел приказание в случае получения Вашей рукописи, сдать ее тотчас же в Типографию. Время это не ушло еще и теперь, и если ответом на мое письмо будет получение от Вас начала 2-й части, листа на 3—4 печатных, то я могу дать Вам обещание, что оно будет напечатано или в октябрьской или в ноябрьской книжке — в зависимости от времени получения» (Там же. Л. 3—4).

Благоприятный момент был упущен. Ответил Леонтьев поздно, 20 октября, и вторая часть, конечно, еще не была готова. 26 октября Цветков вновь писал ему: «...Октябрьская книжка *Русского Вестника* уже вышла {...} Теперь готовится материал для ноября. Вы обещаете прислать продолжение *Одиссея* в первых числах будущего месяца, не позднее 15-го. Редакция поручила мне просить Вас сколь возможно ускорить присылку. Не найдете ли Вы возможным по получении настоящего письма выслать хотя бы часть того что Вы назначаете для ноябрьской книжки, определив время доставки остальных глав. Таким образом набор мог бы начаться без задержки» (Там же. Л. 5).

24 декабря из Калуги Леонтьев написал Губастову о том, что Каткову «послал 12 новых глав *Одиссея*, которые в 10 раз лучше 1-й части. Он хотел печатать их с октября; но, видно, Авсеенко превозмог меня {...} и вместо *Одиссея* в *Вестнике* бледно мерцает его „Млечный Путь“» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 31 об.).

Отправка новых глав состоялась еще в ноябре: 22 ноября датировано письмо секретаря *РВ*, С. Назаревского, сопровождающее препровождение 150 рублей «в счет за вторую часть романа «*Одиссей Полихрониадес*»» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 186. Л. 1).

Эти двенадцать и присланные позже пять глав публиковались в январе—марте 1876 года под названием «Мои первые испытания и успехи, соблазны и дела». В этом же году выходят второй

и третий тома «Из жизни христиан в Турции». В работе над романом наступает значительный перерыв. Но именно в этот период Леонтьев собирает материал для задуманного продолжения «Одиссея».

31 мая 1876 г. он пишет Губастову: «Ради Христа умоляю Вас — не смотря на крушение Турции велите извлечь мне все любопытное из архивов Янины за 62—63 год.<sup>11</sup> — 1) Каков Паша; 2) Род жалоб населения. — 3) Анекдоты картинные. — 4) Отражение тогдашних Сербских волнений на умы в Эпире. — А что Ионин преувеличивал все, это уж мое дело смягчить. — Уверять Вас, что *Государству* не будет никакой невыгоды от меня через это — не надо — Вы меня и мою на это осторожность знаете.

Что хотите — то и требуйте после с меня для куррьеров. — <...> А насчет Ионинских архивов я сказал это главное вот почему: — непременно надо постараться сделать 3-й часть Одиссея еще лучше 2-й и получить 1000 рублей...» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 45—46).

В начале января 1877 г. Леонтьев был в Петербурге и в Азиатском Департаменте «почитал немножко архивы Ионина» (письмо Губастову от 15 января; Л. 56 об.). «В Петербурге <...> я успел сделать кой-какие выписки из Янинского архива Ионина 61—62—63 годов. — Но вдруг заболел и уехал поскорей в Москву», — писал он 22 февраля (Там же. Л. 60).

Эти выписки, объяснял Леонтьев в том же письме своему другу, были нужны для работы над романом. «Но есть там (кажется в 63 году) переписка по делу Черногорки Марии; знаменитая в свое время Ионинская история, которая кончилась для Русск<ого> К<онсульст>ва весьма печально. — Я ее, случайно тогда, в Департаменте, читал; но интересные подробности, конечно, забыл. — А она мне для Одиссея, до невероятия, нужна» (Л. 60 об.). Леонтьев просил нанять кого-нибудь для переписывания этих дел. «Это доставит мне в Одиссее — листа 2 печатных...» История «черногорки Марии» в роман не вошла, однако могла отразиться в другом произведении — «Египетском голубе», где упоминается дело Милены, также закончившееся «весьма печально» для русского консульства.

15 января 1877 г. Леонтьев пишет Губастову из Москвы: «Здесь в Москве теперь те Розены, у которых я когда-то был

---

<sup>11</sup> Время действия в «Камне Сизифа».

врачом. — Они все убедительно зовут меня к себе на целый год кончать *Одиссея*. — А мне хочется поделить этот роковой (77-й) год между Оптиной пустыней и Кудиновым...» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 55 об.). Ср. с письмом Вс. С. Соловьеву, написанным в тот же день: Леонтьев упоминает в нем о возможной поездке «к старым друзьям {...} которые {...} зовут к себе на целый год кончать *Одиссея*» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 49).<sup>12</sup> «Вещественные расчеты громко вопиют в пользу отъезда к Розенам {...} И по сердцу и по правилам больше хочется к монахам, чем к старым друзьям!» (из письма Губастову; РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 55 об.—56). Выбор был сделан в пользу монахов, т. е. Оптиной.<sup>13</sup>

«Теперь я пишу 3-ю часть *Одиссея* (очень неохотно; не то в сердце)....» — сообщал Леонтьев Губастову 22 февраля 1877 г. из Оптиной пустыни (Там же. Л. 57 об.). Об этом же в письме от 2 августа из Кудиново: «Пишу *наильно*, с отвращением, но по благословению духовника 3-ю часть *Одиссея*...» (Там же. Л. 66 об.). 7 сентября 1877 г. он рассказывает Губастову о том, как проходит его обычный день. Вот что сказано о 10—12 часах утра: «Перечитываю новые главы *Одиссея*; думаю, что надо исправить и как бы не опоздать, и не испортить... На *Одиссея* одна надежда, чтобы % в банк за Кудиново в 78 году заплатить. *Иначе, прости последнее убежище!*

Согласитесь — есть о чем подумать...

{...} 12 часов. — Бросаю *Одиссея*. — Есть пока еще более спешные дела...» (Там же. Л. 71—71 об.).

Состояние Леонтьева во время печатания и одновременного дописывания «*Одиссея*» отражено в сентябрьских и октябрьских письмах к М. В. Леонтьевой. «1-ые главы *Одиссея* уже напечатаны, а я не в силах писать вот уже больше 2-х недель!..» (10 сентября; РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 4), «какая-то спутанность, растерянность ума мешала...», «пишу через силу» (17 сентября; Там же. Л. 9, 11). В середине сентября он посылает племяннице 12-ю и конец 13 главы романа (Там же. Л. 6). 22 сентября Леонтьев приезжает в Мещовск, здесь — помимо решения «вещественных» проблем — он рассчитывает написать недо-

---

<sup>12</sup> Приглашали его и на зиму 1877—1878 гг. Об этом см. также в письмах к М. В. Леонтьевой (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 9, 16) и в «Моей исповеди».

<sup>13</sup> «...Духовник не благословил; он благословил в Козельск...» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 64).

стающие полторы главы (Л. 13). 24 сентября, вернувшись накануне в Кудиново, он сообщает племяннице, что утром написал только 2 страницы, но надеется «к 10—12 октября, кончить Каткову те две главы, которые задержали все» (Л. 14).

«Одиссей почему-то не напечатан в сентябре» (Л. 19). 8 октября Леонтьев приехал в Москву. 20 октября Марии Владимировне было послано «еще несколько страниц „Одиссея“» (Л. 29). В октябрьской книжке было напечатано лишь 2 главы романа (много места заняла драма О. Голохвастовой), что облегчило Леонтьеву «дальнейшую работу: спешить очень не надо; будет и на ноябрь» (24 октября; Там же. Л. 21). В письме от 19 октября Леонтьев хвалит племянницу за хорошо сделанную копию (часть, предназначавшаяся для ноябрьской книжки) и отвечает на ее отзыв об этих главах: «Ты права, что *при дамах* будет веселее; но что делать! — Так уже сложился план; *дамы* появятся в обилии только в последних главах, так что читатель даже взбесится на меня (но это ведь очень лестно)» (Л. 30).

«Камень Сизифа» Леонтьев намеревался закончить к Рождеству (Л. 22). «Поутру (...) дописывал «Одиссея» к декабрьской книжке» (27 ноября; Л. 35). Случалось, что последние исправления вносились уже в типографии (Л. 36).

Третья часть все не кончалась. «...К январской книжке у меня *Одиссей* не совсем еще готов; так что надо будет волей-неволей по утрам писать все праздники» (10 декабря; Л. 40). Через три дня, 13 декабря 1877 г. Леонтьев пишет Н. А. Любимову: «Я полагаю, что *Одиссея*, если даже и по 4 листа всякий раз печатать — достанет на 3 первые книжки 78 года» (ОР РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 2471. Л. 1).

В это время его «отвлекает» от «Одиссея» писание статей («Враги ли мы с греками?», «Храм и Церковь» и др.) для «Русского мира», начало работы над «Моиими воспоминаниями о Фракии». «*Одиссея* кончу позднее», — пишет он Марии Владимировне 16 января 1878 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 43).

24 января 1878 г. перед отъездом в Петербург Леонтьев посылает ей «несколько отрывков из *Одиссея*». «Когда перепишешь их, держи их у себя, пока я тебе напишу, куда их выслать» (Там же. Л. 46—47).

Он намеревался продолжать работу в Любани, но это оказалось затруднительным: «...Переписка деловая весь пост у меня такова, что за *Одиссея* даже принимаюсь редко, несмотря на вещественную необходимость его кончить» (письмо Марии Владимировне от 4 апреля 1878 г.; Там же. Л. 64).

Только летом в Кудиново стало возможным закончить эту часть. «„Камень Сизифа“ опять катится в гору с июльской книжки Вестника. — Надеюсь, что я с ним развяжусь, наконец» (письмо Губастову от 6 августа 1878 г.; РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 83 об.).<sup>14</sup> 14 декабря 1878 г. Леонтьев пишет Вс. Соловьеву из Козельска: «Все лето я был очень занят, — оканчивал „Камень Сизифа“» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 43 об.).

Летом 1882 г. Леонтьев обнаружил забытый им фрагмент романа и подготовил его к публикации. 21 августа он писал О. А. Новиковой: «...в август(овской) книжке „Русск(ого) Вестн(ика)“ будет напеч(атан) новый эпизод из Записок Одиссея (он у меня давно лежал)...» (ОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр. 21. Л. 18 об.). 27 августа — об этом же: «...Случайно открыл у себя еще один довольно оживленный эпизод из *Одиссея Полихр(ониадеса)* и отдал его для августов(ской) книжки и получил 100 рубл(ей); (которые впрочем почти все ушли на уплату мелких долгов)» (Там же. Л. 20).

Первые отклики на роман появились еще в 1875 г. В. Г. Авсеенко в своих «Очерках текущей литературы» трижды обратился к новому произведению Леонтьева, веющему, по его выражению, «необыкновенною свежестью, теплотою и искренностью» (Рус. мир. 1875. № 125. 9 авг. С. 1). В первой статье (Рус. мир. 1875. № 96. 11 июля. С. 1—2) роман рассматривался на фоне «греческих» повестей Леонтьева, вспоминались и его романы 1860-х годов. В обзоре июльской книжки *РВ* Авсеенко сохраняет приподнятость тона в оценке романа. Правда, уже здесь критик указывает на некоторую растянутость повествования, а в третьей, сентябрьской, рецензии замечает, что жизнь, описываемая в «Одиссее», хоть и «полна своеобразного интереса», «не настолько богата содержанием, чтобы наполнить сотни страниц» (Рус. мир. 1875. № 153. 6 сент. С. 1). Леонтьев, между тем, в одном из писем Т. И. Филиппову сравнивал свой роман (по объему) с «Жиль-Блазом» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 5).

«Если бы произведение, подобное „воспоминаниям Одиссея Полихрониадеса“ появилось в Западной Европе, о нем все бы давно уже говорили и писали, оно выдержало бы сразу несколько изданий, переводилось бы в наших журналах и даже достоинства

---

<sup>14</sup> Ср. в письме от 30 октября: «„Камень Сизифа“ кончится (т. е. в печати) в декабре...» (Там же. Л. 84 об.).



его и значение были бы наверное преувеличены», — писал в «Русском мире» Вс. Соловьев (1876. № 98. 11 апр. С. 2). «Перед нами разнообразная и яркая картина совершенно неведомой нам жизни; перед нами проходят новые типы людей, совершенно живых, хотя и не сходных с окружающими нас. На всей этой картине лежит своеобразный местный колорит, из-за которого ни разу не выглядит автор-европеец. Полная объективность и понимание чужой жизни составляют огромное достоинство в подобном рассказе и признак истинного таланта» (там же).<sup>15</sup>

Совершенно иначе отнесся к этой стороне повествования А. П. Чебышев-Дмитриев (Экс). По его мнению, многие детали «прямо изобличают подделку», обнаруживая стоящего за Одиссеем автора-европейца, за ребенком — взрослого. «За мальчика-Одиссея говорит сам г. Леонтьев». (Новое время. 1875. № 205. 14 авг. С. 1).

М. А. Загуляев в отзыве на вторую часть «Одиссея» отметил верность тона повествования, глубокое знание темы и «непредвзятость» автора (*L.V. Les revues russes // Journal de St.-Petersburg*. 1876. № 56. 29 fevr. (12 mars). Р. 2).

После выхода второго и третьего томов *ИЖХ* в «Санкт-Петербургских ведомостях» была опубликована рецензия В. М. (В. В. Маркова) на повесть «Дитя души» и первые части «Одиссея». Оба произведения показались критику растянутыми и чрезмерно назидательными (не устраивала, как видно, открыто декларируемая православная мораль): «В авторе везде виден человек весьма благообразного образа мыслей...», «благочестие и патриотизм заявляют себя беспрестанно» (*СПбВед.* 1876. № 230. 21 авг. С. 2). Герои «довольно однообразны и бледны», в романе «не выступает никакой значительной серьезной идеи». Единственную ценность, по мнению рецензента, представляют «те страницы, где очерчиваются обычаи и нравы Востока» (там же).

С последним замечанием согласился бы рецензент «Голоса», давший достаточно высокую оценку восточным повестям, избежав тем самым разговора собственно о новой части романа — «Камень Сизифа». (1877. № 230. 29 сент. С. 1). В этом произведении, заметил он, главный интерес вызывают «типы» и быт.

Сочинениями, утонувшими «во множестве подробностей, бесполезных для главной завязки», назвал романы Леонтьева и П. И. Мельникова-Печерского («На горах») обозреватель «Со-

---

<sup>15</sup> См. также: Вс. С—в [Соловьев]. Современная литература // Рус. мир. 1876. № 46. С. 2. № 51. 22 фев. С. 1—2.

временных известий» L. V. (возможно, Загуляев) (Совр. известия. 1877. № 337. 7 дек. С. 2).<sup>16</sup>

Появление продолжения романа — «Камень Сизифа» (воспринятого как отдельное произведение) — вызвало новый ряд отзывов. В январе 1878 г. вышли рецензии Авсеенко и Евг. Маркова. Авсеенко в «Русском мире», сославшись на свои прежние отзывы о повестях Леонтьева, еще раз подтвердил, что отдает «полную справедливость художественному дарованию автора, его в высшей степени симпатичной манере и тонко щеголеватой иронии...» (W. Литературное обозрение // Рус. мир. 1878. № 13. 15 сент. С. 1). Правда, эта похвала в конце рецензии как будто ставится под сомнение из-за того, что на первый план выдвигается так сказать «общественное значение» леонтьевской беллетристики: «...Высокое значение совершающегося в наши дни на Балканском полуострове сообщает рассказам г. Леонтьева особый интерес, независимо от их литературного достоинства» (там же).

Второй рецензент, Евг. Марков, заявил о странности формы «Камня Сизифа» — то ли воспоминания (растянутые, с обилием подробностей), то ли записки, то ли «роман, создание фантазии». Высказывается даже легкий намек на то, что автор представил читателям чей-то подлинный дневник: «Признаёмся, читая „Камень Сизифа“, мы никак не могли рассеять иллюзии, что весь рассказ автора от слова до слова, есть не что иное, как страницы дневника. Это очень лестный признак для творческой силы г. Леонтьева, если мнимый дневник есть его фантазия. Но, во всяком случае, одного правдоподобия и жизненности рисунка слишком мало для истинно художественного произведения» (Голос. 1878. № 28. 28 янв. С. 1). Поскольку в романе критик увидел «мало общего значения для человечества», писателю был преподан совет «более сосредоточивать и определеннее развивать идею своего произведения» (там же).<sup>17</sup>

Устные и эпистолярные отзывы читателей были значительно благожелательнее. «В Петербурге все ужасно хвалят Одиссея. — Но — но... как это говорится на языке Данте и Петрарки... troppo tardi... что ли?» (письмо Губастову от 15 янв. 1877 г.;

---

<sup>16</sup> 10 декабря 1877 г. Леонтьев писал племяннице об этой рецензии: «На днях в *Современных Известиях* сделали мне строгое замечание за то, что *Одиссей* очень тянется. — И основательно» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 40).

<sup>17</sup> Рецензия «Голоса» была послана Леонтьеву Е. С. Карцовой (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 141. Л. 6).

РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 56 об.).<sup>18</sup> «Я каждый день встречаю все больше и больше людей, которые восхищаются „Одиссеем“...», — писал Леонтьев племяннице 24 октября 1877 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 24). Еще в сентябре 1875 г. С. П. Хитрово, гостившая в имении А. К. Толстого, написала Леонтьеву: «...Знаете, что ваш Одиссей Полихр(ониадес) всем очень нравится. Маркевич здесь и очень это хвалит в эту минуту» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 274. Л. 12 об.).<sup>19</sup> 23 октября 1875 года Губастов сообщал о том, как первая часть романа была воспринята в Константинополе: «...Здесь успех Вашего „Одиссея“ все растет: недавно за Посольским обедом все время проговорили о красотах этого романа и самая восторженная похвала шла на этот раз от Екат(ерины) Леонидовны<sup>20</sup>» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 5).

В одном из писем Губастову Леонтьев приводил отзыв Филиппова об «Одиссее»: «Это зелено и свежо, как молодые всходы хлебов» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 316). Н. Я. Соловьеву роман напомнил «дорогие, тонкие кружева, до которых коснуться страшно» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 59. Л. 32). По воспоминаниям Леонтьева, «Одиссея» «не раз и при самом авторе публично хвалил» Л. Н. Толстой (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 92 об.).

Приведем и обширный отзыв об «Одиссее» Б. М. Маркевича, появившийся после третьего (!) прочтения романа в письме от 2 мая 1882 г. «Зная как и физически и материально тяжело было для Вас бремя жизни, я просто *умиляюсь* той, чуть не младенческой незлобивости, той душевной ясности, которые помимо того, что он художественно верен в изображении характера Вашего юного рассказчика, — но еще сквозят сквозь весь Ваш собственный писательский *faïte*, и так благотворно действуют на читателя. Ваша манера, тонкая, тщательная, *любовная* ужасно напоминает мне прелестную отделку Gérard Dow'a (знаете Вы его картины,

---

<sup>18</sup> В петербургских гостиных говорили об «Одиссее» и в следующем году. В ноябре 1878 г. Е. С. Карцова рассказывала Леонтьеву в письме: «Слышала я, как один весьма умный Генерал Фишер говорил с *восторгом* о вашем таланте, разбирая Камень Сизифа — говорил он в многочисленном и весьма элегантном обществе — с ним соглашались (...) Это было еще в октябре...» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 141. Л. 18 об.—19).

<sup>19</sup> Этот отзыв Леонтьев пересказывает в письме Губастову от 1 октября 1875 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 19).

<sup>20</sup> Е. Л. Игнатьева — жена посла Н. П. Игнатьева.

его *Астролога*, его *Деревенского доктора*?) придающую всю прелесть радуги изображениям самого реального, самого жизненного содержания (его доктор напр. рассматривает на свет, сквозь стекло бутылки, урину, принесенную ему стоящею подле него старухой; — но что за выражение лица, добрых и трогательных чувств на его и ее лице, как обаятельны все эти мелко выписанные подробности скромного жилища деревенского эскулапа!). Меня с детства (у отца моего были ценные гравюры парижского Музея времени Наполеона I) пленяли эти картины среди множества писанных величайшими художниками мира, (...) и я еще ни разу не посещал наш Эрмитаж чтобы не зайти посмотреть моего *доктора Gerard Dow* с его слезящимися и красноватыми от старости углами светлых, добрых голубых глаз. То же, повторяю, испытываю я, перечитывая в третий раз Вашего *Одиссея*. Есть нечто необыкновенно законченное, художественно равно как нравственно *удовлетворяющее* в детальной картине того маленького мира, который воспроизводите Вы пред читателем. Вы писали мне, что такого рода картины могут быть очень ценимы знатоками искусства, но не в состоянии завоевать себе публику, сочувствие массы читающих людей. Это, пожалуй, так, — но ведь с этим, как-то — верится, ничего не поделать. Мы переживаем железный век, где чистому искусству даруется едва прожить, где одна *злоба дня* царит в людских помышлениях, отрывая их ото всего идеального, бессложного... Но как бы я лично — и не я один — жил, если б не было ничего *Вашего* читать в нашей теперешней литературе» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 176 Л. 11 об.—12 об.).

Исключением на этом фоне общих похвал выглядит эпистолярная «рецензия» Вс. Соловьева, отличающаяся от его газетных рецензий и статьи в «Ниве». <sup>21</sup> (Правда, некоторая резкость оценок может быть объяснена личной обидой, которой было вызвано само письмо от 18 июня 1879 г.) Фрагмент из этого письма был опубликован в ЛН (Т. 86. С. 483—484), однако бесполезно будет познакомиться с большим отрывком из него.

«Возьмем „Одиссея Полихрониадеса“. Что это такое? <sup>22</sup> Роман? <sup>23</sup> этнографические, политические и т. д. очерки? Все вместе,

---

<sup>21</sup> Соловьев Вс. Константин Николаевич Леонтьев // Нива. 1879. № 20. С. 381—382.

<sup>22</sup> В черновом автографе (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 89. Л. 13 об.) далее зачеркнуто: спрашивает меня кто-нибудь и я не знаю как отвечать

<sup>23</sup> В черновике далее зачеркнуто: нероман

все перепутано, нагромождено одно на другое. Вы подавлены Вашими воспоминаниями, наблюдениями, любимыми мыслями и выводами, на Вас наплывают разом все года, проведенные на Востоке, и Вы спешите сразу все это перелить на бумагу.<sup>24</sup> Чудесный язык, тонкое наблюдение, художественные сценки; умный, мыслящий человек и художник виден повсюду; — но этот человек будто десять лет осужден был на немоту и вдруг встретился с людьми, способными понимать его наречие, и за все десять лет вздумал наговориться обо всем сразу.

Что же такое „Одиссей Полихрониадес”? По моему крайнему разумению он ничто иное как обширный *материал*: 1, для<sup>25</sup> прекрасного романа, который непременно прочтется и оценится публикой; 2, для нескольких художественных рассказов и очерков<sup>26</sup> из восточной жизни, и 3, для целого ряда серьезных статей о русской и западно-европейской политике на Востоке, о турках, греках и т. д., — статей, из которых каждая, появившись в должной форме, должна обратить на себя внимание не только специалистов, но и всех заинтересованных восточным вопросом.

Роман или всякое другое художественное произведение — есть достояние всех, начиная от пожилого человека, уставшего от дел своих и желающего отдохнуть в области искусства, и кончая юношей и юницей. Я много раз делал пробу — я отмечал в „Одиссее” все, что составляет в нем материал для художественного произведения и прежде всего, конечно, весь эпизод с Зельхой, — и давал эти отмеченные страницы читать тем мужчинам и женщинам, которые объявляли мне, что „Одиссей” очень скучен. Все они оставались вполне довольны. Я делал другую пробу, — отмечал некоторые главы, рисующие дипломатическую линию, и давал их людям, не желающим романа, а просто заинтересованным тем, что творилось в последнее время на Востоке — и эти люди оставались очень довольны. Делал третью пробу — просто рекомендовал „Одиссея”, и конечно не глупым людям — все возвращали мне его очень скоро с неизменным ответом, что это растянуто, перепутано, а потому скучно.

---

<sup>24</sup> Ср. в статье: «Единственный недостаток автора (...) заключается в том, что он иногда как бы подавлен избытком матерьяла, хранящегося в его памяти. Отсюда происходит масса вводных эпизодов, постоянно интересных, но все же мешающих цельности повествования и надолго прерывающих движение основного текста» (Нива. 1879. № 20. С. 382).

<sup>25</sup> В черновике далее было: большого

<sup>26</sup> В черновике было: романов и очерков художественных

Вот вам мнение об „Одиссее” публики, не лавочников, не пошляков, а той<sup>27</sup> публики, для которой мы все пишем, в руках которой наша известность, наше самолюбие, наконец и наши деньги. И публика эта, беспристрастная, бестенденциозная, ждущая от нас удовлетворения и не справляющаяся к какому литературному лагерю принадлежим мы, эта публика, — vox populi — она говорит Вам ныне устами Вашего искреннего друга <...> если хотите, чтоб я оценила Вас, чтоб я раскупала Ваши книги, чтоб я приняла Вас в числе первостепенных русских писателей<sup>28</sup> — познайте тайну художественной формы, чувства меры. Не смешивайте романа или повести с научными<sup>29</sup> и политическими статьями. Тогда Вы станете художником с одной стороны и политическим писателем с другой — и круг Ваших читателей будет обширен и разнообразен. Пока же Вы будете писать так как написан „Одиссей” у Вас не будет ценителей несмотря ни на какие усилия друзей Ваших...» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 228. Л. 9—9 об.).

Из более поздних эпистолярных отзывов, важных для автора «Одиссея», следует выделить фрагмент из письма ученика и друга Леонтьева, о. Иосифа Фуделя: «...Никто, кажется, не сказал, что Вы, Константин Николаевич, лирик и по преимуществу лирик; и там, где Вы даете волю своему лирическому чувству, — там Вы бесподобно велики. В Одиссее много таких лирических страниц — и я зачитывался ими. <...> вторая часть произвела на меня очень сильное впечатление; столько в ней правды, психологического анализа и такая увлекательная картина рисуется ею; увлекательность здесь зависит от того, что картина одна и внимание не рассеивается; наоборот, первая часть Одиссея слабее второй потому именно, что внимание читателя утомляется слишком большим обилием разнообразных картин, очень скоро сменяющих друг друга. Это калейдоскоп, который радует глаз блестящими красками, но твердого впечатления не может оставить. В общем Одиссей ожидает еще своего критика и ценителей; думаю только, что первые оценят красоту Ваших повестей французы; стоит только появиться переводу» (из письма от 28 декабря 1889 г.; РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1037. Л. 41—41 об.).

«Я сам всегда думал, — отвечал 12 января 1890 г. Леонтьев, — что *лиризма*, о котором Вы говорите, — в „Одиссее”

---

<sup>27</sup> В черновике (Л. 14 об.) далее зачеркнуто: интеллигентной

<sup>28</sup> Далее в черновике зачеркнуто: научитесь художественному такту

<sup>29</sup> Далее в черновике зачеркнуто: статьями

много; критики же наши самые лучшие до того привыкли говорить все только о *типах, характерах, объективности* и т. д., что даже впечатлеваясь *сами при чтении* лиризмом того или другого автора, *при печатном разборе* забывают упомянуть о нем...» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 70 об.).

В этом же письме заходит речь и об отдельном издании. О. Иосиф читал «Одиссея» только в третьем томе *ИЖХ* и не знал о существовании продолжения: «Когда и где напечатаете третью часть Одиссея? Очень желал бы знать продолжение записок этого наивного, простого, боязливого и мечтательного грека» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1037. Л. 42). Отвечая ему, Леонтьев писал: «Еще — Вы выразили желание *видеть в печати* 3-ю часть „Одиссея“. Она давно существует в печати; была напечатана в *Русск(ом) Вестн(ике)* 78—79 года под особым заглавием — „Камень Сизифа“ и с маленьким особым прибавлением — „Я купец“. — Отдельно — вместе все — я не нашел средств издать. — Но у меня есть для себя книжка: — *единственная*, но так как вы человек надежный и аккуратный, то я Вам ее пришлю для прочтения с возвратом не слишком поздним» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 73 об.).

Выпустить второе издание романа Леонтьев намеревался еще в 1886—1887 годах, рассчитывая на помощь друзей. Так, 9 ноября 1887 г. он просил Н. А. Уманова: «Во-1-х съездите-ка к Вал(ентине) Алек(сандровне) Попырниковой<sup>30</sup> и спросите у нее: не хочет ли она издать (*пополам* выручку *сверх* типографск(их) и вообще издат(ельских) расходов) на первый раз моего *Одиссея Полихрониадеса*? (...) Если она хочет, то чтобы она написала мне и тогда я ей представляю исправленный экземпляр. — А без *просмотра* нельзя. — У нее рука счастливая и Вы *постарайтесь* убедить ее. — Как романиста меня больше знают по России, чем как политика. — Я помогу ей и Предисловие составить тогда» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 3 об.).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Знакомая Леонтьева по кружку П.Е. Астафьева, в 1887 г. — сотрудница газеты «Новости дня».

<sup>31</sup> Обращение к В. А. Попырниковой не увенчалось успехом. 22 ноября Уманов сообщал: «Она пока не дала никакого решительного ответа (...) ей очень хочется взяться за издание „Одиссея Полихрониадеса“, но у нее нет теперь денег для этого дела» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 267. Л. 24). А еще через неделю писал, что она «что-то медлит с ответом» (Там же. Л. 27).

«Просмотр», о котором говорит Леонтьев, был связан не только с исправлением опечаток: осенью 1888 года он обратился к М. К. Ону, «отличному знатоку Восточно-Православной жизни»,<sup>32</sup> с просьбой уточнить некоторые реалии, цитаты, оттенки переводов с турецкого и греческого и т. п. (письмо не сохранилось). 4 декабря тот отвечал согласием: «Разумеется, пришлите сейчас Ваши любимые мною и всеми сочинения и постараюсь сделать то чего желаете. Но будьте ясны в вопросах Ваших» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 198. Л. 22).

7 января 1889 г. Леонтьев писал В. А. Попырниковой: «Я намереваюсь издать вторым\*, исправленным изданием мои *Ново-Греческие повести* и прежде всего (в виде опыта) большую хронику мою „*Записки Одиссея Полихрониадеса*“, которая никогда вполне не была издана. — Некоторые друзья мои, дипломаты и знатоки Востока, живущие теперь в Турции, взялись дополнить мои исправления — своими, самыми строгими примечаниями, и 1-я часть этой хроники на днях посылается с этой целью в Царьград. — Я, видите — не спешу; а хочу сделать так, чтобы мой труд, сверх литературного, имел бы и этнографическое достоинство. <...> Я не имею в этом деле видов на доход; — а главная моя цель — это *при жизни* моей издать все это сполна и в исправленном виде» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 9—9 а).

Исправлением «Одиссея» Леонтьев продолжал заниматься и в феврале, о чем писал Губастову (см. с. 1029).

В конце зимы роман и тетрадка с «Примечаниями автора», публикуемыми в этом томе, были посланы М. К. Ону. Как удалось установить, это был третий том *ИЖХ* (его местонахождение в настоящее время неизвестно) и переплетенные оттиски из *РВ* — тот именно экземпляр, который сейчас принадлежит А. Ф. Маркову. Пометы на полях этой книги (отчеркивания и номера вопросов, проставленные розовыми чернилами) совпадают с номерами вопросов в тетради «Примечаний». «Работа им будет нелегкая; но обещали сделать серьезно», — писал Леонтьев об Ону и других константинопольских друзьях (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1.

---

<sup>32</sup> Выражение из письма А. А. Фету от 14 августа 1889 г. (РО ИРЛИ. Архив А. Фета. 20 284. Л. 18). Михаил Константинович Ону (1835—1901), дипломат, в 1889 г. был советником русского посольства в Константинополе.

\* Первое, весьма неполное, в 76 году, было Катковское.



Ед. хр. 38. Л. 13). Получить исправленное Леонтьев рассчитывал в конце апреля<sup>33</sup> и в мае «начать печатать» с тем, чтобы к осени пустить книгу в продажу. За это время, полагал он, можно «найти и такого человека, который с охотой напишет серьезное предисловие» (Там же. Л. 9 об.).

26 апреля Ону написал Леонтьеву из Константинополя, еще раз подтверждая свое согласие ответить на вопросы и восторженно отзываясь о романе: «Дорогой Константин Николаевич, я получил недавно Ваше письмо и книги. Все понял сразу и исполню Ваше желание, — могу сказать, с удовольствием, потому что прочел с увлечением Вашего бесподобного «Одиссея». Я уже знал его, но не знаю почему он в этот раз показался мне несравненно художественнее чем в первый раз. Я в восторге: узнаю восток, как он был и есть. Верьте, что не из лести или дружбы к Вам так говорю. Напрасно Вы воображали, что у Вас много ошибок. Их очень мало в действительности. Возьмите любую серьезную книгу и Вы убедитесь, что Вы меньше грешите чем другие в отношении знания тонкостей той жизни, которую описываете.

Но не торопите меня, я занят и могу заниматься этим делом не всегда. Надеюсь однако, что в июне получите все обратно. Ваше намерение посвятить мне Ваше издание меня очень тронуло; меня зовут Мих{аил} Конст{антинович}, а не М{ихаил} Алек{сандрович}» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1034. Л. 1—1 об.).<sup>34</sup>

Между тем еще в конце февраля — начале марта Леонтьев получил письмо от Попыриковой, в котором она сообщала, видимо, о невозможности взять на себя хлопоты об издании. 22 марта он отвечал ей: «Денег у меня на издание нет. — Я думал, что вы мастерица устроить с типографиями в долг. — А если этого нельзя, то и толковать нечего. — <...> Я желал бы при жизни издать исправленный роман; — но ничуть не желаю беспокоиться, думать о хозяйственной стороне как издания, так и распространения. — Заглазно — это и невозможно. — <...> Если бы такое издание состоялось бы, то я желал бы, чтобы Вы и с типографией сговорились бы, и письменный акт по доверенности моей

---

<sup>33</sup> Позднее он ожидает возвращения книг и примечаний в конце мая (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 13).

<sup>34</sup> Этот отзыв Леонтьев неоднократно пересказывал в письмах друзьям, напр., Губастову 17 августа 1889 г. (см. с. 000); Филиппову 10 января 1890 г. (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 71).

составили бы, и последнюю корректуру бы держали, и об объявлениях заботились бы, и рекламы заказывали бы, и с магаз(ином) книжным вели бы дело» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 12).

Не находя средств на издание книги, Леонтьев решил прибегнуть к помощи одного из своих петербургских покровителей, министра народного просвещения гр. И. Д. Делянова, проводившего лето в калужской губернии. «...Поеду к нему, — писал он 7 июня 1889 г. Губастову, — и попрошу его помочь мне этой зимой отпечатать полным (в первый раз) изданием только „Одиссея Полихрониадеса“ в какой-нибудь казенной типографии, если нельзя даром, то с самой долгой рассрочкой. — Да сверх того нельзя ли представить его (т. е. *Одиссея*) на Пушкинскую Премию в Академию Наук, где теперь председательствует В(еликий) К(нязь) Конст(антин) Конст(антинович), близкий Фету, а Фет со мной в хороших отношениях» (Там же. Ед. хр. 28. Л. 189 об.—190). 14 августа Леонтьев просил Фета сообщить ему «правила и сроки для представления на премию в Академию Наук художественных произведений» (РО ИРЛИ. Архив А. Фета. 20 284. Л. 18).

Обращение к Фету было вызвано не только его добрыми отношениями с Великим Князем, но и тем, что сам Афанасий Афанасьевич за несколько лет до этого получил Пушкинскую премию. Именно это и навело Леонтьева еще в 1886 г. на мысль об академической премии. Тогда (18 сентября) он писал Н. Н. Страхову: «Многоуважаемый Николай Николаевич, я к Вам со всепокорнейшей просьбой разъяснить мне один вопрос: Существует ли какая-нибудь „Пушкинская“ (или все равно другая) Премия за прозаические художественные сочинения, подобно той, которую присудили прошлого года Фету за его перевод од Горация? — И если существует то какая и где и какие правила. — Мне Фет говорил, что как будто существует, но советовал для более точных сведений обратиться к Вам.

Если возможно, я бы желал представить к премии или одного «Одиссея Полихрониадеса» или (смотря по требованиям устава) все мои ново-греческие повести. Из примера Фетовского Горация видно, что не требуется *нового* сочинения?» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 54—54 об.).

27 сентября 1886 г. Страхов отвечал: «Премии даются только за стихотворные произведения и лишь за те, которые не старше трех лет. Фету дали за *Вечерние Огни*, а Горация притянули в отчете для балласту, в хорошем смысле этого слова. (ОР ГЛМ.

Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 234. Л. 6). Сообщая, что «в Академии есть множество премий», Страхов советовал представить на соискание одной из них не «Одиссея», а сборник «Восток, Россия и Славянство», второй том которого вышел как раз в том году. Но, как видим, через три года Леонтьев не оставляет надежды выпустить полное издание романа и послать его в Академию.

В письме Фету от 14 августа 1889 г. Леонтьев приводил отзыв Ону о романе и, в частности, сообщал, что его друг собирался похлопотать о переводе «Одиссея» на турецкий и греческий языки. Через три дня, 17 августа он писал об этом же Губастову: «От Ону я давно получил „Одиссея“ при больших похвалах и уверениях, что у меня гораздо меньше ошибок, чем в большинстве ученых сочинений о Востоке. Насчет греческого перевода не знаю, как сказать. Не лучше ли переводить с нового, исправленного издания, о котором я думаю?» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 198 об.). В этом же письме Леонтьев говорит о трудностях, связанных с подготовкой такого издания: «...Не знаю — кто станет им заниматься в мое отсутствие; без прямой выгоды — я никому не верю, что будут аккуратны и внимательны» (Там же. Л. 199).

Любопытно, что в то же время Леонтьев не исключал возможности обращения за помощью к Л. Н. Толстому, в доме которого жил тогда один из его молодых друзей, А. А. Александров (он был учителем Андрея Толстого). 7 сентября 1889 г. Леонтьев писал Александрову: «Об издании „Одиссея“ я еще отложил попечение. — Лучше всего будет через Кристи или через кого-нибудь еще — обратиться сначала к Суворину. — Тогда увидим; — благодарю за намерение; но отчего же вы не решаетесь все-таки испытать Л(ьва) Ник(олаевича) Толстого с этой стороны. — Если неожиданно согласится — подивимся вместе и порадуемся за меня. — Если, как и вероятно — откажется — не будем плакать и тоже порадуемся за идею, т. е. за невыдержку чистой этики без Бога, Христа и старцев. — Старец, зная, что Одиссей вещь безвредная и услышавши от него сознание в том, что он действительно ее не раз и при самом авторе, публично хвалил и что автору нужны деньги даже не для себя, а для уплаты старых долгов и т. д..., старец, говорю я, прямо бы велел ему приклеить к этому изданию свой популярный штампель» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 92 об.).

О том, состоялся ли разговор с Толстым об издании леонтьевского романа, в настоящий момент ничего не известно. «Я не смею даже надеяться найти издателя для полного издания „Одиссея Полихрониадеса“! (...) Ну — а могу я отсюда найти издателя? Лучше

и не трудиться!» — восклицал Леонтьев 10 января 1890 года в письме Филиппову (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 71).

В этом же письме он вспоминал об отзыве Ону, обещавшего, если «Одиссей» будет издан отдельно, постараться, «чтобы он был переведен и по-гречески, и по-турецки». Через полгода он узнал о том, что переводчик был найден. 1 июля 1890 г. Ону писал об этом из Афин: «А я нашел здесь переводчика для Вашего славного „Поликронида“, в уверенности, что [он] найдет здесь именно в Греции много читателей и почитателей. Стоит в самом деле, чтобы эту книгу перевели на греческий язык. Будущий переводчик это один из многочисленных сыновей известного Рангабэ<sup>35</sup>, — брат Посланника в Петербурге. — И так пошлите сюда поскорее экземпляр „Поликронида“, которого у меня не оказалось, — и разрешите мне объявить переводчику, что Вы не требуете никакого вознаграждения, потому что все уверяют меня, что переводчик никогда не выручит и того, что он истратил на печатание, не говоря даже о труде его» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1034. Л. 3—3 об.).

Дело замедлялось, поскольку издать «Одиссея» отдельно было по-прежнему негде; как и год назад, Леонтьев вспоминает об А. С. Суворине. Вести переговоры с издателем он поручает собирающемуся поехать в Петербург о. И. Фуделю. Специально для этой цели 12 августа 1890 г. была написана записка «Об издании „Одиссея“» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1008). Она печатается в настоящем томе. 15 августа Леонтьев подписывает рекомендательную карточку Фуделю для представления Суворину (Там же. Л. 4). 18 октября о. Иосиф пишет о предстоящей поездке в Петербург: «...Схожу к Суворину поговорить об издании Вашего Одиссея» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1038. Л. 40). Короткая поездка состоялась только в декабре. Перед отъездом, 18 декабря Фудель «пошел к Суворину, но тот (точно нарочно) оказался больным...» (письмо Фуделя от 23 декабря 1890 г.; Там же. Л. 45).

«Ведь „Одиссей“ вполне еще не был издан; — писал Леонтьев Ону 10 января 1891 г., — самая длинная и последняя его часть — „Камень Сизифа“ находится только в „Русском Вестнике“. Для того, чтобы издать его отдельно потребуется много *такого рода* хлопот и забот, к которым я всегда был не расположен (я находил и нахожу их чем-то унижительным и пошлым; а *теперь* в постоянном удалении от столиц и при большой физической сла-

---

<sup>35</sup> Известный Рангабэ — это А. Р. Рангавис; см. прим. на с. 1006.

бости об этом и думать нечего. Для этого нужна какая-нибудь особая счастливая случайность, которой сейчас не предвидится. <...> *Разумеется*, что надо будет еще раз пересмотреть всего „Одиссея”; и в особенности стихи и песни. Когда я увижу, что в силах этим заняться и когда Г. Реньери исполнит свое намерение (т. е. хоть эти 2 маленькие повести<sup>36</sup> переведет), то я через ваше посредничество и рекомендацию могу прямо обратиться к нему с просьбой о проверке этих стихов и песен, с указанием источников, из которых я их брал» (Цит. по: Киприан (Керн), архим. Из неизданных писем Константина Леонтьева. Париж, 1959. С. 29).

В настоящий момент нам известно два источника, которыми пользовался Леонтьев. Это приобретенный в Турции сборник Хасиотиса, о котором он упоминал в наброске к «Среднему европейцу...» (вероятно, это издание: Συλλογή τῶν κατὰ τὴν Ἠλείου δημότικων αἰμάτων. Αθ., 1866), и сборник Ф. Л. Пассова «*Formulae carmina Graeciae recentions*» (Leipzig, 1860), подаренный в Оптиной пустыни о. Климентом Зедергольмом (см.: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М., 1996. С. 197). Поскольку обе книги оказались в настоящий момент нам недоступны, большинство цитат из эпирских песен остались нераскрытыми.

«Вполне» — т. е. без пропущенных глав, как это было в СС — «Одиссей Полихрониадес» издается впервые. Кроме того, по сравнению с СС, исправлена и восстановлена авторская нумерация глав.<sup>37</sup>

Изучение леонтьевской правки «Камня Сизифа» и замечаний «текстологического» характера в «Примечаниях автора» позволило по возможности исполнить волю писателя и в той части романа, для которой такая правка утрачена. Например, анекдот о турецкой

---

<sup>36</sup> «Хризо» и «Капитан Илия».

<sup>37</sup> А. Ф. Марков в своей статье перечислил все изменения в разбивке глав «Камня Сизифа»: «Первые четыре остались без изменений, а пятая <...> на с. 609 разбивается — со строки «А между тем в той же самой душе моей...» начинается VI глава. <...> бывшая 6-я глава стала 7-й и так далее, вплоть до 25-й, которая, став 26-й, в свою очередь, также разбита на две главы — на этот раз по причине типографского недосмотра. Леонтьев восставил цифру XXVII на с. 288 перед строкой: «Мы все были довольны новыми удачами...» Заключительная глава в рабочем экземпляре — 36-я. Для пояснения писатель рядом с римскими цифрами проставил арабские в скобках» (Книга. Исследования и материалы. Т. 70. М., 1995. С. 228—229).

бане, согласно указанию в тетради «Примечаний», был зачеркнут, поэтому и в нашем издании он печатается в разделе «Варианты и разночтения» (с. 881—882). Лишь один случай зачеркивания не мог быть установлен (см. с. 842).

Опираясь на сохранившуюся авторскую правку, мы переносим важнейшие исправления в написании некоторых слов в первые части романа. Так, Леонтьев последовательно исправлял окончание слова «консулы» на «консула», написание «Ашенбрехер» каждый раз исправлено им на «Ашенбреннер». Исправление Леонтьевым опечатки «стороны» на «сторы» позволило установить, что авторским написанием слова «штора» было «стора» (то же в произведениях 1850—1860-х годов), следовательно, его можно было воспроизвести и в других частях «Одиссея» (ср.: «снурок» вместо «шнурок»). В СС написание имен двух персонажей романа было унифицировано по первому употреблению: Кольйо, Козвино. Начиная с третьей (первоначально — второй) части в *РВ* и *ИЖХ* было: Кольо, Коевино. В не вошедших в роман фрагментах, сохранившихся в копии М. В. Леонтьевой (см. «Ненапечатанные отрывки...» в разделе «Фрагменты черновой редакции») также находим «Кольо», однако мы сохраняем написание, принятое в СС. Кроме того, в нашем издании унифицированы написания имени Хаджи-Сулеймана (в начале романа было: Ходжи Сулейман, ходжи Сулейман, в III части и далее — Хаджи-Сулейман) и географического названия Зица (в «Камне Сизифа» было *Зиц-ца*).

Пользуясь случаем, приносим нашу благодарность старшему научному сотруднику Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН Константину Александровичу Жукову за консультации при составлении комментариев.

С. 7. *Эпир* — область на западе Греции, простирающаяся от Амвракийского залива до реки Генуз, с центром в городе Янина. Словом Эпир (Ἠπῖρος) у древних греков, жителей о. Керкиры (Корфу) обозначался вообще материк, местность к Западу от Фессалии по другую сторону горной цепи Пинд, в противоположность островам Ионийского и Адриатического морей. Затем слово Эпир стало обозначать область, граничащую на севере с Иллирией, на востоке с Фессалией, на юге с Этолией и Акарнанией. Эпир относится к числу собственных греческих областей. С 1430 г., после занятия турками Янины, Эпир находился под их властью. По Флорентийскому протоколу 1913 г. Северный Эпир присоединен к Албании.

О Загорах см. также: Т. 3. С. 185—186.

С. 8. ...подобно счастливым фессалийцам ~ на берегах древнего Пинея. — Фессалия — область на востоке Греции; Пиней (Пеней, Саламврия) — река, впадающая в Салоникский залив Эгейского моря.

С. 8. ...жители Бруссы и Шар-Кёя... — Брусса — город в Малой Азии, древняя резиденция турецких султанов; главное занятие жителей составляло шелководство, Шаркёй — город на берегу Мраморного моря.

С. 8. Казанлык — город в центре Болгарии. М. И. Золотарев (см. о нем прим. на с. 1021) так писал об этом городе в своем донесении Н. П. Игнатьеву от 9 декабря 1864 г.: «Казанлык составляет ряд домов столь же красивых, как в столице; роскошь этой местности представляет резкую противоположность с бедностью адрианопольских селений и Ески-Зары. Это благосостояние главного города в округе, происходящее преимущественно от быстрого развития там торговли розовым маслом, весьма слабо отражается на положении сельского населения» (Русия и българското националноосвободително движение 1856—1876. София, 1990. С. 129).

С. 8. ...смелые греки Эгейских островов — острова Эгейского моря.

С. 8. ...румяные влахи Пинда... — Пинд — горный хребет в Греции. О влахах см. прим. Л.: Т. 3. С. 192.

С. 8. Борей — в древнегреческой мифологии бог северного ветра.

С. 9. Сулиоты — жители Сулии, горного округа в Эпире.

С. 9. ...паликар славной Лакки сулийской... — Паликар — молодец; Лакка — долина.

С. 9. ...на возобновление олимпийских игр в свободной Греции... — олимпийские игры были возобновлены в 1896 году.

С. 9. ...на восстание (когда-то), а теперь, вероятно, на примирение с теми, против кого восставали ~ на борьбу против страшного призрака славизма... — этой темы Л. коснулся в повести «Аспазия Ламприди» (Т. 3).

С. 9. ...грязные ханы... — Хан — постоянный двор, гостиница.

С. 9. Фракия — область на юго-востоке Балканского полуострова (от Карпат до Эгейского моря и от Черного моря до границы с Македонией, проходящей по р. Вардар).

С. 10. ...королю Георгию — Георгиос I (1845—1913), король Греции с 1863 г.

С. 10. ...готовы служить Гамбетте и Бисмарку... — Леон Мишель Гамбетта (1838—1882) — французский государствен-

ный деятель, глава республиканцев; Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен Бисмарк (1815—1898), князь — германский государственный деятель.

С. 10 ...как поет древний стихотворец, «едва лишь созрела теперь для мужчины» — источник цитаты не установлен.

С. 11. *Откройся, сердце грустное, откройтесь, горькие уста...* — греческая народная песня. См.: Греческие народные песни. М., 1957. С. 223—224.

С. 11. *Филиппополь* — город во Фракии, ныне Пловдив (Болгария).

С. 11. ...следы *туранской крови*. — Т. е. следы происхождения из урало-алтайских племен, обитавших в Туране, низменности Средней Азии (в XIX в. — Туркестан).

С. 11. ...здесь ~ много *славянской крови*. — Отдельные группы славян стали селиться на Балканах с конца VI в.

С. 12. *Македония* — область в центре Балканского полуострова.

С. 12. *Керкира* — остров Корфу.

С. 12. «*Довра, Чепелово, Судена, Лесковец...*» — загорские села (всего в округе было 46 селений).

С. 12. *Фемистокл* (ок. 525 — ок. 460 до н. э.) — древнегреческий полководец и государственный деятель.

С. 12. ...дома *архонтские*... — Архонты — богатые, влиятельные люди.

С. 12. *Колокола* нам издавна привычны... — на всей остальной территории Турецкой Империи колокола для православных храмов были запрещены.

С. 12. ...в нашем краю, огражденном древними правами *фирманов*. — Фирман — указ или грамота султана. «Загоры, — писал в статистическом очерке драгоман янинского консульства Д. Лазаридис, — пользовались (...) особыми вольностями, но вольности эти, начиная с 1856 года, постоянно были ограничиваемы» (АВПРИ. Ф. 161. Оп. 181/2. Д. 1114. Л. 162 об.).

С. 13. *Фустанелла* — мужская одежда греков и албанцев.

С. 13. ...маленькую *красную феску*... — феску полагалось носить турецким подданным.

С. 14. ...в *Чепелове*... — Чепелово (Цепеловон), село на восточном берегу р. Вовуза у подножия горы Лазари.

С. 15. ...как древняя *Елена*... — Елена Прекрасная в греческой мифологии спартанская царица, чья красота была известна по всей Греции и привлекла к ней многих эллинских героев, претендовавших на ее руку. Мужем Елены стал Менелай, от которого,



однако, ее увез в Трою Парис, сын троянского царя Приама, что и послужило причиной Троянской войны.

С. 15. ...белокурая и черноокая ~ волосы — сорок пять аршин! — одна из любимых и наиболее часто цитируемых Л. греческих песен.

С. 16. *Кирия* (кира) — госпожа (греч.).

С. 17. ...аман! аман! — увы! увы! Боже мой! (тур.)

С. 17. «Представляю вам *Фиву* ~ и мне самому». — Рим. 16: 1—2.

С. 18. «Сия есть заповедь Моя ~ как Я возлюбил вас». — Ин. 15: 12.

С. 18. «Человек, который нашел достойную жену ~ милость Всевышнего» — неточная цит. Притч. 18: 22.

С. 18. *Наргилé* — кальян, восточный курительный прибор.

С. 18. «Не будь никогда разгневан переверотом счастья ~ источник жизни струится из мрака». — Источник цитаты не установлен.

С. 19. *Тульча* — город на Дунае; Л. был вице-консулом в Тульче в 1867—1868 гг.

С. 19. *Незадолго до Восточной войны...* — т. е. в 1853 г.

С. 19. ...русские вступили в Дунайские княжества... — Описываются события лета 1853 г.; Дунайские княжества — Молдавия и Валахия, находившиеся под номинальным суверенитетом турецкого султана.

С. 19. ...албанских баши-бузуков... — Баши-бузуки (сорви-голова) — иррегулярные войска в турецкой армии.

С. 19. *Шайка Тодораки Гриваса...* — Теодорос Гривас (1796—1863), греческий государственный деятель, участник освободительной войны 1821 г. и восстания в Эпире в 1854 г.

С. 19. *Известия из Азии были победоносные...* — сообщения об успешных действиях русских войск против турок в Закавказье осенью 1853 г. и весной 1854 г.

С. 19. ...имена князей Андроникова и Бебутова... — Иван Малхазович Андронников (Андроникашвили) (1798—1869), князь, генерал от кавалерии, в 1853—1854 гг. им были одержаны победы над турками под Ахалцихом и на р. Чолок (Чорох); Василий Осипович Бебутов (1791—1858), князь, генерал от инфантерии, в 1853—54 гг. командовал Кавказским корпусом.

С. 20. ...вспоминали о Дибиче и о внезапном вторжении его войска далеко за Балканы. — Иван Иванович (Иоганн Карл Фридрих Антон) Дибич-Забалканский (1785—1831), граф (с 1827 г.), с 1829 г. генерал-фельдмаршал. В 1829 г. возглавляемая им рус-

ская армия перешла Балканы, принудила к сдаче турецкий гарнизон Адрианополя и вышла на подступы к Константинополю.

С. 20. *Тульчу взяли русские...* — город был занят русскими войсками в начале марта 1854 г.

С. 20. *...под Ольшаницей, Читате и Силистрией...* — Имеются в виду выигранные русскими бой при Ольтенице 23 октября 1853 г., после которого ген. Даненберг приказал войскам отступить; сражение 25 декабря 1853 г. у деревни Четати, а также сражение у города-крепости Силистрии 20 февраля 1854 г., здесь при отражении турецкого десанта отличился генерал С. А. Хрулев (1807—1870).

С. 20. *...валашскому шпионству...* — В Валахии (территория нынешней южной Румынии) на рубеже 1840—1850-х гг. усиливалось недовольство российским протекторатом и образовалась оппозиционная партия, которая предлагала турецкому комиссару Талаат-эффенди план присоединения к Порте. Во время военных действий на территории Валахии весной и летом 1854 г. те же силы организовывали враждебные в отношении русских войск акции.

С. 20. *...и предательству польских офицеров...* — Некоторые из служивших в русской армии офицеров-поляков перешли на сторону антирусской коалиции.

С. 21. *Липоване* — старообрядцы, эмигрировавшие в Добруджу (область и город на Дунае на территории современной Румынии).

С. 21. *В 67 году, когда одно время ожидали русских...* — слухи о возможной войне Турции с Россией (в связи с осложнением политической обстановки на Востоке во время критского восстания) отражены и в переписке Л. тех лет.

С. 21. *...город Меджидие построили...* — город недалеко от Добруджи, в долине р. Карасу, был построен татарами — выходцами из Крыма и Кубани. Эмиграция крымских татар в Турцию началась во время Восточной войны.

С. 23. *Когда австрийцы зашли русским в тыл...* — Во время осады русскими войсками крепости Силистрия в мае 1854 г. австрийцы сосредоточили в тылу русской армии значительные силы и главнокомандующий фельдмаршал И. Ф. Паскевич отдал приказ отойти за Дунай.

С. 23. *...под Инкерманом убили...* — сражение под Инкерманом произошло 24 октября 1854 г.

С. 23. *...как валахи делали около Букурешта...* — имеются в виду враждебные действия валахов против русских войск, когда

под Букурештом (Бухарестом) оказался отряд Ф. И. Соймонова, отступивший под натиском 50-тысячной турецкой армии. См. также прим. на с. 974.

С. 23. ...на остров Тинос серебряную большую лампаду обещала... — к чудотворной иконе Всесвятой Благовестницы (см.: Т. 3. С. 738).

С. 24. ...в Бабадаге далеко от берега был... — Бабадаг — город в Добрудже.

С. 25. ...в Софье не жил... — в г. Софии.

С. 25. Эффенди — господин (тур.).

С. 26. Чорбаджи — правильно «чорбаджия», хозяин, господин (болг.).

С. 27. Юнак — герой, молодец (серб.); у сербов и черногорцев удалцы, народные герои борьбы с турками.

С. 27. Конак — дом, резиденция паши. См. также прим. Л. на с. 311.

С. 27. Иснафы (греч.) — гильдии, объединения людей той или иной профессии, имевшие своим покровителем какого-либо святого.

С. 27. Заптие — жандармы (тур.).

С. 29. ...первого фанариотского богача... — Фанариоты — константинопольские греки (буквально: жители привилегированного греческого квартала Фанар в Стамбуле).

С. 29. ...угодил самарянин добрый... — Имеется в виду притча о милосердном самарянине (Лк. 10: 30—37).

С. 29. Тотчас по заключении мира... — Парижский мирный договор был подписан 18 (30) марта 1856 г.

С. 30. ...хорошую молдаванскую сказку... — варианты этой сказки «Когда за добро злом платят» и «Доброе дело» см.: Молдавские сказки. Кишинев, 1968. С. 372—374; Молдавские народные сказки. Кишинев, 1973. С. 377—380.

С. 32. Галац — город на Дунае.

С. 33. Капуджи-баши — главный привратник (тур.), придворный титул (вроде камергера).

С. 33. ...богат как лидийский Крез... — легендарный царь Лидии, обладавший огромным богатством.

С. 33. ...из-под Костенджи... — Кюстенджи, ныне Констанца — город-порт в Румынии на Черном море.

С. 33. Бакал — лавочник (тур.).

С. 34. Райя — подданные Османской Империи — немусульмане (историч. — все податное сословие).

С. 34. ...изъявить блистательной Порте... — т. е. турецкому правительству. О происхождении названия см. прим. на с. 995.

С. 34. *Меджидие* — турецкий орден в виде серебряного солнца и красного полумесяца со звездой, учрежденный в 1852 г. султаном Абдул-Меджидом (см. прим. на с. 1032). Орденская лента пурпурно-красная с зелеными полосками.

С. 34. ...сам доктор Вельпо в Париже... — Луи Вельпо (Velreau) (1795—1867), французский хирург и физиолог.

С. 35. ...русского консульства в то время не было в Тульче... — русское вице-консульство в Тульче было учреждено 24 июля 1864 г.

С. 36. ...разговоры о том, что болгарам следует отделиться от Вселенской патриархии... — движение к болгарской церковной автономии возникло в конце 1850-х годов.

С. 36. ...на своем церковнославянском языке петь и читать в церквах. — Первоначальные требования болгарского духовенства и народа, с которых началось их отделение от Вселенской патриархии.

С. 36. И Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков... — Деян. 2: 1—4.

С. 37. ...садразам предложил Вселенскому патриарху согласиться на учреждение особой болгарской патриархии... — Садразам — великий визирь. Об этих событиях см.: Филиппов Т.И. Современные церковные вопросы. СПб., 1882.

С. 37. ...с чистыми оттоманами... — турками-османами; см. также прим. на с. 1009.

С. 37. *Шейх-уль-ислам* — почетный титул главы исламского духовенства в Османской Империи, муфтия Константинополя.

С. 37. *Эпирские песни родное село наше зовут «пустынное Франгадес»...* — см. с. 828.

С. 37. ...наш платан совета... — ср. с. 13.

С. 37. *Кокона* — госпожа (греч.).

С. 38. ...сражался волонтером под Севастополем... — т. е. добровольцем в рядах регулярной армии.

С. 38. ...с крестом Св. Георгия за храбрость. — Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия учрежден в 1769 г.; к нему в 1807 г. был причислен знак отличия Военного ордена — крест (с 1913 г. — «Георгиевский крест»), который жаловался унтер-офицерам, солдатам и матросам за военные подвиги. Крест носился на ленте ордена Св. Георгия — с тремя продольными черными и двумя желтыми полосками между ними.

С. 38. ...составили аттестаты... — документы, удостоверяющие награждение.

С. 38. *Морé* — ласковое обращение, вроде «глупенький». См. прим. Л. на с. 236.

С. 38. *Бре* — см. прим. Л. на с. 68.

С. 40. ...*связывает Харон с гор туманенных...* — цитата из эпирской песни; см. прим. Л. на с. 828, а также Т. 3. С. 173.

С. 41. ...*Зица, у подножья высокого холма, воспетого самим лордом Байроном.* — Имеется в виду упоминание о Зице в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» (Песнь 2, строфы 48—52); см. Т. 3. С. 741—472.

С. 41. ...*в охотниках...* — т. е. в добровольцах.

С. 41. *Ты пой, кукушечка, ты пой, как распевала прежде ~ На ваши на дома напасть прислал нас Федор Гривас!* — из сборника эпирских песен (см. с. 828).

С. 42. ...*соседку нашу беременную убили грабители ~ мужнины деньги!* — сходный эпизод описан в повести «Паликар Костаки» (Т. 3. С. 186—187).

С. 42. ...*исправляется юношами или детьми...* — ср. в записке «Янина», составленной секретарем русского консульства И. П. Крыловым: «Апостол читают исключительно только мальчики от 10—15 лет» (АВПРИ. Ф. 161. Оп. 181/2. Д. 1114. Л. 77).

С. 43. *Читал Апостола...* — Послания и Деяния Св. Апостолов.

С. 43. ...*последнюю молитву повечерия, молитву ко Христу Антиоха Пандэкта...* «И дай нам, о Бог наш ~ от всякой лживой фантазии!..» — Повечерие — последнее богослужение суточного круга; молитва цитируется свободно, не совпадая с принятым церковнославянским переводом.

С. 44. *Ариман и Ормузд* — верховные божества тьмы и света в зороастризме; с Ариманом Российскую Империю сравнивал и один из героев повести «Аспазия Лампридия» (Т. 3. С. 233, 747).

С. 44. ...*русские возбуждают болгар к непокорности и схизме.* — В 1850—1860-х гг. в русском обществе многие сочувствовали стремлению болгар к церковной и государственной автономии. Это движение поддерживалось некоторыми органами печати (напр., *РВ*). Схизма — разобщение христианских Церквей.

С. 45. *Благодаря кому мы дышим, движемся и есьмы?* — реминисценция из Деяний Св. апостолов (17: 28).

С. 45. *Не Адрианопольским ли миром утвердилась сама ваша Эллада...* — договор, подписанный 14 сентября 1829 г. в Адрианополе (Эдирне), городе во Фракии, на р. Марице.

С. 45. *Панславизм* — идейное и политическое движение, имевшее своей целью достижение всеславянского единения под

эгидой одного из народов; чаще всего миссия единения славянских племен возлагалась на русский народ. Панславистские устремления заметны у некоторых славянофилов, более отчетливое выражение они получили у Н. Я. Данилевского и В. И. Ламанского. Л. относился настороженно к идее «прогрессирующего» панславизма, видя в нем опасность возобладания разрушительных для государственного и культурного организма России частноплеменных интересов. В качестве реальной политики в этой области он предпочитал создание подвижных национально-государственных «комбинаций», выгодных для России и для других славян, что, в частности, отразилось в предлагаемой им политической формуле: «искусное тяготение на почтительном расстоянии». Об этом он говорит в заключительной главе «Византизма и славянства»; вообще же тема панславизма — одна из сквозных тем его публицистики.

С. 46. ...*вступление войск российских в Адрианополь*. — Речь идет о событиях 1829 г.

С. 46. ...*плач и скрежет зубов*. — Мф. 8: 12; 13: 42, 50; 22: 13; 24: 51 и др.

С. 46. *Фередже* — верхняя женская одежда, застегивавшаяся донизу.

С. 46. ...*в двадцать первом году влекли на убой адрианопольских архонтов...* — Антиосманское восстание греков, начавшееся 6 апреля 1821 г., вызвало греческие погромы по всей Империи.

С. 46. *Янычары* — солдаты привилегированных частей турецкой армии, уничтоженных в 1826 г.

С. 46. *Франки* — европейцы-католики.

С. 46. ...*Император Николай Всероссийский решил двинуть войска свои на султана...* — В апреле 1828 г. Россия объявила войну Турции; по повелению Николая I русские войска двинулись на Дунай; в ходе военных действий были взяты Варна, Силистрия, Адрианополь, и в сентябре 1829 г. был заключен Адрианопольский мирный договор; Греция получила независимость, Сербия, Молдавия и Валахия — автономию.

С. 46. ...*большие деревья Эски-Сарая*. — Старинный парк на окраине Адрианополя, до 1361 г. резиденция турецких султанов. О том, как выглядело это место в 1829 г. см.: Записки Иосифа Петровича Дубецкого // Русская старина. 1895. Кн. 6. С. 111—112.

С. 47. *Шумла* — город в Болгарии.

С. 47. *Деспот* — владыка, митрополит. В 1829 г. Адрианопольским митрополитом был Герасим.

С. 48. ...этот центр зовется «Кастро»... — Кастро — крепость (греч.); обычно в таких кварталах жили обеспеченные греки.

С. 49. ...праздник из праздников и торжество из торжеств! — цитата из канона Св. Иоанна Дамаскина на Св. Пасху (ирмос 8 песни).

С. 50. ...а против очага дулапы в стене, и решеточки... — ср. с описанием янинского дома Л. в воспоминаниях М. В. Леонтьевой на с. 989.

С. 50. ...Божия Матерь Иверская ~ Новой живописи московской, но по древним образцам... — чудотворная Иверская икона — один из наиболее чтимых образов Пресвятой Богородицы — хранится с 999 г. в Иверском монастыре на Афоне.

С. 51. ...ныне столь славно царствующего сына. — Императора Александра II (1818—1881).

С. 51. ...победу при Баш-Кадык-Ларе... — сражение 19 ноября 1853 г. у селения Баш-Кадыклар в округе Карса, в котором русские войска под командованием кн. Бебутова (см. прим. на с. 973) одержали победу над значительно превосходящим их по численности турецким корпусом Ахмет-паши.

С. 51. ...взятие турецкого лагеря еще при князе Паскевиче-Эриванском. — Иван Федорович Паскевич (1782—1856), граф Эриванский (с 1828), светлейший князь Варшавский (1831); русский военачальник, с 1829 г. генерал-фельдмаршал.

С. 51. ...подвигов нашего великого и простого моряка Канариса... — Константинос Канарис (ок. 1790—1877), герой освободительной войны, греческий военный и государственный деятель.

С. 52. ...умирал у нас Марко Боцарис в арнаутской одежде... — Марко Боцарис (1789—1823), герой греческой освободительной войны. Арнаутский — албанский.

С. 53. ...в дальнем селении Врадетто... — горное селение Янинского округа.

С. 53. ...из Молдо-Валахии. — См. прим. на с. 973.

С. 54. ...«палка из рая вышла...» — эта пословица приведена и в повести «Дитя души» (Т. 3. С. 406).

С. 54. ...кузум-даскала! — барашек-учитель (тур. и греч.)

С. 55. ...сова, птица Афины... — атрибутами богини мудрости Афины были сова и змея.

С. 56. ...не вмещала душа его... — ср. Мф. 19: 12.

С. 56. ...жена сосуд слабый... — ср. 1 Пет. 3: 7.

С. 56. Немцы, например, потрудились много... — Действительно, немецкие ученые в XIX веке занимались серьезным изу-

чением греческой истории и культуры. См., напр.: *Maurer G.L., von. Das griechische Volk in öffentlicher... Berichung vor und nach dem Freiheitskämpfe. Bd. 1—3. Heidelberg, 1835; Grote G. Geschichte Griechenlands. Bd. 1—6. Leipzig, 1850; Hoffmann S.F.W. Griechenland und die Griechen... Leipzig, 1841.*

С. 57. ...до каких пределов простиралась македонская власть... — держава Александра Македонского (356—323 до н. э.) распространялась до реки Инд.

С. 57. ...дакийским берегам. — Дакия — область на территории современной Румынии (в XIX в. — Молдо-Валахия и Трансильвания), получившая название от фракийского племени даков (гетов), пришедшего в эту область в середине IV в. до н. э.; в начале II в. н. э. стала римской колонией.

С. 58. ...живоносному источнику... — возможная аллюзия на название храма Пресвятой Богородицы Живоносного Источника, построенного в V в. близ Константинополя.

С. 58. Два раза цвел эллинский народ... — т. е. в эпохи расцвета Древней Греции и Византии.

С. 58. ...воинской доблести Леонидов и Фемистоклов... — Леонид (508/507 — 480 до н. э.), спартанский царь с 488 г, погибший в сражении под Фермопилами; Фемистокл — см. прим. на с. 972.

С. 58. Фидий (V в. до н. э.) — древнегреческий скульптор.

С. 58. ...трудами Кораиса, мученической смертью патриарха Григория... — Адамандиос Кораис (1748—1833) — филолог и общественный деятель, автор «Грамматики»; патриарх Григорий V (ок. 1745—1821) был повешен на воротах патриархии 22 апреля 1821 г., после поруганий его тело было брошено в море (подробнее см. Т. 3. С. 751).

С. 58. Акарнания — область на севере Греции.

С. 58. ...мы третий раз дадим вселенной эпоху цвета и развития... — ср. Т. 3. С. 232.

С. 59. ...создадим иную, новую, неслыханную религию... — В статье «Плоды национальных движений на православном Востоке» (1888) Л. вспоминал о том, что в ту эпоху некоторые миряне-греки «мечтали даже, что, именно оторвавшись от славянства, они создадут новую, свою особую оригинальную религию!» «Таков, между прочим, был в 72-м году г. Марули {...} В 72-м году, в городе Серресе, в доме г. Конто, русского „ad honores” вице-консула, он сказал мне так:

— Какая нам потеря от полного разрыва с Россией? Я уверен, что греческое племя, уже давшее миру прежде две великие рели-



гии — древнеэллиническую и православную, — в силах создать и третью, тоже великую...» (СС, VI, 214). Ср. в пов. «Аспазия Ламприди» (Т. 3. С. 232, 747).

С. 59. Уверяет не только ~ эфирских мусульман, которые ~ одного племени с нами ~ что они эллины. — Не только в Эпире, но и в других областях Греции в конце XVIII в. было немало греков, перешедших в Ислам; некоторые из них, продолжая говорить по-гречески, называли себя турками.

С. 59. ...анатолийских и румелийских турок... — Анатолия — Азиатская (Восточная) Турция, Румелия — Европейская Турция.

С. 60. Раки — турецкая виноградная водка.

С. 60. ...наш грек Язон с паликарами ездил в Колхиду... — Язон, сын Эсона, царя Иолка, был послан в Колхиду за золотым руном своим дядей Пелием, свергнувшим Эсона. На корабле Арго с ним отправились герои со всей Эллады.

С. 63. ...из Чепелова какую-нибудь «гвоздичку душистую», «лампадку раскрашенную и расписанную»... — цитаты из песен; Чепелово — см прим. на с. 972.

С. 66. ...к Пирею эскадру приведем из-за жида Пачифико. — Пачифико — португальский еврей, английский подданный, чей дом в Афинах был поврежден во время беспорядков 1850 г.; этот эпизод дал Англии повод вспомнить о греческом долге по займу и направить в Пирей (порт в Афинах) эскадру; подробнее см. Т. 3. С. 745.

С. 66. Драгоман — переводчик.

С. 66. Кавассы — почетные стражи, охранники консулов и высших турецких сановников.

С. 66. ...лорду Бульверу... — Генри Бульвер-Литтон (1805—1872), английский дипломат и писатель, брат известного романиста Э.-Д.-Ч. Бульвер-Литтона; в 1857—1866 гг. — посол в Константинополе.

С. 66. ...поссорился с отцом за церковный вопрос... — вопрос о Болгарской Церкви (греко-болгарский вопрос); см. прим. на с. 976.

С. 67. ...Каннинг наш беспутный и сумасшедший лорд Байрон... — Джордж Каннинг (1770—1827), английский государственный деятель, в 1807—1809 и с 1822 г. — министр иностранных дел Великобритании, в 1827 г. — премьер-министр; выступал против политики держав, входивших в Священный союз, и добивался освобождения Греции. Он нередко до крайности обострял отношения со своими оппонентами; его разногласия с военным

министром Кастлри привели к дуэли, в которой Каннинг был ранен. Джордж Байрон (1788—1824), английский поэт, участвовал в борьбе греков против турецкого господства. См.: *Temperley H.W.V. The foreign policy of Canning (1822—1827). L., 1925; Nicolson H. Byron. The last journey (april 1823 — april 1824). L., 1924.*

С. 67. ...*годдем!* — (God-damn) проклятие! (англ.).

С. 68. *Pardon*, мусье консулос, *pardon!* — Простите, господин консул, простите! (фр., тур.).

С. 68. ...*тескере на проезд...* — проходное свидетельство, выдававшееся для поездок по стране.

С. 68. ...и не юнан тебааси, и не османли тебааси... — эллинский (букв. «ионийский») подданный, турецкий подданный (тур.).

С. 68. *Девлет* — государство (тур.).

С. 68. *Хамал* — носильщик (тур.).

С. 69. ...*что в Тульче откроют скоро русское консульство.* — См. прим. на с. 976.

С. 70. *Вилайет* — губерния; зд.: губернский город.

С. 71. ...*хвалил турок за их поговорку...* — эту поговорку («Яваш, яваш, эпси оладжак») Л. неоднократно приводил в своих восточных повестях. См. также с. 402, 799.

С. 71. ...*во имя Божией Матери «Широчайшей Небес»...* — «ширшая небес» (выражение из догматика — стихиры в честь Пресвятой Богородицы — 1 гласа).

С. 72. *Полукорфиот* — Корфиот — житель или уроженец о-ва Корфу.

С. 73. ...*ехал на рыжей лошади кто-то в белой чалме и в длинной одежде, как кади или молла...* — здесь и далее (с. 75) Л. описывает собственный костюм; ср. в воспоминаниях М. В. Леонтьевой «Янина»: «Немного погода — я очень далеко увидела какого-то всадника; мне он казался весь в белом (...) его мне трудно было и узнать; никогда я его не видала в военном белом кителе, в высоких сапогах и в шляпе, накрытой каким-то белым шарфом, спускавшимся по спине, чтобы не загорала шея» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 4). Кади — судья.

С. 74. ...*шар-кёйский ковер...* — см. прим. на с. 971.

С. 75. ...*красный бантик в петельке...* — лента ордена Св. Анны, см. прим. на с. 1010.

С. 76. *à la franca* — по-европейски (фр., греч.).

С. 77. ...*как паша египетский хотел Миссалонги взять...* — Для подавления греческого освободительного движения Турция использовала флот вице-короля Египта Мегмет-Али (1769—

1849). Крепость Миссолонги (Миссолунги) была взята его сыном Ибрагим-пашой в апреле 1826 г.

С. 77. ...доставалось от Бобелины и Елены Боцарис... — героини освободительной войны Греции; Бобелина (Боболина) командовала кораблем при блокаде Навплии, погибла в 1825 г. Елена Боцарис — сестра Марко Боцариса; см. Т. 3. С. 172, 741, 746.

С. 78. ...о временах султана Махмуда... — Махмуд II (1784—1839), турецкий султан с 1808 г.

С. 78. Лира — денежная единица в Турции, равная 100 пиастрам.

С. 78. О! Кирилл и Мефодий! наделали вы хорошего дела нам, грекам!.. — подразумевается — просветив славян.

С. 79. Недавно и Россия признала новые суды в Турции для русских подданных. — Закон о вилайетах (1864) предусматривал расширение системы светских судов (низамийе); в каждом уезде (санджаке) создавалось два отдельных суда — по уголовным и по гражданским делам. См. в «Моих воспоминаниях о Фракии» (СС, IX, 264).

С. 82. Адаманти — алмаз; эд.: твердый человек.

С. 84. ...о большой пещере, о посещениях грозного Али-паши... — янинская пещера упоминалась выше (с. 55); Али-паша (ок. 1744—1822) управлял Янинским пашалыком с 1788 г., со временем превратив его в полунезависимое феодальное княжество; см. также Т. 3. С. 736.

С. 84. ...агарян нечестивых... — Агаряне — мусульмане, потомки Агари, наложницы Авраама.

С. 85. ...не свободными селами, а чифтликами... — Чифтлик — имение, поместье; см. прим. Л.: Т. 3. С. 91, 323.

С. 85. ...сборщики царской десятины... — Здесь имеется ввиду ошер, подать, взимаемая в Турции в пользу казны.

С. 85. Мудир — чиновник (тур.); эд.: полицейский чиновник, рус. аналог — исправник.

С. 85. Ходжа-баши — старейшина (тур.).

С. 86. ...озеро ее голубое... — Янинское озеро (Енидже).

С. 87 Как древний оплит... — Гоплит — тяжеловооруженный пехотинец в Древней Греции.

С. 88. ...одному турецкому имаму... — Имам — главный мулла в мечети.

С. 88. ...церковь Архимандриб... — При этом храме находилось «нечто вроде женского монастыря», где жило «до 80 старух и молодых девиц, принявших пострижение» (Крылов И. П. Янина // АВПРИ. Ф. 161. Оп. 181/2. Д. 1114. Л. 74).

С. 91. *И птицы небесные питаются, а не то мы!* — аллюзия на Мф. 6: 26.

С. 93. ...почему *Фатьме, дочь Магомета, будет в раю, а жена его Аише, например, не будет...* — Поводом для таких споров (предосудительных с точки зрения исламской ортодоксии) могли послужить два эпизода из жизни пророка. Во время одного из военных походов Айеша отстала от войска и нагнала его лишь на следующее утро вместе с молодым арабом Сафваном, что вызвало подозрение в измене. И хотя ей удалось оправдаться и Магомет вернул ей свое благорасположение, этот случай несколько омрачил их отношения. Среди преданий, собранных Абулфедой, есть рассказ о том, что незадолго перед смертью Магомет сообщил о приближающейся кончине своей любимой дочери Фатиме и сказал, что она скоро последует за ним и будет на небе царицей правоверных мусульманок.

С. 93. ...*меццовская селянка...* — Меццово — албанская часть горного хребта Пинда.

С. 95. ...*имений с обязанными крестьянами.* — Чифтлики; см. прим. на с. 983.

С. 98. ...*вчера ~ закричала!* — Возможно, ошибка автора; действие происходит в тот же день, следовательно, должно быть, «давеча» или что-то в этом роде.

С. 99. ...*как Папу выставляют на площадь.* — Имеется в виду традиционный выход Папы Римского к верующим на площади Св. Петра.

С. 101. *Папистан* — католик.

С. 101. *Ламия* — ведьма, колдунья. См. прим. Л. на с. 113.

С. 104. *Ах! Не могу ходить я, бедный, не могу я ~ со всем твоим добром* — источник не установлен.

С. 104. ...*смотрел Али-паша Эпирский на поражение своих дружин султанскими войсками.* — В 1820 г. Али-паша был объявлен «ферманлы», подлежащим казни; его война с султанскими войсками началась в июле 1820 г., закончившись в январе 1822 г. поражением Али-паши.

С. 105. ...*несчастливая Ефросиния, которую любил его сын Мухтар...* — см. с. 175—176, а также Т. 3. С. 749.

С. 105. *Капитан* — начальник дружины. Уважительное обращение к старшему мужчине, традиционно подразумевающее в нем воинскую доблесть.

С. 105. ...*небольшой островок ~ Это тоже скит.* — «На Янинском острове находится 6 монастырей вроде мужских» (АВПРИ. Ф. 161. Оп. 181/2. Д. 1114. Л. 74 об.). В каж-

дом таком монастыре обитало 2—3 монаха, иногда даже без игумена.

С. 106. *Арнаут* — албанец (тур.).

С. 107. ...на поклонение мощам мученика нынешнего века, чтимого святым, Георгия Нового, Янинского... — Св. мученик Георгий Новый пострадал 17 января 1838 г. в Янине. Погребен в Янинской митрополии, в церкви Св. Афанасия. См. о нем: [Никодим Святогорец.] Христианские мученики, пострадавшие на Востоке со времени завоевания Константинополя турками. С новогреч. языка перев. свящ. Петр Соловьев. СПб., 1862. С. 303—314.

С. 107. ...классические мраморы древних эллинских Пропилей... — Пропилеи — вход на Акрополь (V в. до н. э.) в виде двух портиков, связанных колоннадой.

С. 107. ...пальму страдания. — Св. мученики на иконах часто изображаются с пальмовой ветвью. В Греции икона Св. Георгия Нового составляла «непременную принадлежность почти всякого православного дома по селам» (Христианские мученики... С. 314).

С. 108. ...на картину Делароша... — Поль Деларош (1797—1856), французский художник.

С. 108. *Ходжа* — духовное лицо, учитель, старейшина (тур.).

С. 108. *Низам* — солдат регулярной турецкой армии.

С. 109. ...обращаться к векам Диоклетиана... — Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (243 — между 313 и 316) — Римский Император, при котором было одно из самых страшных гонений на христиан.

С. 109. ...приложились к мраморной раке... — Рака — гробница.

С. 114. ...кто был Саади? — Абу Абдаллах Мушрифаддин ибн Муслихаддин Саади (после 1203 — 1291), персидский поэт.

С. 114. «Этот кипарис прямой и стройный ~ строгая черта между его бровями!» — источник не установлен.

С. 114. *Гоммам-Эддин* — Хамам-Ад-дин Тебреси — персидский поэт XIV в.

С. 115. «Одним взглядом ты можешь устроить наши дела; но ты не желаешь облегчать страдания несчастных». — Источник цитаты не установлен.

С. 116. «*Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas!*» — Дни проходят, но не повторяют друг друга! (фр.). Неточно приведена французская поговорка. Ср.: Dictionnaire comique, satyri-

que, critique, burlesque, libre et proverbial ... par P. J. Leroux. [P.,] 1786. V. 2. P. 58.

С. 116. ...еще древний латинянин сказал: спеши медлительно. — Эти крылатые слова принадлежат Императору Августу (63 до н. э.—14 н. э.).

С. 116. «*Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles*». — Все к лучшему в этом лучшем из миров (фр.); слова Панглоса, персонажа повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1758). Они представляют собой утрированное выражение «теологического оптимизма» Г. В. Лейбница, с которым полемизировал Вольтер в этой повести.

С. 116. *Дервиш* — букв. бедняк, нищий (перс.), дервиши — мусульманские нищенствующие аскеты, объединенные в общины или ордена.

С. 116. ...с огромною алебардой... — Имеется в виду «тебер», обоюдоострый топорик, который носили дервиши-бекташи.

С. 116. *Хаджи* — мусульманин, совершивший хадж, полонничество в Мекку или Медину.

С. 118. ...в двадцать первом году была война с эллинами... — см. прим. на с. 978.

С. 119. ...книга о турецких старинных одеждах... — см. с. 831.

С. 119. ...со времен Османа Гази до султана Махмуда... — султан Осман (1288 (1280?)—1326 (1324?)), первый султан из династии Османов, правивший с 1299 или 1300 г.; Махмуд II (1784—1839) правил в 1808—1839 гг.

С. 119. ...шапкам дервишей-мевлеви... — Мевлеви — один из орденов дервишей, основанный поэтом Джалал-ад-Дином Руми (1207—1279).

С. 119. ...султана Селима III... — Селим III (1761—1808), Турецкий султан в 1789—1807 гг.

С. 119. *Диван-эффендис* — начальник канцелярии, секретарь, советник.

С. 119. ...до учреждения вилайетов... — т. е. до 1867 г.

С. 128. ...притчу о древнем мудреце и о мертвой собаке... — источник не установлен.

С. 129. ...звали смолоду Адонисом Янины. — Адонис — в греческой мифологии божество финикийско-сирийского происхождения, олицетворение юношеской красоты.

С. 130. ...о Восточном вопросе. — В широком смысле — вопрос о судьбе владений Османской Империи.

С. 131. ...попытки Фукидидов и Солонов... — Фукидид (ок. 460—400 до н. э.), древнегреческий историк; Солон

(между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) — афинский законодатель, один из легендарных «семи мудрецов».

С. 131. ...о, *Маккиавель!* — Николо ди Бернардо Макиавелли (1469—1527), итальянский политический деятель и писатель.

С. 131. О, *Валаамова ослица, одаренная словом!* — Чис. 22: 21—35.

С. 131. *Мы соль земли!* — ср. Мф. 5: 13.

С. 132. О, *Панагия!* — Всесвятая (греч.), обращение к Пресвятой Богородице.

С. 132. *Ферик* — дивизионный генерал (тур.).

С. 133. *Мушир* — маршал (тур.).

С. 133. *Архонтиса* — жена архонта.

С. 133. *Наполеон* — Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт, 1808—1873), Французский Император.

С. 134. ...*правительство короля Оттона.* — Король Греции Оттон I Баварский (1815—1867); низложен в 1862 г.

С. 134. «О, доколь саранча чужестранная...» — источник не установлен.

С. 135. ...*чтобы птицы злые не расклевали эти благие семена.* — Аллюзия на притчу о сеятеле (Мф. 13: 4).

С. 136. *Пастырю доброму...* — образ из Евангелия от Иоанна (Ин. 10: 11, 14).

С. 137. «*Лучше день один во дворах Твоих, паче тысяч!*» — Пс. 83: 11.

С. 137. ...*гатти-гумайюн исполнять!* — Гатти-шериф Гумайюн — высочайшая грамота о равенстве перед законом всех подданных Турецкой Империи независимо от их национальности и вероисповедания, данная султаном Абдул-Меджидом после окончания Восточной войны в 1856 г. По выражению Т. И. Филиппова, «лживый акт, верный свидетель и памятник лицемерия западных держав» (Филиппов Т. И. Современные церковные вопросы. СПб., 1882. С. 27).

С. 138. ...*средним «царским путем идти!»* — выражение восходит к Чис. 20: 17 (Моисей просит разрешения у царя Едомского пройти через его землю «Царским путем», не уклоняясь ни направо, ни налево).

С. 138. ...*лучшие чалму в Царьграде видеть, чем митру папскую...* — известная греческая поговорка о церковных делах, восходящая еще к XV в.

С. 138. ...и апостол говорит: «*Епископ должен быть одной жены муж...*» — 1 Тим. 3: 2; ср. Тит. 1: 5.

С. 138. *Протосингел* — священник или монах при патриархе или митрополите, помогающий ему в управлении.

С. 141. ...*дурно литургисует*... — Литургисать — совершать литургию и вообще богослужение.

С. 145. *Великие три державы, которым Эллада равно обязана.* — Англия, Франция и Россия.

С. 146. ...с древними монетами и другими антиками. — Антик — зд.: древность; в узком смысле слова — произведение античной скульптуры или его фрагмент.

С. 150. ...*автохтоны Эллады*... — коренные жители.

С. 150. *Je déteste l'habit Albanais; c'est trop Grec.* — Я ненавижу албанскую одежду; она слишком греческая (фр.).

С. 151. *Tout-à-l'heure, Mathilde!* — Сейчас, Матильда! (фр.).

С. 152. *Eh bien?* — Ну хорошо? (фр.).

С. 152. *Alfred! Dois-je encor attendre?* — Альфред! Я должна еще ждать? (фр.).

С. 152. *Tout-à-l'heure!* — Сейчас! (фр.).

С. 152. *Entendez-vous!?* — Слышите!? (фр.).

С. 153. *Alfred! Je pars!* — Альфред! Я ухожу! (фр.).

С. 153. *se morfondre* — томиться, умирать от скуки (фр.).

С. 153. *ces individus* — эти индивиды (фр.); в значении, восходящем к лат. *individuum*, в первоначальном значении — «неделимые».

С. 153. ...*прозелитизмом веры, которую ~ они у себя в государстве всячески потрясли и стеснили.* — Т. е. стремлением обращать местных жителей в католическую веру, которая в самой Франции была подорвана революционными преобразованиями и оттеснена на периферию общественной жизни.

С. 154. *Assez!* — Довольно! (фр.).

С. 155. *pince-nez* — пенсне (фр.).

С. 155. ...*в монастыре Св. Пантелеймона*... — Один из небольших монастырей на острове Янинского озера. И. П. Крылов писал об этом месте: «Св. Пантелеймона и Св. Иоанна. В нем игумен и 2 монаха с 4 служками {...} (В этом монастыре есть глава Св. Александра и рука Св. Антонины). {...} В монастыри на Янинском острове иногда приезжают на целый день летом провести время и повеселиться не только городские архонты, но и турки с своими запасами и цыганской музыкой. Бывает очень шумно и весело» (АВПРИ. Ф. 161. Оп. 181/2. Д. 1114. Л. 75 об.— 76 об.).

Пирушка в этом монастыре упоминается также в пов. «Пембе» (Т. 3. С. 113—114).



С. 156. ...*нанимал огромный и прекрасный дом одного турецкого бея*. — Л. описывает дом русского консульства; ср. в воспоминаниях М. В. Леонтьевой: «Дом Русского Консульства был 3-этажный; в нижнем этаже помещались канцелярия и комната кавассов {...} Но большую часть нижнего этажа составляли большие сени, очень чистые; из них шла лестница в 1-ый и во 2-й этаж. — В 1-м этаже были кабинет и спальни Консула и небольшая уборная; во 2-м большая столовая и очень большая гостиная; комната Лизаветы Павловны — большая и 2 поменьше {...}»

Отделал его Константин Николаевич весь заново {...} Отделан он был не богато, но пестрые турецкие диваны, салфетки тоже в турецком вкусе на столах, циновки на полу тамошнего изделия; «*дулапы*», или шкапики на некоторых стенах с резными дверцами, как это принято в турецких домах, — пестрые кисейные занавеси, резные деревянные потолки, — а стены совершенно белые — нештукатуренные, — двери комнатные тоже деревянные с резьбой — все это делало дом очень веселым; — в гостиной были и европейские мягкие кресла; а на дверях портьеры с турецкими надписями, которые очень красили комнату» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 35—36).

С. 158. *Что значит имя? Пустой звук*. — Возможно, скрытая цитата из «Фауста» И. В. Гете (Ч. I, сд. 3).

С. 159. ...*отрывки из мемуара...* — зд.: памятная записка, донесение.

С. 166. *Буюк-Дере* — Константинопольское предместье на берегу Босфора, где находились, в частности, летние резиденции европейских дипломатов.

С. 167. *Каики* — узкие длинные лодки.

С. 168. *Ах! Аман! аман! мой багдадский друг...* — об этой песне см. в «Моих воспоминаниях о Фракии» (СС, IX, 254).

С. 169. *«Vous, que j'appris à pleurer sur la France!...»* — «Вы, которых я учил оплакивать Францию!...» (фр.). Цитата из стихотворения П. Ж. Беранже «*La bonne vieille*».

С. 169. *Клефты* — разбойники, повстанцы.

С. 170. *«Я держу двух девушек ~ которую удержать»* — народная греческая песня. См.: Греческие народные песни. М., 1957. С. 194—195.

С. 174. ...*под начальством Караискаки...* — Георгиос Караискакис (ок. 1780—1827), участник освободительной войны, с 1826 г. — главнокомандующий войсками континентальной Греции.

С. 176. ...*в Трапезунте...* — Трапезунт (Трабзон) — город-порт в Турции на берегу Черного моря.

С. 178. ...*возглас муэззина*... — призыв на молитву, возглашаемый служителем мечети, муэдзином.

С. 178. *Dieu est grand?* — Бог велик? (фр.)

С. 178. Ο Θεος εινε μεγαλος? — Бог велик? (греч.)

С. 180. *Вы были лучшие тогда, когда над вами висел всегда Дамоклов меч*... — Ср. в статье «Русские, греки и юго-славяне», написанной в те же годы, что и «Одиссей»: «Пока с одной стороны были турки жестче, пока законы были беспощаднее, пока незаконных притеснений было больше, пока христиан убивали легко — была вера личная, был страх, страдание, молитвы, пост, строжайший, были вольные мученики, монастыри наполнялись аскетами. {...} Пока было жить страшно {...} пока христианин был собака, он был более человек, то есть был идеальнее» (СС, V, 281, 302).

С. 180. *У вас не было Байардов и Роганов*... — Пьер дю-Террайль Баярд (1476—1524), «рыцарь без страха и упрека»; Генрих де Роган (1579—1638), полководец, друг короля Генриха IV, глава гугенотов, с 1603 г. герцог.

С. 181. ...*не достоин развязать ремень на обуви*... — аллюзия на Ин. 1: 27

С. 182. *Рамазан* — пост мусульман во время Рамадана (араб.), или Рамазана (тур.), девятого месяца лунного года. О наступлении Рамазана давали знать пушечными выстрелами.

С. 183. ...*трактаты позволяют*... — Вероятно, имеется в виду трактат, подписанный великими державами 18 марта 1856 г., согласно которому все христианские подданные Турецкой Империи принимались под покровительство Европы.

С. 184. *Чауш* — вахмистр, унтер-офицер турецкой армии.

С. 186. *Плоть сильна, но дух немощен у него*... — перефразированные слова Мф. 26: 41.

С. 188. *Quoi! mon très cher monsieur!* — Как! дражайший мой! (фр.)

С. 188. *Montons et racontez-nous!* — Поднимемся наверх и мы вам расскажем! (фр.)

С. 188. *Cette racaille!* — Эта сволочь! (фр.)

С. 190. *Lasciate ogni speranza.* — Оставьте всякую надежду (итал.); цитата из «Божественной комедии» Данте (Ад, Песнь третья, 9).

С. 190. ...*об Уголино, грызущем в аду голову врага своего*... — Речь идет о сцене из «Божественной комедии» (Ад. Песнь 32, 124 — Песнь 33, 90). Уголино делла Герардеска, граф Доноратико, стоял во главе Пизанской республики, разделяя с

1285 г. власть со своим внуком Нино Висконти. Архиепископ Руджери в 1288 г. воспользовался враждой, возникшей между соправителями, и, после того как Нино покинул Пизу, обвинил Уголино в измене (за то, что он уступил три замка Флоренции и пять Лукке) и поднял против него народный мятеж. Уголино в 1289 г. был заточен в башню вместе с двумя сыновьями и двумя внуками и уморен голодом (поэтому он и грызет «голову врага своего»). Кардинал Руджери на короткое время стал правителем республики.

С. 190. ...из дикой и воинственной Чамурьи... — село в Эпире; Л. бывал в нем. См. письмо И. П. Крылова от 28 авг. 1870 г.: «Получил из Чамурьи Ваше письмо» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 162. Л. 25).

С. 191. *Мангал* — жаровня для обогрвания комнат.

С. 192. *décrotteur* — чистильщик обуви (фр.)

С. 192. *Хеким-баши* — главный доктор (тур.).

С. 192. *Яшмак* — чадра, покрывало (тур.) (зд. ошибочно было «ямшак»).

С. 196. ...приверженец великой идеи... — т. е. идеи восстановления Византийской Империи; см. с. 663.

С. 197. ...спустить флаг — т. е. закрыть консульство.

С. 200. ...Россия два раза уже доказала нам свою умеренность: в 29-м и в 40-м году... — т. е. при заключении Адрианопольского мира и при заключении союза с Англией, Австрией и Пруссией для сохранения целостности Порты.

С. 200. ...мечом Османа, Амурата и султан-Магомета... — основатели Османской Империи: султан Осман (см. прим. на с. 986), Мурад (Амурат) I (1319—1389; султан в 1359/60 или 1362—1389, после завоевания Фракии перенес столицу в Адрианополь); Мехмед II-Завоеватель (султан в 1451—1481), взявший в 1453 г. Константинополь и перенесший туда столицу.

С. 202. *Eh bien?* — Ну? (фр.)

С. 202. *Nous verrons!* — Посмотрим! (фр.)

С. 204. *Pardon, консулос-бей, pardon!*.. — Простите, господин консул, простите! (смесь фр. и тур.).

С. 206. ...наше свободное Ромейское государство! — т. е. греческое (и в определенном смысле, государство — наследник Византийской Империи; ромеи — греки-византийцы).

С. 207. ...начать дело ~ у кади и по шариату. — Кади — судья шариатского (по Корану) суда. См. прим. Л.: Т. 3. С. 180.

С. 210. ...эпитропа, поверенного... — доверенное лицо, представитель (греч.).

С. 214. ...особый фирман из Константинополя... — Фирман — см. прим. на с. 972.

С. 215. *nulle et non avenue* — недействительной (фр.)

С. 217. Мухасе-беджи — управляющий финансами в канцелярии паши.

С. 217. Пашапула — дочь паши.

С. 218. бак! бак! — смотри! смотри! (тур.)

С. 218. по-ромейски — по-гречески

С. 220. ...«но Платон друг, а истина еще мне милее!» — Перевод популярного латинского выражения «*Amicus Plato, sed magis amita veritas*», которое восходит к словам из диалога Платона «Федон»: «Следуя мне, меньше думайте о Сократе, а больше об истине».

С. 221. ...выпустив красную шолковую рубашку поверх шальвар. — Так с середины 1860-х годов одевался и Л.

С. 222 Феллах — египетский крестьянин-земледелец.

С. 223 Zito! — Ура! Да здравствует!

С. 224. Эи-адам — хороший человек (тур.).

С. 225. Интернунций — эд.: австрийский посланник в Константинополе; в силу исторических обстоятельств за ним сохранилось название представителя (посланника) Папы Римского.

С. 226. ...считали за переодетого мальчика. — См. Т. 3. С. 731.

С. 229. ...великую утреню Пасхи... — ночная служба под праздник Воскресения Христова.

С. 229. ...был подданный Ионических островов. — Ионические острова до 1864 г. находились под протекторатом Англии, поэтому и приходит английский драгоман.

С. 230. ...в церковь Св. Николая... — в дальнейшем Л. называет ее церковью Св. Марины (ср. с. 236), а в четвертой части романа возвращается к первому названию.

С. 236. ...брящая позвонками... — колокольчиками.

С. 237. ...начало всякой премудрости есть страх Божий. — Притч. 1: 7.

С. 237. ...из Омира. — Новогреческое произношение имени Гомера.

С. 238. ...в житии Св. Екатерины Великомученицы. — Св. Екатерина, почитаемая Восточной и Западной Церквами, родом из Александрии, ее мученическую кончину относят к 307 г.; славилась своей образованностью. Возможно, имеется в виду ее речь, обращенная к Римскому Императору Максимиனு, в которой она, ссылаясь на Диодора Сицилийского, говорит, что языческие боги

были людьми, почитаемыми за некоторые свои деяния (см.: Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней Св. Димитрия Ростовского. Кн. 3. Ноябрь. М., 1905. С. 665).

С. 239. ...как елень источников водных! — Пс. 43: 1.

С. 241. ...есть буквы «а́йен, га́йен» и еще «ла́м-эли́ф» и «ва́у». — Буквы арабского алфавита, использовавшегося в Турции до 1928 г. Лам и элиф (алиф) — две разные буквы, но часто рассматривались как одна; связке «лам-алиф», являющейся первым словом Символа веры, придавалось в суфийской традиции особое мистическое значение. Буква вау (вав) — союз «и» — также наделена особым смыслом, поскольку символизирует связь между Богом и творением.

С. 241. «Однажды я был огорчен ~ в драгоценное черное дерево юных кудрей...» — источник не установлен.

С. 242. Дели-Канлы! — Бешеная кровь! (тур.).

С. 244. ...не знал германской нынешней апологетики... — Обозначившееся в немецкой теологии первой половины XIX в. стремление дать историческое и психологическое обоснование Христианства на путях научно-критического исследования его развития, догматики, религиозного опыта. В этом направлении действовали последователь Ф. Шлейермахера К.-Г. Ульман («Das Wesen des Christenthums», 1849 и др. соч.), Г.-Я. Планк («Geschichte der Entstehung und Ausbildung der christlich-kirchlichen Gesellschaftsverfassung», 1803—1809), Р.-А. Липсиус («De Clementis Romani epistola ad Cor. I», 1855 и др. соч.), О. Пфлейдерер («Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte», 1869), Х.-Э. Лютгардт («Apologetische Vorträge über die Grundwahrheiten des Christenthums», 1864 и др. соч.).

С. 244. ...то Христианство, которое и я зову истинным... — Так зачастую определял сам Л. «византийское», строго следующее церковному Преданию и святоотеческому учению Христианство в противоположность всем современным либерально-гуманистическим его истолкованиям. О нем говорит он, например, в статье «Страх Божий и любовь к человечеству» (СС, VIII, 173), в «Воспоминании об архимандрите Макарии...» (Гр. 1889. № 192) и др. Выражение «и я зову истинным» позволяет предполагать, что в поле зрения Л. были источники, в которых также трактуется об «истинном Христианстве»: книги Блаженного Августина (353—430) «Об истинной религии» и Иоганна Арндта (1555—1621) «Об истинном Христианстве».

С. 245. ...Св. Онуфрия, великого пустытника... — преп. Онуфрий Великий (IV в.).

С. 245. ...своих арнаутов белошапочников! — Прозвище происходит от белых колпачков, которые носили эфирские простолудины вместо фесок; о слове «аспроскуфос» (белошапочник) см. примечание Л. к повести «Паликар Костаки» (Т. 3. С. 192).

С. 245. Плевелы — сорная трава.

С. 246. ...нашего греческого этно-филетизма... — национально-племенного чувства.

С. 247. ...Петр Великий российский сказал: «Музы, покинув Грецию, обойдут весь мир и снова возвратятся на свою родину...» — Высказывание Петра Великого передано не совсем точно. В 1714 г. в своей речи в Риге по случаю спуска на воду нового корабля он говорил: «Историки полагают древнее седалище наук в Греции; оттуда перешли они в Италию и распространились по всем землям Европы (...) Это движение наук на земле сравниваю я с обращением крови в человеке; и мне сдается, что они опять когда-нибудь покинут свое местопребывание в Англии, Франции и Германии и перейдут к нам на несколько столетий, чтобы потом снова возвратиться на свою родину, в Грецию» (Голоиков П.П. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России... 2-е изд. Т. 5. М., 1838. С. 261—262). Возможно, что Л. нашел это высказывание Петра I в статье И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» (Московский сборник. Т. 1. М., 1852).

С. 247. ...поскорей в игольное ушко пропустить меня в рай!.. — аллюзия на Мф. 19: 24.

С. 247. ...от церковной диаконии... — зд.: служения.

С. 250. «Окропиши мя иссопом ~ паче снега убелюся» — Пс. 50: 9.

С. 252. ...«Вино веселит ~ сердце человеческое укрепит...» — Пс. 103: 15.

С. 252. ...песенку про янинскую девицу... — источник не установлен.

С. 252. Олимп и Киссамос — две горы спорят... — эта песня была переведена А. Н. Майковым и вошла в его цикл «Новогреческие песни».

С. 253. ...шесть месяцев Св. Тайн не дал приобщаться... — т. е. наложил бы на него эпитимию.

С. 253. ...«тот отец сына не любит, который его не наказывает»... — «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Притч. 13: 25).

С. 258. Ханум — госпожа (тур.).

С. 260. ...в дальней Эгине... — остров в Сароническом заливе Средиземного моря.

С. 261. *Веселитесь, молодые, веселитесь, девушки...* — источник не установлен. См. с. 839.

С. 263. *Тогда еще были там англичане...* — т. е. до 1864 г. См. прим. на с. 992.

С. 263. *Яни тот да Янаки, да распутный Яни...* — источник не установлен.

С. 264. ...*все терпят, все переносят...* — аллюзия на 1 Кор. 13: 4, 7.

С. 265. *Merci* — Спасибо (фр.).

С. 265. ...*как богу Гермесу, окрыляло мне ноги...* — Атрибутом Гермеса, вестника богов и покровителя путников в греческой мифологии, были золотые крылатые сандалии.

С. 266. ...*высокой и страшной Порте...* — Высокая Порта — название турецкого правительства и государства, происходящее от названия дворца с высокими воротами (порта), построенного султаном Орханом (Урханом) в Бруссе в 1326 году.

С. 266. ...*ограничивались ~ расспросами о здоровье и погоде или замечаниями о том, что «здесь Турция, варварство»...* — ср. в пов. «Аспазия Ламприди» (Т. 3. С. 262—263).

С. 268. ...*знал отлично каноническое право.* — Совокупность церковно-правовых норм, заключающихся в правилах Апостольских, Вселенских и Поместных Соборов и правилах Св. отцов, охватывающих внутреннюю жизнь Церкви и ее внешнее положение, а также наука, изучающая эти правовые нормы (иначе — церковное законоведение, церковное право).

С. 268. ...*что делала Франческа да-Римини...* — дочь Гвидо да Полента, владельца Равенны в XIII в.; ее против воли выдали замуж за уродливого Джанчатто Малатесту да Римини; она полюбила его сводного брата Паоло и была убита мужем. Ее историю рассказывает Данте («Ад», песнь 5).

С. 269. ...*рыкая как лев.* — Образ восходит к 1 Пет. 5: 8.

С. 269. *Ах! поцелуй...* — См. с. 840.

С. 270. ...*из лавреатов новых Афин.* — См. с. 840. В статье «Русские, греки и юго-славяне» Л. заметил, что новогреческая любовная лирика напоминает мадригалы или водевильные куплеты. «Все „кустики“, „луна“, „свет очей моих“, „поцелуй“ и „поцелуй“. Целуются беспрестанно. А страсти не слышно; задумчивости нет и следа. {...} И все это в новых Афинах венчается лаврами!» (СС, V, 294).

С. 274. *bastardo* — незаконнорожденный (итал.)

С. 275. ...пять-десять пиастров бакчишу... — Бакшиш, бахчиш — взятка, приношение (перс.).

С. 277. ...времена Марков Боцарис и Дзавели... — Боцарис — см. прим. на с. 979; Квистос Тзавелас — один из вождей сулиотов во время освободительной войны.

С. 278. ...тайной гетерии революционной... — Гетерии — греческие тайные общества времен борьбы за освобождение от турецкого ига.

С. 279. Сии на колесницах, сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. — Пс. 19: 8.

С. 279. ...«око за око, зуб за зуб!»... — формула ветхозаветного закона возмездия (Исх. 21: 24; Лев. 24: 20), отмененная Новым Заветом (Мф. 5: 38).

С. 280. Падишах — великий государь, одно из именований султана.

С. 281. *de cet indigne pasteur!* — этого негодного пастыря! (фр.)

С. 282. ...однажды, «одним печальным четвергом и средой одною горькою»... — источник не установлен.

С. 283. ...в 54-м году его убили... — во время албанского восстания против турецкого султана.

С. 287. ...«с железом в груди и со сталью в ногах»... — ср. с. 285.

С. 288. *Ныне отпускаеши...* — молитва Св. Симеона Богоприимца (Лк. 2: 29).

С. 289. ...елейсон му, Кирие! елейсон му! — помилуй мя, Господи! помилуй мя! (греч.).

С. 289. «елейсон му! Агие! елейсон му!» — помилуй мя! Святый! помилуй мя! (греч.).

С. 289. «Елейсон имас, о Феос, елейсон имас!» — Помилуй нас, Боже, помилуй нас! (греч.).

С. 291. ...морé деспотиму... — возможный русский аналог: владыченька.

С. 293. *Voyons de quoi s'agit-il?* — Итак, в чем дело? (фр.)

С. 293. *Et ce coquin de Déspot-effendi que fait-il maintenant?* — И что теперь делает этот плут Деспот-эффенди? (фр.).

С. 293. *Je n'en sais rien, monsieur le consul.* — Я ничего не знаю, господин консул (фр.).

С. 293. *Севасмиотатé! Паниеротатé!* — Преосвященный! Всесвятейший! (греч.) Обращения к епископу.

С. 293. *Qu'en dites-vous, monsieur Ашенбреннер? Vous en savez quelque chose vous aussi?* — Что вы говорите, господин Ашенбреннер? Вы тоже кое-что знаете? (фр.)



С. 293. ...*стать вечно невинною и ежедневно обладаемою гурией в раю Магомета...* — Гурии (черноокие, араб.) — согласно мусульманскому преданию, девы, вместе с праведниками населяющие рай; эти «супруги чистые» всегда остаются девственницами (Коран, 2: 23; 3: 13; 4: 60; 6: 35—36).

С. 293. *Sont-ils bêtes ces gens-la avec leurs conversions...* — Они бывают глупцами, эти люди с их обращениями... (фр.). Т. е. обращениями в Христианство.

С. 293. *Ne serait-elle pas la maitresse ~ moins bête...* — Не станет ли она случайно любовницей этого маленького юноши? Это было бы не так глупо... (фр.)

С. 294. *Je vous disais qu'il y a quelque chose!* — Я вам говорил, что тут что-то есть! (фр.)

С. 298. ...*вести в истинтак, на следствие.* — Истинтак — следственная комиссия (тур.).

С. 299. ...*каким-нибудь иностранным видом...* — паспортом, удостоверением.

С. 300. ...*вероисповедания в Оттоманской Империи ~ объявлены свободными.* — Имеются в виду великие грамоты (манифесты) султана Абдул-Меджида — гатти-шериф Гюльханей (1839 г.) и гатти-шериф Гумайюн (1856 г.), провозгласившие безопасность и равенство всех подданных Турецкой Империи без различия вероисповедания. См. также прим. на с. 987.

С. 300. *C'est votre affaire... Après tout ~ autre chose...* — Это ваше дело... В конце концов это мне безразлично. Но господин де Леси несколько утомителен, чтобы не сказать хуже... (фр.)

С. 300. ...*с австрийского Ллойда...* — пароходное общество, основанное в Триесте в 1832 г. как филиал лондонского общества страхования и классификации судов, носящего имя его основателя Э. Ллойда.

С. 301. *Il povero ragazzo!* — Бедный мальчик! (итал.)

С. 301. *Il est bien gentil, le pauvre enfant, avec sa robe de chambre turque...* — Он очень мил, бедный ребенок, в своем турецком халате (фр.).

С. 302. *Эвет!* эффендим. — Да, господин! (тур.)

С. 302. *Аскеры* — стражники, охрана.

С. 306. *Багряница* — плащ багряного цвета, порфира.

С. 307. *Ханумиса* — госпожа (тур.); эд.: хозяйка дома.

С. 307. *Где мой орех?* — источник не установлен.

С. 309. ...*сравнить с Алкивиадом...* — Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель. См. также: Т. 2. С. 433.

С. 309. ...в самый праздник Крещения... — один из двенадцатых праздников Православной Церкви (6 (19) января).

С. 309. ...в Превезе или в Арте... — города в Албании.

С. 309. ...на диких эллинов геройской Акарнании. — См. прим. на с. 980.

С. 309. ...султанским гатти-шерифам или гатти-гумаянам... — См. прим. на с. 997.

С. 310. ...превознесем и прославим имя его... — оборот восходит к песне Моисея, ставшей основой первой песни канонов утрени. Ср.: Исх. 15: 2.

С. 312. Курдистан — часть Передней Азии между Арменией и Месопотамией, включавшая турецкие вилайеты Диабекр, Эрзерум, часть Багдадского вилайета и персидскую провинцию Арцилан.

С. 313. ...прав был тот англичанин, который еще недавно находил восточные ковры несравненно лучшими европейских... — источник не установлен.

С. 314. ...большая картина: три полубогаженных женщины ~ подавал пастушку яблоко. — Это описание не соответствует в точности ни одному из известных полотен, написанных на широко распространившийся с эпохи Ренессанса сюжет «Суд Париса». Возможно, что Л. ошибается в подробностях, описывая по памяти одну из картин П. П. Рубенса: «Суд Париса» (1600—1601, Лондонская национальная галерея); «Суд Париса» (1632—1633 и 1635—36, там же); «Суд Париса» (1625, Дрезденская галерея); «Суд Париса» (1638—39, Мадрид, Прадо). Допустимо, что в русском консульстве могла находиться копия с одной из этих картин, созданная учениками Рубенса и затем им завершенная. Не исключено также, что это описание — контаминация или вымысел автора.

С. 315. ...вор Парис. Он украл одну Елену... — см. прим. на с. 972—973.

С. 316. ...почитаются за остатки Додонского прорицалища... — В эпирском городе Додона был храм, где находился оракул Зевса, упоминаемый еще Гомером («Илиада», XVI); храм являлся общегреческим религиозным центром, по значению вторым после Дельф и существовал до IV в. н. э.

С. 317. Союз с Сардинией или Францией... — Сардиния и Франция участвовали в Восточной войне против России.

С. 317. Были же, вы знаете, русские в Корфу. — В феврале 1799 г. остров Корфу был занят русским военным флотом во главе с Ф. Ф. Ушаковым.

С. 319. ...смерть его будет лютее, как смерть грешника... — аллюзия на Пс. 33: 22.

С. 320. ...незримый этот идеал — обворожительный и лживый... — отдаленная аллюзия на стихотворение А. С. Пушкина «В начале жизни школу помню я...» (1830): «Сомнительный и лживый идеал — / Волшебный демон — лживый, но прекрасный».

С. 320. ...во всеоружии того бранного доспеха... — ср. Еф. 6: 13—17.

С. 321. ...около входа в Элизиум тени непогребенных людей... — Элизиум (Елисейские поля) — в греч. мифологии часть подземного царства мертвых (Аида), предназначенная для праведников. Перевозчик Харон не переправлял через подземные реки души тех, чьи тела не были погребены.

С. 322. ...Воздух благоухания вашего дошел давно и до нас издалека. — «Воздѹх благоуханія [духовнаго]» — цитата из просительной ектении.

С. 322. ...еще не возросли болгарские претензии ~ и не раздражили эллинского чувства в народе против славян и России... — эти настроения возникнут в начале 1870-х годов.

С. 323. *pour vous mettre la main sur la figure* — чтобы наложить руку на ваше лицо (фр.)

С. 324. Зачем мне театр искусственный? — ср. Т. 3. С. 26.

С. 324. ...после Парижского мира состоялся секретный договор... — Ср. СС, VI, 300.

С. 327. *Et vous monsieur Breché, gigotez-vous quelquefois?* — И вы, господин Бреше, дрыгаете ногами иногда? (фр.). Не очень удачный каламбур Бакеева строится на созвучии слов *gigoter* (дрыгать ногами, танцевать) и *gigot* (задняя ножка баранины, свинины).

С. 327. *Gigote-toi... Quant à moi je mangerai du gigot!* — Дрыгай ногами ты.... Что касается меня, я буду есть ножку! (фр.)

С. 328. *illustrissimo signore!* — глубокоуважаемый господин! (итал.)

С. 330. ...командорский знак Св. Станислава 2-й степени... — Командорским крестом называли иностранные ордена высшей степени. Орден Св. Станислава учрежден Польским королем Станиславом Августом Понятовским в 1765 г., в число наград Российской Империи вошел в 1831 г. Эд. речь идет о высшей разновидности второй степени этого ордена, которая в 1839—1874 гг. имела подразделение на крест с короной и без нсе. Кава-

лером ордена Св. Станислава 2-й степени Л. был «Всемилошвейше пожалован» 31 марта 1868 г.

С. 330. ...в петербургской Греческой церкви... — Имеется в виду церковь Св. Великомученика Димитрия Солунского при Греческом посольстве (1865—1866; арх. Р. И. Кузьмин) на Лиговском канале (позднее Лиговский пр., 6). Снесена в 1964 г.

С. 331. ...потомки Леонидов, Калликратидов и Пелопидов! — Леонид — см. прим. на с. 980; Калликратид — начальник спартанского флота, погиб в сентябре 406 г. до н. э. в сражении с афинянами при Аргинузских островах; Пелопид (ок. 410 — 364 до н. э.), фиванский полководец, воевавший со Спартой.

С. 331. ...во святом храме сем... — выражение из великой ектении.

С. 331. ...сотру главу агарянам!.. — в основу положено библейское речение «сокрушить главу» (Пс. 73: 13; Ав. 3: 13).

С. 332. Эвхаристо — Благодарю (греч.).

С. 332. ...не шел к антидору... — Антидор (вместо дара, греч.; т. е. вместо Святых Даров) — раздаваемые после литургии частицы богослужебной просфоры, из которой был вынут Агнец, пресуществленный во время совершения таинства Евхаристии в Тело Христово.

С. 333. *Merci, merci!* — Спасибо, спасибо! (фр.)

С. 340. ...в городе П... служил я в доме английского консула, мусье Виллартона. — Это имя Л. даст также одному из персонажей повести «Египетский голубь», английскому вице-консулу в Адрианополе, прообразом которого был вице-консул Джордж Элайджа Блант (Блонт) († 1916).

С. 341. ...старика лорда Б—, посла самого... — лорд Генри Бульвер-Литтон; см. прим. на с. 981.

С. 344. ...ресницы очень длинные, как франкские стрелы... — образ из новогреческих песен.

С. 346. *Il n'est pas trop coulant...* — Он не слишком покладист... (фр.)

С. 346. *Nous verrons!* — Посмотрим! (фр.)

С. 347. *des simagrées britanniques!* — британские ужимки! (фр.)

С. 347. ...после покушения Орсини на жизнь Наполеона III ~ возбуждены против Англии... — Покушение итальянского революционера графа Феличе Орсини (1819—1858) на французского Императора произошло 14 января 1858 г. 13 марта Орсини был казнен. В Лондоне Орсини жил с перерывами в 1853—1857 гг. и находился в близких отношениях с русскими эмигрантами. См.: Орсини Ф. Воспоминания. М.; Л., 1934.

С. 347. ...*французских префектов* — представителей правительства в провинциях.

С. 347. *Monsieur de Lecy!*.. — Господин де Леси!.. (фр.)

С. 348. ...*так называемыми grûne pistoles*. — Сливы-пистолы — сорт слив из Бриньоля (Франция) золотисто-желтого цвета с вынутыми косточками, расплюсненной формой напоминающих монету пистоль. См. с. 841.

С. 348. ...*в лесном селении Вувуса*... — это загорское село упоминалось и в повести «Аспазия Ламприди» (Т. 3).

С. 348. ...*образ Воздвижения Честнаго Креста*... — Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня — один из двенадесятих праздников Православной Церкви (14(27) сентября). Европейских дипломатов и турецкое правительство могло смутить то, что Благов подарил «пыльщикам Вувусы» именно ту икону, на которой изображены Свв. Константин и Елена: это казалось им знаком симпатии к «великой идее» возрождения Византийской Империи.

С. 349. ...*ненавидел его особенно, как представителя французской демократии, которая была в его глазах в гражданском смысле олицетворенная плоскость и грязь*. — Л. передает Благову собственное отношение к воцарившемуся во Франции с середины XIX в. «либерально-эгалитарному» порядку, который утверждает в качестве всеобщей нормы тип «среднего европейца», эстетически и морально отвратительный для Л. Как смертный приговор государственно-культурному организму, некогда цветущему, а ныне безнадежно деградирующему, Л. формулирует в «Записках отшельника» в 1887 г.: «Франция стремится неудержимо по наклонной плоскости крайней демократизации» (СС, VI, 102). Л. так далеко заходил в своей «ненависти к индустрии и к европейским формам демократии» (СС, VII, 473), что даже был поначалу разочарован, обнаружив при встрече с Ф. М. де Лессепсом, характернейшим представителем «французской демократии», буржуазным «благодетелем человечества», что он не столь отвратителен, как ожидал Л. Однако первоначальное приятное впечатление не скрыло отталкивающей сущности этого «великого искажителя земной коры»: он начал с пафосом проповедовать всеобщее торжество республиканизма и крушение европейских монархий — то самое, что Л. слышал от повара-француза (СС, VII, 474—475). Л. с удовлетворением отмечал, что А. И. Герцен, этот «гениальный эстет 40-х годов», «эксперт по части изящества и выразительности самой жизни», не скрывал своей «аристократической брезгливости» по отношению к европейскому (прежде всего французскому) демократу-буржуа (СС, VI, 28—29).

С. 349. ...к великой Империи Габсбургов... — Габсбурги — династия, правившая в Австрии с XIII в.

С. 349. *Прокеш-Остен* — Антон Прокеш-Остен (1795—1876), граф — австрийский дипломат и писатель.

С. 350. ...разбили недавно ~ под Сольферино и Маджентой, и молодой Император вынужден был просить мира у венчанного кондотиери... — В ходе австро-итало-французской войны 4 июня 1859 г. неподалеку от города Маджента (Северная Италия) франко-сардинские войска под командованием Наполеона III нанесли поражение австрийской армии под командованием Ф. Дьюлана. 24 июня в окрестностях городка Сольферино, близ Мантуи, произошло одно из решающих сражений этой войны, приведших к разгрому австрийцев и к потере ими Ломбардии. Кондотьеры (*condottieri*) — руководители наемных военных отрядов в Италии XIV—XV вв., некоторые из них (Сфорца, Малатеста и др.) захватывали власть в городах и основывали тирании. Наполеон III, отличавшийся авантюризмом в своем политическом поведении, в 1836 и 1840 гг. пытался захватить власть во Франции, в 1848 г. был избран президентом, а после военного переворота в декабре 1851 г., провозглашенный в 1852 г. Императором, установил во Франции режим жесткой диктатуры; предпринял военные действия против России, Австрии, Китая. Это и дает основания австрийскому консулу называть его «венчанным кондотиери».

С. 350. *doyen* — дуайен; дипломатический ранг, буквально: старшина дипломатического корпуса.

С. 350. *protégé* — протеже (фр.); зд.: лицо, находящееся под покровительством консульства.

С. 351. ...тонкий Меттерних Эпира... — ср. СС, VI, 305; Меттерних — см. прим. на 1008.

С. 351. ...«как плодовая лоза в доме своем ~ вокруг его трапезы». — Измененная цитата из Пс. 127: 3.

С. 351. *employé* — зд.: используемый на должности (фр.)

С. 351. *Пинейро-Ферейра, Мартенс*... — Сильвестре Пингейро Феррейро (1769—1846) — португальский дипломат и философ; Карл фон Мартенс (1790—1863) — немецкий юрист, автор трудов по международному праву и руководств для подготовки дипломатов. Готовясь к экзамену для определения на дипломатическую должность, Л. должен был изучать книгу дипломата и профессора международного права Геттингенского университета Георга Фридриха фон Мартенса (1756—1821) «*Précis du droit des gens moderne de l'Europe, édition revue, accompagnie des notes de Pinheiro-Ferreira...*» (Р., 1858). См.: Приложение к приказу по

Министерству иностранных дел 10 Декабря 1859 г. № 25 (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 307).

С. 351. *les bons offices* — добрые услуги (фр.)

С. 353. ...о вашем Нана-Сагбе... — Нана Сагиб (Нана Говинд Данду Пант; ок. 1824 — ?), предводитель восстания сипаев (наемных солдат) против англичан в Индии в 1857—1859 гг.

С. 354. *mon cher monsieur Blagow* — мой дорогой господин Благов (фр.)

С. 354. *Prepotenza!* — Всемогушество! (итал.)

С. 354. ...Булгарис, английская партия... Ионические острова... Еврей Пачифико... — Димитрий Булгарис (1803—1878) — греческий политический деятель, участник освободительной войны, премьер-министр при короле Георге I; английская партия во внешней политике выступала против сближения с Россией; Ионические острова — см. прим. на с. 992; Пачифико — см. прим. на с. 981.

С. 355. ...те самые красные мундиры... — мундиры английской армии.

С. 355. *Très bien! Très bien!* — Очень хорошо! Очень хорошо! (фр.)

С. 356. *C'est la race... la race* — Это порода... порода (фр.)

С. 356. *les Varengies* — варяги (фр.)

С. 356. ...они служили у Византийских Императоров... — норманны-варяги служили у Византийских Императоров с IX—X веков.

С. 356. *commis-voyageur* — коммивояжер (фр.)

С. 356. ...*la grande armée* — великой армии (фр.); т. е. армии Наполеона I.

С. 357. *V'la! ben!* — искаженные фр. слова *voilà, bien* — так! хорошо!

С. 357. ...деревянные сабо... — башмаки.

С. 359. «*une action inqualifiable*» — неслыханный поступок (фр.)

С. 362. *эклампротате кирие прóксене* — сиятельный господин консул (греч.)

С. 365. *И тебя, тебя освобожу я...* — источник не установлен.

С. 365. *Санкюлот* — название революционеров Великой французской революции, произошедшее от названия городской бедноты, не носившей дорогих коротких штанов (кюлот).

С. 365. *Барбарлык* — варварство (тур.)

С. 365. «*la barbarie*» — варваство (фр.)

С. 366. ...вашего Фуад-паши. — Мехмед Фуад-паша (1814—1869), министр иностранных дел Турции.

С. 366. ...не понимает имени «*monsieur Lavallette*». ~ *Madame Lavallette* ~ «*Levalet*». — Острота строится на том, что в фамилии Lavallette обыгрываются грамматические признаки слова женского рода (артикль *la* и окончание —*e*), на основании чего эту фамилию должна носить женщина; предлагаемая «мужская» фамилия буквально переводится как «слуга, лакей» (*le valet*). Это же значение обыгрывалось и в шутке, которую приводит Садык-паша (М. С. Чайковский) в книге «Турецкие анекдоты» (М., 1883. С. 264). Лавалетт — Шарль-Жан-Мари-Феликс маркиз де Лавалетт (1806—1881), французский дипломат, посол в Константинополе в 1851—1853 и 1860—1861 гг., в 1867—69 гг. — министр иностранных дел.

С. 368. ...от г. Петрова ~ во Фракии. — Петров — реальное лицо, русский консул в Варне.

С. 368. Голема-та грыжа... — Ваше величество (болг.). О языке этого письма см. с. 842.

С. 371. ...тех самых женщин, которые кинулись в пропасть с сулиотских высот. — Речь идет о подвиге женщин под предводительством Елены Боцарис. Окруженные войсками Али-паши около горы Залонго, они умерли, танцуя и по очереди бросаясь с утеса. См. Т. 3. С. 172—173; 741.

С. 372. Твой предместник ~ из наших керкирейцев... — т. е. из уроженцев о. Корфу (Керкиры). Речь идет о Спиридоне Ивановиче Дендрино.

С. 376. *Vous comprenez...* — Вы понимаете... (фр.)

С. 376. *Non, je ne comprendrai jamais une impolitesse semblable.* — Нет, я никогда не пойму подобной бестактности (фр.).

С. 376. *voyez-vous* — видите ли (фр.)

С. 376. Курские помещики хорошо пишут! — цитата из повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1834).

С. 378. *À la Bréchet?* — Как Бреше? (фр.)

С. 379. *Кирие проксене!* — Господин консул! (греч.)

С. 384. *tout ces consuls ne sont que de la drogue!* — все эти консулы не что иное как дрянь! (фр.)

С. 390. Меджлис — совещательное собрание, городской совет.

С. 391. ...я тебя наставляю на путь мой и пойдешь ты по истине моей... — аллюзия на Пс. 85: 11.

С. 391. ...православный храм в селе подгородном? — Ср. в «Моих воспоминаниях о Фракии» о строительстве храма в селе Демердеш (СС, IX, 278, 286—287).



С. 391. ...тех самых янычар, на которых султан Махмуд до того был гневен... — Махмуд II (см. прим. на с. 986) в 1820-е гг. задумал реформировать корпус янычар; встретив сопротивление с их стороны, объявил против них священную войну; в 1826 г. в Стамбуле были уничтожены тысячи янычар.

С. 393. *Tu quoque, Brute!* — И ты, Брут! (лат.)

С. 393. ...презирает болгарина-шопан... — Шоп — крестьянин из Западной Болгарии.

С. 393. ...друзы и марониты пылают друг против друга зверскою враждой... — арабы-шииты и сирийские христиане-сектанты. См. также прим. на с. 1009.

С. 393. *Je ne suis pas diplomate, mais je suis grand politique. ~ ma teste est de grand politique!* — Я не дипломат, но я большой политик. У меня очень широкое сердце! Я не имею сердца Меттерниха, но моя голова — голова большого политика! (фр.) Дели-Петро смешивает французское *tête* с итальянским *testa*.

С. 393. ...граф Амурский... — Имеется в виду граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский (1809—1881), русский государственный деятель и дипломат.

С. 394. ...под влиянием греко-болгарского дела... — см. прим. на с. 976.

С. 394. ...церковного разрыва еще не было у нас с болгарам... — разрыв назревал в конце 1860-х гг. и осужден Константинопольским собором 1872 г.

С. 396. Кто-то из французов сказал: «*Opposez-vous au mouvement, il vous écrase; mettez-vous a sa teste, vous le dominez*». — Сопровитляйтесь движению — и оно вас раздавит; возглавьте его — и вы будете господствовать (фр.). Источник не установлен.

С. 396. ...великая завоевательная нация. — Ср. в повести «Хризо» (Т. 3. С. 54—55).

С. 396. ...приобретает Кавказ и Амур... — Присоединение Кавказа к России происходило в XVIII—XIX вв. в ходе Кавказских войн и осуществления протектората России над Грузией. Датой окончательного завоевания Кавказа считается 21 мая 1864 г., когда русские войска заняли урочище Кбаада, последний к тому времени очаг сопротивления мятежных горцев. Приамурский край с о. Сахалин был объявлен российскими владениями 1 августа 1850 г, когда Г. И. Невельской, возглавлявший Амурскую экспедицию, поднял русский флаг на мысе Куегдо и основал там Николаевский пост.

С. 396. ...лорд Вйрон — Дж. Г. Байрон.

С. 396. ...à Невтонос, à Локкос... — Исаак Ньютон (1643—1727); Джон Локк (1632—1704), английский философ.

С. 397. *Сулия* — см. прим. на с. 971.

С. 397. *Каподистрия разве не остался лучшим из греков?* — Иоаннис Каподистрия (1776—1831), граф, российский дипломат, греческий государственный деятель, первый президент Греции (с 1827 г.).

С. 400. *...вместо брачных венцов, командорские знаки Св. Станислава ~ меняет их на нас три раза...* — об ордене Св. Станислава см. прим. на с. 999; брачные венцы действительно меняются три раза.

С. 401. *Vous n'êtes pas diplomate, mais vous êtes grand politique...* — Вы не дипломат, но вы большой политик... (фр.)

С. 402. *Не осуждай — да не осужден будешь...* — Лк. 6: 37.

С. 404. *...нашим новым поэтам, Рангави и Суццо, Риге Фереосу и Залокосте.* — Александр Ризо Рангавис (1809—1892), Панагиотис Суццо (1796—1868), Александр Суццо (1803—1863), Рига Фереос (ок. 1757—1798), Георгий Залокоста (1805—1858).

С. 404. *Глас Марса меня восхищает!* — источник не установлен; черновой вариант перевода Л. см. на с. 855.

С. 404. *О! дети эллинов, спешите!* — «Военный гимн» Риги Фереоса. Ср. Т. 3. С. 219, 743.

С. 404. *...из Битолии...* — город в Румелии.

С. 408. *la petite drogue* — маленькая дрянь (фр.)

С. 410. *Я, как говорит один старинный писатель, не намерен быть ясен для того, кто ко мне не внимателен.* — Источник не установлен.

С. 414. *...о Вассоевичих, о феодальных преданиях буйных арнаутов, о гехах, об албанских католиках...* — Вассоевичи — одно из черногорских племен, происходящее от родоначальника Васы; П. Ровинский писал об этом племени: «Есть еще один вид гайдуков — качкины. В последнее время мы знаем таких в Вассоевичих. Это люди из турецких пределов, где они совершали грабежи и кражи, часто сопровождаемые убийством...» (Черногория в ее прошлом и настоящем. / Сост. П. Ровинский. Т. II. Ч. 2. СПб., 1901. С. 97); арнауты — турецкое название албанцев; геги — название одного из северо-албанских племен; албанские католики — мирдиты, племя Средней Албании, сохранившее относительную независимость от турецких властей.

С. 414. *...составлен одним гарибальдийцем...* — Джузеппе Гарибальди (1807—1882), вождь итальянского национально-освободительного движения. В «Моих воспоминаниях о Фракии»

говорится, что проект албанского восстания, попавший в русское консульство, был составлен французским консулом Геккаром (СС, IX, 294).

С. 415. ...запечатлел его в сердце моем. — Ср. Лк. 2: 51.

С. 415. *soirée* — вечеринка (фр.)

С. 416 ...мой Антиной, мой Эрос! мой Антэрос!.. — Антиной — персонаж античной мифологии, предводитель женихов Пенелопы; Антэрос — взаимная любовь (греч.).

С. 416. *Vivons! vivons!* — Будем жить! будем жить! (фр.)

С. 417. ...один меджидие серебряный... — монета, равная 20 пиастрам.

С. 419. *Наполеондор* — французская золотая монета в 20 франков (с 1803 г.).

С. 420. *Пек еи...* — Очень хорошо... (тур.)

С. 421. ...как ногайская татарка... — Ногайцы — тюркско-татарские племена южно-русских степей; зд. имеются в виду т. н. малые ногайцы, населявшие Новороссию; после 1855 г. около 180 000 человек этого племени выселились в Турцию.

С. 422. *Осел мой медленно ступал...* — источник не установлен.

С. 427. *Вы птички полевые, ах, румелийские вы птички...* — источник не установлен.

С. 427. *Россия сосредоточилась ~ обожаемая им дипломатическая цитата...* — цитата из циркулярной депеши министра иностранных дел кн. А. М. Горчакова в Российско-Императорские миссии от 21 августа 1856 г. (Сборник, изданный в память двадцатипятилетия управления министерством иностранных дел государственного канцлера светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова. 1856—1881. СПб., 1881. С. 5. 2 паг.). См. Т. 3. С. 54, 727.

С. 428. *Oui! cette teste fera tout... ~ Sacré nom de Dieu!.. — Да! эта голова сделает все... Она переправится через... дьявол... как это называется?.. через Ганг как глава иррегулярных войск и казаков! Черт возьми! (фр.)*

С. 428. *С полосатою лентой Св. Георгия первой степени через плечо.* — Орден Св. Георгия первой степени был чрезвычайно редкой наградой. Его лента, носившаяся через правое плечо, состоит из трех черных и двух желто-оранжевых полос. См. также прим. на с. 976.

С. 428. *C'est le chef des troupes irregoulières...* — Это командующий иррегулярными войсками... (фр.)

С. 428. *Cette petite bayadère est très jolie! Sa figure est tout-à-fait canonique...* — Эта маленькая баядерка очень мила! Ее лицо совершенно каноничное... (фр.)

С. 429. ...как сделал Владимир!.. — Имеется в виду крещение киевлян в Днепре при Св. кн. Владимире.

С. 429. *Аллах экбер!* — Бог велик! (тур.)

С. 429. *pour que notre clire à nous ne puisse t'accouser!* — для того, чтобы наш клир не мог нас обвинить! (искаж. фр.)

С. 429. ...мешают людям в Индии бросаться под колесницу богини. — Ср. с образом колесницы Джаггернаута в ром. И. С. Тургенева «Новь».

С. 429. *Что могло быть лучше трактата сороковых годов между Турцией и Россией?* — Россия участвовала в заключенном в 1840 г. союзе, охраняющем целостность Порты. Эд., вероятно, имеется в виду Ункяр-Искелийский русско-турецкий союзный договор, подписанный 8 июля 1833 г. и действовавший до 1841 г.

С. 429. ...анафемская Австрия! У нее отняли Ломбардию, отнимут Венецию, Чехию... — Ломбардо-Венецианское королевство было создано в 1815 г. и являлось частью Австрийской Империи; Ломбардия (область в Северной Италии) вошла в Итальянское королевство в 1859 г., Венеция — в 1866 г.; Чехия оставалась австрийским владением до распада Австро-Венгрии в 1918 г.

С. 430. ...Меттерниха, пред которым напрасно преклонял колена, умоляя за нас, наш благородный Ипсиланти. — Клеменс Венцель Лотарь Меттерних, князь, герцог Порталла (1773—1859), австрийский дипломат, с 1809 по 1847 год — министр иностранных дел. Александр Ипсиланти (1783—1828) — герой греческой войны за независимость; в июне 1821 года, проиграв два сражения с турками, он бежал в Австрию, где был заключен в тюрьму.

С. 430 ...на решение европейской конференции. ~ раскрыть глаза Императора... — Европейская конференция — Лейбахский конгресс, на котором Россия и Австрия (на их помощь рассчитывали восставшие) объявили себя противниками восстания. Меттерних представил греческое восстание как отголосок движения карбонариев Южной Италии и предлагал оказать помощь турецкому султану. Австрийскому министру возражал, объясняя истинное значение освободительной войны, русский министр иностранных дел, будущий президент Греции, граф Иоанн Каподистрия (1776—1831). На Веронском конгрессе Священный союз также высказался против освободительной борьбы греков, поддерживаемой Англией. Предложение Меттерниха о помощи султану было отклонено благодаря действиям гр. Каподистрии.

С. 430. *Османлисы* — османские турки; название происходит от имени султана Османа, образовавшего первое турецкое государство в Вифинии.

С. 431. *Есть предание, что султан Магомет II, завоеватель ~ стоял в прекрасном киоске с неким старым шейхом...* — источник не установлен.

С. 431. *Il est ravissant!* — Он очарователен! (фр.)

С. 434. *...кружился между ними, как маленький дервиш-мевлеви...* — Одной из особенностей этой секты являются танцы с кружением, вызывающие состояние экстаза.

С. 435. *...об ужасах, совершаемых друзьями-мусульманами в Дамаске, Горане и других местностях Сирии!* — Речь идет о резне 1860 г. в Сирии и Ливане. См. также Т. 3. С. 734.

С. 436. *...вознес мой рог...* — библейское выражение, означающее силу, дарование победы и т. п. (1 Цар., Пс.), зд.: прославил, превознес, возвеличил.

С. 436. *...именуемый Яни Акостан-Дудаки...* — использована реальная фамилия, см. письмо Л. к Акостандудаки 1864 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 32).

С. 436. *...король Виктор-Эммануил...* — Виктор-Эммануил II (1820—1878), король Сардинский, с 1861 г. — король объединенной Италии.

С. 436. *...волнение в Навплии...* — Речь идет о начавшемся 12 февраля 1862 г. восстании гарнизона Навплии (город-порт в Греции на Аргонидском заливе, в 1823—1834 гг. — столица Греции), вызвавшем волнения в других греческих городах, которые привели, в итоге, к свержению короля Оттона.

С. 440. *...в Трикале...* — Трикала (Трикка) — город в Фессалии к северу от Пенея.

С. 440. *Аджайб Адам!* — Забавный человек! (тур.)

С. 441. *...«два нежных цветочка юности...»* — источник не установлен.

С. 442. *Амфитрион* — персонаж древнегреческой мифологии, внук Персея, муж Алкмены (матери Геракла); после появления пьесы Ж.-Б. Мольера «Амфитрион» (1667—1668) это имя употребляется в значении «гостеприимный хозяин».

С. 447. *...пахнут духами левантинскими...* — Левант — восточное побережье Средиземного моря.

С. 451. *...увенчанной лаврами Клио...* — Клио — «муза, которая прославляет», позднее — муза истории.

С. 452. *...на Халкидонском берегу...* — Халкидон — город в Вифинии на берегу Босфора, напротив Константинополя.

С. 453. ...недостойный великого и геройского имени... — т. е. имени гомеровского героя.

С. 453. ...женою и грех впервые проник в человечество... — т. е. через праматерь Еву.

С. 454. *Не утверждал ли кто-то из них, что из многих женщин только одна добродетельна...* — Имеется в виду ямбическая сатира Семонида Аморгского (VII в. до н. э.) «Различно женщин нрав сложил вначале Зевс...». Ее вспоминает и герой рассказа «Ядес» (Т. 5).

С. 454. ...милые золотые орлики на красной эмали ~ золотые решеточки... — золотой четырехконечный крест ордена Св. Станислава, покрытый с одной стороны красной эмалью, имел по краю двойную золотую кайму; концы креста были украшены золотыми шариками и соединены полукругами в виде полосатых раковин, в углах помещались 4 золотых российских орла.

С. 454. *Св. Анны я никогда уж не получу...* — орден, вошедший в состав российских орденов в 1797 г.; в Статуте ордена от 1845 г. указывалось, что им, по Высочайшему повелению, могли награждаться иностранцы, не состоящие на российской службе.

С. 454. ...большою медалью золотой ~ которую дают русские у нас на Востоке почтенным торговцам... — случаи представления купцов к таким медалям неоднократно упоминаются в дипломатической переписке Л.

С. 455. *Нишан* — орден (тур.).

С. 455. ...эллинского Спасителя на голубой ленте... — орден, учрежденный в 1833 г. королем Оттоном I.

С. 456. *Тюмбекі* — персидский табак, предназначенный для кальянов.

С. 456. *Не ты ли наслаждался брашен в дому моем?..* — аллюзия на Пс. 54: 15.

С. 457. ...не прилагать нового зла ко злу уже совершенному... — Ср.: Ис. 30 : 1.

С. 457. ...кто был *Калликратид* ~ как он погиб. — См. прим. на с. 1000.

С. 457. ...неправильно написал слово «*Эвниа*» — см. с. 844.

С. 459. ...проклятые кисточки *Велиара!* — Велиар (в Ветхом Завете — Велиал, «ничтожный, негодный») — демон, обольщающий, совращающий человека с правого пути. Ср. 2 Кор. 6: 15.

С. 459. *О Суццо, Александр Суццо мой, о «необузданный» певец свободы...* — см. прим. на с. 1006.

С. 459. *Иродиада все волнуется...* — возможно, скрытая цитата из стихир на Усекновение главы Св. Иоанна Предтечи («Паки Иродиа бесится, паки смущается...»).

С. 460. *...все-таки рукоположения он не лишен...* — т. е. он запрещен в служении, но не извержен из священного сана.

С. 461. *Согрешил — умолкни!* — «Не согрешил ли еси? умолкни» (Быт. 4: 7, по переводу Семидесяти; в рус. синодальном переводе это место переведено иначе).

С. 461. *...заменить подать верги податью теметью...* — Верги — подать, дань (*тур.*), теметтю — подоходный налог (*тур.*).

С. 464. *...глас совести твоей...* — ср. с распространенными в Священном Писании словосочетаниями «глас радости», «глас хваления».

С. 468. *И если ты уклонился от зла, то открой, как без греха сохранишься и мне.* — Цитаты из 33 псалма (ст. 15) и молитвы «Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранимся нам».

С. 468. *...«лицо его было подобно полной луне в ту минуту, когда она восходит»* — источник цитаты из произведений Саади не установлен.

С. 468. *...«пух айвы» на подбородке и щеках его...* — Саади использует этот распространенный в персидской поэзии образ в своей книге «Гулистан» (глава V, рассказ 10).

С. 471. *...злато-плодотворным дождем Данаи...* — золотой дождь, в который обратился Зевс, чтобы проникнуть в терем к Данае, дочери аргосского царя Акрисия.

С. 472. *...на острове Иакинте...* — Закинф, Зант, один из Ионических островов.

С. 473. *...около монастыря Перистерá...* — Это место описано в воспоминаниях М. В. Леонтьевой: «Есть часа за два пути от города бывший греческий монастырь Перистерá; строение в 2 этажа, каменное, довольно большое, но нижний этаж совсем сырой, полутемный; туда ездят как бы на прогулку; устраивают завтраки или обеды. — Монахов там решительно не помню, но кто-нибудь да живет там — вроде сторожа. — Есть там и зелень, т. е. деревья платаны и место довольно веселое, прохладное» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 35).

С. 473. *...гора тучная, гора усыренная...* — неточная цитата из Пс. 67: 16. Усыренная — плодоносная.

С. 475. *...речи той мертвой головы языческого жреца...* — см. в сборнике «Достопамятные сказания о подвижничестве свя-

тых и блаженных отцов», переведенном на русский язык в 1855 г. (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 111—112; репр. изд.: Париж, 1965).

С. 475. ...на вопросы Св. Макария Египетского. — Св. преп. Макарий Великий (301—391).

С. 475. ...«трость книжника скорописца»... — Пс. 44: 2.

С. 475. «*Monsieur l'Envoyé! ~ J'ai l'honneur d'être...*» — Господин Посланник! Имею честь уведомить о получении депеши, каковой Ваше Превосходительство оказывает мне честь... под №... Имею честь пребывать... (фр.)

С. 476. *ci-joint* — при сем прилагается (фр.)

С. 476. *ci près* — правильно: *ci-arès*, ниже следует (фр.)

С. 477. ...в горах Фильятеc... — горы в Албании напротив о-ва Корфу.

С. 481. ...события последних дней в злополучной Болгарии... — Речь идет об Апрельском восстании 1876 г. в Болгарии.

С. 482. ...церковный двор Батака, наполненный истлевающими трупами... — При подавлении восстания селение Батак было фактически стерто с лица земли. Двор церкви, заваленный трупами, описывался в газете «Daily news» (См.: Кинрос Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1995. С. 532).

С. 483. *Quelle beauté! ~ C'est curieux au plus haut degrés!..* — Какая красота! Ах! Это одеяние изумительно! Но это невероятно! Это в высшей степени удивительно!.. (фр.)

С. 483. ...пожар Рима... — спровоцированный Императором Нероном пожар в ночь на 16 июля 64 г., ставший «поводом» для казни множества христиан.

С. 484. *Ecoutez!..* — Послушайте!.. (фр.)

С. 484. ...как например в Сирии... — см. прим. на с. 1009.

С. 484. *Voyons, soyez-donc bon enfant... Avouez, que j'ai raison.* — Ну, будьте же благоразумны... Признайтесь, что у меня есть основания (фр.).

С. 484. *c'est organique* — это органическое (фр.)

С. 491. *Гетерист* — участник гетерии; см. прим. на с. 996.

С. 491. *attitude* — позиция, образ действия (фр.)

С. 491. *attitude correcte* — безупречной позицией (фр.)

С. 493. ...полушерстяным, полубумажным штофом, который зовется «дамаско́»... — название ткани, шерстяного штофа (фр. *damas laine*), происходящее от названия города Дамаск.

С. 493. ...русский Император с голубою лентой; австрийский в белом мундире; Виктория; прусский коронованный ге-



рой ~ Наполеон ~ король Галантуомо... — Александр II, Франц Иосиф I (1830—1916), Император Австрии, король Венгрии (с 1848 г.); Вильгельм I Гогенцоллерн (1797—1888), прусский король с 1861 (Германский Император с 1871 г.), Виктория (1819—1901), королева Великобритании; Наполеон III, Виктор-Эммануил. Прозвище Галантуомо (Благородный) он получил за почеркнуто джентльменское поведение в политике. См. также прим. на с. 987, 1009.

С. 493. ...портрет Абдул-Азиса... — султан Абдул-Азис-хан (1830—1876), второй сын Махмуда II, правил с 1861 г.

С. 494. ...ездила в Корфу купаться... — о. Корфу был популярным греческим курортом.

С. 494. ...дикого цвета... — серо-голубого или пепельного цвета.

С. 497. Законник — т. е. юрист; в то же время это слово напоминает о его новозаветном употреблении с отрицательным оттенком значения (книжники, которых часто обличал Спаситель).

С. 497. ...как «лист поблекший и пожелтый, гонимый осенним ветром»... — цитата из греческой народной песни, приводившаяся также в повести «Капитан Илиа» (Т. 3. С. 390).

С. 497. ...мостовую в Триесте... — Триест — город-порт в Австрии.

С. 498. *tenore di forza* — драматический тенор (итал.)

С. 498. *tenore di grazia* — лирический тенор (итал.)

С. 498. ...радовался изгнанию короля Оттона... — см. прим. на с. 987.

С. 498. ...из политической драмы Александра Суццо — Драма «Премьер-министр» (1843); о Суццо см. прим. на с. 1006.

С. 498. ...грекули римлян... — *graeculi*, греки (лат.); это слово имело оттенок пренебрежения.

С. 498. Готфы — готты.

С. 498. ...хвалил старика Гриваса... — см. прим. на с. 973.

С. 498. ...Всенаушница аттическая... — Имеется в виду Афинский университет, учрежденный в 1839 г.

С. 498. ...язык Фукидида и Иоанна Златоуста... — Фукидид — см. прим. на с. 986, Св. Иоанн Златоуст, архиепископ (патриарх) Константинопольский, один из Вселенских учителей Церкви (354—407).

С. 498. ...слишком был «*ταραχοπιός*» (многомятежен) как род иудейский... — ср. Ис. 30: 9; Иер. 5: 23

С. 499. Белая ты моя роза!.. — источник не установлен.

С. 499. ...*Канарис, Миаули и Караискаки!* — Канарис — см. прим. на с. 979; Караискаки — см. прим. на с. 989. Андреас-Вокос Миаулис (1768 или 1772 — 1835), участник освободительной войны; адмирал Греции.

С. 499. *Клятвам ты не доверяешь...* — источник не установлен.

С. 501. ...известную греческую *Марсельезу*... — гимн Ст. Канелиса. Ср. Т. 3. С. 60.

С. 503. «*Мал бех в братии моей ~ идола своими...*» — цитата из последнего, «особь писаного», псалма Псалтири.

С. 504. ...патриотический припев: *Эллада! Эллада!* — см. С. 845.

С. 505. *Честен брак и ложе нескверно...* — ср. Евр. 13: 4.

С. 507. *И Авраам был богат...* — «И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом» (Быт. 13: 2).

С. 507. «*Богатство еще течет, не прикладывайте сердца...*» — Пс. 61: 11.

С. 507. ...*есть Фотиадес-бей*... — знакомый Л., грек-фанаиот, турецкий дипломат.

С. 507. *Всякая власть от Бога...* — ср. Рим. 13: 1.

С. 510. ...«*плавала как змея, летала как птица и по скалам взбиралась подобно козе*». — Источник цитаты не установлен.

С. 511. *à la turka* — как турок (искаж. фр.)

С. 512. ...*ткань, которую делают в селах люди из растения спартà*... — спартос (лат. *spartium scorarium*), испанский дрок.

С. 512. ...*войн вроде Греко-Мидийских или Пунических*... — греко-персидские войны V в. до н. э.; войны между Римом и Карфагеном (III—II вв. до н. э.).

С. 513. *Золотник* — мера веса, 4,26 грамма.

С. 513. *Сары-Окюс* — Желтый бык (тур.)

С. 515. ...*человека старого очага и высокого рода*... — ср. с прим. Л. к пов. «Паликар Костаки» (Т. 3. С. 202).

С. 515. ...*как бы это без греха сохранившись хоть день на свете этом пожить нам...* — цитата из молитвы «Сподоби Господи в день сей без греха сохраниться нам...».

С. 517. ...*из Превезы, от тамошнего вице-консула*... — Вице-консулом в Превезе был Г. Варзелли.

С. 519. ...*полагала дверь ограждения на уста мои*. — Ср.: Пс. 140 : 3.

С. 528. ...*на балу Юлию (дочь «виконта»!)*... — Джульетта, героиня трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

С. 528. ...*скоро великая Четыредесятница*; дочь компрометирована... — беспокойство отца связано с тем, что во время Великого Поста не совершаются венчания.

С. 536. ...*называли меня: «сын души русского»*. — Ср. с. 567. О выражении «дитя души» см. Т. 3. С. 399.

С. 536. ...*не в месте пустынном, непроходном и безводном*... — аллюзия на Пс. 62: 2.

С. 542. *N'est-ce pas, mon ami? n'est-ce pas?*.. — Не так ли, мой друг? не так ли? (фр.).

С. 542. Ганимед — в древнегреческой мифологии сын троянского царя Троса и нимфы Каллирои, похищенный Зевсом и унесенный на Олимп, где стал виночерпием богов.

С. 543. *genre* — жанр (фр.)

С. 544. *homo sum* — я человек (лат.)

С. 545. *Et nihil humanum*... — И ничто человеческое... (лат.)

С. 545. ...*всею душой и всем сердцем своим*. — Напр., Мф. 22: 37. См. также прим. к пов. «Дитя души» (Т. 3. С. 758).

С. 550. ...*Бог и Маммон*... — Маммона — земные блага, богатство (сир.). Мф. 6: 24; Лк. 16: 13.

С. 551. *à la frança* — европейской

С. 552. ...*еще несколько партий польских повстанцев разбито наголову* — речь идет о польском восстании 1861—1863 гг.

С. 556. Оракул, Пифия — предсказательница «пифийского оракула», в храме Аполлона в Дельфах (на месте, где был убит Аполлоном змей Пифон).

С. 559. ...*не об этой нравственной так сказать конскрипции*... — Конскрипция — составление (списка), запись (лат.); здесь связано с лат. выражением *conscriptio conjugii* (брачный договор).

С. 560. «*Да идет мимо меня сия чаша!*» — аллюзия на слова из молитвы Спасителя в Гефсиманском саду (Мф. 26: 39).

С. 560. *Je vous comprends, mais moi!* — Я вас понимаю, но я! (фр.)

С. 560. *pardon, je vais finir* — извините, я заканчиваю (фр.)

С. 560. *Après tout, la meilleure femme du monde, c'est la femme d'autrui*. — В конце концов, лучшая в мире женщина — это женщина чужая (фр.).

С. 561. *Adieu, Suzon, ma roze blonde ~ qu'on apprête*... — Прощай, Сюзон, моя белокурая роза, / Которая восемь дней была моей... / Миг наслаждения в этом мире — / вот часто лучшая любовь! / ... / Паф! Это мой конь, он уже готов... (фр.). Цитата из стихотворения А. де Мюссе (1810—1857) «Adieu, Suzon...»

(1844). Ср.: *Musset A. de. Poésies nouvelles. 1833—1852. P., 1923. P. 357.* См. также с. 1036.

С. 562. ...*господин господствующий*. — Ср.: «Господь господствующих» (1 Тим. 6: 15; Откр. 17: 14; 19: 16).

С. 562. ...*несытым сердцем и гордою мыслью!*.. — неточная цитата Пс. 100: 5.

С. 563. ...*в Галате, Галаце, в Смирне, Букуреште*... — Галата — район Константинополя, Галац — город на Дунае, Смирна — город в Малой Азии на берегу Средиземного моря, Букурешт — Бухарест.

С. 564. *Un gentilhomme doit avoir son épée toujours prête pour défendre son Dieu, son roi et sa maîtresse*... — Дворянин должен всегда иметь свою шпагу наготове, чтобы защищать своего Бога, своего короля и свою возлюбленную... (фр.) Ср. с переводом на с. 561.

С. 564. *Sa maîtresse!* — Свою возлюбленную! (фр.)

С. 564. *Гинекей* — женская половина дома у греков.

С. 565. *Не в многоценных и «мягких» одеждах*... — аллюзия на Мф. 11: 8; Лк. 7: 25.

С. 566. «*Все течет!*» — сказал Гераклит. — К этой формуле в послеантичные времена свелась передача Платоном основных положений диалектики греческого философа Гераклита Эфесского (ок. 544—540 до н. э. — ?).

С. 568. *Кефалонит* — житель о. Кефалонии.

С. 568. ...*дяде Горчакову напишет*... — Александр Михайлович Горчаков (1798—1883), князь, в 1856—1882 гг. министр иностранных дел, с 1867 г. канцлер

С. 568. *Pardon, pardon!* — Простите, простите! (фр.)

С. 569. ...«*траурная*» ~ *толпа европейских городов*... — Преобладание черного цвета в европейской мужской одежде Л. расценивал как знак траура умирающей европейской цивилизации. Возможно, эта мысль возникла не без влияния А. де Мюссе, который в романе «Исповедь сына века» (1836) высказывает ее устами героя: «Не следует заблуждаться: черный костюм, который в наше время носят мужчины, это страшный символ. Чтобы дойти до него, надо было один за другим сбросить все доспехи и, цветком за цветком, уничтожить шитье на мундирах. Человеческий разум опрокинул все эти иллюзии, но сам он носит по ним траур, надеясь на утешение» (Мюссе А. де. Избранные произведения: В 2 т. Т. II. М., 1957. С. 11).

С. 571. ...*одного древнего московского, многоцветного и многоглавого храма*... — Имеется в виду собор Св. Василия Блаженного.

С. 574. ...музеи собирают ~ Младенцы в спирту без головы... — Речь идет об основанной в 1714 г. и открытой в 1719 г. в С.-Петербурге т. н. «Кунсткамере». Коллекции для нее были приобретены Петром I в Западной Европе и ныне находятся в петербургском Музее антропологии и этнографии РАН.

С. 574. *Юлия Пастрана* — выступавшая в цирках «красиво сложенная женщина с приятным голосом и с лицом большой мохнатой обезьяны» (Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. Л., 1965. С. 50).

С. 580. ...известную песню про Юсуф-араба. — Упоминается в повести «Пембе» (Т. 3. С. 122).

С. 580. ...в свободной Греции, в Патрасе... — Патрас — город-крепость на полуострове Морея, при Лепантском заливе.

С. 587. ...к животворным «исходищам водным»... — Пс. 118: 136; Плач. 3: 48.

С. 588. «Возлюби ближнего твоего, но возненавидь грехи его!» — слова Св. Исаака Сирина: «Люби грешников, но ненавидь дела их...» («Слова подвижнические». Слово 57). Ср.: «Не питай ненависти к грешнику, потому что все мы повинны (...) Ненавидь грехи его и молись о нем самом, чтобы уподобиться Христу...» (Слово 90).

С. 589. *Архонтóпуло* — дитя архонта (греч.).

С. 591. *Paф, c'est ton cheval qu'on apprête!* — Паф! Моя лошадь готова! (фр.)

С. 596. ...еще от венецианцев остался. — Остров Корфу до турецкого завоевания принадлежал Венецианской республике.

С. 600. Ты, девушка моя, ты врач искусный... — источник не установлен.

С. 605. *Суццо*, *Коллэти*, *Трикупи*, *Ò Сатобриáнос*, *Ò Меримéос*, *Ò Ламартíнос*, *Ò Гóрцаков*, *Ò Мёньщи́ков* или тот мусье *Лавалетт*... — *Суццо* — см. прим. на с. 1006, *Иоаннис Колеттис* (1788—1847), греческий политический деятель, лейб-медик Али-паши Янинского, участник восстания 1821 г. в 1834 и 1844 гг — министр-президент. *Х. Трикупи* (*Трикупис*) — политик английской ориентации, позднее — глава партии «прогрессистов», в 1867 г. министр иностранных дел; французские писатели (*Франсуа Рене де Шатобриан* (1768—1848), *Проспер Мери-ме*, *Альфонс де Ламартин*) и русские политические деятели кн. *А. М. Горчаков* (см. прим. на с. 1016), кн. *Александр Сергеевич Меньшиков* (1787—1869), см. Т. 1. С. 658; *Лавалетт* — см. прим. на с. 1004.

С. 605. *le valet* — слуга (фр.)

С. 605. *Кому честь — честь; кому страх — страх; кому оброк — оброк!* — Рим. 13: 7.

С. 607. *Тогда у России в Царьграде была еще миссия, а не посольство.* — Статус посольства русская миссия в Константинополе получила в 1867 году.

С. 608. *soirées* — вечера (фр.)

С. 611. *Они все немного Клеоны.* — Клеон (ум. 422 до н. э.) — афинский радикальный «демократ», погибший во время Пелопоннесской войны в битве под Амфиполем. Л. вспоминал его также в «Византизме и славянстве» (СС, V, 240).

С. 615. *...который радовался и веселился...* — возможно, скрытая цитата Мф. 5: 12 («радуйтесь и веселитесь»).

С. 616. *de jure* — юридически, формально (лат.)

С. 616. *...как Марий на развалинах Карфагена...* — Гай Марий (ок. 157—86 г. до н. э.), римский полководец и политический деятель, одержал ряд крупных побед над врагами Рима; в нарушение обычая и законов шесть раз избирался консулом, но, преследуемый Корнелием Суллой, вынужден был бежать в Африку. Наместник Африки претор Секстилий запретил ему высаживаться на карфагенскую землю, на что Марий отвечал посланнику наместника: «Возвести ему, что ты видел, как изгнанник Марий сидит на развалинах Карфагена», тем самым удачно сравнив участь этого города (разрушенного в 149—146 гг. до н. э.) с превратностями собственной судьбы. Об этом рассказывает Плутарх в жизнеописании Мария.

С. 617. *Внезапно сходит с небес ~ просыпаются нередко небывалые силы!* — аллюзия на Ин. 5: 1—4.

С. 618. *...запираются в узкие и темные шкапы ~ горячие яйца под мышки...* — О применении подобных пыток в тульчинской тюрьме Л. писал в очерках «С Дуная» (1867).

С. 623. *бир opposition systematique* — одно постоянное противодействие (тур., фр.)

С. 623. *Давно ли бунтовали арнауты под начальством Гионни-Лékка?* — Речь идет о восстании албанцев в 1854 г., ср. в пов. «Пембе».

С. 624. *c'est affreux!* — это ужасно (фр.)

С. 624. *blanc-bek!..* — молокососом!.. (фр.)

С. 625. *...в Виотии...* — новогреческое название Беотии — области в средней Греции с центром в городе Фивы; во время турецкого господства также называлась Ливадией (по главному городу).

С. 625. *...в монастырь Зицу...* — см. с. 41 и Т. 3. С. 741.

С. 628. *Англичане не побоялись русского посланника в Тегеране убить.* — Речь идет о гибели А. С. Грибоедова в 1829 г., спровоцированной англичанами.

С. 628. *Австрийцы князя Черногорского убили.* — Возможно, имеется в виду смерть кн. Даниила Петровича Негоша (1826—1860).

С. 628. *Французы Мавромихали, убийцу Каподистрии, хотели защитить.* — Георгий Мавромихали после убийства президента Греции графа И. Каподистрии 9 октября 1831 г. скрылся во французском посольстве, но был выдан. См. также прим. на с. 1006.

С. 633. *Под крылами и под плечьями его наступлю на аспида и василиска и попру ногами льва и змия!* — Реминисценции из Пс. 90: 4, 13.

С. 633. *Paф! c'est mon cheval qu'on apprête...* — Паф! моя лошадь готова... (фр.)

С. 636. *Ясакчи* — зд.: охранник.

С. 636. *...воспетого лордом Байроном...* — см. прим. на с. 977.

С. 637. *...предал Гриваса Абди-паше ~ в селе Коцильо.* — ср. в повести «Пембе» (Т. 3. С. 92, 734).

С. 638. *Книга эта была «Чайльд-Гарольд».* — Автобиографическая деталь; Л. перечитывал Байрона, живя в Янине.

С. 641. *Аддио!* — Прощай (итал.)

С. 643. *...хотя бы и «на восемь только дней», как говорит французский поэт.* — см. прим. на с. 1015—1016.

С. 644. *...как «франкские стрелы»...* — образ из эпирских песен.

С. 644. *Каичёк* — уменьш. от «каик», лодка.

С. 645. *...непостижим во всех путях своих!..* — библейский оборот; ср. «праведен во всех путях Своих» (Пс. 144: 17), «нетверд во всех путях своих» (Иак. 1: 8).

С. 646. *Протей* — в греческой мифологии сын Посейдона, умеющий принимать облик различных существ.

С. 646. *Пиндар* (ок. 518—442 или 438 до н. э.) — древнегреческий поэт.

С. 647. *...одно из стихотворений Танталида ~ «Элегия на приснопамятного драгомана, князя Телемака Хандзерли ~ скончавшегося в Смирне».* — Илиас Тангалидис (1818—1876?), греческий поэт, профессор древнегреческой поэзии Богословской школы на о. Халки; о нем Л. писал в статье «Русские, греки и юго-славяне», сравнивая его стихотворения с русскими одами

XVIII — нач. XIX вв. (СС, V, 287—290, 292). «Танталидес один из самых уважаемых греческих поэтов настоящего времени; пишет он стихотворения и на эллинском, и на народном языке...» (К. [Климент (Зедергольм)] Описание богословских училищ на Востоке (Из путевых записок 1860 г.). М., 1868. С. 16). Телемак Хандзерли (Ханджери) — российский дипломат в 1833—1850 гг. Его личное дело см.: АВПРИ. Ф. 154. Оп. 710/1. Д. 285.

С. 647. ...эпитафию госпоже Смарагде Ставриной. — В статье «Русские, греки и юго-славяне» Л. упоминает о «многочисленных эпитафиях» Танталидиса (СС, V, 290).

С. 647. ...на острове Халки... — остров на Босфоре, недалеко от Константинополя; Л. жил здесь в 1873—1874 гг. Халкинская Богословская школа была основана в 1844 г.

С. 647. Снова ветви душистого лавра... — источник не установлен.

С. 647. Пеан — хвалебная песнь; в Древней Греции — гимн Аполлону.

С. 648. ...все такие слова: «анáκρyзма», «синκρoтýσι». — От глаголов ἀνακρούω — отталкивать, συκρούω — сшибать, сталкиваться.

С. 648. ...с эфической точки зрения... — архаичное написание слова «этический».

С. 648. «Осыпающуюся розу», одного из новейших поэтов... — источник не установлен.

С. 649. И на что́ ты мне золото, и ты, белое серебро... — источник не установлен.

С. 652. ...столетний игумен говорил уж слишком мало... — см. Т. 3. С. 741—742.

С. 652. ...жалобами на князя Кузу, который замышляет де обобрать все греческие монастыри и святые места. — Александр-Иоанн I (Александру Йоан Куза) (1820—1873), князь, господарь соединенных княжеств Молдавии и Валахии в 1859—1862 гг., Румынии в 1862—1866 гг. В том же контексте упоминается в пов. «Аспазия Ламприди».

С. 652. ...английский подлинник в стихах и французский перевод прекрасною прозой... — Oeuvres de Lord Byron, traduction de M. Amédée Pichot. Vol. I. Paris, 1830. Ср. в повести «Аспазия Ламприди» (Т. 3. С. 259, 748). См.: Леонтьева М.В. Янина // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 19 об.

С. 652. «Прощай! о прощай моя родина! ~ А я плачу о том, что мне никого и ничего там не жаль!» — переложение



фрагмента из 13 строфы первой песни «Паломничества Чайльд-Гарольда».

С. 657. ...через Амвракийский залив... — залив Ионического моря у западного берега Греции.

С. 660. *Le prestige de la Sublime Porte* — Престиж Высокой Порты (фр.)

С. 663. ...той собаке ~ бывшее у нее в зубах. — Данный сюжет восходит к басне Эзопа (№ 133 из основного собрания) и воспроизводился у многих авторов (Ж. де Лафонтен, А. П. Сумароков и др.).

С. 667. *Мушир* — см. прим. на с. 987.

С. 669. *Проксеня* — консульство (греч.).

С. 673. *Чубукчи* — слуга, хранящий и подающий чубук (тур.).

С. 674. *Бир* — один (тур.).

С. 676. ...об избрании Альфреда... — Эрнест Альберт Альфред (1844—1900), герцог Эдинбургский, сын королевы Виктории, в 1862 г. был избран королем Греции, но отклонил корону; в 1874 г. вступил в брак с Великой Княгиней Марией Александровной.

С. 685. ...подобно всякой власти, от Бога поставлено... — см. прим. на с. 1014.

С. 686. *On a forcé la porte du consulat héllénique*. — Врываются в эллинское консульство (фр.).

С. 688. *portier* — портье, привратник (фр.).

С. 689. ...в «Синей Книге»... — «Синие книги» — материалы заседаний британского парламента, систематически издававшиеся с 1814 г. См.: *Temperley H., Penson L. A Century of Diplomatic Blue Books, 1814—1914. Cambridge, 1936.*

С. 689. ...мы видели теперь в Батаке и Каварне... — см. прим. на с. 1012.

С. 689. ...пророками даже и в отчизне своей... — аллюзия на Мф. 13: 57; Мк. 6: 4; Лк. 4: 24; Ин. 4: 44.

С. 696. ...*ёсеп* — *ésclave* — раб (тур., фр.).

С. 697. *employés* — служащих (фр.).

С. 703. ...чтоб тот отчитал его. — Т. е. прочел над ним молитвы об изгнании бесов.

С. 703. *Золотарев* — Михаил Игнатьевич Золотарев († 1870), консул в Адрианополе, Л. был его подчиненным, секретарем консульства в 1864—1866 гг.

С. 704. ...борьба партий за опустевший престол. Гривас сорвался с цепи, и не было уже искусной руки молчаливого

Колетти, чтоб удерживать его. — Описываются события 1862 г. См. также прим. на с. 973, 1017.

С. 704. *Реньери* — Марк Реньери (1815—1897), греческий публицист и политический деятель.

С. 704. ...присоединить наш Эпир к своим «Семи островам»... — республикой Семи островов назывались Ионические острова.

С. 704. ...эту «русскую батарею, обращенную против Европы», по словам Пальмерстона. — Генри Джон Темпл Пальмерстон (1784—1865), министр иностранных дел, позднее — премьер-министр Великобритании. Ср.: Т. 3. С. 232.

С. 705. ...всех филэллинов первой четверти этого века. — Филэллинское движение (агитация в пользу освобождения Эллады от турецкого владычества) возникло в Англии во время греческой освободительной войны. Филэллинские союзы собирали денежные пожертвования и отправляли в Грецию добровольцев.

С. 705. *Булгарис* — см. прим. на с. 1003.

С. 711. *Des triomphes et encore des triomphes!* — Триумфы и еще раз триумфы! (фр.)

С. 714. *Lise Blagow, née princesse Massalsky*. — Лиза Благова, урожденная княжна Массальская (фр.).

С. 714. *Прикипéсса* — княжна (греч.).

С. 714. *le bon Dieu, la Sainte Vierge* — Милосердый Бог, Святая Дева (фр.)

С. 715. ...самим апостолам заповедано благовествовать на всех языках... — ср. Мф. 28: 19.

С. 715. ...Дух Святой в виде множества языков сошел на апостолов... — Деян. 2: 1—4.

С. 715. *Разве и у нас не читают на многих языках Евангелие на первый день Пасхи...* — в России, в отличие от Греции, Евангелие на разных языках читается не на вечерне, а на утрени Св. Пасхи.

С. 717. ...«здесьняя толпа ему милее траурной толпы европейских городов» — ср. с. 569.

С. 717. *Эклога* — жанр античной и позднее европейской поэзии, близкий к идиллии.

С. 718. ...от Амвракийского залива, вблизи которого сражались Антоний и Август — Морское сражение между Октавианом, с одной стороны, и Марком Антонием и Клеопатрой, с другой, произошло 2 сентября 31 г. до н. э. в Амвракийском (Артском) заливе вблизи мыса Акциум.

С. 718. ...арнаутские гегии... — см. прим. на с. 1006.

С. 718. *Лакка Сулийская* — см. прим. на с. 971.

С. 718. *...восхищавшую великого певца Британии...* — см.: Т. 3. С. 173—174, 742.

С. 719. *...где древний Пиней течет ~ к Темпейской долине...* — река Пеней протекает по Темпейской долине к Олимпу.

С. 720. *...не было избиений, как в Сирии или как теперь в Болгарии и Боснии.* — Имеется в виду резня маронитов и мятеж против европейцев в Сирии в 1860 г.; «теперь» — т. е. в момент написания хроники, в середине 1870-х гг.

С. 720. *...были перевороты в соседних землях...* — Возможно, подразумевается свержение скупщиной Сербского князя Александра Карагеоргиевича (1806—1885) в 1858 г. и изгнание короля Эллады Оттона I в 1862 г.

С. 720. *В Герцеговине бунтовали. Лука Вукалович уже давно боролся с турками...* — Лука Вукалович (1823—1873) — руководитель герцеговинских восстаний против турецкого ига, в 1865 г. эмигрировал в Россию.

С. 720. *...удаления Оттона.* — См. выше.

С. 720. *...агитации «докторов без практики и адвокатов без тяжбы»...* — источник цитаты не установлен.

С. 721. *...от наших свободных братий Акарнании, Мореи и Акрополя...* — Акарнания — см. прим. на с. 980, Морея — полуостров Пелопоннес, составляющий южную оконечность Греции; Акрополь (см. также с. 985) — зд. как символ Афин.

С. 721. *...подобных Марко Боцарису, Маврокордато, Караискаки, Колокотрони и Канарису!..* — Боцарис и Канарис — см. прим. на с. 979; Александрос Маврокордатос (1791—1865) — в 1822—1823 президент Греции, глава консервативной партии, в 1844, 1854—55 — премьер-министр; Караискаки — см. прим. на с. 989; Теодорос Колокотронис (1770—1843), греческий полководец и государственный деятель, в 1825—1827 гг. — главнокомандующий греческими войсками Пелопоннеса.

С. 721. *...что делает черногорец Мирко...* — Возможно, Мир Дедович; см.: Черногория в ее прошлом и настоящем / Сост. П. Ровинский. Т. II. Ч. 1. СПб., 1897. С. 387.

С. 721. *...письмо его к Дервиш-паше...* — Дервиш-паша подавлял восстание 1862 г.

С. 721. *Юнак* — см. прим. на с. 975.

С. 722. *«Умершие исключаются из списков...»* — традиционная фраза из сообщений о военных потерях.

С. 723. *...из Галаты в Перу...* — Галата — см. прим. на с. 1016; Пера — квартал Константинополя, населенный европейцами.

С. 723. *nobless oblige* — положение обязывает (фр.)

С. 723. *Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour!* — Любовник, боящийся воров, не достоин любви! (фр.)

С. 723. *Это мерзость пред Господом!* — библейское речение (напр.: Втор. 27: 15; Притч. 3: 32; 11: 20; 12: 22).

С. 726. ...сам великий визирь, блестящий *Фуад* или *Митхад-паша*... — *Фуад-паша* — см. прим. на с. 1004; *Мидхат-паша* (? — 1884) — великий визирь, лидер «новых османов» (младотурок); в 1876 г. — министр юстиции, автор конституции 1876 г.

С. 726. *Беконсфильд* — Бенджамин Дизраэли, граф Биконсфильд (1804—1881), премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874—1880 гг.

С. 726. «*Ныне, о, Боже, отпускаешь ты раба своего с миром!*» — см. прим. на с. 996.

С. 726. *la coquetterie* — кокетство (фр.)

С. 727. ...нравственна, как *Лукреция римская*, или *сластолюбива и преступна, как Лукреция Борджиа*. — Лукреция — легендарный персонаж римской истории, героиня одноименной поэмы Шекспира; о Лукреции Борджиа (1480—1519) см. Т. 1. С. 672.

С. 727. «*Хвала тебе, мужчина пылкий, и женщина холодная — привет тебе!..*» — источник не установлен.

С. 728. *Ce beau pays...* — Эти прекрасные места... (фр.)

С. 729. «*Но солнце ее почти не видало*», как поет одна песенка... — ср. в пов. «Хризо» (Т. 3. С. 29).

С. 735. *суук-адам* — сердитый человек (тур.)

С. 741. *Далматинец* — житель Далмации (область Хорватии, в 1797—1805 г. и 1813—1918 гг. входившая в состав Австрийской Империи).

С. 742. *Стратиг* — полководец (греч.).

С. 744. *monsieur de Lavalette...* — господин де Лавалетт... (фр.)

С. 744. *Monsieur le valet tout court...* — Господин лакей всегонавсего (фр.).

С. 744. *une platitude gigantesque* — гигантская пошлость (фр.)

С. 744. *Мы имели несчастье испытать в 59 году...* — см. прим. на с. 1002.

С. 745. *Все эти Гафизы...* — Хафиз (Шамседдин Мохаммед; ок. 1325 — 1389 или 1390), персидский поэт.

С. 745. *son avant-bras droit* — свою правую руку (фр.)

С. 746. ...*берегитесь быть кентавром Ниссом*... — Кентавр Несс (Нисс), персонаж античной мифологии; жил у реки Эвен и перевозил через нее за плату; убит стрелой Геракла за покушение

на честь его жены Деяниры. Окончание истории Несса вошло в трагедию Софокла «Трахинянки».

С. 746. *Деянира* — дочь Ойнея и Алфеи, жена Геракла, по преданию, умела искусно править колесницей; отсюда и сравнение с нею г-жи Виллартон, искусной наездницы.

С. 747. ...*стол Лукулла*... — древнеримский полководец Лукулл славился своими пирами.

С. 749. *Voyons, messieurs, voyons!*.. — Полноте, господа, полноте!.. (фр.)

С. 749. *On vous nomme Ulysse, n'est ce pas, monsieur?*.. — Ваше имя Улисс, не так ли, сударь?.. (фр.).

С. 750. ...как Ганимед, которого боги предпочли самой Гебе... — В греческой мифологии на олимпийских пирах богов Геба, дочь Зевса, богиня юности, исполняла обязанности виночерпия, которые потом перешли к Ганимеду, сыну Троянского царя Троса, воплощающему юношескую красоту.

С. 758. ...в синих звуковых коротких шальварах... — Зуавы — солдаты французских колониальных войск.

С. 759. *Руцук* — город на Дунае.

С. 761. *Иди, милый друг, со мной*... — источник не установлен.

С. 764. *monsieur le consul* — господин консул (фр.)

С. 764. *Тебе ль ждать от меня фимиама поэзии?* ~ *Чтобы петь над ним и томиться!* — Первая строфа из стихотворения А. де Ламартина «*A une jeune arabe que fumait le narguilé dans un jardin d'Alep*» (1832; «К юной арабке, которая курила наргиле в саду Алепа». Алеп (Алеппо) — город на севере Сирии, славившийся роскошными садами, в котором Ламартин побывал во время своего путешествия по Востоку в 1832 г.

С. 766. *Mais c'est inouï cela, messieurs!*.. — Но это невероятно, господа!.. (фр.)

С. 766. ...*похоже на испанскую качучу*... — Качуча — андалузский народный танец; ср. в пов. «Пембе», где это сравнение также принадлежит французскому консулу (Т. 3. С. 97).

С. 767. *Oui, monsieur le consul, je suis à vos ordres!* — Да, господин консул, слушаюсь! (фр.)

С. 768. *oui, monsieur le consul* — да, господин консул (фр.)

С. 768. «*Carnaval de Venise*» — «Венецианский карнавал» (фр.)

С. 768. «*il Vaccio*» — правильно: *il Vaciò*, «Поцелуй» (итал.)

С. 768. *Простушка ты горлица* ~ *Прямо в сеть птицелова*. — Источник цитаты не установлен.

С. 768. *garçon* — мальчик (фр.)

С. 769. *Voyons*... — Давайте... (фр.)

С. 772. *Du guignon! Rien que du guignon!..* — Невезенье! Одно невезенье! (фр.)

С. 776. *Сак-пальто* — широкое и длиное пальто, от фр. *sac*, мешок.

С. 779. *Серебро листочки, Хрусталь корешочки...* — источник не установлен.

С. 787. *Растут два лимона ~ Как я их люблю!* — источник не установлен.

С. 788. *Гéronта* — старче (греч.).

С. 792. *Пинны* — род моллюсков, *сепия* — каракатица, род головоногих моллюсков.

С. 793. *permis de résidence* — удостоверение (фр.)

С. 793. *commis du Consulat de Russie* — служащий Российского консульства (фр.)

С. 794. *par courtoisie* — из учтивости (фр.)

С. 794. *Odyssée Polichroniadés, commis du Consulat Impérial de Russie à Janina.* — Одиссей Полихрониадес, служащий Императорского консульства России в Янине (фр.).

С. 796. *Хызмет* — ошибка Л., исправленная М. К. Ону: «кысмет, а не хызмет» (см. с. 1037). *Кысмет* — счастливая судьба, счастье, удача; *хызмет* — служба (тур.).

С. 803. *Эу в'аллах!* — Боже милостивый! (тур.)

С. 804. *Пек эи адам!* — Очень хороший человек! (тур.)

С. 804. *Пек vertueux, honorable!..* — Очень добродетельный, почтенный!.. (тур, фр.).

С. 804. «*Нежный пух айвы*»... — см. прим. на с. 1011.

С. 807. «*Не Сиамёк убил Дива, а сын его Хушенг*». Так у Фирдузи... — В поэме персидского поэта Абу-ль-Кассима Фирдоуси (ок. 940 — 1020 или 1030) «Шахнаме» (976—1010) в сказании о Каюмарсе повествуется о победе Хушанга, сына Сиямака, над принявшим облик волка дивом (бесом), сыном Ахримана (верховного бога зла в иранской мифологии).

С. 807. *Оттоманский* — турецкий.

С. 807. *Аджемский, фарсийский* — персидский.

С. 808. *Эос* — в древнегреческой мифологии богиня утренней зари.

С. 808. ...*под Силистрией*... — см. прим. на с. 974.

С. 812. ...*похож на герцеговинца Луку Вукаловича*... — см. прим. на с. 1023.

С. 812. ...*по одному наполеону* — наполеондор, см. прим. на с. 1007.

С. 814. *Било* — деревянная или металлическая доска, в которую ударяют, созывая людей на богослужение.

С. 814. «Иже в девятый час...» — начало тропаря девятого часа, одной из служб суточного круга богослужения.

С. 816. ...мой деист и демагог... — о распространении в Греции деизма см. прим. на с. 980; демагог — зд. в значении «народный вождь».

С. 817. Крины — лилии.

С. 817. Бир Инглеz! Айда! — Один англичанин! Вперед! (тур.) Инглеzами на Востоке называли также всех протестантов.

С. 818. ...«пришлец и пресельник» этой земли... — слова праотца Авраама (Быт. 23: 4).

С. 821. ...опасным и глубоким «морем житейским»... — житейское море, цитата из ирмоса 6 песни канона 6 гласа.

С. 821. ...на берегах самой Миссисипи читает... — ср. с упоминанием греческих газет в Америке на с. 9.

С. 821. «полї звенїс» — человек хорошего рода, благородный (греч.)

С. 823. ...во время благопотребное... — Пс. 31: 6.

С. 823. ...во всяком граде и стране... — слова из просительной ектении.

## ПРИМЕЧАНИЯ К «ОДИССЕЮ»

Автограф: ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 25.

Не издавалось.

Печатается по автографу.<sup>1</sup>

Как удалось установить, Леонтьев послал М. К. Ону третий том *ИЖХ* и переплетенные оттиски из *РВ*. Вопросы («Примечания к „Одиссею”») были выписаны отдельно. Рукопись (ее номер по первоначальной описи леонтьевского архива — 32 — стоит на титульном листе) представляет собой тетрадку из сдвоенных листов большого формата. На титульном листе черными чернилами написано: «Для Г. Ону». На следующем листе в центре страницы написано: «Смотри дальше». Ответы Ону располагаются на оборотах листов тетради.

Точное местонахождение номера вопроса в книге нам известно для раздела «Камень Сизифа». Ориентируясь на сохранившийся авторский экземпляр, в котором номера вопросов и отчеркивания сделаны розовыми чернилами, мы находили такие, некогда отчеркнутые на полях места и в первых частях романа. Это оказалось невозможным лишь в немногих случаях.

На полях, рядом с текстом вопросов и ответов мы указываем страницу и при необходимости номера строк настоящего издания.

4 декабря 1888 года Ону писал: «Как Вам не стыдно? Как Вы могли сомневаться во мне? разумеется, пришлите сейчас Ваши любимые мною и всеми сочинения и постараюсь сделать то, чего желаете. Но будьте ясны в вопросах Ваших. С какой стати Вы приводите, для моего нравоучения, *бескорыстный* пример Соловьева, Корша? Я сам человек очень простой в глубине души и *бескорыстный* вообще, а Вас вдобавок я всегда любил и люблю, и высоко ценю Ваш талант. Я надеюсь и уверен, что перед смертью

---

<sup>1</sup> В подготовке текста принимала участие Р. Г. Пашко.



Вы напишете еще такую книгу, которая именно восстановит в России должную Вашим дарованиям известность, недавно еще мы говорили о Вас (как часто говорю о Вас) с А. И. Нелидовым и он соглашался со мною, что даже *политически* Вы оказались дальновиднее нынешних государственных людей наших...» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 198. Л. 22—22 об.).

14 февраля 1889 г. Леонтьев писал Губастову: «...Исправляю «Одиссея» для второго полного издания; Ону взялся пересмотреть и кой-что исправить. — Скоро пошлю ему» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 180).

Весной следующего года вопросы были получены (см. с. 965), ответы были подготовлены летом.

Отвечая 14 декабря 1889 г. на письмо Леонтьева от 3 декабря (с поздравлением по поводу назначения в Афины), Ону осведомлялся, когда же выйдет новое издание «Одиссея», и признавался, что из-за недостатка времени «не совсем добросовестно исполнил» поручение Леонтьева (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 198. Л. 25 об.). Именно это признание имел в виду Леонтьев, когда в письме от 10 января 1891 г. укорял Ону: «...Вы имели добросовестность и прямоту сами сознаться в одном из ваших писем, что не так внимательно и строго отнеслись к просьбе моей о поправках, как бы следовало. Я, конечно, тотчас же по получении тетрадки с вашими ответами заметил это; но не считал себя вправе обижаться на это. Не присягу же Вы давали вникать глубоко в это дело! И за то спасибо! Но, так как вы сами в этом имели благородство сознаться, то теперь и я могу говорить прямее. Разумеется, что надо будет еще раз пересмотреть всего «Одиссея»; и в особенности стихи и песни». (Цит. по: Киприан (Керн), архим. Из неизданных писем Константина Леонтьева. Париж, 1959. С. 29).

В заключение выскажем предположение, что судьба Ону, хорошо известная Леонтьеву, могла найти отражение в замысле романа. Мечты Одиссея, начавшего службу в канцелярии консульства, о возможной дипломатической карьере «под сенью Российского орла» не кажутся несбыточными при воспоминании о блестящей карьере Ону, также начинавшего с должности писца. К. А. Губастов писал в своих мемуарах: «Сын небогатого молдавского помещика Михаил Константинович Ону юношею начал заниматься в Канцелярии Ясского нашего Консульства и своими способностями обратил на себя внимание временно управляющего Консульством Барона Федора Андреевича Бюлера, который, уезжая в 1853 году из Ясс, взял с собою прилежного Ону и определил его в Учебное

Отделение Восточных Языков. В 1857 г., по окончании там курса, его отправили Студентом Посольства в Константинополь. В 1860 г. он был Секретарем Генерального Консульства в Бейруте и когда в 1861 г. Е. П. Новиков прибыл туда в качестве Члена Международной Комиссии по устройству Ливана, он взял Ону своим секретарем. {...}

Женившись в 1865 г. на Луизе Александровне Баранкур, племяннице и усыновленной дочери Б-на А. Г. Жомини, Ону вернулся в Константинополь вторым драгоманом Посольства; восемь лет нес он потом трудные и сложные обязанности 1-го Драгомана при Генерале Игнатьеве и при преемнике его Князе Лобанове. После Нелидова он был сделан Советником, и затем в течение 12 лет (с 1889 — 1901) занимал нелегкий пост посланника в Герции» (РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 65 об.—66).

О М. К. Ону см. также: *Карцов Ю.* Семь лет на Ближнем Востоке. СПб., 1906. С. 13—25.

С. 827. № 1. Эпизод знакомства отца и матери Одиссея (гл. II. С. 16, строки 12—16).

С. 827. № 2. Гл. III. С. 25, строки 1—4 и прим.

С. 827. № 3. С. 27, строка 20.

С. 827. № 4. Имеется в виду процесс, затеянный Петраки Стояновичем (гл. IV. С. 32—35, вероятно, номер стоял на с. 35).

С. 828. № 5. Цитата из песни о Хароне. Гл. V. С. 40.

С. 828. ...из сборника *Эпирских песен*. — Вероятно, из сборника Хассиотиса; см. с. 969.

С. 828. № 6. Песня о нападении на Франгадес. Гл. V. С. 41—42.

С. 828. № 7. С. 45, строка 22.

С. 828. № 8. С. 50, строки 24—25.

С. 828. № 9. Об игре клуцо-скуфица (гл. VI. С. 53, строки 14—15).

С. 829. № 10. С. 54, строка 14.

С. 829. *Галани* — голубоглазая (греч.).

С. 829. № 10\*. Имеется в виду речь Несториди (С. 57—58).

С. 829. № 11. С. 63—64.

С. 829. № 12. С. 66—69.

С. 829. № 13. С. 70, строки 24—25.

С. 829. № 14. гл. VIII. С. 71, строка 22 и прим.

С. 829. ...*слуга Георгий*... — слуга-грек, уехавший в 1874 г. с Леонтьевым в Россию.

С. 829. ...икона Знамения... — икона Знамения Божией Матери представляет поясное изображение Богоматери с распростертыми к небу руками и с Младенцем Иисусом, правую рукою благословляющим мир, а в левой держащим свиток как знак спасительного учения, которым Он просвещает род человеческий. Диск (круг славы) символизирует земное воплощение Богочеловека Христа.

С. 830. № 15. Выяснить не удалось.

С. 830. № 16. С. 93, строки 8—10. См. прим. на с. 984.

С. 830. № 17. Выяснить не удалось.

С. 830. ...ни Ионин, ни Хитров... ни Золотарев... — Александр Семенович Ионин — см. ЛН. Т. 22—24. С. 474. Михаил Александрович Хитрово — см.: Там же. С. 474—475; Золотарев — см. прим. на с. 1021.

С. 830. *Carthago est delendo!* — Часть слов римского государственного деятеля и писателя Марка Порция Катона (Старшего; 234—149 до н. э.): «*Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam*» (И все-таки я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен (лат.)), которыми он заканчивал каждое свое выступление в сенате.

С. 830. ...старик Дендрино. — Спиридон Иванович Дендрино, русский консул на Крите.

С. 830. Болгарин Станишев... — Профессора-болгарина Станишева Леонтьев упоминает в письме к К. А. Губастову от 1 января 1883 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 109).

С. 830. *exactitude, mais le côté tendancieux* — точности, там лишь тенденциозная односторонность (фр.)

С. 830. № 18. С. 98, строки 8—9.

С. 831. № 19. Не выяснено. Возможно, с. 101.

С. 831. № 20. гл. III. С. 104, строка 27 и прим. «*Φιλικό κεφάλι; γενναι*» — Рождающая голова, женская (греч.).

С. 831. № 21. Не выяснено.

С. 831. № 21\* С. 114, строка 37. См. прим. на с. 985.

С. 831. № 22. С. 119, строки 18—29.

С. 831. *Vous cherchez trop la bête.* — Вы слишком много занимаетесь всякой чепухой (фр.).

С. 831. № 23. С. 119, строка 30.

С. 831. *du divan son iffendi — ou l'iffendi; l'employé du divan* — дивана его эффенди — или эффенди, чиновник дивана (фр.).

С. 831. № 24. С. 120—121.

С. 832. *заиф-дер* — см. с. 121.

С. 832. ...самим И. Ал. Ивановым о Султане-Абдул Меджиде... — Иван Алексеевич Иванов — консул в Адрианополе; позднее служил в посольстве в Константинополе. Абдул-Меджид (1823—1861), Турецкий султан с 1839 г., сын султана Махмуда.

С. 832. *Сулейман-Паша* — зять губернатор Тульчи.

С. 832. ...зять *Ариф*а... — Решид-бей, губернатора Адрианополя.

С. 832. № 25. С. 122, строка 14.

С. 832. № 26. С. 122—123.

С. 832. ...до *Виллайетов*... — см. прим. на с. 986.

С. 832. ...некий *Феим-бей*... — это имя Л. дает в романе одному эпизодическому персонажу (см. с. 756).

С. 832. № 27. С. 125, строка 9.

С. 832. ...имя же им легион. — Ср. Мк. 5: 9; Лк. 8: 30.

С. 833. № 28. С. 129, строки 26—27.

С. 833. ...при *Султан-Махмуде*... — см. прим. на с. 986.

С. 833. *Бир тазэ урұм*... — Позднее Л. отыскал стихотворение, записанное греком, и вложил в тетрадь этот листок (см. с. 851).

С. 833. № 29. Возможно, с. 134.

С. 833. № 30. гл. VII. С. 159—164.

С. 833. *Я тогда ~ очень спешил*... — см. с. 946, 949—950.

С. 833. *Tout est possible!* — Все возможно! (фр.)

С. 834. *même l'in vraisemblable*... — тоже невероятно... (фр.)

С. 834. «После этого не нужно ездить в *Эпир*!» — Эти слова И. С. Аксакова (1823—1886) Леонтьев приводит в письме к Т. И. Филиппову от 5 февраля 1876 г. (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 6).

С. 835. ...Обер-Миллера из *Трапезунта*... — Николай Леонтьевич Обермиллер († 1884), генеральный консул в Трапезунте, а позднее в Эрзеруме.

С. 835. № 31. С. 166, строка 2.

С. 836. *Перипандопуло и К°* — возможно, кто-то из константинопольских греков, близких к русскому посольству. Ср.: ЛН. Т. 22—24. С. 435.

С. 836. № 32. гл. VIII. С. 168, строки 24—25.

С. 836. № 33. С. 170, строка 12.

С. 836. *prairie* — луг, лужайка (фр.).

С. 837. № 34. С. 178, строка 33.

С. 837. ...сы *au lieu de ci par euphonie après* пара. *Si c'était piri, on dirait si* — ...сы вместо *си* для благозвучия после *пара*. Если бы было *piri*, можно бы сказать *si* (фр.).

С. 837. № 35. С. 182, строки 22—23.

С. 837. № 36. Вероятно, эпизод с чаушем на берегу озера (С. 184—185).

С. 837. ...с Дендрино и Г. Бертраном... — см. прим. на с. 1031. Дендрино был консулом в Янине до А. С. Ионина; французского консула Бертрана. Леонтьев упоминал в «Моих воспоминаниях о Фракии» как одного из прототипов Бреше.

С. 837. ...племянником Дендрино... — Имеется в виду критский сослуживец Л., Константин Иванович Булгаридис.

С. 837. № 37. С. 188, строка 26.

С. 837. № 38. Тяжба Исаакидеса с Шериф-беем (С. 195—196).

С. 838. № 39. Турецкая пословица (С. 200, строки 26—27).

С. 838. № 40. С. 207.

С. 838. № 41. Возможно, с. 209—210.

С. 838. № 42. С. 211—212.

С. 838. № 43. С. 213—214.

С. 838. № 44. Гайдуша у дочери паши. С. 217—219.

С. 838. № 45. Вероятно, с. 219, строки 36—37 («из грязи поднимут»).

С. 838. *cela ne choque pas* — это не отталкивает (фр.).

С. 838. № 46. С. 224, строка 27. Рауф-паша о Корбет де-Леси.

С. 838. *Il faut traduire par un mot qui soit le contraire de мальчишка*. — Следует переводить словом, которое являлось бы противоположностью слову мальчишка (фр.).

С. 838. № 47. Возможно, с. 225, строки 5—7.

С. 838. ...рассказал мне Варзелли про Ионина. — Георгий Варзелли — секретарь вице-консульства в Арте и Превезе. Об А. С. Ионине см. прим. на с. 946.

С. 839. № 1. «Высокословесный» (Часть III, гл. I. С. 237, строка 28).

С. 839. № 2. Не выяснено. Возможно, с. 238—239.

С. 839. № 3. С. 241, строка 34. См. прим. Л. на с. 241.

С. 839. № 4. Не выяснено. Возможно, с. 242 (манера обращения Аристиды с Джемилом).

С. 839. № 5. С. 243, строки 25—26. «Вареная ты говядина, а не паликар».

С. 839. *cuit à l'eau sans viande* — сваренный в воде без мяса (фр.).

С. 839. № 6 и 7. Не выяснено. Возможно, с. 245, строки 32—34 и с. 252 (песенка «про янинскую девицу»).

- С. 839. № 8. Гл. II. С. 254, строка 18.
- С. 839. № 9. Не установлено. Возможно, с. 258, строка 11.
- С. 839. № 10. С. 261. Песня о Хароне.
- С. 840. № 11. С. 269, строки 32—36. О стихотворении «афинского лавреата» Панайоти Суццо см. прим. на с. 995.
- С. 840. № 12. Гл. IV. С. 272, строка 32.
- С. 840. NB. Относится к фрагменту (ИЖХ. Т. III. С. 57), вынесенному, согласно этому указанию автора, в раздел «Варианты» (С. 881—882).
- С. 840. *Митрополит Кирилл* — митрополит Адрианопольский.
- С. 840. ...у Блонта в доме... — см. прим. на с. 1000.
- С. 840. № 12\*. Гл. V. С. 289, строки 2, 9—10, 12—13.
- С. 840. «*Кирие елейсон*» — Господи помилуй (греч.)
- С. 840. *агие елейсон му* — святой, помилуй мя (греч.)
- С. 840. № 13. Возможно, с. 299, строки 8—17.
- С. 840. № 14. С. 302, строки 8—9. См. прим. на с. 997.
- С. 841. № 15. Гл. VIII. С. 309, строки 20—21. См. прим. на с. 997.
- С. 841. № 16. С. 317, строки 16—17.
- С. 841. № 17. С. 328, строки 5—32.
- С. 841. № 18. С. 331, строки 5—6.
- С. 841. № 19. Гл. X. С. 334, строка 6.
- С. 841. № 20. Гл. XI. С. 348, строки 18—21.
- С. 841. № 21. С. 349, строка 20.
- С. 842. № 22. С. 357, строки 36—37.
- С. 842. № 23 и 24. С. 365, строка 25. Возможно, строки 19—20.
- С. 842. № 25. С. 368, строки 26—31.
- С. 842. *Бобчев, бывший сотрудник Каткова...* — Стефан Саввич Бобчев (1853—?) болгарско-русский публицист, сотрудник «Московских Ведомостей», «Известий Славянского благотворительного общества» и др. изданий.
- С. 842. № 26. С. 372, строка 17.
- С. 842. № 27. Гл. XV. С. 403, строки 10—11.
- С. 842. № 28. С. 403, строка 21.
- С. 842. № 29. С. 407, строка 30. С. 882, строка 14.
- С. 842. *On pourrait dire mal mûr, le fruit vert n'étant pas mûr.* — Можно бы сказать плохо созревший, зеленый плод не бывает спелым (фр.).
- С. 842. № 30. Не установлено.
- С. 843. № 31. Не установлено. Возможно, с. 422.
- С. 843. № 32. С. 427, строки 10—23.

- С. 843. № 33. Гл. XVII. С. 434, строка 16.
- С. 843. № 34. С. 437, строка 20. «*О líκος антáра гирéви*» — «волк тумана ищет» (греч.).
- С. 843. № 35. Не выяснено. Возможно, с. 439.
- С. 843. № 36. С. 440, строки 1—2.
- С. 843. *Ахтиар* — старик (греч.).
- С. 843. *couleur locale* — местного колорита (фр.)
- С. 844. № 1. Часть IV. Гл. I. С. 457, строки 29—33.
- С. 844. № 2. С. 459, строки 24—27.
- С. 844. № 3. С. 459, строки 35—37.
- С. 844. № 4. С. 461, строки 10—16.
- С. 844. № 5. С. 462, строки 17—20.
- С. 844. № 6. Гл. II. С. 468, строки 3—4.
- С. 844. № 7. С. 469, строка 16.
- С. 844. № 8. С. 471, строка 24; здесь же в строке 34 подчеркнуто слово «загорские».
- С. 844. № 9. Гл. III. С. 477, строка 26 — С. 478, строка 11.
- С. 844. № 10. С. 478, строка 37 — С. 479, строка 6.
- С. 844. № 11. С. 483, строки 16—17.
- С. 844. *mirobolant* — изумительный, чудесный, невероятный (фр.)
- С. 845. № 13. Гл. V. С. 498, строки 7—17.
- С. 845. *N'attendez pas même de mon amitié que je lise toutes.* — Не ожидайте даже от моей дружбы, что я прочту все (фр.).
- С. 845. № 14. С. 498, строки 28—29.
- С. 845. № 15. С. 499, строки 7—10.
- С. 845. № 16. С. 501, строки 17—19.
- С. 845. № 17. С. 504, строка 5.
- С. 845. № 18. Гл. VI. С. 507, строка 24.
- С. 845. № 19. Гл. VII. С. 518, строка 35.
- С. 845. *Точно у Тургенева...* — О неприятии Л. тургеневской манеры письма см. «Моя литературная судьба. 1851—1854».
- С. 845. *Vous êtes meilleur juge que moi.* — Вы лучший знаток, чем я (фр.).
- С. 845. № 20. Гл. VII. С. 524, строка 7.
- С. 845. № 21. Гл. VIII. С. 530, строки 20—31; С. 531, строка 6 — С. 532, строка 2.
- С. 845. ...в Янине со слов доктора грека — см. с. 947.
- С. 845. № 22. С. 535, строки 24—26.
- С. 845. № 23. Гл. IX. С. 536, строка 29.
- С. 846. № 24. С. 537, строка 35. Не обозначено номером: С. 538. В строке 31 подчеркнуто слово «лик».

- С. 846. *magique* — магический, волшебный (фр.).
- С. 846. № 25. С. 540, строка 1.
- С. 846. № 26. С. 543, строки 13—14.
- С. 846. № 27. С. 544, строка 25.
- С. 846. № 28. Гл. XI. С. 561, строки 10—15. См. пометы на полях (с. 897).
- С. 846. № 29. С. 562, строка 27.
- С. 846. № 30. Гл. XII. С. 569, строка 36 («турецкий халатик»).
- С. 846. № 31. С. 571, строки 32—33.
- С. 846. *Эялет* — административная единица в Турции до введения вилайетов.
- С. 846. № 32. Гл. XIII. С. 577, строка 12.
- С. 846. № 33. Гл. XIV. С. 591, строка 8. Ону вписал строку из стихотворения Мюссе: «*Buh! c'est mon cheval qu'on apprête*».
- С. 846. № 34. С. 593, строка 29 и прим.
- С. 846. *μονομαχία* — битва (греч.).
- С. 847. № 35. Гл. XV. С. 599, строка 18.
- С. 847. № 36. С. 603, строки 34—35.
- С. 847. № 37. Гл. XVI. С. 615, строка 22.
- С. 847. № 38. Гл. XVII. С. 618, строки 7—13; С. 620, строка 31 — С. 621, строка 23.
- С. 847. *Сам я там быть не успел.* — Ср. прим. на с. 991.
- С. 847. № 39. С. 622, строки 21—26.
- С. 847. № 40. С. 626, строки 29—30.
- С. 847. № 41. Гл. XIX. С. 648, строки 32—37.
- С. 847. № 42. С. 649, строки 4—15.
- С. 847. № 43. С. 649, строка 35.
- С. 847. № 44. Гл. XXII. С. 669, строки 28—30.
- С. 847. № 45. Гл. XXIII. С. 674, строки 25—30.
- С. 848. № 46. Гл. XXIV. С. 685, строка 21.
- С. 848. № 47. С. 687, строка 10.
- С. 848. *Ступин* — Николай Дмитриевич Ступин, консул в Адрианополе.
- С. 848. № 48. Гл. XXV. С. 693, строки 6—14.
- С. 848. № 49. С. 695, строки 33—35.
- С. 848. № 50. С. 697, строки 20—32.
- С. 848. № 51. С. 698, строки 22—23.
- С. 848. № 52. Гл. XXVI. С. 700, строки 10—12 и прим.
- С. 848. № 53. С. 701, строки 1—10.
- С. 848. *Белоцерковец* — Иван Васильевич Белоцерковец (1843—1885) — третий драгоман посольства в Константинополе, позднее посол в Трапезонде (Трапезунте).



С. 848. № 54. С. 703, строки 3—10.

С. 848. № 55. С. 704, строка 17 — С. 705, строка 14.

С. 848. ...*прямо из старого донесения Ионина*. — О чтении

Л. донесений А. С. Ионина см. с. 953.

С. 848. № 56. С. 710, строки 9—16.

С. 849. № 57. Гл. XXVII. С. 715, строки 5—7 и прим.

С. 849. № 58. С. 718, строки 28—29.

С. 849. № 59. С. 726, строки 35—37.

С. 849. № 60. С. 727, строки 36—37.

С. 849. ...*от Посланника Метакса (в 69)*. — Метакса — консул в Адрианополе, позднее посланник Греции в Петербурге.

Л. встречался с ним во время своего отпуска зимой 1869 г.

С. 849. № 61. Гл. XXVIII. С. 728, строка 33 — С. 729, строка 3.

С. 849. ...*нашу Афину*... — горничная в семье М. К. Ону.

С. 849. № 62. С. 732, строки 4—5.

С. 849. № 63. Гл. XXXI. С. 758, строка 23.

С. 849. № 64. С. 759, строка 9.

С. 849. № 65. С. 761, строка 6. Стерто подчеркивание:

С. 763, строки 15—19.

С. 849. № 66. С. 765, строки 21—25.

С. 850. № 67. С. 772, строка 4.

С. 850. № 68. Гл. XXXIII. С. 777, строки 5—11.

Знаком NB в книге отмечено: С. 779, строки 24—27.

С. 850. № 69. С. 780, строки 23—30.

С. 850. № 70. Гл. XXXIV. С. 787, строки 26—33.

С. 850. № 71. Гл. XXXVI. С. 796, строки 9—10. Помета

Ону к строке 15: «кысмет, а не хызмет».

С. 850. № 1. Не установлено.

С. 850. № 2. Часть V. Гл. I. С. 803, строка 6.

С. 850. № 3. С. 803, строки 17—34.

С. 850. № 4. С. 807, строки 18—19.

С. 850. ...*моего фаворита — Петраки*. — Петр Узун-Тома, воспитанник Л., приехавший с ним из Тульчи.

С. 850. *Лазаридис* — Димитрий Лазаридис, драгоман Янинского консульства.

С. 851. № 5. Гл. II. С. 809, строка 26 — С. 810, строка 16.

С. 851. № 6. С. 817, строка 24.

С. 851. Гл. III. № 7. С. 821, строка 24.

## ЗАПИСКА ОБ ИЗДАНИИ «ОДИССЕЯ»

Автограф: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1008. Л. 2—2 об. Датируется 12 августа 1890 г.

Не издавалось. Первая страница воспроизводилась как иллюстрация в ЛН (Т. 22—24. С. 471).

Печатается впервые по автографу.

Записка предназначалась для о. И. Фуделя, которому было поручено встретиться в Петербурге с А. С. Сувориным и переговорить о возможном издании романа. 15 августа датирована «рекомендательная карточка», данная ему: «Отец Иосиф Иванович Фудель от Константина Николаевича Леонтьева. — 1890 г.; 15 Августа Оптина Пустынь» (Ед. хр. 1008. Л. 4). Записка была позднее вложена в конверт с надписью «По делу Суворина» (Л. 5). См. подробнее преамбулу к основному комментарию (С. 968).

С. 852. ...Страхову, Грингмуту, Авсеенке, Александрову, Южному, Загуляеву... — Л. перечисляет здесь тех, кто когда-либо писал о нем: Страхов был автором рецензии на «Византизм и славянство» (1876), В. Г. Авсеенко написал несколько статей о восточных повестях и «Одиссее» (См. Т. 3. С. 714—715 и наст. том, с. 956, 958), Михаил Андреевич Загуляев (1834—1900) неоднократно писал о Л. в «Journal de St.-Petersburg»; особо ценил Л. статью Владимира Андреевича Грингмута (1851—1907) «К. Н. Леонтьев как беллетрист» (Гр. 1887. № 11. 5 февр. С. 4—7). Характерно, что не названо имя Вс. С. Соловьева (возможно, это — отголосок спора 1879 г. о романе<sup>1</sup>). Анатолий Александрович Александров (1863—1930) — филолог, поэт, друг и по-

---

<sup>1</sup> См.: Литературные автопортреты К. Н. Леонтьева // Русская литература. 2001. № 2. С. 147—148.

стоянный корреспондент Л. в последние годы. Южный — псевдоним Михаила Григорьевича Зельманова (1869—1901), автора отклика на статью «Анализ, стиль и веяния» (Гр. 1890. № 157. 8 июня. № 192. 13 июля).

С. 852. ...Буренину — опасно... — Л. опасается, чтобы Суворин не поручил написать предисловие постоянному сотруднику «Нового времени» В. П. Буренину (1841—1926).

## ФРАГМЕНТЫ ЧЕРНОВОЙ РЕДАКЦИИ (НЕНАПЕЧАТАННЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ «ОДИССЕЯ»)

Автограф: РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 9. Копии М. В. Леонтьевой со следами правки автора: Там же. Л. 2—8, 10—15. Условное заглавие принадлежит М. В. Леонтьевой (Л. 1).

Датируется не позднее 1878 г.

Печатается по автографу и копии М. В. Леонтьевой.

В период подготовки СС М. В. Леонтьева писала о. И. Фуделю: «Отрывки из Одиссея — совершенно невозможны, как увидите, к несчастью, ибо очень кратки» (из письма от 6 января 1912 г.; РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 21).

Лист рукописи Леонтьева — фрагмент с черновым переводом двух греческих стихотворений, использованных в романе, — «Глас Марса меня восхищает» и «О, дети эллинов, спешите!». Ср. с XV главой III части (С. 404).

Следующий фрагмент относится к III части романа (по времени действия — февраль). Третий отрывок представляет собой вариант одной из последних глав «Камня Сизифа» (упомянутое здесь угощение Бранковича в русском консульстве описано в XXXI главе; «нежелание консула продолжать тяжбу» — в XXXV). Одиссей посещает янинских архонтов, прославляя Благова, и в доме Исаакидеса встречает Кольо (сюжетная линия, связанная с его влюбленностью в г-жу Исаакидес, была лишь слегка обозначена в романе и, по-видимому, должна была получить развитие в его неосуществленном продолжении, так же, как история женитьбы главного героя).

С. 856. ...веселый треск ~ чугунной печи... — излюбленная Л. скрытая реминисценция из стихотворения Пушкина «Зимнее утро» («Веселым треском трещит затопленная печь»).

С. 856. И картина эта... — См. с. 314, 998.

С. 857. ...писать тебе теперь... — т. е. в 1876 г.

С. 858. ...этих цингистр. — Цингистра — танцовщица (см. с. 421).

С. 859. ...с того дня, когда он вычистил лампу... — см. с. 463—464.

С. 859. *Пестипал* — В рукописи было оставлено место для примечания, слово отмечено звездочкой.

## ВАРИАНТЫ И РАЗНОЧТЕНИЯ

С. 865. ...султана Абдул-Азис-хана... — см. прим. на с. 1013.

С. 865. ...Аристидом Справедливым является... — Аристид (ок. 540 — ок. 467 до н. э.), афинский полководец.

С. 875. ...врага своего кардинала... — Руджери дельи Убальдини († 1295), архиепископ; см. прим. на с. 990—991.

С. 877. «Тюрлю, тюрлю белир» — Всякую всячину знает (тур.). Должно быть: билир.

С. 931. ...раньше 70-го года. — Т. е. до франко-прусской войны.

С. 935. Панагия — см. прим. на с. 987.

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

## АРХИВОХРАНИЛИЩА

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| АВПРИ   | — Архив внешней политики Российской Империи МИД РФ (Москва)                |
| ОР ГЛМ  | — отдел рукописных фондов Государственного литературного музея (Москва)    |
| ОР РГБ  | — отдел рукописей Российской Государственной библиотеки (Москва)           |
| ОР РНБ  | — отдел рукописей Российской Национальной библиотеки (СПб)                 |
| РГАЛИ   | — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)         |
| РГИА    | — Российский Государственный исторический архив (СПб)                      |
| РО ИРЛИ | — рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (СПб) |

## ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Гр</i>      | — «Гражданин»                                                                          |
| <i>ИЖХ</i>     | — Леонтьев К. Н. Из жизни христиан в Турции: В 3 т. М., 1876.                          |
| <i>ЛН</i>      | — «Литературное наследство»                                                            |
| <i>МВ</i>      | — «Московские ведомости»                                                               |
| <i>РВ</i>      | — «Русский Вестник»                                                                    |
| <i>Сборник</i> | — Памяти Константина Николаевича Леонтьева. (†1891). Литературный сборник. СПб., 1911. |
| <i>СПбВед</i>  | — «Санкт-Петербургские ведомости»                                                      |
| <i>СС</i>      | — Леонтьев К. Н. Собр. соч.: В 9 т. М., 1912—1913.                                     |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Одиссей Полихрониадес        | 5    |
| Примечания к «Одиссею»       | 825  |
| Записка об издании «Одиссея» | 852  |
| Фрагменты черновой редакции  | 853  |
| Варианты и разночтения       | 861  |
| Комментарии                  | 943  |
| Список сокращений            | 1043 |



КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ  
ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ  
В 12-ти ТОМАХ

Т о м 4

*Утверждено к печати  
Редколлегией полного собрания сочинений  
К. Н. Леонтьева*

Лицензия № 000190 от 03 июня 1999 г.  
Подписано к печати 28.02.2002. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная  
Гарнитура Академическая. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 65.5. Уч.-изд. л. 50.5. Тираж 1500 экз.  
Тип. зак. № 3103

Издательство «Владимир Даль»  
193036. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 19

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в Академической типографии «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

